



ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР

ТОМ II

В. Е. ВОЗГРИН



В. Е. ВОЗГРИН

ИСТОРИЯ  
КРЫМСКИХ  
ТАТАР



ТОМ II



В. Е. ВОЗГРИН

# ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР

Очерки этнической истории  
коренного народа  
Крыма  
в четырех томах

Том II

*3-е издание, исправленное и дополненное*



QARTBABA  
PRODUCTION

Къартбаба продакшн  
Симферополь  
2014

УДК 94(477.75=512.19)  
ББК 63.3(4Укр-6Крм=Крмтат)  
Х В64

**Возгрин В.Е.**

Х В64 История крымских татар : Очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах : Том II. — 3-е изд., испр. и доп. — г. Симферополь «Къартбаба продакшн», 2014. — 940 с.

ISBN 978-966-97413-0-1

В четырёхтомнике представлена этническая история коренного населения Крыма с древнейших времён до 1940-х гг., когда в результате депортации крымских татар полуостров впервые был лишён носителей сложившейся здесь уникальной культуры. Исследование опирается на опубликованные источники и материалы ряда отечественных и зарубежных архивов, а также на труды, посвящённые истории Крыма и отчасти стран, входивших с ним в отношения различного характера. Сочинение разделено на четыре тома по хронологическому принципу. При этом основная часть первого тома посвящена периоду, когда крымское население жило по законам ханства, второй — когда оно подчинялось законам Российской империи, третий — советским законам, и четвёртый — когда крымскотатарский народ был фактически объявлен вне закона: сначала немецкими оккупантами (октябрь 1941 г.), а затем советскими освободителями (18 мая 1944 г.).

УДК 94(477.75=512.19)  
ББК 63.3(4Укр-6Крм=Крмтат)

Книга издана при финансовой поддержке Ислямова Ленура Эдемовича.

© В.Е. Возгрин, 2014

## I. ПРЕДЗАКАТНЫЕ ЛУЧИ КУЛЬТУРЫ КРЫМА

Мы живём, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. Лучи заходящего солнца всё ещё освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам всё труднее различать это величие и искать надёжные ориентиры в наступивших сумерках.

*Питирим Сорокин.  
Человек, цивилизация, общество*

Бросим прощальный взгляд на Крымское ханство, каким оно было в конце своей истории. То есть, постараемся представить себе по мере наших слабых сил, как оно выглядело накануне заката, перед тем, как его начали перемальвать жернова подавившей его чужой державы, оккупировавшей его чужой культуры, перед тем, как его благородное лицо покрыли чужие селения. Эта задача безумно трудна нужно отдать себе в этом отчёт. Но её необходимо решить, — или хотя бы начать решать на современном уровне крымоведения.

Для того чтобы получить достаточно полную картину страны и населявших её людей в XVIII веке, следовало бы начать с основной ячейки общества — семьи. Однако в этом столетии крымскотатарская семья оставалась в общих чертах той же, что и пятьсот лет до того. То есть в виде, описанном в V очерке предыдущего тома. Конечно, в духовном облике народа, в семейных традициях и обычаях появились некоторые новые черты, принесённые менявшимися временами<sup>1</sup>. И мы вернёмся к теме семьи, но уже в самом конце этого общего обзора. А вначале обратим взгляд на место обитания крымскотатарской семьи, на дом и селение, какими они стали за пролетевшие над Крымским ханством века.

<sup>1</sup> Их обнаружено крайне мало, что характерно именно для крымскотатарского народа: здесь «мы сталкиваемся с примером его необычайной стойкости, когда выработавшиеся в совершенно других условиях обычаи переносятся в новую среду и бытуют здесь целые столетия» (Бонч-Осмоловский, 1925. С. 52). Поэтому читателя не должно удивлять, что при рассмотрении материальной и духовной культуры коренного населения Крыма в XVIII столетии привлечён материал и следующего, XIX века. Автор был вынужден прибегать к такому приёму лишь в случаях, когда это требовалось для более полного освещения отдельных сюжетов.

## 1. Материальная культура крымских селений

Я увожу к отверженным селеньям,  
Я увожу сквозь вековечный стон,  
Я увожу к погибшим поколениям.

*Данте. Божественная комедия*

## а) Дом, маалле, село

Говорить о каком-то типичном для крымских татар жилище бессмысленно. Такая культурная реальность попросту непрелставима. Здесь никогда не было места типизации, стандарту. Это поразительно, хотя, не видя ничего, кроме Крыма с его привычным природным и культурным разнообразием, осознать всю уникальность этого феномена невозможно.

Для этого не мешает выехать куда-нибудь подальше, например, в Заонежье или Архангельскую область. Там на территории, в десятки и сотни раз превышающей площадь Крыма, многие тысячи старых рубленых изб не отличаются друг от друга ничем, кроме мелких деталей. Кажется, что десятки тысяч домов строила одна бригада, причём по единому, типовому проекту. Там можно проспать в стучащем вагоне ночь и, проснувшись, увидеть буквально ту же деревню, что проплыла назад вчера... Большой русский писатель и знаток быта России Б.К. Зайцев, зайдя как-то в подмосковную избу, не мог не заметить, что она лишь «опрятней и больше тульских и калужских», а в общем-то «всё обычное, знакомое» («Странное происшествие»). То есть не только Север, но и всё огромное Нечерноземье являло собой в смысле народной архитектуры единый, монотипный стереотип.

Дворянские усадьбы-дома не были в этом смысле исключением. Все они строились конечно, по иному, чем крестьянская изба, но тоже как бы по единому проекту. Это был типовой набор стандартных архитектурных тел: двухсветный «зал» с колоннами, высотой в два этажных пролёта, к которому примыкали небольшие хозяйские и гостевые комнаты, часть из которых имела выход на балкон, занимавший центральную треть фасада на уровне второго этажа. В технике строительства царил тот же стандарт: «Задумавши строиться, ставили продолговатый сруб вроде казарм, разделяли его внутри перегородками на каморки, проконопачивали стены мхом, покрывали тесовой крышей и в этом неприхотливом помещении ютились, как могли... Само собой разумеется, что у помещиков побогаче дома строились обширнее и прочнее, но общий тип построек был одинаков» (*Салтыков-Щедрин*, 1988. Т. X. С. 380).

И последнее замечание на эту тему, сделанное иностранцем с более отстранённым, свежим взглядом: «Все эти дороги сходны между собой, и местность вдоль них всегда одинаковая. Две шеренги деревянных домиков, кое-как украшенных цветной резьбой и неизменно глядящих фасадом на улицу, словно солдаты по команде „на караул“; сбоку каждого домика — длинная постройка вроде крытого двора или же трёхстенного сарая; таковы русские селенья! Всегда и всюду пораждает это единообразие! В иных губерниях хижини строятся из глины, но и тогда

видом своим, ещё более нищенским, они всё равно походят на деревянные избы... Единообразие — верховное божество в России...» (*Кюстин*, 2008. С. 501—502).

Для Крыма такая унификация, слава Богу, невозможна — для этого у него слишком богатая и разнообразная этническая и культурная история, слишком богатая и разнообразная природа, а также выбор строительного материала. Именно поэтому, как отмечают исследователи, «при изучении крымского татарского жилья особенно резко заметен широчайший диапазон в технике, качестве и величине жилья. В каждом районе, каждом населённом пункте, будь то город или деревня, у моря, в степи, или в горах, — везде мы встречаем наличие различных типов жилья...» (*Pannonopt*, 1996. С. 2). Это слова видного историка архитектуры, которого, казалось бы, трудно поразить различиями во внешнем и внутреннем облике построек. Попробуем взглянуть в истоки этого феномена внимательнее.

В Крыму дома, как и сами селения, со времени своего возникновения резко отличались друг от друга в зависимости от того, кто в них жил, потомки какого племени или народа. Ведь известны районы, населённые предками генуэзцев или греков; были обширные степные равнины, куда когда-то пришли кочевые сыны азиатских пустынь, тогда как некоторые ущелья сохранили под кронами вековых дубов и орехов старинные селенья, основанные некогда северянами-готами. Каким же образом жилища этих регионов Крыма могли напоминать друг друга, если их строили люди, с молоком матери впитавшие именно свои культурные традиции, свои понятия о красоте дома и двора?

Кроме того, на облик сёл влияла окружающая среда. В Крыму же нет двух похожих ландшафтов, давно замечено, что облик селения зависел от того, где оно находилось, в каком природно-климатическом регионе полуострова: степном, предгорном, горном или южнобережном.

Но имелись и такие черты, которые не разделяли, а объединяли все типы крымскотатарского жилища. Источник этих общих черт — довольно позднего происхождения, и связан он исключительно с общекультурным обликом народа, ставшего единым. Другими словами, это все те общие свойства быта, духовной и материальной культуры, что сложились лишь после того, как уже можно было говорить не об отдельных переселенческих или аборигенных племенах и группах, а о целостном крымскотатарском народе. То есть после завершения, хотя бы в общих чертах, процесса его сложения (синтеза) из десятков составляющих. Или, говоря конкретнее, в эпоху, когда главные этнокультурные черты молодого народа установились, когда процесс этногенеза прошёл первые, основные свои стадии.

Этих общих, или единых в этнокультурном отношении деталей и характеристик было сравнительно немного. Но учитывая их значимость как историко-культурных показателей, очень важно и интересно попытаться их установить.

Главная из этих черт — отключённость, изолированность домов от улицы. Хозяин нового участка, возводя дом, никак не подстраивался под уже сложившиеся особенности именно этой, а не соседней улицы. «Архитектурное решение улицы расположенными с двух сторон интересными, останавливающими внимание объектами, мало заботит строителя» (*Pannonopt*, 1996. С. 3). Возможно, в этой особенности отразилась такая черта крымскотатарской этнопсихологии, как нежелание личности подстраиваться под шаблоны большинства, полное отсутствие стадного коллективизма.

Конечно, в этой общекрымской черте сельской архитектуры сказалась и такая конкретная особенность крымскотатарской семьи, как относительная её замкнутость, происходившая, конечно, от самодостаточности и независимости домов-хозяйств, характерных для открытого общества. Человеку начала XXI века не совсем понятно: разве можно жить иначе, чем отдельной семьёй, достаточно изолированной от окружающего мира, застрахованной от его непрошеного вмешательства? При этом он нередко забывает, что такая независимость далась не даром, а трудами многих поколений его предков, мало-помалу продвигавших общество к узаконенному правопорядку и демократии. В XVIII же веке большинству народов, в отличие от крымскотатарского, до этого было ещё далеко. В России, например, село той поры состояло из бесправных рабов, которые просто не выжили бы без совместного, коллективного сопротивления суровой природе и таким же законам этой страны.

В Крыму всё было по-другому. Крымские татары были свободными людьми свободной земли, они пользовались человеческими правами в не меньшей, а то и в большей степени, чем крымское население тех лет, когда писалась эта книга. Им не нужна была поддержка соседей, квартала или села для защиты собственных прав, точно так же, как ныне в случае их нарушения мы обращаемся за помощью не к соседям по лестничной площадке, а в иные инстанции, вплоть до международных. Поэтому, если бы можно было, пользуясь жаргоном XX века, сравнить старую российскую деревню с коммуналкой (причём, добровольной), то крымскотатарское село предстало бы уже в XVIII веке в виде большого кооперативного дома с раздельными местами обитания.

Естественно, составляющие его «квартиры» были изолированы не хуже, чем нынешние. Именно эта черта прежде всего поражала путешественников, прибывших в Крым из «страны коммуналок» — из России. В крымском селе, то есть там, где площадь позволяла иметь двор, они были окружены высокими заборами, за которые попасть можно было через калитку, как через дверь в современной квартире. Фасад дома, то есть домовая стена с окнами, выходил на двор. Пространство двора было, с одной стороны, частью дома (как правило, он мостился каменными плитами или вымазывался глиной так же, как и первое помещение уже внутри дома), а с другой — он был преддверием улицы, буферным пространством, смягчающим резкий переход от жилой сферы в нежилую, общественную. Там, где такой возможности не было (на Южном берегу дворов практически не имелось), входа в дом непосредственно с улицы всё равно не было, к нему вёл узкий проход, часто вдоль стены соседнего дома. Не было с уличной стороны и окон, причём во всех зонах расселения крымцев.

Дома-дворы города или крупных сёл складывались в маалле (кварталы, приходы мечетей). Это были общины, топографически чётко очерченные границами, проходившими вдоль улиц. Практически повсюду каждая маалле имела свою мечеть и мектеб для своих детей. Границы таких общин могли быть довольно прихотливыми, особенно в горных или южнобережных городах и сёлах. Маалле более или менее правильных очертаний можно было обнаружить в степной зоне, например, в Гёзлёве. Здесь некоторые кварталы имели прямоугольную форму, образованную четырьмя сторонами площади, на которую (то есть внутри которой) выходили калитки дворов. Бывало, что и вход с улицы на такую зарос-

шую по краям травой площадь был один, что превращало её в огромный двор с несколькими десятками домов по периметру. Организующим центром такого квартала могла быть мечеть, а при её отсутствии — чешме, старинное дюрбе, любой иной старый или новый памятник материальной культуры.

Сама система маалле играла важную роль не только в административно-хозяйственной, духовно-религиозной или просвещенческой организации городской (сельской) жизни. Она имела большое значение для поддержания морального климата на достаточно высоком уровне. Ведь все жители одной маалле знали друг друга с детства, это было почти семейное сообщество близких соседей, вся жизнь которого проходила на глазах у всех. И здесь было нелегко отважиться на нарушение традиций, неписаных норм поведения, не говоря уже о конкретных правилах адета или шариата. Молодые люди, которые повсюду настроены радикальнее своих родителей, проживших долгую жизнь, должны были смирять свои «ниспровергательские» настроения, брать пример со старших, безусловно следовать традиционной морали, чтить стариков, помогать немощным, уважать женщину и так далее, за что следовало поощрение в виде всеобщего уважения и даже авторитета среди членов маалле.

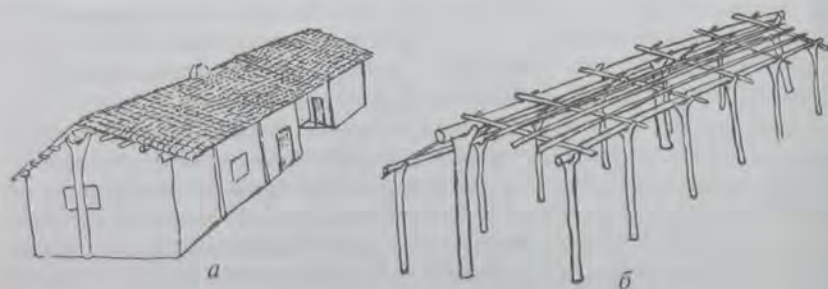
В противном случае нарушитель спокойствия или норм общежития рисковал оказаться в зоне всеобщего осуждения и (в крайних случаях) подвергался изгнанию. Великий социолог первой половины XX в. Питирим Сорокин так оценивал этот процесс: «Каждая социальная группа всегда имеет в своей среде „инакомыслящих“... но не все инакомыслящие реализуют свои противообщественные акты должного поведения. Только кары и награды могут остановить их от исполнения актов, требуемых их моральным сознанием. Следовательно, внутригрупповая роль кар и наград заключается в создании, сохранении и укреплении внутригрупповой солидарности, в недопущении её распада, в подавлении взаимной борьбы и в приведении её антагонистических элементов к общему моральному единству...» (Сорокин, 1914. С. 226, 232).

Таким образом, именно благодаря системе больших и малых маалле в народе сохранялся традиционно высокий уровень общественной нравственности. Причём без особого нажима, без использования каких-то ограничивающих личную свободу, калечаших психику, жёстких полицейских мер насилия над личностью. Эта структура была в социальном и нравственном смысле оптимальной, по крайней мере, нормальной. Понятно, что крымское маалле не возникло само собой, его из века в век создавали люди. А оно из века в век создавало нормальных людей.

Что же отличало жилища человека в трёх упомянутых регионах Крыма?

Вначале бросим взгляд на степь.

Человеку, как обитавшему здесь, что называется, испокон веку, так и прибывшему позднее, была предоставлена полная свобода выбора того, в какую сторону будет обращён выход из будущего жилья, куда выгоднее обратить глухую, то есть без окон и дверей стену, с какой стороны располагать двор и загон для скота, и так далее. Этот выбор был сделан: степные жилища, в отличие от некоторых горных или прибрежных, почти всегда чётко ориентированы тыльной, глухой стороной на север, в расчёте на почти непрерывные ледяные зимние ветры, от которых здесь не было и нет никакой защиты. Из того же расчёта дома степного



Степной дом в дер. Уйшунь близ Карасубазара. Из: Куфтин, 1925.  
а) внешний вид дома, б) деревянный остов дома

типа, даже сравнительно богатые, то есть большой площади, делались приземистыми, а при малейшей неровности ландшафта их строили с южной стороны невысоких степных холмов.

По той же причине переднюю, то есть обращённую на юг (юго-восток, юго-запад) стену делали тоньше задней и боковых. Если эти последние возводились из массивного самана (о нём см. ниже), то южная стена представляла собой плетёнку, оштукатуренную глиной с соломой и нередко побелённую также светлой жирной глиной. Материалом для плетёнок служили лоза, прутья, тонкие жерди, по возможности, нарезанные в зарослях фундука. Все они назывались одним словом — *чубуки*. Такие стены делались в расчёте на поглощение солнечных лучей даже зимой и на отдачу впитанного, накопленного таким образом тепла внутрь. Причём эта отдача продолжалась и на протяжении какого-то времени после заката солнца.

Для основных же, капитальных стен использовали иной материал. Чаще всего это был саман, то есть сырой (необожжённый) кирпич из смеси глины с большим количеством соломы и небольшим — навоза. Поэтому он получался лёгким, прочным и тёплым (иногда его называли «воздушным» или *калыбом*). Впрочем, в таких степных районах, как нынешние Евпаторийский, Сакский, Керченский или Феодосийский, ещё большее распространение получил местный строительный камень-ракушечник. Здесь использовались и пилёные квадраты этого камня, и «дикарь» (небольшие, собранные с поверхности почвы или выкопанные, но всегда необработанные куски этого камня). И лишь в крайне редких случаях можно было обнаружить домики, построенные по старинной технологии, целиком из плетней, закреплённых в каркасе из более или менее толстых жердей (брёвен, бруса) и оштукатуренных с обеих сторон толстым слоем глины.

Характерны для степных деревень и высокие заборы, также дававшие защиту от ветра. Строили их из того же материала, что и дом, но не штукатурили, так что они сохраняли даже внешне единство с окружающей природой. Нередко эти заборы-стены сверху покрывали черепицей, а чаще — её обломками, для того чтобы избежать их размывания осенними ливнями. С той же целью защиты от дождей иногда делались навесы над выходами из жилых строений и летних кухонь. Сравнительно небольшие и малочисленные окна, а также низкие двери

с высокими порогами отвечали упомянутой задаче сохранения внутри дома комфортной температуры. Причём не только осенью и зимой. И летом в комнатах, благодаря узким и низким дверным и оконным проёмам, царил прохлад, столь драгоценная посреди бескрайней раскалённой степи.

Сами дома строились всегда одноэтажными. Причина уже объяснялась: чтобы площадь обращённых к ветрам стен была как можно меньшей. А располагали строения в глубине двора, то есть вдаль от ворот. К домам, как правило, пристраивались сараи для скота. Крыши делались двускатными, они покрывались черепицей общего для всего огромного Средиземно-Черноморского региона желобчатого типа (плоской черепицы не вырабатывалось вообще). Ну а там, где не было выхода гончарных глин (то есть черепица была привозной и более дорогой), ею крыли дома лишь зажиточные хозяева. Простые люди использовали для этой цели обычный глинозём в смеси с соломой и навозом. Такая технология была гораздо сложнее, но крыша обходилась дешёво.

Для сборки двускатной крыши вначале устанавливали четыре угловых столба, между которыми выкладывались каменные или калыбные стены. На угловые столбы клали продольные брёвна-*аркалыки*, к которым крепились стропила (*кериште* или *сайгак*), державшие коньковый брус. На выступающих нижних концах стропил крепили длинные, параллельные стенам жерди-*сачаклыки*, которые образовывали вместе с коньковым брусом своеобразные рамы, в которых было удобно крепить плетёную из веток, шитовую основу кровли. Эту плетёнку покрывали смесью рубленой соломы с навозом и глиной (землёй). Такой утепляющий и защищающий от дождевых вод слой был довольно толстым, его ещё и утрамбовывали, иногда покрывая дополнительно соломой (камышом). И уже потом сверху укладывали черепицу. Часто в небогатых домах потолок не делался вообще, его заменяла нижняя сторона крыши, покрытая толстым слоем самана или смесью глины с илом, остающейся после весенних паводковых ручьёв.

Края крыши старались вывести подальше за уровень стен, чтобы дождь не касался прочных, но боящихся влаги саманных кирпичей. Вторая функция широкого свеса крыши — давать тень, особенно ценимую в знойной степи. Такой необычный для большинства стран Европы свес крыши (*сачак*) достигал ширины 0,8–1 м. Иногда он был так широк, что превращался в настоящий навес. В этом



Типичный свес крыши городского дома.  
Фото из журнала *Qasevet*

случае края его держащих балок опирались на длинный, идущий по периметру навеса *разан*, то есть брус, лежавший на легких колонках, иногда с резными капителями (*башлык*).

Двери изготавливали из досок и снабжали их коваными петлями, ручками, запорами и пробоями, часто украшенными просечным орнаментом или чеканкой. Лишь в зажиточных, в основном городских домах дверные полотна делались наборными, филёночными, но тогда заказы на тонкую столярную работу одной дверью не ограничивались: стены украшались карнизами, точёными полуколонками, подоконной резной рустовкой. Дверь открывалась *внутрь* — это было почти правилом для всех, богатых ли, бедных жилищ, в большинстве архитектурных регионов Крыма. Эта особенность вызывалась частыми и обильными снегопадами, заносившими дворы и не дававшими возможности открыть дверь наружу. Вторая такая общая черта — высокий порог калитки. Третья — резная деревянная розетка с металлическим кольцом (для стука) на её полотне.

Окна всё лето стояли открытыми. Естественно, по ночам в комнатах становилось свежо. Но это соображение было второстепенным в Крыму, где основное внимание уделялось чистоте воздуха<sup>1</sup>. На зиму же в рамы вставлялось от 3 до 5 реек, исполнявших роль переплётов. С внутренней стороны их заклеивали промасленной бумагой или затягивали тонко выскобленным бычьим пузырьём. Стенной просвет для окон, а также и для входных дверей, оставлялся небольшим, сечением приблизительно 60 на 80 см. Как уже говорилось, смысл был в том, чтобы летом сохранить прохладу, а зимой — тепло. Пороги делались высокими, до 30 см, вроде флотских комингсов, и с той же целью: для лучшей изоляции жилого помещения от внешней среды (Подр. см. в: *Жадовский*, 1859. С. 249; *Шатилов*, 1857. С. 24).

Побелка дома к Крыму осуществлялась вне зависимости от семейного достатка. Для этого использовалась известь (мел — никогда). Её покупали или выменивали на шерсть, зерно или брынзу, причём столько, сколько требовалось — на эту трату шли и беднейшие хозяева. Объясняется это просто: для крымского татарина чисто выбелить дом, другие подворные строения было издавна делом чести, поскольку с белыми стенами связывалось понятие чистоты — один из важнейших принципов в духовном мире крымцев. Поэтому степные (и предгорные) крымскотатарские деревни были видны за много километров, приветливо белея своими ослепительными стенами на фоне степи, серовато-бурой летом и осенью и зелёной по весне.

Так строили дома крестьяне, в том числе и довольно зажиточные, просто у более богатых площадь дома была побольше, и планировка несколько иная (с женской половиной и гостевой пристройкой). Обычно вход в дом устраивался примерно посередине фасадной (длинной южной) стены. Он вёл в небольшой коридор, в котором слева был очаг с вытяжной трубой, которую могло заменить

<sup>1</sup> Это пристрастие — одна из многих устойчивых этнических черт крымских татар. Шведский этнограф, посетивший в XIX в. бахчисарайский домик, где единственное окно было постоянно открытым, записал: «Больше всего крымский татарин любит воздух, свежий воздух — это его старая, вековая жизненная привычка, перенесённая в Крым из степей Средней Азии. Она не исчезла и сохранится ещё очень долго... Оттого и чувствуешь себя в Крыму столь неописуемо хорошо» (*Stuxberg*, 1897. С. 59–60).



Типы калиток городских дворов.  
Дверные кольца в наружных калитках.  
Фото из журнала *Nenke Can*

отверстие в крыше, обычно закрытое. Очаг представлял собой обычную плиту с поддувалом (*King*, 1788. С. 226), лишь в горах он имел форму камина. Плита и прилегавшие плоскости заботливо украшались, часто расписывались масляной краской. По обе стороны очага устраивались деревянные шкафчики. Один из них, *долаф*, служил для хранения обычной посуды, другой — *су-долаф* или *хамам* — для *кумганов* и других сосудов, используемых при омовении. Верхняя, плоская часть этих шкафчиков *мусандра* иногда имела продолжение в обе стороны в виде деревянных полок, носивших то же имя и служивших для хранения фруктов, сушёных овощей и тому подобных продуктов.

За очагом, слева же, дверь вела в *конак* или *оду* («лучшая», «заветная») — у небогатых татар эта комната была и единственной. При этом постели, очевидно, из соображений нравственности или застенчивости отделялись друг от друга пологамми, иногда замечательно красивыми, в зажиточных домах расшитыми золотыми или серебряными нитями (*Remy*, 1872. С. 68). Передвижной мебели не было вовсе, за исключением *курсе* — небольшого широкого табурета (в зажиточных домах его заменял тонкой работы инкрустированный столик *сафра*), на который во время обеда ставился *синне* (огромный круглый медный поднос) с едой и напитками.

После обеда, обычно происходившего посреди комнаты, прямо перед входной дверью, курсе убирали в сторону или подвешивали на стену. Вдоль верхней части стен, почти под крышей, шли длинные полки для посуды и других предметов обихода. Ниже симметрично развешивались на висящих вдоль стен шнурах юзбе-зы (вышитые полотенца), платки, женские *кюшаки* (расшитые пояса), выходные платья. Слева от входа в комнату находилась лежанка высотой около 0,7–1,0 м, сквозь которую проходила труба от очага в коридоре. За нею иногда устраивалась небольшая расчитанная на одного человека каморка.

Из домашней утвари назовём прежде всего дюжину *фынджанов* (крошечных чашечек для кофе) — иметь их считалось делом чести дома. На почётном месте стояла *джезве*: пить кофе, и даже регулярно, все могли себе позволить. Далее, вдоль стен стояли кофемолка, медные чеканные миски, умывальники, узкогорлые кувшины и *кумганы* (большие кувшины с крышками), миски и чашки для еды, отдельно — деревянная подставка для трубок (ею пользовались постоянно из опасения, чтобы не загорелась циновка на полу).

Планировка сохранялась традиционная для степи: то есть ряд комнат, вытянутых в обе стороны, влево и вправо от небольшого входного коридорчика, разделявшего мужскую и женскую половины. Комнат могло быть от 2 до 4–5 и более, это зависело от зажиточности хозяина, как и вообще наличие отдельной гостиной комнаты *тоор*. Зависимость от достатка ещё более бросалась в глаза при сравнении интерьеров и убранства комнат. В большинстве степных жилищ не было вообще никакой орнаментовки стен и потолка. Оштукатуренные, они были чисто белого цвета.

Пол тщательно вымазывался глиной с небольшим добавлением навоза, иногда устилался поверх этого сухого и прочного слоя свежей травой, камышовыми циновками или благоухавшим степными ароматами сеном, но чаще — *киизом*, то есть толстым войлоком коричневого или бурого цвета. Поверх него вдоль стен иногда шла полоса *келима*, пёстрого безворсового тканого ковра, обычно контрастной расцветки. На келим укладывались подушки двух видов — плоские для сидения и более объёмные, более тяжёлые, типа *астых*, для облокачивания (*Данилевский*, 1850. С. 211). Толщина последних была от 30 до 60 см; они были украшены правильными геометрическими узорами чаще всего кофейного и белого цветов (*Шатилов*, 1857. С. 27). Набивали астыхи обычно соломой — она придавала им необходимую для опоры жёсткость.

Меблировка не изменилась с XIII–XV вв., то есть осталась крайне сдержанной, скупой, напоминающей в этом смысле японскую. Обязателен был низкий (6–12 см) круглый столик-*кьона* (другое название *софра*), на который ставили еду или кофе. Иногда имелись и более высокие (40–50 см) многоугольные столики *курсу*, как правило, резные или инкрустированные; на них ели редко, в основном, они предназначались для горячих и холодных напитков, настольных игр. В жилой комнате имелся диван (*сет*), похожий на широкий и низкий (12–20 см), жёсткий топчан, на нём сидеть не полагалось, он служил для складывания спальных принадлежностей (одеяла, кошмы, подушки и пр.) на день. Имелся минимум один *сандык* (сундук), обычно сделанный из ореха и часто весьма красивый (отделка инкрустацией или резьбой). В зажиточных и богатых домах меблировка имела некоторые отличия, но не в культурном, а в количественном плане: просто



Столик-курс  
(его выносили и во двор).  
Европейская гравюра 1857 г.  
Из собрания музея Ларишес

было несколько большим числом узорчатых и однотонных кошем, одеял, подушек, ковров (*Jones*, 1827. P. 280). В целом, внутреннее убранство крымскотатарского дома (не только в степи) должно было соответствовать неким эстетическим и потребительски-бытовым принципам. Как отмечает немецкий этнограф, их было два: изящество или изысканность (*die Zierlichkeit*) и комфорт, удобство для обитателей (*Büsching*, 1785. S. 323).

Второе важное различие: потолок в богатых домах делался деревянный, а не оштукатуренный, как в большинстве степных жилищ. На нём сохранялся традиционный узор, как утверждают, ведущий своё происхождение от формы центрального отверстия кочевнической юрты. Это деревянная резная розетка в виде круга с зубчатыми краями или многоугольника сложного геометрического построения. Она помещалась в центре потолочной планки. Все деревянные лучами отходили деревянные профилированные планки. Все деревянные внутренние украшения покрывались масляной краской. Поверх такого фона иногда наносился растительный орнамент. В гостиных и жилых комнатах часто устраивались ниши-*кьамере*, в которых могли помещаться полка с книгами, вазами, в них также складывались ковры.

В немногих сохранившихся домах такого типа деревянный резной потолок чудом уцелел до наших дней. Один из них — это так называемый «Дом Бабовича»





Деревянный потолок с резными украшениями; на предпотолочной полосе стен — изображения окон с цветными стёклами. Из: *Куфтин, 1925*

в Евпатории, на ул. Матвеева № 77, второй — «Дом Бакши» в Карасубазаре, о котором стоит сказать особо. Потолок здесь был обрамлен резным, частично раскрашенным карнизом, а посреди плоскости была помещена шестиконечная деревянная красно-белая звезда. В её центре находился резной плафон «с прекрасным рельефным геометрическим орнаментом и замечательной живописью» (*Засыпкин, 1927. С. 28*). Этот же исследователь утверждает, что форма и цветовое решение центральной розетки, и в особенности плафона — весьма древнего происхождения, и где искать его прообраз, неизвестно, поскольку такие же детали потолка можно встретить в Средней Азии, Персии и даже Испании (там же).

К концу XVIII в. давно исчезли в степи полуземлянки, столь распространённые среди не самых богатых переселенцев до и после образования Крымского ханства<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Лишь однажды упоминаются подобные жилища в Уч-Абламлар (ныне Сакский район), где французский путешественник обнаружил, что «жилища татар находятся в земле, видны только одни крыши, большей частью крытые сеном или землёй с отверстием наверху для дыма...» (*Людольф, 1892. С. 165*). Но автор посетил Крым в 1787 г., сразу после его аннексии, так что эти землянки, возможно, были открыты на месте домов, сожжённых русскими войсками. Во всяком случае, побывавший в этой крупной деревне через всего лишь несколько лет другой путешественник увидел вместо полуземлянок вполне обычные постройки (*Сумароков, 1803. Т. I. С. 106*). Вновь появились жилища такого типа примерно через полвека после аннексии, очевидно, в результате всеобщего обеднения, обезземеливания, голода, демографической деградации, неизбежных в режиме колониального ограбления аборигенов. В тех же округах Евпатории и Сак люди стали закапываться в землю, как и раньше «учась этому у хомяков и зайцев, этот выход подсказывал им инстинкт самосохранения. Зато они никогда не страдали от бича злешних мест — перемещающейся лихорадки, жертвами которой становились колонисты, чьи прекрасные дома поднимались на возвышенных местах» (*Spenger, 1836. S. 162*).



Дом Бабовича в Гёзлёве, вид со двора. Фото начала XX в. Из коллекции издательства «Тезис»

Постройка дома в степи, где нет ни воды, ни камня, была сложной задачей. Обычно калыб готовили четвером; производительность труда такой бригады была около 1 000 штук кирпича в день (*Шатилов, 1857. С. 24*). Перед тем, как приступить к работе, копали колодец, а все остальные исходные материалы были под рукой. Лопатами вскапывали землю глубиной на 1–2 штыка, получалась округлая или эллипсовидная плоская яма. В неё вливали воду, сыпали глину и начинали водить кругами лошадь или осла, подбрасывая соломой или полову и навоз. Иногда получившийся вязкий раствор выдерживали пару дней, а чаще сразу набивали в смоченные водой формы, то есть плоские ящики, которые для ускорения процесса делали двойными, тройными и так далее. Полученные таким образом крупные кирпичи (размеры: 1 фут × 8 дюймов × 3 дюйма, что равно 31 см × 20 см × 7,5 см) рядами раскладывались на земле для просушки на солнце в течение 4–5 и более дней. После этого из них на голой земле, практически без фундамента (на глубину в пол-штыка срезался лишь дерн) возводили стены на глиняном растворе; глиной же стены штукатурились снаружи и внутри.

Ещё проще возводился баз — степной стан для скота. Для этого вначале на голую землю длинной, замкнутой в плане полосой укладывался слой курая или другого сухого сорняка, который поливался полужидким глиняным раствором. Затем операция повторялась, и так до тех пор, пока получившийся плотный вал не достигал в высоту метра, часто — и ниже. Такой баз был достаточно прочен и не требовал ремонта на протяжении всего весенне-летнего сезона. Заборы вокруг просторных степных дворов изредка строили в такой же технике, что и дома (обычно из камня или старого калыба); их протяжённость часто достигала многих десятков метров.

Наряду с описанным, довольно поздним типом степного жилища ещё встречались древние конструкции, сохранившиеся от переходного периода (то есть периода между полуземлянками и домами на поверхности земли). Имеются в виду конструкции кровли, опирающейся главным образом не на стены (в ту пору почти повсюду плетнёвые с глиняной обмазкой, они такой тяжести нести не могли), а на два вертикальных столба с развилкой в верхней части, на которые укладывалась подкосьная слегка *омурга*. Иногда для прочности центральную часть

омурги опирали на ещё два столба с развилками, устанавливавшиеся с внутренней стороны торцовых стен и параллельные внешним столбам. Тонкие стропила укладывали на омургу, нижним концом опирая их на тонкие стойки, которые иногда врезались в идущие в стенах горизонтальные слезы, что в комплексе образовывало деревянный каркас дома (Куфтин, 1925. С. 29). Казалось бы, зыбкое сооружение, но заметил наблюдатель, «как ни просто, ни незатейливо строятся татарские дома, а со всем тем они простаивают без починок 20 и более лет» (Дамбровский, 1850. С. 474).

Отапливался такой дом печью с длинным теплопроводом-лежанкой. Вообще, в степи, где запасы топлива ограничены, печи были гораздо продуманнее, экономичнее устроены, чем у горных татар, где сжигалась огромная масса хвороста и дров, а в домах жарко не было, зато воздух, поступающий взамен ушедшего буквально «с дымом», был всегда свеж. Но в целом любые татарские печи были «превосходно приспособлены для накопления, сохранения и распространения тепла» — отмечала путница, прибывшая из Англии, где, как известно, печные устройства крайне неэкономичны (Holderness, 1821, P. 28). Собственно, почти во всей Западной Европе у открытых очагов типа камина было тепло лишь тогда, когда они топились, в остальное же время даже у самых богатых хозяев было довольно неуютно<sup>1</sup>.

Крымская же лежанка представляла собой почти идеальную обогревательную систему. Топка её находилась в прихожей, так что в жилой комнате не было даже запаха дыма. Далее, протяжённая, коленчатая система огневого хода в толще горизонтальной части лежанки позволяла «забрать» от быстро сгоравшего не слишком обильного топлива (как правило, это был кизяк или даже солома) максимум жара и долго его удерживала. Функциональна была лежанка и тем, что вторично использовала уже отработанное тепло, поскольку над топкой в прихожей-кухне готовили пищу. Поэтому вполне справедливо замечание, что до изобретения центрального отопления, то есть в течение многих веков, эта система обогрева помещений была едва ли не самой совершенной в мире.

Недаром она покорила всю Азию, имея своим прообразом знаменитый древний китайский *кан*, который заслуженно считается одним из самых гениальных изобретений человечества (Кульпин, 1998. С. 57). Для более крупных, обществен-

<sup>1</sup> Для сравнения стоит упомянуть и отопление у северных соседей того же периода. Подавляющее число русских изб топились тогда по-чёрному, то есть печи не имели труб, и дым выходил в двери, отчего эта обогревательная система напоминала пещерную. Двери старались закрыть как можно быстрее, чтобы не терять драгоценные калории, поэтому дыма не было лишь в метре-полтора над полом. Но, как утверждали современники, и это имело свой смысл — нам ныне трудно понять, какой именно. Избы были маленькими, от 6 до 9 аршин стена, а семьи — большими. Поэтому, как отмечали современники, «ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стопами этого замученного хозяйственностью люда... Хорошо ещё, что жилая изба топится „по-чёрному“; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым проглотит скопившиеся миазмы (то есть зловоние. — В.В.). Этот дым выедаёт глаза, шекочет ноздри» (Достоевский, 1988. Т. IX. С. 115). «Дольше 10 минут стоять нельзя... [от дыма нередко] крестьяне слепнут» (Семёнова-Тянь-Шанская, 1914. С. 79–80).



Печь-фурун, расположенная вне дома.  
Фото из журнала *Qasevet*

ных помещений, например караван-сараев или в покоях зажиточных татар, отопление устраивалось под полом (Spuler, 1943, S. 433–434). Такая система («тёплый пол»), известная со времён Орды, а в годы колонизации прочно забытая, ныне снова возвращается в Крым. Правда, уже в качестве «сверхсовременной» и заимствованной, понятно, на Западе...

Во дворе устраивался открытый очаг, как правило, под навесом, защищавшим хозяйку от солнца и дождя. Клали во дворах и настоящие подовые печи, там и пищу готовили, и лепёшки пекли. Эти *фуруны*, известные в Крыму с глубокой древности, иногда пристраивали к стене жилого дома, встречались они и в задних комнатах на втором этаже двухэтажных домов (Ай-Серез, Ворон). Всего в таком доме могло быть до пяти печей: три внизу и две наверху (Дубровский, 1914. С. 18). Отдельных кухонь то есть, помещений, предназначенных исключительно для приготовления пищи, в крымскотатарских жилищах не было ни в степном, ни в других регионах.

В качестве топлива для обогрева степного дома использовался кизяк; это был не единственный, но главный вид топлива. Кизяк имелся трёх видов:

- 1) Обыкновенный коровий. Его вырезали квадратами из подстилки летних загонных в степи (вне селений), куда скот загоняли на ночь, или стационарных коровников и конюшен, где зимой скот стоял круглые сутки. Для вырезания использовали специально изготовленные топоры или острые прямоугольные лопаты.
- 2) Овечий. Этот сорт считался лучшим, так как давал мало дыма и почти не оставлял золы. Его сгребали вместе с подстилкой кошар или овечьих загонных,

сметали с утопанных дворовых площадок и т. д. Уже в XIX в. было установлено, что этот вид топлива более калориен, чем дерево (например, сухой крымский бук), но выгодно отличается от последнего тем, что почти не даёт дыма (*Шатлов*, 1857. С. 31).

3) Джापена. Это — сушёный навоз в виде лепёшек, почти без какой-либо примеси, собираемый вручную, в течение всего пастбищного сезона, по полям и дорогам.

Кизяк заготавливали весной, тотчас после окончания ярового сева. Вырезанные кирпичи свежего кизяка укладывали в *черена* (невысокие штабеля) на открытом месте и с просветами (в шахматном порядке) так, чтобы между рядами свободно проходил ветер. Сверху черена накрывали соломой, придавленной камнями. После многодневной просушки, когда кизяк полностью высохал, становился лёгким и ломким на ощупь, его складывали в *серпаны*, то есть плотные, без просветов, кубические штабеля уже большего размера: 2–3 м в ширину, высоту и длину.

Серпаны должны были оставаться абсолютно сухими до будущей весны, поэтому их сверху покрывали толстым слоем соломы или травы, а с боковых сторон обмазывали свежим навозом или попросту облепляли лепёшками джапены. Этого было достаточно, чтобы некоторые серпаны могли стоять по несколько лет совершенно сухими. Остаётся сказать, что такой вид топлива был общедоступен. Даже те, у кого навоза от собственного скота оказывалось недостаточно для круглогодичного огня в очаге, мог собирать джапену в нужном количестве (этим нужным делом занимались только женщины и дети).

Были и дополнительные виды топлива, которые использовались для приготовления пищи и хлеба в основном летом, а зимой — когда нужно было сварить кофе или чай для гостя, а печь уже протоплена. К такому топливу относились некоторые виды мощного крымского бурьяна, более похожего на кустарник, чем на однолетнюю траву (*камгак*, *курай*), а также солома. Золу обычно свозили, чистоты ради, в определённое место за деревней, но иногда её помещали и прямо в центре (Вадзинская, 1914. С. 10).

Легко понять, что даже в новых селениях уже через несколько лет интенсивного сжигания кизяка и курая такие зольные кучи превращались в настоящие пригорки. Постепенно они зарастали травой, поднимаясь до высоты среднего дома. Это весьма чистое и ценное удобрение являлось общинной собственностью, и все попытки, к примеру, купить его, были бы тщетны. По вечерам обычно на эти холмики взбирались деревенские старики выкурить трубку-другую, очевидно, привлечённые видами, далеко открывавшимися с таких высот, редких в плоской, как стол, степи.

Для освещения комнат в степном доме использовались *чирахи*, то есть короткие и тонкие свечи, которые делали сами крестьяне. Для этого они руками ссучивали хлопковую вату в фитили, которые многократно макали в расплавленный бараний жир, каждый раз после этого остужая будущую свечу. Горели чирахи с треском, разбрызгивая искры и довольно тускло, но медленно, отчего и были практичнее северной лучины. Впрочем, крестьяне, жившие в сёлах, расположенных близ городов, иногда покупали и не чрезмерно дорогую продукцию свечных мастерских.

Для обеспечения хозяйства водой в степи был один путь: копать колодец. Это была сложнейшая задача, поскольку в степной части Крыма водные жилы редко подходят к поверхности почвы ближе, чем на полсотни метров. Поэтому в сёлах издревле ценили и уважали стариков-водознатцев, которые могли, пользуясь только им известными, но безупречными методами, указать лучшее место для будущего источника влаги, столь драгоценной в пересохшей степи. Чаще всего колодцы копали в редких балках, а поскольку ложбины и от ветров давали какое-то укрытие, и дождевую воду там легче было собирать, то неудивительно, что множество старых степных деревень располагалось именно в таких укромных местах. Чаще всего это были забытые пепелища старинных кочевых стоянок. После определения водного места за дело принимались мастера-копальщики, которым приходилось, работая простой лопатой, вести ход (и крепить его стенкой) на огромную, до 70 и даже 100 метров, глубину (*Домбровский*, 1850. С. 483).

Второй принцип выбора места для села — близость его к пахотным землям — стал решающим также довольно давно, ещё в период расширения товарного зернового земледелия. Такой выбор полностью сохранил своё значение и позже, вплоть до Нового времени. Действовал и обратный принцип, когда поля «продвигали» поближе к дому: «Татарин старается, чтобы поля его были возможно ближе к его месту жительства, подле самой деревни, хотя бы земли в этих местах были сильно истощены, а находящиеся версты за 3–4 и дальше лет 20 и более не тронуты плугом и принадлежали к числу отличнейших» (там же).

Отдельным видом степного жилища были заперекопские ногайские хижинки, стационарные и передвижные: «они сделаны из тонких дерев, обмазаны глиной, грязью или навозом и покрыты камышом... Однако летом и осенью татары в хижинах не остаются, ибо в апреле месяце откочёвывают с жёнами, детьми, семьёю, рабами и с кибитками. Эти кибитки круглы и покрыты войлоком, они едва могут вмещать в себе от четырёх до пяти человек. Татары укладывают всё на двуколёсные возы (то есть арбы — *В.В.*), запряжённые одним или двумя верблюдами, иногда волами» (*Броневский*, 1867. С. 337–338).

В горах, а отчасти и в предгорьях, участки были поменьше, чем в степи, но дворы (в отличие от селений Южного берега) ещё достаточно просторны для того, чтобы свободно разместить в них и дом, и сад с огородом, и дворовые постройки. Впрочем, последние почти полностью отсутствовали (о причинах см. ниже), а если и устраивался сарай для скота, то он стоял не отдельно, а тесно примыкая к дому (*Дубровский*, 1914. С. 4). Участки для постройки дома никогда не размечали на открытых местах, но непременно под сенью лесных деревьев, более того — «предпочтительно в тёмной и тенистой части леса» (*Famin*, 1846. Р. 29).

Двор, *азбар*, окружавший такой лесной дом, обычно состоял из двух частей, находившихся на разных уровнях (иначе на склоне было невозможно достичь горизонтальной планировки дворовой плоскости). При этом верхний двор, *уст-азбар*, чаще всего представлял собой небольшой сад из 5–10 фруктовых деревьев и беседки, увитой виноградом. Здесь часто устраивался колодец «и непременно — цветник, состоящий из нескольких кустов роз, ноготков, бальзаминов, пахучих васильков, канупера (душистое растение, похожее на крупную ромашку — *В.В.*), крученых панычей и тому подобного» (*Кандараки*, 1883. Т. II. С. 216).



Двухэтажный дом  
в горной местности.  
Фото из журнала *Qasevet*

Нижний двор, как правило, был плотно утрамбован и чисто выметен, иногда вымощен, зелени здесь почти не бывало, как не устраивались и помещения для скота: домашние животные в горных условиях круглый год находились в стаде, под надзором чабана, а по возвращении домой скотина ночевала под открытым небом. Эта схема была универсальна: в соответствии с ней был построен и столичный Хан-сарай. Внизу здесь также находились жилые и хозяйственные постройки, выше плоскими уступами шёл сад (*Паллас, 1793, С. 78*). Правда, уступов этих было целых четыре, но это объяснялось единственно большей площадью ханской «усадьбы», а не принципиальным отклонением от общей «горной» схемы.

Домá в горах отличались от степных прежде всего щедрым использованием в их постройке такого прекрасного материала, как дикий, необработанный камень, а также естественной защищенностью построек от ветров. Эти две причины, два фактора в совокупности, очевидно, сыграли основную роль в выборе местным населением именно двухэтажного дома, как наиболее удобного для отдельной семьи.

При этом нижний этаж строился из камня, уложенного на глиняном растворе. Стены обладали необычной — до метра! — мощностью, а в их толщу при постройке нередко закладывались, 2–3-метровой длины деревянные плахи *дуваркъушак*, отлично оберегавшие дом от землетрясений, не столь уж здесь редких. Иногда эти плахи соединялись в углах обычным для Крыма способом *макас* (шипцовый или «ножницы», он известен также в среднеазиатской, персидской и сельджукской строительных традициях).

Вход устраивался в средней части фасада. Из кухни-прихожей дверь вела в жилую комнату, расположенную, как и в степном доме, слева. Отличием было то, что справа имелось ещё одно помещение, неотапливаемое, предназначенное для мелкого домашнего скота. Иногда его использовали для других хозяйственных нужд — там устраивали малый очаг для варки *бекмеса*, ставили виноградный пресс *искендже*, просто хранили зерно, кадки с соленьями, подвешивали *какач* и иные виды вяленого мяса, держали сушёные фрукты и овощи в корзинах (тогда



Дом Рамазана Ахмета, село Биюк-Озенбаш.  
По: *Куфтин, 1925*

это помещение называли *магазан* — от арабского слова того же корня, означающего «склад») и так далее.

Второй этаж мог быть выстроен также из камня, но чаще его делали облегчённого типа *чит* («плетень»), то есть из веток, сплетённых вокруг вертикально установленных жердей и обмазанных толстым слоем глины. Не менее часто его собирали и целиком из дерева. При этом использовались брусья или, точнее, более плоские в сечении плахи, поставленные на ребро, но ни в коем случае *не круглые* (как севернее Перекопа) брёвна. Техника сборки таких срубов второго этажа, а также целиком деревянных срубов была различной. Кое-где рубили углы открытого типа, кое-где на углах брусья заводились в вертикально стоявшие мощные дубовые колонны уголкового сечения.

На втором этаже было, как правило, две изолированные комнаты, двери и из которых вели на веранду, находившуюся над главным входом и служившую одновременно навесом. Тула же, на веранду, выходили и окна. Нередко второй этаж использовался под жильё только с весны по осень, так как он не имел капитальной печи. В случае же необходимости его отапливали переносными жаровнями с древесным углем.

Веранда считалась непременной частью горного дома. Она шла во всю длину фасада, иногда огибая дом с двух, а то и трёх сторон, была просторной и по площади равнялась половине или даже двум третям плоскости пола второго этажа. Это объясняется её постоянным и активным использованием. Летом семья вообще проводила на веранде большую часть времени; женщины здесь работали с ранней весны до поздней осени, здесь устанавливались даже ткацкие станки. На ней же отдыхали после трудового дня мужчины, кура трубки, потягивая кофе, беседуя с зашедшим соседом. И это уже не говоря о том, что летними ночами здесь спала вся семья.

На веранду вела деревянная лестница, шедшая вдоль фасада, нижняя ступенька которой находилась справа от основного входа в дом, а верхняя — в люке (*кьяны*), устроенном в полу веранды. Люк имел крышку с пробоями для замка, так что при желании его можно было запереть и тем совершенно отсечь верхний этаж от нижнего, что делалось при длительной отлучке хозяев. Крыша была обшей для



Брусовый дом в Бахчисарае. Отсутствие штукатурки позволяет видеть калыбное заполнение пространств между брусками и массивный каменный цоколь здания.  
Фото автора

капитальной части дома и веранды. Со стороны фасада и её, и веранду поддерживали деревянные колонны, с задней стороны дома стропила лежали на стенах, или, если это позволял рельеф местности, заглублялись в скальную породу<sup>1</sup>.

Крыша делалась в горах, как правило, четырёхскатной. Поверх мощных стропил укладывались не доски, а расколотые пополам брёвна, грубо обтёсанные в виде плах. На них накладывалась четверть аршина навоза, немного глины, а уже сверху — черепица, которую изготовляли здесь же, в горах, из местных глин (Дубровский, 1914. С. 4). Окна в таком доме были только со стороны фасада. Задняя стена, выходящая непосредственно на улицу, была глухой. Попасть в дом можно было, лишь войдя в калитку, устроенную в заборе (они были здесь ниже, чем в степной части полуострова) и пройдя через двор. Сад и огород располагались непосредственно перед фасадом, выходящим чаще всего на южную сторону.

Впрочем, имелись дома, отличавшиеся от описанного, наиболее распространённого типа. Они могли строиться и целиком из камня, и представлять собой брусовый каркас, заполненный воздушным кирпичом и оштукатуренный (дом типа *сантрач*). В последнем случае вертикальные стойки (*дрек*) соединялись системой косоугольных, более коротких брусков, так что вся конструкция несколько напоминала крупноячеистую сеть, заполненную кирпичной набивкой. Сам деревянный каркас был виден только с внешней своей стороны; эти наружные грани обычно покрывали особым водоотталкивающим или противопожарным составом (от выделялся на фоне стены более тёмным цветом). Крышу могли делать и двух- и трёхскатной (Боданинский, 1930. С. 16).

В районах предгорья (например, в окрестностях Бахчисарая), а также в сёлах близ Балаклавы и в первой половине XIX в. встречалось немало домов, целиком построенных из плетёных щитов, оштукатуренных внутри и снаружи толстым слоем глины (Brunner, 1833. S. 190).

<sup>1</sup> Следы таких построек сохранились в Бахчисарае, с левой, горной стороны дороги, ведущей от Хан-сарая в Салачик. Это — прямоугольные отверстия, вырубленные в вертикальной скале рядами, показывающими уровень бывших кровель.

В некоторых горных сёлах преобладали плоские, как в степи, одноэтажные дома. Их высота была небольшой, около 3 м, но зато площадь — внушительной, до 60–70 кв. м. Здесь так же, как и в степи, каменными делались только три стены. Передняя, с окнами, плелась из ветвей фундука, обмазанных глиной. Она так и называлась: *фундук-дувар* (кое-где — *чубук-дивар*). Низкий навес на колонках укрывал вход в прихожую *аят*, откуда, как обычно, две двери вели в парадную, гостевую половину дома и в жилую, где находилась кухонная печь. Пол и здесь чаще всего был земляным, гладко вымазанным и чистым, «который аккуратные и трудолюбивые хозяйки старательно возобновляют, как только заметят какой-либо изъян» (Куфтин, 1925. С. 9).

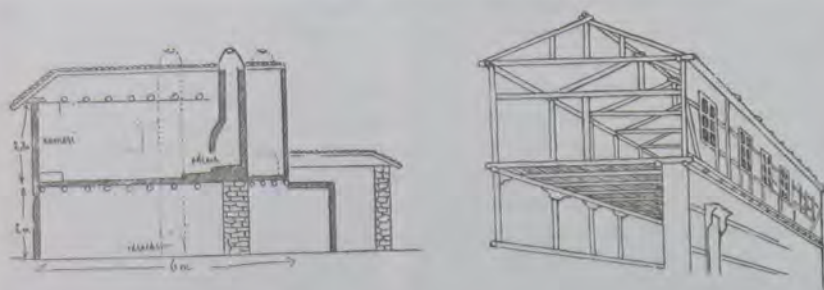
Гостевые комнаты (*соба* или *собалы ёв*) устраивались здесь справа, они были сравнительно небольшими (около 4 кв. м) и не имели отопления. Очаг находился в левой части дома, в стене, а снаружи в этом месте делалась внешне самостоятельная четырёхгранная пристройка-труба. Имеются обоснованные заключения о происхождении этих труб из весьма неблизких мест — с отдаленного запада Европы, откуда он проник в Причерноморье вместе с кельтскими переселенцами где-то в III веке до н. э. И в самом деле, такие сооружения можно обнаружить на всём ареале кельтского расселения, включая Англию (Broby-Johansen, 1953. S. 75). Речь идёт о квадратной каменной наружной трубе, абсолютно не экономичной, не отапливаемой дом, выстроенной из камня на глиняном растворе. И выходила она не сквозь крышу, а сбоку её — в этом и состоит главная, «кельтская» особенность этой трубы.

В предгорной зоне имелись сёла, где дома соединяли в себе два типа архитектуры — горную и степную. Так, например, в окрестностях Карасубазара старые, характерные ещё для протоболгар полуземлянки были заменены выстроенными на тех же основаниях обычными одноэтажными домами, более похожими на горные. Но полуземлянки остались (правда, в качестве хозяйственных помещений)



Очаг в горном доме.

Литография А. Брауна по рис. Яворского. Илл. из Montandon, 1834



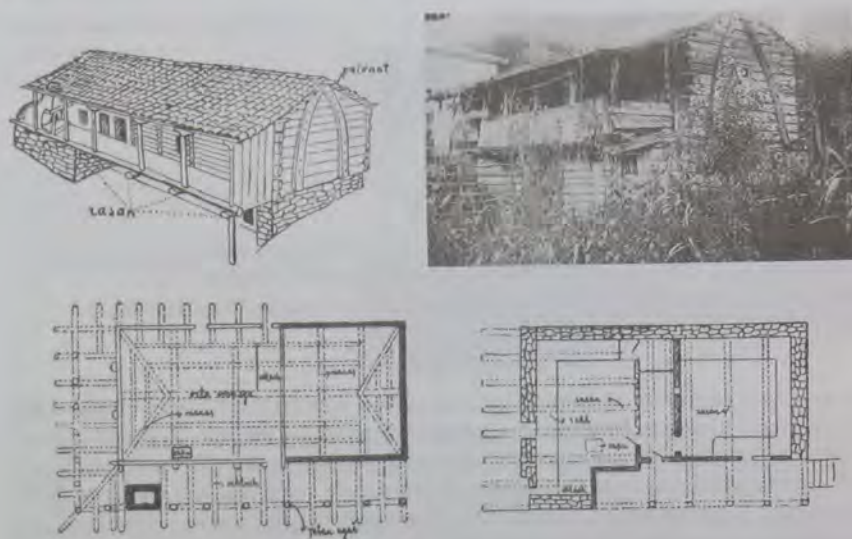
Дом в бахчисарайской маалле Асма-кую.  
Из: Куфтин, 1925

как живое напоминание о старине. В таком карасубазарском доме вместо степной дворовой печи появились *тандыры*, но внутренние. Они были довольно объёмистыми (до 2,2–2,3 м глубиной) и выкапывались, как правило, в правом дальнем от входа в основное жилое помещение углу (Крамаровский, Гукин, 1999. С. 26–27).

Отопление же в домах предгорья имело явно степные черты. От тандыра раскалённый воздух с дымом шёл по утепленному в глубине задней стены ходу-суфе налево, постепенно поднимаясь. Подъём этот был пологим, около 10–12%, поэтому горячая газовая смесь до выхода в вертикальную трубу проходила довольно длинный путь, успевая отдать тепло жилищу. Сама суфа делалась из использованных керамических (водопроводных) труб или, если их не хватало, местами клалась из плитняка, принимая уже прямоугольное сечение (Крамаровский, Гукин, там же). Главное в такой системе: она была принципиально нацелена на максимально экономичное расходование топлива, по возможности полную утилизацию калорий горения, а также исключала задымление жилых помещений — в отличие от гор, где строители каминоподобных очагов не стремились ни к первому, ни ко второму, ни к третьему: дров-то было сколько угодно.

Встречалось ещё одно архитектурное отклонение горно-предгорной зоны (это слово надо бы взять в кавычки, так как «отклоняться» в Крыму не от чего: повторяю, здесь нет какой-то стандартной модели). Имеются в виду уже упоминавшиеся дома в области бывшего готского расселения, которых в конце XVII — первой трети XX вв. больше всего было в верхних частях долин Бельбека и Качи. Встречались они не только в горах, но и в Бахчисарае. Один из них, под № 63, сохранился почти до наших дней в бахчисарайской маалле Сырлы-Чешме (Никольский, 1924. С. 13). В 1928 г. таких строений в горах можно было насчитать десятки: в деревнях Махальца, Богатырь, Буюк-Озенбаш, Кучук-Озенбаш, Коккоз. В заметке, описывающей эти дома, отмечалось, что они выстроены без единого гвоздя. Ставился вопрос о свозе их в Музей Тавриды на вечное хранение (КК; 04, 08, 1928). Но, к сожалению, этого вовремя сделано не было, а потом стало поздно.

Такие дома, называвшиеся *чатма ёв*, строились из толстых дубовых прямоугольных плах шириной до 35–40 см, плоских в сечении, которые получались



Горный дом с пайваидами. Фото Е. В. Веймарна.

Схема устройства деревянного дома Куртсеита Арифа в Керменчике. Из: Куфтин, 1925

от раскалывания древесных стволов при помощи клина *шан*. Плахи ставились друг на друга не плашмя, что было бы неудивительно, а ребром. Конструкция не имела бы нужной устойчивости, если бы они не входили друг в друга благодаря глубоким зарубкам на расстоянии 30–40 см от краёв. Кроме того, для фиксирования плах в вертикальном положении, снаружи на стены крепились вертикальные (иногда наклонные) плоские брусья — *пайваидлер*. Они помещались попарно, внутри и снаружи стены. Для их крепления (сшивания) использовались деревянные же шипы или костыли *чуй*, отчего и дома эти кое-где именовались *чуйли-чатма-ёв*. Вверху сруба поперёк верхних брёвен укладывались горизонтальные брёвна-матицы, чьи концы выходили далеко за плоскость стен. Матиц было от 4 до 6 штук, в их зарубы вкладывались сверху опорные концы стропил.

Крыши в этом небольшом архитектурном регионе делались исключительно двускатными и никогда не «усложнялись» потолком. То есть, внутри дома человек мог любоваться первобытно мощными, грубо отёсанными дубовыми брёвнами, от старости тускло светящимися тёмно-коричневым блеском. Это создавало впечатление незыблемой солидности, надёжности и покоя. Такой сруб возводился на каменном фундаменте, иногда — на более высоком, цокольном этаже, имевшем и небольшие окна.

Чатма-ёв был снабжён очагом, который также хранил отчётливые следы глубокой древности. Главный признак старины — он не имел боковых стенок. Собственно, он представлял собой место для костра, над которым на высоте полутора метров находилась деревянная рама, опирающаяся на деревянные же столбы (иногда на пропущенные в толщу стены горизонтальные дубовые брусья). На раме



Дымовая труба горного крымского дома. Далеко выступающие плиты препятствовали затеканию дождевой воды между телом трубы и кровлей. Из: *Куфтин, 1925*

Конструкция деревянного амбара со стенами из дубовых плах в Биюк-Озенбаше. Из: *Куфтин, 1925*

возводился обмазанный глиной свод из камня или прутьев, заканчивающийся отверстием в крыше. Понятно, что от коренной стены такой очаг отделялся каменной или глинобитной плитой — для тепловой изоляции. Толщина этой плиты иногда позволяла даже устраивать на верхнем её срезе лежанку-*тапшан* (*Куфтин, 1925. С. 19-20; Spuler, 1943. S. 432*). Впрочем, издали горные дома выглядели далеко не такими массивными, как вблизи. Очевидно, этому содействовали общие изящные очертания стен и крыши, их традиционные пропорции, не менявшиеся веками.

Один из авторов, ещё заставший такие деревни в относительной сохранности, отмечал необычное впечатление, которое они производили на крымского путника: «Подходя к такой деревне близко, видишь вокруг только высокие горы, поросшие лесом, но вдруг неожиданно за поворотом перед глазами открывается склон, покрытый живописными воздушными постройками. Их особенная архитектура, выступающие всюду крупные древесные стволы придают селению не южный, а какой-то северный отпечаток» (*Куфтин, 1925. С. 22*). Что и неудивительно, учитывая происхождение этой архитектуры.

Как в горах, так и в степи имелись дополнительные источники тепла, на случай необычно сильных морозов или просто неожиданных похолоданий в период между отопительными сезонами. Это были уже упоминавшиеся переносные жаровни: «Если же зимою и захватят жестокие морозы, тогда накладывают большую чугунную плошку жаром, ставят посреде покоя и около ея сидят и греются и покой тем нагревают» (*Зув, 1783. С. 132*).

Место для села определялось в горах несколькими условиями: близостью пастбищ, леса, крепостей, где можно укрыться в случае нападения врага и так далее. Но важнейшим было, конечно, наличие воды. Отличные пастбища и поля многочисленных яйл практически не заселялись не столько из-за сравнительно сурового микроклимата (на низких яйлах зимы могли быть и более мягкими, чем в джанкойской или гёзлёвской степи, открытой всем ветрам), сколько из-за отсутствия источников или водных жил. Зато обычной была картина горной деревни, где «ручей служит как бы улицей, по сторонам которой лепятся домики... Земля, где бежит ручей, стоит всегда в несколько раз дороже всякой другой. Татары ищут ручей как золота и дорожат им как золотом» (*Андриевский, 1892. С. 23*).

Один из последних сохранившихся домов типа чатма-ёв. Из собрания издательства «Тезис»



Вот типичная картина такого горного села: «В этом Салачике (пригород Бахчисарая — *В.В.*) по обе стороны реки посажены чистые сады и виноградники, построены различные дома... крытые красной черепицей, с высокими трубами. Все здания каменной кладки, с каменными стенами, превосходные и украшенные, старой архитектуры. И множество комнат в пещерах под скалами, в которых в июле очень холодно, а в зимние дни тепло. Всего там 5 кварталов с 5-ю *михрабами* (то есть мечетями. — *В.В.*), а у 5-ти мечетей есть 5 минаретов старой формы» (*Челеби, 1999. С. 39*). Правда, тут речь идёт об очень крупном селе, каких в горах было немного.

На Южном берегу архитектура целиком подчинялась рельефу местности: в отличие от степи и гор здесь не было места выбору. Селиться приходилось не там, где удобней, а на любом свободном клочке земли. Оговоримся, речь идёт о XVIII в. Когда-то, много раньше, выбор был гораздо лучше, и южнобережные сёла (как, впрочем, и горные, и степные) основывались на самых удобных для проживания и хозяйствования участках местности, касалось ли это почвы, водных источников или микроклимата. Поэтому чаще всего деревни располагались на склонах плодородных долин, так что большая часть селений приобретала форму живописного амфитеатра, вытянутого вдоль течения местной речки или ручья. При этом улицы преобладающе направлялись вверх по склону. Расстояния между ними были невелики: как правило, между ними умещалось всего два двора, изредка три.

В отличие от горных и даже степных деревень, зелени в самой деревне мало, здесь для неё просто нет места. Всю свободную площадь занимают тропинки или терраски, используемые для сушки овощей, отдыха, рукоделья летом на свежем воздухе и так далее. Огородов в деревне также нет, или почти нет — все они находятся вне деревни, на свободных площадках. То же самое можно сказать о садах, виноградниках и табачных плантациях, которые расположены за деревней, нередко на довольно большом расстоянии, куда ежедневно нужно добираться по просёлочным дорогам и тропам, или же ночевать там во временных шалашах.

Но вряд ли стоит полагать, что такая планировка деревень существовала всегда. Скорее всего, деревни «сползлись» к морю лишь к XVII—XVIII вв., когда

исчезла или, по крайней мере, уменьшилась опасность военного нападения. В более ранние периоды истории сёл Южного берега сознательно располагали в глубине гор, на крутизне, где оборона их значительно облегчалась, да и с берега они были не так заметны. При мысленной реконструкции этих древних сёл возникает совершенно необычная для остального Крыма картина:

«Улиц в такой деревне нет совсем. Вместо них имеются кривые каменные лестницы в узких промежутках между двухэтажными домами, которые, в виде четырёхугольных правильной формы ящиков громоздятся один над другим, образуя по склону ущелья сплошную многоярусную постройку. Фасад каждого дома с выступающей над балконом крыши на колонках, обращённый обычно на юг, прекрасно виден, так как его не закрывают расположенные ниже ряды строений. Дворовые постройки не развиты, а часто и совершенно отсутствуют» (Куфтин, 1925. С. 42). А вот что сближает экстерьер берегового селения не только с горным, но и со степным, то это традиционный порядок: «Двор вымошен плитой и везде очень чисто» (Броневский, 1822. С. 129).

Расположенный неподалёку от Ялты Дереккой отличался почти полным отсутствием надворных построек; как писал немецкий путешественник, всё умещалось здесь под одной крышей крестьянского дома. Возможно, именно поэтому сами дворовые участки были меньше, чем в других деревнях. Здесь «дома довольно низкие и с одной стороны заглубляются вместе с крышей, в склон горы, так что можно прямо с дороги ступить на крышу. Тонкие древесные стволы, точно колонны, поддерживают край далеко выступающей крыши» (Kohl, 1841. S. 195).

Жилища здесь приходилось строить, также сообразуясь с местностью, которая диктовала ступенчатое их расположение. Прежде всего, «место для этого выбирали такое, где уступ в стене позволяет на нём укрепить брёвна, а на них намостить потолок» — это первейший принцип (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 167). Таким образом, заглубление одной, а то и двух сторон дома в склон горы обеспечивало не только сохранность тепла такого дома (берег не лес, здесь топлива мало), но и защиту от прибрежных штормовых ветров, частых на Южном берегу в осенне-зимний период. Летом же здесь другое испытание — блеск и жар слепящего солнца; его смягчали постройкой веранд, затенявших небольшие окна, что содействовало прохладе во внутренних помещениях. Крыша же не нагревалась летом и не промерзала зимой благодаря её толщине, необычной для горных или степных построек.

Давно уже было высказано мнение о том, что некогда, в древности, врезанные в склон горы или в скалу дома были простым продолжением естественной пещеры. На это происхождение более всего указывает материал стен даже отдельно стоящих южнобережных домов: обе боковые и задняя стены их строились из скального камня, тогда как передняя, фасадная — из обмазанного глиной плетня, являющегося одной из самых характерных черт древнего крымского жилища (Паллас, 1793. С. 156). Поэтому, в принципе такие дома, возможно, действительно являются прямыми потомками более раннего, пещерного жилища.

Кстати, именно здесь, на Южном берегу, наиболее наглядна идея такой обшкримской строительной традиции. То есть, если в степной части можно было объяснить смысл плетения южной стены стремлением сэкономить строительный материал, то здесь о такой экономии и речи быть не могло: уж чего-чего,



Ускупт. Старинный дом с двумя стенами, заглублёнными в склон горы. Фото из коллекции издательства «Тезис»

а камня и древесины на берегу и в горах всегда хватало. Но вот в Ай-Серезе, где были, пожалуй, самые лучшие условия в этом отношении,<sup>1</sup> южную стену, тем не менее, упрямо делали плетёной. Конечно, как и в степной части полуострова, смысл этой строительной традиции в том, что тонкая, неровная, тёмная стена служила отличным теплоприёмником даже в зимние месяцы.

Что же касается самих домов этого своеобразного села, то они имели некоторые характерные черты. Такие как множество *дулапов*, то есть глубоких ниш во внутренних помещениях, где хозяева хранили мелкие вещи. Или ещё одна особенность: двойные ряды дубовых колонн ниже и выше пола веранды. Интересно, что пол второго этажа был дубовым, но на дерево насыпалась земля, которая, как обычно, плотно трамбовалась и чисто вымазывалась глиняным раствором (Дубровский, 1914. С. 15–17). Конечно, эта традиция имеет почтенный возраст, идёт с тех времён, когда вообще не существовало полов из досок, не исключено, что она была занесена сюда ещё из Степи.

Кровли здесь делали плоскими, чтобы они могли служить одновременно и двором, — строительный приём, нередкий в горах и на побережьях всего мира. Так, в Алуште «крыша каждого дома представляет собой горизонтальную террасу из утрамбованной земли, насыпанной на потолок, сделанный из коротких и плоских деревянных брусьев. Дымовая труба проходит сквозь террасу, и отверстие её обделано камнями, образующими круглый футляр. Во время дождей или в тех случаях, когда земля на террасе почему-то разрыхлена, они обычно утрамбовывают

<sup>1</sup> В окрестностях этой деревни камень не нужно было ни ломать, ни пилить. Местные крестьяне попросту грузили на арбы практически одинаковые по форме, плоские плиты, легко отделявшиеся от тела скалы, уже рассечённой глубокими естественными горизонтальными и вертикальными трещинами.





Использование катка для уплотнения земляной кровли.  
Из собрания издательства «Тезис»



Плоская крыша. Слева — басмах, инструмент для её прокатывания.  
Гравюра Шарля Жирара из коллекции музея Ларишес

её, чтобы уплотнить и тем самым воспрепятствовать просачиванию воды; для этого на террасе у них всегда лежит специальное приспособление — доска в 2–3 фута, изогнутая в виде дуги с палкой сверху, тоже изогнутой; за неё и приводят в действие это орудие (оно имело особое название: *басмах*. — *V.V.*), когда утрамбовывают землю» (*Ромм*, 1941. С. 59). Иногда басмах имел вместо дуги две прямые рукоятки. В Дерекое для той же цели использовали приспособление в виде катка или валика, который никуда с крыши не убирался, так что его можно было использовать в любую минуту (*Kohl*, 1841. S. 195).

Часто ко многим домам не было иного прохода, кроме как по крышам-дворикам соседних строений. Кстати, это бывало и причиной больших неприятностей, правда, нечастых: незнакомый с местностью всадник, достигший совершенно не освещённой деревни ночью, иногда въезжал с улицы прямо на крышу со спящими людьми, и, бывало, даже проваливался внутрь дома (*Craven*, 1855. P. 4). Впрочем, некоторые дотошные гости, опросив многих владельцев таких домов, выяснили, что крыши-платформы настолько прочны, что по ним вполне безопасно ходят не только козы с овцами, но и коровы, так что провалиться там было нелегко (*Lyall*, 1825. P. 316).

Несколько отличались от остальных прибрежных типов дома, построенные в Кучук-Ламбате. Здесь многие хозяева вообще не признавали окон в обычном понимании этого слова. Свет проникал во внутренние помещения через раскрытые двери и, дополнительно, «сквозь очень большую трубу [камина] и через квадратные дыры, проделанные в террасе, служащей крышей» (*Ромм*, 1941. С. 60). Переплёты таких окон укладывались на световые люки-короба, поднимающиеся на 10–20 см над уровнем крыши, чтобы в дом не проникали талые или дождевые воды. В других южнобережных деревнях дома с окнами в потолке почти не сохранились, но следы этого архитектурного приёма (ставшего, кстати, весьма распространённым в современном европейском строительстве) позволяют сделать вывод о том, что «подобный тип постройки был некогда однороден по всему южному берегу» (*Курфтин*, 1925. С. 41).

Кроме того, источником света здесь по вечерам служил огонь открытого (или полузакрытого, типа камина) очага (*Броневский*, 1822. С. 37). Кстати, об упомянутых трубах, дававших выход дыму и «вход» солнечному свету. Как отметил путешественник барон из Ганновера, владелец такой универсальной трубы использовал её и для третьей надобности: при желании он мог удобно вести сквозь неё беседу с соседом, живущим выше по склону, — это было обычным делом (*Haxthausen*, 1847. S. 436).

Особые условия сложного рельефа Южного берега Крыма становились причиной горизонтального слияния построек, правда, неполного. Два соседних дома могли соединяться общей крышей, в промежутке между такими домами возникал крытый дворик — *аят*. Он представлял собой уютное мощёное пространство, на которое с боковых сторон выходило несколько дверей из внутренних помещений (См. илл. в т. IV). Иногда у задней, тупиковой стены аята строился *оджакъ*, то есть печь с открытой топкой, весьма похожая на внутреннюю. На этом дворе обычно обе соседские семьи проводили весь день.

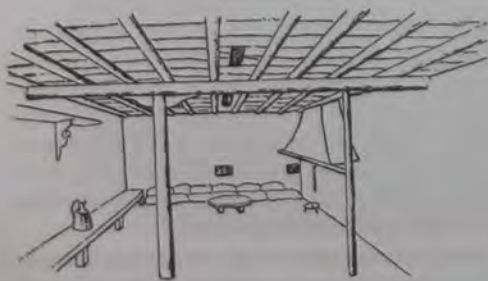
Южнобережная теснота и скученность были причиной ещё одного явления, совершенно немислимого в степи или горах: здесь дома часто вообще не имели



Деревня Шелен близ Судака. Из: Куфтин, 1925

дворов как таковых. Более того, улица-лестница или улица-тропа могла проходить непосредственно перед главным входом в дом, а, поднявшись по ней выше, легко было ступить прямо на плоскую крышу дома (Kohl, 1841. S. 195). Кстати, не исключено, что эти условия повлияли на сравнительно большую свободу в повседневном быту южнобережных женщин, чем это позволялось их сёстрам в горах и степи. Дело в том, что тут более или менее полное женское уединение было попросту невозможным, и приморские жители махнули на него рукой гораздо раньше, чем даже горожане...

Планировка комнат в южнобережном доме была в общих чертах такой же, что и в горной и степной деревне. Впрочем, встречались и дома не с линейным (в один ряд), а крестообразным расположением комнат (Куфтин, 1925. С. 41).



Устройство окон в потолке одного из шеленских домов.  
Из: Куфтин, 1925



На плоской крыше. Гравюра из коллекции музея Ларишес

И ещё одно отличие: здесь вдобавок к обычному целевому «набору» внутренних помещений довольно часто устраивалась ещё одна комната, которая являлась вторым парадным или гостевым помещением. Она почти всегда располагалась сбоку дома, то есть асимметрично по отношению к общему плану (не имея соответствия с противоположной стороны строения); в Алуште это вообще был некий «высокий теремок, отделённый от прочего жилья» (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 139). Дополнительный живописный эффект достигался расположением этой комнаты под углом к линейной планировке остальных, причем под углом неопределённым, случайным — запомним эту важную деталь. Особенно характерен такой архитектурный приём для старинных домов Ай-Василя и восточнобережных деревень Ворона, Ай-Сереза и Шелена. Здесь всё как в западноевропейском стиле барокко, для которого «красота остаётся необходимостью, но он тешится прелестью случайного» (Вёльфлин, 2002. С. 177).

Не берусь утверждать, что такая бросающаяся в глаза «случайность» была результатом осуществления какого-то определённого плана или внешним, материальным выражением национальной эстетики. Но факт остаётся фактом: крупнейшие историки искусства подчёркивают, что описанный стиль (он называется *атектоническим*, будучи противоположным тесно ограниченному жёсткими канонами или правилами тектоническому стилю), «раскрывает замкнутую форму, то есть обращает насыщенную пропорцию в менее насыщенную; отделанный образ заменяется мнимо недоделанным, ограниченный — неограниченным. Вместо впечатления спокойствия возникает впечатление напряжения и движения» (Ук. соч. С. 175). Здесь буквально напрашивается вывод: открытому обществу

была свойственна такая же открытая, незамкнутая, не стеснённая главенствующими художественными законами или вкусами архитектура. Трудно удержаться от ещё одной цитаты, развивающей мысль об органичности, стихийности, естественности такого типа зодчества: «Здесь наблюдается нечто подобное тому, что происходит в природе, когда от кристаллических образований она возвышается к формам органического мира» (Там же).

Ещё одна особенность южнобережного дома (как и горного) — высокие, тонкие дымовые трубы, а также выдвинутые на некоторое расстояние над улицей галереи или комнаты на консолях (кронштейнах). Они придавали всему селению особый, местный колорит, а самим постройкам — лёгкость и объёмность (пространственность). А в интерьерах Южного берега чаще, чем в степи встречалась стенная роспись (маслом по шлифованной или крашеной доске). Мотивы таких альфрейных работ были, в основном, растительные. Но иногда встречались образцы весьма древних, доисламских сюжетов — «...это дерево, оканчивающееся козлиной головой, или плодом, или исполинской птицей» (Народы, 1880, С. 280).

По своему внутреннему убранству южнобережные дома отличали от иных и деревянными лавками высотой около полуметра, снабжёнными крышками. Такая лавка вдоль фасадной стены, *бардах-тахта*, служила для хранения посуды, а тянущаяся вдоль боковой стены, *тешек-тахта* — для постельных принадлежностей всей семьи (обычно их было две, слева и справа). У задней же стены делалось сплошное низкое возвышение-подиум *сече* из глины, покрытое матрацами *миндер*, и служившее для сидения. Иногда прямо в комнате хранились кадки с соленьями, разнообразными зерновыми ёмкостями и т. п. В таком случае кадки и глиняные горшки устанавливались на сплошном возвышении *ташиан*, которое клали из камня вдоль одной из стен вместо деревянной лавки. В больших семьях немолотое зерно хранили в широких (2 на 0,75 м) овальных корзинах-*харманах*. В зажиточных домах для этой цели использовался *амбар*, то есть высокий деревянный ларь, иногда с нижним выпуском для зерна, снабжённым планочным затвором.

Очаг чаще всего делался открытого типа, с дымовым колпаком. Внутри последнего для подвески котла имелось особое приспособление *туях*, то есть две горизонтальные жерди, на которые укладывался *чингиль агач*, толстая съёмная жердь, к которой и крепилась цепь с крюком. Для приготовления кофе в очаг помещали лёгкий кованый треножник, но который ставили джезве. Имелось у здешних очагов и такое отличие, как находившаяся в них плоская россыпь булыжников, повышающаяся к краям, посреди которой и разводили огонь. Как объясняли сами хозяева, после того, как дрова догорали, раскалённые камни долго сохраняли тепло и, главное, втягивали в себя сырость, нередко для южнобережных ночей (Данилевский, 1850, С. 211).

С обеих сторон очага вдоль стен шли деревянные открытые полки для особо красивой посуды, которые крепились на кронштейнах в виде уточек (они так и назывались *паний*, то есть «утка»). В одном из углов комнаты с очагом устраивался маленький выгороженный чуланчик для ритуального омовения и даже купанья, который носил претенциозное наименование *хамам* (баня). Если хамам находился на втором этаже, где не имелось очага, то его место было в заднем левом углу (Дубровский, 1914, С. 18).



Дом со вторым этажом, опирающимся на консоли.  
Из: Куфтин, 1925.

Горный дом с консольной опорой веранды.  
Из собрания издательства «Тезис»

Самым крупным селом Южного берега во второй половине XVIII в. была не Алушта и даже не Ялта, а Ускут (ныне Приветное Судакского района), описание которого может дать самую яркую картину развитого села южнобережного региона Крыма:

«Ускут есть богатейшее и многоянейшее из всех селений Южного берега. Подъезжая к деревне за четыре версты начинаются плодотворные сады, виноградники и пашни, трудолюбивою рукою обработанные. Деревня расположена в долине на трёх отлогостях амфитеатром. Между обыкновенных хижин гордо возвышаются двухэтажные дома и мечеть с прекрасным минаретом, украшенным позлащённою луною. Кладбище, уставленное мраморными мавзолеями, столпами, увенчанными чалмами... имеет какой-то романтический вид и служит лучшим украшением деревни» (Броневский, 1822, С. 110–111). Утверждали также, что в Ускуте вообще самые большие дома на всём Южном берегу (Lyall, 1825, P. 333). Впрочем, позднее значение Ускута как культурного и делового центра всего Южного берега перешло к Алуште, а Ялта долго ещё оставалась обычным, ничем не примечательным селом (Raguza, 1837, S. 338).

Вообще этот район Крыма славился огромным размером своих сёл. Согласно точным подсчётам французских путешественников и учёных конца XVIII в., число жителей Ускута составляло 2062 чел., Капсихора — 1500 чел., Ворона — 1400 чел. и Туака — 1074 чел. (Врангель, 1939, С. 144).

Остаётся сказать вещь довольно банальную, а именно, что южнобережная разновидность крымскотатарского народного зодчества была не то, чтобы оптимальной для этой местности, но чуть ли не единственно возможной. Тем не менее тонкий знаток Средиземноморско-понтийской цивилизации, знаменитый герцог Ришельё, не устоял перед соблазном «улучшить» традиционную архитектуру Южного берега. Он выстроил в Гурзуфе дом по европейскому образцу, то есть, для Крыма слишком высокий и узкий. Результат был предсказуем: в этом великолепном здании каждую зиму от штормов вылетали стёкла, срывало кровлю

и так далее (Jones, 1827. P. 280). Возможно, именно поэтому, как утверждают, герцог так ни разу и не посетил свой новый крымский дом (Ragusa, 1837. S. 340).

Для всех трёх основных комплексных типов крымскотатарского жилья общей является характерная восточная многочленность планировки места обитания, то есть ряда: *комната — дом — деревня*. Суть такого рода многочленности в следующем: впервые попадающий в дом (комнату, деревню) гость не должен сразу, одним взглядом охватывать *всё* расположение внутренних помещений дома (в деревне — улиц, в комнате — всех деталей убранства, всей мебели, лежанок, ниш и так далее). Упомянутые объёмы, детали, кварталы разворачиваются *постепенно*, один за другим, продлевая наслаждение любованием архитектурой внешней и внутренней. Они — как поэзия, требующая разгадки, как разворачивающаяся ткань повествования, когда искусный рассказчик ведёт основную линию интриги, нанизывая смысловые пространства одно за другим на основную сюжетную ось. Такой приём особенно характерен для арабских сказок с их безудержной фантазией в гибких рамках строгой организации жанра. Да этот архитектурный принцип, характерный для всего Средиземноморья, и был заимствован на арабском Востоке.

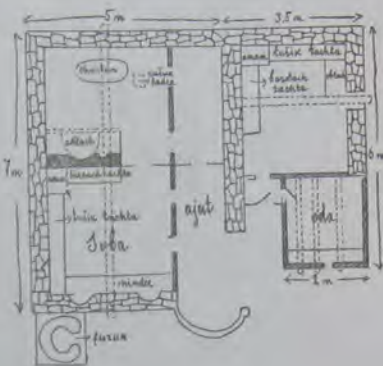
В Крыму такая подчёркнутая *асимметрия*, какая-то даже хаотичность расположения некоторых объёмов и деталей на самом деле формирует единое, хотя и загадочное целое. Крымскотатарский дом, село, городской квартал нужно разгадывать. «Нелогичность» их композиции только кажущаяся. На самом деле благодаря этому продлевается состояние радостного изумления зрителя, который испытывает удовольствие от первого знакомства (или от узнавания при неоднократном посещении) столь необычного, а чаще всего — просто уникального дома, села, города<sup>1</sup>.

Этот древний принцип нелегко объяснить словами: для его постижения, конечно, лучше всего было бы посетить десяток-другой таких старинных деревень, но ныне это, к сожалению, уже невозможно, — все они перестроены представителями совсем иной культуры. Поэтому продолжим наши почти безнадежные попытки передать непередаваемое...

<sup>1</sup> Из мастеров Нового времени этот принцип первым взял на вооружение испанский художник и зодчий Антонио Гауди (1852–1926). Раскрыв мистику исламской архитектуры Средиземноморья, проникнув во всю смысловую и философскую её глубину, заново поставив перед собой её эстетические перспективы, он смог стать ни много, ни мало, как провозвестником сразу двух художественных стилей: экспрессионизма и сюрреализма. В области материальной культуры его признают лучшим архитектором Испании последних полутора столетий (ИЛ, 1990, № 3, С. 248). Жилище другого испанского гения, С. Дали, не случайно соответствовало тому же принципу, до мелочей напоминало крымский дом «под черепичной крышей над простым белым фасадом почти без дверей и окон, окруженный разросшимся садом. Комнаты на разных уровнях, соединённые между собой узкими лестницами и коридорами, образовывали лабиринт... Здесь всё просто, основательно и добротно. Стены, белены известью, полы, выложенные плиткой... две белые гостиные, почти без мебели» (Эхо планеты, 2001, № 33). У нас же, в Крыму, к сожалению, до сих пор практически нет мастеров, способных развить пространственные принципы старой татарской архитектуры на новой основе. Нет даже копиистов, энтузиастов-подражателей, задавшихся целью хотя бы поддержать стиль, не дать увянуть и обратиться в прах этому бесценному достоянию средневековых городов ханства...



Общий вид и план каменного дома в Шелене с двумя очагами и наружным фуруном.  
Из: Куфтин, 1925



В крымскотатарских селениях того далёкого века почти полностью отсутствовала зримая, явственная доминанта, то есть какое-то центральное здание, центральная улица, единственный центр деревни. Это как раз и создавало упомянутый выше удивительный эффект: все дома, все маалле любого горного села (да и степного, и южнобережного тоже) приобретали художественную равноценность. Сегодня представление об этом могут дать сохранившиеся старые части Бахчисарая и Евпатории. Они, такие разные, такие непохожие друг на друга, и сегодня притягивают взгляд, буквально заставляют рассматривать себя квартал за кварталом, любоваться ими, ничего не пропуская, не пренебрегая самой малейшей подробностью или деталью: иначе невозможно понять главную идею, общую философию застройки, которая на каждой улице, в каждом селе — своя. И ещё одно притягивает как магнитом: в такой архитектурной композиции чувствуется, как ни в одном музее или архиве, близкое дыхание седой древности...

Эту особенность крымскотатарского строительного искусства тонко понял один старый немецкий историк и искусствовед, раскрывший принцип местной (точнее — средиземноморско-причерноморской) *эстетики асимметрии* на примере бахчисарайского Хан-сарая. Он записывал:

«Напрасно вы стали бы искать в этом великолепном комплексе симметрию, так соответствующую нашим понятиям о красоте... Всё новые и новые, поразительные перспективы открываются глазу по мере того, как вы знакомитесь со всеми разнообразными сторонами Дворца. Этот процесс в конце концов заставляет забыть обо всём (букв.: «оглушает» — „überauben“). Как ни отличны друг от друга, как ни разнородны все составляющие его части, но во взаимосвязи их проявляется высокая целесообразность; в конечном счёте они образуют совершенное Целое, осуществлённую фантазию, озаряющую душу внутренним удовлетворением и оставляющую впечатление несравнимо большего величия и благородства, чем самые грандиозные дворцы Нового времени — Лувр, Тюильри и им подобные со всей их гордой роскошью, окоченевшей в жёстких, регулярных формах. В этом и заключается превосходство мавританского зодчества вообще: оно преодолело неподвижную, мёртвую симметрию и, следуя человеческой фантазии, победило косную, тяжкую массу архитектурных тел своими тонкими, одухотворёнными,



Парадный двор Хан-сарая. Гравюра. Из коллекции издательства «Тезис»

летящими линиями так же, как старые готические соборы — ведь и в их оформлении отдельные части асимметричны...» (*Hoffschläger*, 1855. S. 17–18).

Продолжим сравнение Хан-сарая с другими, северными обителями монархов. Кремль также обладает известной символикой, но какой! «Наследие сказочных времён, когда всюду безраздельно властвовала ложь: тюрьма, дворец, святилище; крепостной вал для защиты от иноземцев, укрепленный замок для защиты от черни, оплот тиранов, тюрьма народов — вот что такое Кремль!.. Башни всех форм... какие-то причудливые сооружения, непонятные выдумки, беседка под стенами собора; всё обличает беспорядок и произвол, всё выдаёт постоянную тревогу странных созданий, которые обрекли себя на жизнь в этом фантастическом мире, за свою безопасность. Но эти бесчисленные памятники гордыни, прихоти, сластолюбия, славы, благочестия, несмотря на своё кажущееся разнообразие, выражают одну-единственную мысль — вечный страх, порождающий воинственность. Кремль, бесспорно, есть творение существа сверхчеловеческого, но злобного. Прославление рабства — такова аллегория, запечатлённая в этом сатанинском памятнике, столь же необычном для зодчества, сколь видения апостола Иоанна необычны для поэзии: это жилище под стать действующим лицам Апокалипсиса. Хотя у каждой башенки есть своё лицо и своё назначение, все они выражают одну идею: ужас, понуждающий братья за оружие... Кремль — идеальный дворец тирана» (*Кюстин*, 2008. С. 404–405, 429).

Но вернёмся к Крыму. Особенности его традиционного зодчества заставляют снова и снова вспоминать о том, что в восточном искусстве, и прежде всего в архитектуре, выражалось личное понимание окружающего мира художником. Но оно отражалось в символической, а отнюдь не в буквально-реалистичной



Одно из первых изображений Хан-сарая. Из коллекции издательства «Тезис»

изобразительной форме, что естественно, поскольку символический способ отображения является единственным способом самопознания восточного духа в целом и в зодчестве в частности: «...зодчество соответствует символической форме искусства... так как архитектура вообще способна намекать на вложенный в неё смысл во внешнем элементе окружения» (*Гегель*, 1999. Т. II. С. 24).



Хан-сарай в первые годы после аннексии. Старинный рисунок. Из коллекции издательства «Тезис»

Такая способность оттачивалась веками и тысячелетиями, с доисторических времён, когда человек не умел выражать свои представления о божествах иначе. При этом даже такой важный фактор как выбор формы в конкретных условиях климата, окружающей среды не был единственным (нередко жилища даже соседних племён отличались по своей форме, то есть, по «стилю»). Неудивительно поэтому, что люди, ещё не умевшие выражать свои религиозные чувства иначе, чем через строительную деятельность, через зодчество, видели в нём выход своим глубоким духовным потребностям. Оттого возведение зданий и составляло в некоторые эпохи главную цель существования племён и даже наций, главным образом восточных.

Крым был в этом отношении весьма характерной частью великой восточной цивилизации. Не только во дворцах хана, *калги* или *беев*, но и в большей части сельских домов можно отметить детали или архитектурные приёмы, не вызванные к жизни насущной бытовой необходимостью, как бы «излишние», практически бесполезные, внешне нецелесообразные. Но они не были лишними для эстетического комфорта строителя и владельца этого дома (как правило, будущий владелец сам и строил свой дом). Это говорит не только о древности такого подхода к зодчеству, но и о сохранении и высоком развитии крымского искусства, — ведь без развития любое искусство умирает.

В таких домах и дворцах «нет голой подчинённости служебным целям... Дом высится независимо от них, свободно, сам по себе». Таким образом, эти сооружения — от простого дома до дворца или мечети, хотя и остаются «безусловно, целесообразными для культа и другого употребления, но их особенность заключается именно в том, что [они] идут дальше всякой определённой цели и существуют как бы замкнутые внутри себя, для самих себя. Сооружение стоит здесь отрешённо, прочно и вечно. Поэтому характер целого уже не определяется никакой чисто рассудочной пропорцией, внутри здание не напоминает коробки... построенные лишь для того, чтобы быть заполненными людьми подобно стойлам... С другой стороны, именно здесь получает простор величайшая дифференциация, разбросанность и многообразие, не позволяя, однако, целому распасться на отдельные особенности и случайные детали... Не встречая противодействия, субстанция [целого] приводит это пёстрое множество деталей к наиболее верному единству и наиболее ясному для-себя-бытию» (Гель, 1999. Т. II. С. 67). Когда читаешь эти строки, кажется, что великий немец, не бывавший в Крыму, написал их сразу по возвращении из Бахчисарая или Карасубазара конца XVIII века — настолько они точно соответствовали крымской действительности.

Сказанное об отдельных строениях можно отнести и к целым селениям. В горной деревне ещё отчётливее, чем в степной, заметен основной композиционный принцип крымскотатарского материального искусства. Имеется в виду многочленность любой пространственной композиции, её составленность из многих равноценных, не «задавливающих» друг друга элементов. Среди них нелегко выделить второстепенные и главные, их попросту нет, здесь все равно важно и значимо. Смысл такой композиции (неважно, что это: дом крестьянина или мурзы, картина, ковёр, фасад мечети или план села) — в *равновесии* элементов, на котором и строится образ.

Цельное здесь возникает из дробного, единое складывается из многочленного, но важно ещё, *как* это делается. Секрет же заключается в том, что законы построения любой, большой или малой, целости — едины. Другими словами, законы построения деревни те же, которыми руководствуются при строительстве дома, а замысел города — такой же, как стихийное с виду (на деле — глубоко проникнутое этнической культурой) решение композиции села. Весь крымскотатарский архитектурный мир оттого и представляет собой столь поразительное единство, что *целое* выстраивается из *дробного*, развиваясь от *малого* к *большому*.

Это и есть глубинная суть единой цепи: «дом — маалле — село — город».

Безусловно, при всей точности этого «попадания» в эстетически центральную точку крымскотатарской культуры и этнопсихологии, такой архитектурный принцип обязан отнюдь не точной геометрической логике архитектурных построений. Дело в том, что крымскотатарские города (и сёла), их улицы и переулки никогда не прокладывались ни по линейке, ни по чьему-то генеральному архитектурному замыслу. Судя по рисунку уличной сети ещё сохранившихся старых районов крымских городов, дома в них строились не вдоль распланированных улиц, а вдоль дорог (наиболее ранние — явно вдоль троп), которые никогда сами по себе прямыми не бывают<sup>1</sup>.

Сеть стихийно возникающих тропинок и просёлочных дорог (неважно где — в степи или лесу), а затем и улиц, рисуется здесь условиями рельефа и направлением движения идущих и едущих. То есть, природой и человеком природы, не стремящимся следовать непременно по прямой, а подчиняющимся таинственным импульсам своего подсознания, которое уж точно связано с природой куда теснее, чем любые расчёты архитектора, даже самого гениального. То же самое можно сказать и о начальной планировке сёл, расположенных вдоль речек или ручьёв, изгибам которых в точности следовала первая улица, к которой впоследствии примыкали более поздние.

Следовать этим природным невидимым импульсам и неслышим ритмам, находясь в пути между городами и сёлами или проходя теми же внешне хаотичными и непонятными извилинами улиц старых кварталов, — не наполняет ли такое ежедневное движение психику человека тем самым незамутнённым покоем и душевным комфортом, который мы тщетно ищем среди прямых как стрела магистралей и жёстких углов современного города? Восприятие старой крымской архитектуры — не только зрительное. Оно становится полным в процессе движения человека вдоль улиц, во время его перемещения в пространстве, когда здания и площади как бы разворачиваются к зрителю своими различными сторонами или ракурсами. А если учесть, что изгибы такого пути и даже тип дорожного покрытия задают свой, особый для каждого села или города шаговый ритм, то трудно

<sup>1</sup> Объяснение здесь вряд ли требуется: человек природы не диктует свою волю ландшафту, а с наслаждением подчиняется ему. Такая картина «оформляет душу человека, она вибрирует вместе с ним. Один и тот же такт — в человеческом ощущении и в шуме леса. Весь облик человека, его походка, даже само его одеяние стремятся слиться с дугами и кустарниками. Деревня с её смиренными холмющимися крышами, вечерним дымком, колодезью, изгородями и животными полностью теряется в ландшафте и в нём утопает» (Шенглер, 2003. С. 95–96).

не согласится с тем, что такого рода сложное восприятие «покоится не только на оптических, но и на моторных впечатлениях», что к трём пространственным измерениям добавляется четвёртое — время (*Bunper*, 1985. С. 224–225).

Конечно, принцип городского «планирования без какого-либо планирования» не был изобретением крымскотатарской культуры. Некогда это совершенно естественное явление возникло на всех обитаемых континентах и сохраняло свои здоровые потенции и возможности в течение многих столетий. Но довольно рано на него стали ополчаться люди (группы, культуры), почувствовавшие тягу к упорядочению не только духовного, но и материального мира. «Заслуга» в создании такой философии бытия принадлежит не западному человеку, а более древним цивилизациям: шумерской, египетской, инкской и т. д., где поочерёдно вспыхивала странно одинаковая любовь к прямоугольным жилищам, прямым улицам, циркульным площадям.

Другое дело, что в Западной Европе эти принципы были доведены до вполне саморазоблачающейся абсурдности. Город, придуманный великим итальянским утопистом Томмазо Кампанеллой (1568–1639), с совершенно симметричными, прямыми улицами, пересечёнными кольцевыми трассами, разбивающими мегаполис на блоки, стал предтечей планировки сталинско-гитлеровских лагерей уничтожения. Т. Кампанелла мог бы и не оставить описания марширующих по этим улицам счастливых рабочих-автоматов: коммуно-фашистская идея его учения была бы ясна из одного только чертежа города Утопии.

Эти или схожие идеи, как ни странен и не печален сам по себе такой факт, завоевали мир. И лишь крайне небольшая, микроскопическая часть его в прежнем, «домперском», в по-человечески милом и неповторимом облике чудом уцелела посреди немногих старинных городов: в Стокгольме и Таллинне — получше, в Сиракузах и Евпатории — похуже.

Особенность и заслуга крымскотатарской культуры состояла в том, что она абсолютно не приняла уродливых принципов линейно-циркульного построения городов, и сохранила органичноприродный облик до конца XVIII века, вопреки урбанистическому поветрию. Причём не в отдельных кварталах, как это случилось в упомянутых городах, а на всей, в том числе и сельской территории полуострова!

Планировка сёл во всех трёх архитектурных регионах Крыма типична в том смысле, что напрочь лишена типичности. Каждое село, большое или малое, постепенно разрастаясь, заполняло ниши некоей идеальной картины, свойственной сознанию, художественному вкусу жителей не то, что данного региона Крыма, а именно этой долины, этого села. О том, что такие вкусы не похожи друг на друга, нет необходимости говорить. Местные (субкультурные) коды были различными не только в соседних долинах, разграниченных хребтом, а и в ближайших сёлах, вообще ничем не разделённых. Выше уже говорилось, напомним, что причину упомянутого явления следует искать в уникальных условиях мозаичного заселения полуострова и последующего этногенеза крымских татар на антропологически крайне пёстрой основе. «Начинаясь» с площади возле мечети, источника или главного фонтана, село развивалось в сторону своей периферии весьма своеобразно, даже прихотливо. Какой получится окончательная картина, сказать было невозможно, ведь в Крыму не было двух не то, чтобы одинаковых, но

и даже похожих сёл. Поэтому правы те исследователи, которые ограничиваются общим мнением, совершенно не касаясь художественных частности:

«Живописность окружающей природы, пересечённый рельеф, жгучее солнце юга способствовали созданию живописной композиции татарской деревни. В обоих типах композиций (имеются в виду горные, а также расположенные на плоской поверхности деревни. — *В.В.*) несомненно удачно разрешена проблема синтеза архитектуры с природой. ...различия в местных природных условиях (и вкусах жителей, добавил бы я. — *В.В.*) заставляют строителя прибегать к различным в обеих композициях приёмам для достижения одной и той же цели» (*Раннопорт*, 1996. С. 3). Здесь остаётся сделать небольшое уточнение: именно «жгучее солнце юга» стало одной из важных причин упомянутой извилистости крымских улиц и их небольшой ширины. Именно благодаря такой их форме тут всегда можно найти тень, если не на одной стороне улицы, то на другой. Верно отмечено, что именно этот фактор заставлял архитекторов сумрачного Петербурга поступать прямо наоборот, то есть планировать широкие, прямые улицы, где максимально использовались, буквально впитывались (или отражались) все скудные лучики солнца, столь нечастые в северном краю (*Bunper*, 1985. С. 226).

И ещё одна особенность, также свойственная всем типам традиционных жилищ и селений полуострова: внутреннее пространство (дома) и наружное (улицы) мягко соприкасаются, незаметно переходят друг в друга, делая жилище частью внешнего мира, вообще человеческого мира в его понимании открытой крымскотатарской культурой. Этой же цели служили в горах и на побережье, да и в степных городах тоже обилие упоминавшихся террас, веранд, открытых, полузакрытых и закрытых галерей, воздушных стрел колонок, подпорных столбиков, консолей и объёмной резьбы по дереву и камню. И даже бросающаяся в глаза самоизоляция, особенно в домах степной части, противоречила этому не более, чем обособленность квартир в самых открытых и космополитичных обществах современного мира. Ведь лишь возможность обособиться, уйти к себе отдохнуть от внешних раздражителей и сделать внешний мир желанным, а его раздражителей — не только легко переносимыми, но и влекущими к себе снова и снова. В этом одно из объяснений того, почему крымские татары, от мала до велика, проводили практически весь световой день по окончании работ кто где: на улице, в мечети, в кофейне, бане и т. п., каждый по индивидуальной своей склонности, но вне домашних стен.

Самое же интересное, что истинной обособленности, настоящей изоляции ни в селах, ни в городах Крыма не было!

Что касается крымскотатарских городов, то здесь такие элементы самоизоляции, как высокие заборы, отсутствовали широчайшим возможностям человеческого общения. Особенно это заметно в массиве левобережных маалле такого классического крымского города, как Бахчисарай, где «домики, несмотря на внешнюю строгую изолированность одного от другого, соединены внутри калитками, посредством которых можно перейти через весь Бахчисарай, почти не идя по улице, а только перебегая её, затем опять ныряя в калитку и так далее через сад во двор; этим путём женщины ходят на базар и друг к другу» (*Курфин*, 1925. С. 8–9).



Женщины у типичной для старого Бахчисарая калитки в стене.  
Фото начала XX в. Из коллекции музея Ларишес

Иностранная гостья одной из бахчисарайских дам поразила тому, что через некоторое время после начала визита двор оказался заполненным оживлёнными нарядными женщинами, хотя в ворота никто не входил. Хозяйка объяснила ей, что «женская часть дома соединена с такой же частью соседнего владения узкой калиткой, так что соседки могут видаться друг с другом, не выходя для этого на улицу. Поэтому когда приходят гости к одной из них, то у неё легко могут собраться знакомые и подруги из близлежащих дворовых участков» (Craven, 1855. P. 43). Врач-путешественник с удовольствием замечает, что не успела его дочь войти в бахчисарайский двор, как весть об этом с телеграфной скоростью облетела маалле, тут же со всех сторон раздалось хлопанье калиток, и дворик наполнился радостно возбуждёнными соседями хозяйки, ошарашенной тем, что может оказать гостеприимство и побеседовать с редкой гостьей — неважно, что она была ещё совсем нежного возраста (Remy, 1872. S. 66).

Такие калитки были настолько распространены, что обозначались особым термином *кьоншу кьану*, то есть «соседская дверь». Причём их имелось по несколько штук на один двор. Конечно, и устройство таких калиток, и частое их использование говорили об одном — о крайней общительности, контактности крымскотатарских женщин.

Столь ярко выраженное стремление к межчеловеческому общению отразилось и в такой важной детали крымскотатарского архитектурного комплекса как галереи-веранды. Собственно, галереи — не редкость и в других странах Востока и Юга. Вопрос в том, какие это галереи... И здесь уместно привести весьма глубокое и точное замечание современных историков архитектуры: «нигде, ни в Дагестане, ни в Болгарии, ни в Турции вы не встретите в таком большом количестве, почти у каждого дома открытых, подчёркиваем эту открытость, широких веранд.



Световые окна, расположенные над входными дверями второго этажа.  
Фото из журнала Qasevet

В других странах вместо них, открытых в природу и характерных прежде всего для Крыма, вы увидите здания с верандами, балконами, эркерами, которые чаще всего застеклены или закрыты густыми решётками» (Федотовы, 1996. С. 5). Иногда, когда комнаты второго этажа не соединялись друг с другом внутренними коридорами и входные двери находились на веранде, окна устраивались необычно высоко — над входом.

Таким образом, крымскотатарский город (не говоря уже о селе) при всей его внешней «клеточной изолированности», при всей кажущейся самогерметизации<sup>1</sup> отдельных домов (дворов), ни в коем случае собранием таких клеточек-сот не был. И не мог быть, добавлю в скобках, уже в силу этнопсихологической открытости традиционного крымскотатарского общества. Он был *как бы* закрыт, но закрыт для путешественников, не посвящённых в сложную, широко ветвящуюся систему его тропинок, подобно кровеносным сосудам пронизывавшим, проходя сквозь стены, всю живую ткань человеческого общежития городского или сельского типа. Город был пронизаем — но только для своих. Он был закрыт якобы сплошными заборами, но так, как живой организм, соединённый с окружающей средой миллионами пор, лёгочными пузырьками и т. д., наглухо изолируется от инородных, чуждых, вредных посягательств на нормальную его жизнедеятельность. Город жил и функционировал, как действительно живой

<sup>1</sup> Кстати, высокие, глухие заборы вовсе не были принадлежностью всех культурных регионов Крыма (иначе не было бы разнообразия!). В таких древних центрах этнической культуры, как Старый Крым и особенно Карасубазар, ограды строились низкими (Lyal, 1825. P. 355), а в крупных, то есть располагающих вполне достаточной площадью для строительства заборов, прибрежных сёлах вроде Ускута оград зачастую вообще не было.



организм, более единый, чем любой город западного образца с его, казалось бы, весьма широко общающимися жителями.

Крымский город вообще воплощал в себе искусство жить вместе. Для него было немислимо соперничество, как это было между городами Древней Греции, или средневековыми Гамбургом и Альтоной. В городах Крыма доминировал дух принадлежности ко всё той же единой «команде», к единому городскому обществу с общей верой, общим образом жизни, общей культурой. Город являлся настоящим символом человеческого единения. Это был не просто полис, в значении отдельного городского комплекса с прилегающей большой или малой сельской территорией. Здесь более подходит греческий термин *политейя*, понятый как «единство социальной и политической организации, средоточие жизни, пульсирующей по улицам и площадям и выплёскивающейся за городские стены» (Алал, 1987. С. 24).

В условиях привычной честности населения, табак сушили на шнурах, протянутых поперёк улиц, у уличного фонтана шёл бескончаемый обмен мнениями между постоянно сменявшимися собеседниками, старики многие часы проводили близ мечети, а из-за глухих стен свисали ветви шелковицы, сочные плоды с которых походя отщипывали взрослые и дети. Короче, на такой улице было всегда оживлённо, она являла собой главное место общения и обмена свежими новостями, так что один из приезжих авторов мог с полным правом заключить: «Татарская улица — это целый русский журнал!» (Данилевский, 1850. С. 229).

Наконец, есть еще одна, более частная, но зримая архитектурная особенность, также вносившая элемент единства в национальное зодчество. Это большое количество общих черт в интерьерах богатых домов на всей территории Крыма. Причём речь идет не только об интерьерах домов сходного достатка, но и о домах не столь зажиточных соотечественников. О том, что композиция дворцово-паркового комплекса Хан-сарая в принципе аналогична планировке любой усадьбы горного региона, говорилось выше. Добавим, что отдельно взятое главное дворцовое здание имело такие же соответствия. Оно было построено в абсолютно той же технике, что и дом рядового крымского татарина, (а именно из *калыба*, заполняющего пустоты в «скелете», сделанном из четырёхгранного бруса), в нем стояла мебель того же внешнего вида, одежда хранилась в тех же основных стеновых шкафах, одинаково покрывались полы (не столь важно, чем — скромными циновками или богатыми коврами), стены одинаково украшались вышитыми полотенцами и т. д. И это попросту бросалось в глаза (Jones, 1827. P. 280).

Такое соответствие всегда имело глубоко символическое значение и для демонстрации культурного единства нации. Нельзя безоговорочно утверждать даже, что при всей внешней непохожести богатых домов на бедные (прежде всего в отношении экстерьера) эти две группы зданий относятся к различным архитектурным стилям (или хотя бы направлениям). Богатые дома строились согласно тем же стилевым принципам, что и бедные. Просто при этом имелся более широкий набор тех же архитектурных деталей, что встречались и в рядовых домах той же маалле, того же села или города.

Отличие здесь имелось, но таилось оно в совсем иной сфере, скорее функциональной. Домы зажиточных горожан, не всегда являясь культурными шедеврами (такими часто были скромные, но хранившие печать истинной древности и безупречного вкуса домики старинных селений), выполняли несколько иную,



Ода, украшенная расшитыми полотенцами. Из собрания издательства «Тезис»

не столь важную, но также позитивную художественную функцию: уступая основной массе строений количественно, они являли собой качественно акцентированный зрительный фактор. То есть они привлекали особое внимание гостей города или села, «держали» это внимание на протяжении всего процесса знакомства и любования новыми перспективами, а потом надолго «отпечатывали» в памяти гостя цельный образ *всего* некогда увиденного глазами постороннего творения рук человеческих.

Такие дома строились только двухэтажными (хотя никаких ограничений здесь не существовало) — это поразительный феномен единства вкуса, который ещё требует своей расшифровки. Оба этажа при этом имели стены одинаковой, то есть достаточной для сохранения тепла, толщины. И первый, и второй были снабжены стационарными печами для нагревания воздуха. Схожими они были и в плане, делясь на три объёма (это могли быть три комнаты, зал и две комнаты или освещённый окном коридор с двумя комнатами по бокам). Расположение комнат по отношению к входу было обычное, то есть поперечное. Иногда композиция усложнялась за счёт ещё одного, «неправильного» помещения: им могла быть дополнительная комната-теремз на втором этаже, поддерживаемая колоннами или консольными балками. Были такие помещения и в Хан-сараяе: например, павильон Крым-Гирея<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Иногда эти комнаты-«аутсайдеры» даже нависали над улицей, но чаще обращались в сторону двора или сада. Нередко встречались и обращённые в сторону улицы висячие балконы-софа на консолях, иногда закрытого типа, то есть непроницаемые для взгляда снаружи (но не изнутри), но куда чаще — открытого, характерного для галерей, никогда ничем не заслонявшихся.



В старом Гурзуфе было немало двухэтажных домов традиционной постройки. Открытка. Из коллекции музея Ларишес

Кстати, именно говоря об архитектуре Хан-сарая, искусствоведы нередко сбиваются на критику, выстроенную почему-то под европейским углом зрения. Так, даже в серьёзных работах постоянно присутствует мысль о какой-то «хаотичности» дворцового комплекса: «ясно видно, что крыша главного корпуса состоит из отдельных частей, расположенных одна выше другой. В распределении их нельзя уловить никакой системы и порядка... чувствуешь, что и вся масса здания состоит из отдельных, несимметрично связанных между собой частей». Из этого обычно делается малоутешительный вывод об «отсутствии цельности архитектурного плана дворца» (Крым, 1930. С. 43).

Между тем очарование бахчисарайского шедевра восточной архитектуры и состоит именно в отсутствии «системы и порядка», в живописной асимметрии и кажущейся «случайности» расположения помещений и отдельных построек на территории комплекса. Это куда лучше понимали и выше ценили люди не XX, а XIX века: «Нет ни плана, ни фасада; всё как будто брошено по мгновенной прихоти хозяина дома, но всё так красиво, везде так хорошо можно расположиться, что, кажется, ничего нельзя лучше придумать, и век не нужно советоваться с архитекторами» (Шишкина, 1848. С. 87). Именно это и придаёт ему одновременно и домашний, непарадный вид, и создаёт впечатление хрупкости, незащитного изящества, даже какой-то трогательной наивности<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Заметим, кстати, что нынешний вид Хан-сарая лишь частично соответствует первоначальному его облику, когда каждая его комната или зала «...так и блистала перламутром, хрусталём, золотом и серебром; все они были исполнены благоухания. Короче, в этом чудесном дворце было соединено всё, что могла создать только самая роскошная восточная фантазия» (Демидов, 1853. С. 333). Но не сохранилось и многое из того, что

В богатых крымскотатарских домах иным было и предназначение этажей. Нижний служил для жилья и некоторых хозяйственных нужд, тогда как весь второй этаж был парадным. Здесь стояла лучшая мебель, расстигались лучшие ковры, а на полках сверкала великолепная чеканная медь. Стены кое-где (в Козах, например) закрывались «орехового и можжевелевого дерева шкафами» (очевидно, это было что-то вроде современных шкафов-купе), а каминные облицовывались мрамором (Броневский, 1822. С. 129).

Освещение было также более шедрым, чем в обычных домах. Устраивался двойной ряд окон, нижние были большего размера и забраны деревянными решётками-чильтерами, верхние — поменьше, часто в них вставляли разноцветные стёкла (иногда при этом использовались дополнительные резные гипсовые или алебастровые рамы с ажурным рисунком). Нередкой здесь была стенная живопись, особенно в селениях бахчисарайской культурной зоны. Основные мотивы росписи — цветы в вазонах и кувшинах, растительный орнамент. Наконец, особое внимание современников привлекали детали, ныне интересующие только этнологов: «Постели зажиточных мусульман превосходят наши европейские, и рыхлые их пуховики подтверждают принятое мнение о их роскошной неге» (Сумароков, 1803. Т. II, С. 53–54).

Тема традиционного крымскотатарского жилища — огромна, и здесь она не только не полна, но всего лишь едва намечена. Тем не менее, прерывая её изложение, стоит сделать один принципиальный, хоть и предварительный, вывод. Крымские татары строили (и в абсолютном большинстве строят) свои дома по собственному проекту. То есть в архитектуре дома человек получал возможность для свободного самовыражения. Не отдавая себе в этом отчёта, он воплощал в плоскостях и объёмах своего жилища этнокультурные принципы своего племени с такой чистотой и верностью, которая вряд ли доступна при разработке «национальных» проектов в конструкторских бюро любого уровня, технической оснащённости и теоретической обеспеченности.

В любой этнической культуре, в любом национальном искусстве есть императивы, задаваемые на каком-то глубинном, подсознательном уровне. Европейец, подойдя к стенной полке со стоящим на ней кувшином, машинально подвинет его так, чтобы он стоял точно посередине. Японец столь же неосознанно сдвинет его в сторону. Что движет ими, почему одному из них милее симметрия, а другой видит в ней опошление прекрасных форм старой керамики? Вряд ли они и сами ответят на такой вопрос — вкус, как принято говорить, сидит в генах. Выражение неточное, но смысл передающее, в общем-то, сносно. Конечно, дело в культурном наследовании, которое не всегда протекает в открытой форме школьного образования или не столь откровенно дидактичной фамильной педагогики, но в значительной своей части впитывается индивидом невольно, из окружающей культурной среды.

уцелело после разгрома 1730-х гг. Впоследствии, уже когда ханы отстроили свой дворец, он в ходе аннексии подвергся ещё и мародёрскому обдиранию. Оттуда было вывезено в Россию практически всё, что ещё представляло какую-то ценность, вплоть до мраморных каминных досок. «Только окна остались в первобытной красоте своей; у нас ещё их не отделяют так хорошо», — вздыхает русская путешественница (Шишкина, 1848. С. 92).

И это — стойкое наследие. Крымскотатарский народ прошёл со времени описываемой эпохи сквозь огромные по напряжённости и длительности испытания, изменился сам и изменил своих инокультурных соседей. Но глубинные эстетические императивы, о которых здесь говорится, проявив изумительную стойкость, сохранились. Они уцелели во всём своём богатстве и точности, при всей своей невысказанности и тем не менее действенности. Приведём один лишь пример из современности. На двух участках, расположенных не столь близко друг от друга, одновременно и независимо было в 1990-х гг. выстроено два дома. Подчёркиваю: проекты не сверялись, они по большей части вообще были в лишь голове у хозяев этих новостроек, меняясь по ходу дела и т. д. Но произошла поразительная вещь: оба дома (и, можно быть уверенным, ещё многие, нам неизвестные) оказались воздвигнутыми по единым, традиционным, крымским принципам.

Вот эти принципы, дошедшие до III тысячелетия из далёких, ханских времён:

1. Оба дома подчёркнуто асимметричны, в них нет не то, что одинаковых, а просто двух похожих или аналогично расположенных комнат.

2. В них нет чётко членённой этажности. Имеются уровни: подвальный, полудвухэтажный, одно-, полутора- и двухэтажный, соединённые внутренними лестницами и переходами.

3. Подсобные, хозяйственные помещения не нарушают цельности двора и сада, они традиционно собраны под единой кровлей, незаметны.

4. Системы отопления представляют собой столь же традиционно заглублённые в толщу стен или полов теплонесущие каналы. Единственная поправка на эпоху — по ним струится не горячий дым, а вода от газового котла.

5. В обоих домах лёгкие, подвижные (отноюдь не кованые) двери, скупая мебель, неяркая декоративная отделка, изобилие пустых, напоённых воздухом помещений, а их прозрачные ограды делают двор и сад открытыми для всех окружающих.

6. В результате использования таких строительных принципов от внешнего вида обоих строений, но ещё более от интерьера, от всей *народной* «неправильной» композиции буквально лучится уют, семейный лад, аура спокойного мусульманского порядка и привычной уверенности в собственных силах.

Остается назвать имена этих двух хозяев, хотя число принципиально (не буквально!) адекватных крымскотатарских частных строений легко можно было бы увеличить в сотню раз, таких домов сейчас немало, а будет ещё больше. Итак, это Али Озенбаш из Марьяна (Симферополь) и Ильвер Аметов из Асрета (Судак).

В третьем очерке первого тома говорилось о любви мусульман Понтийско-средиземноморского региона к воде, в особенности к струящейся. Великолепный, огромный водомёт был устроен на городской площади Керчи: «Здесьный фонтан, испускающий очень вкусную и здоровую воду, сделан на большом пространстве из камня, а передняя его стена облечена чистым белым мрамором и хорошо обработана. Надобно заметить, что во всех сего края городах много фонтанов, и что искусство Азиатцев в построении оных наподражаемо, и заслуживает великое внимание» (Сумароков, 1800. С. 71). О фонтанах огромных приватных (а по доступности — публичных) садов и парков ханского Крыма слышали все. Однако мало кому известно, что не только в усадьбах богатых крымских



Старинное чешме. Село Токлук, Восточный Крым. Фото автора

татар, не только в их домах, но при малейшей возможности и в обычных двух-трёхкомнатных жилищах устраивались фонтанчики или обычные *чешме*<sup>1</sup>. Бывало, что хозяин умел вывести во двор или *аят* (крытый дворик, часть двора) довольно мощный источник, что становилось предметом его законной гордости<sup>2</sup>. О фонтанном великолепии Хан-сарая было известно далеко за пределами Крыма. О нём ни в коем случае нельзя судить по нынешнему состоянию водной системы музейного комплекса. Это всего лишь жалкое подобие прежней роскоши, о которой более адекватно говорит одна из первых надписей, встречавших гостя у входа во дворец со времён Крым-Гирея: «Слава Всевышнему — лицо Бахчисарая опять улыбнулось! Вот плоды мысли великого Крым-Гирея — судите сами, как она воплотилась. Неусыпными его стараниями вода напоила эту страну, и он был способен, с помощью Аллаха, сделать ещё и больше... Тонкостью своего ума изыскал он воду и устроил прекрасный фонтан. Если хочешь увериться — приди. О, шейхи! Мы ведь видели и Дамаск, и Багдад! А тому, кто станет утолять здесь жажду, сам лоток фонтана пусть скажет внятными своим языком хронограмму: Приди, пей воду чистейшую — она приносит исцеление!» (Цит. по: Бузенко, Негри, 1850. С. 493–494).

<sup>1</sup> Чешме — каптированный источник, как правило, украшенный с лицевой стороны узорной или гладкой каменной плоскостью, нередко с надписью-посвящением местному святому или именем строителя и датой создания памятника.

<sup>2</sup> В обильной и по сей день источниками Алушке не редкость были дворы, имевшие собственную ключевую воду, «с шумом и журчанием разверзающую недра земные в самих сенях дома» (Броневский, 1822. С. 49). Были известны такие домашние водные источники и по другую сторону Главной гряды. Например в Мамут-Султане, во дворе Батыр-аги имелась «протекающая у самого крыльца приведённая (то есть искусственно проведённая. — В.В.) вода» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 53).



Чешме в горной деревне. Любительский снимок начала XX в.  
Из коллекции издательства «Тезис»

О дворцовых чешме и источниках говорили и менее поэтичные авторы; правда, им также не всегда удавалось сохранять строго академичный стиль. Один из русских путешественников записал, что Хан-сарай «мог быть ещё справедливее назван дворцом фонтанов. В нём повсюду есть проточная вода; она проведена в стенах, льётся в садах, бьёт из фонтанов, сделанных в комнатах...». Ручеёк имелся и на ханском кладбище, он находился в центре его, возле него всегда стоял хрустальный бокал и висело белоснежное полотенце. С давних пор был устроен фонтан и под сводом дворцовой Ханской мечети: «Вода, бьющая из него довольно высоко, ниспадает в обширный водоём, из которого вытекает посредством множества небольших отверстий, тоненькими струйками. Таким образом многие магометане могут вдруг (то есть одновременно. — В.В.) совершать предписанные им омовения» (Демидов, 1853. С. 334).

Конечно, здесь нельзя не вспомнить о всемирно известном бахчисарайском Фонтане слёз. Этот памятник искусства, в общем-то, не совсем крымский, как и многие другие. Но это и не многоструйный полноводный фонтан, каких в Крыму никогда не соорудили — местные жители сочли бы это оскорблением великого Духа воды. Поэтому здесь привился особый жанр восточной архитектуры — сабил. Это не чешме, а всё-таки фонтан, в нём вода медленно, ласково и нежно стекает по его прекрасному каменному телу. Однако только в Крыму сабилы сохранили свой первоначальный скромный облик. Ни один из ханов (а они, нужно признать, были люди со вкусом) не стремился превратить скромный источник в ошеломляющий своей архитектурной избыточностью фонтан. Например, вроде того сабила, что воздвиг Сулейман Великолепный на еле сочащемся источнике в Иерусалиме (его до сих пор можно видеть на улице Эль-Вад).



Дети у чешме середины XIX в. Фото.  
Из собрания издательства «Тезис»

Завершим «фонтанную тему» глубоким и тонким, выходящим далеко за её пределы наблюдением Максимилиана Волошина:

«Разницу между искусством Востока и Запада я почувствовал осязательно, когда рассматривал один из пересыхающих фонтанов Бахчисарайского дворца. Это не был знаменитый „Фонтан слёз“, но один из похожих на него, в глубине сада, около квадратного бассейна для купания, завитого сверху виноградным трельяжем...

Мне захотелось проследить путь, который совершала тоненькая струйка воды, просачивавшаяся сверху большой мраморной плиты, поставленной стоймя: она должна была капать из среднего вместилища, похожего на ласточкино гнездо, на две стороны — в такие же, но меньше размером мраморные гнёзда, и из них сливаться снова в одно срединное, находящееся ниже. И так до пяти раз, пока не попадала внизу в большой бассейн пошире...

Я провёл рукой по его дну, и пальцы почувствовали то, чего не мог примечать глаз: мрамор был слегка обточен и образовывал как бы один оборот плоской спирали — струйка воды становилась здесь совсем плоской и широкой, как лепесток расплющенного золота, и покрывала мрамор тончайшим текущим слоем, дробившим лучи солнца. Отсюда она попадала на длинный мраморный жёлоб, похожий на массивную деку музыкального инструмента...

Здесь её путь шёл по небольшим и частым волнообразным ступенькам, так, что она переливалась, дышала и пела, подобно струне, пока не попадала в бассейн, где отражались тёмно-смарагдовые зубцы виноградных листьев, подсвеченные бирюзой неба. Таким образом, каждая капля, прежде чем капнуть в эту зелёную воду, отдавала тишине сада всю свою свежесть, всю свою звучность,

весь вкус и аромат. И когда я припомнил... тяжкие водопады версальских вод и римских фонтанов, тут мне стало понятно безнадежное „варварство“ европейского искусства, играющего массами и количеством, сравнительно с этой строгой сдержанностью в средствах и щедростью в достижении эффекта».

Обративший внимание на этот фрагмент наследия М. Волошина известный крымскотатарский художник весьма последовательно отмечает: «Мастер фонтана использует максимально свойства воды: стекать, журчать стружкой; дробить лучи солнца, расплываясь на мраморной плоскости; стекать по наклонной звучащими волнами, и, наконец, отражать небо и растения, превратившись в зеркало бассейна» (*Чурлу М. Яркий стиль крымских вышивок // ГК 28. 10. 2007. С. 7*).

#### б) Философия города и сада

Для лучшего понимания особого стиля крымских городов эпохи ханства прибегнем к сравнению с имперскими реалиями (не точное слово), Давно было замечено: «Петербург — самый умышленный город на Земле», — эта истина стала настолько расхожей, что теперь и не упомнить, что первым её произнёс Ф.М. Достоевский.

Крымские города — самые *неумышленные*. В отличие от имперского Петербурга (совершенно чуждого явления среди приневского ландшафта) они так же естественны, как море, горы, степь. Это не преувеличение; они буквально выросли из местной почвы как крымские деревья или травы. И так же, как деревья и травы, они не могли быть иными, иметь иной облик, расти по иным, не природно-крымским, а по умышленным канонам красоты.

Города, если рассматривать их не по отдельности, а в комплексе, зарождались и развивались согласно тем же художественным принципам, что и сёла. Так, например, ханский Бахчисарай относился к горной, а Гёзлёв — к степной архитектурной зоне (южнобережных городов тогда ещё не существовало). Поэтому для того, чтобы избежать повторений в теоретических выводах, сразу перейдём к общим характеристикам, касающимся и крупного города, и мельчайшей деревушки.

Пожалуй, главное отличие дома в центральной части города от сельских домов (и зданий на окраинах того же города) было вызвано ограниченностью площади застройки. Выход здесь был один: расширение площади второго этажа за счёт частей, выступающих над улицей. Такие выступающие части, теремэ, поддерживались деревянными вогнутыми подпорками-консолями, упирающимися нижними концами в стену первого этажа. То же делалось и со стороны двора, но эта внутренняя стена отличалась от внешней окнами, тогда как наружная была глухой, и лишь изредка в ней прорубалось крошечное квадратное окошко единственно для того, чтобы наблюдать происходящее на улице. Впрочем, в богатых домах такое окно могло быть и большим, но тогда оно забиралось плотной деревянной решёткой (в степи и горах — чаше, на Южном берегу — почти никогда).

Имеющиеся в распоряжении историка описания городов несут следы личного отношения авторов к Крыму в целом и крымским татарам в частности. В наибольшей степени это касается их оценки таких старинных крупных городов полуострова, как Бахчисарай и Карасубазар. Нередки резко отрицательные отзывы

вполне современных этнологов и историков, даже не старающихся замаскировать высокомерное отношение как к самому народу, так и к его былой городской культуре («гнилая вода, грязь, сутолока, крики зазывал, грохот мастерских, вонь кожаных ванн» и т. п.). Здесь подтверждается старая истина: каждый находит то, что ищет<sup>1</sup>. Не счесть ругательных отзывов о тесноте, «хаотичности» застройки и высоте глухих заборов и т. д., когда на город смотрят люди, не умеющие и не желающие проникнуть в логику восточной архитектуры и древнейших градостроительных принципов. Поэтому стоит, очевидно, обратиться к тем источникам, где даётся более взвешенная и объективная информация.

И тогда старый Бахчисарай откроется нам в виде сравнительно небольшого города «с белыми тонкими трубами, с остроугольными мечетями, с высоким ханским Дворцом, с цветущими садами и пирамидальными райнами [тополями], подобно прекрасной игрушке, на самой узкой долине, под свесом скал, её окружающих» (*Измайлов, 1805. Т. II. С. 136*). Или вот так: «...всё это вместе с садами, которые украшены ломбардскими тополями, и вместе с минаретами и красивыми трубами некоторых домов представляет весьма живописный вид» (*Паллас, 1793. С. 76–77*). И ещё: «Дома расположены по извилистым берегам речки и затоплены в зелени садов, из которых возвышаются тополи и минареты» (*Ханацкий, 1967. С. 303*). Наконец, мнение иностранца: «Этот город, утопающий в садах — прелестен! Особенно изящны его минареты и трубы... Всё в нём живописно и производит сильнейшее впечатление, когда лобуешься этим морем несчитанных больших и малых остроконечных шпильей!» (*Haxthausen, 1847., S. 413*).

Вообще сады, традиционная *садово-парковая архитектура* крымскотатарских городов — особая, крупная тема. Она, к сожалению, совершенно не исследована, да и в этом, слишком общем труде также нет возможности приниматься за её разработку. Поэтому придётся ограничиться всего лишь несколькими предварительными замечаниями и не менее общим описанием *того, что было*<sup>2</sup>.

Прежде всего, стоит заметить, что при планировании садов и парков Крыма, архитекторы придерживались тех же принципов естественности, что были присущи крымскотатарскому градостроительству. То есть при закладке парка следовало прежде всего соотноситься с уже имеющимися тропками и дорогами (а их

<sup>1</sup> Западноевропейцы, очевидно, несколько лучше знакомые с санитарно-гигиеническими нормами эпохи, чем большинство современных русско-санитарных, отзывались о городах Крыма иначе (см. разделы о канализации и водоснабжении городов).

<sup>2</sup> Ниже речь будет идти исключительно о садах, создателями и владельцами которых были крымские мусульмане, так как в области садово-парковой архитектуры ни христиане, ни иудеи не создали в ханский период ничего достойного не то что сравнения, но даже упоминания. Об этом, в частности, мимоходом свидетельствует такой зоркий автор, как Эвлия: «В этом городе (Старом Крыму. — В.В.) редок дом без сада, разве что, быть может, дома неверных» (*Челеби, 1999. С. 75*). Вряд ли эти различия не связаны с особенностями религиозных культур. Ведь известно, какое пристальное внимание саду уделено именно в исламе. Причём саду в обоих его основных значениях — реальном и символическом. В Коране сад как райская обитель блаженствующих праведников, а также как вполне земной источник духовного удовлетворения и чувственной радости упоминается во многих сурах. См., например, в: 43:72–73; 25:16(15); 18:107–108; 31:7(8)–8(9); 22:55(56); 16:33(31); 18:30(31); 13:22–23 и т. д.

сеть покрывала территорию полуострова не только вблизи городов или ханских резиденций). Другими словами, при вычерчивании дорожек и аллей архитектор-садовник пытался следовать их безыскусному рисунку, «улучшить» который мог бы только гений, вместивший в себя коллективное эстетическое мышление всего народа, что вряд ли возможно.

Такой принцип и заметно облегчал задачу проектировщика будущего парка, и безмерно её усложнял. Первое, очевидно, ясно: проще всего следовать, не мудрствуя лукаво, уже предложенному (проложенному) человеческими ступнями и конскими копытами рисунку. Сложность же заключалась в задаче совмещения, во-первых, этой сети аллей с возможностями орошения и обводнения сада (что в Крыму далеко не всегда просто), а, во-вторых, с индивидуальным вкусом заказчика и коллективным — эпохи. Ведь в мусульманском эстетическом мышлении, при всей его традиционности, идёт постоянный, хоть и внешне незаметный процесс дальнейшего совершенствования. В умении найти золотую середину в клубке этих и некоторых менее важных проблем и факторов и заключался талант и интеллектуальная продвинутость крымского садово-паркового архитектора. Как правило, такие задачи решались успешно, скорее всего, потому, что сами эти садовники были детьми Крыма и его культуры.

Прежде чем перейти к анализу конкретного материала, нелишним будет вспомнить о некоторых более общих положениях, связанных с этим сюжетом. Например, о том, что садово-парковое творчество отличается от других видов искусства особой силой и универсальностью своего воздействия на человека, на практически все его органы чувств. Давно известно, что искусство — попытка создания какого-то идеального окружения. Отдельным видам искусства это удаётся с большей или меньшей полнотой, то есть частично. И только художник сада может создать шедевр, который действительно *окружает*. Отсюда — соблазн создать на отдельном клочке земной тверди модель рая, счастливых элисейских полей, создать сущность, бесспорно угодную Богу!

То есть в мусульманской религиозной эстетике понятие «сад» значительно шире простого обозначения искусственных насаждений в этом или даже том мире. Сад — это символ местопребывания вечноблаженных праведников после кончины. В Коране даны довольно детализированные описания этих темно-зелёных садов-*джаннат* (ед. число *ал-джанна*): они испещрены прудами, озёрами и родниками, в них царит приятная прохлада из-за густой тени деревьев с низко висящими плодами и т. д. (См. Коран: 47:15/16—17; 55:46—78; 56:11—38/37; 76:11—22). В Коране рассыпано множество поэтических описаний рая,

<sup>1</sup> Устраивая землю, в частности сад, мусульманин вступает в близкое сотрудничество с Богом, совершает угодное Ему деяние, о чём есть прямое указание в Коране: «И знаменем для вас — земля мёртвая; Мы оживили её и вывели из неё зерно, которое вы едите. Мы устроили на ней сады из пальм и виноградников и извели в ней источники, чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве ж они не возблагодарят?» (36:33—35). Но и задолго до дарования Корана человечеству, ещё в XIII в. до н. э. персы придумали термин, сближавший сад с понятием о рае, то есть бескрайним парком, где мирно сожительствоуют различные звери, а также человек: *pairi daeza* (буквально сад с животными). Отсюда произошло иудейское название рая: *pardes*, заимствованное, в свою очередь, греками (*paradeisos*), а затем и другими европейцами как парадиз или рай (Demand, 2002, S. 50).

превратившихся в устойчивые словосочетания, в которых фигурирует понятие сада. Вот несколько примеров: *джаннат ал-фурдаус* (райские сады); *джаннат ал-ма'ва* (сады пристанища); *джанна анна'им* (сад благодати); *джаннат ал-хулд* (сад вечности) и т. д. Здесь же, в раю, в «садах, где вечно текут реки», находится знаменитый источник Салсабил (76:18), столь часто встречающийся в ряду символов восточной поэзии!

Неважно, что земной сад был всего лишь моделью, представляющей собой уменьшенное, скромное подобие джанны (на создание полноценной копии райского сада никто и не думал претендовать), ведь и предназначена она не всей праведной части человечества, а лишь хозяину да его гостям. И эта мечта об устройстве отдалённого напоминания райского сада, утраченного праародителями Адамом и Хавой, была вполне осуществима. Она и осуществлялась, даря людям тихую радость, — вот что потрясающе! Ведь обратная связь «работает» в саду безукоризненно именно благодаря многообразию воздействия этого вида искусства на все органы чувств, на все психические рецепторы. «Райскими» называл восточные сады тонкий знаток прекрасного Гегель, подчёркивая, что «... это — не английские парки, а залы с цветами, колодцы, фонтаны, дворы, дворцы для пребывания на лоне природы. Они великолепны, грандиозны, роскошны, и всё это устроено ради удовлетворения потребностей человека и доставления ему удобств» (Гегель, 1999. Т. II. С. 80).

Другими словами, крымский сад, в отличие от английского, и ещё более — французского, избегает демонстрации навязчивой перспективы. Вместо того, чтобы увлекать к какой-то цели, как бы скрытой в глубине прямых аллей, крымские мастера паркового искусства сознательно задвигали в своих шедеврах один горизонт за второй, как бы приглашая к бесцельной и ничем не ограниченной прогулке, ведь только в такой ни к чему не обязывающей и ничем не отвлекающей среде можно самоуглубиться, забыть о мире, начинающемся за парковой оградой, забыть о земных, разбуждающих душу тревогах.

Вот это как раз и поразительно, и Гегель в своих эстетических поисках, как и обычные европейские путешественники по Крыму, то есть люди совершенно иной культуры и пристрастий, воспринимали крымский сад именно как рай. Или, точнее, как земной рай (“terrestrial Paradise”, см. Lyall, 1825 P. 324). Причём речь могла идти не обязательно о великолепных парках хана или калги. Достаточно было английской гостье осмотреть сравнительно небольшой сад с фонтанами и ручьями в Каралезе, как она воскликнула, что «он производит впечатление *настоящего* (выделено мной. — В.В.) рая в миниатюре», — мнение, особенно авторитетное в устах верующего человека! (Craven, 1855. P. 82). «Ни в одной стране я не встречал такой растительности, здешние сады так хороши, наверное, таковы же Райские» (Арагон, 1985. С. 133). Сравнение целой цепи садов, принадлежащих

<sup>1</sup> Очевидно, далеко не случайно сохранился орнаментальный мотив *зери дал* («изогнутая ветка»), изображение некой условной ветви, из которой произрастали совершенно различные плоды и цветы. Она имела форму буквы S и символизировала в народных вышивках бесконечное цветение, гармонию природы, а конечном счёте — райский сад (только в райском саду могут мирно сосуществовать разнородные виды растительного мира). Само по себе это некое эстетическое совершенство (См.: Акчурина-Муфтиева Н.М. Удивительный характер марамы // А., 05. 02. 2007. С. 4).

усадьбам и деревенькам, расположенным вдоль Ашлама-дере, звучит в том же смысле: «на протяжении какого-то времени я чувствовал себя перенесённым на блаженные поля Аркадии» (*Struve*, 1802. P. 29–30). С Эдемом сравнивал турецкий путешественник и зимний сад альминского Летнего ханского дворца (*Milner*, 1885. P. 249) — об этом чуде паркового искусства мы еще будем говорить.

Остаётся сделать логическое заключение. Именно по причине такой психической «сверхпроводимости» в духовной системе *человек — сад — человек*, произведения садово-парковой архитектуры глубоко и полно выражают как эстетические веяния эпохи, так и внутренний мир конкретно человека, и шире — его этнокультуры, ещё шире — его цивилизации...

Поэтому читателя вряд ли удивит приведённая ниже картина крымских садово-парковых ландшафтов, ведь они создавались под конкретные (а именно крымскотатарские) вкус, философию, культуру. Они были подготовлены всем предыдущим развитием этноса, который известным американским географом и этнографом был назван «гениальным во всем, что касается садового искусства» (*Curtis*, 1911. P. 270).

Речь пойдёт об одном, очевидно, в то время лучшим из садов-парков в долине Ашлама, близ Бахчисарая:

«Это такой прекрасный сад, в котором как в райском саду Гулистане из конца в конец протекает журчащая вода, задерживается у дворцов (очевидно, парковых беседок-киосков. — *B.V.*). В саду влюблённые, оставшись наедине, слушают напевы соловьёв. Вода и воздух там так прекрасны, что если кто-нибудь погуляет там хоть один час, то забудет горе и печали и пребудет в радости... И есть там различные бассейны, фонтаны и дворцы-хавернаки, такие, что если на них посмотрит обладатель познаний в архитектуре, он приложит палец к устам и ум его поразится.

Различных плодовых деревьев, которые там растут, нет больше не только в Крыму... Тысячи видов цветов с превосходным запахом, присланные в подарок ханам, наполняют дыхание ароматом. Особенно замечательны луковички азиатского бакыраза, подобные мускусу Рума, и саженцы трабзонской гвоздики, истанбульский золотой тюльпан «Монла Челеби», тюльпан «Чилли Халджи», тюльпан «Кягыт-ханэ», различные красные пионы, истанкойский гиацинт и много сотен... видов луковичных цветов, входящих в подарок, красуются в этом саду. Входящие в этот сад думают, что попали в вечный Рай. Весной все деревья зацветают, цветут сливы, яблони, груши, черешни... В этом месте человек пьянеет от благоухания. Уместен аят, который говорит о саде Ирема: «Не создано подобного ему в странах». Сад этот бесподобен, неповторим, он — подобие Рая на бренной земле... Под покровом тени различных высоких деревьев, между луками и цветниками журчат ручьи и источники-сельсебили, во многих [местах] выбрасывается из водомётов чистая вода на листья и плоды, вода из фонтанов стекает с деревьев, как благословенный дождь» (*Челеби*, 1999. С. 40–41).

Декоративные (то есть не фруктовые) сады выращивали не только ханы и бейско-мурзинская знать. Невозможно перечислить записки путешественников, которых поражали скромные по размеру, но со вкусом распланированные сады при жилых постройках крымских татар весьма среднего достатка. Не исключено, что это народное, то есть традиционное пристрастие к садам в усадьбах и вокруг даже скромных жилищ крымцы унаследовали от пришельцев из степ-

ных городов Золотой Орды. Ведь там «в усадьбах были не только дома, хозяйственные постройки, ремесленные мастерские, но и сады, и водоёмы. Все дома и богатых, и бедных жителей стояли в садах» (*Кульпин*, 2007. С. 54).

Эвлия Челеби был не первым и не последним путешественником, обратившим внимание на цветы в крымскотатарских садах. Народ, добрая половина которого относилась к степнякам, то есть обитателям однообразного окружения, единственным разнообразием которого были цветы, не мог не относиться к ним с трепетной нежностью<sup>1</sup>. Степняки (и потомки их, частично поселившиеся в горах и на побережье) с трепетом ожидали весны, когда после жестоких зимних буранов бескрайние крымские просторы покрывались вначале крокусами и подснежниками, затем душистыми фиалками и гиацинтами, жёлтыми и красными тюльпанами с чёрными пятнами у пестика (взрослые и дети нежно называли их «угольками в огне»), их сменяли маки, затем тёмно-голубые ирисы, гипсофилы, розовый чабрец, дикая герань, скабиозы, астры. Это разноцветье побудило одного немецкого профессора уподобить крымскую степь прериям Южной Америки, всемирно известным своим весенним нарядом (*Koch*, 1854. S. 17)<sup>2</sup>.

Но после сравнительно короткого весенне-летнего цветения это украшение Земли надолго исчезало (оставались разве что побуревшие высокие, до метра в высоту, стебли мальвы, да неистребимо зелёный юзерлик) — как же могли крымцы *не разводить* цветы, когда предоставлялась такая возможность в орошаемых садах! Естественно, владельцы парков и совсем скромных садиков, а ещё чаще их жёны и дочери увлечённо обменивались цветочными семенами, клубнями и луковичками, да и из-за рубежа новые цветы проникали в Крым в никогда не прекращавшемся потоке посалочного материала.

Практически все цветы, известные в Крыму, имели символическое значение, прекрасно знакомое татарам. Так, роза белого цвета считалась выросшей из упавших на землю капелек пота Мухаммада при его ночном восхождении на небо, отчего ей приписывали очистительную силу. Мало того, розу, листок бумаги или корочку хлеба, упавшие на землю, любой мусульманин считал своим долгом поднять и бережно положить на чистое место. Очистительной силой обладала и розовая вода, — говорят, что константинопольский храм Св. Софии перед тем, как он был превращён в мечеть, вымыли изнутри и снаружи розовой водой (*Золотницкий*, 1992. С. 23–24).

С Пророком связана и легенда о любимом крымскими татарами нарциссе. Передают, что Мухаммад сказал однажды, глядя на этот прекрасный, едва

<sup>1</sup> Некогда Марко Поло во время своих странствий в заперекопской степи отметил, что её жители пользуются довольно своеобразной метафорой: «Луг в цветах». Это выражение означало высокую похвалу, которую степняк может дать «всему тому, что его восхищает, начиная с хорошего жилища и кончая молодой девушкой в свадебном наряде» (*Харт*, 1999. С. 41).

<sup>2</sup> Многие цветы крымских степи и гор были впоследствии окультурены и стали украшением садов на своей родине и далеко за её пределами. Существует мнение, что тюльпан был некогда эндемиком Крыма, а затем его луковички вывезли в Турцию, где местные цветоводы вывели несколько культурных сортов, и лишь в XVI в. цесарский посол О. Бусбек (уже упоминавшийся в главе о крымских готах) вывез их в Вену, вместе с левкоем и сиренью (*Кернер фон Марилаун А. Жизнь растений. Т. II. СПб., 1907. С. 762).*

распустившийся цветок: «У кого два хлеба, пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисса, ибо хлеб — пища для тела, а нарцисс — пища для души» (Цит. по: *Золотницкий*, 1992. С. 282). Но, конечно, страстная любовь крымцев к цветам имела характер прежде всего чисто эстетический. Это был один из признаков тонкого вкуса народа.

Отсюда и замечание одного путешественника-поэта, прибывшего в Крым из Германии (возможно, поэтически несколько преувеличенное): «Татары любят цветы ещё сильнее, чем лошадей» (*Kosmeli*, 1813. С. 14). Впрочем, похожее замечание повторяется в записках и английских гостей: «У каждого домика есть сад с цветником, в возделывании которого хозяин находит главное своё удовольствие» (*Seymour*, 1855. Р. 195); «...цветники эти украшены более всего тюльпанами и лилиями» (*Willis*, 1787. Р. 10). О том же писали переселенцы, прибывшие в Крым из Вюртенберга: «В Кафе во дворах садик с лимонами, померанцами, шелковицей, инжиром, вишней, жасмином, виноградом, там множество благоухающих цветочных клумб, ароматами которых наполнены все комнаты» (*Nachrichten*, 1804. С. 58).

В этой связи глубоко верным представляется наблюдение голландского культуролога Йосефа ван Эоса: «Поэзия исламской городской культуры воспевае не пейзаж, творцом которого является природа, а цветы в садах, созданных руками человека» (Цит. по: *Аллах*, 1987. С. 20). Ведь существовали же в Крыму какие-то чисто «цветочные сады, украшенные тюльпанами и лилиями», то есть обширные цветники, главным украшением которых были не деревья, а однолетние и многолетние цветочные растения (*Willis*, 1787. Р. 10). «Примулы, фиалки, розы, гнацинты, анемоны и вообще все цветы» можно было купить на улицах ещё полуразрушенного после захвата русскими Крыма, ещё полуголодного и униженного оккупацией Гёзлёва (Ор. cit. Р. 111).

Городские и пригородные сады Крыма уже в XVII в. были чрезвычайно популярны как место изысканного отдыха. В отличие от европейских (в частности, французских) садов той эпохи, они не имели ни статуй, ни созвездий из прямых аллей, символизирующих конкретные личности или их деяния: этноцентризм и эгоизм были равно чужды крымскотатарской этнической психологии, исламской философии в целом. Сады Крыма являлись исключительно местом единения с мирозданием, явленным смертному в природе *его* земли. Это был светлый источник, прильнув к которому, человек остро ощущал свою личную принадлежность к Вселенной, растворялся в ней, осознавая себя одним из шедевров Аллаха.

Поэтому неудивительно, что крымские татары использовали любую возможность побывать в садах-парках, предпочитательно в ночные или вечерние часы, а мусульмане-путешественники в своих воспоминаниях уделяли таким ночам в крымских садах, крымским соловьям и журчащим парковым ручьям самое трогательное и удивительное для человека XXI века внимание. Между прочим, странствующие по Крыму, не колеблясь, прерывали свой путь, если представлялась возможность совершить прогулку по парку. Вот упоминание о такой незапланированной остановке, которую автор никак не комментирует, не видя в этом ничего необычного или непонятного: «погуляв и наслаждаясь в этих садах, мы проехали 2 часа...» и т. д. (*Челеби*, 1999. С. 76).

Что же касается самых известных из крымских парков того периода, то и здесь нас выручает знаменитая «Книга путешествия». Её автору мы обязаны све-

дениями о том, что только в Бахчисарае было двадцать шесть (!) «мест прогулок — райских садов». «Лучший из них — вышеупомянутое дивное место, падишахский сад Ашлама. Садовники в нём не препятствуют мужам газавата, влюблённым и возлюбленным, знатокам ремёсел, путешественникам по суше и по морю, осматривать его внимательным взором и прогуливаться. Далее — место прогулок — сад Качи. Далее — сады Сюрен. Затем — луг и место прогулок во дворце Сефер Гази-аги с грушевыми деревьями, место, изобилующее цветами. Далее — сады Куба, сады Эски-Юрта. Затем, с кыбловой (то есть южной. — *В.В.*) стороны Бахчисарая на холме — место прогулок, площадь для общественной молитвы Мехмед Гирей-хана... Это широкий луг. Здесь, склонив голову к земле, молящийся обязательно удостоится счастья в обоих мирах и приблизится к Богу... Если подняться вверх от этого места поклонения в сторону кыблы — место прогулок, дворец Юсуфа, построенный Мехмед-Гирей ханом... Оттуда видны крыши, сады и виноградники, дымящиеся трубы каждого дома. Вот сколь высоко поднимается это место осмотра. Текут разные речки (то есть многоводные ручьи. — *В.В.*)... засаженные деревьями с только что распустившимися цветами. Это место прогулок с садами и виноградниками, которое может послужить образцом для подражания» (*Челеби*, 1999. С. 51).

То есть, Ашлама-дере и другие близлежащие долины не были в истории крымских парков каким-то исключением. Тот же автор свидетельствует о парках восточной части полуострова: «На Крымском острове нет других таких садов, как эти сады Судака. Хотя есть известные сады около крепости Мангуп, в долинах Качи и Бельбека. Но их нельзя сравнить и уподобить садам Судака. Потому что земля этих садов Судака драгоценна, приносит радость, здесь приятные воздух и вода, широкие земли, здесь бьют источники живой воды. Каждый из этих садов подобен райскому и садам Ирема». «Судацкие сады известны в Руме (т. е. на территории европейской части бывшей Византии. — *В.В.*), среди арабов и неарабов. У тех, кто проживает там в наслаждениях, совсем не бывает головной боли» (*Челеби*, 1999. С. 76, 79). О прекрасных садах-парках Карасубазара эпохи Девлет-Гирей II писал поражённый буйством южной зелени шведский пастор Ларе Тарсениус (См. в: *Возгрин*, 1978. С. 329).

Выше речь шла о почти исключительно обширных, богатых парках знати. Но сад как произведение национального искусства был частью культуры всех слоёв крымскотатарского народа. Сады бедняков были меньше, скромнее, но они были. «Почти каждый домовладелец [Бахчисарая] имеет у себя хорошенький водопад и фруктовый сад...» (*Фёдорова*, 1855. С. 155). «Сад имеет каждый татарин, и в уходе за ним он испытывает самое сильное удовольствие» (*Clarke*, 1810, 519). «Дворик может быть площадью всего лишь в пять квадратных футов, но там обязательно разбит цветник и высится хоть одно дерево — а чаще несколько» (*Remy*, 1872, 65). Даже степняки, эти потомки кочевников, которые к XVIII в. уже давно «живут на одном месте», имеют дома, окруженные «большой частью рощами и аллеями кипарисов и других деревьев» (*Тунманн*, 1936. С. 25).

А вот описание сада из еще одной части Крыма (местность между Таушан-Базаром и Ангарским источником), владелец которого обладал, судя по всему, средним достатком: «Перед домом — солнечная веранда, вся увитая виноградом, неподалеку — сад из кустов роз, розы вообще растут во всех тенистых уголках



обширного двора. Несколько дворовых построек, предназначенных для гостей, отделены друг от друга цветочными куртинами и дорожками, посыпанными гравием, а также кустами сирени. Тень на весь двор бросают деревья белой акации» (Craven, 1855. P. 22).

Не только в степи, но и в других безлесных местностях полуострова (их немало, например, в Восточном Крыму близ Коктебеля, Кефе или Еникале) именно сады, искусственно выращенная зелень издали извещала путника о том, что он приближается к деревне. При этом самого селения практически никогда не было видно, настолько густы были заросли кустов и деревьев. Очевидно, считалось делом чести вырастить столько зелени, чтобы вся деревня была полностью укрыта и от палящего солнца летом, и от ледяных ветров зимой. Чем бы эта традиция ни объяснялась, но в Новое время такая картина была типичной для Крыма. Почти все путешественники отмечают: «Самой деревни не видно до последнего момента. Путник лишь тогда начинает понимать, что он, наконец, добрался, когда вдруг увидит с обеих сторон дороги стены домов, едва заметно белеющие в буйных зарослях кустов» (Seymour, 1855. P. 196).

Нельзя забывать и о том, что не только сады, но и каждое произраставшее в них растение имело свое особое значение. Выше упоминалось, что язык цветов известен на Востоке с глубокой древности, в Европу он пришел лишь в конце Средневековья. В крымских дворцах были мастера не только составления букетов, но и садовники, умевшие так подобрать цветочные сорта на клумбах, что каждая из них безмолвно выражала одну-единственную мысль или приветствие!

Так, роза в исламской символике олицетворяла не только нежные чувства, но и мудрость (Demand, 2002, S. 33).

Это же касается деревьев, то и они несли древние значения. Например, кипарисовые аллеи одаряли в летний зной не только тенью и ароматом, но и напоминали прогуливающимся под их сенью о вечности жизни. Турецкий писатель, Нобелевский лауреат Орхан Памук в своей великой книге о Стамбуле пишет: «Кипарисы — необходимый элемент традиционного исламского сада, неизменно присутствуют они и на рисунках, изображающих исламский рай» (Памук, 2006, С. 97). Кипарисы появились в Крыму с первыми греческими переселенцами, которые с античных времен считали это дерево символом света (Demand, 2002, S. 94). Гораздо позднее с ним стали связывать представление о смерти. Но это типичный перенос значений, возникший оттого, что мусульмане сажали кипарисы не только у оград своих садов, но и у кладбищ. Там их вечнозеленые, то есть вечно живые его ветви были призваны утешить скорбящих, как бы говоря, что дорогие покойники живут в своих потомках, что жизнь вечна.

Неясно, когда в Крым впервые были завезены саженца платана. Однако, судя по платановым стволам, пораженным своими размерами первых русских, поселившихся на Южном берегу после 1783 г., эти прекрасные деревья появились на полуострове никак не позже знаменитых вековых платанов у не менее древнего стамбульского кладбища Буюк Мазаристан на восточном берегу Босфора, в Скутари-Ускуодаре. Или же растущих в европейской части города, напротив Большой Мечети, посвященной знаменитому Мухаммаду, Эйуну — это если не считать, безусловно, самые старые экземпляры платана, высшие к северу от центра Стамбула, в Буюк-дере (Demand, 2002, S. 57).



На ханском кладбище.  
Гравюра К. Жирара.  
Из коллекции музея Ларишес

Маслина, согласно аятам Корана — «дерево благословенное», дерево рая (24:35), и в качестве такового противостоит проклятому дереву ада, *заккуму* (37:60–64). Такими же, как у древних пророков, почтением и любовью пользовались деревья маслины в тех немногих местах Южного берега, где они только и могли произрастать и плодоносить на полуострове, в частности, близ Гурзуфа. Там академик П. Паллас, путешествовавший по Крыму через десять лет после аннексии, зарисовал целую рощицу старых маслин (Pallas, 1801. Bd. II. S. XX; рисунок акварелью см. там же, на Pl. 11).

#### в) Расположение городов

Ибо и у них был такой же хороший, чистый воздух Востока; там был я всего дальше от старой Европы, открытой тучами, сырой и тоскливой!

Ф. Ницше. Так говорил Заратустра

Ещё одна важная сторона градостроительного мастерства — искусство «привязки» селений к условиям местного климата. Здесь стоит вспомнить, что в эпоху Средневековья, да и позже, подлинным бичом Божьим были эпидемии,

вызывавшиеся в немалой степени антисанитарией мест массового, компактного заселения. Поэтому в градостроительстве и Запада, и Востока огромное значение придавалось планированию города по отношению к господствующим ветрам, которые были способны *вентилировать* городские кварталы. Существовала целая теория (которую, кстати, изучают во всех архитектурных вузах), касающаяся этого принципа расположения городов. Она была описана А. Филарете и другими архитектурными гениями Возрождения, её прекрасно знали и далеко за пределами Италии. Но, как и ныне, не везде этот принцип проводился в жизнь одинаково последовательно и профессионально. Впрочем, именно в Крыму, кажется, с этим было всё в порядке. Приведём несколько наблюдений современников о городах и крупных сёлах ханства.

Начнём с местоположения и микроклимата Бахчисарая: «Вода в нём прекрасная и ветер делает воздух здоровым» (*Сестренцевич-Богущ*, 1806. Т. I. С. 33). «Бахчисарай... вообще считается очень здоровым местом. Это можно приписать постоянному течению воздуха в долине. Город совершенно закрыт от северных ветров. Зимой здесь постоянно тёплая погода, между тем как в других местах мороз» (*Паллас*, 1793. С. 80). «Горный воздух, прекрасные окрестности, величественные виды, здоровая горная вода, а в возвышенных частях города отсутствие жара в летние месяцы делают летом жизнь в Бахчисарае если не весёлой, то здоровой и приятной» (*Жадовский*, 1859. С. 276). «В смысле здоровья Бахчисарай расположен наиболее разумно, так как вдоль ущелья, где он расположен, постоянно текут массы свежего воздуха, да и вода здесь превосходна» (*Clarke*, 1810. P. 493) и т. д.

В Ахтиаре (современный Севастополь) «воздух... по его открытому, сухому положению и близости моря, здоров. Летом морские ветры умеряют жар. ...[он] закрыт горами от северных и восточных ветров и зимою здесь теплее, чем во многих других частях Крыма... Утром и вечером меняются ветры с моря и суши по направлению бухты, освежают воздух... тогда как за бухтою, в открытом море, преимущественно господствуют северо-западные и северо-восточные ветры» (*Паллас*, 1793. С. 90–91).

О Гёзлёве писали: «Во всём Крыму нет ни одного места, где бы воздух был так здоров, как в Кезлеве, чему много способствует, что холодные ночи в самые жаркие Июль и Август месяцы повсюду причиняют простуды и известные Крымские лихорадки; но в Кезлеве оных почти не бывает и напротив, страждущие сею болезнью приезжают сюда лечиться здешним воздухом и получают от них освобождение» (*Сумароков*, 1800. С. 158). Открытый всем ветрам степи и моря «Гёзлёв — сухой и пыльный, но здоровый город» (*Kosmell*, 1813. S. 110).

И даже в Новое время, когда против многих местных болезней были найдены лекарственные средства, приезжие отмечали, что есть такое место — Старый Крым, который отличается «особенно благоприятным климатом», а счастливые жители его «незнакомы с многими болезнями». Столь же похвально отзывалась публика об Акмесджите, который «отличался по преимуществу всегда свежим и здоровым воздухом. По уверениям жителей местных, они не подвержены многим болезням, известным в Крыму» (*Ханацкий*, 1867. С. 242, 249, 296). «В Кефе вода нехороша, — замечает ненадолго остановившийся в городе голландец, — но воздух очень здоров» (*Witsen*, 1692. Bl. 384). Так же примерно отзывался об Акмесджите немецкий гость: этот чистый и здоровый город «име-

ет необыкновенно прекрасное (в смысле «удачное». — *В.В.*) расположение» (*Тунмани*, 1936. С. 36).

О Судаке также свидетельствовали, что «климат здесь очень здоров, воздух постоянно освежается и со стороны моря, и со стороны гор. Долина перерезана по всем направлениям, от одного края до другого, виноградниками, хорошими дорогами и тропинками, которые оттенены большими деревьями и представляют удобные и приятные места для прогулок. И кроме всего этого, здесь находится у подножья горы Перчем-кая, серный источник, вода которого исследована опытными медиками и признана лечебной» (*Сосногорова*, 1880. С. 323).

Выбор основателей старинных селений всецело одобряли и более современные специалисты в различных областях науки. Прибывший на Южный берег весьма авторитетный учёный, доктор С.П. Боткин, «посетив Алушту, нашёл, что климат здесь здоровее даже, чем в Ялте, так как здесь воздух чист и летние жары умеряются течением воздуха сквозь ущелья, по склонам Чатырдага, к морю» (*Сосногорова*, 1880. С. 38). Этот воздушный поток, лившийся с цепи южнобережных яйл, освежал не только Алушту: «Воздух в Симеизе превосходный, здоровый... в Парените летние жары смягчаются сильным течением воздуха» (*Сосногорова*, 1880. С. 84, 136). Западный коллега С.П. Боткина, известный учёный-гигиенист и путешественник Ф. Реми утверждал, что Крым — одно из немногих мест на континенте, которые благодаря местному движению воздушных масс и климату в целом, практически не подвержены эпидемиям (*Reimy*, 1872. S. 7).

С этой же точки зрения оценивается рельеф горной местности близ «прекрасной деревни Коккоз [где] долина расширяется и образует прелестное место... Татары живут здесь зажиточно, имеют хорошие чистенькие дома и красивые сады» (*Паллас*, 1793. С. 159). Общий итог «воздушной» теме подводит французский путешественник: «Воздух в Крыму вообще здоров, и нет ни одного места стоячих вод или же болот, кроме того, полуостров прекрасно освежает и очищает почти постоянно дующие здесь ветры» (*Reuilly*, 1806. P. 65).

Для старинного Арабата, некогда значительной крепости с посадом, которая была призвана охранять вход на одноимённую косу («стрелку»), место постройки было найти нелегко по причине крайне неблагоприятного климата тех мест. Тем не менее, очевидно, выбор был сделан удачно, поскольку более поздние путешественники отмечали с некоторым даже удивлением, что крепостца эта — некий оазис, где «Климат чрезвычайно здоровый, и, несмотря на болотистые места, здесь нет комаров...» (*Сосногорова*, 1880. С. 335).

Побывав в селе Кара-Ильяс (очевидно, академик Паллас именовал Каралез по-старому. — *В.В.*) близ Мангупа, учёный не мог удержаться, чтобы также не упомянуть «о прекрасном местоположении этой деревни. Богатая и густо населённая эта деревня принадлежала Мемету-аге, казначею последнего хана...» Деревня была разделена на две части: Юхары-Ильяс и Ашагъа-Ильяс, обе прекрасно проветриваемые и обильно орошаемые ручьём Суук, хотя каждая из них обладала и собственными достоинствами в расположении: «Верхний простирался до высокой долины, которая ведёт в Мангуп и в Ай-Тодорские деревни. Нижний тянется в длину, под стенообразным утёсом... Место это может назваться одним из лучших во всей Таврии не только в отношении своей романтической местности, но и по удобству [для жителей] и по превосходству своих садов» (*Паллас*, 1793. С. 135–137).

### г) Коммунальные городские системы

Ныне мы вспоминаем о канализации лишь тогда, когда она приходит в неисправность. В Средние века, да и в начале Нового времени в большинстве городов Европы канализация была «неисправна постоянно». То есть её не было вообще. Кухонные вёдра и ночные горшки выпоразнивали не только с верхних, но и с нижних этажей на улицу, прямо под собственные окна. И ничего, никого это не то что не шокировало, но и не удивляло<sup>1</sup>. В ту эпоху исключением в мировой городской культуре являлись прежде всего восточные (арабские, китайские) города. А для Европы ближайшим примером могли служить испанские мавританские, сицилийские (по сути, тоже арабские) да крымские улицы. К сожалению, рассказы о них заезжавших в Крым западных путешественников ничего не меняли. В Европе до XVIII в. всё оставалось по-старому.

Крым же, очевидно, заимствовал образцы городской культуры огромных городов Золотой Орды — здесь сходство почти буквальное. Степные столицы ордынских ханов были снабжены водопроводом из керамических труб, а подземные деревянные коробчатые системы обеспечивали потребности городских центров в отводе нечистот (канализации) и дренаже для сточных и дождевых вод (Кульпин, 2007. С. 54). Впрочем, не исключено, что кое-что из прекрасных коммунальных систем в городах Восточного Крыма времён античных — греческих и римских — колоний могло быть взято за образец крымцами остальной территории полуострова задолго до их знакомства с золотоордынской культурой.

В Бахчисарае с его изобилием воды, отчасти подведённой от окружающих город источников при помощи керамических толстостенных труб, а отчасти дождевой, проблема канализации решалась проще всего. Мощные дождевые потоки буквально «промывали город», бурлящими потоками несясь по его улицам и вытекая подземными каналами, высеченными в известняковой породе. Сток был один, все они пополняли единственную речку долины, «... Чурюк-су, унося с собой нечистоты двора и города» (Паллас, 1793. С. 80). Что же касается нагорных улиц и переулков, где подземной канализации не было, то они очищались «при посредстве сточных канав», которые из-за перепада высот прекрасно очищались при любом дожде, когда по ним мчались даже не струи, а бурные «потоки воды» в ту же Чурюк-су (Ромм, 1941. С. 69).

Кроме того, образованию грязи на улицах крымских городов препятствовало их мощение. В XVII в. в Кефе, например, все улицы, ведущие к базарам, городским воротам, баням и т. п., представляли собой «чистые, белые, вымощенные

<sup>1</sup> Посетивший Францию в 1777 (!) году знаменитый российский драматург Д. И. Фонвизин был поражён нечистоплотностью городского населения этой прекрасной страны. Когда он прибыл в один из первых на их пути городов (Ляндю), его «ошибла мерзкая вонь», так что он с женой «не могли усомниться, что приехали во Францию», где «о чистоте не имеют... нигде ниже понятия, — всё изволят лить из окон на улицу, и кто не хочет задохнуться, тот, конечно, окон не отворяет». То же было и в крупном городе Лионе: «надлежит зажать нос, выезжая в Лион, точно так же, как и в любой французский город» (Цит по: Парпаненко, Ушаков, 2006. С. 64). Но и деревнях было не лучше: ни в одну из них нельзя было въехать, «не зажав носа», чему виной была французская «привычка от самого младенчества жить в грязи по уши...» (ук. соч., с. 65).



Дорога в Салачик после дождя. Через полчаса улица снова будет сухой и чистой. Фото из журнала *Qasevet*

камнем мостовые. Всего насчитывается 70 улиц. Всё это чистые улицы», ещё раз подчёркивает турок, очевидно, поражённый этим зрелищем (Челеби, 1999. С. 94). В крошечной Балаклаве все улицы были мощены блестящим и, к тому же, разноцветным камнем, скорее всего, местными меловым мрамором, пёстрым конгломератом и чёрным шифером (Сегюр, 1865. С. 216). Кое-где (очевидно, там, где привозной камень дорого стоил) улицы и дороги покрывали слоем водорослей — это также препятствовало образованию грязи и смягчало езду на безрессорных телегах. Да и экологически это было не самым худшим из дорожных покрытий, хоть, очевидно, нуждалось в довольно частом возобновлении (Подр. см. в: Возгрин, 1978. С. 329).

С той же санитарной целью «...на случай грязи по обеим сторонам улиц и переулков положены широкие камни для пешеходов» (Паллас, 1793. С. 77), то есть тротуары<sup>1</sup>. Это в Бахчисарае и Гёзлёве. В Карасубазаре же, напротив, тротуары были узкими, но удивительно высокими — 18 дюймов, то есть достигали почти полуметра (Scott, 1854. P. 215). Нетрудно понять причину такого отклонения от привычных норм: оно объяснялось, конечно же, бурными потоками воды, обычно устремлявшимся по улицам города в пору проливных дождей. Сама по себе эта деталь общей картины крымского города весьма любопытна. Плитовым тротуарам была суждена долгая жизнь (и в XX в. их даже в Симферополе кое-где

<sup>1</sup> Отметим мимоходом, что в большинстве стран Восточной Европы (и в России тоже) тротуар, как сооружение, как и само слово, был заимствован из Франции. В Крыму же, где тротуары принадлежали к собственной материальной культуре, собственным было и их лексическое обозначение: *кгалдырым*.

не покрывали асфальтом), но здесь важно отметить другое. А именно то, что и в XVIII в. и раньше они были в крымскотатарских городах привычной, повсеместной, обязательной деталью городской улицы: «Возвышенные с обеих сторон каменные пешеходни идут по всем (подч. мною, — В.В.) улицам» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 70). Излишне напоминать, что в ту эпоху, не говоря уже о более ранних веках, тротуары, как и канализация, были практически неизвестны подавляющему большинству городов России, Польши и т. д.

Так, москвичи не могли во время оттепелей неделями выйти на улицу: грязь стояла в рост человека, а мостовых не было (за исключением Кремля и Китай-города) вообще. «Бывали случаи, когда после дождя, на подсыхающих улицах, находили тела людей, утонувших в грязи» (Якименко Б.Г. Быт и традиции Москвы XIII–XIX вв. Ч. 1. М., 2003. С. 133). Здесь на городских «улицах стояли печные лужи, где постоянно жили гуси и утки и вообще домашние животные... Вообще грязь улиц превращалась время от времени в тучный чернозём, и ещё в XVIII столетии составляла отличное удобрение для садов; в царские сады того времени каждый год возили с мостовых удобрение по несколько сот возов» (Забелин, 1852. С. 3). Да ещё и вском спускаясь на подъезде к одному из крупнейших центров России за три версты с непривычки становилось трудно дышать — так несло от города нечистотами или, по более мягкому выражению очевидца, пользажающего встречал «тот специфический запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы» (Салтыков-Щедрин, 1988. Т. X. С. 199).

Подчеркнём, речь в этих цитатах идёт о Москве, старинном центре не какого-то «периферийного» ханства, а о столице огромного государства, которое задолго до того, как были написаны процитированные выше строки, приступило к окультуриванию захваченного ею Крыма (хотя столицей стал к этому времени Санкт-Петербург)...

Городские общины Крыма успешно решали и столь же важную проблему обеспечения населения питьевой водой. Водопроводные системы здесь были также непохожи друг на друга, как различались внешним обликом сами города. В Бахчисарае, где в окружавших его горах не было недостатка в источниках, задача водоснабжения города решалась системой подземных водоводов. Один из них, обнаруженный не столь давно, представляет собой тоннель высотой от 1,5 до 2,5 м с двускатным перекрытием из плит. В каменном полу тоннеля была вырублена прямоугольная в сечении канава, по которой, собственно, и струилась вода. А столь значительная высота сооружения позволяла без затруднения чистить водовод в любое время года. Имелись здесь и керамические трубопроводы.

Учёный, посетивший Бахчисарай в пору, когда все они работали исправно, сообщал: «Самое лучшее, что заслуживает похвалы в Бахчисарае, равно как и во всех татарских городах, это водопровод. Вода проведена глиняными трубами из отдалённых гор и постоянно льётся частью в резервуары, частью в красивые бассейны... Все водопроводы, по татарским законам, содержатся на общественный счёт и содержатся в удивительном порядке...» (Паллас, 1793. С. 80). О том же говорит и более поздний автор: «Проведенные по всему городу трубы заслуживают внимание и показывают великое в том искусство азиатцев. Оне начинаются от гор, проходят по оврагам, возвышениям, иногда же по мостам и доставляют воду по все фонтаны, которые находятся здесь на всякой улице, почти в каждом

хане, подле мечетей и в переулках; притом жители делают от труб отводы и имеют оные при своих домах» (Сумароков, 1800. С. 130–131).

При въезде в город на путешественника буквально «обрушивалось зрелище бурлящих фонтанов, текущих вод, садов, террас, висячих виноградников, рядов чёрных тополей... Эти фонтаны так же обязательны при религиозных церемониях в мечетях, как и в украшении городов; кроме того, все мусульмане неоднократно в течение дня моются в них... Фонтанов в Бахчисарае так много, что нет места, откуда не был бы виден хоть один фонтан; вода истекает из них днём и ночью, холодная как лёд и чистая как хрусталь. В одном из фонтанов чистой вода каскадами непрерывно ниспадает по мраморным плоскостям» (Clarke, 1810. P. 465).

В этом городе было только мощных общественных фонтанов 65, и это не считая массы мелких, домашних фонтанчиков, ручейков с чистой, проточной водой, а также источников (Фёдорова, 1855. С. 151). Даже в более позднее время и только в Хан-сарая действовало 13 больших и малых фонтанов (Чеглок, 1910. Т. II. С. 39). Некоторые из подобных сооружений в городе и окрестностях имели довольно сложное гидротехническое устройство. Назовём хотя бы чешме Юсупчокрак на юго-западном склоне Бешик-тау (близ нынешней бахчисарайской туристической базы «Привал»).

Сбор воды для этой чешме осуществлялся благодаря системе подземных туннелей, в плане напоминавшей дерево с девятью широко раскинувшимися боковыми ветвями, перехватывающими не слишком обильную влагу этой местности. Центральный же ствол «дерева» представлял собой 28-метровый тоннель шириной в 60 см и высотой свода в 170 см, в каменном полу которого был вырублен желоб, по которому собранная вода подходила, наконец, к металлической 15-метровой трубе, выходящей на поверхности склона. Лишь проделав столь долгий и непростой путь в горной толще, драгоценная влага изливалась наружу, в прямоугольный каменный бассейнчик (Подр. см. в: Коваленко, 2000).

В старинной столице ханов, Кырк-Ере, уже в XXI в. было открыто «...мощное, самое большое в Крыму и далеко за его пределами гидротехническое сооружение, служившее, вероятно, для водоснабжения крепости при её осаде» (Козлов, Полканов, Шутов, 2004. С. 238). Это отвесный колодец глубиной в 43,4 м, расположенный у южной крепостной стены Пенджере-Исар. На глубине 30 м ствол колодца расширяется, образуя куполообразный зал, по стенам которого вниз ведёт вырубленная в скале винтовая лестница-пантус с редкими ступенями. Здесь в стенах были устроены ниши для светильников. В каменном «полу» этого зала вырублены водосборные бассейны общим объёмом 22 куб. м. Однако исследователи этого сооружения полагают, что вода, поступающая из крупных трещин в стенах зала, могла заполнять его весь доверху, тогда объём её запаса увеличивался до приблизительно 115 куб. м (Ук. соч. С. 240).

На глубине 25 м от ствола колодца отходила наклонная (под углом 22 градуса) галерея или ход высотой до 2,2 м при ширине до 2,4 м, на полу которой были вырублены ступени. Её направление — к крепостным воротам Кичик-капу (караимс. «Малые ворота»). Предполагают, что вертикальный колодец мог служить как для подъёма воды при помощи колодезного ворота, так и для вентиляции всего сооружения. По галерее же, судя по найденным там ослиным подковкам,

воду можно было вывозить при помощи колёсных бочек или иной тары в гораздо больших объёмах, чем это позволяло использование отвесного колодца. В пользу этой гипотезы говорит и то, что лишь один из нижних бассейнов находился прямо под стволом вертикального колодца, а из второго воду можно было черпать, лишь спустившись по наклонной галерее.

В Гёзлёве насчитывалось «всего семь источников (очевидно, имеются в виду колонки-распределители. — В.В.) живой воды, подобной очищающему напитку. Лучший из них в городе — источник Ислам Гирей-хана, находящийся на рынке, что в самом центре города (то есть на бывшем рынке между Джума-Джами и баней Сахиб-Гирей-хамам. — В.В.). Это большой источник под куполом. Воды этих источников лошади вытягивают из колодцев, что находятся за 4 часа езды от ворот Ат-капу. Прекрасные мастера провели воду в город, и воды текут из вышеуказанных источников в ханы, мечети и бани, и все богачи и нищие, и прочие Божии твари пьют, вспоминая шехидов Кербельской степи. Эти удивительные и странные колодцы с водяными колёсами — интересное зрелище. Благодаря крупным пожертвованиям все городские источники находятся под бдительным надзором, и нет возможности их порчи и ущерба» (Челеби, 1999. С. 23).

Там же, в Гёзлёве, имелась лучшая, обширнейшая в Крыму система *кяризов*. Это — несколько десятков неглубоких (около 7–9 м) колодцев, выбитых в сухой ракушечниковой скале и оштукатуренных водонепроницаемой цемянкой<sup>1</sup>. Эти слепые колодцы соединялись между собой сетью подземных ходов, идущих горизонтально, но с небольшим подъёмом в средней части, так что конденсат влаги стекал к их оконечностям, собираясь в накопителих вертикальных колодцев. Естественная ночная влажность, перепады температур и регулярные ночные бризы, несущие на сушу морские испарения, давали возможность собирать довольно значительное количество совершенно пресной воды (вода из обычных колодцев, то есть выкопанных до уровня водоносного слоя под городом, из-за её сильной минерализации и ныне годится только для полива).

Говорят, что именно этой системе город был обязан своим именем: на одном из тюркских диалектов слово *Гёзлёве* как раз и означало «подземелье», причём именно «остатки водопроводов, которыми город изобиловал при владении татар, составляют эти подземелья» (Мурзакевич, 1837. С. 626). Старинные кяризы существуют под городом до сих пор, хотя и давно бездействуют. Один из вертикальных колодцев ещё сравнительно недавно зиял на Катък-базаре, между воротами Одун-базар-капу и текие дервишей (в центре газона на углу современных ул. Караева и Матвеева, позади ликвидированного в 1960-х гг. двухэтажного краснокирпичного здания «Сортсеемвоши»). Этот колодец засыпали в конце 1950-х, сразу после сноса этих старинных ворот.

Не было собственных источников и в Кефе, а имевшиеся на склонах близлежащего холма Тепе-оба немногочисленные ключи не обладали достаточной

<sup>1</sup> Цемянка — штукатурное покрытие, составной частью которого были мелко смолотая и просеянная крошка из старых кирпичей или битой черепицы, а также из специально для этой цели изготовленного слабо обожжённого кирпича, добавлявшихся в известковый раствор для усиления его вижущей способности. В некоторые виды штукатурки (*хорджен*) входило до 50 % такого керамического наполнителя.

для крупного города мощностью. Поэтому ещё в Средние века в окрестностях Кефе были созданы сложные гидротехнические сооружения на возвышенных местах, расщеплённых балками. Это была система запруд и колодцев, в которых собиралась дождевая и талая вода. Оттуда она поступала по сети керамических и плитовых водопроводов в город. Сеть эта была весьма обширна: когда в 1830-х гг. было решено разбить на склонах Тепе-обы виноградники, то во время копки траншей из земли было извлечено 8 400 керамических труб. Заканчивались эти водные артерии крытыми зданиями-распределителями, внутри которых были устроены бассейны. Эти бассейны, числом около 30, также соединялись между собой трубами с тем, чтобы уровень воды был в них одинаковым (Евсеев, 2004. С. 100–101).

#### д) Несхожие лица крымских городов

На протяжении ханского периода истории Крыма размеры и очертания городов, их ландшафтные особенности претерпели сильные изменения. Одни из них, как Старый Крым, пришли в упадок, другие, вроде Гёзлёва, сохранили стабильность своей экономики, смогли противостоять политическим и хозяйственным кризисам государства, от чего напрямую зависела сохранность архитектурного облика любого города.

**Бахчисарай** был основан в 1532 г., а уже в середине следующего столетия приобрёл контуры, которые со временем практически не менялись. Тому причиной — природный ландшафт, ограничивающий городскую черту стенами ущелья (на прилегающих плоскогорьях господствуют холодные зимние ветры, отсутствуют источники воды, отчего они мало пригодны для постоянного обитания). Поэтому город с первого века своего существования имел сильно вытянутую форму, располагаясь с обеих сторон речки Чурюк-су. Кварталы, расположенные на её противоположных берегах, со временем были соединены 43 каменными и деревянными мостами.

Средневековые путешественники определяли длину города в 1 фарсах (6–7 км). В Бахчисарае насчитывалось около 30 мечетей (треть из них имела статус *джума-джамии*) и 9 *текие* дервишей. Главными достопримечательностями считались, естественно, Хан-сарай и Зинджирлы-медресе. Очевидно из-за ограниченности городской площади здесь имелось необычно мало общественных зданий: всего 4 бани и 7 сравнительно небольших *ханов-гостиниц*. Для столичного города этого было совершенно недостаточно, поэтому приезжие нередко останавливались в частных домах (об этом ниже).

Вся экономическая и общественная жизнь кипела на правобережной главной улице и лишь отчасти на левом берегу Чурюк-су. Число кофеен во второй половине XVIII в. оставалось примерно тем же, что и в начале XVII (около 20), а вот закусочных, которых ранее практически не было, стало более 20. Появились специальные заведения (их было 13–15) с прохладительными напитками (*боза-ханэ*), где бузу продавали в бутылках и в розлив. Но, конечно, гораздо многочисленнее были лавки — их насчитывалось свыше 520. Из них более всего имелось продуктовых (125), второе по численности место занимали седельные



Фонтан у ворот. Ныне разрушен.  
Из коллекции издательства «Тезис»

Въездные ворота в Бахчисарай. Характерно полное отсутствие крепостных стен и ворот — их не было и в Средневековье.  
Фото из журнала *Qasevet*

(менее 50), по 25 штук было сапожных и ножевых, в 20 торговали одеждой (они являлись одновременно швейными мастерскими) и так далее (*Lyall*, 1825. P. 262; *Clarke*, 1810, *passim*).

Лавки, то есть постройки, по сути определявшие лицо если не города, то его центральной магистрали, внешне по большей части походили друг на друга. Они были довольно велики: нужно учесть, что мастера, как правило, в них не только работали и сбывали товар, но ещё и жили с семьёй. Собственно, от обычного жилого дома их отличало только наличие самой комнаты-мастерской, да окна для продажи товара. Оно было гораздо большего размера, более широким, чем высоким, и закрывалось не вертикальными, а горизонтальными ставнями-*чефенаками* (или *чепенаками*). Эти последние были весьма велики по размерам, так как в открытом виде нижняя служила прилавком, а верхняя — навесом. При этом работающие в лавке или мастерской не испытывали нехватки свежего воздуха, который поступал из такого широкого окна-витрины. А это было особенно важно для некоторых видов ремесла, например, кузнечного или пекарского. Между прочим, чефенаки оказались настолько практичным устройством, что сохранились в неизменном виде до конца XIX века (*Haxthausen*, 1874. S. 409; *Remy*, 1872. S. 60).

Современники не без основания сравнивали этот широкий проём в стене с театральной сценой. Это действительно был своеобразный театр, где мастера, естественно, стремились привлечь покупателя, вели себя как опытные и тонкие актёры. Так, булочник должен был прежде всего следить за ослепительной чистотой «костюмов и сцены», поскольку это играло весьма большую роль в глазах уличного зрителя. Седелец и его подмастерья разыгрывали мисте-



Лавка-пекарня в Бахчисарае.  
Из коллекции издательства «Тезис»

рию из прошлого века (в ней были важны и инструменты, лежащие на самом виду, и громкие фразы на профессиональном жаргоне, и деловские прибаутки): прохожий-покупатель должен был увериться в том, что именно *здесь* он получит седло настоящего, бахчисарайского качества! Портные, сидевшие на столах, встряхивали своё изделие так, чтобы цветная ткань, попав в солнечный луч, заиграла всеми красками и так далее.

Приведем зарисовки, принадлежавшие перу немецкого путешественника первой половины XIX в., но сохранившие для нас куда более старинные реалии крымского городского быта. «Пекарь [в своей лавке-пекарне] на виду у всех месит тесто и кладет хлеба в печь, жар от которой чувствуется и на улице. В другой можно проследить все манипуляции, необходимые при изготовлении бузы, чтобы она обладала настоящим вкусом. А вот в своём доме, как бы представленном в разрезе, сидит портной со своими учениками и знай шьёт себе, не обращая внимания на любопытных прохожих. В другом месте выставлен на всеобщее обозрение внутренний организм кухни со всеми его тонкостями, важными для приготовления блюд. Там дымит на углях казан, брызгает раскаленными каплями масла жаркое из ягнёнка и благоухает своим дразнящим ароматом на всю улицу, дабы аппетит у проголодавшихся гостей стал ещё большим. В таких харчевнях вас не отравят, это просто невозможно. Для начала подают полную тарелку супа из кипящего день и ночь котла, его можно съесть на ходу, прямо на прилавке, где разложены ещё теплые лепёшки...

В лавках выставлено всё, вплоть до самого мелкого товара, так что покупатель может одним взглядом охватить всё это изобилие и оценить его выбор и качество. Самые удивительные — лавки, где торгуют седлами и уздечками. Здесь



У мясной лавки. Гравюра О. Раффе.  
Из коллекции музея Ларинес

разложены эти шедевры [мастерства], украшенные кожаными лентами, заплетёнными в косички, а рукоятки камчей отделаны серебряной проволокой и жёлтым сафьяном. В табачной лавке свеженарезанный табак насыпан заманчивыми горками высотой с башню; рядом разложены трубки со всего Востока, а также крымские чубуки, изготовленные из лучших сортов дерева. Дальше идут фруктовые лавки, где вам предлагают сто сортов арбузов и дынь и всевозможные фрукты из крымских горных долин и с Южного берега...

Естественно, эта открытость всех домашних производств придаёт уличной прогулке особый интерес, неведомый у нас дома, где жилища закрыты, а крепости заперты, и улицы не представляют собой ничего иного, кроме соединительных каналов, вдоль которых спешат занятые люди. Здесь у улиц совершенно иное назначение, ибо они — огромная сцена, где безостановочно, на глазах у всех, каждый играет свою роль. На наших улицах нередко чувствуешь себя одиноким, изолированным... Здесь человек на улице чувствует себя частью некоего Целого, он неотлучно присутствует в нём, в обществе всех остальных. И понемногу начинаешь понимать, отчего татарам не нужны местные газеты, — ведь здесь ничего не происходит закулисно. Едва что-либо случилось, новость об этом, свежая, с пылу с жару, из уст в уста мгновенно облетает весь город, а для того, чтобы удовлетворить сидящего в каждом беса любопытства, не нужно прилагать ровно никаких стараний» (Kohl, 1841. S. 223–224).

Имеется и поэтическое описание бахчисарайской уличной жизни, относящееся к более раннему, 1834 году. Оно принадлежит малоизвестному автору, не слишком одарённому, но не лишённому чувства юмора, доброжелательному и наблюдательному:

Оригинальной суетой  
Плещет город торговой.  
Прямая Азия пред нами!  
Вся жизнь на улице: и шьют,  
И бреют, и баранов бьют,  
И стряпают, или толпами  
Сидят с поджатыми ногами,  
Да всё молчат о том, о сём!

Это «молчат о том, о сём» — великолепно, так и видишь перед собой немногословных, вдумчивых мужчин старого города! Далее поэт представляет читателю картинку главной торговой улицы Бахчисарая:

А вот где лавки с чубуками  
И табаком, и янтарями,  
Есть и сафьяны хоть куда,  
И сбруя для езды верховой,  
Есть и кинжалы, всё готово  
К услугам путника всегда.

Бороздна И. П.

*Поэтические очерки Украины, Одессы  
и Крыма. М., 1837.*

Естественно, в лавках и на оптовых складах делали покупки не только бахчисарайцы, но и приезжие из соседних деревень, а также купцы издалека. Улицы переливались всеми цветами радуги от обилия приезжих отовсюду. «В бахчисарайской уличной толпе преобладали татары, караимы и цыгане, но было множество ещё каких-то [людей, национальность], которых мы были не в силах определить, в целом же эта бурлящая толпа совершенно неопишима (nondescript) по её костюмам и бьющей фонтаном энергетике» (Olifant, 1853. P. 273).

Но наступал вечер, вавилонское это столпотворение начинало затихать и, наконец, (далеко не сразу!) утихомиривалось и требовало ночлега. Однако, как в Средние века, так и позже, для приёма гостей в городе имелось неожиданно мало ханов или караван-сараяв. Впрочем, приезжих всё же размещали. Впервые, в приспособленных для этого, обустроенных пещерах в окрестностях столицы. А во-вторых, здесь было издавна в обычае принимать путников в частных домах, не требуя за это иной платы, кроме рассказов этих, как правило, бывалых людей. Как заметил итальянский путешественник, «гостеприимство этих людей вполне заменяет в Бахчисарае гостиницы» (Becattini, 1783. P. 4).

Ханская мечеть во дворце была сооружена Сахиб-Гиреем I в 1532 г. Здание сильно пострадало во время пожара, устроенного солдатами Миниха в 1736 г., но уже в 1740–41 гг. было капитально отреставрировано Селямет-Гиреем II. Мечеть поражала каждого входящего. «Это огромное здание слабо освещено



Вид с нагорья на центральную часть старого Бахчисарая.  
Из коллекции издательства «Тезис»

несколькими окнами, в которые вставлены прекрасные голубые стёкла. Пол устлан коврами; в задней стене, находящейся прямо против двери, сделано полукруглое углубление в виде ниши, украшенное резьбой по камню; это святилище храма. Посреди мечети висит огромная люстра, устроенная звёздообразно, с шестнадцатью остроконечными, исходящими углами. На каждом из этих углов утверждена лампа, к которой привешена длинная шёлковая кисть» (Демидов, 1853. С. 335–336). Кстати, упомянутая центральная люстра обладала собственным именем, её звали *Михари Сулейман* (Светило Сулеймана) — случай крайне редкий (Чеглок, 1910. Т. II, С. 39).

Второй из самых известных мечетей города являлась более «молодая» Ешиль-Джами (*Зелёная мечеть*), но её красота была совсем иного рода. Построенная в 1764 г. женой Крым-Гирея Дилярой, она в самом деле была зелёной, начиная с окраски внутренних и внешних стен и заканчивая поливной черепицей того же священного цвета. В эпоху, когда создавался этот шедевр, в зодчестве и живописи Османской империи доминировало барокко — и крымская мечеть создавалась под влиянием стиля Людовика XV. Она была расписана изнутри и снаружи фресками, автором которых был приглашённый из Турции талантливый художник и поэт Омер. Интерьер украшали коринфские колонны, декоративная скульптура (растительные мотивы, объёмный геометрический орнамент) и белые настенные пластины, на которых контрастной чернью были каллиграфически начертаны суры Корана, исполненные крымскими хаттатами. На общем зелёном фоне внутренних стен яркими пятнами светилась многоцветная мозаика высоких окон.

Украшением столицы были и пригородные дворцы. Об Ашлама-сараяе говорилось выше; сохранилось краткое описание и так называемого Летнего дворца, расположенного с противоположной от города стороны, на берегу Альмы. Это был лёгкий, светлый комплекс строений, более других похожий на сказочный замок. Особенно сильное впечатление производили не совсем типичные для крымской дворцовой архитектуры огромные открытые (без каких-либо решёток или ставен)

окна из цветного стекла. Тогдашние поэты писали, что Летний дворец был чудесным образом спущен в одну из тёмных ночей прямо из Рая и утром предстал перед потрясёнными бахчисарайцами во всём своём блеске и очаровании.

А вот что заметил турецкий путешественник Алим-паша по поводу лишь одного из покоев Летнего дворца: «Всё, что можно вообразить себе из восточного великолепия, получило здесь своё воплощение. Стены этого покоя покрыты драпировкой из пурпурного бархата, полы укрыты коврами тончайшей работы, вдоль стен уложены шёлковые подушки, образующие сплошной диван. Широкие двери соединяют покой с зимним садом, где цветут розы, растут плодовые деревья и вечнозелёные кусты, лужайки покрыты растениями изысканных европейских и азиатских сортов. В центре этого миниатюрного Эдема — мраморный фонтан, из которого бьёт струя хрустально-чистой воды, распространяя приятную прохладу. Нежный аромат, источаемый повсюду расставленными вазами с букетами, смешивается с пряным запахом кустов за дверью этого покоя, в то время как птицы, прекрасные голосом или оперением, порхают по залу, перелетают в сад, украшают ветви деревьев, покрытые золотыми плодами...» (Milner, 1855. Р. 248–249).

Кефе оставался, судя по всему, крупнейшим городом и торговым портом Крыма, далеко превосходя размерами и богатством столицу ханства. Всего здесь насчитывалось около 20 000 домов (Ханацкий, 1867. С. 286). Если даже в одном доме жила всего одна семья из 5 человек (это — минимальный допуск), то 100-тысячный этот город по праву мог сравниться только с Генуей, другим крупнейшим мегаполисом Средиземноморско-понтийской культурной платформы (Luce, Beauple, Lamberty, 1634. Вл. 11). В отличие от беззащитного Бахчисарая, город окружали две стены, между которыми был неширокий коридор. Внешняя стена, толщиной в 5 м, достигала высоты 21 м, а внутренняя превышала 35 м, но была всего 2,3 м толщиной. Внешняя стена была сложена из огромных камней, некоторые из которых были «величиной с тело слона» (Челеби, 1999. С. 88). Перед



Базар в пригороде Кефе. Гравюра. Из коллекции музея Ларинцев



стенами в скале был вырублен ров глубиной в 35 м и шириной в 14 м. Через него были переброшены подъёмные мосты, в поднятом состоянии они становились дополнительной защитой ворот. Обе крепостные стены были снабжены башнями, общее число которых превышало сотню. Вообще укрепления Кефе были едва ли не самыми сложными и внушительными (более подробно о них см. в обзоре современного феодалогического исследователя: Катюшин, 1998. С. 125–127).

Город украшала величественная мечеть *Султан-Селим-джаме*, самая высокая среди храмов на территории ханства. Посетивший её уже после разгрома, сопутствовавшего аннексии, русский поэт записал, что это «...с одной минаретою, обширностию более московского Успенского собора, огромное и весьма хорошее строение. Она сделана из обожжённых кирпичей с 10 над ней куполами [крытыми свинцовой кровлей]. Преддверие её, род пространной галереи, имеет посреди четыре из дикого мрамора столпа, цельных, вышиной каждый с лишком в 4 аршина... Внутри мечети всё отделано искусною работою; на стенах видны татарские письма; медресе, род их кафедры, облечён мрамором и она до сих пор ещё сохранила своё великолепие» (Сумароков, 1800. С. 62).

Эвлие повезло увидеть её ещё неповреждённой: «Это светлая, полная света мечеть. Её длина от кыбловых дверей до михраба — 150 аяков, а от одной стороны до другой — все 100 аяков (соотв. 45 м и 30 м. — В.В.). Над внешней *софой* (то есть навесом над главным входом. — В.В.) на 6 колоннах 5 отстроенных куполов. Внутри мечеть очень просторная, занимает 19 тысяч шагов» (Челеби, 1999. С. 90). Впрочем, она производила неизгладимое впечатление и в заброшенном виде: «Она лучше всех, которые мне приходилось видеть по выезде из Константинополя, — записывает в 1784 г. путешественник, посетивший множество городов, — Портик, устроенный при входе в неё, поддерживается шестью мраморными колоннами... Внутренности мечети увенчаны прекрасным куполом, который очень хорошо сохранился» (Караман, 1854. С. 1443). «Громадная, с белыми изящными мраморными столбами, мраморным шахматным полом, тринадцатую свинцовыми куполами и двумя двенадцатисажёнными [ок. 26 м] разноцветными минаретами», «вызывавшая невольное восхищение путников» (Кали, 1903. С. 13), которые отдавали ей первенство даже перед всемирно знаменитой гёзлёвской Джума-Джами (Ханацкий, 1867. С. 257).

Остаётся добавить, что эта мечеть (как и упоминающаяся ниже кефинская баня Татлы-хамам, и ещё одна мечеть в том же городе), согласно некоторым исследованиям (Шопалов, 1999. С. 5), была спроектирована и построена самим Синаном, великим мастером мусульманского Возрождения<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Холжи Синан ибн Абдул-Менван (1489–1588) происходил из семьи христианских подданных султана. Был пэят в янычары, участвовал во многих зарубежных походах, где интересовался местными архитектурными традициями и строительными технологиями, в особенности в Тавризе и египетских городах, что впоследствии отразилось в его зодчестве. Обогащённое его творческую палитру и знакомство с архитектурными шедеврами Европы. После осуществления нескольких блестящих проектов был возведён в должность главного османского архитектора (1538), которую занимал до конца своих дней. Является автором 470 сооружений (мечети, больницы, хамамы, надгробия и пр.). Общепризнанными шедеврами османской архитектуры являются три его произведения: мечети Шахзаде, Сулеймания (Стамбул) и Седимие (Эдирне).



Интерьер крымской бани. Из коллекции издательства «Тезис»

На начало XVIII в., по сообщению шведского пастора Ларса Тарсениуса, всего в городе имелось 56 мечетей (Подр. см. в: Возгрин, 1978. С. 329). Кроме этих храмов внутри городских стен имелось около 10 *текие*. Два из них, текие Ахмеда-эфенди и текие Дамата-эфенди, являлись одновременно и благотворительными заведениями: здесь дважды в день кормилось множество малообеспеченного народа (Челеби, 1999. С. 92). В городе постоянно действовали 5 медресе; возможно, это объясняется тем, что в Кефе была резиденция верховного муфтия, то есть город какое-то время являлся одним из духовных центров государства. Мектебов было почти вдесятеро больше. Из других достопримечательностей укажем, что в городе насчитывалось до 100 фонтанов, 9 публичных бань и 4 благоустроенных кладбища различной конфессиональной принадлежности. Как утверждали, в Кефе «наружность домов не имела пышного вида, но внутренность украшалась позолотою, раскрашенными арабесками, мраморами, фонтанами и всевозможной пышностью в азиатском вкусе» (Ханацкий, 1867. С. 286).

Знаменитая кефинская торговля со времён Средневековья отнюдь не увяла. Купцы Востока и Запада никогда не оставляли своим профессиональным вниманием этот древний город, где по-прежнему «было место встречи индийской и персидской торговли» (Baert, 1797. S. 49). Гостей города принимали более 40 гостиниц и ханов, 23 роскошные двухэтажные кофейни, буза-хане и *мей-хане* (то есть заведений, где торговали и вином. — В.В.) с музыкантами, поэтами и профессиональными рассказчиками-*меддахами*. Работало 10 общественных бань. Лучшей из них считалась Татлы-хамам. Это была «просторная, доставляющая радость и удовольствие баня с хорошим воздухом и зданием. Сравниться с ней может разве что баня Мухаммед-Гирей-хана в Бахчисарае» (Там же).

Возможно, это была вообще крупнейшая в ханстве баня. Более всего её здание было похоже на античные термы возле Неаполя: «судя по обломкам, на которых сохранилась фресковая роспись, это было нечто сравнимое с найденным

в Помпее и Геркулануме» (Clarke, 1810. P. 437). Собственно, это и был один из принципов зодчества Ходжи Синана (авторство Татлы-хамам приписывают ему): «на территории, где Европа встречается с Азией, он сумел объединить принципы мусульманской архитектуры с её господством интерьера и греко-римскую традицию с характерным для неё вниманием к наружному оформлению здания» (Шановалов, 1999. С. 5). Неслучайно она находилась на центральной площади, рядом с Султан-Селим-джами. Они и внешне походили друг на друга, эти два великолепных здания: Татлы-хамам была также «подобно мечети крыта свинцовыми куполами». После её закрытия, добавляет более поздний автор, «её легко было приспособить для крытого центрального рынка» (Колли, 1903. С. 13) — такой размер бани и ныне попросту трудно себе представить.

Акмесджит в XVII в. называли по-разному — и крупным селом, и городом. Имя своё, как и статус города, Акмесджит получил, скорее всего, примерно между 1502 и 1508 годами, после постройки белой Кебир-джами. Через век автор «Летописи Кыпчакской степи» (1610) Абдуллах ибн Ризван упоминает его в числе четырёх главных городских центров Крыма — Бахчисарая, Гёзлёве и Карасубазара (Зайончковский, 1969. С. 15).

Ещё через полвека другой гость города говорит об Акмесджите как о крупном торговом центре, где одних лавок было около 200, имелся гостинный двор для иностранных купцов и три гостиницы-хана для крымских коммерсантов, несколько бань, мечетей, медресе, 3 текие дервишей различных школ: хальвети, коледжи и чуюджили и т. д. Показательно, что турецкий автор называет дворцовый комплекс калги, состоящий из 370 каменных построек, лишь пригородом Акмесджита (Челеби, 1999. С. 69), давая понять, что новый город имел внушительные размеры. Видимо, и статусный уровень его был весьма высок, — во всяком случае, в 1680 г. именно здесь, а не в Бахчисарае, принимают послов Московии, державы едва ли не самой важной для Бахчисарая во внешнеполитическом отношении (Тяпкин, Зотов, 1850. С. 271).

Согласно другим данным, до пожара 1736 г. город был вообще одним из самых крупных на полуострове, насчитывая более 1800 только жилых домов (Манштейн, 1875. С. 84). Впрочем, вполне вероятно, что после российских походов на Крым в первой половине XVIII в. здесь осталось всего 150 домов (Брун, 1867. С. 7). Однако к началу колонизации полуострова Россией их число снова возросло, и здесь насчитывалось уже до полутора тысяч строений (Тунманн, 1936. С. 36). А современник аннексии Крыма, находившийся в это время на полуострове, называет Акмесджит городом, уступающим лишь Карасубазару (Караман, 1784. С. 144). В голландском же описании Крыма тех лет подтверждается, что в городе снова, то есть, после упадка в 1730–1740-х гг., насчитывалось 1800 дворов (Frieseman, 1786. Bl. 38).

Понятно, что мнения гостей Крыма о значимости Акмесджита не могли не расходиться. Но основное оставалось неизменным: этот город занимал весьма значительное место среди центров ханства. Во всяком случае, учёный петербургский немец, посетивший Крым вскоре после его аннексии, также упоминает Акмесджит в числе четырёх крупнейших городов полуострова вместе с Бахчисараем, Карасубазаром и Кефе (Baert-Ducholant, 1798. S. 39–40).



Старинная часть Бахчисарая. Фото из журнала Qasevet

Всех путешественников, посещавших город как до, так и после миниховского похода поражало то, что он, как и Бахчисарай, не имел крепостных стен, даже невысоких (см. в: Возгрин, 1978. С. 329). Очевидно, обитатели его слишком уж полагались на расположение их места обитания в самой глубине полуострова, куда действительно (если не считать Миниха с Ласси) уже несколько веков не могли добраться не только казашки шайки, но и регулярные, хорошо вооружённые и многочисленные войска северных соседей<sup>1</sup>.

К моменту аннексии в уцелевшей части старого города были «узкие, излучистые и похожие на Лабиринт улицы, низкие, не пространные, из белого неотёсанного камня сделанные дома, которые покрыты или черепицей, или дёрном, и во всём точное соблюдение Татарских поведений... Акмесджит занимает в длину с лишком 2 версты расстояния и... являет из себя странный, однако же очень хороший вид», — писал русский современник, попавший в Крым через несколько лет после его завоевания (Сумароков, 1800. С. 45). Очевидно, уже не существовало двух великолепных дворцов, калги и великого бея Сефер-гази, с садами, об одном из которых турецкий путешественник заметил: «при восхвалении языки

<sup>1</sup> Впрочем, имеется единственное упоминание о каких-то крепостных сооружениях Акмесджита. Об этом свидетельствует английский аристократ, посетивший город в первые десятилетия после аннексии. Он же оставил едва ли не единственное описание Акмесджита той поры. Какое-то время, судя по его записи, город ещё сохранял былой блеск, который не так легко было стереть. В то же время автор с горечью отметил, что «живописные, извилистые улочки, высокие крепостные стены и обширные заросли (thickets) розовых кустов старого поселения» уже уступают место «холодной монотонности русского города» (Hommaire, 1847. P. 366).

слабеют, а слова рассыпаются»: вряд ли сохранились и многие из двухэтажных домов, которых ранее здесь также было немало (Челеби, 1999. С. 69).

Но ещё расстилалась водная гладь пруда, питавшегося мощным источником, бившим из подножья Петровских скал. Известно, что этот водоём, достаточно большой, чтобы устраивать там лодочные катания, был засыпан гораздо позднее, когда участок понадобился пивовару Вайсборду для его завода (Лашков, 1890 «а». С. 46). И ещё сохранились в начале XIX в. торговые здания, прежде всего лавки, которые здесь располагались, в отличие от Бахчисарая, группами, по роду продававшегося в них товара. Улицы Старого города (то есть, кварталов, расположенных к западу от Салгирной улицы и носивших общее имя Кая-Баши) и через полвека были весьма оживлённы и многолюдны, сообщает русский путешественник (Демидов, 1853. С. 292).

Как бы то ни было, Акмесджит и в эту пору своей истории сохранял славу старинного города и соответствующий статус. Так что современные попытки начать отсчитывать возраст Симферополя лишь с 1784 г. совершенно безосновательны. Помимо вышеприведённого материала стоит, пожалуй, сослаться и на согласующееся с ним мнение известного крымскотатарского историка и нумизмата Нуреттина Агата, глубоко исследовавшего историю города, в том числе и по турецким материалам, и опубликовавшего по этому поводу ряд статей в издающемся в Турции крымскотатарском журнале Eme1 (См. ГК, 23.02.2007. С. 1).

**Карасубазар**, особенно при взгляде на него с окрестных холмов, был прекрасен. Из тёмно-зелёного моря садов и парков, прорезанного стрелами ослепительно белых минаретов, лишь кое-где виднелись белёные стены глинобитных домиков под красными черепичными крышами. Зато, поднимаясь над кронами вековых орехов, мощно доминировали массивные объёмы мечетей и многоэтажных купеческих постоялых дворов-ханов. Они сохраняли свой старинный облик и в XVII и даже в XVIII вв. Не только в Карасубазаре, но и в других крымских городах ханы располагались, как правило, на обширном участке, перед ними всегда имелся просторный двор с красивым фонтаном и бассейном посредине, где могли утолить жажду как люди, так и лошади приезжих купцов. По периметру двор окружали жилые постройки, товарные склады и стойла (Kohl, 1841. S. 241). Таких ханов в городе насчитывались десятки. Самым знаменитым из них был многоэтажный Таш-хан, выстроенный в 1656 г. у базара великим беем Сефером-гази (Montandon, 1834. P. 314)<sup>1</sup>.

И это неудивительно: если Кефе был главным внешнеторговым центром ханства, то Карасубазар служил крупнейшим внутренним рынком Крыма и заперекоепского Причерноморья. Видимо, поэтому «его базары занимали особое место на всём Востоке...» (Baert-Ducholant, 1798. S. 48). Путешественники записывали по

<sup>1</sup> Карасубазарские ханы были в 1920-х гг. отнесены к числу памятников архитектуры Средневековья. То есть поставлены под государственную охрану. Этот же статус получили местные бани Буюк-хамам, Эрмени-хамам, а также мечети Хан-Джами, Шор-Джами и Буюк-Джами. Все они были впоследствии снесены. Ныне в Карасубазаре, как утверждает современный исследователь, не осталось ни одного памятника средневековой архитектуры, если не считать нескольких отреставрированных (фактически возведённых заново) построек на месте бывших руин (Ибадуллаев, 1997. С. 5).



Карасубазар. Кофейня внутри постоялого двора. Гравюра В. Рихтера. Из коллекции музея Ларшес

этому поводу, что «Карасубазар... паче славен торгом лошадей, для которого собираются каждую неделю один раз, и между тем нагоняют всякого скота, буйволов, коров, верблюдов и баранов на продажу великое множество» (Зуев, 1783. С. 139).

Славился этот старинный город и своими торговыми рядами для розничного товара, «...где спущенные навесы защищают от зноя, солнца и дождя. Мы переходили из одного поворота в другой. Они все деревянные, занимают великое расстояние, и в них лавок, полагая с пекарнями, также и состоящими в ханах, считают до 1300... В харчевнях татары продавали хлеба, опускали сверху печи воткнутые на железных крючках для жаренья кусок баранины и приготавливали для приходящих разные кушанья. Мальчики возглашали продажный шербет и великое множество стояло арбов... наполненных черешнею. Ханы их (гостиные дворы), которых в Карасубазаре 41, походят на тюремные замки, и огорожены со всех сторон каменными стенами. Сделанные в тех стенах о двух ярусах каморки служат для приезжающих из Анатолии купцов жилищем» (Сумароков, 1800. С. 54–55).

Здесь было 28 мечетей и 5 медресе, берега Кара-су соединяло 8 мостов. Но город был, как и Акмесджит, никак не защищён: крепостной стены у него не было. Возможно, поэтому один из крупнейших в Крыму Таш-хан (400 шагов по периметру), выполнял роль городской цитадели (в нём находилась и собственная мечеть). Он был укреплён четырьмя башнями, в стенах были прорублены бойницы. Он мог бы выдержать осаду, ведь здесь постоянно скапливались продуктовые товары гостей-постояльцев. Собственно, Эвлия и называет



Закладная надпись одного из постоянных дворов Карасубазара и перевод надписи.

Руины одного из карасубазарских постоянных дворов. Фото автора

его крепостью, имеющей собственный источник: «Это красивая крепость, сложенная из камня, по-шаддадовски мощная и крепкая. Здесь есть двое железных ворот. Внутри имеется источник живой воды... В случае осады этот большой хан может оказаться прочнее крепости» (Челеби, 1999. С. 73). Всего же в городе только крупных ханов было отмечено восемь, остальные, очевидно, не заслуживали упоминания.

Любопытно, что именно здесь, а не в столичном Бахчисарае торговые кварталы делились по видам продаваемого в них товара: так было удобнее сделать выбор, да и на качество изделий села и города это сказывалось в лучшую сторону. Но имела ещё более важная, принципиальная черта, схожая для всех торговых городов Крыма: здесь не было не то что гетто (как в других европейских городах), но и этнически однородных кварталов. Дома, ханы, жилые лавки-мастерские располагались вперемежку. Все без каких-то исключений были добрыми соседями, к человеку относились в соответствии с его достоинствами и недостатками, а не исходя из расы или веры. И ничего, конфликтов не было. Более того, иноверцы именно в таком окружении чувствовали себя в полной безопасности (Webster, 1830. P. 80), значит — эта традиция себя оправдывала. Не имея пороков и неудобств резерваций и гетто, она обладала всеми достоинствами стихийно сложившихся, самоупорядоченных исторических городских массивов.

Имелся в Карасубазаре и особый квартал кофеен. Это был, так сказать, район невинных развлечений, расположенный «в одной улице, очень пространной



Вид на Карасубазар. Английская гравюра. Из коллекции музея Ларишес

и лучше других вымощенной» (Демидов, 1853. С. 446). Возможно, в столичном Бахчисарае, стиснутом откосами ущелья, такая современная планировка была невозможна из-за отсутствия свободной площади, а не желания. В целом же, согласно мнению многих, «Карасубазар был ещё прекраснее, чем Бахчисарай; не обладая богатством последнего, он превосходил его и торговлей» (Baert, 1798. S. 48). «Множество мечетей, изящные минареты, тихий плеск многочисленных ручейков, повсюду орошающих сады, — всё это было скорее миражом восточной сказки, чем действительностью!» (Haxthausen, 1847. S. 409). Судя по старинным описаниям, в Карасубазаре были самые высокие в Крыму минареты, некоторые (например, при мечети Текие-Хан-Джами) с двумя балкончиками-*шерфе*; в других крымских городах таких, кажется, вообще не строили (Lyall, 1825. P. 357).

Наиболее древней мечетью, наряду с упомянутой, была Шор-Джами. Обе они имели базиликальную форму и относились к XIV–XV вв. Именно здесь нашли наиболее яркое выражение старинные традиции Средней Азии. Так, Текие-Хан-Джами была украшена майоличными плитками и расписана цветочным орнаментом с использованием растительных и минеральных красок и позолоты (подр. см.: Засыпкин, 1927).

Гёзлёв возник в качестве обычного села приблизительно в конце XIV в., затем превратившись в хорошо защищённый торговый город. Крепостные сооружения возвёл кефинский наместник султана Сандживан-паша, а в 1588 г., при Гази-Гирее II, здесь появился монетный двор. Такой факт может свидетельствовать об одном: Гёзлёв стал столицей ханства и оставался ею на протяжении более полувека. То была пора расцвета города; лишь в 1644 г. Софу Мехмед-Гирей IV



Минареты и ветряные мельницы Гёзлёва.  
Гравюра из коллекции музея Ларишес

вернул статус столицы ханства Бахчисараю и перевёл туда двор и другие административные учреждения. Но Гёзлёв и в дальнейшем не утратил своего значения как крупнейший торговый и административный центр Западного Крыма: к XVIII в. здесь насчитывалось около 2500 домов, в основном каменных, из местного ракушечника; вероятно, и в Средние века их было ненамного меньше (*Манштейн*, 1875. С. 81).

Но город не мог не измениться в первой половине XVIII в. в результате захвата его Минихом, затем Ласси, которые поджигали городские кварталы и разрушали крепостные стены и башни. Поэтому имеет смысл всё же представить себе этот торговый центр в том виде, в каком он был до этих трагических событий.

Как сообщает проживший в нём не один день Эвлия Челеби (это было за 70 лет до первой российской оккупации. — *В.В.*), город состоял из 3 частей: 1) центральной *цитадели*, окружённой стеной, 2) собственно *города*, также защищённого стенами, и 3) внегородского обширного *посада*, не имевшего никакой защиты. Крепостная стена высотой 28 м и толщиной 2,8 м тянулась на 3 400 шагов по периметру (она была пятиугольной в плане), через каждые 150 шагов выселились башни, общим числом 24 (*Челеби*, 1999. С. 20). Стена была окружена рвом, вырубленным в ракушечной скале, на которой стоит город. Но в целом, вместе с посадами вне его стен, Гёзлёв был гораздо обширнее, занимая территорию площадью в 34 га (*Кутайсов*, 2004. С. 92).

Юго-восточная часть крепостной стены, выходившая к морю, имела ворота, называвшиеся Искеле-капу (Причальные, см. илл. на стр. 96). Именно перед этими воротами, единственными, где не было рва (его заменяло море), устраивался невольничий рынок. Тут же находился порт со складами и прича-



Вид на прибрежную часть Гёзлёва. Литография А. Брауна по рис. А. Фашарди.  
Илл. из *Montandon*, 1834

лами, способными принять до 200 судов, бойня с мясной лавкой и иные строения (*Манштейн*, 1875. С. 81).

Восточные ворота (выходившие в сторону современной Пересыпи) назывались Одун-базар-капусы, по имени находившегося за ними огромного базара. На нём торговали исключительно лесом и дровами (любопытно, что и в советский период именно здесь находился столь же обширный торговый *Лесосклад*, застроенный лишь в 1960-х гг.). Северная стена, шедшая параллельно современной ул. Вольной, прерывалась воротами Ак-молла-капу (ворота Белого муллы). Через них город снабжался водой, которую везли в конных бочках из пригородных колодцев. Источники внутри Гёзлёва имелись, но воды всё равно не хватало — на одни бани сколько её нужно было! Откуда её везли, пока не выяснено; возможно, из ближайших к городу источников слабоминерализованной воды на берегу оз. Мойнаки.

На северо-восток вели ворота Топрак-капу (Земляные). Местоположение следующих ворот легко определить и сегодня: это излом ул. Пионерской в месте её пересечения с ул. Дёмышева (собственно, Пионерская и повторяет отчасти очертания крепостной стены). Имя этих ворот, самых скромных по размеру, — Ат-капу (то есть Лошадиные, позднее их именовали и Ешак-капу). Смысл обоих названий понятен, по этой причине уже в Новое время сложилось мнение, что эти ворота напоминали, скорее, калитку, сквозь которую верхом на осле или лошади ещё можно было протиснуться, но арба уже не проходила. Скорее всего, это не так, поскольку здесь начиналась оживлённая торговая дорога, ведущая через Донузлавский перешеек (тогда он ещё не был перерезан морским каналом) к крупному селению Шейхлар и городку Ак-Мечеть, ныне Черноморское.



Ворота Одун-базар-капусы  
в восстановленном виде  
Подземные помещения ворот  
в первоначальном виде. Фото автора

В городе было 3 текие дервишей<sup>1</sup>, два медресе, более 20 мектебов. Здесь высились 24 мечети, самой замечательной из которых была уже неоднократно упоминавшаяся соборная Джума-Джами, воздвигнутая гением Ходжи Синана. Несмотря на то, что к описываемому периоду (1660-е гг.) из четырёх минаретов сохранился только один (виной разрушения первых трёх явились, среди прочего, природные катаклизмы, землетрясения), она была ещё более великолепна, чем сегодня. Тускло светилась драгоценная свинцовая крыша, чей благородно-серый цвет прекрасно гармонировал с белоснежными стенами и тёмной зеленью цепочки шелковиц, окружавших сравнительно небольшой двор (последнее из этих древних деревьев ещё было живо полвека тому назад и плодоносило, хотя время согнуло его могучий ствол до земли). Во дворе высились надгробные памятники мечетным имамам и турецким полководцам, павшим во время Крымской войны 1854–1855 гг. (Ченурина, 1927. С. 5). И они ещё были целы в 1950-х гг., сейчас из них осталось всего несколько...

Английский путешественник, посетивший город через полвека после аннексии Крыма, то есть уже после того, как на полуострове был возведён последний мусульманский храм, подвёл итог: «не было и нет здесь (то есть в Крыму. — В.В.) более красивой мечети, ни в одном городе!» Англичанина более всего поразили три особенности Джума-Джами: безукоризненные архитектурные пропорции,

<sup>1</sup> Одно из них, при мечети Шукурла-Эфенди, единственное на полуострове, полностью сохранившееся. Оно было построено приблизительно на рубеже XVII–XVIII вв. вне городских стен, что в Крыму — обычай распространённый. Заслуживает внимания, что упомянутая мечеть уже вторая, построенная на том же месте, тогда как облик текие и минарета время ничуть не изменило (подр. см. в: Анохин В.В., Кутайсов В.А. Текке в Гёзлёве // Историческое наследие Крыма. № 9. 2005.).



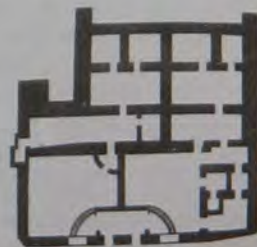
Хан-Джами (Джума-Джами) в Евпатории.  
Центральный вход в Хан-Джами.

Интерьеры Хан-Джами. Фото автора



элегантность фасада с изящными колоннами и, наконец, мощь и величие всего здания, в общем-то не столь уж и грандиозных размеров (Spenger, 1936. P. 157). Возможно, автор был не совсем прав, ведь он не мог видеть выше упомянутую кефинскую Султан-Селим-джамии, к тому времени давно уже взорванную, но это не умаляет точность его оценки гёзлёвского шедевра. Что же касается сравнительно небольших размеров Джума-Джами, то она от этого выигрывает в сравнении даже со всемирно известной Айя-Софией. Стамбульская мечеть с невероятной высотой её свода превращает человека в карлика, а в гёзлёвской джамии он чувствует себя как дома.

За воротами дворика мечети, украшенного фонтанами для омовения, раскинулся городской базар, на противоположной стороне которого виднелась ныне полуразрушенная просторная баня, почти столь же знаменитая, как и мечеть (они обе были выстроены в XVI в.). Она называлась Сахиб-Гирей-хаммам (позднее её стали называть Турецкими банями) и уже тогда была полностью



План Сахиб-Гирей-хаммам XVI в.  
По О.И. Домбровскому и В.А. Сидоренко



Вход в Сахиб-Гирей-хаммам.  
Свод и окна гёзлёвской хаммам.  
Фото автора

облицована внутри белоснежным привозным мрамором. Мраморными были и раковины, и массажные столы-возвышения, подогревавшиеся дымовыми каналами, шедшими под полом из известняковых плит. Перекрытия были, как и в большинстве крымских бань, купольными, с небольшими круглой формы окошками в них. Баня Сахиб-Гирея имела два отделения, мужское и женское (соответственно справа и слева от центральных дверей), почти одинаковые в плане, с незначительными различиями во внутренних проёмах между помещениями<sup>1</sup>.

Кроме неё в городе имелось ещё 4 общественные бани и множество частных, устроенных в зажиточных домах. Стены и купола одной из них (общественной), расположенной в глубине двора в сотне метров к югу от ворот Одун-базар-капу, сохранились до сих пор. Здание также имеет купольные перекрытия с круглыми окошками, но более скромных размеров и расположенными на несколько меньшей высоте, чем у бани Сахиб-Гирей-хаммам.

Если же смотреть от портала мечети влево, то там базар замыкался зубчатой стеной упоминавшейся цитадели. Она была сравнительно небольшой, можно сказать, миниатюрной (300 шагов по периметру), и умещалась в промежутке между нынешними ул. Володарского и Дёмышева. Вот как ее описывает Эвлия: «это прекрасная изящная крепость, без рва, четырёхугольная и выстроенная из камня... Внутри — площадь. А на восточной стороне этой цитадели есть прекрасная башня. Она удивительно высокая. Все пушки смотрят в сторону порта» (*Че-*

<sup>1</sup> Бани Сахиб-Гирея бесперебойно работала несколько веков, до конца 1980-х гг., когда её ремонт был поручен непрофессионалам, разобравшим купольные перекрытия и не сумевшим их восановить. После чего всё строение начало неотвратимо разрушаться (Подробнее об этом здании см. в: *Приднев С.В.* Турецкие бани в Евпатории // Археология Крыма. Симферополь, 1997. С. 62).



Средневековая крепостная стена Гёзлёва со стороны моря. Хан-Джами.  
Макет Одун-базар-капусы. Фото Леньяры Абибулаевой

леби, 1999. С. 21–22). Эта башня носила зловещее имя Канглы-куле (Кровавая), так как в ней, как утверждалось, на протяжении долгого времени казнили преступников (*Кутайсов, 2004. С. 93*).

В городе имелись 3 величественных хана, также похожих на цитадели: двухэтажные, окружённые высокими стенами с бойницами и башнями, за которые можно было попасть через железные ворота с охраной (она стояла и на стенах, и даже на крыше); имелись собственные склады и чешме. В этих ханах было по 240–280 номеров, включая *харемные*, то есть семейные. Кроме того, в городе имелось ещё восемь более скромных гостиниц и 6 «общежитий» для ремесленников-холостяков. «Но, тем не менее, все они заполнены купцами», — отмечает Эвлия (*Челеби, 1999. С. 19–24*).

Остаётся выяснить, что же от всего этого великолепия уцелело после разгрома и большого пожара 1736 г., то есть, к моменту аннексии? Как ни странно, очень многое. В отличие от городов иных зон Крыма, степной Гёзлёв не имел деревянных зданий и поэтому быстро восстановил всё выгоревшее. Не могло уцелеть лишь то, что было сознательно разрушено, а именно такие «стратегические» объекты, как большая часть крепостных стен и цитадель. Вот они-то и исчезли из нарисованной выше картины. Впрочем, башни крепостных стен пока остались, как и жилые дома, которых в городе насчитывалось не менее 2 500 (*Büsching, 1785. S. 357; Frieseman, 1786. Bl. 47*).

Поэтому и в последние перед аннексией десятилетия Гёзлёв был известен тем, что «...почти вся [внешняя] торговля в Крыму на нём обращалась...». Здесь насчитывалось «до 20 000 природных жителей татар, до 20 ханов с кофейными при них домами, 800 дворов, с лишком тысяча всякого рода лавок, довольно шинков (портовый же город! — *В.В.*), бузней, несколько заведённых по-европейски

трактиров и великое множество вокруг него ветряных мельниц. Мечеть [Джума-Джами] мало уступает сооружённой в Кафе. ...при том колодезе, из которого ныне получают воду, определены были люди, и они посменно между собою поднимали её лошадьми в бассейн, из сего же расходилась по подземным трубам, и таким образом Кезлев всегда изобиловал водой» и т. д. (*Сумароков*, 1800. С. 157–158).

Последнее — явное преувеличение: в городе источников годной для питья воды, кажется, все-таки не было<sup>1</sup>. Подземные воды в городской черте солоноватые. Именно поэтому, как упоминалось, в него и в конных бочках воду привозили, и из кяризов какое-то количество поднимали.

**Старый Крым** (Солхат, Эски Къырым), некогда основной центр крымскотатарской культуры, уже в конце XVI в. сильно уменьшился по сравнению с эпохой своего расцвета. Тем не менее путешественники отмечали, что этот «город с крепостью, окружённый древнею высокою и толстою стеною, совершенно отличался от других городов... своею величиною и знаменитостью». «Кажется, — продолжает Броневский, — что в нём обитал великий народ Магомета... ибо видны ещё храмы и святилища магометанские не только в самом городе, но и вне города, украшенные халдейскими (то есть арабскими. — *В.В.*) надписями, высеченными на больших камнях... видно из развалин и обширности места, что это был один из знаменитейших и величайших городов своего времени» (*Броневский*, 1867. С. 346).

И даже через век город сохранял свою крепостную стену длиной в 17 000 шагов, хотя кое-где она уже разрушалась. Очевидно, ремонт не производился по вполне основательной причине: город не стоил таких трат, потеряв былое значение для ханства. Но никто не сносил старинные здания внутри этих стен. Они никому не мешали, их-то как раз пытались подновить, отремонтировать, ведь значение, скажем, мечетей не уменьшалось с течением времени. По-прежнему работали 2 соборные и 3 квартальные мечети с мектебами при них, 2 медресе и 2 суфийских текие. Как память о блестящем торгово-политическом прошлом сохранились 5 христианских (греческих и армянских) кварталов со своими храмами. Тем не менее, замечает путешественник, это, по сути — мёртвый город, хотя «многие сотни огромных зданий являются крепкими и стоят, как новые, как будто они только что вышли из-под руки мастера. Но они стали гнездовьями сов, воронов, птиц масаса и летучих мышей. Этот великий город — город развалин. После того, как его покинули, его невозможно отстроить и возобновить, да свершит это великий Бог» (*Челеби*, 1999, 81, 84).

Судя по планам российских землемеров, сделавших в 1783 г. обмеры и описание города, длина его стены достигала 6,2 км, её усиливали 28 башен. У самой подошвы крепостной стены имелся ров; на расстоянии от 300 до 600 м был выкопан второй (*Крамаровский*, 1989. С. 144). Далее, в те же годы завоевания и аннексии ханства Россией, в городе оставалось 800 домов с дворами (*Frieseman*, 1786.

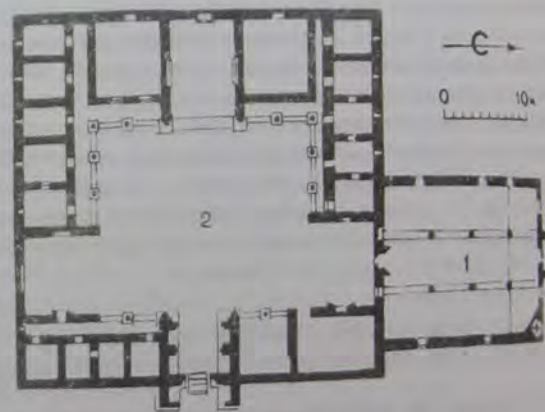
<sup>1</sup> Упоминание о 7 городских источниках воды (*Кутайсов*, 2004. С. 93) не совсем точно. Выше приводилась цитата из сочинения Эвлии Челеби, из которой явствует, что автор имел в виду бассейны-распределители привозной, а не местной воды.



Эски-Къырымская мечеть Эль-Хаджи Мухаммеда («мечеть Узбека») после реставрации. Интерьер мечети. Фото автора



В. 39). Учитывая традиционную многодетность крымскотатарских семей, можно без большой погрешности определить количество жителей Эски Къырыма в 10–15 тыс. человек и даже более. Как и в Средние века, город оставался многонациональным — об этом говорят его храмы. В частности, в юго-восточной части высилась караимская кенаса, имелась и армянская церковь во имя Св. Креста (Сурб-хач). И, как в эпоху Средневековья, отсюда через Кефе и далее, на Львов шла знаменитая дорога, которую генуэзцы называли *Via Tartarica*. Другие крупные



План мечети Эль-Хаджи Мухаммеда и примыкавшего к ней справа медресе. По О.И. Домбровскому и В.А. Сидоренко





Руины эски-крымской Куршут-джами или «Свинцовой» мечети. Фото автора

торговые пути вели к Азову и в портовый Судак (последняя сохранилась до наших дней в виде широкой тропы или просёлка, годного и для автомобильного транспорта).

Судак издревле был известен пестротой своего населения. Причём старые и новые иммигранты нередко селились не в предместьях, а в центральных частях города. Так, немецкая колония располагалась вплотную к воротам крепости,<sup>1</sup> на её территории находился и главный фонтан, основной источник воды как для крепости, так и для населения предместий (Сосногорова, 1880. С. 318). Упомянутый выше храм на территории крепости являет собой пример бережного отношения к чужой культуре: владельцам христианской крепости несколько не мешала находившаяся в центре её (не в посаде, не в близлежащем мусульманском городке!) мечеть. Кстати, иногда встречающиеся замечания об этом сохранившемся до сих пор храме, построенном, кажется, ещё сыном хана Узбека, как о первоначально христианской церкви, совершенно безосновательно. Как верно заметил Е. В. Бахревский, переводчик и комментатор бессмертного труда Эвлии Челеби, «в отличие от других мечетей, зачастую перестроенных из христианских храмов, здесь соблюдается строгая ориентация здания на юг» (Челеби, 1999. С. 78), то есть на кыблу, а не на восток.

Керчь далеко уступала в торговом значении и Кефе, и Судаку; в основном роль ее большого и удобного порта сводилась лишь к перевалке грузов. Сам город был

<sup>1</sup> Здесь, на месте старинного лютеранского кладбища до сих пор на грунте растут небольшие кактусы (кажется, это единственное место на полуострове, где кактус является дикорастущей культурой), вероятно оставшиеся от искусственных посадок на могилах.

небольшим, его населяли рыбаки и солдаты. Основной задачей, возложенной на крепость османской державой, являлся контроль за проливом (в начале XVIII в. с этой же целью заложили Ени-Кале). Возможно, именно поэтому Порта уделяла Керчи большое внимание, следила за состоянием стен и артиллерии и т. д.: «Это прекрасная, квадратная, выложенная из шаддадовского камня крепость на углу большого залива, на берегу моря: окружность её составляет целых тысячу шагов. В ней есть четверо ворот. Маленькие железные ворота, выходящие на море, смотрят на восток. Через эти ворота не проедет арба, это очень маленькие отстроенные ворота» (Челеби, 1999, 97).

Перекоп (Ор-Капы, Феррах-Керман) насчитывал до 800 городских участков. Дома были, в основном, деревянные и глинобитные. Ещё в год похода Миниха это был типично крымский, старинный город, где улицы «очень узки, а городские стены фланкированы башнями старинной формы крепления из песчаника» (Сосногорова, 1880. С. 79). Стены здесь выстроили двойные, как и в Гёзлёве, высотой превышавшие 16 м и в окружности достигавшие 3 000 шагов. Они были настолько мощными, что в их толще умещались довольно обширные помещения, судя по тому, что некоторые из них были жилыми. Как сообщали московские послы конца XVII в., «в тех стенах учинены многие домовые жилища с чердаки» (Тяпкин, Зотов, 1850. С. 29).

В плане крепость была пятиугольной и описывалась турецким автором так: «там есть 20 квадратных высоких башен... Все башни крыты рубиново-красной черепицей. Есть и низкие башни, крытые досками... Её окружает глубокий, вырубленный в земле ров в 15 куладжей (почти 30 м. — В. В.)... Внутри крепости есть мечеть Сахиб-Гирей-хана, амбары пшеницы, оружейный склад и колодцы воды» (Челеби, 1999. С. 12). В центре окружённого стеной пространства находилась каменная цитадель, некогда возведённая генуэзцами (Караман, 1854. С. 144). Участник похода П. П. Ласси в 1738 г. пишет, что внутри цитадели, окружённой третьей, самой высокой стеной, возвышались 5 ослепительно белых башен, крытых черепицей. Впрочем, при отступлении русских они были в том году взорваны и более не восстанавливались (Lerche, 1791. S. 130).

Современник Крым-Гирея, французский дипломат Ф. де Тотт, так писал о стенах и башнях Перекопа: «Ничто не производило на меня более потрясающего впечатления, чем эти укрепления. Не говоря уже о гигантской работе [затраченной на их возведение], я не знаю места, где природа лучшим образом дополняла бы искусство мастеров. Солидность вала была бесспорной, а по его краям сверкали, как эпюлеты, два моря, недоступные для врага» (Тотт, 1785. Т. I. P. 172). Всего по обе стороны Ор-Капу, вдоль рва и линейных укреплений, возвышалось 6 башен (Baert-Ducholant, 1798. S. 37).

В конце XVIII в., как вспоминали современники, город внутри крепостных стен уже «...был весьма обширен. Строения, особенно ханы (заезжие дворы) были в нём каменные, много мечетей и две христианские церкви, одна Армянская, другая Греческая» (Шевелева, 1844. С. 602).

Возможно, не менее привлекателен, чем сама крепость, был находившийся вне крепостных стен посад, куда с севера можно было попасть только через висячий мост надо рвом. Этот пригород был значительного размера, насчитывая

12 мечетей и 1 500 домов, среди которых был даже какой-то дворец (Топ, 1785. Т. 1. Р. 13). После разрушений, связанных с русскими вторжениями 1730-х гг., город и крепость отстраивались, но городской пейзаж уже никогда не мог достичь прежней красоты и цельности. Накануне аннексии там осталось всего 800 домов, однако крепость сохранилась в целостности (Тунмани, 1936. С. 42). Ещё через несколько лет там оставалось всего 4 башни, а за крепостной стеной — несколько жалких барачков и мечеть Сахиб-Гирея, превращённая впоследствии русскими в пороховой склад (Baert-Ducholant, 1798. S. 37; Lyall, 1825. P. 226).

Арабат представлял собой типичную пограничную крепость, охранявшую рубежи ханства от казачьих набегов со стороны азовского мелководья. Но основное оборонительное значение имели не крепостные стены, а огромная круглая каменная башня — незаменимое в условиях абсолютно плоской местности сооружение, с которого можно было вести артиллерийский обстрел.

До аннексии Арабат превосходил по величине соседний Ак-Монай (н. Каменское). Потом это соотношение изменилось на обратное, а к нашему времени от старой крепости, в отличие от Ак-Моная, почти что и следов не осталось. Между тем ещё в первой половине XVIII в. крепость у основания Арабатской стрелки была полностью отреставрирована, высокие стены отремонтированы, башни, стоявшие по углам этой мощной восьмиугольной цитадели, укреплены и надстроены. Был обновлён и старинный подземный ход, тянувшийся из крепости к приморским камышовым зарослям. Понятно, что все перечисленные меры были вызваны усилившейся русской опасностью (Сосногорова, 1880. С. 333). Ещё в первой половине XIX в. прекрасно сохранялся глубокий ров с водой, а также вал, тянувшийся от крепости в обе стороны, к Сивашу и Азовскому морю. А над развалинами города возвышалось, как памятник ему, «единственное уцелевшее зданье — небольшая мечеть, все такая же очаровательная и совершенная (still pretty perfect), какой она была раньше» (Scott, 1854. P. 210).

Ахтиар, как уверяли все без исключения советские историки Крыма, был незначительной деревушкой на месте увядшей колыбели российского христианства и важного торгового центра Херсона. При этом значение крымскотатарского Ахтиара как рыбопромышленной и торговой базы крупного региона (всей южной оконечности полуострова) искусственно замалчивалось. Причина ясна: требовалось показать, что Севастополь возник практически на пустом месте и является олицетворением чисто русского гения, без примеси каких-то инородных наследий. Тем не менее Ахтиар существовал задолго до этого. Другое дело, что о нём сохранилось не так много исторических свидетельств, как, например, о более известных Баючсарай или Карасубазаре. Раскопки средневековых горизонтов в этом регионе также не ведутся, поскольку исследователей в куда большей степени привлекает античный Херсонес.

Поэтому всё, что ныне может поведать нам об Ахтиаре до той поры, когда его начал давить и задавить разрастающийся Севастополь, — это разрозненные записки путешественников, посещавших этот край до его аннексии. Их немного, но пока и этого достаточно, чтобы составить себе какое-то первичное представление о городе и его людях.

В Новое время здесь, как и в древности, селились те, кто не боялся связывать свою жизнь с морем: рыбаки и моряки транспортных суденышек незначительного тоннажа. Были здесь и небольшие судостроительные мастерские (верфи — слишком громкое для них название), где из леса, в изобилии росшего вокруг, собирали фелюги и шхуны не только для каботажного плавания, — об этом можно прочесть в разделе о крымской торговле в целом и о транзитной работорговле, в частности. В огромной Ахтиарской бухте имелась сравнительно небольшая пристань для судов, приходивших не только из крымских портов.

Но, конечно, ахтиарской торговле было далеко до херсонесской, к тому времени забытой. Впрочем, имелись свидетельства и более ранней славы этого знаменитого в седой древности порта: высоко над уровнем моря, в прибрежных скалах и в XIX в. люди дивились девятнадцати огромным, кованым из железа причальным кольцам, намертво закрепленным в каменном массиве. Полагают, что их использовали в пору, когда Чёрное море покрывало куда большую часть полуострова, чем ныне (Campenhausen, 1808. P. 52), что, в общем, сомнительно.

Замечу, кстати, что и после аннексии Крымского ханства, уже во время начавшегося строительства русского военно-морского порта и города Севастополя, это последнее, совершенно искусственное, надуманное наименование долго не приживалось. Причём не только в Крыму. «Ахтиар», «Ахтиарская бухта» — эти топонимы были и на рубеже XIX в. в ходу даже среди учёных Петербурга, не пренебрегавших ими в своих печатных трудах (см., напр., в: Baert-Ducholant, 1798. S. 39–40).

## 2. Культура сельского хозяйства

Хлебом, и скотом, и иными добрыми пожитками и довольством вся та страна немерно жизнена.

Лызов, 1990. Л. 125–125 об.

### а) Скотоводство

Раздел о сельском хозяйстве стоило бы начать с зернового земледелия, так как к концу XVIII в. именно оно было не только развитой, но и самой перспективной отраслью крымскотатарской экономики. Однако скотоводство, во-первых, ещё далеко не утратило своего значения, им занималась значительная часть коренного населения полуострова. Во-вторых, эта хозяйственная отрасль являлась важным поставщиком экспортных продукции, полуфабрикатов и сырья. В-третьих, животноводство имело и бесспорный исторический приоритет, став здесь основным источником существования задолго до того, как зерновое хозяйство достигло соответствующего развития.

Итак, современники рассматриваемого периода видели, что «весьма развито было в Крыму и скотоводство: везде встречались хорошо *содержаемые* табуны лошадей, стада рогатого скота, овец и коз; смушки с крымских овец особенно славилась тонкостью шерсти и вывозились отсюда ежегодно сотнями тысяч;

из козких шкур выделывался отличный сафьян; всюду встречались верблюды, буйволы, дорогие кони, волы» (*Гольденберг*, 1883. С. 68).

Естественно, такого расцвета животноводство не могло достигнуть само по себе. Для этого нужны были неутомимые труженики-практики и высокопрофессиональные селекционеры-животноводы, мелиораторы. Очевидно, страна не испытывала нехватки в специалистах сельского хозяйства; видимо, здесь умели сбергать и передавать молодым тысячелетний опыт предков-скотоводов. В качестве примера достаточно сказать, что в Крыму издавна было развито травосеяние, при этом поля, для него предназначенные, очищались от камней, выравнивались и огораживались (*Holderness*, 1821, P. 55).

В степной части полуострова имелись и прекрасные естественные пастбища, которыми умели пользоваться, о которых заботились согласно старым обычаям (поочередные выпасы и пр.). И эти экологически грамотные традиции приносили свои результаты. Крымская степь оказалась загубленной гораздо позднее, когда ею занялись другие люди, а накануне аннексии картина была вполне благополучной: богатое разнотравье имелось и в ныне наиболее засушливых местах. Солдаты Миниха ещё застали его, один из соратников фельдмаршала записывал: «...травы на лугах достигает вышины, превосходящей рост самого высокого мужчины. Спаржа растёт тут в большом количестве, и ботаники нашли там множество растений, весьма редких, которые в наших аптекарских садах имели бы большой уход...» (*Манштейн*, 1875. С. 99–100).

Современник позднего ханского периода видел не только древнюю крымскую степь, покрытую табунами прекрасных коней, но и ловких молодых пастухов, ловивших этих полудиких животных «арканами, которые они без шума забрасывают на очень большом расстоянии». Далее он отмечал: «Пастбища весьма тучны. Почва здесь чернозёмная и, по-видимому, очень плодородная... степи [здесь всегда] служили пастбищами для огромного количества быков, лошадей и баранов...» (*Людольф*, 1892, 167). Здесь же, добавим, можно было видеть и буйволов, и верблюдов, и мулов. Но крымский татарин на первом месте в этом списке, вне всякого сомнения, поставил бы лошадь.

#### Лошадь

Некоторые исследователи доказывают, что в Крыму испокон веков имелось две породы лошадей. Первая — местная дикая лошадь или тарпан — оставила следы ещё в палеолитических слоях, а полностью вымерла лишь во второй половине XIX в. Очевидно, именно эта порода была когда-то одомашнена. Домашние же лошади отмечены на полуострове с бронзового века, когда контактов с другими центрами коневодства у крымцев ещё не было, и приходилось работать с собственным конным генофондом, то есть с теми же тарпанами (*Буров*, 2006. С. 136). Позднее, уже в скифский период истории Крыма, появилась вторая, резко отличавшаяся от аборигенной, порода. Если первая отличалась невысоким ростом и крупной головой, то вторая была более высокой, с небольшим черепом и, предположительно, имела среднеазиатское происхождение (Там же). Позднее эти две основные породы сохранялись, вряд ли смешиваясь, поскольку как первая, так и вторая были в крымскотатарском хозяйстве высоко функциональны именно в классическом своём виде.



Крымская лошадь. Картина неизвестного художника. Из колл. издательства «Тезис»

Поэтому и в Новое время крымские лошади были представлены двумя видами — степным и горским. Первая сохраняла все качества неместной верховой породы (или крымской, но облагороженной восточными кровями). На одной из зарисовок середины XVII в. мы видим лошадь с коротким крупом, не очень высокую, но с маленькой головой благородной формы и высоко стоящими ушами (*Сенаи Мехмед*. Книга походов. История походов хана Ислям Гирая Третьего. Симферополь, 1998. С. 52). Конечно, это уже не тарпан, а если и родственник его, то самый дальний.

Авторы, ещё заставшие эту породу, отмечали, что крымские кони «красивые, сильные, быстрые... Хан, многие солданы, знатные татары употребляют для войны лошадей турецких, арабских, караманских и другой азиатской породы или же отличных иностранных. Быстрые лошади ценятся у них необычайно дорого. Татары обыкновенно пасут их на степях Таврического полуострова... только знатнейшие татары держат у себя на конюшне по несколько лошадей, да и то для своих нужд, а не для роскоши» (*Броневский*, 1867. С. 364). Итальянец, большой знаток лошадей, вспоминал, что на конском рынке в Карасубазаре продавались «красивейшие лошади» (*bellissimi cavalli*) из всех, что ему приходилось видеть (*Becattini*, 1783. P. 5).

По некоторым данным, предки степной разновидности крымской лошади происходили из легендарных скифских табунов. Кое-где в крымской глубинке эта древняя порода сохранилась до XIX в. включительно в слабо изменившемся виде. Лошади этой породы были «малы ростом, с очень большой головой и длинной гривой. Шерсть у них мохнатая и под коленями длиннее, чем на всём теле... очень крепкие, они делают до 9 миль [63 км] в день и довольствуются скудным

кормом» (Шатилов, 1857. С. 43). Масти они были «серо-воловоьей, с большой грудью и малыми, но огненными глазами» (Скальковский, 1853. Т. II. С. 372). Часть этих коней вела вообще дикий образ жизни. Крымские татары постоянно отлавливали диких лошадей с двумя целями: для «подмешивания» в собственные породы и на продажу зарубежным селекционерам, но на количестве табунов это не сказывалось, так как «диких лошадей в той стране оставалось очень много» (Luca, Beauplet, Lamberty, 1634. P. 4, 13).

Люди заботились об этих волных созданиях, не допуская их отстрела ради мяса. Однажды они даже заявили дружный протест, когда в XVIII в., сразу после аннексии, русские власти расставили вдоль некоторых дорог полосатые верстовые столбы: «поначалу табуны диких коней сбивались вокруг этих невиданных предметов, как вороны — вокруг филина», будучи не в состоянии продолжать нормальную миграцию по степи (Grimm, 1855. S. 31).

Большое значение имело смешивание местной и иных пород. В Крыму развилось настоящее искусство селекции, утраченное позднее; в XX в. завоз в Крым лошадей иного происхождения, как правило, заканчивался их гибелью (см.: Фрухт, 1932. С. 15). Встречаются авторитетные свидетельства тому факту, что крымская лошадь именно таких, смешанных кровей могла покрыть расстояние в 100 км быстрым аллюром, не подавая признаков усталости: «Достоинство татарских лошадей заключается в том, что они в силах проскакать 25 лье как ни в чём не бывало» (Манштейн, 1875. С. 102). В зависимости от физических данных лошади цены на конских ярмарках сильно различались: от 25–30 до 300–350 пиастров или серебряных талеров (Holderness, 1821. P. 131). Напомню, что талер был крупной монетой весом от 24 до 27 граммов.

Здесь может возникнуть естественный вопрос: почему же эти прекрасные кони водились только в Крымском ханстве? Ведь отмечено немало случаев, когда русские или казаки угоняли множество лошадей на север — они-то почему не размножили эту породу? Ответ, как ни странно, дал путешественник, приехавший на юг России из далёкой Скандинавии, но хорошо разобравшийся в коневодстве. Датчанин П. Хавен пишет в своих путевых дневниках:

«Дело в том, что они (то есть крымские татары. — В.В.) отпускают своих лошадей, коров, овец и другой скот бродить под открытым небом и зимой, и летом. Зимой эти животные отгребают снег копытами и достают траву». Что же происходило с этими лошадьми, когда они оказывались в руках славян? П. Хавен продолжает: «Но едва лишь эти лошади попадали в стойло, они весьма быстро подыхали — за пару дней» (Haven, 1743. S. 208). Так что крымские татары оставались монополистами в разведении собственной, уникальной породы лошадей и могли не опасаться конкуренции в лице коневодов из соседних стран.

Упомянутые выше физические достоинства крымской лошади были результатом прежде всего той граничившей с иступлённым фанатизмом страстности, с которой мурзы и беи отдавались выведению и приобретению животных, которые могли стать чемпионами всекрымских скачек (английский автор называет это повальное увлечение сдержаннее, «пристрастием»: *predilection for horses* — Jones, 1827. P. 281). Победа на главных спортивных встречах означала не только всеобщую известность. Она несла с собой и трюмную славу, память о которой



Крымская верховая лошадь.  
Начало XIX в. Фото из собрания  
музея Ларишес

затем передавалась из поколения в поколение. Призы (чаще всего ножи и сёдла) хранились в таких семьях на видном месте многими десятилетиями.

Но и простые татары, чьё стадо состояло в основном из вьючных лошадей, а верховых было одна-две, с меньшим рвением занимались улучшением пород. И при покупке новых животных крымский крестьянин мог пойти на совершенно непомерные траты, зная, что экономить можно на чём угодно — только не на их качестве. Сохранилась отражающая эту традицию, необычно длинная пословица, которая говорит о недопустимости покупки дешёвой лошади (ценой в одну овцу) и восхваляет породистый скот, например, овцу ценой в лошадь:

Къой сатыб ат алма:  
Къой сатыб ат алсан  
Эм къойсыз, эм атсыз болырсын;  
Ат сатым къой алсан —  
Эм къойлы, эм атлы болырсын

Продав овцу, не покупай лошади  
Если продашь овцу и купишь лошадь,  
Останешься без овцы и без лошади;  
Если продашь лошадь и купишь овцу —  
Будешь и с овпой, и с лошадыю

(Цит. по: Музафаров, 1991. Т. II. С. 598).

Средств на широкую селекционную работу, конечно, не было и не могло быть у обычного, среднего достатка крымца. Но ему заменяла их искренняя и глубокая любовь к коню, передававшаяся чуть ли не на генетическом уровне. Конь был для крымца не разновидностью домашнего скота, а чем-то вроде душевного друга, с которым человек старался не расставаться и хотел иметь его перед глазами как можно чаще — он и двор-то никогда не покидал, иначе чем вместе со своим любимцем. Лошадь не только холили и берегли, проводили тщательный, вдумчивый отбор и не менее внимательно — выездку. Её украшали как любимую женщину и обязательно снабжали талисманом от сглаза как близкого человека: кожаный треугольничек *дува* с защитой в него молитвой вешался на



Чабаны с арканами у чешме. Гравюра 1838 г. Из собрания музея Ларишес

шею жеребенку сразу после его рождения (Домбровский, 1882 «а». С. 135; Kosmeli, 1813, S. 65). После этого новорожденного вместе с кобылицей отпускали почти тут же в табун, где животные наслаждались дикой свободой: их хозяева практически не нарушали её, издали любясь прекрасными животными!

Этот обычай был настолько устойчивым, что не прервался и с захватом Крыма Россией, когда площадь вольных выпасов резко сократилась. И в 1830-х ещё ходили по степи огромные, как и в древности, табуны прекрасных этих животных. «Мы видели тысячные табуны лошадей, которых ещё не коснулось человеческое искусство выездки, выражающих каждым движением свой гордый, благородный (proud) дух и природный огонь. Но тем не менее они настолько понятливы, что единственный чабанёнок может без труда отводить их, как отару овец, на водопой каждым утром и вечером» (Spenger, 1836, P. 130).

Конечно, упомянутый мальчик был не единственным, кто заботился о табуне: лошади находились под надёжным и квалифицированным, хоть и ненавязчивым присмотром. Каждый *джилкеджи*-табунщик должен был обладать познаниями в селекционном деле, прекрасно разбираться в ветеринарных и иных проблемах. Его работа, а также высокая коневодческая культура *всего* населения приносили бесспорные плоды. Зная толк в конских породах заез-

<sup>1</sup> О чисто эстетическом восприятии крымскими татарами коня, как существа почти неземной красоты и стати, говорит один частный случай. Заезжий немецкий музыкант, восхитаясь лошадей из Байларской долины, заметил, что ей самое место в парижской Гранд-Опера. И объяснил ничего не понявшему владельцу табуна, что в некоторых оперных произведениях, например, «Юдифи», в сценическом действии участвует до 7 лошадей. «Какое высокое искусство, должно быть, эта ваша опера! — воскликнул потрясённый татарин. — Музыка и... кони!» (Grimm, 1855, S. 84).

жие англичане отмечали, что в Крыму обычная «крестьянская лошадь сильна, быстра и красива, как арабский скакун... Они отличаются от черкесских своей чистопородностью, красотой и резвостью. Они небольшие и очень твёрдо держатся на ногах (are very surefooted): но они несколько плотнее черкесских коней, которые могут считаться самыми быстрыми и красивыми скакунами на свете. Методы выездки здесь совершенно соответствуют нормальному английскому курсу, но диаметрально противоположны российским обычаям» (Clarke, 1810, P. 436, 520–521).

То есть любая рядовая степная лошадь обладала такой резвостью, что тягаться с крымскими коневодами даже и не пытались ни кавказские, ни запорожские соседи, а ведь и те, и другие тоже были далеко не новичками в этой важнейшей отрасли народного хозяйства. Здесь уместно вспомнить слова гоголевского Тараса Бульбы, когда он, находясь с сыновьями посреди голой степи, увидел вдали одинокого всадника, судя по посадке — крымского:

«А ну, дети, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Чёрта» (Гоголь, 1984, Т. II, С. 46).

Секрет столь высоких качеств был, понятно, не только в селекции степной породы, но и в искусстве выездки. Некоторые исследователи, опираясь на древнюю чеканку из керченских раскопок, приходили к выводу, что у крымцев Нового времени не только посадка, но и выражение лиц во время скачки абсолютно схожи (*vollkommen gleichen*) со скифскими (Hoffschläger, 1859, S. 15) — редкий пример культурной преемственности. Крымские татары прилагали массу усилий для того, чтобы приучить молодых животных исключительно к иноходи, которая, как известно, из всех аллюров является самым покойным для всадника, позволяющим проводить в седле по многу часов на протяжении нескольких недель кряду (в этом, кстати, тоже крылся секрет молниеносных походов крымскотатарских отрядов на огромные расстояния). Причём по школе выездки, по особенностям аллюра в Крыму различалось несколько видов иноходца: *учан-ерга* (летающий), *джубе* (широкоходящий), *айян* (ход средний между шагом и иноходью) и так далее. Но в любом из случаев результат был один: «На татарских лошадях так приятно скакать», — восклицает один из свидетелей (Jones, 1827, P. 215).

А вот ещё одна живописная, но, кажется, точная зарисовка: «В поле, под своим хозяином, татарский конь настоящая картина; вытянув шею, распутив хвост и гриву, мелко ударяя в землю своими звонкими копытами, он как будто сливается в одно существо со своим седоком и несётся с ним по широкой степи, как сын ветра пустыни, как фантастический грифон» (Горчакова, 1883, С. 158). Несколько более ранняя запись: «Видели возле Гёзлёва двух подростков: они мчались на своих конях, на всём скаку становясь на сёдлах в полный рост, прыгивая на землю и снова вскакивая в седло, они далеко бросали свои плети и ловко поднимали их с земли. Что замечательно — это были простые пастухи, и такое совершенство не представляет собой ничего необычного» (Clarke, 1810, С. 582). Современник объяснял это высокое искусство верховой езды просто: «По справедливости всех вообще Татар можно назвать хорошими ездоками, каковыми они делаются от приобретения навыку с молодости. Лет десяти дети Татар на лошадях ездят так хорошо, как бы взрослый человек другой нации» (ОР РНБ,

Ф. 487. Д. 393Q. Л. 20)<sup>1</sup>. Неоднократно отмечалось, кстати, что крымскотатарские женщины в верховой езде нимало не уступали мужчинам (Remy, 1872. S. 68), хотя, возможно, в данном случае это некоторое преувеличение.

Упомянутые выше скачки мало походили на этот вид соревнований в его классическом, английском стиле. Это была, скорее, игра. Нужно было завладеть одним или несколькими платками в ходе бешеной погони по бездорожью, часто в горной местности. Этот вид состязания был особенно любим в народе, отчего и сохранился в крымскотатарской традиции более столетия после утраты ханством самостоятельности. Вот как проходили крымскотатарские скачки уже в начале XX века:

«И джигиты как стрела понеслись друг за другом. Сначала всё смешалось и летело кучей, пестрели платки, сверкали подковы. Но вот начали разделяться, одни вправо, другие влево. Тогда началась настоящая, чисто дьявольская скачка: лошади вертелись, быстро прыгали через рвы и канавы, скакали в гору и так же быстро неслись с горы, некоторые спасались в лес, неслись среди ветвей и снова показывались, одни держа платок высоко над головой, другие стараясь вырвать его из рук скакавшего. Много ловкости, прямо отчаянности показали и люди и лошади. Такой бешеной и опасной скачки я никогда не видел в жизни, принимая во внимание горное, полное опасностей место. Двое джигитов отличились особенно, вырвав у таких же ловкачей платки. Победителей ждала награда...» (Васюков, 1904. С. 36–37).

Особой популярностью пользовались устраиваемые довольно часто скачки на неоседланных конях; крымские татары владели и этим искусством в совершенстве. Немецкий путешественник рассказывал, что их проводник, скача галопом во весь опор без седла, ухитрялся выбивать огонь кресалом, раздувать трут и закуривать свою трубку (Grimm, 1855. S. 30).

Здесь, кстати, стоит упомянуть о некоторых особенностях сбруи крымскотатарских верховых лошадей. Во-первых, тюрки стали гораздо раньше западноевропейцев употреблять стремена, как известно, только и позволяющие вести прицельную стрельбу из лука в движении. Стремена были двух основных типов. Одни похожие на башмаки, то есть имели овальную, по форме стопы, площадку и широкие треугольные плоские держащие дуги по обеим сторонам стопы. Стремя второго типа было гораздо легче: площадка была круглой, боковые дуги — из слегка сплюснутых прутков толщиной с карандаш. Как легко понять, широкая опора в обоих типах стремян была необходима для всадника, обутого в сапоги с мягкой подошвой, — а в Крыму только такие и носили. Поскольку для облегчения веса стремени второго типа площадка делалась совсем тонкой (3–4 мм), то необходимая жёсткость её достигалась столь же тонким стакановидным цилиндром, привариваемым к ней по окружности снизу. Этот цилиндр и бока лошади оберегал, которые неминуемо травмировались бы стременами обычной конструкции. Ремни стремян были сильно укорочены, так что ноги всадника находились постоянно в падусогнутом положении (Luca, Beauplet, Lamberty, 1634. P. 27; Grimm, 1855. S. 9). Такая посадка была немыслима для галопа или рыси, но вполне оправдана

<sup>1</sup> Под этим шифром в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки (СПб.) хранится неоднократно в дальнейшем используемая рукопись М.И. Дмитриевского «Картина Крыма или краткое описание татар...»



Крымскотатарское стремя.  
Из колл. автора

в иноходи. Главный же её смысл был в том, что она облегчала прыжки из седла в седло на скаку, что было необходимо в походах, о чём уже говорилось выше.

Не менее интересной была *горная порода* крымской лошади. Судя по источникам, это была небольшая, но ладная, поджарая и сильная лошадь, красивой масти: чаще всего соловая (желтоватая), с чёрными хвостом, гривой и полосой по хребту, белыми бабками (Kosmeli, 1813. S. 65–66). Она обладала поистине удивительными качествами, в том числе не только послушанием, но и преданностью всаднику, переходящей в настоящую о нём заботу: «На тоненьких, словно выточенных ножках, она лазит по скалам, цепляется за корни, за камни не хуже козы... Каждый, даже тот, кто ни разу не садился на лошадь, может смело заносить ногу в седло крымской лошади и ехать куда угодно. Великолепная иноходь избавляет от ежесекундной тряски и позволяет без всякого утомления ехать несколько часов» (Чеглок, 1910. Т. II. С. 107). «С одной стороны был крутой обрыв. Татарин мой пустился в галоп, тропинка была узкая, начни я придерживать лошадь, она могла бы кинуться в сторону — и я погиб. Я решил предоставить всё на волю Божию, и летел как стрела. Но я никогда не сидел в седле так уверенно и спокойно» (Арагон, 1895).

В этом контексте следует помнить, что речь идёт о второй половине XVIII в., когда от Алушты до Ялты добирались через Кучук-Ламбат, Партенит, Суук-Су и Гурзуф. То есть верхнего шоссе и в помине не было, и приходилось ехать по крайне изрезанной и обрывистой прибрежной полосе. Что же касается отрезка пути Байдарские ворота–Кикенеиз–Алупка, то он был просто смертельно опасен. Другими словами, в те годы проблема физических и умственных качеств лошади была в сто раз важнее, чем ныне, скажем, мощность автомобиля или даже состояние дорожного покрытия. К счастью, горная лошадь была необыкновенно сообразительна и обладала инстинктом, спасавшим путешественников



Горная лошадь. Из собрания издательства «Тезис»

или местных жителей, по необходимости пустившихся в рискованный путь и нередко попадавших в обычные для горного бездорожья ситуации, угрожавшие гибелью. Выслушаем мнения старых путешественников, знавших толк и в горах, и в лошадях:

«Горские лошади так привыкли к подобным крутым дорогам, что в самых опасных местах на них можно вполне положиться и даже отпустить поводья. Даже выючные лошади идут вперёд без проводника и проходят короткие и опасные повороты, перебираясь с утёса на утёс не спотыкаясь; и не легко их сбить с привычного им пути» (Паллас, 1793. С. 143). «С какой осторожностью умные сии животные пронесут седока через пропасти и спускаются с крутых гор! Они часто бывают принуждены садиться на задние ноги, иногда подымаются на дыбы, иногда на краю бездны, уклонившись, перевешиваются всем телом, тихо переступают справа налево и всегда верным, твёрдым шагом идут не останавливаясь и идут очень скоро» (Броневский, 1822. С. 45).

«Лошадь... останавливается, озирается, высматривает, где бы вернее ступить; иногда по некотором размышлении, не находя способа идти, слагает накрест передние ноги, садится на задние и таким образом, можно сказать, не спускается, а съезжает под гору» (Муравьев-Апостола, 1823. С. 166). «Много раз, на ужасных крутизнах, наши неустрашимые лошади в полном смысле слова спускались скользья» (Демидов, 1853. С. 325).

Куда уж дальше, если крымцы позволяли себе *спать в седле*, находясь на горных дорогах, полностью полагаясь на коня! «По скалам, над пропастями, в тёмную ночь, в бурю и непогоду не бояться, проедут безопасно, только дайте им волю и не стесняйте их хода... недаром их так любят и так хорошо и нежно обходятся с ними горные жители... Мне показывали горный проход, опасный для пешехода и совершенно безопасный для верхового» (Васюков, 1904. С. 54–55).

Эта порода сохранилась, несмотря на огромные перемены, которые принесла с собой аннексия Крыма, до начала XX в. Знаток полуострова и его культуры вспоминал в одной из своих книг о лично пережитом спуске с Чатыр-дага: «Крымская лошадь обнаружилась во всём блеске своих достоинств. Она несла на своём хребте тяжёлую ношу как заботливая кормилица, а не как бессловесная скотина. Она ступала каждым копытом с такой внимательной осторожностью, как будто сознавала свою нравственную ответственность, постигала опасность порученного ей всадника. Но ума тут было мало, необходима ещё каменная нога, у ней было четыре таких каменных ноги, где нужно гибких, где нужно недвижных» (Марков, 1995. С. 258).

О пастбищах степи, сохранённых, а отчасти и облагороженных экологически грамотными полеводческими традициями, говорилось выше. В горах же главенствующую роль играли естественные пастбища на яйлах и склонах. На Чатыр-дагской яйле «летом, вследствие хороших пастбищ и совершенного отсутствия каких бы то ни было гадов, пасётся много табунов лошадей и прочего скота, — ночи здесь свежи и лето редко бывает так сухо, чтобы выгорала здесь трава. Этому способствуют туманы и тучи, собирающиеся здесь при малейшей сухости атмосферы и облегающие вершину Чатыр-Дага» (Паллас, 1793. С. 178).

Важно подчеркнуть, что лошадь, в отличие от остальных домашних животных, имел в тот период буквально каждый крымский татарин. Это была *нация конников*. «Татары срослись с лошадыю, даже теперь (то есть в середине XIX в. — В.В.) я не встречал пешеходов, даже подёнщики едут в поле верхом, а там отпускают лошадей пасти. Умное и верное животное не уходит от хозяина далеко, он зовёт его в обед и вечером и едет довольный домой» (Haxthausen, 1847. S. 435). «Конь — постоянный товарищ у татарина, который не пройдёт пешком и 200 ярдов (около 180 м. — В.В.), если может их проехать верхом» (Holderness, 1821. P. 128). Английский путешественник, сам большой любитель лошадей, отмечал, что «татарские джентльмены обладают прекрасной посадкой» (Clarke, 1810. P. 441).

И ещё один поразительный обычай: лошадей практически не использовали на сельскохозяйственных работах (разве что на обмолоте, где конь ходил по сжатому колосьям). На других, более тяжёлых видах работ их заменяли волы, верблюды, буйволы. Они не знали ярма — *даже в повозку ханских жён* впрягали иной тягловый скот. Современники поражались: «впрягать... в повозку лошадь, даже самую никудышнюю, для любого из них (то есть татар. — В.В.) считается тяжким грехом, хотя бы в конюшне его была тысяча коней» (Цит. по: Хайрудинов, Усеинов, 2010. С. 105). Лошадей никогда не стегали плетью или кнутом, это было бы равнозначно оскорблению ударом близкого друга<sup>1</sup>. Всадник направлял своего коня уздечкой и словом — и этого было достаточно: как пишет гость Крыма,

<sup>1</sup> Существовала даже пословица: «Хорошая лошадь не даст себя бить плетью» (Яхият озюне кямчинен урдырмаз). Напомню, что столь гуманное, можно сказать, современное отношение к животным ещё век тому назад практически не встречалось, к примеру, в русской деревне. С лошадьми и другим домашним скотом обращались крайне жестоко. Речь могла идти даже о каком-то садизме: известный этнолог отметил, что не только взрослые, но и дети измываются над животными, «мучают их так себе, из удовольствия посмотреть, что из этого выйдет» (Семёнова Тянь-Шанская, 1914. С. 24, 77).

слыша слово хозяина, лошади бежали «ровной рысью без усталости, обгоняя по дороге медленно бредущие тяжело гружённые караваны» (*Hoffschläger*, 1859. С. 7).

В заключение этого сюжета напомним, что не только татары относились к коням с романтической любовью. Поражённые красотой и чудесной привязанностью крымской лошади к человеку, о ней слагали стихи и российские поэты:

Случалось мне в глухую ночь не раз  
В Бахчисарай проездом из Урзуфа  
Спускаться вот по этой же тропинке.  
Я сплю себе, качаясь как в люльке,  
А он идёт усердно подо мною,  
На скалы с скал ступает осторожно  
И бережёт и жизнь мою, и сон...

(*Подолинский*, 1837. С. 88)

### Овцы

В крымскотатарском овцеводстве было выведено три основных породы, но лишь одна из них приобрела славу не только на всём Ближнем Востоке, но и в Европе. Речь идёт о грубошерстной овце, которую татары именовали *малыч* (позже русские учёные переименовывают её в «крымскую серую»), «с ягнёнков которой получают те превосходные смушки, которые в торговле известны под названием крымских мерлушек» (*Штакельберг*, 1858. С. 11–12).

Овца была для крымской семьи поистине незаменимым домашним животным. Помимо молока для брынзы, овчины для пошива одежды, а также мяса для еды, крымская овца давала два ценнейших продукта: во-первых, шерсть для ткацкого и коврового ремёсел, а во-вторых — смушки, то есть ягнячьи шкурки особого качества, стоившие за рубежом бешеных денег<sup>1</sup>. Ажиотажному спросу на них способствовала полная монополия Крыма на их производство. Дело в том, что в отличие от быков, верблюдов, ослов и пр., не терявших своих качеств и вне Крыма, малыч было бессмысленно вывозить куда бы то ни было, хоть в соседнюю Турцию: смушки теряли качество тут же, уже во втором-третьем поколении.

Но, более того, стопроцентно чистокровный малыч давал драгоценные шкурки далеко не во всех кадалках самого Крыма: «Овцы сии водятся в двух только местностях — в Керченском полуострове и в так называемом Тарханском куте в Евпаторийском уезде. Вне этих местностей в том же Крыму оне перерождаются, несмотря на все старания овцеводов сохранить их подлинность, что объясняется особыми кормами указанных мест, содержащими золототысячник местной же разновидности *Centaurea Taurica*» (*Штакельберг*, там же. См. также: *King*, 1788. Р. 218).

<sup>1</sup> К примеру, в России не только в эти десятилетия, а и позже, даже одна крымская смушка считалась «бесценным даром» (an invaluable present), что объяснялось редкостью красотой этих шкурок размером с носовой платок, для [покупки подобранного по цвету] гарнитура которых далеко не у каждого русского дворянина могло хватить денег...» (*Jones*, 1827. Р. 217). Цена их сильно колебалась в зависимости от цвета: чёрную или тёмносерую можно было купить за 1,50 руб., тогда как более редкая белая стоила не менее 2,50 руб. (*Jäger*, 1830. Р. 39).



Овца крымской породы малыч.

Из: *Весь Крым*

Крымский пастух с посохом-герлыгой.  
Гравюра 1869 г. Из собрания музея Ларшес



Самой ценной считалась смушка с чёрным волосом, только на самом кончике белого цвета, отчего лёгкая шкурка казалась слегка припорошенной снегом. Настоящая евпаторийская смушка должна была на ощупь напоминать шёлк или атлас (*King*, 1788. Р. 129). Остаётся сказать, что этих мерлушек вывозили только из Тарханкута и Гёзлёва (то есть, не считая Керченского полуострова) в год до 300 000 штук (*Спасский*, 1850. С. 23).

Конечно, это была не окультуренная дикая овца, но плод длительной целенаправленной селекции из различных пород в природных условиях степной части полуострова. Мало того, как и любая искусственно выведенная животноводом порода, малыч легко мог со временем утратить свои редкие качества, если бы не крымские чабаны и их искусство: «порода эта, одна из драгоценнейших между мясными животными, давно бы истребилась», справедливо замечали специалисты (*Скальковский*, 1850. Т. II. С. 352). Постепенно количество овец этой породы уменьшалось. Последнее упоминание о малыче удалось обнаружить лишь в книге конца XIX в. (*Завадский-Краснопольский*, 1874. С. 39). В ней говорилось о том, что эти овцы еще встречаются близ Тарханкута. Впрочем, возможно, они уцелели и в других пространствах обширного крымского края.

Вторая порода, *чонтук*, была выражено мясной курдючной. Эта крупная высокая овца весила около 70 кг, из которых почти пятая часть приходилась на знаменитый курдюк — жировое отложение у корня хвоста цилиндрической, слегка сплюсненной, а в нижней части раздвоенной формы. Он целиком состоял из нежного, ароматного, не застывающего в топленном виде сала. Мясо чонтука было также нежным, сочным, с тонкими прослойками жира. Знающие люди утверждали, что оно намного превосходило даже знаменитую английскую баранину (*Woensel*, 1790. Bl. 223).



Шерсть этой овцы была, в основном, рыжего цвета, более короткая и грубая, чем у мальчика, но она великолепно подходила для изготовления овчин, а также пряжи для тканья, толстых нитей для вязанья. Чонтук полностью соответствовал потребностям традиционного крымскотатарского полунатурального хозяйства. Неприхотливая, не требовавшая зимних кормов и вообще особой заботы, поедавшая любую траву, росшую в степи<sup>1</sup>, эта овца давала крестьянину, его жене и детям практически всё необходимое.

Единственное, чего она не имела — это *товарной* ценности на полуострове, где баранины всегда было слишком много, и она слишком дешево стоила. Крупную овцу можно было купить за 80 коп, максимум 1 рубль; а фунт (0,4 кг) отборной баранины повсюду стоил 2 копейки (King, 1788. P. 229). Именно поэтому прекрасная эта порода пришла в упадок уже в первые десятилетия после аннексии. Новые хозяева крымскотатарских земель — переселившиеся из России помещики — стали требовать у попавших к ним в арендную кабалу татар *деньги*. И тогда выяснилось, что чисто товарной ценностью обладает не универсально полезный чонтук, а изысканный и дорогостоящий мальч — и только там, где его можно было разводить, то есть вокруг Евпатории и близ Керчи. В остальных же овцеводческих районах оставалось одно: забросить овцеводство и переходить на производство товарного хлеба.

Нельзя сказать, что крымские татары не искали выхода из создавшегося положения. Довольно длительное время делались попытки наладить продажу на вывоз бараньей солонины и топленого курдючного жира в бочках (Ливанов, 1875. С. 45). Однако этот прекрасный продукт ценился более в Крыму, чем российским и даже турецким потребителем, и дело заглохло. Выхода, действительно, не оставалось. Вот так и стала угасать самая распространенная порода овцы, издревле безотказно снабжавшая народ Крыма самыми необходимыми продуктами.

Была ещё одна, менее значительная порода, *цигей* — горная овца, плод смешения нескольких пород с преобладанием чонтука. Она тоже имела свои достоинства. Послушаем, что говорили на эту и иные «овечьи темы» наблюдательные люди тех давних лет.

«[Горные] татарские овцы, подобно козам, малорослые, с большим курдюком и тонкорунные. В продаже шерсть горских овец идёт гораздо дороже степных и может быть доведена до совершенства...» (Паллас, 1793. С. 156–157). Но и без этого «доведения» шерсть горной крымской овцы была «длинна, ровна, мягка и весьма способна к пряже» (Броневский, 1822. С. 176). Кроме того, её мясо обла-

<sup>1</sup> Чонтук ел даже пересохшую траву, он мог есть и курай (пока не пожелтели стебли), а также другие колючие растения. Единственная трава, от которой он отворачивался, — это юзерлик (*Peganum Harmala*). Но справедливости ради стоит заметить, что темно-зелеными с белыми цветочками кустиками юзерлика, так оживляющими высохшую степь, брезгают и все остальные домашние и дикие животные Крыма, видимо, по причине своеобразного его запаха. Говорят, что крымская овца ест даже тарантула, отчего этот незобидный паук её всячески избегает. Зато чабаны могут ничего не опасаться, укладываясь спать на овчине, один запах которой отпугивает и тарантула и других опасных обитателей степи и гор. Сено, которое крымскотатарские крестьяне заготавливали в сравнительно небольших количествах, овцам давали лишь в случае, если толщина снега на пастбищах превышала 15 см (Шатилов, 1857. С. 42).

дало уникальным для домашнего животного вкусом, «который нимало не сходен с бараниною, а скорее похож на дичину» (Скальковский, 1850. Т. II. С. 352).

Что же касается особенностей содержания овец в те годы, то обычно овечья отара достигала численности в 1000 голов, так как в неё собирали необязательно овец лишь одного хозяина. Чаще всего её владельцами были жители всего села. Во главе такой отары стоял чабан, нанимаемый вскладчину. Несколько отар соединялось в один *кош* числом от 6000 до 8000 голов<sup>1</sup>. Это огромное скопление животных передвигалось совместно с пастбища на пастбище, руководимое самым опытным из чабанов, *адаманом*. В каждой отаре у чабана имелось несколько подпасков и один *байбара* (повар), как правило, ответственный за арбу с запасом продуктов, ремней, инструментов, соли, тары для молока и так далее. Многие адаманы работали долго, пока хватало сил, хоть были уже богатыми владельцами отар по 2000 голов. Очевидно, настоящему мастеру не так легко уйти на покой, а они были истинными мастерами своего дела. Помимо всего прочего, чабан мог по лаю собаки узнать человек или зверь приблизился к отаре, если это люди, то сколько их, верхами они или пешие и так далее. Почти сверхъестественной была и их способность предсказывать погоду. Глядя на тысячное стадо, чабан мог, не считая овец, сказать, скольких из них не хватает и каких именно, ведь каждое животное обладало для него собственной физиономией, было индивидом с присущими ему характерными качествами. «Какими? Этого он сказать не может — так тонки его наблюдения» (Васюков, 1904. С. 116)

Совершенно невозможным был бы выпас овец и без *крымских овчарок* (порода, ныне совершенно, судя по всему, исчезнувшая; не осталось и их изображений). О том, как они выглядели, можно судить лишь по нескольким малопрофессиональным зарисовкам да по более точным заметкам знатоков из Англии, считавших, что «более всего эти псы походили на молодых львов» (Jones, 1827. P. 217). По некоторым сведениям, у крымцев встречались и борзые, но главным образом — нечистопородные помеси со среднеазиатскими овчарками, которые отбирались по признакам свирепости и величины (Holderness, 1821, P. 149). Обычно чабанская собака в одиночку справлялась с волком, — а их тогда в Крыму было немало.

Конечно, выпас овец, особенно в горных условиях, являлся высоким искусством, а чабаны и тем более адаманы были весьма уважаемыми среди соотечественников «многопрофильными» профессионалами. «У нас (то есть в России. — В.В.) пастухи суть только стражи без всякого искусства, но крымские чабаны от времени, привычки и замечания научаются искусству своего звания. Они ведают, как подать помощь заболевшей скотине, как способствовать при трудном ее разрешении (имеется в виду окот. — В.В.), и ничто в бредущей толпе не укрывается от опытного их глаза... Хозяева общим иждивением доставляют ему одежду, пищу с дозволением притом убивать овец для себя, для гостя и для бедного. Положение, угодное человеколюбию! ...Награда [годовая] за попечение чабанов полагается с 20 овец или коз по одной, и сие до того их обогащает, что

<sup>1</sup> Интересно отметить, что сам термин этот имел древнее, ещё азиатское происхождение: монгольское слово *хошун* означало группу *юртов*. Здесь имела место смена функции слова, так же как тамга из монгольского средства клеймения скота стала бейским родовым гербом (Подр. см. в: Лашков, 1897. С. 3–5).



Горная кошара. На шесте — просушенные овчины, в кадках зреет брынза.  
Фото из собрания издательства «Тезис»

некоторые не имея прежде ничего, наживают собственные отары» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 57—59). Впрочем, большинству чабанов платили по овце с сотни за пастьбу в период с 23 марта по 25 октября (Holderness, 1821. P. 140).

Чабаны обладали универсальными познаниями не только в видах и сортах трав, в метеорологии и т. д., но и в ветеринарии. При этом, не имея практически никаких особых инструментов или препаратов,<sup>1</sup> они умели сохранять стадо в целостности и оказывали как овцам, так и друг другу всю необходимую помощь, находясь в длительном отрыве от всего мира. В течение лета отары не спускались с гор, между тем как чабаны и подпаски должны были регулярно выдаивать эти сотни и тысячи животных и готовить там же, в отгоне, сыр и брынзу (от овцы за лето получалось 6—7 кг брынзы). Впрочем, при недалеком выпасе отары небольшие количества свежего молока доставлялись каждые два-три дня хозяевам овец; при этом для переноса бурдюков с молоком вниз между чабанами устанавливалась очередь (Сосногорова, 1880. С. 65, 266). Там же они и стригли шерсть — тяжёлый труд, так как на одного чабана в день могло приходиться до 300—400 овец, а ножницы были примитивного, средневекового (если не античного) типа, с пружинной рукояткой в виде сердечка.

<sup>1</sup> У чабанов было три основных подручных средства: *герлыга* — отполированная до блеска кизиловая палка длиной около 2,5 м с крюком на конце, которым чабан мог поймать за заднюю ногу любую овцу для дойки или осмотра; *кокташ*, то есть порошок медного купороса в плотно закрытом роге для обеззараживания травм на ногах овец или частых порезов от ножниц при стрижке (креозота тогда не знали), да *джирмало* — специальные шпички для вынимания червей из ранок на теле животных.

Сколько всего было овец в Крыму ханского периода — сказать трудно, отсутствуют даже приблизительные данные. Известно лишь, что уже после аннексии, когда количество отар значительно уменьшилось в связи с татарскими эмиграциями, число это достигало 600 000 голов (Зенкевич, 1890. С. 35).

### Крупный рогатый скот

Коровы в Крыму были двух основных пород: старой, татарской, и завозной, украинской. Первые были красно-бурой масти, невысокие, ростом всего-то с крупного осла, но довольно крепкие, неприхотливые и быстрые. Их иногда называли почему-то *балканскими*, хотя некоторые исследователи считают, что скорее всего это были дальние потомки местной дикой коровы (Скальковский, 1850. Т. II. С. 342). Разводили их главным образом в горах. Они легко взбирались на кручи, а под гору непременно бежали (Pallas, 1801. S. 462).

Крымскую горную корову в наше время сочли бы беспородной. Эти домашние животные были в разных частях полуострова одинаково «...невелики ростом, довольно худы и необыкновенно легки и ловки; мне случилось видеть, как одна из них пролезла через плетень, перед которым задумалась бы всякая другая, и часто, проезжая мимо отвесных скал, удивляешься при виде этих животных, ищущих себе травы там, где едва бы удержалась самая лёгкая коза...» (Горчакова, 1883. С. 158). То есть первое впечатление о беспородности было бы ошибочным — эти сельскохозяйственные животные в результате длительного отбора великолепно приспособились к местным ландшафту, климату и естественной кормовой базе. Они не требовали тщательного ухода, довольствуясь, почти как лошадь, минимумом заготовленного хозяином фуража. Большую часть года они жили на подножном корму, а то, что удои были не из рекордных — так молока и требовалось не так уж много при изобилии не менее питательного и здорового овечьего молока, брынзы и других источников животных белков.

Коровы второй, украинской породы, гораздо более медлительные, намного превосходили крымскую корову ростом и силой. Они были неоднаственными: от палевых до тёмно-коричневых и давали больше молока, чем крымские. Волы этой породы имели чуть ли не метровой длины красивые, блестящие



Крымская горная корова.  
Фото из: *Весь Крым*, 1926



Волю горной породы, запряжённые в арбу. Копия гравюры.  
Из коллекции издательства «Тезис»

саблевидные рога. Разводили украинскую корову в основном в степной и предгорной частях полуострова.

Наиболее подходила к горным условиям, конечно, крымская корова, как обладавшая несколько необычными свойствами, несомненно привитыми ей искусственно: «Их небольшой рогатый скот отлично ходит по горам подобно лошакам... и привык бегать рысью» (Паллас, 1793. С. 156). «Рогатый скот и буйволы малы ростом, но столь легки, что они бегают большею рысью, почти так же скоро, как лошади» (Броневский, 1822. С. 176). На работу волов этой породы выводили с двухлетнего возраста.

Волю и первой, и второй из упомянутых пород совершенно не нуждались в узде или её подобии. Они прекрасно понимали словесные приказы, доносившиеся с телеги или арбы: «Цоб!» значит, налево, «Цобе!» — направо, «Цоб-цобе!» — вперёд.

Любопытно, что в горной (то есть каменистой) местности крымские татары ковали своих волов, естественно, восемью подковами, как парнокопытных. Сам процесс ковки был настолько любопытен, что привлекал внимание даже иностранцев. Они описывают его следующим образом: два кузнеца и хозяин вола заваливали его на бок у столба высотой в 3–4 фута (около метра). Затем животному связывали все ноги вместе, «в кучку», а свободный конец ремня перебрасывали через развилку в вершине столба и подтягивали связанные ноги кверху. После этого хозяин садился вола на шею у основания головы, а кузнец принимался за работу. Если животное пыталось освободиться, то хозяин пережимал ему гор-тань так, что у бедного вола буквально язык вываливался, но это помогало. На-

конец, все восемь подков были на месте, и освобожденный гигант делал свои первые шаги: «на дрожащих ногах, неуверенно, напоминая кошку с ореховыми скорлупками на лапках, пушенную на лед» (Olifant, 1853. P. 307; см. также в: Scott, 1854. P. 217).

Отдельно от волов, используемых исключительно в качестве тягловой силы, содержали молочных коров и относительно немногочисленных быков-производителей, нередко доставляемых из-за рубежа. В совокупности же молочное стадо Крыма достигало таких размеров, что позволяло изготавливать сливочное масло не только для собственного потребления, но и на продажу, в том числе и на экспорт. Так, из Турции в Гёзлэв приходили десятки кораблей «по масло коровье»; что было впервые отмечено в 1650-х гг. (Новосельский, 1994. С. 30), хотя в действительности эта коммерция имела место и в более ранние века.

Ослы вообще почитались как скот, не просто приспособленный к работе на любой поверхности, степной или горной, но и как «гениальные животные» (Шамир, 2010. С. 23). Непроходимые даже для крымских лошадей кручи были подвластны им. Умные ослики проходили с седоком или ношей там, где конь легко мог бы сломать себе ногу. Кроме того, осёл крайне неприхотлив в отношении корма и питья, он легко может обходиться даже старой, перегоревшей на июньском зное горной или степной травой. Впрочем, в разгар лета крымцы подкрепляли своих бесценных ешеков дешёвыми овощами, перезрелыми помидорами или арбузами.

Осёл был конём бедняка, который чувствовал себя на нём настоящим всадником — за неимением лучшего.

Буйволы ценились не только как рабочий скот, но и за жирное, вкусное молоко, которого буйволицы давали к тому же больше, чем в среднем коровы, а также за шкуры, из которых получались крепчайшие ремни для конской и иной упряжи.



Волю горной породы, запряжённые в арбу. Фото начала XX в.  
Из коллекции издательства «Тезис»

Кроме того, из них шили мягкую (без подошвы) обувь, называвшуюся *чарухи* или *чарыки*, которым не было износу.

Вторая особенность буйволов — любовь к воде, в которую они рвались, не сдувая возниц и часто портя при этом груз (они и в море забирались вместе с арбой). Ещё одним недостатком этих животных была их повышенная чувствительность к холодному воздуху. Поэтому для них в горной части Крыма оборудовали зимние стойла в пещерах, а в степи копали тёплые землянки (Аноним, 1824. С. 76).

Но оба этих недостатка с лихвой возмещались необычайной силой этих животных. Буйволы, запряжённые в тяжёлую повозку, легко взбирались на кручи, где ни один вол не смог бы пройти, не говоря уже о лошадях: «Буйвол... при кажущейся неуклюжести, неповоротливости... легко взбирается на такие крутизны, которые доступны лишь диким козам и оленям» (Свищов, 1907. С. 137). «Буйволы, эти сильные, крепкие животные вырастают большей частью в горах и, несмотря на свою неуклюжесть и массивность, крайне приспособлены к трудным дорогам, таким, где хорошим волам не справиться. Татары очень любят животных и умеют с ними обращаться, но с буйволами и им, этими терпеливым людям, приходится немало мучиться» (Васюков, 1904. С. 4).

Основной ареал разведения этого вида крупного рогатого скота — Южный берег Крыма, местность между Балаклавой и Алуштой. Но пахали на буйволах и вдали от гор, в безводной степи Северного Крыма, в окрестностях Анбара (Всеволожский, 1839. С. 27).

Не только татары, но и гости Крыма находили в буйволах некие особенные, весьма симпатичные черты. Одной из них было необычайное, детское любопытство этих крупных животных: «Положим, немного в самом деле страшно, когда эти чёрные, толстокожие уроды медленно все двинутся на вас с вытянутыми мордами и пристально устремлёнными взглядами. Глаза их добрые, большие. Двинутся и подойдя близко остановятся и начнут вас рассматривать долго-долго и внимательно. Что им нужно? Кто их знает, но будут смотреть и не отойдут, а разве подойдут ближе, вплотную, но вреда не сделают» (Васюков, 1904. С. 4, 121).

**Козы** в Крыму были некрупные и удивительного окраса. Часто встречались чёрные с оранжевой шерстью на ногах, брюхе или по бокам. Были и целиком оранжевые, красноватого оттенка или белые, но последние встречались редко (Pallas, 1801. S. 466). Этот мелкий скот был выгоден тем, что не требовал столь тщательного, непрерывного ухода, как, например, овцы. При том козы питались любым, даже самым грубым растительным кормом. Но и с этим нетребовательным видом домашнего скота велась многолетняя селекционная работа, позволившая вывести местную, крымскую козу с выраженными данными экстерьера: «Они держат много коз. Большая часть коз здесь чёрные с рыжими ногами, брюхом и задом; есть и совсем рыжие» (Pallas, 1793. С. 156). Это была порода молочно-пухового направления, дававшая прекрасные результаты по обоим показателям: «Козий пух мало уступает ангорскому, из которого делают шали» (Броневский, 1822, 176). Шерсть и пух мыли и чесали на месте, а затем отправляли в Стамбул, где эти товары традиционно высоко ценились (Holderness, 1823. P. 167).

В отличие от более позднего времени, козы играли значительную роль в экономике ханского Крыма как важный «сырьевой источник» для сразу нескольких важных отраслей крымского ремесла (кожевенной, ткацкой, сыроваренной,

обувной). Поэтому в XVIII в. козы в отдельных хозяйствах считались не единицами, а десятками и даже сотнями. Число же их в отарах вообще было огромным: от 1000 до 7000 голов (Сумароков, 1803. Т. II. С. 56). Потом, в XIX в., по указу из Петербурга, их стали безжалостно, подчистую уничтожать, пока не извели почти полностью всё стадо.

### Верблюды

В Крыму издавна разводили верблюдов двух видов: бурого или гнедого дромедара (одногорбого) и белого бактрианского (двугорбого). Животные второй из упомянутых пород производили особенно сильное впечатление на неместных: «Двугорбые верблюды огромной величины, чрезвычайно смиренные... и принадлежат к особой, прекрасной породе... Они вообще очень кротки и послушны своим хозяевам, однако бывали примеры, что рассердившись, они умерщвляли своих вожатых» (Демидов, 1853. С. 293, 417). Белые и ценились дороже: в середине XVIII в. они стоили на вывоз 50 руб серебром или, по тогдашнему курсу, 210 французских ливров (Скальковский, 1850. Т. II. С. 381). Эти животные приспособились есть вместо верблюжьей колючки, которой в Крыму нет, молодой камыш и главным образом сухой ковыль, который тогда повсюду в степи встречался в изобилии. А также отвергаемые другим скотом колючий курай и обе разновидности солянки, как известно, растущей не только по берегам лиманов (Die Krim, 1855. S. 12).

Разведением верблюдов занимались исключительно степняки. Повсюду, от Гёзлёва до Перекопа можно было встретить этих огромных животных, «свободно скитающихся со своим неуклюжим потомством... [общим числом] в 5000 или 6000 голов» (Штакельберг, 1858. С. 19). Очевидно, крымские татары достигли значительных успехов в улучшении породы и этого вида сельскохозяйственных животных, так как неоднократно отмечалось, что отсюда «многих верблюдов увозят в Азию для разведения их породы» (Дортелли, 1902. С. 131).

Крымская порода верблюда и после аннексии долгое время сохраняла все свои ценные качества. Вероятно, дело было и в особом, крымскотатарском



Первый и, очевидно, единственный сохранившийся фотоснимок крымского верблюда.

Из: Fenion, 2001.



Верблюжьи скачки в окрестностях Акмесджида. Гравюра А. Рихтера.  
Из собрания музея Ларшес

бережении этих прекрасных животных. В середине XIX в., как и раньше, можно было видеть, что у местных крестьян «верблюд употребляется только в упряжке, его не вычат, как это делают калмыки, и вид их более здоровый *оттого*, что тяжести не таскают на спине, да и корм здесь не в пример лучше... Верблюд стоит здесь как очень хороший конь, 400–500 рублей или 120–150 серебрянных талеров» (Koch, 1854. S. 29). Собственно, он нередко и заменял коня, обладая неплохой скоростью, даже верблюжьи скачки устраивались.

И последнее замечание, относящееся как ко всей животноводческой отрасли, так и к нравственному облику крымских татар-скотоводов. Английский путешественник заметил: «...сочувствие, которое они проявляют по отношению к своим собратьям, распространяется и на животных. Здесь редок плохой уход за скотом, и законы „о жестоком отношении к животным“ были в ходу среди этого сравнительно варварского народа с самых ранних времён, — до того, как законодателью культурного Запада пришло в голову подумать о необходимости вмешательства для защиты безгласных четвероногих от агрессивного зверства цивилизованных двуногих» (Barker, 1855. P. 212). Этот англичанин, отдавая справедливость крестьянам и других стран, замечает, что нормальное, человеческое отношение к скоту, напоминавшее «крымскотатарское», он встречал только в двух странах — в соседней Турции и далеко на Севере, в Норвегии (Baker, 1877. P. 492).

### Собаки

Выше подробно говорилось о чабанских псах, незаменимых в отгонном скотоводстве. Второй распространённой породой была охотничья борзая белой, серой, чёрной и жёлтой масти, в большинстве случаев с висячими уша-



Конная охота с борзыми в Крыму. Картина Ю. Коссака.  
Из собрания музея Ларшес

ми и хвостами. Разводили их главным образом для заячьей охоты (Pallas, 1801. S. 466). Владельцами породистых борзых были не только богатые мурзы, которых всё же было немного, но и люди среднего достатка: «Борзые собаки находятся [здесь] в великом количестве» (Аноним, 1824. С. 78). Неизвестно, была ли крымская борзая завезена сюда в «готовом», то есть сформированном селекцией виде, или её вывели на месте, но путешественники XVIII в. отмечали, что в предгорной части полуострова была весьма распространена заячья охота «с превосходными борзыми *местной* (курсив мой. — В.В.) породы» (Миранда, 2001. С. 63).

Остаётся лишь добавить, что и совершенно беспородные собаки были в Крыму излюбленными домашними животными: «Нет ни одного татарского дома, в котором не было двух или трёх собак, и все селения наполнены ими животными... Татары никогда не убивают ни собак, ни кошек...» (Аноним, 1824. Там же).

### б) Садоводство

Очевидно, на этой теме придётся остановиться поподробнее не только из-за её вечной актуальности для Крыма, но и ещё по одной, не совсем обычной причине. Дело в том, что и доньше не прекращаются активные попытки всячески принизить способности традиционного крымскотатарского общества к самостоятельному творчеству, мирному хозяйствованию, выработке соответствующих эстетических норм и так далее. В частности, в литературе и прессе встречаются эстетических норм и так далее. В частности, в литературе и прессе встречаются эстетических норм и так далее. В частности, в литературе и прессе встречаются эстетических норм и так далее. В частности, в литературе и прессе встречаются эстетических норм и так далее.

русским, которые осчастливили его завозом и культивацией на диких просторах сотен новых, прекрасных деревьев, кустарников и виноградных лоз.

Избегая голословности, приведём несколько примеров такого рода всего из двух небольших статей. Оказывается, до аннексии «большая часть деревьев и кустарников, воспринимаемая сейчас как неотделимая часть ландшафта, отсутствовала (кипарисы, тополи, акации, магнолии, пальмы и десятки других растений-репродукторов)» (Веникеев, 1994, С. 15–16). Оставим без внимания таинственные «растения-репродукторы», но каким образом Крым превратился в некий полигон, куда человек за несколько десятилетий успел завезти «большую часть» его флоры? В Крыму представителей флоры, в основном, дикой — десятки и сотни видов<sup>1</sup>. И если большую часть их в Крым завезли русские, то непонятно, кто эту грандиозную, совершенно уникальную в истории природных регионов кампанию оплатил? И, кстати, где её следы в исторических источниках? К сожалению, К. Веникеев не приводит абсолютно никаких данных (даже непроверенных) по проведению такого опыта, а ведь он был бы полезен в озеленении других пустынь и бесплодных пустошей...

Кроме того, Крыму были якобы неведомы культурные инжир, миндаль и даже обычный тополь. Была «абсолютно неизвестна шелковица» (непонятно, чем же кормили местного шелкопряда, дававшего в старину сырьё для целой отрасли крымского ремесла?), виноград был ужасен на вкус, и так далее, уверяет тот же автор (Там же). В Алулке первые два кипариса посадил не кто иной, как Г. Потёмкин, эти-то два дерева — «праотцы всех растущих теперь в Крыму кипарисов», говорит другой, более от нас отдалённый временем писатель (Всеволожский, 1839). Последний раз фантастическое утверждение о полной неосведомленности крымских татар в культурном садоводстве повторил один из авторов солидного исторического журнала (Отечественная история, 2000, № 3, С. 185), слепо уверовавший в научную добросовестность более раннего исследователя (Подр. см. ниже).

Истоки этой дурной традиции в российской историографии Крыма неясны, как, собственно, истоки почти любой лжи. Возможно они — в откровенно бездарных и, что хуже, насквозь фальшивых виршах некогда печатавшегося, но не без причины быстро и прочно забытого поэта эпохи аннексии Крыма:

«Тогда была во дни их (то есть крымских татар. — В.В.) буйства  
Тогда ни виноград, ни смква (инжир. — В.В.),  
Ни персики, ни абрикосы  
Природных вкусов не имели»

(Бобров, 1798. С. 136–137)

Возможно, прочтя именно эти строки, другой, действительно крупный русский поэт, не удержался от ехидного замечания:

«Я вижу тень Боброва!  
Она передо мной,

<sup>1</sup> По некоторым подсчётам, сделанным в последней четверти XIX в., крымская флора насчитывает 1573 вида; из них 1/5 часть встречается не только здесь, но и в средиземноморском ареале, а 1/9 — в остальной Европе (Талиев, 1900, С. 37). С тех пор на полуострове открыто ещё немало видов растений, ранее неизвестных ботаникам.

Нагая, без покрова,  
С заразой и чумой  
Сугубым вздором дышит...»

(Батюшков К.Н. Сочинения. Т. 2. М., 1989, С. 132)

Попытаемся, по ходу нашего анализа «растительного» сюжета, разобраться с этой грустной картиной полупустынного Крыма и его совершенно безвкусных плодов.

Для Крыма фруктовые сады — вообще особая тема. Неслучайно из всего ландшафтного многообразия полуострова наибольшей привлекательностью для путешественника обладали именно парки и фруктовые сады, что и отмечалось задолго до появления в Крыму русских: «Кипарисы, яблони, груши, слива, айва и ореховые деревья растут везде в изобилии» (Тунманн, 1936, С. 19). «Очень много кипарисов и айвы» (Willis, 1787, P. 10). «Их дома окружены садами, к ним ведут кипарисные (курсив мой. — В.В.) аллеи» (Büsching, 1785, S. 323). О том же писали ещё более ранние исследователи природы Крыма, обнаружившие здесь и в начале XVII в. прекрасные сорта груш, яблок, слив, вишни и ореха (Luce, Beauple, Lamberty, 1634, P. 3).

«Особенно славилась они своим умением разводить сады... Некоторые города [в XVIII в.] буквально утопали в зелени садов» (Гольденберг, 1883, С. 68). Слава, в общем-то, заслуженная. В садовом деле Крыма в XVIII в. и раньше были весьма развиты и селекция, и гибридизация и аккультурация постоянно завозимых из-за рубежа экзотичных сортов и видов растений. О том, что садоводство являлось товарным в Средние века, уже говорилось; но и к моменту аннексии оно не утратило: «Ещё до присоединения Тавриды к Российской империи садоводство находилось там в весьма значительной степени, и Крымские синапские яблоки вместе с виноградом уже и тогда развозились по соседственным провинциям» (Стивен, 1839, С. 46). Важно лишь отметить, что это передовое для своего времени садоводство не считалось монополией учёных или же нанимавшей их национальной элиты, оно было неотъемлемой частью крымскотатарской народной культуры.

То же самое можно сказать и насчёт облагораживания местных культурных и диких сортов плодовых деревьев: «У татар дело прививки считается великой заслугой перед Богом, и раньше они очень часто делали пришепы на дикие деревья в лесах» (Чеглок, 1910, Т. II, С. 22). «Несмотря на то, что в крымскотатарских садах вы не отыщете признаков ни регулярности [западных садов], ни [европейской] школы, тем не менее сады пользуются здесь внимательным уходом, хорошим поливом, перекапыванием и удобрением, деревья подрезаются и облагораживаются прививкой» (Engelhardt, Parrot, 1815, S. 45–46). Садоводство было поистине народной наукой, ведь даже при невозможности завести необходимую для проращивания саженцев, профессионально оборудованную теплицу, крымский татарин не бросал этого увлекательного дела, а использовал с той же целью собственный дом: «Небольшую оранжерею здесь замешает во время холодов татарская изба» (Паллас, 1793, С. 155). Чего же удавалось в результате достичь к концу ханского и началу царского периодов?

«Нет ничего прекраснее Алуштинской долины; сплошь тянутся плодовые сады. У подножия большинства деревьев вьётся виноградная лоза, ветви и плоды

которой переплетаются с ветвями деревьев. Нежащая глаз зелень ковром покрывает землю, повсюду орошаемую при посредстве каналов, которые доставляют воду на возвышенные места с верховьев речки. Плодовые деревья старые и невольно приходит на мысль, что [всё это — ] остатки древней земледельческой культуры... И сейчас ещё, несмотря на то, что эти плодородные земли заброшены... ещё великолепны эти старые насаждения... эти прекрасные зелёные газоны, орошаемые каналами, искусно проведёнными от высоко лежащих источников всюду, где только можно пожелать их присутствия» (Ромм, 1941. С. 59, 61)<sup>1</sup>.

«Старые татарские сады, которых так много при этой деревне (Элиз-оба, в наст. время не существует. — В.В.), заселённой ныне русскими, очень хороши, — как здесь, так и далее по Каче. Они удивительно плодородны и засажены хорошими сортами дерев. Особенно хорош известный сорт яблоков, называемый „синап“. За ними обыкновенно приезжают сюда извошки и увозят их отсюда в Москву и Петербург» (Паллас, 1793. С. 84). Шума, находившаяся в довольно глухом месте (дорога Акмесджит — Алушта представляла ранее собою просто тропу), тем не менее «утопала в виноградниках и деревьях всех видов» (Besse, 1838. P. 225).

В окрестностях Карасубазара другой путешественник увидел в 1787 г. «... множество мелких сёл, живописно разбросанных в [дикорастущей] зелени и огромном количестве фруктовых садов, в которых деревья беззаботно теснят друг друга» (Baert, 1797. S. 19). Вокруг Дерекоя, по свидетельству Палласа, росли старые каштановые деревья, которые почти каждый год приносили плоды. «Теперь, — отмечает он, — кроме [самого] Дерекоя здесь не видно почти ни одного каштанового дерева» (Паллас, 1793. С. 165). Понятно, что имеется в виду не конский каштан, а съедобная, культурная разновидность этого дерева, после аннексии действительно пропавшая практически со всей территории полуострова и в прежнем объёме не восстановленная и донныне.

У нас есть свидетельство и о садах степной зоны, существовавших благодаря искусственному орошению: «Около Козлова (то есть Гёзлёва. — В.В.) и в Тарханском куте [имеются] сады, в коих плодоносные и другие разные деревья без всякого почти присмотра произрастают...» (Габлиц, 1785. С. 4). А через десяток-другой лет российской оккупации очередной внимательный гость Крыма отметит: «Гранатовые, масляные, фиговые и лавровые деревья, которые прежде были садовые, ныне одичали...» (Герман, 1808. С. 157). О том, что это были именно татарские, причём очень старые сады, говорит возраст плодовых деревьев. Когда некий маркиз де Кастиельно посетил Крым в 1820-х гг., то обнаружил в одном из садов Алушки маслиновое дерево, окружность ствола которого у корня равнялась 10 метрам. Там же он нашёл виноградную лозу, которая была более похожа на дерево, так как толщина её превышала полметра (Караулов, 1874. С. 39). Понятно, что эти растения могли достичь столь почтенного возраста благодаря

<sup>1</sup> Приехавший в ту же долину через два с небольшим десятка лет после аннексии Крыма российский автор с грустью отметил, что там «нет уже фиговых, масляных и сим подобных нежных деревьев» (Броневский, 1822). Другой заметил множество одичалых маслин в Мангупе, Мишатке, долине Симеиза и Кара-Тепе, между Алушкой и Яллой (Караулов, 1874. С. 9–12) — это к выше упоминавшимся заслугам «прогрессивного» российского садоводства в Крыму.

не только природе, но и грамотному уходу за ними, без которого присоединенный к России Крым, его сады и парки, стали совсем иными...

Всё это — общие впечатления. Попытаемся теперь хотя бы вкратце перечислить виды и сорта различных плодов, выведенных в Крыму до его захвата.

*Черешня* была красная и более крупная жёлтая, оба сорта поспевали уже в мае-июне. Жёлтая была отмечена уже в XVII веке, она была «столь сочная, что сочнее и вкуснее даже черешни из города Банья-Лука в стране Боснии... Если человек съест некоторое количество этой черешни, его пищеварение улучшится, а тело его окрепнет. Такая это сочная белая черешня с особыми качествами, которую называют также *гюльнари*» (Челеби, 1999. С. 79). К концу ханского периода в Крыму произрастало уже три сорта: крупная жёлтая и полупрозрачная Таргана-кирес, чёрная крупная Кара-кирес, имевшая форму сердца, удивительно сочная (русские называли её позднее Шпанской вишней), а также упомянутая выше и ставшая крайне редкой белая Ак-кирес (Pallas, 1801. S. 443).

*Вишня*, судя по записи иностранного путешественника конца XVIII в., культивировалась не только обычная, но и искусственно выведенных карликовых сортов. Эти деревья были более плодоносны и удобны при сборе урожая: от Мангупа вплоть до бахчисарайских предместий «...я видел множество очень малорослых вишневых деревьев, покрытых цветами; плоды этих деревьев, говорят, очень вкусны» (Караман, 1854. С. 1453). Из других крымских сортов сохранилось одно имя — Ал-кирес (обычная поздняя, часто встречалась и в лесах, близ руин старых деревень). Были распространены и два неместных, судя по их названиям, сорта: Бендер и Аналолу (Анатолийская).

*Слива* имела четыре основных сорта: 1) Желтая круглая, величиной с грецкий орех *Сар-эрик* (Бахчисарай, Судак). 2) Жёлтая, продолговатая, более крупная, похожая на Ренклод (Бахчисарай, Зуя). 3) *Изюм-эрик*, тёмно-красная или чёрная, некрупная, заострённая с обоих концов, из которой давили сок или делали чернослив. 4) Чёрно-фиолетовая, величиной с куриное яйцо *Джан-эрик* (Бахчисарай, долина р. Тиберти).

Менее распространенной была розовая Ал-эрик. Удивительно урожайными были Орах-эрик, Печен-эрик и совершенно чёрная Куз-эрик. В целом крымская слива производила на путешественников впечатление своей величиной: «она здесь вдвое крупнее обычных сортов», записал английский гость Крыма (King, 1788. P. 229. См. также: Герман, 1808. С. 157; Железнов, 1871. С. 18).

*Груши* были пяти основных сортов: 1) Жёлто-зелёные, круглые, весьма сочные, созревали в июле (горный Крым). 2) Жёлтые, «отменного вкуса», (Кача, Тиберти). 3) Жёлтые, «величиной и вкусом всех превосходившие», созревали в августе (Индол, Кача). 4) Жёлто-зелёная в красную крапинку, «в самую глубокую осень поспевают», лежит до весны (Алупка). 5) Круглая, плоская, напоминающая яблоко сорта Бергамот (Карасубазар). Из этих и других сортов назовём по именам Султане, Куту-армуд, Терез, Шише, Акъ-армуд, Сияр, Боздаргал, Сазы-Боздаргал, Муллахти-армуд, Кёк-сулюн, Альбузан (поздние), Миск-армуд (ранние, поспевают уже в июне), Ашрапай, Кирес-армуд, Балл-армуд, Бей-армуд, Хыйар-армуд (то есть «огуречная») и т. д. (Pallas, 1801. S. 441).

*Яблонь* имелось несколько сортов с различным временем поспевания, от июля до сентября. Самый поздний сорт культивировался у Судака: плод был

плоский, тёмнокрасного цвета, отмечали, что он «приятной квасной вкус имеет» (Габлиц, 1785, С. 71). «Таких яблок, как здесь, нет больше нигде в заселённой четверти [Крыма]. Эти судакские яблоки известнее даже, чем яблоки садов Малаты под названием назлы и яблоки сада Костандиль в Румском эйялете. Они благоухают как мускус и амбра. Даже некоторые поэты и сочинители написали в книге ... о судакских яблоках: „Радость, радость, радость, как яблоко. С Богом — воздержание от греха“. Эти судакские яблоки столь же приятны и вкусны, как яблоки садов города Коджа-эли Измирского санджака (Малая Азия. — В.В.). Они жёлтого цвета, каждое весит чуть ли не *окка* (то есть 1,3 кг. — В.В.), а косточки из них вытаскиваются. У тех, кто их попробует, обоняние наслаждается, и очень сильно» (Челеби, 1999, С. 79).

Сохранились известия и о таких сортах, как Султан-синап, Кандиль-синап, Кара-синап, Челеби, Сары-челеби, Памук-алша, Гуль-пембе и др. Крымскотатарские селекционеры добивались не только прекрасных вкусовых качеств яблоневых сортов, но и невероятной урожайности их: одно 30-летнее дерево сорта Синап могло нести 2000 плодов; естественно, при этом вокруг ствола высились целый лес тонких подпорок-чаталов (Grimm, 1855, S. 79–80). Старые татарские сорта высоко ценились и в более позднем садоводстве: упомянутые сорта Челеби и Гуль-пембе совершенно не поражались долгоносиком, самым страшным вредителем яблоневых садов (Симиренко, 1898, С. 8).

*Шелковица*. Уже тогда был выведен сорт, который, как и ныне, почему-то называли в Крыму «стамбулкой» или «Стамбул-дуд» (под этим именем он был известен и в науке того времени — *Morus Constantinopolitana*). Он сразу был выделен из других сортов («чёрная, величиной с чернослив ягода... с отменно большим листом» — Габлиц, 1785, С. 71) посещавшими Крым учёными, указывавшими, что этот сорт был широко распространён до аннексии, да и выведен здесь, а не за морем.

Крымские татары потребляли шелковичных ягод «как свежих, так и сушёных весьма много... делая и сироп, который при лечении разных болезней с пользой употребляется» (Там же). Были более мелкие сорта с плодами красными и белыми, их листья также использовали — в местном шелководстве. Огромное количество старых деревьев погибло в первые десятилетия после аннексии; тому виной была красивая, лимонного цвета древесина шелковицы, из которой русские чиновники и офицеры заказывали мебель (Герман, 1808, С. 160).

Трудно удержаться и не привести описание этих старых, ещё ханского периода деревьев, увиденных в Дерекое немецким путешественником начала XIX в.: «У каждого дома здесь по несколько инжирных, шелковичных и ореховых деревьев. Их огромные стволы и ветви имеют перед нашими фруктовыми деревьями то преимущество, что они несравненно более живописны... Когда мы вошли во двор Исмаила, то он протянул нам тарелку с шелковичными ягодами, которые были не только очень вкусны, но и отличались невероятным размером. Как счастливы были бы ребяташки Германии, если бы их детство протекало в тени этих величественных деревьев с сочными ягодами!» (Kohl, 1841, S. 195).

*Греческий орех* рос повсюду, но самые крупные плоды его собирали в районе Старого Крыма. Известно, что это дерево славится не только своим долголетием, но и длительным периодом плодоношения. Поэтому нередко древние орехи

передавались по наследству на протяжении многих поколений. При этом они могли находиться не в саду хозяина, а в разных местах деревни или прилегающей местности.

Ореховые стволы достигали невероятных размеров. В одной из деревень вблизи Алупки в XIX в. плодоносило дерево, окружность ствола которого достигала 80 футов или более 26 метров (*Завадский-Краснопольский*, 1874, С. 23). Всего одно такое могучее дерево вполне могло прокормить скромную крымскотатарскую семью: путешественникам часто показывали экземпляры, урожай с каждого из которых достигал 80 000–100 000 крупных плодов (Craven, 1855, P. 5). Один из таких орехов, росший у мраморной чешме в центре Партезита, принося годовой доход в «500 талеров» (500 руб. ассигнациями), кормил сразу три семьи, отчего о нём прослышали даже иностранные путешественники (*Мормон*, 1840, С. 216; *Goebel*, 1837, S. 265). Но и его превосходил знаменитый тысячелетний орех в Байдарской долине, дававший в год гораздо более 100 000 плодов и кормивший пять семей, мирно деливших эту благодать между собой (*Grimm*, 1855, S. 84).

Вопреки общепринятому мнению, родиной греческого ореха является отнюдь не Греция. Классик истории европейского садоводства указывает, что на юг Балканского полуострова эта ценная культура была завезена из стран, расположенных на берегах Чёрного моря (*Золотницкий*, 1911, С. 293). Так что не исключено, что этот вид ореха был выведен на самой цветущей среди причерноморских территорий, то есть на Крымском полуострове.

*Фундук* был представлен в Крыму тремя сортами. Обычный садовый или лесной имел небольшие плоды. Но имелись и два особо ценных сорта: Бадем-фундук с высокими, пышными кустами и удлинёнными, тонкокорыми плодами, и Требизонд-фундук, плоды которого были короче, ближе к шаровидной форме, и самые крупные по размеру. Его красивые кусты встречались только в крымских садах (*Pallas*, 1801, S. 446). Следует заметить, что лесной фундук с круглыми или продолговатыми плодами был не менее вкусен, чем садовые сорта. Последние часто собирали на продажу, в том числе и за пределами Крыма, так как у продолговатого фундука скорлупа тоньше, почти как у садового Бадем-фундука, за что его особенно ценили (*Железнов*, 1871, С. 19).

*Виноград* насчитывал к моменту аннексии более 20 только общеизвестных сортов. В своё время они были подробно описаны академиком П.С. Палласом<sup>1</sup>, посетившим Крым через 10 лет после аннексии и заставшим все старинные сорта винограда. Назову основные из них, руководствуясь этим сочинением и оставляя местные наименования в той форме, в какой их записал на слух автор.

Из белых сортов названы следующие. *Шыра-изюм*, имевший овальные полупрозрачные ягоды, из которого изготовляли сухое вино, а также *Какура-изюм* с овальными тонкокожими ягодами средней величины, желто-зелёного цвета, очень сладкими, с матовым жемчужным блеском. Этот сорт считался в Судак

<sup>1</sup> Исследование крупного учёного-естествоиспытателя П.С. Палласа, составленное в форме записок путешественника, было издано в 1801 г. в Германии. Затем оно было переведено на русский и опубликовано в Одессе в начале 1880-х гг. (*Паллас*, 1793). Однако публикатор Г. Караулов счёл нужным опустить в этом переводе практически всё, что учёный написал о винограде и других сельскохозяйственных культурах ханского периода истории Крыма. О причинах этого пропуска можно только догадываться.



и Козах наилучшим для вина, им была занята здесь половина всей площади местных виноградников. *Сурма-изюм* являлся разновидностью предыдущего сорта, его выращивали гораздо меньше и использовали как столовый. Более сладким был другой столовый сорт, *Канние*. Ягоды *Тергюльмека* отличались желтовато-коричневым цветом. Некрупные по размеру, они славилась своей нежной кожицей и сладким соком. Собирали их сразу по созреванию, так как они быстро опадали. Это был чисто винный сорт. *Мускат* напомнил П.С. Палласу лучшие сорта его родины — немецкого Рислинга. У него были некрупные, круглые, довольно твёрдые ягоды, а сок настолько сладок, что есть их было «почти неприятно, это был какой-то липкий мёд» (*Pallas*, 1801. S. 412). Поспевал Мускат в августе, но мог оставаться на лозах до первых заморозков. Менее сладким был *Кондаваста*, сок его ягод был несколько водянистым, это — типичный столовый сорт. В Козах особенно распространён был *Пандасс*, желто-зелёные круглые и весьма крупные ягоды которого обладали из-за толстой кожицы несколько горьковатым, даже вяжущим привкусом.

Из ранних белых сортов был известен *Кабак-изюм*, ягоды его плотных, тяжёлых гроздей были тонкокожими, из них было легко давить сусло для вина. Зеленоватые ягоды *Кёк-узун* имели овальную форму, были сладкими и толстокожими, отчего кисти его отлично выдерживали транспортировку. Довольно толстокожий *Шабаш* был не слишком хорош в виноделии, тем не менее, благодаря другим своим качествам, он имел весьма широкое распространение (его лозы имелись почти в каждом дворе). Крупные овальные ягоды этого сорта были весьма нарядны, но имели прочную кожицу и были очень мясисты, так что сока при давлении давали меньше других. Поэтому из него варили бекмес или везли на базар. Некоторые же владельцы оставляли кисти *Шабаша* на лозах до первых морозов или же снимали в октябре и держали под крышей в подвешенном состоянии. Он выдерживал такое хранение до февраля, отчего только слаще становился. Делали из него и чудесный изюм. *Шадым-бармак*, который по-русски впоследствии стали называть Белой Асмой, имел крупные, сильно удлинённые, зеленоватые или почти пепельные ягоды, обладавшие «красивой посадкой в кистях» (*Pallas*, 1801. S. 416). Его можно было употреблять в пищу уже в августе, но позже он становился золотистым, сохраняя твёрдость, а кисло-сладкий вкус сменялся медовым.

Более редким сортом считался *Арсахи* или *Стамбул-изюм*, который имел крупные (около 4 см длиной, а толщиной с мужской палец) и вкусные, сочные, хоть и не слишком сладкие ягоды цилиндрической формы с мясистой мякотью. Из-за склонности к опаданию его кисти приходилось убирать по мере созревания. *Балабан-шабаш* привлекал внимание прежде всего размерами своих лоз: на виноградниках Судака и Коз они достигали толщины бедра взрослого человека. П.С. Паллас отнёс его к, возможно, самому крупному из культурных сортов винограда в мире (*Pallas*, 1801. S. 417). Грозди его были небольшими, ягод по 20 в каждой, но имели редкую красную мякоть, а их плотно сидящие жёлто-коричневые ягоды, покрытые белым налётом, были размером с садовый фундук. Своей твёрдой, сладкой мякотью он напоминал *Шабаш*, но отличался скороспелостью.

Выбор чёрных и красных сортов винограда был в районе Судака невелик, как и общее количество лоз. Из них П.С. Паллас называет *Татлы-кара-изюм*

с его чёрными, овальной формы ягодами, обладающими нежной кожицей и легко осыпающимися. Своим приятным вкусом они напоминали бургундские сорта. *Кара-изюм* отличался крупной, плотной кистью. Из-за малой сахаристости на вино не годился, но использовался в качестве столового винограда или в варке бекмеса. Его мякоть, в отличие от кожицы, была светлого цвета. Распространённые в Козах *Кефе-изюм* и *Стамбул-Шах-изюм* привлекали своими тяжёлыми кистями и крупными ягодами. Ранним сортом считался *Куч-меме*, поспевавший в августе. Его чёрные ягоды своим размером и формой были похожи на Дамские Пальчики, но имели красную мякоть и тонкую кожицу. Огромные кисти *Танаюса* (от 1,5 до 4,5 кг) могли храниться долго, до Нового года, но из них и вино давили. Из-за своих крупных, тонкокожих ягод, весьма полезных для кроветворения, он потреблялся и в свежем виде. *Кирмиси-Миск-изюм* или *Альбура* имел довольно крупные, красивые кисти, причём его круглые ягоды висели на необычно длинных черешках. В каждой ягоде было всего 1–2 зёрнышка, а мякоть обладала привлекательным вкусом и мускатным ароматом. Кисти совершенно не осыпались, могли оставаться на лозе до зимы. *Фодша* или *Бакша*, часто встречавшийся в Качинской долине, становился сладким уже в августе, когда его зеленоватый цвет менялся на нежно-розовый. По созреванию ягоды становились полупрозрачными и ещё более сладкими.

Отличался от других и сорт винограда *Асма*, который имел удивительно сильный, длинный ствол; посаженная у высоких деревьев, его лоза довольно быстро добиралась до вершин. Её кисти, самые крупные из всех чёрных сортов винограда, весили много фунтов, а коричнево-чёрные с сизым налётом ягоды по размеру были равны суставу большого пальца. Очень красивое растение, но для виноделия его кисти совершенно не подходили, так как при всей своей сочности ягоды были слишком водянисты — уже готовое вино быстро скисало. Но они годились для бекмеса, а благодаря толстой кожице — и для вывоза, в основном на Украину, куда этот сорт поставлялся в большом количестве. У *Мусулы* были твёрдые, удлинённые красно-коричневые ягоды, собранные в столь же красивые, как у *Асмы*, плотные, лёгкие кисти, хорошо переносившие дорогу. Его ягоды были относительно некрупными, но тонкокожими и весьма вкусными, в их мясистой мякоти было 1–2 зёрнышка. А слегка подвяленные, они приобретали тонкий винный аромат.

Как пишет П.С. Паллас, в других частях Южного берега Крыма он видел немало других сортов, которые не имел возможности исследовать. Поэтому учёный называет их лишь по имени. Это: красноягодный *Галкич*, чёрный, с удлинённой кистью *Тылки-Карасы*, также чёрные *Уста-Мемет-Карасы*, *Ирин-Шава-Карасы*, *Тувик*, *Маравири*, *Курт-Куйрюк*, *Зейтун-изюм* и *Измир-изюм*. Встречались ему там и белые сорта, неизвестные в Судакской долине и окрестностях: *Кумино*, *Кетчи-Мемеси-Ташлы*, *Каири*, похожая на белый мускат *Кумла* с её сильным ароматом, *Бейяс-Танагос*, *Сачма-Данеси* и другие.

Из записей П.С. Палласа следует, что он ограничил свои изыскания лишь Судакской долиной, как самой знаменитой винами областью полуострова. К сожалению, авторы фундаментальных трудов по крымской ампелографии совершенно не интересовались старыми крымскотатарскими сортами. Отчасти столь явный пробел в наших знаниях заполняют более общие работы, где иногда

затрагивается и эта тема (Железнов, 1871. С. 27; Коржинский, 1910. С. 140–142; Куртбейлова, 2006. С. 7).

В них можно обнаружить упоминания о белых столовых сортах (*Камбур пармак*, *Казбин*, *Сары-сан*, *Розаха*, *Зерва*, *Зант эпюлетный*, *Зант жёлтый*, *Кандава-ста*, *Шира-азюм*, *Тер-гульмек*, *Какурдес*, *Адждамет Ибраим*), о белых винных (*Шах-азюм*, *Ташлы*, *Кокур белый*, *Чауш обыкновенный*, *Чауш жёлтый*, *Чауш круглый*, *Чауш зимний*, *Кадым-бармак*, *Корнишон*, *Ширадзули белый*, *Аскалон*), о красных (*Джеват-кара*, *Капитан-кара*, *Эчке-мемеси*, *Мавро-кара*, *Танага*), чёрных (*Кефесия*, *Кара бурун*, *Сале-аганын-карасы*, знаменитый *Эким Кара* или *Чёрный Доктор*, ныне почти исчезнувший) и других. К сожалению, эти авторы работали в более позднее, чем Паллас, время, и не исключено, что среди названных ими сортов могут встретиться и завезённые переселенцами, то есть недавнего иностранного происхождения, но получившие новое, крымское имя.

*Персики*, самые крупные и сочные, росли на побережье севернее Ялты и в Судакской долине. К сожалению, названия их старых сортов до нас не дошли, поскольку лет через двадцать после Первой эмиграции большая часть деревьев одичала без ухода: «лучшие [персики] попадают около Гурзуфа и Судака, растут в лесах без призора (очевидно, имеются в виду чайры. — В.В.), отчего очень мелки, но вкусом сходятся с садовыми. (Броневский, 1822. С. 160–161). Впрочем, единственное название успел записать П.С. Паллас: это *Шефтала* белой и жёлтой разновидностей (1801. С. 443).

*Абрикосы* повсюду считались массовой культурой, но больше всего их было в Старом Крыму и Судак. Цветом их плоды были «совсем почти жёлтые и вкусом весьма приятны» (Габлиц, 1785. С. 68). Они были столь широко распространены из-за своей неприхотливости и высокой плодородности. Многие деревья брошенных деревень продолжали плодоносить и долгое время после Великих исходов, но из старых, благородных сортов к концу XVIII в. сохранился лишь один — *Сердали* (Pallas, 1801. С. 443).

*Миндаль*, вопреки вышеприведённому утверждению К. Веникеева, был известен в Крыму с VI в., когда его завезли сюда греки (Чернобай, 2001. Т. I. С. 267). Позднее в результате селекции этой культуры появилось несколько её разновидностей. Наиболее распространён был тонкокорый миндаль, чьи орехи были «хотя и не велики, но покрыты столь тонкою кожурой, что их пальцами ломать можно, а ядро весьма сладкое» (Коржинский, 1910. С. 141–142). С побережья культура распространилась и в горную часть полуострова, она была известна уже феодалам. Стоит отметить, что одичавшие миндальные деревья до сих пор растут на местах старых, исчезнувших после великих исходов, татарских деревень на южных склонах Главной гряды и в глубине гор (Чернобай, 2001. Т. I. С. 267–268).

*Инжир* белый и чёрный произрастал и в предгорьях, но главным ареалом его культивации были долины и склоны всего южного побережья от Балаклавы до Ялты. Не столь крупноплодные и вкусные разновидности инжира выращивали, кроме того, в Алуште, Ускуте, Судак, Ахтиаре. О давности этой культуры в Крыму свидетельствовали огромные деревья близ Ореанды; высота некоторых из них в начале XIX в. достигала 12 саженей или 25 с лишним метров (Монтандон, 1997. С. 43).

*Айва* лучшего качества росла между Балаклавой и Алуштой. Но множество одичавших деревьев, дававших не столь крупные плоды, и ныне встречается по-

всюду в горах Южного берега и Предгорья, на местах деревень, чьё население покинуло Крым в ходе аннексии и позднее. До сих пор айва плодоносит и в более суровых климатических регионах полуострова, например, в Евпатории с её ледяными зимними ветрами. Видимо, в Крыму занимались её селекцией, так как здесь имелось три сорта, заметно отличавшихся друг от друга (Pallas, 1801. С. 442).

*Садовая рябина* давала ягоды круглые и грушевидные, величиной с лесное яблоко. Наблюдатель отмечал, что «она та ж, которую во Франции и других южных краях Европы в садах держат» (Габлиц, 1785. С. 76).

*Кизил* садовый был двух сортов — Стамбульский и Бахчисарайский. Его выращивали повсюду, кроме степных районов. Много было дикого, более мелкого и не такого «мясистого»; его и сейчас в районе между Узун-Дере (Большим Каныном), Коккозами и Мангупом целые заросли, есть он и в других местах горного Крыма. Крымские татары потребляли его свежим, сушили, варили и даже солили (в последнем случае используя в качестве приправы к мясным блюдам).

*Гранаты* были некрупными, но хорошо вызревали до октября. Выращивались в садах от Балаклавы до Алушты, повсюду встречались и старые, давно одичавшие деревья (Pallas, 1801. С. 444).

*Маслины*. Сам факт их культивации — лучшее свидетельство трудолюбия мудрого народа, ведь это дерево начинает плодоносить только лет через 25–30, то есть, чаще всего, лишь для детей посадившего... Многие тысячи стволов маслины встречались вдоль всего Южного берега, но больше всего росло их между Балаклавой и Ламбатом. Плоды крымской маслины были не очень крупными, но чрезвычайно обильными. Масло из них почти нигде не давили, предпочитая солить в деревянной или керамической таре. Впрочем, и масло здесь получалось великолепным, особенно «самотёчное», то есть получаемое до первого отжима.

Культура маслины, очевидно, насчитывала в Крыму не сотни, а тысячи лет, о чём говорят размеры отдельных экземпляров. В окрестностях Алушки российский путешественник второй половины XIX в. измерил окружность ствола одного из уцелевших с ханских времён деревьев этого вида: она достигала 11 футов или почти 4 метров (Завадский-Краснопольский, 1874. С. 23). Поэтому не выдерживает никакой критики утверждение современного автора, о том, что «лавр, оливковое, гранатовое и другие деревья» были завезены в Крым в XIX в. из французского Прованса и акклиматизированы здесь заботами дюка Ришельё (Амфитеатрова, 2001. Т. I. С. 15).

*Мушмула* являлась распространённой, обычной садовой культурой, но встречалась и в лесах. Крымцы прививали её на айву, после чего плоды становились крупнее (Pallas, 1801. С. 444).

*Кара-курма* (Каркас; Каменное дерево) из семейства ильмовых имела двух видов. Это дерево с ценной древесиной высаживалось вдоль изгородей, а плоды его также использовались в пищу (Pallas, 1801. С. 444).

А теперь вернёмся к выводам современного учёного, автора ведущего исторического журнала России, *Отечественной истории*, известного исследователя, упомянутого в начале этого параграфа. Кризис наступивший в сельском хозяйстве на фоне общего упадка Крыма после аннексии Россией, он объясняет депортацией крымских христиан, как мы помним, имевшей место накануне катастрофы:

«Интересно, кому нужны были сады и виноградники, которые некому обрабатывать (татары садоводством не занимались)?» (Дейников, 2000. С. 185). Здесь мы сталкиваемся именно с той ситуацией, когда комментарии излишни.

### в) Водоснабжение, мелиорация

Наиболее совершенные и сложные системы водоснабжения населения использовались даже не в садах и не на полях, а в крупнейших городах Крыма, но о них чуть ниже. Самой необходимой была вода в сухих степях, и крымские татары с этой проблемой справлялись как до, так и после аннексии. Имеется в виду великолепное по простоте и безотказности устройство для подъёма воды с большой глубины и в немалых количествах. Оно представляло собой горизонтальное колесо-ворот, диаметром в 3–4 м, ось которого крепилась между двух мощных каменных столбов, выстроенных в форме призм, вершины которых соединялись толстой дубовой балкой с подшипником посередине. Второй такой же подшипник крепился на земле, в каменной обойме. Между ними находилась вертикальная ось, на которой, собственно, и держался барабан с навитыми на него верёвками с ёмкостями для воды. Барабан вращали лошади, при этом деревянные баблы, вмещавшие до 70 литров, опускались на глубину многих десятков метров.

Так, старинный колодец села Сарыбаш близ Гёзлёва имел глубину 60 сажень или почти 130 м (Дамбровский, 1862. С. 114). Вода выливалась из таких бадей в каменный или деревянный клёпочный резервуар, ёмкостью в десятки кубометров, откуда по мере надобности (например, при подходе отары) воду пускали в деревянное же многометровое корыто, обычно ярко-зелёное от мха и пресноводных водорослей. Любопытно, что даже в Ор-Капу, расположенном на узком перешейке между Каркинитским заливом и ещё более солёным Сивашом, имелось несколько колодцев с пресной водой. Они были столь глубоки, что и через много лет после разорения крепости и посадки российскими солдатами эти колодцы зияли тёмными провалами: видимо, полностью засыпать их не удалось из-за необычной глубины этих гидротехнических сооружений (Шевелев, 1844. С. 602).

Понятно, что такие дорогостоящие колодцы являлись общинной собственностью. Но встречались и частные, дворовые колодцы. Они были не менее глубоки, и также обшивались дорогим привозным деревом. Отличие их от общинных было в более скромном сечении вертикального ствола, да вместо деревянных бадей использовались мешки ешитые из бараньей шкуры или плотной шерстяной ткани. Размер таких мешков-ведер был невелик: около 30 см высотой и 18–20 см шириной. В горловину вставлялись крестообразно две палочки, препятствующие сплыванию стенок мешка. Верёвочная дужка при этом крепилась к длинному шесту, который привязывался к верёвке или сыромятному ремешку (Шатилов, 1857. С. 34).

Второе интересное степное устройство — многочисленные *ауты*, то есть невысокие и довольно примитивные, но тем не менее весьма практичные плотины (часто временные) и неглубокие колодцы-накопители того же названия. И те, и другие устраивались в степных ложбинах накануне снеготаяния. Вода в них отставивалась и была годной для питья на протяжении значительного времени. Надо признать, впрочем, что она отличалась от колодезной воды весьма специфическим вкусом. Возможно, он происходил от степного разнотравья, скрывав-

шегося под водой, и пить её могли только степняки — народ вообще закалённый и ко всему привычный.

Наконец, в степи (в частности, феодосийской) устраивались искусственные пруды. Их обмуровывали местным камнем на специальном растворе (с добавлением цемьянки), отчего они становились водонепроницаемыми. Питались эти резервуары исключительно дождевой водой и весенними талыми водами. Некоторые из этих прудов сохранились до начала XX в. (Вадзинская, 1914. С. 9).

В Предгорье и на Южном берегу процветало искусство поливного земледелия. «Поскольку лето здесь по большей части очень сухое и речушки легко иссякают, татары проявляют огромную заботу о поливе земель, проявляя при этом поистине великое мастерство. Без помощи какого-либо нивелира их опытный глаз находит малейший склон, так что они нередко из единственного источника тянут обширную сеть канавок, покрывающих уголья целого села. Их постоянно видишь у этих сооружений, они поддерживают их в рабочем состоянии: то они перекрывают часть канавок, направляя воду через траву и камни, чтобы поднять уровень в иссякающих руслах водоводов, то сбрасывают излишки воды, образовавшейся после ливня, то прокладывают новые канавки, если старые слишком размыты» (Engelhardt, Parrot, 1815. S. 43–44). А вот как российский путешественник описывает село Дуванкой, находящееся на Предгорье (район Бахчисарая): «Селение прекрасное! Тополи, минареты, чистенькие татарские домики, сады, орошённые ручьями, искусственно приведёнными для поливания виноградников, — всё это даёт ему вид картинный, прелестный» (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 57).

Искусство мелиорации не только помогало в добывании хлеба засушливо, но и давало неограниченную свободу в выборе мест заселения, не привязывая их к источникам воды, которые могли находиться в неудобных местах, вдали от плодородных почв, среди каменных россыпей и т. д. «Татары, избирая себе места для жития обыкновенно или в долинах или по косогорам, и не взирая на то, есть ли тут вода или нет, от вершины рек или с высоты реки, положению их деревни равной, прокапывают по горе в сторону, сколько бы вёрст до их деревни ни было, каналец в аршин... шириной и оным отводят часть реки к своему жилищу, дому или мельнице, а от их отводят таким же образом другие, проводя такой же каналец для себя, так что река, которая была всегда велика и глубока, и истекала бы вся в море, ныне остаётся в земле и служит рассеянным по горам и косогорам татарским домам каждому напоением... и справедливо, в иных местах отведённый канал на одной версте течёт уже несколько сажень выше в параллеле с начальною речкою» (Зуев, 1783. С. 140–141).

Особое место в культурной традиции крымских татар занимают чешме и другие фонтанчики, устраиваемые в горной глуши, так же как и сама вода в мусульманской культуре играет роль, не совсем похожую на значение, которое придают этому важнейшему из минералов европейские христиане. Один из них не без удивления отметил: «Религиозное благоговение, с которым татары относятся к своим фонтанам, заставляет их не щадить никаких расходов, если дело касается чистой воды» (Clarke, 1810. P. 465). Поэтому оплатили устройство чешме и дальнейшее его поддержание в порядке издавна считалось добрым делом, но куда более богоугодным поступком было собственноручное его сооружение.

И вот нередко можно было встретить в горной глуши одинокого труженика, мирно обтёсывающего камень за камнем, подгоняющего их друг к другу, вырезающего на них подходящий к душевному настроению аят из Корана или скромный тарих с датой основания чешме. Часто это были люди богатые или старые, то есть располагающие свободным временем больше молодых бедняков. Они и дороги в одиночку прокладывали, причём эта традиция сохранилась и после аннексии. Так, уже в XIX в. некий одинокий старик несколько лет самостоятельно ремонтировал, подсыпал, улучшал дорогу между Карасубазаром и Феодосией, чем заслужил всеобщее уважение. «А татарин богатый, вполне мог бы отдыхать; а видите, как мучается!» — с удивлением говорили о нём проезжиме местные русские жители (Васюков, 1904. С. 13).

Проще, чем в степной зоне полуострова решались проблемы водоснабжения в центральной его части, где водные жилы были и обильней, и находились ближе к поверхности, как, к примеру, у подножья горы Агармыш: «Рекі в Старом Крыму нет никакою, и одни фонтаны довольствовались его своей водой. Уцелевшие поднесь сии фонтаны весьма искусно сделаны: вода ведена с гор подземными трубами, которые переходя из одного бассейна в другой, доходят наконец до своего извержения, отасляя некоторые протоки в огороды поселян» (Сумароков, 1800. С. 79).

Эвлия Челеби отмечал, что в Кефе насчитывалось 4060 колодцев: «В колодцах при домах, находящихся на поверхности заросшего плющом холма, вода пресная, а в колодцах, находящихся внизу, слегка солоноватая». Кроме того, в окрестностях города для сельскохозяйственных нужд устраивались по балкам запруды-*ауты*, но небольшие (Чугин, 1882. С. 183). Для питья, конечно, самой лучшей считалась вода 125 источников (в это число входило два десятка родников, оформленных в виде фонтанов). Как указывает современный автор, два из них сохранились до сих пор, вода в них поступала из искусственных, весьма сложных технически водосборных устройств в недрах горы Тене-Оба (Катюшин, 1998. С. 135). Вскользь о них уже говорилось выше, приведём описание городского подземного бассейна: «Главное волохранилище при всём разрушении (во время аннексии. — В.В.) свидетельствует о важности [всего] сооружения. Оно складено в земле из камня, тремя пространными коморами со сводами, на поверхности находилось [только] красивое здание... и проведённые от него фонтаны были в состоянии довольствовать весь город водою, даже при осаждении его от неприятеля». (Сумароков, 1803, Т. II. С. 91–92, 96).

Сложнее решалась эта проблема в городах и сёлах Керченского полуострова, где подпочвенные воды, особенно прибрежной полосы, сильно засолены. Здесь крымские татары «по избрании покатога места прокапывают по уклону до низменного положения борозды, окружают его насыпью, обложенной камнями, и от сего стекающая в бассейн дождевая вода чрез долгое время не портится, не зеленеет и без нужды служит ко всякому употреблению» (Там же).

Со временем эти сооружения только совершенствовались: «В Кефе некоторые фонтаны сохранились с глубокой древности, их великолепно украшают мраморные резервуары, покрытые барельефами и старинными надписями. Во всех мусульманских странах принято с благоговением относиться к охране и поддержанию в порядке общественных акведуков. Такого рода устройства есть на каждой улице Кефе, некоторые из них имеют бассейнчики для стирки, другие ис-

точают воду, чистую как хрусталь для утоления жажды горожан и для омовения перед входом в мечеть...» (Clarke, 1810. P. 445).

Такие резервуары были не нужны в Акмесджите, где мощный выход воды возле дворца калги (позже его назовут Петровским источником) был достаточен практически для всего города. Его суточный дебит превышал 5000 вёдер, а вместе с другими, близлежащими родниками выходило до 14 000 вёдер (Монастырь, 1890. С. 113). Эту воду развозили по всей территории города в арбах-бочках, запряжённых волами или верблюдами. Но имелись и подземные водоводы, доставлявшие влагу из источников южных пригородов.

На Южном берегу издревле существовала, постоянно использовалась, возобновлялась и ремонтировалась, совершенствовалась и развивалась система водоснабжения, крайне сложная и, на первый взгляд, хаотичная, но на деле в высшей степени продуманная, экономичная и эффективная: «Весьма искусно они пользовались обилием горных ручьёв: везде у них были фонтаны или бассейны, а речки были обращены на поливку садов и табачных плантаций» (Крым, 1930. С. 80). А вот другое наблюдение: «Отличные садоводы... с необыкновенным искусством и терпением сберегают воду и отводят её на свои плантации и сады. Как бы высоко ни была табачная плантация, на неё непременно татарин сумеет провести воду из ближайшего ручья и искусственно её орошает. На самой большой высоте он делает прудки и каменные водохранилища» (Андреевский, 1892. С. 23–24).

А в Бахчисарайской долине каналы «были искусно проведены вдоль по нагорной стороне так, что незнающие полагают, будто вода течёт вверх» (Паллас, 1793. С. 76). От магистральных каналов вода расходилась «через малые крытые водоводы, проложенные по одной стороне главных улиц», откуда она доставлялась в дома (Гендерсон, 2006. С. 197). Судя по описанию, это было нечто вроде арыков, но если в Средней Азии население удовлетворялось (и удовлетворяется до сих пор) их открытой формой, то в Бахчисарае благодаря перекрытиям вода сохраняла первозданную чистоту и естественную прохладу. Само собою, «в городе [было] изобилие фонтанов с превосходной водой» (Ромм, 1941. С. 69). В степи же, где родники крайне редки, приходилось копать артезианские колодцы, то есть пробиваться ниже первого слоя воды, иногда негодной для питья.

Так было в районе Гёзлёва: «в окружности Козлова иные колодцы до 50 сажен в глубину (около 115 м. — В.В.) простираются; отсюда её лошадыми вытаскивают, вода столь чиста и холодна, что самой лучшей ключевой или речной воде ничем не уступит» (Габлиц, 1785, 4–5). Такие колодцы встречались по всей необозримой крымской степи. Этот способ добывания воды в сухой степи был не только поразителен сам по себе (откуда он пришёл, не из Великой Степи ли?), но и органичен, он стал неотъемлемой частью культуры тюркского населения степного Крыма<sup>1</sup>. Глубокие колодцы не зависели от времени года, в отличие от запруд в степных балках. Они давали отличную воду постоянно. Как весной,

<sup>1</sup> С этими гениальными по инженерной мысли сооружениями можно, конечно, сравнить более мощные современные артезианские скважины. Причём не в пользу последних, по убеждению историка, тонко чувствующего поэзию старинных степных колодцев, поивших в старину сотни тысяч овец: «Видно, что воды было мало и за ней ухаживали, как за любимой женщиной. Новый стиль проще и ближе к изнашиванию: бурение, насосная станция, труба, водопровод, кран. Тут овцам нет места». (Шамир, 2010. С. 208).

когда степь, уже напитавшаяся зимними дождями, нежно зеленела, быстро набирая свою сочную, животворную силу, так и осенью, когда на фоне выжженной тускло-жёлтой травы ярко выделяются лишь отдельные тёмно-зелёные кусты тоже сочного, но, увы, несъедобного юзерлика.

Англичанка, путешествовавшая по Крыму через три года после его захвата, начала свой путь с Перекопа. И «везде, где только ни останавливались, просила из любопытства воды, и везде находила её прекрасною» (Кравен, 1795. С. 262). Причём устройство этих колодцев не требовало затрат от казны, да вряд ли её и хватило бы на дорогостоящие и многочисленные эти сооружения. «Много есть примеров в Крыму, что татары не жалели огромных жертвований для вырытия общественных колодцев и устройства фонтанов, известных под названием вакуфных, и не забывали даже при смерти делать в пользу того особенных завещаний, тщательно исполняемых наследниками» (Спасский, 1850. С. 12).

В предыдущей главе вскользь упоминалось о существовании в средневековом Крыму таких величественных памятников технической культуры, как водоводы-акведуки. Это были искусственные каналы-ложа, переброшенные через ущелья и пропасти и опиравшиеся на многометровые колонны и широкие арки. При их сооружении и использовании одной из главных проблем было обеспечить надёжную изоляцию водяного потока от каменного его ложа. Иначе даже тонкая струйка воды неминуемо вела к размыванию опор и полному обрушиванию акведука.

Эта сложная задача успешно решалась зрителями крымских акведуков на протяжении всех прошедших до аннексии веков. Ситуация изменилась, когда древним водоводам после оккупации и аннексии стала «покровительствовать» новая администрация. Они разделили судьбу множества других, хоть и не столь грандиозных памятников крымскотатарской культуры. Акведуки были частично разрушены русской армией ещё в ходе военных действий. Так, рухнул самый длинный в Крыму Еникальский акведук на Керченском полуострове, ранее всего оказавшемся в руках захватчиков (Scott, 1854. P. 211). В наступивший мирный период, когда и опоры, и каменные ложа требовали срочного ремонта, до них никому не было дела. Поэтому в дальнейшем, лишённые надлежащего ухода, десятки таких водоводов на глазах ветшали, один за другим приходили в негодность и были разобраны на камень в эпоху застройки Крыма дворцами и виллами новых хозяев. Тем не менее, по описанию развалин одного из акведуков, находившегося близ Еникале, можно составить себе общее представление о такого рода сооружениях.

Этот водовод находился «в четырёх верстах от города и двух от пролива... На пространной долине 166 сажень (почти 400 м. — В.В.) представляют попорченные, иные же разрушенные каменные столпы с дугами (то есть арками. — В.В.) на них, поверх которых вода, миновав дол, проходила в город по трубам. Какой почтенный памятник Мусульман! Сие драгоценное сооружение, какова меньшего размера мы во многих здесь местах (курсив мой. — В.В.) видели доказывает, что они не щадили иждивений для общественного блага и весьма отличались в оном роде искусства» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 122–123).

Очевидно, один из самых грандиозных акведуков был выстроен близ Судака. Этот вывод можно сделать, исходя из особенностей использования этого сооружения: «На берегу моря находится большой и широкий акведук. Воды, что те-



Инкерманский акведук. Литография А. Брауна по рис. П. Боккаччини.  
Илл. из: Montandon, 1834

кут из низин и с гор через этот акведук, вращают множество мельниц, омывают сады и огороды, а затем впадают в море» (Челеби, 1999. С. 78). Понятно, что для вращения даже нескольких водяных мельниц было бы совершенно недостаточно скромной струи воды, идущей на полив. Конечно, это был настоящий многоводный поток, который несся по гребню каменного сооружения, способного удерживать его в своём ложе. Труднее представить себе, какой мощности должны были быть колонны, способные нести многотонное каменное тело акведука, к тому же ещё и высоко над землёй...

Сохранилось редкое (если не единственное) изображение одного из крымских акведуков, некогда расположенного близ Инкермана. К сожалению, не самого большого из подобных сооружений: хоть у него и было 10 арок, но при высоте почти в 4 м он имел длину всего 15 м (Montandon, 1834. Pl. 12). Английский путешественник того же времени видел следы ещё одного, более длинного акведука, некогда подводившего воду из горных источников к Херсонесу, где её постоянно не хватало. Автор выразил естественную надежду насчёт восстановления старого водовода (Jones, 1827. P. 262–263), но, насколько известно, при российской власти не были предприняты даже попытки к его возрождению.

## 2) Зерновое хозяйство

Уже в XVI в. крымские татары, сохранив давние скотоводческие традиции, в значительной своей части перешли к распространению злаковых культур (в том числе зерновых), а в животноводстве — к интенсивной стойлово-огонной системе. Причём упомянутая тихая сельскохозяйственная революция охватила не только горно-прибрежную, но и степную части Крыма. «Та часть полуострова, в которой живёт хан со своими татарами, от Перекопа к озеру до Крыма (то есть

Эски-Крыма. — В.В.), обработана, ровная и плодородная и изобилует травами; но к стороне моря, ханского дворца и его селений почва очень гориста, лесистая — но чрезвычайно плодородна и обработана» (Броневский, 1867. С. 345). Причём нужно подчеркнуть ещё раз, что занимались хлебом именно крымские татары, а не диаспоры средиземноморских народов в Восточном Крыму. Так, даже в окрестностях Кефе и Керчи в указанный период жили в основном татары: «земля эта, изобильная хлебом, имела в древности много [колониетских] селений, но теперь на ней почти только татарские хижины» (Броневский, 1867. С. 345, 349).

Не изменилась эта картина и через полвека: «Пшеницы и прочего хлеба произрастает в [в Крыму] в изобилии...» (Дортелли, 1902. С. 131). Автор к сожалению, не приводит данных об уровне развития крымскотатарской агрокультуры. Несколько позже это делает более склонный к точным цифрам судейский чиновник. Он отмечает, что крымская степь родила пшеницу сам-30, а проса сам-150,<sup>1</sup> при этом хлеб высевался как озимый, так и яровой, из других же культур вообще высевалось всё, кроме гороха и гречки (Сумароков, 1800. С. 182). Ту же в точности цифру называл английский автор, профессионально занимавшийся анализом экспортно-импортных операций с хлебом в Черноморском бассейне (Willis, 1787. P. 10–11).

Другие современники отмечали, что «Крымцы культивируют... почти все сорта хлебов, главным же образом пшеницу, ячмень и просо, особенно крупнозернистое, красное и жёлтое... тари и чечевицу» (Тумани, 1936. С. 25; см. также: King, 1788. P. 227; Büsching, 1785. S. 322). Такие успехи не могли не производить впечатления на русских, посещавших Крым и оставивших множество записей с аналогичными фактами: «Земля крымских степей, теперь почти пустынная, была в высшей степени плодородна: из Крыма вывозили ежегодно сотни тысяч четвертей пшеницы для снабжения других местностей» (Гольденберг, 1883. С. 68). О том же сообщали и московские посланники, ещё за сто лет до аннексии: «из Царьграда к Козлову (то есть из Стамбула в Гёзлёв. — В.В.), где пристанища корабельные, приходят корабли для закупки ржи и пшеницы. В Царьграде большой недород... Отпущено с хлебом 200 кораблей» (цит. по: Новосельский, 1994. С. 30). Или: «А по хлеб и по соль посылают беспрестанно в Крым, в Козлёв город. И оттоле в Царьград беспрестанно корабли приходят со пшеницею и с солью» (цит. по: Санин, 1984. С. 192).

В XVIII в. особенно ценилась пшеница *арнаут*, особенно сорта *Кара-Кильчик*, с её крупными желтоватыми стекловидными полупрозрачными зёрнами. Это была твёрдая пшеница, дававшая при помолё вкусную, чуть желтоватую

<sup>1</sup> Для сравнения напомним, что в том же XVIII в. средний урожай пшеницы в русском крестьянском хозяйстве был раз в пять (Юг) или даже в пятнадцать (Центр) ниже, и это притом, что в южнорусском ареале климат и качество почвы соотносимы с крымскими, а влажность была даже лучше (Милов, 1998. С. 184, 188). Основная причина столь малой урожайности — крайне низкий уровень культуры производства в России, начиная от насильственного севооборота и календарного цикла работ, и кончая техникой: «Соха с её неглубокой вспашкой была негодна для посева пшеницы, ...поэтому культивировались «серые хлеба», а пшеница внедрялась медленно даже на юге...» (Александров, 1986. С. 326). В XIX в. урожайность упала ещё ниже (ук. соч. С. 334). То есть крымскотатарское пшеничное земледелие XVIII в. было более развитым, чем великорусское, даже через век.

муку, лучшую для изготовления макарон — немудрено, что её тысячами пудов вывозили в Италию, прежде всего в Турин. Сеяли Кара-Кильчик в степном Крыму близ Перекопа, но ещё больше — за перешейком, где в этом специализировались местные ногайцы. Культивировалась здесь и многолетняя пшеница, мягкая и вкусная, которой татары заменяли рис в плове — жаль, что учёный-естествоиспытатель, видевший посевы этого злака, оставил о нём лишь краткое упоминание (Pallas, 1801. S. 393).

К этому времени был выведен сорт ячменя *Куздук-арыш*, созревавший уже в начале июля, а также высокоурожайные местные сорта озимого и ярового ячменя *Куздук-арна* и *Язык-арна*. Сеяли и неизвестную в Средневековье кукурузу, которая тогда называлась *Мисир-богдай* (египетская пшеница) и использовалась в основном на корм скоту, но накануне нового урожая муку из неё использовали и на кухне. Из бобовых кроме фасоли и гороха в этом столетии вошёл в обиход завезённый из Средней Азии нут, который в крымских условиях давал урожай сам-тридцать (Pallas, 1801. S. 396).

Что касается основного пахотного орудия, то в ханском Крыму о *сохе*, столь популярной на всей бескрайней территории России, давно забыли. Здесь были в ходу плуги трёх моделей, в зависимости от особенностей почвы, которые продолжали использовать и после аннексии. В степи это был тяжёлый колёсный плуг, в который впрягали по 6 и даже 8 волов (Сумароков, 1803. Т. II. С. 11). Плугами пахали и в горах, и на Южном берегу, правда, там в связи с иными условиями (тяжёлая каменистая почва и малые, извилистые участки, производство хлеба только для собственного использования, то есть не в товарных массах) картина была иной: «Деревня Демирджи лежит высоко над долиной и по отлогостям горы; поля засеяны пшеницей... под самыми остроконечными утёсами», а используется «остроконечный плуг, снабжённый 6-футовым (то есть коротким, менее 2 м. — В.В.) дышлом, которое прикреплено к горизонтальной жерди. Плуг тянет пара волов, они называют этот простой крючок, который был бы хорош для употребления в виноградниках, *сабан*» (Сумароков, там же); его изображение помещено в I томе.

Наконец, в более пологих предгорных долинах, где и площади были обширнее, и земля мягче, как, например, Салгирской, и плуги были иными. Судя по описанию, это были поразительно современные для «провинции», скоростные колёсные плуги с низким креплением тягловой силы. Иностранцы просто млели, глядя на крымскотатарскую пахоту: «Эти плуги шли очень скоро и брали притом глубоко; но всякая запряжка была от 10, 12 и даже до 14 быков, ведомых 2 или 3 человеками. Земля вся — чрезвычайно и крайне удобна» (Гутри, 1810. С. 109). Более подробное описание этого великолепного орудия встречаем у немецкого учёного: «Плуг снабжён парой колёс, расположенных в передней его части; лемех укреплен почти горизонтально, он широк, полукругл в профиле, перед ним расположен вертикальный нож, отрезающий слой почвы на ширину плужного захвата, при этом углубляясь на 8 дюймов (20 см. — В.В.). В такой плуг запрягают 9 пар волов, которых ведут 6 логонщиков таким образом, чтобы одно из колёс шло по предыдущей борозде. Этим само собой достигается одинаковое расстояние между бороздами поля», — замечает с несколько уже оскорбительным для крымчан восхищением иностранец (Engelhardt, Parrot, 1815. S. 45). А что

он, собственно, ожидал увидеть на этой земле древней земледельческой культуры и интенсивного, творческого труда?

Так же легко подымали свои каменистые почвы крестьяне Эльбузлы (село между Судаком и Карасубазаром): 6 пар волов или буйволов запрягали с большими промежутками между парами, затем один человек становился за плуг, а 2–3 вели животных (Lyall, 1825. P. 355). Собственно, такое гибкое применение меняющихся моделей сельскохозяйственных орудий и есть первый признак развитого, интенсивного земледелия, ориентированного на рынок (товарного). Повсюду использовались бороны, причём не примитивные, как на севере (бревно с заострёнными сучьями), а лёгкие рамные деревянные, весьма похожие на более поздние металлические (King, 1788. S. 228). Для различных целей применялось два их типа: *террак* и *сапырте* (Домбровский, 1850 «а». С. 262–263).

Севооборот был довольно произвольным, то есть не принудительным, как в земледельческих общинах России и Восточной Европы; он менялся от хозяйства к хозяйству. Тем не менее почти повсюду практиковалась одна, самая распространённая система агрикультурной очерёдности. В первый год после подъёма целины сеяли пшеницу или просо, на второй год — ячмень, на третий — рожь, на четвёртый — овёс. Затем почва оставлялась на несколько лет (иногда до 7–8) под паром, после чего тот же цикл повторялся (Герсиванов, 1849. С. 127). Хлеб сеяли как под озимь, так и яровой, но тоже по-разному, причём не столько подчиняясь климату, сколько обычаю, традиции. Почему, например, в Байдарской долине *никогда* не сеяли яровой ячмень? Вряд ли кто-либо ныне на этот вопрос ответит. Впрочем, объяснение какое-то, конечно, должно быть...

Выращивали хлеб и среди виноградников Отузской долины (Паллас, 1793. С. 179, 156, 207), и даже на узкой полосе плодородной почвы у Партенита, на склонах ныне бесплодного Аю-Дага, да ещё и успевали там «на одной пашне собрать в год две жатвы» (Броневский, 1822. С. 86). В некоторых местах сеяли (по крайней мере, в середине XVIII в.) рожь, а также рис, который, к удивлению современника, «тоже посевает, и всё это добывается в большом количестве» (Брун, 1867. С. 11). Собранный урожай обмолачивали старинным способом: снопы рассыпали на чисто выметеном *армане* (току) диаметром около 8 м, в центре которого имелся столб. К нему привязывался корд, на котором кругами водили лошадь. Когда корд наматывался полностью, лошадь разворачивали и вели в обратном направлении — метод столь же простой, сколь и эффективный (Clarke, 1810. P. 257–258).

Кое-где вместо этого использовали *ундырь-тахту* — двойную доску, имеющую форму современной монолыжи, но раза в три больше размером и с закреплёнными в её толще плоскими камнями. При этом каменные рёбра находились с нижней стороны, и когда вол тащил это орудие, то оно весьма эффективно вылушивало зерно из колоса. Единственный его минус — солома после такого обмолота превращалась в полову и в корм более не годилась. Наконец, в относительно крупных хозяйствах устраивались окружённые досками токи большой площади, куда сгружали десяток *мажар* скошенного хлеба, после чего запускали внутрь табун лошадей и гоняли его там до окончательного обмолота (Соколов, 1869. С. 225). Отвезти полову уже было проще.

Обмолоченный и провеянный хлеб засыпали, как и в Средневековье, «в вырытые и обожжённые ямы, закрывая их сверху по доскам или жердям соломой, а потом заравнивая оныя землёю. Сие весьма полезно придумано, ибо хлеб не подвергается ни порче, ни трате (гниению. — В.В.), ни огню; хозяин избавляется от издержек на строение, и лес сберегается» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 12).

*Рис* выращивался по нижнему течению Бельбека, в Судаке, в тот период более обильном водой, чем ныне, а также в окрестностях Карасубазара. У крупных землевладельцев-татар имелись рисоводческие хозяйства в долине нижнего течения Качи, где тогда были заболоченные участки, как нельзя лучше подходившие для этой культуры. Один из таких хозяев, муфтий Крыма Мехмет Каул-эфенди, имел со своих рисовых чеков на Каче доход в 2550 ф. стерлингов или 23 600 руб. в год (Willis, 1787. P. 29). Во время похода на Крым Б. Миниха в 1736 г. огромное количество риса было захвачено в Гёзлёве (Halem, 1803. S. 65). Конечно, в степях Западного Крыма эта влаголюбивая культура произрастать не могла — очевидно, рис предназначался к вывозу.

М. Пейссонель, бывший в 1753 г. французским консулом в Крыму, отмечал: «рис с этих полей — великолепного качества, он не столь крупен, как кипрский, но достаточно хорошо разваривается, зёрна хорошо разбухают и обладают отличным вкусом» (Peyssonel, 1787. V. I. P. 11, 90). Столь же высоко оценивший крымский рис знаменитый российский селекционер с грустью добавлял, что «... после покорения Крыма культура риса была воспрещена, как могущая вредно отразиться на здоровье местных жителей» (Симиренко, 1912. С. 11).

Здесь возможны два вывода: если это в самом деле так, то современная администрация рисоводческих районов севера Автономной Республики Крым окончательно забыла о «здоровье местных жителей», никак не борясь с «вредной» культурой. Но, скорее всего, никакого вреда рис с собой не несёт, а запрет на выращивание этого традиционного для Крыма злака был одной из идиотических форм давления колониальных властей на татар.

С внешнеэкономической точки зрения крымскотатарское товарное зерновое производство, ориентированное на вывоз, после захвата Крыма Россией мгновенно пришло в полный упадок. Причина понятна: впервые за всю историю Крыма границу закрыли. Ну, что ж, Россия есть Россия. Тем не менее надо было что-то придумывать — и сеять тут же стали не просто меньше, а в минимальных объёмах, переходя на натуральное самообеспечение. Хозяйственная интенсивность при этом не снизилась, схема севооборота осталась той же — сказались века культурной традиции.

#### д) Виноградарство и виноделие

Существует распространённое мнение, что коренной народ Крыма не годился на роль виноградаря и винодела по ряду причин, из которых одна важнее всех — его мусульманское вероисповедание. А поскольку высокое развитие крымского виноделия (уже в середине XIX получившего и международное признание) отрицать было невозможно, то вся слава крымского вина была решительно отнесена в счёт заслуг российских виноделов, совершивших такой вот качественный

прорыв<sup>1</sup>. При этом никого не смущал тот факт, что в Европе XVIII — начала XIX вв. российские мастера солнечной лозы, как и винные подвалы, находились в подозрительной безвестности. Но вот что в середине XVI в. (то есть за 2–3 века до начала «русской эпохи» истории крымского виноделия) «на всём полуострове Таврическом производили отличные вина» — сомнений не вызывает, об этом говорит свидетель не только объективный, но и прекрасно разбиравшийся в вине (*Броневицкий*, 1867. С. 347). Кроме того, ещё более раннему, средневековому искусству крымского виноделия посвящена специальная работа (*Веймарн*, 1960). Ну а с тех пор отрасль только развивалась, поскольку спрос на любые продукты отличного качества почти всегда стабилен. Естественно, эта хозяйственная отрасль весьма живо интересовала всех, без исключения, путешественников и дипломатов, бывавших в Крыму, отчето сведения о ней не могли не сохраниться в их записках, воспоминаниях и мемуарах.

И вот оказывается, что близ Судака в конце XVI — начале XVII вв. по-прежнему, как и во времена греков, «обильно производятся превкусные и крепкие вина, ... но в настоящее время нельзя собирать виноград, потому что казаки ходят туда грабить...» и т. д. (*Дортелли*, 1902. С. 122). Это говорит о том, что судакское вино пользовалось популярностью среди не только католиков, но и православных, а это служит лишним подтверждением его высокого качества. Вино производилось и в долинах юго-запада, хотя «вина Бельбека не столь приятны и крепки, как судакские» (*Дортелли*, 1902. С. 131).

Крымские вина и в начале XVIII в. занимали видное место на столах царского круга и дипломатического корпуса российской столицы, писавших об этом со знанием дела. То есть это были не разовые приобретения, добыча военных походов или захватов купеческих караванов, но явно предмет налаженных поставок, постоянной торговли, о чём свидетельствует сам тон таких сообщений<sup>2</sup>. Весьма редкая, но тем более ценная информация; об этой стороне быта петербургского высшего света неплохо бы знать и нашим патриотам «отечественного виноделия» (понятно, российского) в Крыму.

В задачу этого раздела не входит исследование сравнительных заслуг крымскотатарских и русских виноделов после аннексии. Цель тут гораздо более скромная: показать, что в смысле вина в Крыму кое-какой опыт и до русских имелся.

Судя по археологическим находкам (обугленные зёрнышки винограда), эта культура была известна в Крыму уже в IV в. до н. э. — картина, общая для почти всех побережий Чёрного моря. Античные виноградные плантажи в Крыму (*Буров*, 2006. С. 46) известны не только на Южном берегу Крыма, но и в степной

<sup>1</sup> В этом смысле типичны первые две фразы, открывающие специальный труд по истории крымского виноделия и его состоянию в XX в.: «История крымского виноградарства и виноделия начинается фактически со времени воссоединения Крыма с русским государством (1783 г.). Состояние виноградарства, особенно виноделия, в Крыму в то время было самым жалким ...» и т. д. (*Охременко Н.С., Гайворонская З.И.* Вина Крыма. Симферополь, 1963. С. 6).

<sup>2</sup> Ганноверский посланник при дворе Петра I, старый дипломат Фридрих-Христиан Вебер сообщал на родину из Петербурга: «Мы здесь пьем вполне достойные крымские вина. По вкусу они более всего похожи на венгерские. Они того же цвета, и считаются полезными для здоровья (wird von Gesund gehalten)» (*Weber*, 1739. S. 78).

зоне, в Северо-западном Крыму, городище Чайка (Там же). Сведений о том, что эти культурные сорта были выведены в самом Крыму, не имеется. Скорее всего, они были завезены на полуостров в глубокой древности и существовали параллельно с местным диким виноградом, разновидностей которого насчитывается не менее трёх. Следует подчеркнуть, что это именно дикий, а не одичалый виноград. Следы его произрастания найдены палеонтологами ещё в отложениях эпохи миоцена, насчитывающей более 10 млн лет, причём на ареале, простирающемся до современной Вены. Эти разновидности — одни из самых чистых среди европейских диких виноградов и могли быть время от времени использованы в качестве подвоев после периодов резкого похолодания, когда культурные сорта вымерзали (*Пагоский И.* Дикий херсонский виноград. Одесса, 1912. С. 4, 21, 31, 33).

Очевидно, начиная чуть ли не с тавров, все племена и народы, приходившие на полуостров, отдавали должное культурной крымской лозе, а затем и сами приучались к виноградарству. За исключением, может быть, греков, римлян, византийцев да генуэзцев с венецианцами, — те и сами кого угодно могли научить. Поколения крымских виноградарей упорно трудились, передавая одно другому плоды наиболее удачных опытов селекции солнечной ягоды. В результате было создано немало сортов чисто крымскотатарского происхождения. Впрочем, не исключено, что при этом практиковалась гибридизация; колонисты греческих полисов и Рима, как правило, отправляясь на освоение новых земель, брали с собой чубуки излюбленных сортов своей родины.

В Крымском ханстве крупные виноградники, принадлежавшие ханам, беям, а также безродным, но богатым предпринимателям, производили товарную продукцию. Однако лишь часть виноградных гроздей потреблялась на месте или отправлялась на экспорт в вяленом виде. Из остального урожая давили вино, предназначенное почти исключительно на продажу. Об этом свидетельствуют многочисленные находки виноградных прессов, причём даже в горной части полуострова. Они были двух видов: деревянные передвижные (*тарпаны*) и стационарные, гораздо большие по рабочей плоскости, вырубавшиеся в скале либо построенные из каменных плит с помощью глиняного раствора и цементного покрытия.

Как правило, давящие были тройными. На двух боковых грозди давили ногами, а в средней остатке сока выжимали при помощи прессы, утяжелённого каменным грузом на длинном рычаге (*Буров*, 2006. С. 46). Такой способ позволял добиться высшего качества вина. Как известно, отжим свежего винограда прессом приводит к дроблению косточек и придаёт соку горечь. Лучший в мире пресс — босые ноги, а уж выжатую ногами мезгу можно посылать и в тарпан, где косточки сберегаются в целости. Сами татары, как известно, вина не потребляли, но хорошо разбирались во вкусах покупателей. Поэтому разделение винограда на винные, столовые и кишмишные сорта сохранялось и в Средневековье.

Одним из самых известных винодельческих регионов полуострова была, как упоминалось, Судакская долина. Она была тогда на всю её длину, до самого берега, «засажена виноградом и фруктовыми садами». Паллас далее описывает её так: «нижняя часть её, образующая род овальной плоскости, покато склонена к югу и поглощает здесь всю теплоту солнечных лучей; эта-то одна часть долины и производит собственно хорошие вина. Верхние же части долины, тянущиеся к северу и более узкие, закрыты отчасти соседними горами от солнца по утрам



и вечерам, и потому производимое в них вино кисло и едва может занимать четвертое место в ряду крымских вин...» (Паллас, 1793. С. 192).

Впрочем, сравнение крымских вин различных винодельческих районов — особая тема, вопрос вкуса. Другие авторы, признавая, что вина, производившиеся далее, за Алуштой и Ялтой — «корпуснее, букетнее и ценнее в продаже, нежели судакские», подчёркивали, что всё же восточно-крымские вина имеют свои достоинства. Не будучи столь крепкими, они «зато не бьют в голову, как эти последние, они легки, приятны на вкус и составляют настоящие столовые вина — Vin de table» (Сасногорова, 1880. С. 316). Во всяком случае, эти вина пользовались спросом и приносили стабильный доход: «В 1785 г. татары Судака имели в год с 1 арпана (примерно 0,422 га. — В.В.) 400 рублей чистой прибыли» (Willis, 1787. P. 28).

После Судака на втором месте по объёму продукции были Качинские виноградники (соответственно 150 000 и 70 000 вёдер вина в год). «Здесь вдоль Качи разведено много и виноградных садов, которые дают приятное сладковатое и крепкое вино... Виноградные лозы не пускают здесь в ствол или на шпалеры, но заставляют их расти на венгерский манер, кустами, и обрезают низко, оставляя на каждой ветке один или два глазка, из которого каждый год идут новые лозы, дающие плод... Виноградные лозы засыпают на зиму рыхлой землёй, выше третьего колена, а откапывают их и приступают к обработке уже тогда, когда начинают показываться первые молодые отпрыски. Вследствие этого способа обработки виноград и цветёт здесь раньше и целым месяцем раньше созревает, чем на Южном берегу, где его никогда не закрывают. Частое рыхление земли способствует также и увеличению его плодородия» (Паллас, 1793. С. 84).

Что же касается затронутого в начале этого раздела вопроса о том, кто именно поднял крымское виноградарство и удерживал его на высоком уровне, то на него имеется прямой ответ современника, рисующего впечатляющую картину: «... виноградники простирались в некоторых местностях на целые мили, например, в Судаке, в долинах от Алушты до Феодосии, по берегам речек Качи, Бельбека, Альмы, сорта винограда считались десятками; татары (выделено мной. — В.В.) изощрялись в способах посадки лоз, в искусстве прививки для облагораживания винограда, и крымские виноградники давали ежегодно до сотни тысяч вёдер отличного вина, ...не уступавшего венгерскому» (Гольденберг, 1883. С. 68).

Не менее искусными виноградарями считали жителей Ускута, «...на всём Южном берегу, до самого Судака, считавшихся лучшими обрезчиками винограда. — чем и заслужили большое уважение у всех садовладельцев» (Сасногорова, 1880. С. 168). Их слава ничуть не уменьшилась с приходом абсолютно ничего не понимавших в виноградарстве и виноделии русских помещиков, которым, естественно, было чему поучиться у местных крестьян.

Ту же оценку крымскотатарским виноградарям, но иной местности, давал академик Паллас: «[Козская долина] вся засажена виноградниками, и вина этой долины считаются самыми крепкими в Крыму... [она покрыта] прекраснейшими и плодороднейшими виноградниками, и татары, их обрабатывающие, считаются лучшими виноградарями в Крыму...» (Паллас, 1793. С. 204). Встречались виноградники и с северной стороны Чатырдага. Итальянский знаток нашёл, что и в долине Салгира, в окрестностях Акмесджита, производится, по его выражению, «очень ценное» (molto stimato) вино (Becattini, 1783. P. 4).

Что же касается вклада в крымское виноделие более поздних мастеров, в частности, кн. Л.С. Голицына (он прибыл в Крым в 1878 г.), то их заслуги неоспорны<sup>1</sup>. Эти знатоки европейских вин оттуда и выписывали винопосадочный материал, не догадываясь, что ввезённым лозам, их агробиологическим свойствам не всегда соответствовали почвенно-климатические условия крымских плантаций. Чуждые Крыму сорта вымирали или вырождались. Поэтому с течением времени пришлые владельцы виноградников, обжёгшись на импортных сортах, стали возвращаться к проверенным многими веками татарским. Причём этот переход к хорошо известному старому свершился и на элитных плантациях Крыма. Вот как об этом писал в 1870 г. инспектор сельского хозяйства С.П. Щелкин министру государственного имущества:

«К самым старым плантациям винограда принадлежат виноградники в Судаке, а затем на Альме и Каче, где они существовали ещё в прошлом столетии. Виноградники на Альме, Каче, в Судацкой и соседних долинах расположены в котловинах этих рек и долин... В виноградниках описываемой группы винодельных местностей Крыма разводятся почти исключительно местные или так называемые татарские или крымские сорта винограда и гораздо в меньшем [количестве] — иностранные. В Судаке виноградные плантации засажены местными сортами...» (цит. по: Куртбелялова, 2006. С. 7).

И даже в случаях, когда новые, уже российские мастера-виноградари добивались успехов в своём деле, то эти результаты, нужно заметить, были достигнуты не на пустом месте. Для этого в Крыму было подготовлено всё: начиная от создававшихся веками террас на склонах и хорошо расчищенной и обработанной почвы виноградников, оптимальной системы мелиорации и удобной сети горных дорог, и кончая истинными соиздателями крымского виноделия Нового времени — опытными и многочисленными татарскими мастерами винной лозы (не русских же завезённых в Крым крепостных запускать на элитные виноградники!). Именно они, эти судакские, алуштинские и качинские потомственные виноградари были тогда единственными, на кого могли опереться захватившие их земли российские предприниматели и вельможи. Включая действительно талантливого организатора-винодела Л.С. Голицына и его коллег, увлечённых новым, высокоходным промыслом<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Во-первых, как упоминалось выше, не князь Л.С. Голицын, как принято считать, «изобрёл» знаменитое крымское шампанское (точнее, натуральное шипучее вино, позднее известное как «Советское Шампанское»). Имеются доказательства тому, что ещё до аннексии его производили крымские татары: «Судак — славный призрачный своим вином, похожим на Шампанское цветом и приятностью (то есть, ароматом. — В.В.)», писал современник аннексии (Зуев, 1783. С. 147). Позже на это давно известное в ханском Крыму вино обратил внимание и академик П.С. Паллас: «Вся долина Бельбека усеяна садами и виноградниками... Мергельная почва (в окрестностях Дуванкоя. — В.В.) способствует и здесь производству сладкого и приятного вина, похожего на Шампанское; при хорошем уходе оно шипит так же как Шампанское» (Паллас, 1793. С. 85).

<sup>2</sup> Современный историк крымского виноделия отмечает, что «сотрудничая с местным населением и получая из местных сортов винограда вино очень высокого качества, князь Л.С. Голицын особое внимание уделял аборигенным виноградникам. Только в деревнях Къюз и Токълук было посажено 100 га виноградников [с лозами] местного названия» (Куртбелялова, 2006. С. 7).

О количестве произведёвшегося в ханстве товарного вина сведений сохранилось немного. Приведу одно из них: одни только украинские и запорожские казаки вывозили из Крыма до 100 000 ок (10 000 вёдер) вина ежегодно (Peyssonel, 1787. V. II. P. 443). Известно также, что в ранний период истории московско-крымских отношений (то есть, когда они ещё были вполне мирными) купцы Московии доставляли на север значительное количество южнобережного вина, выдавая его при этом за более дорогое «фряжское», то есть итальянское (Караулов, 1974. С. 37).

#### е) Пчеловодство

Мёд был одним из самых любимых местным населением продуктов питания. Его ели с чаем и кофе, мёд считался лучшим лакомством детей и взрослых. Широко он использовался и в кондитерских изделиях. Его добавляли и в некоторые мясные блюда: «Мёд, по большей части, входил в наше кушанье; он вкусен и духовит» (Лутри, 1810. С. 88).

Как говорилось выше, более всего славилась своим мёдом деревни, расположенные на склонах гор и в долинах между Старым Крымом и Карасубазаром. Путешественники отмечали, что у именно старокрымского белого мёда не было соперников «в обитаемой четверти Земли». «У него чудесный запах, как у мускуса и амбры. Если его попробуешь, почувствуешь этот аромат. Здешний мёд и жёлтое масло посылают в подарок в разные страны. Поэтому все неверные делают глиняные горшки, чтобы класть в них мёд и масло» (Челеби, 1999. С. 82).

Но и мёд других регионов Крыма был отменно хорош, и даже в заморских странах продукцию крымских и, например, южнорусских пасек резко различали, уверяя, что мёд первых «много превосходнее» вторых (much preferred to that of Russia). Соответственно отличались и цены, и количество товарного продукта: пасеки в Крыму насчитывали до полутысячи штук ульев (Holderness, 1821. P. 156). Многие утверждали, что карасубазарские пчеловоды достигали такого уровня профессионализма, что были в состоянии, увидев пчёл в поле, не только сказать, из какой они деревни, но и кто их хозяин (Holderness, 1823. P. 197).

Ульи в крымских пчеловодческих хозяйствах горно-прибрежной зоны делались из колод, которые выдалбливались изнутри почти до луба. Открытый конец замуравывался пробой из глины или земли с соломой. Зимой их хранили в тёплых пчельниках, а с наступлением тепла вывозили в леса или на луговое разнотравье. Здесь ульи укладывали в горизонтальном положении, один на другой. При этом мёд доставали по мере надобности, не прибегая при этом к окулированию, что было лучшим доказательством смирности, неагрессивности крымской пчелы (Clarke, 1810. P. 519; Seymour, 1855. P. 195).

Там, где пчелиная отрасль играла в крестьянских хозяйствах не основную, а подсобную роль (мёд потреблялся семьёй хозяина пасеки), использовались более дешёвые, недолговечные ульи. Они представляли собой плетёные из прутьев корзины конической формы со съёмной полусферической крышечкой. Эта плетёнка обмазывалась изнутри и снаружи глиной, после чего становилась для пчёл жилищем, не хуже любых иных. Единственный недостаток таких ульев был в том, что они не выдерживали дождя и должны были постоянно находиться под каким-то навесом или внутри пчельника (Engelhardt, Parrot, 1815. S. 46). Поскольку

ку заводить пасеку с малым количеством ульев не имело хозяйственного смысла, то количество пчелиных семей у пчеловодов-профессионалов и любителей было довольно велико: «Некоторые из частных людей имеют по 300 и по 500 ульев» (Аноним, 1824. С. 80).

Особо стоит сказать о степном пчеловодстве. Оно и во второй половине XX в. считалось весьма проблематичной хозяйственной отраслью, главным образом из-за отсутствия в крымской степи воды, для этого необходимой (мы не говорим о регионах, сравнительно недавно обводнённых Северо-Крымским каналом). Но крымские татары умели разводить пчёл и в самых засушливых степных районах. Здесь отсутствовала не только вода, но и на протяжении большей части года не было корма, ведь постоянно цветущие луга или деревья характерны для горно-лесной зоны. Но хитроумные ногайцы и тут нашли выход. Они приучили степную пчелу *ночевать вне улья* — опыт, в мировом пчеловодстве, кажется, уникальный. Так маленькие труженицы могли совершать в поисках взятка «сверхдальние» перелёты в леса или речные долины. Воду же (колодезную, естественно) степняки наливали в специально выдолбленные каменные корытца, куда обычно опускали, для удобства пчёл, палочки толщиной с карандаш.

Степной улей, называвшийся *санет* (очевидно, от *сан* — «черенок, прут»), превосходил размером все иные: его высота достигала полутора аршин (1,10–1,20 м), а с подставкой это сооружение достигало чуть ли не человеческого роста. Материалом служил хворост, обмазанный кизяком. Понятно, что и эти ульи боялись дождя, поэтому их расставляли под навесом, а чаще — вдоль стен дома, укрытых широким *сачахом* (свесом крыши). Специальных пчельников, несмотря на суровые степные зимы, не строили, просто осенью все ульи заваливали снопами соломы, которой в степи всегда было сколько угодно. Такое укрытие прекрасно сохраняло тепло и берегло ульи от влаги.

Степное пчеловодство было занятием весьма распространённым по причине прежде всего прибыльности. Один большой улей давал в год от 15 до 20 ок (полтора пуда) чистого мёду, воск же был особенно необходим в безлесных местностях, где лучиной жилище не освещали. В степной деревне Мендерчик (Евпаторийский уезд), которую посетил указанный автор, испокон веку ульи держали все жители, причём на семью их приходилось по 20–25 штук (Ук. соч. С. 239). Количество годового сбора мёда подсчитать нетрудно.

#### ж) Льноводство

Крымское льняное волокно «высоко ценилось, так как славилось своей белизной и вместе с тем крепостью» (Симиренко, 1912. С. 4).

Особенно много льна сеяли высоко на горных полях у деревни Демирджи. Оптовые скупщики знали, что начиная от Алушты и до Туакской долины включительно «находятся лучшие долины для посева льна, который здесь очень мягок, тонок и дорого ценится, что надо приписать изобильной его поливке. Льняные поля разделены здесь на участки, по которым вода проведена канавами. Возделывание льна составляет главный доход здешних татар» (Паллас, 1793. С. 179, 182). Но они не были монополистами в этой отрасли сельского хозяйства,

тот же автор поясняет, что и «богатые капсихорские татары сеют у берега моря, пониже горных возвышенностей, лён и огурцы, поливая и уваживая тщательнее землю» (Там же. С. 189). То есть льноводство распространялось чуть ли не до Судака, а в противоположную сторону — до Алупки и Ялты, откуда вывозили «лён отменной доброты» (Броневский, 1822. С. 61, 70).

Более того, лён сеяли и по другую сторону Главного хребта, а именно вдоль всей долины Салгира, от его истоков у Чатырдага до Акмесджита. Здесь он также «высок, добротен и стоит до 10 рублей пуд» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 60). Лён сеяли и жители сёл в окрестностях Бахчисарая. Там же его чесали, пряли и разматывали (Демидов, 1853. С. 331). Несколько позже своим прекрасным льном привлекли внимание скупщиков деревни, расположенные в окрестностях Гурзуфа (Holderness, 1823. P. 196).

### з) Табаководство

В крымскотатарской культуре табак издавна занимал особое место. В XVIII в. курила и Европа, не представляли собой исключения и женщины. Но в Крыму эта страсть была (по крайней мере, среди мужчин) абсолютно всеобщей. Вот типичная бахчисарайская картинка конца XVIII в.: главная улица «представляет весёлый и хороший вид; там сидящие по лавкам купцы в них и торгуют и отправляют свои рукоделья; один тачает кожи, другой полирует ножи, тот шьёт шапки, сапоги, иной точит на станке, другой отбивает на наковальне железо, все в движении, и из всех лавок выходят табачные облака. Трубок и папущей повсюду навалено большими кучами, и здесь, в Крыму, настоящее курительное царство, так что редкого человека встретишь без трубки во рту...» (Сумароков, 1800. С. 129–130).

Такое необычное пристрастие порождало огромный и, главное, постоянный спрос, не зависящий от политических или экономических катастроф. Поэтому табак сеяли практически на всей территории Крымского ханства. Качество, конечно, было неодинаковое, поэтому большая часть табака не совсем элитных сортов потреблялась самими хозяевами табачных полей. Но были и особые, как бы самой природой созданные для этой культуры районы, идеально подходящие для табаководства. Не без оснований считалось, что лучший табак можно вырастить лишь на берегу моря у Аю-Дага, в Партенитской долине, где он «по своему достоинству, запаху и вкусу равняется с лучшими сортами турецкого табаку» (Сисногорова, 1880. С. 82).

Табаководство стало распространяться на полуострове, очевидно, в конце XVII в., причём в основном в его горно-прибрежной части, богатой водными источниками (известно, что эта культура весьма влаголюбива). Кроме местных сортов табака в XVIII в. культивируются турецкие и даже американские. Поскольку на Южном берегу земля прогревается довольно рано, то первые посадки ростков были отмечены уже в конце марта; в предгорья табакоры поднимались с саженцами месяцем позже. На приморских же склонах климатические условия для этой хозяйственной деятельности были настолько благоприятны, что почти всегда удавалось снять два урожая, а нередко и три (Pade, 1856. С. 51–52).

### и) Шелководство

Эта отрасль была развита меньше других, хотя, в отличие от виноградарства, была доступна населению всего полуострова (шелковица не вымерзает даже у Перекопа или на Тарханкуте). Возможно, объяснение этому следует искать, скорее в психологической, чем в технологической или экономической областях. Шелководство никогда не было в Крыму одной из самых значимых отраслей народной экономики. Но и при сравнительно невысокой распространённости этой отрасли, в XVIII в. встречались отдельные хозяйства, которые традиционно существовали исключительно на доходы от шелководства. Более того, в своё время на нём специализировались целые сёла, например Кучук-Узень (Сумароков, 1803. Т. II. С. 212).

Вероятно, шёлк по большей части и вырабатывался, и использовался в одних и тех же центрах. То есть, шёлк пряли, ткали и покрывали готовые ткани вышивкой в одном и том же месте. Так, говоря о шелководстве Капсихора, французский путешественник конца XVIII в. отмечает, что «местные татарски славятся своими тканями и вышивками» (Цит. по: Врангель, 1939. С. 147). Судя по описанию, это были многочисленные, но небольшие по оборотам семейные хозяйства.

Впрочем, на закате истории ханства уже имелись и крупные специализированные товарные предприятия, принадлежавшие зажиточным хозяевам, которые серьёзно интересовались шелководством и даже создавали для него вполне современную производственную основу. Это были шелковичные сады, рассчитанные на сезонное использование зелёной массы в качестве корма для гусеницы; такие хозяйства имелись, к примеру, в устье Качи (Willis, 1787. P. 29). Но, согласно более поздним исследованиям, более всего шелководство процветало в окрестностях Старого Крыма (Караулов, 1874. С. 13). Будучи основным занятием многих крымскотатарских крестьян, шелководческая отрасль не угасала и на протяжении многих десятилетий после ликвидации ханства (Holderness, 1823. P. 156–157).

### к) Овощеводство

Овощи, которые выращивались в Крыму, было бы слишком долго перечислять — их имелось 26 наименований. Более подробно о них говорится ниже, в разделе этого очерка, посвящённом питанию крымских татар. Отмечу лишь, что крымцы «вошли во вкус» овощей довольно поздно, если сравнивать их с жителями того же Кавказа. В эпоху раннего Средневековья на территории ханства потреблялось практически всего несколько видов овощей.

В Новое время ситуация изменилась к лучшему, увеличились и площади огородов. Теперь больше всего выращивалось репчатого лука и перца, много кочанной капусты, несколько видов корнеплодов, довольно быстро ставших необходимой основой новой национальной кухни (в ней наименее популярной была, пожалуй, свёкла).

В Крыму, в основном в степной его части, появились баштаны, где зрели арбузы и дыни. Они были нетребовательны к влаге и, возможно, именно из-за сухости крымских степей и безоблачного неба приобретали великолепный аромат и сахаристость. Лучшими в мире назовут английский и немецкий путешественники

гёзлёвские арбузы (King, 1788. S. 228–229; Sprenger, 1936. S. 158). С другой стороны, самыми транспортабельными считались огромные перекопские арбузы и медовые дыни, их вывозили даже в Стамбул (Holderness, 1821. P. 122).

Насчитывалось несколько сортов тыквы. Турецкие бобы и мелкие, сочные огурцы вились по решёткам, которые плели из лоз и лесных сучьев. Культивировался и некий сладкий сорт их, позднее, судя по всему, полностью исчезнувший. Но ещё накануне аннексии французские гости с восхищением описывали «огороды местных татар со знаменитыми даже в Стамбуле длинными сладкими капсихорскими огурцами древней культуры» (Врангель, 1939. С. 145). А под мак, использовавшийся не только в пищу, но и как лекарственное средство, отводили пустыри вне огорода (Die Krim, 1855. S. 13).

Естественно, за века народной селекции местных овощей и выборочного культивирования ввозных видов и сортов огородных культур эта отрасль крымского сельского хозяйства достигла высокого уровня. И даже небольшие огороды в приусадебных участках не могли не радовать глаз приезжих знатоков. Так, понимавший толк в растениеводстве немецкий географ и ботаник XVIII в. А. Бюшинг уделил в своём многотомном труде место «отличным овощам» (vortreffliches Obst), обнаруженным им на крымскотатарских огородах и, естественно, на столах, радушно накрытых к приезду столь редкого гостя (Büsching, 1785. S. 312).

### 3. Культура ремесленного производства

Ремесленники располагались на центральных улицах крымских городов, и никто не мог их оттуда вытеснить. Эти профессионалы, которых было довольно много, считали себя в Крыму поистине первыми среди равных, и с этим ничего нельзя было поделать, так как они опирались на ряд традиционных цеховых статуты, признанных повсеместно. На их групповую психологию и аннексия не очень-то повлияла. Они не чувствовали себя униженными, сохранив даже манеру поведения. Как говорил путешественник следующего, уже XIX в., «...все эти люди трудятся очень хладнокровно, с соблюдением величайшего спокойствия: нельзя описать того величавого вида, какой они соблюдают, продавая или покупая что-нибудь» (Мелидов, 1853. С. 331–332).

Но вернёмся к ханскому периоду. В некоторых крымских городах общее число ремесленников было, повторим, весьма внушительным. Скольким всего их насчитывалось неизвестно даже приблизительно. Остаётся опираться на более поздние выводы: в течение добрых 70-ти лет после захвата Крыма Россией в Бахчисарае практически каждый десятый (учитывая взрослых и детей обоего пола) был ремесленником (Фёдорова, 1855. С. 156). Понятно, что это отмечалось гораздо позже пика развития национальной ремесленной индустрии ханства. Именно так именуют упомянутый феномен мировой истории западные исследователи, позволяющие себе сравнивать (правда, лишь по отдельным отраслям) ханский Карасубазар с современными им Бирмингемом и Манчестером (Scott, 1854. P. 216).

А что касается устойчивости, технологической и культурной стабильности ремесленной отрасли народного хозяйства, то в экономических трудах первой

трети XX в. встречаются выводы о том, что «в промышленных центрах Крыма, в Бахчисарае и Карасу[базаре] остатки цеховых ремесленных организаций сохранились вплоть до наших дней и, не успев приобрести формы фабрик и заводов, существуют в виде „кустарных“ производств» (Озенбашлы, 2005. V. С. 7).

Цитируемый автор приходит к ещё одному важному выводу: «если учитывать свидетельства старых ремесленных мастеров этих городов, рассказывающих, что ещё 40–50 лет тому назад некоторые ремесленные организации состояли из тысяч мастеровых и учеников, и, помимо удовлетворения спроса крымского населения, могли вывозить на рынки и ярмарки внутренней России товары и материалы на сотни тысяч рублей, то следует признать, что такая промышленность была в состоянии удовлетворить спрос своего населения во времена ханства. И большой процент этого производства был в руках татар» (Там же).

#### а) Мукомольная промышленность

Самыми производительными из старинных механических устройств Крыма и в XVIII в. оставались водяные мельницы. Больше всего их было в Карасубазаре. Говорили, что число их приближалось к сотне (Челеби, 1999. С. 72). Их строили не только вдоль реки, давшей городу своё имя, имелись и ответвления от её русла, тоже годившиеся для устройства мельниц: «Вдоль Кара-Су [были] выкопаны каналы, отводящие воду к нескольким мельницам» (Ромм, 1941. С. 44). Известно, что Кара-су никогда не считалась в Крыму особо полноводной речкой, и путешественников закономерно удивляло, что эти сложные и мощные механизмы работают «...без плотин, как и все мельницы в Крыму, тогда как в России такие громадные мельницы существуют только на судоходных реках» (Соколов, 1869. С. 204). Там же, на мелких притоках Кара-су и выше по её течению имелись скромного размера крестьянские, непромышленные мельницы, которые использовались местными крымцами только для собственных потребностей (Baert, 1797. S. 19).

Очевидно, на таких, более мелких мельницах и крупорушках всё же перерабатывалась в муку, крупу и дерть весьма значительная часть зерна, поскольку их в Крыму было множество. Крестьянская мельничка, при всей своей примитивности (а скорее всего, благодаря ей) была в крымских условиях вне конкуренции: «Вода небольшого ключа, выходящего из горы, стекая в жёлоб, обращает подставленный под оный колесо, которое приводит в движение жернова, утверждённые между стоек, просто поставленных на земле. Большие водополи (то есть паводки. — В.В.) не могут разорить таких мельниц, стоит только колесо с осью снять со станка — и мельница разобрана» (Броневский, 1822. С. 115–116). А вот более подробное описание упомянутого изобретения народного гения: «Ведут они воду к себе часто издалека, с горных речек. Мельничное колесо укрепляется горизонтально, на стоячем валу, оно не имеет обода и представляет собой голые спицы, выгесанные в форме ложек, в ковши которых бьёт струя воды. Вал — беспередаточный, он опирается в нижний, неподвижный жёрнов, на последнем вращается верхний, жёстко соединённый с валом. Жернова они вытёсывают сами, используя камень из Кутлакского месторождения» (Engelhardt, 1815. S. 44–45).

Другое дело, что устроенные на скупой водной струе, такие мельнички большую часть года, скорее всего, не работали, поскольку зимой вода покрывалась льдом, а летом пересыхала (*Holderness*, 1821. P. 103). Понятно, что такого рода крошечные, примитивные механизмы десятками и сотнями стояли на маловодных речках, вроде описанной в *Книге путешествия*: «Между этими скалами протекает живая вода — Ашлама. Этот источник вытекает из-под земли... вращает множество водяных мельниц в кварталах Салачика, потом протекает через ущелье древнего города Бахчисарая, где её называют Чурюк-су» (*Челеби*, 1999. С. 39). Между прочим, мельницы на Чурюк-су, очевидно, гораздо более полноводной, чем ныне, исправно мололи зерно и в конце первой трети следующего, XIX века (*Jones*, 1827. P. 239). Даже в Туаке на одном «ручейке»(!) одновременно работало несколько водяных мельниц (*Броневский*, 1822. С. 105).

Использовались в отрасли и ветряные мельницы, их было немало, например, на возвышенностях и горах близ Кефе (*Goebel*, 1837. S. 256). А Гёзлёв вообще был каким-то царством ветряных мельниц, о чём пишут буквально все авторы описаний города в XVIII в. С городских стен были прекрасно видны прибрежные ветряки Отар-Муйнака; мельницы, расположенные на пологих возвышенностях близ деревень Батай, Орта-Мамай и Тюп-Мамай; из-за лимана Сасык махали крыльями мельницы Айдар-гали. И, конечно, эти замечательные машины на природной тяге высились чуть ли не под самыми стенами гёзлёвской крепости. Их было такое множество, что сравнить его было можно только с полком солдат (*Spenger*, 1836. S. 158). Техническое описание одной из таких мельниц сохранилось; судя по всему, её сложный механизм был доведён до высокой степени технического совершенства:

«Я видел ветряную мельницу, ...это круглая каменная башня, из середины которой вертикально высятся столб с зубчатым, горизонтально лежащим колесом, которое внизу зацепляется за шестерню оси жернова. На вершине столба имеется [несколько] крыльев, расположенных на таком же числе вертикальных спиц, идущих по направлению от окружности к центру. Так как ветер, ударяя в крылья, будет одинаково давить на обе диаметральнопротивоположные плоскости, механизм был бы скорее изломан, чем приведён в движение. Тогда попросту придумали поднять деревянный ставень, прикрывающий около трети окружности на высоте крыльев. Ставень этот, называемый у них щитом, очень лёгок. Он поставлен на колесе, в диаметре своём равном башне; один человек может легко повернуть колесо так, чтобы ветер ударял только в одну часть крыльев. Таким образом, их по желанию останавливают или приводят в движение. Эту простую и остроумную идею было бы легко усовершенствовать» (цит. по: *Ромм*, 1941. С. 72). Крымскотатарские ветряные мельницы просуществовали необычно долго и в условиях колонизации, в качестве достопримечательностей Евпатории они попали в путеводители и более серьёзные работы даже конца XIX в. (*Ливанов*, 1875. С. 3; *Завидский-Краснопольский*, 1874. С. 38).

Ветряные мельницы были, как правило, невысоки: на полутора-двухметровом каменном цоколе возводился деревянный корпус собственно мельницы высотой всего в 2–2,3 м, крытый соломой или тонкими досками. Все материалы, использовавшиеся для постройки, были местного происхождения. Даже шестерёнки изготавливались из крымского дуба, а вставные зубья

их — из древоподобного кизила, достигавшего в тогдашних лесах фантастической для этого кустарникового вида толщины ствола в 8–14 дюймов, что равняется 20–35 см (*Шатилов*, 1857. С. 51).

Но бывали случаи, когда не имелось природных условий для устройства водяных мельниц, а материалы для постройки ветряных стоили дорого. В таких местностях крымские татары умели строить мукомольные комплексы на воловьей тяге. Например, только в окрестностях Кефе таких мельниц и крупорушек было около 160 (*Челеби*, 1999. С. 94). В отличие от более распространённых в других европейских странах конных мельниц, где лошади ходили внутри поставленного на ребро колеса, в Крыму барабан был, как и в колёзных устройствах, горизонтальным, с одним или двумя брёвнами-рычагами, оканчивавшимися в нижней своей части железными петлями для вальков с постромками, в которые и впрягался рабочий скот (*Шатилов*, 1857. С. 36).

### б) Выделка кож и мехов

Производство кожи различных видов издавна было одним из важнейших видов крымского ремесла. Необходимо отметить, что этот товар сохранял из века в век высокую конкурентоспособность, чему было две причины. Во-первых, почти все необходимые для выделки кож препараты обходились довольно дёшево, так как изготавливались тут же, из местного сырья. Во-вторых, этому способствовало животноводческое направление экономики некоторых регионов Крыма, делавшее источник сырья многообразным, неиссякаемым и, конечно, дешёвым. При таких воистину «оранжерейных» условиях не исключалась естественная опасность снижения культуры производства, скатывания на качественно более низкий уровень, чему в истории имеется немало примеров. Однако крымское



Перед разгрузкой сырья у кожевенной мастерской.  
Фото из журнала *Qasevet*



Кожевенная мастерская в Бахчисарае.  
Фото из коллекции издательства «Тезис»

кожевенное производство счастливо не знало этой проблемы благодаря таким факторам, как строгие цеховые регламентации и жёсткий контроль за качеством и количеством продукта, а также мусульманская этика труда, как известно, неизменно присущая крымскотатарским мастерам и подмастерьям.

Поэтому крымская кожа находила сбыт не только в самом ханстве, Турции или у ближайших соседей. Она славилась и на Западе, где за ней буквально охотились элитные галантерейные, обувные, седельные фирмы, для которых работа на крымском полуфабрикате становилась вопросом престижа. Отсюда прекрасные экспортные условия, позволявшие этой отрасли стабильно развиваться: «Во всех морских стоянках Татарики (то есть Крыма. — В.В.) нагружают много судов воловьими и буйволовыми кожами, доставляемыми оттуда также в Италию, Фландрию, Англию и Францию» (Дортелли, 1902. С. 100).

Не угадала со временем старая слава Крыма и как центра производства высококачественных, тонких кож. В самом же Крыму главная торговля такими кожами, прежде всего сафьяном, шла в Карасубазаре, где он был «разных цветов: жёлтый, зелёный, красный и голубой. Его можно купить очень дёшево, и он так мягок, как атлас», отмечала в письмах на родину английская путешественница. Она же сообщала, что в Крыму «продаются прекраснейшие и самые дорогие меха. Пёстрые ягнячьи кожи также весьма хороши» (Кравен, 1795. С. 281). Заметим, что и в первые десятилетия после аннексии Крыма здесь по-прежнему вырабатывали «красный и жёлтый сафьян превосходного качества, мягкий и пластичный (pliant) как шёлк, такой же тонкий и прочный» (Luant, 1825. Р. 358).

Как же изготавливалась прославленная крымская кожа? В старых книгах можно найти немало рецептов её производства с применением средств и веществ, на которые не нужно тратить денег. При их сравнении выясняется, что наиболее полным набором подробных описаний технологий дубления, а также рецептур используемых при этом составов располагали всё же крымские кожевники. Эти рецепты и приёмы были собраны в Карасубазаре и подробно



Седельные чехлы для пистолетов  
Девлет-Гирея III (1770-е гг.).

описаны весьма дотошным путешественником бароном Кампенхаузенем. Они и ныне представляют собой известный интерес, несмотря на несколько непривычный набор средств обработки. Так, при выработке лучшего сафьяна (Morocco leather) основным из используемых средств являлся собачий кал (Campehausen, 1808. Р. 53).

Более грубые сорта кожи, необходимые для изготовления толстой, но прочной обуви, упряжи, бурдюков, небольших фляжек и пр., готовились проще. Обычно этим занимались дубильщики, которые скупали шкуры как у крестьян, так и у более крупных владельцев, не имевших собственных мастерских для обработки сырья.

Шкуры, как правило, свежие, промывали и погружали в гашёную известь, которая выедала все посторонние вещества вроде остатков жира. После этого их заливали отваром зелёных водорослей (баламут), а затем пересыпали квасцами, сложив для этого кожи в несколько слоёв и погрузив в небольшой бассейн, имевшийся в каждой дубильной мастерской. Затем их длительное время вымачивали в проточной воде (куда сливался и использованный раствор квасцов), а затем подвергали дальнейшей обработке: сдирали на полукруглых чурбанах остатки мездры и волос, мяли и т. д.

Естественно, основная часть кожи, в том числе даже самой дорогой, например, красного сафьяна из шкуры козлёнка, использовалась в собственных нуждах ханства. Из неё не только шили одежду и обувь. Шагренё, к примеру, закупалась оружейниками, ею обтягивали деревянные ножны и футляры для ружей и т. д. (Brunner, 1833. S. 202).

### в) Литейное и кузнечное мастерство

Литейное мастерство имело в Крыму весьма древние корни — выше говорилось о тавро-скифских литейщиках. В XVII в. этот вид ремесла сохранился всего в 2–3 местах, но продукция оттуда расходилась по всему полуострову и, как мы увидим, далеко за его пределы. Одним из таких центров была крупная (500 усадеб) деревня Чуюнчи (располагалась на юге полуострова, между Камышлы и Байларом). Местные мастера — *тёкмеджилер* — изготавливали литые железные казаны всех размеров, вплоть до огромных, предназначенных для приготовления пищи сразу на целое село или отряд воинов. Руду добывали на Чатырдаге. Как сообщает старая рукопись, «эти казаны славятся в Балхе, Бухаре, Самарканде,

Луристане и Мултане (то есть в Западном Иране и Пакистане. — В.В.)» (*Челеби*, 1999. С. 124).

И более поздние авторы находили подтверждение старинным свидетельствам о том, что городские цехи литейщиков, а также некоторые деревни Крыма, занимались почти исключительно литьём чугунной посуды для отправления её на Восток (*Ниметулла*, 2002. С. 19).

Плуги, топоры, вилы ковали *демирджилер* (кузнецы), которых особенно много было в окрестностях Керменчика (позднее — Богатырская волость Ялтинского уезда). Там же изготовленные деревянные колёса ошенивали, ковали оси для *мажар*, обручи для местного бочарного производства и т. д. (Терджиман, 22. 10. 1888). До XIX в. сохранилось старинное устройство крымской кузницы с двухфутовыми углублениями в земле для мастера и молотобойца, между которыми на низком деревянном блоке устанавливались наковальни. Это позволяло раскладывать инструменты прямо на земле и брать их, не наклоняясь. Сохранились и горны с двойными мехами, обеспечивавшими не прерывистый, а ровный поддув (*Engelhardt*, 1815. S. 47). В городах кузницы, как и некоторые другие мастерские, иногда одновременно служили и лавками, располагаясь в смешанных ремесленно-торговых рядах, которые в Бахчисарае и Карасубазаре называли *араста*.

На обработке цветных металлов специализировались *бакырджилер* (медники). Основной техникой была чеканка. При этом листы меди или столь же пластичного, но более прочного материала *джез*, то есть латуни, обрабатывались на вбитых в землю кольях из гвёрдых древесных пород (бук, граб, груша). Из латуни как более нарядного материала, чем чистая медь, изготавливали, в частности, ритуальные сосуды и лостры со сквозной резьбой для мечетей. Из латунных и железных деталей собирали вытянутой формы кофемолки (*кьаве дермен*) — вещь, незаменимую в любом доме города и села, поскольку кофе тогда можно было купить лишь в зёрнах. В ещё больших количествах медники изготавливали такой предмет религиозного обихода, как сосуд для омовения (*кьуман*) — узкий вытянутый кувшин с носиком. В более «приземлённых» пропорциях чеканились объёмистые и прочные сосуды для ношения воды — *гугумлар*.

Но, конечно, основным материалом, который использовали чеканщики, была красная медь *бакыр*. Отличная теплопроводность делала её незаменимой при изготовлении *джезеве* (кофеварок) различных размеров, имевшихся в каждом татарском доме. Их силуэт был довольно прост, и они никогда не украшались никаким орнаментом. Особого внимания заслуживает как их сохранившаяся с древности простая, но функционально идеальная форма, так и техника соединения свёрнутого в конус медного листа. С задней части джезеве, со стороны ручки, края заготовки «застёгивались» перед пропайкой как на изобретённой позднее (и уж не заимствованной ли в Крыму) застёжке-молнии.

Та же красная медь «шла на изготовление кухонной утвари, предметов сервировки стола, осветительных приборов, банных принадлежностей и т. д. Из неё делали всевозможные кастрюли и супницы, которые обязательно лудили изнутри, а иногда и снаружи. Орнаментировалась такая посуда сдержанно, узор был ясным и простым, чаще всего геометрического характера... Геометрический орнамент в виде ряда зигзагов, меандра, волнистых линий, штрихов, треугольников украшает кухонную и бытовую утварь...» (*Ниметулла*, 2002.

С. 18, 20). Был распространён и растительный орнамент: «...стройные кипарисы располагаются на бортах блюд и чаш, цветки роз, гвоздик, лилий, фиалок выглядывают из ваз и кувшинов или же, образуя пышные гирлянды, окаймляют сосуды» (ук. соч., с. 20).

Некоторые виды металлической посуды требовали межцехового сотрудничества. Так, например, после того, как медник изготавливал джезеве или кумган, за дело брался *калайджи* (лудильщик), чья мастерская, как правило, находилась по соседству.

По-прежнему в больших количествах изготавливались длинные сабли, а также «большие и малые татарские ножи, которые очень ценятся, равно как и другие приготавливаемые здесь орудия для резания» (*Паллас*, 1793. С. 77). Отмечалось, к тому же, что «большая часть этих орудий так хорошо закалены, что они равняются с дамасскими» (*Кравен*, 1795. С. 286). Собственно, сабельные и ножевые клинки и ковались по дамасскому методу: из раскатённых и сваренных на наковальне частыми ударами молота обрубков разнородного чёрного металла. Интересно, что в Крыму таким излюбленным материалом были стёртые лошадиные подковы (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 143). Конечно, при этом не менее важна была последующая закалка, секретом которой владел каждый *пычакчы* (ножевых дел мастер): «Их ножевые лезвие очень славятся. Татарам известна тайна закалять железо; следствие сей закалки удивительное, но может быть, оно состоит в качестве воды» (*Гутри*, 1810. С. 64).

Некоторые мастерские, очевидно, были значительной производственной мощности, так как путешественники называли их «ножевыми фабриками» (*Baert-Ducholant*, 1798, S. 46). Значительным был и вывоз этого вида товаров: ежегодно на экспорт только для кавказских племён отправлялось около 400 000 ножей, а ведь это было не самое главное коммерческое направление (*Williams*, 2001. P. 55).

Здесь же дамасским методом изготавливались и бритвы. На них был большой спрос (крымские татары брили не только бороды, но и головы), отчего и в этом виде мастерства кузнецы достигли прекрасных результатов. Крымскими бритвами можно было бриться не только без мыла, но и вообще используя только холодную воду, что немало удивляло зарубежных путешественников (*Haxthausen*, 1847. S. 410). С другой стороны, в письменных источниках неоднократно отмечалось, что многие крымские татары вообще обходились без бритв, используя вместо них упомянутые ножи типа *пычак* или *кьара кулак* («чёрное ухо») с рукояткой, раздвоенной как ласточкин хвост, которые прекрасно сбрасывали волосы, смоченные лишь холодной водой (*Engelhardt*, 1815. S. 47; *Brunner*, 1833. S. 202).

О славившихся по всему Востоку крымских ружьях и карабинах говорилось выше, в V очерке первого тома. Упомянем лишь, что за прошедшие века появились кое-какие новинки. В XVII—XVIII вв. огнестрельное и холодное оружие стало украшаться насечкой. При этом использовалась тонкая золотая и серебряная проволока. (*Ниметулла*, 2002. С. 19). Появлялись и новые технические находки, позволявшие производить новые типы оружия. Например, ранее неизвестные плоскоствольные ружья, заряжавшиеся двумя пулями, соединёнными медной проволокой длиной до 20 см, распрямлявшейся после выстрела. Почти полностью исчезли старинные луки, хотя пики-копья сохранили какое-то значение.

Трудно сказать, в каком соотношении находилось в конце истории ханства производство холодного и огнестрельного оружия. Мы можем лишь констатировать, что первое использовалось всё же чаще. Об этом говорит простой перечень запасов одного из городских арсеналов (Карасубазарского) на момент аннексии: сабель 2576, ружей 800, пик 475, пистолетов 135 и луков 95 (*Кондараки*, 1883, II, 43). К сожалению, не существует никаких данных о вывозе оружия, где, возможно, упомянутое соотношение было иным.

#### д) Ювелирное искусство Крыма

Как известно, европейские ювелиры Нового времени использовали не только драгоценные металлы и благородные камни, как в более ранние времена, но и такие материалы, как бронза, медь и поделочные камни. Ценность изделиям, изготовленным из этих сравнительно недорогих материалов, придавали тонкое мастерство и художественная фантазия их авторов, в том числе крымскотатарских.

Правда, чаще всего медные или лагунные серьги, подвески или броши покрывались золотой фольгой (*йылдылы алтын*), так что их было трудно отличить от украшений, сработанных из настоящего золота. Однако крымские ювелиры славились главным образом своими шедеврами, созданными в совершенно иной технике — филигрании или скани (*чильтер*)<sup>1</sup>. При этом золото использовалось относительно редко; по крайней мере, в украшениях предпочтение отдавалось серебру. Современная исследовательница объясняет это следующим образом: «сдержанная колористическая гамма костюма удачно оттеняла блеск этого благородного металла» (*Ниметулла*, 2005. С. 20).

Так же как лудильщики «доводили до ума» медную посуду, окончательное завершение оружие получало в руках ювелиров. Ножи, стволы ружей, пороховые рожки, сабли украшались серебряной насечкой. Отдельные металлические детали оружия, а также воинские доспехи покрывались позолотой или серебрились.

Крымские ювелиры изготавливали из чистого серебра и особо чтимые в ритуалах и быту дорогостоящие предметы — бокалы и кувшинчики для священной воды зем-зем, маленькие подносы, на которые ставили напитки для уважаемых гостей. Как правило, эти изделия украшали растительными узорами, выполненными в технике чернения серебра, иногда гравировки.

#### е) Ткачество, ковры и искусство вышивки

Несмотря на многочисленные посевы льна, ни волокно, ни пряжу из Крыма не вывозили по причине постоянно растущего внутреннего потребления. Часть сырья использовалась прямо на месте его произрастания, в местных сельских мастерских. Но здесь производились лишь сравнительно грубые ткани для до-

<sup>1</sup> Филигрань — ювелирная техника двух видов. Первый — узор из золотой или серебряной проволоки (свитой или гладкой), напаянный на металлическое изделие. Второй — металлические кружева, «связанные» посредством пайки из проволочек различной плетения и толщины. Первая называлась фоновой, вторая ажурной. Крымские мастера в совершенстве владели обеими техниками.



Типичная жилая комната крымской семьи. Справа — домашний ткацкий стан. Из собрания издательства «Тезис»

машнего шитья одежды. Основная же масса сырья разбиралась ткацкими мастерскими крупных ремесленных центров. Там, на гораздо более совершенном оборудовании «татары ткут тончайшее полотно», — записывал итальянский гость Бахчисарая, не скрывавший своё восхищение местными мастерами (*Дортелли*, 1902. С. 131). Ещё более высоко оценивал крымское льняное полотно турок, не имевший возможности купить его на родине: «Ни в одной стране не может быть таких тканей с белой кромкой и разноцветных рубашек, как в этом [Бахчи]Сарае...» (*Челеби*, 1999. С. 53).

Крымские татары умели прясть любое волокно, в том числе шёлк. Причём прядение было настолько распространённым, что коконы разматывали и сучили из них нити даже мурзинские жёны — это был один из довольно дорогостоящих видов рукоделия (*Holderness*, 1821. P. 15). Но несравненно шире было распространено прядение хлопка, шерсти и льна. Для семейных надобностей нитки сучили при помощи веретена.

Тщательно выщипанную пряжу помещали в деревянный или роговой цилиндр с гребневидными стенками, стоящий вертикально на окончании штока, укрепленного на круглом деревянном основании. Затем левой рукой женщины понемногу выдёргивали из гребня пряжу, «...а в правой руке у них веретено в 5 дюймов длины [12–13 см], на верхнем, толстом конце которого приделана шпулька, чтобы наматывать нитки. Работающая женщина правой рукой так искусно приводит веретено в кругообразное движение, что шерстяная нить в 3 фута [93 см] скручивается. Если эта нить туго натягивается, то её отцепляют, и той быстроты, с которой веретено вертелось, достаточно, чтобы готовая нитка намоталась на шпульку. Потом нитку опять зацепляют и снова дёргают шерсть из гребня, а большим и указательным пальцем крутят веретено» (*Шатилов*, 1857.



С. 28–29). Кстати, уже в XVIII в. в Крыму наряду с веретеном использовалась весьма совершенная прялка (*Holderness*, 1821. P. 15).

Ткацкие станы — *тезья* — изготавливались из местных пород дерева. Они были самого обычного, то есть принятого в Европе типа. Как правило, станы хранились в нежилой половине крымскотатарского дома в разобранном виде, не занимая много места. И лишь когда накапливалось достаточное количество пряденых ниток, ткацкие станы быстро собирали в тёплой комнате (ткали в основном зимой), где и изготавливались материи разных видов и расцветок. Путешественники отмечали, что в Крыму встречаются необычно *широкие* ткацкие станы, к сожалению, не приводя точных технических данных на этот счёт (*Holderness*, 1821. P. 15).

Наиболее известной была *атма* — лёгкое льняное или хлопчатобумажное полотно. В глухих деревнях, где не было своего хлопка или льна, а базары были далеко, атму иногда ткали и из пеньки. После тщательного вычёсывания такая пряжа становилась достаточно чистой и эластичной, но ткань выходила более тёмной и грубой на ощупь. Для особо тонкой атмы иногда покупались готовые привозные нити *бурма*, из них полотно получалось тончайшим, почти прозрачным и невесомым. Изготавливали атму на всей территории ханства, но самой качественной считалась ногайская, за ней специально ездили в степную часть полуострова.

Бархат (*кадифе*), занимавший столь важное место в женском костюме (см. ниже), изготавливался в технике, напоминающей ковроткачество. Были различные виды бархата, как для изготовления одежды, так и для обивки мягкой мебели. Последний был более толстым за счёт начёса, его называли *чатма кадифе*. На нити для основы крымского бархата шёл шёлк-сырец, а для утка использовали лён и даже хлопок. Позднее бархат стали делать целиком из хлопковой пряжи.

Наряду с одноцветным полотном кустарным же образом изготавливались узорчатые ткани. Для окрашивания пряжи и тканей использовались три основных типа натуральных красителей. Для получения красного цвета употребляли сушёный корень марены (она росла близ Керчи) и привозную кошениль (*кермес*); для голубого — растительный кубовый краситель индиго (сейчас им красят джинсовую ткань), и для жёлтого — настой ягод крушины. Чтобы краска не выцветала и не теряла цвет при стирке, пряжу или готовую ткань обрабатывали квасцами. Специально занимавшаяся крымским ткачеством и национальным костюмом крымских татар Л.И. Рославцева сообщает, что имелось несколько видов узорного ткачества, позволявших изготавливать полотно трёх сортов:

1. *Атма орнеги сачме* («ткань с рисунком вразброс»). Большая часть такого полотна была гладкой, лишь концы его заполнялись узором различного рисунка и цветовой палитры. Ширина ткани также была разной, в зависимости от предназначения готового изделия (в основном из такой атмы делали полотенца, а также женские шальвары с узорчатой каймой понизу, у шиколоток);

2. *Атма кыррыз* («кипрская ткань»). Такое полотно было гораздо более плотным и толстым. При его изготовлении применялась техника, схожая с паласной. Для основы бралась обычная нить, а уточная была несколько толще. При тканье она подбивалась после каждого прохода утка, так что основа становилась совершенно незаметной. Такая техника позволяла исполнять орнаменты любой сложности, при этом цветовые пятна приобретали особую сочность, яркость и чистоту.



Ногайские женщины. Из собрания музея Ларишес

ту, их не «затуманивали» нити основы, как бывает при обычном тканье. Этот вид ткани использовался чаще всего в декоративных целях, а также при изготовлении некоторых деталей национального костюма.

3. *Тахталы* («досочная»). Название этого вида атмы идёт от дощечки-бралницы, которой пользовались в ткацком процессе. Готовая ткань напоминала вышивку, так как узор из настила цветных ниток был ощутимо выпуклым, да и чередовался он на лицевой и изнаночной сторонах. Тонкие сорта такой ткани шли на шарфы и скатерти, более плотные на пояса, наволочки, передники (Рославцева, 2000. С. 12–14).

Шерстяных тонких тканей производилось очень немного. Самым большим спросом пользовалось толстое белое или коричневатое-бурое сукно, использовавшееся для шитья накидок и мужских брюк *сакма-штан*, незаменимых во время работы под открытым небом, особенно в холодное время года.

К ткацким изделиям относятся и крымские безворсовые ковры или *килимы*. Они также изготавливались из овечьей шерсти, окрашенной органическими красителями, сырьём для которых служили кора, корни, листья местных растений. Всего разновидностей ковров было три.

*Орта-килим*, использовавшийся для застилания пола мечети или жилища (иногда им украшали и стены), был квадратной формы, обычно размером 2,84 на 2,84 м. В его центре находилось прямоугольное поле, заполненное орнаментальными узорами. Этот картуш окружали прямоугольные рамки, широкие и узкие, различных цветов, на которых располагались декоративные фигуры в виде стилизованных растений в различных цветовых сочетаниях.



Килим типа орта. Колл. Хан-сарая

Килим типа кобек. Колл. Хан-сарая

*Кобекли-орта* был более крупным изделием прямоугольной формы (3,58 на 2,93 м) и использовался в тех же целях. Его центральная часть представляла собой пять концентрических рядов вытянутой ромбовидной формы, состоящих из ромбов же, расположенных вокруг сравнительно небольшого центрального фрагмента, так называемого «пупка». Поле между этими рядами и краями килима заполняла три рамки, в которых помещались орнаментальные фигуры в виде сильно стилизованных растений в различных комбинациях.

*Раппортные* килимы представляли собой обширное центральное поле слегка вытянутой прямоугольной формы, заполненное повторяющимся геометрическим узором, расположенным в виде линий, расположенных слегка наискось (отнюдь не по диагонали). Края такого килима окаймлялись тремя-четырьмя широкими полосами рамочной формы. На них ткался узор из деталей, более крупных, чем в центральном поле. Цветовая гамма раппортного килима могла быть самой различной, но рамочные полосы, как правило, контрастировали друг с другом. Раппортный килим (колл. Хан-сарая).

*Намазлых*, или молитвенный коврик шириной в 1 м и различной длины имел светлое центральное поле, заполненное рядом крупных повторяющихся фигур на растительные мотивы. В верхней части этого килима имелось килевидное или арочное декоративное завершение, называвшееся, как и главная деталь интерьера мечети, *михраб*. Центральное поле окаймлялось рядами чередующихся узких и широких рамок с более мелкими однородными фигурами, как правило, представлявшими собой *чичекли-череп* — вазу с цветком, сильно стилизованную. Граница среднего поля и закрыты намазлыха отмечались волнистыми линейными полосками; эти его части так и назывались — *су* (вода). Общая тональность этого вида ковров — синяя, коричневая и белая (Боданинский, 1928, С. 65–75; Чурлу, 2002, С. 261–263).

Великолепного развития достигло в ханском Крыму искусство вышивки. В столние века существовал цех *казазы* (вышивальщиков), который считался одним из самых статусных среди ремесленных цехов. Заказы поступали не только от простых горожан, но и от духовенства, бейско-мурзинской знати и из ханского дворца.

Вышивкой цветными нитями и золотом украшались не только ханские и дворянские одежды, но и подушки, туа, футляры для Корана и даже конские чепраки. Расшивались и полотенца, имевшие различное назначение: *юзбез* для лица, *тизбез* для омовения (клатось на колени) и *омузбез* (на плечи), *эльбез* для рук и т. д. Богато расшивались мужские пояса *учкуры*, такие предметы женского убора, как *марама*, *шербенги* и некоторые другие.

Вышивкой занимались не только в цехах. Этому искусству отдавали свободное время крымские женщины буквально всех сословий. Очевидно, такая популярность вышивки отчасти объяснялась несколько ограниченным выбором занятий и развлечений для женщины-мусульманки. Но дело было ещё и в находившем здесь своё воплощение тонком чувстве прекрасного, богатой фантазии, художественном вкусе, необходимости творческого самовыражения, хорошо известной всем артистическим натурам. Расцвет искусства крымскотатарской вышивки относится к XVI–XVII вв.

В татарском Крыму насчитывалось 10 техник вышивки — *Татар ишлеме* (глухая гладь двустороннего шитья без предварительного бумажного настила), *Букме* (шитьё золотыми или серебряными шнурками, в редком случае из цветного шёлка по плотной материи), шитьё драгоценными камнями, плетение кружев особого, крымского рисунка, воздушным узором покрывавших уже готовое платье и так далее. О многом говорили и сюжеты вышивок: по ним можно было судить не только о профессиональной принадлежности будущего хозяина убора, но и о происхождении самой мастерицы. Так, если пояс жениха вышивался лодками и рыбами, значит, он предназначался рыбаку; если узор представлял собой «полную розу», тюльпан, гвоздику, ветку, покрытую листьями, значит, вышивальщица родом из Восточного Крыма. И часто даже манера вышивания зависела от региона проживания мастерицы: так, например, изделия, исполненные в технике *эсаб* (прозрачное шитьё), шли из Отуза, Коза, Южного берега, более нигде не встречаясь (Ченурина, 1938, С. 5, 45–46, 50).

«Ткать и вышивать считалось престижным занятием для ханских жён, жён беев и муз. Эти ремёсла были обязательными для женщин простого происхождения. Каждая должна была производить бытовые предметы (текстиль) своими руками. Крымские татарки шеголяли друг перед другом мастерством владения ремеслом. Девочки обязаны были под руководством мам и бабушек подготовить вместе с родственниками большое количество вышитых и вытканых предметов, игравших важную роль в свадебном обряде и быте. Орнаментальные формы в шитье переходили наследственно по женской линии от матери к дочери, из рода в род. В народной среде, как правило, выделялись талантливые рисовальщицы-орнаменталистки, которые чертили рисунок соседям, односельчанам, придумывали новые узоры, владели в совершенстве техникой шитья» (Чурлу М. Яркий стиль крымских вышивок // ГК, 21.10.2005. С. 7).

### ё) Деревообрабатывающие ремёсла

Столярное и плотничное ремесло получило широкое развитие ещё в античном Крыму и после этого уже не затухало. Инструментарий полностью сохранялся на протяжении веков, и в эпохи, когда северные соседи ещё не знали ни пилы, ни рубанка, в Крыму были повсеместно распространены полный столярный инструментарий. Лишь в Новое время украинцы и русские заимствовали некоторые столярно-плотничные инструменты у крымских татар, но далеко не полностью; им остался, например, неведом такой удобный и для некоторых работ незаменимый инструмент, как *чот* (топорик с лезвием, перпендикулярным топоричу). Что же касается обычных для Крыма, простейших токарных станков по дереву, то они получили всеобщее распространение среди столяров России и Украины лишь в XVIII в. (кое-где станки встречались там и раньше).

Крымские плотники были в основном заняты на строительстве, а вот для столяров поле деятельности было более широким (кажется, некоторое время эти две профессии не разделялись, мастер-*дюльгер* был в этой области универсалом). Помимо традиционных столярных изделий эти специалисты широкого профиля в значительной мере «узурпировали» в Крыму работы, в других странах являвшиеся монополией краснодеревщиков (имеется в виду производство мебели). Объясняется это просто: вся мебель крымскотатарского дома состояла из полокомусандр, простых стальных шкафчиков да сундуков, а ведь такие изделия из соны — типично столярная работа.

Мастера-краснодеревщики появились здесь значительно позже. Вначале продукция их цехов состояла главным образом из ажурных дубовых или грабовых оконных решёток или *чильтеров*, без которых было трудно представить себе дом богатого или просто зажиточного горожанина. Они требовали от их создателей особого мастерства, эти сложные изделия, тонко передававшие своими сплетениями изящную вязь традиционного крымского орнамента. Но уже тогда в Крыму изготавливались наборные или инкрустированные черноморским перламутром столики-*курсе*, (раньше их завозили из Турции), а также подставки для трубок тонкой резьбы, сплошь покрытые растительным орнаментом, более простые полированные колонки для огораживания веранд и галерей и многое другое.

Но, пожалуй, самым массовым видом столярной продукции были детские колыбельки, которые покупались всеми, вне зависимости от достатка — это был вопрос чести семьи. Изящные изделия такого рода мастерились из твёрдых пород дерева; хорошо высушенные брёвна вначале шли на заготовочный распил, а затем из брусков на токарном станке точились стройные, хрупкие на вид баясинки. Их окрашивали, ложили и собирали колыбельки, чаще всего по одному для каждой мастерской образцу. Обыкновенные же, недорогие колыбели изготавливали на местах, даже в небольшом селении мог быть свой мастер-*бешикчи*.

С течением времени спрос на краснодеревные и другие работы по дереву (бондарные, например) отнюдь не падал. Об этом говорит тот факт, что к концу XVIII в. на бахчисарайской улице, к примеру, насчитывалось: 23 кузницы, 5 оружейных и всего 4 горшечных мастерских, тогда как краснодеревщики-резчики имели 7 мастерских, чубуки делали в 8, бочки тоже в 8, а деревянную посуду в 19 местах (Паллас, 1793. С. 77).



Колыбель старинного образца. Фото из собрания издательства «Тезис»

В лесных сёлах столяры занимались изготовлением более крупных деревянных изделий, которые в городских лавках продавать было бы затруднительно. Поэтому их заказывали и забирали прямо из мастерских, зачастую находившихся высоко в горах. Так, в районе Ялты и Бельбекской долины работали мастера, собиравшие виноградные прессы двух типов: *тарапаны* и *скендже*. Оттуда же расходились по всему Крыму *мажары*, *арбы*, деревянные вилы, грабли и лопаты обычные и *бешпармаки* («пятипалые», то есть лёгкие, вроде огромных плоских вилок для веянья зерна, или более короткие и мощные для ломки пластов соли), надёжные топорича, черенки для кос и лопат. Там же делали из граба ярма для буйволового и воловьих упряжек, вьючные сёдла и так далее (Ханацкий, 1867. С. 235). Этими изделиями долгое время спустя славились и мастера Богатырской волости Ялтинского уезда (Терджиман, 22. 10. 1888).

Наконец, в Крыму никогда не исчезала «народная», то есть внецеховая обработка дерева. Крымский татарин генетически является мастером-универсалом, возможно, не такой высокой квалификации, как узкие профессионалы, но способным, в частности, полностью обеспечить потребности своего дома (крестьянского двора) в столярных или плотничных работах. Впрочем, в некоторых (главным образом, лесных) деревнях такие народные мастера принимались за производство и товарной продукции: «Коккозские татары выделывают деревянную посуду, лес для которой они вывозят со страшно высоких гор...» (Паллас, 1793. С. 159). Там же сверлили из жасминового и черешневого тонкоствольного подроста чубуки для трубок, которые вывозили и в Турцию (Демидов, 1853. С. 331–332). Известны были и судакские, и таракташские мастера, которые «делали разнообразные деревянные изделия не только для своих, односельчан, но и для всей степной части Крыма» (Чеглок, 1910. Т. II.

С. 71). А из кизила получались лёгкие и прочные трости, которые шли на экспорт в Турцию.

Делом крымских мастеров было и изготовление разнообразных транспортных средств — от грубоватых, но прочных телег или *мажар*, до ручных повозок. Одним из самых известных в этом отношении селений также были Коккозы. Телеги коккозского производства славились по всему горному Крыму. Это и неудивительно: местные тележники, соревнуясь друг с другом, достигали вершин мастерства; существовали целые династии тележников — *арабаджылар*. А в целом число мастеров в этом крупном селе (около 230 дворов в 1830 г.) доходило в ту пору до трёхсот (Арекет, 28. 02. 2005. С. 5).

### ж) Обработка камня

У Кутлака и неподалёку от него на Тюльчик-кае (у Судака) были известны целые скалы из так называемого *жернового камня* (вид гранита). «Татары ломают его с большим трудом. Они сбрасывают его с горы и уже внизу обрабатывают, продавая его по разным ценам — от 30 до 40 рублей за пару». В окрестностях Токлука и Коз, где на склонах горы Буюк-Сырт и других местах ещё в древности были обнаружены выходы серого песчаника, ломали плиты этого камня, которые после обработки употреблялись «на жомы винограда и постройки мостов», из этих плит тесали и надгробные *мезар-таши* (Паллас, 1793. С. 191, 195). Понятно, что мастерство такого каменотёса-*ташичи* ценилось весьма высоко.

Естественно, произведения каменотёсного искусства расходились по селениям всего полуострова. Однако из-за сложности их транспортировки там, где собственных каменотёсных мастерских не было, предпочитали делать заказы, лишь тщательно рассчитав расстояние до ближайшего ремесленного центра. Так, например, мезар-таши гёзлёвских кладбищ были ослепительно белого цвета, их в готовом уже виде доставляли морем с противоположной стороны Каламитского залива, из Инкермана. В Инкермане пилили и строительный камень, причём его поставляли не только на внутренний рынок. Белоснежный этот известняк вывозили ещё колонисты-римляне, и немало домов Вечного города и вилл вдоль берегов Тибра было сложено из крымского камня (Соколов, 1869. С. 69).

Особым почётом в Крыму всегда пользовались мастера-камнерезы. Спрос на их продукцию был огромен. Они высекали высокохудожественные закладные камни и надпортальные мраморные доски *тарихи* для строившихся дворцов, мечетей и текие, каменные детали для них, а также узорчатые балкончики (иногда со сквозными прорезями) для минаретов. Торжественные порталы в мавзолеях *дюрбе* были тоже их рук делом. С особенной любовью и старанием изготавливали мастера каменные плиты или целые композиции для *чешме* и фонтанов, украшая их орнаментами и каллиграфически выполненными текстами. Но, конечно, самыми многочисленными были заказы на надгробные памятники — от простых плит до сверкающих шлифованными плоскостями мраморных или известняковых стел и гробниц для почивших членов знатных семей.



Каменные жернова.  
Из коллекции Одун-базар-капусы,  
фото Леньяры Абибулаевой

Надписи, которые крымские резчики копировали с эскизов, готовившихся крымскими же каллиграфами *хаттатами*, могли исполняться в одном из классической «семёрки» арабско-турецких почерков (самым распространённым в Крыму был традиционный *сульс*). Что же касается стилей декоративного украшения каменных изделий, то здесь поле для заимствования было более широким — от орнаментов, принадлежавших наброскам итальянского архитектора, автора Железных дверей в Хан-Сарае Алоизио дель Нуово, до сельджукских геометрических «цепей» и того же стиля растительных розеток и орнаментов. Примером таких шедевров камнерезного искусства могут служить сохранившиеся до наших дней саркофаги и стелы на Ханском кладбище Бахчисарая или пилоны с резными капителями ханского мавзолея, сооружённого в 1501 г. Менгли-Гиреем для своего отца Хаджи-Гирея. Гораздо более позднее резное убранство стен и минарета мечети, выстроенной в Коккозе по заказу Ф.Ф. Юсупова, свидетельствовали о прочности традиций крымских мастеров: они не утратили своего искусства и в XIX—XX вв.<sup>1</sup>

Некоторые историки искусства утверждают, что крымские мастера использовали в своём творчестве и древние орнаменты, относящиеся к ещё доисламской эпохе. Такие образцы были отмечены на каменном декоре мемориальных сооружений Эски-Юрта: эти орнаменты представляют собой как геометрические, так и растительные плетёнки, судя по всему, заимствованные бахчисарайскими мастерами в Феодоро и других местах длительного обитания коренного населения полуострова.

<sup>1</sup> Редкий случай: в памяти жителей Коккоза сохранилось имя Усейина Тохтаргазы, резчика, некогда работавшего над каменным декором этой мечети (Червоная, 1994. С. 178).

### з) Крымская керамика

Изготовление черепицы или посуды из обожжённой глины считалось делом столь же привычным и необходимым, сколь и малозначительным. Как, к примеру, производство кастрюль в современном Париже, слава которого не в кастрюлях же! То есть керамическое производство играло важную роль в занятости населения, в сохранении культурных традиций этноса, но на эту сферу материальной культуры мало кто обращал внимание и ещё реже записывал свои соображения на этот счёт. Остаётся предположить, не рискуя ошибиться, что в XVIII в. крымско-татарские горшечных и черепичных дел мастера свою профессию знали, как и ранее, неплохо.

Во всяком случае, проблем с нехваткой керамической тары или кровельного материала в Крыму не возникало. Лишь крайне редко можно обнаружить похвалу отдельным местностям, славящимся особым качеством керамики. Да и то внимание обращалось на сырьё, а не на мастерство: отмечалось, например, что близ Старого Крыма «есть чистая глина, подобная китайской амбровой глине, из неё производят различные кувшины, кружки, миски для воды и чашки для [шурпы]» (Челеби, 1999. С. 82–83). Общий профессиональный уровень крымских гончаров и черепичников был *вынужденно* высок, иначе они бы по миру пошли. — в этом краю мастеров всегда хватало конкурентов...

Крупным центром керамического и гончарного производства было село Саблы на правом берегу Альмы, где были выходы великолепной глины. Гончарная продукция выпускалась здесь в таком количестве, что её практически хватало для того, чтобы полностью удовлетворить спрос Ахтиара, Акмесджита, Гёзлёве и Ялты (Деревня, 1927. С. 104).

Там, где гончарной глины не было или месторождение было бедным, мастера-керамисты всё равно имелись, просто они изготовляли мелкие предметы, не требовавшие большого расхода материала. Так, к примеру, в Бахчисарае формовали головки трубок, которые курильщики предпочитали всем иным, поскольку стоили такие трубки недорого, а вкус у дыма был чище, чем при использовании деревянных головок. Трубки эти изготавливали, прессуя глиняную массу в формах, только такой метод позволял ставить производство на поток, ведь глиняных головок постоянно требовалось невероятно много. Использовалась при этом почему-то синяя глина. Причём не из эстетических соображений — готовое изделие всё равно после обжига окрашивали в красный или чёрный цвет (Шатилов, 1857. С. 55).

### и) Строительное искусство

Крымские строители, вобравшие в своём искусстве опыт, технические приёмы и архитектурные традиции десятка народов, по праву славились на всём мусульманском Востоке. К сожалению, наиболее древние постройки эпохи Крымского Юрта и начального периода истории ханства почти не сохранились: дошедшие до наших дней памятники можно буквально посчитать по пальцам.

Однако преемственность крымских строительных традиций существовала, и это со всей ясностью можно увидеть на примере здания Зинджирлы-медресе



Эски-дюрбе, Бахчисарай. Гравюра, музей Ларишев  
Джума-джами в «египетском» стиле близ Бахчисарая. Открытка начала XX в.

в Салачике. Как утверждают специалисты, «форма коробовых сводов помещений медресе, подпружных арок куполов дворика схожи с боковыми сводами, подпружными арками и куполом Малой мечети (XVI в.) в Ханском дворце. Черепичное покрытие Малой мечети аналогично покрытию купола Мавзолея Хаджи Герая. Представляет интерес и бутовая кладка коробных сводов северных помещений медресе, она схожа с кладкой куполов из бута в Эски-Дюрбе (XV в.) и в дюрбе Мехмед-шах бея (XV в.) в предместье Бахчисарая Кырк-Азиз» (Мамутова З. Хан сам заложил первый камень и вошёл... // Авлет, 11. 06. 2007. С. 8).

После некоторого упадка строительного дела во второй половине XVI в., уже в XVII в. начинается новый его подъём, особенно в крепостном зодчестве. Возведение крепостных стен, гражданское строительство велось во всех без исключения городах Крыма. Приведём наиболее впечатляющий пример: работы в Гёзлёве, городе, пришедшем в Новое время к совершенному упадку. Современники отмечали, что в XVII в. только «...по его остаткам можно [было] видеть, что раньше здесь был город, построенный квадратным очертанием и обведённый стеной. Юзлёв стоит на равнине близ моря, слабо защищённый невысокой стеной без рвов...» (Дортелли, 1902. С. 119).

Но вот было решено восстановить старинную крепость в полном её блеске. Тысячи людей копали и долбили наружный ров, а вынутые глыбы ракушечника тут же пилили на квадраты и несли их по деревянным лестницам наверх, к поднимающимся с каждым днём всё выше стенам, охватывавшим город двойным кольцом. Одновременно шло строительство новых административных и общественных зданий внутри крепостных стен:

«Мехмет-ага, нынешний визирь хана, начал строить в этом году великолепный хан, или караван-сарай, как убежище для купцов и горожан. Этот хан имеет очень высокие стены из дикого камня и по четырём сторонам двора сводчатые помещения в два яруса; стены с бойницами и охраняются часовыми, так

что поверху стены можно расхаживать вполне безопасно. Подобное здание можно бы называть не ханом или караван-сараям, то есть обыкновенным заезжим двором, а сильным и надёжным замком, более обращённым к морю, чем к суше». (Дортелли, 1902. С. 119). Здесь же автор объясняет причину былой незащищённости города, практическое отсутствие крепостных стен тем, что крымским татарам ранее на своей земле некого было опасаться, но времена переменялись, всё чаще стали нападения с севера, отчего город вновь стал укрепляться.

Через некоторое время, когда строительный период закончился, внешний вид города разительно изменился. Сопровождавший Б.Х. Миниха в его походе К.Г. Манштейн, не пытаясь скрыть своего восхищения крымскотатарскими строителями, отмечает: «Козлов окружён прочною каменною стеною, снабжённою большими башнями; ров очень широкий и высечен в скале. Гавань хорошая и большая, способная вместить до 200 судов. Это самый торговый город в Крыму, в нём до 2500 домов, большею частью каменных и несколько красивых мечетей, есть и христианские церкви в предместье» (Манштейн, 1875. С. 82).

#### к) Ремесло в целом. Цеховые уставы и традиции

Ремесленники в крымском обществе были людьми уважаемыми: обладание профессией издавна считалось особым достоинством человека, причём во всех исламских странах. Причина проста, ведь все самые почитаемые пророки владели каким-то ремеслом или профессией: Адам был земледельцем, Нух — плотником, Ибрагим — ткачом, Дауд — кольчужником, Сулейман — кузнецом, Идрис — ткачом.

В целом же ремесло в исламских регионах, в частности, на Ближнем Востоке и юге Европы, традиционно было весьма развитым. Крым в этом смысле не составлял исключения. Согласно старинному списку (*Эснаф-наме*), обнаруженному в Бахчисарае в 1920-х гг., в городе некогда процветало полсотни ремёсел (Боданинский, 1930. С. 22). Но здесь, в предгорном регионе полуострова, не могли быть представлены многие профессии, связанные, к примеру, с мореплаванием, добычей и переработкой рыбы, соли, со степным хозяйством и т. д. То есть во всём ханстве этот список ремёсел был куда больше — всего их насчитывалось 72.

О соотношении различных ремёсел в крымскотатарском городе без точных статистических данных (их попросту нет) судить трудно. Впрочем, некоторое представление об этом может дать численность лавок-мастерских одного из крупнейших ремесленных центров, Бахчисарая. Здесь в конце XVIII в. насчитывалось: «мельниц над Чурюк-су 5; лавок 517, из них 121 с шёлковыми и другими красными товарами; 41 лавка с сёдлами и другими кожаными вещами очень красивой работы; лавок со съедобными вещами 135; с обувью 24; 23 лавки, где продают ножи...; 5 лавок с котлами и металлической посудой; 10 цирулен; 19 лавок портных; 6 серебряников; 5 оружейных мастерских; 8 башмачников; 19 лавок с деревянной посудой и другими лесными поделками; 5 где делают шерстяные канаты и другие верёвки; 8 бондарных; 7 лавок с бурками, плащами от дождя и прочим; 4 горшечника; 8 лавок с трубками и чубуками; 20 пекарен; 13 кожевенных заводов; 6 кузниц; 13 лавок, где продаётся крепкий напиток, приготавливаемый татарами из проса (*буза*); 13 свечников и 7 лавок, где производятся резные работы

на дереве» (Паллас, 1793. С. 77). Напомню, на момент этой справки город далеко не насчитывал и 6000 жителей.

По-прежнему, как в старые времена, сохранилась традиция посвящения в мастера. Этому торжественному событию посвящался особый праздник ремесленников, *Реван* (букв. «идуший»). На Реван считали своим долгом прийти все мастерские цехов города, мастера-надомники из прилежащих деревень и просто горожане, в том числе самые почётные. Такой праздник-экзамен был важной частью национальной культуры крымских татар, поэтому стоит описать его более подробно.

В V очерке первого тома упоминалось вкратце, что ремесленники Крыма уже в эпоху позднего Средневековья были прекрасно организованы и обладали не только собственной, причём весьма интересной субкультурой, но и неплохими средствами и методами её сохранения и защиты. Являясь плодом длительного развития общенародной культуры, мусульманского права, самого ремесла и связанных с ним законов, обычаев и традиций, эти средства оказались в силах противостоять всевластному времени. Последний знаток Ревана и иных цеховых реалий, карасубазарский *накыб* Сеид-Халиль, давал этнографам интервью уже при советской власти. При этом он не только рассказал о массе сохранившихся с глубокой старины обычаев, но и предьявил исследователям средневековые *сулеф-намэ* — цеховые уставы, которыми *уста-баши* (мастера, стоявшие во главе цехов) руководствовались практически до воцарения в Крыму большевизма (Гордлевский, 1928. С. 57).

И цеховые традиции были настолько сильны и жизнеспособны, настолько не соответствовали духу нового, обезличенного, советского производства, что о них шёл серьёзный и обеспокоенный разговор в центральных структурах СССР. При этом «крымская цеховщина» рассматривалась как крайне вредное и опасное явление, как сохранившая свою силу этнокультурная реалья, успешно противостоявшая советским нововведениям и, в частности, коммунистическим псевдо-профсоюзам (Смирнов, 1931. С. 46–47).

Для того, чтобы выявить все связанные с крымским ремесленным производством исторические реалии, приметы и традиции, необходимо отдельное исследование. Поэтому здесь придётся ограничиться вышеупомянутым сюжетом — праздником Реван, дающим достаточно широкое и верное представление как о духе правовых традиций, так и о быте и нравах ремесленников, этой немалой части крымскотатарского народа. Кроме того, Реван — прекрасный пример важной части мусульманской религиозной практики<sup>1</sup>, сохранившей все свои

<sup>1</sup> В ритуальном комплексе Ревана центральным является учение о *пирях*, то есть неземных покровителях традиционных цехов, высших, сверхъестественных старейшинах ремёсел. В число пиров входили архангелы, ангелы, а также люди, которые за выдающиеся заслуги получили от Аллаха глубокие знания в той или иной профессии и заботились о просвещении человеческого племени. Первым пиром был пророк Адам, научивший своих детей ремеслу земледелия. Сам же Адам был посвящён в мастера ангелом Джибрилом, который лично надел на него *пешталим*, то есть передник мастера. Но Джибрил с той поры покровительствовал людям иной профессии — пекарям и поварам. Верный сподвижник Мухаммада, простой смертный Салман ал-Фариси стал пиром широльников, другой последователь Пророка, Увайс ал-Къурани наставлял чабанов верблюдов, цех

средневековые черты и особенности в удивительной целостности практически до новейшего времени.

Крымский татарин мог приобщиться к славному ремесленному сословию начиная с 10–11 лет, когда отец отдавал его мастеру-уста в ученье. Отныне он отличался от сверстников тем, что звался *шекирдом* — и это была первая ступень в восхождении к вершинам мастерства и признания. Работал такой ученик не бесплатно: во-первых, ему гарантировалось место за общим обеденным столом рядом с остальными работниками мастерской и самим хозяином. Во-вторых, мастер оплачивал его еженедельную стрижку, а также обучал таким важным вещам, как неукоснительное и правильное отправление молитв, соблюдение поста и т. д. Таким образом, мастер брал на себя заботу о телесных потребностях шекирда, его духовном и профессиональном развитии. Поэтому отец, приводя мальчика в мастерскую, не слишком кривил душой, произнося ритуальную фразу передачи мастеру важнейших прав на его сына: *Эти — сенин, кемиги — беним!* («Плоть — твоя, кости — мои!»).

Быт мастерской не менялся веками, то есть сохранял самые патриархальные черты. Хозяин мог и подзатыльник ученику дать (побоев отнюдь не было, это просто шло бы вразрез с крымскотатарским отношением к детям; кроме того, отец ученика имел право обратиться к уста-баши цеха с жалобой на мастера, что грозило весьма нешуточным наказанием), отношения были почти семейными, вплоть до того, что под пятницу хозяин раздавал малолетним своим помощникам деньги на гостинцы, а более взрослым — материал, из которого они сами могли изготовить что-либо, годившееся на продажу. По вечерам мальчиков отпускали домой с тем, чтобы утром они были на месте к открытию мастерской. Длилось такое обучение по цеховому уставу 1001 день.

Но этот срок мог и удлиниться, пока мастер не сочтёт шекирда готовым представить свою искусность на суд *Лонджи*, то есть квалификационного Совета мастеров. Впрочем, бывало, что подросток оказывался необычно способным, тогда его умения оценивали до истечения 1001 дня, но угощение-кебаб для Совета коллег тогда оплачивал не мастер, как обычно, а счастливые родители. Собравшиеся на Лондже рассматривали готовое изделие и, если оно соответствовало норме, то мастер давал своему ученику *дестюр* (разрешение), а тот целовал ему с благодарностью руку. Тут же решалась проблема трудоустройства молодого специалиста: это изделие выставлялось на публичный аукцион, где заплативший наибольшую цену забирал парня в свою мастерскую в качестве *калфы*, то есть подмастерья на определённом жалованье. Если же окончательная аукционная цена казалась бывшему хозяину низкой, то он имел право оставить новоиспеченного калфу в своей мастерской.

Калфы крымских цехов обретали ряд узаконенных прав, которые оберегал *калфа-баши*, секретарь главы цеха по делам подмастерьев. В калфах молодой че-

*куомджи-ве алтунджи* (ювелиров и филигранщиков) имели пиром Мухсина бин Османа и так далее. Отсюда следует, что, после Адама пирами стали многие его потомки, причём не только пророки. Кстати, этот процесс продолжается до наших дней. Так, в уже в XX веке пиром водителей грузового и легкового транспорта, стал пророк Дауд, таким образом расширивший круг своих подопечных-мастеров.

ловец оставался 3 года, после чего он проходил испытания у своего же мастера. И лишь при благополучном их исходе он снова предстал перед Лонджей, во главе которой восседал уста-баши соответствующего цеха. По её решению калфа переходил в мастера, но пока не в «полноценные». Настоящее посвящение в это высокое звание могло произойти только на празднестве, упоминавшемся Реване. До того новый мастер считался непосвящённым, *ревансыз*. И лишь после посвящения, он мог открыть собственное дело, торжественно прибыв над входом в мастерскую доску с ритуальной надписью: «Каждое утро моя мастерская открывается именем Аллаха, и шейх Мухаммад — мой пир и учитель!».

Но и теперь он не имел основных прав мастера, а именно, не мог держать в своей мастерской или лавке ни учеников, ни калф, ни иных помощников. Он годился в мастера, в ремесленники, то есть в самостоятельные труженики. Но для того, чтобы стать ещё и *воспитателем*, требовался дополнительный, то есть особый, великий Реван. Это случалось нечасто, лишь тогда, когда с точки зрения уста-башей накапливалось достаточное число мастеров, не прошедших окончательного посвящения. Бывало, что это ожидание могло затянуться до 20 лет и более (Обычай, 1870. С. 1). Очевидно, таким образом сохранялся баланс между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы.

Когда назначался день Ревана, то для проведения его прежде всего собирались деньги. Этим занимались «непосвящённые», вносявшие средства по достатку (обычно эквивалентно 5–15 рублям), но они имели право собирать деньги и у доброхотов. Если же средств всё-таки не хватало, то бедняк мог вложить в общую кассу символический взнос — горсть крымской соли, и этого было достаточно. Поскольку в цехах мусульмане работали вперемешку с христианами, то у каждого уста-башы было два калфа-баши, которые и готовили праздник в соответствующих общинах, и руководили технической стороной торжества. А дел у них было немало: нужно было организовать горячее угощение для гостей, пригласить музыкантов, заказать хаттатам письменные приглашения самым почтенным лицам города и округи, не забыть пригласить местных стариков и т. д. Средства же вносили не только ревансызы, но и цеховые кассы, которые выделяли деньги на покупку не менее 10 барашков от каждого цеха, приобретение ритуальных передников, многочисленных платков, предназначавшихся в подарки, муки, мёда, свечей, фруктов и т. д.

Торжество начиналось в городе, где празднично убиралась гостиная-*селямлык* (она могла устраиваться и на свежем воздухе, под навесом). В гостиную приходили почётные гости, а во дворе напротив выстраивались будущие мастера. На них кроме обычной одежды были передники, но повязанные пока наискось через правое плечо к левому бедру. Последним в селямлык являлся мулла, читал молитву, обращённую к пирам, затем все отправлялись за город, где и должен был происходить Реван. Туда с почётом везли накыба, остальные шли пешком. Такое многолюдное и красочное шествие занимало довольно длительное время (в Бахчисарае, например, Реван устраивали на берегу Качи — это более 6 км от города). Здесь гостей обносили горячим кофе, начиналось веселье, играла музыка. Вечером совершался общий намаз, после чего возобновлялись пляски, устраивался куреш. Затем следовал обычный ужин (шорба с катыком) и снова продолжались развлечения, иногда до утреннего намаза (*Домбровский*, 1862. С. 85–86).

После утреннего кофе веселье продолжалось до обеда, который уже был праздничным: всем подавали плов, отварную баранину и пр. И лишь после этого начинался сам ритуал посвящения. На центральное место усаживался городской накыб, на левой, почётной стороне от него располагались уста-баши земледельцев, башмачников и так далее до наименее почётного баншика, всего счётом 36 старейшин. Справа ряд начинался с уста-баши кожевенного цеха, затем, по убывающей, усаживались цирюльники, ткачи и так далее до двух «полуремёсел» — костоправов и повивальных бабок. Таким образом были представлены все 72 ремесла. Тут же стояли знаменосцы, каждый со своим цеховым *санджаком* — знаменем, представлявшим собой тонкий шест длиной чуть менее 2 м, обтянутый зелёной хлопчатобумажной тканью, на верхней оконечности которого находилась перпендикулярно прикрепленная дощечка со сквозной надписью *Аллах*. Калфы стояли в том же порядке, стройными рядами.

Происходил всеобщий молебен, причём молитву в честь пиров громко читал *сер-чешме* (помощник накыба), держа вышедшего из строя подмастерий калфу-баши за ухо. После молитвы калфа-баши первым подходил к накыбу и произносил исповедь, то есть ряд освящённых обычаем ответов на такие же ритуальные, веками не менявшиеся вопросы. Покончив с этой церемонией, *сер-чешме* шептал испытуемому на ухо древний традиционный завет: «*Никогда не закрывай своей двери, никогда не открывай чужой и работой столько, сколько достаточно для твоей жизни*». После этого калфа получал от него толчок в затылок — знак к целованию руки у накыба, который тянул его за ухо и тут же препоясывал калфу пештилимом мастера. Эти ритуальные «Мухаммадовы толчок и уходранье», считаются обрядом, безусловно, весьма древним (Обычай, 1870. С. 1).

Затем и остальные калфы по очереди подходили к накыбу и всё повторялось. По окончании довольно долгой церемонии мулла громко читал *ашыр*, соответствующий случаю текст из Корана, после чего каждый из бывших кандидатов считался уже полноправным мастером, *реванлы*. Затем несколько дней продолжались пиры и развлечения, в которых участвовало всё население города и гости из близлежащих деревень — также без какого бы то ни было различия по вероисповеданию. Устраивались скачки, состязания по народной борьбе-*курешу*, танцы. Лишь после того, как иссякали съестные припасы, заканчивался Реван. Остатки пищи раздавали бедным, сбережённые свечи шли в мечтебы, мечети и местные церкви, ведь жертвовали их не только мусульмане (Гордлевский, 1928. С. 60).

О том, сколько людей участвовало в реванах, в какую сумму они обходились и т. д., сказать трудно. Впрочем, в двух случаях сохранились некоторые цифры. Осенью 1898 г. Реван устраивали бахчисарайские *сабанджылар* (земледельцы). Близ поляны, где устраивался праздник, насчитывалось 800 повозок гостей, прибывших из других волостей. Всего за столы село более 12 000 человек.

Через два года в городе, в саду Орта-медресе состоялся Реван цеха бакалейщиков. Между деревьями было поставлено 612 отдельных столов, всего присутствовало почти 7500 человек, а принят в мастера был 461 калфа. Причём, как вспоминали очевидцы, среди них были бакалейщики всех возрастов, от молодых ещё парней до белоголовых стариков, ведь Ревана не было 34 года! Трёхдневный праздник обошёлся всего в 1100 рублей, так как деньги тратились

только на еду и кофе. Спиртное было не то что строго запрещено, за чем следили специально назначенные люди. Пить на реване было просто не принято, и хотя бахчисарайцы давно уже прикладывались к бутылке, но на празднике посвящения это было бы такой же дикостью, как пить в мечети: Реван сохранил мощную религиозную окраску.

На первом из двух описанных праздников 12 000 гостей веселились, пели, танцевали, криками подбадривали борцов и конных джигитов, но вместе с тем вели себя «столь чинно, что вся полиция изображалась молодым надзирателем и стариком городовым, но и им делать было нечего, ибо за три дня среди тысяч веселящегося люда не было ни одного пьяного» (Терджиман, 27.09.1898; 05.06.1900). Напомним, что именно к этим годам относится знаменитая трагедия Ходынки, где ринувшаяся к такому же бесплатному угощению толпа москвичей задавила насмерть полторы тысячи человек...

Итак, после окончания праздника мастер-реванлы обладал всеми правами хозяина мастерской. Но он имел и обязанности, первой из которых было соблюдение многочисленных правил цехового устава. Высокий статус мастера, например, подчёркивался тем, что ему запрещалось выходить из помещения мастерской или лавки в рабочей одежде, например, в переднике. Замеченный в этом нарушении мастер наказывался штрафом и закрытием мастерской на три дня. За повторное нарушение наказание удваивалось, в третий раз уста-баши выносили ещё более строгий приговор и общественное порицание.

Если клиент жаловался на некачественность изделия, то уста-баши, стоявший на страже доброй славы цеха и его мастеров, мог лишить виновного звания мастера. Менее строгим наказанием было временное лишение права работы: в мастерскую приходил посыльный-чауш, снимал с мастера передник, клал его на верстак (наковальню, если это была кузница и т. д.) и произносил древнюю традиционную формулу *Кафтаным бичильди!* («Твой кафтан уже сшит»), что иносказательно означало «Твоя мастерская работу закончила».

Высшее должностное лицо ремесленников города, накыб, получал своё звание, как правило, по наследству, поскольку им мог быть только потомок Мухаммада, а таких в Крыму было немного. Ниже накыба стояли цеховые старшины, уста-баши, которые хранили цеховые кассы, то есть профессиональные фонды, накапливавшиеся из штрафных и иных сумм. Деньги эти могли тратиться на реваны, а также как вспоможествование вдовам и детям умерших мастеров или калф. Когда нужна была помощь по обычной болезни, то цеховую кассу старались не трогать, просто чауш обходил мастеров, произнося повсюду одну фразу: *Пирин эшкына!* («Пожалуй из любви к пиру!», то есть святому покровителю цеха). Поскольку мастеров в цехах крупных городов могло насчитываться до трёх сотен, то собранных таким образом денег обычно хватало.

Цеха, имея за собой многовековую историю, представляли собой практически наследственные касты, откуда трудно было перейти, сменив профессию предков на новую. Повторяю, самым престижным был цех *терлекчилер* (башмачников)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В этой профессии традиционно соблюдалось различие между мастером-специалистом по изготовлению обычной и особо качественной обуви (*терликчи*) и тем, кто шил рабочую, грубую, но прочную обувь, такого башмачника называли *каваф*.



Он имел свою историю, свои строгие правила и даже свою кофейню, куда в определённое время собирались члены этого рабочего содружества для обсуждения только им ведомых дел, для того чтобы выслушать распоряжения своего уважаемого уста-баши и т. д. Ремесленники пользовались не только большим уважением среди горожан, но и умели это уважение поддерживать. Очевидно, высокому статусу мастера содействовало и искусственное сдерживание роста квалифицированной рабочей силы, поскольку такое «перепроизводство» могло бы привести к профанации ремесла, снижению мастерства. Поэтому в Бахчисарае, к примеру, на 374 мастеров приходилось всего 165 подмастерьев — кандидатов на столь высокое звание (*Haxthausen*, 1847. S. 412).

#### 4. Транспорт, коммерция, второстепенные отрасли экономики

##### а) Транспорт

О развитии судостроения и мореходстве кратко упоминалось выше. Здесь заметим лишь, что обе эти отрасли сохранили своё значение и в Новое время<sup>1</sup>.

Наземный транспорт, условия работы перевозчиков, расценки перевозок и прочее также вполне соответствовали эпохе, хотя и имели свои, специфически крымские черты. Европейским путешественникам особенно по душе были лёгкие, плетёные, на гибкой, пружинящей основе, крымскотатарские дрожки. «Путешествовать по Татарии бывает отчасти удобно, так как употребляются тележки, сделанные из ветвей и тонких древесных прутьев, покрытые сверху циновками и войлоком; на них можно расстилать и ковры. Внутри свободно размещается небольшой тюфяк на двоих, но по-турецки могут усесться и трое и даже четверо. Эти повозки весьма удобны и для здоровых, и для больных; купцы кладут туда свои товары и удобные тюки, на которые садятся сами. В повозки запрягают лошадей или верблюдов» (*Дортелли*, 1902. С. 131).

Для хозяйственных нужд использовались повозки иных типов. «Повозки их, называемые арбы и мажары, гораздо наших крестьянских (то есть великорусских. — *В.В.*) предпочтительнее, как по лёгкости, большему помещению, так и тем, что оныя в рассуждении широких ходов и высоких колёс, заслоняющих ящики, почти не подвержены падению... Я видел разъезжающие арбы по таким гористым и неприступным местам, где наша телега никак пройти бы не могла...» (*Сумароков*, 1803, Т. II. 12—13). Европейец же заметил, что крымские арбы про-

<sup>1</sup> В первую очередь сказанное относится к таким традиционным центрам морского дела как Кефе, Гезлёв и некоторым другим портам. Однако и жители малых гаваней по-прежнему занимались не только перевозками на судах, но и строительством их. Так, в Партените старик-татарин с двумя сыновьями до 1800 г., а возможно, и позже, строил по заказам кефинских купцов «прекрасные тридцатитонные шхуны. Это были суда с латинским парусным вооружением, высокими баком и кормой, украшенные прекрасной резьбой» (*Clarke*, 1810. P. 536). В Гурзуфе и Кучук-Узене также строили суда: небольшие шхуны, рыбачьи баркасы, а после аннексии — и ялики, но это уже для развивавшейся курортной отрасли (*Ханацкий*, 1867. С. 235).

сторны, надёжны и удобны, а благодаря тому, что их «задняя часть, как и обе стороны покрыты тростником и войлоком», «защищают как от жары, так и от холоду» (*Клеман*, 1783. С. 59). Понятно, что арбы, прекрасное средство передвижения в горной местности, не обладали и не могли обладать значительной грузоподъемностью или вместимостью, иначе была бы утрачена их манёвренность, что прежде всего необходимо на узких и извилистых горных дорогах и лесных проезжих тропах.

Другое дело мажары, использовавшиеся в предгорьях и главным образом на степных просторах. Здесь в основу конструкции были положены именно вместимость (требовавшаяся, например, при перевозке сена или соломы) и грузоподъемность. Тяговая сила при этом в расчет не принималась: парная верблюжья упряжка, обладая чудовищной мощностью, могла везти груз поистине неограниченной массы. Поэтому крымские мажары могли достигать размеров, трудно представимых для человека XX в., когда размеры этих степных кораблей стали куда скромнее. В ханском же Крыму иногда они бывали огромных габаритов — 5 на 30 шагов в плане, отчего поражённым современникам они действительно казались «просто четырёхколёсными степными флотами (то есть кораблями. — *В.В.*)» фантастической грузоподъемности. «Нельзя не заметить, что обозы, состоящие из телег, запряжённых двумя верблюдами, представляют что-то величественное: оба сильные животные идут ровным, медленным шагом и без малейшего усилия влекут тяжёло нагружённую татарскую мажару. Это четырёхколёсная фура, с крепкими стенками, прикрытыми толстым верблюжьим войлоком» (*Демидов*, 1853. С. 419—420; см. также в: *Olifant*, 1853. P. 207).

Как арбы, так и мажары имели деревянные оси, которые редко смазывались, отчего издавали довольно громкий скрип. Этот постоянный звук, неотделимый от крымской дороги и городской улицы, отмечался всеми без исключения путешественниками. Но вот самих татар он смущал мало: «У доброго человека телега всегда скрипит, у вора — никогда», шутили они (*Гутри*, 1810, С. 54). Основными местами изготовления сухопутных видов транспорта были Буюк-Озенбаш и Бахчисарай. Здесь делали повозки и всевозможные принадлежности к ним: кованые части мажар и так далее. Оси мажар делались из дуба: в средней части они представляли собой четырёхгранные брусья толщиной в 12—13 см; ходовая их часть была, естественно, цилиндрической. Ступица колеса изготавливалась из карагача (крымская разновидность клёна), при этом диаметр задних колёс достигал 1,2—1,5 м; передние были несколько ниже. Вся конструкция оставалась неизменной до XX в. (*Васюков*, 1904. С. 4; *Шатилов*, 1857. С. 32—33).

Менее известный факт: к концу ханского периода в Крыму уже в полном ходу были европейские экипажи, распространённые, естественно, только среди знати. Так, если Крым-Гирей в основном путешествовал, как подобает воину, верхом, то женская часть его семьи, включая и служанок, использовала для этого вместительные венские коляски, в которые запрягали от 6 до 8 лошадей (*Клеман*, 1753. С. 89).

Далеко не все горные дороги годились даже для такого «вездехода», как крымская арба. Поэтому в Крыму были весьма распространены и вьючные перевозки.

Через круп лошади перебрасывались парные мешки *саквы*, вместимость которых была довольно велика: в них и детишек возили при необходимости. Изготовление сакв из местной шерсти было поставлено на широкую ногу, так как потребность в них была постоянно весьма высокой. Действительно, выюки были самым универсальным (до появления вертолётов) видом перевозок: для выючной лошади в Крыму не было недоступных мест. Всё сказанное отчасти можно отнести к волам, которые уже в XV в. были приучены «носить поклажу и выюки, когда это требуется» (Барбаро, 1971. С. 149).

Распространено заблуждение, что торговое мореплавание в Крыму было уделом исключительно греков. На самом деле, крымские татары не только поддерживали регулярные экономические связи с Турцией на довольно крупных судах, обладающих отличной мореходностью. Особо лихие из них, «подобно донским казакам», осмеливались «перевозить грузы на... худшего построения лодках в Одессу, Кефе и Гёзлёв без карты и компаса, не имея понятия о мореходстве, так сказать, на удачу...» (Броневский, 1822. С. 178–179). Такие же сведения имеются о рейсах по направлению к кавказской береговой линии. В частности, крымские татары плавали в абазинские порты Ашга и Кутаси: туда приходило «много судов из Кафы, Керчи и Тамани» (Челеби, 1983. С. 53). Кучук-ламбатские и партенитские судовладельцы-крымцы занимались каботажными перевозками, грузовыми и пассажирскими (имеются в виду *обычные*, то есть свободные пассажиры) (Всеволожский, 1839. С. 49; Butland, 1849. P. 9).

Накануне аннексии крымскотатарская торговля по морю достигла своего расцвета, впервые после ликвидации итальянских колоний поднявшись на сравнимый с ними уровень. Английский специалист по международным перевозкам, посетивший в эти годы Крым, отметил, что из Кефе торговые суда постоянно ходят в такие порты, как «Стамбул, Трапезунд, Синоп, Амасию, Гераклею, Самсун, Абазу, Бургас и Варну, в другие районы Анатолии и Румелии». При этом только ханам принадлежало в различные годы от 800 до 1000 судов, сравнительно небольших, средней грузоподъемностью «в 150 тонн или вместимостью в 1200 четвертей зерна» (Willis, 1787. P. 33, 53). Менее оживлёнными были перевозки из Гёзлёва (только в порты Румелии и Анатолии) и Керчи. Последняя, имея удобную гавань, использовалась для зимнего пересота торговых судов, как крымскотатарских, так и других судовладельцев, имевших собственность в Крыму (Op. cit. P. 35, 43).

Остаётся сказать о видах транспортной тары, технически важной составляющей любых перевозок. Для жидких товаров использовались веками проверенные и экологически чистые ёмкости: всевозможные керамические горшки, кувшины и т. д., а также кожаные бурдюки. Ничего нового, по сравнению с древними мешками, не было придумано для сыпучих товаров. А вот для фруктов уже в сер. XVII в. была разработана неправдоподобно современная, обогнавшая свою эпоху фасовка: «Эти яблоки размером с пятерню укладывают в белые коробки и отправляют к крымским ханам, султанам и визирям. В подарок отправляется много сот коробок яблок. Особенно много тысяч коробок и много сот тысяч корзин заворачивают бережно в розовое и отправляют в подарок в Стамбул — османским падишахам, улемам и визирям» (Челеби, 1999. С. 79).

## б) Торговля

«В городах не многие [крымцы] занимаются торговлею... и почти все купцы, там находящиеся, или христианские невольники, или греки, армяне, евреи...» (Броневский, 1867. С. 357). Это замечание, верное в основе, требует разъяснений. Автор его имел в виду, конечно, не торговлю вообще, а лишь занятие *исключительно* торговлей, так сказать, в качестве основной и единственной профессии. Купцов, коммерсантов среди крымских татар действительно почти не было, по крайней мере, в ханский период<sup>1</sup>. Отчего так сложилось, сказать трудно. Во всяком случае, если крымские татары не избирали коммерцию делом своей жизни, то это никак не по религиозно-нравственным соображениям, поскольку в исламе торговля рассматривается как одно из полезных и даже весьма почтенных занятий. Скорее дело было в психическом складе этноса, в житейской философии что ли, в национальной склонности к преимущественно отвлечённым размышлениям, невозможным в состоянии постоянного нервного напряжения, с которым сопряжена купеческая профессия.

Другое дело — торговля как *часть* трудового процесса. В таком виде она была в Крыму буквально вездесуща. Любой крестьянин был вынужден сбывать часть своей продукции, для того чтобы иметь возможность приобрести предметы первой необходимости. Мелкий масштаб таких «торговых операций» не требовал посредников (профессиональных торговцев). На базаре с этой нехитрой задачей можно было справиться и самому. Ещё чаще в торговые отношения вступали ремесленники: собственно, большинство мастерских одновременно были и лавками. Об этом уже говорилось и здесь, очевидно, дополнительных разъяснений не требуется.

Точнее всего было бы определение крымской коммерческой системы как *комплексной*. То есть смешанной до неотделимости внутренних и внешних оборотов, а также в смысле национальной принадлежности коммерсантов-крымчан. Действительно, кем считать кефинского купца XVII в. Османа Димаури, чьи предки были генуэзцами, а сам он, как и его отец, ни слова не знал по-итальянски и был ревностным мусульманином?

Во всяком случае, через столетия после того, как исчезли итальянские торгово-промышленные колонии в Восточном Крыму, торговля продолжала здесь процветать, целиком перейдя в руки местных уроженцев. Таким образом, исчезли чужестранные посредники, ранее забиравшие свою долю дохода. И это, естественно, и улучшало, и удешевляло товары.

Голландец, объездивший полсвета, в конце XVII в. записывал в дорожную тетрадь, вернувшись с базара в номер комфортабельной кефинской гостиницы: «Я не знаю, есть ли в мире другой город, где жизненные припасы были бы лучше и стоили дешевле, чем в Кефе. Баранина обладает здесь отменным, превосходным вкусом (een uitstekende smack), а стоит 4 пеннинга (мелкая монета вроде немецкого

<sup>1</sup> Встречались, конечно, отдельные исключения, причём первые из них отмечены в источниках довольно раннего периода. Так, ещё в конце XIII в. были известны 4 кефинских купца-мусульманина: Оттоман, Ибрагим, Сададдин и Ак-Косю (Еманов, 1995. С. 123). Но это были именно исключения, так как более или менее стабильная прослойка татарского купечества в Крыму, похоже, так и не сложилась.



Акмесджитский Гостиный двор, располагавшийся неподалёку от базара. Фото Н.И. Репникова, колл. А.А. Спицына

пфеннига или русской копейки. — В.В.) за полкило. Другие виды мяса, хлеб, фрукты, птица и сливочное масло стоят ещё дешевле. Можно сказать, их тут за даром отдают... О торговых оборотах говорит один факт: за 14 дней, что я здесь пробыл, в гавань пришло и ушло более 400 судов, не считая маломерных, которые курсируют вдоль берегов... На первом месте из товаров здесь стоит азовская солёная рыба и икра, которыми снабжается вся Европа, и даже в Индию они поступают отсюда... После рыбы идёт зерно, сливочное масло, соль. Этот город снабжает Стамбул и ряд более мелких городов. Турки предпочитают всем иным кефинский сорт сливочного масла...» (Witsen, 1692. Bl. 384—385).

Другой, английский гость Кефе, прибывший в город через доброе столетие, объяснил причину стабильно дешёвых товаров на кефинских базарах и в магазинах: здесь торгуют ежедневно, а не только по пятницам, как в других местах, — так много сюда приезжает конкурирующих друг с другом (то есть сбывавших среднюю цену по сравнению с другими городами и портами) торговцев и купцов (Willis, 1787. P. 34).

Наряду с розничной процветала и крупная оптовая торговля. В таких коммерческих центрах, как Карасубазар, купцы обычно останавливались в ханах-гостиницах, где им предоставлялась две-три комнаты. Основную часть товара они сгружали в прилегающих к главному зданию хана складских помещениях, а в жилых покоях забивали торговыми образцами доверху одну-две комнаты. На оставшейся площади они жили сами, что было весьма практично. Сюда приходили покупатели для ознакомления с товаром, тогда как окончательные сделки

заклучались на дворе хана, когда была рассмотрена основная масса товара. Такой порядок сохранялся здесь и спустя несколько десятков лет после аннексии (Kohl, 1841. S. 242).

Внешняя торговля Крыма в последние десятилетия перед захватом его Россией больших перемен, по сравнению со Средневековьем, не пережила. По-прежнему вывозилось много рыбы, главным образом в страны средиземноморского региона, в том числе и европейские: «Большая часть рыбы солится и составляет вместе с икрой очень значительную часть крымской торговли» (Тунманн, 1936. С. 20). В Турцию, как и столетия до того, вывозили много зерна различных видов и качества (King, 1788. P. 227). Не менее важной и едва ли не самой постоянной статьёй вывоза была крымская соль.

Шли крымские товары и на восток, в основном на Кавказ. Так, черкесы-адыги закупают в Крыму «различные ткани, кожаные изделия, женские украшения, посуду, оружие и т. д.». В обратном направлении крымские татары гнали табуны черкесских коней, необходимых для обновления племенного состава знаменитой крымской лошади (Гарданов В.К. К вопросу об экономическом развитии Кабарды в XVIII веке // Учёные записки Кабардино-Балкарского Научно-исследовательского института. Т. 23. Нальчик, 1965. С. 100).

На пользу крымской торговле и традиционной промышленности пошёл упадок турецкого ремесла в XV—XVII вв., с трудом и медленно восстановившегося лишь в XVIII в. Если же упоминать всю совокупность товара, вывозившегося из Крыма в одну лишь Турцию (учитывая, что часть их была транзитной), то список получится довольно внушительным. Это ремесленные изделия, пшеница, ячмень, мясо, масло, кожи, воск, табак, пшено, мука всех сортов, шерсть, войлок, земляное мыло *кил*, таманская икра, железо, пряжа, хлопок, мёд, вино, керченская нефть, лошади, сафьян. На север, прежде всего в Запорожье, шли соль, вино, орехи, ослы, шерсть, овчина, шкуры, сафьян, шёлковые ткани, обувь, бумага, кумач, оружие и другие ремесленные изделия (Барабанов, 1993. С.283—284).

Остаётся сказать о податях, которыми облагались торговцы Крыма. К сожалению, у нас не имеется данных по ранней истории крымской коммерции ханского периода. Но весьма показательны данные первой четверти XVIII в. В первое правление Менгли-Гирея II (1724—1730) торговые подати и пошлины взимали беи (на своих территориях), после чего часть денег поступала в ханскую казну. Согласно ханскому фирману этого периода, направленному бею Яшлавскому, тот должен был взыскивать с каждой телеги фруктов, отправляемых на продажу, от 1 до 4 акче. Сумма пустячная, в несколько раз более высокий побор полагался с каждой бочки вина: по 15 акче и т. д. (Менгли-Гирей, 1930. С. 29).

В этом же документе находим, между прочим, подтверждение выводов об экономическом и социальном равноправии подданных Гиреев. Как с виноградарей и виноделов, так и с ремесленников различных отраслей, продававших свой товар, пошлина бралась без разделения по религиозному или национальному признакам. То есть одинаково со всех «подданных самого бея иудеев, армян и татар — с привозимых ими в своё жительство для продажи кож, разного товара и кумача, какие дозволяется им возить в те места, куда пожелают для продажи» (Там же).

## в) Рыбная ловля

Как говорил наблюдательный немецкий путешественник, «нет места более обильного рыбой, чем Чёрное и Азовское моря у берегов Крыма» (Тунманн, 1936, С. 19). При всём видовом разнообразии морских и речных промысловых рыб Крыма сама природа установила некую «очередь» для их лова. То есть, крымские татары-рыбаки могли, закончив лов одного вида, переходить к следующему, достигающему почти точно к этому моменту нужных товарных кондиций. Единственное исключение в упомянутой вечной сезонной цепи составляла Балаклавская бухта, на берегах которой издавна селились профессиональные рыбаки-крымцы (до заселения туда Потёмкиным пришлых греков-арнаутов). Балаклавская бухта была замечательна тем, что здесь ловили буквально все виды промысловой рыбы Чёрного моря, причём круглый год. Косяки заходили сюда, повинувшись каким-то непостижимым законам, не имеющим отношения к сезонным ритмам.

Из других излюбленных рыбаками мест можно назвать керченские воды. Но здесь выбор был меньше: в Камыш-Буруне половину всего годового улова составляла знаменитая местная сельдь с её жировой прослойкой в подбрюшье, славящейся пикантным ароматом (Герсиванов, 1849, С. 127).

Самым богатым был зимний рыбный сезон: от октября до апреля. «Осетры, севрюги, белуги, лещи, карпы, сомы, судаки, шуки, белорыбица, стерлядь, караси, крабы, окуни, лини и ещё несколько видов ловятся в это время в большом изобилии...», писал немецкий учёный в конце XVIII в. (Тунманн, 1936, С. 20). Именно в эту пору года добывалась основная масса белужьей икры: по уверению современников одна самка весом почти в полтонны давала до 4 квинталов (120 кг. — В.В.) икры (Büsching, 1785, S. 311).

«Рыба, особенно морена, подобная осетру (как следует из других мест источника, здесь подразумевается белуга. — В.В.) ловится... больше всего в Воспро (то есть Керчи. — В.В.) и у берегов Каффы, так что для одной Венеции только солят ежегодно более 200 бочек этой рыбы; сверх того изготавливают копчёные части её, называемой мидиз, состоящей из верхней мякоти той же рыбы с лучшей частью — спинной сердцевиной... Икры... хватает не только на все места Татарии (то есть Крыма. — В.В.) и Чёрного моря, но также на Константинополь и на острова Архипелага: хиосцы приезжают её закупать» (Дортелли, 1902, С. 100). Много рыбы добывалось и в других местах полуострова, например, в устье Бельбека (Дортелли, 1902, С. 131).

Сохранились сведения и о способах лова. «Рыбу здесь ловят сетями, накидывая их сверху на воду, которые французы называют *tets*» (Там же, С. 155). Упомянутая *сатма* или намет, при всей её незамысловатости, требовала от рыбака большого умения. В зависимости от навыка и физической силы владельца, снасть могла быть размером от 2,5 до 5 м в диаметре. При забросе требовалось, чтобы все грузильца, подвешенные по окружности её, вошли в воду одновременно и именно там, где есть рыба, естественно. В случае удачи сатмой в те давние времена можно было взять, как уверяли свидетели, в сутки до 10 000 штук кефали, а камсы до 40–50 пудов (Чеглок, 1910, Т. I, С. 80).

Улов, как водится среди рыбаков всего мира, сортировался: самая мелкая рыбёшка шла на собственное потребление, более крупную солили или копти-

ли. Из осетровых, как правило, изготавливали знаменитые керченские и еникальские балыки: «те славные балыки, то есть проявленная белужина, которую солнечный зной делает прозрачною как янтарь, и которая в наших северных странах такой доброты иметь не может» (Сумарокова, 1803, Т. II, С. 106). Там же, в Еникале, сравнительно небольшом, молодом городе (основан в 1705 г.), населённом почти исключительно крымскотатарскими рыбаками, вылавливали и солили массу керченской сельди, причём почти полностью для вывоза за рубеж (Willis, 1787, P. 35).

В верховьях Салгира «водятся форели в изобилии», отмечал П.С. Паллас (1793, С. 174); то же самое — во всех речках Байдарской долины, а также в Карасу (Броневский, 1822, С. 38). Длинной форель достигала полуметра, «вкусом же она [была] весьма хороша и по сей причине получила в Таврических местах название Ханской рыбы». В некоторых местах, например в истоках Салгира, у деревни Аян, а также чуть ниже водопада Джур-Джур, в Восточном Крыму, форели было столько, что и веком спустя путеводитель обещал путешественнику: «Татары, засучив свои шаровары выше колен, тут же, при вас, наловят их сколько хотите» (Сосногорова, 1880, С. 32). В Салгире же водился сазан, который был «величиною не так крупен, как в низовых местах Волги, но вкусом весьма хорош», а также тарань и плотва (Габлиц, 1785, С. 181).

Вяленая, копчёная и солёная рыба расходилась по всему полуострову, это был продукт массового питания и в предгорной, и в степной части. По самому грубому подсчёту в Керчи на месте потребляли в 2–3 раза больше свежей рыбы, чем её шло на продажу. Расходилась морская добыча по всему полуострову, в том числе и такие ценные её виды, как охлаждённые в колотом льду камбала и устрицы (Holderness, 1823, P. 146). Иностранец, посетивший сюйренского татарина Исмаил-бея, и не застав его дома, в качестве обычного обеда получил бараний хвост, приготовленный в рисе, и чудесную копчёную рыбу. В Байдарской же долине ему подали форелей, изжаренных в свежем рыбьем жиру, что было необыкновенно вкусно (Гутри, 1810, С. 70, 82).

Путешествующую английскую даму угощали близ Ялты прекрасной икрой кефали и осетра, лучшие сорта которой изготавливались не только в Восточном Крыму, но и в окрестностях Гурзуфа. В одной из татарских деревень в Салгирской долине, то есть вдали от моря, на стол поставили рыбу трёх сортов: солёную, копчёную и провесную, а также обязательную икру (Craven, 1855, P. 14, 21). Судя по таким записям, на экспорт шла икра только осетровых рыб, другие сорта потребляли на месте. Имелись прекрасные методы длительного хранения этого ценного продукта. Так, в Гёзлёве присоленную икру кефали плотно укладывали в глиняные горшки и заливали воском (Kosmeli, 1813, S. 110).

Вообще мнение о крымских татарах как о народе, якобы сугубо сухопутном, совершенно ошибочно. Все коренные крымцы, не только жившие у побережий, не только профессиональные рыбаки, с удовольствием плавали и купались, когда появлялась такая возможность, в море, реках или пресноводных озёрах. Показателен рассказ турецкого историка Васыфа о случае в совместном походе крымских татар и турок в 1769 г. Когда рухнул («разорвался») наплавной мост через Днестр, то турки по неумению плавать стали тонуть, и спасали их «татаре, славящиеся своим искусством плавать» (Цит. по: Смирнов, 1889, С. 116).

## г) Добыча соли

Путешественник 1570-х гг. записывал: «От Перекопа в одной миле лежит большое солёное озеро, из которого добывается самая чистая и лучшая соль... там есть ещё много других соляных озёр» (Броневский, 1867. С. 351). То, что соль традиционно брали только из одного озера, подтверждает ещё один гость Крыма: «Неподалеку от Ора, к югу, находятся два больших соляных озера, из которых каждое имеет приблизительно две мили в окружности. Соль берут только с западного, которое потому называется Талал-Гёл (очевидно, «Элял-Гёл». — В.В.), дозволенное озеро, другого, Харам-Гёл, запрещённого озера, не трогают, хотя оно не менее обильно» (Тунманн, 1936. С. 42).

Позднее крымские соляные промыслы стали более многочисленными, но основными местами добычи соли остались озёра, расположенные в перекопской степи. Причём соль в этих водоёмах имела различный химический состав, отличаясь по вкусу и особым свойствам, издавна известным татарам. Так, соль озера Кизил-Гель (совр. Красное) не позволяла размножиться плесневым грибкам, поэтому её использовали для засолки овощей; домашний скот охотнее лизал соль из озёр Эски-Гель (совр. Старое) и Кият-Гель; в приготовлении пищи особенно ценили соль из озера Кармутского, как «имеющую особенно приятный вкус» (Андриевский, 1892. С. 28). Она превосходила и дорогую импортную соль: «Тот продукт, который употребляют в Петербурге под именем соли, не имеет даже тени тех качеств, которым обладают соли крымские» (Завадский-Краснопольский, 1874. С. 41). В поздний ханский период стали добывать соль и близ Гёзлёва, из трёх озёр — Сакского, Аджибачи и Аирчи.

Объём соледобычи также менялся с годами, но точные данные по нему отсутствуют. Согласно некоторым подсчётам, в год её отгружалось «более двадцати тысяч телег» (Гутри, 1810. С. 54). Другие, более поздние авторы утверждают, что вывоз соли в некоторые годы достигал 14 млн пудов, то есть 800–900 тонн (Андриевский, 1892. С. 27). Очевидно, основную часть этого ценного продукта вывозили сухим путём за Перекоп, по Крыму соль расходилась в куда меньших массах. Шла крымская соль и за море, в основном в Турцию и в другие страны и области черноморского региона. Ещё в начале XVII в. было отмечено: «Солью торгуют с Константинополем и со всеми странами Чёрного моря» (Дортелли, 1902. С. 100). А накануне аннексии годовой вывоз соли только в Стамбул достигал 1000–1200 тонн (Inalcik, 1994. P. 131).

Соль в перекопских и других озёрах начинала оседать в мае, а в июле соляная кора достигала толщины 7–9 см и значительной крепости, когда её удобно ломать (она перестаёт рассыпаться в крошку). К этому времени и приглашались ор-беями в Крым украинские чумаки, которым гарантировалась безопасность, удобные дороги, водопои и выпасы для рабочего скота. Одновременно созревала и соль Керченского полуострова. Там основным источником этого продукта было озеро Тузла, расположенное где-то у прибрежной дороги между Керчью и Кефе (Тунманн, 1936. С. 44)<sup>1</sup>. Здесь добывалось более, чем 200 корабельных гру-

<sup>1</sup> Такого крымского озера, точнее, озера с таким названием, в общем-то, не существует. Скорее всего, это расположенное у мыса Опук озеро Элькен. Впрочем, возможно, что Тунманн назвал так (по отдалённому созвучию) неподалеку расположенное озеро



Добыча соли в Крыму. На переднем плане — бурты, укрытые дёрном. Гравюра. Из коллекции музея Ларишес

зов за год, и могло бы добываться ещё больше, был бы спрос (Там же.). Поэтому условия отпуска соли были самые благоприятные: за воз соли, стандартно считавшийся весом в 112,5 пудов (1843 кг), покупатель платил 4 рубля и 1 рубль отдавал у Перекопа в *гумрюк*, то есть в пошлину (Чеглок, 1910. Т. 1. С. 15). Это было недорого, если учитывать, что в Средние века за один килограмм крымской соли на севере можно было купить раба. Позже, очевидно, с ростом добычи соли, она несколько подешевела, так как в конце XVIII в. любой покупатель мог «нагрузить свою телегу за три рубли» (Гутри, 1810. С. 54).

Инструмент, использовавшийся при ломке, был крайне прост: одноосная тележка-ковш и деревянные вилы с пятью плоскими зубьями, так и называвшиеся *бешпармак* (крымскотат. пятипалые). Ломаную соль сваливали в кучи прямо в озере, а затем вывозили на берег, где складывали в огромные *бурты*. Издали они походили на скирды сена, так как их со всех сторон обкладывали дёрном или просто землёй для лучшей сохранности во время созревания и отпуска покупателям. Интересно, что уже в начале XVIII в. крымская соль отбеливалась с целью придания ей лучшего товарного вида; для этой трудоёмкой операции были разработаны специальные технические приёмы, совершенно неизвестные в Европе

Узунлар: Тузла, то есть *солеварня* или *место соляной добычи*, непосредственно обозначало функцию в которой озеро использовалось.

(подр. см. в: *Возерин*, 1978. С. 329). Основными пунктами отправки готового товара за рубеж были небольшие причалы между Гёзлёве и Саками, а также Керчь (*Willis*, 1787. С. 43).

Занимались ломкой соли исключительно крымцы. Однако на состав рабочих, занятых традиционным для них промыслом оказали большое влияние Великие эмиграции. Так, уже в первой половине XIX в. объём вывоза резко уменьшился именно «из-за выселения» (*Зенкевич*, 1890. С. 39). Но впоследствии он достиг прежнего уровня, так как на солепромыслах появилась новая рабочая сила — переселенцы из южной России. Что же касается озёр западного Крыма, то на упомянутых трёх озёрах (впоследствии к ним прибавилось оз. Сасык, отчего добыча на этих четырёх озёрах возросла до полутора млн пудов в год) работали почти исключительно евпаторийские караимы (*Андриевский*, 1892. С. 29, 31).

#### д) Лесные промыслы

В горах с древнейших эпох велась постоянная заготовка леса. В применении к Крыму эта фраза звучит, конечно, шокирующе, пока не внесена ясность в вопрос, *каким образом* эта заготовка велась. Суть дела в том, что вырубка, не имеющая промышленного масштаба, к тому же осуществляемая согласно местным традициям природопользования, вреда лесу нанести не может. Более того, даже крымский лес нуждается в систематическом прореживании. Именно так и заготавливалась деловая и топливная древесина на полуострове.

Крымскотатарские крестьяне с топорами знать ничего не знали о науке экологии, но действовали целиком в её духе, к чему их звал вековой опыт и ещё настоячивее — обычай. Именно поэтому к роковому 1783 г. полностью сохранился крупнейший в Европе лесной массив — Крымский лес (о нём см. ниже). Причём несмотря на то, что в предыдущие века древесины брали столько, что её хватало и для себя, и на экспорт: «В Балаклаве строятся крупнейшие галионы для доставки толстых брёвен в Александрию; [с той же целью] в последние годы там стали также строить галеры», — записал в 1634 году итальянский гость Крыма (*Дортелли*, 1902. С. 120–121).

Заготовка леса велась вполне профессионально, были даже разработаны особые приёмы, позволяющие свести к минимуму неудобства горного ландшафта. Вот один из них: «Для стаскивания нарубленного леса и дров с высоких гор татары устраивают особого рода сани, называемые *хазак*. И в сани эти впрягают пару волов» (*Паллас*, 1793. С. 156). Такие сани, а точнее, волокуши



Горная волокуша.  
Из: *Pallas*, 1801

использовались круглогодично, то есть и летом тоже. Что же касается экологии почвы, то они почти не оставляли следа, чем выгодно отличались от колёсного транспорта.

#### е) Охота

Как и в Средневековье, охота занимала важное место и в качестве развлечения, весьма полезного для физического состояния народа, и как важный вспомогательный источник ценного вида питания. Наиболее богатыми дичью оставались, конечно, лесные и горные охотничьи угодья (упомянем только оленей, диких коз и кекликов). Но и в степи водилось множество крупных и жирных сурков, дроф, стрепетов, зайцев, куропаток, журавлей, уток и перепелов. Особых навыков или орудий лова при этом не требовалось. Даже солдаты Миниха, люди для Крыма совершенно чуждые, быстро приспособились ловить степную дичь: «Солдаты ловили их руками; особенно много перепелов. В походе каждый день их ловили во множестве» (*Манитейн*, 1875. С. 100). Конечно, перепела — пища хоть и вкусная, но скорее деликатесная, чем насыщающая, чего нельзя сказать о роли лесной дичи в постоянном рационе горцев, а для степняков — тех же зайцев, вес которых в Крыму доходил до 6 кг (*Аноним*, 1824. С. 78) или ещё более тяжёлых дроф. Сейчас мало кто помнит, что эта птица, достигающая веса в 16 кг, ещё в 1940-х гг. была в Крыму весьма многочисленна, а в XVIII и даже XIX вв., как утверждают, встречались дрофиные стаи количеством в несколько тысяч птиц (*Данилевский*, 1850. С. 257).

Очевидно, именно поэтому крымские татары придавали весьма большое значение охоте как самостоятельному виду промысла, к которому приучали с детства. Французский инженер Гильом Боплан, строивший крепости вдоль границ Московского государства с Крымским ханством в 1630–1640 гг., сообщал, что татарским мальчикам, начиная с 7–8 лет из дичи «всегда дают есть только то, что они сами себе настреляют из лука. Вот как они научают своих детей метко стрелять» (*Боплан*, 1990. С. 53). Впрочем, позже таких строгостей, кажется, не было, хотя мальчишки всегда с огромным удовольствием отправлялись с отцом на охоту.

Что же касается серьёзных охотников, то профессионал, если он знал наперечёт все излюбленные места выгула стрепетов (например, участки степи, заросшие полынью-*джаушаном*) и другой дичи, мог за день добывать её во множестве: 19 дроф и 7 стрепетов на охотника — такие результаты одного дня отмечены даже в XIX в. как вполне обычный охотничий трофей (*Пассек*, 1840. С. 98). У озёр северного Крыма привычной была охота на галагаза. На добычу этой крупной, вкусной утки ходили не с ружьём, а с лопатой, так как она гнездится в неглубоких земляных норах и прибрежных пещерах (*Чеглок*, 1910. Т. I. С. 62).

Не вполне понятно, охотились ли крымские мусульмане на кабанов, которых в лесах всегда было множество. Но они могли их добывать исключительно на продажу, выращивали же татары Керченского полуострова свиней с той же целью (см. очерк V первого тома). Но наверняка почётным охотничьим трофеем считались шкуры медведей и волков, которые исчезли лишь в XIX в., когда ими вплотную занялись русские помещики-охотники с псовыми сворами. Столь же



Крымская дрофа.  
Гравюра Л. Бекманна

обычны в горной части пока были земляные зайцы, барсуки, горностаи, куницы, фазаны, дикие овцы (муфлоны) и так далее (Тунмани, 1936. С. 19; Пассек, 1840. С. 103). А благородный олень уцелел до самого конца XVIII в., правда, кажется лишь на склонах Чатырдага (Pallas, 1801. S. 466–467).

Некоторые авторы упоминают о том, что в Крыму целыми стаями встречались и такие совершенно необычные для юга промысловые птицы как рябчики, тетерева, глухари (King, 1788. S. 231). Возможно, птицы этих видов гнездились высоко в горах, где средняя температура воздуха и типы растительного корма сближаются с северноевропейскими.

В целом, в Крыму сохранились все средневековые виды охоты, в том числе и соколиная. В отличие от Европы, где такой вид развлечений позволяли себе лишь титулованные особы, в Крыму соколиная охота была весьма распространённым промыслом (Reuilly, 1806. P. 160; Clarke, 1810. P. 461). Очевидно, соколы, которых крымские татары отлавливали и воспитывали собственноручно, стоили не так дорого, как, к примеру, в Аравии или Индии, где были главные рынки ловчих птиц. Слава искусных охотников и соколятников шла о крымских татарах по всему Востоку; как пишет немецкий наблюдатель, в Турцию одного из таких знатоков постоянно «приглашали в качестве эксперта по охоте», так же как в Германии — швейцарцев для охраны входных дверей» (Grimm, 1855, S. 30).

В Крыму охотники разводили и борзых (Аноним, 1824. С. 78). Трофеями всего лишь получасовой охоты с ними (причём не в каких-то охотничьих угодьях, а не особо удаляясь от жилья, буквально за околицей) становилось три, а то и пять зайцев (Миранда, 2001. С. 63).

Охота в целом была настолько развитой отраслью крымскотатарского хозяйства, что велась и местная меховая торговля. Так, на ежегодных торгах в селе Таушан-Базар (крымскотат. Заячий Базар) близ Ангарского перевала только заячьих шкурок продавалось в среднем 20 000 штук (Чеглок, 1910. Т. II. С. 78). Малоизвестен факт выделывания в Крыму меха пушного зверя из собственных охотничьих угодий. Причём пушнины добывалось столько, что её хватало и для экспорта. Факт, на первый взгляд, маловероятный. Но о нём говорит такой первоклассный источник, как «Камеральное описание Крыма» (ИТУАК, 1888. № 4, С. 46).

## 5. Культура традиционного питания

Питание является важной частью этнической культуры любого уровня развития. Его характерные особенности определяют главным образом два фактора. Основой первого из них является окружающая среда. В организме членов человеческой группы, обитающей в более или менее постоянной среде, складываются именно такие физиологические и биологические механизмы, которые в состоянии обеспечить жизнь данной группы. Индивидуумы, чей организм отклонялся от жёстко заданной нормы, погибали если не в нормальной жизни, то в экстремальных условиях, которых их организм не выдерживал. То есть в основе этого фактора лежит жизнеобеспечение, выживаемость и ничего более.

Второй фактор имеет не столько рациональную (с точки зрения этнической экологии), сколько культурно-историческую природу. Дело в том, что при изменении среды обитания или перемещении группы из одной экологической системы в иную, нередко весьма резко отличающуюся по природно-биологическим характеристикам, механизм этноэкологической адаптации «даёт сбой», срывает не полностью. Речь идет о культуре питания. В кухне того или иного этноса остаётся часть традиций, ведущих происхождение из старого, давно изменившегося и людьми забытого природного окружения. То есть, архаичная традиция сохраняет в культуре питания наборы продуктов, способы их обработки и употребления, свойственные иным условиям существования и лишь ими оправданные. Такая консервация обеспечена не чем иным, как общекультурным стремлением сохранить свою идентичность и этническое самосознание, стремлением мощным и не всегда рациональным. Но это — чисто внешнее впечатление.

Заметим, что не во всех этнокультурах упомянутые два фактора отразились на культуре питания в одинаковой степени. Преобладание первого можно отметить, к примеру, у шведов, треть которых переселилась во второй половине XIX в. в Северную Америку. Через полвека эмигранты практически полностью перешли на интернациональный набор продуктов и блюд новой родины. Второй преобладает в традиционной кухне евреев, особенно ортодоксальных, сохранивших обычаи приема пищи и своеобразную кухню Израиля на протяжении даже не веков, а тысячелетий. Причём иудеи держались за свои традиции в условиях культурного, антропологического и биологического преобладания этносов разных стран и континентов, настолько сильно отличающихся друг от друга, что сказанное не требует доказательств.

Крымскотатарская культура питания занимает промежуточное положение между этими двумя крайними точками отсчёта. К ней подходит весьма краткое и точное определение, высказанное крымскими этнографами по отношению к весьма схожей караимской кухне: она базируется «на древнетюркской традиции с наложением общекрымских интернациональных черт» (Полканов, Полканова, Богословская, 2001. С. 250).

У крымских татар прекрасно сохранились архаичные кочевничьи блюда и способы сохранения продуктов (сушеное и вяленое мясо, вяленая баранья колбаса со специями, высушенный рассольный сыр, пельмени и многое другое). Но также распространены и не менее любимы блюда явно «оседлого» происхождения вроде сармы, долмы, мусаки, огромного количества других блюд из

окультуренных и дикорастущих овощей и фруктов. Среди последних есть как областные, вроде каперсов, характерных лишь для кухни Восточного Крыма, так и общекрымские — например, *майбаш* (дикий лук), который растёт повсюду — от степи Западного и Центрального Крыма до горных склонов Южного берега.

Восстановить всё богатство традиционной кухни крымских татар ханского периода нелегко, как и другие составляющие столь многих полуугасших этнических культур нашей планеты. Но, к счастью, путешественники, столь охотно посещавшие ханство в различные периоды его истории, пристально интересовались вопросами питания, его качества и доступности, вкусовыми достоинствами кушаний и оставили нам свои записки. Объяснение, очевидно, излишне: известно, что в ту эпоху особенности питания и кухни были вообще более актуальной и серьёзной проблемой, чем ныне, когда туристов, в первую очередь интересуют совсем другие области местной культуры.

Как бы то ни было, но благодаря вниманию гостей Крыма к угощениям на столах подданных династии Гиреев, исследователь располагает информацией гораздо более обильной и достоверной, чем по другим сторонам исторической действительности. Ниже будут освещены различные стороны большой и важной в этноистории любого народа темы питания. Здесь же отметим заранее важнейшую из характерных черт отношения крымского татарина к еде. Это — сдержанность, черта, заметная и в других аспектах его отношения к жизни, его мировоззрения. Как записал в своем дневнике один англичанин, правда, несколько позже, в XIX в., «татарам свойственны изысканные манеры, достойная осанка, они непринуждённо учтивы и гостеприимны, честны в деловых отношениях и сдержанны в еде (*frugal in eating*)» (*Scott, 1854, P. 306*).

#### а) Мясо, молоко

Мясо, являясь незаменимым источником почти всех животных белков, а также витаминов, издавна было излюбленным продуктом крымскотатарской кухни. Это утверждают практически все источники, затрагивающие темы питания. Однако, что касается конкретных сведений о мясном столе (как и любом ином) у крымских татар, то здесь свидетельствования современников крайне сбивчивы и противоречивы. Это объясняется, конечно же, стремлением исследователей и путешественников дать единую, исчерпывающую характеристику какой-то общей для всего полуострова *крымскотатарской кухни*<sup>1</sup>.

Но такой кухни никогда не было в природе. Ведь татары каждого района Крыма готовили по-своему. Да и выбор продуктов был различным, скажем, в «рыбном» Восточном Крыму, «мясо-овощных» горах и в «мясо-зерновой» сте-

<sup>1</sup> Любопытна попытка одного из признанных современных специалистов восточной кухни дать общую характеристику «крымской кухне». Проведя несколько лет на родине крымских татар, он признал, что «их кухня когда-то была невероятно разнообразной и вобрала в себя рецепты всех наций, обитавших на полуострове», и подытожил свой опыт века сведений о традиционной крымской кухне так: «Я пытаюсь искать носителей старой традиции для того, чтобы сохранить какие-то крупницы для истории, но с каждым годом шансов найти знатоков довоенной местной кухни становится всё меньше» (С. Ханкишиев. В Крыму // Собака.ru в Петербурге (журн.). 2010. Март. С. 164).

пи. Отсюда и путаница в работах вполне добросовестных авторов, нередко настаивающих на совершенно противоположных фактах. В такой ситуации, когда нет специализированно порайонных исследований крымскотатарской кухни, а некая общая характеристика всё же нужна, автор вынужден ступить на зыбкий путь усреднения, заранее готовясь к заслуженной критике.

Итак, согласно сохранившимся и частично опубликованным записям, путешественник XVI в. с удивлением видел, что крымские татары по большей части «питаются кониной, верблюжатиной, быками, коровами и бараниной, которых у них очень много. Знатнейшие и богатые употребляют хлеб... а простой народ не имеет хлеба, употребляет вместо него толчёное пшено, разведённое водой и молоком и называемое обыкновенно *касса*; вместо питья употребляют кобылье молоко и сыворотку» (*Броневский, 1867, С. 356–357*).

А вот несколько более позднее наблюдение: «В отношении пищи едва ли можно найти другой народ (не говорим о кочующих народах), который бы отличался тою умеренностью в пище и неприхотливости, которыми отличаются все почти татары степной части Крыма. [Это не та] неразборчивость, [согласно которой] будто бы крымские татары едят всё, чуть ли не падаль... Лошадей не едят, это любимая пища [заперекопских] ногайцев... Шорба — жидкая пшённая каша, заправленная катыком. Лакомая же шорба — сёк и серпа. Сёк — жидкая молочная каша пшённая, из жаренного в жарко истопленной печи проса, которое потом дерут на пшено, это и есть сёк. Иногда заменяют сёк толчком: к жареному просу примешивают жареную пшеницу и из муки приготавливают жидкую похлёбку, а иногда сухою едят. Серпа — бульон из молодого барашка, заправленный катыком. Баламут — пища бедняков в тяжёлые года, кипяток с мукой. Какач — солёная вяленая баранина впрок» (*Домбровский, 1850, С. 476*).

Кое-где степняки употребляли как основной вид пищи (причём попросту, без пряностей и пр.) отваренное мясо: чаще баранину, верблюжатику, реже говядину и конину (*King, 1788, P. 226*). Это мясо ели, закусывая просыным хлебом-*малаем*, который пекли под перевёрнутым казанком, засыпанным горячей золой с тлеющим кизяком (*Кондараки, 1883, Т. II, С. 104*). Важное место в степной кухне занимало молоко, прежде всего овечьё: «Стад разводят столько, сколько могут, особенно баранов. Питаются они только молоком и сыром и весьма редко едят мясо... [на вопрос о конине] мой хозяин-татарин выразил чувство отвращения... Татары очень воздержанны и в состоянии делать далёкие концы, питаюсь только просыною или рисовою мукой с водою. Наш хозяин-татарин дал нам свежих яиц и прекрасного молока...» (*Людольф, 1892, С. 166*).

Но вернёмся к теме конины. О нечастом её потреблении примерно то же, что и Людольф, говорит другой современник XVIII в.: лошадиное мясо всё ещё многими употребляется в пищу, но уже не всеми. Упомянутое пренебрежение кониной было, очевидно, чертой сравнительно недавнего (то есть до момента составления приводимой записи. — *В.В.*) происхождения. Ещё за полтора века до того путешественник, побывавший в Карасубазаре, отметил, что там и в других местах степи и предгорья «мясо ягнят считается невкусным и татарский народ его не ест. Покупая же конину, они ссорятся и могут даже погибнуть. Потому что конина даёт силу и способствует пищеварению, это полезное мясо» (*Челеби, 1999, С. 75*).





Хранение какача в жилой части дома под балками. Литография.  
Из коллекции музея Ларишес

Что же касается упоминавшегося отварного курдюка, то это блюдо, вешившее в готовом виде примерно 1/5 туши (но стоившее едва ли не дороже всего остального мяса), ценилось весьма высоко из-за своего вкуса. Между прочим, и европейцы отдавали ему, как правило, должное: «Хвост их баранов очень бывает толст, это кусок приятного жиру, совершенно без мяса» (Гутри, 1810. С. 88).

Гораздо меньше потребляли крымские татары дрожжевого хлеба, заменяя его другими, более вкусными изделиями из теста: «Хлеба употребляют мало, делают его из ржаной муки, смешанной с ячною, но большие охотники до хлебных кушаньев: катлама (сдобные пшеничные лепёшки пекут на масле и курдючном жире), чибиреки — разных сортов пироги, кашик-буреки — мельчайшие пельмени в серпе или шорбе, едят ложкой (кашик)» (Домбровский, 1850, 478).

Более разнообразно питались южнобережные татары; здесь сказывалось сильное влияние средиземноморской кухни: «Пилав из риса или пшена с бараньим жиром, туземные маслины или баранина в виде шашлыка в соусе с виноградными листьями или луком, пресные лепёшки вместо хлеба — составляли их пищу. Каймак — жирные и сладкие сливки из овечьего молока — представлял собою главнейшее лакомство» (Крым, 1930, С. 80). Кстати, о качестве шашлыка у обычного «татарина-ресторатора» (то есть в местной харчевне) российский путешественник, не понаслышке знакомый с кухней многих стран, отозвался так: «Не в досаду бы сказать их собратии парижской, я нашёл это омировское (то есть, Гомеровское — В.В.) блюдо ничем не хуже славимых во французской гастрономии Rognons a la brochette» (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 196). А гостя из российской столицы заметила по тому же поводу: «баранина здесь такая, что за-

писные лакомки с радостью променяли бы на неё рябчиков с фазанами, ... такой в Петербурге не найдёшь ни за какие деньги» (Шишкина, 1848. С. 228–230).

В этой связи стоит заметить, что, во-первых, шашлык был не только любимой пищей чабанов, но и гостевым, и даже ритуальным блюдом, возможно, оттого, что он относится к наиболее древним способам приготовления мяса (Григулевич, 2001. С. 167). Во-вторых же, о вкусовых качествах мяса на крымском шампуре гораздо лучше любых похвал говорит простой факт: само название *шашлык* — наиболее известное из крымскотатарских слов, заимствованное сотнями иностранных языков. И которое понятно без перевода во всём мире (Фасмер, 1964. Т. 4. С. 416–417).

О постоянном потреблении молока и молочных продуктов крымскими татарами неоднократно говорилось ранее. Здесь отметим лишь некоторые предпочтения в использовании молока различного происхождения. Наиболее высоко ценилось, как правило, молоко буйволиц, как наиболее жирное и питательное. В районах, где буйволов не разводили, на первом месте стояло овечье молоко, превосходящее коровье по калорийности, так как в нём больше жира и белка. Общим в потреблении молока столь разных животных было одно: его никогда не пили в сыром виде. Что, кстати, было небезосновательно: так животноводы инстинктивно ограждали себя от заболеваний, поражавших как скот, так и людей.

Заметное место в рационе крымских татар всех районов полуострова занимали сыры типа *кашкавала* (изготавливавшегося по римской традиции из кобыльего молока с добавлением коровьего), а также рассольного (брынзы)<sup>1</sup>. Брынзу прессовали из сквашенного на бараньем сычуге сырья в виде небольших, тонких лепёшек, которые затем держали в рассоле, налитом в деревянные кадки или большие глиняные горшки (Holderness, 1821, S. 76; см. также в: Аноним, 1824. С. 66). Судя по описаниям процесса изготовления брынзы, за прошедшие века ни форма, ни вкус этого традиционного крымского продукта не изменились. Древнее кочевое происхождение имел сыр под названием *куру пенир* — такой же, как и брынза, рассольный сыр, но высушенный в виде тонких ломтей, и оттого совершенно не подверженный порче. Его брали с собой участники сезонных работ и чабаны, надолго ухажившие на яйлу.

#### б) Буза, кумыс, бал и другие напитки

Основными напитками, имевшими и пищевое значение, были общеизвестный кумыс, уже упоминавшаяся буза и *бал* — сладкий напиток из разведённого и сброженного *бекмеса* (виноградный сок), нечто вроде русского медового кваса, но более витаминизированный. В XVIII в. кумыс, главный напиток степняков, по непонятной причине стал быстро терять своё значение. Судя по всему, его полное

<sup>1</sup> Своей популярностью в Крыму брынза обязана особо ценными, в сравнении, скажем, с обычным молоком, качествам. Современные специалисты-диетологи признают за ней неоспоримую физиологическую полезность. Она определяется аминокислотным составом белка, содержащим большое количество солей кальция и незаменимую аминокислоту метионин, а также холин, обладающий лечебными для болезней печени и атеросклерозе свойствами (Григулевич, 2001. С. 162). Поразительно, как народный гений открыл и оценил этот простой, но важный для здоровья продукт!

исчезновение в Крыму совпало с началом колонизации края русской империей. Во всяком случае, уже в 1825 г. было отмечено, что «знаменитый кумыс уже исчез и нигде о нём никто ничего не знает и даже не слышал» (Jones, 1827. P. 285).

Бузе была суждена более долгая жизнь. В её производстве крымские татары достигали высокого совершенства (об этом чуть ниже). Изготавливали этот прохладный, бодрящий напиток ремесленники, принадлежавшие к одному цеху, у которого был свой верховный покровитель, пир Сары-Салтык, святой, который, по преданию, и изобрёл бузу. Торговля ею была также многовековой монополией цеха (Вишневецкий, 1930. С. 14).

Крымскотатарская буза была крайне популярна не только среди самих крымцев, нравилась она и путешественникам. Особенно хвалили гости Крыма перекопских мастеров этого напитка: «Здесь делают знаменитую татарскую бузу — *кескен вару*. Для назидания эту бузу кладут в платок и несут домой. Не проливается ни капли. Вот какая это густая и вкусная, как костный мозг, буза. Татары, живущие в пяти переходах отсюда, садятся верхом и со словами „выпьём-ка орской бузы!“ приезжают сюда... Вот какая там отличная буза» (Челеби, 1999. С. 13).

Буза имела несколько разновидностей. Вот одна из них: «Буза — хмельная и питательная. Крепкая буза — максума-буза и байс-буза острого вкуса, чрезвычайно любимая татарами» (Домбровский, 1850. С. 476). Упоминаемая максума (или максума) отличалась от обычной бузы способом приготовления. Взятое для ее приготовления просо (около 3 стаканов на 6 л воды) долго кипятили, затем в отвар добавлялось полстакана-стакан пшеничной или ячменной муки. После этого напиток, даже если он сбраживался обычным образом, отличался повышенной крепостью.

В некоторые напитки входил крымский мёд, его использовали вместо сахара. Есть сведения и о весьма популярном крымскотатарском мёдовом вине (*мет*), отличавшимся изрядной крепостью (Ivanics, 2008. S. 126).

Обычное, пресное молоко пили всё же крайне мало. Гораздо более любимыми были молочнокислые продукты, готовить которые, по общему убеждению крымских татар, Аллах научил великого пророка Ибрагима (Авраама) ещё в ветхозаветные времена (Haxthausen, 1847. S. 436). Рецепты изготовления этих напитков менялись от села к селу, однако основных видов было три, и при их изготовлении использовали одинаковую тару — кожаные меха.

*Катык (сюзме)* — самый густой из них. В цельное молоко опускалась закуска из остатков старого запаса, из раздавленного плода спелого инжира, веточки зеленой шелковицы или кусочка высушенного желудка ягнёнка. Через пару дней брожения напиток был готов. При продаже горшок с катыком «запечатывался» коричневой корочкой топленого молока. Катык было принято есть с лепёшками или же им заливали отваренные (обжаренные) галушки-*борсаки* (Holderness, 1821. S. 76).

*Айран* называлось, по меньшей мере, два различных напитка: сколотива, остающаяся после сбивания масла из козьей, овечьей или коровьей сметаны (сливок), или же катык, разбавленный наполовину холодной водой (Боплан, 1990. С. 57).

*Язма* — катык, разбавленный водой втрое жидче, чем айран. То есть на 1 объём катыка брали 6 объёмов воды. Для улучшения вкуса в язму добавлялась соль и тер-

тый чеснок. Чатырдагские чабаны в летнюю жару разбавляли катык карстовым (горным) льдом или ледяной талой водой (Серов, 1896. С. 88).

О чае в Крыму, кажется, и не слышали. Другое дело — кофе: «Чрезвычайно любят кофе и готовят его несравненно лучше, чем все *не-татары* (курсив мой. — В.В.) То есть без сахара и сливок. Наряду с этим пьют различные виды водок, «кроме виноградной, но редко можно встретить между этим народом преданных пьянству». (Домбровский, 1850. С. 478). «Они пьют вино, хотя оно и запрещено, кумыш, шербет, бозу и мёд, также ром, который импортируется» (Тулманн, 1936. С. 25). Оставим это утверждение на совести автора.

Перечисленные виды пищи и напитков — всё или почти всё, что можно назвать крымскотатарской кухней ханского периода. О других видах старинных крымскотатарских напитков (кетати, они употреблялись и караимами) см. подробнее в книге Э.И. Лебедевой (1992. С. 248–254).

### в) Овощи, фрукты, пряности

Набор блюд и напитков, как мы видим, достаточно прост и незатейлив. Впрочем, не более скромн, чем у большинства других европейских народов той эпохи (например, скандинавских). Были ведь и противоположные оценки этой вроде бы примитивной кухни: «Стол их роскошнее многих восточных народов, к чему способствуют им немало плодовые их сады и огородные растения» (Георги, 1799. С. 36). В рукописях встречаются замечания об овощах, что появились в России, Польше, Финляндии и других странах лишь через несколько столетий. Приведём один пример, взятый у автора явно тюркского происхождения: «Здесь (то есть в Крыму. — В.В.) есть род тыквы, известной под именем балтажан, которую татары весьма любят» (Аноним, 1824. С. 73). Добавлю, что не только баклажаны, но и баклажания были здесь широко распространены (Pallas, 1801. S. 398), тогда как и в современной России или Украине о последнем овоще большинство даже не слышало.

Впрочем, современные крымские этнографы уже заметили, что крымскотатарская кухня отличается от крайне родственной ей караимской более частым и разнообразным употреблением овощей и фруктов (Полканов, Полканова, Богословская, 2001. С. 259). Это замечание — безусловно справедливо. Следует лишь дополнить его, упомянув о широком и повсеместном использовании татарскими хозяйками дикорастущих трав и плодов. «Татары потребляют много трав и корней, которые мы почитаем бесполезными. То есть они подают на стол дикую спаржу, дикую морковь, шавель и полевую горчицу» (Аноним, 1824. С. 74). В горах и на Южном берегу, где было принято жарить (с мясом и отдельно) не только баклажаны, но и тыкву, излюбленной приправой служил сладкий и острый перец. В качестве салата использовали листья и лепестки одуванчика, а также молодые листья цикория, и ныне часто встречающегося на обочинах крымских дорог. В огородах росла окультуренная местная спаржа и морковь, которую заготавливали на зиму в солёном виде, как и дикорастущие каперсы; последние шли на продажу по 1 серебряному пиастру за горшок, в котором вмещалось около килограмма этой пряности. Вышеупомянутую дикую горчицу сушили и мололи, после чего она могла долго сохраняться; маринвали в винном уксусе повсюду растущий в диком виде хрен (Holderness, 1821. P. 122).

На зиму в значительных количествах заготавливали естественные источники витаминов: сушёную вишню и другие сухофрукты для компотов. Упомянувшийся выше *бекмес*, похожий на мармелад, но без желатина, делали из чистых фруктов, чаще всего яблок. Причём его приготовление, требовавшее постоянного внимания, превращалось в праздник для всей семьи и особенно для детей. Так, у весьма богатого и известного в Крыму мирзы Крымтаева (с. Мамут-Султан) *бекмес* варили в огромных котлах прямо перед парадным входом в дом (Kohl, 1841. S. 206). Так же, в различных рассолах, заливаемых в открытые кадки, заготавливали и фрукты, более всего арбузы и яблоки (Holderness, 1823. P. 286).

В супы закладывали конский и огородный шавель, капусту<sup>1</sup>, а также крапиву. Последнюю тушили со шпинатом и в чистом виде. Такие пюреобразные супы заправляли катыком и растительным (чаще всего льняным) маслом (Or. cit., P. 290; см. также в: Die Krim, 1855, S. 13). Ещё одно интересное наблюдение: «Зелени вареной употребляют вообще мало, исключение — мурзы. Зато в огромных количествах лук, чеснок, дыни, арбузы, огурцы. Чеснок — без хлеба, часто — в шелухе» (Домбровский, 1850. С. 479). В этих свидетельствах заметно стремление крымских татар потреблять пищу, имеющую и лечебные свойства. То есть, во-первых, продукты, богатые клетчаткой, помогающей выводу из кишечника шлаков (лишь недавно таким продуктом стала считаться упомянутая шелуха). Во-вторых, плоды, содержащие максимальное количество аскорбиновой кислоты (витамина С): Крымцы «... едят незрелые фрукты с жадностью и лимоны предпочитают апельсинам» (Аноним, 1824. С. 66).

Возможно, отсутствие в крымскотатарских записях подобных сведений о многих видах пищи неслучайно. Дело в том, что сами крымцы не придавали столь большого значения своему хлебу насущному: «Они охотно пируют, но легко переносят и голод» (Туманин, 1936. С. 25). Зато сохранилось очень подробное описание крымскотатарского обеденного *этикета* в доме более зажиточного, чем степной пастух, человека.

### г) Этикет стола

Приведем описание гостевого стола в зажиточной татарской семье, относящееся к 1786 г.: «Началось с того, что на колени нам разостлали салфетку; потом подали таз и полили на руки воды, затем подали вторую салфетку, чтобы вытереться. Потом перед нами поставили стол из посеребрённой меди, круглый с бортом, на очень низкой деревянной ножке. Посередине была яичница, а вокруг 6 небольших тарелочек; одна с жидким мёдом, другая с мёдом, сваренным с виноградным соком, третья с печеньем из муки, масла и мёду, четвёртая с простоквашей, пятая и шестая с жареным мясом. Старший сын хозяина дома, закусывавший вместе с нами, показал нам пример, как есть без ложки — взял прямо пальцами кусок хлеба с яичницей и обмакнул его в мёд. Мы проделали

<sup>1</sup> Капуста была в Крыму крайне популярным овощем, о чём говорят старинные описания местной кухни. Не исключено, что такая распространённость объяснялась нетребовательностью культуры: «В здешних местах есть такие земли, где разводят уже капусту около 100 лет, не употребляя никакого навозу» (Аноним, 1824. С. 73).

то же самое. Затем подали какую-то похлёбку с крупой и мясными шариками. По примеру татарина мы поели её деревянными ложками. Потом было вареное тесто и, наконец, нарезанные кусочками фиги, сваренные в воде с мёдом. После ужина нас угостили бы по обычаю кофе, но так как мы его не пьём, нам был предложен шербет — очень сладкое и приятное питьё. Потом, чтобы помыть руки, нам вторично подали таз, на этот раз с мылом... Когда за столом сидит отец, дети ему прислуживают, старший занимает его место, принимает гостей, а братья ему прислуживают. Такое почитание старших представляется мне первоходным обычаем» (Ромм, 1941. С. 42).

Примерно тот же обеденный этикет сохранился и двумя десятилетиями позже: «Хозяин угощал нас с присущими ему элегантностью и достоинством (with grace and dignity); каждому была подана большая льняная салфетка, чтобы укрыть колени. Мальчик обходил нас всех с серебряным сосудом и кувшинчиком, в котором была вода для омовения рук». При этом хозяин не отказывал себе в удовольствии вести почти не прерывавшуюся во время обеда беседу с иностранной гостьей, что дало ей возможность заметить: «Это — ровный, доброжелательный, спокойный народ, они любят курить свои трубки и бесконечно беседовать, расспрашивая и выслушивая интересные сообщения» (Craven, 1885. P. 51, 61). Обед, на котором присутствовали гости, мог длиться несколько часов, бывало по несколько супов и видов вторых блюд. Даже в семьях среднего достатка гостям подавали не менее шести перемен (Holderness, 182. P. 78–79).

А вот обед в горной крымскотатарской деревне: «Обыкновенно кушанье наше состояло из петуха, варенного в кислом молоке и приправленного пряными кореньями, из бараньего хвоста, если его можно было достать; потому что хвост почитается у них роскошью, и один стоит около третьей доли целого барана. Хвост их баранов бывает очень толст, это кусок приятного жиру, совершенно без мяса; татары грызут его как яблоко... Они также подавали нам пенку с кипячёного кобыльего молока. Они, поджарив её, делали куски, и мы ели их с хлебом как масло. Мёд входил по большей части в наше кушанье, он вкусен и духовит. Употребление при столах ножей и вилок у татар неизвестно; и почти нет ничего такого, что могло их заменить, хотя все они носят Бахчисарайские ножи; однако никогда не употребляют их при кушанье. Когда поставили нам петуха, проводник наш, взяв его за обе ноги и разчетверив, подал каждому по ножке, а потом разломал остальное...

Что же касается сарацинского пшена, он захватил его четырьмя пальцами, чтобы подать нам пример; а потом, когда он принёс мёд в сотах, он натискал его пальцами на деревянные наши тарелки. Везде находили мы ржаной чёрный хлеб, впрочем, хороший, которого нам давали большими кусками. Мы следовали обыкновению сей страны в рассуждении способа брать кушанье пальцами и пили кобылье молоко все круговую из одной чаши... После обеда приносили нам умыться, это очень нужно...» (Гутри, 1810. С. 88–92).

И последнее описание трапезы, имевшей место уже в конце 1830-х гг. в деревне Байдары, у зажиточного хозяина Али Мустафа-оглу: «Посреди стола поставили скамеечку, на которой высилась целая гора плова. Вокруг неё разместились настоящая мозаика из больших и маленьких чаш с фруктами и различными холодными блюдами: эт (баранина), пенир (овечий сыр), бибер

(большие стручки красного перца, очень пикантного на вкус), катык (кислое молоко), халва и другие блюда. Ели весьма необычным (*букв.* «пёстрым». — *V.V.*) манером — макнув хлеб в бекмес, закусывали им острый перец, скатывали шарики из плова, в середине которых помещали конфету. Потом пошли супы...» (*Kohl*, 1841. S. 269).

В целом же, как заметил анонимный немецкий путешественник, крымский татарин, каким бы достатком он ни обладал, стремится придать красоту, великолепие (*der Prunk*) своему костюму и столу (*Die Krim*, 1855. S. 15). Второе, столь же общее замечание: «Из их (то есть крымскотатарских. — *V.V.*) обедов изгнаны веселье и вино» (*Reuilly*, 1806. P. 160). Очевидно, это — влияние не только ислама, но и более архаичного, патриархально-серьёзного отношения к хлебу насущному, как к священному дару высших сил.

#### д) Кофейни

Кофейни были единственным местом, кроме небольших гостиничных харчевен, где можно было не только выпить кофе и пообщаться, но и поесть, находясь вдали от дома. Специальных (то есть предназначенных только для насыщения) трактиров или ресторанов не было. Не появились они и через добрых тридцать лет после аннексии. Так сильна была приверженность народа к традиции крымскотатарских кофеен (помимо их имелись, правда, небольшие харчевни типа закусочных — см. ниже). Впрочем, достаточное сытно пообедать можно было и здесь: «Нам поставили на стол, в фут (33 см. — *V.V.*) вышиною, небольшие куски бараньего мяса, толщиной в дюйм (2,7 см. — *V.V.*), воткнутые на вертел, на котором обыкновенно жарят, в то же самое время подали нам блюдо сарачинского пшена (то есть риса. — *V.V.*), бараний хвост, хлеб и водку; кофе, поданный после стола, был очень густ и смешан с некоторым количеством виноградного соку, как пьют обыкновенно татары. В кофе не кладут ни сахара, ни сливок; пьют его из маленьких фарфоровых чашечек, под которыми есть другие, металлические чашечки, чтобы не обжечь пальцев; у них нет чайных блюдец. После обеда неотменно следует курение трубки. И вам тотчас подают трубку...» (*Гутри*, 1810. С. 58–59; см. также: *King*, 1788. P. 226).

Кофейни имели, как правило, и свои уличные крытые павильоны, где на свежем воздухе «целыми днями сидели любители кофе, прихлёбывавшие его из чашечек и попыхивавшие дымом своих трубок» (*Kohl*, 1841. S. 223).

Вот два описания традиционной крымскотатарской кофейни (впрочем, эти заведения кроме мусульман посещали и армяне, и караимы), сделанные с редкой, прямо-таки этнографической тщательностью:

«Напротив Хан-сарая находится крупнейшая в Бахчисарае кофейня... Там общая комната, где, собственно, и пьют кофе, окружена по периметру отделениями, каждое из которых огорожено деревянными баллюстрадами. В середине каждого такого отделения — возвышение, на которое можно попасть из общего помещения, поднявшись по нескольким ступенькам и пройдя сквозь проём в балюстраде. Внутри же всё обложено коврами. На это возвышение поднимаются гости и там ложатся на ковры. Между гостевыми возвышениями и помостом, где готовят кофе, имеются узкие проходы. Посередине общего



В бахчисарайской кофейне. Из коллекции издательства «Тезис»

помещения — диван самого хозяина и его постоянно запертое бюро, куда он кладёт деньги и откуда отсчитывает сдачу серебром. В одном углу общей комнаты находится вмазанная в стену печь, где кофевар целыми днями готовит этот изысканный напиток, столь необходимый в любое время дня, с раннего утра до поздней ночи.

Мы нашли его превосходным и куда более ароматным, чем приготовленный где бы то ни было в Европе, отчего непосредственно наблюдали за приготовлением второй порции — хотелось понять, насколько это возможно, в чём состоит это искусство. Главный секрет здесь, мне кажется, в том, что они каждый заказанный кофейник (то есть джезве. — *V.V.*) готовят отдельно и лишь для немедленного выпивания. У них там целая куча этих маленьких железных кофейничков, которые они ставят на огонь и достают оттуда длинной ручкой. Вначале они нагревают их и лишь затем насыпают внутрь молотый кофе, небольшой запас которого хранится у них в плотно закрытых ящичках. Затем они вливают горячую воду, которая целый день кипит в большом медном кувшине на огне, и дают содержимому один раз быстро вскипеть. Особенно важно сохранить тонкий аромат прекрасных зёрен мокко. Все ящики, в которых оно хранится перед использованием, закрыты как можно более плотно, откуда их извлекают для жарки очень малыми порциями. Кофе подают без сливок, с высоким и чрезвычайно нежным осадком, который ничуть не портит удовольствия, в толстостенных маленьких чашечках без ручек; блюдец при этом не полагается. Ручек у чашек нет, но их вставляют в тонкой работы металлические футлярчики. А поскольку и у них нет ручек, то их осторожно берут двумя пальцами и так подносят к губам. Перед ветми гостями стоят маленькие круглые столики или скамейки, куда можно ставить эти чашки.



Летняя кофейня в Байдарках.  
Из коллекции издательства «Тезис»

Мы были там в поздний час, но несмотря на это кофейня была переполнена — явление, привычное для всего Крыма в любое время суток, так как татары проводят здесь большую часть дня. Гости сидят на своих коврах, иногда говорят друг другу что-то на ухо и выбивают трубки с тем, чтобы тут же набить их снова. Снаружи, на галерее, напротив, сидят крикливые болтуны, большую часть из которых составляют европейцы, так как татары по натуре — люди тихие, особенно теперь, когда после утраты ими своей свободы, они всё ещё находятся в некотором смятении» (Kohl, 1841. S. 243–244).

А вот описание, сделанное уже русским путешественником:

«Внутренность каждого кофейного дома разделена на квадратные пространства, отделяемые друг от друга деревянными решётками; подобные квадраты устроены по ту и другую сторону каждой комнаты, а в середине идёт длинный проход в виде коридора. Вы входите в любую из этих клеток, и в каждой найдёте множество праздных Татар... которые усевшись на диванах с длинными черешневыми чубуками в руках проводят целые часы только в том, что молча курят трубку. Лишь изредка произносят они несколько слов голосом тихим, не изменяя несколько величественного, почти совершенно недвижимого положения. Все эти люди, столь несходные по нравам, образу мыслей, обычаям и привычкам, проводят время в кофейных домах очень миролюбиво, играют в триктрак<sup>1</sup>, курят трубки, пьют прекрасный кофе и между ними никогда не бывает ни шуму, ни ссоры» (Демидов, 1853. С. 446–447).

То есть кофейни были своеобразными клубами, пользовавшимися большой популярностью, членство в которых обходилось весьма недорого. В ко-

<sup>1</sup> Триктраком в России и Европе называли настольную игру восточного происхождения, похожую на нарды и известную в Крыму с незапамятных времен.



В симферопольской кофейне. Гравюра В. Рихтера.  
Из коллекции музея Ларишес

фейню можно было войти с утра и оставаться там до вечера (за исключением перерывов на намазы). Она никогда не пустовала, но при этом в ней никогда не слышно было шума. Вот фрагмент еще одного описания: «Объясняются [посетители] по большей части телодвижениями, медленным наклоном головы, отрывистыми *пек* и *йок* („хорошо“, „нет“), вырывающимися из уст шахматных игроков и безмолвных зрителей их искусства. Иногда только учёный Татарин, оставляя кофейню произносит стихи из Корана или в котором-нибудь углу сказочник убаюкивает нескольких сибаритов волшебными небылицами, или резкий голос хозяина, который, обнося кофе, повторяет *джаба* («безденежно»), быв заплачен тайком за всё угощение кем-нибудь из посетителей, возложившим на себя по благочестивому усердию, сей гостеприимный обет» (Свиньин, 1839. С. 337).

Кроме таких внутренних помещений, каждая кофейня имела и наружную галерею, где обслуживание и времяпровождение были аналогичными: «При входе туда каждому гостю вручают трубку и огонь, причём бесплатно: это знак гостеприимства... За чашкой кофе и трубкой царит почти полная тишина. Крымские татары беседуют очень оживлённо на улицах или в лавках, но не в кофейнях: здесь место полного *отдыха*, здесь недопустимо болтать, уподобляясь европейцам! Правда, по вечерам в кофейнях бывают рассказчики сказок и преданий, посетители слушают их внимательно, но также храня глубокое молчание» (Haxthausen, 1847. S. 410).

Рассказы произносились речитативом, напевно, иногда выступали и танцоры, при этом даже самое горячее и восторженное одобрение пляскам и песням высказывалось без особых внешних эмоций, сдержанным наклоном головы (Reuilly, 1806. P. 160; Barker, 1855. P. 204). Нередки были представления театра



Армяне и мусульмане в крымской кофейне. С французской гравюры.  
Из коллекции музея Ларишес

теней — этот вид искусства пришёл в крымскую кофейню, как и некоторые иные, по Великому шёлковому пути с Дальнего Востока (скорее всего, из Китая).

В небольших деревнях иногда не имелось стационарных кофеен, работали только сезонные (хотя такой сезон длился большую часть года), то есть устраиваемые на открытом воздухе. Обычно это было несколько невысоких помостов-топищанов с низким столиком посередине, устраиваемых под деревьями и огороженных решётками, завитыми виноградом или другими вьющимися растениями. Преимуществом таких заведений по сравнению с городскими становилась большая свобода выбора в их расположении. Как правило, они устраивались в наиболее живописных местах близ деревень (Barker, 1855. P. 203).

Важно отметить, что кофейни были доступны самым бедным, даже нищим прохожим, поскольку плата за обед отдавалась сообразно достатку гостя: «Татары, приняв таким образом [гостей], не назначают платы, а оставляют на собственный произвол платить, что кому разсудится: всякой по выходе кладёт несколько денег в определённый ящик. Это самое показывает добросовестность и добросердечие татар». В кофейнях Бахчисарая имелся и кое-какой опыт приёма «интуристов», которых всегда было немало не только в столице, но и во всех торговых городах. «Хозяин кофейни служит сам, и очень хорошо разумеет то, что изъясняют знаками. Татары удивительно привыкли к сему способу изъяснения мыслей, не показывая притом ни малейшего желания насмеяться над теми, которые говорят с ними таким образом» (Гутри, 1810. С. 60).

Встречались и совсем небольшие кофейни, куда собирались, собственно, из-за самого кофе, располагавшего к общению, дружеской беседе. «Кофейный дом,

куда татары собираются пить кофе, курить табак и прохладиться... состоит из одной комнаты, устланной на полу коврами с отгороженными вокруг диванами, и тут на очаге беспрестанно варился кофе. Татары, поджавши ноги, раскуривали из поставленных перед ними жаровен свои трубки, между собою разговаривали; иные из них играли в шашки, и это было публичным местом их забав» (Сумароков, 1800. С. 55)<sup>1</sup>.

#### е) Харчевни, буза-ханэ

Кроме кофеен имелись и упоминавшиеся харчевни или закусовые (путешественники обозначали их «тавернами»), а также буза-ханэ, куда приходили для утоления скорее физического, чем духовного голода. В основном в харчевнях, точнее снаружи, под навесами их, становилось людно в обеденное время. Главным, часто единственным блюдом здесь был бараний шашлык, который иногда приправлялся красным и чёрным паслёном (*Solanum tolongena*), весьма декоративным и прекрасно способствующим усвоению острых блюд. Часто в печь был вмазан шести-восьмиведёрный котёл, в котором варились бараньи головы и ноги. Иногда рядом, в казане с кипящим маслом готовились чебуреки и пирожки с луком. Если в харчевне подавался мясной суп, то для варки его имелся отдельный котёл весьма своеобразной формы: его дно было 30 см в диаметре, стенки посредине сужались в «талию» шириной всего в 5 см, а верхняя часть снова расширялась до размеров дна (Шатилов, 1857. С. 49–53).

А вот ещё несколько наблюдений: Посетителям харчевни «подают почти всегда одно и то же кушанье, которое, как видно, преимущественно нравится Татарам. Оно состоит из жареной баранины и тонких лепёшек. Дешевле баранины в Крыму только табак; а этих двух предметов достаточно, чтобы здешний простолудин был доволен своею судьбою» (Демидов, 1853. С. 447). Иногда котёл с пловом или жарившимся кебабом устанавливался прямо у входа в такую харчевню: «На улице стоит котёл, в котором жарится молодая баранина, её подают с лепёшкой, луком и другими овощами — очень вкусно, похоже на кебап в Турции. Съешь одну порцию — ещё захочется. Продают и суп, который все едят деревянными ложками, сколько хочешь нальют — но за пару грошей насытитесь самый голодный желудок. И шашлык мальчишки вращают над дымящимся углем. Экмеджи (пекарь) готовит тут же [в харчевне] свои разнообразные хлеба, на глазах у покупателей, в том числе и хлеб с анисом — самый ароматный...» (Koch, 1854. S. 46).

Буза-ханэ была заведением несколько иного типа. Она представляла собой довольно обширное помещение, над входом в которое висел флаг, почему-то красного цвета. Внутри стены обычно украшались разноцветной посудой.

<sup>1</sup> Весьма интересное наблюдение. Обычная, особенно для татар пожилого возраста, молчаливость как неотъемлемый признак спокойного достоинства, была гораздо меньшей среди стариков-мурз. Те любили и умели поговорить. Впрочем, слава хорошего *массалджи* (говоруна, рассказчика, собеседника) была всё же несколько двусмысленной (Домбровский, 1862 „а“, С. 135).

На очаге всегда была горячая вода для кофе, рядом, в тёплом месте стоял котёл с бродящей бузой, готовый напиток охлаждался в глиняных горшках или плотно запечатанных бутылках. У одной из свободных стен тянулись в два ряда лавки, между которыми ставили столики со свечами для прикуривания трубок, которые раздавались всем посетителям. Почти всегда играла народная крымскотатарская музыка, хотя, как правило, музыкантами были местные цыгане (Данилевский, 1850. С. 260). Для постоянных посетителей хозяин обычно имел отдельную, личную посуду — обычай, который широко распространился с увеличением в Крыму различного пришлого люда, нередко заносившего из России заразные болезни (Терджиман, 15. 07. 1883).

Молодые крымцы, желавшие отпраздновать какое-то событие или просто повеселиться, шли, конечно, не в кофейню, а в неприязнательную буза-ханэ, где не требовалось соблюдать комфортную тишину: «Кто хочет угостить своих приятелей, тот зовёт их в бузю: там перед ним ставят свечи, в знак его старшинства. Кто не выпьет всей чашки, с того снимают шапку и высылают вон, пока старейшина компании его простит. Кислая, не вкусная, но сытая и пьяная буза, и куски баранины, жаренной перед их глазами, на одних углях без сковороды; также белый хлеб (экмек) и трубки с табаком составляют весь их обед и десерт их, тем и оканчивается вся их пирушка» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 15 об.).

Для любых видов таких мест общественного быта, от самых дешёвых и простых до более или менее дорогих были характерны общие черты, отмечавшиеся гостями Крыма: «Плата за услуги повсюду крайне умеренная, а всё, что они [то есть крымские татары] предоставляли нам, было чистым и доброго качества» (Jones, 1827. P. 281).

В заключение этого раздела, раскрывающего важную сферу крымской культуры, остается упомянуть некоторые сведения из биографии одного из иностранцев, уже неоднократно цитировавшегося. Речь идет об Эвлие Челеби, родившемся на берегу стамбульского Золотого Рога, получившем прекрасное образование, благодаря которому он ещё молодым человеком попал в султанский дворец и был привечаем многими пашами Османского государства. Понятно, что Эвлия основательно ознакомился со всеми тонкостями знаменитой кухни «столицы мира», повара которой не знали нехватки в самых изысканных пряностях Востока. Но его современный биограф, исследовав многотомную «Книгу Путешествий» Эвлии, справедливо отметил, что талантливый автор, дважды побывавший в Крыму, неизменно приходил в восторг от местной кухни (Dankoff, 2006. P. 58–59).

Этот стамбульский джентльмен XVII в., естественно, опасался перед отъездом, что на далёкой периферии мусульманского мира, среди вчерашних кочевников Великой Степи, он будет страдать прежде всего от непривычной пищи. Его опасения оправдались, но гораздо восточнее, в калмыцкой степи. Там действительно Эвлию за пиршественными столами нередко мучили спазмы... В Крыму же он отдыхал душой и телом. А нам, читателям его фундаментального труда, остаётся лишь удивляться тому, что крымский народ (действительно, ещё сравнительно недавно бывший в значительной своей части кочевым), столь быстро достиг высот кулинарного искусства эпохи.

## 6. Крымскотатарский костюм

Национальная одежда является одной из важнейших сфер материальной культуры любого народа. В костюме главным образом зашифрован дух народа, а уж во вторую очередь его понимание красивого. Поэтому огромный интерес представляет собой картина исторического развития крымскотатарской одежды в ханский период, когда ничто не мешало самовыражению этнических масс и в этой области материального искусства. Причём даже заимствование тех или других деталей костюма происходило в Крыму на основе свободного, не навязанного чуждой культурой выбора. К сожалению, восстановление костюмов той эпохи находится на начальной стадии, что объясняется не отсутствием внимания этнографов и историков костюма, но огромными сложностями, с которыми сопряжена их работа.

Дело в том, что в отличие от других предметов материальной культуры (металлических, керамических, деревянных и пр.) одежда куда хуже сохраняется — что в жилище, что в земле или под водой. Поэтому подлинные вещи даже XVIII в. ныне представляют собой большую редкость. Но и те из них, что дошли до нас, как правило, не имеют атрибуции, то есть неизвестны ни точное время, ни место их изготовления. Конечно, в распоряжении историка имеются и другие методы реставрации хотя бы основных вех истории крымскотатарского костюма. Археологические раскопки позволяют создать представление о некоторых частях убранства людей ханского времени. С той же целью используются письменные свидетельства современников (крымские шертные грамоты, русские летописи, записки иностранных путешественников и дипломатов, побывавших в Крыму, сочинения крымскотатарских писателей и пр.), а также архаизмы, присутствующие в языке. Тем не менее на данном этапе изучения истории Крыма мы стоим перед бесспорным фактом: все собранные и изученные исследователями данные об истории костюма крымских татар ханского периода — лишь фрагментарный материал, на основе которого невозможно воссоздание полной картины былого.

Поэтому в главе, посвящённой костюму крымских татар, можно привести только крайне скудные данные об этой сфере материальной культуры ханского периода. Более того, в них неизбежны неточности, заранее предупреждаю об этом читателя. Наконец, кое-где в текст сознательно введён материал, относящийся к более позднему периоду (правда, это специально оговорено в каждом случае), что оправдано известной консервативностью мусульманской «моды», иногда позволяющей судить о прошлом по настоящему.

Общее мнение, выраженное современниками периода Гиреев (и более поздними путешественниками), побывавшими в Крыму, можно свести к двум-трём фразам: «Татары одеваются красиво, иногда даже живописно» (Народы, 1880. С. 281). «Одеваются они очень чисто, аккуратно и, если обладают средствами — роскошно. Их одежда не только удобна, но ещё более привлекательна, чем турецкая, возвышает и украшает наружность» (Тунманн, 1936. С. 25). «Одежда их... чиста и всякому к лицу и впору» (Георги, 1799. С. 36). «Костюм у них аккуратный, складный (neat), чрезвычайно элегантный» (Spenger, 1836. P. 142). Другое дело, что, переходя к конкретным описаниям народного костюма, авторы уделяют

внимание именно тем его особенностям, которые, по представлению каждого из них, особенно характерны. Однако почти все они восхищаются крымскотатарским нижним бельём.

#### а) Бельё

Как мужское, так и женское, оно шилось из домашней сырцово-хлопчатобумажной (иногда с добавлением льна) ткани. Эта материя была знаменита тем, что, будучи по современным меркам несколько толстоватой, после многих стирок в весьма несовершенных моющих средствах (например, в степных районах — в поташе, выпариваемом из солей) не теряла ни мягкости, ни белизны, рубашка из неё носилась десятки лет (*Лашков*, 1890 «а». С. 213). Женская сорочка *кетен-кельмек* была прямого покроя, иногда со сборками, кремового цвета, с полуоткрытым воротом; рукава расширялись книзу. Её ворот застёгивался запонкой, украшенной камнем, чаще зелёного цвета. Под сорочку одевались шальвары *думан* или *дан*, снабжённые *укурком* (шнурком) в поясе и тесёмками, завязывавшимися у щиколоток, где часто ткалась красная кайма *оя*.

Естественно, бельё, как и верхняя одежда, не покупалось, а изготавливалось женской половиной семьи. Особое значение придавалось белью (в том числе и постельному), одежде, готовившимся молоденькими девушками себе в приданое. Собственно, то же самое можно сказать и о других этнических культурах, но в крымскотатарской была одна тонкость. В каждой деревушке (или маалле более крупного села или города) среди будущих невест шло негласное соревнование в искусстве шитья приданого. Именно эта конкуренция побуждала девушек предлагать всё своё умение и одарённость в занятии, требовавшем немало месяцев. Понятно, что поощрять мастериц деньгами или чем-то иным необходимости не было; награда была впереди, она ждала каждую в день свадьбы. Но здесь имелся и дополнительный стимул: приготовление изящного приданого для молоденькой татарки было одной из немногих возможностей заслужить всеобщее уважение, и даже признание старейшин, что отмечали и зарубежные путешественники (*Бсон*, 1854. Р. 225). Как бы то ни было, но именно такого рода традиции способствовали постоянному развитию народного ремесла как важнейшей части этнической культуры.

#### б) Женское платье, украшения, причёски, обувь

Какое платье крымские татарки носили до аннексии — в точности пока неизвестно (*Рославцева*, 2000. С. 30). Позже, очевидно под влиянием османской моды, появились *энтери*, которые одевались поверх нижней рубашки. Это было приталенное платье из шерсти или шёлка (иногда его называли и *каптан*). В любом случае оно шилось длинным и узким, облегающим, но край белоснежной сорочки должен был виднеться снизу (как и цветная кайма шальвар). Рукава сужались к запястьям, где пришивалось несколько мелких оловянных пуговиц, как и у талии. Передний прямой разрез шёл во всю длину и отделялся золотым шнурком или позументом. Та же отделка шла вдоль нижней части подола, расширявшегося за счёт клиньев-*джабу*. Платье этого типа шилось на тонком

слое ваты, который должен был придавать женскому стану некоторую округлую определённую.

Широкий тканевый (часто — плисовый) *йилиш-кбушак* мог повязываться несколько ниже талии, даже на бёдрах; цвет его зависел от вкуса девушки, но чаще всего он изготавливался из чёрного вельвета или бархата, с золотым или серебряным шитьём. Пояс застёгивался двумя крупными, иногда размером с блюдце, чеканными, с рельефным орнаментом, бляхами (*колан* или *капаклы-кбушак*), обычно из латуни, олова или позолоченными. Изредка их изготавливали и из серебра, но поскольку бляхи были крупными, то стоил такой пояс очень дорого, в начале XIX в. — от 120 до 170 рублей (*Holderness*, 1821. Р. 13).

В домашнем обиходе и энтери шилось из материи попроще, и пояс был обычным. Часто такой туалет дополнялся довольно нарядным передником-*нештмалом*, как правило, из полосатой ткани. Замужние женщины носили на голове большую тонкую шаль из турецкого муслина, концы которой свисали ниже пояса, поверх шали набрасывалась белая чадра. При выходе на улицу сверху мог одеваться ещё один, большой платок из очень тонкой, ослепительно белой дмотканой шерстяной материи.

Поверх энтери в XIX в. стали одевать *салтамарку* или *друбе*. Это была заимствованная в Турции чёрная или зелёная бархатная жакетка (у пожилых женщин — длинная, вроде шубки) с короткими рукавами, отделанная по краям золотой тесьмой или мехом, а по всем швам — широким золотым позументом. На неё набрасывалась яркая, чаще красная шерстяная шаль *бель-явлукь* или *киш*, известная и веком раньше. Она складывалась по диагонали, так чтобы сзади её цветной угол доходил до талии, а то и чуть ли не до пола, при этом передние концы спускались на передник. В деревнях Южного берега между Ай-Тодором и Аю-Дагом была распространена особенно большая шаль, в которую закутывались при поездках (она называлась *араба шал*, то есть «шаль для арбы»). Впрочем, её носили и дома, если погода была прохладной. Ещё большим по размеру ткалось ногайское покрывало красного (у пожилых женщин — белого) цвета *до-стар*, задний угол которого мог достигать земли.

Самым древним женским головным убором, исчезнувшим только в первой трети XIX в., был тюрбан белого цвета, явно пришедший в Крым из Средней Азии (там кое-где он сохранился и донныне, в национальном костюме, естественно). Он завязывался на голове пышным коконом, длинные концы его при этом ниспадали на спину, свободно опускаясь до середины икр. Этот головной убор был принадлежностью женщин из знатных родов. Основная масса женщин, особенно в степной части Крыма, со столь же давних времён носила платки, причём одновременно три штуки. Поверх нижнего, как бы бельёвого платка *ханэ*, завязывавшегося на затылке, одевался *каим* или *яшмак* из кисеи, часто отделанной кружевом и завязывавшийся плоским узлом надо лбом. И уже сверху, главным образом перед выходом на улицу или приёмом гостей, одевался самый большой платок, который называли *чембер* или *йермени*. Концы его завязывались на затылке, так что все они спускались на спину. Как и другие виды уличной одежды, чембер был особенно наряден, нередко его расшивали золотом (*Рославцева*, 2000, 33).

*Баш-мараме* (чадра) изготавливалась из конского волоса, при её ношении голова сверху покрывалась белым *чаршафом*, концы которого опускались до колен



и ниже. Иногда это узкое полотнище называли *марамой*; его ткали на небольших переносных станочках, очень легких: летом женщина могла вынести его на двор или поднять на плоскую крышу (Kohl, 1841, S. 194). Но самой нарядной была головная сетка, ажурной шёлковой вязки накидка, к которой пришивались монеты: сверху — помельче, снизу — покрупнее. Сзади она доходила до кушака, а то и спускалась ниже. Ещё один вид украшения — чёрная бархотка на шее, к которой также пришивались золотые монеты; нередко среди них встречались дукаты ещё византийского чекана (Лассек, 1840 «а». С. 209). При выходе из дома сверху одевалась розовая или зелёная суконная *фередже*<sup>1</sup>, то есть накидка с короткими рукавами, одежда исконно крымская — о ней писал путешественник XVII в. (Челлеби, 1999, С. 52). Если женщина выходила ненадолго, эту плечевую одежду можно было просто набросить на голову, используя как чадру. В XVIII в. бытовал и такой термин, как *фередже-марама*, которым обозначали исключительно белые накидки, которые надвигали низко на лоб, в то время как нижнюю часть лица закрывал платок также белого цвета (Рославцева, 2000. С. 32).

Голову девушек, а также подростков покрывала круглая (куполообразная) шапочка из красного или пунцового бархата с крупной кистью. Позже появилась *фес*, шапочка в виде усечённого конуса, как правило, ушитая монетками различного (в зависимости от достатка) достоинства. Дочери благородных отцов заменяли иногда монетки золотой бахромой. Первые фески завезли из Турции в середине XVIII в. под названием *тарбуш*, потом они стали зваться по-иному. Фес был одноцветным, лишь ялтинские девушки иногда заказывали его из полосатой ткани. Спереди этот женский убор украшался трёхрядным монистом из золотых монет (Рему, 1872. S. 68).

Иногда фес отделявали плоским золотым или серебряным галуном, такой убор назывался *шерт*; обычно при этом на темя пришивалась круглая пластинка или бляха — *тёпелик*. Из-под феса на спину девушки опускались волосы, заплетённые в мелкие косички, числом около пятидесяти и больше. Замужние женщины чаще носили платок, из-под которого виднелись два локона-*зульф* или *зелиф*, окаймлявшие щеки, остальные волосы стриглись довольно коротко. После брака татарка начинала пользоваться белилами и румянами, не раньше. Старинной традицией было подводить брови басмой, соединяя их над переносицей в одну линию (точнее, такой вид макияжа назывался *чатма кьаш* — «сросшиеся брови»), что также позволялось только замужней женщине. Впрочем, в Новое время этот обычай уже считался признаком простонародной культуры, отличавшей женщин из совсем уж глухих деревень («*кьара-кемиклар*»).

Гораздо более распространённым было окрашивание волос хной. Вообще рыжий или каштановый цвет волос почитался наиболее красивым, поэтому даже замужние или пожилые женщины, не пользовавшиеся хной, постоянно мыли волосы крепкой настойкой скорлупы конского каштана. Ногти окрашивались в карминно-красный или алый цвет (Castelnau, 1820. Vol. III. P. 271–272).

<sup>1</sup> Этот термин пришёл в крымскотатарский язык от арабского *фараджи*, в древности познаношахского арабами у греков. В дальнейшем эта крымская одежда, как и её обозначение, продолжили свой путь на север, имеются в виду русские мужские и женские *ферязи* (См. Фоснер, 1973. Т. IV. С. 190). В Средней Азии термин видоизменился в *паранджу*.



Фес, нарукавные вышитые и нагрудные металлические украшения.  
Колл. Одун-базар-капусы

Девушки обычно вплетали в волосы *дува*, то есть один или несколько матерчатых или кожаных треугольничков с сурой из Корана или перечислением имён 28 пророков. Кстати, дува мог зашиваться в различных частях одежды, носиться на шее или в головном уборе и т. д. (Домбровский, 1962 «а». С. 135). Обычно дува изготавливались в Мекке, откуда привозились в Крым паломниками-хаджи. Носились и талисманы, защищавшие от дурного глаза, изготовленные из сердолика или бирюзы.

Крымские татарки всегда отдавали должное ювелирному искусству. Украшения чаще всего изготавливались из серебра, которое «добывалось» из старых и новых монет. Серьги представляли собой довольно длинные жемчужные подвески. Очень любимы были кольца (их одевали одновременно до десятка) и тонкие браслеты, представлявшие собой 3–4 золотые или серебряные цепочки на общей широкой застёжке, а у небогатых женщин — стеклярусные нити. Девушки-степнячки украшались одним, изредка несколькими кольцами, продетыми в крылья носа. Имелись отличия (хоть и незначительные) ювелирных украшений замужних дам от принадлежавших юным девушкам. Старинная поговорка кратко, но точно отметила склонность крымских красавиц к украшениям: «Женщину вначале слышишь, потом видишь»: действительно, ожерелья, мониста, браслеты при ходьбе или рукоделье постоянно тихонько позванивали...

Обувь была разнообразной, особенно женская. Дома в зимнюю пору носились *мешты* — сафьянные сапожки, летом их сменяли *папучи* или *бабуши* — лёгкие остроносые башмачки, расшитые серебряной ниткой. Зимняя обувь для улицы называлась *катыры*, это были кожаные галоши, одеваемые поверх мештов, летом на папучи. Также не снимая их, одевали *терлики*, открытые сзади туфли. Холода при этом женские ножки не испытывали, так как было принято почти постоянно носить довольно толстые шерстяные узорчатые чулки *чоран* (*сырлы-чоран*), чаще всего красного или жёлтого основного цвета. Для шитья обуви использовали сафьян или более толстое шевро чёрного, красного или жёлтого цвета. И последнее: путешественники, побывавшие в деревнях других стран Европы и в России, отмечали, что лишь в Крыму невозможно увидеть ни старого, ни малого босиком — здесь это считалось позором (Spenger, 1836. P. 142).

В дождливую погоду, когда по городским и деревенским улицам струились потоки воды, поверх обуви одевалась особая обувь *табалдырк* или *табандрык*

(в окрестностях Ялты — *налы*). Это были деревянные башмаки-скамеечки типа японских гета, но гораздо более высокие, так как в крымских сёлах осенью грязь бывает нешуточной. Они изготавливались из лёгких пород дерева, чаще всего из чёрного тополя, подошва делалась довольно толстой, длина её достигала 18–19 см, по форме напоминала обычную подошву. В её «передней части вбивались гвозди, чтобы удобнее было бегать. Подошва держалась на двух поперечных дощечках от 7,5 до 18 см вышиной; к ним прикреплялся в виде стремени широкий ремень и таким образом башмак держался на ноге (*Шатилов*, 1857. С. 27). Эти миниатюрные ходули имели изящный вид, они лакировались, украшались резьбой с раскрашиванием, а также узорами из латунных гвоздиков или даже перламутровой инкрустацией (перламутра вообще в ремесленных мастерских было много, его издавна выпиливали из раковин черноморских моллюсков, и стоил он дешево).

Но в целом нужно сказать, что даже самые благородные дамы Крыма отнюдь не стремились перешеголять своих менее зажиточных соотечественниц богатством или пышностью наряда. Здесь проявлялась такая редкая национальная черта, как известная крымскотатарская социокультурная этика, боязнь ущемить подругу или знакомую своим достатком (о традициях эгалитарности см. в конце главы), почти полное отсутствие чванства своим происхождением или богатством. И на эту черту крымских татарок сразу же обращали внимание путешественники, особенно женщины: «Одежда [княгини Ширинской] отличалась простотою: на ней было из лёгкой шёлковой материи энтери, застёгнутое одной пуговицей, грудь едва покрывалась константинопольской рубашкой, в которой блестела драгоценная запонка; на голове слегка был повязан тёмный шёлковый платок, в ушах были одни золотые колечки... У других были белые шерстяные фарджэ» (*Пассек*, 1840 «а». С. 210, 218). То есть даже приём гостей никак не мог нарушить привычной элегантной простоты наряда этих аристократок.

В общей оценке совершенства одежды, обуви, макияжа и так далее, как банально это ни звучит, наиболее объективен взгляд со стороны. Западных путешественников не менее крымскотатарских платьев и обуви восхищали головные уборы, которые казались им «самим совершенством» (*Remy*, 1872. Р. 69). Не уступавшие крымским татаркам в смысле вкуса русские аристократки довольно рано оценили это совершенство, после чего на протяжении почти всего XIX века на великосветских балах стало модным появляться в крымских уборах. Более того, у петербургских и московских дам хватало здравого смысла заказывать такие платья не у столичных портних, а на месте, у крымскотатарских мастериц, издавна славившихся своим неподражаемым искусством. Причём чем дальше, тем больше становилось таких заказов, ничуть не удивляясь, отмечал этот факт заезжий ценитель и знаток женских нарядов (Там же).

#### в) Мужская одежда

Мужчины одевались попроще. На хлопчатобумажную же сорочку, с рукавами длиной до кончиков пальцев, одевался жилет, сверху — обычная куртка с рукавами. Такие куртки, особенно летние и особенно детские или юношеские, богато украшались вышивкой и позументами. Мужские шаровары были свободны,

широки у пояса и в шагу, сужаясь ниже колен; у шиколоток они застёгивались на пуговицы. В некоторых районах Крыма мужская одежда крестьян состояла из рубашки и шаровар из белого полотна или миткаля, поверх которого в прохладную погоду мог набрасываться низко стриженный полшубок-*тончик*. «В такой, целиком белой одежде мужчины выглядят аккуратными и чистыми», отмечает английская леди (*Holderness*, 1821. Р. 16).

В холодную погоду сверху одевался не столь нарядный длинный *каптан*, зимой его заменяли овчинные нагольные тулупы-*узуну*, шившиеся мехом внутрь или более короткие овчинные же полшубки *хаха-ени-курт*, не имевшие определённого фасона. Была широко распространена бурка *кануджи* (*табунчи*) из особого толстого, с длинным ворсом сукна, как правило, чёрного или бурого цвета. Простой формы, лёгкая и тёплая, бурка прекрасно защищала чабана от снега и любого дождя. Кроме того, её использовали и для ночёвок под открытым небом. Пасший небольшое стадо чабан-одиночка плотно в неё заворачивался, и далее не обращал внимания на непогоду. Если же пастухов было несколько, то из бурок и веток быстро сооружался настоящий шатёр, вполне комфортабельный и несокрушимый, позволявший развести костёр и насладиться долгой вечерней беседой. Своего восхищения крымскотатарской буркой, этой универсальной одеждой не скрывали ни русские, ни хорошо знакомые с костюмами разных народов иностранцы (*Кондараки*, 1875. Т. XVIII. С. 49; *Люк*, 1879. С. 480; *Holderness*, 1821. Р. 84–85). В степной части Крыма был распространён более тонкий *джабширлук* — дождевик, снабжённый капюшоном, с рукавами настолько длинными, что они полностью закрывали пальцы.

Для шитья шаровар и других частей мужской одежды использовалось сукно различного качества — от тонкого покупного, типа кастора, до грубой верблюжьей или овечьей *сакмы*, спасавшей чабанов, бредущих под пронизывающими ветрами и ливнями по бескрайним степям и яйлам. В период дождей чабаны одевали специальные штаны из льна, пропитанного маслом (*Чеглок*, 1910. С. 26). Голову крымца дома (а летом и на улице) покрывала плоская шапочка вроде тибетейки *такийя*. Она же служила основой для чалмы, навивавшейся различными фасонами и из самой разной ткани, кроме зелёной — эту привилегию оставляли за собой вероучители и потомки Пророка. Зимой одевали тёплую шапку конусовидной формы. Она не пропускала воду, так как шилась из сыромятной (иногда более тщательно выделанной) кожи с оторочкой из меха самых разных видов (*Сумароков*, 1803, Т. II. Илл. 6). В начале XIX в. одновременно с ней получает распространение ставший ныне традиционным круглый плоский *бворк* или *кьалпакь*, шитый из барашковых шкур; иногда его доньшко-*тупелик* делалось из ткани красного цвета с золотым расшитым медальоном посередине (много позднее он был скопирован в парадной форме эскадронцев). Впрочем, во второй половине XIX в. кьалпакь стал выше (до 12–13 см). Излюбленным цветом смушки остался чёрный, а доньшко, наряду с красным, бывало и зелёным (*Remy*, 1872. S. 70). В конце 1820-х гг. из Турции была завезена стойкая мода на мужские фески. Они изготавливались чаще всего из чёрного или бордового сукна.

Зимой, особенно в степной части с её пронизывающими ветрами, вместо кьалпака носили тёплый *башлыкь*. Летом некоторые шёголи гуляли в *фесках* красного цвета, но это уже в первой половине XIX в. Был в ходу и более древ-

ний домашний головной убор — вязаная плоская шапочка, которую не снимали, одевая сверху чалму или кьалпак. Кстати, последний вызывал неизменное восхищение иностранцев; некоторые называли этот действительно красивый головной убор из несравненной крымской мерлушки не менее, как *тиарой* (Jones, 1827. P. 283), хотя тиара римских пап была раз в пять выше...

Обувь была различной, в зависимости от сезона и достатка, но основные черты её имели много общего. Самой распространённой, всепогодной обувью были *постолы* (от *пост* — кожа). Их шили из прямоугольного куска сыромятной кожи, простроенного одним швом спереди (вдоль подъёма ступни) и двумя швами сзади, справа и слева от пятки. Вдоль верхнего среза этой обуви пробивался ряд отверстий, в которые продевался ремённой же шнурок, настолько длинный, что его хватало для обвязывания крест-накрест шерстяных или овчинных онуч до колена. Покрой и шитьё были настолько простыми, что каждый изготавливал себе постолы собственноручно.

Более дорогие, выходные сапоги шились с острыми, загнутыми сверху носами, довольно высокими каблуками, непременно снабжёнными звонкими подковками. Более распространены были стёганые из ткани и хлопка сапоги-бурки без твёрдой подошвы, сверху которых одевали в XIX—XX вв. галоши, а в ханское время — формой и назначением похожую на галоши обувь, которую называли *чизма* (на Южном берегу) или *катыр* (в горах). Она шилась из хорошо продубленной толстой кожи, по форме напоминая постолы, но будучи гораздо глубже (постолы вообще едва доставали до шиколоток) и на толстой подошве с каблуками, подбитыми подковками.

Летом как дома, так и на улице часто носили расшитые шёлком сафьяновые туфли-*терлик*. Их делали без каблуков и использовали в качестве тапочек; они стоили недорого, были общедоступны. В ходу были и настоящие домашние шлёпанцы *пануч* с длинным язычком в передней части, выше подъёма, которые шились из мягкой кожи жёлтого, редко красного цвета. В степи зимой и женщины, и мужчины одевали для тепла толстые войлочные чулки (Журтнев, 1998. С. 12). Но иногда, к особому виду штанам, которые шились заметно короче обычных (но ниже колен), мужчины зимой навёртывали на голые икры ленты шерстяной ткани, а летом — грубого полотна. После этого надевалась обувь, шнурки или ремешки которой обвивались вокруг этих онучей и завязывались под коленями. В комплексе такое одеяние называлось *кюс*. Уличную обувь, естественно, снимали на пороге дома.

Основной чертой одежды крымских татар было её выраженное национальное<sup>1</sup> единство, социальная нерасчленённость. Нам, людям XXI века, трудно понять, в как могло быть иначе? Между тем социальный или профессиональный характер костюма в той же России был ярко выражен даже в XIX веке (не говоря уже о более ранних периодах), когда один какой-нибудь разночинец мог переодеть-

<sup>1</sup> Этот факт подчёркивали иностранные исследователи: «Они носят ни в коем случае не турецкое, а их собственное национальное одеяние (keine Tuerkische, sondern ihre eigene Tatarische Nationalkleidung)» (King, 1788. S. 224). «Татарские одеяния гораздо более удобны и во всех других смыслах предпочтительнее турецких (preferables à ceux de Turcs)» (Besse, 1838. P. 217).

ся плотником, а другой рабочим и так далее. Напротив, ни в покрое, ни в цветовом решении татарского костюма таких черт, резко отличавших одну группу крымцев от другой, не было. Даже муллы отличались от мирян лишь узкой белой полоской ткани на кьалпаке да зелёным поясом, правда, хатипы носили чалму. Хотя какие-то незначительные локальные различия, кажется, имелись. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, сравнивая зарисовки национальной одежды, сделанные различными авторами:

«Костюм... [крымских татар] довольно красивый. Они носят широкие шаровары, перетянутые яркого цвета широким поясом, куртку... сверху куртки надевают кафтан, а в зимнее время баранью шубу. Обувь состоит из бараньих полусапожек или башмаков жёлтого цвета с загнутыми вверх носками. Муллы носят чалму, зелёный пояс и суконную мантию голубого или бурого цвета. Женский костюм — бумажный кафтан, обшит пёстрой материей с рукавами до локтя. В холодное время надевают другой, схожий с мужским, но со стоячим воротником. На голове замужние носят покрывало, а девицы небольшую шапочку, вышитую разноцветными шелками и украшенную монетами. Любят серьги, браслеты, бусы, серебряные пояса» (Андреевский, 1892. С. 22–23). «Их шапки (калпак) зеленые, каковым цветом они отличаются от других народов (османов, манкатов и персов)» (Тунманн, 1936. С. 25).

«Одежда у всех схожа: *колек* (холщовая рубашка), *шалвар* или *штан* (холщовые, суконные или овчинные), чекмень и овчинная шуба (*тон*), баранья шапка. Обувь: сапоги, *карули* (башмаки с острыми, загнутыми носками), *чирики* (сандалии или постолы) *катыри* (род галош) надеваемые на *терлики* (сафьяновые сапожки) или на башмаки. У зажиточных на белёе одевается *каптан* или (у женщин) *фередже* (род казакина из турецкой шёлковой ткани-шамаладжи или ситца). У молодых щеголей — куртки из турецкого шёлка, сукна или ситца ярких цветов, особенно красного, обязательно с позументом, белым или жёлтым, шнурками разных цветов. Шалвары бывают синие китайчатые или из верблюжьего сукна и как можно шире, но фасон их более подходит к казачьим и ни в коем случае не к турецким, неудобным для ходьбы. Через плечо почти у каждого джигита — на ремешке *джюздан* (*юздан*) — род крошечного чемоданчика (по-украински *гаманець*). В джюздане — огниво, кремень и трут. У табунщиков (*джилкеджи*) и объезчиков-دوزщиков (*куруджи*) и чабанов джюздан бывает иногда унизан множеством пуговиц, бляшек и различных блестящих предметов.

Женский будничный наряд: шалвары на очкуре вместо пояса, длинная сорочка (*колек*) поверх шалвар, *пиштоны* (*пиштомана*) — узкий шерстяной передник и *башлык* — род чекменя, по большей части домашнего белого сукна с короткими рукавами, никогда почти не надеваемого на руки, но крестообразно забрасываемых на голову; *шембер* — головной платок, повязываемый очень просто и слабо, лишь бы не рассыпались виски, так как замужние только на висках оставляют длинные, ровно подстриженные ниже ушей волосы, остальная же часть головы коротко острижена. Праздничный головной наряд девушки — красный *фес* или шапочка, из-под которой волосы рассыпаются, заплетённые в бесчисленное множество косичек. У богатых фес бывает унизан золотыми и серебряными монетами или роскошной золотой кистью, разветвлённой кпереди. Мониеты заменяются золотыми и серебряными монетами. У зажиточных

есть несколько шегольских фередже, шитые шелками и золотом кушаки из турецкой шёлковой материи (шамаладжи); в употреблении парчовые фередже, шитые шелками или золотом кушаки с огромными, немного меньше блюдечка запястьями (Константинопольские, или из Бахчисарая, Карасубазара)» (*Домбровский*, 1850. С. 479–482).

«Верхнее платье дворян походит на польское, с закинутыми назад рукавами. Прочие носят широкий кафтан, подобный малороссийскому покрою, душегрейки с рукавами полосатой материи, жёлтого или зелёного цвета сафьянную обувь и кинжал за кушаком; притом валенные из шерсти косматые бурки и тулупы укрывают их от пронзительных ветров и морозов» (*Сумароков*, 1803, Т. I. С. 187). «Такой кафтан из красивого синего сукна или шёлка богато расшит, чем несколько напоминает польский или венгерский» (*Spenger*, 1936. Р. 142). Но здесь, очевидно, имелось в виду парадное платье, так как повседневная одежда мурз и беев «из числа самых высоких персон» практически не отличалась от крестьянской, она была «проста и обыкновенна... притом отличалась своей элегантностью и чистотой» (*Clarke*, 1810. Р. 442, 571).

Начиная с XVII в. костюм крымскотатарского джентльмена дополняли карманные часы. Конечно, то, что они были «у каждого» (*Боллан*, 1990. С. 55) — бесспорное преувеличение, но путешественника явно поразила распространённость этих серебряных «нюрнбергских луковиц» среди простых крестьян и воинов.

Необходимо особо подчеркнуть изящество как мужской, так и женской одежды крымцев, о котором современники отзывались с неизменным восхищением. «Достоин внимания, что их наряд лишён даже намёка на какую-либо вульгарность» (*Milner*, 1855. Р. 366). «Иностранец с трудом может представить себе, насколько элегантен, насколько изящен этот костюм: есть немало молодых парней, своего рода денди, которые своей внешностью вызвали бы всеобщее восхищение на любом придворном балу» (*Remy*, 1872, S. 71). И ещё одно мнение: «В целом татары чрезвычайно равнодушны к одежде. Даже самые бедные из них ухитряются выглядеть вполне изысканно и они часто жертвуют комфортом в быту для того, чтобы быть красиво одетыми. Особенно популярны меха, и по пальцам можно пересчитать, скажем, ремесленников, которые не имеют на зиму барашковой, рысей или беличьей шубы (*pelisse*), очевидно, тонкого тулупа типа дублёнки. — *B. V.*» (*Barker*, 1855. Р. 209).

Остаётся, во-первых, еще раз подчеркнуть, что изготавливалась одежда в семье, — любая крымскотатарская женщина училась искусству кройки и шитья с детства: это умение считалось столь же необходимым и естественным, как поварское. Показательно в этом смысле, что в длинных списках ремёсел крымского города, приводимых различными путешественниками, цех профессиональных портных занимает самое скромное место, а в сёлах их вообще не было.

Во-вторых, важен не только покрой костюма, но и то, как его носят. О природном изяществе молодых татар только что говорилось. Не уступали им и женщины. Приведу рассказ французки Омиры де Хелл, в 1840-х гг. посетившей караицкую княгиню Адель Бей (возможно, имя записано не полностью). Старшая красавица-княгиня была одета в костюм, ни в одной детали не отличавшийся от того, что носили её прабабки. Облегающее фередже подчёркивало девичью стройность её фигуры, а манеры этой дворянки, исполненные царствен-

ной простоты, придавали её платью романтический блеск и очарование Высокого Средневековья. Хозяйка вела оживлённую и остроумную беседу, не прерывая традиционного для крымской татарки рукоделья, вышивки дивной красоты. Но главный сюрприз ждал гостью в конце визита: княгиня пригласила в комнату своих дочерей.

«Я впервые в жизни увидела столь фантастически длинные ресницы... Эти три девушки были одеты в туники призрачных голубовато-бирюзовых тонов, — записывала позже мадам де Хелл. — Их фески сверкали серебром как маленькие диадемы. В нашей Европе женщины, когда они становятся предметом внимания толпы, настолько быстро и неизбежно начинают кокетничать, что воображение заранее предугадывает такой стандарт красоты. Черты лица у наших молодых девушек слишком рано изменяются из-за страстного желания заставить художника открыть в них божественное очарование чистоты и наивности. Я была так поражена моими татарскими княжнами — они оказались абсолютно иными. Представившись мне, они скромно отошли в сторону, к стене. При этом их жесты были исполнены непринуждённой, но поистине совершенной восточной грации, подражание которой просто не под силу ни одной европейской женщине» (цит. по: *Seymour*, 1855. Р. 59).

## 7. Крымскотатарская баня

Бани в Крыму были не только гигиеническим средством. Их значение как мест постоянного культурного общения можно сравнить только с древнеримским («если человек будет туда ходить каждый день, он узнает много прекрасных друзей, познакомится и насладится их обществом» — *Челеби*, 1999. С. 51). Поэтому, как и римские термы, бани в Крыму приравнивались к другим произведениям искусства. Как и в Риме, они становились архитектурными и историческими памятниками, привлекавшими внимание ничуть не менее дворцов, крепостных замков или мечетей. В крымских банях даже краны и другие предметы банного помещения были прекрасной формы и часто позолачивались. Челеби был поражён тем, что в одной из бахчисарайских бань «краны позолочены, и тазики для поливания водой выглядят так, как будто чистым золотом покрыты» (*Челеби*, 1996. С. 60). Другие путешественники в первое же посещение крымскотатарской бани не могли не поражаться как необычным интерьером, так и внешним видом этих величественных зданий, «смелостью куполов, висящих над обширными отделениями разных комнат» (*Броневский*, 1822. С. 136).

Бани пользовались неизменной популярностью не только мужской, но и женской части населения крымскотатарских городов. Как отмечал один из эмиров, «бани служат нашим жёнам ко увеселению, куда они в лучших нарядах собираются по два и по три раза в неделю, приносят с собою разные кушанья и там с приятностью проводят время» (*Сумароков*, 1803, Т. I. С. 155). «Жёны их также собираются в роскошные бани, — по целым часам и даже по целым дням проводить время в тихой неге, угощая одна другую шербетом и коньяками, плещась и натираясь благовониями» (*Свиньин*, 1839. С. 338). Столь

частое посещение бань карасубазарскими и бахчисарайскими дамами вызвало удивление даже проезжей английской миледи, — а уж английская аристократия заслуженно славилась в Европе своей приверженностью к гигиене (Кравен, 1795, 294). Тем более, что в крымских банях не только болтали да угощались шербетом, а действительно мылись. Мужчины же иногда оставались в банях и ночевать, приходя туда для этого часов в 10 вечера и продлевая удовольствие до утра (ОР НБР, Ф. 225. Д. 6. Л. 2).

Осталось старинное описание банной процедуры в Крыму, представляющее не только этнографический интерес:

«В первой комнате с температурой в 13 градусов по стенам идут диваны; вы усаживаетесь на них на очень широких подушках, покрытых белой простынёй; раздеваетесь; вам подадут большой кусок голубой или серой ткани, чтобы вы могли прикрыться книзу от пояса, и ведут вас через ряд небольших, всё более и более тёплых, комнат до той, где вы поступаете в руки банщика. Каменный пол в этой последней комнате нагревается снизу. Два крана подают горячую воду разной температуры, льющуюся в небольшие лоханки, приделанные к стенам. Температура воздуха 28,5 градусов, воды — 31. Пол поливают, чтобы несколько остудить его, а также для того, чтобы нагреть и увлажнить воздух. У стены, в больших банных помещениях посредине, стоит мраморный стол высотой от пола примерно 1 фут; мы на него улеглись на простыне, причём и под голову нам положили свёрнутую мокрую простыню.

Банщики долго нам мяли все части тела, нажимая и мягко крутя мускулы, как будто стараясь их вытянуть и приладить хорошенько к костяку тела, к очертаниям которого и сочленениям они тщательно применяются. После того, как они нам долго мяли таким образом руки, ноги, грудь и живот, ту же операцию они проделали и со спиной. Затем, взяв вас за руки, они крутят вам каждый палец и, положив вам ноги накрест — вы лежите при этом на животе — становятся коленом вам между ступней и, взяв вас за руку, сильно тянут; проделав то же самое с другой рукой, изменяя при этом скрещение ног, они вскакивают обеими ногами вам на спину и, нажимая всей своей тяжестью, соскальзывают ногами по обе стороны. Затем они посадили вас подле лоханки и стали тереть вам всё тело каким-то волосяным мешком, время от времени поливая свой мешок водой и смылая таким образом грязь с кожи.

Затем вас обливают несколькими тазами горячей воды, чтобы смыть то, что отёрто, но не смыто мешком. Последняя операция состоит в том, что вам трут тело каким-то корнем, который привозят из Индии. Он длинный, мохнатый, тонкий и очень мягкий, его можно бы принять за моток пряжи. Его распаривают в горячей воде, намывают и трут вам тело, обмывая затем водой; юбку, в которую вас облекли, заменяют более сухой. Потом обтирают вас и покрывают большой белой простынёй, накидывая вам её на плечи; вытерев вам лицо, обвязывают голову на манер тюрбана. В таком облачении вас отводят обратно в комнату с диванами, где после того, как вы оденетесь, вам предлагают трубку, шербет или кофе без сахара. Ко всем этим операциям некоторые добавляют ещё одну — бреют себе разные части тела. Почти все татары большие любители бани. В ней парит величайшая благопристойность. У женщин баня отдельная, где проделывают то же самое, но, без сомнения, более деликатно. Вместо во-

лосяного мешка для них употребляют [надутый] мешок из ткани» (Ромм, 1941. С. 48–49).

По описанию другого путешественника, ему в бахчисарайской бане сделали общий мышечный массаж, дополненный вышеописанной правкой суставов. Эта процедура состояла из шести частей: вытягивание и вправление суставов; сухой массаж в течение получаса; растирание всего тела жёсткой сухой шерстью; растирание мягким мешочком с целебными и ароматными травами; купанье с мылом; контрастные обливания — всё это занимало около 2 часов (Гериков, 1828. С. 139). Была и парилка, в которой пар поступал, в противоположность сауне или русской бане, не сверху, а снизу, то есть в точности по древнеримскому образцу: «то, что у римлян называлось *Sudationes*»; в ней полы были «так раскалены, что ходить по ним иначе нельзя, как в деревянных туфлях. От топки сей жар конечно ровней, чем в наших банях...». Упомянутое же общее омовение происходило в мыльной пене и с обилием хрустально-чистой горячей воды (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 193–194).

Другой путешественник сделал общий вывод насчёт банного дела в Крыму: «Купанье в банях здесь — это адаптация античных языческих обычаев к нашему времени, которая произошла в Италии, Греции и на Востоке» (Clarke, 1810. P. 454).

Что же касается упомянутого эффекта «ровного жара», то он достигался оригинальной системой отопления при помощи воздушных каналов для горячего воздуха, проложенных под каменным полом: «Отапливаются бани под полом в самой середине, и всё так устроено, что можно простудить (то есть охладить. — В.В.) и нагреть баню, по желанию, а воды на каждого хватает сколько угодно. Все эти бани со сводами; свет проникает сквозь небольшие окошечки, пробитые в стене...» (Манштейн, 1875. С. 82). Ну а упоминание о банях Востока, как о чем-то общем, вряд ли правомерно. Все они были неодинаковы. Даже наиболее близкая к крымскотатарской турецкая баня, резко от нее отличалась наличием горячих ванн или даже бассейнов, которых в Крыму никогда не было. Зато у турок отсутствовали вышеописанные раскаленные мраморные столы или топчаны, предназначенные для разогрева тела. Короче, как заметил английский любитель бани, «бессовестно врут те, кто утверждает, что это одно и то же: в турецкой вас варят, а в крымской — поджаривают» (Olifant, 1853. P. 290).

В самом же Крыму бани, естественно, несколько отличались друг от друга, но лишь отделкой, а не принципом их работы. Последний повсюду был одинаков и оказывал одинаковое воздействие на человеческий организм (тем более, что эти общественные институты здоровья были доступны даже беднякам, — вход в баню стоил два турецких *пара* или гроша). После аннексии в Крыму шёл стихийный эксперимент состязания крымской *хамам* с русской *парной*, в котором лет через 90 победила первая: русский путешественник признавал, что есть в Симферополе баня, «которую я всегда предпочитаю русской... нигде так хорошо не вымоют... там баньщики мастера своего дела, моют по восточному ловко выправляют все члены, так что выходя оттуда чувствуешь необыкновенную гибкость в теле, свежесть и лёгкость» (Жадовский, 1859. С. 256). Как упоминалось выше, крымские бани отличались друг от друга внутренней отделкой и архитектурой. Поэтому, очевидно, есть смысл упомянуть о некоторых, самых знаменитых из них.

В Сары-Гюзель, ханской бани в Бахчисарае, был «в середине устроен мраморный бассейн с фонтаном, глубиною 7½ футов (то есть более 2,5 м. — В.В.) и от 11 до 12 футов диаметром, из которого вода выливается в баню. По бокам и кругом устроены ещё 12 маленьких лавок, каждая на одну особу с краном и бассейном. Подле этой большой бани устроены ещё отдельные кабинеты, снабжённые каждый фонтаном и мраморным бассейном на две особы» (Манштейн, там же). Здесь было 6 отдельных «мыльных кабинетов» с ваннами из шлифованного и позолоченного мрамора (Челеби, 1999. С. 50).

Но гораздо более ханских были прославлены карасубазарские общедоступные бани. Подробное описание их архитектуры и внутренней отделки, уцелевшее до 1920-х гг., приводится в третьем томе, здесь сошлёмся лишь на мнение купца, повидавшего на своём веку достаточно стран и Запада, и Востока: «Я ходил во многие другие бани, как в Крыму, так и в прочих землях; однакож никакой подобной не видал, хотя и все были хорошо состроены» (Клеман, 1783. С. 87; подробное описание интерьера см.: в ук. соч. С. 85–87). Остаётся добавить, что и эти бани были доступны всем, так как определенного размера платы за их посещение определено не было; утверждают даже, что бедняки могли вообще ничего не платить, равно как и за бритьё; отнимать у правоверных возможность соблюдения гигиены по причине необеспеченности считалось чем-то уж совсем бесчеловечным (Герасов, 1830. С. 24).

Кроме ханских и общественных имелись частные бани самого различного размера и архитектуры — от лёгких выгородок в небогатых домах до отдельных зданий у купцов или богатых эмиров. К примеру, в Бахчисарае имелось около полутысячи таких бань (Челеби, 1999. С. 51). До настоящего времени в Евпатории сохранилась такая миниатюрная, удивительно изящная банька. В ней сохранены все классические пропорции, просто они уменьшены раза в полтора. Найти её нетрудно, хоть она и не входит в число экскурсионных объектов: для этого нужно пройдя сквозь бывшие Старые ворота, идти вдоль стены Хлебозавода до угла и затем пересечь перекрёсток по диагонали; в глубине углового двора, с левой стороны и находится вход в неё. Здесь прекрасно сохранились потолочные своды с круглыми окошками; как эта деталь, так и функциональное членение помещений весьма напоминают знаменитую Турецкую баню (то есть Сихуб-Гирей-хаммам), расположенную по соседству, на ул. Красноармейской № 20, которая действовала до конца 1980-х гг., то есть пять столетий.

С банной культурой были связаны (вернее являлись её частью) крымские цирюльники. Они являли собой некий клан, объединявший людей не столько социальной, сколько профессионально-культурной и даже психологической общности. В пору, когда практически полностью отсутствовали СМИ, когда человек почти совершенно полагался на слухи, посещение парикмахерской равнялось для него чем-то вроде телевизионного просмотра новостей. Цирюльня была неким информационным банком (причём отнюдь не скудным), который щедро делился своими дивидендами с окружающим его человеческим морем. Но цирюльники были не только добровольными и бескорытными информаторами. Это сословие гордилось своими познаниями в философии. Парикмахеры были нередко беллетристами, поэтами, политологами, историками и народными сказителями (Демидов, 1853. С. 331).

## 8. Фольклор, литература, традиционная учёность, просвещение

### а) Фольклор

Фольклор, в широком понимании этого слова, — это традиционная народная культура. То есть творчество не только индивидуальное, но и, главным образом, коллективное. Такое творчество, основанное на народных традициях, определяется памятью о прошлом и надеждами на будущее, сокровенными желаниями всего этнического общества, выраженными в художественной форме, присущей именно этому народу. А истинный (то есть не сочинённый авторами «народных» сборников) фольклор является совершенно точным, безошибочным (адекватным) выражением культурной и социальной самобытности любой этнической группы, народа, нации — безотносительно к способу, которым культурные образцы и ценности передаются от человека к человеку, от поколения к поколению. Способов этих два: устный и имитационный (письменный, художественно-образительный, нотный и др.).

На спорный вопрос о том, какие виды человеческой деятельности можно назвать относящимися к фольклору, один из ответов выработан Советским правительственным экспертом по сохранению фольклора при ЮНЕСКО, состоявшимся в Париже 1 марта 1985 г.: «Его формы включают язык, устную литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды художественного творчества» (Newsletter / Published by Nordic institute of folklore. Turku, 1987. № 1. P. 8). Определение, на строгий взгляд, несколько расширительное (так, архитектуру к фольклору в отечественном искусствоведении никогда не относили), поэтому в этом разделе ограничимся лишь словесным художественным творчеством, вошедшим в бытовую традицию крымских татар.

### б) Виды словесного творчества

Словесное творчество крымцев неотделимо от народной поэзии древних тюрков — предков коренного народа Крыма. Великие тюркские эпосы-*дестаны* органично вошли в золотой фонд крымскотатарской народной культуры. Вначале их передавали отцы детям, а из поколения в поколение — сказители. Позднее они были записаны, и в таком виде неоднократно подвергались обработке различными авторами, совершенствовались. Дестаны можно условно разделить на героические и лирические. К первым относятся крупные по объёму, философской глубине и поэтическому совершенству эпосы «Чора Батыр», «Эдиге», «Кёр-огьлу», «Адель-султан», «Кыйлап-батыр» и некоторые менее значительные.

Основная часть их — ногайского, кыпчакского происхождения. Однако впоследствии они получили широкое распространение среди других тюрков — казахов, каракалпаков, казанских татар, балкарцев, карачаевцев, крымских и буджакских татар. Естественно, в перечисленных и иных культурных средах эпосы претерпели изменения, отчего и известны в различных вариантах. Первым исследователем, попытавшимся сравнить эти варианты, стал будапештский тюрколог Игнац Кунос, собиравший в 1915 г. фольклорный материал среди крымских

татар, попавших в плен во время Первой мировой войны и находившихся в лагере близ венгерского городка Эштергом.

Особое внимание И. Кунос уделил эпосу «Чора Батыр», главным героем которого стала реальная, не вымышленная личность. Исторический Чора Назик-оглы играл заметную роль в политике Крымского ханства первой половины XVI в. Правда, в эпосе его политическая позиция обозначена как антимосковская (очевидно, это позднейшая интерпретация его деятельности), тогда как на самом деле Чора искал компромисса с русскими, одновременно настаивая на возвращении Шаха-Али из вассального Касимовского царства в Крым. Впрочем, ценность крымского варианта «Чора Батыра» вовсе не в верности реальной истории, а в его древности. Современные венгерские тюркологи пришли к выводу, что первоначальный текст упомянутого общетюркского эпоса сохранился лучше всего именно в Крыму, а не там, где он зародился, в ногайских степях (Seres, 2010. P. 133). Ещё дальше от оригинала отошёл этот эпос в Средней Азии, где он оброс мифологическими мотивами, заимствованными из народных преданий казахов, киргизов и т. д. (Жирмунский, 1974. С. 228 и др.).

Ко второму, лирическому типу дестанов, можно отнести «Къозу-Корпечь ве Боян-Слу», «Таир ве Зоре» и другие, более скромные по объёму<sup>1</sup>.

Культурологически чётко выделяется необыкновенно интересный и с исторической точки зрения жанр *эфсане* (легенды, предания). Они также имеют несколько тематических, содержательных разновидностей, подразделяясь на исторические, героические, бытовые, «этимологические» (то есть касающиеся крымской и общетюркской топонимии и генеалогии). Имеются эфсане, повествующие о происхождении целых народов. Одно из них, повествующее о не только ногайских этнических корнях, но и происхождении самого этнонима *ногай*, было опубликовано ещё в XIX в. (Смирнов, 1887. С. 77–78). Гораздо лучше сохранились эфсане такого рода, посвященные крымским реалиям, объясняющие, среди прочего, происхождение таких топонимов как Аю-даг, Ахтияр, мыс Айя, городов Солхата, Бахчисарая, известных скал Ана ве Къыз (Мать и Дочь), Ялыбогаз и т. д. Бытовые эфсане объясняют, откуда пошло поверье, что кизил — «шайтанова ягода», повествуют о символике цветка ромашки, о пользе камня с дырочкой («куриный бог») и множество иных предметов, объясняют повадки различных диких и домашних животных, птиц, насекомых, отражают особенности климата и пр.

Такое поразительное разнообразие эфсане издавна привлекало внимание, вдохновляло не только крымскотатарских, но и зарубежных и российских мастеров искусств, поэтов, писателей, художников, сценаристов театра и кино на создание оригинальных произведений, в которых отчётливо просвечивают древние сюжетные линии. Перечислить такие произведения попросту невозможно, этот список занял бы слишком много места, оставаясь при том неполным<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В степной части Крыма и за Перекопом их иногда называли «Ногай бейтлери», то есть «Ногайские мотивы». Однако это определение слишком общо, так как им обозначали и некоторые шуточные стихи, исполнявшиеся скороговоркой (Фазыл, 2007. С. 129).

<sup>2</sup> Краткий обзор авторских пересказов некоторых эфсане имеется в Крымскотатарской Энциклопедии (Т. II. С. 820–823), а также в работах Рефика Музафарова *Очерки фольклора тюрков*, Мелекес, 1966. С. 7, 24 и *Русско-тюркские фольклорные связи*, Саратов, 1966. С. 18–21, 24–25.

Сюжетно богат и такой жанр народного творчества, как *йыры* (песни). К сожалению, до нас дошло далеко не всё из огромного числа йыров, созданных крымскими татарами в ханский период их истории. Эти небольшие по объёму шедевры также имели несколько разновидностей. Обрядовые песни связывались с семейными торжествами и более общенародными праздниками. К первым относятся, к примеру, свадебные и колыбельные йыры, ко вторым — новогодние, урожайные, посвященные Наврезу и др. Некоторые йыры (*хораны*) исполнялись исключительно в ходе различных работ, в основном, коллективных: на совместных *талаках*, на давке винограда, во время косьбы, обмолота собранного хлеба, низке табака и т. д. Хораны отличались по месту их возникновения; так, сохранился *Кефе хораны*, причём в двух вариантах (Шерфединов, 1978. С. 43). К чисто развлекательным относились древние хороводные йыры, плясовые, игровые (например, *Юзюк оюни* — танец с кольцом), шуточные, сатирические, детские хоровые.

Весьма многочисленны лирические, любовные йыры; во многих из них прослеживаются сюжетные фрагменты, заимствованные из дестанов о Чора-батыре, Эдиге, Кёр-оглы и других героях древности (Шерфединов, 1978. С. 15–21).

Как и у других тюркских народов, весьма популярен среди крымских татар был старинный жанр традиционного анекдота-*лятифе*. Более всего их было посвящено любимым героям — знаменитому на всём Востоке Ходже Насреддину и чисто крымскому Ахмеду Ахаю. В смысле сохранности лятифе повезло больше, чем йырам: их начали гораздо раньше записывать (наиболее доступные публикации: Мирер, 1940; Анекдоты, 1937). Сравнивая названные циклы, легко сделать вывод о том, что рассказы о странствующем ходже, в основном, повторяют все сюжеты, встречающиеся у других тюркских народов, арабов, персов и др., тогда как второй цикл совершенно оригинален, являясь шедевром крымскотатарского народного гения.

*Мане* и *чыны* по форме и содержанию более всего напоминали современные частушки. И так же как частушки, они делились на два вида: повествовательные и состязательные. В фольклорном смысле более интересны вторые. Это были двустушия, сочинявшиеся экспромтом двумя певцами, которые вели песенный диалог, обычно шутового или насмешливого содержания, как правило, на молодёжных вечеринках — *джыйынах* (Фазыл, 2007. С. 128). Такие состязания, собиравшие множество слушателей из взрослых и совсем малолетних обитателей маалле, были более популярны у ногайцев, чем у татской части крымскотатарского народа. К сожалению, этот жанр малоизучен, имеется лишь одна, ещё довоенная исследовательская работа (Джаманаклы К. Чыньлар ве манелер. Симферополь, 1940), давно ставшая библиографической редкостью.

Крымскотатарские *аталар сёзю* (поговорки) в жанровом смысле ничем не отличаются от соответствующих сверхкратких фольклорных произведений, известных у других тюркских и не только тюркских народов. Их было множество (лишь часть этого богатства вошла в сборники, выпуск которых возобновился с недавнего времени), тематически они охватывали буквально все стороны народной жизни, а в культурно-философском смысле это была настоящая энциклопедия народной мудрости, наиболее полное и точное отражение духовного мира и психического склада крымского татарина.

К жанру пословиц можно отнести и более самобытные, но гораздо реже встречающиеся произведения, которые весьма приблизительно классифицируются как афоризмы или афористические определения типа *Ине юткешдай* («Проглотивший иглу»), *Табаны йерге тийми* («Его пятки земли не касаются») или *Къырмыскъа ве чегертки* («Муравей и кузнечик» — явная аналогия стрекозе и муравью, классические образы, использованные в одной из басен И.А. Крылова). К этому жанру тесно примыкают поговорки или застывшие фразеологические обороты типа *Эни астын устюне чевирген* («Перевернул дом вверх дном») или *Казыктай катынкъалды* («Уперся как кол»), а также крайне своеобразные призывы к философскому размышлению, например: *Не эдик, не олдык, не олоджа-мыз?* («Какими мы были, кто мы сейчас, что с нами станет в будущем?») Ответ можно было услышать в другом горьком размышлении: *Мысынг данеси йенди, бизе калды къочаны* («Зёрна у кукурузы съедены, нам осталась одна кочерыжка»).

Своеобразным афористичным жанром являлись и древние рифмованные, иногда просто ритмизованные народные приметы, касающиеся природных явлений и, безусловно, совпадающие по смыслу с имеющимися у самых различных народов земного шара, что естественно — планета-то у нас одна. Примеры: *Къоралайда муса коранг толу болур* («Дождь в апреле — полный двор добра»), *Яман от битмеген йерде, яхшысы да битмес* («Где не растут сорняки, не вырастет и добрая трава») или *Къыш къарлы болса, джер джарлы болыр* («Если зима снежная, земля будет плодородной»).

К одному из видов фольклора следует отнести сценарии теневого театра, которые передавались из поколения в поколение, не будучи где-либо записанными или изданными в печатном виде. Единственным образцом такого рода, дошедшим до исследователей искусства крымских татар периода ханства, является «серийное» представление о Каракозе и Адживате (*Къаракозь ве Адживат*). Основой этих сцен становились анекдоты, легенды и сказки, но также и сюжеты, имевшие место в исторической действительности: походы ханских войск, подвиги и любовные интриги реальных действующих лиц. Эти народные драмы разыгрывались на площадях крымских городов и сёл в течение нескольких столетий (Керимова, 2005, С. 16).

### в) Поэзия и проза

Литература, как совершенно особая, исключительная часть этнической культуры, характеризуется тем, что произведения, созданные много веков тому назад, не только продолжают оказывать самое активное влияние на формирование народной души, этнической психологии, но иногда это влияние со временем усиливается. Поэтому, очевидно, есть смысл вкратце остановиться и на далёких предшественниках литераторов XVIII в.

Турецкий филолог и историк М.Ф. Кюпрюлю-заде утверждал, что тюркская литература процветала ещё в ордынские времена, причём крымские авторы не стояли от этого духовного и творческого процесса в стороне (Крымский, 1930, С. 165). В Ялтинском Восточном музее до конца 1930-х гг. сохранялось несколько таких памятников догиреевского периода, но где они находятся сейчас и уцелели ли вообще — неизвестно.

Одна из особенностей, отличающих литературу гиреевского периода от ордынского, — это ее типично *дворцовый* характер. Это обстоятельство не зависело от воли поэтов и прозаиков; просто, если человек хотел заниматься литературным творчеством *профессионально*, то другого выхода, как стать дворцовым (не придворным!) жителем или пансионером, у него не было. Журналов и поэтических сборников тогда не издавали и гонораров не платили. Но, в чём состояло отличие придворных поэтов Европы или Востока от почти любого крымского автора того периода, так это практически полная свобода последнего в выборе как тематики своих творений, так и их идеологической направленности. И это уже не говоря о поэтах и историках ханской крови, которых, как увидим ниже, насчитывалось немало. Одним из первых поэтов Крыма был Кефевий, живший на рубеже X и XI вв. Следующим из известных нам звался Али, он творил двумя веками позднее Кефевия. Столь протяжённый перерыв был, конечно, в какой-то мере заполнен другими художниками слова, но нам они неизвестны. Младшим современником Али был Махмуд Кырымлы (первая треть XIII в.)<sup>1</sup>, а далее следует новый провал в нашем знании этой сферы крымской старины, вплоть до уже гиреевского периода истории (Подробнее об упомянутых выше поэтах см в: Кьуртнезир, 2000).

Сколько же их было, крымскотатарских поэтов и писателей, живших и работавших в Крыму в эпоху ханства, то есть в XV–XVIII вв.? По предварительным подсчётам доктора филологических наук Исмаила Керимова — *более двухсот* (Керимов, 1999, С. 5). В настоящее время благодаря поискам профессора Исмаила Керима и его учеников (из которых особенно много сделал сравнительно молодой учёный Нариман Абдульваап) выявлено ещё триста. Это, конечно, лишь литераторы, известные по именам; на деле же их было, естественно, гораздо больше. Объяснение здесь простое: над Крымом прокатилось несколько волн катастроф. Это были войны, периоды экономических и природных катаклизмов, внутренние беспорядки, они продолжались до последнего времени. И все они несли с собой последствия, губительные для крымскотатарской литературы и культуры в целом. Огромное количество литературных памятников оказалось утраченным, причём без надежды когда-либо их восстановить.

Может возникнуть сомнение в том, что они вообще когда-либо существовали. Но о том, что они *были*, что ими зачитывались поколения крымских татар, мы знаем из современных и более поздних источников, из фрагментов, переведённых на другие языки, так что существование их бесспорно.

Кроме того, масса произведений крымскотатарских авторов, созданных в ханский период, нам пока недоступна — а их «сотни и сотни... в виде рукописей хранящихся в многочисленных книжных собраниях стран бывшего СССР, а также Турции, Германии, Англии, Франции, Голландии и др. государств»

<sup>1</sup> Махмуд Кырымлы был автором весьма значительной по объёму и талантливой по форме поэмы «Сказание о Юсуфе и Зелихе» («Хикяет-и Юсуф ве Зелиха») на сюжет библейско-коранической легенды о Юсуфе (*библ.* Иосифе). На сегодняшний день текст этого поэтического произведения, считающегося древнейшим памятником крымскотатарской литературы, не найден, но имеется его перевод, осуществлённый в том же столетии османским поэтом Али Халил-оглы. А в целом этот драматический сюжет о злоключениях двух влюблённых вдохновил тюркских поэтов на создание более 70 поэтических произведений (Абдульваап, 2003, С. 8).



(Абдульваап, 2003. С. 8). Основная часть этих произведений не только не исследована, но нам пока неизвестны даже имена этих старых крымскотатарских авторов.

Наконец, многие крымскотатарские литераторы творили, находясь далеко за пределами родины. Из вышеупомянутых исследований явствует, что множество литературно одарённых крымских татар по тем или иным причинам покидало Крым и никогда не возвращалось. Они творили на чужбине, и их произведения неизбежно становились частью культурного наследия народов, оказавших им гостеприимство. Они выбирали для своего дальнейшего творчества наиболее признанные центры культуры и науки мусульманского мира. Это «Каир, Дамаск, Мекка, Медина, Иерусалим, Стамбул, Бурса, Эдирне, Синоп, Конья, Сивас, Амасья, Кастамону, София и др.» (Абдульваап, 2003. С. 8).

Именно поэтому мы не в состоянии составить себе хотя бы самое общее представление даже об объёме, национальных особенностях и главных периодах становления крымскотатарской литературы ханского Крыма, и тем более в эпоху, когда полуостров оказался под властью Российской империи. Мы можем лишь, прежде чем перейти к обзору творчества отдельных крымскотатарских художников, привести мнение вышеназванного крымского исследователя. Он утверждает, основываясь на собственных и иных изысканиях, что крымскотатарская литература XIII–XIX вв. благодарно восприняла традиции всех предшествующих эпох истории тюркской культуры, «...в частности, литератур периодов Тюркского (VI–VIII вв.) и Уйгурского (VIII–IX) каганатов, а также государства Караханидов (IX — нач. XIII)». Кроме того, она активно участвовала «...в литературных процессах эпох последующих в контексте литератур золотоордынской (XIII–XV вв.), чагатайской (XV–XVI вв.), сельджукской и османской (XIII и XIX вв.). Это, в свою очередь, даёт основания считать средневековую крымскотатарскую литературу одной из составляющих, причём, составляющих весьма ярких — всей литературы мусульманского Востока...» (Абдульваап, 2003. С. 8).

Ознакомимся вкратце с творчеством некоторых из ее представителей.

Начать здесь, очевидно, стоит с Менгли-Гирея I. Как политик и военачальник он был весьма жёсткой личностью, но как деятель культуры отличался огромной любовью к просвещению, постоянным вниманием к гуманитарным наукам, образованию своего народа. Что же касается сложности стихов, то он создавал небольшие поэтические шедевры, чаще всего на тему о разлуке: видимо, сложная судьба хана более всего ранила его душу частыми вынужденными расставаниями с дорогими людьми. Характерная черта: он, проведший немало лет в Турции, в отличие от многих своих последователей, писал на крымскотатарском, то есть чисто кыпчакском языке (Крымский, 1930. С. 167). Это и стало ценнейшим вкладом хана-поэта в дальнейшие судьбы крымской литературы.

Очевидно, вполне профессиональным поэтом был Абдул-Меджид (XIV–XV вв.), перу которого принадлежит крымскотатарская версия великого памятника тюркской цивилизации — поэма *Юсуф и Зулейха*. У него имелись и произведения малой формы; в частности, университетская библиотека Лейдена (Нидерланды) по праву гордится хранящимся в её фондах рукописным сборником-джонком, составленным главным образом из стихотворений Абдул-Меджида (Музафаров, 1991. Т. I. С. 24).

Одним из самых известных крымскотатарских художников слова был хан **Гази-Гирей Бора** (XVI в.). Он прославился не только как прекрасный поэт и музыкант, но и как талантливый каллиграф. Известный османский историк Ибрагим Печеви, как-то получивший возможность прожить некоторое время в окружении хана, так описывает этот счастливый период своей жизни: «я большую часть дней находился в его благородном обществе; а по временам мы ездили также на охоту и ходили прогуливаться; иногда же проводили время в писании и некоторых других похвальных занятиях. Он заставил меня выучиться писать почерком та'лигк, преподав мне правила, как действовать пером в этом почерке» (Цит. по: Смирнов, 1889. С. 458–459). Хан писал стихи даже находясь в походах, по своим мотивам они приближались к поэзии Омара Хайама, а крупное сочинение Бора «Кофе и вино» сравнивают с лучшими поэмами Физули (Риза, 1832. С. XXI). Меланхолическая поэма «Мельничное колесо» (о судьбе прекрасного крымского дерева, обречённого на вечное движение после того, как его срубили и погрузили в водный поток) как небо от земли отличалась от батальной поэзии воинственного хана. Поэзия была настолько органичной стихией для Гази-Гирея, что он не мог даже с султанами переписываться иначе, как рифмованными посланиями, а сохранившиеся манифесты к собственному народу также являются профессиональными поэтическими произведениями.

**Ашик Умер** (Абдулла-огьлу Умер) родился в Гёзлёве в 1621 г., в семье скорняка Абдуллы Кендже. Окончив мектебе, будущий поэт и музыкант завершил своё образование в медресе при знаменитой мечети Джума Джамии, где в те годы преподавал ряд талантливых учёных (назовём хотя бы Сеита Абдул-Керима Шерефи Кефели). Стихи Ашик Умер начал писать довольно рано, но настоящая народная слава пришла к нему, когда он, сочинив к ним музыку, стал исполнять свои песни в сопровождении саза. Со временем гёзлёвский дом его отца стал чем-то вроде музыкально-поэтической школы, посетить которую хотя бы раз считали за честь для себя поэты, композиторы и певцы всего Крыма. В зрелом возрасте Ашик Умер отправился в поездку, которую в нашем веке назвали бы «творческой». Путь крымского поэта пролёг через Дагестан, Азербайджан, Иран, Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и Турцию, и занял он 8 лет, что не могло не обогатить палитру поэта. Работа над такими жанрами, как дестаны, гезели, бейты и краткие притчи, не прерывалась во все годы этого длительного путешествия. В литературном наследии великого крымского поэта и композитора можно почерпнуть не только сведения о его мировоззрении (он был последовательным противником насилия, деспотизма и слепого фанатизма), но и некоторую автобиографическую информацию. Ашик Умер на протяжении своей долгой (86 лет) жизни не обзавёлся семьёй, а о себе говорил так:

Из маленькой капли возникло моё тело.  
Я родом из Гёзлёва, а имя моё — Умер.  
Я — из благородного кыпчакского племени,  
И об этом никогда не забуду!

(Цит. по: Улькюсал, 1980. С. 372).

В настоящее время известно три поэтических сборника Ашика Умера. Сборник, содержащий 1242 стихотворения, является и самым старым (1728);

он хранится в стамбульской библиотеке Бешик-таш Ягья-эфенди. Второй сборник, наиболее крупный (1500 произведений), также находится в Турции, в музее г. Коньи. Третий, принадлежавший книгохранилищу Британского музея, насчитывает 105 стихотворений. Поэт сочинял не только стихи, воспевающие братство людей, любовь, мужскую дружбу, но и воинственные «походные» стихи, что позволяет сделать вывод о том, что на протяжении значительного периода своего творчества он был «янычарским ашиком», то есть сопровождал султанские войска в походах (Юнусова, 2002. С. 109, 112). Сильны в поэзии Ашик Умера и суфийские мотивы, что неудивительно: в Крыму были известны такие признанные мастера, поэты-суфий, как персы Ибрахим Хафиз, Саали, Джалаладин Руми, Исмаил Хатаи, азербайджанцы Хагани Ширвани и Низами Гянджеви.

Скончался Ашик Умер в своём родном городе в 1707 г. и был похоронен на Карантинном мысу. Годы бурной истории Крыма, пронёсшиеся над весьма почитавшейся земляками могилой великого поэта, стёрли её с лица земли. Единственное, что можно сказать о его благородных останках, это то, что они покоятся где-то на территории современного Евпаторийского санатория Министерства обороны.

Творчество Джан-Мухаммеда, поэта XVII в., пронизано интересом и любовью к истории своего народа. Главное произведение Джан-Мухаммеда, поэма *Сефер-Наме*, как видно даже из её названия («Поэма Похода»), посвящена войне. В более чем 2000 строках этого произведения рассказывается об участии крымскотатарских воинов в войне, которую вёл в 1648–1651 гг. против Польши гетман Богдан Хмельницкий. Один из героев *Сефер-Наме*, коронный гетман Николай Потоцкий, стремившийся поставить Крым в вассальную зависимость от Польши (но вместо этого побывавший в крымскотатарском плену) признаваясь в своих агрессивных планах, не скрывает страха перед крымскотатарскими конниками:

У кого есть столько добра и казны, как у меня?  
Москва, немцы и французы —  
Все эти страны дадут мне солдат.  
В этом году мне надо совершить поход.  
Мне надо сокрушить крымскотатарский народ.  
Странный народ они, эти татары:  
Быстрее их нет. Побольше сделайте запасов.  
Наш враг таков, что мы его боимся —  
Он словно волк, а мы — дрожащие от страха овцы...  
Татары налетят подобно ветру и умчатся!

(Цит. по: Улькюсал, 1980. С. 373)

Замечательны строки *Сефер-Наме* о высоком воинском духе крымскотатарских джигитов:

Хабер алдыкъ, ёлымыз батакъ орман, акъ тикен. Бу сеферге сагъ кетип, ким сагъ къайтар экен?	Впереди леса и болота Терниста будет дорога — нам донесли. Ушедшие живыми в этот поход,
--	--

Биз кыпчакъ огълымыз, чамургъа батар, чыгъармыз, Кунеш чыкъса къурутыр, Сув табылса чайкъармыз!	Кто знает, живыми вернутся ли? В болотах не застрянем — вылезем. Ведь мы сыны кыпчаков; Солнце взойдёт — высушимся, А вода найдётся — ополоснёмся!
--	--

(Перевод С. Валиева // Кырым, 26. 02. 2000)

Не столь хорошо известны истории жизни и творчества прозаика из Кефе Хюсеина Эфенди (XVI в.), поэтов Мюдами и Бакаи (XVI в.), более поздних Афифи (XVII в.), Резми (XVII в.), Келими (XVII в.), Веджихи (XVII в.), Шефи (XVII в.), Иззи (XVII в.), Кямила (XVII в.), Алиджанбея (XVII в.), Лютфи (XVII в.), Кырими (XVII в.), Джевхери (XVII в.) — этот список к тому же весьма неполон. Как ни странно, до нас практически не дошли поэтические произведения ханов XVIII в. Селим-Гирея I и его внука Шагин-Гирея II. Оба они писали на крымскотатарском языке, хоть родились и выросли вдали от Крыма — в Ямболе, на территории нынешней Болгарии (Миятев, 1958. С. 292).

Последним назовём кефинского поэта Исметия, который жил и творил в последние десятилетия XVIII — первой половине XIX вв. Основная часть его произведений, известных его современникам, бесследно пропала. До нас дошёл только его *Дестан Кефе*, в котором поэт с болью в сердце повествует обо всех тех унижениях, издевательствах и грабежах, которые его народ понёс от русских после аннексии Крыма и которым Исметий лично был свидетелем. В особенности поражают в дестане строфы, посвящённые трагическим событиям, пережитым им самим — обрушившейся на крымскотатарский народ в период войны 1812 г. с Наполеоном:

Ангелы смерти меня окружили,  
Саван надели из кожи  
И понесли мертвецов.  
Кто же поможет Кефе?  
И морем, и сушей закрыты пути.  
Что же с нами случилось?  
Все собрались и рыдают —  
Это самое большое бедствие для Кефе...

(Цит. по: Улькюсал, 1980. С. 374).

Одной из самых характерных черт литературной жизни в традиционном крымскотатарском обществе была народность, всеобщая популярность, читаемость как авторских произведений, так и эпических циклов, созданных самим народом. Великое дело — собрать библиотеку, но что в ней толку, если она залерта? Создававшаяся на протяжении веков крымскотатарская Библиотека никогда под ключом не была, ни единого десятилетия. Книги, созданные в народе и для народа, постоянно находились в центре национальной культурной жизни. О том, что их собирали, говорилось выше. О том, что их активно читали, приведём мнение стороннего наблюдателя: «Здесь в постоянном обращении среди народа находится огромное количество поэтических произведений (great many poems)» (Lyal, 1825. P. 350).

Пройдет ровно два столетия, и в 1927 г. иные властители Крыма выжмут из пожилого профессора, прекрасного знатока истории крымскотатарской литературы позорные, унижительные слова, запятнавшие не столько национальную литературу или его самого, сколько большевистских «хозяев жизни». Тех, кто строил её в советском Крыму по своему разумению. Вот они, эти слова: «С общественной точки зрения народ наш очень молод. К тому же мы — крестьянские дети. Ни во времена Тю-тю, Тамерлана, Золотой Орды, ни даже во времена Крымского ханства наши предки не брали в руки пера. Для выражения своих мыслей и чувств пером мы только сейчас присоединились к общечеловеческой истории. Сейчас мы можем высказать то, что Восток не сумел высказать на протяжении тысячелетий» (*Чобан-заде*, 2003. С. 40).

Кроме книжной, в Крыму всегда существовала и бесписьменная, устная литература, о рассказчиках или сказителях уже упоминалось выше. К сожалению, произведения этих мастеров безвозвратно утрачены для нас, как и их имена: все восхищались их искусством, но никто не догадывался до простой мысли — зафиксировать на бумаге эти летучие тексты или хотя бы имена *кедаев*-рассказчиков, которые нередко были и создателями своего репертуара. Состоял же он, в основном, из крупных эпических сочинений героического характера, а также и более коротких рассказов, сказок, анекдотов о народных любимцах Ходже Насреддине, Ашике Умере и других. Единственное сохранившееся упоминание об одном из крымскотатарских *кедаев* довольно позднего периода (середина XIX в.) свидетельствует о том, что среди них были и историки своего народа. Имя его утрачено, известно лишь, что он посетил несколько европейских стран, где выступал (под перевод) со своими произведениями:

«Этого татарина повсюду принимали в 1854 г. за его великолепные повествования, и вся опьянённая (begauscht) ими Европа внимала ему, как некогда афиняне ловили слова Геродота. Разве что вместо слёз, которые проливал Фукидид, стремясь подражать отцу истории, в Англии и Франции в честь крымского мастера струилось шампанское. И всё же неблагодарная Европа не сохранила имени этого великого вестника радости (букв. «великого носителя блаженства» — *grosse Freudebringer*. — *B. B.*), который для всех верующих сердец остался бы [навсегда] «татарским Геродотом» (*Grimm*, 1855. S. 300).

## 2) Историческая наука

О том, сколько учёных имелось в средневековом Крыму, свидетельствовали, в частности, надгробные плиты и памятники-мезарташи на карасубазарском Старом кладбище. Там было похоронено множество лиц интеллигентных профессий, в том числе учёных; «памятник на могиле учёного-астронома» вовсе не был редкостью (*Вишневецкий*, 1930. С. 14). Да и судя по чудом уцелевшим надгробным плитам Старого Крыма XIV в., в этом городе жило немало хафизов, астрономов, историков, богословов, учёных, ставших известными в других областях знания (*Смирнов*, 1931. С. 32).

Но не только в сердце ханства, а и на периферии имелись настоящие центры крымскотатарской учёности, прежде всего в области гуманитарных наук. Любопытно, что старинные авторы напрямую связывали исследовательские успе-



Фрагмент надгробного памятника. В окружении тюркского орнамента — розетка явно италийского происхождения. Из коллекции издательства «Тезис»

хи и даже сам выбор научных дисциплин, в первую очередь, с *климатическими* условиями в таких центрах. Так, о Кефе было сказано: «Этот древний город — собрание учёных и источник знаний, и так как климат здесь удивительный, то и учёные занимаются удивительными науками и обладают множеством знаний» (*Челеби*, 1999. С. 96).

У средневековых крымскотатарских учёных встречается немало поучений о необходимости постоянного умножения знаний, обязательного для истинного мусульманина. Да и после аннексии, чем глубже погружался Крым в имперскую действительность, тем чаще считали нужным татарские просветители повторять своей аудитории бессмертные хадисы о пользе знания: «Ищи знаний от колыбели до могилы. Ищи знаний, хотя бы они находились в Китае. Знания обязательны для мужчины и женщины. Знания суть собственность мусульманина; он должен их взять, где бы ни нашёл. Творения пера благороднее дел меча. Живи, мысля и работая» и т. д. (Цит. по: *Терджиман*, 21. 05. 1884).

В Средние века и даже в Новое время ни в Европе, ни на Востоке не было такой узкой научной специальности, как «историк». Историей, конечно, занимались, причём весьма серьёзно, но с чисто практическими целями, главной из которых было воспитательное, политическое или нравственное воздействие на читателя, а вовсе не поиск научной истины. К тому же и самые увлечённые историографией авторы занимались своими изысканиями, если можно так сказать, в свободное от основной деятельности время (исключение — придворные историки или хронисты, но эта профессиональная группа была крайне малочисленна). Поэтому среди перечисленных ниже, а также массы неназванных здесь авторов исторических трудов можно встретить и государей, и дипломатов, и купцов, и лиц духовного звания и так далее. Блестящий образец такого универсально одарённого и профессионально разностороннего интеллигентно-космополита XVII в. — уже не раз упоминавшийся Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли Дервиш, известный нам как историк, географ, юрист, философ, музыкант,

филолог, дипломат, разведчик и проповедник. Кроме того, он был не «просто» хафизом, но ещё и выдающимся декламатором.

Но перед тем, как приступить к краткой характеристике наследия крымских историков, было бы полезным ознакомиться с периодизацией развития в Крыму жанра, которому были свойственны черты как науки, так и искусства. Такую периодизацию вывел современный специалист по крымской историографии Н.С. Сейтягьяев, считающий, что она разделяется на три периода: постзолотоордынский, классический и переходный. Крымский учёный убедительно развил свою систему, придя к выводам, которые позволю себе привести здесь, заранее извинившись за длинную цитату; она того стоит, ибо характеризует и *источки* крымской историографии.

«В XV–XVIII вв. в национальной исторической прозе произошли изменения, которые можно охарактеризовать как переход от классической литературы средневекового типа к литературе нового времени... Зарождение и начальный этап развития крымскотатарской исторической прозы проходили в XIII–XV вв. в контексте золотоордынской словесности... Историография Джучиева Улуса выросла из разных форм устной исторической традиции его кочевых народов: героического эпоса, устной генеалогии (*шеджере*) и устных исторических рассказов... В развитии золотоордынской историографии необходимо выделять донсламский (1222–1256) и исламский (1256–1502) периоды... После создания в XV в. Крымского ханства национальная историческая проза выделилась из общетюркской историографии Улуса Джучи в самостоятельную ветвь исторической прозы мусульманского Востока... В развитии историографии Крымского ханства необходимо выделить постзолотоордынский (вторая половина XV — середина XVI в.), классический (вторая половина XVI–XVII вв.) и переходный (конец XVII–XVIII вв.) периоды.

На развитие национальной исторической прозы в XV–XVIII вв. повлияли памятники историографии мусульманского Востока X–XVIII вв. и золотоордынские эпические теварихи, которые входили в состав исторической литературы Крымского ханства... В первой половине XVI–XVIII вв. крымскотатарская литература (и её неотъемлемая часть — историческая проза) подверглись влиянию османской словесности. В национальной историографии классического периода выделяется переход от золотоордынского тюрки к османскому литературному языку.

В классический период наблюдается осложнение стиля произведений; они приближаются по своему характеру к классическим произведениям историографии мусульманского Востока... Начиная с классического периода наблюдается расширение жанрового состава крымскотатарской исторической прозы: на рубеже XVII–XVIII вв. придворную историографию составляли произведения, которые принадлежали к жанрам «вакаи-наме» (пришли на смену «шах-наме» классического периода), «сефарет-наме», «сергюзешт-наме» и «теварих»...

В переходный период крымскотатарская историческая проза (как и в целом придворная литература) переживает период подъёма, что проявляется в общем количестве сочинений, дальнейшем расширении жанрового состава исторической прозы, распаде средневекового литературного канона и освобождении личности в литературе.

На рубеже XVII–XVIII вв. заметна тенденция упрощения языка сочинений и усиления их национального характера; начинается отделение языка прозы от поэтического языка и обретения им самостоятельности в формах художественного познания мира... Процессы, которые происходили в национальной исторической прозе классического периода и набрали силу в переходный период, удостоверяют, что в XVIII в. крымскотатарская литература находилась накануне создания полноценной художественной прозы. Национальная историческая проза XV–XVIII подготовила почву для зарождения в национальной литературе исторической повести и исторического романа.

После российского завоевания крымскотатарская историческая проза, лишённая родной почвы, какое-то время развивается на территории Османской империи, где утрачивает самобытность и приобретает турецкоцентричный характер» (Сейтягьяев, 2005. С. 17–18. Цит. по: Зайцев, 2009. С. 65–66).

Далее попытаемся наполнить основополагающую для нашей темы систему Н.С. Сейтягьяева конкретным содержанием, перечислив немногие из дошедших до нас имён крымских историков. А также воссоздать ту атмосферу высокой учёности, которая отмечала интеллигентные круги ханства в период, предшествовавший его падению (заранее отдавая себе отчёт в том, что получите лишь бледное подобие картины, возродить которую даже на бумаге — дело не одного поколения исследователей).

Приступая к этому важному разделу, сделаем замечание о том, что многие из крымских историков далёкого прошлого, получив образование не только в Крыму, но и в других, зарубежных медресе, нередко оставались работать в Стамбуле, где к их услугам были богатейшие библиотеки и архивы. Так что турецкая историография не без основания считает их наследие принадлежащим Турции. Тем не менее упомянутые учёные и летописцы, даже находясь вдали от родины, оставались крымцами как по тематике своих изысканий, так и по высокому патриотизму и даже языковым особенностям своих произведений.

Но нередки были и обратные случаи, когда турецкие авторы, оказавшиеся в Крыму, создавали произведения, посвящённые отдельным периодам истории ханства. Так, служивший в качестве врача при хане Сахиб-Гирее I (1532–1551) в те же годы турок Кайсуни-заде Недаи-эфенди, более известный как **Реммал-Ходжи** (Раммал-хаджи), создал «Историю хана Сахиб-Гирея» (*Тарих-и Сахиб-Гирай хан*). Это — дошедшая до наших дней крымская хроника, точнее, развёрнутая и многоплановая биография хана, заказанная Реммалу-Ходжи старшей дочерью Сахиб-Гирея, Нури-Султан Ханией, вскоре после убийства отца. Труд был завершён летом 1553 г., то есть приблизительно через два года. Приведу мнение о нём современного исследователя В. Остапчука, посвятившего хронике Раммала отдельный труд.

Реммал-Ходжи, «прекрасно образованный османский учёный, присоединился к Сахиб-Гирею, когда он отправился из Стамбула в Крым в 1532 г. и служил ему астрологом, врачом и близким советником на протяжении всего его правления». Написанная им «История хана Сахиб-Гирея», основывается на собственных данных автора-очевидца, а «то, что не основывается на его свидетельствах как очевидца, можно предположительно отнести к сведениям других участников событий. В сравнении с большинством других хроник, посвящённых

Крымскому ханству, будь то османских или татарских, „Тарих“ является выдающимся трудом, так как его автор предпочитал давать „оносительно чёткое описание событий и снабжать [его] конкретными деталями, нежели загромождать свой труд демонстрацией напыщенного стиля и риторики. „Тарих“ является сокровищницей информации не только о крымской политике, институтах, военном деле, но также о быте населения ханства и даже его соседей (особенно народов северокавказского региона), а также о географических условиях. Что касается крымских военных дел, мы замечаем, что именно походы занимают центральное место в „Тарихе“ — приблизительно две трети работы посвящено описаниям походов» (*Останчук*, 2002. С. 395).

Остаётся добавить, что в ткань своего сочинения Реммал-Ходжи вплёл 19 стихотворений различного (в том числе и своего) авторства, которые имеют собственную литературно-философскую ценность. Впрочем, это не единственный его поэтический опыт. В своё время, находясь в Кефе, Реммал-Ходжи перевёл на крымскотатарский язык 10 книг, «...одни с языка магов, другие с персидского языка, да ещё сверх того составил 12 книг из *Хуснийях*, в стихах, собрав их в два дивана, расположенных по алфавиту, в которых увековечены тысяча газелей, более ста касыд и от семидесяти до восьмидесяти весёлых статей (очевидно, юмористических рассказов. — *В.В.*)» (АВ ИВР РАН, Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 71).

Однако обратимся к более ранним историкам Крыма, годы жизни и научной деятельности которых пока не удалось установить. Таким учёным был *Хайри-заде*, чья история Крыма *Тахвим* стала одним из крымских материалов, использованных Сеидом Мухаммедом Ризой (о нём см. ниже). Последний опирался также на исторический трактат *Междуна*, принадлежавший перу *Абдулвели-эфенди* и также не дошедший до наших дней. Упомянутый ранее турецкий географ, историк и путешественник Эвлия Челеби использовал в своих трудах сочинение *Таварих-и Тохта-бай* анонимного крымского историка, о котором известно лишь, что он принадлежал к роду Бозак родовой ветви Кенегес. В этом не дошедшем до наших дней труде излагалась история Крыма в период от правления Джучи-хана до не менее знаменитого эмира Эдиге (*Сейит Ягья*, 2003. С. 14).

Историк и богослов *Сейт Муса-эфенди Кефев*, родился, как это видно из его фамилии, в Кефе (1583 г.). Он получил солидное образование в одном из крымских медресе, затем продолжил совершенствоваться в науке и литературе в Стамбуле, где ему было присвоено звание профессора медресе. Вернувшись в 1625 г. на родину, он стал кефинским кадием, а потом и муфтием своего города. Из его научных произведений наиболее известен исторический свод *Шемсю-тевахир* («Солнце истории»), оригинал которого ныне хранится в стамбульском Султанском музее.

*Хюсеин-эфенди Кефев*, живший во второй половине — конце XVI в., также получил двойное образование, в Крыму и Турции. Он был не только учёным-богословом, но и историком. Сопровождая своего хана Газы-Гирея II Бору в войнах, он оставил ценные записки о крымскотатарских военных походах своего времени. Одарённый писатель, Хюсеин-эфенди ещё при жизни был удостоен почётного титула *Мюэллифлер султаны*, то есть «Султана всех пишущих».

В Крыму вырос и получил образование историк *Абдулла ибн Ризван*. Сын турецкого паши, много лет занимавшего пост султанского наместника в Кефе, Абдулла внес значительный вклад в историческую науку. В частности, он соз-

дал *Летопись Кыпчакских степей (Таварих-и Дешт-и Кыпчак)*, по сути, историю Крымского ханства. Её хронологическая канва тянется до династического противостояния в доме Гиреев, имевшего место в 1610 г. Созданная вдали от Крыма, она дошла до нас благодаря пока неведомому для истории, но, судя по имени, тоже крымскому переписчику Осману Кырыми (Зайончковский, 1969. С. 12–19). Кроме истории собственно Крыма Абдулла ибн Ризван значительную часть своего произведения посвятил описанию Дешт-и Кыпчака и генеалогии Чингизидов.

События крымской истории 1638–1661 гг. заняли значительную часть в труде крымскотатарского (бахчисарайского) автора *Усеина Веджихи* (?–1670/1671). Но его сочинение, которое условно называют *Османской историей* (Крымский, 1930. С. 168), ценно прежде всего потому, что Веджихи провёл большую часть своей жизни в Стамбуле, где занимал видный пост хранителя султанской печати и был прекрасно информирован о внутренней и внешней позиции Порты. В том числе и о её крымской политике в периоды правления Бахадыр-Гирея, Софу Мехмед-Гирея, Ислам-Гирея III и Мехмед-Гирея IV.

Естественно, труд Усеина Веджихи представлял (и представляет) интерес прежде всего для турецких историков. Пользуясь случаем, отмечу, что османская метрополия могла гордиться и иными крымскими учёными, в том числе и историками, наставлявшими турецкую молодёжь и зрелых мыслителей. Начиная со времён Джанибека (1343–1357) в лучших и самых известных медресе Каира, а именно Ас-Сарагат-мышийа, Ал-Бейбарсийа, Ал-Ашрафийа и Ал-Азхар преподавали улемы, известные не только в Крыму. Ими были Дия Мехмед ал-Кырыми и Рукн ад-дин ал-Кырыми; последний имел за спиной тридцатилетний опыт судейской деятельности на родине (*Крамаровский*, 2000. С. 133).

Крымцем по происхождению был и *Хаджи Мухаммед Кырымлы*, историограф хана Ислам-Гирея III, писавший под псевдонимом *Сенаи*. Его труд *История хана Ислам-Гирея III* (Тарих-и Ислам-Гирай) ценен прежде всего тем, что автор основал его на официальных документах (к которым он имел доступ, будучи ещё и чиновником ханской канцелярии), а также на походных журналах и материалах из ханского архива (в частности, записи Сефер Гази-аги, великого визиря ханов Ислам-Гирея III и Мехмед-Гирея IV). Последовательное и точное изложение исторических фактов (в частности, двух походов хана в 1648 г. и его калги Крым-Гирея в 1649 г.) Сенаи оживлял чисто литературным устным материалом, записывая походные песни и рассказы участников важных событий (*Зайцев*, 2009. С. 128). Помимо того, историк воссоздал политическую и военную историю ханства в период сближения Гиреев с Богданом Хмельницким. Труд содержит ценнейшие сведения о политике Бахчисарая по отношению к Польше и Турции, конкретные данные об отдельных походах крымскотатарских войск на Румынию, Польшу и Московское государство. Это произведение было в 1971 г. опубликовано в Польше в переводе Зигмунта Абрахамовича.

*Девлетшах-оглы Абибулла-эфенди* родился в 1641 г. в Бахчисарае. Окончил Зинджирлы-медресе, специализировался на истории тюркских народов и всего мусульманского мира. На основании длительных размышлений первым в мировой науке пришёл к выводу, что причиной упадка ряда восточных государств является главным образом отход их народов от принципов классического ислама.

Он считал, что именно искажение мирного учения Пророка и четырёх праведных султанов сделало возможным распространение в мусульманском мире этнического и личного эгоизма, алчности и агрессивности правителей и их подданных, что неизбежно ослабляло восточные державы перед лицом их противников, главным образом европейских.

Для Абибуллы-эфенди высокими образцами истинной веры и непреклонного патриотизма служили два первых крымских Гирея, Хаджи и Менгли. Отношение этих народных лидеров к принципам совместного противостояния соседних мусульманских государств северному врагу учёный пытался внушить и современным ему бахчисарайским политикам. Но, столкнувшись с полным непониманием его политической концепции при дворе слабого, невежественного и эгоистичного Адиль-Чобан Гирея и имея причины опасаться гибели от рук ханских палачей, Абибулла-эфенди был вынужден навсегда покинуть Крым и окончить свои земные дни в Турции. Там, в Стамбуле, он и похоронен.

Его современником был историк, принадлежавший к ханскому роду, сын Мубарек-Гирея и племянник Саадет-Гирея III, **Мехмед-Гирей** «Дервиш». Он создал исторический трактат без названия (его условно именуют *Тарих-и Мехмед-Гирей*), посвящённый периоду 1683—1703 гг., то есть событиям, которым он был современником. Это сочинение любопытно содержащимися в нём географическими описаниями, включёнными в него трактатами о внутреннем устройстве Крымского ханства и биографиями исторических лиц, с которыми этот член ханской фамилии был лично знаком.

В ту же эпоху творил и **Месуд-эфенди** (?—1700), советник Шахбаз-Гирей-султана. Его перу принадлежит труд *Сборник событий* (Вакиат междмуасы). Сочинение не дошло до нас, но известно, что его активно использовал в работе над своим главным сочинением Сейид-Мухаммед Риза, один из крупнейших историков Крыма. Впрочем, сам жанр *вакаи-наме* известен довольно хорошо: это были хроники, посвящённые определённому отрезку времени, в которых давались сухие и довольно точные описания более или менее значительных событий, чем они выгодно отличались от более пространных, цветистых сочинений придворных историков-панегиристов, по мере сил славивших своих повелителей.

Творчество уже упоминавшегося историка **Ибраима-эфенди Кефев** (**Кефели**) пришлось на весьма бурный период в истории Крыма — на первую треть XVIII в. Он стал автором известного фундаментального свода истории крымских татар Дагестана, Москвы и Кыпчакской степи *Таварих-и татар хан ве Дагестан ве Москов ве Деит-и Кыпчак улкелериндир*. Явившись свидетелем опустошения Крыма войсками Миниха и Ласси, в политической концепции своих трактатов он неуклонно проводил мысль о том, что главная опасность для существования ханства в виде независимой державы грозит с севера, и звал тюркские народы к совместному отпору многовековой агрессии Московского государства. Эта книга — одно из немногих произведений крымских историков, изданное ещё в 1933 г. (Джафером Сейдаметом, в румынском, ныне болгарском г. Пазарджик)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В последнее время были высказаны предположения о наличии в труде Ибраима-эфенди более поздних вставок, носящих актуально-политическую окраску (Зайцев, 2009. С. 157—165).

**Абдул-гафар Кырыми**, или **Кырыми Гафури** родом был из Карасубазара (село Сефа Конграт), образование получил в Крыму, и некоторое время состоял *диван-эфенди* (начальником канцелярии) при ханах Каплан-Гирее I (1730—1736) и Фетх-Девлет-Гирее I (1736—1737). Он служил и при других ханах в период с начала XVII в. до 1760-х гг. Будучи крупным чиновником, должность которого требовала частых отъездов, он одновременно работал над книгой по всемирной истории *Умдет ал-ахбар*, название которой можно перевести как «Первоисточник сообщений». Историк завершил её в середине 1740-х гг. (ныне хранится в стамбульской библиотеке Сулеймание). В этом обширном труде, охватывающем историю от начала мироздания до правления султана Махмуда I (1730—1754), значительное место было уделено вкладу Крыма в исламскую цивилизацию (раздел *Умдет ат-таварих*). Помимо некоторых вполне очевидных достоинств этого труда, охватывающем историю ханства с 1475 до 1739 г., ценность произведений А. Кырыми, как историка, была ещё и в том, что он, будучи глубоким эрудитом, использовал арабские, персидские и турецкие источники и исследовательские разработки (Келлинер-Хайнкеле, 2002. С. 379).

Что же касается Крыма, его архивных и иных фондов, библиотек, частных рукописных фондов и т. д., то этот историк называл свою родину «Опорой летописей и исторических сведений» (*Крымский*, 1930. С. 169). В начале XVIII столетия это было совершенно справедливо. После же похода Миниха в 1736 г. — отнюдь нет, по уже известной нам причине. Принадлежа к беискому роду Ширинов и будучи их политическим сторонником, Абдул-Гафар написал историю своего рода начиная от Ректемур-бея (XIV в.) до эпохи своих современников, внуков ал-Хадж Джап Тимур-бея. Не меньше внимания в этом сочинении уделено и роду Гиреев, начиная от их происхождения и восхождения на крымский престол и до правления Селямет-Гирея (1739—1743).

Другой, ещё более известный крымский историк того периода — **Сейид-Мухаммед Риза аль-Кырыми** (ум. 1756 г.) — принадлежал к числу крымских *сейидов* (потомков Пророка), роду Афифи, то есть к благородной семье, в которой было немало исключительно образованных *улемов* (Смирнов, 1887. С. X; Григорьев, 1974. С. 23), а в 1752 г. даже занял должность *накыб-уль-эширафа*, то есть главы потомков Пророка. Что же касается эрудиции самого Ризы, то она была, очевидно, исключительной. Прекрасно зная османскую и персидскую историографию, он свободно ориентировался в произведениях крымских историков (имеются в виду его предшественники Хейри-заде, Абд-ал-Вели-эфенди, Масуд-эфенди и др.), был знаком с творческим наследием Платона и Аристотеля (Зайцев, 2009. С. 114).

Главным произведением этого учёного, во всяком случае, из дошедших до нас, стали знаменитые *Семь планет в известиях о государях татарских* (1737). Это — фундаментальный трактат, остающийся уже может быть, третий век высшим достижением крымской историографии Нового времени и одним из основных источников по истории ханского Крыма в 1466—1737 гг., то есть в период от Менгли-Гирея I до Менгли-Гирея II. *Семь планет* — произведение многоплановое, а в жанровом отношении многосоставное (в нём встречаются и поэтические фрагменты). Язык его чрезвычайно красочен, образен, насыщен иносказаниями и фарсизмами, что было в ту эпоху характерно для лучших образцов тюркоязычных сочинений, но затрудняло понимание смысла читателем, не имевшим

соответствующей подготовки. Известен был и, по меньшей мере, ещё один значительный труд Ризы, *История дома Чингизов*, содержание которого понятно из названия, но о котором остались лишь описания и ссылки у старых авторов. Сама эта *История* исчезла после аннексии Крыма. Также не найдены до сих пор два трактата этого мыслителя и учёного, посвящённые этике и проблемам исправления нравов: *Горние вертограды верующего* и *Лучезияние благодати* (перевод этих названий на русский принадлежит известному тюркологу В.Д. Смирнову).

Труд Ризы имел продолжателя — мудерриса **Хурреми-челеби Акая-эфенди** из деревни Ойрат (южный берег Тарханкутского полуострова). Об этом существует следующее приращение, опирающееся на старый источник: хан Арслан-Гирей (март 1767—июнь 1767) поручил учёному мудеррису «отредактировать» главный труд Ризы, упростив его язык и переведя на татарский все фарсизмы, чтобы сделать его более доступным для более или менее массового читателя (*Сейтяг'яев*, 2005. С. 38–39). Но Хурреми-челеби не только упростил канонический текст, но и раздвинул его временные рамки далеко за 1737 год, на котором остановился Риза. В результате появился текст-продолжение без какого-либо названия, который исследовавший его В.Д. Смирнов условно назвал *Краткой историей*, условно, естественно. Тем не менее под таким титулом он и вошёл в труды позднейших исследователей.

Его младшим современником был географ, поэт и историк **Мустафа Рахим-эфенди** (в турецкой историографии известен под именами Кърымлы Мустафа Рахми или Татар Мустафа Рахми-эфенди). В 1782 г. он был отправлен в качестве секретаря турецкого посольства в Персию, в результате чего появилось его фундаментальное этногеографическое описание местностей и населения этой страны на протяжении всей поездки от Ускудара до Тегерана. Умер Мустафа Рахим-эфенди в 1786 г., едва успев окончить этот наиболее известный труд своей жизни. Похоронен он в Стамбуле.

Шире известен труд сына Шахбаз-Гирея (1787–1789) **Халим-Гирея** (1772–1823) *Розовый куст ханов* (Гюльбун-и ханан). После смещения отца с престола будущий историк перебрался небольшой румелийский городок Визу. Здесь он в основном и работал на протяжении около полувека над своим эпохальным трудом. Впрочем, иногда отвлекаясь так, он принял участие в Русско-турецкой войне 1806–1812 гг., выступив во главе отряда из местных татар-иммигрантов на стороне османов (*Кырымлы*, 2002. С. 299). Там же, в Румелии, он и был похоронен.

В *Розовом кусте ханов* (1811) освещена практически вся история ханства, около 366 лет от времён Хаджи-Гирея до правления кубанского хана Бахт-Гирея (1789–1792). При этом Халим-Гирей стал, пожалуй, первым крымским историком, создавшим столь ветвистое генеалогическое древо ханского рода, подняв тем самым старинный историографический жанр *шеджере* (о нём говорилось выше) на новый уровень. Он досконально проследовал за всеми сложными сплетениями судеб своих многочисленных предков, описав их родственные отношения с представителями ногайских, кавказских и иных родов и династий, не забыв при этом аталыков и их роль в воспитании и жизненном пути ханских и бейских отпрысков. Предметом исследований этого выдающегося историка стали внутренняя и внешняя политика крымского двора, многочисленные военные конфликты, менявшаяся от правления к правлению позиция ханов по отношению к Стамбулу и Москве.

Немало места уделено в *Розовом кусте* крымской культуре — как народной, так и высокой, науке, духовной жизни крымских татар.

Написанное на основе крымскотатарских исторических сочинений, это произведение, одно из самых значительных в крымской историографии, издавна привлекало внимание ведущих историков Крыма — особенно часто его использовал в обоих томах своего фундаментального труда В.Д. Смирнов. Любопытно, что эта старинная и весьма специфическим языком написанная книга пользовалась популярностью среди читающей публики XX века ещё в 1920–30-х гг. (*Крымский*, 1930. С. 168–169).

Чудом уцелевшие от пламени книжных костров XVIII–XX вв., немногие дошедшие до нас памятники крымскотатарской литературы и исторической науки отмечены не только высоким творческим талантом и эрудицией их авторов. Поражает их гуманизм, любовь к родине и соотечественникам, ощущение всечеловечности науки и искусства. В качестве примера такого отношения автора к окружающему миру, к высоким идеалам человека и сына Крыма, приведём небольшой отрывок из уже упоминавшейся анонимной *Истории крымских ханов*. Она была посвящена второй половине XVIII в., а конкретно — Арслан-Гирею, вовсе не прославившемуся воинскими подвигами, но привлечшему внимание историка совсем иными достоинствами:

«Услышав об отставке брата своего Мухаммед-Гирея (от должности Орбея. — *В.В.*), калга-султан Селим-Гирей говорил ему: „Были мы разбросаны по чужим землям, кто скитался в горах у черкесов, кто в Румелии. Хан призвал нас в Крым, одного сделал калгою, другого Орским беём, да и всех прочих по достоинству наградил и осыпал милостями более, чем от родного отца можно ожидать. Он господин наш и старший брат. Не желал бы он нам добра — не собрал бы нас так под крыло своё; теперь изволил отставить, значит, наша вина тому причиною, и всё-таки нам должно хвалить его и прославлять“.

В благополучное время царствования сего хана Крым благоденствовал в углу безопасности, люди жили в кротости и любви, воссылая к Господу тёплые молитвы о здравии и долголетию своего государя. Хан Арслан-Гирей подобно родителю своему храброму Девлет-Гирей-хану и как гласит несомненная книга: „Те, которые немилосердны к неверным, кротки между собой“, был безжалостен к врагам веры, но милостив до правоверных. По силе слов пророческого предания „Верующие есть престол Всевышнего“, он старался привлекать к себе все сердца, в особенности же оказывал уважение улемам и людям примерной жизни; должность кадийскую не давал без разбору, а по степени достоинства, и вообще старался улучшить состояние каждого учёного человека...

Зная, что „кто лишил жизни одного человека, всё равно, как бы лишил её всех“, воздерживался от разрушения творений Божиих сколь можно более. Уверенный, что „правоверные суть как бы семья султана“, оказывал величайшую заботливость об охранении пределов и укреплении границ, для чего устроил батарею и прорыл рвы в крепостях Орской и Арабатской, а также в Уч-Оба, Джонгар (то есть Чонгар. — *В.В.*) и в Сиваше. Помня, что пророк сказал „Улемы — то же, что были пророки в Израиле“, из любви к учению построил в Бахчисарае, недалеко от большой соборной мечети, великолепное медресе и прекрасное училище (мектебе). „Строит храмы Божьи кто верит в единого Бога и в день последнего

суда», речет стих Корана, и хан восстановил и возобновил клонившуюся к разрушению ханскую соборную мечеть в Гёзлёве... в Ак-Мечети и Отар-Кое построил фонтаны и на поддержку всех помянутых богоугодных заведений определил вакфы...» (цит. по: Аргинский аноним, 1844. С. 391–392).

Своеобразие крымскотатарского общества — в его постоянно напряжённой духовной жизни. Особенно выпукло это проявляется в массовом интересе к истории своего народа, к священной истории и т. д., в этом смысле не является исключением период, когда пишутся эти строки. В точности ту же картину можно было наблюдать и в XVIII в., когда в каждом городе и крупном селе нетрудно было встретить не единицы — десятки людей, сведущих в истории, собирателей старых рукописей и книг, охотно делившихся своими часто глубокими познаниями с соотечественниками и гостями. Эти люди были буквально живыми очагами крымскотатарского *Просвещения*, являлись важной составной частью национальной образовательной структуры.

Одним из таких подвижников исторической науки и книжной культуры был старший современник последнего крымского хана, **каймакан Мехмет-агъа**. До нас дошло, например, такое свидетельство о нем: это «шестидесятилетний старик, считающийся очень сведущим в древней истории Тавриды. Он владеет многочисленными рукописями, откуда удалось почерпнуть любопытные предания, между прочем, о том, что некогда море покрывало весь полуостров, за исключением гор, но уже в очень давние времена изменения, происшедшие в Константинопольском проливе, который стал шире, повели к большому отливу воды из Чёрного моря, обнажившему низменные части Крыма и тогда-то этот и выступил из-под воды» (цит. по: *Ромм*, 1941. С. 71). Кстати, эти гидроморфологические сведения, содержащиеся в старых крымских рукописях, подтверждены современной наукой, установившей, что ранее значительная часть Крыма была скрыта под волнами Чёрного моря, а свои нынешние очертания он обрёл в результате понижений уровня моря, последнее из которых произошло всего 22 000 лет тому назад (Чёрное море, 1983. С. 43).

#### д) Философские и естественные науки

Как указывалось в Прологе, во всём мусульманском мире учёные (улемы) были окружены всеобщим уважением и авторитетом. Очевидно, в Крыму это преклонение перед наукой и учёностью в какой-то мере превосходило общемусульманский уровень, иначе анонимный турецкий путешественник середины XVIII века не подчёркивал бы с уважением, что крымские татары «оказывают большое почтение улемам — благочестивым мужам» (цит. по: *Брун*, 1867. С. 11). И то, что нижеупомянутый перечень учёных Крыма столь краток, а содержательно скромнен — вина никак не современников этих улемов, отдававших им должное и в земной жизни и после ухода из неё. После многократных сожжений трактатов крымскотатарских улемов и их жизнеописаний на протяжении двух столетий колонизации, нам остаётся уповать лишь на случайные находки и время, которое, быть может, расширит этот список и наши небогатые представления о его содержании. Итак, что же мы знаем о деятелях крымскотатарской науки?

Учёный богослов **Атыф-эфенди бин-и-Сейдамет** (1399–1469 гг.) родился в Гёзлёве, но в семье получил воспитание скорее золотоордынского, чем крым-

ского характера (его отец был выходцем из Орды). Проявив блестящие политические особенности, стал советником Хаджи-Гирея, много сделал для становления ханства.

Его современник **Абдулла-огълу Сейдамет Кырими** получил богословское образование в Турции. По возвращении в Крым помогал наладить личные контакты между Хаджи-Гиреем и видными деятелями Порты, а также межгосударственные политические крымско-турецкие связи, чем содействовал ослаблению геноуэзев на восточном побережье Крыма. Весьма сведущий в истории и искусстве дипломатии, он был направлен в Стамбул полномочным послом хана. На протяжении всей жизни не оставлял занятий поэзией (свои произведения подписывал как Сейдамет Кырими). Во время одной из поездок в Турцию умер и был похоронен в Бурсе.

В эпоху Сахиб-Гирея (п.п. XVI в.) в учёном мире Востока стал широко известен ногаец **Шейх Ибрагим-эфенди**, педагог (практик, а также автор теоретического труда *Школы и медресе*), составитель тафсиров к Корану. Родившийся среди кочевников Кыпчакской степи, он получил образование в Крыму, затем дополненное в турецких текие на территории современной Болгарии, а позже — в Стамбуле. Затем последовала длительная работа в одной из стамбульских библиотек (позже — библиотека мечети султана Ахмеда I), где Ибрагим-эфенди продолжал составление комментариев к Корану. Впоследствии он вернулся на север империи (Добруджа), где целиком посвятил себя преподавательской деятельности. Умер в 1593 г., его могила находится в ограде монастыря дервишей Сырт-текие, близ Эдирне, Турция.

Его сын **Абдулла Азизэддин-эфенди** получил блестящее образование и прославился как крупный учёный своей эпохи, а также как поэт-мистик. Был лично знаком с султаном Муратом III, но отказался остаться при стамбульском дворе, предпочтя должность кефинского муфтия. На этом посту получил известность неуклонным проведением в жизнь положений шариата. Принимал активное участие в нормализации обстановки в Крыму во время волнений, связанных с попыткой калги Мехмед-Гирея сместить хана Селавет-Гирея (1608–1610 гг.). На склоне лет сложил с себя обязанности муфтия, целиком посвятив остаток жизни педагогической деятельности в мектебе одной из кефинских деревень.

Как видим, крымские учёные нередко совмещали научную деятельность с политической. Так кади-аскер **Мехмед-эфенди**, владелец одной из крупнейших частных библиотек Крыма, которого Саид-Гирей считал «величайшим эстетом среди кади-эскеров и наиболее образованным среди улемов и мурз», играл крупную политическую роль в период правления Менгли-Гирея II (1724–1730), известного как суфийский поэт (*Зайцев*, 2006 «а» С.89; *Гайворонский*, 2003. С. 74).

Понятно, что этот список весьма неполон, прежде всего по уже упомянутой причине<sup>1</sup>. Поэтому имена многих крымскотатарских авторов вообще стёрлись из человеческой памяти, другие известны лишь по упоминаниям современников

<sup>1</sup> В качестве примера приведём случайно обнаруженный в XX в. труд абсолютно неизвестного в России, на Востоке и Западе крымского учёного суфия Абу-Бакра ибн-Юсуфа аль-Хасана аль-Васития, Его сочинение *Книга светочей в деле суфизма* получило высочайшую оценку современных независимых специалистов.



или успешных использовать их труды потомков. Например, один только упоминавшийся выше Сеид-Мухаммед Риза использовал в работе среди прочих и такие совершенно неизвестные нам труды крымских историков, как *Табель Хэйризадэ*, *Сборник Абду-ль Вели-эфенди* и *Сборник происшествий Масуда-эфенди*.

#### е) Медицина, здравоохранение

Крымскотатарские медицина и здравоохранение имели, как и в других странах того периода, два основных направления: научное (*тиббиет*) и народное (*кьагьув*). Но, в отличие от ситуации в XX–XXI вв., оба они были равно признаны, а второе из упомянутых — распространено гораздо шире. Что же касается первого, то врачи Крыма получали образование в медресе, как местных, так и зарубежных. И вообще медицина здесь шла в ногу с наукой и просвещением, какими они были в других частях исламского мира, то есть, находившимися на уровне, нередко выше европейского. Но наряду с современной медицинской наукой в Крыму никогда не забывали о наследии старинных врачевателей, в том числе дальневосточных. Для этого здесь делались переводы монгольской и уйгурской специальной литературы (*Зайцев*, 2006 «а». С. 89).

Как и в Стамбуле, в Бахчисарае работали придворные медики, лечившие ханскую семью (и, конечно, всю столичную элиту) согласно лучшим достижениям науки; им следовали провинциальные врачи, практиковавшие в других городах Крыма. Из века в век безусловным авторитетом пользовалось учение великого Али ибн Сины (Авиценны), точнее, его фундаментальный пятитомник *Канон врачебной науки*. Это была настоящая энциклопедия, вобравшая в себя весь опыт индийских, греческих, римских и среднеазиатских врачей. Однако на рубеже XVII и XVIII вв. в исламскую науку начали проникать новые веяния, в которых отвергалась основа врачевания по Али ибн Сине, а именно, его учение о зависимости здоровья от неких «соков», которыми напоено человеческое тело.

Взамен «новые медики» придерживались принципов врачевания немецкого ученого Парацельса, в основе которых было рассмотрение всего организма как единого целого, подверженного пагубному влиянию чуждых ему сущностей и идей, в том числе и психических. Жизнь, по книгам Парацельса, являлась единым органо-химическим процессом, нарушение которого (а отнюдь не какой-то части или отдельного «сока») порождает болезненные явления, поддающиеся грамотному лечению при помощи химических составов, а также средств, получаемых при специальной обработке сырья, которое дает человеку растительное и животное царства. То есть речь шла о фармакологии.

Работы эти были переведены в Турции на арабский и быстро стали достоянием врачей, практиковавших на просторах всей огромной Османской империи. В Крыму таким пособием для постижения нового учения о человеческом теле и его недугах стали две книги, переведенные турецким фармакологом и знатоком европейской науки Омером Шифаи: *Новая химическая медицина* (Тыбб-и джедид-и кимьяи) и *Метод лечения по врачебной химии* (Минхадж-уш-шифаи фи тыбби кимьяи) — они считались вообще наиболее популярными на Востоке из всего научного наследия Парацельса (*Витол*, 1987. С. 85). Хотя, следует сказать, эти пособия были вряд ли единственными, просто о других мы ничего не зна-

ем. Велись в Крыму и оригинальные разработки в сфере психотропных средств длительного действия. Такие препараты уже имелись в распоряжении крымских врачей — но не Парацельса!

В первой половине XVIII в. медицина Турции и других частей Османской империи претерпела важные изменения. Фирман, изданный в 1729 г. по инициативе крупного турецкого медика Мустафы Фейзи, запрещал лечить людей врачам, не получившим специального образования. Но, как и другие султанские указы, этот фирман оказывал наибольшее влияние на практику врачей столицы и крупных турецких городов; в Крыму же его вежливо игнорировали. А Гиреев с их семьями и двором продолжали пользоваться образованные, читавшие Парацельса лейб-медики<sup>2</sup>, основная же масса крымских татар жила и лечилась по старинке. То есть они в случае нужды прибегали к помощи врачей-специалистов, которые были приверженцами иной, не менее сложной медицинской теоретически-практической системы, которую принято называть народной.

Понятно, что крымскотатарская традиционная медицина, как и любая иная, имела свою концепцию, свой основной принцип. Его суть, если обозначить её кратко, в двух словах, заключалась в *недопущении* заболеваний. На службу этому принципу ставились гигиена, здоровая пища, регулярное и умеренное питание, постоянные физические нагрузки (в том числе верховая езда, танцы и спорт), закаливание, поездки в местность, славящиеся благотворным климатом, водами и другими курортными достоинствами. Если же заболевания не удавалось избежать, то при лечении предпочтение отдавалось таким шадящим средствам народной медицины, как травяные препараты, водные и грязевые процедуры, использование воды целебных источников внутрь и так далее. В число лечебных средств входили и фрукты, и некоторые овощи.

Курорты Крымского ханства располагались не только у моря или грязевых озёр. Таким местом считался и Старый Крым. Ещё в конце XVI — начале XVII вв. было общеизвестно то, о чем писали позднее, а именно что он «красиво расположен на небольшом возвышении, пользуется прекрасным воздухом и обильно снабжён чистой водой... В окрестностях этого города произрастают душистые цветы и целебные травы. Ежегодно от весны и до июля здесь бывает большой съезд (то есть, заезд «курортников». — *В.В.*) со всех концов Татарики для пользования ваннами из горячей воды с цветами и травами, исцеляющими человека от многих недугов. Окрестности богаты фруктами и овощами», так-

<sup>1</sup> Упоминавшийся выше Павел Казак, европейский разведчик на ханской службе, отмечал в своих записках, что накануне очередной его командировки на Запад ему всегда давали в Бахчисарае питьё неведомого состава, которое он называл «Духовным напитком» (*trunchk Müth* или, на современном немецком, *Muttrank*). После этого, утверждает он, ни один шпион не имел силы воли стать перебежчиком. По свидетельству Павла, он ощущал за рубежом постоянный страх, чувство тоски, и вновь обретал душевное равновесие лишь по возвращении в Крым (*Ivanics*, 2008. S. 126).

<sup>2</sup> Впрочем, возможно крымские врачи пользовались научными достижениями медицинского ведомства Османской империи, где важное место занимали специалисты-иноверцы. Так, в начале XVII в. в империи в распоряжении главного врача державы (*хекимбаши*) находилось 40 врачей-иудеев и лишь 21 врач-мусульманин (*Итишрли М.* Организация Османской империи // *История Османского государства*. Т. I. С. 212).

же, очевидно, входившими в число исцеляющих средств народной медицины (Дортелли, 1902. С. 106). О том же писал посетивший Старый Крым в середине XVIII в. французский ориенталист Дегинь: «Особой славой пользуются здешние цветочные ванны из луговых цветов, покрывавших окрестности города» (Цит. по: Врангель, 1939. С. 24).

Задолго до аннексии ханства крымскотатарские медики открыли целебные свойства сакских грязей. Историки медицины утверждают, что «ещё во времена первых крымских ханов была известна целебная сила этих грязей и уже тогда старики-татары пользовались ею как лечебным средством при многих болезнях не только человека, но и животных (преимущественно лошадей... Первые достоверные сведения о грязевом лечении относятся к 1781 году, когда Сумароков, страдавший застарелым ревматизмом, сам лечился ими по совету местных татар...» (Евсеевко, 1900. С. 17).

Поэтому в Саках была устроена настоящая лечебница, скромная по размерам и только с солнечным подогревом грязи (то есть, сезонная), но со всем необходимым для такого лечения оборудованием, с подвозом больных, навесами и так далее. При этом уже тогда использовались совершенно современные методы разделки грязи на медальоны для прогревания, смывание рапой после её использования, ротация грязевой массы и т. д. (Горчакова, 1883. С. 12). Работали эти лечебницы с 20 июля по 1 сентября. «Обитающие в здешних окрестностях крымцы стекались издавна толпами к сему спасительному месту и возвращались здоровыми в дома своя...» (Сумароков, 1803, Т. I. С. 124–125; он же, 1800. С. 159).

Методика пользования местными грязями была разработана крымскотатарскими медиками, очевидно, на основе опыта столь длительного и проверенного, что его можно было бы считать вполне научным. Это, кстати, и подтверждалось отличными результатами, отмечавшимися не только у старину, но и в XX в.: «Лечение грязью перешло [к нам] от татар. И сейчас татары лечат больных грязью...» (Орловская Е. М. Крым. М., 1911. С. 10). Напротив, больные, пренебрегавшие этой традиционной для Крыма методикой, не получали никакого облегчения. После аннексии «...русские, поселившиеся в Крыму, и особенно жившие в Евпатории, также стали принимать грязевые ванны, но без совета медиков, так, как нибуль, и поэтому редко излечивались» (Сосногорова, 1880. С. 266–267).

Сравнительно поздно было признано официальной медициной испокон века лечившее крымцев Мойнакское солёное озеро, расположенное к югу от Евпатории. Упомянувшийся варшавский историк медицины отметил: «Мойнакское озеро уже давно пользуется среди татар, как драгоценное средство против многих недугов, но официально оно было признано таковым только с 1885 года, когда после тщательного исследования воды (рапы) и грязи правительством было разрешено городу Евпатории устроить на нём лиманное заведение» (Евсеевко, 1900. С. 34). Этот же автор отмечает полезные свойства *кила* или «морского мыла», которое татары исстари добывали на противоположном, восточном берегу полуострова: оно «даёт очень хорошие результаты при экземе, роже и различных дерматитах. Вообще на это народное (татарское) средство практическая медицина обратила своё внимание» (Ук. соч. С. 26–26).

Пользовались заслуженной славой и минеральные воды многочисленных целебных родников Крыма. При этом они делились на сильно минерализован-

ные, вода которых использовалась как наружное средство, и питьевые, с более низким содержанием солей. Пример первых — вырытые в далёком прошлом близ Сиваша «минеральные колодцы, вода которых помогает от кожных болезней и ревматизма» (Завадский-Краснопольский, 1874. С. 15).

Вторых было гораздо больше. Один из таких источников, Савлух-Су, находится у истоков р. Альмы. Он посещался как крымскими татарами, так и местными христианами (позже здесь не без причины был основан Козмодемьяновский монастырь). К нему добирались с Южного берега через Корбек, поднимаясь затем на яйлу и двигаясь к Чучельскому перевалу (весь путь от Алушты — 17 км). Раз в году туда устраивалось настоящее паломничество: и мусульмане, и христиане верили, что в день святых Козьмы и Дамиана (1 июля ст. стили) воды источника особенно целебны, как и молитва у подножья древней Чучели. Очевидно, оказывала своё воздействие и эта вера, и купание, и потребление воды внутрь. Она хорошо выдерживала хранение, так что её можно было брать с собой, для больных, которые были не в состоянии преодолеть неблизкий горный путь. Любопытно, что в эту ледяную воду погружали и грудных детей, отчего они только здоровее становились (Чеглок, 1910. Т. II. С. 79; Мурзакевич, 1837. С. 640).

Ещё один из множества целебных источников — в деревне Топлы близ Сулака, его температура круглый год неизменно равнялась + 15 С. Другой источник бил из скалы у подошвы возвышенности, на которой находится известная гробница Салгир-Баба, в Акмесджите (позднее вокруг источника был разбит симферопольский «Бульвар», ныне это — городской сад). Естественно, он был местом паломничества болящих задолго до того, как богатый грек А. Савопуло оформил в 1857 г. этот выход ключевой воды в виде красивого чешме.

Кстати, неоднократно упоминавшийся выше Салгир-Баба был не только известным суфием (после мученической смерти в 1736 г. его стали почитать как святого), но и не менее знаменитым врачом-врачевателем. В своей практике он прибегал к молитве (его скромная хижина находилась на месте, издавна считавшемся святым), к воде находящегося поблизости целебного источника и лекарствам, которые он приготавливал, пользуясь благоприобретёнными познаниями в медицине. Слава о действенности его лечения разносилась по всему Крыму и за его пределами. К нему шли физически больные и паломники, жаждавшие духовного исцеления или даже обогащения. К его помощи прибегали не только бедняки, но и мурзы и беи, а также члены ханской фамилии. Естественно, эти богатые люди оставляли щедрые дары. Но святой старец раздавал их беднякам соседних сёл, оставаясь нищим, как истинный суфий (Подр. см. в: Абдулаева, 2005. С. 6). Здесь, как мы видим, также использовалось комплексное лечение — вдохновенным словом и вполне материальными целебными средствами.

Таким же бессребреником был народный врач по имени Ахмет, живший в Саках гораздо позднее, в конце XIX в.: «Поразительно, что старик Ахмет с бедных больных (даже иноверцев) не берёт денег и не редко сам ещё им помогает [материально]. Наизидательно для нашей современности!» (Евсеевко, 1900. С. 18).

Традиционная крымскотатарская медицина предписывала довольно раннее закаливание, что в совокупности с регулярными физическими упражнениями давало неплохие результаты. Как сообщал анонимный турецкий путешественник середины XVIII в., крымские татары «легко переносят стужу и зной и купают

детей в солёной воде, чтобы приучить их к переносению холода. Уже в 12 лет дети начинают упражняться в военном ремесле... [отчего] эти татары чрезвычайно поворотливы» (Цит. по: *Брун*, 1867. С. 10–11). Такое раннее закаливание было высшим проявлением родительской заботы — ведь малыш готовился к нелёгкой жизни, где испытаниям подвергались все, независимо от достатка или образованности — напомним, что в походы татарчата отправлялись с 15 и даже 12 лет, считаясь уже вполне взрослыми джигитами (*Schlechta-Wssehrd*, 1863. S. 43).

Столь высокий уровень традиционной национальной гигиены разумно объяснял и более ранний автор: «Когда дети ещё маленькие, их матери заботливо купают их ежедневно в воде, где растворена соль, чтобы кожа загубела, и они стали менее чувствительны к холоду, когда им доведётся переплывать реки в зимнюю пору». В результате детская смертность в Крыму снижалась до совершенно несравнимых с соседними странами показателей (подр. см. в § 9 этой главы), а из таких подростков вырастали «смелые и выносливые воины, которые не поддаются усталости, легко переносят зимнюю непогоду, поскольку с 7-летнего возраста покинув свои кибитки, никогда не спят под иной крышей, кроме открытого неба» (*Бонлан*, 1990. С. 53; см. также в: *Schlechta-Wssehrd*, 1863, item).

Говоря о национальной гигиене, следует учесть, что кроме поддержания личной чистоты и повсеместной практики закаливания, огромную роль в здоровье народа играла чистота улиц, площадей, помещений для скота. О том, насколько это было важно, говорит массовая смертность, из века в век присущая городам и деревням Европы и России, но неизвестная Крыму. За его пределами простые правила общественной санитарии не соблюдались, там бытовые насекомые-паразиты кишели повсюду, от хижин до дворцов. «Множество смертей было результатом плохого санитарного состояния городов и селений. Виш переносили тиф, комары — малярию, кучи конского навоза на улицах привлекали мух — переносчиц тифа и детской дизентерии, уносившей жизни тысяч детей. Почти повсюду свирепствовала оспа, кто умирал, кто выживал, сохранив глубокие отметины на лице и теле» (*Масси*, 1996. Т. I. С. 266).

В Крыму, напротив, оспа была практически неизвестна. Трудно объяснить этот феномен, скорее всего, здесь имела главное значение личная гигиена, а не природа или климат. Это можно утверждать, исходя из того, что в Греции, одарённой такой же благоприятной человеку окружающей средой, эта страшная болезнь неоднократно производила опустошения среди местного населения. Причём ситуация в Крыму не изменилась и после аннексии. Об этом шла речь в напечатанной в Лондоне и переведенной в Харькове статье анонимного путешественника, посвящённой этой актуальной проблеме: «об оспе вовсе не слышно между Татарами, хотя она чрезвычайно свирепствует между греками, их соседями» (*Аноним*, 1824. С. 65).

Лекарства использовались в основном растительного происхождения, и крайне умеренно. Приведём несколько старинных средств такого рода: лишаи лечили смолой от табачного дыма, коросту — серным порошком в луковом соке, с оспой боролись исключительно гигиеническими предписаниями, от скарлатины и кори исцеляли водным раствором *кырмыза* (кошенили). От крупа и других болезней горла и верхних дыхательных путей спасались вдуванием через трубку мелко истолчённого порошка нашатыря и дубового чернильного орешка, от кашля дава-

ли проглотить 2–3 зёрнышка чёрного перца. От глистов пили масло, давленное из плодов лавра благородного, от обморожения помогал орлиный жир, от запора — рассол, от горячки — катык с чесноком, от боли в животе — сухой кизил, жаренный в бараньем жиру, и так далее (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 213–215).

И даже перемежающуюся лихорадку лечили травкой *кичкене-мамут*, имевшей хинно-горький вкус и помогавшей, как уверяют, не хуже натуральной хины (*Ливанов*, 1875. С. 47). Нарывы обкладывали листьями подорожника, иногда размягчённого и увлажнённого посредством пережёвыванья, а кожные заболевания лечили серным порошком на влажной основе из печёного лука. Имбирь и белый калган, смешанные с мёдом, помогали при лёгочных заболеваниях; с этой же целью использовалось конское сало. Но, конечно, всё сказанное не значит, что лечение ограничивалось только народными, самодельными средствами. Если были медики, то были и профессионально изготовленные медикаменты на химической основе, которые, кстати, только в Бахчисарае можно было купить в полусотне «торговых точек» (*Lyall*, 1825. P. 351).

При достаточно интенсивных физических нагрузках во время походов, переходов по горным тропам, да и на народных состязаниях по борьбе-куреш нередко были вывихи и переломы. С этим успешно справлялись специалисты-костоправы, которые имелись чуть ли не в каждой деревне. Методы они использовали столь же простые, сколь и остроумные. При отсутствии гипса они, вправив сустав или приведя сломанную кость в естественное положение, обеззживали больное место тонкими деревянными лубками, которые туго бинтовались полотняными лентами. Затем, для придания повязке необходимой жёсткости её пропитывали жидким тестом, мылом или яичным белком. Той же цели служила свежесодранная овечья шкура, которая, есыхаясь, образовывала достаточно жёсткий футляр, туго обтягивавший поражённую кость или сустав (*Рославцева*, 2003. С. 327).

Конечно же, не стоило ждать от народной медицины несбыточных чудес. Инфекционные заболевания были известны и в Крыму — в том числе такие, с которыми мировая медицина научилась бороться лишь в XX веке. Впрочем, здесь следует сделать одну оговорку: «Венерические заболевания были неизвестны Крыму, правда, лишь до завоевания его русскими. Но и теперь эти болезни не распространены здесь, среди татар так, как в других местностях» (*Reuilly*, 1806. P. 161–162). Очевидно, последнее объяснялось традиционно крайне редкими внебрачными связями крымских татар, о чём ниже будет сказано особо.

Медицина, как народная, так и научная, была эффективна не только по причине высокого профессионализма врачей. Разнообразные средства оказывали благотворное действие и оттого, что использовались вкупе с размеренным, здоровым, воздержанным питанием, а также гигиеной, соблюдаемой во *всех* социальных слоях. О популярности бань уже говорилось, но не меньшую роль играли многократное мытьё рук в течение дня (не только пять раз перед намазами, но и перед едой, и после каждого приёма пищи). Не менее важен был постоянный чистый воздух в помещениях, где летом, а часто и зимой не было стёкол в окнах (*Сумароков*, 1803. Т. I. С. 187). Отсюда результат: «Жители [Крыма] вообще живут весьма долго, и хотя [некоторые из них] весьма не молоды, однакож и глубокая старость их не ослабевает (то есть, не ослабляет. — *В.В.*). В рассуждении чего,

у них нет совсем никаких лекарств, выключая только весьма простых средств к излечению» (*Клеман*, 1783. С. 152). О том же говорит другой автор: «Обитатели [Крыма] живут долго и даже в глубокой старости имеют хороший и бодрый вид» (*Тукманн*, 1936. С. 18).

Возможно, здоровью нации содействовал старинный обычай длительного, до 2–3 лет, кормления младенцев грудью, сохранившийся и на протяжении всего XIX в. Крымские медики считали, что отрывать ребёнка от груди раньше этого срока — варварство (*Holderness*, 1821. P. 18). В дальнейшем питание, в котором преобладала растительная и молочная пища, было крайне умеренным, и это на фоне постоянных физических нагрузок. Результаты бросались в глаза прежде всего профессиональным медикам: «В [крымскотатарских] двориках видишь группы детей такой силы, красоты и здоровья, что если ты любишь малышей, то вряд ли найдёшь силу отвести взор от этих очаровательных существ. Татарские мальчишки в своих меховых шапочках — самые широкоплечие и атлетичные (*hochbrüstige*, букв. «с накачанными грудными мышцами» — *B.V.*) образцы человеческой породы, которые мне когда-либо встречались. В большинстве случаев они просто картинно хороши собой...» (*Remy*, 1872. S. 69).

Здесь нельзя не упомянуть о кумысе. Это — единственный молочный продукт, в составе которого доли фосфора и магния сбалансированы. Предки татар, естественно, не знали этого, но ещё в древности обратили внимание на целебные свойства ценного напитка. Поэтому кумыс использовался в Крыму не просто как питательный и вкусный продукт, но и в качестве народного лечебного средства. Позднее его оздоравливающие свойства были высоко оценены и профессиональными медиками — вначале крымскотатарскими, а затем и российскими. В эпоху, когда до открытия антибиотиков оставалось ещё полтысячи лет, кумыс успешно применялся для лечения таких страшных болезней, как туберкулёз лёгких или лимфатических узлов.

Помогал он и при анемии, истощении, желудочно-кишечных заболеваниях. Это сброженное особыми бактериями кобылье (иногда верблюжье) молоко содержало в себе, кроме фосфора и магния, бесценные витамины, кальций, молочную кислоту и 1–3 % спирта, облегчающего его усвоение организмом. Возможно, из-за постоянного, с детства до глубокой старости, употребления кумыса крымцы не знали, что такое туберкулёз. Как будет сказано в III томе, в Крыму эта болезнь распространилась как степной пожар во второй половине полугодных 1920-х гг., причём в первую очередь среди крымских татар, которых власти, запретив частное владение лошадьми, лишили возможности изготавливать столь привычный для них целительный кумыс.

Весьма важным для качества кумыса было то обстоятельство, что дойные кобылы паслись на восхитительном, душистом разнотравье вольных степей или яйлы полуострова, не зная изнурительного труда в хомуте — рабочих лошадей, как упоминалось, в Крыму не было. Русский врач, исследовавший эффект этого вида лечения, пришёл ко вполне логичному выводу, сопоставляя крымское и российское (было и такое) кумысолечение: «Какое же сравнение можно сделать относительно молока кобылицы степной, вольно пасущейся в степи и не знающей никогда хомута, с кобылицей, купленной на первом попавшемся рынке, которая чуть ли не родилась в хомуте и на плохом корму?» (*Чугин*, 1882.

С. 123). Известно, что кумысом впоследствии лечилось множество больных России, в том числе и такие знаменитые, как Л.Н. Толстой, — и с прекрасными результатами.

Говоря о пользе продуктов из кобыльего молока, нельзя не упомянуть заодно и целебные свойства верховой езды. Ныне гиппотерапия, то есть лечение ряда заболеваний посредством прямого контакта с конским организмом, общепризнано. Но задолго до появления научных трудов на эту тему крымские татары, очевидно, чувствовали на собственном многовековом опыте, как оздоравливает человека верховая езда, совокупные усилия двух организмов — лошади и всадника. И использовали любую возможность вскочить на коня, даже если путь от дома до рыночной площади или мечети не превышал версты, а вель для этого нужно было вывести лошадь из конюшни и оседлать, что требовало времени. Видимо, такая подзарядка от энергии преданного хозяину, умного и доброго животного с течением веков стала для крымцев совершенно необходимой. Отчасти и по этой причине упомянутый закон, принятый советской властью, впервые в истории запретивший иметь лошадь в частном владении, имел столь плачевные результаты.

Но здоровье крымцев зависело не только от внешних факторов. Известный исследователь Крыма объяснял его не только уже упоминавшейся сдержанностью татар в их питании, но и гармоничным физическим трудом: «Эта умеренность привычек горца, эта жизнь на свежем воздухе, в постоянном движении, в постоянном напряжении своих сил выковывают могучим образом не только его дух, но и его тело, его физическое здоровье... Живучесть его подвижного и сильного тела такова, что, тяжкие раны нередко затягиваются сами собою, а то, что наша медицина признаёт едва ли не смертельным, не заставляет его даже лечь в постель... Тут помогает не столько искусство знахаря, сколько несокрушимая мощь самого раненого» (*Марков*, 1904. С. 555–556). Между прочим, и современные исследователи прямо соотносят здоровье и продолжительность жизни человека с удовлетворением от его труда, интереса к работе, с уважением окружающих к нему как к классному профессионалу (*Аргайл*, 1990. С. 79, 261).

Интересно ещё одно объяснение несокрушимого народного здоровья крымцев: «Их манера вести себя, спокойная жизнь, недопущение утомления от чрезмерной работы, возможно, также содействуют их здоровой телесной конституции и редкости заболеваний... отчего они достигают крайнего возраста. Многочислен был отмечен среди них только ревматизм, и их предрасположение к этой болезни может быть объяснено прохладой в их жилищах с редко закрытыми окнами и дверьми, которые, возможно, и способны были бы защитить от вторжения полудночного тая, но не от ветра, дождя и холода...» (*Barker*, 1855. P. 210–211). Не исключено, что именно этот нечасто встречавшийся ревматизм и был скромной платой за в остальном прекрасное физическое состояние обитателей такого жилища, где воздух был не только прохладен, но и постоянно свеж.

И, конечно, на физическом состоянии крымского татарина благотворно сказывалось общепризнанное спокойное и уравновешенное состояние его души, его патриархальная наивность, почти полное отсутствие в народной среде таких распространённых нравственных пороков, как зависть, стяжательство или скаредность. Российские авторы, которых трудно упрекнуть в слепой любви к крымским

татарам, отмечали: это «...прекрасные люди, наивные и непосредственные. Среди простых отношений и условий земледельческой жизни, окружённые вершинами чудных гор, под блестящим солнцем юга растут, развиваются дети природы, сильные, ловкие и добродушные...» (Васюков, 1904. С. 13).

Можно привести ещё немало объяснений такому удивительному состоянию души и тела, но ведь важнее любых комментариев сам факт: крымские татары были на редкость здоровым народом. «Удивительно для меня, что между ими почти нет кривых, слепых, горбатых, сухоруких и т. п. уродливостей, равно как и рябых, толстых и великорослых», — заметил один из авторов, вернувшийся в Крым после двухлетнего пребывания в России и поражённый очевидной, бросающейся в глаза разницей в этих двух человеческих племенах (Сумароков, 1803, Т. II. С. 4).

О том же пишет английская исследовательница: «Среди них не увидишь ослабленных (*lame*) или слепых, их отличают чудесные тёмные глаза и зубы чрезвычайной белизны. Последнее объясняется использованием некоего вида жвачки растительного происхождения, под названием *сахкуз* (*sahkuz*)» (Holderness, 1821. P. 71). А её далёкий предшественник именно здоровьем народа объяснял сравнительно небольшое число врачей в Крыму: «Об искусных учёных-врачах. В этой стране больные встречаются редко, но поскольку [Гёзлёв] это большой город, здесь есть мудрые мастера — Алиша-мирза и Давуд Сар-ата» (Челеби, 1999. С. 24).

Поистине, блажен тот город, где уже *третий* врач — лишний, где для него нет работы!

#### ж) Просвещение

«Почти все они грамотны, и с давних времён у них много школ» (Андриевский, 1892. С. 21). Этот отзыв был справедлив и заложил до описываемого периода. Сколько веков существует на земле Крыма ислам, столько же существовали и школы, то есть начальные *мектебы* и высшие *медресе*. Включая и тот ранний период истории ханства, когда в степной части полуострова ещё можно было встретить последние кочевья, а за Перекопом вообще никого, кроме кочевников не было: «Там находится столь много сог... знающих улемов, что и не расскажешь. Все эти учёные основали свои медресе среди племён в степи и кочуют вместе с ними» (Челеби, 1999. С. 10). Что тогда говорить о таком центре образования, как Бахчисарай. Здесь и через добрых полвека после аннексии несли в народ просвещение 14 мектебов и 3 медресе (Фёдорова, 1855, С. 157).

Огромную роль в работе мектебов и медресе, этих поистине народных очагов культуры, играли *мудеррисы* — преподаватели различного профиля и уровней. Все они жили исключительно за счёт *вакуфов* (народных фондов, средства которых расходовались на поддержание работы школ и храмов), а также добровольных приношений родителей их питомцев. «За действиями их никто не имел надобности следить, потому что обучение грамоте считалось величайшим благодеянием в глазах Пророка», а *мудеррисы* были людьми набожными. Не менее ценной платой за труд было окружавшее их всеобщее и безусловное уважение; они «чрезвычайно уважались ханами по достоинству и степени уметвенного развития» (Кондарак, 1883. Т. II. С. 182). Частично это уважение проистекало из общего расположения крымцев к просвещению. Сам процесс обучения считался



Мектебе совместного обучения. Гравюра.  
Из коллекции музея Ларишес

делом не только достойным, но и богоугодным. Это отношение было свойственно не только взрослым, людям зрелым, оно передавалось и детям. Причём такая атмосфера вокруг школы любого уровня сохранялась веками, уже когда многие традиции былого ханства оказались забытыми. И в начале XX века, столь многое изменившего в жизни человека, гостя Крыма замечает: «Дети ходят в школу, как в церковь, смиренные и серьёзные, такие непохожие на шаловливых школьников европейских стран» (Врангель, 1939. С. 19).

О количестве школ, их устройстве и традициях достаточно много сказано в специальном исследовании (Ганкевич, 2001. С. 15–34). Здесь же перечислим лишь дисциплины, преподававшиеся в медресе: арабский язык, законоведение, риторика, логика, философия, арифметика, астрономия. Один из историков Крыма замечает: «Это был своеобразный комплекс знаний, стройный, логически вытекающий из всего уклада жизни того времени...» (Никольский П. В. Бахчисарай. Вып. 2. Симферополь, 1924. С. 13–14).

Нужно также отметить, что роль просветительских очагов в Крыму для национальной культуры его народа была гораздо шире чисто просвещенческой. Каждое мектебе становилось маленьким центром общей культуры села. Двор такой школы как магнит притягивал к себе местных жителей. Они собирались там не только на школьные праздники, вроде первого учебного дня, но и для того, чтобы под предлогом встречи детей (которым до дому было два шага по деревенской улице) поговорить с односельчанами о детях, о школьных делах и других предметах такого же рода, всегда представлявших для крымских татар первоочередную важность.

Что же касается сотен медресе, более или менее равномерно расположенных на всей территории полуострова, то культурная их роль была несравненно

глубже. Так, знаменитое Зинджирлы было не только крупным университетским центром, готовившим национальную интеллигенцию (это медресе вообще стало к концу XIX в. самым большим и богатым в империи). И не только храмом, обслуживавшим жителей Бахчисарая, Салачика и ещё полдюжины соседних сёл. Это было также одно из крупных юридических учреждений, нередко игравшее роль верховного суда, где шли особо важные процессы или разбирались самые запутанные, спорные дела. Наконец, Зинджирлы-медресе играло роль форума, где происходили собрания и встречи с общественностью высших официальных лиц, где шли дискуссии не только научного, но и высокого гражданского значения. Здесь, бывало, принимались решения и национального масштаба.

В любом исследовании тема просвещения обычно завершается его результатами. Вывести их довольно трудно по любому культурному региону, не только по Крыму — здесь ещё предстоит много работы. Поэтому придётся обратиться к не столько конкретным, сколько умозрительным рассуждениям наших далёких предшественников, глубоко интересовавшихся этой проблемой.

Немецкий композитор и путешественник, весьма сведущий ещё и в этнологии, в своём анализе крымскотатарского Просвещения прибег к компаративному (сравнительно-культурологическому) методу, как наиболее корректному в оценке культур неевропейской цивилизации. Исходя из того, что «если какой-либо народ восприимчив к музыке, то он уже явно способен просветиться (*bildungsfähig ist*), он сделал следующие наблюдения: «В этом отношении татары ещё одной гранью своей сущности стоят выше турок, остающихся холодными и равнодушными при исполнении любого шедевра этого божественного искусства... В Турции, когда я исполнял Вебера и Баха, высокопоставленные, образованные сановники сохраняли ледяное равнодушие, с трудом скрывая скуку...» (*Grimm*, 1855. S. 33).

Если мы вспомним, что при бахчисарайском дворе ещё веком раньше ханский и французский оркестры играли восточную и европейскую классику, то с А.Т. Гриммом трудно не согласиться — этот народ был более развит и динамичен, более восприимчив к прекрасному, чем его южные (и не только южные) соседи. Тот же вывод можно было сделать и касательно уровня общей, не только эстетической просвещённости, а также наглядных её результатов: «Татары просвещённые турок и кардинально отличаются от последних своими манерами и обычаями» (*Campenhauen*, 1808. P. 76), естественно, не в худшую сторону.

В том же смысле показательно ещё одно культурное явление: крымскотатарский *джонк*. Это — рукописный сборник, куда его владелец собственноручно записывал пришедшие ему по душе или полезные для подрастающего поколения изречения и другие плоды народного творчества, но главным образом стихи, поэмы, фрагменты дестанов. Когда собранные таким образом листы и тетради достигали известного объёма, их переплетали в кожу, нередко тисненую. Отмечено, что иногда в старых джонках исследователи обнаруживали классические произведения, считавшиеся утерянными. Так, например, была обнаружена одна из поэм Джан-Мухамеда и стихи Абдул-Меджита (*Музафаров*, 1993. Т. I. С. 231). Думается, излишне говорить о чисто просветительском значении джонков в крымском традиционном обществе.

А вот наблюдения, сделанные русскими путешественниками уже после аннексии, но ярко отражавшее традиционные реалии старого Крыма. Зайдя в не-



«Манежик» на крыше крымского дома; за ребёнком присматривает отец. Гравюра О. Раффе. Из коллекции музея Ларишес

богатый крестьянский двухкомнатный дом в Кучук-Мускомье, один из них с изумлением увидел, что «на перекладине, поддерживавшей потолок, лежали книги...» (*Демидов*, 1853. С. 371). Русская княгиня заходит в *обычный* домик в Куркулете (Южный берег Крыма) и видит что «...на перекладинах или балках под самым потолком... лежит священный Коран и другие книги» (*Горчакова*, 1883. С. 156). «В каждом татарском доме одна или несколько рукописных копий Корана, прекрасной каллиграфии. Дети рано учатся не только читать, но и переписывать его» (*Clarke*, 1810. P. 520).

В то же время после аннексии, в выстроенных по завезённому из России стандарту *избах* новых «крымцев» книг на полках заметно не было. Причём ни у первых переселенцев, ни веком спустя, на исходе XIX в. у их далёких потомков, в основной массе своей неграмотных — в отличие от их татарских соседей. Одно из объяснений этому известному факту — несхожее устройство и традиции российских и крымскотатарских школ. Помимо отличий в методиках преподавания, которые многое объясняют, упомянем ещё об одном факторе, игравшем весьма значительную роль как в ходе учебного процесса, так и в результатах школьного обучения. Речь пойдёт о телесных наказаниях (или отсутствии их) в школе.

Далее в этом очерке будут приведены свидетельства трогательно нежного отношения крымских родителей к детям, как правило, воспитывавших их

не насилием, а словом и личным примером. Это не могло не влиять и на практику школьного обучения. Ни в мектебе, ни в медресе физическое воздействие на учеников не могло иметь места, оно просто исключалось, как и в современной школе, где оно запрещено законом, а отдельные случаи его нарушения влекут за собой суровое осуждение такого рода педагогов вплоть до судебного преследования. Не то было в Российской империи XVIII и даже XIX вв., где розга (лоза) широко применялась не только в светских школах, но и в духовных семинариях. Возможно, читатель не совсем чётко представляет себе, что это такое, наказание лозой, считая его чем-то вполне терпимым, наносившим скорее нравственный, чем физический ущерб наказанному. Обратимся к современникам старой российской школы, испытавшим упомянутый педагогический метод в буквальном смысле на собственной шкуре.

«Для исполнения наказания назначался какой-нибудь ученик из старших. Присуждённый ложился тут же на пол у доски, ложился у всех на виду, и, по команде учителя, розги начинали работать. Ученик всхлипывал ещё до начала наказания, после первого же удара он кричал во всё горло, визжал, выл, и чем дальше шло драньё, тем громче и громче кричал наказуемый.

Что делалось в это время с учениками, которые были свидетелями этой сцены, трудно сказать: то бледные, то покрасневшие, с искажёнными чертами лица, с блестящими глазами, не смея громко вздохнуть, сидели они и с замиранием сердца следили за всей процедурой. Вот осуждённый, плача и бессильно ломая руки, падает перед учителем на колени, прося о помиловании, вот он идёт к лобному месту — в угол, ещё раз молит о пощаде, вот начинает разоблачаться, ложится и ждёт первого удара. А палач тоже сам не свой, неловко тербит розги, размахивается и даёт первый удар, неумелый, лёгкий, но потом при грозном поощрении учителя изловачется и сыплет удары своему товарищу до тех пор, пока не услышит приказания остановиться. Все это видят, все слышат вопли наказуемого, среди которых можно только разобрать: „...простите, простите, больше не буду!“

Экзекуция кончилась. Заплаканный и истерзанный ученик спешит одеться, садится на своё место и, закрывши лицо, долго ещё продолжает рыдать. Классе тоже не может скоро успокоиться, тишина хранится ещё долго, урок как-то расстраивается — видимо, все потрясены этой сценой и занятия не идут уже в голову» (*Русских Н.А. Старая школа // В память женщины-врача Е.П. Серебрянниковой. Лит. сборник. СПб., 1900. С. 370—371.*)

Описанная сцена имела место в столичной, петербургской гимназии, а в провинции истязания детей доходили до последних пределов. В 1875 г. смотритель духовного училища при Троице-Сергиевой лавре насмерть заporол десятилетнего мальчика — и был по суду оправдан, да и отец убитого апелляции не подавал. По этому поводу выступил лишь поэт В. Курочкин:

Как не вскрикнуть тут с поэтом:  
Край родной долготерпенья!  
Если розги в крае этом —  
Лучший метод просвещения?  
Ладно всё. Отец не спорит  
И нисколько не в обиде,

Хоть всю школу перепорет  
Кроткий пастырь в пьяном виде.

То есть в этом эпизоде не было ничего ужасного, с точки зрения всего российского сплошь поротого населения, с детства воспитанного школьными палачами в духе трусости, лживости, доносительства из страха, равнодушия к страданиям других. А потом эти школьники вырастали и так же безжалостно избивали собственных детей. А ещё позже это поротое поколение, в свою очередь повзрослев, с головой окунётся в кровавые зверства революции и Гражданской войны, не испытывая никакого сострадания к своим жертвам.

А всё начиналось с розги, к счастью, неведомой в крымских сельских школах...

## 9. Антропологические и этнопсихологические черты, свойства и качества

Поистине, вы обладаете только тем,  
Что невозможно утратить при кораблекрушении.

*Абу Хамид Мухаммед аль Газали,  
философ XI века*

Ниже речь пойдёт исключительно о жителях Крымского полуострова, татах и ногайцах. Это объясняется тем, что заперекопские подданные хана сильно отличались от собственно крымских татар. Как заметил один из самых авторитетных этнографов XIX в., некоторые психологические черты резко отличали крымских ногайцев от их заперекопских собратьев: крымские степняки были гораздо более разговорчивы, сметливы, проворны (очевидно, в виду имела быстрота реакции) и гостеприимны (*Кондарак, 1883. Т. II. С. 104.*)

### а) Внешние (физические) черты и качества

Не только антропологические, но и этнокультурные характеристики включают в себя и чисто физические черты, более или менее несхожие у различных племён и народов. Эти национальные отличия в человеческой внешности со временем не всегда сглаживаются. Иногда они могут возрастать в результате причин и факторов, о которых речь пойдёт чуть ниже. Тем не менее, для того чтобы не оскорбить национальных чувств части читателей, нужно особо подчеркнуть, что сама постановка этого вопроса делается в чисто антропологическом и/или этнологическом плане. То есть она ничего общего с расистскими подходами к науке о человеке не имеет.

Телесность, как таковая, образует важную ценностную сферу в любой этнической культуре. Поэтому «телесные характеристики — отнюдь не только достоинство антропологических исследований и обмеров... социокультурные факторы во многом формируют человеческое тело и всю телесную культуру, то есть поведение и отношения, связанные с соматическими характеристиками человека» (*Ерасов, 1998. С. 127.*)

Другими словами, природой данное тело под влиянием социально-политической среды как бы постоянно надстраивается. Раб никогда не будет похож на свободного человека, если за спиной у него тысячелетняя история предков-рабов; то же самое верно для свободного человека. Меняется физический облик этноса и от перемены природной среды, — этот факт не требует объяснений. Как и то, что поколения постепенно изменяют свой внешний вид под воздействием доминирующего вида труда и даже ряда культурных факторов, в которые входят занятия народной физической культурой (верховая езда, плавание, борьба и пр.).

Под влиянием же такой реальности культурного мира, как эстетический идеал, более или менее общий для этноса, век за веком идёт отбор супругов. И это также содействует сложению какого-то антропологического типа, близкого к идеальному в понятиях, представлениях данного этноса о красоте, благородстве и т. п. Под влиянием этих и иных факторов идёт «настройка», в результате которой и образуется *культурное тело*, а также манеры, жестикуляция, осанка, живость или замедленность разговора, физическая ловкость и т. п. Особый интерес в этом плане представляют материалы, касающиеся крымского населения.

Вот одно из самых ранних наблюдений, сделанных русскими путешественниками на исходе XVIII в.: «Татары вид лица имеют приятный, глаза у них пламенные, исполненные огня любви, небольшие черноватые усы, украшающие молодых Мусульманов, придают им много прелестей; все они почти росту среднего, собою сухошавы по причине беспрестанного курения табаку; стан корпуса их правильный, походка величественная, словом казаться: большая часть Татар собою довольно сановиты и черты лица молодых Татаров имеют в себе нечто привлекательное» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 21).

Оказавшийся в Крыму несколько десятилетий спустя француз замечает: «Они высоки — красивые черты лица их резки и правильны; в них есть... природная возвышенность, они спокойны и важны (то есть «исполнены чувства собственного достоинства». — В.В.) ...прекрасное племя, которое и теперь поражает глаз» (Мормон, 1838. С. 203—204). Очевидно, речь идёт о жителях крымских гор; её можно дополнить отзывом современника-англичанина: «Они высоки, хорошо сложены, загорелы, у них правильные черты лица, красивые глаза, а выражение лица выдаёт их интеллект, энергию, ум» (Spenger, 1836. P. 127—128).

Характеристики ногатцев у того же автора несколько иные: «Черты их лица, не будучи красивыми, могут быть названы привлекательными [pleasing], их весьма украшают глаза, хотя и узковатые, но острые, живые и полные огня. Они обладают орлиным зрением, которое позволяет им рассмотреть мельчайшие детали происходящего на огромном расстоянии. Острота их слуха невероятна, его можно сравнить только с их же зрением. Ногаец слышит малейший шорох, доносящийся издали с любой стороны, а бросившись на землю он в состоянии отличить блеяние и мычание именно своего стада, причём точно определив направление, куда следует за ним направиться» (Spenger, 1836. P. 127—128).

Что же касается упомянутой выше «величественной походки», то эта, очевидно, не совсем обычная для крестьянина особенность обратила на себя внимание другого французского путешественника: «Характер татарина серьёзен и флегматичен, осанка солидна, выражение лица значительно и сурово, говорит он медленно, слушает, не перебивая, ходит не спеша, не суетится...» (Reuilly, 1806. P. 159).



Тип южнобережного крымца.  
Фото начала XX в.

Из собрания издательства «Тезис»



Более поздние, уже русские исследователи обратили внимание на то, что в Крыму под разносторонним воздействием окружающей среды даже степняки, ранее ничем не отличавшиеся от своих заперекопских собратьев, со временем стали носителями совершенно иной культуры, по сути — иным народом, хоть и сохранившим прежние черты физического облика. От них и от южнобережных жителей отличалась группа, сложившаяся в горах, горных долинах и северных склонах Главной гряды. Эти татары были «высокого роста, крепкого и стройного телосложения, с правильным, продолговатым и приятным лицом...» (Крым и крымские татары, 1883. С. 25).

Горные татары, уточняет другой русский автор, были «высокого роста и хорошо сложены, цвет лица у них более светлый... глаза большие и тёмные, волосы и борода густые и тёмные. Вообще наружность горных татар красива». Жители Южного берега — более «крепкого телосложения, цвет лица у них смуглый... лицо продолговатое и приятное; нос прямой, нередко греческий или римский, волосы и глаза чёрные... Также нельзя не заметить, что женский пол отличается белизною кожи и особенно лица, что редко встречается у женщин низких сословий в народах кавказского племени» (Шатилов, 1857. С. 2)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Здесь и далее старый этнографический термин «кавказское племя, кавказская раса» означает принадлежность к этнолингвистическим общностям 4-х групп народов, обитавших на Кавказе, а также некогда расселившихся за его пределы. По теории, сформулированной в XIX в. немецким антропологом И. Блуменбахом, к кавказской расе относятся народы Европы (кроме финнов и венгров) и Ближнего Востока.





Группа городских жителей. Ялта. Фото конца XIX в.  
Из собрания издательства «Тезис»

Ещё один русский путешественник сохранил для нас следующее воспоминание о детях, встреченных им в Дерекое: «несколько хорошеньких мальчиков, с весёлыми личиками, робко следовали за нами издали... им очень нравилось смотреть, как мы стреляем голубей. Все эти мальчики были очень красивы, проворны, хорошо сложены; костюм их состоял из узкого кафтанчика и красной шапочки, из под которой, выказывались густые волосы, красиво заплетённые заботливою рукою матерей их. Когда мальчик подрастёт, красную шапочку заменит чёрная, сделанная из овечьей шкурки, общеупотребительная у здешнего народа. Взрослые татары очень стройны, проворны, смелы, имеют прекрасные глаза, орлиный нос; вся наружность их ознаменована печатью сметливости и ума» (Демидов, 1853. С. 320).

С «немецкой» точки зрения, для горных татар были характерны несколько иные внешние черты. Они — «кавказской расы, имеют по большей части желтоватый цвет лица и напоминают особенно картины Мурильо; их поведение серьёзно, поначалу их лица кажутся холодными и безжизненными, но как только они заговорят, их чёрные глаза оживают и загораются...» (Grimm, 1855. S. 29). Другой немец заметил, что лица крымских татар вообще «не имеют своих резко характерных черт, но в большинстве случаев им присущ отпечаток внутренней доброты. Спокойно-радостная серьёзность и беззаботное добродушие смягчают огонь их взоров, выдающий духовную восприимчивость и легко возбудимую страстность» (Engelhardt, 1815. S. 35). «Они по большей части среднего роста, но весьма правильного и красивого сложения» (Büsching, 1785. S. 321).

Четвёртого посланца Германии более всего привлёк праздничный костюм и красота девушек Кучук-Узени и соседних сёл, собравшихся на Курбан-байрам: «Красная феска без чадры, цветной узкий шёлковый казакин (или «полукаф-

тан» — Leibrock. — В.В.) под кафтанчиком, красные же или зелёные шёлковые шаровары, ниспадавшие на жёлтые туфли, подчёркивали тоненькие фигуры девушек, чьи овальные белоснежные лица украшали чёрные глаза и орлиные носики — всё это выглядело просто прелестно» (Jäger, 1830. S. 63). Наконец, приведём ещё более восторженное мнение: «Несмотря на попытки закрыть лица, я видел, что они, как и фигурки женские — поразительной красоты, они проносились мимо вроде летучих, туманных образов... Черты большинства — весьма правильны, нежны и кротки (sanft), полны выразительности, цвет кожи очень белый, волосы иссиня-чёрные, у одних они мягкими волнами ниспадают на спину, у других — в виде бесчисленных косичек прикрывают головы с боков» (Remy, 1872. S. 67).

Французы, посетившие Крым двумя столетиями раньше, были в своих оценках более категоричны: «Нет в мире более красивого народа, чем на этой (то есть крымской. — В.В.) земле» (Luce, Beauplet, Lamberty, 1634. P. 17). Их несколько более поздний соотечественник обратил внимание на черты внутреннего мира татар, отразившиеся и в их внешности: «Они безыскусно, естественно добры и гостеприимны, и на лицах их читается безукоризненная честность и сердечная доброта» (Besse, 1838. P. 216). В этом смысле французам вторили немцы: «Татарские женщины самые красивые в мире — как в отношении их древнегреческих форм, так и прекрасного цвета кожи» (Nachrichten, 1804. S. 56). «У бахчисарайских татар великолепные цвет кожи и черты лица; первому могла бы позавидовать прекрасная половина Петербурга, а второму — даже древнегреческие статуи» (Kohl, 1841. S. 244).

Англичанин отметил элегантность манер крымских татар всех слоёв — от простого крестьянина до бая, что резко отличало их от мужиковатых (boorish) русских фигур. «Жестикуляция крымских татар во время разговора напоминает гибкую повадку леопарда, тогда как у русских она скорее медвежья...». Тот же путешественник заметил, что с крымскотатарских мужчин «можно лепить Геркулеса,



Южнобережная девушка. Фото конца XIX в.  
Из коллекции издательства «Тезис»

а у горцев — особенно уверенная и лёгкая походка» (Clarke, 1810. P. 570, 583). Эта оценка не противоречит впечатлению другого английского наблюдателя, прибывшего в Крым почти через полвека, но посетившего не горы, а Южный берег, где тип красоты был несколько иным: «Их манерам свойственны итальянские изысканность и очарование» (Milner, 1855. P. 362).

А вот мнение на тот же счёт ещё двух немцев: «По большей части они среднего роста, но при этом прекрасного, правильного сложения, задушевность сквозит в их чертах; на лицах читается их честность и добродушие... Они одарены прекрасным природным умом и гибким духом, что делает их в высшей степени способными к образованию» (Тунманн, 1936. С. 20). Несколько позднее соотечественник Тунманна запишет, что у крымских татар, мужчин и женщин — «высокая, стройная, свободная, лёгкая фигура, благородная и грациозная осанка, в большинстве случаев — красивые черты выразительных лиц. Они обладают добрыми разумением и душой, большим чувством поэзии, сами выражаются с лёгкостью, точностью и благородством в тоне, если даже речь идёт об обычных вещах. Татарский крестьянин выглядит совершенно иначе, гораздо благороднее, чем все крестьяне Европы (sieht ungemein viel adler aus, als alle Bauern Europas), за исключением, разве что, басков из некоторых районов Испании» (Haxthausen, 1847. S. 433).

#### б) Этнопсихология, темперамент

Как уже отмечалось, по чисто психологическим особенностям, характерным чертам темперамента, горные жители довольно заметно отличались как от степняков, так и от населения прибрежных сёл, а горожане — от крестьян. Так, горец — «как правило, хорошо воспитанный человек, в чьей манере держаться нет и следа грубой неуклюжести русского, да и немца тоже, назойливой болтливости еврея и развязной нескромности француза или итальянца» (Brunner, 1833. S. 201). Бахчисарайские татары славились «...изысканной одеждой, щеголеватостью и даром слова саркастических каламбуров и поэзии, которая вертится на обыденной их жизни» (Ливанов, 1875. С. 48). И если к этому образу могли несколько приближаться жители Карасубазара или Кефе, то прямой противоположностью выглядел чабан из глухой тарханкутской провинции. Конечно, степняк обладал не менее характерными чертами, просто они были иными.

Впрочем, некоторым наблюдателям удалось выделить черты, присущие практически всему коренному народу Крыма, и они наиболее интересны. Вот одно из таких замечаний, относящееся к XVIII в.: «Они просты и легковерны, смиренны, приветливы, услужливы и понятливы» (Тунманн, 1936. С. 22). «В их внешности отражается душа, а в чертах их лиц легко читаешь честность и добродетель. Они ценят человечность и дар общительности. Они простодушны и легковерны, смиренны и любознательны, всегда готовы прийти на помощь и перемчивы» (Büsching, 1785. S. 321).

Ещё одно, столь же общее свойство: крымские татары весьма самостоятельны и не терпят не только насилия, но и подневольной деятельности любого рода. В частности, нанимаясь к какому-нибудь работодателю, они предпочитали получить самые общие указания, оставляя за собой право выбора методов и ин-



Степной Крым. Пожилая женщина с прялкой и веретеном.  
Из собрания издательства «Тезис»

струментов, оптимальных для решения поставленной задачи. Исследователь правильно, на наш взгляд, определил источник этой черты, а именно, «татары фанатически (schwärmerisch) любят свободу» (Hoffschläger, 1855. S. 15).

Ещё одна черта характера, общая для представителей всех регионов, — его стабильность. Им были мало свойственны поиски искусственных перемен или риска ради риска, ради острых ощущений (опасностей и без того хватало в ежедневной работе, например, чабана или рыбака). Возможно, это — одна из причин, отчего среди них практически не встречались любители лёгкого хлеба: «Помимо сдержанности, постоянства, их образ жизни характерен крайней упорядоченностью и набожностью, среди них неизвестны воры и лжесвидетели, они несклонны к несправедливостям и насилию, но живут в согласии, [душевном] равновесии и великой безмятежности (great tranquility)» (Seymour, 1855. P. 57).

Здоровая психика крымских татар (это её качество было общепризнанным) имела своим источником прежде всего первоначально здоровую семейную атмосферу любви и душевности, стабильного порядка. И, конечно, огромное значение имел ислам с его философией открытости, терпимости, смирения и нестяжания. Результат такой психологической (этнопсихологической) подготовки к жизни не мог не бросаться в глаза: «Татар можно назвать счастливым народом: это происходит более от воспитания и религии, чем от наличия реальных благ в их жизненной ситуации. Душевные болезни, столь распространённые среди европейских народов, здесь практически неизвестны. Терпеливые и безропотные в положениях, приведших к самоубийству многих, называвших себя христианами, они обычно лишь с большей выразительностью, чем в обычной речи, восклицают: Алла бирде, Алла альде! («Бог дал, Бог и взял!»). Они — фаталисты, уверенные в том, что от надвигающейся беды человека вряд ли спасёт предусмотрительность, и философски находят утешение в старинной мудрости: „Кто здоров — должен надеяться, а кто надеется — его и беда обходит!“ Тем более, что и смерть не так уж страшна — за жизнью земной следует райская» (Spenger, 1836. P. 144).

Некоторые современники шли ещё дальше, считая, что крымские татары даже не то, что *считают* себя счастливыми, возможно, они и *есть* счастливый народ, они *стали* истинно счастливыми. Причём отнюдь не незаслуженно. Такое состояние является результатом их философского подхода к жизненным невзгодам, а, как известно, нет ничего тяжелее (но и плодотворней!) для философа, как следовать собственной системе в рутине обыденной жизни:

«Образ жизни татарина, судя по всему, не оставляет ему желать ничего [лучшего]. Бесспорно, его жизнь и мало активна, и бедна; но его желания как бы приспособлены к её средствам и возможностям. Он собирает плоды, которые падают вокруг него и, сидя на крыше своего дома в тени ореха, посаженного отцом его отца, вкушает тихую радость покоя. Русские клянут его ленью, но почему он обязан надрываться? Он — счастливейший, насколько это представимо, из крестьян. И он не хочет переходить в систему коллективной страды (common labourers). Впрочем, обо всём этом трудно судить со стороны, бывая в татарских деревнях проездом. Разве возможно таким образом проникнуть во внутреннюю упорядоченность их семейной жизни, в традиции проведения свободного времени? Не зная их языка, мы легко можем ошибиться, приняв внешнее выражение счастья за действительность...» (Webster, 1830. P. 90).

Действительно, посторонний поражало, что от крымского татарина невозможно услышать ворчанья на плохую погоду, неурожай, нехватку каких-то вещей в доме. И это не говоря уже о сетованиях на несчастную судьбу, громогласных обвинениях ей или провидению, о проклятиях року и взрывах отчаяния (Schlatter, 1836. S. 158).

Если крымский татарин потерпел несправедливость и, сделав всё для её ликвидации, не добился успеха, он не впадал в отчаянье, а спокойно покорялся судьбе. Иногда, уверенный в предопределении, он мог и не пытаться его изменить. Такая поведенческая модель подвергает её сторонника немалым испытаниям, нередко он вынужден сам выносить себе суровый приговор, если впоследствии окажется, что он мог предотвратить беду, но не захотел этого сделать. Поэтому приверженность такой системе — отнюдь не стремление спрятать голову под крыло, она требует немалых духовных сил. Зато и преимущества её велики. В ней были истоки уже упоминавшегося душевного равновесия и спокойствия, психического и нервного здоровья крымского татарина — черт, благоприятных для его ближних и народа в целом.

Вот наблюдения на эту тему: «Он борется с обстоятельствами, но когда они выходят из-под его контроля, то отдаётся их течению. Он стремится достичь не того, что желает, а того, что может. Вот в чём причина его счастья в наличествующем положении. И если *природа* (курсив мой. — В.В.) склонилась в его пользу (ведь одному провидение даёт идеальный климат — другому свободу духа; одному хорошее правительство — другому мудрую религию; одного щадит от чумной эпидемии — другого наделяет умением бороться с заразой), то оно, в конце концов, право в том смысле, что всё имеет свой резон [all are found] если не в одинаковом уровне рационального бытия, то в конечном счёте. То есть в предоставлении равных возможностей к поиску счастья» (Webster, 1830. P. 91).

Что же касается преобладающего типа *темперамента* крымских татар, то единственное наблюдение над ним в ту давнюю эпоху основано на сравне-

нии с соответствующими данными по Турции. Если в последней преобладает флегматически-холерический тип, то среди крымчан наряду с холериками столь же часто встречаются сангвиники, а флегматики крайне редки. Крымец оживлённей, быстрее в движениях и принятии решений, чем турок, и добродушней последнего. Любитель поспорить из крымцев неспособен по-настоящему рассердиться на оппонента, и уж точно здесь не встретишь такой метительности, что нередко на южных или восточных берегах Чёрного моря. Отмечено и упоминавшееся чувство собственного достоинства, переходящее в гордость, но тонкий наблюдатель считает, что вызвана она не столько личными качествами индивида (самооценка тут куда скромнее), а сознанием принадлежности к потомкам великих воинов, властителей полумира и вольных, как ветер, кочевников. И степняки с гордостью именуют себя «ногай» — этот этноним звучит как почётный, наследственный титул (Schlatter, 1836. S. 92).

Несколько позднее, уже в XIX в., российские наблюдатели сделали замечания, вполне совпадающие с вышеприведённым: Крымские татары «легки и свободны в своих движениях, переимчивы и подвижны, очень опрятны в одежде и жилище, приветливы и склонны к весёлости» (Крым и крымские татары, 1883. С. 26). Итальянец, сравнивавший крымских татар с другими тюрками, которых ему приходилось встречать, отметил, что крымчане, при всей их закалённости, жизненной опытности, менее грубы, чем иные, наиболее близкие им представители тюркских народов (sono i più agguerriti e i meno rozzi degli altri) (Becattini, 1783. P. 21).

Не лишена интереса попытка связать темперамент и психологические особенности крымских татар с регионом проживания и родом занятий различных их групп. Так, для семей, живших сбором урожая с фамильных ореховых деревьев, а также садоводов Южного берега, «которым природа дала всё, требуется очень мало труда взамен. Для них характерна душа созерцательная, большую часть своего досуга они беседуют, сидя на корточках у источника или мечети или молятся Богу. Лепёшка, фрукты, катык и трубка у них всегда найдётся, а больше им и не нужно. Татары, живущие на берегах Бельбека, Качи и Альмы, не менее любят курить в тени плодовых деревьев, но они уделяют более внимания уходу за своими садами и заранее подсчитывают, сколько фруктов удастся собрать осенью. К горным жителям природа менее милосердна, они работают ещё больше. Они ежедневно ездят на большие расстояния по горным дорогам, а работа в лесу и занятия различными ремеслами под открытым небом — причина тому, что характер их сложился энергичным, волевым и неунывающим. Степняки вынуждены работать в открытом поле, где некуда укрыться от лучей жестокого южного солнца... характер их менее живой и они, несмотря на крепкое сложение, по темпераменту несколько более подавлены и нередко пасмурны (sombre) с виду» (Montandon, 1834. P. 61).

Большинство наблюдательных европейцев, встречавшихся с крымскими татарами, отмечало поразительный контраст между явной их темпераментностью и сдержанным поведением. Необузданный нрав воинов-предков, хотя и смягчённый пролетевшими над Крымом столетиями, выдавало разве что сверканье глаз мужчин, когда они не могли избежать откровенной грубости или нескрываемого презрения новых, «культурных» хозяев страны. Эти взгляды из-под низко надвинутых

на лоб круглых барашковых шапочек, пожалуй, и были единственным видом протеста, который мог позволить себе коренной крымчанин: они были единственной его слабостью, не запрещённой строгим исламским учением о смирении.

Восточный темперамент естественно гармонировал с такой вроде бы контрастной чертой характера крымских татар, как созерцательность. С чертой не столько восточной, сколько «южной», ведь она свойственна жителям всей огромной Средиземноморской культурной платформы, от крымских татар до пиринейских басков. Вот характерная зарисовка, сделанная в местности близ Судака:

«Летними вечерами в Токлуке, Козах, Отузах на плоские крыши домов, широкие галереи и приусадебные террасы выходят все: мужчины, женщины, дети. В тёмных, прохладных комнатах не остаётся никого, как при сигнале боевой тревоги. Люди чинно рассаживаются в последних лучах заходящего солнца, и любуются им, пока оно не сядет за хребты гор. Но вот опустилась вечерняя прохлада и тишина жаркого дня и тёплого вечера сменяется, наконец, всеобщим оживлением. Отовсюду несутся звуки негромких, спокойных бесед, и самое очаровательное в этой картине — живописные группы односельчан, наслаждающихся свежим дыханием вечера, ведя неспешный разговор или заканчивая последние, необременительные хозяйственные труды» (Seymour, 1855. P. 234–235).

### в) Интеллектуальные особенности

Главной особенностью национального менталитета, чертой, прежде всего бросившейся в глаза непредубеждённым наблюдателям, была склонность крымских татар (всех без исключения социальных прослоек) к размышлениям. Причём не на бытовые темы, что имело бы практический смысл, а о материях достаточно отвлечённых. Это не вполне обычно для других европейских регионов, в особенности для крестьянского их населения. Безусловно, такого рода умствования не могут быть совершенно бесплодными, оставаться без последствий. Они и появлялись — в виде уже упоминавшейся любви к истории, уважения к печатному (рукописному) слову, к текстам преданий и песенных сказаний, к музыке и ритму народных баллад. Поэтому для Крыма был весьма характерен тип *кедая* (поэта-сказителя) или бродячего рассказчика.

Верно отмечено, что не имея за спиной иного учебного заведения, кроме мектеба, абсолютное большинство крымских татар, конечно, не могло назваться широко образованным ни в европейском, ни в восточном значении этого понятия. Однако те же исследователи делают следующее замечание: относительную нехватку просвещённости крымчанам возмещает природно-острый разум и прекрасная память. Они легко схватывали суть любой информации и не скоро забывали однажды услышанное. Сельская масса той эпохи была невежественна во всех без исключения странах Европы и Ближнего Востока, такая среда не могла содействовать развитию духовных сил. Но по ряду не вполне обычных традиций в использовании свободного времени (о них чуть ниже), крымские крестьяне умели сами вырабатывать в себе способность к здравым суждениям о вещах, событиях и явлениях — это просто бросалось в глаза (Schlatter, 1836. S. 95).

«Они простодушны и легковёрны, смиренны, любезны, всегда готовы прийти на помощь, перемчивы. Они обладают природным здравомыслием и пла-

стичным духовным миром в такой степени, какую вообще-то могло бы дать только образование» (Büsching, 1785, S. 321). Основным средством такого саморазвития было серьёзный и вдумчивый обмен мнениями с земляками и не менее плодотворное общение с гостями села. Последние вообще были нарасхват: каждый хозяин страстно желал залучить к себе бывалого человека для интересной, поучительной для всех домочадцев беседы.

Поскольку интеллект растёт и шлифуется в дискуссиях (беседах), то именно глубокий, серьёзный *диалог* был в Крыму одним из излюбленных видов досуга, и эту черту также особо подчёркивали бытописатели тех времён: «Муфтий-эффенди, или патриарх — особа слишком значительная, чтобы мы не постарались его повидать. В его лице мы встретили человека, любящего и умеющего поговорить» (цит. по: Ромм, 1941. С. 41). Весьма распространена была традиция совместных прогулок в садах или парках, в протяжении которых лилась неспешная беседа. В Бахчисарае, например, с этой целью использовались более зелёные, чем сейчас, аллеи у Чюрук-су, где по вечерам, как отмечал наблюдатель, «важные Крымские Татары» часами расхаживают по берегу с трубками (ОР РНБ, Ф. 225. Д. 6. Л. 1)<sup>1</sup>.

Несколько иной тип интеллекта по необходимости развивался в ногайской, степной, преимущественно сельской среде. Здесь вырабатывались специфические способности, особая ментальность. В своих бесконечных скитаниях по абсолютной однообразной степи, где глаз не мог остановиться ни на чём, что направил или изменило бы ход мысли, где даже для ориентировки невозможно было найти дерева, холма или просёлочной дороги, ногаец вынужденно обращал взор ввысь. «Заблудиться он, конечно, не мог; солнце, луна, звёзды, слабое свечение в тёмном небе, изменение направления ветра были для него достаточны, чтобы определить своё место в мире, чтобы выбрать путь. У него не было ни термометра, ни барометра, но ему были до тонкости ведомы все атмосферические явления и перемены в них. У него не было часов, но он в любой момент мог назвать время с точностью до минуты». Такому типу интеллекта свойственны замечательные импровизационные данные, конкретно это — «дар изобретательности; ногаец постоянно готов к встрече с любой угрозой или опасностью, к ответу на любой вопрос», поставленный человеком или самой жизнью (Spenger, 1837. P. 129).

Не один путешественник восхищался этой способностью: если в голом поле сломалась повозка, степняк способен починить её с минимумом инструментов и материалов, простейшими, но в высшей степени рациональными методами и приёмами. «С малых лет привыкнув удовлетворяться ничтожными жизненными благами, он обращает внимание на каждую мелочь, которая сможет сослужить ему службу. Опытный путешественник или профессионал-ямщик ходят вокруг сломанной повозки, беспомощно разводя руками в полной растерянности и отчаянии посреди бескрайней степи: для починки её не хватает столько вещей! Но вот появляется случайный татарин, и вам становится стыдно оттого, как он, без сложных приспособлений, простейшим, разумнейшим образом, ни секунды не задумываясь постигает суть несчастья, находит выход и тут же осуществляет задуманное. В ход идёт всё: пучок травы, случайная щепка, пук волос из хвоста

<sup>1</sup> Под этим шифром в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.) хранится рукопись В.Н. Григорьева «Записки о поездке по Южному берегу Крыма».



Ногайский мурза.  
Из собрания музея Ларшес

лошади — из них он сплетает прочный шнур, пускает в ход нож — и вот уже всё в порядке» (Schlatter, 1836. S. 95).

«И если вы или ваша лошадь заболели — он тут же, в степи найдёт траву, которая снимет недомогание. Я не раз и не два был просто потрясён их способностью к созданию [необходимых] ресурсов (букв.: «к рождению ресурсов» — fertility in resource. — В.В.). Туловатые (stupide) немецкие колонисты или русские часами ломают себе головы над какой-либо проблемой, вроде описанной, но вот приходит татарин — и его мудрость и хватка тут же разрешают все сложности. И при таких-то природных талантах они столь же нецивилизованны, как и их праотцы» — не может не вздохнуть искренне привязавшийся к крымчанам иностранец (Spenger, 1837. P. 129).

### г) Религиозность

Две черты издавна выделялись в оценке крымских мусульман: их религиозность и терпимость к иным религиям: «Татарин — благочестивый и верующий мусульманин, но он терпим и отнюдь не фанатик» (Haxthausen, 1847. S. 435). «Нравы у них мусульманские, но без всякого фанатизма» (Мормон, 1838. С. 202). «Как сказано в Ветхом завете, человек, который относится к религии искренне, не может быть плохим человеком. Таковы местные мусульмане, они более искренни и заслуживают большего уважения, чем любая иная существующая на земле секта людей Писания, и я признаю, что ни разу не созерцал мусульманина на молитве без ощущения глубокого благоговения, вызываемого простотой его молитвы» (Clarke, 1810. P. 465). Такой же вывод сделали побывавшие в Крыму члены английского Библейского общества. При этом они отмечали, что сравнение искренности мо-

литв крымских татар и англичан было явно не в пользу их соотечественников, большинство которых молится для виду, «...суетно опасаясь утратить общественное реноме и уважение ближних, не более того» (Henderson, 1826. P. 303).

Собственно, искренность и глубокая, доверительно-тёплая любовь к Богу — скорее правило, чем исключение или аномалия почти в любом мусульманском обществе, большом или малом. А предписания шариата, основанные на Коране и хадисах, преследуют не какую-то сверхцель вроде экспансии ценой любой крови или же ритуальных действий ради самого ритуала. Цель шариатских правил и указаний — ни много, ни мало, как «максимальное общественное благо верующих, которые должны в ответ неукоснительно соблюдать эти правила, не отвлекаясь на бесполезные усилия по познанию Бога, в конечном счёте, непознаваемого» (Ерасов, 1990. С. 189).

Это — в высшей степени прагматично-полезные человеку предписания, практика применения которых на протяжении столетий выработала едва ли не единственно правильные виды реакции на возникающие проблемы. Такой принцип максимально возможного блага для всей общины и каждого её сочлена в отдельности даёт возможность регулировать общественную, социально-экономическую жизнь ненасильственно, мягко, поскольку в этом равно заинтересованы все члены общины — ведь от добра добра не ищут!

Отсюда сила и искренность веры: «Крымские татары почитаются между турками (очевидно, «тюрками». — В.В.) правоверными в законе Мухаммеданском, и почти все честные, храбрые люди...» (Клеман, 1783. С. 152). Отсюда — и уважение ко всем, верующим в единого Бога: «Те и другие [горные и степные] татары — народ весьма гостеприимный, трудолюбивый, честный и религиозный. Верные закону Магомета, татары уважают и всякую другую религию» (Андриевский, 1892. С. 21). Голландский путешественник замечает:



Сакская мечеть в начале XX в. Открытка. Из коллекции музея Ларшес

«Они очень хорошие мусульмане, усердные молитвенники (godtdienstige); предоставляют свободу своим пленникам, если те обращаются в ислам, и даже оказывают им помощь в первое время после отпущения их на волю» (*Witsen*, 1692. VI. 383). За века, прошедшие с эпохи окончательного торжества ислама в Крыму, такая глубокая внутренняя преданность вере не могла не найти и чисто внешнего отражения: «Религиозный отпечаток несут их лица, жесты и речи» (*Reuilly*, 1806. P. 159).

Что касается жёсткости в соблюдении некоторых обрядов и традиций, то можно сделать осторожный вывод, что крымские татары следовали скорее внутреннему, чем внешнему содержанию Закона. Так, турецкий путешественник середины XVIII в. с удивлением обнаружил, что в Крыму «женщины не закрывают лицо» (Цит. по: *Брун*, 1867. С. 12). Это было, конечно, преувеличением. Лица крымские татарки закрывали, но не везде, и не все поголовно, что и поразило благочестивого османа. Возможно, ему бросились в глаза иные реалии, связанные с крымскими татарками, которые он не отобразил в своём сочинении, но они сказались на смысле приведённого выше вывода, способном вызвать негодование правоверного читателя. Зато русский его коллега-путешественник уделил прекрасному полу гораздо больше внимания. Он отметил, прежде всего, религиозность крымских татарок: «в пятницу, в день праздничный, никто за рукоделие не принимается» (*Сумароков*, 1803. Т. II. С. 44).

Вторая важная черта исповедания ислама в Крыму: здесь свободно сосуществовали различные толки и школы суннизма, велись религиозные диспуты, что, собственно, Учением не только не возбранялось, но и одобрялось. Но чего никогда не было среди крымских татар, так это восприимчивости к идеологии сект, подрывавших основные принципы ислама. В алупкинской мечети по вечерам свершались службы, настолько непохожие на обычную молитвенную практику, что заезжий немец имел основание даже сравнить их с лютеранскими, к сожалению, никак этого не объяснив (*Grimm*, 1855. S. 82). Но ни один сторонний (то есть объективный) наблюдатель ни разу не смог упрекнуть народ в таком фундаментальном грехе, как многобожие. Напротив, гость Крыма всячески подчёркивает верность крымских татар основе основ ислама — монотеизму: «Это полк газиев-муджахедов, влюблённых единобожников из рода Чингизидов, да хранит их Бог». И продолжает: «Там очень много мужей единобожия и мистического Пути» (*Челеби*, 1999. С. 11).

В последние века существования ханства в Крыму имелось немало текие — обителей суфийских братств (орденов). Как и в соседней Турции, особенно значительны были текие, относившиеся к тарикату (толку) *маулавийя*, насельники которых считали себя последователями малоазиатского (конийского) великого шейха Джалаладдина Руми. Мало в чём уступал (по крайней мере, количественно) тарикат *халватийя*, первые теоретики которого происходили из турецкого города Сивас. Степняцкое, кочевническое происхождение старинного тариката *йасавийя* или среднеазиатское городское — тариката *накибандийя* ничуть не мешало их распространению среди населения, издавна ценившего прежде всего малоазиатскую религиозную духовность и, соответственно, турецких шейхов (См. в: *Ислам*, 1991. С. 186–187, 224–227).

Ещё один автор XVIII в., у которого мы находим общую характеристику крымских татар, без возрастных или социальных различий, отмечает, что они



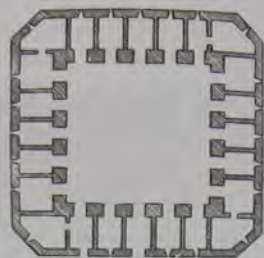
Гёзлёвское текие Шукурла-Эфенди, современный вид.

Интерьер текие. Фото автора



в целом «...имеют довольно острой ум и весьма способны к наукам, в обхождении ласковы, услужливы и кроткого нрава... Дома их весьма скудны, но толь покойны и опрятны. Города расположены изрядно, деревни же по большей части обсажены красными (то есть красивыми, — *В.В.*) деревьями... Все они странноприимны и ревностные магометане, но несколько просвещёнее (выделено мной. — *В.В.*) прочих» (*Георги*, 1799. С. 36–37). Понятно, что означает в религии просвещённость — это, прежде всего, отсутствие тупого фанатизма: «Все татары — мусульмане, но они не такие фанатики, как турки» (*Reuilly*, 1806. P. 158)<sup>1</sup>. А уж такая осмысленная и зрячая просвещённость в религии должна была дать и изобильные плоды в виде положительных качеств личности крымского татарина, о которых говорится в этом разделе. Что же касается отсутствия фанатизма, то очевидно, самым непосредственным его следствием было не только уважение к учёности и учёным, но и привычка крымского татарина к личным неустанным поискам истины, страсть к установлению и поддержанию порядка, по-исламски

<sup>1</sup> Последнее утверждение (со многими вариациями) встречается довольно часто, что неудивительно, если вспомнить о распространенности в Крыму суфизма, который, как известно, не требует неукоснительного исполнения внешних догматов, уделяя основное внимание внутреннему самосовершенствованию (*Идрис Шах*, 2001. С. 591). Конечно, осознание массой верующих этой истины суфийского Пути было невозможным без достаточного количества благочестивых и, главное, просвещённых вероучителей. Но с этим в Крыму, кажется, проблем никогда не было. Исследователи, одинаково хорошо знакомые с крымскотатарской и османской исламскими культурами, отмечали относительно Крыма: «Их первенствующие, а также муллы имеют больше познаний, чем [турецкие] паши, кадии и имамы» (*Campanhausen*, 1808. P. 76).



Келья софты в гёзлёвском текие. Фото автора

План текие.  
По О.И. Домбровскому  
и В.А. Сидоренко

острое чувство справедливости или, по выражению старого автора, «правоты»: «Правота их, миролюбие и гостеприимство заслуживают всяческую похвалу» (Броневский, 1822. С. 185–186).

И ещё одна замечательная черта крымских мусульман: они молились *милосердному* Богу, в их поклонении был незаметен *страх*, они, если можно так сказать, любили свою веру, охотно и осознанно предаваясь исламу душой и телом на основе полной свободы совести, свободы выбора, издревле столь характерного для пёстрого крымского общества. И этому никак не мешали естественно уцелевшие языческие, домусульманские реликты. Тем большим контрастом такой искренней и задушевной преданности религии предков выглядела конфессиональная ситуация в христианском, в том числе и западноевропейском мире, где, судя по всему, сохранились совсем *иные* из пережитков языческой старины. Причём не в первом тысячелетии нашей эры, а и в эпоху Возрождения, и даже в Новое время: «Народ в сердце своём остался языческим... Он ненавидел христианство и ненавидел „обетовавшего спасение и уготовавшего только муки“. Но больше всего народ ненавидел церковь, неверную, предательскую, распутную и коварную... Только представление об аде и адской каре удерживало его в узде... Проповеди почти исключительно вертелись вокруг чёрта и адских казней; священники подтверждали плоды своей дикой фантазии, опираясь на Ветхий и Новый завет» (Пишбышевский, 1897. С. 278–279).

Трудно говорить о всей цивилизации Востока, но в мечетях Крыма *такого* было никогда.

Как и в других культурах мусульманской цивилизации, в крымской весьма большое значение придавалось почитанию *азизов* — святых мест, куда совершались паломничества. Их было немало, но одним из самых известных считался уже упоминавшийся азиз Салгир-Баба — могила святого, с находившимся неподалеку чешме, вода которого славилась своей целебной силой. Азиз находился близ Акмесджита, затем мимо азиза была проложена ул. Воронцовская, напротив его построил свою лечебницу некий Каблуков и т. д. Ныне это участок домовладения на симферопольской ул. Воровского № 7, в наружной стене участка ещё видны очертания чешме, почти пересошедшего от отсутствия ухода. Историк

и краевед Х.Х. Монастырлы писал об этом святом, жившем в первой половине XVIII в. и погибшем во время вторжения войск Миниха в 1736 г.:

«Этот святой, как уверяют, самый высший из всех Азизов», а место, где он погребён, представляет собой «небольшой дворик на Воронцовской улице саженей 5 в длину и 3 в ширину, закрытый со стороны улицы высокой каменной стеной; небольшая дверь, которая ведёт в этот двор с улицы, почти незаметна. Посреди дворика — гробница... прикрытая плитой из известняка с арабской надписью. Над ней деревянный навес, кругом кусты сирени, сплошь увешанные лоскутками разноцветных материй, принесённых сюда верующими мусульманами для избавления себя от болезней и недугов» (Монастырлы, 1890. С. 67).

О бахчисарайском Кырк-Азизе говорилось выше, но в Крыму существовали и другие святилища с таким же названием, например, близ Зуи, а также у деревни, ведущего свою историю с VI в. села Кырк-Чолпан (совр. Первомайский район). Ныне оно не существует, но руины старинных построек, обширные подземные убежища с собственными колодцами пока сохранились и могут многое рассказать археологам будущего. Согласно преданию, здесь хоронили не только родовитых ногайских беев, но и мучеников, павших за веру, а также других мусульман, которых уже при жизни считали святыми. Естественно, их могло быть больше или меньше сорока (*крымскотат.* «кыркъ» — сорок) — здесь, как и в Эски-Юрте, имеет место традиционная числовая магия.

Всем мусульманам Крыма был известен азис у д. Эфендикой (совр. Айвовое, Бахчисарайский район), где хранился волос из бороды Пророка. Скотоводы часто бывали у Чобан-азиса (д. Кара-Кият), который чтился как покровитель домашних животных. Многочисленны были азисы у Гёзлёва, там они находились непосредственно на местных кладбищах. Не исключено, что эти гёзлёвские святилища (или некоторые из них) послужили как бы духовным ядром, вокруг которого и стали складываться места погребений (Монастырлы, 1890. С. 66).



Крымские дервиши. Со старой гравюры. Из коллекции издательства «Тезис»  
Дервиши в мечети. Гравюра О. Раффе. Из коллекции музея Ларинцев



После намаза. Крымцы подают милостыню цыганским нищим.  
Гравюра О. Раффе. Из собрания музея Ларшес

Приведем, в заключение этого сюжета, живую зарисовку, сделанную весьма тонко понимающим религию русским писателем М.И. Дмитриевским, поражённым серьёзностью и искренностью крымских татар, общающихся во время молитвы в мечети с самим Богом:

«...в молитвенном их доме царствует глубокое молчание, достойное удивления. Тогда, видя в мечети многочисленную толпу народа, можно представить себе, что там нет ни одного человека. Иноверец должен прийти в великое изумление, взойдя в мечеть, когда увидит, что последователи Магомета, во всё продолжение молитвы их, не обращают взоров ни в ту, ни в другую сторону, не сокращают своего Богослужения в различных разговорах, не приходят в мечеть для свидания с друзьями и знакомыми, но единственно для того, чтобы излить чистосердечные свои моления перед Всевышним Существом, перед Коим бесчисленные народы многообразных исповеданий и наций, от начала мироздания и до нашего времени воскуряют благовонный фимиам священного Богопочитания. Кажется, что Татары в мечетях своих чувствуют над собою присутствие самого Бога, Который, как они думают, невидимо предстоит перед ними, внимает усердным мольбам их и исполняет благие желания всех и каждого в особенности» (ОР РНБ, Ф. 487, Д. 393 Q. Л. 9–10).

Говоря о вере, упомяну и о суевериях, хотя они имеют отношение не к собственно религии, а скорее к фольклору, к народной мифологии или сказочному творчеству. Показательно, что такая вера в сверхъестественные существа родилась не в Крыму, а была заимствована у других племён и народов или же унаследована из далёкого, кочевого, ещё языческого прошлого.

«Здесь мы встречаемся с арабскими чертами „джинном“ или „шайтаном“, которых народная фантазия переделала на свой лад, тут и „албасты“, душастый чело- века во сне; „дэв“ или „див“, древний иранский бог света „Дэви“, превратившийся ещё на Кавказе в странного чёрта Дэви и дошедший до Крыма в образе обросше- го шерстью великана. Новогодний чёрт с греческим названием „кунджала“ или „конджалос“, чёрный, с железными когтями. В ночь под новый год он вскакивает на плечи запоздалого путника и гоняет его до утра<sup>1</sup>. В степи от него спасаются, разводя большой костёр. Верят татары и в оборотней „дяду“ и „обур“, в которых превращаются после смерти колдуны. Они днём режут барашков, а ночью людей. „Кайшаяк“ — странный чёрт с ременными ногами. „Готи“ — пугающий по ночам детей. Драконы „Аджига“ и „Джалынлы-илан“; медведь с цепью „Зинджирлы- аю“ — также играет роль злого духа» (Бонч-Осмоловский, 1925, С. 70).

Собственно, здесь трудно отделить древние, устойчивые суеверия от сравни- тельно недавних порождений народного творчества, от «страшилок», особенно детских, без которых жизнь кажется слишком уж рациональной или пресной. Излишне говорить, что нормальный человек всегда нуждался в такого рода пуга- ющих, шокирующих впечатлениях, приятно повышающих уровень адреналина в крови. Ныне с этой целью создаются «фильмы ужасов», то есть потребность в такого рода психологических встрясках сохранилась до просвещённого XXI века, наверняка не исчезнет она и у наших потомков.

#### д) Нравственный облик

Если считать справедливым утверждение насчет того, что нравственная опрят- ность — оплот всему доброму, что есть в человеке, то нужно признать, что крым- ские татары тщательно блюли не только телесную чистоту. В этой главе нет ме- ста для исследования крайне интересного вопроса, о том, чему крымские татары были обязаны таким нравам? Семейной педагогике или суфийским традициям? В будущем, возможно, этой теме будет посвящен не один аналитический науч- ный труд, а нам остается пока лишь констатировать некоторые, дошедшие до нас факты. Начнём с до сих пор остающейся острой научной проблемы так называе- мого «крымского рабства».

Выше, в разделе о средневековом Крыму, много говорилось о судьбе рабов, в Крыму обретавших права свободных людей сразу же после устного заявления о переходе в ислам. Поэтому здесь обратим внимание на судьбу тех стойких хри- стиан, которые и в рабском состоянии не желали расстаться с верой предков уже в Новое время. Посетивший ханство в январе 1701 г. учёный иезуит, миссионер о. Франциск Элиман писал о встрече близ Перекопа с некими австрийцами, по- павшими в плен к крымским татарам во время осады Вены в 1683 году, «...когда им было по девяти или восьми лет... Они отказались принять ислам и с тех пор трудились у своих хозяев за хлеб и одежду, став, по сути, рабами». Однако святой

<sup>1</sup> Н.В. Гоголь, как известно, в своих гениальных фантазиях кое-что заимствовал из крымского фольклора. Не отсюда ли он взял сюжет о чёрте, который оседлал (правда, неудачно) кузнеца Вакулу (*Ночь перед Рождеством*)?



отец не услышал от них естественных в таком положении жалоб на жестокое отношение к ним крымцев, на непосильный труд или скудную еду.

Судя по всему, перекопские мусульмане следовали суфийским канонам, призывавшим видеть в «людях писания» равных себе, имевших того же Бога и тех же святых или пророков. То есть, ногайцы к австрийским пленным относились по-человечески, следуя собственным нравственным нормам, не позволявшим проявлять жестокость или хотя бы отсутствие заботы по отношению к слабым, или зависящим от тебя людям. И когда иезуит «...советовал им бежать, что им легко было сделать, то они отказались, — пишет он, — говоря, что не знают, будут ли иметь в нашей стране (то есть на своей родине. — В.В.) что есть..., тогда как в Крыму они заботы о хлебе насущном отнюдь не испытывают» (Письма иезуитов, 1904. С. 56).

Нетрудно оставаться верным голосу религиозной совести и собственных, общечеловеческих нравственных норм, живя среди себе подобных, как в некоем монастыре или светской обители для единомышленников. Но кто мог бы сохранить на прежней высоте нравственные идеалы после того, как родина окунулась в мерзость и грязь колониального быта? «Я не говорю, как много терпят горцы, благодаря своей пресловутой честности и детской наивности, их не эксплуатирует только тот, кому лень...», — отмечал автор конца XIX века (Васюков, 1890. С. 216). Но и до аннексии крымским татарам приходилось вращаться далеко не в рафинированном обществе, имеется в виду старинная крымская, поистине всееленская смесь народов, характеров, нравов и обычаев.

Тем большего почтения заслуживала их способность сохранять веру в Справедливейшего. А отчасти и в своё высокое нравственное предназначение. Причём эта вера лишь крепла в довольно непростых условиях быта и духовной жизни.

Путешествующий немецкий медик, естественно, христианин, заметил по этому поводу весьма простодушно: «Крымские татары и под сильным христианским влиянием сохранили уникальную, унаследованную славу, не имеющую отношения ни к какой конфессии, славу нравственных и справедливых людей (sittlicher und rechtlicher Menschen). Поэтому они пользуются всеобщим уважением, в такой оценке едины все, кого я ни спрашивал — русские, немцы или греки» (Remy, 1872. S. 63). Подчеркнём, что запись эта была сделана после целого века российской колонизации!

То есть этические основы нации были настолько прочны, что не пострадали от теснейшего контакта с «гносными и общепризнанно пропойными манерами русского крестьянства (knavish and notoriously sottish Russian peasantry)» (Milner, 1855. P. 367). Чем можно объяснить такую нравственную стойкость? Скорее всего, тем, что эта чистота, как и справедливость, считаются в исламе одной из первых добродетелей — см. Коран, 7:28(29). Причём этот принцип относится буквально ко всем областям человеческого общежития, этнической культуры в целом: соседских отношений, брачных традиций, семьи, государства, общественного порядка, экономики и т. д. (Islam, 1991. Vol. I. P. 220–221).

Приведём ещё один, возможно, не самый убедительный пример. В Крыму, как и повсюду, случалось, что «воры и мошенники, если нет сторожей, крадут иногда лошадей». Тем не менее крымские татары таких сторожей не нанимают, так как «не боятся грабежа» (Броневский, 1967. С. 355). Вывод из сего феномена может сделать сам читатель, но старинный русский автор считал, что здесь глав-

ную роль играло нестерпимое омерзение по отношению к самому факту кражи («сами не крадут, также и крадущим возбраняют»), толковавшее обычного татарина на борьбу с воровством (Лызлов, 1990. Л. 130 об.). Воровство — грязь, и чистоплотные крымцы усердно искореняли даже следы этого порока.

Об особом отношении крымских татар к чести замужней женщины, к чистоте семейного очага говорил крупный русский этнограф (см. окончание этой главы), но ещё ранее — английская бытописательница, прожившая в Крыму не один год: «Самые превосходные черты в характере татар — это их воздержанность, трезвость (sobriety) и чистота, целомудрие (chastity), так как оба эти качества бросаются в глаза на каждом шагу и они достойны похвалы» (Mary Holderness, цит. по: Lyall, 1825. P. 348). Более поздние авторы отмечали, что и после аннексии такого рода свойства надолго сохранились нетронутыми как в горных, так и в небольших степных деревушках: «В достаточно изолированных местностях все без исключения татары — весьма достойные люди, не подверженные заразительному влиянию хамской русской жизни (contaminating influence of low Russian life). Они в высшей степени трезвы, честны и щедры, а также поразительно привязаны к своему дому (remarkably domesticated) и к семье» (Milner, 1855. P. 365).

И даже столетие, проведённое в условиях российской империи, слабо сказывалось на образе жизни коренных жителей, особенно в горах или степи, где контакт с развращающей действительностью курортных местностей был слабее. Так, к примеру, в Богатырской волости Ялтинского уезда (14 000 жителей) и в 1884 г. не было ни одного кабака. Против этого восставало всё местное население, и никакие взятки дельцов всесильной «монополюшки», которые они совали властям, ничего не могли решить (Терджиман, 06. 05. 1884).

Выше говорилось о том, что ни один путешественник не упоминал о публичных наказаниях в ханском Крыму. Такие меры устрашения были попросту не нужны. Это положение сохранилось и накануне аннексии, и в первые годы её. Лишь в записях начала XIX в. мы можем встретить упоминание о том, что старинные площади крымских городов были впервые осквернены зверским зрелищем избияния человека человеком. Но и здесь речь шла не о наказании для местных жителей: били несчастных российских солдат, причём не шпицрутенами, а кнутом, садистским орудием казни, после третьего удара которым жертва теряла сознание и её приходилось откачивать для продолжения пытки. А вокруг молча, оцепенев от ужаса, стояли крымцы... (Webster, 1830. P. 95–96).

Прибывший из Малой Азии знаменитый путешественник XVII в., весьма добросовестный исследователь обычаев и нравов народов и племён, также отметил непривычные для него, турка, черты этнической психологии крымцев: «Среди татарского народа нет брани и злобы, спеси и гневливости, вражды и порицания. Они очень стыдятся друг друга. Если кто-нибудь бранится и ссорится, другие люди его презирают» (Челеби, 1999. С. 10). Вообще об эмоции *стыда*, характерной для крымских татар, говорят многие современники Эвлии Челеби, а также более поздние гости Крыма. Так, некоторые из них пишут, что если крымский мусульманин и позволяет себе изредка выпить стакан-другой вина, то стыдится делать это публично, укрываясь для этого занятия дома (King, 1788. P. 227).

При этом в подобных анализах нет соответствующих выводов относительно другой эмоции — чувства *вины* среди крымских татар, хотя стыд и вина —

понятия в чём-то связанные. Возможно, дело здесь в том, что крымцы не могли не осознавать, что они нравственнее своих ближних и дальних соседей. Дело здесь не в этнической гордыне, а в том, что у крымцев, в отличие от иных, были постоянно раскрыты глаза на окружающую действительность. Их общество не было самозакупоренным, хоть и далеко не все из татар посещали чужие страны. Но они не могли, к примеру, не слышать о страшном погроме, который устроили в 1768 г. украинские казаки в Умани, полностью вырезав еврейское население города и окрестностей. Это, с крымской точки зрения, был великий грех перед лицом Аллаха. И уж конечно, такого в ханском Крыму испокон веку не бывало и быть не могло. Кроме того, все те немногие крымцы, что побывали на севере, западе или востоке, щедро делились с земляками в ту безгазетную эпоху своими впечатлениями, и они были не в пользу окружающего мира. Причём, как мы можем ныне заключить, эти впечатления были верными.

Но вернёмся к упоминавшейся проблеме стыда. Надо признать, что она в традиционном обществе довольно непроста. Обычно именно этой эмоции и ничему иному приписываются все нравственные добродетели традиционных обществ, к которому принадлежало и крымскотатарское. При этом все положительные качества, от чистоплотности до трудолюбия, оказываются «условными», так как являются этическими ценностями только в рамках „своих“ коллективов. Когда дело касается чужих, они выворачиваются наизнанку, превращаясь в случае необходимости во взаимное недоверие, ненависть и вероломство». То есть «действует психический механизм отстранения от „чужаков“ и их принижения» (Ерасов, 1998. С. 338).

Нечто весьма похожее на эту картинку в Крыму действительно наблюдается, начиная с екатерининских времён, но в ином, нетатарском обществе. Что же касается коренного народа, то эта, справедливая в целом теория здесь давала сбой по весьма редкой причине. Дело в том, что стыд связан с оценкой индивида окружающими его сочленами *его локального общества*. То есть он появляется только в общении со своими. Напротив, источник ощущения вины — внутренняя, личная озабоченность человека своей неправотой или греховностью<sup>1</sup>. Но именно это внутреннее переживание своего пути, именно это общение с единым Богом «напрямую», без посредников, как раз и характерно для мусульман в противоположность к воцерковлённым христианам. И это, уже не говоря о сквозной, всекрымской пронизанности городов и сёл, об открытости крымскотатарского общества, об уже упоминавшемся феномене «духа единой команды», объединявшем *все* слои населения *всего* государства.

Дальнейшее содержание этого очерка лишь подтвердит такой вывод реальным материалом, ценным прежде всего фактами отношения крымских татар к чужим. Насчёт внутренних связей сомнений не возникло даже у самых въедливых наблюдателей, интересовавшихся крымскими татарами.

<sup>1</sup> Что касается ощущения собственной греховности, то один из исследователей этой тонкой материи сделал в Крыму весьма непростое наблюдение: «...они считают себя грешниками, и это их отношение к себе вошло в поговорку. Но, кроме того, они боятся, что их пожертвования будут несправедливо распределены, а поэтому страшно ругаются по этому поводу, порой доходя до взаимных оскорблений, что обычно не случается с теми, кто не склонен делать щедрые жертвования под влиянием минуты» (Barker, 1855. P. 212).

Конечно, чувство стыда было не чуждо и крымскому татарину, когда ему приходило в голову выпить стакан собственного вина, отчего он и удалялся подалее от соседских, а то и домашних глаз. Но нравственность его определялась всё-таки иной, более глубокой эмоцией — сознанием собственной вины за свои поступки и своё достоинство. При таком неотступном и постоянном самоконтроле всей *джемаат* естественно складывается общая ситуация, в которой «пороки суровые и смертоубийства чрезвычайно редко между собой обнаруживаются; даже о драках и междоусобных ссорах редко доходят слухи» (Ханацкий, 1867. С. 15).

Более же общий вывод сделан ещё раньше, более чем двести лет тому назад: «Сохранение древних обычаев и удалённое зло, просвещением порождаемое, суть причиной неразвращения нравов татар. Они честны, простосердечны, услужливы, несребролюбивы, от природы одарены остроумием и весьма гостеприимны... Кража, изобилием не попускаемая, и пьянство, Магометанским законом запрещённое, мало здесь известны, и Крымцы в тесном кругу своих познаний без дальних вымыслов, догадок и хитрых предприятий следуют простым предписаниям природы и довольствуются её уделами» (Сумароков, 1800. С. 180). И ещё одна краткая, но многозначительная цитата: «Они ценят человечность и общественные добродетели» (Тунманн, 1936. С. 20). И, наконец: «Они обладают гармоничными нравственными ценностями, столь нередкими среди народов, не принадлежащих к числу сверхцивилизованных, а именно: честностью, объективностью, гостеприимством и великодушием, благородством даже по отношению к своим злейшим врагам, что сделало бы честь и самым блестящим нациям» (Barker, 1855. P. 204–205).

С несколько иной точки зрения рассматривал крымскотатарскую нравственность немецкий путешественник: «Жителей гор и степи объединяют такие черты, как милосердие к несчастным, доброта, кротость и гостеприимство... Мир и любовь среди членов семьи особенно ценны в окружающей их среде, где исчезло целомудренное поведение» (Steinhard, 1885. S. 100, 104). Эту черту крымскотатарской нравственности, способность сострадать, отмечал и английский автор: «Татары умеют на протяжении всей своей жизни оказывать поддержку заведению, целью которых является смягчение человеческого страдания во всём многообразии его форм...» (Barker, 1855. P. 212). Ислам призывал смело раздвигать рамки этого человеческого чувства, не ограничивая его родственниками и соотечественниками, распространяя сострадание и на рабов-чужестранцев. *Владыками правой стороны* Аллаха станут те, кто сможет «отпустить раба или накормить в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего» (Коран, 90:13–16). Ту же заботу полагалось мусульманину проявлять о врагах, попавших к нему в плен (30:38(39); 76:8).

Выше говорилось о том, что и к животным в Крыму относились несравненно мягче, милосерднее, чем в той же России. Исток этой традиции без специального исследования отыскать трудно, но имеются отдельные данные, позволяющие связать сострадание к «братьям меньшим» с исламом. В средневековых рукописных *Собраниях чудес* мучителей зверей и животных неизменно постигает божественная кара; многочисленные предания о праведном халифе Омаре неотъемлемой частью его благочестия называют любовь к животным (Islam, 1991. Т. III. P. 714). Путешественники XVIII в. рассказывали, что ранее в Крыму

имелись специальные приюты для кошек и собак, оставшихся без хозяев. В этом не было ничего необычного, такое бывало и в других мусульманских областях, поскольку ислам высоко поднимает достоинство бессловесных тварей, не только сопоставляя их с человеком, но и наделяя способностью возносить молитвы Богу: «Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они будут собраны»; «И Аллаху поклоняется то, что в небесах и на земле из животных, и ангелы...» (Коран, 6:38; 16:51(49)).

Из сострадания к созданиям Божьим, к ближнему своему, из эмоции сочувствия со своими братьями на этой Земле, исходили и такие обычаи, которые не совсем обоснованно принято относить к чисто религиозным (например, вакуфные пожертвования), хотя они имели смешанную природу, и Человек занимал в них не последнее место. За такие деяния мусульмане не ожидали воздаяния на этом свете, рассчитывая на какой-то рост уважения к себе или авторитетности здесь — это только мешало бы им думать о ближнем своём; другое дело воздаяние небесное: «Знаменитые по достатку своему Мусульмане, для поправления фонтанов отдают свои деньги в тех мыслях, что как все приходящие к сим искусственным источникам пользуются их водою, иные утоляя свою жажду, другие употребляя оную в пищу, иные обмывая своё тело — все те люди, кои доставили средства к повсеместному почерпанию доброй и полезной воды — все те люди Богу угодны будут и Он им в будущей жизни вознаградит за то райским веселием» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 13—13об.).

О том же чувстве сострадания свидетельствуют традиции тёплой взаимопомощи односельчан, так что в Крыму стать нищим было практически невозможно, пока человек мог хоть что-то делать. Да и сама манера подачи милостыни немногочисленным нищим говорила о многом: «Удивительно, что в Крыму весьма мало нищих, да и то *нищими* называются те токмо люди, которые или слепы, или хромы, или совершенно слабы в здорovie. Проходя Крымский город [лишь] кое-где, да и то редко, можно услышать жалостный голос Мусульманина: **Алла ичун, то есть Бога ради**... Татарин, который хочет дать милостыню, кладёт руку в пазуху и вынимает оттуда или из кармана деньги, нимало не выбирая и не считая оные; что попадётся ему в руки, то и даёт бедному с теми мыслями, что таким людям, которые не в силах своими трудами достать себе пропитание, непременно должно оказывать вспомоществование...» (ОР РНБ, Ук. соч. Л. 14—14об.).

Очевидно, российский автор М.И. Дмитриевский, сделавший эту запись, наблюдал практическое выполнение таких древних традиций, как *фитир* (раздача денег беднякам сверх обязательных по шариату пожертвований с этой целью). Кроме того среди крымских татар были распространены такие традиции, как *джемаатнен эфтар* (бесплатный ужин за счёт общины, выставлявшийся во время поста после захода солнца, на который могли рассчитывать все нуждающиеся), как и повсеместные раздачи готовой еды и продуктов в дни различных праздников, также исключительно для бедняков, в первую очередь преклонного возраста и пожилых.

Не менее необычна была и манера получения милостыни: нередко нищие, у которых заканчивались припасы, отправлялись за возобновлением их не пешком, а *верхом*, на собственном коне. Подъезжая к очередному дому, они даже

не спешивались, а, постучав рукояткой плети в окно, ждали подавания. Чаше всего это было зерно, которое они ссыпали в два мешка, переброшенные через круп лошади, пока те не наполнялись доверху. При этом благодарность звучала весьма сдержанно: Коран предписывает милосердие и даёт благотворителю куда больше шансов на райское блаженство, чем получателю земных благ.

Обычные, то есть не считавшие себя нищими, бедняки пользовались гостеприимством и щедростью знакомых и незнакомых соотечественников, исправно посещая дома, где, по слухам, закололи овцу или быка, обоснованно надеясь получить и свою долю свежего мяса. Таким же образом бедные собирались к жертвоприношению по какому-либо случаю, а таких событий хватало в любой деревне, не говоря уже о больших сёлах или городах. Жертвенное мясо полагалось раздавать полностью. На свадьбах, общественных и цеховых пирах, торжествах по случаю рождения первенца или обрезания, при закладке мечети или мектеба — повсюду бедняк был столь же почётным гостем, как и любой заезжий мурза (Schlatter, 1836. S. 285—286).

Ещё одна сторона нравственности крымцев — великое уважение к усопшим и местам их захоронения. Возможно, современным людям это покажется непонятным, но крымские кладбища, неважно, какой общине или вере они принадлежали, свято сохранялись. И даже при самой острой нехватке пригородных земель никому и в голову не приходило посягнуть на священную землю, где покоились предки. Поэтому уже в самом конце XVIII в. (то есть после одного из великих исходов) большие и малые города Крыма оказались окруженными большими и малыми кладбищами, тщательно ухоженными и исправно посещаемыми, если не родственниками, то соседями или знакомыми семей, сгинувшими в пламени завоевания их родины (Baert-Ducholant, 1798. S. 44).

И, наконец, последнее замечание по этой теме. Уже не столько о том, что было в Крыму, сколько о *небывалом*: «При ханском владычестве не были почти известны» такие феномены, как «проституция и пролетариат» — тонко замечает старый автор (Кондараки, 1883. Т. II. С. 185). Добавим, что женщины лёгкого поведения среди крымских татар не появилось и после установления царского владычества. Согласно исследованиям, которые в 1891 г. проводил доктор А. Гидалевич, среди симферопольских проституток (а их было немало; одних только официально зарегистрированных публичных домов насчитывалось пять) большую часть (три четверти) составляли русские, за ними по убывающей шли еврейки, польки, немки, гречанки и т. д. Крымских татарок не было ни одной! (Поляков, 1998. С. 105).

#### е) Честность

Высокий уровень нравственности объясняет истоки знаменитой крымскотатарской честности, нашедшей отражение в распространённой пословице *Башкасыны агьлаткъан — озю кульмез* («Заставил плакать другого — сам никогда смеяться не будешь»): «Всем известна их честность... сделки у них заключаются на словах, без всяких письменных обязательств. Вор у них также всеми презираем и есть явление очень редкое... двери в домах остаются постоянно, даже ночью незапертыми, а зерновой хлеб, зарытый на дворе, остаётся там до употребления совершенно неприкосновенным» (Народы, 1880. С. 285).

Сохранялось это качество и в чуждом окружении: «Изумительная верность татар, попавших, полякам в плен, была общеизвестна. Они никогда не нарушают данного ими слова, и польский шляхтич доверит ключ от шкатулки с деньгами и драгоценностями молодому татарину-слуге скорее, чем кому бы то ни было», — было записано за век до аннексии Крыма (*Seymour*, 1855. P. 57). Но и через столетия после колонизации Крыма эта устойчивая черта национальной этики пеликом сохранилась: «У них на полях оставались земледельческие орудия, скот, хлеб, конокрадства было вовсе не слышать, в деревне оставались открытые хаты; а кругом их в неогороженных дворах лежало всё хозяйство, но не было слуху о похищении до размножения переселенцев. А возможно ли это дело на севере?» (*Соколов*, 1869. С. 223).

Наиболее ценилось данное качество в тяжёлых, экстремальных ситуациях (война, поход, оккупация), когда и честные, в целом, люди нередко поступают по принципам: «Татары — хорошие друзья в походе», записывал их шведский соратник в боях начала XVIII в. против России. «Они не то что не украдут ничего у своих спутников, но и пальцем [без позволения] ни к чему не прикоснутся» (*Lagerberg*, 1896. S. 80). Не изменилась нравственность крымцев и век спустя: «Горцы пользуются огромным доверием со стороны окрестных русских и им верят в долг и лес, и хлеб, и сено, не будучи знакомы лично и довольствуясь тем только, что покупатель татарин...» (*Васюков*, 1890. С. 216). «Я никогда не слышала о взломах, хотя и пожила в татарских деревнях, в непосредственной близости с татарами достаточно. Я никогда не видела дверей, запираемых на ночь; но они не колеблясь сорвут какой-нибудь овощ или нарежут веток для костра в соседнем саду, дадут лошади или воду попасться на выгоне соседа...» (*Craven*, 1885. P. 62). Видимо, это можно объяснить верой в то, что дары Божьи (в отличие от вещей, изготовленных человеком) равно предназначены для всех.

«Кого [крымские] болгары кроме себя любят — я не знаю», — говорит автор, много повидавший деревень и в степи, и в горах. «Татары ко всем относятся доверчиво и добродушно... а немцы и болгары нет! Говорю вам, живут для себя... ну а другого обмануть не прочь... Татары нет... не было примера, чтобы за татарин пропала когда-нибудь копейка. Удивительно честный народ!» (*Васюков*, 1904. С. 49). Известно, что в крымскотатарских домах всё самое красивое из вещей и предметов домашнего обихода выставляется для украшения помещения и ничто не прячется под замок. Русская княгиня сделала по этому поводу любопытное заключение: «Этот обычай объясняется честностью татар и совершенно непонятен русскому простолюдину, привыкшему запираеть своё имущество и прятать всё своё добро как можно дальше от гостей и посетителей» (*Горчакова*, 1884. С. 13).

О том же обычае, точнее, традиции говорил немецкий этнограф: «Они никогда ничего не запирают, даже самые дорогие вещи, от незнакомых гостей; часто мы видели деньги под подушками, они оставались там и когда хозяин уходил на весь день, совершенно о них не беспокоясь; а в некоторых сёлах нам доверяли верховых лошадей без какого-либо сопровождающего, ничуть не заботясь о том, оставим ли мы их в назначенной деревне или нет. Там, где царит такая вера в человеческую честность, кто не уверится в беспорочности этого народа!» (*Engelhardt*, 1815. S. 41–42).

Соотечественника этого автора не мог не поразить крымский обычай слать деньги из города в город не почтой, а через обычных возчиков-*арабаджилер*. При

этом суммы нередко бывали весьма значительны — тем большим было основание «использовать столь быстрый и надёжный способ перевода денег» (*Grimm*, 1855. S. 30–31). Точно так же путешественники отправляли свои чемоданы и другой багаж с конными татарами вперёд, в тот город, куда они могли прибыть и через день и через два: «При этом можно совершенно положиться на его (то есть посыльного. — *В.В.*) безукоризненную честность: не было ни единого случая, чтобы отосланные вещи пропали, как и случайно забытые на месте ночлега» (*Montandon*, 1834. P. 163).

Понятно, что всеобщая распространённость этого похвального качества сказывалась и на уровне преступности, сравнение которого с европейским было далеко не в пользу последнего: «Среди них и речи не может быть о воровстве. Поэтому не стоит и пытаться увидеть здесь, как почти в каждом городе Европы, длинные вереницы несчастных, закованных в цепи, которые бредут по дороге, ведущей на каторгу, и сам вид которых возмущает достопочтенных обитателей. А ведь у этих европейцев имеются школы, священники и прочие служители религии, исполненные священного рвения! Тем не менее, что мы обнаруживаем в среде этих самых цивилизованных народов? Склонность к злу, которую Рим со всеми его легионами священников, монахов, прелатов и кардиналов не способен устранить. Вот о чём стоит подумать, вот, что заставляет краснеть христианина, встретившего здесь (то есть в Крыму. — *В.В.*), наконец, святую истину (la sainte vérité). ...Что скажут, глядя на эту картину, философы наших дней с их перечнем человеческих достоинств? Да, добрые татары, ни один из вас не пал настолько, чтобы заслуживать кары, равной возмущающим душу наказаниям для наших преступников» (*Besse*, 1838. P. 216–217).

#### ж) Чистоплотность

В смысле личной и общественной гигиены крымские татары, как степные, так и горно-прибрежные, совершенно утратили традиции кочевого периода. Как сообщали современники, язычники Великой Степи омывались лишь в весьма нежном возрасте и всего четырежды в жизни — последний раз через 28 дней после рождения — чтобы не оскорблять великое божество, Воду (*Харт*, 1999. С. 45). О том, какие обычаи установились в Крыму позже, за два-три века до его колонизации Россией, лучше всего скажут несколько приводимых цитат (хотя их могло быть десятки раз больше):

«Татары живут довольно опрятно: дома их снаружи мало обещают, они очень низки, худо сложены из неровных камней (речь идёт о байдарских сёлах. — *В.В.*), с плоскою крышею и кажутся каждую минуту падающими; но вошед в дом, найдёшь большую чистую комнату» (*Броневский*, 1822. С. 37). Это — свидетельство русского путешественника, но гораздо более любопытны английские источники, ведь над британцами с их болезненным стремлением к гигиене в ту пору потешалась вся Европа. Оказывается, эти чистюли встретили в крымских татарах родственные души. В алуштинских, к примеру, сёлах царит «совершенная чистота» (the perfect cleanliness of the house), причём полы в комнатах покрыты двойным слоем чистой кошмы, а «добела вымытые комнаты поддерживаются в таком состоянии с большой тщательностью и чистоплотностью» (*Webster*, 1830. P. 53–54). «Всё, в особенности полы, байдарские татары моют килем, так что за много лет их шлифованная поверхность становится белой» (*Buchan Telfert*. Т. I. P. 58).

Ещё три английских отзыва: «Разглядывая эти бедные хижины издали, невозможно поверить, насколько чисты и удобны они внутри» (Remy, 1872. S. 68). «Фантастическая чистота царит повсюду, даже в беднейших семьях» (Seymour, 1855. P. 194). Но чистотой отличались не только комнаты крымских жилищ. Столь же опрятны были улицы, как городские, так и сельские: «Первое, на что обращаешь внимание в любой деревне, так это чистота улиц и домов» (Milner, 1855. P. 365). А вторым объектом внимания исследователей были те, кто реально поддерживал традиционную чистоту крымскотатарского быта — женщины.

«Всё это (имеется в виду медная посуда. — В.В.) очень чисто вычищено и блестит как золото... В салях татарских постоянно соблюдается чистота и порядок, войлок, постеленный на полу, часто выколачивается и выветривается. Вообще, где участвуют руки и глаза татарки, там всё делается исправно и обстоятельно. Это относится одинаково как к бедным, так и к богатым татарским семействам... На дворе тоже чистота, благодаря немалому участию женщин...» (Народы, 1880. С. 279, 280). И снова об особых качествах крымских женщин: «По чистоплотности татарки превосходят даже украинок!» — восклицает автор, видевший население всей европейской части России, и продолжает: «...а что касается мужчин, то к источникам и фонтанам постоянно стоит очередь (букв. «их осаждают» — *sind von Leute belagert*) массы татар, желающих омыть руки, лица и ноги — это обычная картина» (Remy, 1872. S. 70; см. также в: Famin, 1846. P. 29). То есть огромного числа крымских чешме и источников всё же не хватало — столь велик был поток жаждущих физической чистоты! Стоило гостю после сытного обеда вздремнуть в гостинной буквально на несколько минут, как очнувшись, он видел перед собой хозяина с неизбежным куманом в руке, предлагающего омыть лицо и руки после сна (Seymour, 1855. P. 195).

Нужно заметить, что покупать мыло при этом могли позволить себе далеко не все, денег натуральное хозяйство большинства татар приносило немного, и они были наперечёт. Но выход имелся: волосы можно было прекрасно мыть брусками крайне дешёвой черной глины *кил*, добываемой в Восточном Крыму и других местах. Кроме того, ногайские хозяйки варили из ослепительно белой кизичной золы и «восковой» травы *алаботы* (лебеда) неплохое по качеству, хоть и не ароматизированное, домашнее мыло (Spenger, 1837. Vol. I. P. 142).

«Каждый Бахчисарайский Татарин содержит дом свой опрятно и чисто» (Фёдоров, 1855. P. 155). «Все татарские дома замечательно чисты, они набело вымыты» (Jones, 1827. P. 280). Немецкого профессора более всего поражала не совсем привычная для сельской жизни аккуратность: «с первых шагов в глаза бросается чистота на улицах и в домах. Нигде не увидишь, как в Азии, бегающих нагишом детей, как там принято у христиан и мусульман» (Koch, 1845. S. 42). То же впечатление — у неоднократно здесь цитированного, цепко приметливого англичанина Э.Д. Кларка: «Все дома татар, даже самые бедные, чрезвычайно чисты, они вымыты добела» (Clarke, 1810. P. 517). Другой англичанин взялся подсчитывать частоту уборок в среднем крымскотатарском доме и пришёл к открытию, что эта «...экстремальная чистота (*most extreme cleanliness*) повсюду царит оттого, что обычно весь дом, сверху донизу, моется и скоблится раз в неделю» (Barker, 1855. P. 211).

Русский автор уточняет, что в Крыму «под чистотою должно разуметь, во-первых, постоянный порядок, в каком находятся предметы, находящиеся в доме

и, во-вторых, опрятность, в которой содержатся стены, пол и потолок... Войдите в жилище самого бедного татарина в какое угодно время года и дня, и вы всегда найдёте в нём чистоту и порядок. В отношении к телу магометане также весьма чистоплотны, и редко можно увидеть разорванное платье, хотя весьма часто с заплатами» (Шатилов, 1857. С. 17–18). «Дома их строятся тщательно, с комфортом в своём роде и содержатся с необыкновенной чистотой» (Завадский-Краснопольский, 1874. С. 19). Голландец пытается отыскать причину этого ежедневного купания, процедуры в условиях сельской хижины весьма непростой: «крымские матери купают детей ежедневно ради того, чтобы укрепить их (*om sterkte*)» (Witsen, 1692. Bl. 384).

То же стремление (как-то объяснить столь необычные для крестьянства гигиенические традиции) заметно у автора из Франции: «Такой чистоте здесь способствуют как постоянные неоднократные омовения, предписанные религией, так и обилие проточной чистой воды». И добавляет: «По той же привычке к чистоплотности вы никогда не увидите собаку на жилой половине татарского дома» (Montandon, 1834. P. 59). Собака вообще считалась в Крыму существом нечистым, её и не кормили-то почти никогда, отпуская в поле или лес на самостоятельную добычу, но это не распространялось на охотничьих и пастушеских собак, о которых заботились. Зато кошка была всеобщей любимицей, ей позволялось буквально всё, она и ела и спала с хозяевами (Spenger, 1837. Vol. I. P. 94).

Позволим себе небольшое отступление. Для крымского читателя этой книги такие картины, в общем, естественны. Более того, он не представляет себе, что можно жить иначе, что какая-то сила способна заставить жителей традиционной крымской деревни жить нечистоплотно. Поэтому оценить по достоинству если не достижения (тут дело не в нашей оценке), то особенности этой сферы традиционной крымской культуры возможно лишь в сравнении<sup>1</sup>. Для этого бросим взгляд на несколько иную деревню того же периода — конца XVIII в., которую

<sup>1</sup> Здесь стоило бы подчеркнуть, что задача такого сравнения не в унижении одного этноса и возвеличении другого, а единственно *постижение истины*; вель ещё мыслителям XVI в. было ясно, что «о наших качествах можно судить лишь путём сравнения с другими» (Монтень, 1980. Т. III. С. 199). Ряд западных социологов и философов консервативного склада вообще считают невозможным никакое понимание и даже описание предмета без сравнения его с одноплановыми, но отличающимися феноменами: «Мы постигаем, кто мы такие только тогда, когда осознаём, кем мы не являемся и кому противостояем (курсив мой. — В.В.)» (Хантингтон С. Цит. по: Общественные науки и современность, 1995, № 3, С. 133). После сравнения второй шаг в постижении конкретного материала — типологические выводы, предполагающие «доведение в историческом познании сравнительного метода до его полного и наиболее результативного выражения. Сравнению, а введ за ним и новому исследованию, должны подвергаться не отдельные, хоть и важные явления и процессы, но целостные комплексы важнейших компонентов. Тогда сравнение типологических объектов даст возможность вскрыть глубокие сходства и отличия и установить их постоянную или временную роль в развитии стран и континентов» (Люблинская А.Д. Типология раннего феодализма и проблема романо-германского синтеза // Средние века, 1968. Вып. 31. С. 9). Поэтому, повторяю, все нижеследующие сравнения, проводимые между крымскотатарскими и великорусскими (французскими, турецкими и пр.) поневеденческими стереотипами и отдельными психологическими чертами, предприняты *едиственно* с целью выявления и анализа этнокультурного облика коренного народа Крыма.

посетил известный русский писатель. Вот описание избы, причём не какой-то захолустной, периферийной деревни, а расположенной на главном российском тракте, соединившем две блестящие столицы:

«Четыре стены до половины покрыты так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях на вершок, по крайней мере (то есть на 4,5 см. — *В.В.*), поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в кои натянута пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три... Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. [Тут же — ] корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за занавесью кажется. К счастью (то есть «если повезёт». — *В.В.*), кадка с квасом, на вкус похожим, и на дворе баня, в коей, если не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь данная природою (то есть никакой обуви. — *В.В.*), олучки с лаптями для выхода» (*Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1790. С. 412–413).

На российскую избу во многом похожа датская (период тот же): «крестьянские жилища часто имели вид полуземлянок; наземная часть строилась из глины; печи топилась по-чёрному, свет проникал через отверстия в крыше и стенах, даже окна из бычьих пузырей были не у всех; о деревянных полах крестьяне и мечтать не могли. Подобный тип жилища сохранился со времён Средневековья без каких-либо изменений, он преобладал в датской деревне ещё и в XVII–XVIII вв.; каменные дома появились лишь в XIX в.» (*Возгрин*, 1986 «б». С. 297)

А вот описание французского крестьянского быта, практически той же эпохи: «По полям рассеяны какие-то дикие животные, самцы и самки, чёрные, с лицами землистого цвета... склонившиеся к земле, которую они роют и ковыряют с непреодолимым упорством; у них как будто членораздельная речь, а когда они выпрямляются на ноги, то мы видим человеческое лицо; и действительно, это — люди. На ночь они удаляются в свои *логовища* (курсив мой. — *В.В.*), где питаются чёрным хлебом, водой и кореньями...» и т. д. (*Лабрюйер Ж.* Характеры... Цит. по: *Пушкин А.С.* Сочинения. Л., 1936. С. 756). Наконец, общее замечание немецкого этнолога, несколько лет подряд проводившего полевые исследования в странах Восточной Европы: «Тот, кому, как мне, пришлось прожить столь долго среди русских мужиков, польских евреев и южноукраинских ногаев, наверняка испытает истинное удовольствие (вариант: «чистую радость» — *wahre Freude*), поселившись у южнобережного татарина, хотя бы и самого бедного» (*Schlatter*, 1836. S. 455).

Отметим, что личная чистоплотность слабо зависела от культурной развитости тогдашних европейцев. И если мусульманин был тем чище, чем точнее он соблюдал предписания своей религии, то в христианском мире дело обстояло как раз наоборот. Факты о «святых», не мывшихся годами, общеизвестны. Но если к юродивым можно относиться как к слабоумным, хотя так было далеко не всегда, то что сказать о священстве, также не грешившем особой любовью к мылу: «Монахиня, моющаяся больше, чем два раза в месяц, грешит», — отмечал известный историк культуры Возрождения и Нового времени (*Пишибшевский*, 1897. С. 253). А вот замечание, касающееся уже российских аристократов: «В домах русской знати любого ранга и титула невыносимая грязь (*unwholesome filth*)

плохо прикрыта внешней роскошью: но полы и стены татарского жилища, украшенные пусть самыми простыми хлопчатобумажными полотенцами, сверкают белизной и чистотой. И даже возле очага их не видно никакой копоти» (*Clarke*, 1810. P. 517).

Этот перечень типов жилья, а также представлений о его чистоте в различных странах Европы можно долго продолжать, но общая картина от этого не изменится<sup>1</sup>. Проще сразу сказать о том, что ужасающая грязь русской избы не была каким-то слишком уж ярким исключением из общеевропейского правила. Но приведённая выше выписка из А.С. Радищева сделана вовсе не для того, чтобы подчеркнуть эту грязь и неурядицу, в сравнении с чистотой крымскотатарских деревень. Цель здесь совершенно иная: подвести читателя к выводу о том, что из общей картины выделялась как раз не великорусская деревня, а крымскотатарская. Причём именно той ухоженностью и чистотой, которой не то, что не хватало, а которой вообще не было в деревнях ни России, ни остальной Европы.

Впрочем, чтобы быть совершенно точным, следовало бы сказать: «в остальной Европе чисто *христианской* цивилизации». Потому что в странах смешанной, христианско-мусульманской культуры (Испания, Сицилия, некоторые другие острова Средиземного моря) чистота, порядок, традиционные представления о бытовом комфорте, культ воды в эстетике и иные культурные черты практически ничем не отличались от крымских.

Объяснение здесь напрашивается само собой. Дело было, конечно, не в том, что «один народ лучше другого». И познания о гигиене тогда у всех народов были одинаковые, то есть нулевые, о болезнетворных микробах ведь никто и понятия не имел. Просто каждая цивилизация имеет собственные этические и эстетические нормы. Именно они, а не сознательная научная гигиена делали для крымского татарина нормальной чистоту, а не грязь. И тут смена исторических периодов не имела значения, с этим стремлением к порядку в доме (в одежде, лесу, устье ручья, саду и т. д.) ничего нельзя было поделать.

Кстати, о микробах. Современный автор так оценивает их открытие Л. Пастером (1822–1895) в конце XIX в. и практические выводы из этого: «Он научился готовить вакцины и бороться с такой страшной болезнью, как бешенство. Но первой страной, где люди начали всерьёз верить в микробов и в исходящую от них угрозу, стала Германия. Немцы сделали практические выводы из исследований Пастера. Они первыми начали держать в чистоте себя, свою одежду, свой дом и по возможности весь город. Сначала немцы, а потом все европейцы начали мыть руки перед едой, готовить пищу чистыми руками... В домах появилась канализация, а в окнах — форточки» (*Буровский*, 2009. С. 168). Что касается «всех европейцев», то здесь наш автор неправ, а чтобы убедиться в этом ему достаточно было бы взглянуть на записки европейцев, путешествовавших веком-двумя до открытий Пастера по Юго-Восточной Европе, точнее, по Крыму, где давно уже были известны и канализация, и форточки, и существовали совершенно

<sup>1</sup> Как заметил по поводу облика европейской деревни французский историк культур и типов хозяйства Ф. Бродель: «Это лишь несколько примеров. Но при полном переисчислении мрачные картины намного преобладали бы над прочими. Их тысячи» (*Бродель*, 1988. С. 247).

инные понятия о чистоте в доме, о личной гигиене и т. д. Так что отнюдь не немцы «первыми стали держать себя в чистоте» на нашем континенте, а совсем, совсем другой народ.

Ко всему сказанному по этому поводу — небольшое уточнение. Положительные черты так же «заразительны», как и отрицательные. Арабов выгнали из Испании, Сицилии и т. д. ещё в Средневековье, но мусульманскую чистоплотность переняли и сохранили оставшиеся там христиане и их далёкие потомки. Как и в Крыму с его уникально пёстрым населением, где к моменту аннексии давным-давно победили именно те мусульманские эстетические, а отчасти и этические нормы, о которых шла речь выше и пойдёт ниже, в конце этого очерка. Но вернёмся к основным его темам.

### з) Контактность, гостеприимство

Свидетельства об этих качествах крымскотатарской этнопсихологии не менее многочисленны, так что поток их приходится искусственно вводить в какие-то разумные берега:

Голландский путешественник XVII в. находит эту черту крымских татар одной из основных: «Они очень гостеприимны (*Zy zyn zeer gastvry*)» (*Witsen*, 1692. Bl. 384); причём наблюдение это встречается на страницах его сочинения неоднократно. Веком позже итальянец возводит эту черту в степень «уникальной ценности» (*l'ospitalità e l'unicavirtù da essi apprezzata*), очевидно, имея в виду другие европейские страны (*Becattini*, 1783. P. 25), а ещё через полстолетия оказавшийся в Крыму англичанин закономерно придёт к выводу, что «в любом доме ему неизменно дают всё самое лучшее — начиная с полотенца и кончая едой и помещением для сна» (*Seymour*, 1855. P. 234).

В смысле гостеприимства в Крыму ни для кого не делалось никаких исключений, в том числе и для иноверцев и даже для не слишком желанных пришельцев<sup>1</sup>. Это особенно бросалось в глаза в сравнении с православными традициями. Выше говорилось о требовании киевского игумена Феодосия даже за один стол с западными христианами не садиться, а если уж так случится, то тщательно мыть после этих «еретиков» посуду. Но ведь по сравнению с более поздними староверами Феодосий вообще светским человеком мог считаться: те ревнители благочестия и посуду после такой трапезы побили бы и выбросили, как опоганенную.

<sup>1</sup> Собственно, крымское гостеприимство не ограничивалось приёмом, но включало в себя и гарантию полной безопасности гостя (или *aman* — *араб.*). Эту традицию выводят из кочевого прошлого арабских племён, когда без строгого соблюдения «амана» были бы просто невозможны экономические, личные и иные контакты между исламской областью (*дар-аль-ислам*) и находящимися за её пределами территориями (*дар-аль-харб*). Право «аман» сохраняло свою действенность и во время войн (*Islam*, 1991. Vol. II. P. 277). Этикет позволял гостю не оповещать хозяина о цели приезда в течение трёх дней; нарушение хозяином этого обычая влекло за собой полную утрату им своего престижа и авторитета среди соотечественников. Замечу, что кочевое прошлое звучало и в традициях городов Крыма, молодых сравнительно, скажем, с греческими полисами, где «существовало отрицательное отношение к негражданам и практиковалась экономическая и социальная дискриминация чужеземцев» (*Оппенгейм А.* Древняя Месопотамия. М., 1990. С. 63).

В Крыму подобные обычаи показались бы дикими: «Когда они встречают иностранца, то зовут его в дом, предлагая ему чашу для мытья рук, воду и чистое полотенце. Потом сажают за стол, предлагая мёд, катык, сливки, варенные яйца, жареную баранину, фрукты. После еды снова появляется чаша с водой и трубка с вишнёвым чубуком» (*Clarke*, 1810. P. 516).

«За своё гостеприимство татары, даже бедные, никогда не требуют платы... Гостеприимство оказывают они всякому путешественнику, хотя бы и иноверцу, и каждая безделица, принадлежащая [этому] гостю, почитается святыней, до которой никто не дотронется!» (*Народы*, 1880. С. 285). «Они чрезвычайно гостеприимны и охотно уделяют всё, что могут, путнику, независимо от его религии. Вообще в Крыму можно путешествовать если и не так удобно, то столь же безопасно и бесконечно более дёшево, чем в самых благоустроенных странах Европы» (*Тунманн*, 1936. С. 25; см. также в: *Büsching*, 1785. S. 323). «Они любят принимать у себя странников и проявляют своё гостеприимство с искренностью и сердечностью, которую вы тщетно попытались бы обнаружить у греков тех же мест...» (*Famin*, 1846. S. 29).

Причём законы гостеприимства распространялись далеко за пределы жилища. Можно сказать, что путник мог чувствовать себя как в доме гостеприимного хозяина на всей территории полуострова. Встречавшихся на безлюдье путешественников не только угощали кофе, но кормили и более основательной пищей — естественно, совершенно безвозмездно. Русский чиновник, впервые попавший в Крым, рассказывает, что, пройдя мимо отары, поднявшись на гору и спустившись той же дорогой, он был поражён, что за это время чабаны по собственному почину успели зарезать для него барана и приготовить угощение — естественно, бесплатное: «...и устали целый стол из доброй воли. Вот нравящиеся сердцу угощения! Вот образчики неразвращённых нравов, и вот мирная страна прославленных в древности пастырей! Я довольно слышал похвал государству и видал оному примеры; но должно отдать справедливость крымским татарам, что они как в нём, равно в бескорыстии и искренних услугах могут послужить примером многим просвещённым народам» (*Сумароков*, 1800. С. 153).

Некий немецкий журналист поднялся из Ялты в Дерекой, где познакомился с местными жителями: «Один молодой татарин-красавец, его звали Исмаил, выступил из группы пожилых земляков и спросил у меня по-русски, чего я желаю. И когда я ответил, что хотел бы осмотреть деревню и, в частности, его дом, он просто пошёл вперёд, указывая мне путь. Такое внимание и обходительность я и позже много раз встречал среди татар. Повсюду они просто вскакивают (*springen herbei*), с тем чтобы оказать помощь тому, кто в ней нуждается. И вот я уже сижу в ходе этой экскурсии на плоской крыше татарского жилища, на которой несколько человек заняты работой... А однажды после дня пути я вытаскивал из одежды колючки, а из обуви — набившиеся туда листья и веточки. Вскоре ко мне подошёл татарин и жестами предложил помощь в борьбе с колючками. И помог мне, а потом осмотрел свои руки и кивнул мне, как бы желая сказать: „А на ладонях у тебя не осталось заноз!“» (*Kohl*, 1841. S. 194).

Этот же автор подчеркивает, что гостеприимство и готовность помочь путнику часто проявлялась в простой внимательности, которая для самих татар была совершенно привычной и уж тем более не заслуживала какой-то особой благодарности.

«Другой раз я довольно быстро и неосторожно спускался на лошади по склону горы, где не заметил толстой ветви и наткнулся бы на неё носом, после чего она немилосердно проехала бы по всему лицу, если бы её не заметил проходивший мимо татарин, который схватил правой рукой мою лошадь под уздцы. При этом он озабоченно покачал головой, как бы желая сказать: „Это могло плохо кончиться“. Я как мог, поблагодарил его при помощи пантомимы за такую заботу о моей красоте. Вообще на земле татар тебя радуют тысячи маленьких знаков внимания, которые именно своей незначительностью свидетельствуют о деликатности и тонкости чувств этого народа» (Kohl, 1841. S. 194).

Известная английская путешественница вспоминает: близ Карасубазара «попалось нам до 20 лошадей, навьюченных вишнями; мы попросили их у татар, которые их везли; и нам невозможно было упросить их взять деньги; они шли из Судака» (Гутри, 1810. P. 122). Похожий случай был отмечен и в Альминской долине, где к прогуливающимся иностранцам из садов выходили хозяева и предлагали прекрасные сливы, «не беря за это ни малейшей платы» (Brunner, 1833. S. 277).

Французский граф делает из этой черты татарского характера интересный вывод: Байдарские татары «принесли нам всё, чем они в состоянии были угостить нас, кислого молока и яиц. Вот в чём заключался наш обед, и эти бедняки ни за что не захотели что-либо взять за него». «Татары всё ещё сохранили во все времена отличавшее их гостеприимство. Это очень простой и добрый народ, и Россия извлекла бы из них более пользы, если по мудрой политике обращалась [бы с ними] кротко, вместо того, чтобы управлять ими с той суровостью, которая составляет основание её управления...» (Людольф, 1892. С. 195; 167), — эта запись сделана в 1787 г., когда захваченный Россией Крым всё ещё лежал в руинах, и в деревнях было очень голодно. О том же и в те же годы сделал запись немецкий купец, с удивлением отметивший, что он несколько дней жил у незнакомого ему крымского татарина, который сажал его за свой стол и кормил его лошадей, а при расставании не взял за постой «ни полушки» (Клеман, 1783. С. 94).

В этом смысле интересно сравнение татар с их новопоселившимися соседями-арнаутами. Прибыв в Сулак, населённый после 1780-х гг. почти сплошь этими греками, русские путешественники «напрасно ожидали добрых татар, которые без нашей просьбы всегда приносили нам козлёнка или барашка или что другое... нынешние греки очень промышленны и всякую безделицу умея обратит в деньги, делают вид, будто во всём терпят нужду. Татары же, напротив, довольствуются тем, что даёт им природа... будучи в самом деле бедны, столько гостеприимны и бескорыстны, что, кажется, и употребления денег не знают» (Броневский, 1822. С. 118–119).

«Если же встречается татарский посёлок, то путника с полной любовью и гостеприимством снабжают безвозмездно всем, чем только могут, и ему крайне редко приходится терпеть обиду; действительно, татары, которые вне Татарию (имеется в виду крымскотатарское войско. — В.В.) как истые дьяволы... на родине кажутся ангелами» (Дортелли, 1902. С. 131–132). Напротив, хозяева дома считали делом чести защитить не только имущество гостя от воров, но и самого его от любого оскорбления, не говоря уже о насилии — очевидна их готовность пожертвовать при этом, если понадобится, собственной жизнью (if necessary, with

their lives) (Spenger, 1836. P. 142), что, кстати, и поныне ощущается в любом крымскотатарском доме...

Выше говорилось о гостеприимстве крымцев традиционного склада, жителей глухих деревень, у которых, к тому же, как правило, «дома весьма скудны». Но то же можно было сказать и о достаточно светских обитателях торговых селений, людях весьма зажиточных и вовсе не патриархальных. Таким образом, это похвальное качество распространялось уже на всю нацию, превращаясь в простоту этническую черту:

«Здесь (то есть ускусские. — В.В.) зажиточные татары торгуют с Константинополем и от обращения с иностранцами очень приветливы и обходительны; почему всё кажется вид довольства и изобилия, всё живо и всё весело, даже женщины от нас не прятались. Добрые татары с усердием старались нас угостить, каждый хозяин дома предложил от себя, что имел лучшего, и когда мне понадобилась трубка, то один из них встал, принёс мне кيسет табаку с тремя стамбулками (то есть трубками турецкой работы. — В.В.), а на вопрос мой, что стоят, татарин с важною (в XVIII в. это прилагательное имело значение *исполненный достоинства*. — В.В.) улыбкою положив руку на грудь и немного уклонив голову, отвечал мне: „Мы не имеем обычая брать с гостей наших за угощение, я приношу вам сей дар в знак памяти“. Беседа таких добродушных людей была для нас замечательна и приятна» (Броневский, 1822. С. 111–112).

Вообще гостеприимство как исламская добродетель ставилось самими крымскими татарами «решительно не первое место», отмечает немецкий учёный. «По-всюду — от мурз до бедняков в заоблачных пастушьих хижинах — нас принимали с одинаковым радушием; и в деревнях, где никогда раньше не видели европейцев, наши подарки — по старинному обычаю — у нас отказывались принимать... А при прощании здесь в традиции дарить каждому гостю-путешественнику полурастущую розу — этот обычай распространён повсеместно. Нам дарили цветы и в деревнях, которые мы проезжали, почти не останавливаясь. В Капсихоре, пока мы спали, хозяин принёс корзину первых в том году вишен и, отойдя в сторону, ждал нашего пробуждения. А при виде понятного нашего недоумения, стал с детской радостью бить в ладоши, смеясь и благодаря нас за согласие принять его дар. Мы нашли татар бескорыстно обязательными, участливыми, исполненными доверительности, что нас часто поражало» (Engelhardt, 1815. S. 38–41).

Сравнения, тем более не в пользу какого-либо конкретного народа или его свойств, читатель не всегда приветствует, но нижеследующее принадлежит не автору этих строк, а очень уж удалённому во времени коллеге. Собственно, речь идёт не о крымскотатарской, а великорусской (правда, на крымской земле) приветливости к гостю: у русского хозяина там же, в Крыму, путешественник «не нашёл даже добродушного гостеприимства, которым отличается наше отечество. Зашедший из России сюда промышленник, не сделавшись татарин, *перестав* быть русским (курсив мой. — В.В.)» (Муравёв-Аносков, 1823. С. 199).

Очевидно, из всего, сказанного выше, становится понятно, что первоочередная забота в Крыму оказывалась путникам. «Узлы с оным [виноградом] отправлялись с нами без всякой платы. Здесь, равно и на всех других виноградниках, [путникам] не возбраняется рвать винограда» (Сумароков, 1803. Т. II. С. 220). Уже упоминавшаяся английская гостья Крыма не забыла в письмах своих упомянуть



о том, что «в татарском доме всегда есть отдельное строение, употребляемое для приёма путешественников и чужестранцев, в котором хозяин оказывает учтивейшее гостеприимство» (Кравен, 1795. С. 284).

Но были не только частные, а и, так сказать, общественные центры гостеприимства, хотя и содержавшиеся на частные благотворительные пожертвования. Здесь имеются в виду особые дома-гостиницы с конюшнями при них, вроде ханов, но бесплатные. «Таких вольных домов находится великое множество в Крыму. Сии вольные дома учреждены от некоторых благородных фамилий, которые их содержат с великим попечением, чем самым и доказывают, до какой степени народ татарский простирает гостеприимство, оказывая оное вообще ко всем путешественникам. Сия добродетель делает их почтения и несказанной похвалы достойными» (Клеман, 1783. С. 94). В деревне такие приюты назывались *одами*, они сохранились многие десятилетия после начала колонизации, их посещали и иностранцы: «В целом татары справедливы, нетребовательны, трезвы и очень гостеприимны. В каждой деревне есть ода, где любой приезжий татарин или иностранец может бесплатно жить и питаться. Чаще всего оду сооружает и затем содержит самый богатый крестьянин села или местный мулла» (Haxthausen, 1847. S. 433).

Если же в какой-то небольшой деревне ода не имелось, то благотворителя легко находили в соседнем селе (Montandon, 1834. P. 162), но чаще содержание гостевого дома, включая бесплатное питание, брала на себя вся сельская джемаат (la communa, по выражению итальянского путешественника), причём останавливаться здесь мог абсолютно любой приезжий, без исключения, подчёркивает тот же автор (Becatini, 1783. P. 24–25). Такие центры общественного призрения существовали издавна. Так, путешественник, попавший в Бахчисарай почти двумя веками ранее, застал здесь целых три больших ода, которыми пользовались отнюдь не только бедняки и нищие, но и вполне обеспеченные гости города. Очевидно, это было иногда удобно также и для бахчисарайцев — поест, не возвращаясь для этого домой: «Месяцами и годами, утром и вечером, богачу и бедняку, старику и молодцу здесь даруют благодеяния. Прибывающие к ханскому дворцу обязательно утоляют голод и молятся за души прежних ханов» (Челеби, 1999. С. 51).

На обычный вопрос путешественника о ночлеге «Татары всегда отвечали: Добро пожаловать! Тотчас они начинали суесться, чтобы доставить нам всё нужное. Таким образом принимали нас во всех татарских деревнях... Вишни начинали спеть, и татары всячески старались нам собирать их, хотя они ещё были редки. Вообще я не могу более выхвалить искренность гостеприимства, с каковым сии добрые люди, когда мы приехали к ним, принимали нас во всяком месте, где мы ни останавливались, переменили лошадей и брали нового проводника...» (Гутри, 1810. С. 88, 93–94).

Необходимо отметить, что это качество народного характера оказалось необычайно устойчивым. Даже спустя век после аннексии крымские татары (в особенности живущие вдоль берега между Алуштой и Судаком), как отмечал современник, «...сохраняют свои первобытные нравы: они очень гостеприимны, и не берут денег от проезжающих за ночлег и угощение» (Сосногорова, 1880. С. 170). «И горцы и степные пастухи дружелюбны, благовоспитанны и гостеприимны, за исключением случаев, когда их ожесточают их русские господа. Нам не встре-

чалось деревни, где бы нас не накормили, не предоставили крова и корма лошадям, не беря за это ни копейки. Такое случилось единственный раз, но нас тогда приняли за русских. А когда истина выяснилась, то нас тут же угостили яйцами, топлёным маслом, нардеком или бекмесом» (Clarke, 1810. P. 582).

Неотъемлемо от гостеприимства такое качество или черта характера, как простая вежливость. Можно сказать, что она была важной частью этнопсихологического портрета крымских татар, — ведь даже в самые катастрофические моменты истории народа она оставалась безупречной. Так, в годы аннексии Крыма Россией, среди дыма пожара, развалин и крови, западный путешественник с удивлением отметил, что татары, общаясь с ним, внешне ничем не отличавшимся от захватчиков, «...везде обходились со мной очень вежливо, чего я не заметил у турок» (Караман, 1854. С. 1441).

#### и) Традиция солидаризма

Положения Корана о том, что все люди — братья и помощники друг другу, общеизвестны (9:72(71); 49:10). Добровольная отдача *закята* вообще рассматривается не как налог или вынужденное обстоятельством пожертвование (скажем, на ремонт мечети, на содержание муллы и т. п.). Он, как было правильно замечено, является «знаком социальной солидарности граждан одной общины-государства» (Ambros, 1981. S. 16). Да и буквальное значение таких понятий, как *благодарение*, *благотворительность*, несёт скорее светски моральную, чем религиозную оценку. В Крыму коранические и шариатские положения превратились как бы уже в этническую черту — об этом говорилось выше. Добавим лишь несколько дополнительных черточек в действительно необычную картину такой психологической интеграции: «Бедняк входит в дом к бею и ест, что [видит] на столе...» (Народы, 1880. С. 281). Напомним, что бей — это ведь не простой дворянин, а что-то вроде владетельного князя. И в таких отношениях не было никакой наигранности, неестественности или, тем паче, желания удивить чужестранца столь человеческими нравами.

Точно такое же обращение было с постоянно живущими в домах беев и эмиров (мурз) слугами и батраками. Как записал учёный-этнограф, со слугами господа «обращаются чрезвычайно справедливо и заслуживают от них такую любовь, что последние нередко служат им всю жизнь за кусок хлеба и кое-какую одежду. На тех же основаниях поступают к ним и девицы-сироты, но в надежде уже посредством их участия заручиться мужем» (Кондараки, 1883. Т. II. С. 217). Вообще, помощь сиротам считалась не столько благодеянием, сколько таким же святым долгом, как содержание престарелых родителей (см. Коран, 2:77(83); 107:2–3).

Что же касается рядовых членов бейских родов, не говоря уже о знатных мурзах, то их быт и семейные обычаи ещё более сближались с общенародными, то есть крестьянскими. «Богатые также живут среди своих стад [как и бедные], и только размер и древность их медного котла выдаёт [знатное] происхождение такой семьи» (Spenger, 1837. В. I. S. 130). Весьма показателен в этом смысле и тот факт, что все крымские татары, от беднейшего крестьянина до зажиточного мурзы, имели почти одинаковые повозки для собственных поездок. Поэтому когда сотни семей съезжались на дервизу или на скачки, устраиваемые по какому-то

иному поводу, то отличить богатых от бедных по костюмам было нелегко, а уж по повозкам — совершенно невозможно. У всех это были обычные, крымского ремесленного производства мажары, скрипучие, но надёжные и устойчивые, набитые для пушего комфорта пахучим сеном (*Holderness*, 1821. P. 25). Сравним с этим лёгким (мудрым?) отношением к мирской суете иной феномен: многовековую, непрерывную (и тщетную, по большому счёту!) погоню за престижным средством передвижения в России, Европе, во всём мире — от золочёных карет или тоглевских колясок прошлого, до «Мерседесов» и «Порше» настоящего. Как не вспомнить здесь краткое напоминание: «Поистине, Он не любит возносившихся» (Коран, 16:25)!

Такого стремления выделиться (то есть стать в глазах окружающих выше своего собрата) даже следа в Крыму не было, что, естественно, поражало современников. «Они просты и легковверны, понятливы и услужливы... Более знатные стараются превзойти друг друга обходительностью и хорошим тоном» (*Тумани*, 1936. С. 20). «Татарские дворяне, в сущности, ничем не отличаются от простых татар» (*Чеглок*, 1910. Т. II. С. 48). И это не было каким-то амикошонством, показным демократизмом. Такой простотой была проникнута и скрытая от посторонних, домашняя, интимно-семейная жизнь дворянства: «Благожелательность [к ближним] всегда была одним из присущих им качеств, и они славятся своим благородным отношением к людям, у которых чего-то недостаёт»; «Мурзы, за весьма ничтожным исключением, во внутреннем, домашнем образе жизни не столь резко отличаются от поселян-татар, как предполагают...» (*Ханацкий*, 1876. С. 204).

Некоторое неравенство, впрочем, существовало, но зависело оно от возраста или достоинства, скажем, священнослужителя, а отнюдь не от достатка. Пожилые люди всегда могли рассчитывать на всеобщее почтение, которое с годами прожитой жизни лишь возрастало. Буквально соблюдалось поучение старинной поговорки *Сув — кичикнинь, сёз — буюкнинь* (Воду — младшему, слово — старшему): «Если в собрание нескольких Мусульманов взойдёт такой человек, который или летами или достоинством своим старше их, все встают с своих мест (диванов) и не садятся до тех пор, пока он не займёт своего места. В то время, как он сядет, все совокупно произносят перед ним свои приветствия. Младые Татары, в присутствии стариков, без позволения их не смеют ни говорить, ни садиться. Старость лет у Мусульман всегда в великом почтении» (ОР РНБ. Ф.487. Д. 393 Q. Л. 22 об.).

При уже упоминавшейся уравнительной тенденции, заметной в крымскотатарском обществе, она не могла, конечно, полностью уничтожить социально-имущественную дифференциацию. Более того, к этому никто и не стремился: ведь плоское нивелирующее уравнивание противостоит принципу истинной справедливости: полностью избавиться от неравенства невозможно. Важнее другое, чтобы это неравенство выросло из свободы, а не насилия; и чем больше в обществе такого неравенства, тем оно справедливее. С другой стороны, отсутствие социального чванства, сохранение единства культуры, чувство этнической общности и т. д. были результатами воздействия на этническую культуру крымских татар ряда интеграционных факторов, самым действенным из которых была, конечно, религия. Коран предостерегал от греха зависти (113:5); впрочем, традиции соли-

даризма делали зависть весьма редким в Крыму видом порока. Влияние религии проявлялось и в бытовой нетребовательности крымских мусульман.

«Богач и последний бедняк, не имеющий... ни кола ни двора, живут одинаково: при необходимости одинаково трудятся; при возможности одинаково делятся... Мусульманское народонаселение Крыма столь же трудолюбиво, как и другие народы, только трудолюбиво по-своему...». Они ещё «так же мало знакомы с бесчисленным множеством потребностей, выгод жизни образованного общества, что трудятся не более [того], сколько нужно для прокормления себя и своего семейства... Татарин совершенно доволен, если он заплатил ясак (подать) и сделал небольшой запас на зиму проса, хлеба в зерне или муки» (*Герсиванов*, 1849. С. 97).

И ещё одно, последнее замечание по теме. Солидаризм крымских татар отнюдь не замыкался в собственных этнических или религиозных границах. Путешествующий по странам Восточной Европы гражданин свободной Британии не мог не обратить внимание на то, что с его верным слугой и испытанным спутником впервые обошлись по-человечески («по-английски») не где-нибудь в культурном центре континента, а именно в Крыму. Крымские татары позаботились об ужине для слуги английского учёного, а также о его спальне «равным образом», как и о его собственных удобствах; он получил достойное вознаграждение в виде [предоставленного ему] жилья. И не был третируем, как случилось какое-то время до того, когда несколько русских офицеров не только отказались расплатиться с ним, но сопроводили этот отказ угрозой побоев — практика, весьма распространённая в Крыму» (*Webster*, 1830. P. 54).

Этот частный случай несколько раздвигает рамки крымскотатарского солидаризма. Оказывается, он включал в себя не только единоверцев, соотечественников и односельчан, но всех людей, всё человечество!

Итак, общество крымских татар, в какой-то мере неизбежно стратифицированное, «слоистое», органично и стихийно стремилось эти слои срастить на почве общих культурных, этических ценностей. Или, по крайней мере, минимизировать зазоры между сословиями и конфессиями для достижения высших целей, одной из важнейших среди которых был идеал исламского порядка. Глубинные причины зарождения и развития такого типа практического гуманизма, не соотносимого с этноконфессиональной или социально-культурной близостью, с фактом сравнительно слабого расслоения общества, следует искать как в особенностях этнической психологии крымских татар, в религии (Коран, 75:45(44); 89:18–20; 90:14–16), так и в государственном, внутривластном и экономическом строении ханства. Попытка анализа этих причин будет сделана ниже, в V очерке этого тома.

#### к) Этикет

Это достоинство крымских татар тесно связано с религией. Есть некоторые сферы личных, семейных и других отношений, такие нормы морали, которые до сих пор трудно обозначить, не основывая их на религиозных представлениях. Как мы, к примеру, определим, что такое грех, если не обратимся к Корану, Библии и т. д.?

Поведение крымских татар издревле определялось такими постулатами, как «Аллах велел», «Аллах накажет», «Аллах благословит» и т. д. Общепризнанно, что эти этические нормы — абсолютно и бесспорно положительные, поскольку они основаны на общечеловеческой морали. Однако, будучи всеобщими, в Крыму они приобретают чисто местные черты.

У нас, в Крыму, издавна было принято уважительное отношение к старикам. Даже если они были совершенно беспомощными, их первыми усаживали за общий стол, а уж потом за него садились более бодрые сотрапезники — тоже строго по старшинству. Особыми привилегиями пользовался гость. Если по рассеянности хозяин не указывал ему место за общим столом, то пришелец мог смело садиться на почётное место, будучи уверенным, что он — главное действующее лицо на пиршестве или обычном обеде.

Впрочем, и гость должен был соблюдать неписанный этикет. В него входило не только обычное в любом обществе принесение благодарности хозяину за обед, но и отдельно — хозяйке. Причём, если она отсутствовала за обедом, то гостю следовало встать, громко воздать должное хозяйке, а затем найти какую-нибудь женщину, которая могла бы ей эту признательность передать. Весьма приличным считалось просить добавку понравившегося блюда, в таком случае были просто счастливы и хозяин, и хозяйка.

Гостю, особенно иностранному, следовало помнить, что хлеб, бокал с напитком и т. д. следует брать только правой рукой («шайтан ест левой рукой и пьёт левой рукой»). Таких правил множество, это — целая система этичного поведения дома, в обществе, в путешествии и т. д. Перечислить эти правила и традиции в одной главе невозможно, поэтому ограничусь уже сказанным, отослав интересующегося читателя к прекрасной книге, целиком посвящённой этой важной части крымскотатарской культуры (*Хайруддинов, Усеинов, 2010*).

#### л) Терпимость

Не хотелось бы, чтобы нижеследующий материал стал простой иллюстрацией к материалу очерка III первого тома, а именно к теме об *островной психологии*. Кроме неё терпимость крымцев была основана на горячей вере и убеждённости в безусловной справедливости каждой истины, высказанной в Коране. А в великой Книге призывов к терпимости немало, причём каждый из них освещает эту проблему, острую и при жизни Пророка, с различных сторон. Напомню лишь один, самый, на мой взгляд, универсальный, содержащийся в суре Совет:

«И потому [, Мухаммад,] зови к этой религии, будь стоек, как велено тебе, не следуй за их дурными склонностями и скажи: „Я уверовал в Писание, что ниспослал Аллах, и мне велено судить по справедливости между вами. Аллах — наш Господь и ваш Господь. Нам [воздастся] за наши деяния, вам — за ваши деяния. Нет причин враждовать нам. Аллах созовёт нас [в день Суда], и к Нему наш возврат“» (42:14 (15)). Очевидно, нелишним будет ознакомиться с тем, как великий Завет осуществлялся в Крыму на практике. Обратимся для этого к нашим далёким предшественникам.

Интересовавшие этой проблемой более ранние российские исследователи отмечали прежде всего те стороны крымскотатарской терпимости, что наибо-

лее резко отличались от великорусских поведенческих стереотипов (вспомним указание святого старца насчёт посуды, которую полагалось тщательно вымыть или выбросить, если из неё поел «еретик» или неверный). В Крыму такой совет учёного монаха показался бы вопиющей дикостью: «Если странник — какой бы он веры ни был — приезжает в дом богатого Татарина, то он за великое удовольствие поставляет угостить путника как можно лучше; если прохожий человек по дороге зайдёт к бедному Мусульману, то он за большое счастье почитает, когда первый разделит с ним убогую его трапезу» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 14).

Здесь стоит обратить внимание именно на то, что за одним столом мирно преломляют хлеб люди разной веры, люди, формально чужие друг другу, и это доставляет всем присутствующим удовольствие. То есть тут не о терпимости бы говорить надо (никто здесь ничего не терпит, не *претерпевает* как жизненную неприятность), а о толерантности и, более того, о чистой радости общения — эмоции совсем иного, более высокого плана в шкале нравственных и психологических ценностей. Эти традиции находили своё выражение в самых различных областях духовной жизни и повседневности народа, в том числе и в сфере семейного права.

На протяжении всей истории ханского периода (и позднее, включая XX в.) наблюдались «межконфессиональные» браки, причём жена имела право на сохранение первоначальной веры. Если «мужу взбранится мешать исполнению требований её совести и религии, то не есть ли это признак широкой веротерпимости?» — такой вопрос, заданный великим просветителем своего народа И. Га-спринским в самом конце XIX в., был совсем не риторическим, ибо прозвучал он в душной, нетерпимой атмосфере Российской империи (*Терджиман, 20. 09. 1898*).

Та же картина — в опрокинутом зеркале людей, привычных к совершенно иным нормам межчеловеческих контактов в среде крайней нетерпимости, приводящей, как известно, к физическому насилию. Эти люди отмечали с немалым удивлением: «Они живут в своих деревнях мирно, без ссор и без драк...» (Народы, 1880. С. 285). И далее: «Южнобережные татары хотя и ревностные последователи Корана, но отличаются от прочих мусульман своей веротерпимостью и уважением к святыням и догматам прочих вероисповеданий...» (*Горчакова, 1884. С. 33*).

«Они мне показались превосходнейшими в мире людьми, благодушными и простыми в высшей степени. Они боятся русских... [да и] я чувствовал себя более по себе с несколькими татарами, принесшими нам молока, сливок и кое-каких своих блюд» (*Людольф, 1892. С. 195, 196*). То есть эти мусульмане показались христианину ближе, чем православные русские, склонные, в частности, решать свои проблемы насильственным путём, посредством жёсткого контроля сверху и пр. «Стоит отметить, что любой контроль над личностью порождает среди них (то есть крымских татар. — В.В.) беспокойство и стремление избежать его, он применяется исключительно лишь для обуздания людей воинственных и свирепых (warlike and fierce people)» (*Barker, 1855. P. 204*).

Религиозная толерантность крымских татар, неоднократно упоминавшаяся выше, ничего бы не стоила, будь она присуща обществу или отдельным людям, мало склонным прощать друг другу простые человеческие слабости и даже грехи. В этом смысле традиционное крымское общество обладало поистине универсальной терпимостью высшей пробы, не допускающей каких-то исключений.

Приведу характерный пример: при в общем-то весьма отрицательном отношении к потреблению запретного в шариате вина, крымские татары не спешили исключать из своего общества тех, кто был предан этому пороку. Более того, и такие соотечественники могли, не менее других творений Бога, пользоваться высоким уважением и даже (если это были люди искусства) преклонением со стороны обычного мусульманина. Оттого знаток Крыма и поставил так легко рядом имена двух едва ли не одинаково чтимых в Крыму двух поэтов с близкими именами, один из которых — «Физули Челеби, не знающий равных в искусстве составления тарихов» (то есть стихотворных строк для торжественных надписей), а другой — «Кыбти Челеби, слуга нашего господина Селим-Гирей-султана, достигший совершенства в 10-ти стилях чтения Корана и в науке астрологии, пьянчужка. Его стихи, написанные в состоянии опьянения беленой, содержат столько образов и глубоких мыслей, что это просто дозволенное волшебство» (Челеби, 1999. С. 52).

В Крыму, как уже говорилось, имелось несколько течений или толков исповедания ислама, но приверженцы этих сект, как упоминалось выше, вполне мирно уживались друг с другом. Так, в Кефе длительное время сосуществовали текие, принадлежащие к толкам хальветийскому, джалветийскому, кадирийскому и гульшенейскому (ук. соч. С. 92).

Куда уж дальше, если в резиденции оплота исламской веры, рода Гиреев, то есть в бахчисарайском Хан-сарая, имелась и время от времени использовалась христианская часовня, которой пользовались чаще всего ханские жёны и другие женщины-христианки, купленные или приведённые с полоном обитателями дворца и жителями окрестных кварталов (Фёдорова, 1855. С. 152). Это никого не удивляло, между тем как присутствие домового *мечети* было бы абсолютно немислимым что в Кремле, что в Версале... Напротив, весьма нетерпимым было отношение к нравственным прегрешениям, здесь порицание или даже наказание могло быть довольно строгим (Barker, 1855. P. 206).

Крымскотатарская терпимость была столь высокого уровня и широты, что не могла не оказывать облагораживающего влияния и на соседние народы. Пожалуй, самый разительный пример этому находим в истории крымско-греческих контактов.

Греки, оседавшие в Крыму с античных времён и в течение византийского периода, безболезненно интегрировались сначала в полиэтничную, а затем в крымскотатарскую среду. Христианские переселенцы-арнауты, прибывшие на полуостров через несколько столетий, в к. XVIII в., из Османской империи, характеризовались ярко ксенофобными (антитатарскими) поведенческими стереотипами, что привело к многочисленным жертвам среди коренного населения. Однако с течением времени толерантное крымское общество благотворно подействовало на их психологию, и они повторили судьбу своих земляков-предшественников, слившись с местным социумом если не в культурном смысле, то в отношении ментальности. Поэтому на протяжении большей части XIX — начала XX вв. рецидивов греко-татарской вражды не было отмечено вовсе.

Третья волна греческой иммиграции, захлестнувшая Крым в 1914 г., имела своим результатом новую вспышку погромов и убийств татар во время революции и Гражданской войны (об этом см. очерк X настоящего тома). Но и эти пере-

селенцы в течение краткого межвоенного периода, менее чем за 20 лет, успели глубоко впитать в себя лучшие черты общества-реципиента — традиционную для Крыма толерантность и открытость к межэтническим контактам. Между греческой и крымскотатарской частями населения снова, как это случилось веком раньше, установились нормальные и даже тёплые человеческие отношения.

Остаётся заметить, что всеобщая толерантность, уважение к чужому мнению, высокая оценка чувства взаимной симпатии и дружеских отношений, характерные для общества ханского периода крымской истории, сохранились и в дальнейшем, то есть после аннексии. И эти черты народного характера не могли не поразить такого зоркого наблюдателя, каким был самый великий из русских поэтов:

Близ рубежа родной земли  
Аулы мирные цвели  
Гордились дружбою взаимной;  
Там каждый путник находил  
Ночлег и пир гостеприимный...  
Весельем песни их дышали,  
Они тогда ещё не знали  
Ни золота, ни русской стали!...

(А. Пушкин)

#### л) Чувство собственного достоинства

«Это народонаселение превосходное: обхождение его важно и холодно (в оригинале *distingue et froid*, что можно перевести и как «достойное и сдержанное. — В.В.») (Мормон, 1838. С. 202). Достоинство, как качество, также присущее всем крымским татарам, было, скорее, врождённым (имеются в виду результаты стихийно сложившейся, семейно-общинной мусульманской народной педагогики), а не искусственно внедрённым. Такая всеобщность позволяет отнести его к явно национальным чертам. Более спорны догадки о его происхождении и развитии. Скорее всего, здесь имеет смысл вести поиски в направлении исламского гуманизма, отводящего человеку весьма ответственную — но и почётную — роль главного творения Бога (объединяющего в своей душе душу трав, деревьев, птиц, животных) и Его излюбленного инструмента<sup>1</sup>. Да и вообще стоит поставить вопрос по-другому: Как можно, сознавая это, вести себя недостойно?

<sup>1</sup> К этому ходу мысли подталкивают старые наблюдения, показывающие, что исток крымскотатарского достоинства — отнюдь не субъективен, что он не зависит от (завышенной) самооценки, что он выше или, скорее, вне её. «Если у нас [на Западе] стремятся выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, то татарин в хорошем и плохом выглядит, как он есть в действительности. Он сам не осознаёт хорошего в себе и он лучше, чем думает о себе. Многие, за что у нас хвалят и прославляют, о чём сами мы любим рассказывать, татарин делает, не привлекая никакого внимания, не рассчитывая получить похвалы или воздаяния; сам он считает, что сделанное — его долг и обязанность. Что у нас часто свершают ради одобрения окружающих, он делает, не говоря ни слова, совершенно естественно и незаметно, так, как это и должно бы быть» (Schlatter, 1836. S. 100).

Ответ мусульманского Крыма находим в человеческих свидетельствах:

«Спокойствие в манерах и некоторая важность в движениях составляют вообще отличительную черту крымского татарина. Что бы ни делал татарин, он делает это с некоторым врождённым достоинством» (Народы, 1880. С. 286). Другие авторы, побывавшие в Крыму, определяя это качество, предпочитали иной термин: «Их движения непринуждённые, ведя разговор, все они выражаются с большим благородством (*avec plus de noblesse*), с большей лёгкостью и обходительностью..., чем основная масса крестьян Старой Европы. Их будничная беседа, касающаяся вполне ограниченного круга тем, также отличается необычайной рассудительностью и глубиной мысли (или «рефлексией» — *plus de reflexion*)» (*Montandon*, 1834. Р. 57–58).

Собственно, здесь отмечена весьма важная черта разговорного (вербально-го) общения крымских татар — высокая информативность устной речи. Вообще слову, как и в других восточных культурах, придавалось здесь гораздо большее значение, чем в России или на Западе. В противовес христианскому «По делам их узнаете их» среди крымских татар бытовало прямо противоположное утверждение: *Кямиль инсан созунден бельмедир* («Достойный человек узнаётся по его речам») (Пословицы, 1914. С. 41). В Крыму детей с самого нежного возраста учили простому, но занимавшему важное место в национальной культуре правилу: *не говорить лишнего*. Старшие внушали молодёжи: *Дилинги диллеп айт* («Говори, прикусив язык»), причем с железной настойчивостью, и оно, постоянно и неуклонно повторявшееся, становилось второй натурой будущих мужчин.

Впрочем, простым и незамысловатым это правило может показаться только при поверхностном подходе. На самом деле общее соблюдение его (оно становилось повсеместным, приобретало черты национального качества) имело важные и глубокие последствия. Говоря даже с незнакомым человеком, крымский татарин был заранее уверен в том, что собеседник не только не введёт его в заблуждение осознанно ложным сообщением или таким, которое не отражает искренних намерений человека. Он предполагал, что не услышит и пустых, лишних слов или фраз. Такой словесный балласт, вполне обычный в любой беседе (не обязательно «светской») людей западной цивилизации, этнолингвисты недаром называют «информационным шумом» (*Христофорова*, 2001. С. 109). Эта помеха рассеивает внимание слушателя, делая тем самым беседу частично или полностью нецелесообразной. И наоборот, полное отсутствие таких ничкемых шумов позволяло крымским собеседникам не отвлекаться на их «отсеивание» и целиком сосредотачиваться на услышанном, ловить буквально каждое слово сидящего перед ним. Эта традиция развивала не только внимательность, но и невольно поднимала на высокий уровень взаимное уважение и чувство собственного достоинства соотечественников.

Это чувство становилось неотделимым от уважения не только к иному мнению или иной культуре. Оно проявлялось и по отношению просто к человеку, прожившему немало лет в этом мире, познавшему его горести и трудные уроки, то есть к людям старым и пожилым: «...мужчины и женщины, встречаясь с посторонними, кои их старее, целуют у них руки; чиновные средних лет уступают преимущество пожилым простолюдинам, держась справедливого заключения, что почести дают государи, а года сам Бог» (*Сумароков*, 1803, Т. II. С. 44). О том

же говорят правила, запечатлившись в старинных пословицах и кратких афоризмах: *Озюнден буюкке урмет эт* («Уважай старших»). Или в таком: *Буюкнинь сезюни тутмасань, буюк елга чыкмазсын* («У того, кто слушается старших, жизненный путь сужается»). То есть отсекаются ложные, тупиковые ответвления от верной дороги.

Чувство собственного достоинства, безусловно, не позволяло крымским татарам опускаться до унижающих человека грязи и неудобств в быту: в самом бедном доме «всё производит впечатление опрятности и комфорта» (*Webster*, 1830. Р. 56). Это было уважение к своей семье, к себе, как первому и лучшему из творений Аллаха. Даже на многолюдном рынке царило это всеобщее настроение взаимного уважения. В Крыму было бы трудно отыскать картину крикливого «восточного базара», так поражавшего европейцев в иных странах. Здесь «...раздавался слержанный говор нескольких голосов; до меня долетали непонятные голоса нескольких собеседников, но не было слышно ни громкого смеха, ни сердитых возгласов, ни визгливых криков женщин, как это обыкновенно бывает на наших торговых рынках, и проза жизни этого уголка поэтического Крыма не только не нарушала общей гармонии, но придавала всей картине местный колорит, который мне особо нравился» (*Горчакова*, 1884. С. 5). Эту картину дополнит ещё одна, частная, но весьма показательная и целиком в неё вписывающаяся черта: «Каждый имеет своё огниво, любой татарин считает чрезвычайно постыдным просить у кого бы то ни было огня для своей трубки» (*Reuilly*, 1806. Р. 158). То есть и в этом сказывалось явное нежелание даже в мелочи уронить своё человеческое достоинство.

Производной от этого ощущения является ещё одна черта этнического характера. Это — уравновешенность, несуетность. Или, как выразился другой русский исследователь, «...главная отличительная черта крымских татар — необыкновенное спокойствие» (*Шатилов*, 1857. С. 16). Такому редкому качеству отнюдь не противоречила любознательность, вполне извинительная человеческая слабость — или достоинство. Это была «необыкновенная разговорчивость, любопытство», но она проявлялась «...только вовремя; если же они (то есть крымские татары. — *В.В.*) заняты делом, хотя самым ничтожным, они обыкновенно исполняют его молча, и это спокойствие при работе составляет как бы отличительную черту [в выражении] лиц здешних мусульман» (Там же).

Но после работы, в свободное время, крымцы как бы навёрстывали часы вынужденного молчания в широком и разнообразном общении. Но — соблюдая всё то же достоинство, зная, так сказать, себе цену: «Татарин — существо весьма активное. Он всецело предан сиюминутным, то есть жизненным заботам, увлечён целями сегодняшнего дня. Он рассудителен и смыслён, а выражение и сами черты лица у некоторых мужчин несут на себе одинаковую, почти стереотипную печать внутреннего, родового достоинства: безусловное свидетельство тому, что эта нация вновь обретёт [в грядущем] былое значение, вернёт собственное лицо» (*Hoffschläger*, 1855. S. 21–22).

Любопытен, хотя вполне постижим тот факт, что уровень ощущения собственного достоинства (как и некоторые другие выводы самооценки индивида) менялся по мере взросления и старения крымского татарина. Понятно, что это было всеобщим, характерным и нормальным для всего этноса явлением. На этот счёт существует одно старинное и довольно забавное замечание, сделанное

М.И. Дмитриевским, хоть и не профессиональным антропологом, но всё же человеком наблюдательным: «...в детских летах Татары весьма застенчивы, стыдливы, но проворны и от природы остроумны; в среднем возрасте они легкомысленны, любострастны, горды, празднолюбивы и сердиты; в пожилых летах благочестивы, законной власти преданы<sup>1</sup>, постоянны, верны, ласковы и страннолюбивы (то есть приветливы к странникам. — В.В.)...» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 20об.)

Чувство собственного достоинства крымских татар было, между прочим, качеством, не только поражающим русских, но и раздражавшим их. Ещё в XVII в. московские послы неоднократно отмечали в своих записях бесед с бахчисарайцами «их поганую гордость» (Тякин, 1850. С. 12, 133 и др.). Термин «гордость» употреблен явно оттого, что самого слова «достоинство» тогда в русском языке попросту не было, бесспорно, по его не востребованности, ненужности для жителей России. Оно впервые отмечено в письменном источнике только в 1770 г. (Словарь XVIII в. Вып. 6. С. 235). Но и в XX в., как отмечали этнологи, в русской деревне над «изредка встречавшимися» красивыми или державшими себя с достоинством людьми повсюду... смеялись. «Дело в том именно и кроется, что такие Петрухи и Никиты полны чувства собственного достоинства или сознания своей красоты, горды...» (Семёнова-Тянь-Шанская, 1914. С. 109) — как же над такими не посмеяться.

#### м) Нетребовательность

Не быть жадным — уже есть достоинство;  
Не быть расточительным — доход.

(Цицерон, Парадоксы, VI, 3)

Самое очевидное (хотя, возможно, и не самое верное) объяснение чрезвычайной нетребовательности крымских татар отсылает нас к фаталистической окрашенности жизненной философии народа. Но сторонники этой гипотезы скользят по поверхности проблемы, так как корни внешнего «фатализма» крымца прорастают из старинных суфийских традиций. Об этом уже говорилось в V очерке этого тома, и нижеследующие рассуждения подтверждают справедливость сделанных там выводов и заключений для гораздо более поздней эпохи Нового времени. Одно из суфийских положений гласило, что собиране чрезмерных запасов означает недоверие к Богу, Который в нужную минуту позаботится о своем творении. В Крыму принцип вышней гарантии хлеба насущного понимался буквально, этому сохранилось немало свидетельств:

«Если татарину удалось обзавестись десятком грецких орешин (то есть деревьев грецкого ореха. — В.В.), он уже не пашет и не жнёт и считает положение своего семейства вполне обеспеченным, потому что от продажи орехов у него остаётся достаточно денег для удовлетворения его ничтожных потребностей... Вообще крымский татарин не мастер зашибать копейку и не имеет в этом отношении ничего общего со своими казанскими и симбирскими единоплеменниками...» (Народы, 1880. С. 287).

<sup>1</sup> Они говорят: Эмри Алла, эмри Султан, то есть: повеление Бога — повеление Государи (прим. М.И. Дмитриевского).

«Здесьние мусульманские помещики вообще, не исключая... и тех, которые имеют по 15 000 доходу, живут одинаково и без дальних прихотей» (Сумароков, 1803, Т. I. С. 185). С другой стороны, русская княгиня с восхищением наблюдала на Гёзлёвском базаре, как «татарин с аппетитом закусывал ломтем хлеба и головкой чеснока, не только не думая роптать на бедность, но с гордым видом человека, совершенно довольного своей судьбой» (Горчакова, 1883. С. 30). Конечно, это было наследие старинных традиций, о чём догадывались наиболее просвещённые современники, вроде секретаря российского посольства 1793 года, управлявшего через Крым в Турцию: «У меня были случаи часто наблюдать среди них (то есть крымских татар. — В.В.) высокое благородство, великодушие и мягкость, аристократичную, подлинно патриархальную простоту, а также ревностное гостеприимство — черты, которые заслуживают высочайшего почтения» (Struve, 1802. P. 24).

И ведь что интересно, признавая нетребовательность крымских татар, христианские авторы, которых Писание призывало к той же добродетели, ставили её в вину народу Крыма, утверждая, что именно «ограниченность нужд (а, в общечеловеческом смысле: „потребностей“... — В.В.) надолго ещё будет служить преградой успешному ходу хозяйства...» (Домбровский, 1850 «а». С. 264)<sup>1</sup>. Более тонко подошёл к этой проблеме немецкий интеллигент А.Т. Гримм, заметивший, находясь в Крыму, что «нет здесь постоянной тревоги о пище земной, тех тревог, которые разъедают (букв. «проедают насквозь, прогрызают» — durchfressen. — В.В.) в различных формах все наши [европейские] сословия. А тем не менее, я не встречал здесь ни одного нищего» (Grimm, 1855. S. 34).

То есть, заключает этот автор, нетребовательность не только высоко моральна. Она несёт в себе совершенно бесспорные конкретные, практические результаты в плане качества жизни, недостижимого пока в Европе: «Напротив, какую картину деградации являют собой немецкие и французские пролетарии, английские фабричные рабочие! Тысячи первых встают поутру, не зная, где и когда они сегодня поедят; вторых сотнями запирают в зданиях, где угольная пыль и вредные испарения делают их лица белыми как стенка, их уши оглушаются грохотом тысяч ткацких станков и их пшеничный хлеб чернеет от сажи. В Крыму татарин живёт в весьма скромной хижине, но он защищён от северного ветра своими горами, перед ним расстилается величественный Понт, а у хижины висит тысячелетний орех, кормивший его предков и обещающий хлеб насущный его потомкам» (Grimm, ibidem).

А.Т. Гримм не примысливает крымским татарам какой-то наивный руссоизм, им совершенно не свойственный. В его глазах они и просвещены лучше своих соседей и действительно прагматичны, считая, что нетребовательность, скромность в конечном итоге попросту выгодны как приносящие разумным

<sup>1</sup> Между прочим, в отличие от Библии, Коран не превозносит бедность и, с другой стороны, не обрушивается на богатых лишь за то, что они зажиточны. Ислам воздаёт каждому не по степени экономической обеспеченности, а по делам его. Более того, богатство нередко признаётся земным результатом праведной жизни, наглядным свидетельством трудолюбия, бережливости, ума, признаком благословения Господа. В полном соответствии с таким подходом к проблеме звучит и крымскотатарская поговорка *Хызмет тоби — хазине* (Основа удачи — труд).

людям и личное удовлетворение, и уважение в окружающем мире. Это подтвердилось действительностью: в Отузах особым поклонением пользовалась могила одного хафиза, суфийского шейха Хусам эд-дина, который ещё при жизни обрёл в глазах народа ореол святости, в частности, оттого, что проповедовал умеренность в жизни (Смирнов, 1931. С. 32). А французский этнограф видит именно в крымской нетребовательности источник таких достоинств, как полное отсутствие зависти и доброта к ближнему: «Да, добрые татары, ...несмотря на вашу бедность, вы не желаете зла своему соседу. Да, повторно ещё раз, татары гуманны и привержены социальному миру и порядку» (Besse, 1835. P. 217).

Остаётся добавить, что черта, о которой идёт речь, была массовой, её относили ко всему народу: «Они умеренны и воздержанны. Овощи, молоко, мясо и несколько хлеба составляют их пищу» (Герман, 1808. С. 226). «Этот народ... очень воздержан (*sehr mässig ist*). Баранья шурпа, шашлык, яйца, молоко и продукты из него — вот и всё их питание» (Remy, 1872. S. 68). В целом же нетребовательность стала одним из источников того «глубокого счастья», расцветавшего в Крыму ханской эпохи, о котором писал М. Волошин. Душевный покой, нравственный комфорт и удовлетворённость — вот что приносила крымским татарам их нетребовательность, находившаяся в полном соответствии с выводом великого мудреца-поэта древности: «Чем больше будет каждый себе отказывать, тем больше дадут ему боги... Кто стремится ко многому, у того многого и недостаёт» (Гарций. Оды. Т. III, 16. С. 42–43).

#### н) Трудолюбие

Крымские татары, заметил один из гостей Крыма уже в XIX в., «известны издавна своим трудолюбием и трезвостью, хотя, правда, они и утилизируют естественные богатства края первобытными способами» (Гольденберг, 1883. С. 68). Несколько более ранний автор записал, находясь в горной части полуострова, что «жители Буюк-Озенбаша очень трудолюбивы; промышленность их состоит исключительно в том, что они делают исключительно повозки, выгодно сбываемые в средней части Крыма» (Демидов, 1853. С. 325). Важно отметить, что сказанное относилось не только к традиционалистскому большинству народа, жившему в сёлах, но и к горожанам, казалось бы радикально изменившим образ жизни (речь идёт даже не о ремесленниках, а о «работниках сервиса»). В кофейнях, ханах, парикмахерских, как вспоминает гость старого Акмесджита, «татары обслуживали нас не только с удовольствием, но и с заботливостью, ...охотой и готовностью (*with solicitude, ...with willingness and alacrity*)» (Lyll, 1825. P. 295–296).

О труде, как благостыне и награде, нищеславной человеку единым Богом, говорили не только муллы, но и светски просвещённые наставники народа: «Леность и безделье суть нечестивы», — неоднократно повторял великий труженик Исмаил Гаспринский (Терджиман, 15. Об. 1884). Иногда исследователями делались попытки вывести некий средний показатель трудоспособности, трудолюбия мусульман, опираясь на реальный заработок их в сравнении с христианами Крыма. Однако этот метод не может быть назван объективным, поскольку крымскотатарское хозяйство было ближе к натуральному, то есть практически нетоварному, безденежному. Во-вторых, практически не тратили деньги на алкоголь,

как это было принято у их русских соседей, то есть немногие заработанные ими рубли и копейки расходовались более продуктивно (или, точнее, конструктивно). Наконец, ни один мусульманин не мог себе позволить «отдыхать» 174 или даже более дней в году, приходившихся на христианские праздники, и проводимые православными, естественно, не в поте лица своего<sup>1</sup>...

В целом же наблюдатели отмечали: «количество труда крымских татар пропорционально их потребностям, они ничего ни у кого не просят, никто из них не живёт за чужой счёт, это главное... Мы никогда не видели жалующихся на судьбу татар, это не цыгане...» (Montandon, 1834. P. 61). Попытка психологического объяснения бесспорной склонности крымцев к покою будет сделана ниже, как и органического неприятия ими ненужного перенапряжения любого рода. Но когда речь шла о необходимости помочь ближнему своему, а тем паче о спасении человеческой жизни, то упомянутая черта, обладавшая внешними признаками эгоизма, сменялась самым искренним и безграничным альтруизмом.

«Так, — вспоминал путешественник, — один татарин добровольно предложил сопровождать нас по крутизне на Яйлу, а когда мы стали предлагать ему за этот тяжёлый 15-вёрстный путь чаевые, он долго отказывался взять их. И хоть дела звали его в совершенно другое место, и он должен был снова возвращаться через горы, он не пожалел сил, чтобы сопровождать нас, поскольку наш прежний проводник оказался ненадёжным и, как он сказал: „Вы одни легко заблудитесь там наверху в облаках“. Можно ли в наших цивилизованных государствах найти крестьянина, который лишь по *такой* причине пожертвует какому-то иностранцу свой покой и своё время?» (Engelhardt, 1815. S. 42). Это — пример отказа крымцев от столь любимого ими комфортного времяпровождения, если дело того стоит.

Таким делом, естественно, являлся и каждодневный труд на благо семьи: «Что касается лени, то мы ни разу не видели, чтобы татарин из лени или стремления к комфорту презрел свои дела; когда они работают, то не жалеют сил, проявляя в этом привычную для них сноровку и искусность. Их поля хорошо обработаны и там, где это возможно, орошены узкими каналами, нередко тянушимися на 2–3 версты» и т. д. (Engelhardt, 1815. S. 43). «Эти люди способны исполнять великую работу», — с уважением признавал голландский автор (Witsen, 1692. Bl. 388). А народная мудрость полностью лишала отлынивающих от труда авторитета и права даже на соучастие в беседе с нормальными людьми: *Иши екънынъ сёзю ёкъ* («Кто не работает, тому нечего сказать»). Имелась и философская поговорка на ту же тему: *Адамны адам якъян иштир* («Человека человеком труд делает»).

#### о) Семейная атмосфера

Основная проблема семьи, причём не только в Крыму или России, — это дилемма: человек существует для семьи, или же напротив, семья для человека. В первом варианте, более характерном для тоталитарных или деспотических государств,

<sup>1</sup> Упомянутый выше датский пастор П. Хавен, посетивший Россию в 1730-х гг., ссылается на малороссийского генерального подскарбия Якова Марковича, подсчитавшего, что на 1737 г. в России и на Украине выпал 191 постный, нерабочий день — против традиционных 174-х (Хавен, 2007. С. 242; Маркович, 1859. С. 16).

человек — понятие вторичное. Тут главное — песенное начало «жила бы страна родная, и нету других забот». В такой обстановке и семья как ячейка державного общества — весьма важный институт, ячейка государственного социума, и государство, стоящее на охране её, готово на самые слабоумные акции, вплоть до запрета не то, что аборт, но и разводов (такое наблюдалось в СССР в 1945 года и позже). Человек обязан хранить семью и служить ей, иначе он подвергнется если не судебному преследованию, то уж наверняка — общественному порицанию, да и внесудебным санкциям тоже (вроде невыпуска разведённых граждан СССР за государственную границу и прочее).

Второй вариант естественнее, оттого и понять его суть легче. Семья для человека — принцип, оптимальный для наиболее бесконфликтного, если не беспроблемного, существования. Здесь семья — не цель, а средство бытия. Что в точности соответствует одному из фундаментальных крымских (и мусульманских в целом) принципов: важна не столько некая цель, сколько средства для её достижения. То есть способы, принципы бытия, а в целом — модель жизни. Семья и была таким универсальным, проверенным веками средством. Кстати, сам термин этот — «средство» — не стоит принимать здесь в уничижительном ключе.

Цель может быть и утопичной, и предусматривающей отступления от морали, и так далее. Она — дело будущего, что отодвигает и расплату за преступления, сплошь и рядом совершаемые во имя её. Средство, напротив, присутствует здесь и сейчас. Оно постоянно актуально, оно ежеминутно проверяемо и легко доступно оценке в сегодняшней, а не утопичной шкале ценностей будущего. И именно принцип приоритета средств перед целями не позволяет человеку презирать нравственные нормы, оправдываясь очередной «святой» целью.

Можно, конечно умственно рассматривать этот прагматичный принцип как несколько принижающий священный институт семьи, как несколько её «инструментализующий». На практике же всё обстоит как раз наоборот. Первый вариант — принудителен, оттого и выливается как в дикие эксцессы семейного быта, так и в более спокойные, но оттого не менее страшные реалии, вроде равнодушного отношения к смерти супруга. Второй вариант, действительно инструментальный, далёк от идеализации (державной идеологии), доброволен, и оттого действие его предсказуемо, менее зависимо от эмоций («любил-разлюбил»), долговечно и, самое парадоксальное, скрепляет семью гораздо надёжнее, чем первый, вроде бы прямо нацеленный на это.

Очевидно, излишне добавлять к сказанному, что первый подход был характерен для великорусского, а второй — для крымскотатарского общества. Соответственными были и результаты. Большой знаток сельского быта, Глеб Успенский пришёл к выводу, что имперская податная единица, русский крестьянин, попросту не знал, «...что он может жалеть своих детей», умиравших безо всякого внимания сотнями, тысячами, «что ему, мужику, можно заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, [иначе] он бы давно заорал на весь мир...» (Успенский, 1956. Т. IV. С. 463). «Орать», конечно, можно было, да только никому это, как верно отмечено, и в голову не приходило. На такого оригинала не только соседи взглянули бы как на безумного. Сама память многих поколений предков, живших «как все православные», была бы этим бесспорно оскорблена. Как же рещалась семейная проблема в Крыму?



Крымская семья. Капсихор, 1837 г. Литография братьев Gihaut (1844) по рисунку О. Раффе. Из собрания автора

Сказать, что «любовь татарки к своим детям не знает границ» (Народы, 1880. С. 294), значит ничего не сказать о крымской семье в целом. Поскольку это же качество отличало не в меньшей степени и мужчин. Русские гости, побывавшие в Куркулете (Южный берег Крыма), которых один из местных татар проводил до конца деревни со своей трёхлетней девочкой на руках, отмечали следующее: «Отличительная черта южнобережных татар, это их любовь к детям; у матерей она иногда доходит до крайних пределов; я никогда не видела татарской женщины без ребёнка на руках, которого она беспрестанно ласкает и целует, но и отцы часто нянчатся с детьми, и вообще татарские дети почти всегда прилично одеты и обуты, и видно, что у каждого из них есть своя обувь, своя шапка, а не как в русских крестьянских семьях, где мальчуган лет шести выступает в дырявом отцовском кафтане и в худых сапогах старшего брата» (Горчакова, 1883. С. 156–157).

Ещё одна зарисовка. Летний вечер в деревне близ Алушты. Женщины оканчивают доить скотину, мужчины, вернувшиеся с виноградников, курят трубки на плоских крышах своих домиков в тесном окружении детей, с которыми они ведут тихие, уважительные беседы вплоть до восхода луны (Webster, 1830. P. 56). Картина, в общем, нормальная для семьи и нашего, XXI века.



Но чтобы оценить её уникальность в описываемый период, следует вспомнить, что в конце XVIII — начале XIX вв. такую идиллию невозможно было увидеть не то что в России, но и на западе Европы. В ту эпоху с детьми *не беседовали*. Их в лучшем случае кормили и отдавали в обучение, а беседы велись лишь с равными, к которым детишки, увы, не относились. Неудивительно, что «крымское» отношение к детям поражало русских. Но оно было весьма необычным и для европейских путешественников: «Голых, оборванных, нечѣсанных и грязных детей, что не редкость для других мусульманских и христианских стран, здесь нигде не встретишь», — удивлялись европейцы, раскрывая путевые блокноты (*Milner*, 1855. P. 365)<sup>1</sup>.

Не секрет, что в крестьянских семьях, по крайней мере, стран Восточной Европы той эпохи, новорождённые далеко не всегда воспринимались как радость. Жизнь-то была небогатой, и ещё один рот отнимал и без того скудный кусок хлеба у других домочадцев. Отсюда, очевидно, и вышеуказанное, мягко говоря, прохладное отношение к детям в русских семьях, не говоря уже о более ужасной практике фактического детоубийства, весьма нередкой на селе. Вспомним хотя бы мать Катюши Масловой из «Воскресенья» Л.Н. Толстого, которая, ежегодно рожая по ребёнку, попросту не кормила его, пока он не умирал, и соседи этому отнюдь не удивлялись, как говорит признанный знаток русской деревни. И, скорее, к российской, чем к крымской семье можно было обратиться мягкое увещевание великой Книги: «...не убивайте ваших детей от бедности — Мы прокормим их и вас...» (Коран, 6:152 (151)).

Ибо рождение ребёнка, особенно первенца, даже в самой бедной крымско-татарской семье воспринималось как огромная радость. Счастливые родители непременно устраивали праздничный пир для односельчан, и, если это был мальчик, то он становился отныне центром внимания всей семьи: ведь к нему постепенно должны будут постепенно перейти и опыт, и мудрость отца, и родовое имущество, но также и постоянная, на протяжении всей жизни, самоотверженная забота о младших братьях и сёстрах. Впрочем, радовались и девочке. И это была удача, запечатленная в крымской поговорке: «Мужчина в семье — мощь и сила, а женщина — стадо и отара!»

<sup>1</sup> Приведём очередное сравнение с русской деревней того же, Нового времени. Здесь матери, вынужденные сразу после родов выходить на полевые работы, оставляли грудных детей в люльке. Это было деревянное корытце без отверстия для стока мочи, устланное тряпками, в лучшем случае — соломой. Нежная детская кожа, естественно, преда. От этой боли и голода (мать, уходя, всовывала в рот ребёнку лишь тряпку с жѣванным хлебом) дитя постоянно кричало, отчего, как правило, развивалась пупочная грыжа. Её лечили так: «бабка берѣт овсяное дерьмо (то есть дерть. — В.В.) у лошади, прожимает сквозь тряпку, смешивает с молоком матери и поит этим ребёнка». В год-два ребёнок ползал повсюду, опять же без присмотра, и ел всё, что находил, — от комьев земли до собственных нечистот или помоев из корыта для свиней. На такие работы, как пастьба лошадей или копка картошки, детей отправляли с 7 лет, причѣм за любую провинность их жестоко били. Известная русская исследовательница в XX веке отмечала, что от такой жизни «в большинстве семей умирает более половины всех рождённых детей». Что же тогда творилось в XVIII-м, о котором идёт речь?! (*Семѣнова-Тянь-Шанская*, 1914. С. 10, 12, 15, 22, 24, 29, 57).



Деревянные «ходунки».  
Фотоколлекция издательства «Тезис»

Конечно, детство не было безоблачным, как и вообще вся жизнь крымского татарина, несмотря на благословенный климат полуострова. Но и лишения, и трудности, неизбежные в крестьянской жизни, шли здесь на пользу, вносили свой вклад в гармоничное воспитание детей и молодых людей. «Их воспитала суровая дисциплина холода, опасности и труда, которая стѣбит всякой школы. Из этой школы не выйдет ни болтуна, ни лентяя, ни бездельника. Из неё выходят только сносливые (то есть выносливые, неутомимые. — В.В.) труженики» (*Марков*, 1995. С. 242). И ещё одно замечание — относительно уже упоминавшейся роли общин в нравственном климате города и деревни. Малыши с раннего возраста находились на глазах соседей, которые нередко делали им замечания, касавшиеся поведения, соблюдения обычаев и т. п. При этом дети (в том числе подростки и даже юноши с девушками) принимали во внимание мнения взрослых как родных отца или матери, что и приносило свои результаты. При этом неоднократно подтверждалась верность старинного крымского изречения: «Чтобы вырастить ребёнка, нужна целая деревня».

Тщательный уход, повседневная забота о гигиене и здоровье детей сказывались и на продуманности и удобстве в использовании окружавших малыша предметов быта, игрушек и т. д. «Приспособленная у них детская люлька и обращение в ней с дитятей может служить уроком русской матери. Красивая и забавная люлька устроена точёной продолговатой клеткой, которая утверждена на полукруглых ободках, отчего при малейшем толчке переваливается с боку набок. В середине клетки натянута парусинка, на неё кладут матрац, но и то и другое с вырезанной круглой дыркой, в которую вставляют горшок. На матрац кладут дитя и пеленают вместе с одеяльцем, матрацем, парусинкой и люлькой довольно крепко, чтобы дитя не ворочалось, отчего оно не марает ни себя, ни бельѣ, и всегда сухо. Укачивая дитя в такой люльке, поставленной на полу, прикосновением ноги, у матери остаются руки свободными» (*Соколов*, 1869. С. 203—204). Имелись и самодельные ходунки, правда, без колѣсиков, как их стали изготавливать позже.

Ну а крымскотатарская многодетность, также обращавшая на себя внимание современников, объяснялась в немалой мере исламскими принципами, согласно которым высшая ценность — человек. Вот общество и воспроизводило основное своё богатство в максимально возможной, то есть ограниченной лишь экономическим потенциалом, мере. Отсюда, из этой религиозно-гуманистической традиции и нынешнее неприятие мусульманскими массами идей ограничения деторождения посредством абортов и пр. Тем более что семья располагала, как упоминалось выше, на редкость чадолобивыми отцами.

Европейские путешественники отмечали, что мужчины-татары крайне привязаны к семье и детям, они проводят дома всё своё свободное время и не тратят вне родных стен ни копейки (*Koch*, 1854. S. 42; *Milner*, 1855. P. 365). Это, конечно, некоторое преувеличение: а кто же тогда посещал кофейни? Но вот ещё одно любопытное замечание: «Все путешественники утверждают, что семейная жизнь [крымских татар] в высшей степени безупречна (almost unexceptionable), отличается гармонией между всеми членами семьи, любовью к порядку, трудолюбием женщин и преданностью дому мужчин... Уважение, которое жена питает к своему мужу, сравним лишь с отношением детей к родителям. Дети никогда не сядут в присутствии старших без разрешения, и при всяком подходящем случае они целуют руки отцу, матери и родственникам, испрашивая их благословения» (*Milner*, 1855. P. 365–366).

«Татары отличаются силой своих семейных привязанностей, своей любви к дому...» (*Barker*, 1855. P. 205). «Многие татары рассказывали мне о своей семье с истинным удивлением (gewissen Rührung), о счастье и покое их семейного быта, о том, что каким тяжёлым ни стал бы их труд ради куска хлеба, но в семье находят они награду за всё; и в самом деле не слышать здесь ни о жестоком, грубом отношении к женщинам, ни вообще о каких-то ссорах или конфликтах за невысокими этими заборчиками» (*Remy*, 1872. S. 67). «Никогда я не видела драки в татарской семье, никогда родители не бьют своих детей...», — записывала женщина, досконально знавшая не только Крым, но и Россию (*Врангель*, 1939. С. 18). И тёплые семейные отношения окрашивали все стороны крымской жизни: «Мне несколько раз случалось видеть, с каким дружелюбием члены татарского семейства делят между собою трапезу, и сколько раз приходилось мне заставить их за обедом ужином, они всегда приглашали меня принять в нём участие» (*Шатилов*, 1857. С. 18). «Женщины разговаривали с нами весьма непринуждённо, безбоязненно; они и их мужья были взаимно в высшей степени внимательны (верны, преданны — most assiduous. — *B.V.*) во всех отношениях» (*Buchan Telfer*, 1876. Т. I. P. 59). «Отношения супругов у татар лишены той суровой внешней холодности, которая так заметна на Кавказе» (*Бонч-Осмоловский*, 1925. С. 68).

Важнейший, на наш взгляд, результат воздействия такой семейной атмосферы на личность — воспитание детей в духе контактности, восприимчивости, терпимости, столь свойственных душе крымскотатарского народа. Недаром известная крымскотатарская пословица гласит: «*Къуш ювасында коргенини япа*» («Птица повторяет увиденное в гнезде»). Именно так, факторами семейной педагогики, объясняет современная этнопсихология развитие и противоположных качеств: не только взрослая жестокость по отношению к детям, но и простое равнодушие матери, увлечённость её иными жизненными интересами неизменно ведёт к раз-

витию в юной личности эгоистических и агрессивных черт характера. Идеальными же полагаются такие семейные традиции, которые наиболее свойственны патриархальной крымской семье. Об исключительной роли матери в созидании тёплой семейной атмосферы будет сказано ниже. Но и мужской вклад в этот процесс был значительным.

Свято соблюдалась первая обязанность хозяина дома, предписанная Кораном (4:128(129); 16:92(90)), — быть одинаково справедливым ко всем. Обычной в Крыму была и нечасто встречающаяся в других местах «присущая не только женщинам, но и мужчинам (выделено мной. — *B.V.*) материнская заботливость, стремление поддерживать и делять детей, приучать их к непрерывному теплому ощущению безопасности, защищать от агрессии и драк», отчего у ребёнка, а потом подростка «постепенно формируется личность добродушного, кроткого, восприимчивого взрослого» (*Стефаненко*, 1999. С. 110). То есть, с точки зрения исследователей и путешественников Нового времени, личность типичного крымца.

#### п) Любимые развлечения

Одним из самых доступных и повседневных видов развлечений были танцы, без которых не обходилось ни одно, даже самое скромное торжество, но которые устраивались и без особого повода. Почти обязательны они были до и после скачек, на любых иных общественных встречах вроде экзаменов на звание мастера и т. д. Возможно, мы не нашли бы в танце крымских татар ханского периода в точности соответствующий современности порядок их и рисунок — за два с лишним века кое-что не могло не измениться и в этой сфере этнической культуры. Однако описание танца середины XIX в., судя по всему, *хайтармы*, уже весьма близко к тому, что можно наблюдать в Крыму и сегодня:

«В весьма опрятной комнате, около стен, на мягких подушках сидят гости; умеренный, но весьма приятный свет проникает сквозь заклеенные тонкою бумагою окна. В углу у двери помещаются музыканты... Сначала раздаётся мелодия и две девушки выходят на середину комнаты, становятся одна против другой. Стан их высок и строен, и бесчисленные чёрные косички вьются по плечам. Лица их скромны, почти бесстрастны, и глаза устремлены вниз. Но едва так ускорился, как они приходят в движение, руки их поднимаются до плеч, редко выше, грациозно изгибаются; они начинают вертеться на носках, кружатся вместе и порознь и делают разные фигуры, простые и изящные... Движения их во время пляски до того просты и в то же время оригинальны, что их, в полном смысле слова, можно назвать эстетическими... Но звуки раздаются тише и медленнее, и с тем вместе замедляется пляска и прекращается вместе с мелодией» (*Шатилов*, 1857. С. 18–20).

Остаётся сказать, что танцам были «безумно преданы все татары» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 231). Исключение составляли разве что совсем дряхлые старики и старушки, которые предпочитали пение. Песенный репертуар крымских татар был огромен, набор мелодий тоже. Однако были тексты, пользовавшиеся особой любовью у стариков: о подвигах джигитов прошлых эпох, о дальних походах крымцев, вообще о старине.

Другим видом развлечений, также пользовавшимся всенародной любовью, были уже упоминавшиеся скачки. Они устраивались по любому поводу и без повода, в них могли участвовать не только лошади, но и верблюды, и даже ослы. Наиболее многолюдными были соревнования на приз среди джигитов одного *кадалыка*, и тем более обшкрымские, где победителя награждал сам хан. Такие соревнования собирали как мужчин, так и женщин, правда, рассаживались зрители порознь. При этом женщин, одетых в праздничные белые одеяния, бывало так много, что они занимали «длинную линию, которая походит издали на растянутое полотно ослепительной белизны» (*Кондарак*, ук. соч. С. 230).

В любом этноисторическом исследовании большой интерес представляют детские игры, особенно не встречающиеся среди других народов. Как верно заметил немецкий антрополог и педагог Герман Шиллер, человек — неважно, взрослый или дитя — лучше всего познаётся во время игры. Это замечание глубоко верно, так как игры отражают не только народный характер. В них при желании можно разглядеть процесс становления этого национального характера в маленьком человеке. И ещё одна особенность материала: в отличие от взрослых, которые часто притворяются (в том числе и неосознанно) заинтересованными в том или ином виде своей деятельности, дети играют искренне. Их невозможно заставить играть в игры, им не нравящиеся, или играть по непризнанным в детском обществе правилам.

Во что же играли наши малолетние предки?

Излюбленным предметом игр были мяч. Этих игр было немало, назовём только некоторые из них: *чукур-топ* — мяч в яме; просто *топ* — мяч; *топчек* — мячик; *арка топ* — «задний» мяч; *он* — десять, *кой-качты* — деревня перешла; *чалме топ* — игра, поразительно напоминающая русскую лапту или американский бейсбол; *арман топ* — круговой мяч; *коразчи* — петушок.

Игра с косточками животных — в основном, с бараньими — имела несколько видов, хотя назывались все они игрой *в ашики*. Эти игры менее всего носили национальную окраску, такие игры отмечены практически у всех народов. В частности, у русских они называются игрой в бабки. В Крыму, как доказывает в специальном исследовании, в такие кости играли со II в. до н. э. (*Буров*, 2006. С. 87).

Игры с камешками: *чобанчик* (в пастушка), *уч таш* (в три камня), *мормалы* (это слово перевести не удаётся). Иногда камешки заменялись крупными крымскими бобами, но условия игры от этого практически не менялись.

Игры с плетью или символизирующим её поясом: *тура* (плеть); *балык батты* (рыба пропала), *мырт* (юла, которую вращали плетью).

Подвижные игры, то есть спортивные, связанные с бегом или прыжками: *айгырчек* (жеребёнок); *кез-кез* (режь-режь); *селям, уста* (здравствуй, мастер); *мермерша* (мраморный шах?); *ал кёрдым* (красное не увидел); *узун ешек* (длинный осёл).

Игры творческого характера: *кёк буюнджи* (голубые бусы); *анам, эсмек* (мама, хлеба); *эшек-мешек сени сурур* (осёл-мосёл тебя ведёт); *алмалык* (захвати); *кыуччик* (птичка).

По определению специалиста, особняком стоят две игры: *шамар утти* (игра в ладони) и *фильджан ве юсук* (чашка и кольцо), как не поддающиеся типологизации (*Филоненко*, 1919. С. 243–246).

В практически всех играх, как детских, так и взрослых, присутствует фактор залога. То есть *человек играющий* (homo ludensis, по универсальному определению

Ф. Броделя) должен знать, ради чего он играет. Этим залогом у взрослых служат чаще всего деньги, иногда шуточные наказания, кое-где (в тюремных зонах) далеко не шуточные акции. Что же касается детей, копирующих взрослых, то у них также бытуют не только чисто условные, но и довольно жестокие (унизительные и т. д.) наказания для проигравшего — известно ведь, что дети отличаются от взрослых ещё и предельной, то есть неконтролируемой жестокостью.

В этом смысле крымскотатарская этнокультура каким-то образом уцелела (или ушла слишком далеко) от первобытной жестокости детских игр. Самым большим наказанием для проигравшего был даже не шелчок в нос или в лоб, а удар феской (*Филоненко*, ук. соч. С. 246). Напомню, феска шилась из шерстяной ткани, то есть была убором совершенно невесомым и при ударе никакой боли не причинявшим.

### р) Положение женщины в семье и в жизни

Для того, чтобы некрымскому читателю понять, в чём состоит роль женщины в татарской семье как жён и как матери, нужно обратиться к старым источникам. Они довольно противоречивы. С одной стороны говорится, что женщина — это драгоценность, требующая заботы и бережного к себе отношения. С другой стороны, она не живет сама по себе. Она существует лишь как мать, жена, сестра или дочь какого-то мужчины. Но это означает, что и мужчина обязан освободить женщину от несвойственной женской природе забот. Поэтому женщина свободна в выборе своей деловой деятельности.

Собственно, здесь нет никакого противоречия даже с современными нормами семейного уклада. Среди мусульманок классического периода истории ислама, да и Нового времени, примером гармонично развитой женщины оставался пример Айше, жены Пророка. Энергичная, деловая, самостоятельная и умная, она продолжила дело Мухаммада после его смерти, возглавив движение против нового халифа Али. Весьма заметную роль в истории мусульманства и, в частности, в зарождении и развитии суфизма сыграла арабская подвижница Рабиа ал-Адавийя (713–801 гг.). Её святая жизнь стала недостижимым образцом для многих тысяч современниц, её поэтические молитвы-импровизации, настоящие гимны божественной любви, распространялись в сотнях средневековых источников-копий<sup>1</sup>.

Возможности для появления такого типа женщин менялись с течением времени, иногда их становилось больше, иногда они исчезали полностью в результате расширительного, невежественного понимания смысла *бидаа* (ересь, нечто, противостоящее исламу), под которое могли подпадать все женщины. Одним из таких неодобряемых нововведений стало раздельное богослужение<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Вот одна из них: «О Господи, звезды светят, сомкнулись очи людей, закрыли цари врата свои... Всякий возлюбленный уединился со своей возлюбленной, а я теперь одна с Тобой. О Господи, если я служу Тебе из страха перед адом, то спали меня в нём, а если я служу Тебе в надежде на рай, изгони меня из него. Если же я служу Тебе ради Тебя самого, то не скрой от меня своей вечной красоты».

<sup>2</sup> Отделение женщин от мужчин во время молитвы, само по себе безобидное, тем не менее бросало некую тень на проблему женского равноправия. Но, конечно, это была всего лишь *тень*, ведь смысл равенства, в особенности перед лицом Бога во время служения ему, никакому сомнению в исламском обществе не подлежал. И уж конечно, этому

чего, кстати, *не требовал* ни сам Мухаммад, ни муджтехиды на протяжении нескольких веков после кончины Пророка.

Как в Средние века, так и в XVIII в. забота о материальной самостоятельности, об экономическом обеспечении женщины оставалась в исламском мире высоко актуальной темой. И, как замечалось, небезрезультатно: «имущественные права женщины [были] обеспечены шариатом в большей степени, чем многими европейскими сводами законов» даже в цивилизованном XX в., когда писались приводимые строки (Бартольд, 1992. С. 128).

На эту же сторону жизни мусульманки в традиционном обществе обратил внимание египетский публицист XX столетия Касим Амин, подчёркивавший, что шариат ещё «12 веков тому назад даровал женщине те права, которые западная её сестра получила только в этом столетии и лишь частично в истекшем... Наш закон ведь утвердил за женщиной право самостоятельного управления и полного распоряжения своим состоянием, он настаивает на её воспитании и обучении, не лишает её возможности заниматься каким бы то ни было ремеслом и специальностью, он подчёркивает её равенство с мужчиной до такой степени, что разрешает быть душеприказчицей мужчины, даёт право исполнять должность муфти и кади, то есть, право судить людей по справедливости... Между тем французские законы предоставили женщине право заниматься адвокатурой только в прошлом году» (Амин, 1912. С. 5–6).

В период до аннексии Крыма для матери семейства и жены крымского татарина считалось достойным проявлять свои врождённые и приобретённые воспитанием качества в узком кругу, то есть в семье. Между тем на Ближнем Востоке мусульманское Возрождение задело и женский мир, причём весьма ощутительно. Женщины, к примеру, Египта, начинали мало-помалу возвращаться к утраченным традициям общественной и профессиональной жизни. Достаточно сказать, что в начале XIX в. крупный общественный деятель Мемет Али-паша организовал в Каире работу первой женской медицинской школы, где готовили акушеров и врачей-терапевтов (Терджиман, 29. 09. 1897). Пикантность ситуации заключалась в том, что таких школ не было ещё ни в Европе, ни в Америке, принадлежавших к единой цивилизации, и где борьба за права женщин вспыхнула в те десятилетия ярче, чем где-либо в мире.

Для крымских татар, народа переимчивого, но, к сожалению, погружённого аннексией в трясину культурной изоляции, было совершенно невозможно заимствовать каирский опыт — для этого должно было пройти несколько десятилетий напряжённой работы. Но в Крыму это, по большому счёту, было и не слишком актуально. Дело в том, что здесь женщина издревле пользовалась свободой, невиданной в том же Каире или Стамбуле. Истоки таких традиций имели дальнейшее, монгольское происхождение. Действительно, согласно монгольским обычаям женщина обладала не меньшими, а в некоторых сферах материального производства и хранения культурных традиций и большими правами, чем муж-

бидая было далеко до действительно позорной традиции христианской церкви, которая издавна, ещё до эпохи фанатично-религиозных «процессов против ведьм», отталкивала «женщину с отвращением, как нечистое животное, сатанинскую змею, как воплощение вечной гибели мужчины» (Пишибышевский, 1897. С. 257).



Крымская семья. Литография неизвестного художника.

Из собрания музея Ларинцев

чина. Именно от своих далёких предков и заимствовали крымские татары особое отношение к прекрасному полу.

Такой вывод подтверждается давно отмеченным феноменом: по мере некоторой «османизации» крымскотатарской культуры (в период между XV и концом XVIII вв.) положение женщины стало приближаться к турецким образцам. Крымчанки стали медленно, но неуклонно утрачивать в обществе былые позиции, некогда выделявшие их, как уверяют, среди мусульманок *всего мира* (Matuz, 1976. S. 11). Далек этот негативный процесс зайти не успел. Но и в его условиях крымские женщины находили возможности раскрыть свои способности и душевное богатство на множестве точек приложения дарований и любви к семье, к своим ближним и дальним родственникам.

Множество источников, касающихся функций мужчины и женщины (и даже мальчиков и девочек) в семье и обществе XVIII в., говорит об одном: права и обязанности в те времена были разделены по половозрастному признаку гораздо более чётко, чем сейчас. То есть здесь не было всеобщего нивелирования, существовало стабильное равноправие женщины и мужчины но с чётким разделением их ролевых функций. Не слишком абсолютизируя сложившийся порядок, можно утверждать, что крымские татары приблизились в ханский период к идеалу, на подступах к которому Европа (о России умолчим) оказалась только сейчас, на пороге XXI века. То есть уже после того, как некий маятник качнулся сначала в сторону мужского деспотизма, потом — феминизма с его не менее уродливыми поведенческими искривлениями. Этот незримый маятник теперь устанавливается на золотой середине равноправия, давно, как выясняется, апробированной традиционным крымскотатарским обществом.

К слову, мужской деспотизм, свойственный не только Западной, но и Восточной Европе, имел истоки в истории христианских учений. Низкий (с церковной точки зрения) нравственный уровень средневекового общества, свободная сексуальная жизнь, её эксцессы, отвлекавшие паству от смиренного служения Богу, потребовали от католических клириков насаждения нравственности, хотя бы для сохранения значения религии. Причём насаждения насильственного, и на уровне, который устанавливали сами церковники. Они же избрали в качестве примерной жертвы слабейшую часть общества. Во всех пороках стали обвинять женщин, в том числе и в экстремальной телесной греховности. Это была вспышка действительного, а не ныне, задним числом «открытого» мужского шовинизма. В результате, как верно показал протестантский мыслитель Ж. Эллиоль, «Тяжёлым грузом морализация легла на женщин, которые по своей мягкости и душевности понесли на себе преобладающую часть запретов» (Цит. по: Биbihин, 1998. С. 211).

В исламе такой радикальной половой дискриминации не было, и быть не могло уже по причине совершенно иного подхода к физической природе человека, по доминирующей в шариате *человечности* нравственных и иных поведенческих норм. Такая человечность, её естественность были лучшей гарантией неизменно равного, бережного отношения исламского общества к женщине и ребёнку. Именно этой естественности и близко не было в сухохластических писаниях средневековых гонителей «ведьм». А также иных отцов Церкви, ставивших во главу угла собственные то есть, искусственные, духовно-эгоцентрические мечтания. К такому выводу приходят современные исследователи: «В евангельской вере нет никакой естественности, иначе Христу не было бы надобности страдать и умирать» (Биbihин, ук. соч. Там же). Подобная проблема чужда исламу, так же как мусульманке неизвестны многие проблемы, до сих пор тяготящие над женщинами наиболее ортодоксальных (прежде всего сельских) христианских общин.

На вопрос, каким образом гендерные функции (то есть обязанности и права, зависевшие от полового признака) распределялись, прививались и сохранялись в семейном и хозяйственном быту крымцев, ответ несложен. Как и многое другое в крымскотатарском обществе, это происходило благодаря прежде всего традиционной семейной экономике. Начиналось с того, к примеру, что мальчики начинали одевать в мужскую одежду с одного года, когда он ещё и ходить-то не умел. В том же нежном возрасте девочек старались наряжать в красивые платьица, прокалывали им ушки для серёжек и т. д. Позже такое раздельно-половое воспитание распространялось и на типы поведения — мужской и женский.

То есть детей с нежных лет знакомили с неким традиционным, хоть и неписанным статутом, где всё до мелочей было разложено по полкам: что прилично для мальчика и что для девочки. А когда детишки подрастали до 7–8 лет и начинали принимать участие в трудовой жизни семьи, то здесь разделение обязанностей шло по тем же двум, нигде не пересекающимся руслам. То есть мужскому и женскому. Девочки помогали матерям и старшим сестрам, мальчики исполняли сугубо мужскую работу. Можно спорить о правомерности такого жёсткого разделения на группы по половому признаку, но насилия тут никакого не было. Ведь даже оставаясь без присмотра взрослых, свободно выбирая норму поведения, мальчики предпочитают играть с мальчиками, а девочки — с девочками.

И это было разумно исходя из современной точки зрения на проблему. Уже сделаны выводы, целиком оправдывающие такую воспитательную бескомпромиссность. Мальчики благодаря постоянному нахождению в мужском обществе, увлеченности мужскими занятиями, участием (пока пассивному) в беседах на соответствующие темы, мужали быстро. Причём практически без известных и ныне проблем, неотъемлемых от переходного (пубертатного) возраста. Так называемая «подростковая ломка» была в Крыму попросту неизвестна. Выполняя всё более сложные трудовые операции, мальчики рано проникались чувством спокойного достоинства, в их среде как бы сами собой зрели такие качества, как настойчивость, трудолюбие, презрение к боли и усталости, мужество, уважение к мастерам своего дела, вообще к старшим. А также стремление к развитию собственных навыков, умений и знаний, выносливость<sup>1</sup>.

Соответствующее благоприятное воздействие такое воспитание оказывало и на будущих женщин. В девочках естественно раскрывались и развивались заложенные в женской природе исключительно положительные черты и качества. Главными из них были целомудрие, бесконечная любовь к младшим сёстрам и братьям, затем к собственным детям, преданность их отцу. Но не менее важными в грядущей жизни были с молодых ногтей привитые трудовые навыки, тонкое понимание прекрасного, позволявшее создавать признанные шедевры на ткацком станке или за пядьцами, бесконечные терпеливость и воля, позволявшие преодолевать любые трудности и удары судьбы. Именно такая женщина могла быть достойной подругой и спутницей жизни крымца.

В крымскотатарской семье уже в XVIII в. муж и отец знал, чего требовать от женщин своей семьи. Но он знал и то, что *вправе* требовать чего-то, лишь *если сам* выполняет свои чётко определённые обязанности (Коран, 4:38(34)). В том числе такой важный долг, как всесторонняя забота об этих женщинах, старых и малых. То есть защита их чести, благосостояния и достоинства, включая сюда избавление их от несвойственных женщине трудов и занятий. Женщин и детей берегли не потому, что видели в них какую-то неполноценность (так, по крайней мере, оскорбленно заявляют феминистки), а просто как существа более слабые чисто физически, не более того<sup>2</sup>. Женщина никогда не носила тяжёлые кувши-

<sup>1</sup> Психологи и сексологи утверждают, что именно такое, подчеркнуто мужское воспитание сводит практически к нулю всевозможные отклонения в поведении юношей и вполне взрослых мужчин (соответственно, и женщин). Гомосексуализм, который, что бы ни говорили его апологеты, лишь крайне редко является клиническим проявлением сексуальных аномалий, то есть врождённым отклонением. Он вызывается в огромном большинстве случаев результатом нравственных или психических нарушений в половом воспитании подростка, вызванных стиранием половых различий в мире взрослых, феминизацией мужской части общества и т. д. В нашу задачу не входит оценка этого мнения, но факт остается фактом: при упомянутом выше методе воспитания гомосексуализм был среди крымских татар рассматриваемого XVIII, а также XIX и более поздних веков, вообще неизвестен (Бекирова, 2001. С. 5).

<sup>2</sup> Есть обоснованное мнение, согласно которому даже ювелирные драгоценности и бижутерия, шали, чадра, баш-макраме и прочие аксессуары костюма играли роль не только и даже не столько украшения, сколько психологической *защиты*. Это была завеса, стоявшая между окружающим суровым миром и нежной женщиной: именно она, как любая дружная «хрупкая, незащищённая ценность всегда должна быть скрыта от постороннего взгляда»

ны и корзины с базара — это была обязанность мужа. Это не говоря уже о том, что крымские татарки были избавлены от самого, с нашей точки зрения, ужасного в русском традиционном сельском быту: почти постоянных избиений мужем, свёкром, а то и подростком сыном, а также нещадной физической эксплуатации.

Прибегая к испытанному методу сравнения, начнем с первого явления как более простого. Физические наказания женщины, известные в славянском мире, были в Крыму вещь вообще неслыханной. Хотя бы уже оттого, что при этом покрыв бы себя несмываемым позором сам мужчина. Ведь поднять руку на взрослую женщину или даже малолетнюю собственную дочь считалось не только подлостью, но и — что ещё страшнее — трусостью! Более того, даже грубые жесты или слова в адрес женщины были для крымцев в массе абсолютно нехарактерны и недопустимы, и по той же причине (Spenger, 1836. P. 136).

Что же касается канонических предписаний, которые в жизни, увы, не всегда выполняются, то и здесь мы находим те же самые запреты. Хадисы не только не допускали возможности физического насилия над слабым полом, но некоторые из них прямо указывали на угодность для Аллаха доброты в отношении к женщинам: «Лучший из вас тот, кто добр к женщинам в своём доме» (Цит. по: Isik, 1970. P. 136).

А уж если крымскотатарская женщина достигала зрелости, то и уважение к ней оказывалось на совершенно особом уровне. Она становилась независимой в своих поступках и суждениях, а когда приходила куда-нибудь в гости, то хозяин-мужчина неизменно предоставлял ей самое почётное место (Schlatter, 1836. S. 294). И ещё одно свидетельство о месте такой крымской дамы: «Матрона прохаживалась среди гостей, исполненная достоинства и окружённая уважением остальных домочадцев, а не носилась взад-вперёд, как это мы видели у гяуров» (Scott, 1854. P. 226). Ислам подчёркивал огромное значение женщины как основы физического существования дома. Но и его духовной жизни — тоже, наделяя хозяйку, мать и жену высоким, ёмким титулом *поля засеянного, плодоносящей* (Коран, 2:223).

Что же касается физического труда, то у татарки не было причин говорить о своей жизни после свадьбы, как это бывало в России: «влезла в хомут». Его не было, поистине векового хомута, который, в самом деле, до смертного своего часа тянула русская баба. И от которого её не избавляло ни грудное дитя, ни немота, ни возраст. Всем ведь памятна картина передвижников, где в степной меже, на солнцепёке, лежит младенец, а юная кормящая мать тут же надрыгается на уборке хлеба — сцена, для Крыма совершенно немыслимая и просто дикая в своей бесчеловечности. Но и это было не всё — за пределами ханства. «Мученицей делали женщину не только труд, но и несправие, зависимость её от мужа, отца, свекрови и то, что её роль работницы находилась в постоянном противоречии (курсив мой. — В.В.) с её же ролями жены и матери» (Вишневский, 1998. С. 137).

(Творчество, 1991, № 9, 13). И поэтому ювелирные изделия были так обильны, что это могло показаться чрезмерным. Именно по этой причине женщина, войдя в безопасную пору зрелой силы и достоинства, обычно без сожаления расставалась с ними, оставив всего несколько наиболее любимых вещей. Общеизвестно, что в Европе, где такие аксессуары действительно играют роль только украшений, там и пристрастие к драгоценностям у женщин с возрастом изменяется в прямо противоположном направлении.



Старинный мектеб для девочек. Занятия пением на свежем воздухе. Гравюра О. Раффе. Из коллекции музея Ларинское

Истоком крымской традиции был, конечно, шариат (а возможно, и какие-то более древние местные обычаи). Доказательством тому служат как схожие нормы в других мусульманских странах, так и неизменяемость их со временем и, что ещё важнее, в результате самых радикальных реформ.

Так в Турции, наиболее секуляризованной из стран исламского мира, и в начале XXI в. муж не имел никакого права принудить жену работать в поле, на заводе или в каком-нибудь ином месте вне дома. Конечно, если она сама этого хотела, то это было вполне дозволено (нежелательной была лишь работа в смешанном коллективе). Но всё, что жена зарабатывала таким образом, — было её личной собственностью. Муж не мог потребовать у неё её заработок. И даже (по слову закона), если это была плата натурой, он не мог отобрать продукты или другие товары, даже возместив ей их стоимость деньгами. Более того, муж не имел права заставить её работать в доме, если она этого не хочет. «Женщина, исполняя домашнюю работу, как бы приносит её в дар своему мужу, как символ её благоволения (favour) к нему. И в этом — добродетель, достоинство мусульманки. В этом — осознание её благородства (noble feeling). Эта норма воплощает стремление ислама стоять на страже прав женщины, защищать её от угрозы порабощения, превращения в игрушку в руках мужчины» (Isik, 1970. P. 135).

В Крыму женщина была *только* Жена и Мать. Она никогда не была рабочим скотом. Этого не позволил бы ни один уважающий себя мусульманин — будь он ей отец или муж. На ней, повторяем, был только дом. Да и здесь часть дел возлагалась на мужчин. В рукописи старинного путешественника по Крыму

находим: «Татары всеми силами стараются доставить в дом всё то, что служит к спокойствию их (то есть женщин. — В.В.) жизни» (ОР РНБ Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 25–25об.). И, конечно, женщины были полностью и безусловно избавлены от необходимости покидать свой дом для работы на кого-то, пусть даже необременительной. То есть, на хозяина или даже группу её нанявших хозяев или общины.

Правда, за одним исключением: в Крыму издавна были известны женщины-мудеррисы. Как правило, эту почётную обязанность брали на себя жёны мулл и хатипов. Но это было почти семейное занятие: пока муж преподавал мальчикам, его жена в том же мектебе учила девочек (*Holderness*, 1821. P. 22). И такая ситуация сохранялась даже спустя десятки лет усиленных попыток российских властей искоренить крымскотатарскую просвещенческую, письменную культуру: «Женский татарский пол весь грамотный», — со смешанным чувством удивления и невольной зависти записывал в почти столетний юбилей аннексии русский историк и известный публицист (*Ливанов*, 1875. С. 42). Этот факт находит объяснение в немецком сочинении: «Некоторые женщины не пишут, но читают все, иначе они были бы плохими мусульманками» (*Kohl*, 1841. S. 270).

Кстати, женщине не воспрещалось и руководить учебным заведением. Впрочем, приводимый пример относится к довольно поздней эпохе и неизвестно, бывало ли так ранее. Княжна Пембе-ханум из известного рода Балатуковых открыла в 1893 г. новометодное мектебе для бахчисарайских девочек, во главе которого стояла до самой смерти, последовавшей в 1905 г. (*Терджиман*, 29.03.1905). Встречались и женщины-муллы; об одной из них, жившей в Бахчисарае, и, между прочим, успешно лечившей людей молитвами, писал И. Гаспринский: «Слава женщины-муллы ходила по городу...» (*Терджиман*, 15.07.1883).

Конечно, этот факт был далеко не единственным в своём роде. Недаром известный этнолог Г.А. Бонч-Осмоловский и в 1920-х гг. находил остатки подобных древних обычаев в полузaduшенной царскими и советскими колонизаторами крымскотатарской деревне. Более того, этот учёный был, пожалуй, единственным в России и за рубежом, кто понимал значение новой просвещенческой деятельности (сейчас он встретил бы немало единомышленников в академических кругах Запада и Востока). Российский учёный утверждал, что крымская татарка (не только преподавательница) свободна более, чем женщины других тюркских народов. И такой свободой она обязана исключительно древним традициям, которые именно в Крыму сохранились, как нигде более в исламском мире (*Бонч-Осмоловский*, 1926. С. 22).

Но вернёмся к быту крымской татарки. Как уже говорилось, совершенно домашним ремеслом, и одновременно развлечением, а также широким полем применения её творческих, художественных возможностей было рукоделие. Женщины и девушки учились друг у друга, обменивались выкройками и эскизами орнаментов, узорами вышивок и кружев не менее охотно и увлечённо, чем их современницы во Франции, Италии или России. При этом крымские татарки достигали вершин мастерства в своём деле — это признавали люди, повидавшие свет. Навестив в Каралезе вдову знаменитого генерала Балатукова, которая показала рукоделие собственное и дочери князя, столичная гостья не могла не заметить, что и «в Париже подивились бы такой работе» (*Шишкина*, 1848. С. 122).



Бахчисарайский мектеб «Арслан-агъа» для девочек.  
Фото из архива Исмаила Асаноглу Керима

Эта народная отрасль играла осязаемую роль и в семейной экономике. Рукоделие было настоящим ремеслом, правда, единственным, которое не было оформлено по цеховому принципу. Тем не менее из века в век оно оставалось «по всему нашему востоку в большом почёте, и служило не только для домашнего обихода, но и для целей экономических. Эти мусульманки и мусульманские девушки ткнут прекрасные ковры, шали и вышивают прекрасные дорогие подушки, покрывала, одеяла, платки и т. д., коими мы часто любимся» (*Терджиман*, 03. 12. 1899). Полотенца и салфетки, украшавшие стены как богатых усадеб, так и простых хижин, отделялись тонким кружевом, качество и орнамент которого восхищали даже французских знатоков (*Famin*, 1846. S. 29) — это дорогое украшение также изготавливалось женщинами дома собственноручно.

То есть имело место действительное разделение не только семейных обязанностей, но именно труда ради добычи средств существования и удовлетворения эстетических и нравственных потребностей мужчин и женщин крымской семьи. В упоминавшейся выше рукописи российского путешественника М.И. Дмитриевского читаем: «Между тем как Татары целый день проводят вне дома, занимаясь различными работами и торговлею всякого рода, в то время Татарки упражняются в домашней Экономике: они смотрят за скотом и птицею, шьют бельё, прядут, ткнут и белят холст, который по доброте своей не уступает Анатолийскому, вышивают полотенца разными шелками и золотом, ходят сами за детьми, и наконец, по наступлении вечера, когда муж возвратится с рынку, верная чета,

в кругу своего семейства, наслаждается плодами трудов своих» (ОР РНБ, Ф. 487, Д. 393 Q. Л. 28–28об.).

Но всё же главной обязанностью женщины-матери оставалось воспитание детей. Поэтому всегда уделялось столь большое внимание женскому образованию, воспитанию девочек в духе высокой порядочности, честности, доброты, чистоплотности, участливости. Ведь такие традиционные достоинства крымских татар будущие поколения должны были впитывать буквально с молоком матери. Не случайно о чрезвычайной важности женского образования так настойчиво говорил Исмаил Гаспринский; он развил традиционное отношение к этой стороне духовного просвещения в среде коренного народа Крыма: «...читающая, грамотная девочка в десять раз полезнее такового мальчика, ибо девочка — будущая мать и естественный, первый учитель своих детей» (*Терджиман*, 21. 05. 1884).

Уже в первые годы после аннексии поселившиеся в Крыму русские чиновники и помещики испытывали немалые трудности с наймом горничных, кухарок, нянь, служанок и т. д., поскольку русских женщин-недворянок в новой колонии пока почти не было. Что же касается крымских татарок, то, несмотря на необычно высокую оплату такого труда (предлагаемые цены были попросту несравнимы с «материковыми» — выхода-то у бар не оставалось), не было отмечено ни одного случая, чтобы какая-либо из них соблазнилась высокой оплатой столь унижительных для свободной женщины занятий (*Craven*, 1855. P. 30). Конечно, это была старая традиция, которую можно назвать и предрассудком, но она показательна именно для положения крымскотатарской женщины в традиционном обществе.

В то же время о каком-то действительном ограничении свободы женщины и речи не было: «Татарки Крыма... едва ли не пользуются большими правами свободы по сравнению с нашими женщинами: они отлучаются из домов своих, куда бы ни пожелали, ничего не говоря об этом мужьям, которых в течение всего почти дня не бывает дома и которые совершенно не интересуются знать о том, что делает их жена во время их отсутствия; но отлучки из дому как-то самими татарками не приняты в будние дни... Чаше всего они отлучаются зимними вечерами к соседкам на лафы (беседу) и в баню... под качели, на скачку лошадей и свадебные вечера» (*Кондараки*, 1883. Т. II. С. 226). Такая свобода распространялась на всю женскую половину крымскотатарского дома. Ведь жёны мурз обычно, нанося друг другу визит, забирали с собой всех девочек-подростков, всех «невест» на выданьи, включая служанок, так что удовольствие было всеобщим. Причём в гости они ехали на нескольких мажарах, и каждая из дам спускалась на землю «с такой церемонностью, как будто это была парадная карета (state coach)» (*Holderness*, 1823. P. 228).

«Мусульманские женщины — не пассивный инструмент в руках их супругов. Напротив, говорят, что они руководят всеми домашними, семейными делами чрезвычайно деспотическим образом (with most despotic way)» (*Jones*, 1827. С. 244). Русский автор сообщает, что после пятничного посещения мечети эти дамы посвящают остаток дня отнюдь не постным благочестивым беседам: «Оне выходят из гарема (здесь, конечно, имеется в виду женская половина татарского дома. — В.В.) куда желают с закрытыми лицами, принимают к себе гостей, веселятся между собою, не имеют отказа в своих уборах и удовольствиях. Повелевающие мужья становятся в свою очередь их подвластными, и таковое их состояние, от рождения

в привычку обратившееся, становится отнюдь для них не обременительным» (*Сумароков*, 1803. Т. II. С. 44). Почти аналогично мнение ещё одного русского наблюдателя о том, что женщина у крымских татар «имеет голос в семье и пользуется большим уважением» (Крым и крымские татары, 1883. С. 26).

Возвращаясь к теме свободы женщины, стоит заметить, что она проявлялась ещё и в том, что любая девушка-сирота или выросшая в крайне бедной семье имела обоснованную надежду на то, что к свадьбе у неё будет приличное приданое. Это имущество (обычно состоящее из домашней утвари, постельного и нижнего белья, одежды и скромных нарядов, то есть самого необходимого в будни и праздники) собиралось односельчанами путём добровольных пожертвований; такой обычай был распространён в абсолютно всех сёлах и городах Крыма (*Holderness*, 1821. P. 30–32).

Таким образом, по ряду причин в современном феминистском движении (имеются в виду все его разновидности — от святого гнева на мужчину, подавшего даме пальто, до мата как средства самоутверждения юных девушек в общественных местах) здесь не было нужды. Оно и возникнуть-то в Крыму никак не могло, потому что не было здесь мужского деспотизма, или, как говорят на Западе, мужского шовинизма.

Что же касается принятия самых серьёзных решений в семейной жизни, то, как неоднократно указывалось выше, и здесь ситуация весьма напоминала сегодняшнюю. При внешне решающем «мужском голосе» само решение это исподволь (а то и вполне откровенно) готовилось мудрой женщиной. Причём не только в семейных, а и во всех остальных делах, на всех уровнях, включая государственный. И этот порядок, что любопытно, не представлял из себя особой тайны, его не стыдились. О его господстве в семье Гиреев, к примеру, знали не то, что подданные хана, а и московские посланники, то есть люди, жившие в Бахчисарае без году неделю. Так, они писали домой об отношениях хана («царя») Ислам-Гирея со старшей женой: «И он, царь, всякое дело царственное думает всё с нею» (Цит. по: *Новосельский*, 1994. С. 19).

Особого рассмотрения требует мусульманская традиция многожёнства. Обычные представители иных культур считают его нарушением прав женщины. Менее известна другая точка зрения: именно в полигамии проявляется высшее уважение к женщине, забота о ней. Ведь только в исламском обществе практически нет одиноких, бессемейных женщин с перечёркнутой судьбой, безысходная трагедия которых явна не только мусульманам. В исламском же мире каждая из сестёр Евы имеет гораздо больше шансов на то, что ей «достанется» муж. В ситуации же, если она будет всего лишь одной из жён, драму искать не стоит. Ведь сам по себе полигамный брак — дело вполне добровольное.

Эта высокая оценка женщины, преклонение перед её неповторимыми качествами, к счастью, сохранилась в этнической культуре до сих пор. Вот как теоретически обосновывает многожёнство современная, но бесспорно основанная на многовековых местных традициях, крымскотатарская этическая и эстетическая мысль: «Ислам не против естественных (неконтролируемых) инстинктов, а, наоборот, за их разумное и полноценное удовлетворение, ведущее к гармонии, посылаемой с дозволения Всевышнего. С другой стороны, основное предназначение человека — это создание себе подобных, с целью увеличения мусульмов,



рабов Божьих. Женщина, наделённая качествами деторождения, — самое совершенное создание, она обязательно должна быть женой и матерью. Перед ней мы преклоняемся. Бог создал женщину особо привлекательной, её тело вызывает сексуальное возбуждение у мужчины. Это именно так, а не наоборот, и связано с необходимостью зачать ребёнка. Наша задача — использовать Божий дар разумно и целомудренно» (*Куртбединов*, 1999. С. 4).

Это не «новомодные» выкладки современного теоретика. Веком ранее другой исламский мыслитель разъяснял, что Пророк, вступая в брак с более чем одной женщиной, проявлял лишь благородное самопожертвование, совершенное самоотвержение и великодушие в отношении своих жён (*Мир-Али*, 1902. С. 396). Да и объективные русские мыслители конца XIX — начала XX вв., времени, когда «женский вопрос» был поднят на небывалую высоту, не могли не согласиться с такими резонами.

Обращая внимание на внешне некрасивых женщин, для которых брак проблематичен, один из них верно отмечал: «Конечно, можно надеяться на охотную женитьбу на таких лишь при многоженстве, которое да будет благословенно между прочим именно за это, что при многоженстве возможно брать некрасивых, космических „сирот“, космическое „божество“, производя от него иногда красивейшие лозы: ибо „убогие“ с лица своего, в поле бывают часто гениальны, восприимчивы, страстны... Уверен, что доля избраннычества Богом Магомета объясняется любовью и верностью его, ещё в 17 лет, к 40-летней милой Халидже: только на небесах известно, а не у пустых людей, как было отраднo Богу, что он так любил и никогда — уже женившись на других — не обидел свою Халиджу, бывшую тогда „беззубою старухою“, как её ревниво называла младшая из Магометовых жён, прекрасная Айше. Хотя он безумно любил её, последнюю, но не переставал и в это даже время любить, ласкать и нежить Халиджу». (*Розанов*, 1994. С. 259–260).

Согласно этой же точке зрения, человек вообще по природе своей — существо полигамное, отчего и происходят супружеские измены. Нельзя сказать, что они не встречаются в исламском мире, но, учитывая куда большую согласованность быта мусульман с нравственными нормами шариата, вряд ли будет ошибкой предположение, что таких нарушений морали здесь куда меньше, — и именно по причине узаконенности зова природы, а не вопреки искусственно придуманным запретам. И не так уж нелогично заключение турецкого исследователя: «Если мусульманин живёт с 4 жёнами, то европеец — со многими женщинами» (*Isik*, 1970. С. 158). И кто же более безнравствен? Ограничимся здесь лишь постановкой вопроса, проблема эта только намечена, и конечно, требует дополнительной разработки.

Впрочем, справедливость приведённых выводов для Крыма накануне аннексии отчасти подтверждает факт вполне реальной полигамии, естественной для русского села того же периода, да и более поздних эпох тоже: «Во многих сёлах отец женит своего восьми- или девятилетнего сына на девушке гораздо старше его, с целью, как он говорит, иметь в доме лишнюю работницу; между тем он сам сожительствует со снохой и нередко имеет от неё детей... Таким образом, оказывается две хозяйки: одна — законная жена хозяина, которая по годам могла бы быть его матерью, и другая, выдаваемая за жену сына, но в сущности сожительница отца» (*Размышления*, 1996. С. 337). Явление *снохачества* длилось и в XIX в.,

оно почему-то возмущало русскую интеллигенцию, о нём вообще «тогда много писали», да всё без толку (*Вишневский*, 1998. С. 145). Как говорится, гони природу в дверь, она влезет в окно...

Остаётся заметить, что именно в Крыму абсолютное большинство семей было всё же *моногамным!* Здесь редко кто даже из богатых татар имел двух жен, а уж трёх — это исключительный случай (*Holderness*, 1823. P. 240; *Reully*, 1806. P. 158). Ещё один современник, М.И. Дмитриевский, утверждает в своей рукописи, что вообще «даже их Мурзы и Беи имеют по одной только жене» (ОР РНБ, Ф. 487. Д. 393 Q. Л. 180б.). Чем же объяснить такую почти стопроцентную, несмотря на свободу многоженства, моногамию в Крыму? Материальный фактор отпадает сразу — выше говорилось, что и у богатых музр многоженство было большой редкостью. Остаётся духовный. И здесь чрезвычайно убедительной выглядит одна особенность крымских семей, подмеченная иностранцами: оказывается, в них признавалась самоценность каждого члена семьи, а мужья любили своих жён (об этом см. ниже)!

Ещё одну из чисто женских проблем представляло собой такое пресловутое «нарушение естественных прав женщины», как ношение чадры. В разделе о женском костюме уже упоминалось о более сложной, чем это может показаться, природе самого обычая женщины, а ещё более — девушки, укрываться от посторонних глаз. Но и этот вопрос практически решался самими дамами, причём в разных семьях (или же районах проживания) допускалось и различное его решение. О сельских женщинах Байдарской долины имеется такое свидетельство: «[Они] тщательно закрыты белым полотном, которое они обыкновенно носят на голове. Вообще они старались избегать нас, когда увидят, если же они не могли избегнуть нас, то отворачивались в сторону, дожидаясь, пока мы пройдем; иногда, которые молодые у них, открывали глаза, но старые всячески укрывались. Мы судили о различии возраста по их оборотам и по походке. Однажды мы увидели двух, мывших платье в ручье на нашей дороге; они были без покрывал, и [так] как были обращены в другую сторону, то и не видели, как мы подошли. Любопытствуя посмотреть на черты их лица, я пошёл пешком и отошёл уже несколько вперёд. Шум ручейка препятствовал им слышать наши шаги, так что я уже был гораздо подле них, как они заметили меня. Которая была моложе, та закрыла лицо, помирая со смеху, а которая старше, кажется, сердилась, закрывая голову чёрным платьем» (*Гутри*, 1810. С. 96).

Та же картина у Старого Крыма, где автору-иностранцу встретились две девушки, но уже в совершенно безлюдном месте: «...встреча наша показалась им не неприятною; оне закрыли лицо руками, но это, по-видимому, сделали для смеху, дозволяя притом видеть черты их глаз... одна из них была прекрасна... [шедший сзади её отец] не показывал неудовольствия в сей встрече» (Там же. С. 130). Но одно дело отец, другое — мулла. «Мы встретили [в окрестностях села Алушта] девушку, шедшую к ручью с кувшином за водой. По ней было видно, что она не очень уж застенчивая, да и покетничать не прочь, она болтала с нами, пока не появился какой-то мулла, отчего она тут же с поспешностью удалась» (*Jones*, 1827. P. 283). Примерно такой же была реакция на встречу с незнакомыми чужеземцами у девушек Кучук-Узенья, Туака и других алуштинских сёл. Их лица также «были не прикрыты ничем, они отворачивались от иностранцев, если

поблизости был кто-то из их знакомых, а если нет, то играли глазками не хуже искусственных [западно]европейских красавиц» (*Jäger*, 1830. S. 63–64)

И, конечно, жительницы крымских городов чувствовали себя не менее свободно, чем, собственно, горожанки всего мира. Да и городские мужья более охотно приглашали свою «женскую половину» на приём, устраиваемый для гостя. Так, в Гёзлёве, лишь благодаря такому приёму, скептически настроенный путешественник убедился в том, что «Козловские женщины заслуживают всяческую похвалу, потому что та, которую нам удалось видеть, была настоящая красавица. Её чёрные густые волосы были перевязаны шёлковым платком; глаза у нея были чрезвычайно светлые, взор кроткий, головка миловидная, шея отличалась чрезвычайно белизною. На ней было платье, шитое в виде шлафрока, и плотно прилежавшее к телу, узенький галстучек, покрытый золотым и серебряным шитьём, шаровары и серебряные туфли. Хотя мы вошли к ней невзначай, однако ж она не смутилась; но к величайшему нашему неудовольствию очень скоро ушла в другие комнаты» (*Демидов*, 1853. С. 228–229).

А в Гурзуфе жена хозяина вошла в его отсутствие в гостевую комнату, мило поздоровалась с русскими путешественниками, поставила перед ними тарелки с орехами и сладями, «чтоб нам не было скучно», однако не вступила с ними в непринципиально длительную беседу. При этом гости не могли не отметить, что «здесь женщины не дичатся, как в Грузии» (ОР РНБ, Ф. 225. Д. 6. Л. 14). Там же, на Южном берегу путешественника могли пригласить и в гинекей, в комнаты жены хозяина, что немисливо для горцев или степняков. Но так бывало: «...путник был принят на женской половине дома. Не только он, но и любой на его месте был бы удивлён, обнаружив вдруг себя в кругу танцующих и веселящихся женщин, в то время как мужчины тоже развлекались, но в другом месте дома» (*Montandon*, 1834. P. 163–164). Всё же это случай — редчайший, скорее всего, такое необычное внимание гостю было оказано лишь из снисхождения к его научным интересам или любопытству иностранного путешественника.

Нарушим традицию, попробуем обогнать время. Интересно ведь, кем станут герои истории (в нашем случае — героини) в будущем, в XIX веке. Такой эксперимент не может не помочь нам понять их, а также заложенные в крымской женщине возможности, потенции. Тогда нашему взору представится, к примеру, жилище крестьянина одного из салгирских сёл, Мамут-Султана: «Три юные женщины вошли во всей своей неприкрытой (или «открытой» — *unveiled*) прелесть в комнату. Одна из них была очень красива. Две другие выдержали бы самую критическую оценку. У всех трёх глаза были в точности такие, о каких гремит любой мусульманин, представляя себе гурий... Вначале они держались довольно робко. Потом, совершенно очевидно сравнив нас со своими мужьями, пришли к выводу, что мы не слишком опасны, и попросили нас показать им некоторые места на имевшейся у них географической карте» (*Scott*, 1854. P. 227).

В упомянутое время женщины Крыма, по словам немецкого этнолога, уже «не прячутся боязливо от взглядов чужих мужчин, и мужья обходятся с ними не как с товаром. То есть относятся к ним куда лучше, чем их единоверцы в Азии» (*Koch*, 1854. S. 42–43). Такое положение крымской татарки в семье и обществе не могло не иметь столь же необычных последствий, как, впрочем, и другие реалии Крыма. Свобода крымскотатарской женщины, с которой не обращались как с

рабыней, попросту не могла не принести своих плодов. Мудрое и доброе отношение крымского татарина к спутнице жизни и любимому человеку воздавалось сторицей. Причём не только в тонких и не всегда уловимых отношениях жены и мужа (нежное и уж, безусловно, честное отношение крымской татарки к её супругу отмечалось столь часто, что нет нужды в ссылках). Такое уважение к жене, как справедливо замечали наиболее тонкие из авторов, писавших о Крыме, «воздаётся мужу почтением, с которым относятся к нему и его жене их дети» (*Milner*, 1855. P. 366).

Интересную проблему представляют собой перемены в нравственной атмосфере общества, потерпевшего военное поражение и буквально раздавленного физическим и культурным насилием захватчиков. Отмечено, что на таких оккупированных территориях, как правило, «женщины принадлежат победителям, выявляя своим безошибочным выбором то, что деликатно именуется *сменой приоритетов*» (*Новая Газета*, 2–3.07.2002. С. 14). Действительно, в истории завоевательных войн мы находим массу примеров тому, что пришельцы смешиваются с аборигенами. Процесс такого слияния основан почти полностью не на насилии, а на упомянутом свободном «перспективном выборе» женщин побежденного народа или племени.

В Крыму после аннексии этого не произошло. Случаев, когда крымская татарка вышла бы замуж за русского, не отмечено ни разу, ни у одного из сотен авторов, писавших о Крыме конца XVIII — начала XIX в., да и более позднего времени тоже. Выяснение глубинных причин этого необычного феномена предоставим специалистам. Здесь же просто отметим: для крымских татарок «безошибочный выбор», о котором говорилось в последней цитате, оказался неприемлемым. Зато они все стопроцентно проявили *безошибочный вкус*, предпочитая крымских, а не пришлых мужчин...

И последнее замечание, касающееся «женской проблемы», снова в её далёкой перспективе. Положение женщины в крымскотатарской семье не изменилось и после всех болезненных перемен, принесённых в народную жизнь аннексией и колонизацией. Очевидно, оно было более стабильным, чем многие иные культурные реалии, в дальнейшей истории народа непоправимо искажённые или даже ликвидированные. Женщина сохранила свой статус, но произошло это во многом благодаря пониманию крымскими мужчинами её роли в жизни семьи и села. «Бабий бунт», отмеченный русскими авторами в конце XIX в., стал предвестником действительно необходимой в России эмансипации. А её причиной было российское семейное «нравственное гниение» (*Вишневский*, 1998. С. 132). Не хочется здесь углубляться в страшный мир традиционной судьбы русской бабы даже в Новое (а кое-где и в Новейшее) время. Желающие могут прочесть по этому поводу массу повестей, рассказов и научных статей, написанных русскими же авторами. Особенно интересна в этом смысле статья мирового судьи царского ещё времени Я. Лудмера, которая так и называется *Бабы стоны* (Юридический вестник, 1884, № 11. С. 446–467; № 12. С. 658–679).

Там нет ни доли фантазии, автором-юристом описаны только действительные случаи из быта русской деревни и мира городских мешан. Но эти зарисовки обычных случаев способны повергнуть современного читателя в ужас. А если он из Крыма, то наверняка возблагодарит Всевышнего за судьбу своих прапра-бабок,

имевших мужьями настоящих мужчин, а не трусливых мужиков, отводивших душу, как и положено рабам, на ещё более слабых — на женщинах и на вовсе уж беззащитных детях.

Впрочем, в современном крымскотатарском семейном быту важнейшие компоненты былой гармонии сохранились во многом благодаря особым качествам крымской женщины, также уцелевшим в бурях непростой истории народа (подробнее см. в: *Абиева Д.* Коллективные ценности в культуре крымских татар // А., 06. 11. 2006. С.8). Что же касается вышеупомянутых эмансипации и феминистского движения, то они, повторяем, были не нужны и немислимы в Крыму именно в силу более высокого уровня имевшейся здесь семейной гармонии, основную роль в которой всё же играла и играет женщина.

### с) Сексуальная культура

Возможно, некоторым читателям этот параграф покажется излишним и даже оскорбительным для памяти предков, отчего у автора были некоторые сомнения в целесообразности его включения в том. Однако, как известно, «невозможно понять образ жизни общества, не зная особенностей сексуального поведения составляющих его индивидов и того, как это поведение и сами половые различия осмысливаются в культуре» (*Епанова, 2004. С. 69–70*). Понятно, что исходной единицей исследования при этом может служить не отдельно взятый индивид (или пара), но всё социальное целое, весь крымскотатарский этнос.

Здесь следует разобраться, что входит в сексуальную культуру. Это прежде всего нормы сексуального поведения. То есть предписанные общей этнической культурой ограничения и запреты, но также и положительные предписания, указывающие на то, как можно и должно себя вести в минуты или часы телесной близости. Такие предписания или нормы имеют большое значение в культуре общества, поскольку они регулируют характер сексуального контакта, выбор партнёра, составляют основу традиционного ритуала ухаживания. И, что не менее важно, придают ту или иную эмоциональную окраску отношениям между мужчиной и женщиной. Необходимо подчеркнуть ещё, что в установке этих норм главную роль играет народная культура, которая определяет и регулирует сексуальные отношения, определяет их моральную, эстетическую и социальную ценность.

Если средневековый обычай устройства брака (выбор брачных партнёров старшими членами большой семьи) в Крыму XVIII века и начал отступать, отходить в прошлое, то пока крайне медленно и практически незаметно. Такой важной перемене в народной культуре будущего содействовали и участвовавшие экономические контакты между селениями, и постоянный культурный обмен со странами Средиземноморья (в данном смысле возрожденчески открытыми и свободными), и многонациональная иммиграция в Крым. Всё это способствовало сексуальному освобождению от диктата «стариков» в семейной сфере человеческой жизни. Конечно, не везде в Крыму процесс чувственной либерализации шёл в едином темпе. Степь была более привержена старине, густонаселённый Южный берег и Восточный Крым освобождались от старых традиций заметно быстрее. То же самое можно сказать и о горожанах в целом, вне зависимости от географического региона их обитания.

Но, повторяем, пока это были лишь *тенденции*, ранее в Крыму совершенно неизвестные, да и в XVIII в. появившиеся, так сказать, в зародыше. Практически же, в реальной жизни старые традиции выбора брачных партнёров или сватовства оставались абсолютно главенствующими. И, вопреки современной точке зрения (популяризированной теоретиками реформирования «семейного строительства» первых лет советской власти), такая практика имела неплохие конечные результаты.

Согласно новейшим исследованиям, *квудалык* (сватовство), а также обычай не отдавать девушек-невест в другие деревни, имели под собой проверенную веками основу. Старейшины рода прекрасно знали не только всех молодых людей общины с рождения до достижения брачного возраста. Старики обладали и не менее важной информацией об истории их семей на протяжении нескольких поколений, об особых заслугах, достоинствах и недостатках их предков, о физическом и нравственном здоровье близких и дальних родственников кандидатов на вступление в брак. И лишь с учётом этих и многих менее важных факторов старейшины, безусловно, желавшие добра своей общине, думавшие о её будущности, составляли оптимальные по их общему мнению пары. Только на основе такого тщательно продуманного и обоснованного выбора начиналось сватовство, играли свадьбы, складывались семьи. И, что самое важное, такие браки в абсолютном большинстве случаев оказывались удачными, супруги — преданными друг другу, а их союзы прочными (*Бекирова, 2001. С. 5*).

Вывод не новый, к нему приходили далёкие от наших дней гости Крыма из России и зарубежья. Вот одно из таких заключений: «Татары *любят* своих жён, и более одной бывает у них редко. Они безусловно признают свой долг защищать эти слабые существа, а их склонность к сокровенной, застенчивой любви исключает проявление более свободной её разновидности» (*Reuilly, 1806. P. 158*). Такое свидетельство говорит о многом.

Казалось бы, вполне обычная, нормальная картина семейного быта — для нас, людей XXI столетия. Но речь-то идет о второй половине XVIII в. И единственный путь к пониманию не вполне вписывающихся в эпоху сексуальных отношений среди крымских татар той поры — снова прибегнуть к проверенному методу сравнения их с географически близкими народами того же времени<sup>1</sup>.

И здесь выясняется, что такого рода сексуальные, брачные, семейные отношения могли казаться весьма необычными даже ближайшим соседям крымских татар, великороссам, да и не только им. В России (если рассматривать основную массу населения, то есть крестьян) супружеская любовь была редчайшим исключением. Обычно партнёры, в лучшем случае, были равнодушны друг к другу. Да и как могло быть иначе, если людей сводили, исходя прежде всего из материальных или хозяйственных соображений. А отцы невест часто решали ещё более простую задачу — сбить лишний рот как можно скорее и, по возможности, с минимальным

<sup>1</sup> Нижеследующий, возможно, несколько затянутый экскурс в сферу великорусских брачно-сексуальных отношений приводится не только по этой причине. Его цель показать в очередной раз (но в ином, специфическом плане), к чему звали крымских татар российские пропагандисты культурного слияния всех инородцев с великим русским народом (о них речь будет ниже). В данном случае, какую реальную модель отношений между мужчиной и женщиной они могли иметь в виду.

приданым. Говорить здесь о нормальных человеческих отношениях между супругами, а тем более о гармоничном сексе, конечно, не приходится.

Кроме того, православная церковь соединяла не только незнакомых, но и противоестественно разновозрастных людей, причём разница была огромной (об этом ниже), так что чувство физического влечения супругов друг к другу могло возникнуть лишь в редких случаях. Господствовал принцип «стерпится — слюбится». Но, как правило, «не слюблялось», и люди век вековали с нелюбимыми. Чувственного влечения в такой ситуации не могло возникнуть. Сексуальные отношения прямо так и начинались: не с естественного увлечения (или хотя бы природного полового любопытства), а с вполне объяснимого отвращения к навязанному партнёру. Обычной была ситуация, когда жёны «по году, по два не зовут даже своих мужей по имени; долгое время дичатся их, избегают оставаться наедине; обращаются с ними грубо, как бы обиженные или раздражённые чем-либо» (Запись этнолога А.П. Звонкова; цит. по: Вишневский, 1998. С. 143). Другой пример: молодая жена долгое время не может найти для силой навязанного ей мужчины иного имени, как «гадёнок» (Салтыков-Шедрин, 1988. Т. X. С. 348). И такие отношения являлись *нормой*, вот в чём был ужас российской деревни.

Понятно, что в таком образом составленных парах не могло быть речи не то, что о сексуальной культуре, но часто и о сексе вообще. «Сожительство Ивана с женой — в тесной связи с его сытостью или голодом, а также выпивкой вина. Отъевшийся осенью Иван, да ещё после шкалика почти всегда неумерен. А Иван голодный, в рабочую пору, например, собственно не живёт с женой. Жену, конечно, не спрашивают о её желаниях» (Семёнова-Тянь-Шанская, 1914). В генезисе сексуальной культуры не менее важным, чем обычай насильственных браков для большинства великороссов, было отношение к сексу православной церкви. Теоретики восточного христианства век за веком пытались вогнать человеческую природу в прокрустово ложе своей традиционно жёсткой и нетерпимой морали, совершенно не соответствовавшей здоровым инстинктам и нормальному чувственному миру.

Церковь истребила «...с величайшей жестокостью всё, откуда брак возникает и что его окружает. Брак возникает из любви, — но Церковь не допускает самого слова „любовь“, боится и презирает то плотское чувство, „эстетическое восхищение“ которое выразилось у Адама при виде сотворённой для него Евы... Нужно заметить, что, так как абсолютно бесплотный идеал непереносим для человека... то у русских и православных вообще плотская сторона в идее вообще отрицается, а на деле имеет скотское, свинское, абсолютно бесцветное выражение. Брака, по существу, вовсе бы не должно быть. Но насколько он есть и допускается и законодательно регулируется, это есть голое и безлюбное размножение, ряд случаев самца и самки... Свет младенца, радости родительские, теплота своего угла, поэзия родного крова — всё это непонятные русскому (кроме образованных, атеистических классов) слова, всё это недопустимые с церковной точки зрения понятия...» (Розанов, 1994. С. 16—17). Тшета церковного подавления плоти вела к нравственным конфликтам колоссальной напряжённости, зачастую разрешавшимся трагически, а то и кроваво (самоубийства на почве разлада между чувством и религиозной моралью были отнюдь не редкостью).

Первичным истоком таких несовпадений был, конечно, этнический характер, этнопсихология великороссов, а выбор модели жизни или оптимальной религии был, как и повсюду, процессом вторичным. Отчасти эту аксиому подтверждает позиция самых интеллигентных, совестливых, и в поисках истины даже с официальной церковью конфликтовавших личностей. В том числе такой незаурядной, каким был Л.Н. Толстой. Он считал, что «насколько удовлетворено стремление к духовному общению [мужчины с женщиной], настолько ослабевает или вовсе уничтожается стремление к физическому и наоборот». А в целом, «чем ближе к первому [«физическому пределу общения» находится мужчина или женщина], тем разрушительнее для жизненной силы» такое общение (Толстой, 1936. Т. XVII. С. 286—289). В другом варианте той же статьи (*Об отношениях между полами*) великий русский гуманист вообще утверждал, что человек постоянно, вне зависимости от того, холост он или женат, должен «быть по возможности целомудренным... Если он может быть настолько сдержанным, что не знает женщины вообще, то это самое лучшее, что он может сделать».

Здесь имело место не абстрактно-нравственное, а конкретно этнокультурное, чисто русское отрицание *низа* ради, якобы, возвышения *верха*, духа. Здесь торжествовала та точка зрения, что это — вещи несовместные, как будто одно не может развиваться иначе, чем непременно за счёт увядания другого. «Всё это выросло из одной тенденции: истребить из религии все человеческие черты, всё обыкновенное, житейское, земное, и оставить в ней одно только небесное, божественное, сверхъестественное» (Розанов, 1994. С. 14). Это был бунт против природы, но и против Бога, так как тем самым горделиво отрицалась истина Святого Писания о божественном устройстве человека.

Но и столь дорогой ценой (мучительным аскетизмом) желанный результат духовного развития и просветления оставался недостижимым. Более того, он парадоксально (на самом деле — логично) отодвигался, как при любой еретической акции<sup>1</sup>. Что было очевидно наиболее зорким из русских мыслителей: «Странный дух осклопления, отрицания всякой плоти, вражды ко всему вещественному, материальному — славил с такой силою русский дух, как об этом на западе не имеют никакого понятия» (Розанов, ук. соч. С. 13).

Но вернёмся к нашему сюжету. Весьма уместным выглядит здесь не столь давно сделанное замечание, имеющее прямое к нему отношение: «В одних культурах сексуальности придавался высокий статус; более того, она может являться даже частью философских и религиозных конструкций, а в других сексуальность принижается и даже подавляется. Формы сексуальных отношений во многом определяются общекультурными установками и ценностями» (Енанова, 2004. С. 72).

Только помня об этом можно понять, отчего на Востоке, в частности, в Крыму отношение к проблеме пола было совершенно иным, чем у его северных соседей.

<sup>1</sup> Стоит отметить, что такого рода настроения не были данью мировоззрению той далёкой эпохи. Они составляют саму суть православно-патриотической идеологии. Современный теоретик отечественной «почвы», евроазиатец А. Дугин считает, что великорусский традиционализм не отделим от «внутренней концентрации эротического импульса и его сакрализации. В пределе... это означает *тотальную переориентацию* (курсив мой. — В.В.) секса в духовную сферу» (цит. по: Вишневский, 1998. С. 403).

Ведь сексуальное поведение — производное от религиозной и общественно-нормативной культуры общества, напрямую зависящей от социальной структуры и образа жизни основной массы народа, столь различных по обе стороны Перекопа. Этническая культура населения в ханстве (и в других восточных странах) не только не заперла «природу» человека оковами «духа», но даже не противопоставляла эти две сущности. «Верх» и «низ» (насколько они вообще разделялись исламом), находились в саморегулирующемся, естественном, а не навязанном извне, равновесии. И в единстве, во взаимном насыщении, взаимной поддержке<sup>1</sup>. Ислам и здесь ярко проявлял свою сущность религии ненасилия. В том числе ненасилия над природой человека, тёплого понимания, гуманного соответствия этой природе. Поэтому в мусульманской цивилизации даже время было не властно над отношением к сексу, как к сфере культуры, вполне равноправной со всеми иными, не подлежащей ни малейшей дискриминации. И, конечно, эти отношения строились на уважительном отношении мужчины к женщине (подробнее об этом см. в: Самединова З. Образ женщины в устном народном творчестве крымских татар // НБ, 2003. № 4. С. 3–5).

Ислам, как известно, максимально учитывает, принимает в расчёт природу человека, чья чувственность глубоко оправдана свыше. Великий суфий Джаладдин Руми писал:

«Господь создал желание между мужчиной и женщиной.  
В результате их союза продолжается жизнь на Земле»

(Цит. по: Джани, 2008. С. 212)

Этому не противоречит, а скорее соответствует и институт многожёнства, о котором уже говорилось выше. Но оно имело, помимо чувственно-регулирующего, ещё одно значение, а именно нравственное. Ведь полигамия — мощное противоядие в отношении повального разврата, повсеместной практики беспорядочных половых связей, отчасти — гомосексуализма и лесбиянства, сексуальной вседозволенности в целом. В условиях нормализованного многожёнства нет надобности искать тайный, вынужденно скрываемый выход своим естественным желаниям и фантазиям. И вполне резонно утверждение, что полигамия в целом более полно обеспечивает чистоту сексуальных отношений и праведного зачатия (Фирдоуси, 1993, 15, 17, 25).

Известно, что в Новое время семья стала (уже в конце XIX — начале XX в.) считаться, и не без оснований, могилой былой, романтической любви (Бердя-

<sup>1</sup> «Из Его знамений — что Он создал для вас из вас самих жён, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость. Поистине в этом — знамение для знающих» (Коран, 30:20(21)). Мысль великой Книги раскрывалась знаменитой по своей молитвенной мощи надписью на беседе в гаремном саду бахчисарайского Хан-сарая: «О, Отворяющий все двери! Открой нам и эту, лучшую из дверей!». Такое органичное соотношение тела и духа прекрасно отразил оппонент Л.Н. Толстого, писатель европейской культуры, но обладавший образным мышлением вполне исламского типа: «Любовь есть томление; она томит; и убивает, когда не удовлетворена. Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда возрождает. Любовь есть возрождение... Любовь — это всегда обмен души-тела. Поэтому когда нечему обмениваться, любовь погасает» (Розанов, 2000. С. 67–68). Неслучайно эти слова тревожно прозвучали в стране, где культивировался или дух, или тело. То есть розановского обмена не было, поэтому в массе отсутствовал и важнейший результат его — любовь.

ев, 1991 «а», 260). Это явление — не что иное, как понятная возрастная болезнь. Она и была благополучно преодолена Западом в эпоху Возрождения, а вот Россией — лишь во второй половине XX в., да и то не до конца. Крымцев эта болезнь вообще миновала. Причина — отсутствие упоминавшегося дуализма и противопоставления *верха* и *низа*, крымская свобода брачных отношений и разводов, повсеместно признанная здесь безгреховность сексуальной жизни и т. д. В России рост половой свободы (вызванной распадом традиционного, синкретического общества) стал вызовом и Церкви, и народной культуре. Иное в Крыму: *если «природа» не только не подавлена религией и культурой, но ими ещё и воспевается* (отдельные суры Корана, лирика Менгли-Гирея, Боры, Резми и многих других крымских поэтов), то откуда взяться конфликту? Его и вообразить-то невозможно в такой ситуации.

Безусловно, в более позднее время, уже в колонизационный период истории Крыма традиционная половая мораль подверглась сильному стороннему влиянию. Но, во-первых, оно было внешним, наносным и оттого не столь глубоким и разрушительным. А, во-вторых, что гораздо важнее, эта модернизация была таковой для Запада и России, но не для крымскотатарского общества, которое жило этой, по сути, *современной* моралью и в эпоху Средневековья! То уважение к женщине, её личной свободе, экономической раскрепощённости и возможностям её брачно-полового самовыражения<sup>1</sup>, которых так долго добивались женщины Запада (в России эти проблемы кое-где актуальны и доныне) в Крыму не нужно было завоевывать в яростных схватках с «мужчинами-шовинистами». Мусульмане и мусульманки равноправны не только в экономической сфере (об этом говорилось выше), но и в духовной, и в телесной сторонах действительности. Знаменитый своей учёностью суфий, Али ибн-ал-Араби говорил о чувственном влечении, благодаря которому мужчина и женщина, сливаясь, становятся единым целым: «Люди, мужчины или женщины, становятся завершёнными после брака. В одиночку женщина — это половина, и мужчина — это половина. Мужчина дополняет себя женщиной. Женщина дополняет себя мужчиной» (Цит. по: Джани, 2008. С. 223–224).

Эти ценности для ислама — вечны и непреходящи. Половое поведение никогда не выделялось из общей модели жизни мусульманина как нечто экстраординарное, требующее автономной культурной оболочки, часто непроницаемой для непосвящённых. Напротив, сексуальная активность была для крымских татар таким же доступным, открытым, незамутнённым и спокойным источником удовлетворения и счастья, как радость воспитания детей, удовольствие от свободного труда, от мирного сельского быта, от уважительного общения с родителями и соседями, и, не в последнюю очередь — от атмосферы взаимной любви, доверия и порядка в семье.

Такая поведенческая модель, естественно, не могла не вызывать несколько завистливого внимания сторонних наблюдателей. Российские публицисты XIX в.

<sup>1</sup> Суфии Крыма (и, конечно же, немалая часть местных поклонников их учения) наверняка знали прекрасный байт Джаладдина Руми, утверждавший эту свободу: Сказал: «Тебе я щедро рукою всё отдал». Она в ответ: «Кто ты такой, Чтоб отдавать или не отдавать? Сама взяла я мир твой и покой!»

пытались даже доказывать её порочность, безнравственность. Они считали, что так называемая «гаремная жизнь» крымских мужчин отнимает у них нравственные и физические силы, служит причиной падения трудоспособности и росту развратной чувственности татар. Но это была лишь реакция на несхожесть двух этнопсихологий в их сексуальной составляющей. Более профессиональные и объективные наблюдатели отмечали прямо противоположные качества народного характера: скромность, телесное и душевное целомудрие молодых и старых крымских мужчин.

Эта крайне необычная этнокультурная черта давно привлекала исследователей-этнологов. Но лишь в последнее время феномен мужской целомудренности<sup>1</sup> подвергся обстоятельному анализу, получил обоснованное объяснение — прежде всего, в работах Лейли Бекировой, молодого крымскотатарского учёного-философа.

Основа основ нравственной нормы или *намуса* молодого крымского татарина — семейная атмосфера, в которой он был взращён. Мальчик с момента рождения был окружён любовью и лаской женщин своей семьи — не только матери и бабушки, но и сестёр, тёток и других близких родственников. Он жил подчеркнуто мужской жизнью (об этом говорилось выше), но такое суровое, рыцарское воспитание совершенно не травмировало ещё не окрепшую психику малыша, так как душу его согревали женские любовь и неустанная, тёплая забота. Естественно, мальчик, затем подросток не мог не отвечать этим женщинам самыми искренними любовью, уважением, благодарностью. А такие чувства по известному психологическому закону приобретают расширительное значение, распространяясь и на других, не принадлежащих к семье, пожилых и молодых женщин общины, народа в целом.

Кроме того, перед глазами мальчика всегда стоял пример наиболее уважаемого человека, его отца, пример почтенного, авторитетного деда, достойных подражания старших братьев, относившихся к женщине с рыцарским благородством и уважением. Наконец, соседские старики, к словам которых было принято прислушиваться с особым вниманием, говорили о том же: *Къыз дегениъ назиктир, къызгъа тиймек языкътыр* («Нежна та, которую ты назвал девушкой, не трагой девушку — жалко») (Пословицы, 1914, 40).

В такой атмосфере вырастали юноши, которые относились к пожилым женщинам крайне уважительно, а к ровесницам — бережно. Они считали себя вправе лишь почтительно, мы бы сказали «эстетически», любоваться девушками, хотя в крови молодых людей могли бушевать южные эмоции, далёкие от платонических. Это было всеобщим правилом, лишь крайне редко кто-либо осмеливался его нарушить. Такого отступника от традиционной нормы поведения ждала самая жестокая кара, он практически извергался из общины, то есть из человеческого общества. И это притом, что вина его могла выглядеть, с современной

<sup>1</sup> Точнее, это сложный нравственно-психологический комплекс, определяющий поведенческие нормы. В культуре мусульманских стран он именуется *намус*; в него, кроме физической сдержанности входят высокие моральные требования к чести и достоинству мужчины. Сюда, очевидно, стоит отнести и кораническое неприятие гомосексуализма (7: 78–79).

точки зрения, пустячной: например, слишком развязное или откровенное обращение с девушками на вечерних посиделках у фонтана или на празднике, где только и встречались молодые люди деревни (Бекирова, 2001. С. 5).

Сдержанность, отсутствие аффектации в отношениях полов сохранялись и в послебрачный период жизни крымского татарина. Имеется в виду и традиционная воздержанность от публичных, то есть *демонстративных* супружеских ласк (вполне невинный поцелуй был неприличен даже дома, если при этом присутствовали дети или родители супругов), и редкость, практически отсутствие физических измен в крымскотатарской семье. Касаясь этой проблемы, нелишне упомянуть и о том, что разговоры на темы, имеющие касательство к сексу вообще, абсолютно не были приняты даже в семьях, «оставаясь прерогативой участников мужских компаний, веселившихся в своём тесном кругу. Но и здесь, и в обычных беседах было бы крайне неприличным задать татарину любой, носящий личный характер, вопрос, касающийся его жены...» (Montandon, 1834. P. 163). Английский автор отметил, что крымские татары «пользуются репутацией людей непревзойдённой чистоты и цельности (integrity), да и вообще народы, столь неразвращённые (less vicious), крайне редки» (Seymour, 1855. P. 56).

Коран, воспевая чувственную любовь как драгоценнейший дар Божий, чётко предостерегает от разврата, то есть от секса безбрачного, измен, прелюбодеяния, проституции (70:31; 24:33). И о повсеместном отвращении крымских татар к супружеской неверности писал уже упоминавшийся немецкий медик-гигиенист: «В этом смысле татары могли бы служить примером всем цивилизованным народам Запада; ничьё чувство [приличия. — В.В.] не оскорбится здесь распущенным поведением или просто речами. Кто угодно может свободно общаться, не питая ни малейших опасений на этот счёт, как с женщинами, так и с мужчинами. *Пикантная* сторона нашего социального быта для них ещё совершенно чуждая материя. Впрочем, они не чужды рискованным жизненным тем, но проблемы, относящиеся к сердечным склонностям, сублимируются здесь в болтовне, — и кто осудит их за это?» (Remy, 1872. S. 69–70).

Вопреки всем нечистым измышлениям о результатах воспитания девушек и жён в пресловутой «гаремной атмосфере», крымские татарки поражали европейцев своей простой и непритворной скромностью, естественной нравственной чистотой, свободным предпочтением верности мужу и семье. Один из гостей Крыма записал ещё одно, близкое к вышесказанному, наблюдение: «Поразительно, до чего этим женщинам чуждо малейшее проявление вульгарности (every appearance of vulgarity)» (Milner, 1855. P. 366). Все помнят, что, создавая образ Татьяны, Пушкин избавил свою любимую героиню от названного качества в *первую* очередь, подчеркнув, что у неё не было того, «что в лондонском кругу зовётся vulgar». Конечно, это — не случайное совпадение, оно не могло быть столь буквальным. Остаётся признать поразительный факт: качеством *обычной*, средней крымскотатарской женщины поэт торжественно одаряет свою *идеальную* героиню. И явно приглашает полюбоваться этим редким достоинством. Редким до того, что Пушкин даже затрудняется объяснить его суть читателям «Онегина». То есть людям просвещённым, но, увы, далёким от общества, где английский гость Крыма не обнаружил и следа этой самой вульгарности...

Внебрачные же связи, при всей их нераспространенности в Крыму, заслуживают рассмотрения, так как способны высветить ещё один аспект сексуальной культуры. Имеется в виду уже упоминавшаяся конкретная проблема межнациональных и межконфессиональных сексуальных связей. Точных данных об их распространённости не имеется. Но здесь не столь уж необходима статистика, в том числе и сравнительная, вполне достаточно общих наблюдений. Как и в других видах межэтнических контактов, в этой сфере царил естественная и полная толерантность. В Крыму вообще и речи быть не могло, как это бывает в других странах, об отлучении от храма, например, за «блуд с латинянкой или бесерменкой», а именно это предписывали православные отцы (См. Пролог, § 3 «б»). Данный акт был немислим сразу по двум причинам: большей терпимости к иноверцам и отсутствия в природе такого фантастического действия, как «отлучение от мечети» (как будто человека можно отлучить от исповедания собственного морального кодекса!). Да и диким выглядело бы преследование или даже порицание правоверного по такому поводу, когда и законные-то браки дозволялись с иноверными без требований перемены конфессии. Причём это была старая традиция, тогда как в «культурной» Европе (вкуче с Россией) она обрела силу лишь в Новое время.

Такие связи не были популярны, но по совсем иной причине. Выше неоднократно говорилось, что крымскотатарская культура — культура диалога. Эта черта относится к этнопсихологическим, то есть всеобщим, в смысле как всенародным, так и многоплановым. Имеет она отношение и к сексу. Сам смысл понятия «сексуальные отношения» здесь заключался в установлении связей. Сексуальная близость в крымскотатарском варианте означала не столько физический акт, сколько именно всестороннюю, в том числе и духовную близость, связь, хоть и устанавливаемую посредством тел партнеров. То есть это — разновидность диалога, в котором на равных правах участвуют две личности. Именно поэтому и не была распространена здесь купля-продажа жён и наложниц (как, например, в Турции). Причём дело было не в недостатке средств, ведь ханы тоже брали себе жён из крымских бейских родов, а не покупали их у черкесских или русских работорговцев.

Естественно, сексуальная культура крымских татар сложилась не то, что сама собой, так в культурных процессах не случается. На нее веками воздействовали немногочисленные, но мощные факторы. Такие как семейная педагогика (или адат), прекрасные по своей человечности положения сунны, добрая природа. Но, если предположить невозможное, а именно знакомство творцов этой культуры с работами Юма, Фрейда, Розанова и других крупных философов секса, то и в этом случае могло получиться нечто более органично снимающее так называемую «половую озабоченность», «сексуальную угнетённость» или «игу изначальной греховности», что так жестоко ввергают другие народы и этносы в состояние постоянного дискомфорта, вызванного Проблемой Пола. То есть проблемой, совершенно непонятной (и, слава Богу!) крымскому татарину — носителю традиционной культуры своего народа<sup>1</sup>. По этой причине не то, что сни-

<sup>1</sup> Понятно, что сказанное вовсе не свидетельствует о сексуальной непросвещённости крымских татар. В Крыму, как и в других тюркских регионах, имела хождение чисто эротическая литература. Это были небольшие по объёму, то есть общедоступные книги *бахнамэ*, в которых содержались полезные сведения о возбуждающих средствах, методах

мались — не могли даже возникнуть социальные и внутрикультурные линии напряжения, которые только внешне не имеют ничего общего с сексом. На самом же деле эта связь вечна и глубока. И вот тут, в осмыслении этой связи как раз и могут помочь труды названных выше мыслителей.

Что ожидало крымскотатарскую сексуальную культуру в будущем, в условиях близившейся аннексии? Выше уже говорилось, что именно могла предложить северная культура взамен. То есть практически ничего<sup>1</sup>. Разве что вред, потому что дурной пример (в том числе и в смысле отношения к сексу, как к грязи) бывает заразительным. Что могли ждать крымчане от человеческой массы, которой вскоре было суждено затопить полуостров, если она и ныне, в XXI в., страдает дисгармонией «верха» и «низа», если она по-прежнему изнурена этой борьбой. И ищет спасения на стороне (хоть и тщетно, так как борьба идёт внутри каждого представителя великорусского этноса): «приходится всматриваться в культуры других народов, народов Востока... где обычай, магия, религия и партнёрские узы образуют ту целостность, которая способствует психической гармонии их носителей... сексуальность здесь связана с гармоничным её принятием и служит барьером для стрессогенных и невротических ситуаций» (Власова, 2001. С. 39–40). Нетрудно было предвидеть, чем могло окончиться грядущее культурное столкновение и в этой области: разрушить гармонию куда легче, чем установить её в среде разрушителей, да ещё и столь непомерно преобладающих численно.

### т) Экологическая культура

Подчинить себе природу можно,  
лишь повинувшись ей.

*Японская пословица*

Основа экологической культуры мусульманской цивилизации была заложена Кораном, его нравственным учением. Что же касается практического отношения к природе, прагматики природопользования, то она также вытекает из морального императива, преподанного великим учением в виде, максимально доступном для постижения, наглядном и логичном.

Бог создал землю и всё, что на ней имеется доброго, даровав человеку земные блага для поддержания в нём жизни (Коран, 27:88(86); 32:6(7); 2:272(269)). При этом подчёркивается, что эта жизнь, биологический круговорот — самооценность уже оттого, что человек — самое совершенное творение Бога, его *наместник* на земле (2:28(30); 27:63(62)). И речь идёт не о патриархальной старине, не о ветхом Адаме, а о его далёких потомках, принимающих

предупреждения беременности, эротических позах и т. п. Существовали и более дорогие турецкие издания *бахнамэ*, снабжённые весьма откровенными миниатюрами (*Хитцель*, 2006. С. 339), однако точно неизвестно, входили ли они в число другой литературы османского происхождения, завозимой в Крым.

<sup>1</sup> Лишь в последнее время она получила, наконец, объективную оценку: «Наша историческая культура мало оставляет надежды на то, что в её недрах можно отыскать опору в поисках ориентиров для укрепления самооценности через собственное тело и тело другого человека» (Власова, 2001. С. 39).

в каждом поколении великий статус — и обязанности! — такого наместничества (10:15(14); 10:74(73); 35:37(39)). Вот почему и поддержание экологического порядка — задача поистине божественной, космической важности, о чём говорится неоднократно: «Не производите расстройств на земле после устройства её» (7:54(56)); «...не портите землю после её устройства. Это — лучше для вас, если вы верующие» (7:83(85)) и т. д.

Именно такой высоко гуманный, человеческий, если позволено так выразиться, подход (а не жёсткий, основанный лишь на угрозе кары свыше, запрет, как в некоторых других конфессиях) обеспечивал глубокое понимание и органическое принятие идеи ненасилия над окружающим миром. Это новое состояние, новую ступень, на которую поднялся человек в усвоении вечной истины о *единстве* всего сущего, весьма точно выразил Ж. Эллиуль (1912–1994), один из немногих мыслителей Запада, вышедших за рамки евроцентризма, постигших всю природность и естественность ислама: «Поняв мир как творение, человек уже не может осуществлять своё всемогущество эксплуататора и разрушителя. Его своеволие останавливается знанием, что перед ним творение творящего Лица, а не природа как безличная среда обитания» (Цит по: Бибихин, 1998, С. 222). Мусульманин, по мысли Ж. Эллиуля, относится к природе как к совершенному произведению, которое невозможно «улучшить» никакими радикальными преобразованиями. Между прочим, именно это традиционное уважение к шедевру великого Мастера, свойственное многим поколениям ремесленников, крестьян, книжников и поэтов Востока объясняет, отчего «в своём естественном состоянии люди ближе к вере Магомета, чем к любой другой» (ук. соч. С. 213).

За время, прошедшее с эпохи Средневековья до конца XVIII в., культура взаимоотношений мусульман с многообразным и сложным миром крымской природы не только не снизила свой уровень, но, если можно так выразиться, стала более осмысленной. Традиции соблюдались свято, однако Просвещение содействовало не слепому отрицанию обычаев, а разумному и целенаправленному их совершенствованию, в том числе юридическому (имеется в виду обычное право, то есть общепринятые нормативные положения, не всегда оформленные документально). Прежде всего это касается охраны вод и лесов, в частности, в Крыму. Приведем один пример: в окрестностях Биюк-Ламбата, да и в других горно-лесных районах полуострова, джемааты зорко следили за тем, чтобы древесину не рубили чужаки, хотя для собственных хозяйственных или ремесленных нужд такие заготовки дозволялись. С другой стороны, даже местные крестьяне не имели права торговать полноценным лесом — только валежником и хворостом, что не вредило лесу, а, напротив, лишь оздоравливало окружающую среду (Лашков, 1887, С. 35; Clarke, 1810, P. 536).

Эти ограничения вполне объяснимы и оправданы крайне ранимой природной средой Южного берега. За гузуфской или ай-петринской яйлами, то есть на северных склонах Главной гряды картина была иной. Более просторные, богатые леса позволяли крестьянам Коккоз или Озенбаша традиционно снабжать южнобережную деревню выжигаемым ими древесным углём.

Сохранилось и щадящее отношение к животному миру. Если зверь или птица не являлись предметом охоты, то по отношению к ним проявлялась трогательная

забота. Так, если в одном из помещений внутри дома селилась ласточка, то хозяин, как правило, прорезал в окне отверстие, чтобы она могла без помехи кормить птенцов (Clarke, 1810, P. 545).

Всё это были достижения народной экологической культуры, плоды традиционно разумного отношения к окружающей среде. И должно было пройти ещё около столетия, прежде чем крымскотатарская интеллигенция выразила те же принципы природосбережения, но уже вполне научным языком (См., например, программную статью И. Гаспринского «Леса» в: Терджиман, 28.09.1883). Такая культура, веками сохранявшая и выработавшая сбалансированные экологические системы, распространялась, естественно, и на людей, также ведь являющихся частью природы. Эта экологичность развивалась, как мы видели, в сторону гармонизации человеческих отношений, в сторону истинной демократии, то есть народовластия.

#### у) Общациональная идеология

Сам термин, вынесенный в заглавие этого параграфа, может пониматься весьма разнообразно, что и происходит повсеместно, во всех обществах и группировках, начиная от свободных, открытых и кончая нацистскими и коммунистическими. Но если отказаться от его трактовки как совокупности взглядов и идей, направленных на достижение каких-либо целей идеологического *руководства*, от его «классового» содержания, то эту концепцию можно расширить до этнонационального масштаба. То есть до уровня ментальной системы, в которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, к этнонациональным конфликтам и социальным проблемам. До уровня системы, в которой содержатся нормы и средства бытия, позволяющие поддерживать (вариант: изменять в благотворном направлении) общепризнанный порядок. В таком виде идеология становится общенародной, этнической, духовной ценностью и, конечно, вполне заслуживает исследовательского внимания.

Крымскотатарский народ обладал собственной, национальной идеологией уже потому, что духовное наследие, как и материальная культура, здесь не прерывались, а передавались из поколения в поколение. Эта идеология могла меняться со временем, это неизбежно для каждой этнической культуры в целом. Но каждая «освежённая» новой ситуацией идеология, будучи по содержанию отражением новых бытийных условий, по национальной своей форме истекала из предшествующей, неизбежно сохраняла традиционность. И в таком виде она оказывала мощное обратное влияние на личное и общественное бытие, на всю жизнь нации, превращаясь из умозрительной концепции в весьма убедительную и вполне ощутимую реальность.

Проблема приоритетов в национальной идеологии крымскотатарского народа пока исследована крайне недостаточно. Однако уже сейчас можно назвать несколько наиболее важных из них. Все они рассмотрены в первом и втором томе этой работы довольно подробно, так же как их источники и реальные воплощения. Поэтому здесь, очевидно, позволительно ограничиться их кратким перечислением.



В модели жизни крымских татар доминировала, безусловно, идея порядка<sup>1</sup>. Впрочем, здесь было место и бунту. Но он не был «бессмысленным и беспощадным», а имел единственный смысл: пресечь беззаконие, нарушение мусульманского права (а под этим понятием подразумевались и попытки ущемления социальных низов). Короче, мятеж разгорался не из стремления к полной воле, как это бывало в России, а, напротив, для целенаправленной ликвидации источника *непорядка*, если даже этот источник находился в Хан-сараяе.

Вторым по упоминаемости, но не по значению, можно назвать приоритет религии. Полная и безусловная приверженность к исламу не бросалась в глаза никому, даже путешественникам. Причина была в естественности ислама, ведь никого не поражает, что Чёрное море — солёное, и в нём не найти пресного озера. И даже великий Дунай вскоре после впадения в это море тоже становится солёным. Просто исламу были верны все, весь коренной народ Крыма, без исключения. Оттого здесь шариатский порядок не то чтобы поддерживался, его и не нужно было поддерживать. Общество (социум) не могло обойтись без него потому, что он выполнял и важнейшие социальные функции. Модель жизни, как система, самовоспроизводилась, и в этом также была заслуга крымскотатарской идеологии (да простит нам читатель это внешне парадоксальное, простотаки несусветное словосочетание).

Остальные черты и характеристики этой идеологии можно перечислять довольно долго (например, традиции открытого общества, содержание и форма высокой и народной культур, контактность и терпимость как признаки этнопсихологии, осознанный межсоциальный солидаризм и так далее). Но целесообразней, очевидно, было бы сделать общий вывод по этому поводу: этническая идеология, народный менталитет, сложившись в массах, стали национальной характеристикой, общей для всех крымских татар, всех профессиональных групп, социальных страт и родовых кланов. А идеологическая общность обозначила, в свою очередь, становление крымскотатарского этноса как зрелой нации.

#### ф) Общее этнологическое заключение

Приведённые выше оценки разнообразных качеств крымскотатарского народа, сделанные самыми разными авторами, при таких несомненных достоинствах этих оценок, как их искренность и объективность, страдают одним недостатком: они, за редкими исключениями, не принадлежат профессионалам-этнографам. То есть они были сделаны людьми, которые при всей своей личной честности

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду, конечно, высший, то есть духовно-этический порядок, упорядоченность внутреннего мира человека и его отношений с миром внешним. Но сказанное вполне справедливо и для иного, хоть и теснейше связанного с первым, порядка бытового, общепринятого и условного. Тут крымский народ также оказывался на высоте не только в классический период своей истории, но и после длительного отрицательного воздействия инокультурной массы: «В местных тюрьмах сидит куда больше русских, чем татар, и спокойнее всего путешествовать в районах, населённых сплошь татарами» (Schlaner, 1836. S. 100). Таким же оставалось этническое соотношение (в процентных показателях) в среде заключённых Крыма ещё столетие, вплоть до Второй мировой войны (см. ниже).

сти и непредвзятости вряд ли были способны выделить и научно обосновать те этнокультурные черты, которые наиболее *существенны* при характеристике любого народа. Чтобы исправить этот пробел, приведём авторитетное мнение в виде двух характеристик (антропологического облика крымских татар и семейного строительства в этнической среде), принадлежавших перу российского этнографа-профессионала, пользовавшегося в XIX в. без преувеличения всевропейской известностью, члена многих отечественных и зарубежных академий, профессора В. Х. Кондараци.

Вот его мнение, сложившееся после многолетних полевых исследований и теоретических анализов такого яркого и увлекательного «этнографического материала», каким перед ним предстал коренной народ Крыма:

«Люди эти прежде всего останавливают внимание этнографа чрезвычайно приятной наружностью: при среднем росте, они, во-первых, все почти обладают чёрными быстрыми глазами, окаймлёнными чёрными ресницами и бровями, хорошим цветом лица, правильным носом и ртом; во-вторых, дольки в движениях, сильны, неутомимы в трудах, неустрашимы, пылки донельзя, словоохотливы, гостеприимны, почтительны к старшим, благобоязлив, презирают несправедливость, ложь, воровство и всякого рода неприличия вроде пьянства и разврата и, наконец, они храбры, мстительны, беспощадны и в то же время покорны и благодарны к тем, кто сделал им добро. Признаться, я ещё не встречал нации, настолько благородной в образе жизни между собой, как татары... В татарине всего замечательнее безграничная преданность к верховной власти, которая не раз уже выказывалась на деле... в 1812 г. по первому воззванию к ним они в течение 3 или 4 дней выставили 4000 конных ратников, которые до окончания войны с французами вели себя безупречным образом.

В умственном отношении татарин поражает здравым рассудком и сметливостью... он очень мирно проводит семейную жизнь и очень охотно удовлетворяет незатейливым прихотям жены. Развод, по его убеждениям, — глупая прихоть, которая прилична самым невежественным людям. Такого же мнения они и о многоженстве. Вследствие чего жена старается вести себя так, чтобы ни единым действием не оскорбить мужа, и они обходятся между собой серьезно и почтительно. Характеры как женщин, так равно и мужчин после брачного союза бывают дружелюбны, уступчивы и воздержаны...

Так как они... не подражают никаким людям и вечно носят одни и те же костюмы (то есть народные, здесь имеется в виду бесконечная погоня за модой, неизвестная традиционным обществам. — В. В.), то понятно, что расходы их на одежду совершенно ничтожны. При этом им невброждённо расточительность на всякого рода заманчивые лакомства, и самая богатая семья довольствуется обыкновенно супом или пиллафом с сыром, соусом с овощами и пирожками, жаренными на бараньем сале. Лучшей чертой в общечитии их следует признать отсутствие гордости даже в отношении к нищим, которых они охотно сажают с собой за стол и беседуют с ними как с людьми, равными во всех отношениях перед Богом...

Новорожденный [ребёнок]... делается предметом беспредельной любви матери и сестёр, которые постоянно осыпают его нежнейшими ласками. Отец не спускает его с рук во всё время, пока усталый, после дневного труда, не почувствует

необходимости отдохновения: он играет с ним, как играют девочки с куклами, он вертит его в руках под напев национального танца, восхищаясь движениями его рук и поминутно призывает имя Аллаха в виде благословения. В свободные от работы дни он с раннего утра идёт на базар, чтобы принести любимому дитяти несколько бубликов, конфет или что-нибудь подобное и целый день возиться с ним, стараясь привести в осязаемое восхищение и всех, следящих за его действиями. Наслаждение возрастает, если присутствующие сочувствуют ему, выражая это прижиманием и поцелуями его дитяти...»

В шестилетнем возрасте ребёнок поступает в мектеб. «Учитель принимает его с ласкою и всё время обходится справедливо, как с своим сыном, и этим вселяет ученику уважение, подобное тому, какое сознаётся к ближайшему родственнику». Не только в школе, но и дома детишки изначально не видят «примеров несправедливости или позорных деяний... Публика, собравшаяся в родительский дом, не имеет привычки осуждать и вообще сквернословить. Тихо, с обходным почтением они сообщают друг другу о делах общественных или о собственных нуждах или предаются воспоминанию преданий и рассказов отцов, заключая все надежды на милость Аллаха и пожелательства небесных благ усопшим».

Естественно, всё это слышит ребёнок, «и добрые начала с детства вкореняются в его памяти. Потом он видит, с каким удовольствием любимый им отец спешит в мечеть, с каким усердием погребает нищего-чужестранца, как охотно повинуется властям, какое чувствует наслаждение, если пригласят его к починке храма... Он беспрестанно видит, как ласково обходится отец его со странником, ночью порою постучавшимся в его двери и просившим ночлега, как для него готовят лакомое кушанье и стелят лучшую постель, подушки и одеяло. Примеры эти создают привычки, с которыми нелегко уже разлучиться».

После окончания мектебе, то есть примерно в 13–15 лет девочки становятся самыми деятельными помощницами матери, а мальчики — отца. При этом подросток «начинает высказывать на деле то смирение и почтение, которые предписывает религия. Воля отца для него закон, равный воле божества — и благо если отцу врождены добрые принципы, потому что они делают достоинством сына. Боже сохрани, чтобы этот сын, привыкший с детства к курению табака, позволил себе, не только в присутствии родителя, но даже посторонних старцев, сделать себе папиросу. Нет примера, чтобы юноша пожаловался на плохое отношение отца или замыслил бы ухаживание за замужнею женщиною. Идея разврата недоступна понятию молодого татарина, он не слышал никогда ничего подобного и не поверит в возможность соблазна женщины. Таким образом, остающаяся без преследований женщина сохраняет целомудрие или верность обязанностям, потому что её оберегает сам мужчина, уверенный, что в противном случае кроме страшного наказания в будущей жизни, над ним исполнится пророчество слов: *не стучи в дверь ближнего — постучат и в твою*».

С самого раннего детства дети не могут не наблюдать отношения между отцом и матерью, а затем выстраивают, по их образцу и подобию, собственную семью. «Муж любит её (жену. — В.В.) страстно и безумно, но любовь эта не выражается наружными ласками; она не подруга ему в труде, но пища страсти и правительница дома, которую он не оскорбит и в дела которой не станет вмешиваться. Пользуясь безграничной свободой в хозяйстве своём, разумная татарка нередко делается

госпожою и над мужем, но никогда её господство не выскажется в форме оскорбительной... Нет ревности абсолютно, так как есть уверенность, а закрываются [она чадрой] из религиозных побуждений, с целью не возбуждать в незнакомом человеке противозаконных побуждений [и] зависти к своему единоверцу, обладающему прекрасной женой...» (*Кондаракки*, 1883, Т. II. С. 210–226).

## 10. Выводы

Грех винить советских историков в *сочинении* клеветы на крымскотатарское общество. Основа предвзятому (скажем мягко) отношению к коренному народу полуострова была заложена гораздо раньше, ещё учёными Российской империи. Так, крупнейший историк Крыма XIX в. (да, пожалуй, и до сих пор никем не превзойдённый авторитет в этой области), В.Д. Смирнов утверждал, к примеру, что распоряжались землёй, то есть и её использованием, в Крыму не земледельцы, а, вопреки шариату, «мурзы и придворная ханская высшая челядь». Увы, это сообщение противоречит исторической истине. Как и следующее, о том, что ханские подданные, этот «чёрный народ, хотя и считался лично свободным, но был в постоянной экономической и бытовой (?) зависимости от своих племянноначальников, родовых мурз: они собирали этих людей, как баранов, по известному числу с очага, в партии и водили их в набег на соседние, русские или польские украины для грабежей и хищничества...» (*Смирнов*, 1889. С. 249). Эти выводы критиковать не стоит, против них буквально вопиет научное наследие самого Василия Дмитриевича.

Ближе к объективной истине подошёл один из современных авторов: «Крымское ханство с XVI в. было социально и политически дифференцированной, экономически и культурно *высоко развитой* (курсив мой. — В.В.), объединявшей кочевнические и оседлые традиции, полиэтнической державой... Татарская культура, литература, историография, архитектура и исламская система образования переживали в Крыму свой расцвет» (*Канпелер*, 1999. С. 40–41). И ни о каком феодальном порабощении одних татар другими, ни о каком обязательном и неизбежном хищничестве здесь даже не упоминается. Другое дело — работорговля, в основном транзитная, процветавшая и в Европе так же, в той же мере, как и торговля скотом, предметами роскоши или продуктами сельского хозяйства.

Но не только современная наука, а и наиболее глубокие теории того же XIX в. свидетельствуют, что оголтелые хищники упомянутого типа (то есть по современному, террористы и бандиты) и одновременно бессловесные «рабы» своих мурз и деспотов-ханов мало на что способны в цивилизационном отношении. Они вообще, органически не в состоянии создать не только значительной народной культуры, материальной и духовной, но и обречены на утрату ранее существовавшей. Эта закономерность культурной импотенции проявлялась в человеческой истории неоднократно и в различных регионах планеты.

Так, например, великорусская народная песня за годы крепостного рабства утратила основное свое достоинство — многоголосие. Причём в те же эпохи, когда полифония сохранялась (и — сохранилась!) во всех, даже не столь «талантливых»,

но свободных от добровольно-рабской общины соседних этнических сообществах. Причём повсюду, начиная с северных Финляндии и Эстонии до песенно ещё более великолепной Грузии. Точно так, по той же причине полурабы-великороссы не создали и не могли создать ничего значительного, к примеру, в селекции зерновых или овощных культур, садоводстве или животноводстве. В том не было их вины: рабы не виноваты в собственной бездарности. Она неизбежно следует из самой сути их рабского состояния.

Но рабства не было в ханском Крыму. И сохранившиеся до сих пор памятники его многогранной материальной и духовной культуры — от выведенного в Крыму целебного садового кизила до сложившегося там же мощного собрания народных мелодий — лучше любых научных доказательств славят ханский период истории крымских татар, деятельных участников строительства великой, многонациональной Средиземноморско-пантийской цивилизации. И крымский вклад в неё был поистине уникален и ни с чем не сравним.

Путешественник, успевший застать живые остатки культуры ханского периода, так излагал своё впечатление от алуштинских деревень: «Эту местность нельзя описать, так как не с чем сравнивать. Подобное изобилие и сельская прелесть, я считаю, единственны в своём роде. Ни одно море не омывает своими водами таких берегов, замкнутых [горами] такого грандиозного величия... Жизнь обитателей этих деревень являет собой копию Золотого Века... Мир и красота царят за их семейным столом, поскольку покой их, столь восхитительный, прерывается лишь безбидным громом, раздающимся в скалах над ними или ударами волн о берег, расположенный ниже...» (Clarke, 1810. P. 531). Другой, увидевший в крымских татарах, в отличие от других восточных народов, настроенность на «мирный переход» к европейскому образу жизни, опасался, как бы они, оставаясь в лоне имперской России, «не заплатили на дальнейшем пути к более высокой цивилизации теми своими качествами, которые ныне представляются в них столь достохвальными» (Remy, 1872. S. 72).

Что можно сказать в заключение этих беглых заметок о культуре народа Крыма? Прежде всего: он созрел для «мирного и глубокого счастья», о котором так проникновенно сказал М. Волошин. Ведь в самом деле был выстроено подобие «Золотого Века мира и красоты», ведь действительно же была достигнута редкая гармония, сотворена модель народной жизни, для человека фактически оптимальная<sup>1</sup>. Судьба позволила этому свободному народу вольно дорасти до со-

<sup>1</sup> Для стойкого и постоянного ощущения счастья необходимо и достаточно удовлетворения базовых потребностей человека. Это основополагающие условия, позволяющие личности испытывать стабильное довольство именно действующей моделью жизни, как соответствующей представляемым о счастье. Упомянутых базовых потребностей всего пять: 1) Удовлетворение физиологических потребностей в полноценной пище, сне, биологическом и культурном воспроизводстве; 2) Гарантия обеспеченности завтрашнего дня, физиологических потребностей, безопасности от зла, спокойствия в сохранении избранной модели жизни, жилища, мира и т. д.; 3) Потребность в общности, то есть принадлежность к предпочтённому сообществу людей, социально комфортные отношения в группе, комплиментарные отношения с соотечественниками, любовь и верность близким; 4) Потребность в уважении и самоуважении, высокой положительной оценке другими, причём теми, которые пользуются признанным авторитетом среди окружающих. Важным

стояния, когда ничего уже не хочется менять, а нужно лишь стараться сберечь свой «мусульманский рай», по словам того же коктебельского мыслителя и поэта, проникшегося простой мудростью крымцев.

И в этой связи, очевидно, становится понятной ещё одна причина, по которой такие вот результаты созревания молодого народа в нашем тексте постоянно сравнивались с тем, во что выросла, к чему пришла иная, великорусская масса населения. История не пошадилась оба народа. Но она подвергала их жестоким своим ударам далеко не одновременно, в разной исторической последовательности.

Уже по этой причине и воздействие таких испытаний на крымских татар и русских никак не могли быть одинаковыми или даже похожими, как и конечные их результаты в общеэтническом масштабе. Здесь нельзя обойти вниманием одно утверждение (голословное, как практически все антиатарские высказывания). О том, что для XVIII в. якобы «...преждевременно говорить о крымско-татарском (орфография цитаты сохранена. — В.В.) этносе», что «подобной этнической общности в то время попросту не существовало» (Дейников, 2000. С. 184). Возражать подобным выпадам бессмысленно, здесь попросту нужно вспомнить, о чём говорилось в данном очерке, целиком посвящённом культуре явно *единой нации*, хоть и вобравший в себя, и сохранивший многие культуры разнообразного происхождения.

Но здесь уместна симметричная постановка вопроса: а существовал ли в ту пору русский этнос? Согласно некоторым работам, его не было не то, что тогда, но и двумя столетиями позже. Ведущие специалисты по истории великорусского народа, касаясь начала XX в., отвечают на этот вопрос следующим образом: «Предельно обострённая конфронтационность на уровне общественного сознания не позволяла выработать единую общенациональную идеологию, выражавшую ведущую тенденцию общественного развития России, её подлинно национальные интересы» (Россия, 2000. С. 213).

Добавим совершенно банальное соображение: точно так же отсутствовала единая, общерусская национальная политика, как внешняя, так и внутренняя (вспомним о значительной части «нации», желавшей во время Первой мировой победы кайзеровским войскам, и о стольпинском насильственном «единении» великорусского общества). Менее значим, но достоин упоминания тот факт, что в XX в. в громадной России не сложилось и единой общеэтнической народной культуры. Её функции худо-бедно исполняла запрессованная в державную форму группа несхожих региональных славянских субкультур. При этом почти каждая из них несла на себе отчётливые духовные черты обитавших некогда на соответствующих территориях этнических аборигенов-неславян.

источником такой эмоции является работа, исполняемая с удовольствием, равноправные отношения, стёртость социальных границ и пр.; 5) Потребность в самоактуализации, то есть в раскрытии, реализации своих личных способностей, стремлений и талантов, такого полного и живого переживании своего бытия, в ходе которого человек становится тем, кем имеет возможность стать. И, прежде всего, имеет возможность проявить заложенные этнопедагогикой потенциальные устремления к доброте, милосердию, красоте, истине, совершенству и другим бытийным ценностям (Аргайл, 1990. С. 22–23). Как мы видели, все эти базовые потребности получали прекрасные возможности к полному и стабильному удовлетворению в традиционном крымскотатарском обществе.

Дидро как-то заметил: «Русские сгнили прежде, чем созрели» (Россия глазами иностранцев, 1991. С. 36). Очевидно, великий философ имел в виду пагубный застой, характерный для массы, не создавшей общенациональной *народной культуры*. Но он не пошёл дальше, не счёл нужным объяснить, отчего судьба России в этом смысле столь необычна. Ведь и крымским татарам также были известны оба эти состояния (гниения и зрелости) но, к счастью, в *обратном порядке*. Вначале народ достиг высокого уровня и самодостаточной зрелости своей культуры, духа и нравственности, и это было великим подарком судьбы. А уж после этого он был ввергнут в гниль и грязь империи рабов. Причём *низвергнут* насильственно, а не по логике собственного развития, как это случилось с более северными подданными русских царей.

К началу этой стадии своей истории крымские татары уже скопили внутренние силы, достаточные для сопротивления тлетворной среде колониального режима. Россия захватила не стадо покорных рабов, а народ, познавший счастье внутренней гармонии, народ, который нашёл годный для него стиль жизни, создав богатую и уникальную культуру. Короче, нацию, которая *состоялась*. И долгая память о счастье доимперского бытия помогала крымскотатарскому этносу сохранять в себе крепкое, созревшее и оттого здоровое ядро, способное уцелеть, не разложиться в обстановке поголовного физического и духовного великорусского рабства и порождённых им тяжёлых моральных недугов. Именно такое здоровое зерно могло дать свежие, молодые побеги при первой же к тому возможности. То есть, не нуждаясь для этого в какой-то искусственной реанимации духа, о которой столь часто вещают московские средства массовой информации.

Такой этнос попросту излишне гальванизировать какими-то умозрительными конструкциями типа очередного фантазма «русской идеи».

Но до своего возрождения народу пришлось пройти нечеловечески трудные, иногда буквально гибельные испытания. Как ему удалось преодолеть их — это многоплановый и оттого сложнейший вопрос. Дальнейшие очерки этого четырёхтомника — лишь попытка найти на него самые общие, предварительные ответы.

## II. АННЕКСИЯ

*Мы — рабы, потому что наши праотцы продали своё человеческое достоинство за нечеловеческие права...*

А.И. Герцен. Былое и думы.

### 1. Завоевание Крыма

История аннексии Крыма Россией в XVIII веке достаточно хорошо известна, как и последствия этой акции. Однако при знакомстве не только с популярной, но и со вполне научной литературой у читателя неизбежно возникают вопросы, на которые нелегко отыскать ответ. К примеру, такой: Россия к концу указанного века давно уже вышла из допетровского (и петровского), внешнеполитически изолированного, глубоко провинциального состояния; в век Екатерины II страна имела как тесные связи с одними европейскими державами, так и враждебные отношения с другими. Как же могли они, эти участники всеевропейского «концерта», допустить вопиющий по своей незаконности акт откровенно насильственного захвата Россией суверенного государства с многовековой историей?

Второй вопрос: как всё же удалось России, то есть державе, зарекомендовавшей себя в глазах Европы безжалостным и слепым агрессором, опасным своей силой и коварством соседом, провести в жизнь аннексию, резко изменившую в сторону дальнейшего усиления её геополитическое и военно-стратегическое положение?

Почему, наконец, этому разбойничьему захвату не оказали практически никакого сопротивления ни коренной народ Крыма, ни его суверенный властитель, хан из мощного рода Гиреев, ни его духовный халиф и политический покровитель, султан Турции?

Для того, чтобы ответить на эти и некоторые иные вопросы, придётся исследовать отдельные проблемы не столько исторической судьбы Крыма, сколько политического развития России. Причина такому предпочтению — *бесперспективность* изучения политики Крыма в последние 10–12 лет его существования в форме независимого ханства. На бахчисарайском престоле попросту не появлялось уже личностей, способных на обычную самостоятельность, более или менее свойственную большинству единоличных правителей. И, как кратко, но убийственно метко давным-давно заметил знаменитый русский историк Крымского

ханства, «...все ханы после Крым-Гирея по своей политической роли ничтожны, по индивидуальным свойствам безличны и по историческому своему значению едва заслуживают перечисления, тем более, что они беспрестанно менялись один за другим, большую часть не пробывши и одного года в ханском звании» (Смирнов, 1889. С. 114).

России на царей и цариц (в смысле *разнообразия*) везло больше, имеется в виду столетие, предшествовавшее завоеванию Крыма. На её троне и раньше сидели весьма непохожие монархи — от «тишайшего» Алексея Михайловича до весьма «громких» Петра I или Екатерины II. И политика державы по отношению к ряду европейских стран менялась, зачастую на 180°, едва на престол восходил новый император<sup>1</sup>. Удивительное *постоянство* характерно, пожалуй, лишь для двух направлений — польского и крымского. И Польша, и Крым подлежали, по мысли русских политиков ещё XVII в., полному подчинению России с последующим порабощением, изгнанием или физической ликвидацией коренных народов.

Шли десятилетия, но агрессивный план серба Крижанича (о нём говорилось выше) претерпевал в умах «белых царей» весьма слабые изменения, что говорит отнюдь не в пользу их интеллекта. В этом смысле показателен так называемый «Доклад», подготовленный в год восшествия на престол Екатерины II, и по её указу. Его безымянный автор, упомянув для приличия старинные «обиды», которые Россия претерпела — в одностороннем, разумеется, порядке — от крымцев, переходит к актуальности захвата Крыма. Не озаботившись хоть каким-то прикрытием разбойничьего характера планируемого похода, плана аннексии целого государства, автор откровенничает: «Полуостров Крым настолько важен, что действительно может почитаться ключом Российских и Турецких владений», завладев которым Россия могла бы держать «под страхом ближняя восточная и южная страны, из которых неминуемо имела бы она между прочим привлечь к себе всю коммерцию» (Доклад, 1916. С. 191).

Таким образом, предлагался проект экспансии в её наиболее чистом виде и совершенно прозрачной форме. То есть захват ради захвата, насилие ради насилия, ведь южные степи ещё не были распаханы (на них кочевало местное ногайское население) и не производили товарного хлеба, для вывоза которого могли бы понадобиться черноморские гавани. Да и с европейской точки зрения (на которую Петербург весьма и весьма обращал внимание) захват и ликвидация Крымского ханства также являлась беспорной агрессией (См. *Raeff*, 1972. P. 198–200).

<sup>1</sup> Впрочем, перемены эти были скорее внешними, формальными, чем глубокими и принципиальными. Да и вызваны они были совсем иными причинами, чем стремление к созидательным реформам. Видимость изменений внешне- или внутриполитического курса была необходима сама по себе; так, начиная с Петра, считали российские правители и правительницы. Это символическое обновление позволяло коронованным особам фигурировать в качестве носителей преобразовательной способности и мощи. Одно за другим «царствования открывались выставляемыми напоказ энергичными переменами, дискредитацией — явной или подразумеваемой — предшественника, предъявлением новой программы созидания» (*Уорман Р.* Изобретение традиции // *НЛО*, 2002. № 56. С. 34). И это безотказно действовало как на подданных, так и на европейскую общественность, за редкими исключениями (напр., А. Герцен, А. де Кюстин).

Ещё менее убедительно в этом смысле оправдание аннексии видами на сам Крым: разорённый, опустошённый полуостров смог быть как-то (то есть далеко не в традиционном облике) восстановлен лишь через несколько поколений, причём ценой огромных жертв и лишений, которым было насильственно подвергнуто местное население. Имеется, правда, ещё одно объяснение. Захват ханства отвечал некоторым чертам этнической психологии народа: «Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесённых лишений, унижительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает её от переживаемого ею бесчестия; коленопреклонённый раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной воли» (*Кюстин*, 2008. С. 641).

Об обоснованности такого захвата с точки зрения международного права, просто о жертвах для крымскотатарского да и для русского народа, неминуемых при его осуществлении, о том, что за «коммерцию» предполагалось платить кровью современников и порабощением их потомков, — обо всем этом в «Докладе», разумеется, не было ни слова. Несколько опережая события, заметим, что и почти через век в оправдании вооружённого захвата ханства по сравнению с «Докладом» не появилось ничего нового, оригинального, разве что несусветная ложь о том, что аннексия была вызвана мыслью «о прекращении страданий обречённого мира от кочевников» (*Б-нь*, 1856. С. 41).

Затем последовал меморандум государственного канцлера графа А.Р. Воронцова. Этот документ касался внешней политики империи, в том числе и в южном её направлении. В нём резоны «Доклада» развивались, усиливались и снабжались перспективными рассуждениями о возможном международно-политическом обеспечении захвата Россией Крыма (Подробный анализ меморандума см. в: *Connermann*, 1998. S. 337).

И «Доклад», и меморандум А.Р. Воронцова несомненно импонировали царю. Особенно заметным это стало после побед 1770–1771 гг., одержанных в продолжавшейся турецкой войне. По весьма дельному замечанию современного исследователя, именно в 1770–1780-х гг. сложилась геополитическая и идеологическая концепция обладания Крымом в качестве некоего «венца исторической миссии России, её цивилизационного назначения» (*Зорин*, 1998. С. 123). Причём для достижения этой цели был вовсе необязателен непременно *военный* захват ханства. Судя по всему, Петербург полагал, что вполне достаточно просто отказа турок от Крыма, предоставления ему свободы. Ведь независимый Крым настолько мал, просто несоизмеримо мал по сравнению с царской империей, что рано или поздно, он неизбежно впадёт в полную зависимость от приблизившегося гигантского соседа<sup>1</sup>. Поэтому царские дипломаты первым делом предложили туркам предоставить ханству независимость. Стамбул это предложение отклонил. И тогда командующий русской армией в начальный период Русско-турецкой войны 1769–1774 гг. граф Н.И. Панин завел речь о «святой волиности» с Каплан-Гиреем II, обещав ему за поддержку помощь в достижении

<sup>1</sup> Едва ли не в последний раз эта гипотеза была выдвинута (точнее, повторена) в: *Новичев*, 1963. Т. I. С. 230. Она до сих пор никак не опровергнута — на профессиональном, доказательном уровне, естественно.

полной самостоятельности Крыма. Хан от такого дара данайцев отказался, причём в весьма резкой форме (Рус. арх., 1978. Т. XII. С. 458).

Получалось, что Петербург переоценил остроту крымско-турецких разногласий. Конечно, они существовали, причём были даже традиционными, ибо зародились ещё в первые годы турецкого владычества в Крыму. Но теперь, ввиду несомненно более угрожающей опасности, крымчане явно забыли о старом антагонизме. Русские такого не ожидали, это меняло дело.

И Екатерина II берёт на вооружение новую тактику. Она стремится расколоть единство крымцев, предлагая тому же Н.И. Панину соблазнить татар «свободой» от турецкой опеки, начав рассылать копии с российских предложений политической помощи в Крыму «по разным местам, чем по малой мере разврат в татарах от разномыслия произойти может» (цит. по: Соловьев, 1994. Кн. XIV. С. 286). Тем крымцам, которые не питали надежд на политическую карьеру, предлагался другой, столь же действенный и старинный соблазн — деньги. Отдадим должное Екатерине Второй, её политика была столь же умной, сколь и подлой. Что и было характерно для всего периода правления этой женщины.

Царице вообще не нужно было изобретать методы борьбы с крымскими татарами. У неё всегда находились близкие подданные, готовые бескорыстно помочь словом и делом в такой святой миссии. В частности, идея отколоть заперекопских татар от хана родилась в голове анонимного «русского патриота», составившего целую программу захвата Крыма, где среди прочего был совет по поводу раздробления многоплеменных подданных хана<sup>1</sup>. Но едва ли не более действенной оказалась пропаганда, которую вели среди степняков завербованные Н.И. Паниным агенты, получавшие за это плату. Они расписывали перед кочевниками, какой благодатью для них может оказаться свобода от турецкого покровительства, ведь тогда они смогут свободно кочевать где угодно.

Первыми на эту агитацию поддались ногайские орды хана — едисанцы и буджаки. Лишенные после взятия русскими Ларги, Кагула и Бендер доступа в родные степи, они вступили в союз с Россией, отказавшись от турецкого верховенства. Вначале для ведения переговоров об этом 25 июля 1770 г. лидировавшие ногайские мурзы направили к Н.И. Панину своего посланца Тинай-агу. Очевидно, он сумел убедить российские власти в полной готовности ногайцев покориться императрице, так как вскоре были отпущены на волю 809 ногайских пленных, захваченных в ходе военных действий. После этого в орду поехал статский советник Иностранной коллегии П. Веселицкий. Им и был уточнён текст договора о ногайском подданстве, подписанный 25 сентября 1770 г. (Скальковский, 1843. С. 121—122).

<sup>1</sup> «Постараться употребить все политические средства к введению между разными Татарскими поколениями (то есть племенами. — В.В.) междоусобные распри и несогласия, как то между Крымцами, Ногайцами, Буджаками, Едисанами, Ембулуками и прочими... и через то разделить их на разные частные владения, к чему многие и различные способы найтись могут; а сие весьма не мало послужить может к наискорейшему и легчайшему Крыма завоеванию» (Цит. по: ИТУАК, 1919. № 56. С. 118). Записка после использования по назначению попала в канцелярию кн. В.М. Долгорукова, а затем, более чем через век, была случайно обнаружена в одном из частных крымских архивов — В.С. Попова или Тавельском. Этот источник полностью опубликован в четвёртом томе (раздел Приложения).

Вскоре мурзам пришлось в этом раскаяться. Уже в 1771 г. их выселили из родных степей в междуречье Дона и Кубани (Каневский, 1845. С. 212). За ними последовали едичкульцы и джамбуйлуки. Правда, впоследствии, опасаясь их соединения с беспокойными горскими племенами, ногайцев вернули в Причерноморье, предоставив им кочевья в Мелитопольском уезде. Но теперь они и не помышляли о поддержке ханства, став обычными подданными царицы. Таким образом, уже в 1770-х гг. собственно Крым (полуостровная часть ханства) остался практически в одиночестве. Но постепенно у императрицы появлялась надежда на раскол противника и здесь. И надежда эта оправдалась. Хотя, признаем истину, на отдельных крымчан подействовали в той ситуации не столько подмётные письма царицы, сколько русские угрозы и русские деньги, возможно.

Князь В.М. Долгоруков, командовавший армией на крымском направлении, подкупил группу влиятельных татар, среди которых были и члены ханского рода. Один из них, печально известный в истории татар хан Шагин-Гирей, будучи пока ещё нетитулованным сыном калги и Мехмед-Гирея, питал надежду занять престол не по наследству, а с помощью русских штыков. Однако до поры до времени он свои намерения, конечно же, скрывал, хотя действовал весьма активно.

В то время Крымом правил Азамат-Селим-Гирей III (1764—1767, 1770—1771), хан, оставшийся верным Турции и даже лично воевавший на её стороне против русской армии на Дунае. В отсутствие хана и большей части войска во дворце оставался его калга Мехмет-Гирей, склонявшийся вместе с диваном к полному отказу от переговоров, которые пытался наладить Долгоруков. Однако на одном из заседаний совета против этого решительно выступил Шагин. Опираясь на поддержку муфтия, он предостерегал беев от полной утраты «милости» России, заняв, таким образом, пораженческую позицию ещё до начала военных действий (Лашков, 1886. С. 5). Уже весной 1771 г. об этом узнали в Петербурге, и, конечно, кредит Шагина там увеличился.

Но Азамат-Селим-Гирей вернулся в Крым, это заставило Шагина затаиться, как и его сторонников-мурз. Тогда в начале июня 1771 г. армия Долгорукова<sup>1</sup> общим числом в почти в 100 000 человек (30 000 солдат и 60 000 недавних подданных хана — ногайцев) подошла к Перекопу. Здесь стояло около 50 000 крымско-татарских конников в поле, а крепость защищало 7 000 турок. Причём ожидать поддержки от Турции крымцам не приходилось, почти весь османский флот был занят на Средиземном море, так что перебрасывать войска в Крым при всём желании султан не смог бы. Зная об этом, Долгоруков принял решение о немедленном вторжении на полуостров. Штурм Ор-Капы начался в ночь на 13 июня 1771 г. При этом почти полностью повторилась картина сорокалетней давности: турки практически сдали крепость, после чего весь гарнизон отступил к ожидавшим его судам и отплыл в безопасную Варну (Milner, 1855, 221). Таким образом, крепость была взята почти бескровно. Одновременно, как и в 1737 г., крупный

<sup>1</sup> Как полководец В.М. Долгоруков был ниже всякой критики — это было всеобщее мнение его современников (См., напр.: Рамм, 1941. С. 79). Его «сильными сторонами» были любовь к интриге и неумолимая жестокость, способность вместо использования продуманных тактических разработок буквально шагать вперёд по трупам не только вражеских, но и своих солдат.

отряд русских переправился через Сиваш (командовал ими П. Прозоровский). И снова была введена в дело Азовская флотилия, которая высадила на Керченский полуостров крупный десант с лёгкими пушками. Крымскотатарская полевая армия, руководимая лично ханом Азамат-Селим-Гиреем, ничего не могла сделать с русскими, имевшими значительное огневое превосходство и отступила вглубь полуострова (*Schwindlin*, 1772, S. 12, 15).

2 июля русский отряд под командованием генерал-майора Бруна подошёл к Гёзлёву. Едва солдаты прошли лиманский перешеек, как турецкий гарнизон спешно погрузился на корабли и ушёл в сторону Ахтиара. После этого мощная крепость была взята — также практически без сопротивления, лишь запоздавшие к корабельным трапам 20 турок попали в плен. Другой русский отряд пошёл на Карасубазар, здесь поражение крымцев было ещё обиднее: крепость сдали не султанские янычары, а свои же, заперекопские ногайцы, некоторое число которых по-прежнему находилось в ханском войске (*Schwindlin*, 1772, S. 17–18). Только Кефе оказала достойное сопротивление, но после гибели 3 500 человек из турецкого гарнизона также вынуждена была сдаться. Мирные жители города пытались спастись на кораблях, но были настигнуты в открытом море российской Азовской флотилией и без всякой надобности и пощады потоплены (*Катюшин*, 1998, С. 146). Затем бежали турецкие гарнизоны Еникале и Керчи — едва русские отряды двинулись к восточному окончанию этого узкого полуострова.

Между тем основная армия остановилась на некоторое время в центральной части Крыма, в районе Акмесджита, так как начались переговоры Долгорукова с Азамат-Селим-Гиреем. Хан соглашался признать союзные и дружественные отношения с Россией, о том же уверяли русское командование Ширины и некоторые иные беи и мурзы, а также часть духовенства. Переговоры шли довольно гладко, но Долгорукий заподозрил, что крымскотатарская сторона ведёт их единственно с целью затянуть время и дал приказ двинуть войска к Бахчисараю, Ялте и Балаклаве. Азамат-Селим-Гирей не без оснований увидел в этом манёвре намерение захватить его в плен и был вынужден отправиться в Стамбул, куда уже неделей до того бежали некоторые из его сыновей (*Соловьёв*, 1994, Кн. XIV, С. 434). После этого 27 июля в ставку к Долгорукову прибыл Исмаил Ширин-бей и подал князю присяжный лист с изъявлением желания вступить в союз и дружбу с императрицей, подписанный 110 беями и мурзами крымскими (ук. соч. С. 435).

Итак, за три недели отборное русское войско овладело почти всеми опорными пунктами Крыма. Крымские ногайцы помощи агрессору не оказывали, зато с худшей стороны проявили себя христиане Кефе: когда кефинский гарнизон вышел в сторону Перекопа навстречу русским, то ободрённые приближением единоверцев несколько тысяч армян и многие греки устроили в городе погром, «кинулись разорять дома» татар и турок (*Неджати*, 1894, С. 192). Победитель оценил поступок христиан: когда крепость пала, и солдаты бросились грабить город, то жилища греков и армян были пощажены. Всего же в этом городе была взята добыча в 2 000 000 рублей, современники уверяли, что ещё хуже пришлось сёлам и городкам Альминской и Бельбекской долин, доставшимся не солдатам, а казакам (*Schwindlin*, 1772, S. 26–27). В целом же Долгоруков повторил подвиги Миниха и Ласси, «разорив много городов до самой Кафы» (*Маркевич*, 1897, С. 29). Приведём лишь один пример действий полководца, к обелиску с барелье-



Портрет неизвестного мужчины, по некоторым данным — Шагин-Гирей II. Из коллекции издательства «Тезис»

фом которого на ул. Жуковского благодарные русскоязычные симферопольцы доныне постоянно возлагают живые цветы<sup>1</sup>.

В декабре 1771 г. солдаты и офицеры трёх долгоруковских полков, оккупировавших Судакское каймаканство, упорно искали золото и серебро с обычными мародёрскими целями. Поскольку вожденные трофеи никак не находились, то для обнаружения потаённых кладов ими были подвергнуты чудовищным истязаниям мирные крымские татары и караимы. Когда пытки мужчин ни к чему не привели, то такая стойкость настолько разъярила мародёров, что они начали пытать женщин и детей крымчан. Очевидно, крики беззащитных малышей и жён подорвали упорство мужчин, и они понесли в русский лагерь деньги и иное имущество. Кроме того, о многих укромных местах поведали северным единоверцам крымские христиане, так называемая «райя». Сколько было при этом награблено, сказать трудно. Но только отнятого у мирных жителей не самого большого крымского села, Озенбаша, оказалось столько, что для его вывоза понадобилось две сотни лошадей с телегами (*Азарья*, 1856, С. 109). Некоторые современные авторы не без основания сравнивают разорение Крыма в 1771 г. с катастрофой 1736–1738 гг. (*Г. Абдуллаева*, Ключук-Кайнарджийский мир // А., 23. 06. 2006, С. 8).

Вот так Долгоруков и стал вскоре «...хозяином в Крыму, опираясь на партии Шагин-Гирей и иных изменников, а тем более на жившую в Крыму [христианскую] райю» (*Маркевич*, 1897, С. 29). О том, что склонило к русским Шагина, говорилось выше; райя же получала из рук захватчиков сельские уголья, ремесленные мастерские, лавки, сады, жилища перебитых или бежавших из Крыма мусульман; в полуразрушенном Кефе кресты были водружены сразу на дюжине бывших мечетей, то же стало повторяться в других больших и малых крымскотатарских городах и сёлах (*Смирнов*, 1889, С. 138–139; *Соловьёв*, 1994, Кн. XIV.

<sup>1</sup> Нет ничего странного, что этих патриотов империи совершенно не смущает дважды живая надпись на фронтальной грани обелиска: «В память освобождения Крыма русскими войсками от турецких (?) захватчиков (?) в 1771 году».

С. 436). Таким образом, рецепт раскола бывшего единства населения полуострова был прост: нужно было лишь одаривать одних имуществом других — и мигом решались все проблемы, стоящие перед властью. В этом россияне убедились и хорошо запомнили на будущее.

Вскоре, 27 июля 1771 г., Долгоруков утвердил на престоле Сахиб-Гирея, брата Шагина, занявшего при нём пост калги. Новый хан собирал диван, вел переговоры и т. д. Все шло, как раньше. Но Крым был в руках русских; турецкие гарнизоны вскоре были окончательно изгнаны. И братья Гиреи почти немедленно стали протестовать против занятия крепостей победителями. Это был поразительный акт, очевидно, они вообразили, что русские, изгнав османов, предоставят татарам возможность самим определять судьбы своего края!

## 2. Независимый Крым

Казалось бы, расходиться пора, но компания не унималась. Русского человека пригласить легко, проводить трудно.

*В. Аксёнов. Новый сладостный стиль*

### а) Карасубазарский мирный договор

После оккупации полуострова российский поверенный в делах при ханском престоле П. П. Веселицкий предложил послать к царице письмо с просьбой «перенять под русскую руку» города Кефе, Керчь и Еникале. Хан отказался. Тогда прибывший в Бахчисарай генерал Е. А. Щербинин предложил «охрану» крымской вольности, но и на это Сахиб-Гирей II гордо ответил: «На что вольного человека охранять?» (Смирнов, 1889, С. 141). Жест красивый, но лишенный политической основы, по крайней мере в ситуации, когда землю хана заполонили русские солдаты и заперекопские ногайцы.

Тем временем Шагин отправился в Петербург, имея при себе присяжный лист и грамоту об избрании нового хана. Калге назначили богатое содержание на время пребывания в столице и вообще окружили вниманием. Отсюда он пишет письма брату, советуя соглашаться на все русские предложения, отдавать города и т. д. В это время Сахиб неожиданно получил поддержку турок, которые даже прервали переговоры с русскими в Фокшанах, пока не прекратится оккупация Крыма; к османам снова стали склоняться ногайские орды. Но русские дали ногайцам подарков на 10 000 руб., в Крым ввели дополнительно корпус генерала А. А. Прозоровского, а Долгорукову указали заключить с ханом формальный союзный трактат, что доказало бы независимость Крыма. Князь приступил к переговорам.

Они долго шли безрезультатно, крымские татары понимали, чем грозит их родине предлагавшийся в проекте трактат. И тогда вновь последовали карательные акции против мирного, то есть не оказывавшего вооружённого сопротивления народа. Резня, устроенная Долгоруковым 19 сентября 1772 г. была настолько страшной, что свидетельства о ней не только стали известны за рубежом, но поз-

же попали и в научную литературу (Лашков, 1886, С. 11). Эта кровавая баня отнюдь не была каким-то исключением в тактике русских захватчиков. Массовые казни, сопровождавшиеся выжиганием больших сёл и малых деревень, продолжались несколько недель. Их масштаб был таков, что очевидным стало *уменьшение коренного населения*.

Лишь в виду явно начавшегося геноцида, поняв, что русские не остановятся перед истреблением целого народа, хан согласился на мирные переговоры. Для этого в Крым в качестве полномочного посла и дипломатического резидента был направлен генерал-майор Е. А. Щербинин. И крымскотатарские представители на переговорах, состоявшихся в *Карасубазаре*, согласились подписать 1 ноября 1772 г. требуемый *договор* (текст см. в IV томе) о независимости ханства, в дальнейшем ставший основой кабального Кючук-Кайнарджийского договора (Подр. см. в: *Скальковский*, 1838, Ч. II, С. 148).

В преамбуле этого акта Екатерина выражала сожаление по поводу несколько зависимого от Турции положения ханства, «как несвойственного и совсем предосудительного» для коренного народа Крыма. Далее признавалось, что крымцы, если и выступали некогда против России, то по турецкому принуждению, то есть «против их собственной воли и пользы». В связи с этим царица «охотно» даёт им возможность подняться на «степень свободной и ни от кого не зависимой области, правимой собственным своим начальством в лице Хана Крымского», которого российская сторона торжественно признаёт «в качестве независимого владетеля над свободной Татарской областью».

Первопричиной же недавних военных действий в Крыму объявлялось «человеколюбивое сей Монархини сердце, [которое] подвиглось... употребить способы к избавлению Крымского полуострова и всех Татарских народов от поносного порабощения, в какое они коварством и насильством низвержены были».

Первой статьёй стороны обязывались вечно хранить «союз, дружбу и доверенность» *взаимно* обязуясь не притеснять веры, законов и прав друг друга. Аналогично гарантировалось невмешательство в процесс избрания новых ханов, что объявлялось сугубо внутренним делом крымскотатарского народа (Статья вторая).

Крымская сторона при этом была принуждена кровавыми обстоятельствами, которые упоминались выше, согласиться на передачу России в вечное владение порта-крепости Еникале, Керченского полуострова и большого села Ахтиара с окрестными территориями и прилегавшей к нему обширной и хорошо защищённой бухтой. Этим наносился огромный стратегический ущерб ханству: захваченные крепости полностью контролировали узкий Керченский пролив между Чёрным и Азовским морями, последнее из которых было по сути внутренним крымскотатарским озером.

Второе важное последствие — Россия получила возможность базирования флота не в глубине своих материковых владений, на берегах русских рек, а непосредственно близ театра будущих военных действий с Турцией, что, как мы увидим, в конечном счёте привело к лишению Крымского ханства его древней государственности. Но в момент заключения Карасубазарского договора эта уступка была ханжески облечена в форму заботы России о возможности быстрого оказания «в нужных случаях немедленной помощи и защищения» ханству, что станет гарантией «вольности и независимости Крымской и всех Татар, составляющих



ныне свободную область под собственным своим Верховным Правительством» хана (Статья седьмая).

Что же касается оккупации ханства, то Россия гарантировала, что «по заключении с Портой мира Российские войска [в Крыму] пребывания иметь не будут, равно и за Перекопом Крымская степь по границы Российской империи, бывшие до настоящей войны... во владении Крымских жителей остаться имеет» (Статья восьмая). Были оговорены и взаимовыгодные условия торговли подданных обоих государств (практически беспощинной), что также имело свой смысл.

То есть по смысловому содержанию трактат этот можно назвать классическим первичным договором колониальной истории XVIII в. Начальный период оккупации коренного населения самых различных областей открывали такие вот стереотипные «договоры о мире и дружбе, предусматривавшие также ограниченные земельные уступки для удовлетворения интересов поселенцев и регулировавшие торговлю» (Мартинес, 1992, Т. II, С. 185). Карасубазарский трактат в целом можно определить как заключённый крымцами даже не под какой-то надвинувшейся угрозой, а как чрезвычайную меру, необходимую для немедленного прекращения, притом *любой ценой*, уже начавшегося процесса истребления коренного мусульманского населения полуострова. Поэтому его нельзя характеризовать как осознанный, и ещё менее — как свободный и добровольный договор.

Поэтому в незаконности, государственно-правовой ничтожности этого акта не может быть никаких сомнений. Любой независимый суд признаёт незаконными даже свидетельские показания по простому уголовному делу, полученные под физическим принуждением к ним. Что же тогда говорить о вынужденности Карасубазарского договора, который был буквально вымучен сотнями жертв — а при неподписании его этих несчастных стало бы ещё больше, — пока завоеватели не перебили бы всех...

Формально Крымское ханство становилось независимым. Россия не настаивала пока на его аннексии по трём причинам:

а) правительство в Петербурге отдавало себе отчёт в том, что разорённый российской агрессией Крым не только не принесёт доходов в виде податей и пошлин, но и потребует от казны дополнительных расходов на восстановление экономики;

б) правительство опасалось остро враждебной реакции европейских стран на столь радикальное усиление России, чьи агрессивные устремления были хорошо известны не только западным державам;

в) Царская администрация пришла к выводу, что татары вообще «по их свойству и положению никогда не будут полезными подданными России, никакие с них порядочные подати собираемы быть не могут, и для защиты русских границ они служить не будут» (Уляницкий, 1883, С. 145).

Вскоре, при направлении в независимый Крым первого постоянного российского представителя, в Петербурге было решено оформить его прибытие в Бахчисарай по протоколу торжественного посольства. Необходимость этого обосновывалась канцлером Российской империи Паниным следующим образом: «По введённому в Европе обыкновению и этикету не может ничем действительнее, явнее и достаточнее доказано быть признание со стороны здешнего двора независимости татарской, как сим поступком, предполагающим их достойными

быть непосредственного с *почтительными* державами сношения и пересылки» (Архив Воронцова, 1872. Кн. XXVI. С. 87).

Одновременно крымские дипломаты были извещены о том, что они могут не обнажать голов на торжественных приёмах при русском дворе, то есть и в присутствии императрицы (Архив Госсювета. Т. I. Ч. I. С. 125). Это право было чрезвычайно важным: им пользовались лишь послы правящей особы, статус которой был *равнозначен* имевшемуся у российских монархов, то есть императорскому. Из всех стран Ближнего Востока таким статусом (падишахским!) обладал лишь государь Персии, а турецкий султан мог только претендовать на него. Теперь Екатерина «вспомнила», что падишахами исстари являются и Гирейи, как наследники земель и регалий Золотой Орды и носители титула Великого Хана Великого Улуса и Степей Кыпчака (подробнее об этой проблеме говорилось в § 9 главы V первого тома).

Итак, заключив *Карасубазарский договор* с независимым Крымом, Россия получила доступ к Чёрному морю, которого она тщетно добивалась у Стамбула. Что же касается политической гарантии этих торговых привилегий, то и здесь крымская независимость вполне надёжно её могла представить: если ранее ханы назначались султаном, то теперь исход традиционной борьбы за власть между многочисленными Гиреями вполне мог решаться Петербургом. И конечно же, для поддержки «законной власти» любого из своих ставленников Россия могла сколь угодно долго держать здесь свои войска. Причём на столь же безукоризненно законном основании — по ханской просьбе о российском воинском присутствии.

Турция на автономии Крыма пока не соглашалась, не желая, естественно, навечно утратить одного из ценнейших своих вассалов. Была и веская формальная причина такого противодействия русской дипломатии, — ведь этого требовала Россия, а не сами крымские татары. Понимая всю обоснованность такого турецкого довода в глазах европейского общественного мнения, царские политики приложили немало усилий, чтобы добиться подобной просьбы от крымчан, но тщетно. Прошло совсем немного времени, и даже те бейи и мурзы, что в ходе междоусобицы делали ставку на русскую помощь, теперь свою позицию изменили. Как замечает один из интереснейших авторов, писавший буквально «по горячим следам» этих событий, русские войска, которые «вошли в Крым, содействуя к утверждению ханской власти, остались в нем и скоро надоели всем жителям» (Мертваго, 1867, С. 174). Поэтому и русские дипломаты уже в 1772 г. с трогательной обидой сообщают на родину, что «татары не познают и не чувствуют ни нашего им благодеяния (!), ни цены даруемой вольности и независимости, но, паче привыкнув к власти и игу порты Оттоманской, желают внутренне под оные возвратиться» (Уляницкий, 1883, С. 406).

Согласно информации, сохранившейся у крымских татар, близких к Шагину, именно эти дипломаты вели тайную интригу, возбуждая народ против их хана, подстрекая его к прямому мятежу, в то время как другие подбивали Гирея на самые непопулярные реформы и поступки, способные ещё более раздражать основную массу простых крымцев (Clarke, 1810, P. 468).

<sup>1</sup> О равнозначности падишахского и императорского статусов см. в: *Haberkem, Wallach*. Bd. II. 1972. S. 466.

И даже единственное своё дипломатическое средство, годившееся для решения проблемы, — договор с Крымом 1772 г. — Россия упустила из рук. Когда русская администрация начала отбирать у татар их территории и имущество в гораздо большем объёме, чем было указано в договоре, то есть первой нарушила его, то за отказ от соблюдения трактата высказался и ханский диван. При этом ханские советники опирались именно на этот факт — действия «России, отнимающей у нас земли и обращающейся с нами лживо». И беи твердо стояли на своём, несмотря на угрозы все более походившего на марионетку царицы Шагина: калга считал новую позицию дивана «вероломством», за которое России «ничего не стоит обратить Крым в пустыню» (Соловьёв, 1994. Кн. XIV. С. 29).

Таким образом, царская дипломатия зашла в крымском вопросе в тупик, причём по собственной вине. Более благоприятно складывались у России дела чисто военные. Неудача Дунайской экспедиции 1773 г. эхом откликнулась на Кубани: издавна жившие здесь крымские выходцы заволновались, и мятеж грозил перебраться в Крым. Начались военные действия, которые продлились до 1774 г., когда восстание было подавлено. Однако последовавшие карательные меры подполковника П.Я. Бухвостова были недостаточны: крымские татары на Кубани явно готовили новый мятеж. И тогда на эту окраину ханства царским правительством был направлен Шагин. К этому времени он, слишком далеко разойдясь с земляками, сложил с себя титул калги и откровенно перешел на русское содержание. Генерал Е.А. Щербинин снабдил бывшего калгу 35 000 руб., что помогло лучше, чем русские штыки: при помощи подкупов вожаков восставших крымских татар уже в мае 1774 г. Шагин стал кубанским сержантом (Лашков, 1886. С. 15).

В начале 1773 г. русским флотом был одержан ряд побед над турками в Средиземном море. В мае-июне того же года успехов на турецком фронте добилась и царская армия на правом берегу Дуная. А в январе 1774 г. умер сильный политик и мудрый государь, султан Мустафа III. Его на стамбульском престоле сменил малоопытный Абдул-Хамид I, от которого на продолжившихся переговорах России удалось добиться важных уступок. И 10/21 июля 1774 г. в придунайской деревне Кючук-Кайнарджийский между Турцией и Россией был заключён мирный договор.

### б) Кючук-Кайнарджийский мирный договор

Хочешь избежать войн, первое дело — не подписывать мирные договоры.

*Умберто Эко. Остров накануне*

Согласно этому трактату, во многом повторявшему Карасубазарский, крымские татары были признаны «вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной волей собственного их хана... который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчёта ни в чём никакой посторонней державе...» Притом подтверждались государственный суверенитет ханства и крымскотатарского народа как «в политическом и гражданском состоянии под собственным правлением своим состоящих, [и] ни от кого, кроме единого Бога не зависящих». Россия обязывалась вернуть ханству все захваченные ею крымскотатарские «города, крепости, селенья,

земли и пристани», кроме Керчи и Еникале. Империя обязывалась, кроме того, «все свои войска вывести из их (то есть, крымскотатарских. — В.В.) владений» (Статья III, подробнее текст см. в т. IV этого издания: Приложения. Текст V).

И ещё одна, с внешней стороны важная уступка была сделана Россией, очевидно, не без задней мысли о недолговечности как Кючук-Кайнарджийского мира, так и независимости ханов: крымские татары по-прежнему являлись духовными вассалами стамбульского халифа-султана, который единственно мог утверждать или не утверждать новых властителей Бахчисарайского престола. Но и эта уступка была чисто формальной. Лишь в религиозном отношении Крым, его кубанские и запорожские владения по-прежнему признавали над собой власть своего османского халифа. Однако в политическом отношении ситуация резко менялась. Отныне эти области становились автономными, исключаясь из административной, экономической и политической структур Турции. Как отмечает современный турецкий историк, эти постановления «стали первым шагом на пути [к будущей] аннексии Крыма Россией» (Бейдилли, 2006. С. 51). Новая граница между Россией и Турцией пролегла гораздо северней прежней, а именно по р. Аксу (совр. Южный Буг).

Итак, взамен своих более или менее символических уступок Россия получила весомую практическую выгоду, имевшую важные последствия. Султан утратил право политического и военного покровительства в отношении своих бывших подданных — крымских мусульманам. Напротив, Екатерина обрела некий «виртуальный протекторат над православными субъектами» (Lewis, 1961. P. 37). Этот вывод английского учёного заслуживает особого внимания. Россия в действительности получала право защиты православного населения всего османского государства, в том числе и крымского. Но если для турецких Анатолии и Балкан такое вмешательство во внутренние дела Оттоманской империи пока оставалось действительно виртуальным, то для Крыма этот пункт Кючук-Кайнарджийского договора имел куда более реальные последствия.

Здесь, на территории, с одной стороны, удалённой от Турции, но с другой — уже попавшей под тяжеловесную пяту российской императрицы, договор предоставлял ей весьма широкие возможности. Екатерина могла отныне рассматривать (и рассматривала) крымских христиан как своих непосредственных подданных, хотя ханство ещё не было аннексировано. Но в том-то и заключалась реальная суть договора, что дёла это не меняло; через 4 года волей императрицы крымские христиане — формально и фактически подданные хана — будут депортированы за Перекоп и станут «субъектами» российского права уже *де-факто*. Причём навечно.

### 3. Шагин-Гирей

*Утрагедии Крыма было своё имя и лицо — Шагин-Гирей.*

С. Себаг-Монтефиори

Против последнего условия договора выступил Шагин-Гирей. Для того, чтобы понять эту акцию крымского хана, вернёмся немного назад. Начнём с того, что коллизия его будущего подпадения под власть Екатерины имела давнюю историю.

Ещё не будучи калгой, он возглавил в 1771 г. ханскую делегацию в Петербург, где провёл некоторое время, знакомясь с европейскими обычаями, точнее, с тем суррогатом западной культуры, что доминировал при тогдашнем дворе. Бесспорно, умная женщина и жёсткий политик, Екатерина II быстро раскусила слабость натуры калги<sup>1</sup> и, видимо, тогда уже приняла решение использовать его в своих целях. Началась духовная и политическая дуэль, в которой мужчина был обречён на поражение и гибель, хоть и не от руки женщины, которая при всех её нравственно-этических недостатках, безмерно превышала его в смысле энергии и интеллекта, целеустремлённости и беспринципности. Однако сначала эта схватка не была прямым, явным для всех противостоянием.

Очевидно, на первой её стадии Шагин принял решение ориентироваться на Россию в своих, естественно, интересах. Уже в 1772 г. он не стеснялся всячески третировать земляков, открыто объединяя свои интересы с имперскими, отказываясь от нормальных отношений «с такими неблагодарными людьми, враждебными мне и русским», за что получал похвалы из Петербурга (Архив Госсювета, 1869. Т. I. Ч. 1. С. 243). Позже хан заявлял, что без твердой хозяйской руки царей в Крыму начнутся беспорядки, неизбежные уже по «непостоянству и скотским нравам» его народа (цит. по: Соловьёв, 1994. Кн. XIV. С. 28). Линию на дальнейшее сближение с Россией с некоторыми пор откровенно проводил и единомышленник Шагина, его брат, хан Сахиб-Гирей II. Поскольку же эту политику было невозможно скрыть ни от приближённых, ни от народа, то, едва русские войска покинули ханскую часть Крыма (как это предусматривалось мирным договором), на полуострове начались массовые волнения.

Прежде всего татары отказывались подчиняться хану, которого возвели на престол русские и который, что важнее, вёл страну напрямую в российскую кабалу. Абсолютному большинству крымцев гораздо предпочтительнее казалась турецкая опека и защита (Архив Госсювета, 1869. Т. I. Ч. 1. С. 289). Когда же султан заявил о том, что он никогда не благословит Сахиб-Гирея на ханство, а татары послали депутацию в Стамбул, прося о прежнем покровительстве, настроение всего крымского народа стало настолько очевидным, что царское правительство уже допускало малодушную мысль о том, что полуостров удержать не удастся (Лашков, 1886. С. 16). Причём не без оснований.

Крымцам надоел русофил Сахиб, и ранней весной 1775 г. они его свергли в пользу энергичного и умного члена ханского рода Девлет-Гирея III (1775–1777). Тот первым делом решил покончить с Шагином и послал на Кубань сержантом Тохтамыш-Гирея, который разбил охрану бывшего калги, вынужденного скрыться в русском уже порту Еникале. Эти и некоторые другие действия Девлета, направленные против русского влияния (см. в: Маркевич, 1897. С. 31) настолько пришлись по душе султану, что он прислал ему не халифское благословение, а, как в былые времена, султанскую инвестицию.

<sup>1</sup> Об этом мы знаем из её писем Вольтеру. Видя молодого ханского сына, робко жмушегося в углу бального зала и страстно вглядывавшегося в открытые лица столичных красавиц, она умилялась беззащитности намеченной жертвы: «Нежная натура, он пишет арабские стихи... Когда ему разрешат смотреть на танцующих дев, он присоединяется к моим воскресным собраниям» (СРЮ, 1872. Т. 8. С. 227).

Очевидно, именно этот акт привел Петербург к идее сделать ханом Шагина. Однако провести её в жизнь было непросто. Во-первых, в Крыму были весьма прочны позиции Девлет-Гирея, то есть, законно избранного хана. Во-вторых, ненавидимого в Крыму Шагина пришлось бы постоянно поддерживать извне, то есть держать войск больше, чем это было бы необходимо при популярном в народе правителе. Наконец, вряд ли Шагина, известного своим ренегатством, утвердил бы султан.

И тогда Россия пустила в ход многократно проверенное средство — подкуп. Только в 1777 г. деньги пошли уже не в Стамбул (теперь можно было без этого обойтись: турки вновь завязали изнурительную войну с Персией), а в Бахчисарай. Причём тем деятелям, что за подарки готовы были поддерживать любого из российских ставленников, — Ширин-бею, Абдул-Вели-аге и некоторым другим (Дубровин, 1885. Т. I. С. 424, 427). Вслед за этим российский командующий П.А. Румянцев послал в Крым войско во главе с генералом А.А. Прозоровским, при котором находился Шагин. Девлет вышел навстречу с 40 000 войска, но был разбит и навсегда покинул родину, отправившись в Турцию, где и умер в 1780 г.

Шагин-Гирей, знавший, что большинство старейшин настроено против него (они заявили, что повесят не только Шагина, но и любого из его гонцов, как только те ступят на крымскую землю), долго не осмеливался занять опустевший дворец. Но через месяц ему присягнули практически все беи и мурзы. Присягу с их подписями Гирей подобострастно передал П.А. Румянцеву. Впрочем, текст её командующему был уже известен: это был перевод на крымскотатарский с русского оригинала, который Шагин-Гирей получил заблаговременно от своих северных покровителей (Смирнов, 1889. С. 179–180!).

Когда Шагина объявили ханом, он заявил претензию не только на обычный ханский, но и на султанский домен на полуострове и получил его из рук русских. К нему отошли Кефинское, Мангупское и Судакское каймаканства, где он сразу увеличил налоги. И тут же стал раздавать земли турецкого домена в пользование на правах иктаа-истирфак (бенефиции). В обмен на эти угодья он обрёл немало приверженцев, готовых на всё (Лашков, 1897. С. 121). Порта, естественно, раздражённая этим наглым захватом и расхищением своих владений, образовала новый турецкий пашалык из бессарабской части Крымского ханства, а именно, включив в османскую империю Ковшаны, Балту, Дубоссары и все прочие ханские земли между Днестром и Бугом. При этом отсюда были высланы все крымские чиновники с чалами и домочадцами (Дубровин, 1885. Т. I. С. 773–775).

Шагин в долгу не остался, и некоторое время спустя прирезал к ханскому домену земли депортированных Суворовым греков, армян и готов-христиан (см. ниже), а это было немало: 272 сада и виноградника в долине Качи, 73 — Альмы, 116 — Бельбека. А также 78 — в Отузской, 85 — в Коккозской, 35 — в Судакской и 17 — в Кутлакской долинах. Ещё более значительными стали его владения вокруг южнобережных деревень, где христианское население также было выслано русской военной администрацией. Так совместными турецко-русскими усилиями перекраивалась карта «независимого» ханства...

Какую же цель преследовал новый хан? Любопытное мнение высказывает по этому поводу Амет Озенбашлы, много лет отдавший осмыслению крымской истории. Он пришёл к выводу, что Шагин-Гирей II «безусловно разбирался

в международной политике. При изучении следов, оставленных этим ханом в истории, видно, что он чувствовал, что Турция завязла в средневековой тьме и фанатизме, политически всё больше слабела и продолжавшееся её влияние на Крым не могло дать последнему ничего, кроме отдаления его от благ европейской культуры. С другой же стороны он видел, что Россия всё больше усиливается, и европейская культура превращает её, платившую дань татарам, в мощное государство. Падкий на славу и почёт Шахин... приняв в высшей степени опасное предложение России о независимости Крыма, хотел навечно оторвать Крым от Турции и стать независимым ханом Крыма. В то же время Шахин вовсе не собирался заменить зависимость Крыма от Турции зависимостью от России. Он хотел вместе с независимостью воспринять европейскую культуру, обеспечить процветание и мощь страны и стать сильным. Его вовсе не беспокоило, что Крым был маленьким. Он всегда помнил, что Чингиз и Тимур смогли превратить маленькую страну в большую. Он видел, что соседство с Кавказом, населённым воинственными народами, вероятность открытия сокровищ, скрытых в недрах кавказских и крымских гор, при помощи ключей просвещения являются благоприятными для создания сильного государства. Вообще-то Крымское ханство и не было таким уж маленьким, чтобы не представлять собой политическую силу» (*Озенбашилы*, 2005, II. С. 7).

В этом непредвзятом рассуждении автора, относящегося к Шагин-Гирей объективно и с пониманием, всё же чувствуется некая недоговоренность и односторонность. Прежде всего, лидер, пускающийся столь безоглядно в сложные международные политические игры, не может основывать свои расчёты на каких-то сомнительных «сокровищах» крымских и тем более кавказских (то есть ему пока вообще не принадлежавших) гор. Кроме того, он, получивший образование в Салониках и Венеции, не мог не знать, что просвещение европейского типа крайне трудно прививается на мусульманской почве. Причём если и прививается, то на это может уйти не один десяток лет — а он ведь рассчитывал на новую культуру своего народа в качестве фундамента для текущей, сиюминутной своей политики, а не для подъёма страны в отдалённом будущем. И, ещё не создав такого фундамента, он крайне легкомысленно отказался от пусть несовершенной, но прошедшей проверку временем, постоянной поддержки Турции.

Наконец, буквально режут глаз попытки Шагина равняться на действительно великих деятелей мировой истории, тогда как он не мог не понимать всю ограниченность своих способностей как политика и стратега — об этом буквально кричали его промахи и двойственное положение, что в Крыму, что в России. При всем желании придать блеск своему захудалому двору (собранным им из случайных людей, авантюристов низкого пошиба и иных отщепенцев ещё в бытность кубанским сераскиром) Шагину это никак не удавалось. Вначале он проявил некоторую даже скромность в быту, опасаясь ещё более обострить отношения с чуждым ему крымским народом. Но его бахчисарайская камарилья, в которой было немало христиан (русские, какой-то англичанин Робертсон и т. п.), жадно требовала от своего главаря денег — и хан свершил на редкость бездарный поступок.

Он увеличил налоги, многие века остававшиеся стабильными, чем не только снизил уровень жизни основной массы населения, но и оскорбил его рели-

гиозные чувства, ведь налоги, чётко определённые мусульманским законом и вдруг изменённые, являлись *нарушением* этих законов, к которому теперь принуждались правоверные. Он посягнул на вакуфы, отняв их у имамов и хатипов и передав управление ими подвластной себе конторе. И, как бы сознательно провоцируя взрыв народного гнева, новый хан выписывает из России строителей-неверных, которые начинают возводить на горе у Бахчисарая новый дворец, а неподалёку — ещё и небольшую, но окружённую высокой стеной крепость (*Дубровин*, 1885, Т. I. С. 639, 654). Хан явно опасался подданных!

Далее, этот Гирей отдал сборы ряда доходов государства (с соляных озёр, таможен, пчел, питейный и т. д.) на откуп христианам греческого, русского, армянского и т. п. происхождения (*Лашков*, 1886, С. 23), а также уравнивал в подачах и привилегиях христианскую райю с мусульманами. Он провёл всеобщую перепись, что привело правоверных в ужас, ведь всегда считалось, что имена людей и земные дни их сочтены только у Аллаха. Он создал огромный бюрократический административный аппарат по европейскому образцу, который обходился налогоплательщику в 140 000 руб. (а двор — в 80 000). Доступ к хану, ранее весьма простой, стал теперь почти невозможным. Первым из ханов он даже ездить стал исключительно в карете, а не верхом, как подобает крымскому властителю. И при этом шеголял в форме младшего капрала Преображенского полка и, сняв с головы крымский кьалпак, водрузил на неё треуголку! Все поведение Шагина должно было дать понять окружающим, что его власть не крымского, а более высокого, чуть ли не неземного происхождения. Короче, он усвоил худшие стороны абсолютистского режима правления, не сумев воспользоваться лучшими, плодами Просвещения XVIII—XIX вв.

Это приводило к результатам, невыгодным для него самого. Выше упоминалось об изменнических действиях ногайских подданных хана. То же явление имело место и после захвата Крыма, причём не без причины. Причём дело было не в каких-то привилегиях или наградах, которые Екатерина могла сулить заперекопским степнякам (она лишь единожды пожаловала 10 000 руб. на всё ногайское население края), а снова в политике Шагин-Гирея и действиях его подручных.

Согласно выводам российского учёного XIX в., «...недостойные любимцы его, каймаканы Осман-ага и Халиль-эфенди, поставленные им для управления орд, своеркорыстно обогащались за счёт бедных Нагайцев, позволяя себе неслыханные злоупотребления вверенной им властью. Чернь, обиженная и совершенно разорённая частыми поборами правителей, вопияла к хану о правосудии; но все просьбы ея или не доходили до него, или передавались в искажённом виде, и бедные Татары, вместо удовлетворения в обидах, только навлекали на себя недовольство и немилость хана. Охлаждение отношений между государем и подданными скоро достигло высшей степени». Доходило до того, что ханские каймакамы «...насильно отнимали у них детей и жён» (*Сенюткин*, 1866, Ч. I. С. 100, 126). Естественно, ногайцы стали искать помощи у тех, кто мог обуздать подручных хана, то есть у русских, предлагая им взамен поддержку в действиях против своего обидчика.

Не меньший вред правлению Шагина принесли и некоторые его нововведения, о которых в ту эпоху вообще никто не слышал не только в Крыму или

Турции, но даже в крепостной России. Как писал изумлённый князь А.А. Прозоровский, «...неволен у него ни один мужик убить скотину, кроме откупщика; также на откуп отданы ножи, хлеб и прочее, что всё покупая, например четверть хлеба по рублю, продаёт через откупщиков по полтора рубля» (*Дубровин*, 1885. Т. I. Ч. 1. С. 846–847). Фактически Шагин обогнал эпоху, введя вполне большевистские законы о запрете крымскотатарским крестьянам забивать *собственный* скот и птицу частным образом, то есть минуя услуги платных боев (1920-е годы).

Апогеем ханских реформ была попытка ввести в татарское войско муштру по прусскому образцу и даже с телесными наказаниями (*Маркевич*, 1897. С. 31–32). По некоторым сведениям, он одел аскеров в западные мундиры и ввёл российскую систему армейских подразделений с русскими же обозначениями их (*Connermann*, 1998. S. 350). Но вольные сыны степей и гор, оскорблённые угрозой публичной порки, вместо того чтобы послушно маршировать под барабан и флейту прусского образца, стали попросту разбегаться!

Возмущение было всеобщим, оно наконец затронуло и вероучителей, всегда пользовавшихся среди населения особым авторитетом. Собравшиеся улемы единодушно осудили дикие с мусульманской точки зрения поступки Шагина, после чего муфтием была издана фетва, где были слова о том, что Шагин-Гирей отступил от веры и потому его следует убить. Впоследствии этот естественный, в общем-то, акт будет стоить жизни самому муфтию, но пока он произвёл ошеломляющее впечатление на народ: сомнения в преступности хана исчезли даже среди людей Хан-сарая.

Поэтому, когда в октябре 1777 г. давно копившееся народное недовольство, наконец вспыхнуло пламенем мятежа, хан не мог опереться на своих гвардейцев, капы-кулы, многие из них уже были оскорблены шпицрутенами. Мятеж подавили русские, хоть и не без труда, неоднократно терпя поражения, несмотря на превосходство в вооружении и выучке. Причина временных неудач карателей была в другом: по признанию генерала А.А. Прозоровского, крымцы бросались на русские войска с такой отчаянной храбростью, какой оккупанты пока не видели ни в одной кампании. И хотя крымцы терпели огромные потери, но снова и снова нападали на московские отряды, имея одну цель: заполучить только хана «с первейшими мурзами и чиновниками в свои руки; а ежели их не получат, то лучше... до последнего человека пропасть, нежели покориться хану» (*Дубровин*, 1885. Т. I. Ч. 1. С. 803). Притом, как ни странно, но народ, кажется даже к русским не испытывал такой ненависти, как к «своему» хану, и это поражало А.А. Прозоровского, который передавал П.А. Румянцеву «странные рассуждения бунтующих толп, которые все твердят, что никакого с нами дела иметь не хотят, а имеют дело до хана и правительства» (ук. соч. С. 797).

Вскоре во главе восстания встал высидившийся в Гёзлёве бывший хан Селим-Гирей, потребовавший от русских освободить Крым согласно чётким условиям Кючук-Кайнарджийского договора. После этого за оружие взялось и обычно мирное население гор. Но дни восстания были сочтены: русские полки поднялись и на яйлу, солдаты заволокли все долины. Вновь стали применяться миниховские ещё методы массового умерщвления мирного населения голодом и болезнями при помощи блокады. И эти методы не были изобретением полевых

командиров, сам П.А. Румянцев рекомендовал им почаще применять «способ где-либо в горах татар запереть и голодом поморить» (*Смирнов*, 1889. С. 194).

Понятно, что такое поощрение безнаказанного геноцида имело соответствующие результаты. Русские солдаты и казаки, и без того народ мало сентиментальный, не щадили никого. Погибло множество мирных жителей: 12000 только по официальным данным. Массовая гибель людей (в основном степной и предгорной зон) продолжалась и после прекращения карательных экспедиций, поскольку умирало «множество стариков, женщин и детей от стужи и холода», лишившись кормильцев; в горах же крымцы вообще были приведены в «полунебытие» (*Лашков*, 1886. С. 27).

Объяснение этому не совсем обычному термину даёт современник и очевидец событий 1777 г., караимский священник Азарья. В его подробных записках мы находим прямое свидетельство тому, что русские солдаты казнили не только крымскотатарских воинов. Их преступная рука снова поднялась на женщин и детей: смерти подвергались, по его словам, «даже семейства [воинов], замеченных в бунте» (*Азарья*, 1856. С. 107). В ходе военных действий регулярной армии против стихийного сопротивления местного населения артиллерия А.А. Прозоровского разрушила Акмесджит и Карасубазар, Кефе была сожжена, там русские солдаты изрубили 600 семейств, также «не оставив в живых ни детей, ни женщин» (*Улькюсал*, 1980. С. 161).

В одной караимской летописи имеется подробное описание разгрома Гёзлёва: «В 1777 г., в июле месяце пришли 4 корабля в Гёзлёв под начальством Мехмед-Шах-бека, сына Абдалла-паши, убитого в прежнем мятеже. Он вышел на берег и, созвав жителей, требовал, чтоб покорились Шагин-Герая-хану, в противном случае грозил бомбардировать город. Жители Гёзлёве собрались в порту и один из них сказал: „Послушайте, посланцы Шагин-Герая! Если бы даже он был пророком, мы не станем его слушать; ступайте куда угодно, делайте всё, что угодно, — мы не будем называть его ханом и не будем служить ему!“ Приверженцы Шагин-Герая отвечали: „Не забывайте слов своих“, — и, возвратившись на корабль, начали бомбардировать город... На следующий день прибыли 4 корабля русских, что увидев, жители Гёзлёве чрезвычайно устрашились, чтобы русские не сожгли город — народ собрался и с плачем и с воплями просил позволения спастись бегством. Видя такое смятение, начальник города не мог отказать, и в тот же день [жители] стали уходить в деревни...» (Цит. по: Крым, 1930. С. 55).

Этот планомерный и целенаправленный террор обезглавил движение против Шагина, что и показали дальнейшие события. Ибо когда русские через некоторое время снова вошли в Крым, они «обнаружили там не большую оппозицию, чем если бы пришли в Астраханскую или Оренбургскую губернии», то есть в ранее турецкие, но давно «замирённые» русским оружием земли (*Лашков*, 1886. С. 27).

Потом, когда полностью закончилось подавление движения, а хан утвердился на престоле, начались казни пленных...

Лишь после этого Турция утвердила Шагина, де-факто уже ставшего ханом. Русские могли торжествовать полную победу. Но в крымские дела вмешались европейские державы, и через три месяца новой оккупации, в соответствии с Кючук-Кайнарджийским миром ханскую часть полуострова были вынуждены

покинуть и русские, и остатки турецких войск. Теперь Шагин мог на свободе отдаться европеизации татар. Он собирается отдавать своих племянников учиться в Петербург, сам просит зачислить его в Петербургский полк, заводит два иностранных полка в Крыму и первым из правоверных ханов брест бороду. Снова в Крым едут строители, врачи, лесоводы, ирригаторы, музыканты. Открываются откупные кабаки, где торгуют вином, Крым все больше напоминает Россию, в том числе и жестокими преследованиями политических противников властителя. И если какое-то различие все-таки оставалось, то по недостатку не желания, а средств. Как писал А. Суворов, «светлейший хан, как ни гневен и ни постоянен (то есть «упрям». — В.В.), более жалок по бедности его!» (цит. по: *Смирнов*, 1889. С. 219).

Конечно, все эти события были явным нарушением Россией в одностороннем порядке положений Кючук-Кайнарджийского трактата. Турция нашла в себе силы заявить по этому поводу протест, где касалась и ввода иностранных войск на территорию суверенной державы и имевшей место насильственной депортации отсюда 31 000 христианского и иного населения. Петербург, учитывая громкий резонанс, который его бесчинства в Крыму получили не только в Турции, был вынужден пойти на формальное уточнение статей трактата. И весной 1779 г. подписывается так называемая *Айналы-Кавакская конвенция* (содержание см. в: Том IV, Приложения, Текст VI), обладающая силой самостоятельного международного договора. В ней снова подтверждается старинное право султанов на утверждение крымского хана (Ст. I, п. 3). Но это было не единственным прямым и безусловным подтверждением Россией условий Кючук-Кайнарджийского договора.

В Айналы-Кавакской конвенции объявлялось об обязательстве Турции и России вступить в переговоры с крымским ханом и его правительством с предложением-просьбой о дальнейших территориальных уступках на компромиссных условиях (Ст. V, п. 1). Именно этот пункт, несмотря на давление России, а также на не столь давние кровавые бесчинства российского солдата в ханстве, стал очередным беспорядным подтверждением наступившей суверенности Крыма.

Бахчисарай, как столица независимой державы, мог на равных правах вести тройственные международные переговоры с Санкт-Петербургом и Стамбулом.

Но недовольство крымцев своим государем снова возрастает; опять в 1781 г. вспыхивает восстание, к которому примыкает и посланное Шагином для усмирения крымскотатарское войско. Мятёж перекинулся и в ногайские степи вне полуострова. В мае этого года едиккульские мурзы Джер-Аслан, Муса, Зун-Али, Каплан и Урак «...силою ворвались на Таманский полуостров и вопреки воле хана присоединили к себе все кочевавшие там аулы Едишкульской орды...», а затем 15 июня 1781 г. «разослали ко всем едисанским, джамбулукским и буджакским мурзам следующее воззвание: „Почтеннейшие приятели и братья! Сим вам к уведомлению даём знать о обиде всего нашего едишкульского государства Шагин-Гиреем, которая не только не убавляется, но ещё день ото дня возрастает [всё] более. Переменяет, как ему вздумается, имеющиеся порядки, через что уже и сил наших недостаёт терпеть такие его наложенные подати и непорядочные поступки. И за то все мурзы, эффендии, аги, аджи, мулды, кадии старики и вся чернь согласясь, [решили] утвердить: ежели он, Шагин-Гирей, не сбавит излиш-

них податей и не будет с нами обходиться так, как долг требует, то они не желают быть у него в подданстве и послушании...»» (*Сенюткин*, 1866. Ч. I. С. 129). Но, поскольку уходить под султана ногайцы отнюдь не желали, то этот манифест означал одно: степняки собирались обратиться к российской императрице как с просьбой о подданстве, так и с обоснованными обвинениями Шагин-Гирея.

Мятёжники избрали своим сераскиром Мурат-султана из джамбойлукской орды, который стал сзывать степные орды и разрозненные племена на р. Бейсуг, куда по некоторым данным собралось около 400 000 чел. (ук. соч. С. 131). Скорее всего, это преувеличение, если даже в названную цифру входят все ногайцы от мала до велика, но, как обычно бывает в таких случаях, само преувеличение говорит о значительности явления или события. Тот же исследователь утверждает, что к Мурат-султану присоединились все ногайские орды за исключением населения одного аула, которое ушло вслед за своим старейшиной Тав-султаном в верховья р. Кагальник. Шагин-Гирей в очередной раз пытался привлечь себе на помощь в борьбе с собственным народом российские власти, предлагая одному из находившихся на юге военачальников «...наказать злоумышленников оружием, яко врагов обшаго покоя моего и собственного вашего отечества... и вы отнюдь в крови злобной не будете виновником, а я сам, как перед Богом ответствовать, так и оправдать вас при случае, где надлежит, не отрекуся» (цит. по: ук. соч. С. 135).

Кажется, немедленной помощи не последовало, восстание приняло угрожающие размеры, так как в нём приняли участие сторонники Турции, жившие среди абазин и сами мечтавшие занять бахчисарайский престол Бахадыр-Гирей и Арслан-Гирей, родные братья Шагина, приведшие с собой черкесов и абазин. И хан со своим русским советчиком Веселицким снова был вынужден спасаться в русском гарнизоне, стоявшем в Еникале. Затем его помощники отыскивают в разрушенной Кефе уцелевшие здания и в одно из них перевозят из Бахчисарая монетный двор, в другом — собирается диван «по три дня в неделю, у его (то есть у Шагин-Гирея. — В.В.) во дворе при его присутствии» (*Зуев*, 1783. С. 138—139). При этом хан не поступил ни одной из своих привычек: на глазах разорённых соотечественников, по улицам разрушенных его союзниками и покровителями крымских городов он разъезжал «в Аглинской пребогатой карете, цутом запряжённой с ливрейными слугами [вместо того, чтобы] ездить верхом в препровождении... верховых своих дворян...» (ук. соч., С. 151).

Наконец восставшие подданные избирают на место Шагина нового хана, Бахадыр-Гирея. После чего из Бахчисарая уходят, как и положено, две известные грамоты об этом событии — в Петербург и Стамбул. Навести «порядок» в Крыму теперь поручается князю Г.А. Потёмкину<sup>1</sup>.

Но речь идет уже не просто о возвращении престола беглому хану, но о включении полуострова в режимную территорию Российской империи.

<sup>1</sup> Здесь мы впервые встречаемся с именем этого безусловно выдающегося государственного деятеля, в чьих руках волею рока оказалась судьба крымских татар. Из характеристик и оценок светлейшего князя (их накопилось множество, причём все они разные) выберём одну, на наш взгляд самую ёмкую и точную: «Знакомство с западной культурой не долго скрывало его неспособность к политике, некомпетентность в военных делах и природную жестокость» (*Севаг-Монтефиори*, 2003. С. 242—243).

#### 4. Первая крымская депортация

##### а) Основная цель акции

Это была задача чрезвычайной важности, ведь предстояло не просто «отхватить» у соседа область или край, пусть даже обширный по площади. Планировалось, по сути, ликвидировать государство. Причём превосходящее Российскую империю и древностью, и падишахским статусом правителя, и, самое главное, сознанием правоты своего дела: защиты дедовских угодий, а также своих жён и детей. Конечно, в смысле чисто военного противостояния особых сомнений у Петербурга могло и не быть. Походы русских армий XVIII в. позволяли надеяться, что и новая агрессия превратится в крупномасштабную карательную акцию. Если, конечно, на помощь Крыму не придут другие державы, в том числе и христианские, имевшие свои причины опасаться усиления России ещё и на Чёрном море.

Так вот, как считают некоторые современные историки, выселение христиан из независимого Крыма и было задумано как пробный камень для выяснения реакции европейских держав на такое вопиющее нарушение международного права. Объяснять же причины готовящейся депортации не стоило — и так всем было понятно, что при геноциде, практически неизбежном в ходе ликвидации державы, наверняка пострадают многочисленные христиане-подданные хана. И вот их-то спасением накануне кровопролития могла заняться Европа, чтобы оправдать тем самым вмешательство в неравную схватку огромной России с небольшим суверенным ханством. Если же европейцы промолчат, значит, всё в порядке, проглотят и второе нарушение международного права, то есть захват ханства (Марцинковский, 2003. С. 25).

Очевидно, по этим, да ещё чисто экономическим причинам (о них см. ниже), Екатериной и было принято неординарное решение: воспользовавшись благоприятной для России международной обстановкой, депортировать христианское население Крыма и тем самым радикально снять саму возможность вмешательства европейских держав в крымские дела.

История этого преступления заслуживает рассмотрения здесь не только потому, что она глубоко и полно характеризует будущих колонизаторов крымскотатарского народа, не только показывает, с кем приходилось иметь дело коренному населению на протяжении веков, прошедших после аннексии Крыма. Эта история ценна ещё и тем, что не менее выпукло демонстрирует некоторые редкие качества этнической психологии крымских татар, проявившиеся особенно ярко в ходе депортации их христианских земляков. Наконец, без раскрытия этой темы невозможно до конца понять некоторые реалии крымскотатарской истории конца XX в., например претензии современных армян или греков на статус коренного населения Крыма.

##### б) Выселение крымских христиан

К крымским христианам в последней трети XVIII в. относились главным образом армяне и греки. Последние подразделялись на румеев, сохранивших язык своей

прародин, и урумов, давно перешедших на крымскотатарский язык<sup>1</sup>. Имелись в Крыму также православные и католики, но поскольку они составляли от общехристианского населения ничтожное меньшинство, которого к тому же депортация не коснулась, их судьбы в данном разделе рассматриваться не будут.

Начало этого сюжета следует отнести к 1777 г., когда православный крымский митрополит архиепископ Игнатий<sup>2</sup> отправился в Петербург ходатайствовать перед графом Н.И. Паниным (глава Коллегии иностранных дел) о подчинении своей епархии имперскому Синоду, а не патриарху Константинопольскому, как это было издревле. Идея эта была изначально, по самой своей сути, подрывной. Ведь речь шла о подчинении части населения соседнего суверенного государства духовно-идеологическому управлению из России. Несмотря на это (точнее: именно поэтому) архиепископская мысль была схвачена, тут же развита и дополнена, получив абсолютно конкретную форму: «было решено переселить крымских христиан» (Кулаковский, 1914. С. 135).

Когда об этом сообщили на юг командующему, генералу А.А. Прозоровскому, тот ничего не понял и выразил в письме Г.А. Потёмкину своё отрицательное мнение по этому поводу, поскольку полагал, что местные христиане способны оказать неоценимую помощь России, оставаясь в Крыму вплоть до присоединения его к России (Дубровин, 1885. Т. II. С. 225). Это письмо интересно ещё и тем, что уже за 5 лет до аннексии Крыма о ней говорили, как о деле решённом. Факт весьма примечательный, как и реакция Екатерины на мнение А.А. Прозоровского. Она склонилась к нему слух и приказала всячески крымских христиан оберегать и проявлять к ним всё возможное внимание (там же).

Позиция императрицы станет понятней, если мы учтём, что христиане представляли в Крыму политически значимую, а экономически влиятельную силу. Да и относительное их количество стало гораздо весомей после того, как от ханства отложилась его многолюдная заперекопская часть. Причина такой влиятельности чуть более 30 000 подданных хана становится ясной из экономической структуры Крыма тех лет. Попытаемся её обрисовать, хотя бы крайне схематично.

Значительная часть крымских татар, занимаясь скотоводством и земледелием, далеко ещё не избавилась от наследия системы натурального хозяйства. Другими словами, они использовали основную часть собственной сельскохозяйственной продукции сами, в домашней экономике. С другой стороны, те из крымцев, которые работали на внешний рынок, нуждались в торговом посредничестве крымских же христианских купцов — греков и армян. А местные христиане были заняты в производительном секторе экономики (десятки видов ремесла, рыбный промысел, перевозки сушей и морем, сектор обслуживания

<sup>1</sup> Румеи и урумы различались и чисто внешне. Первые принадлежали скорее к южноевропейскому антропологическому типу, тогда как у вторых отчётливо проявлялось «влияние восточноевропейского европеоидного населения» (цит. по: Озенбаши, 2011. С. 5). Поскольку между обеими группами в официальных источниках различия не делалось, то и в этом томе они будут фигурировать под этнонимом «урумы» — по имени большей из них.

<sup>2</sup> Этот иерей, сыгравший столь значительную роль в предьстории аннексии Крыма, по национальности был грек. В 1771 г. он прибыл в Крым в качестве местного митрополита и наместника патриарха Константинопольского (Латышев, 1913. С. 42).

и так далее), поставляли товарный продукт и торговые услуги, получая при этом, естественно, значительно больший денежный доход.

Поэтому ханская (или любая иная) власть имела основания рассчитывать на максимальные налоговые поступления именно от них, а не татар. Но, кроме того, ещё были христиане, занятые в финансовой сфере, были в их числе рантье, были предприниматели, владевшие мастерскими, садами, виноградниками, отарами овец. В руках армян находилась почти вся внутренняя и внешняя торговля, а у греков — практически весь грузовой морской транспорт.

Исходя из сказанного, удаление христианского населения из Крыма означало бы не только резкое уменьшение основных видов налогов, но также таможенных и акцизных сборов. Оно было бы способно парализовать практически всю экономическую жизнь полуострова, кроме самого патриархального, консервативного и бездоходного натурального её сектора. Короче, государственная система должна была если не развалиться, то попасть в жесточайший кризис, который в условиях войны неизбежно ведёт к катастрофе и распаду всех системных связей. Не учитывать таких последствий депортации Екатерина, конечно, не могла.

Особенно ценной эта мысль была в условиях, когда Шагин стал подавать первые признаки неповиновения давлению Петербурга. Став, благодаря российской поддержке, ханом и, более того, получив освящение своего статуса из Стамбула, он ощутил собственную значимость и самостоятельность. И Екатерина, вынужденная Кючук-Кайнарджийским договором держать основную часть своей южной армии вне Крыма (за исключением кратких периодов народных восстаний против Шагина), никак не могла ввести в нужные ей рамки своего суверенного соседа. А тот всю пользовался политической и в особенности экономической независимостью, забыв, сколько ему перепало от российской казны в недавние времена.

Поэтому лишение его престола главных и, пожалуй, единственных подпопок — экономических, собственно крымских, хоть и христианского происхождения — становилось лучшим средством заставить его играть предназначенную ему роль российской марионетки. Для этого, как указывалось, было необходимо и достаточно убрать из Крыма христиан. Трудность здесь заключалась в том, что они культурно и экономически сроднились с крымскими татарами, говорили уже не на чисто греческом, а на крымско-румейском диалекте, где было много тюркских корней и малопонятном даже для греческих купцов, прибывавших в Крым с исторической родины этих крымских христиан (*Хартахай*, 1866. С. 153). Уже и одежда, и дома их, и кухня стали похожи на татарские. В целом же, пока они оставались полноправными подданными суверенного государя, то жили за спиной хана очень даже неплохо, и менять такой свой статус были абсолютно несклонны.

Выход из этого тупикового положения был найден генерал-фельдмаршалом П.А. Румянцевым. Весной 1778 г. он, не имея на то никаких инструкций или иных распоряжений, приказал генералу А.А. Прозоровскому начать «убеждать христиан, [в том, что] кто хочет», может ехать из Крыма с гарантией российской правительственной помощи на переезд и обустройство на новом месте (*Дубровин*, 1885. Т. II. С. 296). Это был не нажим, а предложение, которое если и не соответствовало тогдашним международно-правовым нормам, то максималь-

но приближалось к ним. Поэтому Екатерина, ознакомившись с инициативой П.А. Румянцева (скорее всего, он всё же действовал по неофициальному указанию императрицы), задним уже числом её одобрила и предложила Г.А. Потёмкину обеспечить практическое выполнение проекта. По крайней мере, так выглядит эта история согласно существующим документальным материалам и переписке (ук. соч. С. 317—318).

Когда ободрённый П.А. Румянцев сообщил о таком ходе дела архиепископу Игнатию, тот, воспользовавшись праздником Пасхи (в 1778 году она пришлась на 23 апреля), обратился к собравшимся в Успенском монастыре у Салачика христианским массам. Он сообщил им, что пора готовиться к исходу из Крыма. Такое *пастырское слово* грянуло как гром с ясного неба. Современники рассказывали, что вначале тысячами людей овладело оцепенение, а затем разразились стенания и слёзы, послышались и гневные крики протеста (*Хартахай*, 1867. С. 106). После чего слух о предлодении Игнатия полетел дальше, он ширился как степной пожар, обрастая невероятными деталями, и вскоре ужас охватил весь христианский мир Крыма.

Так, в Гёзлёве к местному кападжи-баши Ахмеду-аге явилась толпа христиан с пространной письменной петицией, в которой среди прочего говорилось: «Пред сим греческий архиерей объявил кн. А.А. Прозоровскому, что вся райя желает идти в Россию. Но мы, подданные Его Светлости (то есть крымского хана. — В.В.), им довольны, и от предков наших платим дань своему государю; хоть саблями нас рубить станут, то не думаем мы куда-либо идти» (цит. по: *Дубровин*, 1885. Т. II. С. 278—279). Это была обычная для тех дней реакция крымских христиан на надвигавшееся несчастье, и она повторялась почти всюду, где имелись православные общины.

Да и в дальнейшем было невозможно побороть вполне понятное нежелание греков, да и армян тоже, менять вековой уклад жизни в благословенном, а главное, привычном Крыму на сомнительные блага жизни в пустынных, холодных и ветреных, совершенно чуждых крымчанам заперекопских областях. Не помогало и привлечение энергичным Игнатием к участию в своей пропагандистской кампании двух архимандритов, выписанных им из Иерусалима, — армяно-католического иерея Иакова и армяно-григорианского Маргоса.

Шагину пока ничего не сообщалось, по крайней мере, официально. Но вот в июле того же года обеспокоенные крымскотатарские кадии обратились к своему хану с декларацией, выдержанной в довольно жёстком тоне. В её вступительной части сочувственно сообщалось о нежелании крымских христиан покидать родину, к чему их усиленно склоняют «начальствующие греки» (имелись в виду православные священники, непосредственно подчинённые Игнатию). Эти люди, продолжали кадии, уверяют всех, что сопротивляться плану переселения бессмысленно, поскольку дело уже решено самой императрицей, а также по той причине, что якобы своих христианских «подданных крымский хан российскому двору уступил». Далее старики сообщали, что даже «некоторые из армянских попов с огорчением просили нас, чтобы от сей напасти их оборонить» (*Дубровин*, 1885. Т. II. С. 561).

Выслушав кадиев, Шагин обещал им немедленно подготовить письменную резолюцию для прочтения на местах, то есть в городах и сёлах Крыма. В этом



письме он буквально выставил делегацию уважаемых людей на смех. «Вы, поверив такому беспутному слуху, Нам такое глупое доношение подавали!», — негодовал он. И вскоре издал даже специальный указ, обращённый к крымским христианам: «Услышав, что некоторые из вас движимое и недвижимое имение продавали и к отъезду колесницы приуготовили, сказывая, что российский двор от Светлейшего хана татарских подданных потребовал, и Светлейший хан будто уступил их российскому двору, и народ через это возмутили и беспокоить стали. Ради чего, кто сему причиной и кто вздумал налгать такие слова, беспокоить бедный народ и в такой страх привести, повелеваем немедленно начальников сей выдумки нам представить» (цит. по: ук. соч. С. 562).

Создаётся впечатление, что хану, конечно же, давно знавшему о так называемых «слухах», было выгодно делать вид полной неосведомлённости до официального уведомления на этот счёт. В противном случае ему пришлось бы протестовать против такого беспардонного и, главное, губительного хотя бы только для национальной экономики вторжения во внутренние дела независимого ханства. То есть выступить против своей покровительницы, благодаря которой он только и держался на престоле. Если же Шагин согласился бы с её решением и одобрил его, то тем самым он навсегда утратил бы своих христиан, единственную группу подданных, которые всегда (в отличие от природных крымских татар) сохраняли полную лояльность хану, и это уже не говоря о неминуемом кризисе в экономике.

Ну а выжидательная, пассивная позиция, которую он избрал, могла помочь ему затянуть время до той поры, пока в действие не вступит какая-нибудь третья сила, не заинтересованная в начавшемся развитии событий и способная ему воспрепятствовать. Нельзя сказать в точности, на что именно рассчитывал хан, но известно, что недостатка в таких третьих силах-факторах тогда не было.

Например, Екатерина и её правительство серьёзно опасались мощного крымского протеста, который, среди прочего, мог привести к вмешательству в конфликт некоторые европейские державы. И ожидался этот протест именно от крымского хана и его подданных. А.В. Суворов, ставший с марта 1778 г. командующим Крымским корпусом (вместо А.А. Прозоровского, которого сняли за «мягкость» в подавлении восстания крымских татар!), полагал, что «последственное их (то есть крымцев. — В.В.) неминуемое негодование в большое сомнение приводит... и против целого народного волнования уже благовременно меры принять надлежит». Это слова из его письма Потёмкину от 17 июля 1778 г., не дождавшись ответа на которое новый командующий шлет через 5 дней в Бахчисарай, Шагин-Гирею, информацию, которой хан якобы до сих пор не имел:

«...императрица всероссийская... снисходя на просьбы христиан, в Крыму живущих, о избавлении их от предгрозимых бедствий и сущего истребления, которым огорчённые во время бывшего мятежа татары мстить им при случае удобно явно обещались... соизволяет переселить их в свои границы» (цит. по: *Дубровин*, 1885. Т. II. С. 583). Это короткое письмо любопытно тем, что одна фраза фельдмаршала вместила сразу три лживых утверждения.

Во-первых, христиане ни о чём царицу не просили. Во-вторых, никто им местию не угрожал (даже во время восстаний они были в безопасности). В-третьих, Екатерина не только не заботилась о крымских христианах, но и спокойно приносила их в жертву своей южной политике. Правда чуть позже, как только надоб-

ность в этих несчастных отпала, что, между прочим, потрясло и А.В. Суворова, закалённого в карательных акциях императрицы (1768 г., Польша).

Среди крымских греков и армян были люди, в силу своих весьма высоких знакомств и контактов лучше других осведомлённые и об истинном политическом положении Крыма, и о слабости их хана, и об обычае могущественной императрицы любой, самой кровавой ценой, используя самые низкие средства, осуществлять свои планы. Эти христиане, в основном близкие или к ханской, или к русской администрации, первыми поняли, чем кончится их тщетная борьба за право жить на родине. И первыми начали распродавать своё имущество, понимая, что вскоре начнётся неизбежное при любой эмиграции падение цен на него. Когда это стало общеизвестным, последовала столь же естественная цепная реакция: люди пришли в панику, поняв, что у них пропадёт нажитое всей жизнью, если они не успеют получить за него деньги, пока их ещё платят. И они продавали — всё!

В июле 1778 г., когда до начала назначенной русскими властями высылки осталась неделя, христиане сообразили, что нужно использовать последние дни, пока они ещё находятся в Крыму, под покровом мусульманского, а не русского неба, и что без их согласия, насильно, никто не посмеет гнать их через горы и степи прочь, за Перекоп. Они наконец-то поняли, что могут ставить русским свои требования. И они выдвинули эти требования, без гарантий выполнения которых попросту отказались сдвинуться с места. Согласно петиции, переданной ими в Петербург через канцелярию А.В. Суворова, царская администрация должна была обеспечить:

- 1) полную оплату оставляемого в Крыму имущества и всех дорожных расходов;
- 2) десятилетнее освобождение от податей и иные льготы на месте высылки;
- 3) вечную свободу от постоев, подводной и воинской повинностей (рекрутчины);
- 4) беспоплатные рыбные ловли на Азовском море.

В сопроводительном письме А.В. Суворов по собственной инициативе доложил, что три архиепископа, так много сделавшие для организации депортации, пока ничего не получили, и что надо бы им заплатить, ведь высылка, по сути, вся ещё впереди... Здесь любопытно, во сколько князь оценил труды этих провокаторов в митрах. Армянам он считал нужным дать по 5000 рублей, а Игнатия достаточно 3000 (*Дубровин*, 1885. Т. II. С. 559). Как нетрудно догадаться, А.В. Суворов прикинул, что бесконечно скомпрометировавший себя перед паствой первый зачинщик и так никуда не денется, а царскую казну беречь надо.

Царица уважила все требования греков и армян, а также просьбу А.В. Суворова насчёт гонорара пастырям. Нетрудно заметить, что при выполнении этих требований бывшие крымские христиане должны были перейти в совершенно уникальный для России разряд неподатных мещан и крестьян. И эта готовность Екатерины жертвовать всем, что понадобится для успешного проведения высылки, показывает, что проблема крымской депортации приобрела для неё первостепенную важность.

Когда роковой день приблизился, то последнюю попытку перед началом депортации предотвратить её, удержать своих соотечественников и добрых соседей в Крыму, снова сделал крымскотатарский народ.

В лице всё тех же своих кадиев и старейшин родов, крымские татары обратились к Шагин-Гирею со словами, которые вечно будут сиять в истории ханства:

«Мы не слышали, чтобы правосудные государи изменили когда-нибудь своё слово; также мы не знаем, чтобы кто-нибудь из Ваших предков в угодность другим мог бы уступить своих подданных кому-нибудь другому. По сим соображениям мы опасаемся, чтобы Вы, причинив народу столько убытков и лишений, выпуском христиан не навлекли на себя проклятия татарского народа...» (цит. по: *Хартахай*, 1867. С. 111).

Трудно сказать, чего в этих скупых, горьких словах больше — абсолютного бесстрашия, поистине исламской любви к ближним или гордого чувства чести, к которому народ в последний раз призвал и своего беспутного владыку.

Но ошибся А.В. Суворов, ожидая от хана вооружённого выступления, ошиблись крымские старики, тщетно зывавшие к родовой чести чингизида Гирея. Накануне начала депортации, когда на улицах крымских городов и под окнами Хан-сарая уже стояли наготове 6000 телег для изгнанников, хан писал удивительное даже для него письмо, адресованное П.А. Румянцеву: «Всеприверженно стараясь угодить во всё Её Величеству, не поставлю себе происшествие сие огорчительным (то есть «оно меня не огорчит». — *В.В.*), будучи всегда орошаем беспримерными щедротами августейшей императрицы» (*Дубровин*, 1885. Т. II. С. 296). Это — один из тех случаев, когда документ не требует никакого комментария.

Высылка проводилась в последних числах июля 1778 г. Для крымских христиан она была тотальной: гарантия добровольности переселения стала первым, но не последним обманом для несчастных, поверивших оккупантам. В сёла, где часть жителей отказывалась грузиться на казённые подводы, выезжал Игнатий или его подручные, среди которых особенно выделялся своей недоброй энергией протопоп Трифилий Карацоглу, турок-выкрест, правая рука митрополита (*Лашков*, 1915. С. 42). И не было случая, чтобы посулами или прямыми угрозами они не добились бы своего, предстоящие сложности А.В. Суворов верно предусмотрел. При этом святые отцы использовали такое простое средство, как раздувание межэтнической вражды, временно «отключившись» для этого от слова и духа Евангелия.

В подготовленном Игнатием манифесте (обращении к верующим) шовинистические выпады пастыря достигли такого накала, что оскорбили даже солдатский слух П.А. Румянцева, приказавшего изъять этот грязный пасквиль из обращения, как содержащий «весьма непристойные и грубые изращения на татар» (*Хартахай*, 1867. С. 111–112; также: *Дубровин*, 1885. Т. II. С. 638)<sup>1</sup>.

От зоркого глаза другого российского экзекутора не ускользнул эмоциональный выплеск, так сказать, противоположного заряда, а именно в отношении мусульман к христианам. В эти трагические дни А.В. Суворов сообщал Г.А. Потёмкину: «Видя оных (то есть христиан. — *В.В.*) отправляемых, отзываются Татара, что теряют душу из тела» (Архив Воронцова, 1871. Кн. XXIV. С. 292). Вряд ли упо-

<sup>1</sup> Впрочем, прошло чуть более полувека — и у ещё одного православного иерея дошло до совести опубликовать не менее явную ложь о том, что крымские христиане уж и не чаяли, как вырваться «из-под ига татарского», и на призыв Игнатия «отозвалось сочувствие во всех концах Крыма; отовсюду поднялись тысячи и потекли за своим первосвященником, оставляя без сожаления (подч. мной. — *В.В.*) дома и земли, где родились и жили, оставляя священные гробы отцов и предков своих...» и так далее (*Гавриил*, 1844. С. 198).

добление депортации разлучению духа и тела было значительными преувеличением. А.В. Суворов был человеком жестоким, особенно к нерусским. Но он не мог скрывать того, что в самом деле было. Ведь рассказывают, что встречались татары, чьих душевных сил не хватало на разлуку с близкими или родными людьми иной веры. И что они доходили до пределов, немыслимых для правоверных, отрицаясь от веры отцов и принимая христианство, после чего власти были вынуждены включать их в депортационные списки (*Хартахай*, 1867. С. 112). Повсеместно в татарских домах прятались их друзья-греки, а в Кефе и Гёзлёве жертвы депортации оказывали открытое сопротивление властям (*Иванова, Маркова*, 2004. С. 117)<sup>1</sup>.

В августе 1778 г. было вывезено 10 000 человек, с начала сентября ещё 20 000, а 18 числа А.В. Суворов, под чьей командой всё это свершалось, мог рапортовать П.А. Румянцеву: «Вывод крымских христиан кончен! Обоёго пола отправлено в Азовскую губернию 31 098 душ». Осталось на старом месте всего несколько сотен человек. Да и то лишь до 28 сентября, когда, как вспоминает очевидец, «в овраге Салачикском, в Успенском скиту... в последний раз сошлись изнурённые, одетые в рубище сыны Пантикапеи, Феодосии и знаменитого Херсонеса... Христианам было как-то жалко и больно оставлять страну, где они жили так долго; им жалко было оставлять свои храмы, опустевшие дома, прах предков и небо, под которым они родились...» (*Хартахай*, 1867. С. 112).

Для этой последней молитвы на земле предков христиане Крыма не случайно избрали именно Успенский монастырь. Здесь, у бывшего села Майрум, была некогда явлена чудотворная икона Богоматери, ставшая причиной появления скита. Этот образ веками был национальной святыней крымских христиан и, — что могло иметь место *только в Крыму* — также татар, век за веком тепливших свои свечи перед кротким образом святой (*Кулаковский*, 1914. С. 124). И теперь жители соседних крымскотатарских сёл собрались у монастыря, но в храм не входили, стоя поодаль, и встревоженно переговариваясь. Что и понятно: мусульмане понимали, что икона, которую они считали и своей, вот-вот будет вынесена и навсегда покинет крымскую землю.

Совершенно понятно, что крымские татары не могли добровольно расстаться со своей Мирьем-ана, отчего икону пришлось увозить «не без затруднений и с большими предосторожностями». Тем не менее, крымскотатарские почитатели матери пятого великого пророка, Исы, неоднократно «пытались задержать даже на пути» её образ (ук. соч. С. 135). Проше было с проблемой домашних животных: некоторое количество лошадей и коров ушло с изгнанниками, кое-какой скот христиане раздали оставшимся соседям-татарам. Свины, которых также разводили армяне и греки, естественно, никому теперь в Крыму были не нужны, они разбежались по лесам и горам, говорят, что некоторые выжили и смешались с дикими кабанями.

И заключительная деталь трагической картины первой крымской депортации: свидетели сообщают, что велел за бесконечными обозами, увозившими изгнанников на север, «последовали массы татар, горько оплакивавших разлуку,

<sup>1</sup> Имели место и обратные случаи — христиане принимали ислам для того, чтобы остаться на родных местах. Таким образом только в Верхнем Керменчике удалось от депортации шесть больших греческих семейств (*Бертье-Делагард*, 1899. С. 39).

конечно не с целью остановить переселение, но по возможности облегчить движение их и проводить до пределов Крыма» (*Кондараки*, 1875. Т. III. С. 115).

О, если бы именно так отнеслись к жертвам депортации 1944 г. те, кому повезло остаться в Крыму!

#### в) Результаты депортации

На новом месте<sup>1</sup> «спешпереселенцев XVIII века» никто, конечно, не ждал. Близилась зима, а взрослых и детей выгружали под открытым небом. Известная история больших и малых депортаций: сразу же появились болезни, число больных множилось, стали шириться кладбища. Согласно некоторым подсчётам от голода, холода и болезней в этих лагерях на протяжении первого года изгнания погибло около 7000 человек, то есть почти четверть изгнанников (*Clarke*, 1810. P. 476). Поэтому кладбища росли быстрее, чем первые поселения, представлявшие собой сотни и тысячи землянок и примитивных хижин, едва заметных в пустой, безлесной степи. А западные публицисты утверждали впоследствии на голубом глазу, что «православные были рады найти прибежище в единоверном государстве» (*Себаг-Монтефиоре*, 2003. С. 243).

Но существует источник, в котором изложено противоположное мнение об этом трагическом событии: «Бедные христиане... большую нужду терпя от ненастья и не имея где жить, в своих кибитках (очевидно, в самодельных шатрах. — *В.В.*) ночевали, из которых некоторые простудивши себя от холоду померли... Прочие же все на открытом воздухе оставались, коим позволили всякому для себя, но без [чьей-либо] помощи, землянки делать: сии лишились всего своего скота и сами с печали не знают, что делать», писал администрации колонизованного края Игнатий, последовавший за своей паствой вон из Крыма, за Перекоп. К тому времени он получил от Святейшего Синода (естественно, с подачи Екатерины, нередко позволявшей себе такого рода чёрный юмор) совершенно фантастический сан «Митрополита Готфейского (то есть Готского. — *В.В.*) и Кафинского», тогда как ни в Кефе, ни в горной Готии христиан уже не осталось<sup>2</sup>.

Очевидно, у Игнатия, даже в его новом сане, остались остатки если не христианской, то патриотической совести. Покидая навсегда Крым, он отправил А.В. Суворову и российскому резиденту в Крыму письмо, в котором изложил мучения душ — как собственной, так и крымско-христианских — и в котором грозил российским насильникам с высоты своего митрополичьего престола Божьей карой, отказываясь молиться за них: «Вы меня ввергнули в в пучину огня... я вас оставляю Божьему правосудию» (цит. по: *Бертье-Делагард*, 1899. С. 37).

<sup>1</sup> Основными местами заселения северного побережья Азовского моря стали низовья степных речек Кальмиуса, Кальчика и Калки (Подр. см. в: Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфейской и Кафинской епархии // ЗООИД. Т. I. 1844. С. 201–202).

<sup>2</sup> Как это бывает при почти любой депортации, мизерное число, буквально единицы жертв всё же ускользают «сквозь пальцы» своих мучителей. Так было и в тот раз: в Крыму осталось 288 христиан. То есть едва полсотни семей, разбросанных по всему пространству полуострова. Но, оставшись вдали от своего культурного круга, они были обречены на растворение в окружающей крымскотатарской среде (*Маркевич*, 1897. С. 14–17).

Всего на депортацию было истрачено 230 000 рублей, сумма весьма умеренная. Страдали от этой экономии, конечно, переселенцы, в первую очередь депортированные дети. Весной следующего, 1799 года изгнанники сообщили А.В. Суворову, что «дошли до такой крайности, что имевшие прежде у себя (то есть в Крыму. — *В.В.*) хорошее пропитание, собирают ныне по миру милостыню, а другие отдают от голода вовсе за малое число денег или хлеба своих детей. От какого голоду и употребления в пищу варёных в воде отрубей много малолетних померло» (цит. по: *Дубровин*, 1885. Т. III. С. 152).

А.В. Суворов ознакомился с положением изгнанников на месте. Очевидно, оно было столь ужасающим, что дрогнуло и каменное сердце этого беспощадного слуги царского трона (в Польше до сих пор, если в беседе промелькнет имя «Палач», то все понимают, о ком идёт речь). Того же года 29 апреля он пишет Потёмкину: «Соизвольте усмотреть недостатки, претерпеваемые переселенцами Крымскими в нынешнем их положении...» (Архив Воронцова, 1880. Кн. XXIV. С. 279). Этот документ — *рекомендация* весильному вельможе, практически гражданскому мужу императрицы, от подчинённого, всегда строго соблюдавшего воинскую субординацию, но теперь не сумевшего её не нарушить. Причём впервые в жизни, да ещё столь явно и недвусмысленно! Остаётся сказать, что это его проявление заботы о депортированном малом племени было и последним. А то, что через почти полтора века Орденом Суворова I степени Кремль стал награждать генералов-руководителей очередной, уже крымскотатарской, депортации, кажется нам глубоко символическим...

Летом в поселенческих лагерях (деревнями их назвать было трудно) побывал уже упоминавшийся караим Азарья. Ему потребовалось немного времени для того, чтоб уяснить причину бедственного положения земляков: «Они стали биваком на поле, без крова и пристанища, потому что ген. Суворов не дал им той земли, которую они просили, за что хотели они возвращаться в Крым. Между тем от непогод, перемены климата и нездоровой воды появилась между ними смертность, которая истребила 12 тысяч душ» (*Азарья*, 1856. С. 129). То есть к этому времени погибла уже, без малого, половина от общего числа депортированных. Сохранилась песня *Медэт!* (На помощь!), очевидно, сложенная одним из переселенцев:

*Медэт, медэт олсун, йери Йаратана!  
Башымыза бир ал кельди — насын дурайэм?  
...Налет олсун гзурбет эллин кярына,  
Джан даянмаз, даянмайор о ахынен зарына.*

*Фелек тэ панджасы сыхты да белими, оф,  
Догуртамам белим, вай, белим, букюп тэ китэрим.  
Кёзлеримдэн ханынен йашы, оф,  
Тёкюп тэ китэрим...*

На помощь! На помощь, Создатель земли!  
На нашу голову пала беда — как нам устоять?  
...Пусть будет проклята «выгода» этой чужбины.  
Душа не выдерживает этих страданий!

Тиски судьбы сжали мою поясницу, офх,  
 Не могу я выпрямить спину, иду сторбившись.  
 Иду я и люются из моих глаз, офх,  
 Кровавые слёзы...

(Цит. по: *Озенбашлы, 2011. С. 17*).

В ближайшие десятилетия положение улучшилось, но всё же продолжало оставаться крайне тяжёлым — сравнительно с условиями жизни на старой родине (*Kardis, 1986. P. 57–74*).

Другими словами правительство, шедшее на любые траты для успешного и полного проведения стопроцентной депортации, наглухо перекрыло финансовый кран по этой статье расхода, как только акция завершилась. Сравнение с 1944 г. напрашивается само собой, без какой-либо натяжки. Здесь нет никакого совпадения, скорее проявилась железная закономерность. Причём во всём, включая и процент погибших во время депортации и в первый год на местах высылки — сорок с лишним процентов в обоих случаях. И в обоих случаях — главным образом за счёт детской смертности.

Позднее на месте этих поселений возникло немало сёл и один город, Мариуполь. Он был назван, как уже говорилось в I томе, в память одного из городков близ Бахчисарая, Мариамполя, до депортации населённом в основном греками<sup>1</sup>. Собственно, в новых сёлах вблизи Мариуполя через некоторое время и остались, главным образом, одни греки. Позднее в Крым смогло вернуться всего тринадцать семей рыбаков, которых по велению Потёмкина перевели в Аутку и Карань (о них ниже). Да ещё двадцать семей садоводов и строителей, выписанных другими царскими вельможами (*Паллас, 1793. С. 163*). Эти последние получили огромные земельные угодья на месте южно-бережных крымскотатарских деревень, но без местных садоводов земля быстро приходила в запустение. Основная же масса депортированных греков так и осталась за Азовом. Но и через полвека, и ещё позже они, как сообщал современник, «не оставили своих тамошних (то есть крымских. — *В.В.*) привычек и обычаев; говорят и одеваются по-татарски. Язык греческой хотя знают, но не все...» (*Гавриил, 1844. С. 203*).

Крымские же армяне осели несколько восточнее, в Нахичевани-на-Дону. Это национальное меньшинство так и не вернулось на свою родину никогда, и этот факт нужно помнить. Он имеет большое значение для современных попыток представителей армянского народа требовать для себя статуса «коренного» этноса наряду с татарами, караимами и урумами.

<sup>1</sup> Поскольку эти греки в абсолютном своём большинстве говорили, как указывалось выше, на крымско-румейском диалекте, весьма схожем с татарским языком, то соответственно зазвучали и названия их деревушек на новой родине, вокруг Мариуполя: Керменчик, Салгир-Енисала, Камара, Богатырь, Константинополь, Жиндрень, Чермалык, Карань, Стиля, Бешуй, Ласпи, Кара-Коба, Сартана, Чердаклы, Кючук-Енисала, Гурзуф, Ялта, Эски-Кермен, Яни-Керменчик, Яни-Каракоба, Буга-Су, Кучюк-Ламбат, Биюк-Ламбат, Капсихор, Кара-Соба, Джемрек, Никита, Куру-узень, Уду-узень, Эски-Кермен, Качи-Кальон и др. (*Гавриил, 1844. С. 201; Иванова, Маркова, 2004. С. 123*).

## 2) «Возвращение» греков и армян

Прошло несколько месяцев после депортации христиан, и, как упоминалось, несколько семей было возвращено в Крым Г.А. Потёмкиным: оказывается, этот вельможа весьма любил устрицы, а кроме ялтинских греков их никто добывать не умел (*Бертье-Делагард, 1899. С. 38; Иванова, Маркова, 2004. С. 123*). Однако по возвращении домой эти прибрежные жители были вынуждены селиться в каких-то бараках, наспех для них сколоченных. Собственные их жилища были или заняты (солдатами и пр.), или снесены по неясной причине (коттеджное и дворцовое строительство на Южном берегу началось гораздо позже). Чувство безнадёжной утраты деловских домов отразилось в урумской песне тех лет:

*Йешиль дэ дирек, маву да чичек,  
 Даянмаз юрек...  
 Долаштым Хырым этрафларыны,  
 Йалтанын кенарыныю*

*Йедже дэ куньдюз йылап ты йурдюм,  
 Булмадым тымарымы...*

Возле наших ворот зелёное дерево, синие цветы,  
 Сердце разрывается [от тоски]...

Бродил я по Крыму в окрестностях Ялты.  
 И днём и ночью ходил я, плача,  
 Но не нашёл своего дома...

(Цит. по: *Озенбашлы, 2011. С. 27*).

Ещё через некоторое время в Крыму появились и другие соотечественники греков и армян. Точнее, не соотечественники, а пришельцы из Армении и Греции, люди, не имевшие с крымскими урумами и армянами практически ничего общего, кроме языка. Да и то если закрыть глаза на фундаментальные лингвистические и фонетические отличия, сложившиеся за несколько веков между крымским и ереванским диалектами армянского языка, а также между урумским и новогреческим языками. Но рассмотрим этот сюжет подробнее.

Дело в том, что урумы и ромеи (то есть настоящие, старинные крымские греки) были потомками колонистов Пантикапеи, Кафы и Херсонеса, давно отколовшимися от культуры старой родины, которая развивалась совсем по иным законам, чем крымскогреческая. Теперь Г.А. Потёмкиным в Крым были завезены греки из-за моря, из числа наёмников, ранее служивших на кораблях российского флота, сражавшегося с турками<sup>1</sup>. На новом месте эти профессиональные воины не забыли своей наследственной ненависти к мусульманам,

<sup>1</sup> В 1769–1773 гг. в российском флоте, в период его сражений с турецкими кораблями, служило 8 батальонов архипелажских греков. Поскольку они опасались возмездия от турок, Екатерина переселила их вначале под Таганрог, Керчь и Еникале, а после аннексии Крыма в Балаклаву, потом некоторые из них попали в Мариуполь, но многие и вернулись. В 1794 г. близ Феодосии осела ещё одна волна греческих переселенцев, почти исключительно с о. Занта (*Гермоген, 1887. С. 125–126*).

что породило немало проблем для крымскотатарского населения (подробнее см. в гл. 12 этого тома).

Несколько по-иному складывалось «первое» переселение в Крым армян. Во-первых, соотечественники их появились здесь гораздо позже «первой» же греческой колонизации: по свидетельству их летописца Григория, этот процесс начался только с XI в. (*Гермоген*, 1887. С. 128). Но это были крайне малочисленные купцы, трудившиеся в своих агентствах или факториях, часто без семей. Армянские ремесленники появляются в Кефе, Старом Крыму и в незначительном количестве к югу от Карасубазара лишь в XIII в. Многочисленные источники указывают, что «более правильные и упроченные их колонии относятся к XIII–XIV вв.» (См. в: ЗООИД, 1884. Т. IV. С. 92. Также см. ЗООИД, 1872. Т. VIII. С. 305; *Кондараки*, 1883. Т. II, 1883. С. 63–64).

Да и сами крымские армяне, обращаясь к Шагин-Гирею с просьбой избавить их от депортации, указывали, что как диаспора (то есть не отдельные семьи, а часть населения) они собрались в Крыму только в XV веке<sup>1</sup>. Примерно о том же говорят и современные армянские исследователи, основывающиеся на армянских (то есть происходящих из Армении, а не Крыма) источниках, подтверждающие, что до XIV в. их соотечественников в Крыму было так мало, что и следов они практически не оставили (*Корхмазян*, 1978. С. 7).

После депортации XVIII в. прошло много лет, прежде чем началось новое армянское переселение в Крым. Эта миграция была стихийной и оказалась гораздо слабее параллельной ей новогреческой. Схожим было основное: среди этих армян и греков также не было бывших крымчан или хотя бы их потомков. И те, и другие были представителями *иной, не крымской культуры*, в основном бежавшие из областей Армении или Греции, соприкасавшихся с Турцией, где всегда было неспокойно. Особенно усилился приток армян в первые десятилетия XX в., после известных кровопролитных событий на Южном Кавказе.

В отличие от греков, они по ряду причин жили в Крыму обособленно, абсолютно замкнуто, никак не приобщаясь к местным традициям. Причину такой самоизоляции можно понять: иммигранты из Армении инстинктивно сторонились крымских татар единственно оттого, что те были мусульманами. Впрочем, вопрос сложнее вероисповедного, поскольку армянские диаспоры не смешивались даже в единой вероисповедной, христианской среде (обратный пример находим в Швеции: в 1880-х гг. треть нации эмигрировала в США, а через полвека уже полностью слилась с американцами).

В этом смысле армяне похожи на евреев, которые могли сотни лет жить в Германии, Польше или Украине, не смешиваясь с коренным населением. Но именно она, эта самогерметизация, лишает евреев права называть себя *коренным народом* (не гражданами!) тех стран, где они прожили в добровольной изоляции многие века. Впрочем, как раз на это евреи и не претендуют: мудрые люди, они понимают, что нельзя иметь слишком много. Зато претендуют армяне. И, что странно, далеко не везде, где выходцы из Армении проживают многие

<sup>1</sup> «Мы слуги Ваши и подданные, триста лет тому назад (подч. мной. — В.В.), как живём в государстве Вашего Величества в удовольствии...» и так далее (Памятная книжка, 1867. Вып. I. С. 108). Это писалось в 1778 году.

сотни лет, а почему-то именно в Крыму, и именно в последнее три десятилетия, ведь армянская диаспора никогда в прошлом не заявляла права на статус коренного народа Крыма, как, впрочем, и потомки греков-«арнаутов»<sup>1</sup>. Это примерно то же самое, как если бы современные уроженцы Амстердама или Антверпена потребовали себе особых прав на натурализацию в США лишь потому, что их соотечественники некогда основали небольшую колонию на землях американских индейцев...

Другое дело — мариупольские греки-урумы, потомки коренных крымчан, сумевших сберечь остатки своей растоптанной культуры. В частности, музыкальной: в начале 1970-х гг. была даже записана пластинка их ансамбля, в напевах которого отчётливо слышны мелодии, общие для некогда объединённого одной исторической судьбой населения Крыма (некоторые из них и поныне звучат в старинных крымскотатарских песнях).

## 5. «Присоединение»

### а) Официальное обоснование захвата ханства

Окончательное решение об аннексии Крыма было принято Петербургом, естественно, не сразу. Для этого должны были произойти некоторые перестановки в столичном кабинете. В начале 1780-х гг. Россия намного улучшила свое международное положение, и Екатерина II позволила себе сменить на посту ближайшего своего советника Н.И. Панина, человека весьма осторожного, на более энергичного и беспринципного сторонника широкой колонизации Юга Г.А. Потёмкиным. И если Панин основывал восточную политику России на союзе с Пруссией, то Потёмкин сблизился с политиками Австрии, находившейся гораздо ближе к турецким владениям и более способной помочь союзнику в случае нужды. А задобрить австрийского императора Иосифа II царица полагала содействием ему в округлении австрийских владений в Германии за счёт несчастной Польши. В ответ на эту инициативу и было получено одобрение и обещание поддержки императора в действиях по присоединению Крыма.

Официальный предлог, под которым предполагалось провести беспримерную в конце XVIII в. акцию по поглощению одного государства другим (если не считать той же Польши), изложен среди прочего в трактовке его Екатериной II:

<sup>1</sup> Этот вопрос не поднимался и по той причине, что даже к концу XIX в. число «новых армян» на всей территории полуострова было совершенно незначительным, не достигая и 6000 (*Гермоген*, 1887. С. 129), тогда как даже католиков, потомков генуэзских колонистов (*дженовезе*) тогда в Крыму насчитывалось почти втрое больше (ук. соч. С. 131). Кстати, исходя из этого несомненного факта, нынешняя Генуя также могла бы потребовать признания своего населения «коренным народом Крыма». Но она почему-то не делает этого, хотя уж её-то многочисленные города появились в Крыму намного раньше первых скромных армянских кварталов в тех же городах (подч. об этом см. у армяно-григорианского епископа Гавриила в: ЗООИД. Т. VIII. 1872. С. 305; а также у архиепископа Иосифа в: ЗООИД. Т. IV. 1858. С. 92).

«Преобразование Крыма в вольную и независимую область не принесло спокойствия России и обратилось лишь в новые для нее заботы со значительными издержками. Опыт времени с 1774 г. показал, что независимость мало свойственна татарским народам и, чтоб охранять ее, нам нужно всегда быть вооруженными и при существовании мира изнурять войска трудными движениями, делая большие затраты как бы во время войны... Такая канитель с крымской независимостью принесла уже более семи миллионов чрезвычайных расходов... Принимая во внимание все эти обстоятельства, мы приняли решение дать другой оборот крымским делам... и сделать на будущее время Крымский полуостров не гнездом разбойников и мятежников, а территорией Русского государства. Ввиду этих соображений мы с полной доверенностью объявляем всем нашу волю на присвоение Крымского полуострова и на присоединение его к России» (цит. по: Саловьев, 1862. С. 37–38).

Более всего в этой удивительной декларации поражает даже не лицемерие, которым Екатерина II славилась все годы своего царствования. Современного историка, давно привыкшего к самым странным искривлениям морали у политиков давнего и не столь давнего прошлого, все же ставит в тупик редкая лживость этого документа, а также откровенное нежелание Екатерины II, как-никак главы великой державы, хоть как-то эту публичную свою ложь скрыть. В самом деле, никто, а менее всего крымчане просили царицу «заботиться» о них. Охрану независимости Россия также взяла на себя вопреки воле и крымцев, и их хана. Никто, кроме российского же ставленника Шагина, не звал в Крым русские войска (да и последний, укрепившись на троне, просил убрать гарнизонных солдат). Кого можно было с большим правом именовать «разбойниками», крымских татар, давно уже не помышлявших о набегах на Россию, или заливших страну кровью карателей и мародёров Минниха, Ласси, Долгорукова, Румянцева, Суворова?

И ещё одна ложь — об «опыте времени с 1774 г.», якобы заставившем прибегнуть к аннексии. Ещё в рескрипте-инструкции А.Г. Орлова от 22 февраля 1771 г. отразился секретный политический план, согласно которому вскоре «весь Крымский полуостров последует» примеру ногайцев, отошедших к России, а Турция крымских татар «навсегда оставит... в наших руках». В противном случае Россия готова «ныне же без всякого отлагательства и в самое течение войны тем же нашим победоносным оружием их совсем в самом бытии истребить и земли их вконец опустошить, как такой народ, от которого никакой пользы, ни выгоды... быть не может»<sup>1</sup>. Запомним последнюю фразу (точнее, её смысл) — сколь часто звучал он впоследствии сначала в петербургских, потом в кремлёвских кабинетах! Как заметил современный немецкий историк, однажды ступив на сомнительный путь, правитель и его наследники вряд ли будут в состоянии с него сойти. А «Екатерина сеяла семена, которые не остались бесплодными» (Hildermeier, 2003, S. 78).

Через 9 лет упомянутый выше план можно было рассекретить — и осенью 1780 г. в числе российских предложений, сделанных императору Австрии, мы встречаем «приобретение Крымского полуострова» (Лашков, 1886. С. 31). А ещё

<sup>1</sup> Этот примечательный документ был полностью опубликован в: Уляницкий, 1883. С. 91–93.

через два года, во время вышеупомянутого бунта крымцев против Шагина, Потёмкин, которому поручается ввести войска на полуостров, получает «Наставление» Екатерины II, в котором снова предлагается «помышлять о присвоении сего полуострова» (Уляницкий, 1883. Там же).

Утрата Крымским ханством своей независимости — самое тяжёлое поражение в истории нации. Кто виноват в нём? Вряд ли стоит винить во всём одного лишь Шагин-Гирея. Хотя автор, кажется, привёл все имеющиеся доказательства явному непониманию этим необычным ханом всей ответственности его за то, что случилось с Крымом при нём и благодаря ему. Впрочем, в Крыму и ныне есть немало мыслящих и внимательных соотечественников, которые полностью снимают с Шагин-Гирея даже тень его вины за эту катастрофу. Что ж, время рассудит сторонников и первой, и второй точек зрения. Как знать, может быть, какой-то свет на эту проблему прольют недавно обнаруженные личные записи этого хана (Харитонов В.В. Найден дневник последнего крымского хана // ПО. 2010. № 11. С. 3).

Впрочем, вряд ли это кардинально изменит общую оценку жизни и деятельности несчастливому хану. Тут в самый раз вспомнить летучую фразу: «у победы много отцов, а поражение всегда сирота»

#### б) Практическое осуществление аннексии

Для событий, развернувшихся в Крыму впоследствии, выселение греков и армян получило, как оказалось, решающее значение. Депортация христиан с небольшой, самодостаточной территории, где давно были расписаны буквально все экономические роли, буквально взорвало хозяйственную и финансовую структуры государства. Отсюда пошла ослабление (если не развал) ханской армии, разрыв экономических связей, фатальный кризис в денежном обращении и во многом другом! Вторым из важнейших последствий депортации называют тот факт, что отныне Шагин, пользовавшийся, в общем, симпатией её будущих жертв (он облегчил для христиан Крыма налоги), отныне оставался один на один со своим озлившимся на него народом (Connermann, 1998. S. 251). То есть с этой поры хан был поставлен в полную и окончательную зависимость от политиков Петербурга.

Это значительно облегчало аннексию ханства. Необходимо для этого введение российских войск на полуостров было осуществлено по формальному предлогу, созданному также не без участия Шагина. Его фактически провокационная внутренняя политика вызвала в 1781 г. очередное народное восстание, причём к восставшим массам примкнули и посланные на их усмирение ханские войска<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Как красочно характеризовал эту катастрофу видный правительственный чиновник, через пять лет после депортации крымских христиан «сей край, присоединённый к ея [Екатерины] пространству, предстал перед нею в поражённом от того виде. Она содрогнулась, найдя, что деревни превратились в развалины, сады в запущенные леса, ремёсла, промышленности — в тунеядство и уверилась, что осудила на сиротство новых своих чад ещё прежде их усыновления» (Сумароков, 1803. С. 160).

<sup>2</sup> Советская историография Крыма уверяла в своё время, что в восстаниях периода правления Шагина виной были не российские репрессии, не жестокость хана и не его коллаборационистская политика, но некие «турецкие агитаторы», раздувавшие мятежи.

После чего оставшемуся в одиночестве бахчисарайскому ставленнику России пришлось, как уже упоминалось, покинув столицу, скрываться у русских оккупантов в Еникале. Затем, несмотря на протесты Турции, оккупационная армия распозлзлась по всей территории ханства.

Вернувшись с их помощью в Бахчисарай, Шагин некоторое время чувствовал угрозу мятежа и в своей столице. Так, во время его отлучки народ ворвался во дворец и учинил там настоящий разгром, во время которого погибли назначенные Шагином управляющими хан-сарая Абдувели-паша и Эр-мирза. Дворец был разграблен (*Озенбашилы*, 2005. II. С. 7). После этого хан был вынужден жить в одном из дворцовых знаний в бахчисарайском квартале Катырша-сарай и оттуда руководить расправой над восставшими, в чём ему деятельно помогали его сторонники Аджигази-мурза, Абла Белокубашы и Мехметша-мурза Кипчакский (Там же).

Начался настоящий террор, всё ещё многочисленные остатки политической оппозиции были потоплены в крови. Волна казней и пожаров катилась по пятам русских солдат, а хан не щадил и мирных жителей. Размах этой кровавой оргии поразил даже выдавшего виды генерал-губернатора Г.А. Потёмкина. Князь умыл руки, выразив наконец протест против жестокостей Шагина, и силой отобрал у разошедшегося хана группу ожидавших казни высших сановников, в том числе и братьев Шагина, которых тот подозревал в планах занять его место.

Но он не успел предупредить другого, неслыханного в Крыму преступления, разом поставившего крест на будущем Шагин-Гирея как властителя народа. Более того, оно фактически вообще исключило хана из мусульманского мира.

В первый и последний раз в истории ханства Гирей повесил *муфтия* Крыма.

После чего многие противники российской оккупации и просто нейтральные, мирные жители стали склоняться к предпочтению русской власти — лишь бы прекратился бесконечный террор. На улицах были слышны вопли: «Лучше будем служить русскому росту с кнутовище, но не этому сыну хана!». Такими настроениями (возможно, вполне ожидаемыми) не замедлила воспользоваться российская императрица.

Рескриптом от 7 февраля 1782 г. Екатерина поручила Потёмкину «объявить хану в самых сильных выражениях, с каким прискорбием мы получили сие неприятное известие... Казни при том случае (то есть в 1778 г. — *В.В.*), употреблённые и повторенные потом многократно, не могли устроить других, а только огорчили его подданных и предуготовили последнее возмущение. Он (то есть хан. — *В.В.*) должен ведать, что если бы мы таковую суровость с его стороны предвидели, не обратили бы войск никаких на его защиту». Далее царица пред-

Постсоветская историография в целом более объективна, но едва речь заходит о Крыме, как объективность эта испаряется и снова мелькают на страницах исследований всё те же турецкие «поджигатели», которым костю в горле была взаимная любовь крымского народа и его колонизаторов, в то время как сам полуостров использовался султанами «в качестве... ятагана против соседних народов» (*Аграновский*, 1991. Вып. II. С. 24. См также: *Масаев*, 1997. С. 162–163). Для этих и некоторых иных авторов неважно, что Я. Булгаков, екатерининский посол в Турции, постоянно сообщал из Стамбула, что турки не участвуют ни в разжигании мятежей против Шагина, ни в материальной поддержке его (СРЮ, 1897. С. 695, 743 и мн. др.).

писывала князю указать Шагину на его истинное место, без претензий на самостоятельность: «Желаем, дабы он управлял сими народами с кротостью... и не подавал причин к новым бунтам, ибо не может ему быть не ощутительно, что сохранение его на ханстве не составляет ещё для государства нашего интереса, для которого мы обязаны были бы находиться всегда в войне или по крайней мере в распрях с Портою» (Бумаги Екатерины. С. 831, 832).

И тут же Екатерина сделала безошибочный шаг для привлечения на свою сторону значительной части крымских татар, доведённых бессудными казнями до протрации: «Между тем нет нужды скрывать в народе сии... внушения, дабы татары ведали, что подобные казни нам и военному нашему начальству всемерно отвратительны, что мы ничего не оставим употребить к пресечению их, и что все те, кои прибегнут под защиту войск наших, воспользуются полной безопасностью» (там же).

Конечно же, подобные инициативы царицы были вызваны не заботой о коренном населении Крыма, кровь которого она сама проливали с лёгкостью. В них явно просвечивают и планы большой политики (где Крым — лишь промежуточная станция на пути к Проливам), и крайнее лицемерие Екатерины, незадолго до того подавившей восстание Пугачёва вполне «шагиновскими» методами. Но справедливости ради заметим, что карательные акции против уральских мятежников ограничивались самими мятежниками, схваченными с оружием в руках, и отнюдь не распространялись на женщин и детей, что практиковали в Крыму Шагин и его русские друзья. В этом смысле показателен и тот факт, что нашлось немало татар, которые в отчаянии от жестокостей своего хана, уже в июне 1781 г. подали жалобу царице, ища защиты именно у неё, а не в ином месте (*Лашков*, 1886. С. 30).

Ещё до полного усмирения крымскотатарского народа в Бахчисарай был послан со специальной миссией племянник Г.А. Потёмкина генерал А.Н. Самойлов. Он предложил хану оставить Крым ради более высокого престола — персидского, который Екатерина обещает ему предоставить силой своего оружия. И Шагин, властитель бездарный, жестокий и слабый настолько, что не смог править собственным мирным и трудолюбивым народом, соглашается стать во главе огромной державы, заняв древний трон могущественных падишахов. Как вспоминал потом генерал, хан «пленён был сею мыслию!» (*Самойлов*, 1861. С. 1222). Получив из Крыма письменное подтверждение Шагином согласия на эту авантюру, Г.А. Потёмкин смог уверенно сказать императрице: «Вам он Крым поднесёт в нынешнюю зиму».

Во второй половине 1782 г. к практическим действиям в этом направлении приступил сам князь. Через некоего Якуба-агу (крымский татарин-ренегат, окрестившийся под именем Якова Рудзевича) Потёмкин принялся выявлять и щедро закармливать тех крымцев, что относились к идее перехода ханства под власть России не то что благосклонно (таких не было), но по крайней мере терпимо. Заручившись их поддержкой, он в сентябре 1782 г. встречается в Петровском (ныне Бердянск) с Шагин-Гиреем, где обсуждает с ханом план русской интервенции на территорию Крыма, после чего отдает приказ генералу А.Д. де Бальмену о подготовке войска ко вступлению на полуостров (*Себаг-Монтефиоре*, 2003. С. 244).

А в ноябре князь уже обсуждает проблему аннексии с пятью членами бейского рода Ширинов, по-прежнему самого могущественного в Крыму<sup>1</sup>.

Убеждённые князем (он соблазнял их примерами «безбедной» жизни казанских беев), те соглашались с ним, торгуясь лишь насчёт будущих своих привилегий (*Дубровин*, 1885. Т. IV. С. 931–932). И Ширины были, увы, в своём предательстве родины не одиноки. Беев и мурз, переметнувшихся на сторону русских, было несколько человек, все они принадлежали к элите родовой знати и все были щедро вознаграждены царицей после захвата их родины. Собственно, Потёмкин прямо обещал Меметше Ширин-бею, гёзлёвскому каймакану Али-аге и другим ренегатам: «могу я уверить вас, что подобная к Ея Императорскому Величеству ревность и усердие не останутся без должного воздаяния» (Письма, 1881. С. 279)<sup>2</sup>.

Таким образом проблема аннексии была практически решена, учитывая, что и Шагин теперь не мог ей препятствовать, ведь он получал львиную долю доходов не с разорённого ханства, а от русских. Даже его внешнеполитические контакты того периода ограничивались представителями Екатерины на юге (губернатор, командующий войсками, имперский резидент). Дошло до того, что и при султанском дворе его интересы хана стал выражать русский посол в Порте.

Благоприятной для захвата была и международная обстановка. Страны, интересы которых могла ущемить российская агрессия в Крыму, были по горло заняты своими делами. Англия воевала с сепаратистами-американцами и французами, Австрий Г.А. Потёмкин обещал какие-то земли на Балканах (и цесарь почему-то свято ему верил), а Турция никак не могла оправиться от внутренних мятежей и последствий чумы.

Вообще создаётся впечатление, что не Екатерина была инициатором захвата Крыма, а Г.А. Потёмкин. Императрица осторожничала, тогда как светлейший был готов идти напролом и всячески склонял к этому свою венценосную покровительницу. Он писал ей в 1782 г. о полной безнаказанности оккупации и присвоения ханства: «Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою Азии, Африки, Америки» (цит. по: *Лопатин*, 1997. № 635). Наконец, в середине декабря 1782 г. Екатерина решила и выдала князю «скрытнейший» рескрипт, где говорилось о захвате Крыма. Но и в этом документе сквозят известные опасения вмешательства посторонних сил: поход возможен, пишет она, лишь в случае смерти законного хана Шагина — или его свержения собственными, крымскими

<sup>1</sup> Сейчас трудно сказать, раскрыл ли Потёмкин перед Ширинами все свои карты: ведь он мог сообщить им, что в середине декабря 1782 г. Екатерина письменно повела ему, в случае, если татары запрямятся в поддержке российской политики, захватить полуостров военной силой (Бумаги Екатерины. С. 272). То есть князь имел документ, позволяющий ему возобновить геноцид в Крыму. И если он действительно предъявил его беям, то у них вообще не оставалось никакого выбора.

<sup>2</sup> Приведём один пример. Владелец Коккоза Мемет-бей активно помогал захватчикам, за что был пожалован чином коллежского советника (не было ли здесь скрытого издевательства, ведь он так и не выучил русской грамоты!). Зато о нём говорили, что он «принадлежит к самым зажиточным владельцам на полуострове, имеет [в Коккозе] хороший дом в турецком вкусе, гарем и хорошую мельницу» (*Паллас*, 1793. С. 159–160). О других пожалованиях крымскотатарским «новым дворянам» см. ниже.

врагами этого Гирея. Короче, условия она ставила такие, что Г.А. Потёмкин мог действовать лишь при полной уверенности в успехе. Такая уверенность у князя имела.

В конце января 1783 г. Шагину было, наконец, прямо объявлено, что государыня постоянно испытывает огорчения из-за его «жестокоего поведения по отношению к подданным, которые пользуются покровительством России, и что ввиду этого сохранение его на престоле не составляет для государства [Российского] интереса» (Бумаги Екатерины. С. 272). Краткие переговоры закончились в феврале тем, что хан добровольно *отрёкся* в апреле 1783 г. от престола Гиреев. Это отречение принял всё тот же А.Д. де Бальмен. Бывший хан отдал себя под покровительство и в полную волю России. На будущее ему было обещано содержание: 200 000 руб. в год.

Это была сумма, в несколько раз превышавшая среднегодовой ханский доход от Крыма, тогда как в воле Екатерины, не оставившей Шагину иного выхода, было удовлетворить его любой меньшей дотацией. О неизменности было чисто личного расположения царицы к Шагину говорило и присвоенное ему высокого чина генерал-лейтенанта российской армии и награждение орденом Св. Анны. О том же свидетельствует письмо, которое Екатерина несколько позже, 05. 05. 1783 г., направила Г.А. Потёмкину. В этом документе она предлагает обходиться с бывшим ханом «ласково и с почтением, приличным владельцу, и отдать ему то, что назначено, ибо прочего о нём расположения не премияю» (Бумаги Екатерины. С. 255–256). Однако умная императрица знала цену достоинствам Шагина. Об этом говорит хотя бы инцидент с возведением его в достоинство гвардейского капитана.

В начале апреля 1787 г. Шагин переслал ей уже готовый капитанский патент, под которым, согласно уставу, должна была подписаться сама «командирша» гвардейских полков. Но он, при всей своей европейской лошёности, не взял во внимание, что такого рода пакеты неприлично слать без сопроводительного прошения, пусть даже самого краткого и формального. Впрочем, Екатерина, зная Шагина не первый год, не удивилась, а, как говорят свидетели, усмехнулась, сказав, что «глупость и тиранство его известны давно», и что «два раза его подкрепляли», да толку, видимо, мало (цит. по: *Храповицкий*, 1990. С. 25). Но патент и соответствующий ордер она всё же подписала.

Дальнейшая история пребывания Шагин-Гирея в Крыму и России, вплоть до его бегства в Турцию, на верную смерть, показывает, что Екатерина слово своё держала чисто формально. И хоть никакого насилия не свершалось, но имело место явное пренебрежение, постепенно возросшее до оскорбительных ограничений и вмешательств в личную жизнь Шагина, в конечном счёте окончательно определившие его судьбу. Приведём вкратце эту историю, к Крыму, впрочем, уже не имевшую отношения.

Сразу же после своего отречения от престола Шагин выехал в Тамань, откуда Екатерина предполагала перевести его в Воронеж для постоянного пребывания. Но затем в Петербурге передумали и приказали бывшему хану, уже обосновавшемуся в Воронеже, убраться в Турцию. Едва Шагин согласился, как царица снова изменила решение. Видимо, не желая иметь за рубежом претендента на обладание Крымом, она перевела его в Калугу. Шагин послушно перебрался в третий раз



и жил там до весны 1786 г. практически один, так как вся его свита и многочисленная семья оставались на Кубани и в иных местах. Их, а также сохранивших верность личной присяге Шагину мурз усиленно склоняли к переходу в подданство царицы. Некоторые крымцы, насильственно лишённые контакта с ханом (письма перехватывались) и под угрозой оружия (кое-где применённого), стали уступать. Затем денежное содержание хана было урезано до нищенского размера. Тогда Шагин, не ожидая для себя ничего хорошего, стал проситься в Турцию.

Очевидно, теперь это входило в планы русской администрации, и последний правитель Крыма был тут же отпущен, приказано было даже поторопиться с отъездом. Как сообщал находившийся в эти недели в Бахчисарае англичанин Джон Паркинсон, при отпуске бывшего хана Г.А. Потёмкин не удержался от издевательств, заметив, что двум таким великим государям, как Шагин и Екатерина, находиться в одной стране просто тесно (*Connermann*, 1998. S. 352). В январе 1787 г. экс-хан пересёк границу, а через несколько недель был по повелению султана казнен на о. Родос.

Конечно, бывший хан имел в последние дни своей жизни все основания горько каяться в своём доверии к официальному Петербургу. Но в невзгодах, его постигших, немало и его личной вины. Опубликованные архивные документы открывают современному исследователю простую истину: Шагин-Гирей принадлежал к типу правителей, не умевших и не желавших мирно ужиться с собственным народом. Ещё в бытность свою калгой хана Сахиб-Гирей, Шагин признавался князю Путятину, что «с такими неблагодарными людьми, враждебными мне и русским, я не могу остаться... Если дела будут продолжаться в том же беспорядке, а сил моих неостанет быть полезным России и себе (выделено мной. — В.В.), то принужден буду покинуть страну и искать убежища под покровительством императрицы» (*Соловьёв*, 1994. Кн. XIV. С. 31).

И намерение отречься от престола и покинуть Крым повторяется у него после каждого серьёзного конфликта с «не понимающим» его народом. Так, в августе 1778 г. он сообщает русскому представителю А.Д. Константинову: «я не могу жить там, где неприятели мои утешны моим несчастьем и в укоризну мне вечно будут смеяться. Я намерен пасть перед трон Ея Величества и предать себя в ея волю» (цит. по: *Дубровин*, 1885. Т. II. С. 293), после чего покинул Хан-сарай и русским стоило больших трудов и длительных уговоров, чтобы он туда снова вернулся (ук. соч. С. 651–652).

И даже после подавления очередного мятежа, весной 1782 г., в разгар массовых казней своих подданных, этот хан, прибыв на собрание старейшин в Карасубазар, призвал публично гнев Божий на головы своих соотечественников, снова публично объявив, что «не хочет быть ханом такого коварного народа» (*Рус. Архив*, 1867. С. 1224). Сразу после того, как Шагин, наконец, исполнил эту свою давнюю угрозу, а именно 8 февраля 1783 г., был опубликован императорский манифест «О принятии полуострова Крыма, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» (ПСЗ, Т. XXI, № 15 708).

Не прошло и трёх месяцев, как этот акт (точнее, действия российских властей, последовавших вслед за ним) непосредственно отразился на судьбе ногайской части крымских татар. Поняв суть свершившегося, они «замыслили побег в Кавказские горы, опасаясь, чтобы правительство не поселило их в глубине сте-

пей Уральских». Начавшееся переселение было жёстко прервано А.В. Суворовым, и «множество беглецов пали под ударами русского оружия во время преследования их на пути к Кавказу, а пустынные (то есть степные. — В.В.) места Новороссийского края, заселённые ногайцами, обратились опять... в дикую (то есть безлюдную, заброшенную. — В.В.) пустыню» (*Каневский*, 1845. С. 212). Позже российские солдаты обнаружили в степи случайно уцелевшую тысячу семей и согнали их всех воедино. Затем эти жалкие осколки народа были вывезены в район захолустного Мелитополя и Молочных вод и там брошены на произвол судьбы.

Так печально окончилось многовековое кочевье поредевшего коренного населения Великого кыпчакского поля — мирных потомков прославленных вождей и воинов многолюдных и могучих ногайских орд.

#### в) Государственно-правовая несостоятельность акта аннексии

Упомнутый выше Манифест — на редкость содержательный источник. Он характеризуется прежде всего откровенными передержками, подтасовкой фактов и обывчной, также открытой ложью, что встречается в государственных документах высокой важности не столь часто, по крайней мере в такой массе. Понятно, что эти особенности Манифеста были вызваны стремлением во что бы то ни стало затушевать грубые нарушения международного права, содержащиеся не только в предшествовавшей российской политике, но и в самом документе, который вряд ли может быть сочтён законным актом.

Сказанное подтверждается уже титулом манифеста, где в качестве объекта аннексии фигурирует *географическое понятие*: «полуостров Крым» — вместо официального наименования суверенного государства, расположенного не только на полуострове, но и на материковой территории, куда более обширной, чем собственно Крым. Понятно, чем это вызывалось: царице было неловко писать о поглощении одного государства другим, в кругу европейских держав уже давно не было принято поступать так беспардонно. А какой-то «полуостров» — совсем другое дело...

Но в основном тексте встречаются ещё более грубые подтасовки, явные нарушения тогдашней государственно-правовой практики и просто наглые заявления. Так, право на захват соседней независимой державы обосновывалось перед всем цивилизованным миром не какими-то справедливыми (или даже несправедливыми) притязаниями в отношении ханства, а единственно «силами и победами оружия Нашего». Другими словами — разбойным правом, выглядевшим в просвещённом Восемнадцатом веке совершенной дикостью.

К этому же ряду обоснований аннексии принадлежат вполне расистские откровения по поводу крымских татар. О них, об одной из европейских суверенных наций говорилось: «независимость мало свойственна татарским народам... [отчего] Мы с полной доверенностью объявляем всем Нашу волю на присвоение Крымского полуострова». В дальнейшем этот же мотив развивал перед окружающим миром секретарь царицы и фактический руководитель её внешней политики, граф А.А. Безбородко: «Не расширение пределов... было тому поводом... но главнейшее желание надолго обеспечить тишину истреблением и обузданием хищного и воровского гнезда, прекращением набегов и разорений, в границах

наших причиняемых» (Записка, 1879. С. 532). И это говорилось для политиков, прекрасно осведомлённых о том, что последние века Россия отнюдь не втягивалась в себя, а агрессивно расширялась подобно раковой опухоли, тогда как ханство в тот же период сокращалось до размеров действительно одного только упомянутого в манифесте полуострова. Неплохо была осведомлена Европа и о миролюбии последних крымских ханов.

Но продолжим анализ Манифеста. Упоминается здесь и период краткой независимости Крыма, которой крымцы просто не умели пользоваться: «Татара... стали действовать вопреки собственному благу, от Нас им дарованному». Губительные походы своих солдат на независимый Крым разговорчивая царица также объясняет заботой о благе татар: оказывается, без карательных акций «не могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди Татар». Да и само «преобразование в вольную область при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы», оказывается, также крайне беспокоило Екатерину II...

Сумма денег, истраченная на благо татар (имеются в виду расходы на репрессии), вырастает в манифесте с 7 до 12 000 000 руб. Далее, оказывается, не русские, а турки нарушали «взаимные обязательства о вольности и независимости татарских народов», отчего решено отплатить османам той же монетой, то есть окончательно лишить крымцев «вольности» силой русского оружия — логика безупречная.

В заключение царица от имени своего и всех преемников обещала крымцам «свято и непоколебимо... содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру...», взамен чего «благодарности новых подданных требуем и ожидаем Мы» (там же).

В имперской, советской и постсоветской историографии законность аннексии Крыма, заявленная Манифестом, обосновывается тем внешним фактом, что к утрате Крымом суверенности страну вёл и привёл верховный и независимый её правитель, хан Шагин-Гирей. В некоторых, довольно новых работах говорится даже о *добровольном* вхождении в Российскую империю всего крымскотатарского народа (Черкашин, 1994. С. 3). Эти утверждения не имеют под собой ни научно-исторической, ни практической (государственно-правовой) почвы, что легко доказывается даже кратким анализом реальных событий того периода.

Во-первых, Шагин-Гирей в момент отречения от престола не являлся ни суверенным, ни независимым, ни даже законным монархом действительно независимого и суверенного Крымского ханства. Его вступление на престол не имело силы, как свершившееся в нарушение обычного права, действовавшего на территории государства. То есть он не был свободно избран бейями с султанским утверждением. Вынужденное признание Турцией его достоинства де-факто, случившееся гораздо *позднее*, ничего в этом выводе не меняет. И даже акт отречения, сыгравший столь значительную роль в истории аннексии Крыма, столь же юридически ничтожен, как и предшествовавшая правовая процедура интронизации (вступления во власть) Шагин-Гирея.

Во-вторых, что касается тезиса о «добровольности» аннексии, то против его смысла свидетельствуют все вышеизложенные события крымской истории 1730–1780-х гг. Против явной этой фальсификации буквально вопиет кровь мирного населения и защитников ханства, павших в неравных боях, замученных

или сожжённых русскими захватчиками и оккупантами, всего за полвека прератившими «жемчужину Чёрного моря» в клочок обугленной земли, покрытый руинами прежней культуры.

На самом деле имело место прямое нарушение международного права, по меньшей мере по двум статьям. Прежде всего, аннексия явилась прямым результатом вторжения русских войск на территорию Крыма, то есть она стала *следствием нарушения* международного Кючук-Кайнарджийского трактата.

Далее, ханом не был подписан никакой официальный документ о передаче Крыма России. Такого документа и не могло быть, так как Шагин отрёкся от престола *ранее* опубликования российского манифеста, декларировавшего аннексию. Таким образом, важнейший в истории государства акт имел место в ситуации *interregnum* (в состоянии временной незанятости ключевого поста — главы государства). То есть отсутствовал *единственный* субъект, который имел бы право вести от имени Крыма и его народа переговоры с другими суверенами. И, тем более, заключать акты, предметом которых являются вопросы, связанные с понятием или содержанием государственного суверенитета. И по этой причине также акт аннексии не мог получить законной силы в соответствии с фундаментальными понятиями и нормами международного права того времени<sup>1</sup>.

Ради объективности этого важного вывода имеет смысл привлечь заключения, сделанные в области истории государственного права наиболее авторитетной международно-правовой инстанцией, а именно, Организацией Объединённых Наций. Согласно анализам 1995 г. Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств ООН, в международном праве конца XVIII — начала XIX вв. вообще «преобладал недискриминационный и универсалистский критерий, основывавшийся на естественном праве, которое считало свободными и равными все организованные политические образования, даже расположенные на других континентах», по крайней мере, «до середины XIX века» (E/CN.4/Sub.2/1955/27, пункт 143). Россия грубо нарушила этот принцип в момент его *уже имевшего место* неограниченного действия на территории Европы и, отчасти, других континентов.

И по этой причине также Крым оставался абсолютно незаконным владением России (затем РСФСР) в течение всего последовавшего за аннексией исторического периода. Другими словами, если не прятаться от единственно бесспорной истины, а именно провозглашаемой международно-государственной юстицией (между прочим, *ius* — в переводе с латыни не только «право», но и «справедливость»),

<sup>1</sup> Это было ясно не только теоретикам права или политическим лидерам, но всем культурным людям эпохи. Неплохой пример суждений, которые высказывались в годы непосредственно после акта захвата Крыма, даёт запись беседы двух иностранных гостей Екатерины, сопровождавших её в поездке в Крым 1787 года. Один из них, принц де Линь, обратив внимание собеседника на тысячу всадников в крымскотатарских костюмах, встречавших кортеж у Перекопа, заметил, что султану Турции был бы неплохой сюрприз, если бы татары, воспользовавшись моментом, скрутили Екатерину и Иосифа II, бросили их в трюм и доставили через пару дней в Стамбул: «...эти татары *без всякого угрызения совести* могли бы увести двух государей, которые *вопреки международному праву и нарушив положительные договоры* (курсив мой. — В.В.) похитили их страну и свергли с престола их государя» (Цит. по: Брикнер, 1872. С. 40–41).

то мы просто вынуждены признать Крым государственным образованием, доныне, по-прежнему имеющим статус независимого ханства. Другое дело, что этот признанный на международном уровне статус был в конце XVIII в. грубо нарушен. После чего справедливость так и не восторжествовала, то есть не последовало ни законного возмездия преступникам, ни восстановления поправных прав крымскотатарского народа на существование внутри границ собственного древнего государства.

Любопытное совпадение: в том же 1783 г. Россия заключила так называемый Георгиевский трактат с независимой Грузией. По его условиям империя брала под своё военное покровительство Картли-Кахетинское царство (объединённое восточно-грузинское государство), оставляя при этом в неизменном состоянии существующую монархию династии Багратиони и весь её государственный уклад. Однако уже в 1801 г. Россия аннексировала, нарушив трактат, восточную Грузию, а позднее захватила и западную. Так была ликвидирована грузинская государственность, имевшая, по сравнению с Крымом, гораздо более давнюю историю — ей насчитывалось почти 3000 лет. Однако в 1917 г. Грузия, в отличие от Крыма, освободилась от имперских объятий, став суверенным государством, что признала и Россия. Тем не менее грузин и позже ждала судьба, схожая с крымскотатарской: в 1921 г. Красная армия с нескольких сторон вторглась в Грузию, за чем последовала вторичная аннексия этой независимой державы.

### г) Первые колониальные акции

Первой после аннексии административной реформой было создание «Таврического областного управления». В состав этого учреждения, задуманного для наведения порядка среди волновавшегося коренного населения Крыма, вошли (кроме российских чиновников) мурзы, согласившиеся сотрудничать с новой властью. Именитые крымцы прекрасно понимали, что в дальнейшем им придётся сотрудничать с оккупационными властями, с чем и примирились. Достаточно сказать, что они согласились подчиниться барону О.А. Игелетрому, в 1783 г. командовавшему войсками, порабошавшими Крым.

Однако российское правительство, национальную политику которого определяла лично императрица, прилагало понятные усилия к сглаживанию конфликтов, которые неминуемо должны были возникнуть на колонизированной территории. Эти усилия, вызванные прежде всего стремлением, так сказать, удешевить процесс врастания Крыма в имперское тело, находили своё выражение буквально во всём, что подтверждается уже первыми действиями царского правительства на территории утратившего независимость ханства. В феврале 1783 г. был издан «Закон о позволении князьям и мурзам татарским на получение всех преимуществ русского дворянства» (ПСЗ. Т. XXII, № 15 936). Далее, квартальные и сельские джемаат, вплоть до самых малочисленных, были «одарены» правом на исполнение ими старых функций самоуправления. Наконец, было сохранено административное деление полуострова на 6 каймаканств. Было создано и небольшое крымскотатарское войско, правда, непонятно, с какой целью. Что защищать, против кого выступать? (*Водарский, Елисеева, Кабузан*, 2003, С. 59).

Г.А. Потёмкин пытался привлечь к поддержке новой власти и крымскотатарское духовенство, заверяя его в соблюдении свободы вероисповедания в России вообще и в Крыму в частности. Нужно сказать, что эти декларации князя<sup>1</sup> имели некоторый успех по причине острой уязвленности крымских вероучителей недавним «обновленчеством» Шагин-Гирея, глубоко оскорблявшим мусульманскую элиту. Теперь положение, вроде бы, менялось в лучшую сторону, отчего они не только сами добровольно принесли присягу на верность императрице, но и, пользуясь своим традиционным авторитетом, склоняли к тому же широкие круги верующих. Воспользовавшись этим настроением, наместник фактически включил муфтия бывшего Крымского ханства Масалафа-эфенди в состав администрации края: он стал получать казённое жалованье, тем самым согласившись стать одним из чиновников Российской империи. Впрочем, эти авансы наместника не выходили из некоторых имперских рамок. Так, подчинив всех новых подданных российской администрации, он сохранил юрисдикцию всех бывших кади лишь в религиозной сфере. То есть они уже не могли излагать своё мнение по поводу возможных нарушений гражданского или уголовного права, которые отныне находились в ведении имперских органов.

Не пренебрегал Потёмкин и личными связями с крымскими имамами и муллами. Разъезжая по территории полуострова он делал подарки местным муфтиям, порой весьма дорогостоящие (часы, кольца с драгоценными камнями, книги). А также демонстративно жертвовал деньги мечетям, порой до 200–300 рублей (*Миранда*, 2001, С. 56, 57, 61, 66).

Князь пытался погасить и тревогу крымских татар относительно набора в русскую армию. Дело в том, что из Очакова и других турецких крепостей, захваченных имперскими войсками, до Крыма доходили слухи о том, что молодых парней насильственно забривают в солдаты. Поэтому он рекомендовал Екатерине дать крымским татарам гарантию полной свободы от рекрутчины (*Лопатин*, 1997, С. 176).

У такой политики было несколько причин.

Во-первых, жёсткая антимусульманская политическая линия России, прослеживающаяся с начала века, привела к возмущению российских последователей ислама и, как следствие, к огромным затратам — материальным и в живой силе<sup>2</sup>. Во-вторых, Екатерина стремилась сохранить свою европейскую репутацию

<sup>1</sup> Потёмкин не упустил случая подтвердить свои слова делом. Он заказал в одной из петербургских типографий печатание Корана для новой колонии, и вскоре тьюки с экземплярами священной книги прибыли в Крым. Эта акция не могла не подействовать на не избалованных таким вниманием джемааты полуострова.

<sup>2</sup> После окончания русско-турецкой войны 1735–1739 гг. Москва впервые стала насильственно и массово крестить иноверцев империи, применяя как экономические, так и военно-полицейские меры. Но если язычники обычно позволяли себя крестить (на деле сохраняя веру отцов), то мусульмане Поволжья, где в основном и проводились эти акции, оказывали царским миссионерам яростное сопротивление, часто убивали их, поднимали мятежи против власти и т. д. Эти акты сопротивления были подавлены с крайней жестокостью, после чего часть татар и башкир эмигрировала на мусульманский Восток, а часть примкнула к вооружённым толпам Емельяна Пугачёва. Именно поэтому, как считают некоторые исследователи, Екатерина и сменила тактику, временно отказавшись от наступления на российских мусульман (*Каннелер*, 2003, С. 131–132).

просвещённой и гуманной правительницы. Наконец, такой шаг был рассчитан и на дальнейшее углубление раскола нации; собственно, эта акция по своему содержанию (отбор и поощрение политической коллаборационистской и компрадорской элиты) является классической для только колониальной политики не только России.

Поэтому уже в первые месяцы нового господства началось возвышение части «нового дворянства» Крыма над соотечественниками. В Областное правление вошли возведённый в чин советника Кутлуш-ага, ассессор Гражданской палаты Ачказы-ага, советником в Уголовной палате стал К. Киятов, ассессором Казённой палаты Мемет-мурза Аргинский. Позже губернским предводителем дворянства был избран (практически назначен именованным указом Екатерины, с окладом в 2000 руб годовых) Ширин-бей, тем же указом муфтию Крыма было выделено аналогичное жалование, и ещё 1500 руб — калиаскеру (*Завадовский*, 1885. С. 65, 69). Затем дворянские титулы были розданы десяткам мурз; многие при этом получили русские окончания к родовым именам или наименованиям родовых имений: соевскими дворянами со всеми правами и привилегиями стали Арабские, Бораганские, Байдарские, Джаминские, Джамбайские, Даирские, Джанкылычи, Кайтазовы, Картбинские, Кондилские, Конгуратские, Крымтавы, Меркитские, Тайганские, Улановы, Эмировы и т. д., не говоря о старинных бейских родах.

А вскоре после этого, в 1784 г., последовал акт противоположного для коренного населения значения. Было постановлено отбирать дома у «немирных» татар, то есть, тех, «кто не желал терпеть благодеяния русского господства, и которым было разрешено выезжать в Турцию или любое иное место», о чём сразу же стало известно в Европе. Как и о том, что «этим разрешением воспользовались те, кто имел возможность оставить дома, земли и иное имущество, взяв с собой какие-то наличные суммы. Бедняки же при всём желании не могли выехать: денег не было не только на обустройство в принимающей стране, но и на проезд, тем более что транспортные цены с начала переселения многократно возросли. И люди остались в Крыму... Тем не менее в результате этой эмиграции деревни и поля заметно обезлюдели, а большие города стали пустынями» (*King*, 1788. S. 249–250).

Свои плоды этот искусственный раскол принёс, хоть и не скоро. А пока новоназначенные чиновники (здесь были названы лишь высшие из них) хоть и не оказывали по своей неопытности большой помощи царской власти в её репрессиях против народа, но, по крайней мере, в эти мероприятия не вмешивались, а большего от них и не требовалось. А уже через несколько месяцев после аннексии почти все бывшие подданные хана, жившие за Перекопом, то есть ногайцы, ещё недавно оказывавшие Екатерине помощь против жителей полуострова, были высланы в Зауралье. Выселение, как и в случае с крымскими христианами в 1778 г., проводилось военной силой под руководством опытного А.В. Суворова. Понятно, что и депортация ногайцев стоила множества жертв среди мирного населения.

Что же касается собственно Крыма, то новая, теперь уже тотальная оккупация полуострова встретила сопротивление коренного народа. Когда летом 1783 г. русские войска удалились из центральной части Крыма на Керченский

полуостров, остатки уцелевших отрядов бывшего ханского войска стеклись воедино и предприняли несколько безуспешных попыток вытеснить русских и оттуда. Узнав об этом, Г.А. Потёмкин, находившийся в Петербурге, приказал А.А. Прозоровскому схватить командиров этих отрядов и устроить показательную казнь. Современники утверждали, что генерал отказался выполнить приказ, гордо заявив, что он «не наёмный убийца» (“was not an assassin” — *Milner*, 1855. P. 248). Возможно, это лишь легенда, но не подлежит сомнению факт последовавшей за этим очередной резни, учинённой русскими карателями (под командованием родственника Г.А. Потёмкина, князя Павла), в том числе и мирного населения, в ходе которой погибло около 30 000 мужчин, женщин и детей (*Item*; см. также: *Улькюсал*, 1980. С. 170). Тем не менее, как сообщает тот же источник, сопротивление продолжалось до сожжения русскими ханского Летнего дворца, игравшего в глазах крымских татар роль одного из важнейших символов государственного суверенитета ханства (см. ниже).

В условиях этих карательных рейдов потёмкинских солдат и казаков, и даже после их окончания значительная часть коренного народа эмигрировала за рубеж. Россия вытесняла местное население прочь, очевидно, пытаясь решить эту проблему «по-своему», то есть, по-русски. Поэтому нас не должно удивлять стремление избавиться от крымских татар (по выражению Потёмкина, от «недоброжелателей, которые, конечно, при первом случае открыли бы свою злонамеренность» — *Письма*, 1881. С. 289), то есть от врага, из внешнего превратившегося во внутреннего.

Ещё в июне 1783 г. Г.А. Потёмкин приказывал генерал-поручику А.Д. де Бальмену, представлявшему высшую власть в Крыму, и сообщившему о стремлении многих крымских татар эмигрировать, ни в коем случае не препятствовать бегству новых подданных Екатерины за кордон, но напротив, упростить процедуру их выпуска: «предписать на все посты, чтобы выезжающим из Крымского полуострова татарам отнюдь не было сделано препятствий» (*Письма*, 1881. С. 269). И, одновременно, явно с целью не упустить время, боясь, что беженцы и одуматься могут, князь в тот же день, 23 июня лично рассылает такого же смысла предписания на упомянутые посты. Вот образец такого стереотипного ордера (приказа): «Уведомясь, что татары в окрестности Сарыбулатской пристани оставляя свои дома, удаляются из Крыма, предписываю вам нисколько не делать им в том препятствия, но оставить их в полной свободе ехать куда пожелают» (там же).

Понятно, что не все желающие бежать из Крыма татары имели к тому возможность. Но Потёмкин и об этом подумал — поистине, это был одарённый администратор! В июле 1783 г. он предписывает тому же А.Д. де Бальмену принять участие в их судьбе: «бедным же, которые не могут нанять судов, предложить ехать на Очаков», то есть добираться до Османской империи по суше. Объяснение такой «заботы» о беженцах мы видим двумя строчками ниже, где светлейший всячески торопит события: «кто не желает здесь оставаться, таких и не терпеть долго... и для сего понудить их сбираться... Дома их... взять в ведомство казённое...» (*Письма*, 1881. С. 278). Затем в августе того же года Потёмкин указал де Бальмену разбросать в Крыму густую разведывательную сеть, в которую вовлечь «татар неподозрительных», то есть, готовых доносить на соотечественников

(ук. соч. С. 253). Другими словами, Россия наводняла Крым своими агентами (или пыталась сделать это), рассматривая практически всех крымских татар как потенциального противника.

Тогда же, 5 августа 1783 г. Г.А. Потёмкин торжественно объявляет Екатерине: «Род татарский — тиран России некогда, а в недавних временах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич. Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской. Взойди на трофей, не обогранный кровию и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги» (цит. по: *Лопатин*, 1997. № 674). Реакция турок на крымские события была замедленной, если не нулевой. Да и в дальнейшем, как сообщал Потёмкину 1 октября 1783 г. российский посланник в Стамбуле Яков Булгаков, они «...о Крыме смотреть не будут, ежели не воспоследует какого нового обстоятельства со стороны Европы» (РА, 1905. Кн. 2. С. 349).

Впрочем, каких-то решительных перемен в западных «обстоятельствах» ждать не приходилось.

## 6. Реакция Европы

Эта трагедия многих десятков тысяч человек, как и предшествующие ей события, не была секретом для международного сообщества. Вряд ли его могли ввести в заблуждение и демонстративные, якобы дружественные крымскотатарскому народу, шаги агрессивной женщины на петербургском престоле<sup>1</sup>. Остаётся задать вопрос, как Европа реагировала на последние акции России?

Позиция европейских стран была частично подготовлена российской дипломатией в нужном ей направлении, хотя официальный Петербург и продолжал испытывать в этом смысле известные опасения. Но Екатерину ждал приятный сюрприз. Речь идёт прежде всего о Турции, от которой ожидалось объявление войны, как только аннексия Крыма станет свершившимся фактом — об этом говорит достаточное число источников (Бумаги Екатерины. С. 255, 263, 265, 266–267). Более того, в Петербурге уже обсуждался вопрос готовности Балтийского флота совершить переход к театру будущей войны в черноморском бассейне (Архив Воронцова, 1880. Кн. XXIV. С. 261–270). Но шли недели, потом месяцы.

<sup>1</sup> В своей переписке Екатерина не скрывала фальшивой изнанки таких акций. Так, по поводу издания по её указу Корана она шипично заметила, что пошла на это «не для введения магометанства, но для приманки на уду» новых подданных (цит. по: *Брикнер*, 1972. С. 42). В основном, западная пресса на такие откровенные политические финты не «ловила» и отражала крымские события довольно объективно. Пока известен лишь один случай, когда корреспондент английской газеты *Джентльменс Мэгазин* извратил действительность в совершенном соответствии с российской пропагандой, описав присягу в вечной верности императрице, принятую в Карасубазаре как акт, совершённый мурзами и беями «с охотой и радостным сердцем» ("with willing and gladsome hearts put themselves under the domination of her scepter for ever" — цит. по: *Milner*, 1855. С. 247). Хотя, как упоминалось выше, эта унижительная процедура носила сугубо принудительный характер.

а Стамбул никак не реагировал. Ненамного более активными оказались позиции и великих держав Европы: Франции, Англии, Австрии и Пруссии.

Каждое из перечисленных государств имело собственную причину к такой необъяснимой пассивности. Но была среди них одна общая: для этих держав собственные амбиции и сиюминутные интересы казались в тот момент настолько важными, что ради них стоило закрыть глаза на уже становившуюся реальной опасностью с Востока, грозившую европейской цивилизации. Конечно, аннексия Крыма никому из них не была по сердцу (как и менявшаяся силовая позиция России), но все великие державы, не сговариваясь, предприняли в этот период попытки обратить опасную перемену декораций на европейском театре каждая в свою пользу. Не ссорясь при этом, конечно же, со скорой на руку Екатериной. И если некоторые политики этих стран и заявили протест России, то эти выступления были вялыми и затеянными настолько явно для проформы, чтобы сохранить хорошую мину при эгоистической общей установке, что они не могли обмануть ни европейское сообщество, ни самого агрессора. И менее всего — Турцию, единственную державу, готовую тогда объективно защитить международную стабильность перед лицом столь беспардонного её нарушения. Но *никто, ни одно* европейское государство не предложило ей не то что военной, — даже дипломатической или экономической помощи, и Порты была вынуждена смириться с очевидной неизбежностью<sup>1</sup>.

Собственно, в европейской политической системе тех лет доминировало три основных политических фактора. Первым, пожалуй, наименее важным, был союзный российско-австрийский договор 1781 г., предусматривавший взаимную гарантию неприкосновенности территории подписавших документы сторон, а также сохранение статуса кво в Польше, недавно перенёсшей два первых раздела — между российским, австрийским и прусским хищниками.

Вторым фактором был давний, глубокий политический антагонизм между Австрией и Пруссией. Последнее государство крепло день ото дня и уже тогда проявляло великодержавные (пангерманистские) устремления. Австрийский император Иосиф II Леопольд не без оснований смертельно опасался короля Пруссии, знаменитого своим бесспорным воинским талантом Фридриха II Великого. Кроме того, ещё в 1764 г. был подписан прусско-российский договор на счёт оборонительного союза. Но, в отличие от вышеупомянутого союза 1781 г., договор с Фридрихом содержал и явно наступательные статьи. Таким образом, две сильнейшие германские страны взаимно не столько уравновешивали, сколько нейтрализовали и дипломатически обессиливали друг друга. Тем самым они обрекали себя на бездействие, гарантировавшее Екатерине полную свободу рук и безнаказанность в регионах Восточной Европы.

<sup>1</sup> В конце сентября 1783 г. Франция и Пруссия предприняли кое-какие робкие шаги, намекая остальной Европе, что неплохо бы организовать совместный отпор явной экспансии России. Но они оказались тщетными, хоть великие и малые державы континента были готовы оказать помощь Турции, если она возмутится нарушением баланса в Северном Причерноморье и объявит России очередную войну. Но султан Абдул-Хамид I отверг предлагавшееся ему диваном жёсткое решение крымской проблемы, как только до него дошли сведения о твёрдой решимости Иосифа II Леопольда Габсбурга поддерживать Россию в её черноморской политике (*Себаз-Монтефиоре*, 2003. С. 254).

Третий полюс внешнеполитической напряжённости Европы тех лет — ещё более традиционный англо-французский антагонизм. К тому же шла Война за американскую независимость (мир был подписан только осенью 1783 г.), снова и снова поднимавшая волны взаимной враждебности по обе стороны Ла-Манша, где воскресли распри предков, старые и совсем свежие обиды.

Именно такой постоянный, тлеющий и вновь вспыхивающий конфликт со старым противником и являлся для обеих враждующих пар (Англии — Франции и Австрии — Пруссии) той основной определяющей политической доминантой, о которой говорилось выше. Перед ней отступали на задний план даже те проблемы, что имели бесспорную и для всех очевидную тенденцию к разрастанию до общеевропейского (если не мирового, учитывая перспективный рост могущества российского агрессора) значения. Конкретно же такая позиция влияла на внешнеполитический курс упомянутых стран следующим образом.

В начале лета 1783 г. в Англии было принято решение о том, что если против России и её союзника Австрии выступит Турция вкупе с теми, кто её пожелает поддержать (в первую очередь имелась в виду Франция), то британцы будут сражаться на стороне Екатерины II. Резон здесь был в том, что неминуемый при таком повороте событий разрыв нормальных отношений между Австрией и Францией ослабит последнюю, а это уже было неплохо для англичан. И Англия, будучи крайне заинтересованной в сохранении традиционного господства Турции в Дарданеллах и на Босфоре, была даже готова на его ослабление, более того она пошла бы на раздел Турции. И всё ради одной навязчивой идеи, клонившейся к политической изоляции своего заклятого врага, соседней Франции.

В то же время Австрия, в общем-то честно соблюдавшая условия своего договора с Францией (ещё 1756 года), ощутила к концу 1783 г., что её французский союзник всё более откровенно пытается диктовать ей направление национального политического курса. Так, Версаль предложил Иосифу Леопольду разорвать все австро-русские отношения, если Россия захватит дунайские земли Турции с Очаковом включительно. Вена это проект отвергла, отказавшись заодно и от предложенной ей султаном поддержки в случае обострений с Петербургом. Последнее вполне объяснимо, так как именно в то время Леопольд вёл переговоры с Екатериной о грядущем разделе балканских владений Турции. Конечно, речь шла о шкуре неубитого медведя, но сам факт такого сговора показывает степень доверительности и даже близости его участников. Второй факт такого же рода: когда весной 1780 г. Екатерина открыла Леопольду свой план на «приобретение Крымского полуострова» (Записка, 1879. С. 385), это не встретило с австрийской стороны ни малейших возражений.

Французские дипломаты, имея в виду прежде всего интересы султана и недопущение Англии к проливам, пытались «добром» уговорить Екатерину отказаться от Крыма и Кубани. Когда же эти наивные уговоры кончились полным провалом, Людовик, для которого гораздо важнее была опасность давно назревавшего англо-русского сближения, даже стал оказывать дипломатическое давление на Турцию в пользу России. В это трудно поверить, но факт остаётся фактом: его посол в Стамбуле Ш.Г. Вержен всячески содействовал признанию султаном аннексии Крыма (*Бейдилли*, 2006. С. 52).

Что же касается, наконец, самих турок, то поняв, Крым им не вернуть, если уж на уселась Россия, они сосредоточили максимум внимания на Кавказе, где русские наступали на Османскую империю столь же неотвратимо, как и на балканском театре: вспомним, что в 1783 г. царь Картли-Кахетии Ираклий просил (и получил) протекторат России над своей страной. Собравшийся в октябре того же года султанский диван рассудил, что война на два фронта, в которой Россию с Грузией наверняка поддержит Австрия, нецелесообразна. Тут же выяснилось, что начавшаяся ещё год назад реформа турецкой армии идёт далеко не так, как должно, что она далека от завершения, а войско ещё слабее, чем до её начала. Тут же было зачитано упоминавшееся представление французского посла Вержена, а за ним выступил и представитель Леопольда, предупредивший, что если Турция вновь двинется на Россию, то Австрия ударит на турецкие Балканы.

После этого решение дивана было само собой разумеющимся: отвоение утраченного отложить до более благоприятного момента, а пока признать аннексию Крыма (*Fisher*, 1970. Р. 138). Такое признание было документально оформлено актом 28 декабря 1783 г. / 10 января 1874 г.

Прошло ещё несколько беспокойных лет, и положения этого акта, окончательно поставившего крест на независимости Крыма, вошли в русско-турецкий *Ясский трактат* вечно мира и дружбы 29 декабря 1791 г. (ратифицирован 29 января 1792 г.). В этом договоре отразились весьма немаловажные для обеих держав сюжеты (например, уступка Россией туркам Молдавии и Бессарабии), но проблема Крыма всё же сохранила свою первостепенную, уникальную важность: в тексте договора она была рассмотрена первой (ПСЗ, Т. XXXIII, № 17 008).

Один из младших современников Екатерины, говоря о Европе, обманутой Россией, даёт ещё одно объяснение поразительному равнодушию к преступным деяниям царицы: «Не было ничего, в чём поздняя Екатерина упражнялась бы столь усердно, как в засекречивании истинной истории её собственного народа и разорённого состояния её империи. Это стремление явствует из всей её переписки с Вольтером, из всех инструкций её послам, из явной лжи, публиковавшейся её наёмными писателями» (*Clarke*, 1810. Р. 434.). Обоснованно оправдать европейских политиков можно, конечно, лишь отчасти. Здесь всё верно, царица была на редкость лживой женщиной. Но это оправдание всё же недостаточно: не видит истины тот, кто не желает её видеть. В екатерининский период российской истории Европе было *выгоднее поверить* в августейшее враньё, чем встать на защиту тех же поляков или крымских татар.

Но платить приходится за всё, в том числе и за добровольно принятую страусиную позицию — вот чего не усвоили политики соседних с Россией стран. Раскаяние, впрочем, не заставило себя долго ждать. Прошло несколько лет, и Европа стала свидетельницей логического продолжения российской политики, вполне откровенно нацелившейся уже на Босфор и Дарданеллы.

Подводя итоги данному экскурсу в дипломатическую историю Крыма и остальной Европы, нужно признать, что Россия одержала победу и на этом фронте. Однако 1783 год не стал поражением для западных политиков, ведь Россия всегда поощряла тех, кто позорно капитулировал перед её дипломатией. Проиграли те, кто вообще не принимал участия в этой политической игре, а именно крымские татары.

## 7. На пепелище

Вся эта местность напоминает земной рай после изгнания Адама.

*Жильбер Ромм, путешественник*

О том, как выглядел полуостров после окончания его захвата, сохранилось не меньше свидетельств, чем о годах войны. Единственное объяснение этому: зрелище убитого Крыма было не менее впечатляющим и страшным, чем картины Крыма убиваемого.

## а) Экология оккупации

Прежде, чем обратиться к трагической теме искажения русскими завоевателями традиционного экологического комплекса Крыма, попытаемся понять логику действий агрессора, разрушавшего уже покорённую, ставшую его собственностью среду обитания. Очевидно, первопричину двух несхожих отношений, которые испытывала на себе природа полуострова до и после аннексии, не стоит объяснять. Хотя бы исходя из глубоко различных моделей поведения, свойственных двум обществам — крымскотатарскому и великорусскому. Впрочем, и поведенческие модели — всего лишь конечный, внешний «продукт» ментальных процессов, в том числе подсознательных. Поэтому здесь имеет смысл говорить о двух различных философиях жизни, двух системах ценностей, двух отношений к божественному дару — природе.

Россия XVIII в. при всей её отсталости от западного мира всё же относилась скорее к Европе, чем к Азии, имея с первой много общего, в частности, в понимании правовых приоритетов. То есть, как и в римском праве, этические императивы занимали в российской юридической системе подчинённое, по отношению к правовым, положение. Напротив, в мусульманском праве этика (религиозная мораль, сформулированная в шариате) обладает превосходством над гражданскими установлениями.

Грубо говоря, для европейца священо (или неприкосновенно) то, что объявлено таковым в сводах законов<sup>1</sup>. Но беда в том, что природа в России никогда священной не считалась — особенно в массовом сознании. Мусульманам же всегда было свойственно прямо противоположное отношение к природе — как к бесценному достоянию божественного происхождения. Она священна, как всё сотворённое Богом, а в мусульманском праве сохраняется примат божественных установлений по отношению к гражданским. Отчего, в частности, экология Крыма испытывала минимальное давление со стороны человека, век за веком пребывая, так сказать, в шалашем режиме. В конце же XVIII в. в отношении Человек — Природа здесь произошёл резкий перелом. Отныне человек властвующий стал относиться к природе не как к собственности Бога (хоть и представ-

<sup>1</sup> Смысл этой традиции, в соответствии с римским правом, таков: «Священную делается вещь только веледствие утверждения и признания со стороны римского народа, например, на основании закона, на этот случай изданного, или сенатским постановлением» (цит. по: *Садур*, 2000. С. 5).



Новый «герб» Крыма с православным крестом в центральном щите. От истории остались только верблюды, да и то вне герба. Коллекция издательства «Тезис»

ляющего людям её дары по Своему милосердию), к которой нужно относиться с трепетной бережливостью, но как к приобретенному имуществу, с которым можно поступать по собственному усмотрению.

Отсюда и берёт начало искажение экологии, которое в исламском мире справедливо рассматривается как нарушение *фитры*, то есть изначального соответствия истине, как нарушение гармонии между человеком как творением и Господом как Творцом всего сущего (*Садур*, 2000. С. 9). Таким образом, проблема экологии, проблема воспроизводственных возможностей оказывается тесно связанной с этическими нормами той или иной культуры. Можно согласиться с тем, что «главным исходным критерием типологизации форм нравственности является различие способностей эффективного противостояния новым [экологическим] катастрофам» (*Ахуезер*, 1999. С. 222).

В случае же со сменой культурных систем в Крыму очевиден вывод о том, что здесь рано или поздно следовало ждать экологических катастроф именно по той причине, что за регуляцию отношений Человек — Природа взялись носители культуры, которой присущ более низкий уровень нравственного отношения к природе, чем у прежней, традиционной, образовавшейся и развившейся именно здесь, в Крыму. И экологическая катастрофа разразилась практически сразу после аннексии. Точнее, открылся ряд больших и малых катастроф, ведущих природу полуострова к необратимым изменениям. Их пагубность и масштаб мы уже не в силах оценить, с трудом представляя, *каким* был Крым до его завоевания.

В конце XVIII в. на территории полуострова находился природный памятник мирового значения. Имеется в виду знаменитый Крымский лес, который современники описывали кратко, основательно полагая, что в таком контексте достаточно сильное впечатление производят не красоты стиля, а цифровые данные:

«Позади хребта (Главного. — В.В.) лежат поросшие лесом долины, которые тянутся приблизительно на 100 вёрст с востока на запад» (Ромм, 1941. С. 63).

При этом речь идёт не о какой-то стокилометровой лесополосе: форма этого леса была овальной, близкой к кругу, то есть он имел огромную площадь. Подчеркнём этот факт, так как именно он может прояснить постоянное почтительное удивление путешественников, видевших или слышавших об этом лесу. Дело в том, что Крымский лес был уникальным природным феноменом, являясь величайшим в Европе (не считая, конечно, массивов Скандинавского полуострова), последним из уцелевших древних лесов, на Западе давно уже сократившихся по площади<sup>1</sup> и поредевших.

Российские солдаты и казаки начали фактическую ликвидацию Крымского леса ещё до аннексии, в ходе военных действий. Уже в первые месяцы после вторжения «...надобный для землянок лес стали рубить без разбору. Тут погибли высокие раины (пирамидальные тополя. — В.В.) и развесистые тополя, крымские сады украшающие. Не пощажены огромные деревья ореховые, грушевые, яблонные и прочие... Как осину и березу, рубили они всё, что находилось поближе. Офицеры, разлакомившись иметь походные мебели из орехового дерева, много их истребили» (Мертваго, 1867. С. 178).

Да и не только обычные офицеры были замечены в этом варварстве. Екатерининские князья и графы, крупные и мелкие землевладельцы подавали в том пример подчинённым, продавая лес на вывоз<sup>2</sup>. Но это было попозже, а в 1770-х гг. дубравы и рощи губились без всякой пользы для кого бы то ни было. Одно лишь путешествие Екатерины прокатилось по Крыму как огненный смерч. И эта метафора — не преувеличение. Дело в том, что августейший караван продвигался и в вечерней темноте. Для того, чтобы её разогнать, Г.А. Потёмкин приказал на протяжении всего маршрута расставить не только вдоль дороги, но и на склонах близлежащих гор бочки с дёгтем, плоски со смолой и разложить костры из цельных стволов заранее срубленных и высушенных деревьев. В старательных подчинённых у князя недостатка никогда не было, поэтому «шествие» происходило ночью как бы днём. Другой вопрос, во что это обошлось природе Крыма? Есть и ответ: «Целые леса горели для освещения пути вечернею порою» (Ливанов, 1875. С. 17).

Но гораздо интенсивнее власти стали сводить лес ещё позже, уже в вовсе мирное время, когда начались целевые его заготовки, в том числе и на вывоз.

<sup>1</sup> Знаменитый Тевтобургский лес на северо-западе Германии был длиннее Крымского раза в полтора (148 км), но это была узкая, всего в 7–15 км шириной полоса, значительно уступавшая последнему в площади.

<sup>2</sup> Так, морской министр Н.С. Мордвинов (1754–1845) планомерно сводил дубравы, раскинувшиеся на дарованных ему холмах и горных склонах Байдарской долины, увеличивая своё богатство и этим малопочтенным путём (после того, как были вырублены вековые деревья, он указал рубить и подрост): дубовая древесина сбывалась агентам-заготовителям базировавшегося в Севастополе флота. Свидетелями этой повсеместной ликвидации древних лесов становились не только соотечественники чиновных порубщиков, но и иностранцы: «Мы видели по пути огромную массу стволов, готовых к отправке. Все они были очень тонкие и могли бы согнуться лишь для изготовления незначительных по размеру деталей судовых конструкций» (Kohl, 1841. С. 267).

«Дрова и лес здесь дороги. И если бы и то и другое не доставалось людьми непозволительным образом<sup>1</sup>, то в них был бы совершенный недостаток. Можжевательник, который рос прежде на Херсонесе, уже весь вырублен и должен быть вывозим для обжигания кораблей из местности, лежащей выше Инкермана...» (Паллас, 1793. С. 91).

Притом было бы ошибкой списывать этот тотальный лесоповал на военные (межвоенные, послевоенные и пр.) годы, когда человек бывает вынужден махнуть рукой на окружающую среду ради спасения своих близких. Двадцать лет прошло после захвата Крыма и *десять* — после Второй турецкой войны, а ценные лесные и садовые деревья всё так же безоглядно вырубались, и крымский судья просто-душно записывал: «Камин и печи у меня топились айвовыми, кизилловыми и грушевыми поленьями, и цена им не превосходила цены простых дров» (Сумароков, 1805. С. 7). Тогда же и о том же писал французский гость Крыма: «Здесь разоряют леса, брёвна идут на экспорт, в результате край обезжизняется» (Reuilly, 1806. P. 197). Понятно, что в результате не только горный лес, но и с античных времён окультуренная Байдарская долина была полностью вырублена: росшие там «превосходные дубы, служившие лучшим корабельным лесом, были вывозимы для надобностей Черноморского флота» (Паллас, 1793. С. 141). «В окрестностях Севастополя не осталось и следов бывшего леса» (Броневский, 1822. С. 16) — подобные свидетельства нового варварства можно приводить десятками.

Очевидно, понятно, что Крымский лес был уничтожен *исключительно русскими*. Крымцы не только никогда — ни раньше, ни позже — не были способны к этому нравственно. Но теперь их как бы нарочно изолировали от участков кощунственного надругательства над величайшим сокровищем полуострова: «Значительные леса покрывают все эти горы, но татарам под страхом ужаснейших наказаний воспрещено рубить в них себе топливо. Они жаловались на то, что зимой им придётся умереть от холода и что скоро они не будут знать, как строить свои хижины, которые все деревянные» (Людольф, 1892. С. 195). Та же картина наблюдалась в Восточном Крыму, близ Судака, где местные ремесленники издавна зарабатывали на хлеб, собирая арбы и мажары из местного делового леса. «Теперь это оказалось невозможным» — сразу же после аннексии «леса вдруг сделались запрещёнными» (Чеглок, 1910. Вып. II. С. 71).

Казна, полагавшая теперь себя собственницей всего сущего в Крыму, распорядилась бывшим достоянием коренного народа с удивительной щедростью. Близ Черкес-Кермена находится гора, издавна носившая «говорящее» название *Кок-агач* (Голубое дерево). Вероятно, голубоватой эта гора казалась издали по утрам от сплошь покрывавшего её высокого грабового леса. Значительная часть этой горы была подарена казной командующему флотом Маккензи, который тут же «на возвышенности горы... заложил скотный двор», естественно, не обращая внимания на то, что именно в этом лесу берут своё начало ручьи, в том числе и питавшие соседние сёла. Но это было только начало: «лес этот потом был куплен обратно казною для потребности флота; гора же до сих пор сохранила у русских название

<sup>1</sup> Очевидно, речь идёт не о браконьерстве — такой ответственности на новых территориях власти ещё не установили, а о прямом грабеже из топливных запасов татар-крестьян. — В.В.



Маккензиевой горы» (*Паллас*, 1793. С. 118). Таким образом свой нынешний лысый вид Макензиевы высоты приобрели ещё двести лет тому назад, когда Россией строился флот для первого морского набега в южном направлении.

Альма тогда была гораздо полноводней, современники отмечали, что в ней «год не проходит, чтобы кто-нибудь не утонул» (*Паллас*, 1793. С. 76). Но вырубка леса в речных верховьях не проходит бесследно, и вот мы уже встречаем горькое замечание: «бьёт эта речка, однако без особого шума, так как воды стало значительно меньше» (*Ромм*, 1941. С. 43). Были разрушены старинные чешме; так, даже в Шуме, «в местности, изобилующей водою», внимание учёного привлёк «один источник, вода которого, смешанная с землёю, стремится из ямы, похожей величиной на лисью нору» (*Паллас*, 1793. С. 175). С тех пор многие родники той местности утрачены, хотя и донныне в Шуме (Верхней) существует один, но довольно обильный источник, медленно истекающий из глубокой пещеры.

Абсолютно схожая история случилась и с Кефе. Ранее вокруг неё росли леса, причём настолько густые и влажные, что даже речка какая-то струилась, и сам «город кроме того ставился обилием фонтанов. С неразумным уничтожением деревьев источники усыхали, и наконец с окончательным истреблением русскими войсками лесов Феодосия очутилась совсем без пресной воды» (*Челюк*, 1910. Вып. II. С. 57).

Та же картина наблюдалась на Южном берегу. Между Туаком и Ускутом протекала раньше «большая речка Канака... которая осенью и вообще после дождей разливалась саженой на 30», то есть, на 65 м. После «освоения» склонов Караби «речка Канака с развалинами старой деревни совершенно исчезла по причине вырубленных вокруг нея и у ея истоков лесов». И далее публикатор Палласа сообщает, что все упомянутые учёным «леса между Алуштой и Судаком, — вовсе не существуют, — всё вырублено и истреблено; — и все эти обнажённые горы теперь очень печальны и без воды, за исключением немногих долин, заселённых татарами» (*Паллас*, 1793. С. 183).

«Говорят, что вокруг Инкермана было много ореховых деревьев, которые русские войска бесцельно уничтожили» (*Ромм*, 1941. С. 69–70). Та же судьба постигла противоположное побережье полуострова. «Окрестности Керчи, в древности покрытые лесами, теперь представляют голую степь, на которой вместо дерев возвышаются повсюду курганы» (*Сосногорова*, 1880. С. 344).

Не вся растительность гибла под топором флотских заготовительных команд. Бросались в глаза и результаты косвенного вмешательства пришельцев в крымскую жизнь: изгнанных или уничтоженных коренных хозяев садов и виноградников никак не могли заменить северные профаны. И вскоре от бывшего великолепия «остались одни следы: всевозможные червячки и гусеницы пожирают фрукты ещё до того, как они успевают созреть. Виноградники разводятся менее, чем в половинном размере против прежнего, да и тем угрожает филлоксеры. Нет теперь помину тех хлебов и трав, что были когда-то — нет, главным образом потому, что столь необходимые для орошения безводных крымских степей колодцы, с изумительным искусством копаные татарами, запущены, фонтаны засорены, речки повысохли и, не орошаемый искусственно, край буквально задыхается от безводья... В результате перед обитателями одной из плодороднейших областей мира, стоит продовольственный вопрос в не менее грозном виде, нежели перед

остальной Россией. Неведомо куда исчезла и животная жизнь: буйволы и верблюды встречаются крайне редко; лошадь измельчала и даже не напоминает прежних крымских коней, систематически облагораживаемых арабской и турецкой кровью; мелкие проворные волы, незаменимые в горных местностях, почти совсем выродились; овец и коз не осталось и третьей части. Вместо больших деревень, встречавшихся в прошлом столетии, сплошь да рядом можно найти лишь исторические памятники, свидетельствующие о процветавших здесь некогда селениях с благодеествовавшими обитателями» (*Гольденберг*, 1883. С. 68–69).

Виноделие явно пришло в упадок. Вина стали хуже по качеству уже через 2–3 десятка лет. Отчасти это объяснялось психическим надломом коренных жителей, бегством многих старых мастеров за рубеж, отчасти тем, что виноделием стали заниматься новые переселенцы — русские помещики и греческие батальонцы-отставники. Основной причиной ухудшения продукции были чрезмерные поливы, увеличивавшие массу, но не качество урожая и вина, из него получаемого. Это было заметно даже людям посторонним, которые понимали, что если бы так много не поливали виноградники в том же Судаке, «то можно было бы получить вино лучшей доброты. При делании его не разбирая сорта винограда, спелой, неспелой и гнилой, всё кладут под пресс и по сим причинам судакское вино, которого в урожайный год продаётся до 100 тыс. вёдер, водяно и скоро киснет». Это не смущает новых хозяев, которые «...два или три раза в продолжение лета, особенно перед собиранием винограда, наводняют виноградники до того, что оные в сие время уподобляются болотам» (*Броневский*, 1822. С. 120).

Другой современник более резко заметил по тому же поводу, что судакская «...обетованная земля... — в руках людей, которым весьма худо знакомо виноградно садоводство, а ещё менее делание вина. Вся цель их, кажется, в том только, чтобы как можно более надавить соку, не заботясь о том, выйдет ли из него хорошее или дурное вино. Для этого они непомерно поливают сады свои...» и так далее (*Муравьёв-Апостол*, 1823. С. 205). Третий свидетель точно называет виновных в этом насилии над древней крымской лозой: это русские помещики, которые «не следуя уставу других народов, чтобы плоду дать переспеть, несколько высохнуть...» заливают виноградники водой, а потом любого сорта виноград, «алый, красный, белый, пёстрый, тонкокорый, толстокорый, незрелый, перезрелый, всё идёт под одни тиски...» (*Сумароков*, 1805. С. 225).

Да и производить вина, несмотря на это «технологическое усовершенствование», стали меньше, это касалось даже Судацкой долины. Там бросался в глаза расположенный «на небольшой возвышенности каменный погреб с двумя входами, в 26 саженой длиной и 9 шириной (то есть около 67 м на 15 м. — *В.В.*)». Это был даже не погреб, а небольшой винный завод, так как на втором этаже его находилось «отделение для давки вина, со всеми для этого приспособлениями; в погреб легко помешалось до 600 бочек, то есть, несколько тысяч вёдер вина» (*Паллас*, 1793. С. 198). Через несколько лет после аннексии этот винзавод стал достоянием Н.С. Мордвинова (этот министр обладал не сильным, но систематическим умом, постепенно прибирая к рукам всё, что находилось в пределах досягаемости), после чего качество вина ухудшилось и здесь.

Впрочем, не хотелось бы рисовать эту картину перемен слишком мрачной. Конечно же, не вся природа была столь ранима и беззащитна, как крымский лес.

Пришельцы ещё не взялись по-настоящему ни за горы, ни за сельские колоды, ни за горные чешме, да и трава пока была по-прежнему высокой и густой, особенно в тех местах, куда не ступал сапог русского солдата. Например, в стратегически неосвоенной долине Альмы местность, как отмечали современники, по-прежнему «одна из самых приятных, все ручейки извиляются в тени итальянских тополей и всевозможных плодовых деревьев... Маленькие сакли по берегам этих рек окружены плодовыми деревьями и производят самое очаровательное впечатление среди необозримой равнины, покрытой самой прекрасной в мире травой. Нигде я не видел подобной травы, и её можно считать в числе благих даров, щедро дарованных природой этому интересному полуострову». В том же районе автору удалось застать «самых великолепных в мире быков и самых жирных в мире коров; коровы кормят небольшое количество ещё оставшихся здесь жителей и молоко их превосходно» (Людольф, 1892. С. 164, 197).

Но эти остатки былого великолепия живой природы лишь подчёркивали страшные приметы набравшего темпы экологического распада региона... Немецкий учёный «не встретил в степи знаменитых старинных пород овец Крыма, обычные жёлто-грязные овцы, даже мельче кубанских» (Koch, 1845. S. 29)

Имел место и вышеупомянутый психический кризис в среде крымскотатарских крестьян. Когда ломается всё, что веками выстраивалось предками, когда сознательно разрушается весь видимый внешний мир, то человек не может сохранить в былой целостности и мир внутренний. Безусловно, авторы, отмечавшие «леность» крымского татарина на фоне удивительной рукотворной картины Крыма — от садов до прекрасных пород скота, — были отчасти правы. Не вдаваясь в подробное исследование конкретных перемен в духовном мире крымскотатарского крестьянина, укажем, что через век с лишним буквально *то же самое* произошло в психике крымских немцев, как известно, столь же фанатично преданных земле, столь же великих тружеников, как коренной народ полуострова. И по той же причине бессмысленности труда, когда не дают ни работать, ни пользоваться плодами рук своих: «После окончательного установления советской власти в Крыму немецкая оппозиция не выражалась в какой-то особой антисоветской деятельности или выступлениях против установившейся власти, она проявлялась в длительной апатии к хозяйственным и политическим делам...» (Деннингхаус, 1999. С. 115)

#### б) Разрушенные города и сёла

Начиная этот параграф и предчувствуя основное направление будущей критики изложенных в нём сведений (типа: «древние города разрушались и при ханах, войны екатерининского периода лишь довершили этот процесс» и т. п.), привожу дельное замечание учёного, ближе нас знакомого с материалом. Когда в 1803 г. учреждали феодосийское градоначальство, в связи с чем была проведена общая инвентаризация города, то из составленной при этом официальной справки следовало, что «город сей из цветущего состояния, даже при турецком владении (курсив мой. — В.В.), ныне одним, так сказать, именем существует» (Ханацкий, 1867. С. 211).

Это более, чем прямой намёк на бесспорный факт: исторический Крым, сложившийся и процветавший в эпоху зависимости ханства от Османской империи,

был разрушен в ходе войн конца XVIII в. именно Россией. И этот вывод относится ко всему нижеследующему материалу<sup>1</sup>.

Английский путешественник кратко перечислил основные деяния русских в период аннексии полуострова: «Они разорили эту страну, рубили её деревья; разрушали дома; ниспровергали религиозные святыни коренного народа, в том числе и общественные здания такого рода; они уничтожили городские водопроводы; ограбили местных жителей; надругались над крымскотатарскими памятниками всенародного почитания; вынули из могил тела их предков; выбросили их реликвии на свалки; они кормили свиней из [каменных] татарских гробов; они уничтожили все памятники старины; разрушили склепы как мусульманских святых, так и язычников и развеяли их прах по ветру. *Auferre, rapere, trucidare, falsis nominibus, Imperium; atque ubi solitudinem faciunt Pacem appellant!*<sup>2</sup> И понятно, отчего бедные татары, после того, как у них однажды помёрзли сады, говорили: — Мы никогда не знали таких жестоких зим, это русские принесли мороз с собой» (Clarke, 1810. P. 472).

Другими словами, совершенно оголтелому разрушению подвергался не только природный, но и культурный ландшафт, то есть материальные исторические и культурные памятники Крыма. Здесь нужно обратить на главную черту этого варварства: оно не было каким-то культурным мародёрством, осуществлявшимся отдельными преступниками-браконьерами, умело пользовавшимися слабостями ещё не окрепшей властной системы. Напротив, именно властью и организовывали этот поход против чуждой культуры, хоть и отошедшей. Интеллигентный вроде бы человек, правитель Таврической области и статский советник В.В. Каховский «писал к контр-адмиралу Мекензию употребить всемерное старание к собиранию большого числа камней (то есть не к пилению камня в близлежащих каменоломнях, а к разборке древних памятников. — В.В.) и прочих запасов для построений нужных» (Паллас, 1793. С. 321). Это была команда к массовому (а в окрестностях Ахтиара — тотальному) разгрому памятников древней причерноморской культуры.

Начали с древнейших. На камень была разобрана какая-то крепость южной оконечности полуострова, построенная ещё колонистами античности «на случай нападения тавро-скифов» (ук. соч. С. 108). Потом пришла очередь более поздних городов и построек, в первую очередь Херсонеса Таврического. М. Броневский сообщает, что застал город во вполне сохранившемся за пролетевшие века виде: «...ещё и теперь возвышается высокая стена и башни многочисленные и большие, из тёсаных огромных камней... У самых стен видны водопроводы, которые за четыре мили посредством подобранных труб, высеченных из камня, проводили воду в город, — в них и теперь ещё есть вода очень чистая» (Броневский, 1867. С. 341–342). Причём за время, прошедшее до момента аннексии, постройки эти ни от кого не пострадали:

<sup>1</sup> В 1785 г. число не разрушенных (точнее — обитаемых) дворов в Акмесджите-Симферополе равнялось всего 235, в Бахчисарае (вместе с Чуфут-Кале) — 1412, в Ахтиаре-Севастополе — 118, Балаклаве — 119, в огромной Кефе таковых практически не осталось вообще, как и в Старом Крыму (РГАДА. Ф. 16. Д. 962. Ч. 2. Л. 192).

<sup>2</sup> Расхищают, разграбляют, разоряют империю, а когда [сами] ослабеют, взывают к миру! (искаж. лат., пер. Н.Б. Срединской).

«При занятии Крыма существовала ещё большая часть стен, построенных из прекрасных тёсаных камней, прекрасные городские ворота и значительная часть крепких башен, из которых одна стояла над самой бухтой и ещё при моём посещении... находилась в порядочном состоянии. Но постройка города Ахтияра (автор не привык ещё к новому топониму *Севастополь*. — *В.В.*) была причиною уничтожения этого древнего города. Прекрасные квадры были выкопаны даже из фундаментов затем, чтобы строить из них в Ахтияре дома; даже не было снято с древнего города ни одного рисунка, ни одного сносного плана» (*Паллас*, 1793, С. 106). «О руинах Херсонеса, из остатков которого выстроен Севастополь, можно сказать, что древность сего знаменитого города много потеряла из своего достоинства с тех пор, как начали приметным образом исчезать наружные знаки его существования», — стараясь быть сдержанным, признаёт более поздний автор (*Броневский*, 1822. С. 19–20).

Известно, что Инкерманские каменоломни, кстати, находящиеся буквально под боком у тогдашней «стройки века», Севастополя, использовались постоянно с глубокой древности до Нового времени включительно. Но русское войнство возобновило разработки не сразу. Тому была своя причина: «Здесь в окрестностях много камня для построек, и с тех пор как истощились тёсанные четырёхугольные камни крепости Корсуня [Херсонеса], из которых построены многие здания... начали пилить на квадраты мягкий известковый камень в Инкермане...» (*Паллас*, 1793. С. 91–92).

Но от Херсонеса хоть осталось кое-что. Соседний, более «молодой» (I–VI вв. н. э.) городской массив, чьи постройки и крепостные стены высились несколько восточнее, был по той же причине полностью стёрт с лица земли: «вообще восточнее прямой линии, идущей от Балаклавского залива прямо на север к Инкерману, не встречаешь ничего, что можно было бы принять за древнее жилище... можно заметить слабые следы стены и нескольких башен, частью четырёхугольных, частью круглых», которые ранее «разбирались на постройку домов, карантин и батарей. Туда же шли надписи (то есть плиты с древними текстами — *В.В.*)...» (ук. соч. С. 97).

И ещё одно, потрясающее свидетельство *промышленного* уничтожения античных памятников, чего не было, кажется, нигде и никогда (по крайней мере, в цивилизованном мире). На мраморах Херсонеса Таврического, используемых как сырьё, стал работать Севастопольский завод искусственных минеральных вод (*Иванов*, 1912. С. 166). В промышленных бараках этого российского «Освеншима культуры» античность обращалась в газ!

Но имело место и не столь умышленное, так сказать, бытовое разорение Крыма. Для армии, вступившей на полуостров, стало не хватать топлива, которое здесь, особенно вне степной части, всегда было в избытке. Однако для того, чтобы обогреться и приготовить пищу<sup>1</sup>, нужно было идти в лес или подниматься в горы или (в степи) и собирать кизяк, как это испокон века делали коренные жители. Занятие это было слишком хлопотным, отчего солдаты и офицерские денщики находили повсюду самый лёгкий выход: они разбирали опустевшие дома и жи-

<sup>1</sup> Напомним, что в ту пору не было полевых кухонь, солдаты периодически получали муку, крупу и прочее, из чего сами должны были готовить горячую пищу и печь хлеб.

дали деревянные конструкции на кострах или в печах. И даже при желании (а его, кажется, не было) самый зоркий плац-майор не мог бы за этим варварством уследить. «Иногда солдаты поджигали дом, после чего сбегались остальные, как для тушения, так и для разборки его на дрова. Иногда, когда полк стоял в одном месте достаточно долго и всё вокруг пустело, то солдаты отправлялись в другую часть города и принимались рушить строения там. Кто мог бы предотвратить такие дела в большом, пустом городе, где живут только солдаты?» (*King*, 1788. С. 249–250).

Как же сложилась обстановка в больших и малых городах Крыма после его аннексии?

Античный *Мирмекий* близ современной Керчи, величественные белокаменные и мраморные руины которого всё ещё возвышались на берегах Черного моря, постигла судьба древних городов Гераклеийского полуострова. «На развалинах его и из его развалин построены были здания [портового керченского] карантин» (*Сосногорова*, 1880. С. 343).

Разрушения в *Кефе*, и его обширных и многолюдных предместий начавшиеся ещё в 1771-м, а закончившиеся перед самой аннексией, крымский историк объясняет единственной, хотя вполне убедительной причиной: «Усердием не по разуму кн. Долгорукова» (*Чеглок*, 1910. Вып. II. С. 54). Но и неяркого разума князя хватило на то, чтобы разрушить город «так хорошо, что, несмотря на сильное желание населения полуострова восстановить Кефе, он представлял одни развалины, в которых никто не хотел жить. К этому ещё нужно прибавить, что наши войска уничтожили все сады, виноградники и леса на окрестных горах. Из древних памятников посчастливилось только древним генуэзским башням. Надо думать, что, что их стены привели в смущение крепкие лбы разрушителей...» (ук. соч. С. 55–56).

А вот записки о Кефе более почтенного возраста: «где слава её и великолепие? Повсюду разрушения, падения, бугры из остатков оснований; бедность с праздностию заменили богатства и промыслы; фонтаны ея не плещут, исчезла зелень деревьев, крепостные стены представляют обломанные частицы, сотня только лачужек расставлена посреди печальных руин и лёгкий ветерок, переносит оставшийся прах жилищ из одной кучи в другую, заравнивает и последние следы оных. Всё кажется под чёрным крепом, всё дышит ужасом и печалью...» (*Сумароков*, 1805. С. 76). Не столь блестящим слогом изложена, зато более конкретно информация другого русского автора, относящаяся к 1782 г.: «...ныне предместий сих [в Кефе], мечетей и церковей Греческих и Армянских видны только одне основания; городских стен, замков и башен одне только развалины, домов внутри города разве только третья часть осталась целая, или и та может быть уже вновь из развалин складенная (совершенно верная догадка. — *В.В.*). Прежде сего в Кефе считалось более 4000 домов, множество мечетей и церковей Христовых, как в городе, так и в предместьях, но в последнюю войну число их весьма ограничено...» (*Зув*, 1783. С. 137–138).

И ещё одно замечание, тоже русского путешественника, увидевшего на месте прекрасного города «несколько бедных жилищ»: «Судите о богатстве Кефских развалин по тому только, что мрамор, сапфир и яса [яшма] сияют ещё в комнатах нынешних жителей, что каждый день солдаты похищают кипарис и пальму из оставшихся зданий, чтобы из них разводили огонь в казармах... Кефа есть живой образ опустошений времени и ужасов войны» (*Измайлов*, 1805. С. 71).

Несколько позже жизнь в городе стала возрождаться, но как! Пригодными для жилья остались лишь некоторые здания в центральном квартале. Туда стали заселять «греков, которых Россия в последнюю войну вывезла с Архипелага» (*Baert-Ducholant*, 1798, S. 48—49). «В городе [Кефе] прежде было несколько замечательных зданий, из которых и посейчас сохранились две большие мечети и нарядно разукрашенная мрамором баня. Но русские, искусные в разрушении, разрушили и это великолепное здание и насаждают кабаки. Так как капитальные стены и своды ещё остались, то для охраны их поставили часового. Так, город этот, самый большой в Крыму, самый торговый на Востоке, теперь один из самых бедных городов в России» (цит. по: *Ромм*, 1941. С. 48). Некоторое время спустя кефинская огромная мечеть «превратилась в храм... Крест водрузили на минарете, а в отверстии, из которого кричал мулла, виден висящий колокол» (*Муравьёв-Апостол*, 1823. С. 255).

Мало кого могло удивить, что «в Ак-Мечети и Кефе по своеволию и нерадению водопроводы разрушены» (Паллас, 1793, С. 80; подроб. см. в: *Евсеев*, 2004. С. 101); это было скорее правилом той эпохи освоения Крыма, чем исключением. В первом из названных городов было разобрано его самое красивое и величественное здание — дворец калги. На освободившемся месте завоеватели выстроили... пивоварню (*Сумароков*, 1803. С. 114). Теперь именно это заведение, а не окрестные жители, потребляло воду знаменитого в ханские времена источника — перемена весьма символичная. Впрочем, этих «окрестных жителей» осталось немного, так как и к 1840-м гг. не только городские улицы, но и знаменитые цветущие форштадты Кефе, кормившие своими огородами и садами обширный город, так и не возродились (*Raguza*, 1837. S. 355).

Судьба Акмесджита сложилась неординарно и в отношении его тысячелетнего исторического прошлого. Оно было завоевателями решительно перечёркнуто, причём инициатива шла, судя по всему, из имперской столицы. Екатерина, одержимая агрессивными планами, уже готовясь к походу на Турцию и Грецию, загодя давала крымскотатарским городам греческие же наименования<sup>1</sup>. А по-

<sup>1</sup> Частью начавшейся культурной агрессии было и первое (но далеко не последнее) переименование городов Крыма и самого полуострова, предпринятое российской империей. О том, с какой целью это делалось, лучше всего может сказать племянник Потёмкина, ведь светлейший князь и был одним из инициаторов уничтожения древних крымских топонимов: «Но чтоб более поразить умы... чтоб отрясть и истребить воспоминания о варварах... в покорённом полуострове возобновлены древние именованья: Крым наречён Тавридою... [и т. д.]. Словом, новый свет просиял в древнем Понтийском царстве под руководством завоевателя Тавриды и беспрепятственно первый шаг сделан к очищению Европы от Магометан и к покорению Стамбула» (*Самойлов*, 1861. Стлб. 1015). В этом отрывке во всей красе выступает чисто русский географический нигилизм: единственное из «древних именованья», топоним Евпатория, наложился на Гёзлёв-Керкинитулу, а не был возобновлён на старом месте селения (гораздо севернее, на берегу Тарханкутского полуострова). Что же касается таких псевдоантичных, но «изящных» названий, как Симферополь, Левкополь (совр. Ст. Крым), Севастополь, то они просто высосаны из пальца. Даже гидронимы были стёрты с карт, что в общем, совершенно не принято в мировой морской практике и картографии. Так, Къарталы-къош («Орлиный залив»), на берегах которого располагался Ахтиар, приобрёл безличное, совершенно условное наименование «Северная бухта» и т. д.

скольку в ходе аннексии эти города были полуразрушены, то достаточно было выстроить несколько десятков зданий в российском губернском вкусе, и можно было начинать отсчитывать годы и десятилетия со дня основания такой жертвы культурного мародёрства. Нехитрая эта операция была проведена над Кефе, Гёзлёвом, Акмесджитом и Ахтиаром.

С двумя последними она удалась — Ахтиар был невелик, а Акмесджит располагался в глубине полуострова и поэтому, при всей своей культурной и политической значимости, они были мало известны купцам, мореплавателям и, следовательно, географам зарубежных стран. Зато два первых города обладали такой славой на просторах всего Средиземноморья и, шире, всей Европы, что даже переименованные они сохранили свою двухтысячелетнюю историю. Ну, а в Акмесджите-Симферополе потомки долгоруковских солдат и более поздних пришельцев до сих пор тупо отмечают городское «200-летие», «210-летие» и так далее, хотя Керменчик — Неаполь-Скифский — Акмесджит был цветущим городом ещё до нашей эры, когда не только Москвы, но и Новгорода с Псковом не существовало, да и на киевских холмах проще было встретить медведя, чем человека...

Что ж, каждому воздаётся по вере его. То есть в соответствии с тем, во что хочется верить. Поэтому нет ничего удивительного, что и авторы современных научных, академических изданий России относят Симферополь, наряду с Севастополем, к числу не «преображённых» (так обозначают Керчь, Кефе, Гёзлёв), а новых, то есть русскими «образованных» в XVIII веке городов (*Волубуев*, 1999. С. 89).

Ну, а если вернуться к первым результатам аннексии в Акмесджите, то стоит отметить следующее: Дворец калги (на месте современной гостиницы «Москва») был разрушен, прекрасный сад тут же вырублен русскими солдатами. Но были некоторые дворцовые постройки, до которых руки разрушителей дотянулись не сразу. Так, ещё в 1838 г. рядом с руинами главного здания дворцового комплекса возвышались стены уцелевших павильонов, служб и пристроек. Они позволяли воссоздать былой облик всего дворца. Он был, как и Хан-сарай, «нерегулярным», то есть в плане выглядел как воплощение причудливо-капризной воли не одного поколения архитекторов. Среди развалин попадались фрагменты панелей и потолочных розеток из ценных пород дерева, покрытые изящной резьбой. Ещё белели в грудах битого кирпича мраморные плиты и арабески садовых чешме и фонтанов, можно было различить каналы, соединявшие пруды, где раньше устраивались лодочные катания (*Seymour*, 1855. P. 35—36). Знаменитый своей мощью и чистой воды источник, ранее поивший весь Керменчик, после аннексии превращённый в городской фонтан, в 1830-х был уже закрыт: как упоминалось, его присвоил Вайсборд, владелец частного пивзавода, поднявшегося на месте дворца калги. Ещё позже владельцы пивоварни и нового водочного завода полностью заключили старинный родник в трубу (*Лашков*, 1890 «а». С. 43).

Сохранилась и та часть старого города, что расположена между нынешними ул. Кирова (быв. Салгириной) и Петровской балкой. Остальная, гораздо большая часть Акмесджита лежала, насколько хватало глаз, в руинах. «Дикость и буйное варварство русских (the savage and wanton barbarity) во всём размахе проявились здесь, в пределах городской черты, где смогла получить своё удовлетворение их основная страсть, страсть к разрушению... Целые части города полностью разрушены, от дворца не осталось камня на камне, так что без проводника не найдёшь

и места, где он стоял. От города не сохранилось и трети его» (Clarke, 1810. P. 466). Именно на этой огромной площади, то есть на 2/3 площади Акмесджита, покрытых руинами, и стали строить новый город. Более того, камня развалин (якобы «мелкой деревушки») оказалось столько, что и в 1820-х гг. Симферополь по-прежнему строили из него (Lyll, 1825. P. 241). Когда-то город гордился великолепной тополевой аллеей вдоль Салгира, теперь «русские всё загроузили, в том числе и деревья срубили, остались только кусты» (Clarke, 1810. P. 457–458).

В Гёзлёве, как упоминалось выше, большая часть гражданских построек и мечетей сохранилась, и даже сгоревшие здания (каменные стены) было не трудно отремонтировать. С течением времени восстановление жилых кварталов и официальных зданий было проведено. Лишь два крупнейших памятника оказались обречёнными: цитадель и двойное кольцо крепостных стен. Современник отметил, что они, в целом, сохранились, даже башни практически не пострадали, что объяснялось их величиной и массивностью (Becattini, 1783. P. 3). Но, видимо, империи не нужна была крепость, дублировавшая перспективную военно-морскую базу Севастополь. Поэтому гёзлёвские крепостные стены даже не стали ремонтировать<sup>1</sup>. Населению было не просто позволено, а рекомендовано разбирать их на камень (Указ от 13. 02. 1798, § 3; в: ПСЗ. Т. XXIII, № 18 373), и через несколько десятилетий от стен и башен следа не осталось, да и не только от стен и башен — были снесены многие мелкие мечети.

Гёзлёв, который до аннексии, как уверяет голландский автор, можно было сравнить с Роттердамом, настолько он был «красив и богат, теперь обезлюжен и всё продолжает разваливаться. Руины общественных зданий, мечетей, бань, водопроводов и так далее наглядно свидетельствуют о том, каким он был раньше» (Woensel, 1790. Bl. 275).

Пятый из древнейших городов, Керчь, впервые за две с лишним тысячи лет остался без воды, хотя для того, чтобы разрушить водопровод, пришлось приложить немало усилий, — это не мечеть поджечь! И, конечно, никто не торопился разрушенное восстанавливать ни тогда, ни даже через век: «...чего нет в Керчи, так это хорошей воды для питья. Древние водопроводы, снабжавшие город водой, были разрушены во время взятия нами Крыма, и до сих пор не восстановлены» (Сосногорова, 1880. С. 338; см. также: Горчакова, 1884. С. 190).

Легко понять, что новые властители, пришедшие сюда в качестве носителей более высокой культуры, за более чем сто лет не смогли подняться и до уровня прежней, явно довольствуясь, к примеру, водой, которую крымский татарин в рот бы не взял... Что же касается первых десятилетий, то, по воспоминаниям путешественников, город скатился до «крайней жалкости (wretchedness) и незначительности. Русские, как утверждают его обитатели, разрушили не менее 5000 зданий» (Clarke, 1810. P. 423). Но разорение города, в том числе и величественных остатков древнего Пантикапея, иностранцы наблюдали и через много

<sup>1</sup> Потёмкин, составивший смету для возведения Севастопольского порта и ряда зданий на общую сумму более 4 600 000 руб, на модернизацию Гёзлёвской цитадели и крепости не просил ни рубля, заметив, что здесь нужно «обновить только старый замок с небольшим наружным укреплением» крепостных стен (Исторический Архив, 1997. № 2. С. 204).



Мечеть в гёзлёвском посаде. Макет из Одун-базар-капусы.  
Фото Леньяры Абибулаевой

лет после завоевания Крыма: в 1841 г. оно активно продолжалось: разрушалось всё, что мешало строительству новых зданий (Hommaire, 1847. P. 401).

Причём здесь были уничтожены почти все мечети. А самые старые — почему-то в первую очередь. Российский учёный, посетивший Керчь в XX в., не смог обнаружить ни одного уцелевшего храма. Что и стало причиной его заблуждения, когда он писал: «Город, всемирно прославленный своими памятниками греческого, римского и раннехристианского времени, в мусульманский период не имел более того же значения и потому не располагает выдающимися мусульманскими постройками» (Бартольд, 1965. Т. III. С. 459). И это писал не случайный путешественник, которого оставила равнодушным картина провинциального городишки, где нет ничего примечательного. Это выводы классного историка, специалиста по Востоку, действительного члена Академии наук СССР, который тем не менее был незнаком с простым фактом: именно Керчь была некогда украшена тридцатью прекрасными мечетями, являясь к тому же самой мощной крепостью Крыма, которую ни Миних, ни Ласси даже не пытались штурмовать в 1730-х гг.

О Бахчисарае, его судьбе, поведаем коротко, словами современника: «до разорения здесь было 9000 душ, треть города разрушена, татары или убиты, или выехали [в эмиграцию]... Единственный, кто остался — бывший каймакан... но и он собирается в Мекку, не думая более возвращаться» (Baert, 1798. S. 46–47). Добавим, что город оставался в разрушенном состоянии не одно десятилетие. Путешественник 1812 г. меланхолично отмечает: «Бахчисарай всё ещё наполовину в руинах» (Kosmeli, 1813. S. 48).

Особо стоит упомянуть о неподалеку расположенном альминском Летнем дворце ханов. Над входом в главное здание этого великолепного комплекса был помещён тарих, гласивший:

«Храни [Аллах] мои своды и стены  
 Так как если их разрушат, падут и Татары.  
 Но знай, что уже предопределённый роковой пожар  
 Может вспыхнуть лишь от руки иноземца.  
 Ужасный удар ослепительной молнии  
 Не может разрушить моих минаретов и башен,  
 И пусть даже трясущаяся земля разверзнется —  
 Меня не волнует самый убийственный гнев Природы.  
 Огонь, огонь! — Вот судьба моя и Татар,  
 Огонь, огонь! — Вот гибель моя и Татар»

(Цит. по: *Milner*, 1855. P. 249).

Неудивительно воздействие этого мрачного пророчества на крымских татар. На протяжении всех лет, что дворец высился на берегу Альмы, приведённый тарих питал народное поверье насчёт того, что гибель Летнего дворца в огне означает и падение всего ханства вместе с народом. Так, собственно, и произошло, ведь он был *подожжён иноземцами* в роковом для истории государства 1783 году...

Через некоторое время после начала пожара раздался страшный взрыв — скорее всего, во дворце хранились большие запасы пороха. В результате стены и башни были разрушены столь основательно, что ни о каком восстановлении комплекса не могло быть и речи. Уже через полвека руины были разобраны на строительный камень, так что и само местоположение бывшего дворца путешественники не могли обнаружить без помощи местных жителей (*Milner*, 1855. P. 250). Немногом больше осталось и от другого пригорода бывшей столицы, Эски-Юрта. Побывавший через несколько лет на месте этого древнего города мёртвых русский путешественник не мог удержаться от гневного восклицания: «Но какая варварская рука разрушила прекрасные мавзолеи? Какое было зверское сердце у тех, которые не пощадили ни живых, ни мёртвых! Какая адская ярость могла вооружить руку человеческую против мирного праха!» (*Измайлов*, 1805. С. 5).

В **Карасубазаре**, одном из крупнейших городов ханства, были сожжены или разобраны на дрова деревянные постройки на большей части его территории. Осталось лишь небольшое количество каменных зданий в центральных кварталах. Но, жители города, вернувшись из лесов, где они скрывались во время военных действий, самоотверженно принялись за его восстановление. Им удалось невероятное — город буквально восстал из пепла. Другое дело, что в 1920-х гг., уже после окончания Гражданской войны, он был снова разрушен, теперь уже окончательно и бесповоротно. Таким образом современный Белогорск является почти стопроцентным новостроем — за исключением десятка старинных жилых домов, да нескольких мечетей или их руин, которые ещё поддаются реставрации. Не менее зверски были разорены древние мавзолеи-дюрбе в его пригородах и памятники обширных кладбищ.

**Старый Крым** был разрушен *полностью*. Уже упоминавшегося русского путешественника и здесь охватили печальные мысли: «Сия древняя столица Крыма... процветала, торговала, дышала роскошью, блистала Азиатическим великолепием, чтобы наконец угаснуть на земле под рукою победителя скорее лучей вечер-

него света и явиться в покрове траура среди печальных развалин» (*Измайлов*, 1805, 102–103).

Действительно, ещё недавно цветущий город преобразился до неузнаваемости. «От него не осталось ничего, кроме руин» (*Jones*, 1827. P. 224). «Ещё и сейчас виден вал, обозначающий его границы; его считают примерно версты в 4 длиной; это огромное пространство в настоящее время представляет собой развалины. Несколько татарских семей ещё живут тут, им дают паспорта (то есть разрешение на эмиграцию. — *В.В.*)» (*Ромм*, 1941. С. 47). «Разваленные на полях церквей и домов стены напоминают, что они некогда в самом городе стояли, и первый вид его представляет то же разрушение и те же самые следы превратности, какие находят и в Кафе. Церквей, мечетей, крепости, бань и фонтанов одни видны только груды; повсюду пустыри, везде томность и признаки прежнего во славе его положения. Стоящие посреди наваленных камней и кирпичей абрикосовые, шелковичные, грецкого ореха, грушевые и дулевые удивительной толстоты и вышины деревья ожидают своего падения и нередко подсекаемы бывают на поделки стульев и столов... Теперь в Старом Крыму считают только до 70 домов, или, лучше сказать, лачужек» (*Сумароков*, 1800. С. 78).

Уцелевшие после погрома деревья поразили и другого гостя мёртвого города: «В Старом Крыму из сплошных руин к небу тянутся прекрасные кусты и деревья... ещё сохранился старинный мост, напоминающий этрусское сооружение у валов Кротоны... Видна разрушенная баня, прекрасное здание, расписанное темперой в античной технике стукко. Это — та же техника, что сохранилась в Байе близ Неаполя, во дворце Венеры и Дианы, в Крыму этот памятник скорее всего происходит от термов периода римского владычества» (*Clarke*, 1810. P. 454). Даже такого краткого описания не осталось от другого памятника Старого Крыма — громадного текие Кемаль-ата, расположенного на холме у бывших Феодосийских ворот города: развалины этого комплекса ещё можно было отыскать до 1880-х гг., затем сровняли с землёй и их (*Колли*, 1903. С. 11).

Причина исчезновения чудом уцелевших средневековых домов и мечетей, стен и целых фрагментов зданий, которые вполне можно было восстановить, особая. По мысли Екатерины, этот город, переименованный ею в Левкополь, должен был полностью изменить свой облик, превратившись в центр шелкоткацкой промышленности, обретя при этом европейский вид. И, едва закончились военные действия, как началась лихорадочная перепланировка не то, что отдельных кварталов, предназначенных для шелкоткацких мануфактур, но *всего города!* Живописную вязь средневековых улочек, переулков и площадей, каждая из которых имела свою уникальную форму, должны были сменить строго прямоугольные кварталы стандартной длины и ширины. При этом «для построения нового города по типичному казённо-бездарному образцу были использованы старые здания и сооружения, варварски разрушаемые... Новый „Старый Крым“ в буквальном смысле слова возник на костях прежнего Старого Крыма. Древности старой крымской столицы покоятся под наслоившимся над ними заштатным убогим городом» (*Бороздин*, 1926. С. 9).

Бездарный проект царицы столь же бездарно и завершился. Нового промышленного Лиона на крымской земле не вышло, стёрлось из человеческой памяти и искусственное имя «Левкополь». То есть старинный город был принесён

в жертву воспалённому сознанию императрицы совершенно напрасно, как и множество других культурных и исторических памятников полуострова. Ещё через несколько десятков лет посетивший город российский историк нашёл лишь кое-где остатки фундаментов крепостных стен и башен, мощные квадры которых было нелегко извлечь из земли: «Равным образом не осталось ничего и от внешних ственных сооружений; всё разрушено, вывезено в город и употреблено частью для постройки новых домов, частью сложено в виде оград около домов. Такого беспощадного истребления древностей, как в Ст. Крыму, нигде ещё, кажется, не было видано» (Смирнов, 1887 «а». С. 278).

**Кефе-Феодосия**, записал современник, «представляет собою лишь груду камней... в настоящее время здесь существует лишь несколько человек поселившихся армян» (Людольф, 1892. С. 197). И через полтора десятка лет в этом городе оставались «одни только пустыни, кучи камней, разрушенные мечети, бани, засыпанные фонтаны, торчащие частицы крепостных стен, башен... Она (Феодосия. — В.В.) украшалась садами, а теперь даже ни единого сгнившего корня не заметно» (Сумароков, 1805. С. 76, 88). Картина не изменилась и в начале XIX в. «Город представляет собой сплошные руины», — записал французский путешественник (Chevallier, 1803. S. 112).

Прошёл ещё десяток лет, но городской ландшафт оставался практически тем же: «В некогда великолепной Кефе всё население ныне составляет 50 семей. Все старинные фонтаны в городе были разбиты, а северная часть города, где ранее жили татары, ныне необитаема... Сохранились развалины какого-то огромного здания круглой формы вроде итальянских терм. Всё, что осталось от города — так это... несколько кофеен в татарской разрушенной его части, недостроенный дворец последнего хана и какое-то величественное каменное здание... с мавританскими фресками. Армяне, которые сюда заселяются, считают необходимым уничтожать эти языческие орнаменты... На пути от Феодосии до Керчи все мечети в придорожных сёлах были разрушены. Вся дорога от Кефе до Ахтиара была явно построена на высочайшем культурном уровне, сейчас она совершенно заброшена, запущена (entirely neglected)» (Clarke, 1810. P. 437, 445, 447).

Упомянутое путешественником круглое здание — знаменитая огромная баня Татлы-хамам, упоминавшаяся в предыдущей главе. Её стены и часть куполов оказались настолько мощной кладки, что стояли практически невредимыми даже после попытки их разрушить ещё полвека, причём без каких-либо охранных или реставрационных работ. И лишь в начале 1830-х гг. они были с огромным трудом разбиты и разобраны усердием тогдашнего гражданского губернатора А.И. Казначеева (Колли, 1903. С. 13). «За две недели ручные кирки и порох уничтожили оба великолепных памятника, которыми генуэзцы и турки украсили этот город», говорит английский гость и продолжает: «Когда снова посетил Феодосию в 1840 г., главная площадь была по-прежнему завалена их благородными обломками, которые местная администрация предлагала купить за дешёво, в случае, если бы они кому-нибудь пригодились... Её лучшие сооружения разрушены, валы срыты, её татарское население изгнано, а безлюдье сменило её прежнюю кипучую жизнь — такое впечатление оставляла общая панорама этого города...» (Hommaire, 1847. P. 397–398).

Судьба окрестностей Кефе не могла быть иной: «они являли собой ту же картину разрушения. Все цветущие поля и сады, окружавшие этот город в татарские времена, были разорены. Два полка московитов всего за одну зиму стёрли (annihilated) все следы пышной растительности, покрывавшей эти холмы» (Там же). Действительно, более точного термина для обозначения того дикого деяния, чем «аннигиляция», найти трудно.

**Судак**, казалось бы, пострадал меньше: «Вскоре после присоединения Крыма, именно в 1800 г. приказано было строить казармы в Судаке; для этого и приступили к разрушению крепостных построек, с целью употребить камни от них на постройку казарм. Но генуэзский город и крепость оказались слишком велики, и разрушены были только некоторые крепостные здания» (Сосногорова, 1880. С. 317). На самом деле, были разрушены не «некоторые» а все здания (если не считать крепостной мечети), которыми было плотно застроено всё огромное пространство внутри стен местной цитадели. Далее, практически ничего, как и в Старом Крыму, не сохранилось от зданий старинного города, расположенного близ крепости, да и та уцелела чудом — по полной неспособности пришедших вандалов разобрать её:

«Имперский орел царизма распротер свои крылья над башнями Солдайи в 1781 г., и с этого времени (то есть ещё до официального присоединения Крыма к России. — В.В.) началось быстрое разрушение памятников генуэзской колонии, что повсюду характерно для русских завоеваний. Все прекрасные общественные и частные здания, которыми так восхищался Паллас во время своего первого путешествия, были снесены, а из их драгоценных обломков московский вандализм воздвиг огромные никчёмные бараки, чьи дикие руины на много лет покрыли эту землю» (Hommaire, 1847. P. 392).

**Эски-Юрт** лишился почти всех своих старинных дюрбе: «Нынешняя страсть к разрушению много повредила и этим прекрасным памятникам, некоторые из них лежат совсем в развалинах. Самое красивое из всех этих куполообразных надгробий было украшено по окнам, дверям и карнизам белым, с серыми прожилками мрамором; из всех этих украшений остались теперь только одни следы» (Паллас, 1793. С. 83).

**В Отузской долине** в самом деле, как говорит её название (отуз — крымско-тат. тридцать), имелось около трёх десятков селений, следы которых можно было разыскать и через сто лет после аннексии. Там же долго ещё виднелись и более величественные остатки разрушенных при этом сооружений: у берега, там где ныне находится д. Курортное, были видны «ещё в 1840-х гг. крепостные стены по правую сторону речки [Отуз]. На холме над морем стояли развалины крепости, от которой можно было проследить следы стены, шедшей вверх по долине, местами стены прерывались, местами возобновлялись до противоположных морю двух крепостей, находившихся на утёсах за деревней» (Сосногорова, 1880. С. 300).

Естественно, никакого исключения не делалось и для более молодых памятников. Построенный Крым-Гиреем загородный дворец **Ашлама** во время боевых действий пострадал, но будучи совсем ещё новым, мог быть с лёгкостью отремонтирован. Об этом говорит тот факт, что в нём жили чиновники Шагин-Гирея, в том числе начальник его артиллерии, англичанин Робинсон (Baert, 1798. S. 47). Собственно, Г.А. Потёмкиным и было уже отдано распоряжение подготовить



Один из первых фотоснимков Балаклавы (середина XIX в.). Дома, скорее всего, уже греческой постройки, так как окна обращены не только во внутренний двор. Из собрания: Fenton, 2001

ремонтную смету. Этим вплотную занимался князь П.М. Дашков, специально с этой целью командированный в Крым (ор. cit. 1798. S. 46). Но вот Екатерина решила отправиться в своё знаменитое путешествие, что требовало возведения для неё цепи путевых дворцов. Для постройки такого здания в Акмечети и был пожертвован неповторимый в своей красоте Ашлама-сарай: барон Иголстром получил указание «употребить для сего построения всё что можно из Ашламы» (Письма, 1881. С. 302). Символическое содержание этого акта бросается в глаза: наследие последнего из великих ханов Крыма, великолепное произведение крымской архитектуры теперь рушилось ради того, чтобы доставить удовольствие по-мещански жадной немке на российском престоле...

Сравнительно небольшая Балаклава — «разрушенный до основания город, в котором от прежнего его существования ни дома, ни обывателя не осталось» (Сумароков, 1800. С. 111). Лишь через несколько десятилетий новые хозяева Ахтиара-Севастополя приступили к восстановлению этого старинного городка на берегах знаменитой Балаклавской бухты. При этом, по замечанию французского путешественника, основным населением его уже тогда были не крымцы, а недавно переселившиеся в Крым «греки-авантюристы» (Chevallier, 1803. S. 114).

Город Ор-капы, в отличие от Балаклавы, отстроен после военных разрушений так и не был. Академик П.С. Паллас застал здесь в 1793 г. буквально пустое место, даже камни от разрушенных домов были убраны. Правда, крепость в виде прирватного укрепления частично сохранилась, но сам город «переместился на новое место, тремя верстами южнее, к Армянскому Базару» (Pallas, 1801. Bd. II. S. 7).

Кратким словом обрисовал всю эту грустную картину захваченного и разорённого Крыма русский путешественник: «последние крымские замешательства довели его до того, что он потерял от своих жителей и селений более двух третей

(курсив мой. — В.В.), и ныне куда ни поедешь, везде встречаются одни только развалины бывших слобод и пустыри бывших деревень. ...Городов у них немного [осталось], наипаче если сравнить с бывшим у них прежде сего в полуострове многолюдством» (Зуев, 1783. С. 131, 134).

#### в) Коренной народ в период аннексии

Жители больших и малых крымских селений гибли в процессе аннексии массами. Рассказы о том, каким испытаниям они подвергались во время войны и в последовавшее мирное время, передавались из уст в уста несколько десятилетий. Кое-что из этих описаний достигло и иностранных путешественников. Итальянец Бекаттини, прибывший на полуостров в год аннексии, практически бывший её свидетелем и не имевший возможности перечислить все виды насилия и унижений, которым подверглись крымские жители, делает вывод, что после прихода русских они стали несчастнейшими (miserabilissime) из детей человеческих (Becattini, 1783. P. 4).

Ему вторил английский путешественник: «Если бы я детально поведал хотя бы о половине тех кровавых насилий, ссылок, грабежей и варварства, проявленных русскими по отношению к попавшим в их руки жителям Крыма, то... моему рассказу невозможно было бы поверить» (Clarke, 1810. P. 467). Русские могли убить муэдзина на минарете просто так, чтобы он не беспокоил возгласением азана проезжавшую мимо императрицу (см. ниже), что тогда говорить о простых людях... Для Г.А. Потёмкина «было безразлично, какие законы при выполнении его приказов будут нарушены, какие убийства совершены, какие моральные правила растоптаны. Его главными помощниками и фаворитами были мошенники, авантюристы, подлещи, паразиты: беспринципные люди, обладавшие способностью снискивать его покровительство» (Ibidem).

Те, кто пережил эти месяцы и годы, кто остался в живых после окончания военных действий, в огромном количестве эмигрировали. Число покинувших историческую родину в ходе аннексии крымских татар точно не подсчитано, поскольку соответствующие ханские чиновничьи структуры были разрушены или разрушались, а русской гражданской администрации здесь ещё просто не существовало. Однако зарубежные современники, находившиеся в Крыму в эти годы, могли сделать собственные подсчёты, основанные на опросах местных жителей, мулл, кадиев и т. д. Один из таких независимых статистиков утверждает, что только к 1782 г. из Крыма «50 000 человек уже выехали, а целые деревни близ Балаклавы заявили о своём намерении последовать эмиграции, им в этом дана полная свобода, так как [русские] чувствуют, что слишком больших трудов (viele Mühe) будет стоить склонить их под новую форму правления, которую тут готовится вводить» (Baert, 1798. S. 65).

Пытались бежать и степняки-ногайцы.

Российские авторы, опирающиеся на собственные подсчёты, называют убыль местного населения только в результате эмиграции этих лет (то есть до начала Второй турецкой войны 1787–1791 гг.) в количестве около 70 000 человек (Б-нь, 1856. С. 42). Главной причиной этого исхода, как говорилось выше, стала экономическая, психологическая, религиозно-нравственная катастрофа



общенародного масштаба, связанная с событиями войны и оккупации. Но была и вторая причина, не столь заметная: как в военные, так и в послевоенные годы российские власти и их добровольные пособники из казаков, солдат и переселенческого русского населения<sup>1</sup> вольно или невольно создавали такие условия жизни для коренного народа, которые однозначно указывали крымским татарам единственный выход, один путь — пересечь российскую границу. Как отметил голландец, проживший на полуострове не один месяц (1788–1789 гг.), ушелье после войны, сравнительно «немногие татары должны были или вымереть, или выехать (of uitserven, of aftrekken) из Крыма» (Woensel, 1790. Bl. 228).

Но, видимо, *неполного* исхода было мало. И уже тогда стала готовиться общественная почва для близящихся Великих эмиграций. Современные Екатерине публицисты так оценивали эту надвигающуюся (надвигаемую!) демографическую катастрофу доселе невиданного масштаба: «потери мы в этом не видим никакой; напротив, удалением своим в пределы Турции, крымские фанатики развязали руки русскому правительству...» (op. cit. Bl. 43).

Результаты самого первого, сравнительно ещё небольшого исхода, были видны и без статистических подсчётов. В Кефе, «заслужившем, благодаря своей населённости название Малого Константинополя, в настоящее время насчитывается 488 татар, в том числе 276 женщин, около 700 армян, немного греков и евреев» (Ромм, 1941. С. 48). Татары окрестных деревень также сильно пострадали, «отдав землю другим народам. Среди прочих из внутренней России сюда переселилась масса евреев, а эти бедные люди, которые как бы рождены только для торговли... принуждены здесь, к своему величайшему отвращению, заниматься сельским хозяйством» (Koch, 1854. S. 27). Информация о причине, по которой этот крупнейший в Причерноморье город был буквально стёрт с лица земли, просочилась наружу и попала даже в иностранные издания: «Кефе разорили для того, чтобы татары её оставили, так как им в дальнейшем было не разрешено проживать в портовых городах, из которых Кефе был главным» (Lyall, 1825. P. 368).

Сразу после аннексии власть издала запрет на проживание крымцев в городах, что также имело катастрофические последствия для самой модели жизни этой части народа. Вытесненные в массе своей из Кефе и городов Южного берега в степи, «крымские татары оказались как бы изгнанными из рая, их заставили вернуться к кочевому образу жизни, вместо мёда, яиц, масла, фруктов, всё, что у них есть теперь, это — мажары с запасом старого сыра» (Clarke, 1810. P. 581).

А вот состав жителей на 1780-е гг. в Еникале: здесь «помимо гарнизона... живёт очень небольшое количество жителей и среди них ни одного татарина; все они либо греки, либо арнауты» (Ромм, 1941. С. 51).

Старый Крым, 1786 год: «Несколько татарских семей ещё живут тут, но они просят разрешения выехать, им дадут паспорта» (Ромм, 1941. С. 47). Так и случилось. Через четверть века следующее свидетельство: «Старый Крым всё ещё

<sup>1</sup> Темы русификации Крыма посредством переселения на полуостров славян (русских, украинцев, сербов, болгар и т. д.) коснёмся ниже, в специальном разделе. Здесь же отметим, что начало этому организованному демографическому сдвигу было положено именно во время достопамятного «шестивия» царицы: «В этом же году переселено было из екатеринославской губернии в Крым около семи тысяч русских людей» (Андреевский, 1892. С. 20).

в руинах, здесь живут только армянские торговцы, в 200 домах, в каждом доме — лавка» (Holderness, 1821. P. 3).

На подъезде к Карасубазару «вправо и влево по дороге виднеются развалины деревень; по всей вероятности, местность эта, которую природа постаралась так украсить, была населена, но война, признающая только поля, покрытые трупами, разрушает дело рук человеческих и всё превращает в развалины» (Ромм, 1941. С. 44).

То же — в предместьях Ахтиара: «Инкерманская долина очаровательна; во времена татар она была возделана и в ней обитало множество жителей, но русские по-видимому завладели всем лишь затем, чтобы всё уничтожить, и в этой некогда столь плодородной долине в настоящее время остались только одни следы, одни развалины селений, служивших их главным украшением» (Людольф, 1892. С. 192–193).

Варварски была «преобразована» Байдарская долина: разрушены чешме и водоводы, вырублены сады и лес. «“А зачем же вы приехали? — с грустным видом спросили они (то есть крымцы. — В.В.) меня, — здесь смотреть уже не на что!” Таков был их ответ, и он печально подействовал на меня; в этих немногих словах он напоминал о том, чем были татары, о том, чего они лишились!.. Вообразите себе только то впечатление, которое деспотические распоряжения должны были производить на прежде бывших свободными людей!» (Людольф, 1892. С. 194, 195).

У Судака «в ограде крепости ютились татарские сакли, но после занятия Крыма русскими несчастных принудили выселиться из ограды, и в настоящее время их можно видеть в ушьелье... Там они долго не останутся — 37 семей уезжает в Анатолию. Им не позволяют рубить дрова в лесу, опустошают их сады, они не могут мирно пользоваться их плодами; естественно, что они уходят искать покоя и безопасности в другое государство. Русская казна получит при этом 98 садов или виноградников. Из двух других мест уезжает 23 семьи» (Ромм, 1941. С. 46). Ещё через несколько лет ранее цветущий город окончательно превратился в «деревню с несколькими татарскими домишками» (Lyall, 1825. P. 339).

Бахчисарай и после окончания войны был «очень велик... Этот некогда цветущий город имел 40 000 жителей, но в настоящее время едва ли наберётся тысяч 6, и количество это с каждым днём убывает; бегство это нельзя не заметить, потому что жители, тотчас же после завоевания покинувшие своё несчастное отечество, не только увезли с собой всё, что у них было лучшего, но и с бешенством в сердце разрушили и самые свои жилища...» (Людольф, 1892. С. 163)

Внешний вид Гёзлёва говорил, что «война нанесла ему чувствительные удары; от крепких стен, его окружавших, и высоких при них башен остались в редких только местах повреждённые оных части, видны основания срытых домов и опустелые мечети...» (Сумароков, 1800. С. 158). «Сейчас (то есть в 1800 г. — В.В.) это — жалкие остатки от некогда цветущего города, которые служат примером результатов русского управления; дома разрушены, улицы запущены, великолепные мечети, некогда служившие его украшением, лишены кровель, минареты упали, коренные жители изгнаны или убиты, осталось несколько раблепствующих офицеров полиции и таможни, да одинокий татарин, куривший свою трубку среди руин и глядящий на окружавшее его разорение. Прекратилась вся торговля, зерно так поднялось в цене, что нечего и думать об его экспорте, а шерсть, кожи и сено запрещены к вывозу. Короче, торгового города более не существует,

Если когда и придёт сюда какое-то судно, то только по неведению о коммерческом упадке, о взяточничестве и коррумпированности местных властей» (Clarke, 1810, P. 577).

Бельбекская долина, точнее, её нивы, виноградники и сады более не возделывались и не обрабатывались — это было бессмысленно в ситуации всеобщего бегства. Проезжий не мог не отметить этого: «она почти не возделана и всюду являет следы прежних разорённых жителей. Мы переменили лошадей в Дуванкое, татарском селении, некогда весьма обширном, а теперь состоящем всего из нескольких саклей...» (Людальф, 1892, С. 162).

В устье Отузской долины у Кара-Дага «прежде находилась татарская деревня с мечетью и прекрасным фонтаном». От неё остался только «источник при развалинах деревни Кара-Даг, на скате горы, хорошо выложен камнем, он берёт начало из-под горы и бьёт чистым холодным ключом...» (Паллас, 1793, С. 207).

В целом же «уменьшение населения здесь чрезвычайное, произведений этой страны, которые идут на прокормление 20 или 30 тыс русских, недостаточно для их потребления» (Людальф, 1892, С. 168), — и это говорилось о некогда цветущей крымской экономике, способной прокормить миллионное население полуострова и материковой части ханства, часть жителей Стамбула и вдобавок вести широкую торговлю собственными продуктами сельского хозяйства ещё с южной стран!

Крымские татары прекрасно понимали, кто виной великой трагедии в жизни народа и опустошения их родины. В народных преданиях остались суровые оценки незадачливости (чтобы не сказать хуже) хана Шагина, безжалостности Долгорукова и Суворова, звериного сердца Екатерины. Впрочем, насчёт отношения к ней новозавоёванного народа царица могла не иметь особых заблуждений. За исключением нескольких десятков ренегатов, к ней никто из беев или мурз на поклон не пошёл. Что же касается менее знатных татар, то об их отношении к завоевателям лучше всего говорило поведение их в ходе знаменитого «шествия в Тавриду» Екатерины.

### г) «Шествие в Тавриду» Екатерины

Достопамятный приезд императрицы в Крым ни в коей мере не являлся обычным путешествием правительницы по собственным весям с целью простого ознакомления с малоизвестной для неё землёй и людьми. Этот вояж преследовал прежде всего ясную внешнеполитическую цель: европейским странам он должен был «продемонстрировать, что присоединение сделано навсегда» (Марцинковский, 2003, С. 26). То есть это был акт политической легитимации<sup>1</sup> завоёванной территории. Но одновременно решалось и несколько задач, так сказать, «домашнего характера». В самой идее свозить стареющую, но оттого не менее властную

<sup>1</sup> Под этим определением «...понимается процесс обеспечения политического и социального порядка на основе распределения символического капитала» (Ибнеева, 2003, С. 103). При этом сам церемониал путешествий российских монархов (их в истории было немало) был предназначен к созданию неких мифов вокруг фигуры того или иного государя, например, о его «народности», то есть, об атмосфере всеобщего обожания подданных, в том числе и иноверцев.

и всемогущую женщину «на юга» был кровно заинтересован её бывший фаворит Г.А. Потёмкин — этим он намеревался вернуть себе прежнее, то есть безграничное расположение своей покровительницы. Сама Екатерина, кроме чисто человеческого желания увидеть баснословно прекрасный край, наконец-то оказавшийся под её властью, конечно же, ощущала, что без такой поездки Крым не будет выглядеть органичной частью её владений в глазах соседей, как и собственных подданных (в том числе крымских).

Поездка эта готовилась три с лишним года (Брикнер, 1872, С. 3). Заранее был составлен и отпечатан путеводитель для участников, строились путевые дворцы и роскошные «палатки», по чертежам великого Антонио Ринальди тесались камни под столбы-памятники «екатерининских вёрст», спрямлялись дороги, строились мосты. Г.А. Потёмкин сажал деревья и талантливо практиковал масштабное моделирование, знаменитые свои деревни будущего. Но гораздо тщательнее прорабатывался вездесущим князем человеческий фактор этого столь же необычного, сколь и грандиозного проекта. Императрица должна была увидеть не просто покорённый, силой принуждённый к послушанию народ. Г.А. Потёмкин поставил перед собой сверхзадачу: «матушку» должны были встретить верные, искренне любящие её новые подданные! И это не должно было укрыться, естественно, от иностранных наблюдателей.

По указанной выше причине демонстрации «народного» характера встреч императрицы, такие манифестации было необходимо организовать. Само участие местных жителей, всего населения, в протоколе встреч, с одной стороны, должно было свидетельствовать о полном принятии им новой, российско-православной действительности, в которой татары нежданно оказались, и живым символом которой являлась сама императрица. С другой, в такой демонстрации были заинтересованы мурзы, недавно ставшие российскими дворянами и стремившиеся сохранить за собой политическое и социальное положение, каким оно было при ханах. Ярким свидетельством искусственности этой демонстрации стала якобы крымскотатарская инициатива посещения Екатериной Крыма.

Здесь светлейший князь превзошёл сам себя. Он попытался создать видимость, что конечным пунктом путешествия императрицы на юг был вовсе не Крым, а Киев. И вот туда-то, в православную столицу древней Руси и отправились в марте 1787 г. (естественно, по «собственной воле») делегаты, должностные представители весь крымскотатарский народ. Ими были новоиспечённые коллежский советник Темир-агья и коллежский ассессор Мегметша, симферопольский предводитель дворянства Абдул-Вели-агья, некий мирза Ибрагимов (именно так, русифицированным на скорую руку именем, его представили спутникам Екатерины) и секретарь дворянского собрания Гуссейн-мирза Ширинский. И эти достойные люди нижайше засвидетельствовав нижайшее почтение своей владычице, пригласили её посетить их древнюю родину (Миранда, 2001, С. 131). В ответ Екатерина не только изъявила своё согласие, но пригласила их к себе на обед, а также презентовала им и их соотечественникам шесть перстней, стоимостью от 150 до 600 руб. — в соответствии со статусом одаряемых чиновников (Ибнеева, 2006, С. 167).

То есть со стороны крымскотатарской элиты было достигнуто полное приятие нового положения Крыма, чему были свидетелями все иностранные спутники

императрицы в её путешествии. Осталось продемонстрировать столь же тёплые чувства. Проще всего, конечно, было бы выставить вдоль высочайшего маршрута принаряженных пейзажей с хлебом-солью (неважно, насколько задуманный ритуал соответствовал бы мусульманским традициям)<sup>1</sup>. Но такие демонстрации мало кого могли ввести в заблуждение, а князь, надо отдать ему должное, всё, за что он ни брался, делал качественно. И он нашёл талантливое решение этой задачи: по местности, ещё столь недавно враждебной, императрица будет следовать не просто с минимальной охраной, но в окружении вчерашних врагов, причём вооружённых до зубов! Екатерина по достоинству оценила предложение князя, пойдя для этого и на риск собственной безопасности — два старых партнёра стоили друг друга.

Не вдаваясь в подробности ритуала встречи царицы (он неоднократно описан), отметим более важное. А именно *состав* «туземных отрядов, общее число всадников в которых достигало 1000 человек. Конечно же, в большинстве своём это не были крымские татары. Как можно было дать оружие в руки и допустить непосредственно к августейшей персоне людей, у которых по её вине погибли или были высланы ближайшие родственники? Здесь не только рядовые аскеры, но и мурзы с беями (для которых имело смысл услужить новой правительнице) могли не слержаться... Поэтому Г.А. Потёмкин принял простое решение: «матушку» будут охранять *как бы татары*, а в действительности их можно и подменить.

Поэтому в одежде крымскотатарских воинов наряжали кого угодно. Тут годился любой, кто мог держаться в седле — балаклавские греки, их жёны (две сотни пышных «амазонок»), какие-то цыгане, даже казаки, тем более, что среди последних были нередки вполне «татарские» и тип лица, и посадка на коне. Впрочем, была какая-то часть и крымских татар — из ренегатов, не первый год державшихся «русской партии». Эту сборную команду весьма тщательно подготовили: на всём протяжении возложенного на неё непривычного и непростого задания не отмечено ни одного, даже пустячного сбоя или простой неловкости. Остались довольны не только царица, но и её венценосные спутники. А искренность их восторженных высказываний по этому поводу (сделанных принимающей стороне) подтвердилась, хоть и весьма скоро, но стопроцентно. После них остались воспоминания, не предназначенные к публикации. Но, что гораздо важнее, их отзывы содержали именно те выводы, к которым их подталкивал своей акцией князь Григорий Потёмкин.

Спустя более столетия после достопамятного «Шествия» мемуары одного из её участников, принца Нассау-Зигена, были всё же опубликованы. В них имеются свидетельства тому, что император Иосиф II Австрийский «много говорил о внутреннем смысле этой татарской охраны» и о том, «насколько это может способствовать и подвинуть окончательную цивилизацию страны». Сам автор мемуаров вспоминал: «Мы встретили отряд татар, назначенных сопровождать и охранять Императрицу. Я не видел ничего красивее. За отрядом следовал татарский полк, тоже очень эффектный. Те ли это татары, что так возмущались при

<sup>1</sup> Такое во время «Шествия» тоже было. А «для поклона» императрице людей егоняли издалека. Так, в Судак с этой целью были доставлены татары с обширной территории от Керчи на востоке до Чонгара на северо-западе (Ибнеева, 2006. С. 167).

мысли о дисциплине? Теперь им доверяют охрану императрицы и она спокойно находится среди тысячи татар, готовых защищать её» (Л.С., 1895. С. 2).

От Иосифа Австрийского, союзника Екатерины, внешнеполитически содействовавшего захвату Крыма, естественно ускользнула уже упоминавшаяся выше безобразная сцена расправы с бахчисарайским муэздином только из-за того, что он обеспокоил царицу своим *азаном*. То есть возгласием призыва на молитву, который раздался с минарета самой прекрасной мечети города — знаменитой Ешиль-джами, о которой говорилось выше. Старик был застрелен на глазах свиты и иностранных гостей, прямо на минарете, вряд ли он даже успел осознать перед смертью, в чём заключалась его вина. Английский гость Крыма записал несколько позже, что случившееся — «совершенно невероятный факт, способный пробудить у английского читателя сильнейшее сомнение, но это действительно имело место, но я лично беседовал с несколькими свидетелями, оказавшимися вблизи» (Clarke, 1810. P. 467).

Более поздний автор отмечает, что в мечети, где свершилось *такое* злодеяние, люди больше не могли молиться. Безвинная мечеть была оставлена верующими, заброшена, «остаётся в запустении и постепенно разрушается» (Ливанов, 1875. С. 48). Такую вот память оставила по себе в Крыму путешествующая российская дама...

Участвовавшие во встрече императрицы крымские мурзы и согнанный к пути следования народ должны были, как и в других подобных мероприятиях, публично заявлять о своей лояльности и преданности, что способствовало бы «легитимации самодержавной власти и тем самым усилению её политического ресурса» (Ибнеева, 2003. С. 117–118). Однако, как видно из вышеизложенного материала, нужного эффекта достичь не удалось, он едва ли не стал противоположным.

Во всяком случае, об этом свидетельствуют замечания некоторых участников блестящего путешествия русской императрицы, оказавшихся более объективными, чем принц Нассау-Зиген, или просто более внимательными наблюдателями. Так, их поразила реакция на шествие Екатерины горожан Крыма. В частности, когда она проезжала по улицам Бахчисарая, то из ремесленников и торговцев, сидевших у своих мастерских и лавок, не встал никто, никто не отдал поклона, «некоторые с отвращением отворачивались» (Сегюр, 1865. С. 210–211). Вот где имело место истинное, а не «потёмкинское» отражение чувств и мыслей порабощённого народа. И австрийский император Иосиф II Леопольд, ещё находясь в пределах Крыма, заметил: «Что ни делает Императрица для здешнего населения и какие льготы она им ни предоставляет, нет ни одного [крымца], особенно из стариков, кто бы не рад был уйти из-под новой власти» (Цит. по: Романовы и Крым. М., 1993. С. 11).

Тем не менее Екатерина на протяжении всего пребывания в Крыму старалась, скрепя сердце, делать всё возможное, чтобы привлечь к себе расположение крымцев. Она раздавала деньги бахчисарайским дервишам, делала пожертвования мечетям, о чём незамедлительно сообщалось сопровождавшим её в поездке иностранцам. Однажды на обед в их присутствии были приглашены крымский казиаскер Сеид Мемет-эфенди и муфтий Мусалаф-эфенди, причём они, уже состоя на российском жаловании, не могли бы отказаться от приглашения, даже если бы захотели. Но, оба, скорее всего, были польщены августейшим вниманием.

Такой вывод напрашивается сам собой: уже после отбытия гостей из Крыма к Г.А. Потёмкину по собственной воле отправились тот же казиаскер Сеид Мемет-эфенди и надворный советник Батыр-ага с просьбой о позволении воздвигнуть памятники императрице в Симферополе и Екатеринославе (Ибнеева, 2006, С. 171, 173). Впрочем, такая просьба вряд ли могла исправить общее впечатление от «шестивия», на заключительной стадии которого Екатерине было подано около 100 прошений о позволении эмигрировать (там же).

К слову, и сам Потёмкин, организовавший маскарадную встречу Екатерине, не питал особых иллюзий насчёт отношения крымскотатарских масс к оккупационной власти. В ноябре того же года, а именно когда возникла опасность турецкого десанта на берега Крыма, он распорядился депортировать *всех* береговых татар вглубь полуострова, а частью — и за Перекоп.

## 8. Аннексия и традиционная культура Крыма

Подвести общий итог аннексии, характеризовать её как историческое событие нетрудно уже потому, что такого рода события случались и раньше. Причём они настолько известны, что читатель легко найдёт аналогию без помощи автора. Для этого достаточно ответить на один вопрос:

Что послужило причиной разрушения акведуков в Греции и Риме, древних водопроводов, храмов и термов в крупнейших центрах античной цивилизации? Ответ есть только один: нашествие северных варваров. И правильность его подтверждается столь же простыми фактами. Военные разрушения имеют место и в войнах цивилизованных народов. Но такие разрушения более или менее быстро ликвидируются в послевоенный период. Ведь в этом заинтересованы и побеждённые, и победители, если они люди цивилизованные. Что же касается варваров, то они не способны восстановить прежнюю материальную культуру то ли по нежеланию, то ли по неумению. Так было в Риме после V века, так стало в Крыму после года 1783-го...

Ибо здесь не только не восстанавливалось разрушенное, но активно продолжалась ликвидация древней крымской культуры.

Вот некоторые примеры: «в Керчи была прекрасная мечеть, и оттуда взято большинство мраморных украшений, находящихся ныне в Керченской церкви» (Рамм, 1941, С. 69). Забегая несколько вперёд, отметим, что этому городу новые хозяева Крыма так никогда и не позволили возродиться в качестве крымскотатарского культурного центра, да и просто места жительства бывших керченцев-крымцев. Лишь постепенно туда вернулась часть старых жителей, но далеко не все. Достаточно сказать, что через век здесь было 11 православных церквей, армянский, католический и лютеранский храмы, 2 синагоги — и осталась всего одна мечеть (Безчинский, 1901, С. 440).

Тот же, упомянутый выше француз, проживший в России с 1779 по 1786 г., писал почти с нежностью об остатках античности, увы, уничтожавшейся победителями с той же непринуждённой в другом месте: «Стены древнего Херсонеса были шириной больше сажени. Камень внутренней кладки очень пори-

стый, очень мягкий известняк, поставленный на ребро, поперёк кладки. С обеих сторон стены были обшиты плитами белыми, плотными и настолько мягкими, что их можно обтёсывать ножом; плиты эти теперь ежедневно разбирают для постройки Севастополя» (Рамм, 1941, С. 69).

В Эски-Юрте, на одном из древнейших кладбищ ханства, где бережно сохранялось множество прекрасных памятников и дюрбе, «большую часть из них разбили и сорвали [с могил] грубые руки, затем, чтобы употребить на украшение своих каминов. Между этими последними находится и много мраморных украшений, с резными барельефами листьев растений, много надгробных колонн и плит. Татары этой деревни очень бережно сохраняют остатки этих памятников и стараются сколько возможно спасти их от дальнейшего разорения» (Паллас, 1793, С. 83).

В Карасубазаре (и не только здесь) сразу после захвата полуострова оккупанты стали разрушать *кладбища* — на глазах родственников, ещё не покинувших город, ухаживавших за свежими могилами. Впрочем, эта тема настолько горька для крымскотатарского народа, что даже касаясь тех давних лет лучше предпочесть слово свидетелям преступления, а не пытаться его комментировать. «В Карасубазаре с мусульманского кладбища вывезены надгробные плиты и памятники, велел за чем они были разбиты или разрублены таким образом, чтобы их можно было использовать для стройки, хотя в этой местности имеется великолепный известняк, который можно было добывать в карьерах с точно такой же лёгкостью, с которой русские разорили могильные памятники...» (Clarke, 1810, P. 456–457).

Ещё одно свидетельство того же рода: «В Карасубазаре, как и в других местах, обращают на себя внимание татарские кладбища, полностью лишённые памятников (delapidated), которые забрали русские с целью использования на строительстве административных зданий во всех городах и в особенности в Карасубазаре. Какое кошунство! ...русские уничтожили то, что среди других народов почитается святыней, перед чем другие люди благоговеют — памятники мёртвым. Все они были изготовлены из камня, добывающегося вблизи Карасубазара. Читатель, конечно, недоумевает, почему русские не отправились за строительным материалом в карьер, а вывезли татарские надгробные памятники? Ответить на него — значит сказать о причине эмиграции. Дело в том, что татары были здесь подвержены чрезвычайно грубым оскорблениям, надругательству (the most violent insults): их мечети, их минареты, их дворцы, их бани, их водопроводы и акведуки, их фонтаны и даже их надгробия были снесены, обращены в руины, разрушены до основания» (Lyall, 1825, P. 360–361).

Здесь нет преувеличения или искажения истины. Речь шла именно о сознательном *надругательстве*, о действительно провокационном кошунстве, которое не в силах выдержать не только мусульманин, но человек любой веры, если у него есть сердце. Ведь в Эски-Юрте дошли до того, что древние ханские дюрбе превратили в коровники (“zu Viehställe degradiert sind” — Kosmeli, 1813, S. 50). Акция, проводившаяся одновременно на всей территории Крыма, имела и единую цель, названную цитированным автором: оскорбить мёртвых, чтобы принудить к эмиграции живых.

Здесь поневоле вспоминаются слова одного английского эсквайра, гостившего у М.С. Воронцова в 1830-х гг. и хорошо знакомого с разрушением татарских

кладбищ и дюрбе в Крыму. Он пришёл к выводу, что невозможно никакое сравнение между варварством русских и татарской традицией многовекового оберегания крымских древностей, в том числе христианских. При виде того, во что были превращены татарские святыни, он смог подобрать в истории лишь один схожий пример — крестоносцев Балдуина Фландрского, которые не только разрушили Константинополь, но и вскрывали в поисках ценностей древние могилы (в том числе и христианских святых) и плавили старинные бронзовые статуи.

«Татары, несмотря на все их недостатки, заслуживают самого горячего восхищения, — продолжает эскайр, — как и вообще последователи Магомета, которые во всех краях и в любой войне свято чтут места последнего успокоения человека... И, бесспорно, если бы такие традиции существовали в нашей собственной стране, это побуждало бы в конечном счёте некоторых наших амбициозных политиков и военачальников к добрым делам, если уж они так стремятся к бессмертию в виде воздвигнутых над ними могильных холмов или пирамид» (Spenger, 1837. Vol. I. P. 245, 247).

Некоторые современные мыслители (в основном, южной культуры) считают, что одушевлены не только люди, но и окружающие их объекты местного, древнего происхождения: камни, ручьи, скалы. Итальянец Умберто Эко считает, что «...камень осознаёт время. Он его осознаёт ещё прежде чем истолковать перемены своего нагрева как перемещения в пространстве» (Эко, 2007. С. 449). Что же остаётся сказать нам, всматривающимся в письменные свидетельства того, что крымские камни, в том числе священные могильные, перемещались не от нагрева, а волею пришлых супостатов? Не нужно напрягать фантазию для того, чтобы представить себе, как нemo и бессильно кричали камни, когда их выворачивали из оголовий родных могил и ташили с кладбищ. Легко понять, что в ту пору к небу возносились вопли не только насилуемого народа, но и всего полуострова, его древней земли, гор, степей, скал и ущелий!

Что же касается восстановления разрушенных армией и русскими переселенцами городов, то эта история также безотраднa. В результате такого «возрождения», к примеру, Феодосии, проведённого великорусскими архитекторами и строителями, город так и не обрёл своего прежнего крымского облика. Как заметил приезжий чиновник, здесь «въезжаешь в улицу не в Европейскую, и не в Азиатскую а в Новорусскую... совершенно по образу тех, которые находятся в наших Великороссийских городах», поскольку уже через несколько лет восстановления города губернатором А.С. Феншем (начато в 1805 г.) древний город обрел совершенно новую, «пошлую физиономию» (Вигель, 1892. С. 151).

Непосредственным следствием нашествия было и разрушение человека, то есть в первую очередь его физического здоровья — духовная деградация, требующая времени, пришла позже. Понятно, что война несла с собой голодные смерти, но они не прекратились и в условиях послевоенной разрухи. Из-за отсутствия средств и просто желания новых властей помочь коренному населению она длилась многие годы. Далее, медицинская служба в русской армии не только сильно отставала от европейской (в ту эпоху также вполне примитивной), в ней не было никакого санитарного контроля. Поэтому жившие скученно солдаты и казаки постоянно болели. Притом, недугами, в Крыму до того малоизвестными и оттого слабо поддающимися народной медицине (на первом месте тут стоя-

ли кожные заболевания). Самые различные заразные болезни распространялись безвозбранно и, как было отмечено уже в конце первой трети XIX в., они «до сих пор сопротивляются всем попыткам их ликвидировать и, как уверяют, болезненность стала здесь уже всеобщей» (Spenger, 1837. Vol. II. P. 141).

Традиционной экономикой Крыма был нанесён ущерб, какого она не знала в протяжении всей своей истории. И плотная удавка оккупации не позволяла поднять хозяйство, возродить его, как обычно делается после окончания военных действий. Долгое время никто не занимался ни восстановлением разорённого хозяйства, ни защитой остатков коренного населения от репрессий, временами принимавших характер стихийного насилия. Приведу свидетельства современника: «Некогда столь густо заселённый и плодородный Крым не в состоянии кормить остающихся в нём немногочисленных жителей». «Правительство благоприятствует [казакам] и надеется, что они заменят собой покинувших свою родину татар. Казаки воров, непослушны и разоряют татар, у которых отнимают всё, что возможно, особенно их жён и стада. Русские закрывают глаза на эти беспорядки». И далее:

«Из Крыма в прежнее время вывозились шерсть, воск, мёд и проч., а теперь изобилие этих произведений сильно сократилось и страна эта, некогда столь богатая стадами, особенно баранами, не производит тех же предметов в достаточном количестве для потребления теперешнего населения... со времени русского завоевания, выселения татар и потребления скота русскими войсками количество всякого скота до такой степени сократилось, что для сохранения породы вместо местных быков стали потреблять в пищу быков из России. Бараны здесь хорошего качества, но... теперь их можно резать только в известном количестве. Птицы здесь также стало меньше и она вздорожала». (Людольф, 1892. С. 158, 165, 167–168).

Об ущербе, нанесённом аннексией духовной культуре крымскотатарского народа, будет сказано ниже. Здесь же упомянем лишь об одной из её важнейших областей — религиозной. Сразу после захвата ханства оккупанты начали многолетнюю кампанию, которую можно в целом назвать обезбоживающей и секуляризационной. Велась она явно вопреки екатерининскому Манифесту, но кто на это обращал тогда внимание! Шло наступление на Мечеть. Правда, почти все муфтии и кадиаскеры, оставшиеся в живых и не эмигрировавшие, сохранили свои места. Но все они попали отныне в подчинение (в вопиющем противоречии с мусульманским правом) главному муфтию Крыма, который с 1784 г. стал назначаться русскими колонизационными властями. Теперь вероучители Крыма получали денежное содержание из российской имперской казны<sup>1</sup>.

Таким образом, руководство не только духовной практикой, но и всей мусульманской культурой целого народа оказалось в руках русских оккупантов, контролировавших созданный ими муфтиат — особое подразделение административного управления краем. Именно через муфтиат теперь можно было осуществлять управление вакуфной недвижимостью. На момент аннексии к ней

<sup>1</sup> Оно было установлено согласно указанию Екатерины II графу П.А.Зубову от 23. 01. 1794 г. Отныне муфтию Крыма Сеид-Мемету полагалось 2000 руб в год, кадиаскеру Абдураиму-эфенди — 500 руб и по 200 руб ещё пятерым «эфендиям, которые бы под председательством муфтия составляя Духовное правление, имели надлежащее надзирание над всем духовенством мусульманским области Таврической» (РГИА, Ф. 1374. Оп. 4. Д. 231. Л. 21). О предыстории этого нововведения см. в: Скальковский, 1841. С. 24–27.

относилась треть хозяйственной земли полуострова, не считая массы приносивших доход построек различного назначения, мельниц и прочих объектов хозяйственной инфраструктуры.

Кроме того, многие мечети уже в течение первых десяти лет российского владычества были закрыты или превращены в христианские храмы, — подробнее об этом речь пойдет ниже, поскольку этот процесс продолжался в течение всего имперского периода истории России (да и после него тоже). Здесь отметим лишь, что такое превращение оскорбляло не только татар, но и наиболее честных и откровенных из русских священнослужителей. Так, иеромонах Мелетий, проезжавший через Крым в 1793 г., то есть, через десять лет после аннексии, с явным прискорбием и сочувствием к местным мусульманам отмечал, сколь тяжело было ему и его спутникам слышать в Крыму «при церкви, обращённой из мечети», колокольный звон, сзывающий крымчан «к молению в то место, где прежде Магометанство их водворялось» (Путешествие в Иерусалим Саровския Общежительная Пустыни Иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. М., 1798. С. 7).

Подводя итоги первым, непосредственным результатам аннексии, невозможно не признать, что упадок и развал в духовной, экономической и демографической сферах был полный, и этого никто не смеет отрицать. Вернее, не смел. Так как едва прошла сотня лет и события послепостановочных горьких десятилетий стали забываться, как русские специалисты по этой проблеме недогнувшей рукой начали делать выводы вроде следующего: Российские и немецкие поселенцы «явились сюда с большим запасом опытности и знаний, чем располагали туземные жители», после чего полуостров буквально расцвёл, чего ранее и в помине не было... (Эр, 1885. С. 1). Ну, что здесь скажешь?

Великая эпоха уходила в прошлое, унося с собой свои тайны и уступая место исторической лжи.

## 9. Аннексия в историческом освещении

Историки давно пытались дать общую оценку такому значительному в истории России и Крыма событию, как аннексия этой древней и богатой территории. В целом выработалось три основных точки зрения на проблему<sup>1</sup>. Первая из них

<sup>1</sup> Здесь сознательно не рассматривается ещё один, четвёртый, тип исторической литературы — сугубо фальсификаторской, откровенно русофильской и явно шовинистической. Её издавалось немало в прошедшие годы, в основном, советского периода, но не только. Основа была заложена ещё имперскими историками, работам которых доверяли и на удочку которых попадались вполне честные и даже крупные специалисты. Пример: «Когда во-йска Екатерины II заняли Крым, последнее убежище степных хищников на черноморском побережье, они вывели оттуда более 10 000 русских рабов!» (Соловьёв, 1879. С. 18). Удивительна даже не эта ни с чем не сообразная и не основанная на источниках цифра. Приятной и редкой неожиданностью явился тот факт, что эта ошибка крупного историка более не повторяется ни в одной из позднейших работ, связанных с историей аннексии Крыма. Объяснить это исключение из правила можно только одним: соловьёвские тысячи рабов слишком фантастичны даже для российской патриотической историографии.

заключается в том, что ханство не могло сохранить свою независимость уже потому, что соседствовало «с владениями таких мощных империй, как Россия и Турция» (Надинский, 1952. Ч. I. С. 91). Заключение это совершенно верно по отношению к России: жить рядом с империей всегда было смертельно опасно не только для небольших государств, что европейских, что азиатских. Но это крайне субъективная точка зрения, применимая не в абсолютном смысле, а лишь в данном конкретном случае. Ведь в одной только Европе можно насчитать десятков небольших и даже карликовых государств, полностью независимых и суверенных не одну сотню лет, хоть и соседствующих с великими державами. То есть объективно никакая мощь не является сама по себе предпосылкой неоправданных захватов. Но такой предпосылкой были особый склад этнической психологии, отразившийся в многовековой политике экспансии, характерной и для султанов, и для царей.

И ещё одно замечание по поводу этой точки зрения: вызывают недоумение выводы ее сторонников о том, что царицей Крым «был возвращен подлинному хозяину — русскому народу», что аннексия имела «исторически прогрессивное значение» (ук. соч. С. 92–93). То, что русские — «подлинные хозяева» Крыма, обосновывается с гениальной простотой: оказывается, «с середины X по конец XI в. Боспор принадлежал русским» (Медведева, 1946. С. 20). Подобные утверждения научными доказательствами не подкрепляются, отчего и «русские» периоды истории древнего Крыма варьируются в весьма широком диапазоне. Так, П. Надинский щедро добавляет сюда ещё пару столетий и говорит уже не только о Боспоре: по его мнению, в IX–XII вв. «русские владели Крымом и первенствовали на Чёрном море» (1946. С. 21).

Антинаучные эти выводы относятся к 1940–1950-м гг., когда некоторые советские учёные вносили свой вклад в сталинскую теоретическую и практическую трактовку национального вопроса, получив и исполнив заказ на оправдание кровавых преступлений режима против коренного населения Крымской АССР и населения других республик и областей<sup>1</sup>. Затем волна подобных, явно конъюнктурных работ спала, практически исчезнув в последующие два десятилетия.

Но стоило начаться возвращению депортированного коренного народа на свою историческую родину, как стали появляться работы *второго* типа. Своего пика этот политически-идеологический накат достиг во второй половине 1990-х гг., когда

<sup>1</sup> Имелся ещё один вид работ, появлявшихся в последующие годы, которые нельзя отнести к сознательно фальсификаторским. Среди них встречаются и принадлежащие перу известных, заслуженно авторитетных учёных. Однако они, доказывая свои научные гипотезы, иногда походя искажали объективную истину во «второстепенных» сюжетах. При этом они нередко наносили жестокий удар самолюбию народа, их книги читавшего, но в ту пору находившегося вдали от исторической родины и лишённого возможности дать достойный ответ. Приведу пример: «Крымское ханство, в XVIII в. раздробленное на мелкие, враждовавшие между собой княжества... находилось на грани развала, готовое стать жертвой любой агрессии». В то же время «...освоению южнорусских земель Российской империи препятствовала почти непрекращавшаяся турецкая агрессия» (Якобсон, 1973. С. 161). Получается, что Россия, захватившая в течение века весь юг до Дуная, с Крымом впридачу, — не агрессор. Им оказывается Турция, в ту пору если и менявшая свои рубежи, то только в сторону сокращения территории (отчасти благодаря России).

обострилась борьба русскоязычного политического большинства с первыми, возродившимися после долгого перерыва органами национального самоуправления и представительства крымскотатарского народа — Курултаем и Меджлисом. Работ этих множество, они разного качества и научного уровня, но от упоминавшихся послевоенных авторов сталинской выучки их отличает одно: безудержная, странная даже для шовинистов, параноидальная пропаганда всего, что носит на себе печать русской национальной принадлежности. Естественным, при таких «теоретических» установках эти авторы часто попадают впросак.

В качестве примера возьмём один лишь труд известного во всекрымском масштабе исследователя, которым только по проблеме аннексии Крыма опубликовано более 50 работ. Имеется в виду монография М.В. Масаева «Присоединение Крыма к России», вышедшая в Симферополе в 1997 г. Не желая тратить полезную площадь этого тома, ограничимся лишь цитированием некоторых выдержек оттуда. Автор утверждает, что в политике России (ещё до аннексии) «явно прослеживается забота русского правительства о крымских татарах» (С. 128) — при этом документально зафиксированное стремление Екатерины «искоренить хищников» игнорируется. Крымскотатарское ополчение, оборонявшее полуостров от агрессии, именуется «бандформированиями» (до *такого* не докатывались и самые гнусные шовинисты всей прошедшей истории!), которых «ведь надо было разбить!» (С. 130).

Не лучшего отзыва заслуживает у автора и турецкая армия, которая ведёт себя «как стадо баранов... [которое] насмерть перепуганное предстоящей операцией остригания обращалось то и дело в постыдное бегство, едва замечая блеск всеоскрывающих доблестных штыков русской армии» (С. 146).

Иными красками рисуются русские исторические лица. Екатерина вполне серьёзно именуется «Великой Семирамидой Севера» (С. 165). Целью аннексии было дать, наконец, «крымским татарам почувствовать себя свободными и полноправными гражданами своей новой великой родины — России» (С. 174), а результатом захвата Крыма стало сохранение коренного народа от гибели (?), после чего крымские татары смогли «перейти... к мирной, созидательной жизни», отчего они и «сохранили себя как нацию» (С. 173–174). При этом М. Масаев торопится развеять «миф чуть ли не о политике репрессий со стороны России» в последующие периоды, превознося русских благодетелей за возврат ими некоторым крымским татарам (в основном, мурзам), отобранных было «участков земли, домов и прочего, что подтверждает тезис о справедливой и гибкой политике России в отношении крымских татар» (С. 175). Сравнение конъюнктурных писаний такого рода с научным наследием других эпох говорит не в пользу первых.

Так, даже работы историков не профессиональных, но стоявших близко к событиям той эпохи, дают весьма объективную оценку как общей картины аннексии, так и роли, которую сыграли в ней отдельные исторические лица<sup>1</sup>. Да

<sup>1</sup> Вот отрывок из одной такой работы, приводимый в качестве доказательства важной истины, уже упоминавшейся в § 6 этой главы: подоплёку захвата ханства в Европе знали и понимали все, другое дело, что не все в этом признавались. «В своих отношениях с обманутыми и преданными татарами Потёмкин осквернил все принципы чести, честности и справедливости. Гражданская война, которую заварил этот прожжённый мастер такого рода коварной, лживой политики, началась сразу же после того, как патриотически

и вообще труды дореволюционных авторов (Марков, 1902; Чеглок, 1910. С. 47–48) гораздо правдивее и точнее упомянутых марксистских и неосоветских разработок. И, конечно же, наиболее удовлетворяют современным требованиям научного подхода работы довоенного периода. Например, А.Е. Мачанов указывает, что после включения Украины в состав России дальнейшее продвижение русских на юг и захват Крыма имели, прежде всего, экономические цели вывоза «русского хлеба и ввоза иностранных товаров через порты Черного моря». Другое дело, что «эти интересы Россия должна была всячески скрывать и объяснять свою агрессивную политику в отношении Крымского ханства необходимостью защитить себя от татар» (1929. С. 38).

Саму акцию захвата Крыма, которую П. Надинский именуется «восоединением», известный до войны историк С. Бахрушин ещё в 1930-х гг. смог более точно охарактеризовать именно как аннексию (1936. С. 40, 55), объективно оценивая и результаты её — беспощадное разорение «царизмом той красивой и яркой туземной цивилизации, которая выросла на крымской почве в результате разнообразных культурных влияний, скрещивающихся здесь» (ук. соч. С. 57). В тот же период было выработано и обосновано научное определение последовавшей политики России в Крыму как «колониальной» (позже Надинский будет яростно бороться с этим термином): «Дикий, беззащитный грабёж, захват лучших земель, уничтожение целых селений, взятки, подкупы, угрозы и насилия — весь этот произвол ярко выражал колониальную политику царизма» (Шербаков, Рагацкин, 1939. С. 12).

Имеется и третья, компромиссная точка зрения на проблему, которой придерживаются современные учёные, хотя высказана она была впервые полвека назад. Сторонники её, с одной стороны, согласны с тем, что крымцы попали благодаря аннексии под «жестокый колониальный гнёт». С другой же, что для крымчан это было все же «меньшим злом, чем пребывание под покровительством Турции» (Вольфсон, 1941. С. 67).

С тех пор теория «меньшего зла» (по свидетельству акад. М.В. Нечкиной, автором её был сам Сталин: см. в: Новый Часовой, СПб., 1998. № 6 / 7. С. 107), приобрела немало сторонников, наиболее именитые из которых выступали с развернутой защитой её и на страницах центральных научных журналов, и в теоретической литературе<sup>1</sup>. Тем не менее эта теория не заслуживает, по моему

настроенные [крымские] лидеры были коррумпированы им при помощи русского золота, а их политические противники — возвышены и поощрены (encouraged) тем же мощным политическим механизмом...» (Spenger, 1837. Vol. II. P. 122).

<sup>1</sup> Одно из последних выступлений такого рода стóит упоминания единственно потому, что его автор — действительно глубокий учёный: «Южные и восточные районы империи, если бы они дожили до XX века, оставаясь в сфере имперского влияния Турции, Персии или Китая, вряд ли продвинулись бы в своём развитии дальше, чем это удалось им сделать, идя вместе с Россией» (Вишневский, 1998. С. 280). Здесь достаточно себе представить Бахчисарай, дошедший до наших дней в своём прежнем статусе столицы одной из культурно развитых областей Турции. То есть не переживший трёх великих эмиграций (когда его покидали в первую очередь интеллигенты), сожжения библиотек, дым от которых трижды застилал небо над Ашлама-дере, гонений на интеллигенцию в 1920–1930-х гг., депортации и ссылки, в которой погибла почти половина жителей и практически все

мнению, специальной критики, во-первых, из-за своей явной бесчеловечности и антинародности (не занимаемся же мы сейчас серьёзной критикой теорий расизма или «сверхчеловека» — на то было своё время, как и на разбор бесплодности поисков вечного двигателя или, скажем, философского камня).

Во-вторых, ангажированность, субъективность её сторонников, не имеющая ничего общего с наукой, видна уже из того, что все они — не из тех стран и областей, что вкусили от колониального «меньшего зла», которым их облагодетельствовала Россия. Цель этих теоретиков, были ли это представители до-революционной «государственной» школы исторической науки или советские авторы, остается всё той же: оправдать царскую экспансию на восток, запад и юг от первоначального пятна расселения русского этноса.

В этом смысле историки советской империи в своей некритичности, в стремлении любой ценой оправдать российскую агрессию пошли дальше сына Екатерины и будущего императора Александра I. Наблюдая за действиями матери и её ближайшего окружения (вполне её, кстати, достойного), этот великий князь и престолонаследник не мог не удержаться от горьких слов: «Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах и медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места... В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду, а Империя стремится лишь к расширению своих пределов...» (Цит. по: Шильдер Н.К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. I. СПб., 1904. С. 114).

Это — едва ли не единственная попытка критики имперского порядка, раздавшаяся из Зимнего дворца. Судя по её смыслу, Александр был против «расширения своих пределов» вместо наведения порядка на исконной родине, где царил коррупция. Другое дело, что именно у него получилось к концу его правления...

Остаётся сказать, что часть фальсификации истории агрессии России на юг была, если можно так выразиться, «доброкачественной». То есть она основывалась на искренних убеждениях, что в какой-то мере может извинять заблуждавшихся. «Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилем, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией» (Федотов, 1992. Т. II. С. 317–318).

И ещё одно замечание: «Правду говаривал покойник Грановский<sup>1</sup>, что изучение русской истории портит самые лучшие умы... Привыкнув следить в русской истории за единственным в ней жизненным интересом — собиранием государства (то есть агрессией и удержанием захваченного любой ценой. — В.В.), невольно отвываешь брать в расчёт всё прочее, невольно припраща-

культурные ценности. Неужели настолько было бы хуже, что Турции пришлось бы помогать ему материально, как это она делает сейчас, пытаясь хоть частично возродить крымскотатарскую культуру, гибель которой Крым пережил именно «идя вместе с Россией»...

<sup>1</sup> Т.Н. Грановский (1813–1855) крупный историк, «отец русской медиэвистики».

ешься к диктатуре и, при всём уважении к истории, теряешь в неё веру» (Цит. по: Россия, 2000. С. 29–30). Это замечание видного русского публициста М.Н. Каткова, сделанное в середине XIX в., вот уже полтора столетия сохраняет, к сожалению, свою актуальность...

## 10. Общие итоги аннексии Крыма

Итак, «ослабленное в процессе экономического развития, упирившегося в задерживающую его общественно-экономическую систему, истерзанное длительной борьбой с Россией, оплетенное сложной системой шпионажа, подкупов и интриг и запуганное русскими штыками, татарское ханство перестало существовать» (Шнейдер, 1930. С. 41). Ханство полностью утратило остатки политической независимости, которыми пользовалось и при самых деспотичных султанах. Внутренней жизнью его теперь также управляли «неверные», малознакомые с местными традициями, особенностями крымскотатарской духовной жизни, национальной психологии, устоявшихся экономических порядков, местного хозяйства, пришедшего за многие века к высшей степени экологичности.

Более того, русские чиновники и не желали знакомиться со всем многообразием жизни, которую они застали в Крыму, или вникать в ее особенности: они ничем не отличались от функционеров иных колониальных держав, особенно на начальных этапах колонизации. И конечно, их менее всего беспокоили негативные перемены в быту и культуре татар, то, что «эксплуатация обезземленной массы народа... даже в последние времена ханства, никогда не достигала» таких масштабов (Никольский, 1929. С. 7). Распространение же фактического крепостничества не только не играло, как утверждает П.Н. Надинский, «прогрессивной роли» (1952. Т. I. С. 95), но и отбросило крымцев далеко назад и в социально-экономическом, и в национально-политическом развитии<sup>1</sup>. Причём такой результат российской колонизации Крыма стал заметен сразу, как только за море отправились первые тысячи коренных его жителей (о Первой эмиграции см. ниже). Через «несколько месяцев [после аннексии] эта цветущая страна ещё во времена последнего хана — являла уже печальную картину притеснения и разрушения... после глубокого падения благодаря политическим событиям конца XVIII столетия, Крым не имел уже сил подняться» (Симиренко, 1912. С. 13).

<sup>1</sup> Впрочем, не стоило бы утверждать, что царская администрация раздавала «пустующие земли» целенаправленно, то есть стремясь «закрепить там своё положение (куда уж дальше? — В.В.) и укрепить феодально-крепостнический режим» (Максименко, 1957. С. 7). Она не добилась установления крепостного режима в Крыму в сколько-нибудь значительной степени, да вряд ли он и был чётко запланирован. Скорее всего, именно такой ход событий объясняется общеизвестными и для русского общества вполне традиционными факторами: коррупцией, общим непрофессионализмом, равнодушием к судьбе русских соотечественников и неприязнью к колонизованным народам, низкой культурой и тяжёлыми нравственными недугами, отличавшими именно российских колонизаторов. А также полным бесправием и изначальной аполитичностью крымскотатарского крестьянства.



Заметен был регресс и в культурном, духовном отношении. Выше уже говорилось о том, как это выглядело в первые после аннексии годы. Потребовалось совсем немного времени, чтобы результаты аннексии проявились и стали общезначимыми в изменившемся духовном облике народа. В этом смысле (то есть не касаясь материальной культуры) аннексия нанесла огромный и часто непоправимый вред этническому самосознанию, духовному, психическому и физическому здоровью народа. Чтобы сказанное не выглядело преувеличением, достаточно раскрыть источники такого вывода.

Крымские татары ощущали себя до начала колонизации, с одной стороны, последней сохранившей свою жизнеспособность *частью* великой Золотой Орды. Но они входили и в нераздельное *целое* — во всемирную мусульманскую умму. Мало того, Крым издавна был центром и культурным светочем огромного причерноморского региона. Теперь народ-носитель этой культуры в мгновение ока превратился в жалкое меньшинство на задворках огромной и, к тому же неправовой империи. Он был насильственно, с кровью выдан из тюрко-персидского культурного тела, из числа больших и малых народов, гордых своим исламским равноправием и вдруг очутился среди рабски униженных империей *dhimmiyun* (меньшинств). Они попали под власть неверных — «для мусульманина ситуация парадоксальная, непредставимая и неприемлемая» (Islam, 1996. S. 282).

С другой стороны, невозможность активно противостоять этому тотальному унижению, отстаивать былые традиции, правовые и нравственные нормы и ценности, вызвала массовый стресс. Причём стресс неизбывный и мучительный даже чисто физически (медики говорят, что в таком состоянии непрерывно вырабатывается адреналин, а его переизбыток разрушает самые различные органы человеческого тела, истощает психические и духовные силы). Начался процесс перемен и в самом дорогом — в исповедании веры. В нём появился ранее совершенно неизвестный или крайне незначительный компонент национальной принадлежности, что вполне понятно: крымские татары стали осознавать свою чисто этническую избранность (со знаком минус) среди свободных мусульман мира<sup>1</sup>. Следствием стало, среди прочего, новое, отношение к умме. Оказавшись на её периферии, крымскотатарский народ (как, впрочем, и среднеазиатские, и кавказские тюрки), всей душой стремился сохранить былую сроднённость с её духовным миром и цивилизационным наследием. Но объективная реальность вывела их и из пространства большинства проблем их арабской духовной прародины. И наоборот — зарубежные тюрки, арабы и персы стали страшно далеки от проблем, мучивших их российских (потом — советских) собратьев по вере.

Теперь для крымских татар поневоле возросло значение духовной связи с мусульманами Поволжья, Средней Азии и Кавказа. С другой стороны, политика империи по отношению к её исламским народам не могла быть одинаковой, как отличались друг от друга и сами эти народы. Поэтому если на Кавказе десятилетиями практиковались геноцид с целью умиротворения горцев и не менее кро-

вавое освобождение армян от «исламского рабства», то за Каспием и в Крыму, где народы подавленно молчали, актуальными были совсем иные задачи. Здесь разлагали народ, публично унижая мулл, дерзко оскорбляя мусульманское каноническое право (а значит — Коран и сунну) и исподволь «освобождая» мусульманскую женщину для полевых и иных публичных работ.

Подробнее о многолетнем и последовательном наступлении на крымскотатарскую культуру, национальную духовность будет сказано ниже, а здесь зададим себе вопрос, как могли реагировать на такую агрессию местные крестьяне? Им оставалось отвечать на неё только уходом внутрь собственных общин, вынужденной самоизоляцией, постепенным замыканием, герметизацией, превращением столь удивительно открытого ранее общества в закрытое<sup>1</sup>. Ведь иначе просто невозможно было выжить. Появилось недоверие ко всем новопоселенцам, чего раньше никогда не наблюдалось. Что понятно — это был печальный результат близких, слишком близких и насильственных контактов с русскими солдатами, казаками или греками-арнаутами, разбойничавшими в татарских деревнях с одобрения русских же властей. Оттого и крепла у каких-нибудь алупкинских татар уверенность в том, что «чужаки приходят в этот земной рай только для того, чтобы отыскать последнее убежище коренных жителей и уничтожить всё, что здесь имелось» (Clarke, 1810. P. 526–527).

<sup>1</sup> В дальнейшем им предстояло постичь ещё одну, не менее прискорбную реальность: отныне они были обречены выступать с тем же отрицательным знаком и среди европейских, христианских народов, об этом два столетия подряд будет неустанно заботиться русская империя.

<sup>1</sup> «А пока этот народ самозамкнулся, погружившись в сумерки своей истории», — такой общий вывод смог сделать немецкий исследователь уже через полвека усиленной колонизации крымских татар (Hoffschläger, 1955. S. 22).

### III. КРЫМ ВО ВТОРОЙ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕ НЕЁ

Если миллионы людей страдают одной и той же формой психической патологии, это ещё не делает их нормальными.

*Эрих Фромм, философ  
и психолог (1900–1980)*

#### 1. «Греческий проект»

План правительства Екатерины II завоевать часть Турции, включая проливы, нередко именовался в советской историографии вымыслом, «мифом» (Маркова, 1958. С. 53, 58) и даже ставился в один ряд с действительно апокрифичным «Завещанием Петра I». Между тем ныне имеются неопровержимо доказательные свидетельства о существовании такого проекта, важной частью которого было превращение Крыма в опорный пункт для агрессии против соседней страны.

Мысль о «воздвижении животворящего честного креста Господня» над Айя-Софией была, как мы видели, не нова. Давно и верно было замечено, что основные положения екатерининских планов отражали программу, заложенную в известный манифест, направленный Петром I черногорцам (1711 г.), да и в высказываниях самой Екатерины II они встречаются ещё в 1769 г. (Шебальский, 1868. С. 142). Но если ранее захват Босфора и Балкан рассматривался как одно из средств борьбы с турками ради освобождения православных подданных султана<sup>1</sup>, то теперь он становится стратегической самоцелью, то есть, агрессией в политических интересах исключительно России.

Заманчивым было решение такой задачи и чисто экономически: центральная часть России была относительно перенаселена, интенсификация ее хозяйства

<sup>1</sup> Трудно сказать, какая судьба постигла бы при этом свободное греческое крестьянство, но пример «освобождённой» Россией Молдавии не исключает распространение и на Грецию крепостного права российского образца. Пока же «Греки управлялись Портой в целом вполне справедливо. Эксцессы, и эксцессы жестокие, возникали именно по причине борьбы за независимость, как следствия взаимного ожесточения» (Зубов, 2005. № 8. С. 127–128).

была по внутривосточным причинам (крепостное право и др.) невозможна, оставалось продолжать экспансивный путь развития. Казалось, что расширение территории за счет Причерноморья, выход к Чёрному морю и далее в Средиземноморье, дали бы возможность расширения производства и выгодного, без посредников, сбыта хлеба<sup>1</sup>. Но идея такой экспансии издавна, по суровой внешнеполитической необходимости облекалась в идеологические одежды. Так, в 1768 г. граф А. Орлов писал: «И если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых из-под ига тяжкого, которое они терпят. И скажу так, как в грамоте Петр Первый сказал: а их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные, на прежние их жилища» (цит. по: Покровский, 1918. С. 17).

История этого плана, именуемого в литературе «Греческим проектом», такова. Сблизившись в противовес Пруссии, Франции и Турции с Австрией, царица обратилась в 1781 г. к подготовленному Г.А. Потёмкиным ещё до Кючук-Кайнарджийского мира «великому плану так называемой восточной системы», цель которого состояла в изгнании турок из Европы и образовании на освобождённом месте православного Греческого царства под скипетром великого князя российской императорской фамилии (Жигарев, 1896. С. 208). Проект этот был в 1782 г. детализирован в «Записке» упоминавшегося графа А.А. Безбородко, где указывались конкретные цели русской экспансии — захват Очакова и всей территории между Бугом и Днестром, Крымского ханства, части Греческого архипелага. Нападение на Турцию планировалось совместно с Австрией. Такой удар должен был заставить турок уступить нужные обоим союзникам земли, а также согласиться на создание из Молдавии, Валахии и Бессарабии буферного государства Дакии (Жигарев, 1896. С. 209; Маркова, 1958. С. 59; Проливы, 1999. С. 83) под наместнической властью Г.А. Потемкина или какого-либо великого князя из дома Романовых.

В случае если нападение пройдет удачно, предполагалось посадить на реставрированный греческий престол внука Екатерины II Константина (Соловьёв, 1862. С. 34–35; История СССР, 1939, Т. I. С. 722). Кстати, последний и имя-то свое получил (в 1779 г.) с символической «нагрузкой»; поэты той эпохи чутко это уловили: «Се Константин восстал! / ликуйте, мудры греки! / возобновятся вам прошедши сладки веки, / Афины мощною воздвигнет он рукой». Или: «Гроза и ужас чалмоносцев, / великий Константин рожден» (цит. по: Маркова, 1958. С. 70). Ожидалось, что великий князь «воспримет престол византийских василевсов и коронуется с литером Константин XII» (Зубов, 2005. № 8. С. 127). Для окончательного «огречивания» будущего властителя Греции, с островов Эгейского моря в Петербург были выписаны кормилицы, чтобы он был вскормлен греческим молоком — в самом буквальном смысле слова (Бейдилли, 2006. С. 54).

<sup>1</sup> Много лет спустя английский историк и социолог Арнолд Джозеф Тойнби (1889–1975), подвергнув анализу огромный исторический материал, придёт, среди прочего, к выводу о губительности такого пути для общества и экономики любой страны: «...экспансия сама по себе не является критерием роста. Когда общество, отмеченное явными признаками роста, стремится к территориальным приобретениям, можно заранее сказать, что оно подрывает тем самым свои внутренние силы» (Тойнби, 1991. С. 323).

В октябре 1782 г. проект был отправлен на согласование в Вену. Уже через месяц Иосиф II апробировал его с уточнением причитающейся ему части Турции (*Мартенс*, 1874. Т. II. С. 136). Но далеко не столь гладко пошло дело с осуществлением этого плана. И проблема заключалась не только в турецком сопротивлении, но и в настроениях подлежащих «освобождению» христиан. Проектируемое «Греческое царство» должно было бы называться так лишь по имени, будучи населенным преимущественно славянами, которые без энтузиазма относились к перспективе неминуемого при таком обороте огречивания (ясно, что ключевые политические, культурные и экономические позиции достались бы грекам). Далее, общепринятое мнение о неимоверных страданиях всех славян под турецким игом оказалось, мягко говоря, преувеличением. Иго угнетало прежде всего зажиточную часть османского славянства, например купцов, которые были поставлены в худшие по сравнению с их мусульманскими коллегами условия. Основная же, крестьянская масса христиан существовала вполне сносно — упадок их хозяйств был бы попросту невыгоден османам. И поскольку, как заметил Энгельс, «христианин-земледелец под турецким владычеством находился в лучших материальных условиях, чем где бы то ни было» (*Маркс, Энгельс*, Т. XXII. С. 32), то было бы странно, если бы он подвергал свою жизнь риску ради перспективы стать крепостным у русского или греческого помещика<sup>1</sup>.

Были у приверженцев проекта и внешнеполитические трудности. В Европе прекрасно понимали, что, приобретая власть над «Дакией», Россия в Европе неимоверно усилится, а это мало кого устраивало. Наконец, сам австро-русский антитурецкий союз был чреват расколом по причине двойной политики царицы — она скрывала от цесаря свой план аннексии Крыма до последней возможности, что не могло не оскорбить союзника. Когда же аннексия завершилась, то сенсационный факт существования «Греческого проекта» стал достоянием не только дипломатов, но и широкой общественности. Путешествовавший в 1780-х гг. по Крыму французский учёный говорит, что «к Ахтиару прикована вся политика России, да и внимание Европы тоже. Ведь было почти официально заявлено (а que trop manifestes) о том, что Восточная империя будет восстановлена рукой императрицы, что Екатерина II завершит дело, начатое Петром I, и над Константинополем взвьётся русский флаг» (*Baert*, 1797. P. 26–27).

«Греческому проекту» не суждено было осуществиться полностью и сразу, как о том мечтала Екатерина. Но его обсуждение, ставшее известным европейским политикам, принесло России в ближайшем — и отдалённом — будущем осложнения и даже прямой вред не меньшие, чем пресловутое «Завещание Петра I». Оттого и выглядят странно выводы советских историков о том, что «Греческий проект» был блефом, демонстративным актом, который должен был принести пользу Петербургу (*Маркова*, 1958. С. 61). Есть материалы, подтверждающие

<sup>1</sup> Кроме того, имелись примеры благодеяний, уже оказанных русской царицей её христианским новопопданным: многовековая молитвенная деятельность Успенского монастыря под Бахчисараем как раз и прекратилась в результате того, что на его паству обратила внимание Екатерина. Причём это был не временный перерыв в службах — монастырь был пуст, заброшен и загажен в течение многих десятилетий при уже новой, российской власти (*Webster*, 1830. P. 82).

факт активизации военной колонизации всего Новороссийского края именно в преддверии выполнения этого плана (*Загоровский*, 1913. С. 12).

«Отец» проекта Г.А. Потёмкин закладывал для него вполне реальный фундамент. Не ограничившись фантастическим по масштабам переселением на юг русских и нерусских колонистов (общее число их достигло 700 000 чел. — см: *Шебальский*, 1868. С. 140), князь проводил широкую милитаризацию новозавоеванного края. В эти же трудные для России годы Екатерина приняла в подданство Грузию — акт по политическому значению непростой, ведь между Россией и Грузией находились кавказские государства, настроенные по отношению к империи весьма опасно и недружелюбно. Но она сделала этот шаг, зная, какие трудности её ждут с завоеванием, удержанием и обороной новоприобретенных территорий. Факт малопонятный, если не учитывать, что теперь Россия наконец-то могла ударить по Турции с обоих флангов — дунайского и кавказского. Центральное же место в подготовке к осуществлению проекта отводилось, очевидно, Крыму и будущему Черноморскому флоту. Все эти меры и составили тот самый фундамент, о котором говорилось выше.

Повторяем, утечка информации о переговорах с Австрией принесла России большой вред, крайне насторожив все без исключения страны Европы. Действительно, если бы Константинополь стал третьей третьей российской столицей (наряду с Москвой и Петербургом), то это означало бы не только духовное господство России над всем восточно-христианским миром, но и стало бы решающим этапом к установлению её господства над Европой. Ведь в таком случае русские достигли бы безраздельного господства на Чёрном море, над Малой Азией и Балканским полуостровом. Это означало бы, что в руках у них оказалось бы орудие мощного политического давления на любую державу, имевшую торговые интересы в Причерноморье, ведь Проливы можно будет в любой момент закрыть.

«И, как результат — это море превращается в русскую военную гавань и место маневров исключительно русского флота, который в любой момент мог бы с этой надёжной резервной позиции делать вылазки через укрепленный Босфор и снова укрываться в этой гавани. Господство над Балканским полуостровом продвинуло бы границы России до Адриатического моря» (*Маркс, Энгельс*, Т. XXII. С. 18). И вполне можно согласиться с тем, что именно сильнейшее беспокойство, вызванное фактом подготовки «Греческого проекта», способствовало «развёртыванию русско-турецкой войны 1787–1791 гг.» (*Маркова*, 1958. С. 78) — войны, к которой оказались неготовыми как Турция, так и Россия.

## 2. Подготовка Россией войны

Стратегическая ценность Крыма после его аннексии становится всё более значимой во всей южной политике империи. Планы правительства уже не ограничиваются обладанием полуостровом, они гораздо обширнее. Крым был лишь «первой станцией на пути к Босфору» (*Мачанов*, 1929. С. 60), без захвата которого Чёрное море оставалось открытым для беспрепятственного международного мореплавания. «Варшава и Царьград были две мучительные мечты,

два манящих призрака, не дававшие спать Зимнему дворцу», — писал Герцен о внешней политике России той поры (Герцен, 1957. С. 87). И вывод этот подтверждён в работах, специально посвящённых этому вопросу.

Впрочем, некоторые авторы утверждают, что политика Екатерины II 1783–1787 гг. была исключительно мирной, её цель была «предотвратить назревающую войну с Турцией» (Дружинина, 1959. С. 186). Тем не менее факты и события говорят об ином: уже в начале 1784 г. переселенные на Юг государственные крестьяне и воинские поселенцы были приведены «под одно звание *воинских* (курсив мой. — В.В.)» (Скальковский, 1836. Ч. I. С. 167). Может возникнуть предположение, что цели при этом были сугубо оборонительные. Однако и здесь лучше всего говорят факты.

Во время знаменитой поездки Екатерины II в Крым «на Юге было сосредоточено громадное количество войск, в чём турецкое правительство не могло не видеть намерение России продолжать свою наступательную политику» (Жигарев, 1898. С. 226). Не только турки, но и европейцы были уверены в том, что Иосиф Австрийский и польский король заключили союз с царицей, направленный против Турции, предназначенный для захвата проливов и превращения Чёрного моря в «русское озеро» (Шнейдер, 1930. С. 43). Да и мемуары непосредственных участников подготовки и осуществления «шествия в Тавриду» прямо говорят о том, что оно было задумано как силовая демонстрация «перед Оттоманской Портой и её [европейскими] союзниками» (Брикнер, 1872. С. 4–5).

Политическая акция, которой без сомнения являлось «шествие», дополнялась и чисто экономической, по своей сути столь же наступательной. Дело в том, что урожай 1786 г. был в России неважным, а в 1787 г. вообще бедственно низким, начинался настоящий голод. Поскольку же Петербург готовился к масштабной военной акции (что дополнительно содействовало экономическому обескровлению среднерусского крестьянского хозяйства), то было решено приступить к вывозу сельскохозяйственной продукции из новозавоеванных южных областей, от неурожая не пострадавших (Геллер, 1997. Т. II, С. 206). Это была первая в истории Российской империи и Крыма, но далеко не последняя кампания снабжения Центра государства за счёт ограбления колонизованного Юга. Была налажена и опробована система каналов для бесперебойного выкачивания крымского зерна. Таким образом действующая армия получала в будущем гораздо более удобный по своей близости источник провиантирования. Что не могло ускользнуть от внимания сопредельной Турции, где уже находилось множество крымцев-эмигрантов, хорошо осведомлённых о ситуации на полуострове.

Далее, к этому времени Севастополь был сильно укреплен, и военное строительство продолжалось. Кроме того, ещё в марте 1787 г. к берегам Чёрного моря из внутренних губерний России были переброшены многочисленные войска, которые в преддверии путешествия императрицы неоднократно участвовали в масштабных манёврах, которые продолжались и во время «шествия», в присутствии как Екатерины, так и её высоких гостей из Европы. К слову, военные приготовления шли не только в Крыму. Так, в Херсоне 15 мая был спущен на воду 80-пушечный корабль «Иосиф II», а у Глубокой Пристани дооснащались 66-пушечный корабль «Святой Владимир» и 54-пушечный фрегат «Святой Александр» — это не считая кораблей, построенных раньше (История судостроения, 1994. С. 263).

И ещё одна деталь: по именному повелению Екатерины к моменту прибытия участников поездки (среди которых царица была не единственной венценосной особой) в Севастополь, на городских воротах была выбита надпись, поражающая своей откровенной агрессивностью: «Дорога в Константинополь» (Жигарев, 1896. С. 221). Далее, говоря о широком военном строительстве в окрестностях нового, возникшего на месте села Ахтиара города, русский историк заключает, что надпись сделали «с тем, чтобы вполне ясно обнаружить цель таких гигантских сооружений». Ведь уже в 1785 г. был готов штат флота, в который входило 12 линейных кораблей, 20 фрегатов и 23 мелких судна (Дружинина, 1959. С. 175).

Явные признаки подготовки России к наступательной войне были отмечены и на территории самой Османской империи, в её дунайских вилайетах. Аккредитованные там российские консулы постоянно вмешивались во внутренние дела государства. Турецкая администрация не без основания считала российские консульства «органами для возбуждения мятежей» (Бессарабова, 2008. С. 238). При этом Стамбул резонно требовал учреждения и своих консульств в городах Крыма — не только для адекватного политического влияния, но и, главным образом, с целью защиты прав единоверческого коренного населения полуострова. Эти требования постоянно встречали категорические отказы, которые официальный Петербург никак не обосновывал, да и не собирался обосновывать (Там же).

### 3. Война 1787–1791 гг.

Именно в 1787 г. Порте стало ясно, что «могущественный сосед, утвердившийся на берегах Чёрного моря, в Крыму, стремится овладеть всем побережьем и грозно стучится в Ворота Стамбула» (Лашков, 1889. С. 52). Причём, как свидетельствуют некоторые источники, немалое значение имели не только крупные враждебные акции северного соседа. Стамбульский двор верно оценил и резко отреагировал на такой явно провокационный, вызывающий шаг Петербурга, как «путешествие в Тавриду» царицы, пригласившей с собой к тому же других венценосных особ, из которых австрийский император к тому же был яростным врагом Турции (Геллер, 1997. Т. II. С. 206).

Именно это вызывающее «шествие» на земли, ещё столь недавно входившие в Османскую империю, во время которого была проведена вышеупомянутая демонстрация российских вооружённых сил, все остальные провокации петербургского двора<sup>1</sup> и «довели политическую ситуацию до взрывной точки» (Бейдили,

<sup>1</sup> Упомянем одну из них. Во время «шествия» Екатерины в Крым, а именно 22 мая 1787 г., ею был дан обед для своих гостей. Место для высочайшего пикника было выбрано на возвышенностях Инкермана, с видом на Севастопольскую бухту со стоявшей в ней эскадрой. Пикантность этому величественному зрелищу придавало присутствие побеждённого врага: тысяч татарских всадников, которых русские власти выстроили вдоль всей береговой полосы бухты (Бессарабова, 2008. С. 255). Явно согнанные насильно, эти недавние защитники Крыма были вынуждены неподвижно стоять под жгучим майским солнцем на протяжении всего неторопливого императорского обеда. И об этом новом унижении мусульман российской императрицей также стало известно их халифу в Стамбуле.

2006. С. 54. См. также: *Бессарабова*, 2008. С. 246). Поэтому вполне естественным стало предъявление Турцией России соответствующего ультиматума, в котором письменно требовалось прекратить нарушения Кючук-Кайнарджийского мира, а устно — вернуть Крым под её опеку. Был выдвинут протест и против разорения Россией северных турецких городов. Екатерина этот ультиматум отвергла. И уже 1/12 августа царский посол в Турции Я.И. Булгаков с полной уверенностью сообщал в Петербург, что «дела добром кончиться не могут», и что «скоро, думаю, начнут мучить меня конференциями, кои будут бесполезными» (цит. по: *Бессарабова*, 2008. Там же).

Однако «дела» лично для него обернулись хуже, чем он представлял: через несколько дней царский посол оказался в темнице замка Эдикуле. А затем Турция объявила, наконец, 17 августа 1787 г. России войну, инициатором которой в Порте выступал энергичный великий визирь Ходжа Юсуф-паша. Ошибкой турецких стратегов стал не этот, давно ожидаемый шаг, а nepозволительная задержка начала военных действий: султанские походные штандарты были выставлены лишь через шесть месяцев после официального объявления войны. В результате северный противник получил время, необходимое для подготовки кампании.

Царица намеревалась вести её, опираясь, среди прочего, на христиан Турецкой империи, однако неясно, кем внушённые ей надежды на эту «пятую колонну» не оправдались. Затем Екатерина прибегла к помощи Австрии. Но и султан привлёк к себе Пруссию, также, между прочим, настаивавшую на уходе русских из Крыма. И тогда военные действия разгорелись с невиданным размахом и жестокостью. Причём страдало в основном мирное турецкое население, ведь бои шли не в России. Приведем не самое яркое свидетельство осады одного мелкого городка, Анапы, в результате которой «Россияне превозмогли и, войдя в город, обагрили свой меч как в крови оттоманских воинов, так и женщин и младенцев невинных» (цит. по: *Пишчевич*, 1885. Кн. II. С. 141). Об этой резне узнали в соседнем Крыму, где многие татары издавна имели на Таманском полуострове не только знакомых, но и близких родственников. Та же судьба постигла гораздо более мощную турецкую крепость на Днестре Хотин.

Турки терпели поражения, несмотря на то, что уже в сентябре 1787 г., то есть ещё до того, как они начали военные действия, Россия лишилась своей главной морской силы на юге — Севастопольской эскадры<sup>1</sup>. Турецкий историк считает, что причиной неудачного для османов хода военных действий стала не только упомянутая задержка с наступлением, но и недостаточная подготовка армии

<sup>1</sup> Не дожидаясь выступления турок, российское командование направило в сентябре 1787 г. Севастопольскую эскадру к турецкой береговой крепости Варне. Но на море разыгрался пятидневный шторм, которому не могли противостоять ни корабли, ни малоопытные их команды: «Русские вообще скверные моряки, с ними никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Сначала набирают длиннородых азиатов в длиннополых одеждах, а потом удивляются, отчего корабли тонут!», — заметил иностранный путешественник (*Кюстин*, 2008. С. 254). Эскадру разметало по всему бассейну, корабли были полуразрушены, пропали без вести, один занесло в Босфор, где его взяли турки и т. д. Из всей эскадры в Севастополь вернулся лишь фрегат «Лёгкий». Как замечает историк флота А.Г. Сацкий, «Ни в одном сражении Черноморский флот не получил столько и таких серьёзных повреждений, как в этот драматический поход» (*История судостроения*, 1994. С. 264).

к ним, а также необходимость воевать на два фронта, «плохая обученность армии, отсутствие какой бы то ни было дисциплины, продолжение противниками действий и в зимние месяцы» (на что турки не были способны), а также то обстоятельство, что «действия флота Джезаирли Гази Хасана-паши на Чёрном море не принесли ожидаемого результата», что «не была предотвращена осада русскими крепости Очаков, имевшей важное стратегическое значение», в результате чего он был взят в январе 1789 г., причём, как и в годы войны 1735–1739 гг., здесь «погибло около 25 тысяч беззащитных жителей» (*Бейдилли*, 2006. С. 54–55).

Затем пришла очередь и крымцев. Речь шла о депортации, которая, по сути, началась ещё четырьмя годами раньше. Едва осевшие на крымской земле чиновники и помещики тут же, не теряя времени, принялись за вытеснение коренного народа туда же, куда были сосланы греки и армяне, а именно в заперекопское Причерноморье. Уже в 1784 г. «новые помещики и судьи, взятые из полковых офицеров, большей частью солдатские дети, разогнавшие и ожесточившие Татар... умыслили и исходатайствовали приказание отобрать у Татар оружие и скот их перегнать за степь, за Перекопом простирающуюся до берегов реки Днепра. Сие дало возможность, отбирая оружие, отобрать и всё, что можно было взять у Татар, коих скот угоняем был» (*Мертваго*, 1867. С. 180–181). Понятно, что часть крымцев, лишённых средств к существованию, последовала за своими стадами, в пустое пространство Дикого поля, где множество их погибло в первую же зиму.

По сути, первая тотальная депортация крымских татар (в Поволжье) стала готовиться сразу же после аннексии их родины. Предлог был избран самый простой — предотвращение якобы готовившегося восстания против российской власти:

«В 1784 году в августе месяце во время командовавшего войсками генерал-поручика Игольстрема тлевший между татарами дух возмущения вновь возродился, и конечно бы стремления онога без ошутительного действия не осталось, если бы движения войск в подозрительные места и высылка зачинщиков бунта через порты за границу не учинилась им преградою» (ИТУАК, 1987, № 26, С. 48). То есть восстание даже не началось, речь идёт о предположительном «бунте», тем не менее депортацию было решено осуществлять: «...от князя Потёмкина послан был в Казань для осмотра тамошних не обитаемых жителями мест бывший при нём здешней нации полковник Ибрагимович (судя по фамилии, из литовской крымскотатарской диаспоры. — *В.В.*), с намерением вывести туда из Крыма татар, но открывшаяся в том же году с Оттоманской Портой война сему благонамерению воспрепятствовала» (Там же).

Поскольку военных действий на полуострове не было, то кровавых расправ удалось избежать — их попросту не на кого было бы списывать. Но репрессии всё же имели место. Ещё в ноябре 1787 г. князь Г.А. Потёмкин, испытывая некоторые личные опасения насчёт выступления коренного народа в поддержку турок, если они высадутся на побережье, писал областному правителю В.В. Кавховскому: «...жители приморские в полуострове таврическом требуют особенного внимания и наблюдения; за ними нужно весьма скоро принять меры, чтобы, в рассуждении их, обезопаситься. Я считаю, что если фамилии их и имущество, в виду собственной их безопасности, будут взяты внутрь земли, то, в случае приближения к берегам войск турецких они не осмелятся и не в состоянии будут

делать важной им помощи. Я потому предписываю Вашему превосходительству ныне же сие исполнить близ Алушты и во всей тамошней окружности, приказав всем набережным обитателям отправить своих жён, детей и имение внутрь земл...» (цит по: *Лашков*, 1890. С. 82).

В.В. Каховский, хоть и не отметил «никакой наклонности между татарами к нарушению присяги», выступил с инициативой отправить прибрежных мусульман не вглубь Крыма, а, как упоминалось, за Перекоп, к мариупольским грекам. Одновременно, не дожидаясь ответа Потёмкина, он начал депортацию вглубь полуострова. Эта операция была поручена крымскотатарским мурзам на российской службе — коллежскому советнику Магмет-аге (в его власть были отданы жители прибрежной полосы от Балаклавы до Ламбата) и надворному советнику Батыр-аге (берег от Феодосии до Керчи). Первые из крымцев были депортированы в условиях наступившей зимы (декабрь 1787 г.) во внутренние районы предгорья и гор. Понятно, что никто не готовил для них убежища от мороза и снегопадов, и сколько при этом погибло детей и слабых стариков — доныне неизвестно (*Крючков*, 2009. С. 120).

Всего подверглись высылке 24 деревни, в которых насчитывалось 3214 души. Таким образом, пока уцелели береговые жители обширного участка от Ламбата до Керчи; до них очередь дошла в следующем, 1878 году. Выселение этой наиболее густо населённой части побережья началось также зимой, в январе месяце, и с теми же трагическими результатами. Причём этих крымцев рассылали в различные места, что было вполне понятно: меньшие возможности контакта бывших соседей исключали стговор между ними. Итак, южнобережцы оказались в Бахчисарае, Коуше, Озенбаше, Стиле, Коккозах, Уркусте и других мелких и мельчайших деревушках — в каждом селении не более ста человек.

Всего в январе 1788 г. было выселено ещё 2000 чел — из 15 крупных сёл между Феодосией и Керчью (в городах карателям делать было нечего — они были разорены практически полностью). И, наконец, в феврале были депортированы крымские татары из всех ранее не охваченных акцией береговых деревень и сёл между Алуштой и Феодосией, в Евпаторийском и Перекопском уездах. Общее число полностью обезлюженных таким образом деревень и сёл дошло до 60, а количество репрессированных крымских татар, живших вдоль берегов своей родины — 13 121 чел., после чего было доложено, что «...всё крымское побережье очищено от жителей». То есть землю буквально «очищали» от людей, отсюда уже и до знаменитого понятия *зачистка* рукой подать...

Эта акция была не менее варварской, чем депортации до и после того, предпринятые имперской армией. В условиях начавшейся зимы людей отправили практически на голое место, не предоставив им возможности перевезти топливо, запас зерна и фуража. Брошенные без охраны жилища подверглись разграблению, так что в лучшем положении оказались те семьи, где имелись крепкие мужчины, способные несколько раз сходить за перевал и спуститься к берегу за зерном или сушёнными фруктами на продажу. К весне начался настоящий голод; лучше всего о положении высланных говорят жалобы относительно того, что «по недостатку корму на новых местах они потеряли почти весь свой скот и лошадей, что не имеют ни посевов, ни сенокоса, и совершенно разорились; остаётся ещё надежда на сады и поэтому просят переселить их поближе к прежним своим местам...» (*Лашков*, 1890. С. 91).

Высылка продлилась практически до конца войны. После того, как с мая 1788 г. турецкий флот стал иногда показываться на горизонте, в прибрежных деревнях вообще запретили появляться. Лишь в 1790 г. в апреле было позволено прийти на свои участки для полевых работ, но летом снова где-то вдали показались турки и людей стали гнать в горы с наступлением вечера, каждый день. Окончательно вернуться удалось только в августе 1791 г., когда уже поздно было что-либо сеять, а сады с виноградниками пришли в дикое запустение.

Собственно, отношение русской армии к себе крымцы ощутили гораздо раньше. После массовой эмиграции, связанной с аннексией<sup>1</sup>, на полуострове остались лишь те из коренных жителей, кто вопреки логике надеялся на нормализацию обстановки, как только мир полностью восстановится. Таким надеждам не суждено было сбыться. Единственное, что прекратилось — это бессудные расправы с мирным населением, которые получали полное оправдание российских властей, привыкших списывать любое проявление немотивированной жестокости на войну. Но после её окончания, когда в отношениях армии с местными жителями было восстановлено какое-то подобие законности, то смекалистые «нижние чины» быстро научились её обходить.

Пример солдатам и матросам подали, как ни странно, самые знатные вельможи империи, не погнушавшиеся мелким грабежом нескольких совсем небогатых крымских татар. Позорная эта история имела место ещё в 1787 г., во время путешествия Екатерины II в Крым. Когда она остановилась в Севастополе, то байдарским татарам сообщили, что возможно высочайшее посещение одного из их сёл. Простые люди пришли в неописуемое волнение, и, по уверениям мемуариста, долго спорили о чести принять именно у себя великую «падишах-ханум». Императрица удостоила посещением лишь одну деревню, Скелю, точнее одну поляну близ неё (в сторону ручья Ал-су). Здесь была разбита палатка, Екатерина милостиво говорила со старейшинами и женщинами деревни. Тем временем свитские чины в сопровождении слуг и денщиков, незаметно удаляясь (очевидно, по очереди) в сторону деревни, стали шарить по крестьянским домикам в поисках «трофеев». В конечном счёте оказалось, что царская свита «отобрала у них все их съестные припасы, яйца, молоко, сыр, цыплят. Словом, было произведено ужасное опустошение безо всякого возмещения за убытки. Все лошади были отобраны у татар для двора, и до сегодня ещё ни одной лошади им не возвращено» (*Людольф*, 1892. С. 195).

Здесь можно было бы, конечно, вспомнить напрашивающееся хрестоматийное: «Матка, курка! Матка, яйки!», да уважение к историческим фактам не позволяет. Всё-таки *высшие* чины другой оккупационной армии, гитлеровской, по крымскотатарским курятникам никогда не шарили — этим их денщики занимались...

<sup>1</sup> Источников, из которых можно было бы сделать вывод о численности крымских татар, эмигрировавших непосредственно после аннексии, сохранилось крайне мало. По некоторым подсчётам, сделанным уже в новейшее время, следует, что если в 1783 г. в Крыму после аннексии и связанной с ней гибели массы мужчин их оставалось 53 800, то уже в 1785 г. число их снизилось до 46 500 человек (*Ибнеева*, 2006. С. 166). Очевидно, здесь имеются в виду лишь главы семей, отчего для вычисления общего числа крымских татар до и после этого двухлетия следует увеличить приведенные цифры примерно в пять раз.

Ну, а уж нижним чинам войска российского после этого и подавно стесняться было нечего. Грабили, оскорбляли и подвергали другому насилию крымско-татарских крестьян прежде всего матросы, которые вообще «пользовались большей свободой; они... добывали мясо непозволительным образом и продавали его дешевле. Бойня их была обыкновенно на Инкерманских высотах, в кустах, и отсюда мясо возили в город. Большие и обыкновенные здесь коричневые коршуны обыкновенно указывали место бойни, паря и кружась над ним» (*Паллас*, 1793, С. 91). Естественно, почтенный учёный по условиям царской цензуры не мог указать точно, каким именно «непозволительным образом» удавалось матросам заставлять разорённых войной крестьян расставаться с последней коровой или овцой. Однако нетрудно догадаться, что угроза оружием играла тут не последнюю роль. Позже дисциплина вроде ужесточилась, но тут же в Севастополе и других гарнизонных городах почти исчезло мясо. Причина понятна: «Доставка съестных товаров из соседних деревень очень незначительна оттого, что *татары боятся матросов* (курсив мой. — *В.В.*)» (там же). Так, уже в первые годы существования славного Черноморского флота, чётко и стабильно (на два века!) определилось отношение его личного состава к крымским татарам.

#### 4. Греческое переселение в Крым

Особо стоит сказать о переселении в южные области России греков-арнаутов<sup>1</sup>. Эти новые иммигранты (не путать с коренными греками-урумами, жившими в Крыму испокон века и почти полностью депортированными в 1779 г.) сыграли, к сожалению, слишком заметную негативную роль в истории крымскотатарского народа 1780-х гг. (как и их потомки в XIX, и даже в XX вв.). Выше упоминалось, что оттоманская ракия оказала немалые услуги российскому флоту в его военной экспедиции против турок накануне аннексии ханства. Тогда же, в 1775 г., для того, чтобы уберечь греческих сепаратистов, замеченных в действиях против турок, от возмездия со стороны османского правительства, было решено переселить арнаутов в количестве более 2000 чел. в оккупированные русскими войсками Керчь и Еникале, а также Таганрог. Они и были доставлены в указанные места в том же году на кораблях российской Средиземноморской эскадры (ук. соч. С. 35). С этих пор арнаутов вообще стали приглашать в Россию, единственно для того, чтобы заселять захваченные в результате русско-турецких войн земли (ук. соч. С. 102)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Арнаулы (от греч. «арванит» — албанец) — османское обозначение воинов-наёмников из христиан любой национальности. Его использовали в Европе в качестве этнонима в применении к албанцам (часто нанимавшимся в армию Порты), впоследствии даже невоенным. В России же значение термина «арнаут» расширилось, им обозначали всех греков, албанцев и южных славян, служивших в турецкой армии.

<sup>2</sup> Согласно некоторым подсчётам, всего в южную Россию двинулось около полумиллиона греков, образовавших крупнейшую переселенческую волну в Европе Нового времени (*Ари Г.Л.* Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII — начале XIX в. // Советская этнография, 1969. № 3. С. 86–87). В Крыму осело лишь несколько тысяч.

О том, что это был за контингент, в своё время высказался хорошо с ним знакомый губернатор Керчи, язвительный, но правдивый Ф.Ф. Вигель: «В семидесятых годах граф Орлов-Чесменский с островов Архипелага снял, так сказать, пену их жителей, что было в них худшего, и населил ими керченские пустыри, только что нами приобретённые» (*Вигель*, 1866. С. 87)<sup>1</sup>.

Здесь, пожалуй, стоит привести одно весьма ценное замечание современного австрийского учёного, посвятившего «греческой» проблеме специальную работу. Андреас Каппелер подчеркнул, что в отличие от всех других иммигрантов, прибывших в Россию в XVIII–XIX вв., лишь греки могли пользоваться безграничным доверием со стороны российского правительства. Лишь они, в отличие от протестантов-немцев или богемцев, католиков-армян или иудеев, переселявшихся из Европы в Россию, были православными. И, мало того, православными, более русских единоверцев пострадавших от мусульман. То есть вдвойне надёжными и преданными новому хозяину (в данном случае — хозяйке). И это неоднократно подтверждалось в дальнейшем (*Kappeler*, 2008. С. 352).

Поэтому в 1777 г., когда началось вооружённое движение крымских татар под руководством Селим-Гирея против Шагина и его российских покровителей, то в рейдах царских карательных отрядов с энтузиазмом приняли участие и греческие переселенцы. Сохранилось немало свидетельств тому, что это воинство «более прочих (курсив мой. — *В.В.*)» участвовало в тогдашних военных подвигах. Оно действовало в Керченском уезде, при покорении города Кафы, в горах (то есть в боях при Бия-Сале и Черкес-Кермене, а также на реке Каче. — *В.В.*), при защите Судака и в других местах с примерной неустрашимостью» (*Сафонов*, 1844. С. 218).

«Неустрашимость» эта заключалась в том, что греческий отряд «не шаяя никого из преданных (то есть предоставленных на расправу. — *В.В.*) ему мятежников жестоко побил... [и вырезал] оставшиеся в его руках семейства всех как бившихся с ними, так и безавших мятежников» (*Дубровин*, 1885. Т. II, С. 309). По свидетельству другого русского автора, «посланы будучи через Арабатскую косу к Каффе, они оттуда без милосердия гнали бедных татар вдоль всего южного берега и конечно загнали бы их в море, если бы мир не застал гонителей в Балаклаве, где остановясь они поселились и живут до сих пор, не любимые

<sup>1</sup> К сожалению, в современной науке история с греческим переселением подаётся, как и в советское время, в извращённом, антиатарском духе. Автор весьма солидной монографии утверждает, что эта акция была затеяна для «укрепления военного и политического могущества Юга России». То есть переселение «архипелагских греков, формирование из них Балаклавского батальона усиливало военно-политическое положение России на Крымском полуострове... Екатерина II щедро одарила (!) их землями на Южном берегу, предоставила им всевозможные льготы, убежденная в том, что только они смогут охранять берега Крыма в условиях гористой местности, переполненной враждебно настроенными мусульманами» (*Захарова*, 2001. С. 220). В этой фразе перепутаны причина и следствие. Россия не могла «усилиться» в Крыму, который в 1775 г. отнюдь не являлся российской территорией. А «враждебно настроенными» крымские татары стали, отчасти, и в результате зверств, которыми отличились головорезы-арнаулы, едва сойдя на крымскую землю и даже не успев освоиться на новом месте (см. ниже).

татарами, называющими их *арнаутами*» (*Муравьев-Апостол*, 1823. С. 102–103)<sup>1</sup>. Сохранились имена офицеров, руководивших этой бойней. Назову их, так как они оставили свой след в истории своего, и не только своего века (к потомкам одного из них я вернусь позже). Это были: майоры Христо Кирко, Дуси, Кандиоти, Напони (имена трёх последних не сохранились), капитаны Константин Тани, Андрули Лулудаки, Николай Папарупа, Константин Хандро, Афанасий Мандро, Анагности Папалекса, Зограф Папахристо и Михаил Стамати (Послужные списки, 2007. С. 230–235; *Шавшин*, 1994. С. 13). Имелись в этом воинстве и поручики, и рядовые, но их упоминать не будем, как простых исполнителей приказов своих майоров и капитанов.

Позднейшие историки, собрав воедино все свидетельства подобных карательных акций, нарисовали гораздо более конкретную, уточнённую картину репрессий в восставших татарских селениях. Но прежде чем перейти к изложению некоторых фактов такого рода, попробуем если не оправдать, то хотя бы объяснить их, отыскать причины, толкавшие людей на, прямо скажем, довольно необычные по уровню садизма действия.

Прежде всего замечу, что в Турции грекам жилось совсем неплохо. Как отмечал в своих записках один русский офицер, там побывавший, «На всех архипелажских островах, где не живут турки, жители управляют сами собой и, заплатив годовую подать, весьма умеренную, пользуются всею возможною свободою и даже такою, что можно смело сказать, ни под каким другим самым кротким правлением нельзя иметь равной» (цит. по: *Броневский*, 1819. С. 10).

Что же касается иных, не чисто греческих мест расселения (это, главным образом, города), то здесь ситуация была сложнее. Безусловно, турецкие власти, судебные и административные, не могли не подвергать православных некоторой дискриминации, особенно в межнациональных тяжбах, спорах вокруг мест для строительства, правах на занятие должностей и пр., где предпочтение отдавалось туркам. Но эта дискриминация практически неискоренима в любом несвободном обществе. В том числе и в единоверном, и в моноэтническом, где роль национального преимущества с тем же успехом играют деньги или личные знакомства. Впрочем, взяточничество процветало и среди христиан Османской империи, где нередко православные монастыри отдавались на откуп грекам же, а буквально «все духовные чины» греческой церкви доставались за деньги — об этом знали даже заезжие путешественники (*Вещняков И.И.* Путевые записки во Святый град Иерусалим и в окрестности оного в 1804 и 1805 год. М., 1813. С. 51).

Религиозные преследования, как система, не наблюдались вовсе. Турки относились к грекам как к «народом Книги», терпимость к которым диктовалась самой исламской доктриной. Причём эта толерантность была не напускной или чисто теоретической, а сугубо практической. Никто не принуждал греков сменить веру, что наблюдалось в ту же эпоху, к примеру, во Франции или Испании. С 1454 г., когда Мехмед Завоеватель заключил соответствующее соглашение

<sup>1</sup> Нужно упомянуть и о том, что волна греческих колонистов выплеснулась при Екатерине не только на крымские берега. Так называемая греческая военная колонизация охватила всё северное побережье Чёрного моря от Еникале до Бессарабии (*Kappeler*, 2008. S. 359).

с патриархом Геннадием, и вплоть до начала греческой революции 1821 г. случаев нарушения этого договора попросту не было. Или же число преследований за веру было исчезающее ничтожно (*Улуян*, 1998. С. 11). Более того, современный английский исследователь отмечает: «К чести османских правителей надо сказать, что они и не думали устраивать гонения на православную церковь — напротив, сделали её краеугольным камнем в деле управления христианскими подданными», а патриарх Константинопольский «приравнялся к высшим чинам султанской администрации» (*Николсон*, 2007. С. 222).

В чём же заключались «притеснения» греков, о которых говорится в трудах, посвящённых их истории? Перечислю их, по возможности, полно. Кроме уплаты упоминавшейся джизьи, от которой были свободны турки, греки не имели права жениться на мусульманках, носить оружие, ездить верхом, строить дома выше соседних мусульманских зданий или возводить церкви близ мечетей, носить мусульманскую одежду и, наконец, звонить в колокола без согласования с местным начальством. Однако и эти правила сошли на нет уже к концу XVII в., а следить за их исполнением турки перестали ещё раньше. Так, верховым-грекам было достаточно сойти с коня, завилев местного кадия или папу, а чалмы и другие детали турецкой национальной одежды некоторые христиане носили вообще невозбранно: «Здесь греки, столь долго жившие с турками, приняли их обыкновения носить чалмы и, кажется, мыслят подобно чалмоносцам» (*Броневский*, 1819. С. 25).

Во всяком случае, можно согласиться с выводом упомянутого английского историка насчёт того, что жизнь греков отличалась от быта в иных империях в лучшую сторону уже потому, что они никогда не знали ни крепостного права, ни инквизиции: «Думается, что греки вряд ли согласились бы променять свою жизнь под турецким иглом на бесправное существование миллионов крепостных в России, Франции или Центральной Европе. Ведь там феодалы — исключительно по собственному капризу — могли разлучать крестьянские семьи, подвергать позорному наказанию и даже предавать смерти их членов» (*Николсон*, 2007. С. 227).

Другое дело — уже упоминавшиеся незаконные поборы и взяточничество, от которых греки страдали, очевидно, сильнее турок. И эти традиции развращали не только турецкое, но и греческое общества. В отличие от фанариотов, сильных своей сплочённостью и взаимовыручкой, простые христиане нередко оказывались беззащитными перед корыстолюбием судей и иных чиновников, что постепенно изменяло греческую этнопсихологию. Греки уже не стремились к расширению своего хозяйства, довольствуясь самым необходимым — иначе можно было легко вызвать зависть власть имущих, которые наши бы способ отобрать излишки земли или строений. Самым безопасным промыслом в такой ситуации становилась торговля с её постоянно находившимся в обороте капиталом и не поддающаяся контролю и откровенным грабёжам, которым было почти наверняка подвержено любое процветающее крестьянское хозяйство: «Как можно было всерьёз на что-либо рассчитывать, когда урожай мог пострадать в результате набега турецких войск или быть конфискован турецкими чиновниками, в том числе и собственной знатью, находящейся на службе Османской Порты, в качестве подати» (*Янничи Ф.* Греческий мир в конце XVIII — начале XX в. СПб., 2005. С. 71).

Поэтому со временем всё больше греков при малейшей возможности бросали производительную деятельность, пускаясь в торговые операции, пусть даже



ничтожные по оборотам. Кроме того, для выплаты почти неизбежных в империи взяток нужны были деньги, а у крестьян, как известно, с наличными дела обстоят куда хуже, чем у горожан. Это был ещё один веский довод в пользу коммерческой и иной деятельности — по указанной выше причине. Те же греки, которые оставались на земле, обрабатывали её спустя рукава, что сказывалось и на самом ландшафте островов и материка, на общем состоянии страны, даже после провозглашения ею независимости от Турции: «земля изобильнейшая во всех отношениях, оставлена в почти диком её состоянии» (*Коробка Н.В.* Письма морского офицера. Ч. I. М., 1825–1826. С. 50).

Отсюда и упомянутые, не всегда позитивные перемены в чертах характера «новых греков», на которые обращали внимание путешественники XVIII в.: «У всех греков блистает ещё то остроумие (в смысле «острота ума». — *В.В.*), которое прославило Платонов и Демосфенов, с тем только различием, что они употребляют [его] на обман, притворство и лицемерие. Сребролюбие владевает над сердцами их... Греки стараются сыскать оное обманом; ежели видят случаи воспользоваться прибытком, рады жертвовать блеску металла самыми лучшими друзьями и родственниками» (*Коквицев М.Г.* Описание Архипелага и Варварийского берега. СПб., 1786. С. 70–71). Доходило до того, что ради нужных связей с влиятельными турками греки воспитывали своих дочерей с единственной целью: выдать выгодно замуж, пусть даже обрекая их на гаремное затворничество: «Корыстолюбие родителей, конечно, непростительно, но желание при тягостной неволе иметь в зяте сильного покровителя некоторым образом их извиняет» (*Броневский*, 1819. С. 68). Так элементарная защитная реакция человека в условиях несвободного общества превратилась за века турецкого владычества в его вторую натуру.

Ситуация, в которой оказались греки, в общем-то, была вполне мирной — насколько это возможно в условиях многовековой турецкой оккупации их земли. Здесь не было отмечено чудовишных репрессий, характерных для других областей империи: «В противоположность армянам, постоянно бунтовавшим, греки были мирны, отчего и жестокостей против них не было до XIX в. Напротив, из всех немусульманских объектов империи, они занимали самое привилегированное положение» (*Николсон*, 2007. С. 226). Положение стало меняться во второй половине XVIII в., и это было связано с Россией.

В ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. была проведена Первая архипелагская экспедиция. Её целью было отвлечение значительной части османских вооружённых сил с основных фронтов — крымского и дунайского. Одновременно планировалось войти в контакт с греческим населением Турции для создания ещё одного антитурецкого фронта, также на территории Османской империи. Ситуация для таких контактов сложилась весьма благоприятная: в заселённых греками районах империи разгоралось движение «клефтов». Это были своего рода партизаны, которые объявляли себя противниками османского режима. Они нападали на турецкие гарнизоны небольших селений, а в промежутках между военными операциями обирали, как почти все партизаны, своё же, местное греческое население. Именно поэтому их и стали называть клефтами (*греч.* «ворами»).

Клефты обычно действовали в горной местности, но от такого рода насилий не было избавлено и население прибрежных селений, там постоянно высажи-

вались с той же целью морские пираты — также греки. И те, и другие, «приобретшие в исторической ретроспективе романтический ореол борцов за свободу, по сути являлись разбойниками, от которых местное население страдало не меньше, чем турецкие завоеватели» (*Николсон*, 2007. С. 227). Османские власти боролись с ними, как могли, создавая из греческих добровольцев отряды «арматолов» (*греч.* «вооружённые»). Свообразие этой борьбы греков с греками состояло в том, что арматолы довольно часто обращались в клефтов, а последние, привлечённые стабильным казённым жалованьем, становились арматолами — и так по многу раз (*Улуян*, 1998. С. 13).

Понятно, что эти шайки могли стать идеальным материалом для вовлечения их российскими командующими в военные действия. Что и произошло в самый разгар войны в 1770 г., когда братья Г.Г. и А.Г. Орловы, встретившись с вождями клефтов, предложили им своё покровительство, а те широко развернули прорусскую пропаганду в пользу всегреческого восстания против османов (*Николсон*, 2007. С. 232). У Г.Г. Орлова было два греческих эмиссара — Манолис Саро и Георгиос Папазоли, которые и руководили этой кампанией. В 1770 г. началось Пелопоннеское восстание и морская война против турок. Тогда же немало греков нанялось в русский флот, причём не только матросами, но и офицерами. Один из них, Алекси Панайотис, даже командовал флотилией маломерных судов, которая в 1772 г. разбила турок в порту Дамиатта. На суше греки сражались хуже. В войске А.Г. Орлова они «плохо держали строй в бою, да и понятия о воинской чести, присущие клефтам, резко отличались от норм, бытовавших в европейских профессиональных армиях» (*Тикопуло Я.Ф.* Русско-турецкие войны 1768–1774 гг. и судьбы греков // Греческий проект Екатерины II. М., 1991. С. 15–16). Этот объективный вывод историка-грека не нуждается в разъяснении, русские командиры были не в состоянии отучить клефтов от их мародёрских или прямо разбойничьих обычаев.

В целом российская идея подъёма всегреческого восстания успеха не имела. Как мы видим, на материке экспедиционные войска были поддержаны лишь частью христианского населения, клефтами. Правда, поднялось и население 27 островов архипелага, но после удаchi российских морских сил у Наварина последовало поражение у Триполицы, и российская армия, действовавшая на материке, была вынуждена отступить к побережью. При этом греки, ранее поддерживавшие русских, расходились по домам. А затем турецкий губернатор Мореи жестоко расправился с повстанцами, использовав при этом отряды привлечённых им наёмников-албанцев. После чего начались русско-турецкие переговоры в Кючук-Кайнарджи, закончившиеся известным мирным договором 1774 г.

Но ещё до окончания этой дипломатической встречи греки прислали А.Г. Орлову делегацию с просьбой принять их в русское подданство. Это желание островитян, опасавшихся дальнейших репрессий со стороны турецких властей, было вполне осуществимо — российский флот господствовал в архипелаге до осени 1775 г. (*Нужнов Н.И.* Архипелагские экспедиции русского флота: яркие морские победы и их военно-политическое значение // Роль и значение флота России в борьбе за независимость Греции. СПб., 2000. С. 35).

В дальнейшей судьбе греческих инсургентов сыграла важную роль ситуация, сложившаяся к тому времени в Крыму.

Согласно упомянутому договору, Крым был объявлен независимой территорией, а Азов, Керчь и Еникале с прилежащими областями присоединялись к России. Понятно, что эти земли, заселённые крымцами (у которых пока ещё был собственный хан), не могли стать естественной принадлежностью империи до тех пор, пока там не изменится этнодемографическое положение. Поскольку на век Екатерины II приходился пик крепостничества и лично свободных крестьян, которые могли бы свободно переселиться на земли Новороссии было ничтожное количество, императрица решила привлечь к освоению этих земель иностранных переселенцев, всячески их поощряя (Арун, 2002. С. 9).

По-видимому, эта ситуация и склонила царицу к отправке А.Г. Орлову рескрипта от 28 марта 1775 г., в котором содержалось разрешение грекам селиться в окрестностях Керчи и Еникале. При этом будущим иммигрантам гарантировались права и свободы, о которых и мечтать не могли не только русские крестьяне, но и коренные жители Крыма, где никогда не существовало крепостного права. Грекам позволялось возводить на крымскотатарской территории церкви, владеть землями, безвозмездно предоставляемыми казной, основывать купеческие дома и даже создавать военные формирования со своими командирами — также на казённый кошт (Донской, 2007. С. 165).

Так архиепелагские греки в мае того же года оказались на крымской земле, но переселение продолжалось и позже.

Попробуем представить себе этих малообразованных по большей части арнаутов, которые всю свою жизнь на старой родине испытывали если не притеснения, то презрительную терпимость турок, частично ограничивавших их в стремлении к обогащению, считавших их людьми второго сорта. Причём в роли утешителей на старой родине всегда и неизменно выступали лишь османы-мусульмане. Кроме того, многие греки не только с детства воспитывались в этой туркофобной в народной основе традиции, но и сами сражались с османами, становясь клефтами. Никого иного, кроме мусульман, в собственном выборе трудной судьбы партизанов-налетчиков им винить было невозможно — с их точки зрения.

А на новой родине они снова встретили мусульман. Но уже неопасных, покорённых и беззащитных. Понять, что турки и крымские татары — это разные нации с различными представлениями о толерантности и древнем искусстве мирного сожительства, пришлецы, конечно, не могли по собственной неразвитости. Они поняли одно: судьба жалилась над ними, передав, наконец-то в их руки мусульман, естественно, для мести за многие века турецкого угнетения. И они по понятной причине не стали сдерживать в себе это чувство и превзошли в священной своём гневе даже наиболее свирепых притеснителей-турок у себя на родине. Командующий войсками, расположенными в Крыму, барон И.А. Игельстром вполне определённо говорил об «известной их ненависти против магометанцев» (Письма, 1881. С. 305).

Так крымские татары расплачивались за грехи турок, впрочем, это в их истории и раньше бывало... Греки не только охотно сражались с вооружённым противником во время татарских восстаний, а и «...кидались в татарские деревни, где оставались только жёны, дети и бессильные старики, — и там всех беспощадно убивали, а самые жилища предавали огню. Захватив беззащитных женщин, они насиловали их, а у беременных распарывали животы, выкидывая младенцев

собакам; и это делали нарочно в присутствии пойманных татар. Этих же последних жарили на вертеле, а других правоверных заставляли есть их мясо. Потом часть пленных отпускали для разглашения о сих жестокостях, чтобы тем держать в страхе непокорных Шагин-Гирею» (Уманец, 1887. С. 114). Не стоит приводить другие факты того же рода по единственной причине: все они удручающе однообразны, отчего способны оскорбить чувства не только возможных читателей-греков, но и любого христианина.

Императрица по достоинству оценила такую преданность своих новых подданных и позднее распорядилась расселить греков в Балаклаве и трёх крымскотатарских деревнях, откуда жители частью эмигрировали, а остальных выгнали силой — в ожидании новопоселенцев (Паллас, 1793. С. 139). При этом греки были щедро награждены татарской же землёй, поскольку они пользовались статусом уже не беженцев, а «иностранных колонистов» (Иванова, Маркова, 2004. С. 103). Но, очевидно, здесь играла заметную роль их служба императрице и вообще полезность в военных действиях (против чужих или своих, неважно), поскольку землю давали не всем арнаутам одинаково. Различие делалось в соответствии с воинскими заслугами.

Так, нижним чинам было положено по 15 десятин (потом прибавили ещё по 5 дес.), офицерам — по 60 дес., а командиру новоучреждённого греческого Балаклавского батальона<sup>1</sup> все 240 десятин, что для золотых южнобережных склонов было недвижимостью просто огромной. К тому же владельцы новых участков и их потомки навечно освобождались от земельной подати. Поистине, правительство ничего не жалело, чтобы укрепить в Крыму такой надёжный противовес коренному народу. Однако вскоре выяснилось, что Балаклава и обречённые деревни (Кады-Кой, Комары и Карань) никогда такими площадями не располагали, отчего с той же целью была проведена «зачистка» от крымских татар ещё шести деревень: всех трёх Керменчиков, Алсу, Лаки и Аутки (Шнейдер, 1930. С. 4).

Всего только новые хозяйственные земли личного состава батальона и пенсioenеров составили четырнадцать тысяч десятин. Правда, эти уголья греками практически не обрабатывались — по старой, ещё «турецкой» традиции. Они сдавали их в аренду местным крымцам и неплохо на этом наживались. Кроме того, они пускались и в другие земельные спекуляции. Так, очередной командир батальона Ф.Д. Ревелиоти скупал самые ценные участки на Южном берегу Крыма с целью их последующей перепродажи, не без выгоды для себя. В своё время им были проданы Ливадия (Л.С. Потоцкому) и Ореанда (А.Г. Кушелеву-Безбородко), за фантастические суммы, естественно (Шавшин, 1994. С. 20; Беззиский, 1901. С. 307).

В целом, обязанности этих греков весьма напоминали казахов. Они должны были отрабатывать все свалившиеся на них привилегии, формально — препятствуя контрабанде<sup>2</sup>, а на деле — удерживая «замирённых» туземцев в колониальной

<sup>1</sup> Первоначально он именовался Албанским корпусом, поскольку именно у албанцев наёмничество практиковалось наиболее широко. До включительно 1783 г. он квартировал в Керчи и Еникале, затем был переведен в Балаклаву и с 1797 г. стал носить её имя (Иванова, Маркова, 2004. С. 36).

<sup>2</sup> Для этого была организована постова служба вдоль побережья: «арнаутские посты», как их называли местные русские, и в 1830-х гг. выставлялись у Кикинеиза, Симсиза и в других местах (Монтандон, 1997. С. 45, 50).

узле, а также препятствуя их общению с внешним миром. Что они и выполняли в охотку, поскольку власть над вчерашними врагами-жертвами всегда сладка... Как и казаки, они в свободное от службы время понемногу занимались садоводством, мелочной и крупной торговлей в различных городах Крыма. Рядовые подрабатывали рыбной ловлей — понемногу, поскольку жалованья и земельной ренты на жизнь хватало. Как и казаки, они не чурались контрабанды, и «из корысти охотно ей способствовали, вследствие чего грозила постоянная опасность от чумы» (*Паллас*, 1793. С. 139–140). Кстати, именно по этой, «греческой» причине, с 1796 г. Балаклавская бухта вообще была закрыта для входа торговых судов — чтобы пресечь мощный поток контрабанды.

Присутствие греков на Южном берегу и в Восточном Крыму стало причиной не только сгона крымцев с земли, со временем появились и иные проблемы. Поскольку семьи арнаутов оставались на старой родине, и доставить их оттуда было то ли трудно, то ли не до того было, эти две тысячи здоровых мужчин принялись силою умыкать «татарок, где только находили к тому случай» (*Муравьев-Апостол*, 1823. С. 103). Этому массовому преступлению отцы и мужья похищаемых, обезоруженные российской властью, были бессильны препятствовать, хотя и пыгались. Уже в июле 1783 г. Г.А. Потёмкин был вынужден отправить секунд-майора Петровича «для защищения селений» крымских татар от распоясавшихся греков, которые и ранее «враждебно относились к татарам, теперь же особенно». (Письма, 1881. С. 262).

Кордоны батальонцев были установлены на всём протяжении наиболее изрезанного и сложного (в смысле контроля) берега, то есть, на протяжении 300 км от Севастополя до Феодосии. В дальнейшем предполагалось умножить их численность за счёт новых иммигрантов, расширив район контроля и в горную часть полуострова. Так, генерал-фельдмаршал князь А.А. Прозоровский рекомендовал кабинету Екатерины «Албанцев, как более способных к употреблению в горах, поселить в крымских горах, купив для этого участки земли у частных людей; а живущих в тех местах татар выслать в степь от Перекопа к Кинбурну» (цит. по: *Сафонов*, 1844. С. 227). Другими словами, это был план депортации за пределы полуострова уже не берегового, а горного населения.

Итак, мы не вправе утверждать, что таким именно образом была заложена основа многолетнему греко-татарскому конфликту, искусственно раздуваемому правительством. Он не был «искусственным» уже потому, что, как упоминалось выше, греки ненавидели крымских татар уже во время переселения на новые места. Но вот всемерная поддержка российской властью греков, явная дискриминация единоверной Россией их подданных-мусульман показали балаклавцам со всей ясностью, что любое их антиатарское выступление в будущем не то, что не будет наказуемо, но и заслужит поощрение<sup>1</sup>. И они не ошибались: с течением времени забота императрицы становилась всё более трогательной, распространяясь на всё новых и новых греков-иммигрантов.

<sup>1</sup> Рядовые и офицеры батальона, даже удалившиеся от службы и занимавшиеся совсем иными делами, например, торговлей, при совершении ими уголовных преступлений против местных жителей не подлежали юрисдикции обычного гражданского суда. Их дела разбирались «в самом батальоне или ближайшем ордонанс-гаузе» (*Сафонов*, 1844. С. 237), то есть сослуживцами, пусть даже и бывшими. На чьей стороне обычно оказывались симпатии судей в мундирах — нетрудно догадаться.

В марте 1794 г. последовал указ Екатерины о дополнительном переселении греков (главным образом, с острова Занты), на этот раз в Восточный Крым:

«1) Соизволяя городу Феодосии быть местом всегдашнего их пребывания, повелеваем отвести обществу их близ сего города добрую землю, полагая 60 десятин на каждую фамилию...

4) На обзаведение их отпустить им заимообразно 50 000 руб... на 10 лет без процентов...

9) Уволить от всех государственных податей и служб на 30 лет» (ПСЗ. Т. XXIII. № 17 191).

Здесь всё понятно без обширных комментариев. Крымский татарин, коренной житель этой земли никогда, ни до, ни после 1794 г. не имел 60 га на одно среднее хозяйство; да и мурзы далеко не всегда могли похвастаться столь обширным поместным участком — ведь речь идёт о Крыме с его ограниченной территорией, а не о немереных просторах Сибири. Теперь такие невиданные здесь наделы щедро раздавали безвестным греческим пришельцам — по-прежнему урезая и без того скудный крымскотатарский клин.

Для сравнения можно привести ещё один указ, также касающийся переселения в Восточный Крым, но затрагивающий интересы не греков, а крымских татар. Как явствует из его содержания, коренных крымцев, которым давали возможность вновь заселять ту же Феодосию, помещали с семьями отнюдь не в самом городе. С этой целью отводилось некое гетто, специально отведённое им за городской стеной (видимо, из военно-стратегических соображений), да и послабления в налогах татарам не предусматривалось, не говоря уже о беспроцентном льготном кредите, столь необходимом при переезде на новое место: «Приняв во уважение недостаточное население города Феодосии и желая усилить промышленность его, признали Мы за нужное... перевести в сей город до 200 семейств татар, [поселив их]... в особом магометанском форштате... с тем, чтоб до будущей ревизии уплачивали они все повинности по прежнему их состоянию» (ПСЗ. Т. XXXI, № 24 461).

После смерти Екатерины II на греков в Крыму стали, кажется, возлагать какие-то надежды в новом смысле: в связи с внешнеполитическими акциями России. Как отмечали зарубежные аналитики той поры, «Русские работают сейчас над новым заселением Крыма, который они в последнюю войну чудовищно опустошили. Наибольшие старания они прилагают к переселению сюда множества греческих подданных, и уже известное число этих авантюристов получило здесь пристанище. Таким образом, приуготовлены все возможные средства, потребные для завоевания европейской Турции, поэтому и все выстроенные в Херсоне близ Днепра корабли переведены в Ахтиар» (*Chevaller*, 1801. S. 187).

Действительно, в феврале 1798 г. был издан именной указ, в котором будущим грекам-переселенцам предоставлялись в Крыму льготы, крымцам и не снившиеся ни до, ни после этого замечательного акта. Его населённость на изменение этноконфессиональной ситуации на полуострове в пользу христиан не скрывалась. Иммигрантам, призванным заместить коренной народ, «...особливо же Грекам, яко единоверцам и древним сея страны обитателям (?), дарованы различные права и преимущества, между которыми главнейшие: ...2) Всякому поселенцу будут безденежно отведены в городах места под построение, а в сёлах — участки свободных

земель; всеми построенными или купленными домами, садами и сёлами поселенцы владеют на праве дворянства. 3) Феодосия назначается преимущественно для Греков, Евпатория — для других наций; кто в сих городах поселится, тот, кроме земли, может пользоваться камнем от древних развалин и лесом из казённых дач горной части Крыма... 6) Переселенцы освобождаются от дачи рекрут, постоев и никогда не могут быть укрепляемы (то есть закрепощаемы. — В.В.) в крестьянство...» (Поселения, 1864. См. также ПСЗ. Т. XXV. № 18 373).

Льготы были, как видим, уникальные. Раздача их продолжалась и в дальнейшем, при новых царях и губернаторах. В 1804 г. была узаконена практика, применявшаяся в 1780—1790-х гг. Переселенцам из Европы предоставлялось освобождение от любых податей тоже на 10 лет. Им выделялось 300 руб. в год на хозяйственное обзаведение с рассрочкой на 10 лет. Каждой семье бесплатно выделялось 60 десятин крымской земли (Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII — начало XX в. М., 2007. С. 48). Затем, уже в 1818 г. грекам было подарено ещё 14 152 десятины крымской земли. После чего они, то есть всё же иностранцы, стали скупать для её обработки *русских крепостных* (Вигель, 1866. С. 98). Нечего и говорить, что это было не только незаконно, но и оскорбительно для как-никак имперской (то есть, титульной, как сейчас говорят) нации.

Такая безнаказанность была бы слишком сильным искушением и для более уравновешенной и мирной диаспоры. Греки же буквально хватались за любую возможность узаконенного насилия над жертвами своей татарофобии, использовали малейшие признаки недовольствия коренных жителей своим положением для вооружённых рейдов вглубь полуострова, а иногда — и резни. Это было отмечено в упомянутую войну с Турцией<sup>1</sup>, а также в моменты обострения внешне-политической ситуации (например, в 1807 г), в войну 1812 г. и позже. При этом для властей греки были предпочтительнее даже известных головорезов-казачков, ранее время от времени вторгавшихся в Крым. В отличие от донцев, кубанцев или уральцев, у служащих батальона было «знание татарского языка, знакомство с местным положением края, удивительная ловкость в быстрых наездах» на мирное, невооружённое, явно беззащитное местное население (Ханацкий, 1867. С. 230). Другими словами, это были образцовые, то есть профессиональные и беззаветно преданные русскому хозяину, потомственные каратели.

Уходя далеко вперёд, следует сказать, что в дальнейшем отношение греков Крыма к местным татарам стало неоднозначным. Точнее, сами греки разделились в этом смысле на две части. Одни из них, в основном необразованные крестьяне и рыбаки, остались, в целом, на прежних позициях (что и проявилось в расправах над татарами в годы Гражданской войны). Другие же крымские греки, в том числе и эмигранты XIX в., сумевшие подняться по социальной лестнице довольно высоко, стали в большей части своей людьми образованными, и уже поэтому весьма

<sup>1</sup> Как отозвался настроенный враждебно к коренным крымцам автор, греки «содержат татар в должном повиновении, [среди прочего] в последнюю войну с турками против возмущившихся татар в Крыму... отличили они себя храбростью и усердием к усыновившему их новому отечеству» (Броневский, 1822. С. 29—30). Проще говоря, они снова продемонстрировали такие образцы зверства, что и русские были потрясены, а в песнях горных татар той поры греков называют исключительно «людоедами», что, возможно, и не совсем метафорично (Ханацкий, 1867. С. 212, 278).

терпимыми к своим мусульманским соотечественникам. Так, грек Константин Месакуди, основавший в 1867 г. в Керчи табачную фабрику своего имени<sup>1</sup>, с удовольствием приглашал к себе на работу крымских татар. Впрочем, здесь, возможно, играла роль не столько его терпимость по отношению к иноверцам, сколько уверенность в добросовестном труде и дисциплинированности местных мусульман, чем, в общем-то, не всегда отличались его соотечественники, прибывшие в Крым со старой родины одновременно с ним или гораздо ранее.

## 5. Первый великий исход крымских татар

Возросшие с началом войны безжалостность и массовость царских репрессий, а также голод, вызванный насильственным перемещением крымских татар и конфискациями их имущества и скота (а такой опыт за краткое время господства русских уже накопился), стали основной причиной массового бегства коренного народа из Крыма. Но наиболее дальновидные из крымцев — это были не только умудрённые жизненным опытом политики, но и многие муллы, мурзы, просто неглупые старики из народа — понимали, что в дальнейшем добра от русских ждать нечего ни в духовном, ни в иных смыслах<sup>2</sup>. Российские историки разных эпох согласно обвиняли эту интеллектуальную элиту в подстрекательстве крымскотатарских масс к бегству за рубеж. Ситуация знакомая, пророков всегда преследовали. А самые мрачные пророчества насчёт будущности татар под властью русского царя начали сбываться уже в 1798 г., когда в Петербурге был опубликован проект Положения о неоседлых народах. В этом документе вместо термина «иноверцы» был использован принципиально иной — «инородцы».

Замена примечательная. Если ранее какой-нибудь мусульманин или иудей, принявший православие, становился практически вровень со славянскими своими соотечественниками, то теперь он с рождения до гробовой доски считался существом второго, а то и третьего сорта. Он попросту не мог стать в этой стране, в этом окружении полноправным, нормальным человеком! Это был откровенный, нескрываемый расизм по признаку не веры, а крови. А то, что он не только укоренился, но и стал успешно развиваться на российской почве в XVIII в. —

<sup>1</sup> Это было одно из крупнейших промышленных предприятий в Крыму как того времени так и позже, до конца XIX в., известное и за рубежом (Kappeler, 2008. S. 352). Папиросы знаменитой марки «Месакуди» шли на экспорт, а также поставлялись к российскому императорскому двору.

<sup>2</sup> Первый год после аннексии новые власти не чинили для эмиграции никаких препятствий. Но уже в 1784 г. выезд стал принимать такие размеры, что ему было решено положить конец, причём весьма жёстко: «Потёмкин велел никому без дозволения Облестного правления не отлучаться от своего дома» (РГВИА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 66. Л. 32). Поэтому уже во время путешествия Екатерины II многие татары подавали прошения лично ей, так как местные власти неизменно им отказывали в выезде. Толку от этих прошений было мало. Как записал сопровождавший Екатерину австрийский император, «Она очень рассердилась и хочет, кажется, выпроводить их всех вон, рассчитывая, что их легко будет заменить колонистами» (Письма Иосифа, Т. 1. С. 369). Однако впоследствии Екатерина, как будет показано ниже, от этой мысли отказалась.

факт бесспорный. В дальнейшем эта замена понятий осуществлялась всё более широко, пока не стала повсеместной, не обрела силы и постоянства общероссийской традиции (Подробнее см. в: *Каннелер*, 1999. С. 125).

Пока шла война, население относилось к упомянутым пророчествам более или менее спокойно. Но при известии о Яском мире<sup>1</sup>, положившем, как известно, конец любым, даже самым скромным надеждам на восстановление древних традиций, народные массы уяснили себе, что никаких улучшений в их судьбе ждать не приходится. Решение эмигрировать было вполне естественным, особенно для ногайцев, этих степняков-скотоводов, у которых был изъят единственный источник существования. Но были причины и духовного порядка. Муллы, разочарованные в пустых обещаниях царицы сохранять былое равенство мусульман и русских, кое-где призвали паству оставить землю отцов ради сохранения жизни и свободы совести.

Естественно, в такой обстановке не имело смысла оставаться и наиболее одарённым, просто образованным крымчанам, духовной элите нации. Какая перспектива могла теперь, в русском царстве, открываться перед этими интеллигентами, людьми совершенно иного духовного и психологического склада, чем прибывавшие в Крым чиновники и офицеры? Пагубное воздействие последних на культуру коренного народа, её неизбежное подавление казалось несомненным — это был вопрос только времени. Собственно, и вопроса-то не было — культура уже рушилась, причём сразу во всех её сферах.

Именно тогда из-под её обломков стали выбираться люди, о которых идет речь, то есть те, для которых она была всем, для которых зрелище её разрушения стало невыносимым. Мы не знаем, сколько их было, интеллигентов, оставивших мир, которого не стало. Лишь изредка до исследователя доходят их забытые имена, естественно, далеко не все. Вот одно из них: Ахмед Кямиль Кырми (ум. 1821). Он был известен в Крыму как выдающийся композитор, музыкант-исполнитель, певец, поэт. Эмигрировав в Турцию, он не затерялся среди сотен тысяч соплеменников, рассеявшихся по равнинам и предгорьям Румелии и Анатолии, но был принят в столичную Академию Эндерун. Разнообразные дарования крымского беженца позволили ему подняться до высокого поста *муэдзинбашии* (глава и распорядитель придворных муэдзинов), он стал султанским имамом и одновременно ведущим мудеррисом столичных медресе. Естественно, он был лично знаком с султаном Селимом III и даже наставлял его в течение некоторого времени в искусстве музыки. К концу своих дней он заслужил высшие учёные

<sup>1</sup> После ряда успешных действий русских войск, в Яссах 29,12.1791 г. / 9.01.1792 г. был заключен мир, подтвердивший акт 1783 г. относительно аннексии Крыма, Кубани и других турецких земель. В то же время Ясский мирный договор подтверждал условия Кючук-Кайнарджийского договора, за исключением его положений о русско-турецкой границе. Теперь она устанавливалась не по берегам Южного Буга, а по Днестру. Россия же возвращала Турции захваченные ею в последней войне территории Молдовы и Бессарабии. Таким образом империя закрепила за собой всё Черноморское побережье от Днестра до р. Кубани, включая Крым (Договоры, 1869. С. 41—49). Ясский мир позволил России, среди прочего, безбоязненно колонизовать бассейн Нижнего Днепра, огромной территории, где вскоре будет основана Одесса, будущий торговый центр Юга и база для силового давления на Чёрном море.

звания, кадиаскером Румелии и получил другие важные административные посты (*Абдульваапов*, 2001. С. 76).

Такая судьба крымского эмигранта — не исключение. Другой крымец, бывший кадиаскер Крыма Фейзулла-эфенди вскоре после прибытия в Турцию стал муллою Айя-Софии, затем главным имамом Багдада, ещё позже — стамбульским кадиаскером, и, наконец, шейх-уль-исламом империи, войдя в число официально признанных *улемов* (здесь — высшее учёное звание). Последовавший за ним в Турцию старший сын Абдулла Рамиз-эфенди (ум. 1813), не менее одарённый, чем отец, пошёл по несколько иному пути. Прогрессивный политик, он сумел объединить турецких единомышленников, сформировав кабинет министров правой ориентации, возглавив при этом военно-морские силы империи. В дальнейшем он неоднократно вступал в доверительные отношения с российскими военно-политическими лидерами (фельдмаршалы А.А. Прозоровский, М.И. Кутузов и др.), видевшими в его политике конструктивное начало и открыто ему симпатизировавшими, а генерал-губернатор Одессы и Новороссийского края герцог Ришельё<sup>1</sup> писал о нём: «Из всех турок, которых я знал, он обладает наибольшим умом, познаниями и честностью» (*Абдульваапов*, 2001. С. 77).

Вот таких людей *тоже* терял Крым в годы первого великого исхода, и такая утрата *тоже* была частью разрушения национальной культуры крымскотатарского народа.

Массовый выход коренного населения с территории оккупированной родины, вызванный репрессиями, — явление, в общем-то, нередкое и вполне предсказуемое. Другой вопрос, как к этой демографической катастрофе относятся оккупационные власти? Ниже мы обсудим тему эмиграции, а пока лишь заметим, что в России такая проблема никогда не относилась к числу государственных, в том числе и веком позже, да и вообще вплоть до наших дней... Эмиграция же из Крыма в XVIII в. приняла массовый масштаб уже во второй половине 1783 г. Причём число эмигрантов превосходило то, чего ожидали русские власти, на несколько порядков.

В октябре этого года у Кинбурна ожидалось прибытие 95 крымскотатарских семей, не имевших возможности оплатить переезд по морю и поэтому отправившихся за рубеж в собственных повозках под охраной и в сопровождении капитана Саблина. На деле же к этой крепости явилось около 10 000 татар, которых, тем не менее, тут же выпустили, за что распорядившийся об этом барон О.А. Игелстром получил личную благодарность Г.А. Потёмкина (Письма, 1881. С. 289). Всего же только в этом году выехало около 50 000 крымских татар (*Baert*, 1798. S. 65).

В дальнейшем это число многократно возросло. Поскольку от карательных рейдов более всего, как это бывало и ранее, пострадали степные татары, то этих ногайцев полуостров прежде всего и лишился. Так, уже в первые годы существования «русского Крыма» его оставило 4000–5000 татар, эмигрировавших в Турцию; в старой (татарской) части Акмесджита из 331 дома, принадлежавшего крымцам, уже в 1783 г. «84 оказалось пустыми за выездом владельцев их в Турцию. Опустевшие дома поступали в казну и безвозмездно отдавались или весьма

<sup>1</sup> Герцог Арман Эммануэль дю Плесси Ришельё (1766–1822) был губернатором Новороссии с 1805 по 1814 г. Подр. о нём см. в след. главе.

дешево продавались пришельцам, вкраплявшимся в самую гущу татарского города» (Крым, 1930. С. 67).

Эмиграцию связывают с именем ногайского имама Мансура, который в 1785 г. выступил на территории бывших северокавказских и кубанских владений крымских ханов с проповедями, направленными против российских властей. Имелись сведения, что он, вступив в контакт с турецким султаном Абдул-Хамидом I, стал готовить освобождение этих территорий, а также полуострова, где местные муллы ожидали его прибытия. Это были лишь слухи, но узнав о них, статский советник В.В. Каховский (правитель Таврической области в 1784–1788 гг.) предложил крымскому муфтию Мусалафу-эфенди следить за «духовенством и всеми теми, кого узнает в таких вредных разглашениях» (цит. по: *Ибнеева*, 2006. С. 175).

Г.А. Потёмкин же, стремясь ко всемерному ослаблению влияния крымских вероучителей на население, в январе 1787 г. указал В.В. Каховскому «о муллах сделать положение сообразное числу жителей, а излишним позволить [перейти] в какое состояние похотят». А летом князь уточнил: «Муллы, эфендии и шейхи, в настоящем положении татар лишась прежней их доверенности, не преминут, конечно, в неприсоединённом народе разсеять разные клеветы... Чтобы отвратить и последнее влияние суеверного духовенства, в народе... Вашему Превосходительству предписываю принять пристойные меры к удалению отсюда помянутых толкователей... законов». И уже 17 июля 1787 г. Потёмкин мог сообщить Екатерине, что закончена высылка «...татарских духовных и прочих с их семействами через Феодосию [числом] 406, а Козлов 129 человек». Оставшихся же, из тех, кто агитирует за выезд, как ещё через полмесяца приказывал князь В.В. Каховскому, следовало брать под стражу и в качестве наказания «употреблять в работу», очевидно, каторжную (цит. по: *Ибнеева*, 2006. С. 175, 176).

Таким образом, начавшейся в 1783 г., достигшей своего пика через два года и продолжавшейся в последующее время эмиграции русские чиновники отнюдь не препятствовали. Более того, есть множество свидетельств того, что они «даже подгоняли бежавших, завладевая бросаемой татарами на произвол судьбы землею» (*Гальденберг*, 1883. С. 70). Но и гораздо более ранние исследователи вопроса пришли к вполне обоснованному выводу о том, что «Первое переселение обусловливалось волей на то князя Потёмкина...» (*Сумароков*, 1803. С. 161).

Современники лучше учёных грядущих времён знали, кого в первую очередь винить за наступившее разорение и запустение Крыма. Естественно, они не смели назвать главного виновника (точнее — виновницу) всего произошедшего. Но уже ближайший помощник Екатерины получил положительное: «Таковые два случая (то есть депортация христиан и понуждение мусульман к эмиграции. — *В.В.*) уготовали совершенное истребление Тавриде и отсюда-то начинаются правильные упреки князю Потёмкину, который... учинил погрешность неосмотрительной раздачею земель. Оныя, вместо небольших участков полезным поселянам, назначались тысячами десятин или боярам, оставившим их без внимания, или неизвестным пришельцам, не ведающим домостроительства и лишённым всяких средств» (ук. соч. С. 161).

Но были и другие современники, целиком обвинявшие в случившемся самих жертв народной трагедии. Так, правитель Таврической области В.В. Кахов-

ский в письме от 07.06.1787 г., направленном Таврическому областному правлению для циркулярного ознакомления и последующего обнародования, тужил о том, что «Невзирая на матернее милосердие и беспримерное снисхождение, оказанное от Ее Императорского Величества всем жителям Тавриды... отыскались ныне между оставшимися тут татарами ещё таковые, кои не чувствуя излиянные на них милости, осмелились утруждать Ее Императорское Величество просьбою об увольнении их выехать за границу сей области. А как по присоединении страны к Российской империи Ее Императорское Величество всемилостиво пожаловала свободу всем татарам тут остаться или выехать за границу, и многие из них действительно выехали, а другие остались безмятежно в прежних жилищах и торжественно присягнули в верности Ее Императорскому Величеству, то отыскавшиеся ныне из них просители о увольнении за границу не могут признаны быть иначе, как вероломцами и нарушителями данной клятвы. И для того по повелению... генерал-губернатора Г.А. Потёмкина велено всех оных татар... яко недостойных подданных выгнать из пределов Таврической области» (цит. по: Об изгнании крымских татар... // Таврические губернские ведомости. 2 ноября 1868. С. 402–403).

Английский же современник обращал внимание на последствия эмиграции, куда более объективно замечая, что «Крым, который никогда не был достаточно плотно заселён, теперь насчитывает ещё меньше жителей, чем [когда-либо] раньше» (*King*, 1788. S. 217). Поразительно, но уже тогда вдумчивые исследователи связывали этот исход не только с военными действиями, смутой Шагин-Гирея и начавшимся ограблением татарских крестьян, но и напрямую с первой (христианской) депортацией крымского населения, о которой речь шла выше: «кто не получил никакой пользы от этого выселения, так это — мусульмане; и они ушли в другие местности. Вот так эта земля и обезлюдела (von Menschen entblöst worden)» (*King*, 1788. S. 217)<sup>1</sup>.

Между тем начавшийся исход приобрел огромный размах, пустели не только сёла, но и города, некоторые полностью. Так, в Балаклаве не осталось ни одного татарина (*Бартольд*, 1965. С. 354). Эхо крымских событий, наконец, донеслось до Петербурга, и там забила тревогу. Было ясно, что край покидает население, единственно способное плодотворно трудиться в уникальной географической среде Крыма — на счёт переселенцев правительство не обольщало: они показали весьма низкую способность к ассимиляции на чужой земле. И, наконец, массовое бегство тысяч и тысяч новых подданных императрицы могло дать ценные козыри в руки её европейских соперников, и без того неустанно разоблачавших хищническую суть последних приобретений России.

<sup>1</sup> Большинство крымских татар были вынуждены эмигрировать морским путём, о чём говорит множество источников. Российские же авторы уже в XIX в. искажали этот факт, доказывая, что люди уходили, «забравши с собою огромные табуны лошадей, рогатого скота и овец» (*Андреевский*, 1892. С. 19). Что никак не укладывается в реальную картину: на мелких судёнышках, даже на кораблях приходилось дорого платить за каждого пассажира, да этих мест и для людей-то не всегда хватало. Такие нравственные изломы (я упомянул лишь самый явный) дорого обходились оставшимся на родине крымцам. Теперь во всех хозяйственных неурядицах и человеческих жертвах, почти неизбежных при любом массовом исходе, вину можно было возложить на крымскотатарский народ.

Но имперская бюрократическая машина работала медленно, переписка между департаментами длилась не месяцы — годы.

Поэтому только в 1792 г. местные власти получают распоряжение об улучшении жизни крымцев. Но, во-первых, при всём желании ликвидировать проблему, эта мера запоздала, ибо невозможно было бы одним махом «парализовать действие тех причин, которые поддерживали эмиграционное движение» (Лашков, 1897. С. 128). Во-вторых же, на месте, то есть в Крыму и желания-то такого не наблюдалось. «Малая часть их (крымских татар. — В.В.), что ещё осталась, мечтает выехать в Азию, ни о чём другом. Им дают в этом свободу, так как [власти] чувствуют, что им будет стоить слишком больших усилий, согнуть их под новую форму управления (unter die neue Regierungsform zu beugen). Всего их осталось ныне 40 000 семей. В Петербурге говорили, что всего их, вместе с Кубанью — 50 000—60 000 семей. Ничего не могу об этом сказать, настолько мало я видел людей на этом полуострове, пока пересекал его во всех направлениях...» (Baert, 1798. S. 65). А вскоре их стало ещё меньше: началась новая волна эмиграции, и в действие вступил известный принцип домино: отъезд одной деревни вселял панику в соседние; снимались с места целые степные рода и кланы...

Об их количестве полной ясности не было и нет. Один из исследователей пишет: «Всего выселилось около 300 000 крымских татар и заперекопских ногайцев» (Мартыанов, 1887. С. 2). Но Сумароков утверждает, что если до аннексии в Крыму жило около 400 000 татар, то к концу века полуостров покинуло не менее 300 000 человек (Сумароков, 1803. С. 160). Попытки такого рода подсчётов делались учёными и позже, на основе информации современников эмиграции. Скорее всего, не совсем полны, с нашей точки зрения, расчёты А.И. Марковича, пришедшего к иному выводу, а именно, что приблизительно из полумиллионного населения полуострова крымских татар выехало чуть менее 100 000 (1928. С. 389), то есть пятая часть всего населения. Если даже учесть выселенных Суворовым 31 000 христиан, то выходит, что Крым потерял в эти годы до четверти своего коренного населения, а это выглядит явным преуменьшением.

Ещё две цифры: по справке Новороссийского военного губернатора В.В. Каховского, в конце XVIII в. на полуострове насчитывалось 500 000 душ населения (Куртнев, 1998. С. 28), а в 1816 г. по столь же официальной и «закрытой» справке осталось всего около 150 000 (РГИА. Ф. 560. Оп. 7. Д. 28. Л. 9). Правда, тут необходимо учитывать и эмиграцию более позднюю, 1812 года. Тот же В.В. Каховский писал дефтердарю Мегмет-паше в 1770 г., то есть до начала Первой, «аннексационной» эмиграции, о 500 000 проживавших в Крыму местных жителях, а по ревизии 1802 г. насчитывалось всего 99 195 душ (Лашков, 1897. С. 125). То есть утраты населения в результате физического уничтожения и, главным образом, эмиграции, равнялись 400 000 чел. Эту цифру гораздо ранее Ф. Лашкова называл и Тунманн. Таким образом, приходится согласиться с тем, что всего Крым покинуло до начала XIX в. около  $\frac{3}{4}$  населения полуострова (Крым, 1930. С. 57).

Это соотношение между количеством беженцев и оставшихся на родине их соотечественников позволяет отнести этот всеобщий исход к первой из Великих эмиграций крымскотатарского народа.

Далее, каким сомнительным ни показался бы анализ крымской катастрофы с этнокультурной точки зрения, мы должны сделать эту попытку хотя бы для полноты картины новой, сложившейся в результате исхода демографической ситуации. Менее всего подверженным эмиграции оказалось древнейшее историческое ядро этноса, то есть горцы. Снова, как в XV в., Крым покинули степняки-скотоводы, наиболее пострадавшие от конфискации военного времени, потомки доордынского тюркского населения, а также переселившихся сюда в XIII в. кочевников-ордынцев и ещё более поздних пришельцев — ногайцев (Маркевич, 1928. С. 385; Фазылов, 2007. С. 127). Но и горное и южнобережное население, прямые потомки древнейших обитателей полуострова, в некоторых местах выезжали целыми деревнями.

Так, полностью оставила Крым деревня на речке Большой Канаке, отчего и название её впоследствии стёрлось из человеческой памяти. Другое крупное село, расположенное у подножья Судацкой крепости, опустело при аннексии наполовину, впрочем чуть позже и остальные жители его «после постройки казарм должны были также перейти на новое место» (Паллас, 1793. С. 197—198); впоследствии на эти руины придут приглашённые из Германии колонисты и надолго их заселят. Что касается горцев, то уехали за море многие из чиновников бывшего хана, и, возможно, мулл, экономически пока не пострадавших и выехавших по совершенно иным причинам, чем полностью разорённые степняки. Несколько десятков мулл, молившихся во время войны с турками за победу воинов Пророка, было выслано властями насильственно. Но все они были также из степных, Гёзлёвского и Перекопского каймаканств (Лашков, 1890. С. 103—106).

В результате такого неравномерного по интенсивности исхода из степи и остальной части полуострова соотношение между автохтонным европейским и пришлым, в основном монголоидным по расовому признаку, азиатским населением вновь изменилось в пользу первого. Нам неизвестно, сколько было тех и других в самом начале захвата Крыма, впрочем, по достаточно точному подсчёту на конец 1790-х количество ногайцев на полуострове стало почти вдесятеро меньшим, чем число татар: соответственно 13 667 на 121 235 человек (Сумароков, 1803. С. 159). Но на этом исход не остановился. Всё новые притеснения властей и кровавые насилия казаков (в основном кубанских и донских) понуждали к бегству семьи, ранее об этом не помышлявшие, и спустя девять лет после аннексии татары, впервые за многовековую историю народа Крыма, уже составляли в некоторых городах меньшинство (Крым, 1930. С. 67).

Понятно, что уходя по берегу Чёрного моря в молдово-валашские долины или гораздо дальше — на анатолийские берега, а чаще всего совершая это горькое путешествие на больших и малых судах, беженцы были лишены сколько-нибудь реальной возможности взять с собой собственное имущество. Конечно, это было основной причиной бедственного положения их на новых местах, особенно в первые годы. Память об этой трагедии сохранилась в преданиях и песнях (см. ниже); письменных источников осталось гораздо меньше. У касавшихся этой темы российских историков она получила не только недостаточное, но и настолько искажённое отражение, что о малочисленности таких работ не стоит жалеть. Возьмем, в качестве примера, серьёзный (посвящённый столетию

юбилею аннексии) сборник, где помещена такая информация: «Больше 300 тысяч душ их (крымских татар. — В.В.) перешло тогда в Порту к единоверцам своим туркам, забравши с собою огромные табуны (выделено мной. — В.В.) лошадей, рогатого скота и овец» (Крым и крымские татары, 1883. С. 3).

Не лишён интереса вопрос о географии расселения этой части народа — большей, судя по всему. Многие из эмигрантов осели в Буджаке, где Порта даже сделала в 1787 г. попытку возродить ханство — в уменьшенном размере, но под властью крымских Гиреев. Вначале во главе этого пограничного государства стал Шахбаз-Гирей, затем его сменил Бахт-Гирей. Новые правители имели резиденции в Бендерах и небольшом городке Чатал-османе, где находилась их администрация, в том числе свой кадий. Однако Буджак, в котором насчитывалось около 200 деревень, независимым не стал, теперь Гирей впервые в истории попали в подчинение русскому паше. Так, вряд ли по своей воле они приняли участие в Русско-турецкой войне 1787–1792 гг. (Williams, 2001. P. 201). Существовало Буджакское ханство недолго, до 1812 г., когда и эта бывшая часть Крымского государства была аннексирована Россией.

О том, к чему привела эмиграция конца XVIII в. из Крыма, написано немало (почти исключительно иностранцами), вопрос освещала и российская пресса. Оба этих комплекса источников рисуют гораздо более живую и многоцветную картину, чем сухие канцелярские отчёты, сохранившиеся в архивах. Поэтому вместо цитирования последних приведём несколько свидетельств современников или опрашивавших их более поздних авторов — и историческая ситуация прояснится.

Упомянувшийся в предыдущем очерке английский путешественник, неоднократно бывавший в Крыму, писал по этому поводу:

«Царству татар, опустошённом кровавыми подавлениями сопротивления, в конце концов был положен предел — эмиграцией. И вот тогда-то стали быстро исчезать последние следы былого процветания страны, которую столь часто разоряли и которая всегда победоносно выходила из катастроф... А когда исход начался, то русская оккупация всячески этот процесс ускорила». При этом, отмечает автор, ногайцам степной части Крыма пришлось несколько легче, поскольку «худшие беды постигли территорию, где проживали оседлые татары, и которая являлась центром татарской цивилизации и мощи. Именно здесь можно было наблюдать сцены резни и разорения, которые напоминали нашествия из Азии со всем их варварским ужасом. В конечном счёте полуостров потерял 9/10 своего населения, его города стали добычей мародёров, его поля опустели. И в течение нескольких месяцев целый регион, остававшийся в цветущем состоянии и при последнем хане, превратился в огромную театральную площадку, на которой разыгрывались сцены угнетения, разорения и опустошения...

Политические события конца XVIII в. ввергли Крым в глубокую депрессию. Жизненные и производственные силы населения полуострова резко сократились, его торговля и агрикультура полностью расстроены, а его безграничное отчаяние (выражающееся и в постоянном сокращении численности татар) всё более возрастает. Причина этому — лишь расточение всех материальных ресурсов и распыление всей этической и умственной энергии, кото-

рое вполне устраивает господствующую русскую администрацию» (Hommaire, 1847. P. 409–410). «Полностью расстроенной» оставалась агрикультура и двадцатью годами позже, что было вызвано запустением ранее густо населённых областей полуострова. Русский обозреватель, посетивший Южный берег Крыма в 1815 г., записал: «К сожалению, должно сказать, что малое число жителей, населяющих сии Армидины сады, едва ли тысяшною частию произведений их пользуются: Плоды, коими Италия и Греческие острова могли бы похвалиться, большую частью остаются без употребления и согнивают на деревьях» (Броневский, 1922. С. 151).

Более поздний историк-крымчанин связывает с появлением самой идеи исхода из Крыма все будущие беды его коренного народа:

«С 1783 г. нравственный ориентир крымцев изменился к тому, чтобы покинуть своё отечество. Теперь расхожее выражение „Тот капитан, кто спасает корабль“ перефразировалось для них на „Тот молодец, кто спасает себя“. А о самом корабле и вовсе забыли. После падения ханства и трагедии всеобщего порабощения всеми овладела одна лишь мысль: страх за себя... И страх этот был тоже следствием религиозного миропонимания: только бы не остаться во власти неверных... укрыться бы под сенью халифата... переселиться бы на земли ислама...

Политике всеобщего мародёрства, эксплуатации и русификации, проводимой царской Россией против крымцев после аннексии Крыма, наш народ так и не сумел противопоставить сколько-нибудь убедительной национальной идеи или сколько-нибудь жизнестойкой организации, стихийно признав единственную идею, завладевшую массами, — как бы уйти от притеснений, даже если при этом необходимо было оставить своё отечество» (Сейдамет, 2009. № 1. С. 14).

Сейчас трудно сказать, в каком именно из великих (или малых) исходов из Крыма, крымцы стали слагать горькие песни об этом событии в их жизни, хуже которого может быть только смерть. Возможно, приводимое ниже народное произведение и не относится к самой первой эмиграции, однако в ней глубоко и верно переданы трагические размышления крымскотатарского беженца, смысл которых оставался в принципе одинаков, что веком раньше, что веком позже...

Какой прекрасный климат в Крыму,  
И распри в нём запрещены шариатом,  
Чем мы провинились, падишах, что попали в мятежники?  
Смилуйся над нами, Господи, мы покидаем Крым.  
Мы договорились между собой и покидаем Крым.

Где сложим мы в конце скитаний свои головы?  
Мусульмане горько плачут, взывая: «О Родина!»  
Матери наши рыдают, причитая: «О наши гавани!»  
Мы будем тосковать по тебе, прекрасный Крым.  
На чужбине мы будем изнывать в тоске по тебе.  
Мы умрём со словами на устах: «Родина, Родина!»

(Цит. по: Деревня, 1927. С. 54)



### 6. «Комиссия для разбора споров...»

Смерть Екатерины и воцарение Павла I принесли Крыму некоторые перемены. Ненавидевший, как известно, все екатерининское, новый император приказал уничтожать потёмкинские нововведения, среди которых было немало объективно полезных Крыму, его новой экономике. Он подчинил полуостров новороссийскому губернатору, ликвидировав самостоятельную Таврическую область<sup>1</sup>.

Бывшие беглые крестьяне были водворены к старым владельцам в России, отчего их новообработанные пашни в Крыму пришли в запустение. Павел выгонял с мест екатерининских слуг, «оставя многое число в чины выведенных негодяев», и безработные ветераны покойной царицы «составили корпус нищих в старинных наместнических мундирах» (*Мертваго*, 1867. С. 182).

Этот «корпус» не мог, как ранее, кормиться в крае, обезлюдевшем из-за эмиграции и высылки беглых. Поэтому бывшие чиновники и офицеры скоро превратились в настоящих стервятников, растаскивавших древние мечети и кладбища на материал, из которого строили дома и тут же продавали их новопоселенцам. Они же «организовывали сплошную вырубку брошенных садов, а также лесных массивов, на которые население не могло предъявить владельческих документов. В первую очередь уничтожались наиболее ценные сорта, так как древесина шла на продажу». Современники поражались «тому, с какой быстротой происходили порубки тутовых и маслинных рощ, приходили в запустение дороги, иссыхали лавры и растаскивались кирпичи... строений» (цит. по: *Медведева*, 1956. С. 244).

Продолжалось и элементарное обезземеливание крымских татар. Время приносило всё новые к тому способы; их было множество. Не имея возможности подробно останавливаться на их смысле, назову главнейший, то есть тот, по которому большая часть крымскотатарской крестьянской земли ушла в чужие руки. Вот его краткое описание, сделанное добросовестным чиновником, хорошо знавшим суть дела и лично знакомым с государственными (на казённой службе) землемерами, руками которых это преступление и совершалось:

«Землемеры, чтобы не увеличивать своего труда обозначением меж каждого дробного участка, обращались к несведущим татарам с вопросом: не принадлежат ли эти земли всему обществу? Татары, не понимавшие большей частью сущности вопроса и последствия, какие могли для них от этого произойти, отвечали обыкновенно утвердительно, и тогда эти земли вносились в план с обозначением общественной, то есть принадлежащей такому-то аулу. Вот каким образом множество татарских участков перестали быть частной собственностью и превратились в собственность казны» (*Левицкий*, 1882. С. 600). А уж после этого казна со спокойной совестью награждала этой землёй кого считала нужным, или продавала её, ничуть не заботясь о судьбе крымских татар, издавна ею владевших.

Что касается конкретных групп крымскотатарских крестьян, то можно сделать осторожный вывод (он нуждается в дополнительной проверке) относительно

но того, что в тот, начальный период их обезземеливания, меньше пострадали жившие на бейской земле, оставшейся у старых хозяев, которые ещё не успели соблазниться её коммерциализацией. Оттого и крестьяне их все пока оставались на привычных местах. Нескольку хуже обстояло дело с мурзинскими населенками, поскольку низшее дворянство (из капы-кулу) само оказалось без документов на владение и было вытеснено со своих старинных земель, естественно, вместе с крестьянами, столь же давно и привычно эти угодья обрабатывавшими.

Наконец, хуже всего пришлось сословию челеби, то есть многочисленным свободным земледельцам, зачастую вполне зажиточным, крепким хозяевам, но жившим на бывшей ханской земле, не имея никаких владельческих на неё документов (раздавать их в Крымском ханстве считалось ненужным, земельные права веками оставались незывлемыми, нечастые нарушения их тут же исправлялись кадиями). Этим крестьян лишали земли полностью, до дворового участка. Более того, не успев разобраться с крымской социально-культурной ситуацией, русские администраторы попытались тут же, едва завершилась аннексия, загнать этих вольных крымцев в рабское ярмо, автоматически переведя их из «ханских мужиков» (так чиновникам впопыхах померещилось) в российские государственные крестьяне (*Haxthausen*, 1847. S. 432). Когда же ситуация прояснилась, бедных челеби, конечно, освободили, но в том числе и от недвижимости. То есть просто погнали с земли, перешедшей в казну (подробней см. ниже).

Многочисленные жалобы стоняемых с земли крестьян действия не имели, так как большей частью такие бумаги до Петербурга попросту не доходили. Если же какие-то из них и принимались к разбирательству, то решение выносилось довольно быстро, как только канцелярия губернатора отыскивала соответствующий план. На нём тут же однозначно указывалась принадлежность соответствующего мелкого участка казне и никому иному.

Илишь при Александре I непрекращавшиеся жалобы крымских татар на лишение их земли, как и на варварскую ликвидацию памятников их древней духовной и материальной культуры, находившихся на отобранной земле, возымели какой-то результат. В 1801 г. был составлен и подвергнут достаточно широкому обсуждению проект отвода безземельным татарам садов и виноградников горной и югобережной части Крыма, ранее принадлежавших греческим и иным христианам, депортированным в 1779 г. Этот проект был подвергнут нападкам, в том числе и со стороны новых крымских землевладельцев. Среди этих критиков проекта выделился крупный земельный магнат, морской министр Н.С. Мордвинов, в 1802 г. отославший в Петербург своё «Мнение относительно Крыма». В этой записке он утверждал, что если проект будет осуществлён, «...то исчезнут неминуемо те благодепные виды, под коими Тавриду некогда узреть вожделенно было: Тавриду, изобилующую виноградом, маслиною, померанцами и прочими богатейшими для империи российской произведениями».

И далее: «Опытность и очевидность утверждают, что татары неспособны жить (?) и занимать земли, к садам годные. Разуздок говорит, что в виноградных землях должно жить искусным в разведении сего растения в садах, сродным к садоводству; хлебопашцам же и скотоводцам — на полях и в степях. Благо общее требует, чтобы в горную часть Крыма привлекаемы были иностранцы, понимающие цену толико благодатной земли» (*Мордвинов*, 1872. С. 211–212). Таким

<sup>1</sup> Административно бывшее ханство вместе с прилегающими запереконскими степями было в 1784 г. объявлено Таврической областью. Лишь при Александре I, в 1802 г., упомянутое павловское нововведение было ликвидировано, а вместо него образована Таврическая губерния в границах бывшей области.



Н.С. Мордвинов.  
Портрет А.Г. Варнека

образом, министр-помещик, основываясь на мифе о несклонности крымских татар к земледелию, предлагал их за это выселить из древних мест обитания, заменив коренных жителей иммигрантами. Очевидно, к «Мнению» прислушались в столице империи, где с его автором считались.

Возможно, его выводы повлияли и на работу «Комиссии для разбора споров по землям и определения повинностей на Крымском полуострове», созданной в те же годы в Петербурге. Официально основной её целью было всё, «принадлежащее настоящим хозяевам возвратить или другим пристойным образом сделать удовлетворение» (цит. по: *Лашков*, 1897. С. 137). О том, кто такие эти «настоящие хозяева», уточнений не было.

Под председательством сенатора Лопухина члены комиссии выехали в 1802 г. в Симферополь. В первый же месяц жалоб было принесено столько, что ни о каком разборе их силами пяти членов комиссии не могло быть и речи, если бы даже они работали бесплывно несколько десятков лет. И они, очевидно убоявшись бездны головоломных дел, всячески тянули с их разбором. «Медленность комиссии и порядок, несносно отяготительный, причиною, что в три года ее существования ни одного дела не решено и даже половины бумаг не разобрано и не прочтено» (*Мертваго*, 1867. С. 185—186).

Вопросы по ханскому периоду землевладения, сами по себе достаточно сложные из-за отсутствия владельческих документов, как снежный ком обрастали конфликтами, возникавшими уже в послепоконное время. Через год правительство приняло соломоново решение: комиссии предписывалось в противоположность первоначальной инструкции не возвращать татарам земли, отданные новым помещикам, если последние успели возвести там здания, мельницы и т. п. Этот же документ подтверждал право помещиков на десятину и 8-дневную (в год) барщину. Ободренные подобным признанием их прав, по-

мешики установили по отношению к татарскому крестьянству порядки, не отличавшиеся от традиционно крепостнических. От захватов земель и садов они перешли к ужесточению эксплуатации крымцев, попавших к ним в зависимость; комиссия буквально потонула в жалобах на бар, которые крестьян «разоряют и немилосердным боем тиранят» (*Лашков*, 1897. С. 185).

А в 1809 г. последовало новое законодательное утверждение фактически крепостного права, навязанного русскими помещиками коренному населению. Причём в самой жёсткой форме, а именно личной крепостной зависимости. Отныне татары не могли покидать места жительства в период с декабря по март. Но и в остальное время года такого права им фактически не предоставлялось: в этом случае не только земля, но и имущество их равно отходили к барину. Существовала и полноразмерная барщина, которая должна была отправляться по первому понуждению помещика (*Лашков*, 1897. С. 190—191).

Здесь трудно удержаться от приведения ещё одной справки советского историка, который полностью игнорирует вышеприведённую и обоснованную информацию действительно авторитетного учёного. П. Надинский утверждает, что правительство якобы «...предоставило целый ряд» льгот и крымскотатарским крестьянам. Они были причислены к разряду государственных крестьян, и на них крепостное право не распространялось. Они «могли свободно переезжать с места на место и свободно продавать принадлежащие им земли». И далее: «Такое заигрывание царизма с крымскими татарами являлось не чем иным, как политическим манёвром...» (*Надинский*, 1952. Ч. I. С. 103). Действительно, *заигрывание и манёвр* — разрешение разорённым, нищим людям свободно бродить по Крыму и пытаться продать уже отобранные у них земли...

Придётся привести ещё одно свидетельство, относящееся к размышлениям не учёного XX в., а устному свидетельству, относящемуся к первой половине XIX в., но обладающее всеми достоинствами источника. Байдарский зажиточный татарин Али Мустафа-оглу поведал заезжему немцу об общей проблеме своих земляков: некий русский, получивший от Екатерины Второй 700 моргенов (ок. 400 000 кв. саж. или 167 га. — *В.В.*) земли, прирезал к ней различными способами ещё 19 000 моргенов (то есть увеличил первоначальный подарок в 27 с лишним раз. — *В.В.*), отчего сократились татарские пастбища и сады. «Но самое худшее, — продолжил Али Мустафа-оглу, — в ином: сегодня он утверждает, что вместе с екатерининским даром он получил и право требовать с местных татар барщину. Затеянный было последними процесс в Петербурге длится уже несколько лет без результата, а угнетение татар адмиралом продолжается» (*Kohl*, 1841. S. 270). То есть речь идёт явно об упоминавшемся выше Н.С. Мордвинове.

Руководствуясь упомянутыми «дополнениями» к инструкции, комиссия в абсолютном большинстве случаев решала конфликты в пользу русских помещиков. Если же выяснялось, что новый владелец не мог доказать своих прав на землю, то и в этом, редчайшем случае, она крымцам не возвращалась. Помещик должен был лишь возместить её стоимость общине согласно приблизительной оценке. Оценку же проводили чиновники, естественно её занижая. Достаточно сказать, что по всему Крыму было собрано таким образом лишь 20 000 руб. (*Лашков*, 1897. С. 194).

## 7. Крымские татары в войнах начала XIX века

### а) Создание Крымско-татарского дивизиона

Война с Наполеоном получила в России наименование «Отечественной». Это отчасти соответствует действительности, хотя, на наш взгляд, массовость *всена-родного* сопротивления французскому нашествию на *Отечество* изрядно преувеличена. Сопротивление оказывали общины разорённых оккупантами местностей, а где-нибудь в Перми или Воронеже крестьяне слабо себе представляли, что происходит далеко на западе и особым патриотизмом не пылали. Поэтому война 1812 г. была скорее *Общинной* войной — это если говорить о народном, партизанском движении. Правда, в ней участвовали и южане-казаки, но они были, как и воины регулярной армии, людьми служивыми, обязанными подчиняться приказу. И единственное исключение в этом смысле представляли собой крымские татары, которые, не подвергаясь никакой опасности оккупации, добровольно явились под российские знамёна — о чём речь пойдёт ниже.

Значительную часть XIX–XX вв. крымскотатарские кавалерийские части были известны под именем Крымского Конного полка. Начало его истории относится к 1780-м гг., когда Екатерина II указала создать, кажется, по просьбе самих крымчан<sup>1</sup>, дивизионы из местного, крымскотатарского населения. Президент военной коллегии князь Г. А. Потёмкин получил 01.03.1784 г. указ «о составлении войска из подданных в Таврической области обитающих в составе пяти дивизионов» (ПСЗ. Т. XXII. № 15 945). На первых порах было создано три дивизиона по 200 человек личного состава. Из них два находились на действительной службе, тогда как третий оставался в запасе. Но в мае 1787 г., в дни достопамятного посещения Екатериной II Крыма, в седле оказались все три части, к которым присоединились ещё какие-то добровольные участники этого действия.

Современник, не вполне знакомый с историей крымскотатарских дивизионов, так записал ход события: «Только что составлена гвардия из 800 человек татар, богато одетых и вооружённых саблех, копьём и стрелами; они должны эскортировать императрицу и служить ей почётными телохранителями. Будет существовать постоянно и составлять регулярное войско, командуемое мирзами, возведёнными в чин полковников. 200 человек отсюда назначены в Петербург и они будут находиться на одном положении с гвардейцами» (Людольф. 1982. С. 163).

По сути, это был гвардейский полк, состоявший из эскадронов — *беш-ле*, куда набирали добровольцев, так как не только крымскотатарское, но и вообще коренное население новозавоеванных областей на воинскую службу было обещано не брать, что и подтверждалось вполне официальными доку-

<sup>1</sup> Первопричина этой инициативы неизвестна, однако можно предположить с большой долей вероятности, что таким образом члены старых крымскотатарских родов, где традиционным было именно военное служение правителю страны, пытались найти альтернативную форму такой службы в новых, изменившихся условиях. Старая традиция — мусульманин должен верно служить своему падишаху — общеизвестна, о чём говорилось и ранее. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что такая инициатива общенародной (или даже массовой) в Крыму не являлась.



Крымскотатарский эскадрон в 1810 г. Из коллекции музея Ларшес

ментами<sup>1</sup>. Запомним этот факт, так как через столетие несоблюдение решения, принятого на высшем уровне, хотя, казалось бы, и частного, приведёт к трагическим событиям в судьбе целого народа.

Для эскадронов были закуплены кони крымской степной породы, сохранялось и традиционное вооружение крымского всадника, а также седло восточного типа. Обмундирование несколько раз менялось, тем не менее каждый раз в нём сохранялись основные черты крымскотатарской мужской одежды. Первый приказ, который полк выполнил, — сопровождение и охрана Екатерины II на протяжении её поездки в Крым. Находившийся в числе гостей принц Шарль Нассау-Зиген заметил: «полк очень очень эффектен, я не видел ничего красивее» (цит. по: Арагон, 1895). Позднее крымскотатарский полк был разбит на два отдельных дивизиона (по два эскадрона в каждом). В 1790 г. к нему добавили ещё 4 дивизиона и отправили к польской границе, где он оставался 2 года. В захватнических войнах с Польшей (1792, 1794–1795) и её кровопролитных разделах полку, к счастью, участвовать не привелось. Затем снова осталось только 2 дивизиона, а в 1796 г. полк вообще расформировали (Муфтизаде, 1899. С. 4–6).

<sup>1</sup> Согласно Объявлению от 16 октября 1783 г. за подписью Потёмкина, обращённого ко «всему народу крымскому», имелось «точное Ея Императорского Величества соизволение, чтобы никого из народа крымского в службу воинскую, без собственной его воли и желания, не брать и не принуждать» (Письма, 1881, С. 287). Позже, согласно императорскому рескрипту от 18 октября 1796 г., адресованному Екатеринославскому, Вознесенскому и Таврическому губернатору князю П. А. Зубову, подтверждалось полное освобождение крымскотатарского населения от воинской обязанности и даже военного постоя.

В первые годы XIX в. особо верноподданные крымскотатарские мурзы внесли в Правительство ряд предложений о возрождении крымских национальных частей. В 1807 г. Военная Экспедиция имперского Сената признала, что следует, «пользуясь расположением татар и применяясь к природной их склонности, согласиться, чтобы полки их сформированы были по примеру казачьих». Понятно, что большой роли в укреплении имперской армии несколько сотен всадников играть никак не могли. Очевидно, эта затея, потребовавшая, как любое новое дело, решения массы больших и малых проблем, была вызвана не столько военно-мобилизационными, сколько политическими соображениями.

Их смысл раскрыл (как всегда, не опасаясь императорской опалы) князь М. С. Воронцов. В том же 1807 г. он заявил Новороссийскому военному губернатору герцогу де Ришельё, что этот правительственный проект нецелесообразен, так как рассчитан на решение совсем иных, невоенных задач, а именно: «...скорее вывести из Крыма лучших людей и получить в лице их аманатов (то есть заложников. — В. В.) в залог преданности России» (цит. по: *Авалиани*, 1913. С. 55). Герцог же, буквально используя слова князя, придал его мысли совершенно противоположное направление. В своих рапортах от 08. 08. 1807 г. и 31. 08. 1807 г. министру военных сухопутных сил Феншу он совершенно соглашался с основными положениями проекта:

«При сем устроении, по обстоятельствам тогдашнего времени, предлежало (sic) иметь в виду расположение Татар, чтобы скорее, выведя из Крыма лучших людей, получить в лице их аманатов в залог преданности России. Их чего самого по себе следует, что иначе нельзя было успеть в намерении, как допустить сформирование полков Татарских, сообразно природной склонности их и желанию, по примеру Казачьих. ...Те же побуждения, что выше объявлены, и желания Татар, людьми из себя и лошадьми жертвующими, требовали согласиться и в том, чтобы из их же именитейших фамилий назначены были в полки сии офицеры» (ПСЗ. Т. XXII. С. 33–34).

Именно такого мнения от главного военного начальника Тавриды ожидал официальный Петербург; теперь ничто не мешало осуществлению задуманного. Полки были набраны и обеспечены всем необходимым, вплоть до обмундирования нового образца. По своему статусу они соответствовали казачьим формированиям, и единственное различие между этими армейскими группами одного, по сути, рода войск состояло в неодинаковом именовании крымскотатарских и казачьих чинов: да в обмундировании (РГИА. Ф. 134. Оп. 9. Д. 2144. Л. 19 об. — 21).

Поскольку в этом году обстановка на западных рубежах России снова обострилась, то одновременно с принятием указанного решения был подготовлен приказ о немедленном отправлении двух крымскотатарских полков «в замену донским [казачьим частям] на прусскую границу для содержания кордона между ними последними, сменяя их другими двумя, в Крыму остающимися поочерёдно» (РГИА, там же). Однако военная обстановка разрешилась и до выступления в поход дело дойти не успело, хотя мысль о поочерёдной службе крымских полков на границе и на родине, как будет видно ниже, была всё же претворена в жизнь.

Но пока проблема решена не была, и когда через десять лет началась война с Францией, то Крым, по сути, оказался в стороне от сложившегося чрезвычайного положения. Вновь собрать полки на основе воинской повинности было не-

возможно: сохраняло свою силу официальное освобождение крымскотатарского народа от рекрутских наборов. Но выход был найден. Бывший в те годы таврическим гражданским губернатором Д. Б. Мертваго, по инициативе муфтия Крыма Муртазы Челеби (между прочим, основоположника ныне здравствующего мурзинского рода Эмировых), собрал крымских мурз и беев и обсудил с ними, пока ещё не имея на это полномочий, возможность участия их в войне на главе добровольцев, собранных в иррегулярные, то есть не входящие в состав росейской армии, а приравненные к казачьим части. При этом крымскотатарские мурзы предлагали большую часть расходов на сбор и вооружение такого войска оплатить, облегчив тем самым казённые расходы. От этого проекта, полагали губернатор и крымские дворяне, будет польза и России и мурзам, которые получают офицерские чины (последнее соображение, пожалуй, было доминирующим). Добровольцев же легко привлечь, стоит сообщить им о том, что они «...могут набогатиться и ввести в Крым сокровища Немецкой земли, подобно как на Дону у всякого есть вещи Польские и Турецкие, и... всякий Татарин, служа в войске, может получить офицерский чин и возвестись в звание мурзинское» (*Мертваго*, 1867. С. 199).

После того, как с мурзами и беями было достигнуто взаимопонимание, Д. Б. Мертваго и имперское Министерство внутренних дел подготовили некий *Приговор дворянский*, то есть составленный крымскими татарами документ, подтверждающий изъявление их воли участвовать в войне на Западе (ук. соч. С. 201). То есть опытный губернатор обратился со своим проектом не в военное ведомство, как можно было бы ожидать, а в совсем иное. Но тому были свои причины. Они проявляются из содержания сопроводительного письма Д. Б. Мертваго, в котором он подсказывал главе Министерства внутренних дел, что «...сие дело полезно быть может как для армии, так и для спокойствия в Крыму; ибо дети именитых мурз и татар, находясь в отдалении, будут служить аманатами, ...имея в предмете, что войны жаждущие обыватели опасны в крае, где от волнения народного находится сумнение» (там же).

Губернатор бил наверняка: глава ведомства внутренних дел, конечно, хуже знавший обстановку в Крыму, чем высший тамошний чиновник, не мог не положить на его веское мнение и тут же поддержал такую полезную инициативу. Тем более, что брать в аманаты или заложники было для империи не только привычным делом, но и давно проверенным, безотказным средством держать немирные племена в повиновении. Военное министерство начало было соглашаться с проектом, но при условии, что в крымскотатарских частях офицерами будут русские. На это Д. Б. Мертваго резонно возразил, что, во-первых, такие командиры, не знающие языка подчинённых, не смогут ими управлять в бою, а, во-вторых, они никогда не заменят мурз-офицеров, которые пользуются непрерываемым авторитетом среди простых конников как опытные лидеры, «всегда над татарами властвовавшие», а это, помимо всего прочего, становится особенно важным в виду ожидаемого вторжения в Крым турецких войск (Там же).

В мае 1807 г. полки были собраны. Это были, как и ранее, иррегулярные части, организованные по казачьему образцу во всё, включая обмундирование (собственно, кавказское, но принятое в казачьих частях — чёрный бешмет, дополненный чёрным же плоским крымскотатарским мерлушковым *кялпаком* с красным верхом). Все расходы по полковому сборам оплатили крымскотатарские общины,

казна взяла на себя только стоимость коней, фуража и довольствия. В каждом полку было 200 человек личного состава. Всего их было четыре: Симферопольский конно-татарский (командир — майор Кая-бей Балатуков), Перекопский (командир — майор Ахмет-бей Хункалов), Феодосийский (командир — поручик Али-мурза Ширинский), Евпаторийский (командир — капитан Абдулла-агъа Мамайский)<sup>1</sup>.

В июне 1807 г. полки пошли на Вильно, но вскоре, по причине прекращения военных действий, возвратились домой. На будущий год, когда вновь возникла военная угроза, Симферопольский полк весной выступил в вильненском направлении, и был затем расквартирован на прусской границе. Перекопский полк стал в Гродно. В мае 1809 г. Перекопский и Феодосийский полки были дислоцированы в Киевской губернии, где оставались до самого 1812 года.

В промежутке между этими передвижениями в Петербурге были разработаны и уточнены военно-правовые положения для крымскотатарских частей. В январе 1808 г. Александр I своим указом повелел узаконить полки, составленные «... из Крымских Татар, добровольно пожелавших служить», и что в мирное время «сии полки находятся в домах своих, состоя в готовности по востребованию на службу». То есть их существование действительно основывалось «на точном праве Донских казаков», тем более, что и приказывалось «два полка из них в замену Донских отрядить на Прусскую границу для содержания кордону между сими последними» (ПСЗ. Т. XXII. № 22 772)<sup>2</sup>.

На границу ушли Симферопольский полк под командой майора Кая-бея Балатукова и Перекопский, командиром которого стал Ахмед-бей Хункалов. Каждый из этих полков насчитывал 500 человек личного состава и по 1000 верховых коней (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. Д. 209. Л. 1, 5).

#### б) Крымские татары в войне с Турцией 1806–1812 гг.

В 1806 г. началась очередная русско-турецкая война. Россия, готовила её с 1802 г., при этом одной из причин такой военно-политической инициативы была общая

<sup>1</sup> Современники сообщают некоторые подробности этого первого сбора: «По первому к ним воззванию, на собственном иждивении крымские татары выслали через три дня 4000 конных ратников и предложили всех своих молодых людей на службу. Пожертвование было столь значительно, что Государь, отблагодарив их за усердие, принял едва ли четвертую часть оногo» (Броневский, 1822. С. 113). Что же касается денежных сумм, необходимых для сбора полков, то только пожертвований (в них приняли активное участие и караимские купцы), то есть денег, собранных до *обложения* населения соответствующей податью, оказалось больше, чем требовалось (там же).

<sup>2</sup> В этой связи стоит заметить, что крымскотатарские конные полки (затем — эскадроны) являлись единственным аналогом казачьих частей, когда-либо существовавших в Крыму, то есть набранных из местного населения, а не квартировавших здесь временно. Некоторые авторы истории российского казачества даже выделяют крымскотатарским конникам специальные главы, считая крымские полки разновидностью казачьих. Поэтому если уж восстанавливать исторические реалии, то в нынешнем Крыму более обосновано появление крымскотатарских отрядов самообороны аскеров, чем самозванного «крымского казачества», поголовно состоящего из отпрысков бывших переселенцев Нечерноземья и иных совсем не пограничных, то есть не казачьих местностей.

обстановка в Европе. Точнее, побудительным импульсом здесь служила даже не столько конкретная расстановка сил, а общеевропейские антимусульманские настроения, вызванные вполне конкретными событиями.

К началу XIX в. европейские державы уже успели продемонстрировать своё экономическое и военное превосходство над мусульманскими странами, уже начался очередной многонациональный, общехристианский поход на Восток. В 1798 г. Наполеон захватил османский Египет (впрочем, не окончательно), указав тем самым и оптимальное направление агрессии. При этом он продемонстрировал смехотворную лёгкость, с которой европейская держава, располагающая современным вооружением, может присвоить даже исконно исламские, глубинные территории, завладев при этом баснословно богатыми трофеями.

Этот урок был быстро усвоен. Большинство европейских государств сделало из него абсолютно тождественные выводы: если я сегодня не отхвачу свой кусок от жирного восточного пирога, то завтра его проглотит кто-нибудь из европейских же политических конкурентов. И христианские державы тут же бросились, отталкивая друг друга, рвать на куски исламский мир в Азии, Африке и Европе. Этими кровотоками «кусками» стали Индия, Малайя, европейская часть Турции, Персия, Кавказ.

Не отставала от друзей-соперников по «европейскому концерту» и Россия, решив возобновить с новыми силами свою многолетнюю экспансию в южном направлении. Предлог для политического давления на Турцию на сей раз был избран самый фантастический: виду обострения русско-французских конфликтных отношений Петербург стал якобы всерьёз опасаться «удара французских войск со стороны побережья Ионического моря через Балканы и дунайские княжества» прямо в Северное Причерноморье и Крым (Новичев, 1963. Т. II. Ч. 1. С. 74–75).

Поэтому надо было создавать какой-то оборонительный вал в районе Дуная — за счёт Османской империи, естественно. Вторая причина готовящемуся русскому вторжению носила чисто внешне более альтруистический характер: единовременное население Молдавии и Валахии «страдало от непосильных податей» и основанная на рабском труде империя решила помочь этим крестьянам зажить, наконец, по-человечески (там же)<sup>1</sup>.

На деле же предполагалось не более и не менее, как завоевание соединёнными усилиями нескольких зарубежных территорий Турции с последующим её разделом. Об этом говорилось в составленной в сентябре 1800 г. по приказу Павла I первоприсутствующим членом Коллегии иностранных дел графом Ф.В. Ростопчиным

<sup>1</sup> Любопытно, что и самые современные исследователи слепо берут на веру подобные утверждения российской имперской пропаганды тех далёких лет. Так, донные с серьёзным видом утверждается, что «Россия традиционно считалась покровительницей всех православных христиан Османской империи и оказывала им постоянную моральную и материальную поддержку, не исключая и поддержки военной, например, во время русско-турецкой войны 1806–1812 гг.» (Проливы, 1999. С. 105). И, конечно же, поддержка эта была исключительно бескорыстной, и оказывалась «в силу общности конфессиональной принадлежности», и лишь во вторую очередь она «успешно совмещалась с задачами установления политического преобладания на Балканах» (ук. соч. С. 107). В связи с этим стоит вспомнить о совсем свежем в те годы примере своеобразной заботы такого рода о единоверцах: имеется в виду тотальная депортация христиан Крыма.

«Записке», имевшей значение программного документа державы. В нём шла речь о расчленении тела «безнадёжного больного», то есть Турции, между Россией, Австрией, Пруссией и Францией. По этому плану, получившему полное одобрение царя, русские должны были получить Румелию, Молдавию и Болгарию — то есть большую часть турецких владений в Европе (Проливы, 1999. С. 94–95).

Это было стратегическое направление российской политики, которое вряд ли справедливо называют «новым» (Дипл. словарь. Т. III. С. 67). Направление было как раз старым, «южным»; новыми были разве что внешнеполитические средства, с помощью которых должен был осуществляться очередной агрессивный поход на Ближний Восток. И программа эта, в сути своей, не изменилась со смертью Павла и воцарением Александра I.

В 1805 г. благодаря созданию антифранцузского, а, значит, и антитурецкого блока с Англией, Австрией и Швецией, Россия значительно усилилась и осенью приняла участие в военных действиях в Европе. Турция, исходя из заявленного ею нейтралитета, закрыла Босфор для военных флотов любых держав, в том числе и для русского. Протесты России оказались бесплодными и в октябре того же года российская Днестровская армия перешла турецкую границу, а через месяц оккупировала Молдавию и Валахию. Тем не менее Турция всё ещё сохраняла нейтралитет, отводя свои войска от наседавшего с севера противника. Порта объявила войну царю лишь в январе 1807 г., прекрасно понимая, что против неё тут же выступит союзная России Англия (*Бейдилли*, 2006. С. 61). Что и случилось, когда подстрекательства царя на славянских Балканах увенчались успехом, а восставшие сербы овладели Белградом. К тому времени русские войска уже заняли всю Бессарабию.

Крым пока оставался в стороне от военных действий, но в Петербург поступили сведения о том, что в Турции готовится мощный десант на полуостров. При этом турки якобы рассчитывали на поддержку крымскотатарского населения, жестоко обиженного Россией, и в голодные годы ностальгически вспоминавшего безбедную жизнь под османским протекторатом. Последнее, возможно, и соответствовало действительности, так как были живы старики, помнившие ханские времена и рассказывавшие о них детям и внукам. Таким образом, турки планировали серьёзную операцию в тылах наступавшей российской армии силами не только десанта, но и за счёт мятежа многочисленного крымскотатарского населения на полуострове и в междуречье Днепра-Днестра, который должен был оттянуть на себя часть сил с направления главного удара. Однако султан Селим III, будучи человеком осторожным, счёл необходимым не рисковать кораблями и живой силой и вначале удостовериться в готовности крымских татар поддержать готовившийся десант.

В Крым было решено заслать несколько групп разведчиков крымскотатарского происхождения, из числа эмигрантов. Согласно архивным данным, такая засылка практически сорвалась по причинам, о которых легко догадаться: деньги у Османской империи имелись, значит, дело было в полнейшем отсутствии энтузиазма среди потенциальных агентов. Удалось завербовать только двоих человек, братьев Каяли и Селями Челеби из дер. Такиль Евпаторийского уезда. Впрочем, и их история даёт возможность восстановить как методы военно-политической разведки такого рода, так и причины полного её провала в Крыму.

Получив неплохое образование в местных медресе, братья Челеби в 1799 г. отправились в Стамбул с целью совершенствования в науках. На протяжении 7 лет они исправно посещали турецкие учебные заведения, в последние годы уже занимая какие-то должности в аппарате высокопоставленных османских чиновников. Один из последних устроил Каяли аудиенцию у самого султана, о чём этот крымский татарин рассказывал следующее: «В мае прошлого года (то есть в 1806 г. — *В.В.*) будучи в Константинополе служил я у придворного чиновника Армутчи-оглу, который представил меня султану Селиму. Султан словесно мне приказал: „Поезжай в Крым, узнай, много ли там есть Российского войска и Крымские Татары хотят ли мне служить или хотят быть верны Российскому Государю“» (РГИА. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 36. Л. 2–5).

Очевидно, после высочайшей аудиенции братья получили дополнительные задания в соответствующих султанских службах, так как сбором информации они в Крыму не ограничились. По возвращении на родину они поделились с двумя из односельчан своим планом: возмутить против русских властей крестьян деревень Такиля и Бозоглу, затем идти с мятежниками на Тобе-Чокрак и, усиливаясь по пути за счёт возмущаемого крымскотатарского населения, направляться на Сарабуз, а затем на Симферополь. Здесь братья планировали каким-либо образом выманить в поле таврического гражданского губернатора (им был в тот год Д. Мертваго) и «обезглавить его». Эта акция, продолжали братья, была совершенно необходимым условием успеха мятежа, поскольку губернатор пользовался среди крымскотатарского населения различных слоёв не только авторитетом, но и своеобразным почтением, которое он наверняка бы использовал в борьбе с возмутителями спокойствия.

Планы эти были разрушены в зародыше. Такильские крестьяне, проведав о миссии братьев Челеби, по собственной инициативе связали их и сдали исправнику, уже отправившемуся из Евпатории в уезд для поимки турецких посланцев. Они были отвезены в Симферополь и там допрошены лично Д. Мертваго. После этого губернатор для того, чтобы совершенно застраховаться от волнений, причиной которым могли стать следствие и суд в Крыму, счёл разумным отправить братьев за пределы полуострова, в Екатеринослав. Допросные же протоколы и другие материалы следствия были отправлены в Одессу, на рассмотрение самого дюка Ришельё.

Знаменитый основатель Одессы, герцог Арман де Ришельё, а в российской службе — генерал-лейтенант, назначенный незадолго до того военным губернатором всего Новороссийского края, тогда же совершил ознакомительную поездку по вверенной ему территории. Теперь он, сочтя это дело немаловажным, передал 12 сентября 1807 г. всю допросную документацию министру юстиции империи П.В. Лопухину.

В сопроводительной записке военный губернатор изложил министру свою точку зрения на дело братьев-мятежников. Смысл её заключался в том, что посетив Крым в марте 1806 г., дюк нашёл местных татар «спокойнейшими: они впоследствии, когда продолжалась с Францией война, вызвались сами выслать из себя на защиту Отечества ратников... Ожидая ежеминутно со стороны моря турецкого десанта, подлежала необходимым образом местному начальству забота направлять умы татар, единоверных туркам, к преданности России». Этого,



Герцог А. де Ришельё.  
Гравюра неизвестного художника  
Памятник А. де Ришельё в Одессе



впрочем, не понадобилось, так как упомянутое ополчение предоставило самим фактом своего добровольного сбора «благонадёжное ручательство в их (то есть крымских татар в целом. — В.В.) верности, которую никак нельзя было поколебать... Покойная и мирная жизнь татар чрез всё прошедшее время, когда при прошлом разрыве с Портою войск в Крыму неприметно почти было<sup>1</sup>, истину сию доказывает. Какого же больше надобно испытания?» (РГИА. Ук. дело. Л. 25 об. 28). В заключение дюк, известный своим добрым отношением к крымским татарам, превзошёл сам себя: он осмелился *рекомендовать* Министру империи ограничиться ссылкой братьев-подстрекателей на время войны куда-нибудь подальше от Крыма, а то и вообще простить их.

Однако дело Челеби было сочтено настолько важным и опасным, что по нему начались переговоры в высших эшелонах имперской власти — речь шла уже не о провалившемся заговоре одиночек, но о позиции крымскотатарского

<sup>1</sup> По относящейся к тем же месяцам справке Д. Мертваго, в период 1806–1807 гг. в Крыму действительно сложилась крайне угрожающая ситуация. Из российских войск на территории полуострова оставались лишь Эстляндский мушкетерский и 25-й Егерский полки, «...из коих в первом большое число людей от болезней померло и столко [же] было больных и слабых, а Егера в Керчи во отдалении стояли, так что нельзя было полагаться на военную опору, а между тем [шли] известии, что Турки объявили войну, что флот уже к отплытию изготовленный назначается к крымским берегам и что Французской министр (то есть французский посол в Турции. — В.В.) содействует распоряжениям турков — по одним причинам лязя (то есть «можно». — В.В.) было сомневаться в верности татар, по единственно усердствующих Турецкому правительству» (РГИА. Ф. 1163. Оп. 1. Д. 36. Л. 37).

населения в разгоравшемся военном конфликте, от которой зависела судьба всей огромной Таврической губернии. Но с каждой неделей, на протяжении которых в Петербурге анализировалась крымская проблема, всё более явной становилась верность суждений герцога Ришельё: как в этой фазе войны, так и позже, до самого её окончания, крымские татары сохраняли полную лояльность верховной власти. Те же из них, что одели мундиры эскадронцев, верно служили России на западной границе империи.

А что касается братьев Челеби, то Александр I, как ни невероятно это звучит, последовал совету одесского дюка и полностью простил их, «...из единого монаршего милосердия, указав обратить их, Челеби, на прежнее их жилище», то есть в Евпаторийский уезд (РГИА. Ук. дело. Л. 35 об.).

В те же августовские дни 1807 г. наступило двухлетнее перемирие с турками. Потом ещё пару лет шли вялые позиционные действия на дунайском фронте, пока в 1812 г. не был заключён окончательный мир (Бухарестский 28.05.1812 г., ратифицирован 23.06.1812 г.). Короче, актуальность «крымского десанта» Турции, исчерпавшая сама себя в 1807 г., более не возникла, и атмосфера в Крыму была едва ли не спокойнее, чем во внутренних губерниях империи (здесь не возникла даже проблема рекрутского набора военного времени, немало волновавшая население собственно России).

#### в) Крымские татары в Отечественной войне 1812 г.

Ещё в упоминавшемся выше походе 1808 г. «Татарские полки показали... довольно расположения своего к службе, люди и лошади были лучше» обычного уровня, отчего герцог Ришельё после прекращения военных действий с Францией в 1808 г., «признав ненадобным забывать их и далее, приказал возвратиться им в Крым». На самом деле домой отправились все, кроме Феодосийского и Перекопского полков, остававшихся близ Киева. При этом герцог считал необходимым поощрить крымцев к поддержке такого рода службы татарской молодёжи, как это было среди казаков: «Употребляя татар на службу и делая из них народ, к военной службе принадлежащий, действительно надобно снять с них повинность в поставке топлива, возможно платёж за земли, соразмерный той сумме, которая бы равнялась издержке на удовлетворение войск могущей быть употребляемой» (ПСЗ. Т. XXII. С. 52). То есть Ришельё предлагал заменить подушную и иные подати развёрстанной среди крымской части населения губернии платой за содержание крымских конных полков, справедливо полагая, что такое целевое использование податных сумм (то есть, *на своих же*) будет воспринято народом с большим удовлетворением, чем это было ранее.

Когда началась Отечественная война 1812 г., Симферопольский и Перекопский полки были приданы знаменитому казачьему корпусу атамана М.И. Платова, в составе которого они участвовали во многих больших и малых сражениях, в том числе Бородинском. При Бородине отличился крымскотатарский ополченский эскадрон под командованием Ахмед-бека Кунгаровича и полковника Бегильдеева (Ланда, 1995. С. 90). Крымские конники прикрывали отступление русских войск в первой фазе войны, а также совершили дерзкий рейд по тылам французской армии зимой 1812–1813 гг. Они отличились в битвах при Тарутине,

Городне, Гжатске, Царёвом Займише, Духовшине, Дорогобуже, взятии Смоленска и форсировании Немана. Затем последовали славные победы под Тильзитом, Рогнидой, Пройсиш-Эйлау. А за осаду и взятие Данцига полковник К. Балатуков был 07. 12. 1813 г. произведён в генерал-майоры (*Муфтийзаде*, 1899. С. 11). Кроме того крымские полки участвовали в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом и во взятии Намюра, они одними из первых вошли в столицу поверженного врага, в Париж (Подробнее см. в: *Полтаржицкий*, 1938).

Евпаторийский же полк был включён в состав Второй западной армии, участвовал в изгнании неприятеля из Брест-Литовска, в битве под Кобрицом, брал Белосток и другие города и крепости. В 1813 г., уже на германской территории, евпаторийские конники громили врага при Люцене и под Кульмом. Затем они несколько месяцев несли гарнизонную службу и вернулись на родину только в 1814 г. Феодосийский полк в военных действиях не участвовал по единственной причине: российская интендантская служба не озаботилась его перевооружением в соответствии с требованиями военного времени. Он нес пограничную службу вдоль бугских рубежей и вернулся домой лишь в мае 1815 г. Ещё через два года, когда окончательно исчезла военная угроза с Запада, все крымскотатарские полки были распущены с повышением личного состава в званиях и предоставлением пожизненного права на ношение мундира.

Подвиги крымскотатарских воинов вспоминали в Крыму и за его пределами в столетие Отечественной войны 1812 г. Председатель Таврической учёной архивной комиссии А.И. Маркевич на одном из торжественных юбилейных заседаний сказал, что «Крым и его татарское население всегда должны гордиться тем, что в Отечественную войну три крымские конно-татарские полка принимали участие и отличились во многих сражениях с армией Наполеона, в частности в великом Бородинском сражении и в преследовании неприятеля до Парижа включительно... Плохо одетые и вооружённые, незнакомые с военной службой, не знавшие русского языка, среди чуждых условий жизни, крымские татары честно исполнили свой долг, и за их верную службу потомки их 26 августа 1912 года, вместе с представителями таврического дворянства и земства, представляли Тавриду на Бородинском поле перед лицом Государя и всей России» (*Маркевич*, 1913. С. 55, 59).

В ходе кровопролитных боевых действий многие татарские конники были убиты или ранены, из Крыма регулярно шли пополнения. Но личное мужество крымцев было по достоинству оценено, они постоянно включались в наградные списки империи. Двадцать два «нижних чина» даже стали российскими дворянами, буквально на поле брани заслужив ордена. Все остальные рядовые и унтер-офицеры были награждены медалями с правом ношения их на голубой ленте. Пятеро простых конников стали при этом кадровыми офицерами. Не поспеяла царь и на награды для командования крымских полков. Так, кн. К. Балатуков был награждён орденами Св. Георгия 4 класса, Св. Анны 3 класса и Св. Владимира 3 и 4 классов; Амет-бей Хункалов заслужил чин полковника, личное золотое оружие, ордена Св. Владимира 4 класса, Св. Анны 2 класса т.д. (*Габаев*, 1913. С. 134; *Муфтийзаде*, 1899. С. 13).

Так исполнили крымские татары отведённую им правительством Российской империи «роль аманатов-заложников». Но нельзя не согласиться и с мнением нашего современника Руслана Шерфединова насчёт того, что верность

и мужество крымских воинов на службе империи не принесли никакой пользы народу — ни тогда, ни в последующие времена: «Чего мы добились своей лояльностью и верной службой царю-батюшке, а затем стране Советов? Да, воевали в рядах русской армии... Были мы в Аустерлице, Бородино, Ватерлоо, Порт-Артуре, Перекопе, Сталинграде, Берлине и т. д. Ну и что взамен? Унижения, гонения, высылки, одним словом — геноцид» (БК, 2006. С. 251).

## 2) Попытка восстания 1812 г.

Выше указывалось, что беспокойство правительственных кругов относительно поддержки крымскими татарами в 1807 г. турок не имело оснований, если брать в рассуждение весь коренной народ Крыма в целом. Однако внутри того же народа нашлось несколько человек, для которых такое беспокойство было выгодно и они его раздували до размеров даже не паники, а антитатарской истерии и в 1807 г., и позднее. Это одна из гипотез относительно истоков проекта новой депортации в преддверии возможного вооружённого конфликта с Турцией. Вторая имеет более общий и традиционный характер. Известно, что российское правительство никогда не упускало случая помочь своим колониальным диаспорам — за счёт аборигенов, естественно. Так что крымские инициаторы вполне могли быть в своей столь удачной для правительства деятельности сами инспирированы сверху. Естественно, в Петербурге думали при этом не только об интересах новых крымских магнатов. Это была накатанная, старая дорога практической политики: «...русские, покорив Казанское ханство, постарались выселить татар с берегов крупных рек и больших дорог. Отдалив [их] от транспортных артерий и закрыв ряд профессий, они обезопасили себя от потенциального соперника» (*Хаким*, 1999. С. 35).

Группа упомянутых крымских инициаторов депортации состояла исключительно из крупных землевладельцев, обласканных царской властью. Кое-кто из них ещё и запятнал родовую честь сотрудничеством с империей в годы кровавого завоевания их родины русскими войсками. Но награды за такие дружественные России деяния они получили далеко не поровну. И вот теперь те из мурз и беев, что со временем осознали свою сравнительную «обделённость» послевоенным земельным пирогом, решили, что настал момент, когда можно округлить личные владения. Понятно, за чей счёт: конечно же, не русских сверхмогущественных магнатов вроде Н.С. Мордвинова, А.М. Бороzdина или М.С. Воронцова. Куда более доступным и безопасным было ограбление беднейших и самых бесправных из соотечественников, татарских крестьян. Оно и началось, как только возник повод для сгона людей с земли, которой они владели по закону, признаваемому даже новой властью.

Поводом этим и стала мифическая опасность поддержки местным населением предполагавшегося (а точнее, существовавшего только в воображении определённых кругов) турецкого десанта. То есть заинтересованные лица, запустив эту провокацию, могли умыть руки, оставаясь в лице соотечественников более снега — всю грязную работу пришлось бы взять на себя пришлому чиновничеству. В таком выходе было несомненное удобство: он «освобождал» самые ценные земли, а именно, расположенные вдоль Южного берега Крыма. Забегая



вперёд, скажем, что о не менее угрожаемых (в случае десанта) протяжённых и никем не охраняемых побережьях Запада полуострова бейско-мурзинские стратеги забыли. Причина здесь более, чем понятна — эту приморскую полосу с прилегающими к ней степными землями и без того можно было приобрести буквально за гроши, да только кому они нужны были?

Акция началась с того, что 2 февраля 1807 г. в администрацию края было направлено соответствующее прошение, подписанное, по сообщению российского историка, «знатнейшими мурзами» а именно капитаном Кадыршах-беем Ширинским, надворным советником Мегметшах-мурзой Аргинским, майором Абдурраман-агой Мамайским, майором Мегметчи-мурзой Кипчакским, а также присоединившимися к ним более мелкими помещиками и не столь уж мелким по своему положению российским ставленником, муфтием Крыма Муртазой-Челеби-эфенди. В этом документе они предложили, «...чтобы татар, живущих на южном берегу от Балаклавы до Феодосии, перевести в сёла на другую сторону хребта гор и тем устранить даже возможность возмущения от турецких эмиссаров или высадки...» (Скальковский, 1838. Ч. II. С. 122–123).

К сожалению, эта петиция была передана одесской канцелярией в руки не Ришельё (он был в длительном отъезде по причине лечения), а его заместителю маркизу Ж.Б. де Траверсе, не обладавшему и долей сочувствия к крымским татарам и понимания их положения, которым были известен герцог. Маркиз тут же собственной властью отдал соответствующие распоряжения и переселение крестьян Южного берега за горы началось. Менее всего пострадали те из них, что занимались животноводством, им дали время на перегон скота практически в нужном объёме, для них проблема была лишь в спешном строительстве коровников и кошар на новом месте. Хуже пришлось виноградарям, табакводам и садовникам, поскольку за хребтом им никто садов и даже площадей под виноград не предоставил, и они были вынуждены засеивать малознакомыми им зерновыми культурами скудные горные пашни.

Но в полностью безвыходном положении оказались довольно многочисленные крымцы, жившие на узкой полосе, непосредственно граничившей с береговой линией. Они испокон века занимались рыбной ловлей, мелким судостроением и морскими торговыми перевозками. Им не только предложили удалиться от моря, дававшего им кусок хлеба, но и конфисковали, в отличие от крестьян, все орудия производства — от сетей до деревянных их судёнышек «для хранения оных в адмиралтействе, а хозяевам выдали деньги по описи» (Скальковский, 1838. Ч. II. С. 123). Понятно, оценены эти суда местной постройки были «по описи» невысоко, и жалких грошей, полученных при этом, едва хватило на переезд. На новом же месте моряки, рыбаки и кораблестроители оказались абсолютно беспомощны, не обладая ни орудиями труда, ни навыками сельскохозяйственной деятельности. Они были обречены и начали вымирать практически сразу же по завершении высылки.

Когда губернатор вернулся и узнал о случившемся в его отсутствие, он тут же начал хлопоты по возвращению людей на старые места жительства. Однако ряд причин тому препятствовал. Во-первых, оказали противодействие уже начавшие занимать брошенные земли помещики. Ими писались письма и прошения, в которых развивалась тема турецкого десанта и его последствий. Причём слались

эти документы не в Одессу, а сразу в Петербург, где высшие чиновники понятия не имели об истинном положении дела и верили писаному слову. А восстановить истину было некому — крымские бедняки никакой возможности обратиться в Петербург не имели. Во-вторых, даже немалый авторитет, которым в столице империи пользовался Ришельё, помогал в этом случае плохо: как известно, любая власть терпеть не может менять однажды принятые решения. Поэтому прошёл целый год, в течение которого успело вымереть множество переселенцев, прежде чем выжившие получили разрешение вернуться домой.

Была ли эта *вторая депортация* (если учитывать и ту, что имела место во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг.), стоившая немалых человеческих жертв и хозяйственного разорения целого региона, вызвана действительно необходимостью, точнее российскими интересами? Самое обидное, что нет. Турки и близко не подходили к крымским берегам, а крымцы через пару лет, когда империи стала угрожать действительная, а не мнимая опасность, проявили себя даже большими патриотами, чем поселившиеся на земле бывшего ханства этнические русские. Имеются в виду добровольные пожертвования в самом начале военных действий на западной границе, позже разросшихся в Отечественную войну 1812 г. В эти дни по Крыму было объявлено о желательности такой помощи; в результате города и купечество собрали 4000 рублей, русское дворянство — 50 000, а крымские татары — 314 000 рублей (Скальковский, 1838. Ч. II. С. 206).

В 1812 г. в Крыму, как и практически во всей Новороссии свирепствовала чума, о колоссальных жертвах которой до сих пор свидетельствуют массовые захоронения в южных городах: одноимённые холмы — «Чумки» — в Одессе, Феодосии, Керчи и пр. Это несчастье отразилось самым жестоким образом на снабжении Крыма привозными продуктами: из-за длительного карантина Феодосийский порт был закрыт, на полуострове начался настоящий голод, умноживший число жертв от чумного мора (Скальковский, 1838. Ч. II. С. 218).

Эпидемия стала причиной настоящей трагедии, разыгравшейся в Феодосии. Для множества крымских татар-паломников, стекавшихся в этот порт отправления не только из городов и сёл полуострова, но и со всей территории бывшего ханства, Феодосия стала ловушкой. Российские солдаты загоняли паломников в противочумный карантин, окружённый местной вооружённой охраной, после чего о людях как бы забывали, не проявляя о них заботы, положенной даже заключённым. Запасы пищи, которые люди несли на себе, быстро иссякли, поэтому в карантине царил ужасающий голод. Рано или поздно об этом узнавали родственники несчастных сидельцев, они бросали всё и мчались в Феодосию, чтобы хоть как-то спасти умирающих. Тысячи этих посланцев буквально затопили город, они обивали пороги начальства, прося выпустить их близких на свободу с обязательством разъехаться по домам — всё было тщетно. Ссылаясь на карантинное положение, чиновники вымогали у просителей деньги, настоящий выкуп, как за военнопленных. Приходилось отдавать последние средства, собранные иногда в течение многих лет на хаджж.

Через какое-то время в карантине начался настоящий мор из-за голода и болезни, неизбежно сопутствующих тесному скоплению истощённых людей. Пытавшихся выйти за карантинный кордон убивали на месте, а врачебная помощь

совершенно отсутствовала. В упоминавшемся *Кефе дестаны* (Поэма о Кефе) поэт Исметий так описывал эту кошмарную обстановку:

Каждое утро врач приходит посмотреть на нас,  
Но всякий раз он находит отговорки, чтобы не лечить,  
А чаще всего использует одно и то же лекарство:  
«Пошёл, дурак!» — и, нигде не задерживаясь, бежит из города.

...

Кто пожалеет людей? Кто поможет им?  
Почему одни люди относятся к другим, как к бродячим собакам?  
Ведь должны же быть в людских сердцах доброта и жалость?!

...

Никто Кефе помочь не хочет, остаётся мне, Исметию,  
Молиться днем и ночью за несчастных людей...

(Цит. по: Юнусова, 2002. С. 126–127)

Такое отношение к терпящим бедствие людям переполнило чашу человеческого терпения и начались вооружённые волнения. Они быстро распространились на территории всего Керченского полуострова, а затем охватили некоторые районы Южного берега, предгорья и горы. Наиболее жёсткое сопротивление правительственным войскам, стянутым к Южному и Восточному Крыму, оказали горцы, но мятеж был довольно быстро подавлен. Хотя не совсем правы современники, опиравшиеся на правительственные сообщения, согласно которым губернатор А.М. Бороздин подавил восстание «в зародыше» (in seiner Geburt), то есть, до начала более или менее значительного вооружённого сопротивления (Brunner, 1833. S. 197). Более поздние авторы исторических сочинений говорят о движении настолько широком, что для его подавления наряду с правительственными войсками пришлось привлечь греков, как батальонцев, так и их соотечественников-добровольцев (см., например, в: Уманец, 1887. С. 116).

После кровавого умиротворения крымцев последовало распоряжение, характерное для всех имперских и тоталитарных режимов. Местным жителям-татарам было запрещено носить оружие, а торговцам оружейных лавок — продавать им порох; при этом не делалось исключения и для охотников. Вскоре последний запрет распространили на всю территорию Крыма, сохранив его действие и на мирное время. Это лишило множество татарских семей (не только горных, но и степных, вообще не принимавших участия в восстании) возможности охотиться, служившей для них важным материальным подспорьем и значительным источником питания (Brunner, 1833. S. 197).

Следует подчеркнуть, что этот мятеж был вызван социальными, экономическими, но уж никак не политическими причинами. Ни один, даже совершенно антиатарский автор, не упрекнул крымцев в осознанной поддержке противника России, да и было ли это возможно? Впрочем, при желании способы бороться с режимом можно было найти. Мало кому известно, что в многонациональной армии Наполеона сражались и русские. Это была 8-тысячная Русская бригада, состоявшая из добровольцев, ранее эмигрировавших на Запад по самым разным причинам (Буровский, 2009. С. 7). Но то, что они по собственному желанию обратили штыки против царской армии, свидетельствует об их неприятии россий-

ского режима с чисто политической точки зрения. И они не были исключением. Историки, интересовавшиеся крестьянством в годы Отечественной войны 1812 г., обнаружили не только героев вроде Ивана Сусанина, но и мятежников, воспользовавшихся войной для выступлений против царских властей на местах. Это «предательское» по сути и замалчиваемое в отечественной науке движение было настолько широким, что специалисты определяют как «второе издание пугачёвщины» (там же). Стоит ли говорить, что это были чисто русские, внутренние междоусобицы, и уж тут-то крымские татары, по крайней мере, служившие в императорской армии, оказались на позиции государственной, объективно противоположной русскому мятежному крестьянству?

#### IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их такими и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

*Л. Толстой. Хаджи-Мурат*

##### 1. Передел земли

Прежде, чем приступить к этой теме, приведём некоторые необходимые статистические данные. При переделе хозяйственных площадей Крыма основная масса крымских татар осталась без земли. То есть, если у них имелись документы на владение землёй, они сохраняли свою десятину-две, но бумаг практически ни у кого не было. При этом, в отличие от крымцев, русским крестьянам-переселенцам без каких-либо документов давалось 15 десятин на душу, немцам и другим протестантам — по 50 десятин на семью, а протестантам меннонитского толка — и все 60 (*Зевадовский*, 1885. С. 103). Напомню, десятина — это без малого гектар плодородной крымской земли. Приведём также статистику переселения в Крым из внутренних губерний России. Ниже речь пойдёт о помещиках, получивших землю на полуострове; естественно, они тут же стали переселять на новые владения своих крепостных из старых, российских имений. К 1795 г. таким образом уже было переселено 12 704 души только мужского пола (11,31 % от всего крестьянского населения Крыма)<sup>1</sup>. Всего же в период 1783—1854 гг. только русских

<sup>1</sup> Согласно переписи 1817 г., их стало несколько меньше — 9727 душ мужского пола, учитывая и дворовых людей (*Переписи*, 1972. Документ 1. С. 49). Впрочем, можно предположить, что это уменьшение лично зависимых русских в Таврической губернии было одним из результатов рекрутских наборов в ходе недавней Отечественной войны 1812 г. Всего же в Крым переселяли гораздо большее число российских крестьян, но поскольку многим из них неведомая южная земля представлялась тиблым местом, то «половина их пропадала, не дойдя до назначения» (*Шильдер Н. К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Кн. 1. М., 1997. С. 71).

крепостных было переселено 45 702 человека, да столько же свободных. Но в те же годы активно приглашались иностранные колонисты, число которых составило 8934 человека, или 11 % от всех иммигрантов (*Секиринский*, 1988. С. 90—91).

Иногда говорится, что самые жестокие последствия имеют гражданские войны, то есть кровопролитные конфликты, в которых с обеих сторон участвуют, в основном, соотечественники. Это вполне справедливо, если речь идёт о человеческой жестокости, о невинных жертвах, о нарушении всех мыслимых человеческих прав. Но если взглянуть на результаты войн под углом зрения культурного наследия, точнее — его гибели, то и вывод будет другим. В Прологе говорилось о том, что агрессор, встречая на присвоенной территории иную культуру, способен терпеть её, но до какого-то предела. Если же она отличается от его собственной чрезмерно, невыносимо, то он начинает энергично упрощать, приспособливать окружающую культурную среду к своим вкусам. Но для того, чтобы создать подобие «домашней», комфортной среды, выстроить на новом месте культуру старой родины, необходимо освободить территорию от чужой культуры. Вначале от материальной, а затем — и от духовной.

Примерно так рассуждают люди, интеллектуально неразвитые, неспособные оценить огромное богатство мировой цивилизации, состоящей из массы национальных (этнических) культур, познание и овладение которыми лишь обогащает тех, кто готов смотреть на иноплеменников без предубеждения, кто не замыкается в своём изолированном мире. Как правило, агрессоры неспособны даже к такому простому рассуждению, и их поведение целиком отвечает подсознательно выработанной «необходимости» разрушения всего инокультурного. Вопросы о том, что именно будет выстроено на руинах старой, традиционной культуры, о том, способны ли они к культурному строительству вообще, перед захватчиками, как правило, не стоит. Их пока вполне устраивает хаос, но не стихийный, а устроенный собственноручно, он предпочтительнее прокрустова ложа чуждой культурной ситуации. Именно таким было поведение человеческих масс, пришедших после аннексии Крыма из России и заполнивших полуостров.

О том, во что это вылилось, существуют свидетельства очевидцев и более общие ретроспективные обзоры, восстановленные учёными по разнообразным источникам. Одну из таких картин, воспроизводящую «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», бунт против чуждой культуры, нарисовал ещё в 1930-е годы русский же историк. Он свидетельствует, что пришельцы в мгновение ока «опустошили страну, вырубали деревья, разломали дома, разрушили святилища и общественные здания туземцев, уничтожили водопроводы» и так далее (*Цит. по: Бахрушин*, 1936. С. 58). А затем оказалось, что они совершенно неспособны хотя бы внешне поддерживать традиционный порядок в Крыму. Впрочем, такова общая судьба немиссионеров культуры, а вандалов. «Татары, армяне, греки, привыкшие к здешнему климату, возделывавшие землю и ведшие крупную торговлю, изгнаны отсюда. Победители водворились на их место, но не могут переносить здешний климат<sup>1</sup>».

<sup>1</sup> Кстати, болезни переселенцев были также вызваны особенностями культуры, носителями которой они являлись. Модель жизни русского общинника вступала в понятное противоречие с благословенной, но иной природной средой Крыма, предъявлявшей необременительные, но иные требования к населению. Коренные крымцы отличались

земля вокруг них бесплодна, торговля в упадке, потому что их руки больше заняты защитой захваченной земли, нежели обработкой её» (Рамм, 1941. С. 44).

Да и этнопсихологический фактор совершенно выпал из внимания организаторов «первичной славянизации» новоприобретенной Тавриды. Даже самые неагрессивные, прилежные и непьющие из переселенцев при всём желании не могли влиться в многовековой весьма непростой трудовой и хозяйственный процесс на юге. Действительно, трудно себе представить вчерашнего крепостного пензенского пахаря в лаптях, занявшегося подвязкой виноградной лозы или её обрезкой, сбором лепестков розы или соцветий лаванды. Это — недостаток, и ещё менее — достоинство. Это — иная психология. «Русские не любят этой кропотливой работы и обламывания каждого листочка. Она не в их характере» (Чезлок, 1910. Вып. III. С. 15). Трудно не заметить, что столь нешуточную проблему не смогли предвидеть в Петербурге, а отвечать пришлось, увы, Крыму...

Однако люди уже были на новом месте, возвращать их назад никто бы не позволил, надо было как-то решать эту задачу в Крыму. Но местные власти взялись за неё хоть и усердно, но непрофессионально. Вместо того, чтобы организовать хоть какие-то начальные сельскохозяйственные курсы для новопривывших, они, более всего опасаясь беспорядков среди недовольных, обратили всё своё рвение на укрепление административного аппарата. Впрочем, и здесь их роль была ничтожной, они могли лишь исполнять решения, принимавшиеся в Петербурге, где о крымской ситуации знали ещё меньше. Тем не менее именно там была начертана схема будущей управленческой структуры новозавоеванного края. И её незамедлительно претворили в жизнь.

Было учреждено так называемое «Крымское земское правительство» во главе с наместником, ширинским беём Мегмет-пашой, имевшим резиденцию в Карасубазаре. Ему подчинялось 6 каймаканов, обладавших судебной и земской властью на местах. Однако за бугафорской этой «властью» стоял «командующий войсками, в Крыму расположенными» (сначала им был граф де Бальмен, а с 1783 г. — барон И.А. Игельстром), исполнявший волю истинного властелина Крыма — Г.А. Потемкина, который теперь официально именовался «главный руководитель и попечитель Крыма». Российская администрация в их лице «контролировала» земство, по сути руководя им: все сборы и доходы полуострова уходили через Советника по таможенным делам К.И. Мавроени на север. Практически полуостров стал, несмотря на несколько своеобразное управление, обычной губернией Российской империи.

После установления в Крыму новой власти последняя, естественно, тут же приступила к созданию для себя экономического базиса, важнейшей частью которого была собственность на средства производства, основным из которых в Крыму издавна была земля. Конечно, самым радикальным способом избавиться от её хозяев было выселить их. Напомню, что большая часть крымских татар эмигрировала

от новопоселенцев уже тем, что, как указывалось выше, исповедовали истинно исламскую воздержанность, в частности, и в манере питаться — об этом говорилось выше. «Ведя воздержную жизнь... татары никогда не подвержены известной у нас крымской лихорадке. Болезнь сия, равно как и горячка и кровавые поносы, от излишнего потребления неспелых плодов, случаются только с русскими...» (Броневский, 1822. С. 157).

в 1780–90-х гг., но ведь не все же. Так что приходилось как-то устраиваться в присутствии оставшихся. Для этого было естественным переключить местные земельные отношения в соответствии с законодательством, действовавшим в других европейских областях империи. То есть провести земельные реформы и размежевания в интересах прибывающей вслед за оккупационными войсками массой колонистов.

Прежде всего отметим, что при этом не было никакой надобности отбирать землю у коренного народа. Как утверждает автор, специально занимавшийся проблемой отвода земель российским и иным иммигрантам, в Крыму места хватало всем, и дальнейшие конфликты «не были спровоцированы реальным дефицитом земельных ресурсов: в Крыму после первой массовой эмиграции и до начала активной колонизации имелось достаточно плодородных земель» (Деруй, 1993. С. 161). Тем не менее власти приступили почти немедленно после оккупационных действий к вытеснению местного населения. Но, учитывая, что речь идёт всё-таки о Крыме (который после его аннексии ещё не успел уйти из поля зрения европейской общественности), а не о зауральской глуши, то акции обезземеливания было решено, судя по всему, вести с максимальной цивилизованностью.

Очевидно, администрация не отдавала себе поначалу отчёта в трудности подобной задачи. Дело в том, что ей было известно в основном два вида поземельной собственности: государственной и частной (главным образом дворянской). В Крыму же она встретила с первых дней работы по кодификации земель по меньшей мере с 10 формами местного землевладения и землепользования: бывшие ханский и султанский домены, калгалык, ходжалык, бейлик, музринский и поселанский клинья, вакуфы духовный (*вакф-шер*) и обычный (*вакф-адет*), а также пустоши (*меват* или *эрзы-бейда*). Впрочем, эта тема настолько важна для дальнейшего изложения, что с ней стоит разобраться поподробнее. И мы к ней вернёмся.

Но до того полезно ознакомиться с чрезвычайно важной информацией, которая поможет понять суть крупнейшего, самого массового ограбления большей части крымскотатарского крестьянства, произошедшего одновременно, в результате одной акции. Упомянутая информация сразу по завершении аннексии была представлена российскому правительству Таврическим муфтием Сеит-Меметом-эфенди. Это были данные о том, что земли на огромной территории, лежавшей между Перекопом, Гёзлёвом, Бахчисараем, Кефе, Арабатом и Сивашом, были дарованы простым крестьянам ещё ханом Сахиб-Гиреем (1547–1551). То есть, эти территории были не переданы во временное, хоть и длительное пользование. Они были именно отданы «с утверждением каждому селению на вечное и потомственное владение, по урочищам границ, а другим из них, кто желал от оною хана и прочих после того ханов, на владение таковых земель выданные грамоты» (Завадовский, 1885. С. 126).

И всё было бы хорошо, если бы те грамоты были крестьянами востребованы (во-первых) и возобновлялись при обменах, переселениях, смертях, и т. д. (это уже во-вторых). Но ни первого, ни второго никогда не делалось и не соблюдалось по совершенно простой и для Крыма понятной причине: надобности в этом не было! А когда такая надобность появилась, точнее, когда русскими властями была насильно внедрена новая практика доказательств владельческих прав на землю, то крымские татары оказались виновны в простой непредусмотрительности. Причём не своей собственной, а своих предков, не сумевших предугадать,

как повернётся дело. Но вина их внуков тем не менее была признана настолько тяжкой и непростительной, что заслуживала самого сурового наказания. А именно лишения земли, то есть средств поддержания жизни целых семей. Да и всего народа тоже, ни более ни менее.

Выше говорилось вкратце, что землёй в Крыму владел прежде всего тот, кто её обработал (поднял целину, ввёл пустошь в хозяйственный оборот). Наряду с такими частновладельческими участками имелись и общинные площади (*мюльк муштерек*). Здесь подчеркнём довольно тонкий нюанс: в качестве владельца такой земли представляла не община как структура, как мёртвый институт, заполненный живым, постепенно менявшимся человеческим материалом, а совокупность жителей, само население деревни. Об этом говорят старинные документы, где *джемаат* иногда заменялась термином *эхали*, то есть «жители», «деревня» — причём вперемежку, на одной и той же странице земельного акта.

Другое дело — выгон, лес, водное пространство — короче, все недвижимые ценности, возникшие без приложения труда. Они считались Божьим даром, то есть достоянием всего человечества, *мухтепаном*, отчего и оберегались особенно зорко — как общее, не имевшее конкретного хозяина, то есть наиболее беззащитное достояние. Те группы людей (общины), которые оберегали такое имущество, естественно, получали взамен право исключительного пользования им. И здесь вступали в силу самые замысловатые правила весьма древнего, часто забытого происхождения, но тем не менее свято соблюдавшиеся и бесспорные. Понятно, что они не могли быть одинаковыми, но это ещё мягко сказано. Они отличались столь немислимым разнообразием, которое можно сравнить только с пестротой стилей, в которых крымские татары строили свои жилища.

Например, выгоном часто владела джемаат одной деревни. Но их могло быть и две, и три и больше. А в Бахчисарайском кадалыке имелся один, не слишком обширный выгон, имевший сразу 10 пользователей: джемааты сёл Биюк-Яшлав, Сакал, Кази-Биали, Отеш-Эли, Эриль-Эли, Черкез-Эли, Кочкар-Эли, Бий-Эли, Азек и Ойсунка (*Лашков*, 1887. С. 35). Но даже если двумя соседними выгонами пользовались одни и те же джемааты, то различными могли быть правила этого пользования. Ведь некоторые общины взимали какую-то плату (на общественные же нужды), а другие — нет. Самым распространённым было право пользователя пускать на общий выгон весь свой скот, вне зависимости от числа голов. Но в Барыне (ныне Джанкойский район) это количество было ограничено 10 головами на одного владельца, а в Семене (Кефинский кадлык, недалеко от Шейх-Моная) — 6 головами крупного или 30 — мелкого, причём за каждую лишнюю голову полагалось вносить в общинную кассу от 10 до 50 копеек, в зависимости от величины животного.

То же с сенокосом. Обычно косить можно было по потребности, без какого-либо ограничения. Но в отдельных местах параллельно существовали особые традиции, часто весьма сложные. Так, покосные угодья вокруг того же Барына были разделены по числу дворов. К косовице приступали по взаимной договорённости, работали сообща, но затем уже смётанное сено делили по дворам, притом реальное число копён, естественно, не могло быть одинаковым из года в год.

При распределении пахотных земель действовали более стабильные правила. Переделы общинной (впрочем, и мурзинской — тоже!) земли по дворам,

в целом, соответствовали реальной потребности в запашке каждого крестьянского хозяйства. Так возникали огораживания пахотных участков, обозначаемые легко менявшимися при необходимости знаками: чаще всего это были два камня, положенных друг на друга. Они устанавливались по периметру или же в углах участка (их так и называли, *таш-коры*). Причём мурзинская земля, которой пользовались крестьяне, хоть и находилась в верховном и наследственном владении дворянского рода (*махсус-мюльк*), но право номинального обладания ею оставалось за соответствующей джемаат. Что реально выражалось в праве *шаф*. Его смысл был в том, что при уходе бывшего владельца участка с территории села, предпочтительное право покупки его земли оставалось за джемаат.

При этом земля оставалась за крестьянином только при условии её обработки. Если работы на ней прекращались, причём по неважно какой причине (сокращение числа едоков в семье, смерть мужчины-пахаря, перепрофилирование семейной экономики и т. д.), то участок возвращался к общине. Другое дело, что до того какое-то время община была обязана выждать. Причём упомянутый срок, *деварь*, также менялся от джемаат к джемаат, обычно ограничиваясь 3–5 годами. Землю, оставшуюся после раздела между фактически существующими членами джемаат, обычно отдавали местным или соседним пайщикам — *шерикам*, вносившим за пользование ею довольно крупную ренту, которая употреблялась на нужды общины. В упоминавшейся кефинской деревне Семене она равнялась пятой копне; в Бий-Эли (правый берег Альмы) — десятой мере зерна. При этом земля не выходила из права *мюльк муштерек*, оставаясь достоянием общины, а не того, кто её обрабатывал. Напротив, чаир, расчищенный крестьянином, становился полной и наследственной его собственностью, здесь действовало то же право *махсус-мюльк*, что упоминалось выше в отношении мурз. Это право распространялось и на распаханные пустоши, расположенные в лесу, горах и т. п.<sup>1</sup> Та же традиция действовала для садов и виноградников: при любых переделах остальных земель они оставались полной владельческой собственностью, до которой ни джемаат, ни мурзам не было никакого дела. Вообще, хоть и очень приблизительно, общинное крымскотатарское совместное владение можно разбить на 3 типа:

1. Межобщинное (пример — степные колодцы, очень трудоёмкие и сложные сооружения, которые одним селом было трудно выполнить).

2. Межсемейное (не только доленое участие в земельных арендуемых паях, но и, например, совместный наём чабанов для отар, собранных из овец, принадлежащих многим семьям).

3. Артельное, осуществляемое частью общины, но вне владельческих или общинных территорий (то есть в некультуренной местности).

И вот, в эту рациональную и справедливую, но сложнейшую систему, где одни формы собственности на землю перекрывались другими, должны были вторгнуться новые модели землепользования, возникшие при иных политических и социально-экономических условиях. Причем проводники новых форм

<sup>1</sup> Таких территорий было немного (Козы, Токлук, ещё несколько), они распаивались артелями, обычно приобретающими плуг вскладчину (рабочий скот приводили свой, из расчёта 1 артельщик — 1 вол). Урожай делился по числу фактически работавших членов артели.

с трудом разбирались в старых, да они и не желали их изучать. «Оставляя Татар при широких правах и льготах, они [чиновники] не желали или не умели вникнуть в сущность пользования поземельной собственностью и поэтому... большая часть населения вскоре осталась без земли или с ничтожным участком» (*Ханацкий*, 1867. С. 155). Эти люди приехали в Крым силой ломать старую и насаждать иную культуру. А то, что крымские татары были не в состоянии понять её, их вполне устраивало: «вместо того, чтобы разъяснять татарам русские законы... они даже подгоняли бежавших, завладевая бросаемой татарам на произвол судьбы землёю» (*Гольденберг*, 1883. С. 69). Уже поэтому обострялась реакция отторжения новых порядков, изредка борьба с ними — естественно, безнадежная и ничего, кроме бедствий, крымским татарам не принёсшая.

Первым объектом реформ стала мелкая собственность трудового населения, затем ханские и турецкие земли, бывшие государственные и принадлежавшие эмигрантам. Поскольку раздаче пришлому элементу подлежали только незанятые, пустые земли, то все упомянутые территории, отчасти заселённые местным крестьянством, и были объявлены «пустопорожними» — по отсутствию верховного владельца. Крестьяне таких земель подлежали немедленному выселению. Очевидно, эту часть крымского населения имел в виду художник И.К. Айвазовский, заметивший, что «Одной из причин неудовлетворительного экономического положения в степной части Крыма нужно признать неограничение прав землевладельцев выселить их (то есть татарских крестьян. — *В.В.*) со своих земель... Вследствие такого произвола татары периодически разоряются, будучи принуждены скитаться по полуострову, приискивая приют у другого землевладельца, который пользуется подобным случаем, чтобы выговорить себе непомерно выгодные условия» (цит. по: *Секиринский*, 1988. С. 92).

Самые крупные площади отнимались ещё проще, особенно после 1813 г., когда улеглась волна эмиграции. В Крыму в это время действительно появляются земли, по распоряжению эмигрантов-хозяев переходящие в вакуф. Вот здесь эти уголья, часто обширные, а также «затерявшиеся» между ними крестьянские участки, перехватываются местной администрацией, благо бывшим владельцам из-за моря проследить за этим нелегко. Дальше всё просто:

«В Петербург шлются представления и ходатайства о награждении пустопорожними землями, никому не принадлежащими, таких-то и таких-то чиновников, за такие-то и такие-то услуги. Петербург, конечно, не знает Крыма; распоряжение следует, и под именем пустопорожней, никому не принадлежащей земли, отходят в руки цивилизаторов Крыма сады и виноградники татар. Землемеры ошибаются, и по ошибке вместо 5000 десятин отмежевывают 13 000. Какой-нибудь татарин вдруг, к изумлению своему узнаёт, что он продал своё имущество такому-то барину и получил за него столько-то денег, а за неграмотностью его, при таких-то свидетелях, расписался такой-то» (*Марков*, 1995. С. 306–307).

При этом «стародавние поземельные права не ставились ни во что. Земли татарские захватывались чуть ли не каждым, кто хотел: судьями, чиновниками, мурзами и так далее... Помимо этого у татар отбирали земли и другими путями, ещё более незаконными: огромные участки просто-напросто вымеживались из владений татарских аулов, и робкий крымский татарин и помышлять не мог о принесении жалоб в высшие инстанции. А... гражданской палате было выгод-

нее решать дело не в пользу слабого... в конце концов побеждённый народ очутился на земле русских помещиков, причём ему приходилось отбывать крайне тяжёлые повинности в пользу своих новых господ» (*Гольденберг*, 1883. С. 70).

Вообще, нарушения закона в русских палатах, комиссиях и судах в пользу русских же ответчиков, продажность чиновников Крыма этих десятилетий, наглое ограбление ими татар приняли столь гомерический характер, что и это явление обратило на себя внимание иностранцев. Они писали об «ужасающей и тотальной коррупции (the horrible and universal Corruption) гражданской администрации» и о том, что сам Крым был превращен в «некое совершенно непревзойдённое место для подтверждения здешней истины „Суд любит золото, а стряпчий — серебро“» (*Lyall*, 1825. P. 342).

И дело было даже не в том, что у крымскотатарских крестьян в большинстве случаев документов на землю не имелось. Их не было практически у всего населения степной части Крыма, то есть бывшей кочевой, потом оседлой, но преобладающей животноводческой сельскохозяйственной зоны, неважно кому — мурзам, беям или хану — эти земли принадлежали. На Южном берегу и в горах, где издавна более развитым было земледелие, хозяева участков чаще всего имели правильно оформленные владельческие документы. Но, что главное, наличие или отсутствие документа на участок у крымскотатарского крестьянина на практике дела абсолютно не меняло. Менялась лишь процедура отъёма (она незначительно усложнялась), но не обычный результат этого насилия: так или иначе, но крымца земли лишали.

Приведём один такой пример. В 1787 г. по предложению Г.А. Потёмкина так называемая Саблынская дача, то есть несколько сёл со старым названием Соблы (3000 десятин удобной и 470 — неудобной земли в 15 км к юго-востоку от Симферополя), была отдана жене будущего министра Н.С. Мордвинову и капитану Плещееву. То, что на территории дачи находилось две деревни (Ашага-Собла и Юхары-Собла) с населением в 310 человек, испокон века жившим от этой земли, никого не смутило<sup>1</sup>. Туземцев вообще в расчёт не принимали<sup>2</sup>, поэтому они и остались без земли, все до единого.

<sup>1</sup> Ранее, то есть в самые первые годы после аннексии полуострова, была составлена так называемая «Выписка, какие из назначенных к отводу особам из состоящих в Таврической области земель, дачах имеются уголья и сколько в них содержится десятин земли». В разделе Выписки, относящемся к обеим Соблам, «вся пашенная земля и все лесные уголья («лес дровяной») были выведены из собственности местных жителей и отнесены к «землям казённого ведомства». Если же учесть соблыньские земли целиком, то к отводу русским переселенцам было предназначено 2770 десятин, а местным татарам оставлено всего 207 десятин, то есть менее десятой части из того, чем они владели раньше (РГВИА. Ф. 52. Д. 601. Ч. 1. Л. 4).

<sup>2</sup> Сравним такое отношение к коренному народу с трогательной заботой, проявлявшейся Потёмкиным к единоверным греческим иммигрантам-батальонам: «рекомендую назначить и отвезти им земли к поселению с таким наблюдением, чтобы каждый из них имел определённое число десятин (напомню, это число колебалось от 20 до 240 десятин южнобережной земли — *В.В.*)... чтобы одни перед другими не были обижены и чтобы каждому селению была назначена межа владения» (Ордер Игельтскому от 09. 08. 1784 — Письма, 1881. С. 305). И это уже не говоря о бесплатном наделении греков татарским скотом: «Из оставшегося после выехавших за границу татар разного скота, извольте... волов, коров и лошадей раздать новым поселенцам...» (Ордер Каховскому В.В., июль 1785 г. — Там же. С. 324–325).

Вот так и началось великое ограбление крымского народа, в ходе которого почти всё досталось царским чиновникам и их приближённым. Уже в первые после аннексии годы пришлым, а также местным дворянам было роздано 380 000 десятин лучшей земли. Г.А. Потёмкин отрезал себе 13 000 десятин в Байдарской долине. Мехмет-шах Ширинский получил Коккозскую округу (27 300 десятин), Батыр-ага — Салгирскую (14 600 десятин). Секретарь Потёмкина В.С. Попов — 27 900 десятин и дачу в Тавеле (4300 десятин). У графа А.А. Безбородко оказалось земли 18 000 десятин; у полковника Куликовского — 2900 десятин у деревни Кокташ; у Н.С. Мордвинова — «всего» 5500 десятин, но зато не только под Симферополем, но и в Байдарской долине, и на Южном берегу; у майора Каховского — 7500 десятин; у контр-адмирала Ушакова — 8500 десятин и т. д. (*Щербаков, Рагацкий*, 1939, 13). Надворному советнику Оспурину достались земли сёл Ускут, Айгуль, Кучка, Мустафа-ага-Кой, Сарча, Кият, Карло, Кизилташ, Дегирменкой и др. — всего 1 000 десятин (ИТУАК, 1897. № 26. С. 26).

Не были обижены и мелкие чины. Титулярный советник Колчигин получил земли при дер. Улу-Сала и Ласпи (500 дес.), капитан Тибекин — землю дер. Алушта, Кучук-Ламбат и Биок-Ламбат (800 дес.), его родственник коллежский ассесор Тибекин — «1 000 дес., да на полуденном берегу 200 десятин, из числа оных назнач. при деревнях Хадин-Эли, Айсерез и Ворон, да на речке Фундукле при протоке по сложности дер. Чечня — 1200 дес.» (ИТУАК, 1897. № 26. С. 28). Крупные участки получали царские фрейлины, фаворитки и тому подобные барышни и дамы.<sup>1</sup>

Лишь самые неплодородные земли уцелели во время этого вселенского грабежа и потока. То есть в лучшем положении остались те татары, что, «живительствова на местах невыгодных, не попали под иго милостей» новых хозяев Крыма, в остальном же «почти все досталось шутам и угодникам» императрицы (*Мертвага*, 1867. С. 179).

Земли раздавались грекам, принимавшим участие в войне России с Крымом. Таким образом, вчерашний противник получал крымскотатарские земли, некоторые сёла при этом ещё буквально дымилась, это не метафора. Так, подполковнику Мавро-Михайли и достались земли «деревень Бурлюк, Тарханлар, да при деревне Альме и реке Чердакеу 1000 десятин. Майору Лампси — земли дер. Канджалар» и до полудюжины живых ещё деревень... «да при разорённой (курсив мой. — В.В.) Бурче — 1500 дес» (ИТУАК, 1897. № 26. С. 25, 29). Наиболее культивированная, разработанная и удобно расположенная, городская земля, то есть ранее принадлежавшая эмигрировавшим горожанам, вообще «по участкам в 100 десятинах состоящих, раздаётся без платы, с условием в продолжение пяти лет насадить сад или учредить какое другое заведение» (*Броневский*, 1822. С. 138).

<sup>1</sup> Земли раздавала не только Канцелярия её величества, но и новая администрация Юга. Такие полномочия имел, к примеру, князь Зубов, причём в его полном распоряжении оказались первоклассные участки и целые местности Южного берега. Именно через него полковник Лесли получил «дерев. Гурзув и к ней 4000 десятин» (Повеление кн. Зубова от 05. 12. 1794 — ИТУАК, 1897. № 26. С. 26) — это около 4000 га южнобережной даже не земли, а живой природы с её неотъемлемой частью — крымскотатарскими сёлами!

Несколько опережая события, заметим, что это первое ограбление крымских татар было не окончательным, то есть далеко не последним. По мере освоения русскими того же Южного берега, продаж и перепродаж этой земли, местные жители утеснялись всё больше. И даже благоустройство, неизбежно связанное со строительством вилл, дворцов и городов, производилось за счёт дальнейшего обезземливания крымских татар. Как иронически отмечал один автор начала прошлого века, «туземцы, по свойственному людской массе эгоизму, конечно, мало помышляли о всероссийском благополучии, жили для себя так, как это им казалось лучше, и успели достаточно попортить природные условия Ялты. Не оставили места для сколько-нибудь сносной набережной, не заботились об устройстве большого общественного парка, строились, как Бог на душу послал» (*Кривенко*, 1914. С. 19). Теперь за эту «непредусмотрительность» тоже приходилось расплачиваться...

И даже такое бедствие, как обрушившийся на Крым в 1833 г. голод, шло на пользу новым землевладельцам, причём прежде всего в наиболее пострадавших уездах Восточного Крыма, откуда народ уходил во временную миграцию, чтобы выжить. «Утверждают также, что этим бедственным временем воспользовались некоторые (русские помещики. — В.В.), успевшие обмежевать за собою земли, принадлежавшие поселянам-татарам. Когда же возвратились оставшиеся в живых и собирались заявить о завладении их недвижимою собственностью, то [оказалось, что уже] прошло много времени и принадлежавшие им земли на основании закона о земской давности, остались за завладевшими» (Памятная книжка, 1867. С. 162). Такое положение, то есть необходимость доказывать свои земельные права именно крымцам, а не пришлым помещикам, сохранялось ещё долго, вплоть до Крымской войны<sup>1</sup>.

Крымские татары слали жалобы на местный чиновничий разбой в Петербург, то есть туда, где были его истоки. Новые «крымчане» — дворяне успешно оправдывались. Один из памятников такого рода — «Мнение» Н.С. Мордвинова. Этот крупный государственный деятель был, оказывается, вообще против крымскотатарского землевладения по следующим причинам: «долговременная непресекаемость выездов татарских за границу, ненадежность правительства на верность остальных, по новости их усыновления... и вечно враждебной, напротив того, их к христианам ненависти... напоследок же и то обстоятельство, по которому с действительным наступлением войны отобраны были у них повсеместно всякие орудия и лошади, а жители приморских мест были удалены во внутренние крымские селения...» (*Мордвинов*, 1872. С. 201). Комментарии к этому перечню «провинностей» крымских татар перед русскими излишни. Добавим лишь, что графу не уступали его потомки: тяжба из-за татарских земель

<sup>1</sup> Приведем пример почти аналогичного инцидента, имевшего место ровно двадцать лет спустя, в 1853 г. Вдова крестьянина Муллы-Джана (дер. Бора, Симферопольского уезда) подала на имя министра государственных имуществ, графа П.Д. Киселёва, прошение о принадлежавших её мужу наследственных землях, захваченных помещиком Вайратским. Решение, принятое Таврической Палатой госимуществ, гласило: «Если крестьяне деревни Бора имеют законное право на владение землёю, то начать иск в надлежащем судебном месте... о выкупе частных в округе деревни Бора участков, принадлежавших наследникам умершего» (РГИА, Ф. 383, Оп. 16. Д. 20 476. Л. 12—13). От захватившего землю Вайратского, естественно, доказательств его прав не потребовали...

Байдарской долины, начатая им в XVIII в., длилась дольше века, последний процесс состоялся при Врангеле в 1920 г.!

Упомянутая эмиграция крымцев действительно началась сразу же по захвате ханства. Выезжая в Турцию, люди бросали и землю, и остальное имущество, так как покупателей не было, ведь русским можно было получить всё из рук власти бесплатно. Но если сады и виноградники ещё подлежали отчуждению, то пашни и пастбища переходили в разряд выморочных и как таковые поступали в казну. Впрочем, и эти земли нередко захватывались, с последующим оформлением на себя, как мурзами, так и хлынувшими в погоне за наживой из России legionами различных проходимцев, умевших подкупать местных чиновников.

Этот разбой возмущал даже российских государственных чиновников, если это были честные люди: «Один, например, просит себе отвода земли, где сам избрёт (sic!), для разведения садов, пашни и разведения деревьев; другой выпрашивает даровой земли „для разведения фаянсовой и фарфоровой фабрики“; третий — для разведения целой „апельсиновой рощи“ под Чатырдагом. Какой-то польский шляхтич Любович принимает русское подданство под условием отвода ему в Крыму земли „под поселение на собственный его кошт“; капитан Крыжановский в компании с евреем Шмудем Ильевичем берут казённый подряд на поставку поселенцев в Таврическую губернию... Но где же эти фабрики, где эти апельсиновые рощи...?! Всё это был мираж, обман, мошенничество» (Цит. по: Смирнов, 1889. С. 249).

Нужно заметить, что для нас, людей новой эпохи, почти полностью утраченных ощущение живой связи с землёй, нередко остаётся непостижимой та трагедия, что была связана с обезземеливанием простого крестьянина XVIII в. В ту пору природное и человеческое начала ещё не подверглись разделению. Для человека земли в ней, в этой земле, были неразрывно слиты: а) ощущение владения ею; б) право распоряжения этим наследием предков; в) право трудового её использования. Пашня и выпас были так же священны, как лес, горы, источники и небо. И так же неотъемлемы, как право поклоняться им, оберегать их, трудиться на них. Ведь от этого крестьянского труда питались, то есть сохраняли в себе жизнь как Божий дар, люди села и города. Отсюда и исходило священное право крестьянина на землю как на источник жизни для всех.

Каким же органичным и сильным оно было, это чувство, в ту далёкую пору, если антропология утверждает, что и современной крестьянской ментальности архетипически присуще представление о труде как о первоисточнике имущественных прав на землю (*Яхшиян*, 1996. С. 100). Физический труд как основа права земельной собственности — вот что отличало обычное крестьянское право от писанного гражданского законодательства. Трудовое происхождение собственности придавало земле неприкосновенность в глазах земледельца и пастуха, являясь основой сословного служения. Земля — нерукотворный объект, в который вложен труд, на этом фундаменте основаны все хозяйственные и значительная часть духовных потребностей, отсюда и рождалось упомянутое, вполне религиозное отношение к земле.

Это было право пахара и виноградаря на клочок тучной или каменистой почвы, достаточный для труда. Не только в старинные времена, в Средневековье, но и позже в Крыму оставались бесхозные, заброшенные земли. Они, напомним,

становились полной собственностью освоившего их. В этом случае считалось, что земля возрождается<sup>1</sup>, то есть из утратившей свою сущность, из бесполезной и потому не способной быть собственностью, такую способность обретает. Одновременно рождается право на эту землю, которая до того и землёй-то не была. Это право было более естественным, чем все другие, доставшиеся иными способами (не то, чтобы незаработанные, просто не дарованные свыше) права. Оно исходило от Аллаха, наградившего человека поистине божественным правом на труд, и поэтому равнялось праву на воздух, дождевую воду, тепло солнца, свет луны, право на бытование в своём селе, то есть право на Жизнь вообще, как на осуществление высшей Правды и Справедливости. Оттого для крымского крестьянина и были одинаково органичными как совместное владение общественным лугом, так и личное обладание собственноручно расчищенным и засаженным чаиром.

И когда крестьянина стали лишать его земли, то это воспринималось в точности так, как будто эти неведомые пришельцы, одетые в странные одежды, не говорящие на общем для всего Крыма языке и непостижимые в своих поступках, стали отбирать Солнце или небо. Поэтому, если крымские татары отказывались её отдавать, то это сопротивление было таким же инстинктивным, то есть малоосмысленным, как судорожные движения не умеющего плавать, тонущего человека, рвущегося к исчезающему свету и воздуху, и таким же тщетным. Незнание властители Крыма, абсолютно незнакомые с психологией коренного населения, принимали эти разрозненные попытки сохранить живую душу за бунт. Соответственной была и реакция: тонущих били по голове...

Но русские ещё и не понимали особенностей южного сельского хозяйства. Поэтому буквально за несколько лет экономика края была ими развалена до крайней степени, о чём уже упоминалось. По совокупности эти две причины и вызвали массовую эмиграцию брошенного в нечеловеческие условия крымско-татарского крестьянства в первые же месяцы и годы после аннексии. Конечно, за море ушли не все, как говорилось, прежде всего по недостатку сбережений, необходимых в далёком пути и для обустройства на новом месте. Многие надеялись, возможно, как-то притерпеться к новой власти. Но когда через десять-пятнадцать лет положение коренных жителей изменилось в худшую сторону, то поднялась вторая волна эмиграции, ещё более массовой, чем первая.

Крымскотатарский массовый исход конца 1790-х — начала 1800-х гг. принял такой неслыханный размер, что тревогу забили уже сами русские власти. Военный генерал-губернатор Новороссии И.И. Михельсон доносил в 1800 г. в Петербург о росте выезда татар и опасности волнений среди них, считая причиной тому процесс обезземеливания и ужесточение эксплуатации. Он пишет, что ранее татары, «искони быв свободны, никому никогда не принадлежали», а «дань состояла в виде добровольной сделки на землю и не заключала подчиненности или подданства и не делала татар работниками помещиков». Вряд ли,

<sup>1</sup> Акт превращения мёртвой, пустой, необработанной земли (*меват* или *хероб*) в обработанную и засеянную (*ободон* или *омер*) в шарияте так и назывался: «оживление мёртвой природы (земли)», хотя в национальных адатах имелись некоторые различия по содержанию этого акта (Законоведение. С. 449–453).



продолжает губернатор, казна, «не жаловав из них в крестьяне ни души никому, намерена была нарочито оставить их без земли на тот конец, чтобы они без земли вместо крестьян помещикам служили; но сие произошло через раздачу в числе казенных пустопорожных земель таких, на коих татары живут...» (цит. по: *Лашков*, 1897. С. 135). Мнение это особенно впечатляет в устах усмирителя пугачевского движения, то есть формального защитника государственного порядка и крепостного права; очевидно, гонения на татар были чрезмерными даже для него. И позднее Михельсон предлагает отнять у всех христиан-помещиков крымские земли и «раздать оные татарам» (*Мордвинов*, 1872. С. 201).

Впрочем, правительство оставило мнение И.И. Михельсона без внимания. Судя по дальнейшему, гораздо более привлекательными были для Петербурга рассуждения того же Н.С. Мордвинова: «Когда Крым принадлежит России, то, по-моему, не должно из земли российской делать землю татарскую...» (цит. по: *Никольский*, 1926. С. 21). И единственным результатом этой переписки губернатора с Петербургом стал закон 1804 г., смысл которого однозначен: «В Петербурге вняли горячим призывам крымских помещиков и ужесточили процедуру доказательства прав [крымских татар] на землю» (*Дерий*, 1993. С. 167). Собственно, российский историк Ф. Лашковым этот вывод был сделан ещё в прошлом веке: «...закон 1804 г. значительно ограничивал поземельные права татар сравнительно с правилами 1802 года» (ИТУАК, 1896. № 25. С. 24).

Выше упоминалось, что те русские дворяне, что были лучше обеспечены деньгами или властью, захватывали южнобережные земли. Первые российские владельцы сотен и тысяч десятин земли Южного берега, как правило, не выдерживали огромных трат на придание дикой природе «европейского вида», и их земли скупали более могущественные магнаты. Лишь один из них, князь М.С. Воронцов, был известен человечным отношением к крымским татарам — об этом ещё будет сказано. Но и великодушие князя было не безграничным. Принадлежа к российской элите, обладая огромными средствами, он, конечно же, выселял татар с купленных земель. Правда, честно расплачиваясь.

Другие владельческие русские опускались до элементарного обмана не знавших государственного языка, тёмных бедняков. Представители виднейших родов России скупали мелкие участки не только крестьян, но и мурз, и даже опередивших их русских помещиков, объединяя земли и возводя на полученной таким образом территории усадьбы и дворцы, до сих пор поражающие своим великолепием. Естественно, при этом никто не обращал внимания на «вклинившиеся» в эти латифундии крымскотатарские деревни. Для ликвидации последних были хороши все средства: от сел отводили воду перекрывали древние дороги, лишали общины права на пользование лесом и так далее; если же крестьянам и дозволялось оставаться на месте, то лишь в качестве бесправных арендаторов.

Здесь, «...захватывая у татар лес, с них же брали плату за пользование лесными материалами, и заставляли окапывать канавами у них же отобранные участки, сгоняя для этой повинности татар за десяток и более вёрст. Посягали не только на землю, но и на воду: проточная вода, необходимая для поливки огородов и садов, а также для водопоев, беспрепятственно отводилась частными лицами в особые резервуары и возвращалась в прежнее русло лишь за отдель-



М.С. Воронцов.  
Портрет маслом Джорджа Доу.  
Эрмитаж

ную плату...» (*Гольденберг*, 1883. С. 70). Впрочем, отдадим «новым крымчанам» справедливость: они с тем же успехом драли деньги и с государства, по сути, даровавшего им земельную недвижимость. Так, когда началось восстановление разорённых во время захвата Крыма Россией городов, то русские помещики, получившие землю в лесных зонах, установили плату за стандартное двухсаженное бревно в 4,50 руб. — и казна была вынуждена платить эту огромную (учитывая объём поставок) сумму ею же облагодетельствованным дельцам за крымскотатарский лес (РГИА. Ф. 559. Оп. 2. Д. 17. Л. 3).

О том, сколько земли было отнято у крымскотатарских крестьян за первые 20–30 лет колонизации, судить нелегко, пока не произведены соответствующие подсчёты (они многотрудны, но реальны, так как большая часть операций с землёй отражена в архивных источниках). Пока, кроме упоминания о площадях, попавших в собственность известных и даже исторических деятелей России, сошлёмся на данные из Указа императора Александра I от 04.05.1816 г., в котором приводились данные о том, что крымскими чиновниками было продано 500 000 десятин земли, «принадлежавших татарам и почему-то переименованных в казённые» (См. т. IV. Приложение. Текст VII). И эти полмиллиона хозяйственных, давно обрабатывавшихся, то есть окультуренных и бонифицированных десятин земли были проданы по пятьдесят копеек за десятину!

После роспуска Комиссии для разбора споров в 1809 г. вопрос крымского землевладения остался открытым. Но поскольку жалобы продолжали поступать не только от крестьян, но и от помещиков (не умевших разъяснить крымцам всю безнравственность выпаса скота на бывших общинных землях), то в 1816 г. был издан новый именной указ. Здесь снова упоминались названные полмиллиона десятин, проданные по 50 копеек, кое-где — по 1 рублю 21 копейке. Учитывая огромную ценность земли, это было всё равно, что отдать её даром. Сейчас в это трудно поверить, но и современники поражались:

«по 1 руб. 21 коп. десятина, этому и веры нельзя дать по богатству тамошних земель»<sup>1</sup>. Что же касается татар, живших на этих землях, то, очевидно, уже тогда обнищание их дошло до такого уровня, что указом предписывалось «учреждение опеки над дворянами, небрегающими о благе крестьян» (ПСЗ. Т. XXXIII. № 26 254), то есть контроле над особенно зверствовавшими новыми хозяевами крымскотатарского крестьянства.

Проблема обезземеливания крымскотатарского крестьянства вряд ли станет яснее, если перечень подобных акций продолжить — он может расширяться до любых пределов. Целесообразнее рассмотреть основные точки зрения, число которых можно свести к двум-трем. Суть первой из них вытекает из содержания приведённых конкретных случаев. Она недвусмысленна: действительно, пользуясь своим положением, русские переселенцы получили огромные земельные владения за счёт местного крестьянства, путём обирания коренного населения.

Вторая точка зрения была высказана Н.С. Мордвиновым, А.М. Бороздиным и их современниками — новыми русскими землевладельцами. Её смысл: крымские татары противятся полюбовному разделу крымской земли, на которую имеют право помещики из России. Эта точка зрения была после долгого перерыва неожиданно актуализирована исследователями 1990-х гг. При этом она была «заострена» ими так, как не снилось и Мордвинову. По словам современной исследовательницы С. Дерий, виновниками и первопричиной земельных тяжб и конфликтов были сами крымские татары. Именно они ответственны за «стихийный захват помещичьих земель и лесов», ликвидацию «межевых столбов на границах поместий, другие эксцессы, парализовавшие хозяйственную жизнь в Крыму» (Дерий, 1993. С. 163).

К сожалению, автор не проясняет, чьими руками поддерживалась эта «хозяйственная жизнь» и тогда и в дальнейшем на протяжении всего XIX в.? Очевидно, физическим трудом тех же помещиков и их подростков детей, так как и в 1821 г. общее число русских крепостных в Крыму равнялось всего 5007 душам (РГИА. Ф. 560. Оп. 7. Д. 29. Л. 6), да и в середине этого века русских крестьян там едва набиралось до 5000 человек (Крым, 1930. С. 78).

С. Дерий прямо указывает и на первую жертву этих конфликтов: «Разорены были бесконечными тяжбами и самоуправством ответчики — российские помещики, причём скорее те из них, которые имели действительное намерение обособиться на новых землях (то есть не спекулянты. — В.В.)» (Дерий, 1993. С. 163). А причина этой трагедии, второй жертвой которой стали и некие «простые татарские поселяне», была следующей: как «оказалось... значительное число потенциальных землевладельцев — татарских общин и отдельных татар — были

<sup>1</sup> Для сравнения укажем, что настолько низко ценилась лишь бесплодная перекопская или арабатская земля. Согласно «Общей оценке внутри Крымского полуострова землям, садам и лесам, учиненной генваря 1805 г.», цена остальных земель доходила до 1200 руб за десятину. Их-то, эти тучные земли, и получали «новые крымчане», вроде англичанина Виллиса, уплатившего за свой участок на Южном берегу такие гроши, что, как заметил его современник, на них «можно приобрести земли разве что в лесах Америки», а никак не на одном из лучших участков всей тысячемильной береговой полосы Чёрного моря (Шебальский, 1868. С. 137).

намерены реализовать свои права за счёт расселённых<sup>1</sup> в Крыму российских помещиков» (ук. соч. С. 162).

А если мы вспомним утверждение вышеупомянутой исследовательницы о том, что в Крыму вообще земли могло хватить всем («не было дефицита земельных ресурсов» — ук. соч., С. 161), то остаётся единственное логичное объяснение: крымскотатарское крестьянство искусственно создавало такой дефицит, отбирая у русских помещиков землю, чтобы тем успешнее их, то есть помещиков, эксплуатировать.

Но это крымскотатарское издевательство над беззащитными русскими помещиками было счастливо прервано в 1812 г., когда на Крым обрушились, во первых, необычайно суровая зима, отчего помёрзли озимые и вымерла масса скота, а, во-вторых, упоминавшаяся эпидемия чумы. Мало того, шла война с Наполеоном, а ему, к несчастью крымских татар, помогали турки. Значит, снова стоило «отключить» крымских татар, что и осуществили, как всегда, оперативно: «Опасаясь Татар по случаю начавшейся с Турками войны, распорядились перегнать за Перекоп табуны лошадей, овец и рогатый скот, и всё это погибло там, сколько от стужи, столько же от недостатка корма, сараев, загонов, кошар и необходимого присмотра. От чумы погибло множество татар... опустели целые деревни, навсегда оставшиеся без населения» (Ханацкий, 1867. С. 158). И это в пору, когда крымскотатарские полки геройски сражались на переднем крае великой войны. Вспомнив об известных крымских событиях мая 1944 г., можно заключить: поистине, история повторяется, хоть и не в точности, но, во всяком случае, очень похоже...

К 1816 г. земельная ситуация в Крыму сложилась таким образом. Основная часть крымскотатарских крестьян (41 311 душ мужского пола) оказалась осевшей на помещичьих полях, 38 173 — на «казённой земле, которой считается при селениях татарских 79 487 десятин и 34 294 зана, да сверх того имеют татары 16 659 десятин и 18 583 зана в общем с помещиками владении... Что касается до свободных казённых земель, итого их 7651 дес и 1740 сажени, но из них представлено в пользование татарам 6000 дес.» К 1821 же году крымских татар на собственной земле осталось всего 4040 душ мужского пола или чуть более 8000 человек *всего*.

<sup>1</sup> Именно так. Не «отдавших предпочтение Крыму», не «расселившихся», не «переселившихся», не «иммигрировавших» и проч., а — *расселённых* помещиков. Хорошо хоть, не сосланных в Крым! Любопытно, что предшественница С. Дерий, работавшая над тем же конфликтным материалом вском-двадцатью раньше (леди Кравен, леди Холдернесс, мадам Монтандон и др.) неизменно отдавали свои публицистические симпатии крымским татарам. Российские же их коллеги, не скрывавшие статусом иностранок (кн. Горчакова и Е. Штакеншнейдер) занимали ещё более нелюбезную позицию, резко высказываясь о своих соотечественниках. — ведь Мордвинов или Бороздин были не одиноки в своей алчности, стоявшей разрушенной судьбы многим сотням крестьянских семей. Возможно, здесь сказалось извечно женское стремление занять сторону слабейшего, как знать? Но я не стал бы утверждать, что такой сдвиг в оценочной позиции женщин-учёных вызван ужесточением нравов в XX в., приведшем к утрате прекрасным полом доли своей женственности. Стелла Дерий не менее очаровательна, чем была (по воспоминаниям современников) Елена Штакеншнейдер, что нисколько не мешает нашей современнице занимать совершенно стальную позицию по отношению к разорённому крестьянству Крыма.

Правда, при этом отмечалось, что «крепостных поселян Магометанского закона... не имеется» (Донесение Таврической казённой Экспедиции Департамента внутренних податей и сборов от 13. 09. 1822 г. — РГИА. Ф. 560. Оп. 7. Д. 29. Л. 1—4, 9, 11).

В 1816 г. по причине провала деятельности первой Комиссии учреждается вторая с той же целью разбора жалоб и наказания виновных в нарушении законодательства. Затем создали некий комитет из трёх (!) чиновников, тоже для рассмотрения нескончаемых дел о притеснениях крестьян и упорядочения владельческих прав (ПСЗ. Т. XXXVI. № 28 014). И, наконец, уже в 1822 г. было учреждено так называемое Временное отделение комитета при Таврической казённой экспедиции, — с той же целью и теми же негодными средствами (ПСЗ. Т. XXXVIII. № 29 084).

Деятельность всех этих органов оказалась бесплодной, причин чему было немало. Но одна из основных — та, что, как замечали современники, «почти все власти Крыма имеют землю, они влияют на ход размежевания», что вполне «естественно», по крайней мере для русского дворянства. Предлагавшиеся же планы активизации этих работ (например, по земле, принадлежавшей М.С. Воронцову) были рассчитаны на затягивание размежевания на десятки лет. «Но правды не было бы и через 50 лет», — пессимистично замечает тот же современник (Вольфсон, 1941. С. 66).

Наконец в 1827 г. было составлено Положение для татар-поселян и владельцев земель Таврической губернии, имевшее силу указа (ПСЗ, II изд. Т. II. № 1 417). Долгожданный этот документ дал помещикам право на неограниченные поборы с татар, живущих на их земле (§ 18), и произвольный стог крестьян с барской земли (§ 21). И лишь общинная земля пока отчуждению формально не подлежала.

Однако настал и её черед. В указе 1833 г. «О поземельном праве в Таврическом полуострове и облегчении в оном межевания» (ПСЗ, II изд. Т. VIII, № 5994) помещикам разрешалось продавать и общинную землю (§ 5), и, в частности, разрешалась распродажа общинных угодий, в которых вообще *не было помещичьей доли*, то есть чисто крымскотатарской собственности. Здесь явно уничтожались препятствия на пути превращения чужой земли в товар, что было необходимо скупящим её новым землевладельцам уже вполне грабительски-капиталистического склада. Так рухнул древний институт крымскотатарской общины, благодаря которому на плаву оставались беднейшие хозяйства, а в деревнях выживали семьи, остававшиеся без кормильца. Теперь первый же неурожай вынуждал татар расставаться со старинными своими угодьями. Чтобы не умереть с голоду, они продавали их по любой цене, а в голодные годы она не могла быть нормальной.

Приведу в пример один из таких голодных периодов. «В 1837 году Крым был постигнут повсеместным неурожаем и последовавшим за ним голодом, от которого в некоторых селениях вымерло до половины народонаселения. Это бедствие способствовало ещё захвату татарских земель тем, что после смерти кого бы то ни было, если нет наследников, имение делалось выморочным и поступало в казну...» (Левицкий, 1882. С. 600—601). При этом страдали права сельских джмаат, ранее обычно получавших такие земли для присоединения их к неприкосновенным общинным.

Общины крымскотатарских деревень пытались решать такие дела, обращаясь с соответствующей жалобой в какую-нибудь инстанцию крымской администрации, но тщетно. «Чтоб убедиться в этом, стоит только бросить взгляд на громадные дела таврической палаты государственных имуществ. Всякий легко удостовериться может, что нет почти деревни в нагорной части и на южном берегу Крыма, у которой не было бы спорного дела с казною о принадлежности татарам земель в личную собственность... Из дел видно также, что примеры произвольного захвата земли казною не остались без подражателей и что помещики, большие и малые, мусульмане и православные, соревнуя в этом отношении обычаю самоправного присвоения чужой собственности, освящённому самими представителями и блюстителями законов, неоднократно присваивали себе насильно отнятые у бедных татар, поселян, значительные земли. Эти захваты как помещиками, так и казённым управлением породили во всех инстанциях... огромную переписку и нескончаемое делопроизводство. Не говоря уже о том, что бедный татарин, живущий в глуши своих крымских степей или гор, лишён всякой возможности отстаивать свои права в Санкт-Петербургских или Московских департаментах сената, куда весьма часто не доходят записки на татарском языке, свидетельствующие о пожаловании этой земли каким-нибудь ханом; он не понимает, каким образом простой вопрос, принадлежит ли им или нет какая-нибудь спорная десятина, может тянуться 20 или 30 лет сряду и, теряясь в тщетных догадках, приходит, наконец, к горькому убеждению, что у него отнята собственность, на которую он имеет неотъемлемые права...» (Левицкий, 1882. С. 600—601).

Явления эти стали позднее общероссийскими. Но были в Крыму и специфические, нигде более не отмеченные (кроме, возможно, Кавказа или Средней Азии), весьма изощренные способы внешне вполне «феодалной» эксплуатации крестьян. Так, помещик мог запретить крымскому татарину, арендующему у него участок, держать пчёл, если имелась барская пасека — очевидно, чтобы избежать конкуренции между роями (Holderness, 1821. P. 156). Другими словами, теперь помещик мог прибегать и к внеэкономическому насилию, используя власть, которую ему давала администрация (или, как упоминалось выше, владение водой). Фактически это была крепостная зависимость, в которую попали формально остающиеся свободными крымские татары. Таких плодов цивилизации XIX в. ранее Крым не знал. Местные власти использовали и дарованное им право безразмерных налогов — они дошли до 10 руб. и более с души; а на протяжении 25 лет до Крымской войны ещё раз удвоились. Но крымской губернской экономике, несмотря на этот рост поборов, денег катастрофически не хватало. Причин тому было много. Одной из главных был стремительный рост бюрократического аппарата губернии. Число чиновников за тот же период учетверилось, «так что на одно только это управление с татар взималось более 1 000 000 руб. ежегодно» (Гольденберг, 1883. С. 71).

А потом власти, внезапно обнаружив, что крымский лес катастрофически исчезает<sup>1</sup>, и что это ведёт к высыханию речек, в том числе и орошающих угодья

<sup>1</sup> Вместо того, чтобы организовать ввоз потребной Крыму строевой и иной деловой древесины из лесных губерний империи, администрация края пошла по более простому пути самообеспечения. Огромное количество леса, необходимого при интенсивном

русских земельных магнатов и казённые дачи, решили бороться с этим несчастьем, но великорусскими, то есть своеобразными методами. Вначале, вся вина за этот действительно серьёзный экологический кризис была отнесена на счёт крымских оленей и диких коз — и на невинных животных была открыта охота. Потом татарским крестьянам стали запрещать держать коз и овец в прилесных и лесных местностях, потом запретили собирать валежник и сухой хворост в лесах и горах. Эта уникальная попытка свалить преступление с большой головы на здоровую вызвала отклики даже за рубежом — нередкий случай:

«Власти не хотели или не могли обуздать вельмож, этих действительных лесопотребителей, и вот, в своём бессилии, они отыгрались на четвероногих. Трудно себе представить, с какой быстротой исчезают самые лучшие леса Тавриды: из года в год целые горные кражи в буквальном смысле слова оголяются, а власти, столь строгие к диким козам, никаких мер не предпринимают, чтобы остановить это роковое опустошение... В этом диком вандализме, губительном для края, впереди других сильных мира стоит адмирал Н.С. Мордвинов, который благодаря непрерывным истребительным рубкам, уничтожил уже богатейшие леса, покрывавшие склон Байдарской долины. Последствия этого обезлесения жестоко дают себя уже чувствовать: многие источники иссякли и горные речки обезводились...» (*Hommaire*, 1845. С. 554–555. цит. по: Смирненко, 1912. С. 8).

Но вернёмся к нашим козам. Попытки запрета выпаса их поначалу проваливались — множество крестьянских хозяйств только на нём и держалось, они просто не могли отказаться от этой многовековой экономической, да и экологически выверенной традиции. «Козья» проблема дошла до генерал-губернатора М.С. Воронцова, который докладывал в Сенат, что «чрезвычайное истребление лесов производят козы, которых в горной части полуострова содержат татары...» (РГИА. Ф. 1341. Оп. 43. Д. 1182. Л. 1). Более того 4 декабря того же года дело было представлено императору. Николай, заранее извещённый о его сути лично Воронцовым, был в курсе дела и немедленно согласился с предложением последнего насчёт категорического запрета пасти зловерное крымскотатарское животное в лесах Тавриды. Об этом царь и сообщил письменно 18 декабря 1839 г. Министру Государственных имуществ, генерал-адъютанту графу П.Д. Киселёву (РГИА. Ф. 1341. Оп. 43. Д. 1182. Л. 2–2 об.).

Но это не означало решения проблемы. Дело было в том, что тогда, да и позже именно козы являлись в Крыму единственной опорой одиноких вдов с многочисленными сиротами, не имевших возможности держать корову или даже маленькую отару овец. Поэтому они были просто вынуждены исподволь нарушать петербургские указы на протяжении всего XIX века. Впрочем, к середине столетия эти правительственные постановления успели сделать своё чёрное дело, лишив молока тысяч крымскотатарских ребятишек и их одиноких матерей. К этому времени

гражданском, и ещё более — военном строительстве, заготавливалось во всё возрастающих размерах в горных и прибрежных лесах. И даже когда для ряда специальных работ (огораживание, обрешёчивание, подмости и пр.) требовалась низкосортные материалы вроде осины или берёзы, то «за неизменением лучшего» в ход пускались ценнейшие, отделочные сорта крымской древесины: «Берёзы нет тут, поэтому много делают досок из граба» (*King*, 1788. P. 231).

в Крыму осталось всего полторы тысячи коз, точнее — козлов-предводителей овечьих отар (*кызлар-агасы*). Понятно, что эти мощные, дорогостоящие самцы принадлежали состоятельным владельцам стад или адаманам и никакой пользы для самых неимущих не приносили (*Скальковский*, 1853. Ч. II. С. 833).

Таким образом, по совокупности причин крымские татары оказались в кабале, причём массовой и полной. Те, кто избежал испольщины (по нехватке земли), должен был отрабатывать поливную воду; кто сохранил право на ручьевую воду, работал за право запасти дрова в помещичьем лесу, и так далее. Поэтому слова советского автора о том, что крымский татарин испытал «уравнение его с русским закрепощённым крестьянством» (*Григорьев*, 1923. С. 232), не соответствуют истине. В России вода и лесной хворост (не строевой лес!) испокон века были бесплатны. Крымскую зависимость от землевладельцев нужно поэтому именовать иначе. Повторю, это была тотальная лично-экономическая несвобода коренного населения от русских помещиков.

## 2. Новая эксплуатация

Конечно, ситуация сложилась скверная. Крымские татары оказались в весьма сложном положении, разобраться в котором весьма непросто. Немаловажным было и то, что в Крыму, в отличие от соседних славянских территорий, в XIX в. сохраняли поразительную живучесть патриархальные отношения и мораль старинной пастушеской родовой общины. Это позволяет, между прочим, некоторым авторам делать вывод об «отсутствии остроты классовых противоречий» в этом обществе (*Никольский*, 1925. С. 20). Если же делать поправку на эпоху, когда формулировался такой вывод, то для того чтобы смысл фразы стал прозрачным, нужно убрать из неё слово «остроты».

Понятно, что община, в которой отношения регулировались почти исключительно моральными факторами, оказывалась особенно беззащитной в изменившихся внешних условиях. А ведь на полуострове стал укрепляться действительно новый тип землевладения, которому были свойственны юридические нормы и практика эксплуатации, принесённые из крепостнической России. Личное крепостное право стало внедряться русскими помещиками с помощью привычных приемов: «Русские после захвата Крыма установили здесь свой гнусный закон рабства...» (*Clarke*, 1810. P. 515).

Несколько иными были методы татарских эмиров-мурз, получивших права русского дворянства и не желавших уступать пришлым братьям по сословию. Теперь они понуждали свободных, но живших на их земле крестьян показывать, что издавна принадлежавшие селянам угодья на деле — мурзинские. Им нередко доставались и земли выехавших соотечественников — от империи, то есть совершенно бесплатно. Но среди крупных землевладельцев таких были буквально единицы, это были чем-то приглянувшиеся Петербургу мурзы и беи. Один из них, коккозский Мехмет-бей, как уже говорилось, по мере сил помогал русским при захвате его родины. Другой, Батыр-ага Ойрат, бывший ханский казнадар, стал после аннексии государственным советником, и сын его, Мемет-мурза

Ойрат, получил во владение село Мамут-Султан с 14 000 десятинами той же, в плодородной Салгирской долине расположенной земли (*Jäger*, 1830. S. 44)<sup>1</sup>.

Предлог к этому земельному перераспределению был простым: иначе эти территории якобы должны были объявляться пустопорожными и как таковые переходить в казну или к русским землевладельцам. А такой переход в самом деле означал и утрату прав собственности, и увеличение нормы эксплуатации в несколько раз, как на обычных, арендованных крестьянами землях. Эту нехитрую операцию понемногу стали проделывать отдельные мурзы, которые вовремя обзавелись соответствующими документами о земельной собственности. И сдерживал их лишь шариат, категорически запрещающий повышать весьма необременительную повинность их единоверцев-крестьян.

Что же касается новых, русских законов, то они закрепили настоящую барщину: для начала 8 дней в году на каждую мужскую душу семьи (за выпас) плюс десятина с урожая злаковых. Отдельно шла плата за покос: от каждой третьей до второй копны, в зависимости от сезонного укоса. При этом всю натуральную оплату крестьянин должен был доставлять в указанное место, нередко расположенное за многие десятки вёрст, своими средствами, то есть, на мажаре, запряжённой собственными волами (*Holderness*, 1821. P. 5).

Позднее барщина выросла до 15 дней работы в году. А неограниченный труд во время страды, который ввели у себя новые помещики, узаконили они сами, якобы на основе обычного права. Более того, помещики выступали за полный свой произвол в определении барщины вообще. Так, Н.С. Мордвинов писал в Петербург, что «узаконение малой повинности поселян на землю, которую они у помещиков внайме содержат (то есть на бывшую собственную, татарскую. — *B.V.*), может послужить к возбуждению лени, всегда вредной» (цит. по: *Никольский*, 1925. С. 23). Понятно, что рассуждая таким образом, можно было поднимать барщину и до 25, и до 100 дней в году, — с таким предложением крымские помещики обращались в имперское Министерство Государственных имуществ, ссылаясь на опыт остзейских (эстляндских) баронов (*Шатилов*, 1858. С. 70). В отдельных волостях Таврической губернии такая непомерная, стодневная норма отработок и в самом деле была установлена (*Секиринский*, 1974. С. 33).

Вскоре помещики, в основном русские, не считавшиеся с местными, шариатскими традициями, обязали крымскотатарских крестьян полностью обрабатывать барскую землю в расчёте 2,5 десятины на плуг, засеивать ее, собирать урожай и доставлять своими средствами в город. Десятина превратилась в пшину, то есть увеличившись до 1/5 всего собранного сена, по 30 коп. с головы крупного скота (за право выпаса на бывшем общинном лугу), по 6 коп. с овцы. Установилась неограниченная подворная повинность и обязанность делать помещику натуральные подношения, а также работать у него по дому, как только это потребу-

<sup>1</sup> Нужно бы с самого начала сделать оговорку, что речь здесь идёт далеко не о всех крымских эмирах. «Те из мурз, которые вовремя поняли роковую перемену обстоятельств и раньше других изъявили готовность действовать подчинению бывшего ханства новой власти Русской Державы, были беспрекословно вознаграждены со стороны этой власти, для остальных же началась переборка и проверка правомерности и законности их претензий на привилегированное звание и положение местных дворян в крае» (*Смирнов*, 1889. С. 251).

ется, — бесплатно, конечно. «При обложении татар-земледельцев господствовал неограниченный произвол; буквально не было того предмета в татарском хозяйстве, с которого не уделялась бы известная доля в пользу господина: пахарь давал ему зерно, фрукты, вино, птицу, яйца, [шерстяные] нитки, сено; он обязан был известное число дней в году на помещичьей земле пахать, косить, жать, сеять, молотить и прочее и прочее» (*Гольденберг*, 1883. С. 71).

Крестьяне были вынуждены безропотно со всем соглашаться, так как их положение было, повторяем, ничуть не лучше, то есть не свободнее, чем даже у российских крепостных. Крымские татары не обладали абсолютно никакими правами на землю и жили в постоянном страхе, что разгневанный чем-то помещик может согнать с неё. И если в России у крепостного был один хозяин, то лично независимые крымские татары не принадлежали никому, но в то же время — и всем соседним помещикам, которые нередко совместно эксплуатировали одну деревню, лежащую на стыке их владений. И наоборот, владелец одной деревни и ее угодий мог обирать и жителей нескольких соседних деревень, пользуясь несовершенством владельческой документации в Крыму.

Так, получивший в собственность дер. Саблы губернатор А.М. Бороздин заставлял работать на себя жителей не таких уж соседних Бешуя, Карагача и некоторых других селений. Он скупал отдельные участки, становясь таким образом полноправным членом деревенских общин, и, опираясь на это новое своё качество, через суд добивался права распоряжения общинным выпасом, лесом и даже вакуфными землями этих общин. Он сам мог при этом не пользоваться лесом или выпасом. Эти угодья нужны были совсем для другого: пуская в них крестьян, которые издавна заготавливали там топливо или пасли скот, новый владелец брал за это плату отработками, то есть той же барщиной. А достичь этой цели было проще простого.

Средства отъёма земель и леса были элементарными до наглости. На небольшом расстоянии от Саблы, которую Бороздин уже считал своей, был прекрасный лес, который принадлежал общинам двенадцати крымскотатарских деревень, крупнейшими из которых были Кир-Аратук, Джалман-Аратук и Бешуй. Губернатор первым делом купил поблизости от леса небольшой участок земли, а затем подал в уездный суд просьбу отмежевать ему, как землевладельцу смежных пашенных и сенокосных угодий, весь общинный лес. Суд решил дело быстро и радикально. Как позднее описывали этот процесс сами крестьяне в своей жалобе, «Приехал из Симферополя исправник Мавро-Михайли и, собрав всех окрестных жителей деревень, спрашивал их о границах купленного будто бы Бороздиным леса, но они, боясь его, разошлись по домам, однако он собрал их снова и велел с точностью указывать границы. Когда же они заявили, что лес этот „*балтадах*“, то есть общественный, он сильно рассердился, стал страшить их и, наконец, отвёл в присутствии всех жителей облюбованный Бороздиным лес ему во владение» (цит. по: Крым, 1930. С. 75).

Жалоба на это беззаконие не возымела никакого действия. Вместо Мавро-Михайли, якобы для проверки его действий и восстановления справедливости, был прислан уже другой исправник, Барбашев. Новый административный чин не только признал действия своего предшественника полностью правильными, но и стал требовать от крестьян крымскотатарских деревень расписку, где они

выразили бы своё согласие на передачу леса новому владельцу-губернатору. Какие средства при этом использовал Барбашев — истории неизвестно<sup>1</sup>. Но бумагу с согласием на отвод леса Бороздину крестьяне через какое-то время подписали. А уж после этого спорить было поздно, хоть «вопли татар доходили до престола» (Марков, 1995. С. 306–307).

Действительно, доходили. Вначале они поразили слух царских чиновников, из наиболее честных и имевших мужество обращать внимание двора на происходящее в Крыму. Процесс обезземеливания крымских татар обратил на себя таким образом их внимание уже при Екатерине II: «Судите же, каково переносить народу в новом направлении такие тяжести, особливо таковому, который никогда в прямом повиновении ханам своим не был», писал один из них (Дубровин, 1885. Т. I. С. 847). Другой, гражданский губернатор Новороссии генерал И.И. Хорват, был поражен тем, что русские помещики в Крыму, считая татар «в виде своих крестьян или подданных, а поэтому и недвижимые их имения себе принадлежащими», облагают их невиданными поборами, «уклоняющихся же понуждают выходить из селений и земель своих, куда хотят, присваивая их землю себе» (Лашков, 1897. С. 136).

Царица слушала эти резонные речи вполуха. Когда нужно было, она становилась рассеянной. К тому же поборы с разорённых и обезземеленных татар увеличивали не только помещики, но и царская казна, естественно, не без ведома просвещённой монархини.

Возник ещё один, довольно специфический тип эксплуатации крестьян-степняков, ранее неизвестный. Речь идёт о массовом и регулярном конокрадстве, в котором участвовали русские переселенцы, казаки и даже иностранцы-колонисты. Послушаем непосредственного свидетеля этого преступления. Выше уже говорилось о том, с какой заботой и любовью крымские татары относились к своим коням, какую внимательную селекцию этих животных практиковали с незапамятных времён и каковы были ее результаты. «Лошадь составляет один из главных источников жизнеспособности татар, и оттого же столь высоко ценят её качества соседи. Стада до сих пор кормят всех, а лучшие экземпляры лошадей дают повод к столь же вечному пикированию и спорам насчёт их сравнительных достоинств между владельцами.

Но вот на сцену является русский, в частном случае — казак, самый жестокий насильник из всех родов солдат на земле. Вор по натуре, он грабит друзей и врагов повсюду, куда занесёт его походная судьба, а когда уже нечего отнимать, он заставляет местных жителей поставлять корм для лошади и кормить его самого, за что никогда не платит. Был случай, когда эти виды насилия соседей довели татар до такого отчаяния, что они одновременно поднялись массой и убили не-

<sup>1</sup> «Подвиги» крымских исправников, подобных Маавро-Михайли и Барбашеву, были столь громки, что достигли ушей зарубежных современников, посещавших Крым довольно часто, и интересовавшихся буднями татарской деревни. По своей наивности, некоторые из этих авторов никак не могли понять, каким образом исправники могут тратить гораздо больше, чем получают? Ведь те, по их собственному признанию, получая исправничьи жалования 250 рублей в год, тратили за это время 10 000 рублей. Другие авторы столь же искренне и серьёзно объясняли, что деньги на эти траты «выжаты из татар» (is extorted from the Tartars), так что удивляться нечему (Lyall, 1825, P. 343; Holderness, 1823, P. 120.)

скольких колонистов. Первыми жертвами стали немцы, из-за их известной алчности, которую они склонны прикрывать вежливостью. Чтобы предотвратить повторение таких случаев, татарам было запрещено носить на поясе оружие. Но поскольку это право ныне оставлено только их дворянам, то и костюм (точнее, часть его — пояс, лишённый ножен с холодным оружием — В.В.), и поведение крестьян стали настолько мирными и робкими, что одного лишь появления в их местности отряда казаков достаточно для того, чтобы все дома в деревне тут же оказались наглухо закрытыми» (Spenger, 1837. Vol. II. P. 133–134).

Как мы видели, свои мнения насчёт антитатарских мер помещики высказывали вполне чётко, с полной искренностью. Кстати, этим качеством не могут похвалиться отдельные историки, утверждающие, например, что «в Крыму было спокойно», так как «особым указом Екатерина сохранила за татарами прежние земельные законы (!), по которым татарские крестьяне были свободны, помещикам не принадлежали и баршину отбывать были не обязаны» (Медведева, 1956. С. 185). Более того, оказывается, русская армия освободила в Крыму неких рабов, «невольников», чьим трудом выполнялись «все основные работы в хозяйстве беев и мурз» (Надинский, 1952. Ч. I. С. 97), но тогда почему практически ни один серьёзный специалист ни словом не упоминает даже об отдельных случаях рабской зависимости в Крыму в последние века истории ханства, не говоря уже о системе рабского труда, игравшей якорь «основную» роль в экономике крупных и мелких хозяйств.

И ещё одна любопытная оценка, тоже советского историка: он считает, что в Крыму после освобождения от «тяжёлого турецко-татарского господства» (господства над кем, над готами, что ли?! — В.В.) «на почве русской цивилизации начала развиваться экономика и культура...». Причём в качестве примера новой экономики и новой же, более высокой культуры приводится следующее явление: «На Южном берегу Крыма разбивались красивые парки, вырастали дворцы, увеличивались площади под садами...» и т. д. (Максименко, 1957. С. 5). Увы, приходится признать, историка-марксиста восхищают такие плоды цивилизации, как памятники колонизаторской субкультуры, воздвигнутые на исконной земле ограбленных тружеников земли. Для таких авторов как-то уходит в тень цена этих действительно великолепных дворцов — обнищание и физическая гибель десятков тысяч коренных жителей, согнанных со своих крошечных виноградников и обречённых на батрачество или же эмиграцию за море.

В этом смысле честнее были авторы 1880-х гг., писавшие несколько наивно, но ставившие более верные акценты: «Парки прекрасны, но от них нет особенной прибыли населению (курсив мой. — В.В.). Они обыкновенно требуют массы воды, теряющейся произвольно в поэтическом журчании разных фонтанов и каскадов, в поливе газонов и цветников; обильнейшие воды и лучшие земли отвлекаются через это от целей хозяйства» (Марков, 1902. С. 518). Жизнь на Южном берегу «на каждом шагу поражает резкими противоположностями: с одной стороны роскошь и увеселительные парки, с другой бедность доходящая до нищеты... [и продолжающееся] постепенное обеднение татар» (Горчакова, 1883. С. 144).

Впрочем, была в крымской экономике одна не совсем обычная отрасль, стабильно приносившая нормальный доход занятым в ней крымским татарам, и не только им. Речь идёт о добыче крымской соли. Выше упоминалось о её крупнейшей во всём огромном Причерноморском регионе внешнеторговых оборотах,

о сотнях и тысячах чумаков Украины, кормившихся от крымских солёных озёр, кефинских и гёзлёвских мореходов, ломшиков и грузчиков соли у Перекопа и Керчи. Этот промысел приобрёл особенно важное значение после аннексии ханства, когда для многих сотен согнанных с земель крестьян, не имевших средств или желания эмигрировать, соляные промыслы стали последней надеждой удержаться на родной земле, пусть даже ценой неимоверно тяжёлого труда.

Первые десятилетия после 1783 г. на озёрах всё оставалось по-прежнему, отпуск готового продукта даже несколько возрос, так что отрасль могла занимать всё большее число разорённых крымских татар. Но потом русский чиновник полностью освоился и здесь, до конца осознав собственную безнаказанность, и «для Перекопа наступили тогда золотые дни!» — с иронией замечает крымский исследователь. «Чумацкие гроши непрерывной струёй лились целое лето в чиновничьи карманы. В те блаженные времена умели поживиться, кроме соляников, и другие ведомства. Балы, обеды, прогулки с музыкой, с песнями чередовались между собой... Далеко разносилась слава про роскошные пиры, устраиваемые в старой татарской крепости. Не отставал от Перекопа и Армянск... Только одни чумаки редко принимали участие в общем веселье» (Чеглок, 1910. Вып. I. С. 15).

И это неувлительно, ведь в отличие от бывших хозяев перекопских степей, прекрасно ладивших с украинскими соседями, русский чиновник стал облагать чумаков поборами за каждый проезд по «чужой» земле, за каждый водопой усталых волов, за пастьбу. И старики, которые «привыкли чумаковать при татарских порядках без всякого стеснения» (ук, соч. С. 17), в конце концов сдались. Над перекопской степью утих скрип тяжёлых возов, опустели и промыслы. Крымскотатарские ломшики соли разошлись кто куда, большинство — в кабалу к севшим на их землю помещикам. Тоже до поры до времени, впереди был очередной великий и горестный исход, вечная разлука с Крымом...

Это была вторая сторона «оживления крымской экономики», якобы наступившего после захвата ханства.

Результат воздействия такого хозяйственного оживления на коренной народ был заметен даже людям, в Крыму временным, причём уже через десять лет после установления русского режима управления краем: «Татары подавлены перспективой жизни под христианским господством, подавлены одиночеством, в котором они оказались, отрезанные от множества себе подобных, знакомых и единоверцев, которые уже покинули Тавриду, подавлены видом опустошений, разорённой родины... зная, что не встретят у православных ни человечности, ни тёплого чувства, да и как можно ожидать сочувствия от угнетателей?» (Woensel, 1790. Bl. 271—272).

### 3. Экономика первой половины XIX в.

Один из крупнейших колонизаторов начала прошлого века, Мордвинов, был уверен, что «татары неспособны жить и занимать земли и сады», отчего «блага всеобщее требует, чтобы в горную часть Крыма привлекаемы были иностранцы, поднимающие цену толь благодатной земли» (Мордвинов, 1881. С. 211—212). Здесь отставной адми-

рал кривил душой. В течение первого-второго десятилетия проникновения русских в Крым (включая и краткий период независимости ханства) экономика края продолжала держаться исключительно на труде коренного народа.

Более беспристрастные иностранцы отмечали, что и в конце 1780-х — начале 1790-х гг. на полуострове из года в год снимали богатые урожаи, то есть экономика, пришедшая в катастрофический упадок в ходе завоевания ханства, была полностью восстановлена. Но, подчёркивает голландский исследователь, «это — дело местных уроженцев, не московитов, которые, насколько мне удалось здесь проведать, все сплошь нерадивые земледельцы и жалкие садоводы (doorgans slordige landbouwers en armzalige hovegiers). Можно было бы, конечно, попытаться быть снисходительным к их халатности, но не получается при виде того, как они рубят деревья, и хоть бы одно кто-нибудь посадил! Да и от самих помещиков и чиновников не стоит ждать особых успехов в подъёме экономики Крыма, они ещё хуже своих подчинённых... Впрочем, и татары уже работают без прежнего рвения, им ведь немного и надо...» (Woensel, 1790. Bl. 258—259).

О том же писал и немецкий путешественник, побывавший в Крыму через несколько десятилетий, но ещё заставший зримые следы экономики ханского времени, а также перемены, вызванные порабощением коренного народа. Говоря об огромных садах близ Бахчисарая, он отмечает: «В этих садах высятся фруктовые деревья невероятной толщины. Много фиговых деревьев, а виноградные лозы по своей мощи похожи скорее на фруктовые деревья, с которых повсюду свисают виноградные гроздья. Но в целом сады довольно одичалые...» (Behr, 1834. S. 144).

Но вернёмся к мордвиновским претензиям, предъявленным к крымскотатарским крестьянам. Упоминаемые им «иностранцы» были бы в тот период и в тех условиях ненамного лучшими работниками на его плантациях. Иностранцы же, то есть, более объективные наблюдатели свидетельствовали, что в эти годы на самых лучших, поливных и поёмных землях (в речных долинах близ Бахчисарая) урожай колонистов в лучшем случае приносил «пятнадцать и двадцать зёрен на одно посеянное пшеницы и ржи» (Мормон, 1838. С. 200). Напомню, что за несколько веков до аннексии урожай в лучшие годы достигал ста собранных зёрен к одному посеянному (См. очерк V, п. 1 «б»). И это был среднекрымский показатель, то есть, включавший в себя и богарные, а не только поливные участки.

Другими словами, именно местные крестьяне более походили на западноевропейских, чем иностранные или русские новопоселенцы, правда, это было до аннексии. Теперь же, в новых социальных условиях, дела шли по-новому, то есть хуже и у коренного народа. И это бросалось в глаза даже приезжим: «...татары не проявляют большого стремления служить своим господам-неверным, считая поля и леса исконно своими... А ведь мы располагаем аналогичными наблюдениями по странам, где крестьяне за многие века уже привыкли к барским повинностям, но и там они с неохотой подчиняются чужой воле, что же говорить о здешних краях, где новый порядок введён лишь несколько лет тому назад? Если землевладельцы Крыма почти единодушно утверждают, что что татары ленивы и коварны (faul und boshaft sind), что они работают только под строгим контролем, устраиваясь при этом со всем доступным им удобством, то такие отзывы ничего

не говорят о народе, так как эти господа используют в своих выводах неадекватную шкалу ценностей» (Engelhardt, 1815, S. 32–33).

Власти практиковали замену татарских крестьян зарубежными переселенцами с первых послеаннексионных лет, но переселенцами экономически независимыми и, уж конечно, хорошо обеспеченными землёй. Естественно, колонисты понемногу начали приносить какую-то объективную пользу крымской экономике: они обладали земледельческой техникой и опытом, стоявшими на передовом уровне эпохи. Но экономические успехи, которые бросались в глаза при посещении усадеб колонистов (по сравнению их с крымскотатарскими) объяснялись и иными причинами. Иммигрантам обеспечивался ряд льгот, упоминавшихся выше и не распространявшихся на татар. Это касается и бесплатного семенного материала, и освобождения от налогов (Заселение, 1900. №№ 29 и 30). Именно для их агрикультурных нужд был в 1812 г. заложен знаменитый Никитский сад и несколько других питомников, в основном близ Старого Крыма (там же, № 32). Естественно, в глаза современникам бросалось, что материалами этих питомников «к сожалению, татары Южного берега мало... пользуются» (Броневский, 1822, С. 76). Таким образом, крымским татарам было тяжело вынести конкуренцию колонистской экономики потому, что они, во-первых, несли все поборы «на покрытие издержек по содержанию края» (Заселение, 1900. № 33); во-вторых, как мы видели, их стогнали с земли, и, в-третьих, ни на какую правительственную помощь они, в отличие от иностранцев, не могли рассчитывать — до них никому не было дела. В период до 21 февраля 1833 г. правительство не удосужилось даже закрепить землю точным, юридически разработанным актом за теми немногими крымцами, что ею владели. — как можно было в таких условиях заботиться о бонификации земли, если владелец вполне мог быть с неё согнан в любой момент!

Именно к этому периоду относится выше упоминавшееся повышение совокутных казённых поборов с крымскотатарского крестьянства. Причём оно было проведено не постепенно, а единовременно, и не на несколько процентов, а в полтора-два раза. Приведём пример из практики введения новых норм подушных и иных сборов, имевшего место, правда, уже при Николае I, в январе 1832 года. Царь объяснял необходимость неожиданной тяготы просто: «Признали Мы справедливым допустить некоторое возвышение денежного сбора с Таврических Татар. Почему повелеваем: 1) С Татар сельских обывателей Таврической губернии вместо 1 руб. 50 коп. ныне платимых, взимать впредь по 3 рубля; 2) С мешан... вместо ныне платимого подушного по 2 руб. 30 коп и особого сбора по 1 руб. 50 коп. взимать всего по 5 руб. с души; 3) Сбор сей производить сверх подлежащего на земскую повинность...» (РГИА. Ф. 1341. Оп. 33. Д. 1262. Л. 1–1 об.).

Заметим, что правительство объективно пыталось бороться с катастрофой денежными средствами. Однако эта акция полностью провалилась, причем по типично русской причине, которая, как это обычно бывает, вызвала тягостное недоумение отнюдь не в ко всему привычной России, а за рубежом: «Ничто не могло стать более бесспорным источником недоверия татар, чем история с мерами, предпринятыми во время голода 1833 года, который был столь ужасен, что народ вымирал целыми семьями. Правительство, естественно, знавшее об этом, выделило татарам помощь. Но она была оказана в столь немисливо унижительной форме, что по большей части отклонялась мусульманами, ужаснувшимися

той цене, которую им впоследствии пришлось бы за неё заплатить» (Hammaire, 1847. P. 423).

Дело в том, что именно в 1833 г., явно воспользовавшись голодом, имперское правительство резко ужесточило национальное, религиозное и культурное угнетение коренного народа Крыма (об этом см. ниже), одновременно пытаясь купить его отказ от сопротивления денежными подачками. В этой обстановке голодавшие мусульмане полуострова действительно проявили завидное мужество. Они не могли поступиться совестью и верой отцов ради жалких крох с барского стола новых властителей Крыма, от которых ничего доброго уже давно не ждали.

И, в самом деле, через 4 года была сделана очередная попытка повышения сборов с крымскотатарских крестьян, против чего не мог не возразить уже и сам генерал-губернатор (им тогда ещё был М.С. Воронцов). Светлейший князь указывал в специальном отношении министру финансов, что «по бедственному состоянию... от неурожая 32 и 33 гг. обыватели не в состоянии вносить и того сбора, которым они были обложены до сего времени; что от урожая 1835 г. и последствий оно будет зависеть и соображение о возможности увеличения сборов...» (РГИА. Ф. 1152. Оп. 2. Д. 1. Л. 2–3). Несколько позже князь указывал, что и урожай 1835 г. «весьма скудный», отчего «Мусульманские обыватели» вряд ли вынесут новое повышение сборов. Заступничество оказалось тщетным: 15 января 1837 г. Департамент Государственной экономики утвердил решение о новом ограблении крымских татар (РГИА. То же дело. Л. 5 об.).

А вот ещё одна разновидность неслыханных ранее в Крыму крестьянских расходов. В те же примерно годы было принято «Положение об обеспечении народного продовольствия частными запасами». Речь шла о том, чтобы крымскотатарские семьи славали на государственные склады хлеб (из расчёта 2 четверти на душу) для создания неприкосновенного запаса на случай нового голода. Эти запасы через какой-то срок должны были обновляться; потери, неизбежные при этом, возмещались опять-таки за счёт крестьян. И зерно стали изымать, причём со всех, хотя было известно, что в губернии 64 628 душ «не имеют в наделе от казны земли, а живут большей частью на помещичьих землях и вообще занимаются хлебопашеством почти в таком только размере, чтобы им доставало на годовое пропитание семейств; главные же доходы извлекают от скотоводства и других промыслов...» (очевидно, имелось в виду, что обезземеленные эти крестьяне, чтобы не умереть с голоду, держат по несколько овец или тех же злополучных коз). Но и уже изъятые со слезами эти десятки посемейных четвертей (напомним, что четверть пшеницы равна 150 кг, то есть семья из пяти душ должна была сдать 3/4 тонны зерна) «от неимения прочных помещений для запасов... от хранения в ямах и от не всегда своевременного освежения приходили в порчу» и при упоминании «освежении» возвращались владельцам негодными в пищу (РГИА. Ф. 383. Оп. 10. Д. 9632. Л. 1–9).

Тем не менее, несмотря на государственную политику извлечения из новых областей максимальной прибыли за счёт колонизованных народов, что не могло не подрывать традиционного хозяйства, экономика края продолжала развиваться. И именно трудом татар Крым за полстолетия XIX в. был буквально преображен. Возьмем пример из хозяйственной сферы, где пришлого элемента почти не было, — из овцеводства. Издавна славившихся на всем Востоке тонкорунных



овец в 1823 г. было 112 тыс., в 1837 г. — уже 195 тыс., а в 1848 г. — около миллиона голов (Памятная книжка, 1867. Отд. IV. С. 21).

В хлебопашестве, где принимали участие и колонисты, и вывезенные из России крепостные (впрочем, и тех и других было пока неизмеримо меньше, чем татар-земледельцев), успехи были не менее показательны: если к 1841 г. валовой урожай пшеницы равнялся 755 000 четвертей, то через два года после того как возросли цены на хлеб, объём зерна поднялся до 1 252 000 четвертей, а в 1845 г. — до 1 800 000, то есть возрос в 2,5 раза за 4 года (Максименко, 1957. С. 17). Скупая статистика тех лет показывает, что основная масса зерна при этом была собрана государственными крестьянами (то есть крымскими татарами), помещики же сняли урожай, в 5,5 раза меньший (Секиринский, 1974. С. 16). И вообще современники, исследовавшие крымское земледелие на местах, утверждали, что успехи в зерновом хозяйстве таких магнатов, как кн. М.С. Воронцов и других, искусственно раздуты со вполне определёнными целями (Steinhard, 1855. S. 110).

Число виноградных кустов к 1830 г. достигло 4 000 000 в основном на Южном берегу, а также в долинах Бельбека, Альмы, Судака и Качи. Однако уже тогда началось и степное виноградарство — отрасль, зарождение которой почему-то принято связывать с внедрением в Крыму советской экономики: вблизи Симферополя, Феодосии, Евпатории к 1848 г. под 35 000 000 кустов было занято 5000 десятин. Возросло и товарное значение отрасли: если в 1823 г. было произведено 228 000 ведер вина, то в 1848 г. — уже 823 000.

Конечно, ещё позже пришла очередь и действительной индустриализации: начали понемногу возникать мастерские, заводики, потом степь перерезала первая ветка Лозово-Севастопольской железной дороги, что, безусловно, было делом рук российского или иностранного капитала и рабочих, то есть не крымцев. Города осветились газовыми светильниками, стали шоссироваться южнобережные дороги и т. д. Но и в этой связи хочется вспомнить слова одного из лидеров антиколониальной Алжирской революции: «Да, конечно, французы индустриализировали Алжир. Но я не могу радоваться великолепию электрическому освещению, появившемуся в доме, который уже не мой!»

Что же касается начавшегося «прогресса» и в области культуры Крыма, то речь о нём пойдёт ниже.

#### 4. Иностранная колонизация Крыма

Среди некоторых учёных существует мнение, что в ходе «воссоединения» с Россией Крым никакой колонизации не испытал. То есть её якобы не могло быть уже потому, что в отличие, скажем, от Кавказа, здесь «не было захвата чужой земли», а была... «борьба русского народа за возвращение своих исконных земель» (Надинский, 1946. С. 20, 60). Неизвестно, идёт ли здесь речь о Тмуторокани, возможно, и о скифах, которых данный автор считал предками русских, — тезис этот Надинским никак не разъяснён. Думается всё же, что при исследовании периода конца XVIII — первой половины XIX в. большую роль, чем выяснение, кем были предки коренного крымского населения, играет суть проводимой российским

правительством «крымской» политики — экономической и национальной, чем мы и займёмся.

Напомним, что первая акция такого рода, заметно изменившая этнический облик края и проведенная правительством типично колонизаторскими, насильственными методами, свершилась ещё до того, как утихли военные действия. То есть в годы захвата Крыма (имеется в виду депортация крымских христиан).

За первой депортацией последовали многие другие искусственные демографические сдвиги. Выше говорилось уже о частном, помещичьем переселении крепостных на крымские земли. Но гораздо большее демографическое значение имела государственная колониальная политика. Цель этой политики не являлась секретом, о ней писали в газетах: «Для упрочения русского владычества во вновь присоединённом крае необходимо было заселение его чисто русскими людьми...» (СЛ, 1887. № 3). Правительство стало наделять землёй отставных солдат-великороссов, а также переселять в Крым их жён, или женщин, предназначенных им в жёны. Оседали такие полуискусственные семьи в специально создаваемых поселках — в Симферопольском уезде это Подгородняя Петровская, Мазанки, Куршы, Мангуш, Зуя, Бия-Сала, Верхние Саблы и Владимировка; в Феодосийском — Изюмская, Елизаветовка; в Евпаторийском — Уч-Абламы, Степановка. Проводилась эта довольно деликатной природы операция, как и принято в России, то есть с отвратительной грубостью и полным равнодушием к объекту административных акций, то есть к простым людям страны. И, как это чаще всего случалось, завоз этих новых людей, причём именно таким образом, эхом отозвался на судьбе Крыма, его природы и, в конечном счёте, его коренного народа:

«Со всего государства велено было собрать солдатских жён и отправить к мужьям. Под присмотром привезённые в Крым женщины, коих мужья давно померли, разбираемы были солдатами, коим тотчас давались отставные и снабдение от казны, и лишь объявить (sic) желание поселиться на землях к тому определённых в Крыму. Взяв незнакомую... жену, получа всё, что крестьянину иметь надобно, оставшись на свободе безо всякого присмотра, предавались они распутству, и большая часть исчезла... Бродяги, промотавшие данное им снабдение, не жалея ничего, истребили лучшие деревья, продавая всё, что можно. Потом они же ввели в обыкновение всякие мошенничества и скверные дела» (Мертвага, 1867. С. 180).

Как упоминалось выше, более успешным было переселение на полуостров «новых» армян (то есть не из коренных, которых депортировали) и столь же новых греков. Не поддаётся учёту число оседавших ещё с 1780-х гг. в Крыму евреев. Точнее, «еврейских девок», которых поставлял в качестве будущих жён военному и гражданскому русскому населению полуострова некий Шмуль Ильевич. Этот оборотистый делец получал за каждую девицу вознаграждение. Правитель области В.В. Каховский писал одному из своих подчинённых по поводу этого необычного вида иммигрантов: «намерение их таково похвально... вы хорошо зделали, обещавши еврею за каждую привезённую в Тавриду девку по 5 рублев...» (Письма, 1881. С. 317).

Тогда же была сделана попытка заселить Крым ещё одной необычной категорией: какими-то «наёмными» (очевидно, получившими подъёмные деньги на переселение) крестьянами из захваченных при Екатерине земель Польши, а также беспаспортными бродягами, собранными там же. Эта попытка окончилась

конфузом, так как «наёмные» «...частым своим воровством были общим для жителей наказанием. Столь велика была нужда в работниках, что владельцы долгое время терпели делаемые ими кражи, для того только, чтобы иметь рабочих людей. Наконец, правительство вынуждено было пожертвовать частною пользою владельцев общей безопасности [ради], приказав помещикам их выгнать... Уже несколько лет как они сделались редки, ничего не слыхать о воровстве, но нужда в работниках до того увеличилась, что владельцы нередко желают и о бурлаках» (Герман, 1808, С. 172–173). Напомним, что в XVIII — начале XIX вв. последний термин означал «бродяга», «гуляющий человек».

Ненамного более продуктивным в экономическом отношении был завоз в 1787 г. и в ближайшие годы на полуостров 4 000 заштатных церковников, в основном в Симферопольский и Феодосийский округа (Лашков, 1897, С. 129).

Вторую волну переселенцев составили государственные крестьяне и снова инородцы: на р. Конской, близ Знаменки, осело 3000 старообрядцев из Новгорода-Северского; около Топлы, Орталан и Старого Крыма селятся армяне; близ Аутки — часть вернувшихся из-за Азова греков (садоводы и мастера-строители, которых какое-то время использовали для возведения прибрежных дворцов знати; потом они все почти стали рыбаками), тогда же, с 1803 г. начинается переселение болгар, главным образом в Восточный Крым (Фадеев, 1897, Ч. I, С. 48)

Но великорусская экспансия XVIII — начала XIX вв. тем и отличалась от предыдущих эпох расширения и захватов, что все колониальные ресурсы собственно России и Малороссии были исчерпаны. Державе попросту не хватало людей для хозяйственного освоения и охраны захваченных территорий<sup>1</sup>. Поэтому Петербургу пришлось продолжать освоение чужих земель чужими же руками. На новозахваченные территории из года в год селили приглашённых из-за рубежа колонистов самого пёстрого происхождения. Это и была третья волна колонизации. О том, сколько крымскотатарской земли при этом пошло под колонии и хутора, сказать трудно. Имеющиеся в распоряжении исследователя цифры (из числа достоверных) весьма разрозненны. Но и они могут помочь составить общее представление на этот счёт.

Итак, только в первое десятилетие XIX в., и только для немцев было выделено 180 000 десятин крымской земли (Дёнингхаус, 1999, С. 113). Собственно, это было продолжение немецкого заселения Причерноморья, начатого Екатериной II «...с целью показать русским, как можно успешно вести одновременно [домашнее] хозяйство и земледелие» (Зюсс, 2007, С. 153). Тогда немцы Вюртемберга и Швейцарии, сильно оголодавшие в результате Семилетней войны, последовавших эпидемий и неурожаев, хлынули в Россию бурным потоком.

<sup>1</sup> Стихийной колонизации в Крым почему-то не получалось. Именно сюда людей приходилось завозить, а не ждать, когда они воспользуются разрешением на переезд в завоёванную «Тавриду». Особенно заметным было такое отсутствие энтузиазма на соседней Украине. Иностранцы современники писали в те годы: «И украинцы также никак не могли решиться на такую перемену [в своей судьбе], потому что большинство людей любит свою родину. Украинцы же, кроме того, населяли чрезвычайно плодородную землю, пользовавшуюся до того исключительными свободами и привилегиями, производящую к тому же хлеба в изобилии» (King, 1788, S. 218).



Степь между Перекопом и Симферополем в 1840-х гг.  
Картина К. Боссоли. Копия из коллекции издательства «Тезис»

Далее, французам, Рубье и Вассалю, собиравшимся разводить в неведомой им «Тавриде» каких-то особо тонкорунных овец, правительство выделило (на двоих!) 30 000 десятин крымских выпасов, 100 000 рублей деньгами и предоставило корабли для перевозки овечьих отар из Испании. Но и это был не предел широкой российской щедрости за крымскотатарский счёт. Чуть позже, в 1828 г. «герцогу Ангальт-Кётенскому по высочайшему повелению была отведена земля... в количестве 48 987 десятин на условиях устройства образцового хозяйства, в особенности тонкошерстного овцеводства, с уплатою притом правительству определённого (по 25 коп. с десятины) поземельного налога с тем, что по выполнению со стороны владельца условий земля делается его полной собственностью». Герцог не поленился выполнить столь «трудные условия», честно заплатил 12 500 рублей годового налога, после чего с чистой совестью распродал с неба свалившуюся на него землю, положив в карман 525 000 рублей (Чеглок, 1910, Вып. I, С. 34).

Впрочем, раздавали землю не только иностранным колонистам. Было решено вернуться на бывшую родину давно бежавшим за рубеж раскольникам и другим сектантам. Но их оказалось немного, и снова в Крым пошли «чистые» иностранцы — меннониты из Эльбинга и Данцига (их захлоло более полутысячи человек), затем немцы из Петербурга, Нассау, снова Вюртемберга и Баварии. Именно в тот период немцы основали старейшие свои колонии: Розенталь, Гершенберг, Нейзац. Наконец, в 1810 г. из Турции были приглашены на жительство плотники и каменщики (Заселение, 1890, № 27). Были в этой пёстрой толпе гагаузы и молдаване, болгары и эстонцы, латыши и итальянцы, румыны и даже какие-то голландцы из нижненемецких земель, тут выбирать не приходилось, годилось всё...

Во вкладе каждой национальной диаспоры в перемены, начавшиеся в Крыму, едва этот пёстрый поток хлынул через Перекоп, разобраться трудно, особенно по прошествии столь долгого времени. Однако, по счастью, тогда же был опубликован

краткий, но всеобщий обзор непосредственного и беспристрастного свидетеля всему происходившему и в результате иммиграции получившемуся. «Все татары — мирные, не терпящие агрессивности, гостеприимные люди; их обычаи пасторальны, крайне редки случаи любого рода жестокости или насилия. И я всегда предпочитаю найти приют в их скромных хижинах, чем у какого-нибудь иностранного колониста. Многие из них — бывшие дезертиры или бродяги, собранные сюда со всех концов Европы; да и вообще христианская часть населения в Крыму — это настоящий бродячий зверинец [complete menagerie]. Их честность или способность к уважению человеческих законов отнюдь не улучшили беглые русские крепостные, которых здесь не ловят; не лучше и помещичьи крестьяне — русский [барин] не в состоянии исправить раба, который только и думает, как бы уйти от него без разрешения» (*Spenger, 1837. Vol. II. P.109*).

Так, в результате демографической политики России, в Крыму сложился «новый человеческий фактор». Но иногда значение иностранных иммигрантов оценивается как однозначно положительное для экономической культуры полуострова, его природы и т. д. Это тоже, по меньшей мере, не совсем верно. Даже немцы, народ трудолюбивый и аккуратный, не могли органично влиться в местную среду обитания, да этого и требовать нельзя было ни от них, ни от кого другого. Во всяком случае, в первые десятилетия своего пребывания в Крыму у немцев и урожай был меньше, чем у татар, чуть ли не вдвое (и это в плодородной долине Карасу), да и леса, и без того поредевшего, они много загубили, вырубая подчистую весь подрост в окрестностях Зуи (*Шмальц, 1840. С. 432, 440*).

Как считали современники, именно эта неспособность вести рентабельное хозяйство (какой бы причиной она ни объяснялась), довела Крым до стабильного падения численности населения, до его обезлюживания уже в мирное время. «Дело не только в эмиграции и насильственных высылках — сюда ведь [взамен] устремлялись немцы, греки, русские. Но реальностью стал простой факт: эта земля неспособна прокормить, на сегодняшний день, несмотря на достаточную поливку, такое число народу, здесь нужно что-то делать с землёй...» (*Spenger, 1837. Vol. II. P. 109*). Замечу, что скорее, с новыми хозяевами надо было что-то делать, земля-то ведь осталась прежней, сказочно плодородной крымской землёй, ранее кормившей и полтора и два миллиона коренного народа вместе с процветающими итальянскими колонистами в придачу. Да и сам автор приведённых строк признаёт это: «Ведь ещё недавно этот край процветал во всех смыслах, повсюду заметны останки этого рая, это если даже не слушать рассказов о потрясающем воображение благосостоянии той эпохи» (*Spenger, 1837. Vol. II. P. 118*).

Отчасти причину этого перенаселения ограниченной территории полуострова объясняет современный исследователь, немец по происхождению. Упомянув о том, что немцы-переселенцы с екатерининских времён вполне освоились в новой среде обитания, он продолжает: «Развитие немецких колоний в Причерноморье до начала Первой мировой войны можно обозначить тремя признаками: быстрый рост [немецкоговорящего] населения из-за высокой рождаемости, громадный экономический подъём... и невероятное расширение земельной собственности за счёт скупки земель у русских по-



Главная улица Бахчисарая.  
Гравюра О. Раффе.  
Копия из коллекции  
издательства «Тезис»

мещиков и в противоположность нехватке земли у бедствующего русского<sup>1</sup> крестьянства» (*Зюсс, 2007. С. 153*).

Между тем наиболее последовательные из колонизаторов настаивали на продолжении депортации коренных крымчан — на сей раз мусульман. Причина при этом выдвигалась не политическая, как ранее, а чисто культурного плана (запомним это!). Уже в 1804 г. утверждалось, что для окультуривания края «потребен миллион народа ремесленного и торгового, не мусульманского вероисповедания, вечно враждебного просвещению» (цит. по: *Никольский, 1925. С. 23*). Да и раньше, ещё при жизни Екатерины II князь Г.А. Потёмкин планировал переселить в Крым англичан. Об этом начались переговоры с Лондоном, но английское правительство соглашалось передать России не тех, кто мог изъявить добровольное желание оставить страну предков, а подданных королевы, на родине не совсем желательных. Петербург согласился и на это, и проект близился к осуществлению, когда тревогу забил российский посол в Англии, князь С.Р. Воронцов.

В августе 1786 г. он направил письма первым лицам империи, в том числе вице-канцлеру И.А. Остерману и обладавшему огромным влиянием А.А. Безбородко. В них он сообщал Екатерине вещи, о которых она не могла не знать. То есть это была прямая критика решения императрицы (через несколько лет князь позволит себе и более серьёзные выпады, уже против агрессивной внешней политики Екатерины — см. ниже). Посол предупреждал, что если не отказать от потёмкинского проекта, то возникнут тяжёлые проблемы: Россия готова «примать здесь в ссылку и каторгу осужденных, да ещё скитающихся

<sup>1</sup> То есть немецкое крестьянство на тех же землях, но без знания местных природы, климата и пр., ушло далеко вперёд от аборигенов, которых Екатерина пыталась научить хозяйствовать на немецком примере (см. выше). Видимо, немецкая наука не пошла впрок ни крепостным, ни, после 1861 г., свободным земледельцам южной России. Славяне по-прежнему уступали свои земли толковым, трезвым и работающим чужеземцам вплоть до 1914 г., когда российские немцы были подвергнуты первым репрессиям по национальному признаку.

по Лондону арапов...», то есть убийц и других преступников вместе с неграми-бродягами. Понятно, продолжал князь, что «Аглицкое правление готово выдавать оных всем, кои их примать желают... здесь правление даёт ещё награждение всем частным людям, кои сих извергов из Англии вывозят. От здешней стороны предложено о том было императору (Австрии. — В.В.), но сей государь отказался принять в свою землю людей, на каторгу осужденных, а Ея Императорское величество на то согласна». В случае осуществления проекта, заключал посол, «По всей Европе узнают, какими уродами селится Таврическое царство, где между тем надо будет с трудом охранять старых поселян от сих разбойников, кои, не зная никакого ремесла, ниже хлебопашества, должны будут по привычке и необходимости питаться старым своим ремеслом, то есть воровством и мошенничеством» (Архив Воронцова, 1876, С. 406–407).

Очевидно, подействовало именно последнее соображение, опасение «просвещённой монархини» предстать перед цивилизованным миром в облике автора чудовищного эксперимента над крымскотатарским народом. Скрепя сердце, она согласилась с доводами С.Р. Воронцова, спасшего, таким образом, Крым от ещё одного (после заселения Южного берега греческими головорезами-арнаутами) испытания кровью.

Интересно что к ещё одной попытке пополнить население Крыма иммигрантами был причастен сын посла, князь М.С. Воронцов. Несколько позже он не устоял перед соблазном оживления крымской хозяйственной жизни посредством завоза грамотных и трудолюбивых иностранцев. Но это были, действительно, знающие специалисты, а не африканские дикари и не каторжники. Князь решил «завести образцовое рыболовство, для чего и были выписаны рыбаки из Мальты, но они нашли для себя климат Евпаторийского уезда слишком холодным и вскоре возвратились на родину» (Ханацкий, 1867, С. 214).

Некоторые помещики претворяли программу русификации в жизнь, не дожидаясь указов из столицы. Так, губернатор Тавриды А.М. Бороздин переселил в «своё» село Саблы тысячу русских крепостных, а крымским татарам отказал в аренде, после чего те были вынуждены покинуть свою землю и жилища. Зато новые крепостные работали на помещика не узаконенные 15, или 100 дней, как стало с недавних пор, а, по старинке, 150 дней в году и больше (Никольский, 1925, С. 23, 25).

На Керченском полуострове, как говорилось выше, появились селения архипелагских греков, участвовавших в подавлении русскими войсками крымскотатарского сопротивления в годы после завоевания Крыма. Очевидно, из внимания к их заслугам этим грекам-иммигрантам, в отличие от коренного населения, впоследствии были даны особые привилегии: свобода от податей, постройка жилища за казённый счет и т. д. (ПСЗ, № 14 284). Им даже предоставили право беспощадной торговли с границей (ПСЗ, № 14 473), а постоянная материальная поддержка для них равнялась 136 000 руб. в год (Загоровский, 1913, С. 31).

Подобные привилегии, превосходящие помощь для колонистов других наций<sup>1</sup>, были не случайны. Здесь воплощалась идея создать «из греческих ба-

<sup>1</sup> Начиная с 1804 г немцам оказывалась некоторая помощь в виде ссуд деньгами, а также зерном, скотом, сельскохозяйственными орудиями. Кроме того, им предоставлялись налоговые льготы на протяжении 20 лет (Деннингхаус, 1999, С. 113).

тальяонов противовес крымским татарам», выражалось «стремление противопоставить торжествующее христианство потерпевшему поражение магометанству», а это вылилось в «жуткие методы обращения новых поселенцев-греков с татарами, в неподражаемые по жестокости насилия, совершаемые ими над татарскими жёнами и детьми. Ещё и сейчас сохранились старые татарские песни, отражающие эту полосу русификации края и горькую долю татар в эти трудные годы, вызвавшие массовую эмиграцию татар в Турцию» (Корсаков, 1883, С. 5).

Иностранная иммиграция имела весьма неоднозначные последствия. Некоторые переселенцы, вроде мальтийских рыбаков, весьма быстро вновь покинули Крым. Заселение других, например, болгар, не оказало какого-либо серьёзного влияния на демографическую ситуацию полуострова. Наконец, третьи (имеются в виду прежде всего немцы) благодаря своим особым этнопсихологическим качествам смогли оставить в истории Крыма более глубокий след. Так, русские крестьяне-переселенцы, ощутившие себя брошенными в совершенно чуждую им природную и культурную среду, бежали на родину или топили горе в вине. Немец же, как только он более или менее осваивался на новом месте, начинал строить где-нибудь поблизости ещё один хутор, предназначенный для родственника или друга, который незамедлительно и выезжал, правильно понимая перспективы, открывавшиеся на крымских чернозёмах для трудолюбивых, трезвых и бережливых хозяев. А через некоторое время и сам принимался готовить почву для соотечественников, желавших переехать к Чёрному морю (Ханацкий, 1867, С. 213). Вот так и возникали обширные немецкие колонии, которые благодаря взаимной поддержке и трудовой солидарности их обитателей к концу XIX в. заняли обширные территории бывших татарских земель.

## 5. Столкновение и конфликт культур

Я помню гор высокие вершины,  
И беглых вол веселые струи,  
И тень, и шум, и красные долины,  
Где бедные простых татар семьи  
Среди забот и с дружною взаимной  
Под кровлею живут гостеприимной.

А.С. Пушкин. Желание

В V очерке бегло упоминалось, что культурное существование коренного народа Крыма, типологически изменившее своё направление в эпоху зависимости ханства от Турции, стало представляться исследователям чуть ли не остановившимся. Или, как выражались марксистские историки, «отсталым». На самом деле Крым вошёл тогда в длительную полосу восточного типа культурного развития. И отношение к нему (как к любой чуждой, да ещё и малоизвестной системе или явлению) европейских и российских учёных было в целом неодобрительным.

Лишь в самые последние десятилетия стало почти неприличным именовать стабильность восточных обществ и культур «застоем». Но для этого потребовалось

признание если не тупиковости, то спорности ряда направлений в европейском типе так называемого прогресса. Кстати, как следствие и само понятие «прогресс» в его традиционно европейском понимании подверглось жёсткой, но справедливой критике.

В целом, смысл её в том, что если на Востоке научно-технический прогресс идёт более или менее в ногу с духовным ростом общества (а если последний не спешит, то и НТП как бы «переживает» какое-то время), то на Западе, где духовно-нравственное развитие также не слишком торопится, техника резко его обгоняет. Возникает дисгармония, причём крайне опасная, ведь никому не придёт в голову давать оружие в руки детям, пока они не выросли. Результаты этой дисгармонии всем известны: технически совершенные орудия и изобретения, попав в руки духовно незрелых европейцев, становились инструментом грандиозных катастроф, начиная от крестовых походов и кончая мировыми войнами и колониальным истреблением миллионов аборигенов.

Крупный историк-скандинавист А.Я. Гуревич, обращаясь к проблеме прогресса в его восточно-западном сравнении и рассматривая вопрос в аспекте исторического времени, отмечал: «...сопоставление столь несхожих начал, как „Восток“ и „Запад“, отнюдь не исчерпывается противостоянием или сближением, взаимовлиянием двух культурных регионов, существующих в наши дни. У обоих регионов — неодинаковое отношение ко времени: в одном случае культура прогрессирует в потоке линейного времени, в другом — скорее покоится, самовоспроизводится в кругах вечно возвращающегося, циклами идущего времени. В определённом смысле можно сказать, что эти начала, которые мы называем „Запад“ и „Восток“, не синхронны» (Гуревич, 1976. С. 205). То есть их сравнение с позиции прогресса европейского типа (или квазиевропейского, как в России) бессмысленно.

Одновременно внимание не только историков, но и экологов, и социологов, культурологов и практических политиков, а отчасти и экономистов всё более привлекает мудрый восточный консерватизм (точнее — традиционализм) в качестве далеко не полностью освоенной ценности совокупного культурного достояния мировой цивилизации. Понятно, впрочем, что при этом они выделяются из основной массы авторов, которые не в силах преодолеть врождённый порок евроамериканской (или атлантической) цивилизации — её замкнутость на собственных сомнительных «успехах», её поглощённость современностью или «модерноцентризм»<sup>1</sup>.

Сказанное касается, впрочем, почти исключительно западноевропейских и американских историков, которые при всех теоретических и методологических разногласиях обладают таким общим качеством, как добросовестность. Казалось бы, свойством само собой разумеющимся не только в области научных изысканий, но и вообще человеческих отношений. Однако, как ни жаль, но положение

в исторической науке можно сравнить с ситуацией в психологии европейской и так называемой постсоветской. Вроде бы жители, скажем, Копенгагена и Краснодара само собой должны быть равно хороши или плохи. Но проблема сложней, и до равности, даже до соотносимости, здесь бесконечно далеко. Поэтому и научная добросовестность двух типов, двух несравнимых уровней по ту и эту сторону бывшего железного занавеса, также не должна нас удивлять (напоминание, речь сводится исключительно к этноистории крымских татар).

Именно поэтому мифологема вышеупомянутого «культурного застоя Востока» всё ещё сохраняет своё стойкое воздействие на основную часть учёных-крымоведов, что сказывается уже в самом выборе исследовательских тем и сюжетов. За редчайшими исключениями они не торопятся обращаться к анализу экономической и социальной истории ханства, в лучшем случае уделяя внимание его военно-политической истории. Именно поэтому читатель, интересующийся, к примеру, бытием, повседневной жизнью крымских татар в ханский период их этнической истории, рискует получить не только скудную, но и искажённую информацию. Поэтому автор, прежде чем перейти к теме этой главы, просто вынужден сказать несколько слов о традициях, которые сложились в её исследовании и привели к соответствующим результатам.

При всей их искусственности, внешней заданности, упомянутые традиции вряд ли кем-то осознанно закладывались. И хоть их зарождение и дальнейшее развитие постепенно приобретали всё более определённые очертания какой-то заказной, организованной кампании научной фальсификации, на деле, скорей всего, их начало было вполне стихийным и, возможно даже, довольно массовым. Происходило это приблизительно так. У переселенцев-русских, появившихся в Крыму в конце XVIII — начале XIX вв. (имеются в виду не только крестьяне или солдаты-поселенцы, но вся иммигрантская этническая масса), мягко выражаясь, далеко не всё ладилось в хозяйствовании на новом месте. Непривычными были земля, вода и климат. Иным, то есть чуждым и непонятным было и человеческое окружение. О какой-то культурно-хозяйственной конкуренции с коренными жителями не могло быть и речи, — переселенцы неизменно оказывались в ситуации проигравших.

Такого рода утверждение, очевидно, нуждается в обосновании. Приведу его, заранее извинившись за обширность цитаты.

«Духовное одичание стало проклятием русского народа. После Раскола, в который ушла самая активная, думающая, образованная и преданная Богу часть русского общества... православные подданные великой европейской империи значительно уступали в просвещённости современным им христианам Малабара и коптам Египта, столетиями пребывавшим под властью иноверных правителей.

Итог прост. Даже после осуществления широкой программы просвещения государственных крестьян, предпринятой графом Киселёвым в 1840-е годы, после возникновения в 1860–70-е годы сети земских, а потом и церковно-приходских школ в сельской России научить хотя бы читать и писать низшие сословия так и не удалось до самого конца Империи» (Зубов, 2005. № 8, С. 119).

По этой и некоторым иным причинам русские иммигранты, остро ощущавшие свою неполноценность по сравнению с местным населением Крыма, испытывали здесь ощущение постоянного раздражения, подавленности, тревоги.

<sup>1</sup> Причём последний сопровождается «превращением собственной культуры или образа жизни в абсолютный эталон при оценке всех иных цивилизаций» и довольно часто «принимает форму „культурного этоцентризма“, высокомерно-снижательного отношения ко всем культурам, которые... „не доросли“ до понимания каких-то вещей, ясных нам... Взгляд в высшей степени самоуверенный!» (Гуревич, 1976. С. 208).

Впрочем, для любой из молодых диаспор такое состояние практически неизбежно, особенно в первые годы после переселения на чуждую в экономическом и культурном смысле почву.

Но для человека, попадающего в дискомфортные условия и не имеющего возможности их немедленно изменить, свойственно искать какой угодно нейтралizador своим отрицательным эмоциям, лишь бы он сработал, да поскорее. И такой нейтралizador находился. Но не внутри собственного сознания, а во вне, в окружающем мире. То есть по необходимости в чуждой среде нового своего обитания, в самом Крыме, а значит и в его коренном населении. Запускался один давно известный в психологии диаспор процесс. Непонятные традиции аборигенного населения, их обычаи и ритуалы, внешне бессмысленные для переселенцев, непривычные трудовые приёмы и нормы быта становились объектом насмешек. Причём далеко не всегда безобидных, поскольку звучали в одном ключе — презрения.

Авторы середины XIX в., заставшие эту эмоцию уже в полном развитии и рисуя портрет типичного российского колонизатора Крыма, в качестве одной из главных его черт называли именно «высокомерный деспотизм в связи с каким-то тупоумным религиозным презрением» по отношению к крымским татарам, которых «не только люди низших слоёв администрации или местного управления, но и лица, влиятельные по значению и занимаемому месту, без всяких убеждений (то есть оснований. — В.В.) считали вредными и дурными. Впрочем, все эти порицания и клеветы суть не что иное, как благовидная причина, под которою эти благомысленные политики в чаду своего религиозного фанатизма скрывали тайное желание исторгнуть Крым из рук татар и заселить его народонаселением православного исповедания» (Левцкий, 1882. С. 603–604).

Потрясающий по точности и глубине вывод, запомним его! Это мнение совершенно совпадает с точкой зрения известного французского путешественника и тонкого беллетриста А. Кюстина: «Презрение ко всему, чего не знаешь, — это, по-моему, преобладающая черта в характере русских. Вместо того, чтобы попытаться понять недонятое, они норовят его высмеять.» (Кюстин, 2008. С. 516). Приведём ещё одну мысль, высказанную совсем недавно: «Попытка презирать — в особенности презирать заведомо и очевидно слабого — имеет целью не выстроить иерархию, не вернуть миру абсолютные ценности, но исключительно и безоговорочно возвыситься. Презирать нельзя ничего — в особенности тех, кто достоин презрения: они и так наказаны. Ненавидеть — можно и должно. Бороться — ради бога. Презирать имеет право сверхчеловек, а сверхчеловеком называется именно тот, кому это право не нужно. Ибо оттаптываться на других — не его удел» (Быков. Д. Не презирай // Нов. Газ. 15.02.2010. С. 21). Понятно, что термин «сверхчеловек» у автора XXI в. имеет совсем иное значение, чем в 1933-м. Это — человек нового типа, человек самодостаточный, сильный и оттого независтливый, человек-идеал.

То есть человек будущего. Но откуда ему было взяться в ту эпоху, когда и в XXI в. таких, за небольшими исключениями, фактически нет? Именно поэтому со временем (то есть когда в XIX в. славянская диаспора в Крыму численно выросла) эмоция презрения закономерно перерастала в издевательства. Казалось бы, это — детская болезнь неосвоенности на новом месте обитания, которая

должна бы излечиться по мере привыкания диаспоры к земле и людям. На деле всё обстоит гораздо сложнее. Сама по себе эмоция презрения весьма стойка, «прилипчива». Она имеет свойство самовоспроизводства, самовозбуждения. По этой причине отношение русских переселенцев к аборигенным народам даже через доброе столетие российской колонизации Крыма отнюдь не стало терпимее. Скорее напротив. Оно обострилось ощущением своей непреходящей чуждости этой земле, оно обрело чёткие и устойчивые формы, а также способы своего проявления.

Начало такой антитатарской, по сути, позиции, а иногда и выступлений было положено уже в первые годы после оседания великорусской диаспоры в Крыму, хотя исходили они поначалу не от неё. В антитатарских заявлениях сразу же стала заметна любопытная закономерность. Если до аннексии клевета на крымских татар носила политический характер, то после неё, то есть когда политическое «решение» проблемы завершилось, пропаганда против коренного народа переходит в иную, более человеческую плоскость (психологическую, эстетическую, этическую и пр.). Так, например, вопреки очевидным фактам, вопреки записям путешественников Запада и Востока, посещавшим Крым в XVIII и более ранние века, и, как правило, пораженных цветущему виду крымскотатарских угодий, умению коренного народа вести хозяйство и так далее, теперь начинается обличение крайней, якобы, лениности местных жителей, их бесхозяйственности, непримчивости и других врождённых пороков крымского татарина. В силу этого он не заслуживает пусть даже поверхностного, но объективного изучения<sup>1</sup>.

Одним из первых письменных памятников такого направления великорусской мысли, исходивших уже не из Петербурга, а из самого Крыма (то есть от диаспоры), является прошение, поданное помещиком Черновым «по доверенности от других крымских помещиков», датированное 24 января 1805 г. Это коллективное прошение касалось передачи русским помещикам крымскотатарских наделов. А основной причиной такого бесхитростно-наглого требования выдвигалась, среди прочего, малая способность аборигенов к возделыванию своей земли: «Вообще примечено, что татары неспособны к хозяйству. Общей пользе противно давать случай ленивому стеснять трудолюбивого» (ИТУАК, 1897. № 26. С. 63). Под «трудолюбивым» здесь подразумевается, естественно, русский.

Таких прошений было подано в разные годы многие десятки, но смысл их практически не менялся. Постепенно презрением к коренному народу Крыма прониклись и не столь грамотные члены великорусской диаспоры, и даже вовсе уж тёмные мужики. Примеры этого нового явления, то есть бытового антитатаризма,

<sup>1</sup> Иностраный исследователь, проведший немалое время в Новороссии, заметил, что «...каждый путешественник, приезжающий в Крым, наверняка хорошо осведомлен об ужасных грабительских и поджигательских набегах татар и может рассказать, сколько раз они сжигали Москву, разоряли Киев, угрожали Варшаве и Вильно. А поэтому он не на шутку удивляется, посетив поселения людей, о которых он думал примерно так же, как о гуннах в римском их описании. То есть, как о рубаках, покрытых многочисленными шрамами от боевых топоров, едва скрытыми боевой раскраской. И вместо этого он оказывается среди милых, добропорядочных, приветливых людей, воспринимает их мудрость и узнаёт, что среди них преступления любого рода редки, как ни в одной европейской цивилизованной стране (о бесспорности этого факта сообщал ещё барон де Тотт, путешествовавший по Крыму во время его независимости)» (Kohl, 1841. S. 246–247).

последуют ниже, а здесь попытаемся выявить его корни. Поскольку доказано, что для диаспоры исток упомянутой выше эмоции презрения — в непохожести новой среды на старую, посмотрим, чем же крымская действительность конкретно в первую половину XIX века оказалась отличной от великорусской. Лучше всего на такой вопрос отвечают объективные, то есть иностранные наблюдатели, представляющие в культурном конфликте некую третью сторону.

Нижеследующие попытки уточнить, конкретизировать отдельные черты этой несхожести, здесь, как и ранее, носят чисто исследовательский характер. Обоснованно ожидая от своих оппонентов обычных попыток сужения научной дискуссии до оценки личной морально-эстетической ориентации автора (выражающейся, якобы, в стремлении обелить один этнос за счёт очернения другого), я должен заметить следующее. Ещё в 1930-х гг. Питирим Сорокин в своих исследованиях социокультурной динамики показал, что в выведении объективной характеристики единицы культурной общности невозможно обойтись без компаративистского (сравнительного) метода (ранее я уже обращался к этому методу; рискну повториться, но уже на иной основе).

В нашем конкретном случае это значит, что для взвешенной оценки культурного облика одного народа опять же невозможно обойтись без сопоставления его с другим народом, по возможности контрастирующим, но доступным для сопоставления. В этом смысле для крымскотатарского народа более всего подходит великорусский. Причина проста: на данной цивилизационной платформе он и максимально отличен от коренного этноса Крыма, и максимально сближен с ним пространственно. Что же касается нижеследующих конкретных особенностей культур упомянутых народов, то ни первая, ни вторая из них ни хороша, ни плоха. Они просто были (и есть) такие, какие есть. И задача исследователя не оценивать этносы на бытовом уровне, а анализировать этнокультурный материал в аспектах, подсказанных сравнительным методом<sup>1</sup>.

Считаю необходимым предварить такой анализ ещё одним замечанием: сравнительный метод попросту необходим историкам Российской империи, частью которой некогда был Крым. Причём этот метод должен быть главенствующим, это признанная истина: «Прежде всего, историки, занимающиеся изучением Российской империи, должны быть компаративистами; было бы замечательно, если бы они имели некоторое представление о принципах внутреннего устройства других империй, как существовавших одновременно с Российской империей, так и относящихся к иным историческим периодам; но гораздо более важно уметь сопоставлять взаимоотношения империи с разнообразными подвластными её сообществами, выделенными по религиозному, сословному или же этнолингвистическому принципу...» (Хаген, 2005. С. 30). Вот крымские татары и представляли собой такое сообщество.

Итак, обратимся к наблюдениям и выводам вышеупомянутых иностранных наблюдателей, побывавших в Крыму. Естественно, что их здесь поражали вещи,

для европейцев XIX века мало привычные. Поэтому они уделяли основное внимание не столько крымским татарам, в общем, отвечавшим требованиям трудолюбия и трезвости (характерным прежде всего для протестантских обществ Европы), сколько великорусским переселенцам. Вот краткая запись одной протестантки из Англии о быте переселенческой деревни, принадлежавшей кн. Долгорукову (вблизи Мамут-Султана): «Дети в этой русской деревушке были один грязней и оборванней другого. В избе пара досок — постель, несколько узких лавок и общий стол — вот и вся мебель, но в углу икона с лампадой... Мужчины, женщины, дети спят в одной комнате и едят из одной миски, они никогда не снимают своей одежды, кроме как идя в баню. Очень много пьют местного вина или бренди, называемого вотка, пьянство весьма распространено как среди мужчин, так и среди женщин» (*Lady*, 1855. P. 24–25).

Запись немецкого автора: «Русские крепостные не держат слова, воруют, чтобы удовлетворить свою страсть к алкогольным напиткам. Среди них ежедневно устраиваются дичайшие пьянки (*wütesten Völlereien*). Обычно дворяне внутренней России отправляют наихудших субъектов из своих крепостных в наказание на Крымский полуостров, а их опустевшие российские участки с избами раздают в поощрение другим из своих людей, отчего немецкие колонисты и прозвали Южный берег Крыма *маленькой Сибирью*» (*Steinhard*, 1855. S. 105).

Ещё одна англичанка, прожившая много лет среди крымских татар в Карагозе под Старым Крымом и до того знавшая только английских крестьян, столкнулась с русскими переселенцами. Эта новая культура произвела на неё оглушительное впечатление: «Вот так и живут тут русские, [проводя свои дни] в лени, пьянстве, мелкими семьями, среди всяческих несчастий (*sundry accidents*), оставаясь в состоянии бедности, так что один мужик обычно служит другому, отдавая свою рабочую силу и землю в наём более удачливому соседу. И такая вот система тем не менее существует во всех уголках Российской империи с древности. Земледельцы здесь — рабы, и их состояние ни в коем случае не зависит ни от правительства, ни от дворян» (*Holderness*, 1823. P. 112). Должно быть, контраст оказался особенно велик при сравнении этих «рабов» с крымскотатарскими крестьянами, среди которых издавна существовали традиции взаимопомощи, а не порабощения друг друга, и где беднейший селянин, владевший лишь домиком и 1–2 ореховыми деревьями или несколькими овцами, вёл, несмотря на бедность, достойную жизнь...

От этих гнетущих, никогда ранее в Крыму невиданных картин мало отличалась городская обстановка. В гл. X говорилось о тротуарах вдоль чистых улиц, канализации и водопроводах старого Бахчисарая или крошечной Балаклавы. В новой, русской столице Крыма не было ни первого, ни второго, ни третьего. Водопровод появился в новой, «европейской» части города только в 1834 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 639. Л. 1–16), но подведён он был лишь к официальным зданиям; так продолжалось до 1865 г., когда им была обеспечена вся жилая часть нового центра (РГИА. Ф. 218. Оп. 1. Ч. IV. Д. 4906. Л. 548). Мошение, да и то лишь главных улиц, было завершено к 1839 г. (РГИА. Ф. 1287. Оп. 5. Д. 1409. Л. 1–11). До этого даже к присутственным местам центральных учреждений в дождливую погоду приходилось добираться чуть ли не впрлявь. Но и новые мостовые оказались откровенно вратительного качества, и уже через десяток лет улицы вернулись в первобытное

<sup>1</sup> Этот научный метод имеет солидную историю, он выверен временем и опытом многих исследователей, начиная едва ли не с немецкого теософа Якова Бёме (1575–1624). В своем известном трактате «Отметы вещей» (изд. 1624) он доказывал, что «акт постижения есть акт противопоставления или сравнения».



«Русская» часть Симферополя. Литография неизвестного автора.  
Из коллекции музея Ларишес

состояние: «На большинстве улиц Симферополя грязь по колено, через которую пешеход не идёт а переходит вброд. На горожанах грязные одежды, засаленные тулупы и ещё более грязная обувь» (*Lady*, 1855. P. 42–43). Сам город производит впечатление «мрачного местопребывания для человека», особенно зимой (*Lyall*, 1825. P. 241). «В городе распространены лихорадки, вода отвратительная. Улицы — немощёные и грязные» (*Clarke*, 1810. P. 461).

О том же говорит и, казалось бы, ко всему привыкший русский, вспоминавший в 1860-х, что совсем недавно по Симферополю (где уже выселись собор, присутственные места, гостиницы и пр.) «ходили коровы, и целые стада свиней рылись в кучах навоза и всяких нечистот, свозимых сюда жителями. А дальше, на том месте, где теперь застава, торчали какие-то грязные казармы; солдаты... совершали все свои нужды на открытом воздухе, на всеобщем обозрении. О мостовой и помину не было». Интересы чиновничества заключались в ином: шли балы, пиры, маскарады, «часто за счёт обитателей края... Местное чиновничество совсем одуревало от увеселений». В дворянском собрании пол был застлан «цветною клеёнкою, которая так засалилась и загадилась, что дамские башмачки прилипали к ней как к полу, на котором разлит мёд». На эти балы чиновники добирались верхом на людях (местных цыганах), но с непролазной грязью бороться не торопились. И, в завершение общей картины — отдельный штрих: на бал-маскарадах можно было легко набраться вшей — вот уж чего никогда раньше не было не только среди крымского дворянства, но и в домиках нетитулованных татар (Радуга (Феодос.), 1862. № 10. С. 146).



«Русская» часть Симферополя, общий вид. Литография Берндта и Бертрана по рис. Фесслера. Из: *Воспоминание*, 1869

Прервём ненадолго это печальное повествование для того, чтобы задать себе вопрос: а может быть Крыму, то есть колонии, удалённой от российской столицы на расстояние в две тысячи вёрст, объективно невозможно было жить иначе? Ведь достижения культуры середины XIX в. должны были пробиваться в эту глухую провинцию с большим трудом. Однако представители другой державы, расстояние до которой было гораздо большим, устраивались в Крыму даже в военной обстановке совсем по-иному. Видимо, дело было в том, что это были носители другой культуры, отнюдь не присущей «новым симферопольцам», я имею в виду англичан, квартировавших во время Крымской войны в Балаклаве, тогда ещё бедной рыбацкой деревушке. Послушаем, что говорил о них современник: «...нельзя было не удивляться тому, с каким искусством народ этот умел здесь устроиться, здесь, в этом почти безлюдном и далёком от его родины уголке! Всё, что вам бросалось в глаза, говорило невольно — какими громадными средствами владеет этот народ, как далеко он шагнул на пути жизненного развития и как велики его требования от жизни, в сравнении с требованиями других народов!

Городские улицы в Балаклаве были содержимы англичанами весьма опрятно; на всех углах стояли полисмены, но тоже в мундирах и с тросточками; по улицам и по дороге в город сновали двухколёсные телеги (очевидно, кебы. — *В.В.*), запряжённые сытыми мулами, и гордо выступали огромные нормандские лошади, ...таша за собой солидные, крепко окованные железом телеги, полные клади... Ряд лавок, магазинов, гостиниц с пышными вывесками тянулся до самой деревни Кадыкой. Вокруг города, по высотам, виднелись купами бараки, издали



казавшиеся небольшими красивыми деревеньками; а между черепичными и деревянными крышами их выглядывали местами красные верхушки палаток... Железная дорога шла из центра города, мимо деревни Кадыкой и простиралась до конца Байдарской долины...» (Караулов, 1861. С. 66–68). Для бедного Крыма это была картинка из далёкого, очень далёкого будущего... Но вернёмся в российский Симферополь.

Город в «европейской» своей части страдал и от острой нехватки воды, которую приходилось возить издалека. Делались попытки соорудить нечто вроде татарских колодезей артезианского типа — но безрезультатно, так как не было настоящих мастеров, а местных пригласить не догадались или сочли унижительным («не у татар же нам учиться!»). Скважину пробурили до водоносного слоя, но не остановились, а стали продвигаться дальше. В результате вода, поднимавшаяся было на уровень поверхности, вновь исчезла. И лишь тогда «стало ясно, что местные, крымские методы сооружения такого рода колодезей крайне своеобразны, а в воде недостатка нет, её можно добыть повсюду, даже в степях». Тот же автор отмечал, что Симферополь отличался какой-то дикой разбросанностью строений, несоразмерностью огромных площадей с улицами, «...так что жители совершенно разрознены и не поверишь, что они живут в одном городе» (Raguza, 1837. S. 332–333). В общем — обычный российский губернский город<sup>1</sup>.

Вероятно, все эти особенности обновленного Акмесджита особенно бросались в глаза после посещения уцелевшего татарского квартала в юго-восточной, возвышенной части города. «Белые камни улиц, белые стены домов и — стройные женщины в белом с головы до ног (курсив мой. — В.В.)» (Olifant, 1853. P. 214), таким остался старый город в памяти английского гостя. Но не русского, впрочем, не видевшего ничего, кроме новых, казенных кварталов: «Вы представить себе не можете, какого рода у нас грязь», — делится с сестрой своими горестями музыкант А.Н. Серов, около года проживший в «европейской» части Симферополя. «Какая-то особенно гадкая!». И ещё через несколько месяцев: «Но что здесь несносно... грязь в продолжении трёх месяцев... Пешком нельзя сделать и нескольких шагов» (Серов, 1896. С. 35, 43). Бедная тонкая, художественная натура! Впрочем, крымская культура страдала не только от грязи натуральной, природной.

Был искажён исторический облик старой, восточной части города, частично перешедшей к новым владельцам. Причём государство не считалось с затратами, желая, очевидно, поскорее русифицировать город: «Наибольший ущерб татарской части города был нанесён выходом татар в Турцию в 1790 г. Оставленные дома приобрелись, часто получались от казны новыми насельниками и приспособлялись под их потребности и вкусы. Окна открылись на улицу...» (Николь-

ский, 1923. С. 7). То есть, во внешних стенах симферопольских жилищ, традиционно представлявших собой глухие, ослепительно белые плоскости, теперь безжалостно прорубались оконные проёмы разных размеров и конфигураций.

Об оскорблении местных жителей, надругательствах над их традициями (в частности, о кладбищенском кошунстве) говорилось выше. Но то же самое проглядывало и в обычной, уже мирной жизни, куда понемногу стала проникать грязь нездоровых, искажённых, ненормальных межлических отношений. Это было видно во всём и везде: в Крым исподволь вползала новая мораль, новые поведенческие нормы, новые представления о честности, вежливости, опрятности и так далее. Реакция на такой процесс процесс была не везде одинаковой, но везде болезненной. Это не могло ускользнуть от внимания русских переселенцев и не добавляло им симпатии к крымским татарам. Более того, оно вызывало у них так называемую компенсаторную реакцию, которую проще передать русским глаголом *цепляться*. То есть искать и находить минусы. Неважно в чём, но лучше в областях, не поддающихся точному анализу. К примеру, в психологии или философии, где мифы вроде непроверенных, но ожидаемых слухов и создавать проще, и держатся они дольше. Одной из таких мифологем было мнение о безграничном фатализме крымского татарина<sup>1</sup>.

Утверждалось, что крымское отношение к будущему основано на убеждении в том, что Бог ещё до рождения предопределил одних людей к спасению, а других — к гибели, что бороться с судьбой заведомо бесполезно и так далее. Доля истины в этом заключении, действительно, была. В трактовке свободы воли крымские татары действительно расходились с ортодоксальным православием и католицизмом (но не с протестантами). Однако в Крыму не имели никакого распространения доктрины последовательных фаталистов-джебраитов (VII–IX вв.), крымские татары никогда не доходили до анекдотичных утверждений, им приписывавшихся.

Не стоит углубляться в эту самостоятельную и весьма серьёзную тему, рассмотрение которой — дело будущего. Здесь достаточно упомянуть точный вывод, сделанный давно почившим, но доньше высоко авторитетным культурологом Крыма, заметившим, что слепой фатализм отнюдь не вытекает из сути Корана. Более того, он подчеркнул, что «нет никакой разницы между коранским учением о предопределении и христианским евангельским учением о предопределении, и парализующего влияния на деятельность мусульман Коран не оказывает» (Крымский, 1899. С. 112). И здесь же академик позволил себе привести в качестве аргумента перевод совсем не научных, а светски-ироничных, хотя и вполне убедительных строф мусульманина Саади: «Когда ты видишь камень, летящий на тебя с горы, ты тут же забываешь о предопределении и отпрыгиваешь в сторону!».

Что же касается второй из контактировавших сторон, крымских татар, то легче других с новой, непривычной для Крыма манерой поведения мирились те из них, кому по роду деятельности положено терпеть капризы и причуды посетителей, а именно владельцы кофеен, гостиниц, харчевен и т. д. Но и те вскоре

<sup>1</sup> Подразумевался не мифологический и не рационалистический, а исключительно исламский, то есть теологический фатализм; в первых двух были явно замечены и сами критики крымскотатарского мировоззрения, так что касаться их не стоило.

<sup>1</sup> О таких городах, да и о самой столице, заезжий путешественник писал: «...эти площади всегда молчаливы и печальны — по причине обширности своей и, главное, непогрешимой правильности. Угольник и шнур настолько отвечают взгляду на мир абсолютных монархов, что прямые углы стали камнем преткновения деспотической архитектуры. Архитектура живая, если можно так выразиться, возникает не по приказу; она, так сказать, рождается из себя самой и проистекает из гения и потребностей народа как будто без участия воли» (Кюстин, 2008. С. 201). Если первая часть этого замечания прекрасно характеризует «европейскую» часть Симферополя, то последняя фраза вполне применима к старым, татарским кварталам того же города.

утратили традиционную терпимость и свойственное им спокойствие. Путешественник начала XIX в. сообщает с полной беспристрастностью: «Нас обелуживали в тавернах лишь после того, как мы говорили, что мы не русские. Дело в том, что в таких местах, где русские снимают жильё, едят, пьют, набирают товар, они исчезают, не оставив даже мелочи (give any trifling sum). Многим богатым аристократам и высшему офицерству несвойственно такое поведение, но мелким дворянам и обычным офицерам — напротив...» (Lyall, 1825. P. 362). Постепенно менялось отношение к таким гостям и в деревенских, славившихся особым гостеприимством семьях: в середине XIX века английский путешественник заметил, что его принимали с особым удовольствием, узнав, что он не русский (Seymour, 1855. P. 234). И это при том, что согласно крымским традициям любой гость, вне зависимости от его происхождения, богатства или бедности, был одинаково дорог хозяину!

То есть такие вот, «некрымские» бытовые отношения с новоприбывшими установились вначале в городах и близ больших дорог, а потом — и у остальной массы крымских татар. Коренной народ не сразу, не повсеместно, но всё же начал реагировать на всеобщий и всесторонний обман, с которым к нему пришли новые люди. Наивность татар, их искренняя вера в человеческую честность воспринимались переселенцами как умышленная отсталость, как дикарская неразвитость, которыми грех не попользоваться. По этой причине постоянная практика обманов, насмешек и грубая эксплуатация были для крымцев ещё и оскорбительны. Вначале для народа малопонятные, они понемногу стали восприниматься адекватно, то есть с чувством острой обиды. Это, правда, ничего не меняло, обман продолжался. Причём тем легче, что народ Крыма, испокон века не знавший иного обмена кроме натурального, был искусственно и резко свергнут в сложную стихию денежной экономики с её двойным (ассигнационно-монетным) курсом, инфляцией и пр. Такая «шоковая терапия» (почти конца XX в., когда такого резкого перехода всё же не было) затянулась на многие годы, в течение которых крымцы никак не могли освоиться с обстановкой, изменившейся столь радикально:

«Живут они (то есть крымские татары. — В.В.) так скромно, что вряд ли можно найти какое-либо соответствие среди различных народов на протяжении нескольких последних веков... и они сохранили свои обычаи, свойственные человечеству до того, как просвещение и коммерция обогатили мир. Среди них господствует простой обмен, деньги редко обращаются. Их обманывают — пять выдают за десяти- или двадцатирублёвую монету. Бедный татарин, бедный Иаков<sup>1</sup>, вынужденный стать рабом-подпаском ради жён своих, хоть при этом и принятый в семью!» (Holderness, 1821, 7). Сравнение яркое, но несколько хромающее: совершив свою сделку, Иаков сам позволил втянуть себя в многолетний обман, тогда как «бедный татарин» отнюдь не стремился войти в имперскую «семью народов», но никто его согласия при этом не спрашивал!

Народная интуиция или традиции подсказали крымским татарам в этой ситуации единственную позицию — отстранение. И она была совершенно пра-

<sup>1</sup> Речь идёт о ветхозаветном Иакове, пасшем стада 14 лет единственно ради своих жён Лии и Рахили у отца их, Лавана (Подр см. в: Библия — Быт. 29: 1–30).

вильной. Ибо бывали случаи, когда отношения между русскими пришельцами и коренными народами складывались по-иному, когда коренной народ сближался с пришельцами — но и результат получался иным. Приведу один лишь пример. В 1858 г. согласно Айгуньскому договору с Китаем Россия заняла левый берег Амура. На аннексированную территорию вошли войска, потом хлынула волна переселенцев такого же рода, что и в Крым. И сразу же, буквально в считанные месяцы местные малые народы, не имевшие возможности избежать контакта с ней, ощутили воздействие этой человеческой массы. Об этом писал видный российский этнограф и бытописатель: «Давно ли русские заняли Амур, вовсе не слышавший о сифилисе, а в 1858 г. в николаевском госпитале было уже 136, а в 1867 г. 236 сифилитиков. Венера (то есть венерические заболевания. — В.В.) господствует уже на всем протяжении Амура. Вся северная Сибирь, в особенности её инородческая часть народонаселения, заражена чуть-чуть не поголовно. В Камчатке трудно найти не-сифилитика» (Шанов, 1879. С. 308).

Поэтому было великой удачей то, что покорённый народ Крыма не стремился в объятия своих победителей, что он отнюдь не спешил пока перенимать их обычаи и модели бытового поведения. Причина тому была вовсе не в какой-то закрытости крымскотатарской культуры. Она, как мы помним, всегда оставалась восприимчивой, но к тому, что действительно стоило перенимать за рубежом или у переселившихся в Крым иммигрантов. И что, кстати, не противоречило основным, фундаментальным культурным канонам и нравственным убеждениям большинства крымцев.

Здесь же возникла иная ситуация. Русские «по своему экономическому развитию, социально-политической организации и уровню образования не превосходили многообразные этногруппы империи...», в частности, крымскую. Имел место «дефицит развития русских», поэтому здесь (в отличие от Великобритании или Франции, где меньшинства охотно интегрировались в культурно развитые титульные нации) такое культурное обогащение, духовная интеграция в русский этнос «для массы нерусских не представляла привлекательной перспективы» (Канпелер, 1999. С. 121). Это, конечно, ещё очень мягко говоря...

Гораздо более конкретен в своих оценках падения нравственности в петровской и ещё более послепетровской России известный профессор Российского Православного университета и МГИМО: «Средства, которыми осуществлялись реформы Петра, были однозначно аморальны и нестерпимо жестоки... Не воспитанный религиозно, он в своих действиях не имел моральных сдержек и шёл к цели напролом. Его подданные усматривали во многих действиях царя похоть славы, личного величия и личного же блага. Они видели, какой ценой достаются победы России и не верили, что так достигнутое послужит на пользу Отечеству» (Зубов, 2005. № 7. С. 137). Возникшее к концу его правления «„дикое рабство“ имело своим следствием не только культурное одичание народа, но и нравственное вырождение рабовладельца. Блеск и величие империи создавались на нравственно порочном основании...» (ук. соч. № 8. С. 126). Речь идёт о всей массе народа — снизу доверху.

Но ведь шли и объективные, то есть не зависящие от воли колонизаторов культурные процессы. Крым оказывал, по крайней мере, на часть их, благотворное влияние — об этом будет сказано ниже. Но внешне заметным такой процесс

стал прежде всего в архитектурном и ландшафтном облике строившихся здесь русскими «европейских» кварталов. И даже целых городов: «Если бы Симферополь был построен одними русскими, то это был бы обычный город, чей внешний вид соответствует его основному назначению: *производить* — и вышел бы ещё один Саратов. Но к счастью для Симферополя, он был некогда Акмесджитом или Белой Мечетью, и жители Акмесджита попрежнему держатся города их предков и вносят в холодную монотонность новой столицы акцент, без которого он был бы вполне никчемным [quite unworthy]. Некогда резиденция калги-султана, один из важнейших центров ханства, украшенный дворцами, мечетями и зданиями общественных бань, ныне подавленный безвкусной пышностью [tawdry glitter] московского варварства, он в чем-то сохранил неудовимое очарование Востока» (*Olifant*, 1853. P. 213).

Сказанное выше можно было бы отнести и к Бахчисараю, точнее, к бывшему дворцу Хан-сарая. Но, к сожалению, здесь картина сложилась несколько иная. После катастроф XVIII в. дворец неоднократно восстанавливался и перестраивался. А после «реставрации» комплекса перед приездом в Крым Екатерины II в его внутреннем облике явственно проступили черты той безвкусицы, почти фарсового понимания духа восточного искусства, что до сих пор режут глаз при посещении этого бывшего шедевра крымской архитектуры. И дело даже не в том, что русские солдаты ещё в 1730-х ободрали стены Хан-Сарая, а затем подожгли его. При восстановлении, на которое было затрачено немало средств, интерьер дворца утратил основное своё достоинство — единый, тонкий стиль. «В этой чисто восточной атмосфере вдруг возник будуар дамы из века рококо, некое капризно из всевозможных безделушек и предметов роскоши дурного вкуса... В атмосфере пронизанную воспоминаниями о могуществе и блеске татарской державы, вломился этот образец чисто византийского оскорбления хорошего вкуса» (*Aus Krim und Kaukasus. Reiseskizzen von Wilhelm von Massow. Leipzig, 1902. S. 40–41*).

Бахчисарайская улица в середине XIX в. была исполнена тех же контрастов, что и симферопольская: «Уличные прохожие в Бахчисарае... — это татары, идущие по своим делам, а также русские паломники, возвращающиеся из близлежащего монастыря. Загорелых и крепких местных татар легко отличить от усталых от долгого пути христиан, спустившихся из горной обители. Тут и там выделяются белые чалмы халджи, которые иногда совершают паломничества в Мекку даже из этого края, расположенного далеко к северу. Время от времени встречаются и турки. Иногда проскользнет сквозь толпу фигурка татарской женщины, вся в белом с ног до головы. В сравнении с ней ещё более выделяются в потоке прохожих русские женщины, пёстрые как попугаи в своих красных, зелёных, жёлтых и синих шалях и платьях. Все они, как правило, солидной корпуленции, столь ценимой русскими, и, идя вдвоём бок о бок, занимают всё свободное пространство узкой улочки — от стены до стены... Сквозь эту толпу иногда проплывают, как гигантские лебеди, гружёные товарами корабли пустыни, терпеливые верблюды с их усталыми глазами. И, наконец, появляется беспокойно брэнчащая русская тройка, всегда вносящая в такую мирную восточную улицу мгновенную сутолоку, как камень, брошенный в воду» (*Spenger, 1857. Vol. I. P. 225*).

А теперь — обещанный пример возникшего на опыте межэтнического общения такого рода, уже установившегося отношения простого русского человека

к крымскому татарину. Позаимствуем его из классического труда Е. Маркова, вышедшего в свет почти через сто лет после аннексии. Он пишет, что курский переселенец, неграмотный и невежественный, считает местного человека, крымского татарина, гораздо ниже себя во многих, если не во всех смыслах («Он ленив и дурень»), опасается козней с его стороны («Ему досадно, что мы у него первое место заступаем, ему при нас околевать приходится, потому, что он каков, его сменить (то есть сравнить. — *В.В.*) с русским нельзя»). Поэтому татары «нашего брата издедают». И даже благородная верность крымского татарина религии предков не может вызвать ничего, кроме той же эмоции презрения: «Плюнешь, да и отойдешь; аж смех берёт: погань, а закон свой блюдет!».

Писателя, приехавшего из России, но прожившего в Крыму долгие годы и не впервые сталкивавшегося с феноменом, слишком хорошо известным каждому коренному крымчанину, всё же поразила «эта незыблемая крепость убеждения, не зависящая ни от каких фактов, эта органическая уверенность в превосходстве всего своего и во всех отношениях над всем чужим, это ничем не оправдываемое и вместе ничем не скрываемое презрение к татарину...» (*Марков, 1995. С. 46–47*).

Примерно такое же, как у этого безвестного курского мужика, отношение к национальному характеру и трудовым традициям коренного крымского населения сложилось у внешне более просвещённых русских иммигрантов — дельцов, помещиков, промышленников, тщетно пытавшихся запрячь крымца в то трудовое ярмо, что веками безропотно тянул русский мужик, мастеровой или кустарь. Та же эмоция презрения не позволяла спокойно и непредвзято разобрататься в этом действительно крайне любопытном явлении, но толкала на выводы того же ряда, что и привелинные у Е. Маркова. И не только в помещичьих гостиных, но и на страницах толстых журналов звучали те же слова о «неспособности татар к правильному производству», то есть к регулярной трудовой деятельности<sup>1</sup>. Очевидно, дальнейший анализ проблемы становится затруднителен без краткого исследования частного, но давно назревшего вопроса — упорного нежелания русского иммигранта увидеть в крымском татарине если не ближнего своего, то со-гражданина и, значит, со-человека (и наоборот, столь же упорное отторжение крымцами «русского» образа жизни).

Этнопсихологический феномен презрения, рождённого завистью, был, судя по сохранившимся данным, для крымцев безразличен. Они никак на него не реагировали, не устраивали мятежей, не бунтовали. Чем оно объяснялось, это покорное принятие чуждого режима, новых, непривычных для Крыма и непонятных

<sup>1</sup> Некоторые исследователи не без основания полагали, что «татары, как и греки, отказываются обрабатывать землю, поскольку они опасаются, что плоды их труда будут грабительно отобраны русскими, которые слишком ленивы и слишком тупы для того, чтобы самим озаботиться развитием хозяйственных отраслей» (*Clarke, 1810. P. 453*). Но, это далеко не так. На самом деле причины того или иного отношения к труду гораздо глубже, они скорее этнопсихологического, чем чисто экономического плана. Сам по себе феномен, о котором идёт речь, свойствен населению не только Крыма. Некогда в Северной Америке плантаторы тоже не от хорошей жизни везли к себе чёрных рабов через Атлантику, тратя немалые средства. Ведь коренные американцы-индейцы, эти вольные сыны пампасов и лесов, совершенно не поддавались дрессировке с целью регулярной «производственной деятельности».

отношений? Вряд ли крестьяне Крыма были в состоянии объяснить его с современной точки зрения, то есть русско-крымскими культурными различиями, которые и глубоки, и принципиальны. Не исключено, впрочем, что для них не была чужда старая мудрость, родившаяся в Китае, но за полторы тысячи лет ставшая известной всему Востоку: «Если тебе плюют в спину, значит ты — впереди» (Конфуций, 551—479 до н. э.).

Крымскотатарский народ — психологически открытое этническое сообщество, и выше неоднократно было показано, как легко усваивались ими культурные ценности даже некрымского происхождения, чуждые, но не противоречащие сложившимся фундаментальным ценностям этнокультуры. После аннексии сложилась совершенно иная ситуация. Вопреки своей воле народ был поставлен в осязаемую близость с носителем «штрих-кода» не просто иного, а полярно противоположного крымским морально-психологическим и иным базисным установкам. Как могли принять его люди, для которых было немыслимым поступиться даже мельчайшим из своих ритуалов (например, забыть о чашечке кофе для гостя)? А ведь речь шла не о мелочах, — им навязывали новые, неприемлемые для них всеобщие правила поведения, а в перспективе легко угадывалось и требование полной духовной перестройки на русский лад. И награда за такую радикальную ломку культурного кода причиталась соответствующая: утрата своей этничности, утрата права называться крымскими татарами.

Но те же или похожие чувства должны были обуревать и русских переселенцев. Они органически не могли, как, например, англичане в Индии, проникнуться должным уважением к народу той земли, куда они пришли незваными. И тут же вплотную заняться изучением его культурного богатства, исследованием традиций и обычаев, переняв наиболее рациональные из них и т. д., проявив тем самым искреннее уважение и интерес к народу, как это было в той же Индии<sup>1</sup>.

Эта невозможность «английского» отношения к аборигенам следовала из особенностей великорусского культурного кода, в котором одним из самых жирных «штрихов» была герметичная закрытость, вторым — нетерпимость ко всему «ненашему», третьим — шовинистический «патриотизм». И в этом коде перемена штрихов была бы невообразимо мучительной и сложной. Да и ради чего, собственно, ведь это означало бы для колонизаторов утрату своего статуса завоевателей и своей идентичности («русскости»).

Выше говорилось, что крымская этнокультура сложилась в результате многовекового добровольного, ненасильственного восприятия коренными жителями полуострова отдельных, лучших черт пограничных и заморских культур. После

<sup>1</sup> В независимой Индии доньяне «с благодарностью вспоминают о том, что было сделано там англичанами, и даже раздаются предложения восстановить памятники британским вице-королям, сброшенным с пьедесталов вскоре после 1947 г.» (Глуценко Е. А. И снова «непредсказуемое прошлое» // В/О. 2006. № 1. С. 159). В Крыму же, сохранившем совсем иную память о российских колонизаторах, один лишь проект памятника Екатерине II, который в начале 2000-х гг. предполагалось воздвигнуть в центре Симферополя, вызвал всеобщее возмущение коренного народа и многочисленные протестные заявления в местной печати 2005–2006 гг. И даже закладной камень для этого монумента был неоднократно ликвидирован памятливими потомками тех крымцев, кого императрица «облагодетельствовала» в 1870–1880-х гг. и позже.

аннексии о добровольности выбора не могло быть и речи. Начался полуторавековой эксперимент насильственного «цивилизации» самоценной нации. Этот преступный опыт на живом теле народа лучше всех исследователей оценил писатель Е. Марков, сравнив его с вливанием в вены человека телячьей крови (Марков, 1995. С. 309). Причём без согласия пациента, намертво привязанного к операционному столу, да и кому в те поры пришла бы в голову мысль спрашивать несчастных аборигенов хотя бы о какой-то отсрочке близившейся операции?

Понятно, что никто и не принимался за решение задачи хоть приблизительного постижения крымской действительности, хоть какого-то притирания к ней. На новые проблемы, вызванные появлением новообразованных колоний, было проще реагировать не рационально (естественным для нормальных людей и наций движением навстречу), а эмоционально. А в России, как мы помним, по отношению к инородцам доминировала одна эмоция — презрение.

Она, эта эмоция, отбрасывала свою тень на самые различные стороны ситуации вынужденного сосуществования колонии и метрополии. В том числе и на одну из центральных проблем, касающуюся старой и новой моделей хозяйственной деятельности имперского населения, на проблему великорусского и крымскотатарского отношения к труду.

## 6. Два отношения к труду

Согласно христианской догме, труд есть наказание за первородный грех<sup>1</sup>. Это библейское по происхождению утверждение смягчено в католицизме и ещё более — в протестантизме и исламе, где оно стёрто до практически полного исчезновения. Но такая вот нравственная основа любой трудовой деятельности действительна для православного великоросса и поныне. На этот счёт мнения средневекового путешественника по Московии и более современных историков совпадают: великороссы в массе никогда не испытывали, мягко говоря, чрезмерного рвения в труде, излишнего пристрастия к работе: «...они заботятся только о том, чтобы прожить настоящий день, не прилагая большого старания к обрабатыванию полей» (Принс, 1877. С. 72).

Да и откуда было взяться нормальному трудовому удовольствию (не говоря о рвении), если смысл и результаты крестьянской деятельности определялись не помещиком или старостой, а самими условиями застойного, почти бесприбыльного — зато «честного», то есть беспримесно патриархального, а попросту — безнадёжно архаичного труда. Сама духовная почва (а не земля) диктовала свои условия работы и жизни, и крестьянин выполнял негласные законы поля.

<sup>1</sup> «...целью работы не является стяжание богатства, это, скорее, тяжёлое физическое упражнение для смирения плоти». Такое «отношение к труду в русском языке нашло отражение в словах „работа“ и „раба“, причём в них присутствовал оттенок православного несвободного труда» (Найдёнова, 1994. С. 57). У великороссов «труд... — средство самосовершенствования, подвижничества, труд „чёрный“, тяжёлый, который угоден Богу» (Кудюкина, 1994. С. 20).



рабства, с которым его связывает не только внутренний смысл, но и общий корень слова» (Марков, 1904).

О том же, о суфийском нравственном императиве, выраженном в законе крымских ремесленников («Никогда не закрывая своей двери, никогда не открывая чужой и работай столько, сколько достаточно для твоей жизни»), говорили в буквально тех же выражениях иностранные путешественники: «они работают единственно для обеспечения хлеба насущного, а остальное время проводят, куря трубку и греясь на солнце» (Jones, 1827. P. 281). С этим воззрением явно связана и традиция не упускать возможности устроить себе маленький праздник или выходной: если крымский татарин не работает в пятницу, «то почему он должен работать в воскресенье, когда отдыхает его хозяин-христианин!» (Holderness, 1821. P. 101). Любопытно в этой связи сравнение крымчан с немцами, сделанное немцем же: «Крымский татарин работает бесстрастно... и ровно столько, сколько требует необходимость. Остальное время он проводит в праздности, носясь повсюду на своей резвой лошадке. Он непохож на местных немцев, которые, видя цель жизни в том, чтобы оставить как можно больше наследникам, отвергают радости жизни, и роются, и роются в земле, покуда их самих в неё не заруют» (Hoffschläger, 1855, S. 22).

Российский автор отмечает, что в традиционном крымскотатарском обществе не зазорно было провести в досуге лишний час даже в рабочее время дня. Впрочем, и в этой практике есть своя особенность: «Однако этот лишний час свободы, в который он (то есть крымский татарин. — В.В.), быть может, думал о себе, как о человеке, не втокнул его ни в пьянство, ни в воровство, ни в плутню, а уж это великое благо в человеке, а тем более в обществе» (Соколов, 1869. С. 223).

Крымские (и не только крымские) мусульмане видели в личном труде благостыню, удовольствие послушания и добровольного аскетизма, нетребовательности. Но аскетизма не крайнего, ожесточённого, монашеского, а мягкого, суфийского<sup>1</sup>. И всего менее он был рассчитан на какой-то внешний эффект. Это была внутренняя потребность, а не внешний закон или требование. Между прочим, немецкие протестанты именно так и называли этот принцип: innerweltliche Askese (аскеза внутреннего мира). И именно такой аскетизм мог оказывать и оказывал «огромное влияние для выработки личности» (Булгаков, 1909. С. 54–55).

Понятно, что эти принципы не препятствовали, а соответствовали вполне жителю стремлению облегчить себе жизнь, условия труда и т. д. Простой пример: крымскотатарский кузнец-мастер не стоит у наковальни, а сидит на краю четырёхугольного колодца, глубиной сантиметров 70, поворачивая разогретую поков-

<sup>1</sup> Суфийское (или, шире, общемусульманское) самоограничение в корне отличается от иссушающего душу и тело аскетизма средневековых отшельников или индийских факиров. Это отличие состоит в том, что если последние отказывались владеть имуществом, чтобы избежать жизненных забот и ответственности, то мусульманин ставит разумное ограничение потребностей на службу построению оптимального гражданского общества, где побеждены нищета, страх унижения из-за бедности, невежество. Это, как ни странно, и вполне государственное мышление. Ведь самоограничение на личностном уровне и самообеспечение открытой общины не только сохраняют чувства близости между людьми. Они и разгружают затратную часть национального бюджета (См. также: Сибай, 1990. С. 106–107).

ку под ударами молотобойца; тщательно продуманы удобства и для подмастерья, раздувающего горн. Благодаря этому простому приёму «работа, которую в Англии связывают с напряжением и атлетическими усилиями, в Крыму идёт сама собой, без какого-либо ущерба её лёгкости и комфорту» (Holderness, 1821. P. 134–135). Более того, трудовое перенапряжение рассматривалось как грех против собственной души, против своего тела и близких своих. Об этом прямо говорят хадисы: «Душа твоя имеет на тебя право, тело твоё имеет на тебя право, жена твоя имеет на тебя право, глаз твой имеет на тебя право»; «Не поручайте им того, что они не в силах выполнить» и т. д. (Цит. по: Сибай, 1990. С. 105–106).

Самоограничение же потребностей, приносящее удовлетворение, а не чувство ущемлённости, позволяющее ввести затраты сил и времени, расходуемые на труд, в разумные рамки, сохраняется среди консервативной части мирового мусульманства и ныне. Более того, это — вообще один из основополагающих принципов мусульманской культуры Нового времени (Аль-Джаноби, 1997. С. 39).

То есть здесь речь идёт именно о том качестве людей восточной цивилизации, о котором упоминалось в начале главы, и которое обращает на себя всё большее внимание<sup>1</sup>. Оно вело и ведёт человека к выработке взгляда на труд не как на тяжёлое наказание, ниспосланное Богом, а, напротив, как на единение с Ним. Если сам трудовой процесс был для православных оскорбительной тратой сил и здоровья для прокормления явных тунеядцев (такими по представлению мужика были все остальные — от простых горожан-мастеровых до бар, чиновников и т. д.), то для мусульманина работа сама по себе является светлым торжеством предначертаний Милосердного, Знающего.

А основа этой уверенности — и в том, что в исламе вообще нет унижающих человека профессий (за исключением ростовщичества и с ним схожих). «Скромный уборщик столь же ценен и любезен Аллаху, как и управляющий финансовой империей. В расчёт берутся только честность и достоинство [выделено мной. — В.В.] работника...» (Максуд, 1998. С. 202). Причём Коран гарантирует за столь благородное занятие достойное воздаяние уже на этом свете: «...и они здесь не будут обделены» (11:18); правда, труд должен быть как добросовестным, так и честным; «Полностью соблюдайте меру и вес. Не снижайте людям в их вешах и не портите землю после её устройства. Это — лучшее для вас, если вы верующие!» (7:83).

Вообще же труд имеет не только хозяйственное значение, это не только фактор, определяющий социальные отношения. Нередко забывается, что он — и важная культурная ценность. Но для того, чтобы ощутить наслаждение от этой ценности необходимо, по меньшей мере, соблюдение двух условий: человек должен трудиться на своём поле (в своей кузнице и т. д.), то есть быть собственником; его профессия должна обладать престижностью для него самого и для

<sup>1</sup> Современные мусульманские мыслители, напоминая, что ресурсы планеты не безграничны, но что американец, к примеру, потребляет в 500 раз больше, чем мозамбиканец, призывают сдерживать страсть к присвоению. Альтернативой может стать простое усвоение материальных благ, хоть для этого, «для выработки принципиально иной культуры жизни и поведения» от европейцев и американцев потребуются «огромные усилия» (О. Сулейменов, ЛГ 12. 08. 1998. С. 3). Современный американский политолог И.А. Шумпетер утверждает, что Россия 1990-х, напротив, «демонстрирует крайнюю степень неспособности социальных институтов к самоограничению» (цит. по: ЛГ, 12. 08. 1998, С. 1).

окружающих. Если эти условия отсутствуют, то от высокой заинтересованности и наслаждения от процесса труда человек скатывается к равнодушию и даже ненависти к работе. Как было видно, эти условия соблюдались в Крыму, но их не было в области крепостного права — отсюда и упомянутые результаты. Ещё более снижает трудовую заинтересованность насилие, принуждение к работе. И здесь Крым оказывался в лучшем положении: крымский татарин, в отличие от русского, работал, лично определяя для себя «норму выработки».

А вот ещё более важное и более универсальное явление, связанное с престижем. Великороссы, даже не крепостные, то есть свободные и принадлежащие к любому из сословий люди испытывали такой вид несвободы, как постоянная социальная неудовлетворённость. Ведь непрерывная гонка за достатком, за более высоким общественным или экономическим статусом, за иными престижными (псевдо)ценностями — тоже принуждение. Крымские татары были свободны и в этом отношении. То есть они пользовались свободой поистине универсальной, что также не могло не сказаться на отношении их к труду.

Наконец, крымский татарин через труд вступал в непосредственное, тесное и интимное общение с природой, что освобождало и его внутренний, эмоциональный мир, снимало напряжение внутреннего переживания объективных и иных проблем. Такого освобождения невозможно было получить, обладая психологией, складывавшейся в условиях несвободной работы, когда она была необходима и фатально неизбежна. В этом смысле символом крымского типа жизни могла скорее стать известная статуя *Свободы*, тогда как для великорусского — не менее известные *Рабочий и Колхозница* с их орудиями труда, что уже и было отмечено (Ерасов, 1998. С. 121).

Очевидно, наиболее отчётливо разница в целях и, соответственно, средствах их достижения для крымскотатарского и великорусского крестьянина проявлялась в садоводстве и скотоводстве. Русский хозяин (крепкий мужик) наращивал массу производимого продукта, для него важнее всего были символизирующие богатство количественные показатели. Напротив, крымский татарин, не видевший в материальном благосостоянии цели Бытия, подходил к процессу труда как творец. Проводя селекционные опыты в садах и поле, скрещивая различные породы животных и выводя при этом действительно замечательные сорта винограда или яблок, новые породы овец и лошадей, такой труженик поднимался над прозаической стороной работы, он становился Художником, пользовавшимся всеобщим уважением и даже славой. Поэтому для него важнее количества было качество плодов его труда.

Таким образом, здесь также проявляется принципиальная разница между двумя ценностными системами — великорусской и крымскотатарской.

Среднюю продолжительность трудового процесса русского мужика, как и крымскотатарского крестьянина, трудно измерить. Не исключено, что она была одинаковой<sup>1</sup>. Но легко понять, что если русский, исполнявший свою работу из-

<sup>1</sup> Имеется и кое-какая информация, более конкретно определяющая норму дневного труда крымского татарина. Причём она берётся не абсолютно, а в сравнительном смысле: «В противоположность симферопольскому пьянству, татары живут иначе. Все свои заработанные деньги они приносят домой, в семью, с которой они проводят всё своё

под палки, чувствовал себя обделённым судьбой и делал дело кое-как, то крымский татарин, чем бы он ни занимался, ощущал своё высокое достоинство труженика Аллаха и работал «в охотку», с удовольствием. И, естественно, такой труд приносил совсем иные плоды в прямом и переносном смысле. Конечно, можно предположить, что не все крымские татары стопроцентно придерживались этой несложной истины; должны были и среди них (как и в любой нации) встречаться отдельные нестандартные личности — откровенные бездельники. Но к таким народ относился адекватно, о чём свидетельствует уничтожающая поговорка: *Алма пии авызма тюш* («Яблоко созреет и упадет мне в рот»). И прямо противоположная по отношению человека к труду: *Чалышан адам ач калмас* («Труженик голодным не останется»).

Остаётся сказать ещё раз, что мужицкая агротехника испокон века истощала не только почву. Само использование окружающей среды в целом было хищническим (порубки, потравы и браконьерство сдерживались только силой, — об этом находим у русских классиков массу свидетельств). В то же время крымскотатарская модель крестьянской традиционной экономики практически идеально вписывалась в экологическую систему Крыма. Она представляла собой и в «хищном» XX в. образец природосохраняющего хозяйствования. Что же касается более ранних периодов истории, то отказ от порабощения природы имел значение не только для сбережения ресурсов, нужных потомкам, но, как странно это ни звучит, для сохранения свободы собственной личности.

Дело в том, что установление контроля над природой закономерно переходит во всё больший контроль общества над личностью. Так называемое «покорение природы» заканчивается тем, что человек сам начинает разделять её судьбу. Тот, кто видит в Природе враждебную, слепую стихию, часто не замечает, что общественные связи не менее слепы, что и они складываются не менее стихийно. От природных связей они отличаются лишь в худшую сторону. Социальная стихия тотальна, она навязывает личности свои законы, ограничивая его свободу. Соблазн контроля над природой приводит к отказу человека от самоконтроля. И вместо этого усиливается общественный контроль над поведением членов общества. А уж такая практика подозрительно похожа на возвращение от свободной цивилизации к варварству.

Крымские татары относились к природе с любовной почтительностью, и она отвечала тем же. Грубое насилие над окружающей средой на севере и естественное слияние с зелёным миром на юге отражали две различные жизненные философии, две противоположные модели жизни в целом. И это не было секретом ни в России, ни в Крымском ханстве, и свои неодинаковые роли одинаково хорошо осознавали крестьяне обеих стран. Отчего они наверняка испытывали прямо противоположные эмоции.

Естественно, постоянно положительный эмоциональный настрой жителей Крыма являлся солидной и естественной основой для осознанного исполнения наставлений Корана и сунны, законов шариата, касавшихся бережного отношения

время, кроме рабочего. Вне дома не тратится ни одна копейка. Вообще семейная жизнь крымских татар превосходна. Г-н Хюбнер рассказывал мне, что один татарин, в среднем, работает как два русских, а ведь он долго жил тут» (Koch, 1854. S. 42).

к родникам, лесу, земле в целом<sup>1</sup>, обязательной помощи бедным, честности и тому подобным. Такое отношение к природе, своим ближним, труду, светский аскетизм, наблюдались, естественно, не только в крестьянской среде.

Для восточного отношения к труду и потреблению есть и философское обоснование. Как отметил один крупный испанский мыслитель XX века, решение этих проблем на Востоке «остроумно и основательно. Вместо того, чтобы увеличивать приход, он [то есть мусульманин] уменьшает расход, — не напрягаясь, чтобы жить, а живя, чтобы не напрягаться, избегает усилий и строит на этом своё существование... Такая трудовая атмосфера особенно отчётлива, если вспомнить, каким самонадеянным, показным и непомерным предстаёт труд у народов, для которых он стал идеалом» (*Ортега-и-Гассет*, 1996. С. 206).

Кажется, что испанский мыслитель читал сочинения русского писателя и историка XIX в. П.П. Свиньина (что, конечно, вряд ли), так сравнившего философию русского и крымскотатарского крестьян: «У нас на севере отдых есть средство к новому труду; там, напротив, на труд смотрят как на средство доставить себе наслаждение» (*Свиньин*, 1839. С. 338). В таком освещении становится понятней весь стиль жизни крымского татарина, который проживал каждый отпущенный ему день, как если бы ему предстояло назавтра умереть — и в то же время он строил такой дом, сажал такой сад, как если бы ему предстояло жить вечно.

Устроить свою земную жизнь — разве это грех? Общеизвестно, что она не вечна, что впереди — Судный день. Но — пока суть да дело — не предпочтительнее ли наименьшие тяготы в быту? Цель — не обогащение, бессмысленное уже по своей принципиальной бесцельности. Но кто мог в те годы, да и позже, ответить крымскому татарину, зачем ему, уважаемому в своих и чужих глазах человеку, отцу и мужу, который обустроил жизнь своих детей, своей жены и родителей, стремиться куда-то? И куда?

Вот в чём была глубинная основа разногласия между двумя различными восприятиями Цели. Здесь также проходила межа между Мечетью и Церковью.

И это разногласие было куда глубже различий между двумя верами. Именно оно было первичным, и только оно определяло вторичный выбор, а именно великий, судьбоносный выбор этносом религии, отвечающей его духу. Это же разногласие определило и весь комплекс отношений между русскими и крымцами течение последних двух-трёх веков.

Это разногласие не стало непреодолимым в ходе истории.

Оно было им изначально.

В Крыму даже в праздничные дни работали, запрещалось только торговать. В праздник можно было увидеть крымского крестьянина, мирно копошась на своём огороде или винограднике. Но зато и будние дни несли на себе отблеск праздника, не перенапрягая человека трудом. И здесь всеми без исключения от-

мечался контраст с российским крестьянином, о котором кратко и точно сказал великий знаток мужицкой жизни Некрасов: «Он до смерти работает, до полу-смерти пьёт».

Не было в Крыму таких традиций!

Нелишне вспомнить и о том, что для южан в целом не стоит проблема противопоставления человека окружающей природной среде, тогда как на севере картина противоположная. К примеру, северянин чувствует себя поработанным силами (духами) природы, пока лес не вырублен подчистую, а ближнее болото не осушено. На юге крестьянин отчасти сам похож на растение своей земли, так как живёт, погружаясь в родную природу духовно и почти физически. Здесь, как в живой природе, смягчены, приглушены и праздники, и будни. Они похожи друг на друга равным счастьем необременительного труда, сменяющимся отдыхом без пьяной гульбы и драк. Максимилиан Волошин удивительно точно назвал средневековый крымский мир «мусульманским раем», — ведь в раю тоже нет ни будней, ни праздников...

Это не крымское изобретение. Это просто южный образ жизни, где «...нет места бурным восторгам, грозно спрессованным в узком пространстве времени, за которым следует долгая пустота или горечь. Самозабвению предполагается самообуздание, печаль вполголоса, которая на редкость равномерно, без падений и взлётов растягивается на всю жизнь. Чтобы быть удовольствием, труд не должен быть чрезмерным, в идеале он не должен быть отличим от приятного времяпровождения» (*Ортега-и-Гассет*, 1996. С. 207).

Эти слова наблюдательного испанца вполне относимы к традиционному Крыму, где «татарин в своём счастливом углу имел все существенные условия для земного благополучия: тёплое небо, чистые воды, тенистые леса, сочные пастбища, сады, кишащие вином и плодами, стада для мяса и молока, скот для работы, каменные горы и дерево для жилищ...» (*Марков*, 1995. С. 332). Это было внешне неяркое, но глубокое счастье. Причём оно было реально не только у домашнего очага, но где угодно, даже посреди раскалённой крымской степи, где местный житель, «усевшись, для тени, под своим верблюдом, курит спокойно трубку, наслаждаясь отдыхом» (*Демидов*, 1853. С. 295)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Само понятие «хорошей жизни», высококачественного бытия — тема в науке мало и плохо разработанная. Трудно вычислить прожиточный минимум или не чрезмерный максимум экономического, социального, этического («спокойная совесть») достатка, но это-то и неважно. Важнее, чтобы люди сами считали, что они живут хорошо, тогда и только тогда они действительно хорошо живут. Понятно, что каждый вкладывает в такой критерий качества жизни своё содержание. Мало того, оно меняется даже в отдельно взятой семье, не говоря уже об этнических сообществах. Крымские татары были довольны своей жизнью до прихода русских, в колониальный период, на этот факт обращал внимание М. Волошин, да и не он один. Имперские же власти, имевшие собственное понятие о хорошей жизни, стали перекраивать крымское бытие на великорусский образец, отчего о счастье коренного народа тут же наступил конец, что естественно. Удивительно другое — попытки советских и постсоветских авторов доказать, что именно с приходом колонизаторов, с постройкой Лозово-Севастопольской железной дороги, Сакского химкомбината и т. д. наступило, наконец, счастье простого крымского татарина, который ранее, до появления «старшего брата», постоянно страдал.

<sup>1</sup> Экологический пафос ислама давно отмечен и неплохо изучен. В целом отношение к планете, её природе и обитателям, включая человека, основано на вере в человека как наместника Аллаха на земле. При этом люди, естественно, обязаны заботиться о светлом царстве природы, которая доверена именно им, что торжественно звучит в Коране: «Он — тот, кто сделал вас преемниками на земле» (6:165) или в хадисе, переданном Ахмадом бин Ханбалом: «Согласно заповеди Аллаха, тот милосерден, кто, пожелав вкушать плодов земных, сажает и терпеливо взращивает дерево» (Цит. по: *Максуд*, 1998. С. 231).



Вот здесь-то и следует искать исток клеветы, которой обливали крымских татар практически все пришельцы, начиная с неграмотного курского мужика и заканчивая образованными советскими и неосоветскими учёными. Плоть от плоти этноса, тяжёлые недуги которого переходят из века в век, они не могли и не могут, просто физически неспособны отзываться иначе о здоровом, но совершенно непонятном и чуждом обществе, не поклонившемся ни «самой истинной» религии, ни столь же «единственно верному» учению ленинизма и тем не менее состоявшем из явно и бесспорно счастливых людей. И это в то время, как подданные «христианнейших» царей и «величайших» вождей мира не то что счастьем, — сносной жизнью никогда, ни единого десятилетия похвастаться не могли. Такой парадокс порождает тяжёлую обиду. А уж она становилась истоком и презрения, и враждебности, и клеветы: от тщательно завуалированной до откровенной и явной, как короста на теле прокажённого...

Есть ещё один критерий разумной деятельности человека, заслуживающий внимания, — критерий внешней, предположительно более объективной оценки человеческой деятельности, оценки, основанной на более конкретных (чем понятие счастья), количественных показателях. О том, каковы были хозяйственные успехи новых хозяев за первые полвека после аннексии Крыма, имеется довольно глубокая, развёрнутая и обоснованная оценка. Она была сделана в 1832 г. образованным российским офицером, не только много ездившим по волостям губернии, но и, как видно из его трактата, пристально интересовавшимся аграрными отношениями в Крыму. Он провёл интересные сравнения между традиционным и новометодным принципами хозяйствования, двумя отношениями к труду и так далее. Обратимся к его выводам.

«Что ж [русские] помещики воспроизвели (здесь в смысле «произвели» — *В.В.*) нового, полезного на занятых ими полосах земли в этом физически богатом крае? Положительно можно сказать — ничего не воспроизвели. Главные статьи сельского хозяйства — хлебопашество и овцеводство, — тщательно поддерживавшиеся татарами при ханах, ныне в упадке; татары отстали от главной статьи земледелия, от хлебопашества... Те из помещиков, которые не имели собственных крестьян, не находя рук для обрабатывания земель, должны были довольствоваться тем только, что некоторые немногие из татар, вынужденные крайней необходимостью, могли для них сделать» (курсив мой. — *В.В.*).

Овцеводство... поддерживалось только татарами, а не русскими помещиками. Садоводство в возможных к тому местностях и долинах... было разведено татарами ещё во времена владычества над ними ханов; для орошения водою местностей, занятых под сады, поделаны были с издавна плотины, возвышавшие воду, и от них проведены каналы, по которым вода, струясь, направлялась в определённые места для полива фруктовых деревьев и виноградников; и это воспроизведено уже было татарами; после них русские помещики едва ли что добавили и улучшили» (*Закревский*, 1863. С. 154—155).

Автор касается и обширных строительных, парковых и дорожных работ, проведённых на Южном берегу, имея в виду прежде всего бесспорно успешные воронцовские, голицынские и румянцевские нововведения. Но выясняется, что и они объясняются отнюдь не инициативностью и аграрным профессионализмом русского помещика-землевладельца, а почти исключительно капиталами,

принадлежащими немногим магнатам или полученными ими из государственной казны. «Без этих деятелей крымские помещики бросили бы южный берег, как местность уродливую, недоступную и к воспроизведению на ней полезного неспособную. Граф Воронцов устроил в Евпатории артезианский колодезь; это был опыт, чтобы показать тем возможность крымским помещикам на занятых ими безводных саваннах устроить такие же колодцы». Но инициатива М.С. Воронцова никого не увлекла, пропала втуне: «...на дороге между Симферополем и Перекопом есть несколько старинных простых колодезев, на 20 и более сажен глубины, ископанных татарами; колодези хоть и неудобные... но и на этом спасибо татарам, а не русским теперешним помещикам» (Там же).

А помещики винили в своих бедах именно татар, подверженных «главному злу, тяготеющему над Крымом, той непомерной мусульманской лени, оковавшей весь край, и корень которой суть древние татарские обычаи и порядки», не позволяющие коренному народу перейти на «великорусско-помещичий» метод хозяйствования (*Шатилов*, 1858. С. 71). Впрочем, и крымцев понять можно, когда они никак не могли проникнуться необходимостью ралостного труда на *такого* хозяина. Эта мысль осенила англичанина, проехавшегося в те же самые годы по Крыму: «Говорят, они (то есть крымские татары. — *В.В.*) ленивы. Но нельзя же ожидать от людей рвения в работе на хозяина, которого они не уважают» (*Скоп*, 1854. Р. 307).

Здесь имеет смысл привести теоретические рассуждения российского (впоследствии американского) социолога и культуролога Питирима Сорокина о природе стихийного конфликта, неизбежно возникающего между группами людей, принадлежащих к разным культурным типам.

«Если нормы „должного“ поведения двух или большего числа лиц совершенно различны, а в зависимости от этого различны и для каждого из них и нормы поведения „защищённого“ и „рекомендованного“, то между поведением этих лиц, соприкасающихся друг с другом, не может установиться гармонический консенсус и необходимо возникнет конфликт, а тем самым и борьба этих лиц друг с другом. В этом случае сожителство этих лиц не может носить „мирный“ характер, их совокупность не может образовать „замиренной... группы“ с прочными и постоянными формами общения». Общения и не возникало, мирного, по крайней мере, что также находит своё объяснение: как правило, «...победители силой принуждают побеждённых поступать так, как требует шаблон поведения первых» (*Сорокин*, 1914. С. 218).

## 7. Усиление национального гнёта

### а) Истоки антитатаризма

Стойкая отрицательная эмоция презрения к аборигенам имела, таким образом, стихийные, спонтанные истоки. И лишь когда она стала настолько распространённой, что не замечать её в России и Крыму было невозможно, появились попытки подвести под неё теоретическую, так сказать, научную базу. И вот здесь, на этом этапе ясно прослеживается и управляемость, и организованность такого

направления этносоциальной идеологии. Главный из её признаков — одновременность, с которой на широком российском пространстве взрывались шовинистические акции, направленные на инородцев. Такие всплески этнической агрессии были настолько явно скоординированы, что можно говорить о настоящих кампаниях, начинавшихся и заканчивавшихся по сигналу. О том же говорит полнейшая безнаказанность самых активных и даже по имперским законам преступных элементов, участвовавших в таких кампаниях.

Если просмотреть российскую прессу, научную периодику и беллетристику, то обнаружится, что первая из упоминавшихся кампаний (я не говорю ни о геноциде, ни о постоянной стихийной травле народа), которая была направлена против крымских татар, относится к трём последним десятилетиям XIX века. Вторая началась и закончилась уже при советской власти, между 1928 и 1941 гг. Третью можно отнести к послевоенному десятилетию. Наконец, четвёртая, начавшись в середине 1980-х, благополучно продолжается и в год завершения этого труда.

Известные русские авторы, в том числе и занимавшие высокие служебные должности в царской империи, утверждали, что русские переселенцы, «почти все» состояли, начиная с XVIII в. «из побродяг, беглецов, людей распутных и заражённых пьянством, которые не имея порядочной над собой кровли, черпают свои недра из закуренных бочек» (*Сумароков*, 1805. С. 3), из не имевших корня «бродяг, промотавших данное им снабжение», которые, «не желая ничего, истребили лучшие деревня, продавая всё, что можно», (*Мертваго*, 1867. С. 179). Естественно, такие сочинения становились известны грамотной части российского общества. Иногда они вызывали негодование в отношении столь вызывающе объективных авторов, иногда — недоумение по поводу политики правительства, наводнившего Крым отбросами русского народа. Такого рода настроения не могли не беспокоить чиновников надзорных и идеологических структур государства, и они пытались нейтрализовать их.

Эта задача могла быть решена посредством критики указанных сочинений или противопоставления приведённым в них фактам и выводам чего-то прямо противоположного. Но такой выход был нереален: слишком много было сочинений, косвенно критикующих «крымскую» политику имперского Петербурга, и слишком часто мнения побывавших в Крыму писателей, историков, путешественников совпадали. В такой ситуации становилась бессмысленной любая попытка исказить положение в Таврической губернии: хорошо информированные читатели тут же поймали бы фальсификатора за руку. Поэтому, если не удавалось обелить переселенческую массу, оставалось одно — очернить её антипода, крымскотатарский народ.

То, что именно Крым, его коренной народ стали чуть ли не главной мишенью (*de* Кавказа) имперского идеологического наступления, имеет своё объяснение. Покорение поволжских тюрков произошло слишком давно, с тех пор они смирились со своей судьбой. Русская же составляющая населения волжских городов и сёл, пройдя длительный процесс ассимиляции в местных условиях, уже давно пользовалась взаимопониманием с местными татарами, как и последние, тысячами перебравшиеся в российские города — с их жителями. То есть острых проблем, подобных крымским, здесь не возникало.

Во втором тюркском ареале, оказавшемся в составе Российской империи, Средней Азии, таких проблем также не наблюдалось, хоть и по совершенно иной причине. Во-первых, процент русских переселенцев там был исчезающее мал, практически в этом направлении и миграции-то не было. Во-вторых, в Средней Азии с самого начала проникновения (а затем и аннексии и колонизации её) у руля российской политики по отношению к Туркестану и соседним территориям стали члены Императорского Географического общества. Они, а также рядовые ученые-востоковеды, привлечённые к делу, крайне бережно относились к культурному наследию древних цивилизаций, а, главное, — знали этот край и понимали его культурные нужды. Эти благородные люди сглаживали колонизаторские замашки России. Они цивилизовали не только «аборигенов», но и местных русских чиновников. Местная элита (и не только элита) об этом знала и высоко ценила вклад российской интеллигенции в сохранение как среднеазиатской культуры, так и установившихся отношений между представителями имперской нации и коренным населением региона. Таким образом, «туркестанской» проблемы для Петербурга так же не существовало, как и «казанской».

В Крыму столь комфортной межнациональной атмосферы возникнуть не могло по причине не только ущербной переселенческой политики правительства, но и «по новости его завоевания», как тогда принято было писать. Поэтому упомянутые попытки очернения инородцев предпринимались исключительно в отношении крымских татар. Но этими кампаниями в общественной прессе и официозных изданиях идеологическое наступление не ограничивалось. Для духовного ослабления жертвы антитатаризма использовались и иные средства — от диверсий в области религии (аресты мулл, посягательства на вакуфы и пр.) до сожжения библиотек, начавшегося, как мы помним, ещё до аннексии, и продолженного, как будет видно из нижеследующего материала, в первой трети XIX в.

#### б) Возвышение аборигенной элиты

В первое десятилетие после аннексии Крыма отсюда было навсегда выслано несколько сотен человек из числа крымскотатарского дворянства и мулл, оказавшихся наиболее неудобными для новой власти. То есть людей самых культурных, честных и неуступчивых. Отбор шёл по принципу выявления авторитетных в народе национальных лидеров, хоть они могли иметь самые несхожие свойства и жизненные цели. Только в Харькове таким образом вдруг оказалось двести мулл и имамов, то есть с семьями около 1000 человек (ИТУАК, 1897. № 26. С. 49). Но и в самом начале следующего века высылка продолжалась. На новом месте большинство этих спецпереселенцев XIX века (несмотря на обещание Екатерины приравнять в правах мурз к русским дворянам, а мулл — к священству) было приписано к государственным крестьянам (*Кричинский*, 1919. С. 19). Всем посланным навсегда запрещалось возвращаться в Крым; нарушивших запрет гнали по этапу назад. Именно тогда впервые вдоль северной границы полуострова были расставлены особые посты и кордоны. Дороги контролировались окружными и уездными начальниками, а также военными властями.

Кроме политических репрессий, крымскотатарская интеллигенция была подвергнута жёсткому культурному прессингу. Формально мурзам были дарованы



К этой последней группе можно отнести, правда, с некоторыми оговорками, крымских татар, сделавших военную карьеру. Обстоятельства не слишком их баловали, крымские национальные части то распускались, то возрождались, часто в другом качестве. То есть надежды на стабильную службу у крымских офицеров не было. Поэтому некоторые из них считали необходимым, не дожидаясь каких-то благ со стороны военного министерства или правительства, стабилизировать положение по собственной инициативе, всемерно поддерживая идею о совершенной необходимости для блага империи крымскотатарских воинских частей. Однако в полках и эскадронах служат, как известно, не только офицеры, но и рядовые. И вот об этих-то низших чинах, не видевших в царской службе ничего доброго, соотечественники в блестящих эполетах нередко забывали. Таким образом, не могла не возникнуть ситуация искусственно создаваемого конфликта — явление, ранее нечастое. Приведём пример.

В 1826 г. упоминавшийся выше Кая-бей Балатуков, дослужившийся к этому времени до чина генерал-майора, выступил с неудавшимся проектом создания гвардейского крымскотатарского батальона. Подоплека такой инициативы была ясна и не столь проницательным современникам мурзы, каким был князь М.С. Воронцов, к тому времени губернатор Новороссии. Он вспоминал историю с «гвардейским проектом» со свойственной ему беспощадной язвительностью: «громкое изъявление верноподданнического усердия генерал майора Балатукова от имени крымского дворянства кончилось тем, что дворяне только записали детей своих в службу в гвардию и служившие прежде в татарских полках поступили также в оную, но самый состав полка (то есть офицерский состав. — В.В.) не объявляя никогда желания формировать за свой счёт гвардейский эскадрон, побужден был местным начальством выставить для оного людей и лошадей», от чего серьёзно не пострадал, кажется, только самый зажиточный из них, собственно, К. Балатуков, семьи же других офицеров и рядовых оказались на грани разорения (*Авалиани*, 1915. С. 56). Каким стало после этого отношение к генерал-майору на родине, нетрудно себе представить.

Понятно, что со временем такие инициативы становились всё менее популярными, причём не только в крымскотатарской среде. В следующем проекте, выдвинутом Мемет-мурзой Крымтаевым, речь шла уже о двух крымскотатарских конных полках. На сей раз губернатор М.С. Воронцов счёл нужным подробно обосновать причину своего отрицательного отношения к таким инициативам. Он заявил, что перед подачей проектов о создании национальных полков их авторам необходимо представить полномочия от национального же дворянства и, главное, народа, которому придётся тянуть в этих полках армейскую лямку. Иначе причиной проекта может оказаться «ничто иное, как собственное намерение снискать для себя какую-либо выгоду», и тогда «успеха в добровольном желании (курсив автора. — В.В.) татарского дворянства и в формировании двух полков [рядовыми] ещё менее следует ожидать» (цит. по: *Авалиани*, 1915. С. 56). Князь объяснял отказ очевидными причинами: мурзы не могут нести предполагаемые траты по причине своей бедности, а крымских крестьян, как людей свободных, в полковые казармы вообще никто не вправе загонять (там же). В общем-то эти два эпизода лишь дополняют вышеприведенную характеристику третьей группы крымскотатарского дворянства.

В некотором смысле, в Крыму повторялась история с «перевариванием» империей Новой Запорожской Сечи. Там казацкой старшине до поры до времени раздавались земли, даровался статус российского дворянства, с тем чтобы вернее привязать эту прослойку к земле, а вовсе не по причине какой-то особо справедливой, великодушной и т. п. национальной политике царизма. Здесь имела место гибкая тактика русифицирования населения захваченных территорий, счастливо найденная и себя оправдавшая. Остаётся добавить, что культурная и духовная русификация этой последней группы становилась тем более полной, что она была добровольной.

Другое дело, что крымским дворянам, какую бы преданность престолу они ни выказывали, империя не могла простить их мусульманского происхождения и упорного сопротивления аннексии в былом. То есть они всё же оставались людьми второго сорта даже по сравнению с поляками — мятежниками, но христианами, многие из которых поднялись ценой предательства соотечественников довольно высоко по социальной или политической лестнице. То же можно сказать о прибалтийских немцах, вообще не относившихся к славянам: трудно представить себе, чтобы какой-нибудь крымский бей занял высшие посты в имперской политической полиции как немцы А.Х. Бенкендорф (шеф жандармов) или М.Я. фон Фок, руководитель политического сыска.

Численность всех трёх упомянутых групп крымскотатарского дворянства была, относительно основной массы крымского населения, небольшой. Но она представляла собой светскую интеллектуальную элиту, отчего в ней уже в XIX в. начался качественно новый, но вполне естественный процесс. В поисках этнокультурной идентичности, в попытках возродить национальное самосознание разночинцы, активно искавшие духовной опоры в условиях самоотстранения светской духовной элиты, обращались или исключительно к исламу (не видя вне его рамок абсолютно ничего достойного внимания), или к идеализации ханского периода, то есть наглухо замыкались на прошлом.

Что же касается большинства крымскотатарского народа, то оно не могло быть русифицировано в обозримом будущем по причине слабой контактности с пришельцами и своей низкой социальной и экономической мобильности. С ним ничего нельзя было поделаться: крестьяне не были заинтересованы в изучении русского языка, так как не особенно страдали и без его знания, а овладение речью колонизаторов, с другой стороны, не открывало для них никаких перспектив. Но правительство не желало терпеть такую косную, неподдающуюся массу, да ещё и заселяющую Крым, жемчужину царской короны — и депортация коренного народа стала представляться неизбежной. Вопрос был только в сроке.

#### в) Паспорта и тотальный контроль

Уже в 1803 г. начал осуществляться проект полной высылки крымских татар, подготовленный министром внутренних дел графом В.П. Кочубеем. Дело было поставлено на широкую ногу и обеспечено огромной финансовой поддержкой. Достаточно сказать, что практически весь коренной народ в виде исключения получил бесплатные заграничные паспорта. Люди продавали имущество, совсем уже готовые к переселению за море, как нежданно полуостров посетил с ознакомительной

целью назначенный в том же году военным губернатором Новороссийского края герцог Ришельё<sup>1</sup>.

По прибытии в Крым этому талантливому администратору понадобилось всего несколько дней, чтобы представить себе, какой кошмар готовят цветущему краю столичные теоретики. Губернатор составил обстоятельную записку для представления её в правительство, чем буквально спас крымских татар. На следующий, 1804 год «последовало новое распоряжение, вследствие которого движение [народа за рубеж было] остановлено, а выданные паспорта отобраны от татар» (Левцкий, 1882. С. 619).

Впрочем, герцог Ришельё, при всём его добром отношении к коренному населению Крыма, вряд ли мог бы что-либо изменить в практически поднадзорном положении всего крымскотатарского народа. Уже в начале XIX в. все городские маалле оказались под плотным наблюдением полиции. Но полицейских не хватало на множество мелких и мельчайших деревень. Тем не менее выход нашёлся. Все деревенские маалле были разбиты на группы домов. Из числа жителей этих блоков назначался один, который головой отвечал перед властями за их поведение. Отчёты, составлявшиеся по опросам блокфюреров (правда, подневольные агенты тогда назывались по-другому), анализировались в жандармском управлении (Jones, 1827. P. 284).

Такая практика была прямым нарушением не только устных обещаний, которые щедро рассыпались перед крымскими татарами Екатериной во время её путешествия. Они противоречили российским законам, ставя коренной народ Крыма в положение тотально подозреваемого. Видимо, Крым (и Кавказ) воспринимался российским правительством как некое пространство, «где не действуют обычные жизненные законы, как поле для любых экспериментов. Отсюда непоследовательность, смена методов, нарушение своих обязательств перед горцами, высокомерное игнорирование их требований и просьб. В представлениях Петербурга горское бытие принадлежало к «низшей реальности», на которую не распространялись принципы поведения, принятые в европейском мире» (Гордин, 2002. С. 164).

Нетрудно представить себе, какое впечатление производил новый порядок на людей, прибывших в Крым из России. То есть из страны жандармской, но *такое* и в страшном сне не видевшей. А что уж говорить о тех, кто узрел эту систему тотальной слежки, прибыв с Запада, худо-бедно знавшего конституцию? Те записывали примерно следующее: «Татары чувствуют свою зависимость и полное

<sup>1</sup> Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог Ришельё (1766–1822), француз, эмигрировавший в Россию в страшном для Франции 1789 году, вскоре проявил свои административные способности. С 1803 по 1814 г. он был назначен руководителем Новороссийского края и Одессы в качестве генерал-губернатора. В недолгом времени после назначения на юг он приобрёл «громкую популярность среди жителей Одессы и всего Новороссийского края... Он не делал различия между нациями, религиями и сословиями, ко всем относился с одинаковым вниманием, всем представлял защиту, покровительство, поощрение» (Яковлев, 1894. С. 19). В 1814 г. вернулся на родину, став министром правительства Людовика XVIII. Памятник, воздвигнутый ему в XIX в. благодарными одесситами в красивейшем месте города, где Ришельевская улица вливается в Приморский бульвар, до сих пор является неформальным символом знаменитого города. Память о герцоге Ришельё долго сохранялась и среди крымских татар.

опущение (the extreme degradation): по сути их всех рассматривают в качестве военнопленных или заключённых, ведь ни один человек не может даже шевельнуться со своего (stir) официально зарегистрированного места постоянного жительства. Точно так же никто не имеет права носить оружие или хранить его, так что можно смело сказать, что подрастающее поколение будет знать свободу только по имени. Мурзы доведены фактически до бедности и уже не имеют ни своего былого влияния, ни возможности оказывать гостеприимства, ранее столь широко славившегося среди путешественников» (Jones, 1827. P. 284).

За нарушение порядка и другие проступки следовали неукоснительные наказания. Напомню, что в Крыму публичные казни всегда были настолько редким случаем, что о них даже не упоминает ни один путешественник ханского периода. Теперь, при российском режиме, этот варварский обычай становится определённой юридической и, значит, бытовой нормой. Так, весной 1818 г. 7 крымских татар, только подозревавшихся в убийстве, были биты кнутом и публично казнены при большом стечении народа (Holderness, 1821. P. 88–89), и это был не единственный подобный случай. Понятно, что практика колониализма, конечно же готовилась не в канцелярии Новороссийских губернаторов. И её истоки следует искать не в Одессе, а в далёком Петербурге, разрабатывавшем долговременную программу, нацеленную, судя по всему, на подрыв не только экономического существования, но и духовно-нравственной основы народного характера. В совокупности с насильственным искажением экономической и социальной основы бытия крымцев такое давление не могло не иметь крайне тяжких последствий для культуры, духовности, сохранения и развития нравственно-го наследия крымскотатарского народа<sup>1</sup>.

В этой искусственной порче нравов интересны, по меньшей мере, два момента, имеющие одинаковый смысл. В источниках выявляются реалии, которые отнюдь не были изобретены российскими большевиками или германскими нацистами. Они были счастливо найдены в соборной, святой и т. д., короче доленинской Руси и лишь реанимированы при советской власти, а затем заимствованы гитлеровской Германией.

Первая из этих реалий: рассечение крымских городов и сёл на блоки, отданные под надзор прикреплённым к ним внештатным агентам. Вторая: в Крыму в начале XIX в. была введена система даже не прописки, а комендантского надзора, установленного во вполне мирный период, чего не было ни у Сталина, ни у Гитлера (речь идёт не о спецпоселенцах, а о гражданах, не покидавших исторической родины). И дополнительная черта: и первая, и вторая репрессивные меры начала XIX в. носили расистский характер, так как касались только крымских татар. К переселенцам с Севера было совсем иное, покровительственное отношение, что, кстати, повторилось и в 1920-х.

<sup>1</sup> Современные исследователи в области этнической психологии и морали приходят к очевидному выводу: «возрастание нравственного наследия в деятельности того или иного народа [происходит] не только в силу естественного роста самого объёма моральных ценностей, но и в силу действия целого ряда социальных причин. Эти процессы взаимосвязаны: чем большую роль народ играет в развитии нравственной культуры, чем более непосредственно его деятельность в этом направлении, тем большее значение приобретает нравственное наследие» в его будущем развитии (Федотов, Фаизов, 2006. С. 31–32).

## з) Религиозные притеснения

В 1828 г. начались и массовые религиозные притеснения. Впрочем, «начались», не вполне точно, скорее «усилились», поскольку уже в первые годы после аннексии самых святых и чтимых в мусульманской среде дервишей силой принуждали плясать под чужую дудку в самом буквальном смысле. Вот один из примеров эпохи Екатерины: дервишам «велено было собраться на молитву для удовлетворения любознательности именитой путешественницы. Дервиши повиновались, но как приняли они подобное приказание, с каким удовольствием выполняли его перед многочисленным обществом собак — и неверных, один из которых приказывает им молиться Богу и Магомету ради его забавы?» (Ромм, 1941. С. 39). Однако та же Екатерина с целью привлечения к себе симпатий в завоеванных областях указывала строить мечети (для киргизов, например) и даже печатать Коран. Впрочем, это были временные меры, направленные отнюдь не на действительную поддержку ислама в мусульманских регионах, а с целью «поймать на удочку» новых подданных, в чём она, как мы помним, и сама откровенно признавалась.

Теперь же, в правление Николая I, когда было отмечено массовое возвращение крещёных татар Центральной России в ислам, последовала соответствующая реакция. Православной церковью была возобновлена миссионерская деятельность, сопровождавшаяся (по старой русской привычке добиваться немедленных и радикальных результатов) насилием и оскорблениями чувств иноверческих масс. На жалобы с мест правительство не реагировало. Что естественно, так как именно от него исходили установки «жёсткой миссии», обоснованной постулатом о том, что «единство в вере также способствует единодушию и единomyслию» среди подданных державы (Каннелер, 1999. С. 185).

Тогда же русскими «экспертами» по исламу было установлено, что все побывавшие в хадже «приносят с собой новую силу духа мусульманского и утверждают оный в здешних жителях» (цит. по: Кричинский, 1919. С. 24–25). В связи с чем было решено паспорта паломникам не выдавать и вообще препятствовать любому их контакту с духовными институтами Турции. И это при том, что побывавших в Мекке и Медине крымских татар было не так уж и много. Так, на 12 крупных сёл Байдарской долины в 1830-х гг. приходилось всего 4 хаджи, что вполне понятно: хадж длился в среднем полтора года и обходился в среднем около 1200 рублей, что могли позволить себе лишь весьма обеспеченные семьи (Kohl, 1841. S. 267). В середине века за всеми хаджи по их возвращении уже устанавливалась слежка (Кричинский, 1919. С. 28), а многих из них по именному указу царя высылали в Калугу или Ярославль, в сугубо православное окружение, подалее от единоверцев Крыма или Казани.

Паспорта же могли быть выданы по разрешению новороссийского генерал-губернатора или таврического губернатора («не иначе как с особого по каждой просьбе разрешения лично»). Легко представить себе, какую «массовость» теперь получал хадж! Достаточно было даже не отказать в паспорте, а задержать его выдачу — и паломничество теряло смысл, ведь хадж (не путать с простым посещением святынь — *умрой*) может быть свершен в строго определённый период, то есть на протяжении десяти дней месяца *зу-ль-хадж*. Да и цена на паспорта была установлена вовсе уж несусветная: в 1844 г. — 100 руб.,

а в 1851 — все 250 рублей (Тудоряну, 2000. С. 11). Напомню, что рубль в ту эпоху был весьма весомой денежной единицей: за дойную корову нужно было отдать около 30 рублей!

Законом от 23 декабря 1831 г. Николай I учредил отдельное Таврическое Духовное управление Мусульман<sup>1</sup>. Тем самым было совершенно официально и окончательно отменено духовное подчинение крымских татар турецкому халифу. Однако такая автономия крымскотатарских служителей Аллаха на деле не сла очень мало свободы, зато она не только откалывала их от всемирной уммы, но и отделяла от приволжско-уральских духовных управлений. Не исключено даже, что и закон-то этот был принят для облегчения контроля за разобщёнными и оттого ослабленными этническими общинами — положение, ранее немыслимое в исламском мире, где не существует этнических различий. Это соображение находит подтверждение и в последовавших официальных положениях. С 1836 г. по закону занять духовную должность мог лишь отличающийся «надежностью, верностью и добрым поведением» мулла. Таким образом, отныне полицейские и жандармы проверяли на политическую благонадёжность всех мулл, имамов и муэдзинов. Отстранению от должности подлежали те из них, кто проявлял национальное самосознание, содействовал развитию национальной культуры и т. п.

Но даже благоприятная жандармская характеристика не могла помочь лицам, хоть раз побывавшим в Турции, — им навсегда запрещалась любая вероучительная деятельность или должность. Казалось бы, не слишком важный запрет, но именно в результате его применения крымские татары были лишены образованных мулл, учившихся в крупнейших мусульманских духовных институтах за рубежом, а всё население Крыма — его наиболее интеллигентной прослойки. Более того, муллой отныне не мог стать крымец, вообще получивший образование за границей, даже светское. Та же судьба ожидала всех имевших несчастье хоть раз обратиться на себя внимание полиции — для этого достаточно было проведения обыска, хоть и безрезультатного. Наконец, с большим трудом могли получить доступ к должности все муллы, окончившие отечественные, но наиболее прогрессивные медресе (например, Галеевское или Хусаиновское).

Муфтия по-прежнему избирали сами крымцы, точнее, они избирали трёх кандидатов из многих, а уж из них самого муфтия фактически назначал российский губернатор, по известному принципу «благонадёжности». Естественно, бывали случаи, когда при этом он отвергал всех троих. Так губернатор А.А. Кавелин однажды и поступил, пытаясь с целью ликвидации «невежества и религиозного фанатизма» татар протолкнуть на высший духовный пост своего чиновника Караманова (правда, это случилось во второй половине века).

Поэтому неудивительно, что время от времени муфтиями становились лица, для которых национальные и культурные интересы соплеменников были пустым звуком, иногда даже люди, совершившие преступления против своего народа.

<sup>1</sup> Первый указ такого рода был издан 23 января 1794 г.: «О бытии в Таврической области магометанскому духовному правлению под предводительством муфтия», но он по ряду причин осуществлён не был. Новый указ именовался «Положения о Таврическом магометанском управлении и правах онаго» (ПСЗ. II изд. Т. VI. № 5 033).

## д) М.С. Воронцов и крымские татары

Среди губернаторов Новороссии XIX в. достойные люди встречались довольно редко. После герцога Ришельё, о внимательном отношении которого к крымским татарам говорилось выше, добрую память о себе оставил светлейший князь и генерал-фельдмаршал Михаил Семёнович Воронцов (1782–1856). Трёхлетним ребёнком увезённый отцом-дипломатом в Англию, он получил необычное для российских вельмож воспитание, с юных лет впитав в себя идеи английских либералов и усвоив принципы просвещённого гуманизма. Большую роль в этом сыграл его отец. Князь Семён Романович был известным англоманом, просвещённейшим человеком своего времени. Причём, не скрывавшим своих убеждений. В частности, он выступал против разделов Польши, чем вызвал стойкую неприязнь со стороны Екатерины II.

Его сын, прославившийся в пору Отечественной войны 1812 г. (причём не только на полях сражений, но и позже, во время оккупации побеждённой Франции)<sup>1</sup>, был в 1823 г. назначен Новороссийским губернатором, несмотря на его дерзкие мысли о нецелесообразности крепостной экономики и крепостного права в целом. Впрочем, эти взгляды М.С. Воронцова разделял Александр I, которым владели «...две реформаторские идеи — конституция для народа России и свобода для крепостных крестьян». Он поручил «Дмитрию Трошинскому и князю А.Р. Воронцову составить проект „Всемилоостивейшей грамоты, Российской империи народу жалуемой“, обеспечивающей гражданскую свободу и личные права граждан. Но грамота эта, встретив сильную оппозицию среди высшей аристократии, поскольку предполагала уравнение в гражданских правах с дворянами и низших, податных сословий России, так и осталась „в проекте“» (Зубов, 2005. № 7. С. 119; также: Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. Лекция V. М., 2004. С. 119–120).

Сама идея освобождения крепостных была характерна для Европы эпохи Просвещения. В Англии, где князь провёл детские и отроческие годы, он видел для себя образец государственного устройства, основой и опорой которого были свободные люди. А вернувшись в Россию, М.С. Воронцов вошёл в наиболее интеллектуально развитые круги, отчего «...европейский культурный климат ему был внятней не только по заморскому воспитанию...» (Гордин, 2002. С. 165)

Причём, как сообщил И.С. Тургенев, это были не прекраснотушные мечтания, князь полагал в 1820 г. начать преобразование «серьёзно», что, впрочем, не означало резкую ломку многовекового порядка. Он как бы предвидел неопределимые бедствия, принесённые крестьянству непродуманной, плохо обеспеченной реформой 1860-х. С другой стороны, он имел в виду хоть и «постепенное, но не слишком тихое или отложное вдалеке освобождение крестьян от рабства» (цит. по:

<sup>1</sup> «Когда в 1818 году русские войска уходили из оккупированных районов Франции, города и коммуны подносили им благодарственные адреса за человеколюбивое обращение с побеждёнными, а в честь командующего оккупационным корпусом Михаила Воронцова жителями Мобежа была даже выбита специальная медаль. Тогдашнее поведение русских солдат на оккупированных землях врага как небо от земли отличалось от варварских бесчинств советских воинов, творивших „пир победителей“ в оккупированной в 1945 году Германии и других странах Центральной Европы» (Зубов, 2005. № 8. С. 127).

Авалиани, 1913. С. 46). Так, в 1833 г. князь писал, вполне в духе своего отца: «Порядок, у нас ныне действующий, делает более грубым и господина, и крестьянина, побуждает смешивать то, что справедливо, с произволом и производит то, что каждую минуту, даже на земле людей благородных и с хорошим образом мыслей, совершаются дела, от которых встают дыбом волосы у всякого человеколюбивого здравомыслящего человека... Существует какая-то уверенность, что правительство не желает вмешиваться в подобные дела и что власть над крестьянами и слугами должна оставаться неограниченной...» (цит. по: Яковлев, 1984. С. 29–30).

Став Новороссийским губернатором, он «следовал системе Ришельё, продолжал все его дела и векоре приобрёл такую же широкую популярность» (Яковлев, 1894. С. 26). Достаточно сказать, что когда в 1829 г. Крым постигла очередная катастрофа, эпидемия чумы, князь должен был ехать за границу, но отложил важную для него поездку, немедленно отправился в очаг распространения болезни, Севастополь, и 4 месяца пробыл в очаге заразы, борясь с чумой и возникшими среди русского населения города беспорядками (Яковлев, 1894. С. 28).

Князь уделял огромное внимание и крестьянскому, и национальному вопросам, выступая за «культурное слияние Крыма и Кавказа с империей», чего, по его мнению, возможно было достичь лишь терпимостью по отношению к завоеванным народам (Brower, 2003. P. 101). Но он шёл дальше простой терпимости, проявляя редкую для российского чиновника заботу о крымских татарах, как наиболее обездоленных из всех слоёв населения вверенного ему огромного региона Южной России. Примеров такой деятельности было множество, приведём лишь некоторые. Ознакомившись с крымским поземельным законодательством, он обратил внимание на положение, согласно которому татарские крестьяне, имевшие недоимки, могли быть согнаны с земли русским помещиком. И М.С. Воронцов направил в Петербург предложение отменить этот порядок, практически ведший к обезземеливанию коренного народа, «дабы по оному правительству не увидело вдруг толпы скитающихся без земли подданных своих и не подвергло их притеснениям жестоких людей» (цит. по: Авалиани, 1915. С. 52–53).

М.С. Воронцов знал, что после аннексии старый порядок в крымском селе был разрушен, а традиционная общинная саморегуляция сильно ограничена новой властью. В такой ситуации князь мог согласиться с необходимостью замены некоторых функций общины новыми средствами поддержания порядка. Но он выступал против уже подготовленного проекта передачи помещикам, по большей части русским, полицейских функций на селе. Осуществление этого проекта, писал он, «будет источником многих злоупотреблений, тем более, что закон магометанский запрещает татарину жаловаться христианину на единоверцев своих». При этом губернатор предлагал частично восстановить права общины: «в шалостях и маловажных винах требовать от сельского общества определения виновным наказания по положению о сельской расправе» (ук. соч. С. 53). То есть в случае осуществления этого предложения, рассмотрение и вынесение решений по всем бытовым неурядицам и конфликтам были бы выведены из-под юрисдикции имперских судов и возвращены традиционному суду старейшин.

К сожалению, протест князя (как и многие его иные инициативы того же плана) не был принят во внимание. Они и не могли привести к желаемому результату. Как верно подметил его английский современник, «будучи ограничены

рамками его собственного сословия, почти все его благородные намерения терпели неудачу или тормозились до бесконечности бюрократическими средствами, которыми владели чиновники» (*Hommage*, 1847. P. 423).

Мы помним, что после аннексии подавляющее большинство крымскотатарского населения было отнесено к разряду казённых крестьян. То есть в Крыму государство осознало именно себя, а не частных лиц (помещиков), верховным распорядителем крестьянских судеб. Поэтому по прошествии нескольких десятилетий нового порядка Министерство финансов, стремясь к облегчению осуществления своих налоговых, контрольных, статистических и прочих функций, выступило с предложением вообще запретить крымскотатарским крестьянам любое переселение с казённых земель без разрешения министерской канцелярии. Когда этот проект был доведен до сведения М.С. Воронцова, он выступил против принятия такого закона, который наверняка «нарушит вольность крымских татар, которые к земле никогда привязаны не были... но с древнейших времён имели и имеют право переселяться с одного места на другое» (цит. по: *Авалиани*, 1915. С. 53–54). Далее князь, невысоко ценивший понятливость петербургских чиновников и предупреждая их возражения, разъяснил вовсе уж очевидные истины, например, что крымская традиция свободы передвижения естественна для крестьянина, поскольку он ведь «сам находит, что ему на таком-то месте выгоднее жить, нежели на другом, и несправедливо будет удерживать его против желания» (Там же).

Намерение Николая I отменить весной 1829 г. постановление Екатерины II о сохранении личной свободы крымских татар<sup>1</sup> также встретило в лице Новороссийского губернатора откровенного противника. Выше говорилось о том, что он критиковал попытку возрождения крымских полков 1812 г., теперь князь писал в Петербург, что крымцев, которым и без того приходится нелегко, вообще нельзя отрывать с этой целью от мирного хозяйствования на своей земле, как «не привыкших к европейской (то есть европейского типа. — В.В.) военной службе, а по давности нахождения в подданстве России гораздо более получивших навыки к жизни мирной, сопряженной с весьма большими затруднениями и неудобствами» поэтому лучше развивать крымскотатарское земледелие, чтобы «как можно больше имел Крым людей для занятия хлебопашеством и скотоводством». И, зная взгляды Николая, выкладывал самый сильный довод, что такое нарушение гарантий покойной императрицы вызовет у крымских татар, славящихся своей честностью, тяжкое недоумение и «разрушит их доверие к другим законоположениям» империи (там же). Довод сработал.

Этими примерами человеческого отношения М.С. Воронцова к коренному народу завоёванного Крыма можно и ограничиться, указав, что было их многократно больше. Например, напомнив о его заботе не только о хлебе насущном, но и о духовном развитии крымских татар: это при его участии было учреждено Татарское отделение при Симферопольской гимназии и Училище восточных

<sup>1</sup> Оно было подтверждено ещё раз в начале XIX в., то есть уже после смерти императрицы. В частности, Комитет по устройению Новороссии подтвердил право крымских татар на переход от одного помещика к другому, а также переезд на жительство в казённые поселения (РГИА. Ф. 1307. Оп. 1. Д. 1. Л. 60).

языков, где могли учиться и татары-выпускники упомянутой прославленной гимназии, и т. д. (*Яковлев*, 1894. С. 30). О том, что князь «взял татар под свою особую протекцию и боролся с ненасытностью собственных подчиненных, насколько ему хватало возможностей», слышали даже в далекой Англии (*Hommage*, 1847. P. 423). Однако, стоит вспомнить о том, что сам-то М.С. Воронцов принадлежал к русским земельным магнатам. То есть к тем, чья экономическая деятельность в Крыму принесла непоправимый вред крестьянскому хозяйству бывшего ханства. Тем более, что известны огромные размеры воронцовских земель, ранее принадлежавших тем самым крымцам, чьи интересы он отстаивал на посту губернатора.

Здесь нужно учитывать, что, являясь крымским землевладельцем, М.С. Воронцов не забывал об интересах своих собственных, а также своих «братьев по классу». Он критически отнёсся к составленному Государственной канцелярией 8 сентября 1823 г. «Проекту положения для татар-поселян Таврической губернии». Князь не мог остаться равнодушным к проекту закона, направленного против отчуждения хозяйственных площадей от их старых владельцев. Для того, чтобы воспрепятствовать такому разбазариванию крестьянской и общинной земли Государственной канцелярией, законом предполагалось запретить её продажу кому-либо, кто не отосылся к местной джемаат или не был жителем другого села, но того же уезда.

Понятно, что это ограничение делало невозможным не только земельные спекуляции, но и «простое» поглощение крупными землевладельцами всё новых участков. Возражая против принятия проекта, князь ссылаясь, естественно, не на нарушение собственных интересов, а выдвигал приоритет высшей, государственной пользы. Ссылаясь на действительно высокую стоимость южнобережной земли, он указывал, что новое положение «преградит путь к поселению в лучшей части Крыма таким людям, которые одни могут привести страну сия в цветущее состояние и без которого она никогда не выйдет из настоящего грубого положения своего» (цит. по: *Авалиани*, 1915. С. 52).

Этот пример непоследовательности князя в его отношении к крымскотатарским крестьянам говорит сам за себя. Тем не менее имеет смысл вспомнить известную истину: одни и те же поступки (в том числе и отвечающие собственным интересам) совершаются разными людьми по-разному. Если, к примеру, граф Н.С. Мордвинов, получив «в дар» очередные полтысячи десятин, сотнями изгнал крымскотатарские семьи из дедовских жилищ, не делая при этом исключения для многодетных или малоимущих хозяев, то М.С. Воронцову такие подвиги были совершенно несвойственны. Действительно, он скупал участки береговой полосы в красивейших местах Крыма, но предоставлял при этом крестьянам замену, помогал переселиться и т. д. И даже купив общинные земли, он первым делом ставил на ней новую мечеть для «своих» крестьян.

История одной из таких мечетей особенно характерна. К крайнему удивлению соседей-вельмож и возмущению православного духовенства, он, начав строительство всемирно известного дворца в Алушке, проявил искреннюю заботу о местных крестьянах-татарах, первым делом возведя великолепную новую мечеть вместо снесённой им старой. Один из его современников заметил в 1836 г., что в алушкинском имении князя «был уже наполовину отделан великолепный зеленокаменный дворец, красовалась уже новая златоверхая мечеть, а православной





Гурзуфская мечеть. Фото.  
Из коллекции издательства «Тезис»

церкви не было ещё и заложено» (Максимович, 1871. С. 146). Утверждают, что и гурзуфская мечеть была возведена по его инициативе, хотя сам он в её строительстве участия не принимал<sup>1</sup>.

Доброе отношение князя к крымским татарам было общеизвестно, в том числе и среди крымских просветителей. Так, преподаватель татарского языка при Симферопольской губернской гимназии Абд-Эль-Рахман Челеби Крым-Ховаджа предпослал своему учебнику-разговорнику трогательное посвящение, в котором автор, обращаясь к князю, подчёркивает, что «...счёл священной обязанностью» украсить свой труд именем Его Сиятельства «как Высокого виновника основания Татарского училищного отделения и покровителя» его соотечественников крымских татар (Татарско-русские разговоры. С присовокуплением

<sup>1</sup> «Мечеть п. Гурзуф, построенная по образцу стамбульских мечетей XVIII–XIX вв., с барочными формами во внешнем облике и интерьере, являлась едва ли не единственным на полуострове мусульманским культовым сооружением, представлявшим это культурное направление». Затем, уже при советской власти, согласно Решению Комиссии по вопросам культа при Президиуме КрымЦИКа от 20. 06. 1932 мечеть была передана под охрану Наркомпроса Крыма как выдающийся архитектурный памятник. Однако в 1933 г., когда в Гурзуфе началось строительство очередного санатория военного министерства, мечеть снесли. Это преступление получило типичное для местных администраторов обоснование: «строительство по Гурзуфскому санаторию РККА срывается из-за отсутствия камня. Снос указанной мечети полностью гарантирует обеспечение камнем строительства...» (цит. по: Ибадуллаев, 1997. С. 5). Таким образом, Воронцовская мечеть была обречена. И сгинула, как столь многое культурные памятники Южного берега...

к ним пословиц, басен, образцов для склонений и спряжений татарских слов... Казань, 1850).

Известно, что крымские татары питали уважение к князю, при малейшей возможности покидавшего чиновничью Одессу ради отдыха и работы в одном из своих крымских дворцов. О его встречах не только с мурзами, но и татарами-крестьянами сохранилось немало рассказов. Добрая часть их — апокрифична, поэтому не стоит их здесь приводить. Сошлёмся лишь на одно, зато хорошо обоснованное свидетельство: «татары имели к нему смелый, свободный доступ, очень многих знал он лично... и сам заезжал к ним. Некоторых из крымских татар повыводил он в люди и удержал при себе на службе...» (Завадовский, 1885. С. 205). А вскоре после перевода князя на Кавказ в Крыму сама собой сложилась поговорка: *Воронцов кетти — татар гьаип олду*, то есть «Воронцов ушёл — татарин пропал» (цит. по: Тотлебен, 1893. С. 548).

Она оказалась пророческой. Не прошло и полувек после смерти князя, как его наследники уже пытались выселить крымцев с воронцовской земли (в том числе и из некогда чисто татарской Алупки!). Начались бесконечные судебные тяжбы, решавшиеся неизменно в пользу наследников князя и вызывавшие возмущение даже иностранных гостей Крыма (Hagelstam, 1903. S. 63).

Впрочем, справедливости ради отметим, что ухудшение положения татар началось ещё при М.С. Воронцове, точнее, в самые последние годы перед его переводом на Кавказ. Он оставил себе скромные 100 десятин из полутысячи, а большую часть земли продал за 100 000 рублей. Понятно, что с крымцами, жившими на этой земле, новые её хозяева церемониться не стали. Продал свою землю (140 десятин) и герцог Ришельё, а потом этот процесс пошёл по всему Южному берегу. Участки стали дробиться, уходить в аренду, крестьян начали сгонять с их земли, уже в 1830-х гг. становившейся поистине золотой (Raguza, 1837. S. 341).

## 8. Сожжение высокой культуры крымских татар

В начале 1833 г. в Турцию, испытывавшую внешнеполитический кризис (мятеж и военное нападение на метрополию египетского паши Мухаммеда Али), двинулись российские эскадры, якобы с целью оказания соседу помощи. Линейные корабли, фрегаты и брига бросали якоря в Стамбуле, других портах Босфора и Дарданелл, на турецкую территорию высаживались десанты, русские инженерные офицеры беспрепятственно «инспектировали» состояние крепостных укреплений и батарей Проливов, военные картографы приступили, согласно приказу военного министра, «к подробному осмотру вышесказанного пролива, стараясь по возможности исправить бывшую досель карту Дарданелл» (Проливы, 1999. С. 114). Целью этого военно-политического десанта было принудить султана Махмуда II подписать с Россией оборонительный союзный договор. В конечном счёте этого удалось достичь (Ункяр-Искелесийский договор 26 июня/8 июля 1833 г.), причём султан ещё и униженно благодарил царя Николая за «дружбу и благорасположение, оказанные империи Оттоманской».

Такое утверждение российской доминанты в русско-турецких отношениях не могло не содействовать и более бесцеремонной, чем ранее, национальной политике Петербурга по отношению к крымским мусульманам. Вряд ли, к примеру, заключение (по сути, под жерлами российской корабельной артиллерии) весьма невыгодного Турции договора было простым совпадением с другой акцией, проведённой практически одновременно в Крыму. В том недоброй памяти году муфтием стал некий Сеит-Джелил-эфенди, который вместе с кадиэскером Османом-эфенди провел широкую операцию по изъятию не только у духовенства, но и вообще в татарских семьях всех старинных рукописей, сохранившихся от предков<sup>1</sup>.

Понятно, что эта акция была проведена ими не по собственной инициативе, тем более, что согласие на неё от министра внутренних дел империи было получено подозрительно быстро. По некоторым данным, о готовящемся не знал даже генерал-губернатор Новороссии, в тот период имевший резиденцию в не столь близкой Одессе. Изъятие национальных культурных ценностей, говоря официальным языком, было проведено с тем, чтобы лишить крымских татар «вредных для них и общего спокойствия книг и рукописей... не согласных с законами и правилами благоразумия» (Предписание МВД цит. по: *Смирнов*, 1931. С. 37). Это было внешнее обоснование акции. Но имелось и более глубокое, фундаментальное внутреннее обоснование, которое если не высказывалось, то ощущалось буквально всеми. Собственно, готовящуюся кампанию можно было если не предсказать в точности, то предвидеть её суть и направленность. Что и имело место.

Посетивший несколькими годами раньше Крым и одесское управление краем, английский путешественник чутко уловил рост антитатарских настроений, всеобщее желание подавить нерусскую сущность Крыма и его народа. И он отметил эти перемены в книге, вышедшей до 1833 г. и содержащей удивительное пророчество: «Татары покорены, но они помнят свою старую [духовную] общность с Портой, осознают свою религиозную идентичность. Придёт время, а оно уже почти настало, когда новые господа захотят переделать их на собственный лад, после чего прежние традиции и обычаи выйдут из употребления» (*Webster*, 1930. P. 89).

Но с такой переделкой администрация не торопилась. Удобный момент наступил лишь в 1833 г., когда к внешнеполитическому успеху России на юге добавилось внутреннее ослабление российского мусульманства в Крыму из-за голода. В этом году по ряду причин «все местные запасы в губернии были совершенно истощены» (Памятная книжка, 1867. С. 161), но трудно сказать, на-

<sup>1</sup> О том, какое количество рукописных книг хранилось в этой стране почти всеобщей грамотности, нет ни точных, ни даже приблизительных данных. Тем не менее мы можем полагаться на мнение западноевропейских путешественников, пораженных тому, естественно, чего они не видели у себя дома в Европе. В Крыму таким предметом удивления были книги, которые им прежде всего демонстрировали в татарских семьях как главную гордость дома. При этом слышались да рядом встречались действительно поразительные памятники. Так, Жильбер Ромм, путешествовавший по Крыму сразу после его аннексии, видел в доме обычного провинциального муфтия «большую, рукописную, на татарском языке книгу по географии, с картами, на глянцевиной бумаге, — работу шейха Мохамеда, написанную лет 200 тому назад, о которой и теперь упоминают, как о значительном и полезном труде...» (*Ромм*, 1941. С. 42).

сколько естественным было такое складское «истощение». При этом «погибли десятки тысяч народа, особенно поселян-татар. Рабочий скот, лошади, овцы, частью погибли от нехватки корма, частью — от наступившего вследствие голода. — В. В.) недостатка в людях для необходимого присмотра. Одни деревни опустели совершенно, население других уменьшилось наполовину и более. Наиболее пострадало пространство между Феодосией и Керчью, где вдобавок и в лучшие годы в сколько-нибудь продолжительные засухи чувствовался недостаток в воде... это пространство до 1840 г. оставалось почти без населения» (указ. соч. С. 161–162)<sup>1</sup>.

Собранная в этом бедственном году огромная масса книг и рукописей была свалена в кучу; естественно, никто не занимался её тщательной проверкой. Более того, не было даже составлено какой-то описи, как это принято при любом перемещении имущества даже не столь высокой материальной и духовной ценности. Во всяком случае, встречающиеся иногда в литературе намёки на то, что это были какие-то старые бухгалтерские отчёты по вакуфным делам, не выдерживают никакой критики. Это была литература, судя по цитированному Предписанию, опасная в духовном, этическом, возможно политическом отношениях. Кроме того, у исследователей, специально занимавшихся этим сюжетом, имеются прямые указания на то, что среди прочего конфисковались материалы, не имевшие отношения ни к каким вакуфам, а именно «исторические рукописи, многие из которых несомненно имели большое культурное значение» (*Смирнов*, 1931. С. 35). Другое дело, что среди них не было книг из крупнейших библиотек бывшего ханства (например, библиотеки Хан-сарая) и частных городских книжных собраний — все они были уничтожены веком ранее, в середине 1730-х гг., когда Минихом и Ласси были сожжены Бахчисарай, Карасубазар, Акмесджит, Гёзлёв и другие города.

Теперь на костёр пошла вся оставшаяся, чудом уцелевшая часть книжного наследия Крыма, уже по прямому распоряжению министра внутренних дел России. После доклада в Петербург о содеянном муфтий Сеит-Джелил-эфенди был награждён большой золотой медалью с портретом императора и надписью *За усердие* (*Смирнов*, 1931. С. 37).

Это событие настолько необычно, что имеет смысл остановиться на его истоках и смысле. Как известно, любая национальная культура Нового времени чётко подразделяется на две составляющие. Первая из них — это так называемая высокая культура (авторская поэзия и проза, наука, произведения композиторов, архитекторов, художников, скульпторов, философов и так далее). Вторая — народная или этническая культура (фольклор, народные вышивки, произведения сельских кузнецов и городских медников, ремесленные изделия гончарных, столярных, оружейных и иных мастерских совокупность всех хозяйственных и экологических традиций и многое другое, что составляет нормальную народную жизнь).

Этническая культура передаётся из поколения в поколение стихийно, в основном бесписьменным путём. Это происходит как бы «само собой», на уровне

<sup>1</sup> В целом 1830-е гг. стали периодом едва ли не самого низкого уровня численности коренного населения Крыма за несколько веков, насчитывавшего тогда чуть более 130 000 душ мужского пола; из этих татар 111 989 человек проживало в селе, 13 185 являлись мешанами и 6612 — лицами духовных званий (Переписи, 1972. Документ 2. С. 167–168).

народной педагогики и благодаря врождённым способностям человека или всего этноса. Иначе обстоит дело с первым видом культуры.

Он, напротив, усваивается каждым поколением при помощи искусственных приёмов и методов, путём специальной, иногда довольно длительной подготовки (просвещение, образование). Высокая культура передаётся из поколения в поколение посредством письма или изображения (буквенные и нотные тексты, графика, чертежи, живописные картины и так далее). Это — *запечатлённое* сохранение духовных ценностей. Оно предполагает не только предотвращение их от физической гибели или забвения, но и преемственность в развитии духовной культуры. Этнос-народ должен обладать всей совокупностью уже достигнутого предыдущими поколениями, чтобы в каждый момент своей дальнейшей истории иметь возможность обращения к духовным ценностям, именно на данном этапе становящимся актуальными, востребованными для распространения и обеспечения их функционирования в культурной среде новой эпохи.

Царские чиновники после оккупации Крыма не могли отнять у коренного народа его этнической, народной культуры, ежеминутно возрождавшейся вполне самостоятельно в каждой крымскотатарской семье, на деревенских праздниках, на ярмарках ремесленных и иных изделий, на скачках, в кофейнях и т. д. Более уязвимой оказалась высокая культура крымских татар, которая не может существовать сама по себе, в не запечатлённом на бумаге или полотне виде. Актом 1833 г. эта культура, единственная в своём роде и неповторимая, была окончательно ликвидирована.

В средневековом пламени костров, разложенных на площадях крымских городов русскими чиновниками и солдатами, погибли произведения великих крымскотатарских писателей, поэтов и историков, философов и композиторов, медиков и теологов, сгорели трактаты и дестаны, многие из которых сохранялись в единственном экземпляре<sup>1</sup>. Но тяжёлые, пагубные для подрастающих поколений последствия имело и уничтожение серийных изданий, прежде всего учебников, без которых не могло не то, что развиваться, но хотя бы поддерживаться на старом уровне нормальное состояние культуры. Например, Зинджирлы-медресе, один из старейших университетов юга Европы, на полвека осталось без какой бы то ни было библиотеки! Лишь в начале 1890 г. газета «Терджиман» известила об-

<sup>1</sup> Приведу один пример такого рода. В 1927 г. экспедицией Ялтинского Восточного музея в Таракташе была обнаружена средневековая рукопись солидной толщины. Как оказалось, это было сочинение Абу-Бакра ибн-Юсуфа аль-Хасана аль-Васития *Книга светочей в деле суфизма*. Это сочинение имело 63 раздела, главной же его темой была мистическая чистота души и аскетизм как средство пантеистического единения со всем сущим. Автор рукописи, крымскотатарский (так полагал директор музея) философ и богослов, был неизвестен не только хозяину рукописи (младшему из длинного ряда поколений крымских мулл), но и зарубежным историкам арабоязычной литературы. О нём молчала прекрасно разработанная всеобщая история суфиев, его имя не значилось и в турецкой библиографии. Судя по всему, это сочинение, написанное «изысканным арабским языком» (Кемаль, 1930, С. 162), было единственным, что осталось от творческого наследия выдающегося средневекового суфия аль-Васития. Причём в единственном экземпляре, чудом избежавшем костров, разожжённых русскими в 1833 г. А сколько сочинений, столь же редких, даже уникальных, в этом пламени погибли безвозвратно!

шественность, что с этим позорным фактом в истории российского колониализма покончено, и библиотека возрождена (но и то благодаря не симферопольским чиновникам, а мудррису Аджи Абибулле-эфенди, пожертвовавший своему медресе личное собрание книг).

История колониализма как феномена мировой истории насчитывает немало мрачных страниц. Были кровавые карательные рейды по американским прериям, были расстрелы мятежных индусов-сипаев, было удушение «восстания боксёров» и опиумные войны в Китае и так далее. При этом, несомненно, страдала культура колониальных народов. Из Египта, Месопотамии, Мексики, Исландии вывозились в метрополию величайшие памятники истории и искусства. Всё это было прямым грабежом коренных народов. Однако ныне эти бесценные сокровища, хоть и вдали от родины, но сохранены, они *существуют*, они доступны для учёных и посетителей музеев и галерей Берлина, Лондона, Нью-Йорка, Копенгагена. Не менее важно и то, что была вывезена лишь часть национального богатства (почти повсюду — меньшая или незначительная часть), вряд ли мы, к примеру, согласимся с тем, что Индия так уж катастрофически обеднела на предметы старины после ухода англичан.

И в этом смысле крымский акт 1833 г. совершенно уникален. Русские колонизаторы не воспользовались памятниками высокой культуры Крыма, не украли их, не продали на сторону из корысти, не упрятали навечно в запасники петербургских музеев или подвалы московских книгохранилищ. Поэтому не вполне был прав академик Д. Лихачёв, некогда утверждавший, что Россия «взяла из крымской культуры самое лучшее». Если бы она действительно *взяла*, даже оставив от Крыма пустую скорлупу (каким остаётся краб, у которого «лучшее взял» осьминог), это было бы плохо, но не было бы самым страшным.

В жизни случается похуже: Россия не взяла лучшее. Она его выжгла в Крыму.

Она казнила крымскотатарские книги в точности так, как казнила коренной народ веком ранее, при Минихе и Ласси.

Народ был не нужен. Его высокая культура была не нужна. Она была ненавистна и опасна, ведь в ней виделся залог сохранения самосознания крымских татар, а в случае новых катастроф — его восстановления, возрождения. Значит эта культура мешала запланированному превращению народа в сборище беспмятных манкуртов, покорно гнувших шею на «старшего брата». И, значит, подлежала огненному уничтожению.

Уяснив себе такое значение российской акции, уже можно не останавливаться на других задачах, решённых ею, так сказать, по совокупности. Например, не стоит проводить параллели от крымской трагедии к тому особому значению, которое имели (и имеют) эпические произведения вроде Илиады, Одиссеи, Махабхараты, Манаса и т. д., на протяжении многих веков воспитывавшие в народах волю к сопротивлению захватчикам, вдохновлявших на свершения героических дел. Нартский эпос сохранился среди чеченцев, и в его сени воспитался народ, в беспримерном мужестве которого не может быть сомнения даже у его вековых врагов. А вот эпос об Едиге был отобран у крымских татар, как же это могло не сказаться на расхождении путей патриотического воспитания длинного ряда поколений у чеченцев и коренного народа Крыма...

С другой стороны, в Крыму так и не появились посвятившие всю свою жизнь жертвам своих правительств европейские миссионеры или врачи-подвижники

вроде Ханса Эгге в Гренландии, или Альберта Швейцера в Африке. Крымские татары не могут назвать никого, похожего на этих великих друзей коренных народов, колонизованных «их» правительствами, скромных героев, несших в колонии не меч, но свет подвижнической любви. Попытаемся не забыть этот факт при всём нашем стремлении ко всепрощению: в XVIII—XIX вв. не нашлось россиян, искренне озаботившихся судьбой крымскотатарского народа, судьбой его культуры, просвещения, традиций (единственное исключение — Евгений Львович Марков). Из России вслед за убийцами и мародёрами вроде Миниха, Ласси, Долгорукова пришли факельщики. И одной-единственной карательной акцией, совершённой без какого бы то ни было повода (как будто может найтись повод жечь книги!) и, к тому же, в мирное время, лишили побеждённый народ его последнего достоинства: неповторимой высокой культуры, древней истории, бесценного духовного опыта поколений.

Конечно, есть какие-то слабые надежды, что малая часть сожжённого может находиться в виде копий в каких-либо зарубежных хранилищах, и что-то можно ещё восстановить. Но сколько бы ни прилагали усилий крымскотатарские историки-поисковики и другие деятели культуры будущего, ясно, что полностью урон этот никогда не будет восполнен.

Как и никогда не будет забыт.

### 9. Две философии жизни

После того, как крымские татары на протяжении почти полувека (от похода Миниха в 1736 г. до окончательной оккупации ханства) видели, как медленно, но неуклонно разрушается материальная культура, созданная поколениями их предков (причём разрушается глобально: от лесов и водных источников до жилища человека), они не могли остаться теми же, кем были до начала агрессии. Столь же медленно происходили изменения в душе народа. Они были вначале не так заметны, как насильственные перемены во внешнем облике Крыма. Но оказались столь же неизбежны для естественного человека, всё более и более убеждавшегося в тщете своего стремления поддержать традиции на былой высоте, сохранить тот Крым, который единственно и мог быть его миром, его вселенной.

И люди «ломались» — явление, достаточно хорошо известное во всех частях света и во все времена.

Конечно, в живописаниях всё более овладевавшего крымским крестьянином равнодушия, сделанных проезжим наблюдателем, много преувеличений. Но именно они — лучшее доказательство того, как поражал путешественника резкий контраст между идеальными ухоженными садами, изобильными виноградниками, отборными стадами (как наследием прошлого), с одной стороны, и полным равнодушием ко всему этому крымского крестьянина, попавшего в российскую неволю. Поэтому вчитываясь в свидетельства о Крыме первых после аннексии десятилетий, попробуем делать поправки именно на эти преувеличения, не забывая, что значительная доля истины в них всё же была. Конечно, это описываемое в мемуарах состояние было временным. По мере того, как шок от внезапно-

го и никем не чаянного, полного и безнадежного порабощения неверными стал проходить (точнее — сглаживаться), к крымскому татарину возвращались и все подсознательные, глубокие и мощные генетические черты, свойственные только этому этносу и оптимально «годившиеся» только для южных широт.

Тем не менее для того хотя бы, чтобы просто осознать глубину упомянутого культурного шока, остановим наш взгляд на крымском татарине тех лет, который и на крымца-то переставал быть похожим.

Авторы, достаточно объективные в своих оценках, сообщают, что в Крыму живёт какой-то «ленивый татарин, усыпленный щедрой природою, [который] не знает улучшить прививкою плод и никогда не насаждает вновь дерева» (*Броневский*, 1822. С. 62); который «не прищипнет ни лучших лоз винограда, не прищипнет доброго рода плода, не приложит попечения о скоте своём, составляющем главнейшее его имущество, не удобрит нив и не помыслит о каком-нибудь новом изобретении» (*Сумароков*, 1803. С. 165–166). И ещё: в XVIII в. Крым впервые в своей истории превратился из щедрого экспортёра сельскохозяйственной продукции в постоянного её потребителя. Из России пришлось ввозить теперь масло сливочное, масло растительное, пшеницу, муку, крупы, кожи, полотно, посуду стеклянную, деревянную и глиняную, сукна, циновки, верёвки и прочее (указ соч. С. 164).

О том же говорили и вполне объективные иностранные наблюдатели уже через несколько десятилетий колониального режима: «Татары, что совершенно очевидно, это чрезвычайно мирное, благожелательное, добродушное, ленивое племя, очутилось в ситуации максимально тяжкого порабощения, и, по видимому, не ощущает собственной деградации (*insensible to their degradation*)» (*Jones*, 1827. Р. 244). «Правда, на Южном берегу возникли блестящие виллы, и там сейчас царит богатство и роскошь. Производственные же силы края иссохли, и тот глубокий покой, в котором ныне прозябает разорённое крестьянское население, является последствием уничтожения всех источников и упадком как нравственной, так и умственной энергии под давлением режима слишком мало прогрессивного русского правительства» (*Hommage*, 1845. Р. 532–533, цит. по: *Симиренко*, 1912. С. 13).

Перемены происходили не только в народной, но и в высокой культуре нации. С исчезновением ханского двора блестящий круг поощряемой (а точнее — элементарно кормимой) крымской интеллигенции стал быстро распадаться. Поэты, историки, философы и беллетристы покидали свою родину. Конечно же, поэты любили Крым, они были космополитами не более и не менее, чем любой муни любили Крым, они были к тому же им не грозила никакая расправа оккупационных властей по причине идеологической или политической несовместимости, тогда это ещё было неважно. Но у крымской элиты, умевшей обрабатывать только духовную ниву, не имелось навыков выживания в новых условиях. У этих интеллектуалов были, между прочим, семьи, которые нужно было чем-то кормить, а ханские дотации и пенсии враз исчезли. Уехали за море и беи-меценаты. Причём явно уже навсегда. Да и число читателей художественной литературы при массовом выезде мурз уменьшилось — народ теперь всё больше Коран и сборники хадисов читал.

Вот и замерла литературная жизнь в Крыму, внешне безо всякого насилия, вроде бы сама по себе. Авторские произведения Нового времени, да и старинные

тоже, стали забываться. К сожалению, служители культа оказались не в силах вывести национальную культуру из этого искусственного, то есть навязанного ей кризиса. Уход за пределы Крыма национальной интеллигенции, ранее мощно влиявшей на облик духовных водителей народа, привёл к сужению культурного кругозора имамов, хатипов, мулл. Постклассические XVII—XVIII века сменились прагматическим XIX-м, когда руководству крымской мечети приходилось не столько внедрять в духовную жизнь народа новые ценности мусульманской цивилизации или надстраивать, развивать наследие предков, сколько охранять от превосходящих инокультурных сил вакуфное и иное имущество, спасать книги и рукописи и так далее.

Поскольку по той же причине крымские медресе также стали приходить в упадок, всё большее число перспективных молодых софт стало уезжать на учёбу за рубеж — в Стамбул или Египет. Это, к сожалению, вело не к развитию межнационального культурного уровня студентов, а напротив, лишало их той толерантности, открытости, контактности, что истари отличали Крым от иных стран Востока. «То, что они менее всего изучали за рубежом культуру родного народа, было плохо, но ещё худшим оказывалось изменение их психологической ориентации в жёстко ортодоксальном, непримиримом, косном направлении» (Крымский, 1930. С. 169—170).

В этой связи приведем ещё один удивительный вывод Надинского: «Воссоединение с Россией сразу же коренным образом изменило лицо Крыма. Он словно воспрянул из болота трехзавоевого прозябания. Общественно-экономическая жизнь в освобожденном от турецкого господства крае забила ключом» (1951. Т. I. С. 98). Конечно, это утверждение, не более, чем метафора. Однако любая метафора может быть «переведена» в своё буквальное значение. В данном случае грешно бы не вспомнить историю с конкретным горным ключом. Речь идёт о мощном источнике чистой ключевой воды, расположенном повыше Шумы, на дороге к Ангарскому перевалу, и издавна носившем имя Сунгу-Су. Много позже того, как неподалёку от него турецкая пуля нашла Кутузова, чешме «украшили» соответствующей надписью, и даже присвоили ему имя последнего (естественно, не спрашивая согласия шуминцев). Интересно здесь то, что после порчи древнего имени вода Сунгу-Су не то, что не забила ключом, а отказалась даже капать.

Тем не менее Надинский, наверняка зная эту историю, зная сотни случаев полного иссыхания крымскотатарских водных источников после прихода русских, всё же не удержался от рискованной (если не издевательской) своей метафоры...

Некоторые мыслители той эпохи, искренне стремившиеся исправить так явно опустившегося крымского татарина (очевидно, «подняв» его до уровня русского мужика, а крымскую деревню — до среднерусской), давали весьма глубокие советы, честно притом признаваясь, что не видят средств к их осуществлению: «Но дабы излечить его от лени и нерадения, необходимо потребно, чтобы они сами познали все выгоды трудолюбивой жизни: а для этого им надо полюбить собственность; а чтобы любить собственность, надобно полюбить отечество, надобно, чтобы в нём всё согласовалось с умом и сердцем гражданина. Ожидать же этого от мусульманов, живших на земле христианской, где всё в противоречии с их нравами, обычаями и с тем, что всего драгоценнее для человека — с убеждением их совести: это, по моему мнению, всё равно, что требовать от них или

презрения к собственной их Вере, что есть нравственная невозможность; или чтобы они накакой [Веры] не имели, от чего Боже сохрани всякое общество!» (Муравьёв-Апостол, 1823. С. 151—152).

Другие предлагали более радикальное средство: «Главнейшим бы благом было для Тавриды, если бы татары совсем оную оставили, ибо как для их хлебопашества и скотоводства нужны только земли, то они при данных льготах на степях Оренбургских, Уфимских и Саратовских вскоре перестали бы воздыхать о своём переселении». И тут же проговаривались о причинах такой своей заботы о крымском народе: «Сим утвердилась бы навсегда несомненная безопасность здешней страны...» (Сумароков, 1803. С. 167). Вместо крымскотатарского же населения этот чиновник нудно предлагал ввезти христиан, хоть и зарубежных: «Освобождённая чрез сие от ига татарского шастливая полоса, представит тогда разные приманчивости обитающим в Анатолии армянам и рассеянным по островам грекам» (ук. соч. С. 169).

Третьи считали, что для становления здоровой жизненной философии крымских татар наиболее губительно... слишком уж благоприятный крымский климат, природа в целом. Для преобразования выведенной таким образом «порочной модели жизни» коренного народа предлагались меры соответствующего плана: то ли биоселекционные, то ли напрямую социал-дарвинистские: «За тем нужно придумать, где и как могли бы они (то есть крымские татары. — В.В.) если не изменить свою инерцию, то по крайней мере выродиться и обещать в потомстве более трудолюбия. Не нужен ли им для этого более суровый климат?» (Княжевич, 1858. С. 81)<sup>1</sup>.

Понятно, что в виду имелось повышение производительной способности, путь к которому лежал через количественный рост и качественное разнообразие потребления. Но именно этот путь, свойственный европейской модели жизни, нёс с собой проблемы, нерешённые в условиях России и веком спустя. Типичность в российской ситуации этого варианта прогресса будет станет явной, но слишком поздно, уже после революции. Только тут откроется, что русские крестьяне, оказывается, «были естественным образом заинтересованы в расширении своего хозяйственного и личного потребления, но у них не было никаких

<sup>1</sup> «Более суровый климат» породил и более безалаберное крестьянское общество, которое в ту, по крайней мере, эпоху, можно было исправить лишь насильственными мерами. Как это делал в своих поместьях ближайший советник Александра I граф А.А. Аракчеев. Он «требовал от крестьян исключительной чистоты и порядка в ведении хозяйства, в жизненном обиходе, в обращении с детьми. В необходимых случаях он не жалел своих личных средств, но всегда требовательно проверял их расходование и за растраты, пьянство, разврат наказывал строго. Знание молитв, посещение церковных служб, чтение Писания для грамотных были обязательными условиями графского благоволения. Если, например, желающий вступить в брак юноша не знал положенных молитв и основы кантезиуса (а экзаменатором был сам Аракчеев), его брак откладывался на год. Инструкция из 36 пунктов давалась молодым матерям по уходу за грудными детьми, особые правила были введены для содержания скота, кошек и собак. Чисто выметенные улицы, добротные дома... хорошо одетые, сытые и здоровые крестьяне... были лучшей визитной карточкой аракчеевских деревень» (Зубов, 2006. С. 132). Короче, граф был вынужден насильственно вбивать в российских крестьян те самые знания, добродетели и навыки, которыми крымцы обладали традиционно. Понятно, что эта его миссия не могла не кончиться провалом.

стимулов к ограничению того или другого» (*Вишневский*, 1998. С. 41–42). А где же раньше глаза-то были у нашей отечественной науки...

Что же касается не таких, как у упомянутого В. Княжевича, частно-инициативных, помещичьих, а вполне научных исследований, то полуостров, чьи богатства бешено «приватизировались» частными лицами, долгое время оставался вне какого-либо внимания государственных экономистов. Как заметил ещё в XVIII в. один из современников аннексии, «опустошённый и разорённый Крым являет собою разительный пример отдалённого и дорого стоящего завоевания, когда предпринимающая подобные захваты держава не имеет иной цели, кроме победы для удовлетворения своего честолюбия, в то же время не имея средств на то, чтобы содействовать процветанию провинции... которая до сих пор лишь в крайней степени увеличивает её расходы и истощает её силы. Единственная действительная польза, которую я усмотрел в этом завоевании, заключается в преобладании, приобретённом Россией на Чёрном море, и в тревоге, которую она этим доставляет туркам» (*Людольф*, 1892. С. 198).

Одним из ближайших результатов аннексии Крыма и последовавшего «коренного изменения лица» края стали крымскотатарские восстания, правда, местного значения. Вспышки вооруженных мятежей, начавшиеся в пору захвата Крыма, продолжались и в дальнейшем. «Заподозренные в агитации или симпатиях к Турции наказывались беспощадно. Умиротворение края произошло только после истребления значительной части татар» (*Вольфсон*, 1941. С. 63).

К сожалению, точное число жертв карательных акций, проведенных уже в мирное время, нам неизвестно. Сохранились лишь свидетельства о стремлении местных властей скрыть объём репрессий, а также особенности принятых мер, очевидно крайне жестоких даже для своего времени, поскольку обычно секрета из методов подавления волнений не делалось. Так, в донесении из Карасубазара от 28 апреля 1783 г. говорилось: «Экзекуция продолжалась тайно от его сиятельства и ещё над некоторыми преступниками, при коей и упомянутые в письме 46 человек наказаны каторгой, битьем плетью и некоторым урезанием ушей; ныне же по всему Крыму состоит спокойно» (Цит. по: *Вольфсон*, 1941. С. 63).

## 10. Наступление на ислам

Хотя в правительственных документах, относящихся к аннексии Крыма, неоднократно упоминалось о равноправии всех подданных Екатерины в бывшем ханстве, невзирая на веру, на деле обстановка складывалась иначе. Прежде всего, в неравное положение были поставлены высшие по сану вероучители губернии. Так, если муфтию было положено казённое содержание 2000 рублей в год, то митрополиту Готфрейскому Игнатию — 3000, несмотря на то, что у первого паствы набиралось до 150 000 человек, а у второго — всего 30 000, и это уже не говоря о сложности миссии мусульманина в православном царстве, что не представляло проблемы для его российского коллеги (*Ливанов*, 1875. С. 21).

В целом же приведённые в предыдущем параграфе факты говорят о всеобщем, коренном неравноправии христианского и мусульманского населения Крыма.

Особенно ярко оно проявлялось в случаях перемены веры. Переход крымцев в христианство не только поощрялся, но нередко и проводился более или менее насильственно. Так, дело № 5 (1795 г.) Архива таврического губернатора озаглавлено: «О случившихся неудовольствиях при приведении в веру христианскую протопопом Сауром турецкой колонии» — здесь название дела говорит само за себя. Наоборот, принятие любым крымским христианином мусульманства рассматривалось как уголовное преступление (*Кричинский*, 1919. С. 45). Ранее этого в Крыму не было. Запахло кровью...

Наступление на ислам велось и экономическими средствами. Крымские жители выплачивали так называемый «мирской сбор». Он равнялся 95 копейкам с души в год, превосходя, таким образом, два других крупнейших вида налогов — подушную подать (72 коп.) и общественный сбор (50,5 коп.). Средства, складывавшиеся от мирского сбора, предназначались на местные, мирские, общественные нужды, в том числе на ремонт старых и строительство новых храмов. Логично было бы предположить, что в городах и сёлах с преобладающе мусульманским населением эти деньги должны идти на строительство мечетей, но на деле было далеко не так. Например, в растущих Ялте и Алуште не было достаточно вместительных мечетей. Тем не менее мирской сбор их общин шел на строительство весьма дешёвых православных церквей (общая стоимость 70 200 руб.); те же, по сути мусульманские деньги пошли на каменную ограду симферопольского собора Александра Невского и так далее (*Луцицкий*, 1882. С. 623).

Историки мало обращают внимания на значение перенесения столицы края из традиционного духовного центра Бахчисарая в Акмесджит, ставший к тому времени провинцией как в культурной, так и экономической жизни коренного народа Крыма. Между тем этот грубый сдвиг этнокультурного и духовного центра, осуществлённый не только вне зависимости от воли нации, но и вопреки ей, сам по себе обладал огромным отрицательным зарядом, ударившим прямо в нервный центр этнической психологии. Впрочем, и в старой столице духовная жизнь к середине XIX в. уже не могла сравниться с прежней. Причём по той же искусственной причине: вышеупомянутые гонения на ислам, физические репрессии против служителей религии, высылки их за пределы Крыма не могли пройти даром. Упадок был даже чисто количественный: к этому времени в Бахчисараяе на 37 действовавших мечетей приходилось всего 9 хатипов и 28 мулл (*Haxthausen*, 1845. S. 412).

Наконец, стоит перечислить новые, чисто экономические тяготы и нарушения моральных норм, обрушившиеся на крымских татар в последние перед Крымской войной годы. По мнению Перекопского предводителя дворянства С.Х. Лампси, в 1850-х российские власти были непосредственно повинны в:

- «Воровстве и растрате из общественных запасных магазинов собранного среди поселян хлеба;
- Неупотребительной раздаче его [крестьянам] для посева;
- [Много]численных поборах на укомплектование Лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона;
- Растрате сборщиками казённых податей;
- Растрате членами Волостных и сельских управлений и их писарями поселенских денег и случившихся воровствах из казённых сундуков;

Раздаче селянам [-переселенцам татарского] скота после войны;  
Притеснениях Волостными головами и несокрушимой их власти;

Использовании Татарских селян для работ в казённых лесах; для исправления дорог; для сопровождения пересылаемых в Становые квартиры арестантов и дачу обывательских для них подвод; для исполнения сельской почтовой гоньбы натурою, независимо огромного для этого денежного сбора;

Ежегодном по два раза падеже скота, против чего радикальные меры принимаемы не были;

Постоянном несвоевременном взимании податей и повинностей, для удовлетворения которых поселяне вынуждены занимать деньги под отяготительные проценты или в зимнее время заниматься на летние работы;

Назначении из татар проводников, которые часто и на продолжительное время отрываются от своих занятий, иногда даже в рабочую [то есть страдную. — В.В.] пору, в постоянных действиях землемеров с поселенскими плугами и рабочими;

И, наконец, в обиде от административных распоряжений Палаты Имуществ, образовавшей чисто судебное, а не хозяйственное управление» (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 471. Л. 3–5).

Суммируя не только эти факты, но и всё, сказанное в этом очерке выше, мы должны признать, что на протяжении всего периода между аннексией и Крымской войной татары подвергались со стороны колониальных властей всестороннему угнетению: культурному, экономическому, религиозно-идеологическому, психологическому и национальному.

Причины возникновения и развития этой политики достаточно ясны. Национальное угнетение и экономическое неравенство крымцев были средством укрепления русского владычества за счет аборигенного населения. Религиозные преследования имели, конечно же, не столько идеологическую, сколько социально-экономическую основу. Мы говорили уже о фактическом установлении в аннексированном Крыму крепостных порядков. Однако формально крепостное право, основанное на законоположениях о личной зависимости крестьян, полицейских и судебно-исполнительских функций помещиков по отношению к крепостным и т. д., короче, той системы, что ряд веков была общей для стран ост-эльбской Европы и России, в Крыму установлено не было. И невозможным это было из-за ислама, запрещающего одному мусульманину владеть другим и брать за аренду «ушур» более 1/10 или вообще вымогать плату за выпас скота — трава принадлежит Аллаху! (Шербаков, 1940. С. 14; Законодательство, 1850. Passim.). А крымские татары (и крестьяне, и мурзы) были народом весьма религиозным и шарияту преданным. Именно потому столь ярко и стремились захватчики ослабить влияние ислама и местных патриархальных, в основе своей демократичных и гуманных традиций, что они вкуче мешали царизму насадить в Крыму собственные порядки.

Остается сказать, что проводил эту политику порабощения через национально-религиозное угнетение чрезвычайно пестрый контингент русских помещиков, жандармов, военных, полиции, крупных и мелких чиновников, во главе которых стоял сам царь. Но активную помощь колонизаторам оказывали крымские ренегаты, о которых мы выше упоминали и о которых будем

говорить и в дальнейшем: без них, как выразился А. Платонов, «народ неполный».

Конечно же количественно эти последние составляли исчезающе малое меньшинство. Возникает вопрос: а как реагировал на национальное угнетение весь народ? Оказывал ли он сопротивление царским колонизаторам в период перед Крымской войной? Увы, мы вынуждены признать почти полное отсутствие у татар этого периода политической активности. Что удивляло даже отдельных чиновников, которые отмечали «притеснения, насилие, самоуправство, отказ в должной справедливости и защите, жадность и невнимание начальства, которому вверена вся их (то есть крымских татар. — В.В.) жизнь, и высокомерный деспотизм в связи с каким-то тупоумным религиозным презрением» (Левицкий, 1882. С. 603). Между тем объяснение этому историческому факту весьма просто.

Напомним, что крымская мусульманская община не имела духовенства, организованного в жёсткую систему, крепкую своей вертикальной соподчинённостью, как это было в православной церкви. Когда эта система была, по сути, разрушена антиисламскими акциями имперской власти, сельские джемаат, вся крымская умма в целом оказались лишёнными какой-либо защиты от дальнейших посягательств враждебного крымским татарам государства, во власти которого они оказались. А они повторялись снова и снова, на протяжении всех лет великорусского господства над коренным народом Крыма. Какой выход мог быть в такой ситуации? Стихийно было найдено два пути спасения. Первый — спастись бегством за рубеж. Второй, для оставшихся — замкнуться в тотальном консерватизме, как единственной возможности этнического и духовного самосохранения.

Это последнее было «бегством в этничность», самосегрегацией, духовной и культурной изоляцией, всемерным сопротивлением интеграции в новой, становящейся господствующей культурно-психологической среде. Самозамыкание крымских татар выжалось, среди прочего, в инстинктивном неприятии языка захватчиков, нежелании приобщаться к речи, более свойственной осквернителям святых, чем правоверным. Такое упорное нежелание знакомиться со всё более распространяющимся средством общения затянулось, вопреки явным неудобствам языковой изоляции, на многие десятилетия. Даже в XX в. было немало старых, глубоко верующих людей, совершенно незнакомых с русским языком. Заметим, что там, где татары пользовались более или менее равными правами с православными их соседями, где нормально функционировали мечети, а мусульманские издательства выпускали духовную и историческую литературу (например, в столичном Санкт-Петербурге или Москве), знание русского языка среди них было почти стопроцентным.

В Крыму же стала суровой необходимостью стратегия выживания и свойственная ей модель поведения — самогерметизации, формирование особого типа идентичности, именуемой в науке «репульсивной» (оборонительной), что вообще характерно только для народов, подвергающихся наиболее жёсткой, репрессивной дискриминации (Малахов, 2001. С. 122). То есть пришлось прибегнуть к средствам, органически противным всему этнопсихологическому складу характера такого открытого, общительного и терпимого народа, каким традиционно были крымские татары. Понятно, что, вынужденно ступив на этот путь,

этнос утратил многие, если не все, из возможных перспектив своего будущего. А его культура, лишённая живых связей с окружающим миром, начала разрушаться сразу, с первых лет порабощения...

Конечно, это не означало, что народ столь же быстро начнёт утрачивать все свои добрые качества, что столь же радикально станет меняться его система ценностей. Хорошо знавшие Крым люди и в XIX в. подчёркивали поразительную склонность крымских татар «к молчаливому долготерпению, естественному последствию их фаталистических верований: *чему быть, тому не миновать*, татары, тихие и кроткие по нравам и обычаям, обусловленным благоразвораемостью климата и чудным плодородием страны, безропотно переносили все несправедливости и обиды, и в протяжении долгого ряда лет, протекших между присоединением Крыма и последнею войною (1853–54), едва ли можно указать между татарским народонаселением *хотя на один случай неповиновения* (курсив мой. — В.В.) или строптивого сопротивления начальству и властям. Если и проявлялись случаи какой-либо важности, то они прекращались скорее, нежели вспыхивали, никогда не обнимали целые массы, но ограничивались единицами, а главное, имели всегда подстрекателями или тайною пружиною своего появления людей нетатарского происхождения. Смело можно сказать, что всякий другой народ, будь даже наше русское народонаселение, не перенес бы без ропота или явного сопротивления и десятой части обид и несправедливостей, претерпленных татарами, которых однако ж не только люди низших слоёв администрации или местного управления, но и лица, влиятельные по значению и занимаемому месту, без всяких убеждений, считали вредными и дурными...» (Левецкий, 1882. С. 603–604).

Сопротивление отмечалось, и неоднократно, но оно было пассивным и выжалось почти исключительно эмиграцией за пределы империи<sup>1</sup>. Мы рассмотрим и будем рассматривать далее более или менее подробно лишь крупные волны эмиграции, связанные с резким ухудшением положения народа. Однако нужно учесть, что были и малоизвестные отливы населения из Крыма — например, в 1812 г.

### 11. От эмиграции 1812 г. до депортации 1854-го: заключение

Весьма образованный английский путешественник, посетивший Крым ещё до начала Крымской войны, обратил внимание именно на перспективы массового выезда крымских татар за пределы их исторической родины. Внимательно изучив всю недолгую пока историю колонизации русскими земли и населения

<sup>1</sup> Отмечен лишь один, имевший место в 1813 г., случай активного неприятия крымскими татарами национальной политики правительства за указанный период (впрочем, сказанное можно отнести и ко всему XIX веку). Да и то, имеется в виду не вооружённое сопротивление насилью над Крымом и его народом, а изолированное и быстро угасшее «волнение среди татар Махалдурской, Чоргунской и Акмечетской волости по поволу формирования конного полка, потребовавшее посылки отряда в 1000 человек» (Крым, 1930. С. 110).

бывшего ханства, он пришел к выводу, по глубине и логичности сделавшему бы честь и современному социологу:

«Безусловно, колонизация [захваченной] территории цивилизованным и промышленным народом неуклонно ведёт к численному уменьшению и решительному искоренению аборигенных владельцев земли, если, конечно, нет места для одновременного существования двух рас; но сказанное неприменимо к крымской ситуации. Стоящие на варварском уровне славяне вряд ли могли поднять местную культуру на более высокий уровень, чем она была присуща татарским обществам, которые они тут встретили. Поэтому в Крыму остались богатые возможности (ample room) для безбедного сосуществования обеих наций» (Olifant, 1854. P. 201).

Мнение справедливое, однако оно принадлежало человеку интеллигентному и думающему, а таковых ни в крымской, ни в более высокой администрации, мягко говоря, никогда не наблюдалось в избытке. Оттого ими и были созданы в новоприобретенной колонии условия, в которых у массы крымскотатарских крестьян не оставалось другого выхода, кроме эмиграции за рубеж. Она началась ещё в военные годы, когда, начиная с 1806 г. крымцев стали изгонять из прибрежных деревень, конфисковывать их парусные и гребные судёнышки, что объявлялось «превентивными мерами», то есть принятыми из опасения татарской помощи турецкому противнику, если он высадится на полуострове (Lynch, 1969. P. 92).

Этого, кстати, так и не произошло. Александр I завершил русско-турецкую войну подписанием в мае-июне 1812 г. Бухарестского мирного трактата. Несмотря на то, что этот договор сужал территорию традиционного направления крымскотатарской эмиграции (Россия получила от Турции всю Бессарабию с городами Аккерман, Хотин, Бендеры и Измаил), договор, с другой стороны, обязывал Россию не препятствовать выезду за границу крымских татар Буджака и Эдисана, то есть запорожских ногайцев<sup>1</sup>.

Этим пунктом воспользовались по официальным данным 3119 человек (Мартынов, 1887. С. 2), хотя на деле эмигрантов было, конечно, гораздо больше. К 1816 г. в Крыму осталось, по официальной справке Таврической Казённой экспедиции, всего 79 489 душ мужского пола, а на сентябрь 1821 г. — 58 160 душ

<sup>1</sup> Александр I был едва ли не первым из российских монархов, который согласился на свободную эмиграцию своих ногайских подданных за рубеж. Возможно, именно по последней причине султан Ахмед III, несмотря на шестилетнюю войну с Россией в 1806–1812 гг., узнав о смерти Александра, говорят, схватил себя за бороду, промолвив: «*Будь адам!*», то есть «Хороший был человек!». Видимо, султан был хорошо осведомлён об анти-турецких настроениях претендента на престол Константина Павловича, которого называл не иначе, как «арсланом» или «разъярённым львом» (Записки Ф.Ф. Вигеля. Ч. XII. М., 1892. С. 76). Однако этот царь не мог справиться со злоупотреблениями на местах, в том числе и в Крыму, где закон постоянно нарушался, а до судьбы большинства коренного народа никому не было дела. Как вопрошал общество современник-журналист: «Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя набрать восьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов; где воровство, грабёж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении» (Греч Н.И. Записки о моей жизни. СПб., 1886. Цит. по: Зубов, 2006. С. 158).



(РГИА. Ф. 560. Оп. 7. Д. 29. Л. 1, 9). Для выведения общего количества местного населения не будет большой ошибкой, если мы удвоим эти две цифры — их небывало низкое значение от этого не станет менее катастрофическим. В дальнейшем поток выезжавших не иссякал на протяжении всего XIX в., просто в отдельные периоды он становился наиболее заметным. Были районы, которые оказались полностью покинутыми коренным населением, например, «огреченная» Байдарская долина (*Ханацкий*, 1867. С. 234). То же произошло и на обширных пространствах Буджакской степи и на равнинах, где ранее кочевали едиганцы, там не осталось ни одного ногайца, все они переселились в Добруджу<sup>1</sup>, а их место вскоре заняли христианские и иудейские переселенцы (*Williams*, 2001. P. 142–143).

Люди уходили, ни словом ни делом не выражая своего возмущения режимом, растоптавшим собственные торжественные заверения и клятвы. Тем не менее, несмотря на почти полную пассивность населения новой царской колонии, правительство постоянно ожидало бунта, какой-то мятежной реакции на собственное насилие. Причина этого опасения достаточно ясна: аналогичная политика на Кавказе давно привела к вооруженному сопротивлению горцев. Теперь очередь была за Крымом.

И царизм пытался заблаговременно принять свои меры. При этом в России господствовала всеобщая уверенность в естественности и необходимости таких превентивных мероприятий. Так, хорошо осведомленный об акциях обезземливания крестьян П. С. Паллас считал, что присяга новой власти на Коране, которую крымцы принесли после аннексии, недостаточна. Почтенный академик настаивал поэтому на дополнительной, какой-то особо торжественной присяге, предусматривавшей неотвратимость предельно жестоких репрессий в случае её нарушения, вплоть до каторги, разделения семей и т. п. (*Марков*, 1995. С. 308).

28 сентября 1827 г. было принято правительственное «Положение для татар-поселян и владельцев земель в Таврической губернии» (в 1857 г. оно целиком перешло в Свод законов Российской империи как по-прежнему соответствующее целям и задачам таврической администрации). В этом памятнике колониальной истории России любопытно содержание противоречащих друг другу пунктов.

<sup>1</sup> Добруджа — историческая область, расположенная к северу от турецкой крепости Дели-Орман, между большой излучиной нижнего Дуная и Чёрным морем, тогдашний Дунайский вилайет Османской империи, ныне — территория Восточной Румынии и отчасти Северной Болгарии. С V в. заселялась различными тюркскими племенами, в XI в. и позднее здесь доминировали кыпчаки. Разорение области русскими войсками во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. вызвало массовый отток местных мусульман в Турцию. Однако сразу после Крымской войны её население почти удвоилось в результате иммиграции около 30 000 крымских татар, основавших около 300 новых сёл (*Тзветков*, 1993. P. 361). В 1861 г. их число достигло 80–100 тыс. чел. (*Williams*, 2001. P. 209, 214). Неудивительно поэтому, что среди смешанного балканско-турецкого населения уже в XVIII в. Добруджу называли *Кючук Татарстан*. Здесь крымцы построили даже медресе, которое работало длительное время, лишь в 1901 г. его перенесли с побережья в Меджидию, ныне Румыния (*Попович*, 1998. С. 305). К 1930 г. крымские татары составляли 2 % населения в Южной Добрудже и 3,5 % — в Северной (*Brandes, Sundhausen*, 2010. S. 92), но в 1940-х гг. иммиграция в эту область из Крыма возобновилась, отчего их численность ещё более возросла.

В одном из них подтверждается личная свобода подданных, а в другом — запрет отлучаться с территории своей общины на срок более двух недель (ПСЗ II изд. № 1417).

Короче, к началу Крымской войны колонизаторы, следуя собственной логике и наученные опытом Кавказа, априори считали крымцев клятвоступниками, только и ждущими удобного случая, чтобы вонзить нож в спину «белому царю». Соответственным стало и отношение к народу, скопом зачисленному в изменники. И уже в начальные месяцы войны, осенью 1854 г., военный министр отдает приказ о том, «что император... повелел переселить от моря всех прибрежных жителей магометанского вероисповедания во внутренние губернии» (БСЭ—1, Т. 35. С. 308).

Из-за начавшейся вскоре оккупации Крыма исполнить этот приказ удалось лишь частично. Однако другие акции против крымцев (о них ниже) осуществлялись были в полной мере; народ постигли новые тяжёлые испытания.

ское правительство? Можно ли оправдать всю пролитую кровь<sup>1</sup> задачами, которые война должна была решить? Ответить на эти вопросы невозможно, не начав анализ истории Крымской войны с предвоенного периода.

## 1. Предыстория войны

Оставим на время чисто крымские проблемы и бросим взгляд на страну, доставшуюся в наследство преемникам Екатерины. Одну из лучших характеристик державы находим у Энгельса: «К моменту смерти Екатерины владения России превосходили уже всё, что мог требовать даже самый необузданный национальный шовинизм... Россия не только завоевала выход к морю, но и овладела как на Балтийском, так и на Чёрном морях обширным побережьем с многочисленными гаванями. Под русским господством находились не только финны, татары и монголы, но также литовцы, шведы, поляки и немцы. Чего ещё желать? Для любой другой нации этого было бы достаточно. Для царской же дипломатии — нацию не спрашивали — это являлось лишь базой, откуда теперь только и можно было начинать настоящие завоевания» (Маркс, Энгельс. Т. XXII. С. 26).

Вот так обозначены начала политики России XIX в. «Целью Александра, как всегда, оставался тот же Царьград», — добавляет классик (ук. соч. С. 29) и расширяет эту характеристику на политику царей всего предыдущего века, в перспективе которой маячил «Константинополь как великая, никогда не забываемая, шаг за шагом осуществляемая главная цель» (Ук. соч. С. 26). И то, что при Александре I она была отложена, вовсе не означает «забыта». Просто царь счёл, очевидно, более доступной задачу покорения Кавказа. Методы же «замирения» этого края показали не только горцам, но и всему миру, что при продвижении на юг царские захватчики не остановятся ни перед чем. Уже уполномоченный Александра I по покорению Кавказа князь Цицианов откровенно писал горцам: «Дождетесь вы моего посещения, и тогда не дома я ваши сожгу — всё сожгу, из детей ваших и жен утробу выну» (Вспомогательные материалы, 1939. С. 23).

Это откровение касается средств проведения южной российской политики в жизнь.

И были эти слова не пустым звуком — они постоянно подкреплялись делом. В 1820-х гг. русские уже приступили к планомерному захвату земель черкесов, карачаевцев, чеченцев, лезгин, кумыков и других народов. И там, где сопротивление горцев захватчикам было особенно упорным, обычные военные действия сменялись политикой «кровавого истребления местного населения»

<sup>1</sup> Всего в этой войне погибло около 83 000 человек (не считая мирного населения Крыма, утраты которого никто не подсчитывал). При этом Россия потеряла убитыми и умершими от ран и болезней 30 000 солдат и офицеров. В самой крупной армии союзников, французской, пало более 20 000 человек, во второй по численности английской — 2755 человек, турецкой — 35 000 человек и в сардинской — не более 200 человек (Урлианс, 1994. С. 99–100). Здесь не учитываются умершие от ранений и заболеваний, вызванных участием в военных действиях, после возвращения на родину.

## V. КРЫМСКАЯ ВОЙНА

*Ты просвещением свой разум осветил,  
Ты правды [чистый] лик увидел,  
И нежно чуждые народы возлюбил,  
И мудро свой возненавидел!*

А. С. Пушкин

Обратившись к теме Крыма в войне 1853–1856 гг., автор оказался перед понятной проблемой выбора аспектов, в которых целесообразно рассматривать это событие огромного исторического значения<sup>1</sup>. Нужно ли, например, излагать ход собственно военных действий, касаться ли внешней политики всех стран — участниц войны и т. п. Конечно, подробное рассмотрение такого рода важных составляющих любой войны могло обогатить книгу, но и непомерно увеличило бы объём очерка, и без того немалый, если учитывать, что в нём рассматривается всего несколько лет истории народа. Поэтому, вместо того чтобы ещё раз досконально описывать военную или политическую сторону события, очевидно, целесообразно отослать интересующегося читателя к специальным работам или справочной литературе, благо в них недостатка нет. Автор же оставляет за собой право касаться политики или военных операций лишь тогда, когда это совершенно необходимо для раскрытия основной темы. Так, рассмотрим более или менее подробно важные сюжеты предыстории войны и ее характера.

Проблема степени оправданности (или, лучше, «справедливости») войны, которую вновь затеяла на юге Россия, весьма сложна и раскрыта пока далеко не полностью. Но, игнорируя ее, мы не сможем решить и прямо относящиеся к предмету книги важные вопросы: а стоили ли огромные жертвы крымско-татарского народа в годы войны той цели, что поставило перед собой россий-

<sup>1</sup> Термин «Крымская война» не совсем точен. На самом деле это событие являлось европейской, и едва ли не первой войной в истории Новейшего времени задолго до его наступления. Для участия в ней за тысячи километров были фантастически быстро переброшены сотни тысяч солдат. Чтобы обеспечить такую операцию технически, были срочно проведены новые железные дороги и телеграфные линии, к Крыму подошли никогда не виданные ранее бронированные корабли с паровыми двигателями, а на полуостров было выгружено огромное количество военной техники, боеприпасов и иного снаряжения. Мир был потрясён: ему воочию предстал образец будущих войн, где не личное мужество солдат и офицеров, а военная технология играет решающую роль.

(Вспомогательные материалы, 1939, С. 90). Но на противоположном, западном берегу Черного моря такая политика встречалась с трудностями. Здесь дело было не столько в мощи потенциального противника — Турции. Приходилось считаться с Европой, на чьей территории планировались будущие завоевания. Кроме того, сама Турция признавалась тогда «основным устоем общеевропейского равновесия», и если бы Россия за её счет усилилась, то, как и раньше, для всего европейского мира возникла бы «большая опасность» (Бочкарев, 1912, С. 274).

Екатерина оставила в наследство своим преемникам право владения причерноморскими землями и свободного прохода торговых русских кораблей через проливы. Но экспансионистские задачи и цели державы требовали, во-первых, такого же права и для военного флота, и, во-вторых, права на закрытие, в случае необходимости, проливов для военных флотов других держав. А права этого нужно было добиваться от Турции военным или мирным путем. Причём не только в России, но и в Европе сложилось такое впечатление, что царю ничего не стоит завладеть проливами чисто военными методами, и никто из великих держав ему в этом помешать не успеет. Современники вполне убежденно записывали: «Со времени упадка Турецкого могущества, никакая борьба между Россией и другими Европейскими державами невозможна в здешнем море. В самый день разрыва граница русская будет уже в Дарданеллах» (Морзон, 1840, С. 197).

Но по ряду причин, коренившихся не только в восточной, но и в западной её политике, Россия не была заинтересована в полном упадке Турции. Поэтому Николай I вначале избрал невоенные средства к достижению указанных целей — да они были и дешевле. Вначале попытки эти принесли весомый результат. Как упоминалось в предыдущей главе, воспользовавшись сложным положением Стамбула в годы восстания египетского паши Мухаммеда Али, царь подписал с султаном Ункяр-Искелесийский договор, секретная статья которого обязывала турок препятствовать проходу в Чёрное море иностранных флотов, но беспрепятственно пропускать российский.

Внезапное это усиление позиции России на Востоке настолько обеспокоило западные державы, что проливы надолго превратились в регион мощного политического напряжения, став как бы магнитным полюсом вообще между Востоком и Западом. В Европе перед лицом общей угрозы миру было достигнуто межнациональное Соглашение о совместной гарантии безопасности Турции, а в 1841 г. подписана Лондонская конвенция, согласно которой проход через проливы был закрыт любому военному флоту, в том числе и российскому. Пользуясь современной терминологией, проливы объявлялись «зоной мира».

Тогда Россия выдвинула претензии на своё исключительное право оказания помощи и покровительства турецким христианам. Это было продолжением начатой ещё в 1760-х гг. Екатериной борьбы за гарантированные Россией же свободу вероисповедания, автономию и политическую независимость для населения христианских областей Турецкой империи. Шла игра в одни ворота: Турция подобным требованиям по отношению, скажем, к казанским или среднеазиатским мусульманам не выдвигала. Тем не менее посредством договоров (Бухарестский 1812 г., Аккерманская конвенция 1826 г., Адрианопольский трактат 1826 г.) Петербургу удавалось шаг за шагом продвигаться к намеченной цели.

Другое дело, что при Александре I и Николае I Россия являлась верховной покровительницей реакционного Священного союза и рьяно отстаивала принцип легитимизма, то есть защиты сложившегося права, а также борьбы против революционного и национально-освободительного движения. И в этот период оба царя вели политику, враждебную попыткам балканских христиан выйти из-под османского ига. Особенно жёсткой стала эта антиславянская политика после Венского конгресса 1814–1815 гг. (Тодоров, 1979, С. 193). Теперь же, когда обстановка несколько изменилась, а Россия ощутила свою возросшую мощь в Европе и на Востоке, она решила вмешаться во внутренние дела Турции, снова «вспылав любовью» к её христианам. — дело того стоило. Россия должна была принести волю единоверцам за рубежом. «Но не лучше ли было бы начать с освобождения своих невольников, — восклицает Герцен, — ведь они тоже православные и единоверные, да к тому же ещё и русские?» (Герцен, 1957, С. 202). Риторичность этого простого вопроса ясна, даже если не задаваться вторым, — а что ожидало зарубежных христиан, будь они даже «освобождены» Россией?

В настоящее время известно, какую судьбу готовил Петербург балканским христианам. Эти народы ни в коем случае не предполагалось превращать в свободные. Они тут же должны были перейти под новое владычество — российское (Тодоров, 1979, С. 193). Иного им было не дано, Николай II не мог ни упустить такого случая легкой экспансии на Юг, ни допустить прецедента появления свободных территорий в Европе, жандармом которой он по праву считался. Поэтому в рассмотрении агрессивных акций царизма, приведших к войне, мы должны обратиться к их идеологическим и внутривластным истокам.

Внутренняя политика Николая I определилась ещё в 1825 г. на Сенатской площади. Попытка декабристов поднять страну до общеевропейского уровня социального, политического и экономического развития не удалась: царь, считавший себя до кончиков ногтей европейцем, не желал расстаться с «азиатчиной» ни в стиле правления (деспотическом), ни в методах подавления прогрессивных движений. Он заключил в читинскую ссылку семьдесят лучших представителей русского народа.

Возможно, и по упомянутой причине ближе к середине XIX в. зашатался трон этого не слишком выдающегося правителя империи. Началось неконтролируемое движение давно безмолвствовавшего многомиллионного народа. Россия забурилась, запылали помещичьи усадьбы. Судя по всему, имело место не обычное слепое, стихийное сопротивление крепостническому гнету. Тут запахло не бунтом, а революцией с её чётко осознанной целью<sup>1</sup>.

Система петербургского деспотизма и дикого крепостного права могла держаться только в закрытом обществе. Как консервы, которым необходима полная герметичность: стоит её нарушить — и мгновенно начнется процесс разложения. Оттого-то цари и видели политическую панацею в консерватизме. Даже великий новатор Пётр отнюдь не «откупорил» Россию, но, прорубив даже не окно,

<sup>1</sup> В 1848 г. жандармский полковник Романус записывал: «Смуты и беспорядки на Западе, в Европе, и здесь — ожидание крестьянами освобождения от крепостного состояния служат в настоящее время предметом толков и суждений как в образованном классе, так и в народе» (Вспомогательные дисциплины, 1939, С. 133).

а узкую форточку, стал возле нее, не выпуская топора из рук. Николай I немногим от него отличался, будучи гораздо консервативнее.

Слепым он, конечно, не был. Скорее всего, ему было понятно, что в XIX в. экономические интересы дворянства требуют отмены крепостничества. Ведь трещина между Западом и Востоком росла, Россия отставала от Европы и экономически, и в военной мощи, чему виной было средневековье в деревне. Но система российского абсолютизма в силу ряда своих особенностей требовала совершенного социального и политического застоя, им лишь она и держалась в эпоху демократических преобразований в цивилизованном мире. Поскольку же сохранение крепостничества не сулило экономического прогресса, то становилось ясно, что великая держава зашла в тупик.

Был ли из него выход? По меньшей мере, два. Первый — отказ от крепостного права, путь прогресса, европейский путь. О втором читаем у Энгельса:

«Чтобы самодержавию властвовать внутри страны, царизм во внешних отношениях должен был не только быть непобедимым, но и непрерывно одерживать победы, он должен был вознаграждать безусловную покорность своих подданных шовинистским угаром побед, все новыми и новыми захватами» (*Маркс, Энгельс*, Т. XXIV, Ч. 2). Николаем был избран этот второй путь.

Но имелась и чисто экономическая причина новой большой войны. За первую половину XIX в. пашня юга России увеличилась вдвое, а урожай зерна — вчетверо (*История СССР*, Т. IV, С. 520), что открывало возможность экспорта хлеба. Вывоз шел в южном направлении. До 1840-х гг. держава занимала на турецком хлебном рынке почти монопольное положение. Но накануне войны роль России здесь переходит к Англии, русский экспорт на Юге сокращается в 2,5 раза (*Зверев*, 1954, С. 7). Англичане из года в год увеличивали хлебный оборот в портах Галаца, Браилова, Варны, а склады Таганрога, Херсона, Одессы ломились от нереализованных запасов. Так стали терять смысл все «приобретения» Екатерины II. Борьба с Англией экономическими методами было невозможно: крепостное хозяйство не было конкурентом для буржуазного. И в этом смысле также оставался лишь второй, военный путь к выходу из тупика.

## 2. Накануне

*Воевать тогда многим ужасно хотелось...*

Н.С. Лесков. Печерские антики

Но для начала военных действий нужен был повод, достаточный для оправдания агрессии в глазах великих держав, внимательно следивших за развитием событий в районе Проливов. В 1849 г. русское правительство неожиданно «вспомнило», что почти двадцать лет до того в Турции нашли убежище участники разгромленного Николаем I польского восстания. Теперь царь потребовал выдачи этих, давно натурализовавшихся на новой родине, обзаведшихся семьями и т. д. людей, а о том, что их ждало в России, ни у кого сомнений не было. При этом русские осно-

вывались на соответствующих статьях Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. (*Проливы*, 1999, С. 142–144). Это было прямым издевательством, ведь именно Петербург фактически разорвал этот трактат, аннексировав независимое Крымское ханство. Турция, хоть и не желавшая нового военного конфликта, оказалась неготовой к такому последнему унижению и требование России отвергла. Показательно, что гуманную позицию Стамбула открыто поддержали практически все дворы Европы, в том числе и политически дружественные России.

После этого Россия прервала дипломатические отношения с Турцией, затем они восстановились, но уже на следующий 1850 г. Петербург начал тайную подготовку десантной операции в районе Стамбула (*История СССР*, Т. IV, С. 523). Правда, Николай обещал своим европейским друзьям, посвященным в смысл происходившего, что после захвата турецкой столицы он «согласен принять на себя обязательство не утверждаться в Константинополе в качестве владельца, другое дело — в качестве временного охранителя» (*Окунь*, 1957, С. 257). Но одновременно царь готовит — по необходимости — соглашение с Англией, в котором предназначает себе не только Стамбул с Босфором, но и Молдавию, Валахию, Болгарию и Сербию. Англии же — по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже» — Египет и почему-то Крит: «Этот остров, может быть, подходит вам, и я не знаю, почему бы ему не стать английским» (цит. по: *Маркс, Энгельс*, Т. X, С. 152, 155). Раздел был предложен не столько своеобразный, сколько ни с чем не сообразный, и Англия от него отказалась. Когда эта попытка двух крупных хищников договориться о «мирном» поглощении третьего провалилась, Россия решила, что сможет справиться с намеченной жертвой в одиночку, зато и добыча будет больше. Был составлен военный план: вместо десанта решили идти сухим путем через Варну и Бургас (*Горев*, 1955, С. 61) — оставалось лишь найти повод к войне.

Кто ищет — обрящет. Поводом стало «дело о христианских святынях» в Вифлееме, тогда входившем в Османскую империю. Россия требовала ключи от храма Рождества Господня, давно переданные турками французам. Одновременно Петербург снова выдвигал старую свою претензию на право вмешиваться в дела турецких христиан на Балканах. Переговоры в Стамбуле вел посол А.С. Миньшиков, причём весьма своеобразно: так, он упорно отказывался приветствовать членов дивана простым наклоном головы (князь здоровался с совершенно оконечной шеей) и т. п. Турки, оскорбленные подобным нарушением протокола, хитроумно понизили притолоку двери. Здесь растерялся бы любой дипломат, но не Миньшиков. На следующем заседании после объявления титула чрезвычайного посла собравшиеся вельможи увидели сначала зад пятилетнего сиятельного амбассадора и лишь затем всё остальное (*История СССР*, Т. IV, С. 523)! На таком кухонном уровне, конечно же, заданном Петербургом, переговоры долго продолжаться не могли. И даже когда турки пошли на компромисс и согласились отдать ключи от храма православным, Россия односторонним актом прервала диалог. Собственно, к этому исходу Петербург и стремился; характерно, что уже по окончании войны, в ходе мирных переговоров, о ключах все забыли!

Турки правильно понимали неизбежность войны с Россией, причём задолго до провала предвоенных переговоров. Ещё в 1853 г. они просили англичан и французов помочь им в случае нападения с севера — и получили согласие. Мы не можем сказать, что будущие союзники Турции были в этой войне так уж

заинтересованы и пошли ей навстречу, что называется, «с первого предъявления» — впрочем, есть и иные мнения<sup>1</sup>. Обе европейские державы представляли, с одной стороны, капитализм, с другой — демократию (буржуазную). Россия же была тормозом как первого (в Европе), так и второго (дома). Поэтому сторонники обуздания России получили на Западе полную поддержку общества (*Бочкарев*, 1912, 275; История СССР, Т. IV. С. 521), принявшего в конфликте сторону Турции. «Весь свет жалеет турков не потому, что они были кому-либо близки, — писал Герцен, — их жалеют оттого, что они стоят за свою землю, на них напали, надобно же им защищаться» (1957. С. 206).

Но с другой стороны, правительства тех же стран видели в моши «жандарма Европы» гарантию против повторения событий революционного 1848 года, когда пошатнулись многие режимы. И тот же лорд Палмерстон, что до войны считал необходимым «поставить предел развитию русского могущества» (*Бочкарев*, 1912. С. 275), через три года пророчил: «Падение Севастополя приближается. Когда это случится, возникнет новая опасность — опасность мира, а не войны» (*Покровский*, 1918. С. 29). Наверняка он думал об этой угрозе и до начала военных действий.

Почему же великие державы всё-таки в конечном счёте решились выступить против России? Очевидно, реальная опасность полной утраты позиций из-за агрессии России на Ближнем Востоке и непомерного усиления царя перевесила проблематичную угрозу революций. Петербург просто не оставил этим странам выбора. А Герцен, наблюдавший европейскую политику изнутри (он уже не первый год находился в политической эмиграции), заметил по этому поводу: «Итак, царь накликать наконец войну на Русь. Как ни пятились назад, как ни мирволили ему его товарищи и сообщники, боясь своих народов больше всякого врага. — он напросился на войну, подразнил их до того, что они пошли на него» (*Герцен*, 1957. С. 201). При всей его краткости, более глубокое и точное объяснение причины войны найти трудно.

Так относилась к Крымской войне Европа. Столь же полярные точки зрения на этот счёт были и у русских. Громче всех в предвоенные и первые военные месяцы здесь звучал ура-патриотический хор. Осанну «белому царю», «освободителю православных святынь Востока», пели едва ли не все газетчики. Но националистический угар вскружил и более светлые головы: тюркофобные стихи лились из-под пера Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, В. Алферьева. Доставалось не только туркам, но и их союзникам; наиболее характерно, быть мо-

<sup>1</sup> Некоторые историки уверяют, что диалог Петербурга со Стамбулом прервался «в результате провокационных действий английской дипломатии» (*Зверев*, 1954. С. 14–15), что спровоцирована была и война в целом (Крым, 1988. С. 40), что вначале Англия и Франция ввели в Чёрное море военный флот и лишь «в ответ на это» царь приказал перейти границу Османской империи (*Бестужев*, 1956. С. 16–17). Последнее — явная передержка. Оккупация турецких Молдавии и Валахии началась ещё в пору переговоров Меньшикова в Стамбуле, т. е. задолго до входа союзников в Босфор и объявления войны (*Богословский*, 1940. С. 218). Наконец, наши военные историки полагают, что русское командование было просто вынуждено нанести «упреждающие удары» (СВЭ. Т. IV. С. 488). Тем самым они стремились опередить своих западных союзников, совсем уж, якобы, изготовившихся для вторжения на российские земли.

жет, восклицание, принадлежащее Ф. Глинке: «Ура! На трёх ударим разом!» Не только в аристократических салонах и светских гостиных, но и среди мелкого чиновничества царило какое-то восторженное поклонение самому духу новой битвы, — ещё свежа в памяти была война 1812 г. Эта Россия «восторженно откликнулась на боевой призыв Её (царя. — В.В.), как привыкла откликаться на всякий призыв своих царей», — писала одна из образованнейших современниц войны (*Штакеншнейдер*, 1934. С. 40).

Но вот в шовинистическом гвалте раздался трезвый голос Н.Г. Чернышевского. Он развенчал не только эту, но и другие подобные акции царизма на Востоке: «Толпа монахов стояла у озаренной светлым солнцем одной из палестинских церквей, ссорясь из-за ключа, но далеко на туманном севере люди видели честолюбие русских царей» (1935. С. 353). А затем, уже после начала войны, отрезвел и весьма не чуждый политике и дипломатии России Ф.И. Тютчев. «Невозможно присутствовать при зрелище, происходящем перед глазами. Это война кретинов с негодьями» (*Тютчев*, 1984. С. 19), — писал он, имея в виду под первыми турок, а под вторыми — русских.

Сложнее было услышать мнение безгласного народа, определить степень популярности войны среди основной массы населения. Как упоминалось, ещё до начала войны, когда стала очевидна её неизбежность, в России запольхали большие и малые восстания: крестьяне протестовали против отправки своих сыновей на новую бойню, затеянную империей. В январе 1853 г. взбунтовался Маслов Кут близ Пятигорска. Туда пришлось слать не только пехоту, но и артиллерию. В результате было убито и ранено 340 чел. (*Линков*, 1940. С. 13–21). В июле того же года вспыхнул мятеж в Задонском уезде Воронежской губернии, при подавлении его было убито 9 крестьян (ук. соч. С. 22–23). В 1854 г. тысячи крестьян стихийно двинулись в Москву с прошениями об освобождении их сыновей от рекрутчины (в отдельных местах такую инициативу выдвигали сельские священники или дьячки). В июле начались их аресты, крестьяне оказывали сопротивление, вооружившись кольями и рогатками. Но все они были схвачены, забиты в кандалы и отправлены к своим помещикам (ук. соч. С. 29, 32).

На Украине в марте 1855 г. начался массовый отказ от барщины, крестьяне толпами бродили по просёлочным дорогам, их преследовали военные отряды — и здесь появились убитые и раненые. На сахарных заводах и суконных фабриках, расположенных близ Киева, рабочие отказались работать, предприятия остановились, в отдельных местах число бастовавших доходило до 5000 чел. Затем это рабочее, по сути, движение перекинулось из Киевской в Воронежскую губернию (ук. соч. С. 57, 75–80). В том же 1855 г. началось движение татар в Казанской и Нижегородской губерниях: мусульмане тоже не хотели отдавать молодёжь в ратное ополчение (ук. соч. С. 82–83).

Таким образом, было бы ошибкой ставить знак равенства между героизмом, скажем, севастопольцев и настроениями в русской, украинской и т. д. деревне,

<sup>1</sup> Поэт несколько ошибался. Против России выступило не три, а четыре державы: Англия, Франция, Турция и Сардиния. Армия последней (её в России называли Пьемонтской) была не так уж и мала, насчитывая 21 000 человек (*Урланис*, 1994. С. 99).

обескровленной рекрутчиной. Да и героизм — не показатель одобрения войны! «Из тысяч сражавшихся солдат, турецких или русских, было ли хоть два человека, которые добровольно взяли за оружие?» — вопрошает Н. Чернышевский и не дает ответа: он очевиден (1935. С. 220). Россия «пошла лечь костями, не зная, на что и за что она идет», — говорит Е. Штакеншнейдер (1934. С. 40), но она ошибается. Были в России прогрессивные мыслители, видевшие в военном проигрыше социальный и политический выигрыш для русского народа. Эти едва ли не первые в истории России сознательные пораженцы ощущали близость великой реформы, для ускорения которой стоило проиграть войну, к тому же агрессивную:

«Высадка союзников в Крыму в 1854 г. и... сражения при Альме и Ингуше и обложение Севастополя нас не слишком огорчали, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение было в том же духе» (Кошелев, 1884. С. 81–82). Современник был прав, из разных концов огромной страны в столицу стекались жандармские донесения одного содержания: «Войны здесь никто не желает», «Надеются, что дело не дойдет до войны, которой никто не желает», «Желают, чтобы политический вопрос кончился миролюбиво» и т. п. (цит. по: Бестужев, 1956. С. 42).

Не менее «воинственно» было настроено и офицерство; один из командиров так объяснял, отчего он участвует в войне «с отвращением»: «Чтобы воевать усердно, надобно иметь идею, за что охотно пожертвовал бы жизнью, а так, по прихоти деспота, подставлять лоб, право, никому нет охоты» (Вдовиченко, 1860. С. 114). Ему вторил небогатый чиновник: «...цели Крымской войны для русских были неясны, неопределенны, и понятие "турки бунтуют", с которым мы брались за винтовку, не воодушевляло, да и не могло воодушевить народные массы» (Раков, 1904. С. 52).

«Война 1853–1856 гг., как известно, была непопулярна: причин ее никто не понимал, цели в ней не видел», — вспоминал и крымский писатель (Стулли, 1894.

<sup>1</sup> Попав в тяжелые условия по вине властей, не снабдивших солдат и матросов ни современным оружием, ни достаточным количеством боеприпасов и провианта, севастопольцы могли противопоставить противнику лишь личный героизм — это был единственный способ выживания в окруженном городе. Ненависти к врагам они не питали, Л.Н. Толстой дает примеры мирных и даже дружественных контактов сражающихся в краткие минуты затишья (см. «Севастопольские рассказы»). Но есть и иная характеристика масс, и тоже современника: «У всех в памяти кремнёвые ружья с выкрашенными деревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы в ратнических сапогах, гнилое сукно, из которого строилась ратническая одежда, гнилые ратнические полушубки и проч.». Далее автор говорит и о более серьезных преступлениях чиновников, буквально торговавших людьми, отправляемыми на убой (известный «Процесс заместительства»). При этом он допускает, что не весь русский народ был в этой мерзости замешан, но «...ведь масса присутствовала при этих деяниях — и не ахнула. Смех раздавался, смех! — и никому не приходило в голову, что смеются мертвецы...» (Салтыков-Щедрин, 1988. Т. X. С. 386–387). Это — чисто русское восхищение ловкими мошенниками, отразившееся и в народных сказках, и перевесившее кровавую драму и исторический, национальный позор Севастополя. Ведь не так часто бывает, что при штурме мощных твердынь гибнет втрое больше защитников, чем противника, наступающего с чистого поля. Кстати, в 1940-х гг. это соотношение почти в точности повторилось, и по той же причине бездарности чиновников, штатских и военных (включая командование фронта).

С. 490). Но лишь XX век с его историческим опытом дал историкам возможность сделать подлинно научные выводы о сути восточной политики России в ту эпоху; она «сводилась к расчленению Турции и, может быть, Австро-Венгрии, но с поглощением славянских (и не только славянских!) частей этих государств Россией или установлением над ними русского протектората» (Штраух, 1935. С. XIX).

Казалось бы, выводы эти четки и бесспорны. Но есть сторонники и иной оценки войны. Не будем приводить цитаты из них — имя им легион. Сделаем лишь одно исключение. Для недавней работы, где автор чохом оправдывает все, в том числе и агрессивные войны, что Россия вела на протяжении последней полутысячи лет, войны, превратившие страну уже в XIX в. в пугало и выведшие её из всемирной семьи народов, в которую мы и до сих пор не вхожи, не в последнюю очередь из-за известных рудиментов имперского мышления. Вот эти слова: «Обороняясь и наступая, Россия в целом вела справедливые и неизбежные войны, иного выбора у неё и не было. Если страна хотела жить и развиваться, то должна была, отбросив ножи за ненадобностью, в течение пяти столетий клинком доказывать соседям своё право на жизнь и развитие. Эти войны в определенном смысле (?) были народными войнами (!) с постоянным и деятельным участием народной вооружённой силы...» (Нестеров, 1984). От комментариев воздержимся.

И, наконец, дадим слово иностранцам. Они, правда, не располагали морем архивных документов России, массой свидетельств современников, записями русских участников войны. Но они сделали ещё в XIX в. выводы, которые, увы, превосходят научностью разработки иных советских исследователей, поражающие своей плоскостью и необъективностью. Итак, француз Г. Культюр, книга «Николай и святая Русь», год издания — 1854: «Царь не затеял бы этой несправедливой войны из-за пустого предлога заступиться за веру христиан в Турции... После 29 лет царствования он не мог больше управлять Россией» (цит. по: Герцен, 1957. С. 259). То есть, его власть закатилась и спасти её можно было лишь традиционным для России способом, найдя очередного врага-инородца.

### 3. Начало войны

Война, о которой написаны десятки научных трудов, заслуживает такого внимания, хоть и длилась недолго — около двух лет. Началась она односторонним актом вступления русских войск на турецкие провинции Молдавию и Валахию. Военные действия вначале показали превосходство российского оружия на суше и на море. Турецкий флот был почти полностью уничтожен в ноябре 1853 г. при Синопе. Почти одновременно столь же неожиданно нападению российской армии подверглись турки на Кавказе под Башкадыкларом и были разбиты, а вдоль молдавских берегов все дальше на юг поползло русское войско. «Таким образом, Европа получила окончательное подтверждение того, что и на суше, и на море Россия начала интервенцию. Европа приняла вызов» (Поляков, 1998. С. 155).

Нужно сказать, что западные союзники, проводя анализ сравнительной мощи русской и турецкой армий, очевидно, предвидели такой успех нападающей

стороны. Но извне, естественно, не была видна внутренняя слабость николаевского режима. Впрочем, не была она очевидна и для самих русских, до того как начались первые поражения, обусловленные именно этой гнильностью чиновничьего и армейского аппарата.

Ещё в сентябре 1854 г. турецкие, английские и французские войска численностью 63 000 человек высадились, не встретив никакого сопротивления, в Евпатории и южнее Сак, а оттуда двинулись к Севастополю. В том же месяце после кровопролитного сражения на Альме, закончившегося поражением русских, началась знаменитая 349-дневная оборона Севастополя, крепости с абсолютного престоупно не готовыми к войне укреплениями. Даже возможности союзного десанта русское командование не сумело предусмотреть! Война стала затяжной, что входило в планы русского правительства, пожертвовавшего Крымом ради интересов власти царя Николая и безопасности собственно России, а также и для отвлечения части турецких войск с западного берега Чёрного моря<sup>1</sup>. Впрочем, эта тяжёлая, крымская жертва была принесена совершенно напрасно: выполнение второй части стратегического плана русских, касавшейся овладения Адрианополем, Стамбулом и проливами, безнадежно затягивалось (в конечном счёте он полностью был оставлен).

А потом последовало крайне невыгодное развитие событий и в Крыму. Вместо сдерживающих, локальных боев русские были принуждены к масштабным сражениям, мало напоминавшим картину демонстративных военных действий. Крым неожиданно превратился из «ловушки» для союзных армий в нечто противоположное: «...если это место было наиболее благоприятным для показательной войны, то для серьезной войны оно было бы наиболее опасным» (Маркс, Энгельс. Т. XXII. С. 39). Союзники же, бесспорно, оказались серьёзным противником, говоря не только о Южном театре. Они демонстрировали европейскую боевую выучку и дисциплину. Что могли противопоставить им русские полки, нагло обкрадываемые собственными снабженцами? Известно, что уже на ранних стадиях войны разложение перешло от интендантских в общевойсковые части, запятнавшие себя мародёрством местного населения (см. ниже).

Но не только в воровстве интендантов и технической отсталости было дело. Отечественные историки, особенно военные, крайне неохотно, сквозь зубы признают (а то и вовсе отрицают) исторический факт, ставший известным уже через несколько лет после окончания той войны, причём факт, очевидный даже неспециалистам. А именно что российская стратегия и тактика тех лет были столь же отсталыми, как и материальная часть (Hoffschläger, 1859. S. 13).

Абсолютно неграмотный как полководец, бывший посол в Стамбуле А.С. Меншиков, проиграв Альминское сражение, был вроде бы вовремя сменён новым главнокомандующим, М.Д. Горчаковым. Но и тот оказался не лучше: чего стоит хотя бы штурм Гасферовой горы 4 августа 1855 г. Это была акция совершенно бездарно им задуманная и проведённая, ничего не принесящая защит-

<sup>1</sup> К такому выводу приходят многие историки, в том числе Энгельс, указывавший, что для России было выгодно, «чтобы союзники отправились в Крым и основательно там застряли... Продвигаться из Крыма вглубь России было бы стратегическим безумием» (МЭ. Т. XXII. С. 39).

никам Севастополя, но стоившая 20 000 потерянных матросов, солдат и офицеров. Конечно, профессиональные качества и чисто человеческие таланты таких военачальников, как П.С. Нахимов, В.И. Истомин, В.А. Корнилов, С.А. Хрулёв, Э.И. Тотлебен бесспорны, но эти командиры всего лишь обороняли город, а не вели войну — вот в чём драма позорного поражения России, вот отчего всё же пал «Севастополь, неприступный для врагов» (слова из песни советской эпохи).

Увы, не только личным мужеством прославились и ряловые защитники обречённого города. Для того, чтобы полнее раскрыть основную тему этой главы, придётся вникнуть в совсем не героические стороны Севастопольской страды. И тогда обнаружится, что в то время, как английские, французские и сардинские медики оказывали помощь *всем* раненым (в том числе и оказавшимся в их лазаретах русским), противник поступал не совсем адекватно. Русские солдаты и матросы «добывали раненых англичан штыками в присутствии русских офицеров!», — поразились союзники (Wood, 1896. P. 151). Естественно, такие случаи освещались в европейской прессе. К сожалению, она гораздо меньше уделяла внимания насилию казаков и солдат той же российской армии над крымскими татарами. Впрочем, что бы изменилось от появления ещё и этой информации?

Английские газеты царь исправно просматривал, но о его реакции в отношении убийц раненых неизвестно даже специалистам, историкам войны. В эти месяцы его мысли были заняты другим. Ему доносили, что Севастополь, вся армия в Крыму страдают от нехватки поставок провианта и боезапаса. Николаю наверняка приходила на ум Отечественная война 1812 г., когда неизмеримые российские пространства погубили наполеоновскую армию. Теперь жуткие, разбитые тысячевёрстные российские дороги становились одной из причин гибели Севастополя, одной из причин поражения России.



Рисунок из английского журнала «Панч» 29.08.1855.  
Подпись: «Двуглавая ворона в Крыму»

Император ввязался в эту войну, последнюю в его жизни, явно в недобрый час. Союзники Турции были совсем не похожи на разрозненных, плохо вооружённых, хоть и отчаянно храбрых поляков, которых царь привык сотнями вешать в своих карательных акциях 1830-х гг. Крымская кампания оборачивалась не славой, а позором. В последние месяцы своей жизни Николаю I довелось увидеть редкое для русского царя зрелище — вражеские корабли, крейсирующие у Кронштадта, в виду его петергофской дачи. Это был результат всей политики императора, хотя он и не дожил до последнего ее результата, последнего унижения, покончив с собой накануне оставления Севастополя (так, по крайней мере, уверяли современники: на одном из парадов он простоял на жестоком морозе без верхней одежды несколько часов, отчего заболел и умер).

Лично знавший Николая на протяжении многих лет дипломат и камергер Ф.И. Тютчев дал убийственно точную характеристику всей бездарной политике этого царя: «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях (выделено мной. — В.В.), ничем не воспользовался и всё упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах» (Тютчев Ф.И. Собрание соч. Т. II. М., 1980. С. 176).

#### 4. Крымские татары в годы войны

##### а) Выселение южнобережных татар

Какую же позицию по отношению к воюющим сторонам заняло основное население Крыма? Задавшись этим вопросом, сразу же можно обнаружить вполне недвусмысленный и чёткий ответ в капитальном труде П. Надинского: «Крымские татары оказались изменниками и тысячами перебежали в лагерь врага» (1951. Т. I. С. 131). Правда, автор никак не объясняет, каким образом командованию десантных групп союзников удалось прокормить и обеспечить жильём (хотя бы палатками) эту неожиданно свалившуюся ему на голову огромную массу крестьян с женами, малыми детьми, скотом и прочим...

Встречаются и более развернутые откровения того же плана, например о том, что союзникам «всеми силами» помогало «местное татарское население, восторженно встретившее турок и их покровителей. Разжигаемая турецкими и английскими агентами и собственными муллами ненависть татар к русским широко разливается грабежами и насилием вокруг Евпатории, достигает Перекопа и Армянского Базара, терроризирует русское население» (Горев, 1955. С. 237). Примеры можно множить до бесконечности, но нового это даст немного: в них будет всё то же стремление любой ценой заклеить народ и, увы, всё та же голословность бездоказательность однообразных «убойных» выводов. Оставим их на совести авторов, писавших после 18 мая 1944 г., и обратимся к источникам и фактам.

Несмотря на абсолютно пророссийскую позицию, занятую крымскими татарами в годы войны 1806–1812 и Отечественной войне 1812 гг., царские власти

не могли представить себе, что коренной народ завоеванного империей Крыма искренне не желает вмешиваться в политику и никогда не поддержит противника России, кем бы он ни был. Поэтому серьёзные опасения в возможности перехода крымскотатарских масс на сторону неприятеля, конечно, были. Причина проста: учитывая, какие бедствия и издевательства вытерпел коренной народ на протяжении 70 лет после аннексии, это было бы только закономерным. Поэтому ещё осенью 1854 г. было проведено — в который раз! — выселение крымских татар с прибрежной полосы вглубь полуострова на расстояние минимум 25 вёрст (операцией руководил князь А.С. Меншиков).

Не говоря уже о моральной стороне этой акции, она была столь же жестокой, сколь ничем не спровоцированной и бессмысленной. Более того, она была пагубной, в частности, и для обороны Крыма, причём настолько очевидно, что об этом говорили и простые армейские офицеры: «Нельзя не опасаться, что переселение в глубокую осень на голые степи и несправедливое отобрание рабочего скота... приведёт их (то есть татар. — В.В.) в отчаяние и превратит в злейших и даже опасных врагов нам, особливо при неблагоприятном перемене военных обстоятельств» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 15. Л. 16). Тем не менее депортация, в том числе и за пределы Крыма, вплоть до Курска, была проведена с беспощадной доскональностью, столь характерной для стиля административного режима Николая I.

Не будучи в силах осуществить полную депортацию, российские власти, тем не менее по мере сил выслали крымские семьи в различные губернии (только в Курск попало более 100 семей). Были попытки подвергать отдельных музр суду по подозрению в сотрудничестве с неприятелем. Так, Халиль-мурза Мансурский был судим в Екатеринославе, но оправдан, и вновь занял должность в Евпаторийском земстве (Маркевич, 1905. С. 30). Но случаи «оправдания» невинных буквально тонут в процессе массового выселения крымских татар за Перекоп и дальше. Через много лет после окончания войны было отмечено, что «в губерниях: орловской, курской, полтавской, екатеринославской и херсонской [оказалось] множество несчастных татар, преимущественно из числа вполне невинных... заброшенных вдали от своих семейств и родных в положении, которому едва ли позавидует и ссыльный в Сибири» (Левицкий, 1882. С. 606).

Естественно, крымцам, высылаемым за пределы полуострова, никто не предоставил возможности перевоза всего домашнего скарба, сельскохозяйственно-го инвентаря и даже домашних животных. Людей сгоняли с насиженных мест, сбивали если не в колонны (колоннами их будут гнать к эшелонам через сто лет), то в группы, в которых, естественно, не было места ни овечьим отарам, ни даже кормилицам-коровам. Скот остался в опустевших деревнях, брошенный на произвол судьбы. Сбылось мрачное пророчество русского поэта, писавшего за три десятка лет до того:

По пажитям заглохнувшим блуждали  
Без пастырей безумные стада;  
С людьми для них исчезло пропитанье;  
Мне слышалось их гладное бляенье

Е. Баратынский. Последняя смерть, 1927



Депортация сопровождалась и более жестокими репрессиями. Так, совершенно безвинных даже с точки зрения русской администрации, но авторитетных среди населения граждан (прежде всего мулл) подвергали тюремному заключению. Приведём один пример. Известного сакского муллу Кемалья-эфенди бросили в темницу несмотря на то, что «общие отзывы христиан и татар [о нём] очень хороши, — сообщил современник, — а выпустить его не могут под предлогом, что при арестовании взяли у него много бумаг, которые не разбирая отослали гражданскому губернатору, в канцелярии которого он вероятно пролежат ещё долго без рассмотрения» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 8 об.).

Производились аресты и простых крестьян, также не замеченных в какой-либо враждебной деятельности. Так, только в осаждённом Евпатории отряде генерал-адъютанта В.С. Корфа, в полевых условиях томилось 75 местных татар, забитых в колодки: они показались кому-то из офицеров подозрительными. Около полутора сот таких же узников находилось и в других частях, стоявших в уезде. Их дела разбирала полковая комиссия «под председательством армейского капитана, [которая], не имея [ни] порядочного переводчика, ни канцелярских средств», не могла успешно действовать, сообщил офицер — свидетель этих беззаконий (РГИА. Ук. дело. Л. 8).

Тогда же на большей части Крыма, от Альмы до Перекопа, были проведены сплошные обыски для изъятия оружия. «Земская полиция притесняла татар обысками, отбирала у них даже старинное оружие, представлявшее исключительно антикварный или фамильный интерес...» (Сергеев, 1913. С. 198). Да и откуда у мирных крестьян могло взяться оружие современное? Всего «было отобрано ружей 142, пистолетов 7, сабель 2». Между прочим, когда всё это грозное оружие по окончании войны было освидетельствовано, то оно «оказалось негодным и, вследствие затруднений узнать, кому оно принадлежало, уничтожено» (Маркевич, 1905. С. 32). Сколько крымскотатарских крестьян пострадало за хранение этого оружия — неизвестно, как не подсчитано до сих пор количество жертв депортации периода Крымской войны. Факты ненужной жестокости, злоупотреблений военного времени и просто бездушия судебных и армейских властей стали проявляться лишь через несколько лет после депортации 1854 г.

В 1858 г. в канцелярии генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского была составлена «Записка о неправильно высланных из Крыма татарах». Согласно этому документу крымским властям *дозволялось* (не предписывалось!) «возвратить в Крым неправильно высланных во время миновавшей войны в Курскую губернию пять человек Татар д. Алушты: Умера Мурат-оглу, Ибрагима Мурат-оглу, Асана Абдурамана-оглу, Алжи-Умера Мустафа-оглу и Амет-Асана-оглу». Записка гласила: «Во время минувшей войны по политическим обстоятельствам были высланы из Крыма в Курскую губернию помещики Феодосийского уезда Аметчигурза Кокуватский, Султан Мубарак-Гирей, и Феодосийского уезда кадий Сеит Смаил-эфенди, которые по заключении мира в Крым не возвращены, а оставлены на жительство в Мелитопольском уезде. По общественному мнению, за ними нет вины, заслуживающей удаления их из Крыма, от семейств и от имений, подвергающихся разорению по отсутствию владельцев». Тут же приводились данные о тщетности ходатайства по поводу репрессированных мурз, отправленного Таврическим предводителем дворянства (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 474. Л. 1–2).

Понятно, что такая забота генерал-губернатора о судьбе нескольких безвинных крымских татар не то что не снимала проблему, она её даже не обозначала как следует. Прежде всего это касается основной массы высланных в 1850-х гг. крымцев, так никогда и не вернувшихся на родину, людей, о которых постепенно забыли все. Во-вторых, их число многократно превышало затронутых в «Записке» феодосийцев и алуштинцев. Полный перечень всех репрессированных таким образом семейств отыскать не удалось, но сохранился так называемый «Общий список высланным из Крымского полуострова Татарам» по пяти уездам, откуда были отправлены из Карасубазарского 11 семей, Бахчисарайского — 33, Феодосийского — 51 и так далее, всего 167 семей (РГИА. Ук. дело. Л. 4–12 об.). Дополнительные сведения предоставляет датированный 1856 годом «Список крымских татар, высланных Следственной комиссией бывшего в Перекопе над Татарами суда», согласно которому по этапу ушло ещё 85 человек (РГИА. Ук. дело. Л. 14–20). Очевидно, за ними вскоре последовали и их семьи.

Но, повторяем, ни полным списком депортированных, ни даже приблизительным числом их наука пока не располагает.

И последнее замечание по теме. Некоторые современные историки Крыма (а чаще политики) утверждают, что южнобережные города, опустевшие после депортации коренного населения в 1850-х гг. были заселены сплошь русскими, которые с тех пор и являлись основным населением Южного берега вплоть до 1940-х гг. На самом деле жители побережья не могли смириться со степным или горным бытом и, как только представилась такая возможность, вновь плотно заселили родные места. Поэтому уже в конце 1880-х гг. в Ялте насчитывалось 3000, а Алушке 4000 татар (Rugard, 1891. S. 115). Напомним, что в ту пору и первая, и вторая были всего лишь сёлами, причём не самыми крупными на Южном берегу Крыма.

#### б) Положение крымских татар в годы войны

С началом войны Крым по понятной причине оккупации оказался расколотым на две неравные части — российскую и союзническую. Впрочем, как будет видно, для крымскотатарского мирного населения разница в такой принадлежности оказалась весьма относительной. Некоторое разнообразие, правда, внесли прибывшие в обозе союзников турецкие муллы: они начали склонять татар к переходу в турецкое подданство, к материальной поддержке союзных войск и т. д.<sup>1</sup> Но эта пропаганда

<sup>1</sup> В целом, это была частная инициатива некоторых мусульманских служителей. В те же месяцы Министерство иностранных дел Турнии направило в Петербург заявление, в котором опровергало широко распространённые слухи о том, что некоторые эмиссары турецкого духовного управления якобы были посланы на территории Крыма и других мусульманских регионов России с целью агитации местных мусульман за переселение на земли Османской империи. Более того, в этом официальном документе указывалось, что переселение крымских татар несёт с собой огромные неудобства как для местных, турецких жителей, так и для администрации. Оно ведёт к нежелательным переменам в экономике, финансовым издержкам и распространению массовых заболеваний, неизбежных при неконтролируемых миграциях. В заключении этого послания турецкое Министерство иностранных дел предложило своим российским коллегам арестовывать пришлых турок, замеченных в агитации за переселение крымцев на территорию Османской империи (РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 754. Л. 22–22 об.).



Старая крымская дорога в Байдарской долине, усыпанная ядрами. Автор снимка назвал его «Долина смерти». Из собрания: Fenton, 2001

была тут же нейтрализована выступлением местного и поэтому более авторитетного крымскотатарского духовенства, а также многих мурз и беев. В Евпаторийском уезде, оккупированном одним из первых, такую роль сыграл князь Мемет-бей Балатуков. Невзирая на опасность репрессий со стороны оккупантов, князь открыто «выступил защитником русских» в ряде деревень близ Евпатории, после чего заручившиеся муллы просто опасались там появляться (Раков, 1904. С. 16).

Помогал Мемет-бей и делом. В апреле 1855 г. он пожертвовал строительный камень на возведение Аблемитского моста через о. Донузлав, стратегически необходимого для передвижения российских войск. После занятия Евпатории союзниками, он «был требуем неприятелем для услуг, но... жил в своём имении Мамай... и всеми мерами старался удержать татар от беспорядков...» Затем он нашёл возможность переправить в действующую армию под Севастополем «7000 пудов сена и для войск у Евпатории 200 сажень соломы», кроме того, «после дела (то есть военной операции. — В.В.) 5 февраля 55 бывшего под Евпаторией дом свой в дер. Мамай с мебелью и всеми удобствами отдал для помещения раненых в полное распоряжение ген. Хрулёву, сам же с семейством переехал в другую деревню, совершенно неустроенную» (Маркевич, 1905. С. 31).

По-настоящему оценить жертвенную помощь русской армии, оказанную князем и его соотечественниками, можно, лишь учитывая, что жители евпаторийских сёл сами оказались в 1854 г. в крайне бедственном положении благодаря той же армии. Как рапортовал 06. 10. 1854 г. генерал-адъютанту И.В. Анненкову майор Е.Е. Гангардт, «...чрезвычайный сбор подвод лишил всю эту часть Таврической губернии возможности засеять поля и даже убрать жатву, значительное количество коей осталось на полях» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 2—2об.). Впоследствии за свои заслуги в годы войны князь М. Балатуков был вполне заслуженно награждён орденом Св. Анны 3-й степени.

Не в пример крымскому князю, русская администрация бежала из Евпатории, оставив подопочное население без пастырей ещё до высадки десанта. Причём некоторые чиновники оказались столь резвыми, что остановились лишь у Перекопа (Студли, 1894. С. 495). Медсестра российской армии Е.М. Бакунина записала в своём дневнике: «...наши бежали под Перекопом, воображая, что за ними гонится неприятель, а за ними гнались казаки, чтобы их остановить» (цит. по: Дудух, 2007. С. 98). Поскольку же русская армия также отмаршировала от Симферополя без боя, то мирные крымские татары оказались брошенными на произвол оккупантов, чем те и воспользовались. Началось обирание степных татарских деревень и евпаторийских маалле; плата за изъятые провиант и фураж назначалась пришедьдами произвольно, но, как правило, по цене гораздо ниже рыночной. То есть кое-где эта операция весьма напоминала не воинские закупки, а реквизиции.

Когда же к оккупированной части полуострова подошли российские солдаты и, что ещё хуже, казаки, то крестьяне, помнившие старый, горький опыт общения с этими башибузуками, в панике оставили свои жилища, ища безопасности, кто за стенами Евпатории<sup>1</sup>, кто ещё дальше, за рубежом. За несколько недель вся территория к югу от Сары-Булата опустела: «все сёла той части Евпаторийского уезда, — писал свидетель, — брошены жителями, большие стада домашнего скота, бродя по степям, слышат от голода и жажды» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 2 об. — 3 об.). Спасти этот столь необходимый не только мирным жителям, но и русской армии скот оказалось невозможным даже силами населения соседнего, не оккупированного Перекопского уезда, — там «все чиновники и жители [были] заняты препровождением войск доставкой им продовольствия; вдобавок фуражного довольствия недостаёт у них и для того скота, который они имеют». Кстати, именно по причине этого кризиса весь северо-запад полуострова пришлось исключить из числа регионов, куда намечалось сылать второй эшелон береговых жителей — крымских татар: «до того времени весь край успеет превратиться в пустыню, заражённую трупами павшего скота» сообщал уже упоминавшийся майор Гангардт (РГИА. Там же).

В этот период войны огромный ущерб крымскотатарскому населению нанесли практически вдоль всего побережья, а также в глубине полуострова — там, где русские отступали. В результате вражеских бомбардировок Ак-Монайских позиций начались пожары, «было сожжено много сена, соломы, князю, 19 [августа] то же в Казантипе, 20-го — в Аджибее и Чишне, 21 высидилось в дер. Чишне 50 человек турок, сожгли всё, что можно было и взяли на пароход 61 четверть пшеницы, 29 четвертей овса и 11 четвертей ячменя, сена истребили до 47 000 пуд... 19 сентября разграбили Кучук-Кой и Кикинеиз. 21 октября неприятельский от-

<sup>1</sup> Командир стоявшего у с. Саки 55-го полка отправил казаков и солдат под началом Петра Филина к Евпатории, где они только в степи близ Пересыпи отбили у татар 40 лошадей, 27 верблюдов, и 100 коров, а пасших этот скот 70 взрослых и подростков взяли в плен (Сенюткин, 1866. Ч. II. С. 63—68). После первых рейдов казачьих сотен по сёлам Евпаторийского уезда французский маршал Сент-Арно распространил среди крымскотатарского населения прокламацию, в которой обещал жертвам карателей убежище, а также своё покровительство всем, кто переберётся на время военных действий в Евпаторию. После этого 20 тысяч татар Евпаторийского уезда перебрались за городские стены с семьями и уцелевшим скотом (Тотлебен, 1893. С. 532).

ряд, вышедши из Евпатории, забрал в деревнях Эльтоке 772 овцы, 18 верблюдов, 56 лошадей, в плен 8 мужчин, 5 женщин и 1 ребёнка; в Карачара-молла, Тойтебе, Каймачи и Нургельды — несколько штук рогатого скота, лошадей и овец» (Маркевич, 1905. С. 20, 27).

Примерно такая же картина наблюдалась и в предгорной части полуострова, контролировавшейся российскими частями. Однако репрессии наблюдались и здесь, причём кое-где они обрели отчётливо геноцидные черты. Мало того, что проводились массовые аресты и депортация местного населения, но казаки и солдаты стали выжигать жилища крымских татар. Уничтожение крымскотатарских сёл началось здесь буквально с первых дней военных действий. Сразу же после Альминского сражения, обозлённые позорным поражением «отступавшие русские сжигали татарские деревни, в том числе такую крупную, как Бурлюк» (Эрбе, 1894. С. 65). Бесчинства солдатни и казаков, русской армии в целом достигли таких масштабов, что о них стало известно и за рубежом. Российская пресса в отличие от английской хранила по этому поводу мёртвое молчание, лишь много лет спустя коснувшись такой «закрытой» темы, как страдания крымских татар во время оккупации, да и то весьма кратко и без подробностей, очевидно решив пощадить нервы читателей, у которых в противном случае «волосы станут дыбом» (КВ, 1896. № 74).

Впрочем, и на оккупированной антирусской коалицией территории крымцам было тоже несладко. Той же осенью лондонская «Таймс» писала, что зверства союзников Англии в евпаторийских деревнях таковы, что газета не решается привести подробности, «они слишком оскорбительны для человечества» (Материалы, 1871. Вып. II. С. 268). Ак-Мечеть была разграблена «дочиста, скот и овцы угнаны..., людей же от старого до малого избивали и подвергали всякого рода оскорблениям» (Материалы, 1871. Вып. II. С. 204).

Некоторые сёла послали гонцов в Симферополь, прося защиты от мародёров. Лишь через несколько месяцев здесь появились летучие уральские и донские казачьи сотни, отчего крымцы, что называется, попали из огня да в полымя. Теперь стали мародёрствовать казаки, причём в сёлах на периферии и даже вне оккупированной врагом территории. Это происходило в степной части полуострова, особенно уязвимой и трудно восстанавливаемой в случае нарушения традиционной модели хозяйствования. В первую очередь это касалось хозяйств небольших или среднего размера.

Если пропажа десятка коней мало что значила для богатого помещика-скотовода, то даже зажиточный крымский крестьянин терпел при этом катастрофу. Причина понятна: в садоводческих или хлеборобных районах хозяйство за несколько лет можно было упорным трудом восстановить. Другое дело в степи, где преобладающим было скотоводство. Такое чудо случалось редко из-за самой специфики хозяйства, ведь чтобы достать и вырастить молодняк, нужны годы и годы. Именно поэтому «степняк, разорившись однажды, поправляется нескоро, а иной на всю жизнь остаётся бедняком, живя кое-как за счёт других...» (Домбровский, 1850. С. 485). Ну, а уж беднота была поставлена уральцами и донцами на грань голодной смерти: они не только забирали скот, но и «беззастенчиво опустошали, если удавалось отыскать, хлебные ямы» (Стулли, 1894. С. 507).



Казачья сотня в Капсихоре. Рисунок Р.Т. Энделла.  
Из коллекции музея Ларшес

Угнанный скот казаки сбывали своим же интендантам как «отбитый у неприятеля», получая за это вознаграждение.

Современный автор, историк Крымской войны, с некоторым даже удовлетворением отмечает, что «донские казаки (основа аванпостов) привыкли на протяжении многих месяцев... содержать себя, в отличие от других частей регулярной армии, добывая провиант и фураж» — разумеется — у местного татарского населения Крыма. Он же приводит отчёт участника таких грабительских рейдов, Х.И. Попова, докладывавшего, что «Донскими казаками отбито у неприятеля много скота лошадей и баранов; отрядом генерала И.Н. Краснова одновременно отбито: рогатого скота — 1520, овец — 37 552, лошадей — 223 и верблюдов 80 штук» (Дидух, 2007. С. 100). Нетрудно догадаться, что под «неприятелем» понимаются крымские татары, ведь десятки тысяч овец ни турки, ни другие союзники в Крым не завозили. Это отношение к крымцам у казаков было вполне естественным, сложившимся на протяжении столетий набегов на ханство.

Грабя местное население, казаки в то же время докладывали, что ими тратятся деньги на покупку всего нужного у татар, за что требовали казённого возмещения. В конце концов, это жульничество в военное время раскрылось, и были даже заведены уголовные дела о фиктивной «покупке казаками сукна, фуража и даже ружей в зоне аванпостов и разъездов». Тот же автор вынужден признать, что «реквизиция для обеспечения казачьих войск происходила не только у неприятеля, но и у местного татарского населения» (Дидух, 2007. С. 100). Здесь исследователь невольно проговаривается: реквизиция могла проводиться только

и единственно у местных жителей; если бы ценности отбивались у противника, они и назывались бы по-другому — трофеями.

Не отставали от казаков и солдат даже те, кто по долгу службы обязан был следить за порядком и соблюдением законности, то есть полицейские исправники. Посланный Таврическим гражданским губернатором «для наблюдения за татарами» в Евпаторийский уезд исправник Максимович, командуя сотней казаков, применял к мирному населению карательные меры, явно ничем не спровоцированные. Российский генерал-адъютант Э.И. Тотлебен выразил своё возмущение создавшейся в русских тылах ситуацией вопиющего беззакония. Он приводил примеры жестокой расправы над невинными, когда этот исправник «...начал наказывать и грабить [татар] во всех деревнях; [а] казаки насильственным образом оскорбляли женщин (то есть насиловали татарок. — В.В.); в деревне Тшей засеки 7 человек и при этом объявляли, что с приходом из России войск все татары будут перерезаны» (Тотлебен, 1893. С. 532).

Позже известный историк Крыма сделал более глубокий анализ действий этой казацкой банды: «...исправник Максимович, пользовался в Евпаторийском уезде славой отважнейшего грабителя... Лишь только появились турки, в уезде не осталось никого из начальствующих и влиятельных помещиков, он понял, что настало время полного, безотчётного самовластия и всецело предался ему... Имеяжитое на службе имение, он сначала перевозил в него бесцётное количество зерна, собираемого из ям, принадлежавших татарам, ушедшим в Евпаторию, и захватывал со степей их стада... Зерно и скот немедленно отправлялись для продажи на рынки Симферополя. Впоследствии, когда находки эти сделались редкостью, Максимович без церемонии захватывал рогатую скотину, где бы она не встречалась и кому бы ни принадлежала. Похождения эти он нередко переносил и в соседние уезды...» (Кондараки, 1883 «а». С. 5).

Короче, имя Максимовича и его людей стало притчей во языцех, но он был неуязвим и оставался безнаказанным до самого ухода на покой. При этом может невольно возникнуть вопрос: почему так случилось, разве не рисковал по службе brave исправник? Ответ даёт другой автор: «По бумагам, реестрам, входящим и исходящим, он был примерным, зорким хозяином уезда. В донесениях начальству он всегда в таких случаях писал: „Удостоверено вполне, что такой-то имел неуклонное намерение сбыть свой скот в неприятельский лагерь, а потому, к предупреждению этого, мною приняты надлежащие меры“. Рапорт послан, скот пристроен в исправничих загонах, и делу конец» (Крым, 1930. С. 109). То есть выручала всегдашняя подозрительность российского начальства в отношении крымцев: стоило заявить о готовящейся «измене» — и такая информация бралась тут же на веру, после чего отпускались любые грехи, прошалось любое насилие над крымскотатарским крестьянином...

Наконец, конфискации скота проводились и в качестве средства принуждения населения к безвозмездному труду. Так, командир казачьего полка генерал Краснов в начале октября 1854 г. «отобрал у татар окрестностей Саки и Контугана до 4000 [голов] различного скота и сдал оный в Бахчисарае, сказав татарам, что возвратит им этот скот, если они перевезут в Симферополь 3000 четвертей муки, находящейся в Сакском провиантском магазине». Понятно, что на умыкнутых таким образом коров и лошадей можно было махнуть рукой, это-то было ясно

сразу: «Отобранные без разбора стада гибнут бесполезно от голоду и жажды и впоследствии едва ли будет возможно удовлетворить всех обиженных», melancholically замечает русский офицер (РГИА. Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 10 об.—11).

Огромные размеры принял старый российский порок, вымогательство: «... патрули, разъезжая по губернии, беспрестанно захватывали несчастных татар под предлогом, что они намереваются перейти к неприятелю и заставляли их откупаться, а в случае отказа представляли их начальству как дезертиров и изменников. Этот предлог сделался для казаков источником верного дохода и безнаказанного грабежа. Едва зажиточный татарин выходил из деревни хотя бы за водою, казак ловил его на аркан и требовал от 10 до 50 руб. серебром выкупа; если он не заплатит, представит его как перебежчика, покушавшегося пробраться к неприятелю. Разумеется, что большинство, понимая невозможность доказать свою невинность, отплачивалось, а тот, что не мог, не хотел или слишком полагался на свою невинность, передавался в руки военного начальства, которое, не имея ни возможности, ни времени разбирать подобного рода дела, и кроме того более склонное предполагать в татарине изменника, отправляло всех без разбору за пределы Крыма. В последствии, хотя и наряжены особые комиссии для разбора этих арестантов, но был ли какой-нибудь способ проверить доказательства злонамеренности или невинности там, где не было ни документов, ни свидетелей, ни возможности улики на очной ставке, потому что едва ли сотый из представленных татар знал имя казака, его невинно захватившего» (Левицкий, 1882. С. 605–606).

По деревням постоянно проводились обыски, во время которых пропадало множество ценностей и просто самых необходимых вещей: всё это сбывалось казаками и солдатами среди городских мешан или обменивалось на водку. Если где-нибудь обнаруживали старые, «заржавленные, Бог весть с каких времён валявшиеся шашку или ружьё, то хозяина этого „оружия“ уже считали тяжёлым преступником: закованных в кандалы их заключали в тюрьму и высылали из Крыма во внутренние губернии. Аресты были до того неразборчивы, что между узниками попадались 90-летние старцы и малые дети. Как ни неопасны, казалось бы, были преступники этих возрастов, но и их, еле двигавшихся, этапом отправляли в ссылку на общем положении» (Гольденберг, 1883. С. 72). Академик В.Х. Кондараки лично видел «в Симферопольской тюрьме 90-летних, едва движущихся татар и малолетних детей их в кандалах, будто бы скрывающих оружие, с целью употребить его против нас. Грустно подумать, что может быть и до настоящего времени томится в изгнании подобные люди» (Кондараки, 1875. Т. XIII. С. 142).

Таким образом, было бы ошибкой считать, что крымские татары в годы войны страдали только от неуправляемых казаков и недостаточно жёстко контролируемых солдат. По свидетельству евпаторийского чиновника Н.И. Казначеева, самую «скверную память оставила по себе русская армия [в целом]. Это был чистый разбой, грабёж, насилие, производимое не солдатами, а офицерами и генералами. Военное гражданское начальство, племя служилых военных и гражданских чиновников точно будто составило общий заговор для разграбления края... Французы и англичане (кроме Керчи, где действовал англо-турецкий легион) нигде почти не производили грабежей...» (цит. по: Аксаков, 1991. С. 407).

Со временем местное население стало больше, чем «западных иноплемеников», опасаться появления в деревне «наших казаков и даже солдат»

(Марков, 1902. С. 95). И немудрено, так как последние «на весь Крым смотрели как на изменников. Под этой фирмой они угоняли стада овец, выжгали целые деревни... они врываются в дома как завоеватели; били зеркала, кололи перины, мебель, отыскивая сокровища; татары бежали от них то в лес, то к неприятелю. Если собиралась где кучка татар человек в 20, в нее стреляли. Это была тоже измена» (ук. соч. С. 106). При появлении очередного русского отряда или казацкого разъезда «мирные жители... кричали: „Уходите, спасайтесь! Солдаты жгут, грабят, режут!“ Впрочем, так кричали они без изменнических настроений» (Маркевич, 1905. С. 28)<sup>1</sup>.

Как упоминалось, казачий террор действительно принуждал крымцев искать защиты в местах дислокации противника, за городскими стенами. «Опасаясь более всего преследования казаков, татары целыми селениями переселялись в Евпаторию и в ближайшие ее окрестности и гибли там во множестве от голода и недостатка помещения» (Дубровин, 1900. С. 287). Вообще Евпатория представлялась многим крестьянам как единственное надёжное убежище от буйствовавших казаков и солдат. И, несмотря на то что там беглецов ждала гибель от голода и болезней, на северо-западное побережье устремились тысячи семей.

Особенно это переселение усилилось после того, как командующий французским десантом Сент-Арно разослал прокламации, в которых обещал крымцам помощь и защиту от буйствовавших казаков, отчего в город переселилось 20 000 жителей Евпаторийского уезда (Гонения, 1861. С. 973). Возможно, эта цифра и преувеличена: караимский гахам С.С. Бабович утверждал, что к октябрю 1854 г. около ста крымскотатарских селений Евпаторийского уезда уже было полностью покинуто, отчего в самой «Евпатории столпилось до десяти тысяч татар с семействами» (РГИА, Ф. 384. Оп. 8. Д. 434, 22; о том же в: Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 12 об.).

Но тогда же наблюдалось переселение и в обратную сторону, вглубь расположения русских войск, где можно было искать защиты от казаков у воинских начальников. Вероятно, причиной этому движению стала и невозможность проживания в городе, разрушенном столь страшно в ходе военных действий, что отстроить его долго не представлялось возможности, для этого у евпаторийцев, разорённых войной просто не было средств. Развалины и руины встречались здесь и через четверть века (Rugard, 1891. S. 66). Уже в октябре 1854 г. А.С. Меншиков сообщал, что в Бахчисарае собралось «до 50 000 татар», впрочем, потом выяснилось, что он преувеличил число беженцев, непонятно с какой целью

<sup>1</sup> Любопытна реакция русской прессы на «подвиги» казаков и солдат. Она их в упор не видела! Но слепота эта была искусственной: когда союзники разобрали домашнюю птицу и сено в подлупустьях греческих деревнях Байдарской долины, а пару подозрительных лиц обыскали, то корреспондент одной из петербургских газет возмутился: «Не возьму в толк, на основании каких прав, каких законов Англо-Французы при набегах в неприятельской земле взяли в обычай отыскивать шпионов». И это при том, что, как признавал сам автор, арестованных отпускали, а деньги, изъятые при аресте, возвращали, скрупулёзно пересчитав (Сев. Пчела, 17. 11. 1855). Забавно было бы предложить уральскому или донскому казаку вернуть деньги татарину, оказавшемуся невинным! Наверняка станичник с коня бы свалился от изумления...

(Маркевич, 1905. С. 29), возможно, для увеличения сумм, которые он надеялся получить для прокорма этих несчастных.

Как сообщал анонимный современник этих событий, «Обратное движение татар в скором времени было остановлено жестокими наказаниями, которым они подвергались в отряде генерала Корфа, где, без всякого разбирательства, одинаково строго обращались как с виновными, так и с теми, кто сами приво-дили виновных к начальству; тех и других, без различия, наказывали нагайками и переселяли к северу от Перекопа» (Гонения, 1861. С. 973).

Русские помещики, чьи хутора и усадьбы также страдали от казачьих и солдатских грабежей, отправились с жалобой к губернатору Н.В. Адлербергу. Не осмеливаясь гневить начальство, они указали, что ночные грабители — крымские татары и турки. Но тот, знавший, в чем дело, прогнал их, в бешенстве заявив: «Татары не грабят и не бунтуют, и бунтовать не будут — бунтуете вы!» (Раков, 1904. С. 24). Понятно, что именно имел в виду старый служака: помещики «бунтовали татар» своим немилосердным отношением к этим полукрепостным ещё в довоенное время. И в этом своём твёрдом убеждении губернатор был далеко не одинок. Его мнение разделяли наиболее честные из армейских офицеров. К ним принадлежал всё тот же майор Е.Е. Гангардт, человек далеко не сентиментальный и поначалу даже относившийся к крымским татарам довольно предубеждённо.

По долгу службы специально занимаясь этой проблемой, он сообщал в своих рапортах от 1 и 6 октября 1854 г. среди прочего следующее: «Налобно удивляться, что врождённая склонность татар к грабёжам не увлекла толпу в убийство и к дальнейшему возмущению в местах Крыма, долго остававшихся без [российских] войск. Я убеждён, что изыскания серьёзного следствия докажут, что в татарском народе далеко нет того духа измены нашему правительству, какой в нём предполагают и потому следовало бы принять решительные меры, чтобы жалкое население многих деревень Евпаторийского уезда, разбежавшееся от страха, что казаки их перережут и лишившееся своего имущества, не погибли от голоду и стужи с приближением суровой зимы, да и с татарами других уездов, разорённых военными потребностями, надо бы поступать с большим человеколюбием... Я нарочно заезжал в село Курулу к известному караиму Симону Бобовичу. Он не выезжал оттуда. По его словам, живущие на его землях в четырёх деревнях татары непричастны беспорядкам, никого не грабили... Он говорит, что известный муруза Мемет-бей (очевидно, князь Балатуков. — В.В.), уездный кадий, три главные евпаторийские духовные лица и все караимы, несмотря ни на какие угрозы [турок], решительно отказались принять требуемое Пашею подданство султана» (РГИА, Ф. 1286. Оп. 15. Д. 1560. Л. 12).

Аналогичная информация шла и с Южного берега, а именно о том, что основная масса населения сохранила верность Российской империи. Так, сообщалось, что во многих десятках деревень Байдарской долины «большая часть татар уходит при приближении неприятеля и только две деревни, находящиеся в районе лагеря [союзников], преданы им вполне» (РГИА, Ф. 1286. Оп. 15. Ук. дело. Л. 13 об.).

Весной второго года войны экономическая жизнь крымских татар в неоккупированной части полуострова вошла, благодаря «фуражным реквизициям», в жесточайший кризис. Здешние деревни, в основном животноводческие, были

практически лишены властями корма. Хотя сена в первый военный год было накошено «очень много», но его «стало ненадолго, так как проходившие полки истребляли его самым немилосердным образом — лошадей пускали прямо к стогам, без привязи, и они в одну ночь вытаптывали и портили больше, чем съели бы в неделю. Но этого мало — сено служило топливом» (Стулли, 1894. С. 515). И это в Крыму, где топлива всегда в избытке; даже в степи крымцы никогда не покупали дров, топя кизяком и однолетним полукустарником-кураем! В Бельбекской долине по той же причине плодовые «сады были вырублены наполовину, а виноградные истреблены совершенно и их пришлось разводить вновь» (Ханацкий, 1867. С. 187).

Страдали и постройки, причём не от огня артиллерии в прифронтовой полосе, а в глубоком тылу: «Истребительная сила наших солдат проявилась не на одном селе; стоило какому-нибудь отряду переночевать в деревне, и наутро большая часть изб, оставленных хозяевами, оказывалась без дверей и без крыш; и то и другое шло на костры, и всё в присутствии того же обычно растущего кустарника. Разрушения вызывались даже не какую бы то ни было потребностью, а производились часто от скуки (выделено мной. — В.В.)». После месяца такого постоя обычно «деревня была опустошена, не оставалось ни одной овцы, ни одного вола, ни зерна хлеба, ни клока сена или соломы» (Стулли, 1894. С. 516, 517).

Сплошным кошмаром для крестьян Евпаторийского уезда стала история многомесячных попыток русских войск взять город. Здесь осенью 1854 г. осталось всего 1200 чел. союзников. Против них под командованием генерал-адъютанта Корфа выступило 7000 чел. русских драгун и казаков, которым было придано 32 полковые пушки. На протяжении осени и зимы эти полки неоднократно атаковали горстку союзников — и каждый раз безуспешно. Раздражённые тщетностью своих действий, казаки и кавалеристы Корфа отводили душу на крымскотатарских деревушках уезда. В результате на огромной степной территории, на расстоянии 12–13 часов пути от города во всех направлениях «озимые поля были вытоптаны, все деревья выкорчеваны, деревни обращены в золу и пепел (eingeschert), и все хутора опустошены. Вся эта местность пала жертвой мародёрства и опустошения» (Steinhard, 1855. S. 38–39).

Причём в этом насилии над мирными жителями своей страны, позорном для любой армии просвещённого XIX века, участвовали не только солдаты, но и их командиры. Более того, как упоминалось выше, именно последние становились инициаторами беззакония.

«Мучительно размышлять о том, — писал ещё в первый год войны английский историк и этнограф, которого она застала в Крыму, — что нынешняя война станет для них (то есть крымских татар. — В.В.) причиной дополнительных бедствий, остановит их занятия хозяйством, отымет у них всё состояние для того, чтобы поддержать войска их монарха, и всё это не принесёт им абсолютно никаких благ, как бы удачно для союзников ни закончилось это дело» (Milner, 1855. P. 367). Учёный как в воду смотрел. Он слишком внимательно изучил крымскую обстановку ещё в мирное время, чтобы сделать верный прогноз на будущее, которое никак не могло быть для крымских татар более или менее сносным. Причём, действительно, при любом исходе войны. Но предвидеть то, что вынес Евпаторийский уезд, он был, конечно, не в состоянии.

#### в) Вклад крымских татар в оборону Крыма

В первые же дни после объявления войны таврический муфтий Сеид-Джелил-эфенди обратился к мусульманам Крыма с воззванием. Духовный наставник говорил правоверным, что они «должны быть искренне преданы царю и отечеству и для них не шадить ни крови, ни жизни» (Материалы, 1871. Вып. 1. С. 252). Указание муфтия, обладавшего непререкаемым авторитетом, исполнялось почти буквально. Крымцы с готовностью свозили на приёмные пункты всё необходимое для армии, прежде всего продукты питания и фураж. Впрочем, вряд ли это было выражением одного только послушания муфтию. Ранее, ещё при входе армии в Крым, «татары в прибрежных селениях везде радушно встречали казаков, особенно в д. Дерекое Ялтинского и Кутлаке Феодосийского уездов... Большое радушие обнаружили и ногайцы дер. Кульчик и Мустапой. То же было и в Перекопе. Государственные крестьяне — татары Перекопского и Евпаторийского округов сделали пожертвования деньгами, хлебом и скотом на 3700 руб. Кроме того, татары деревень Ишунь, Айбар и Трёх-Аблам пожертвовали улучшенной пищей на 7000 руб. ...Радушно угощала войска также Керчь с прилегающими к ней аулами» (Маркевич, 1905. С. 6–7, 8).

В то же время городские муллы и имамы обратились к русским властям с выражением своей готовности всячески поддерживать их в борьбе с Турцией. Иногда указывается, что, возможно, эта инициатива была связана со ставшим им известным, действительно уже готовым планом правительства о депортации всех крымских татар «в одну из отдалённых губерний» (Дубровин, 1900. Т. I. С. 285). На этот раз осуществлению программы высылки крымцев помешала десантная операция союзников, и большинство мусульман было оставлено в покое. К тому же есть сведения, что инициатива мулл была вызвана не страхом перед депортацией, а инициативой, имевшей совсем иные корни, скорее верноподданнического характера<sup>1</sup>. Вскоре выяснилось, что отмена депортации стала великим благом, истинным спасением для действующей армии, поскольку крымские татары стали источником постоянной помощи русским войскам.

Первая военная зима была необычно снежной, а наступившее в марте таяние вызвало такую распутицу, что практически прекратилось снабжение войск даже сеном. «Доставка сена из дальних селений была совершенно невозможна, а ближайшие деревни давно уже истощили свои запасы. Тем дороже были теперь такие пожертвования, как, например, Армяно-Базарского мещанина — татарина Джумама Бурмамбетова, пожертвовавшего 800 пудов сена, несколько татар пожертвовали по 1 скирде сена... Необыкновенное усердие и даже самоотвержение выказали при переправе № 4 и 5 лёгких батарей из Мелитополя [через Сиваш] государственные крестьяне-ногайцы... Байтемир Кабардинов и жители того же аула Ислям Газы Шаманаев, Койлу-бай Сеит-оглу и Джилякайдар Маультеев, в продолжение целого дня, в свирепый ветер и холод, не выходили из воды,

<sup>1</sup> «Какий Сеит Абдулла-эфенди... пригласил магометанское духовенство Симферопольского уезда, не участвовавшее в натуральной повинности (то есть, освобождённое от неё положениями Духовного ведомства. — В.В.), к пожертвованиям, и было выставлено 460 подвод» (Маркевич, 1905. С. 8)

служба проводниками при следовании этих батарей в глубокой воде на протяжении более полуверсты» (Маркевич, 1905. С. 7–9).

Для татар северной части бывшего Крымского ханства не было, конечно, секретом, что их соотечественники с Южного берега и северо-западных степей подвергаются казаками и солдатами жестокому насилию. Не сегодня-завтра аналогичные репрессии могли быть начаты и против них. Но невзирая на мрачные предчувствия татары, продолжали оказывать помощь «своим», в первую очередь раненым: «...в Симферополе в феврале 55-го татары деревень Котур и Конбар оказали сильное и неусыпное содействие в отводе квартир и предоставлении удобств, добровольно и охотно оказывая помощь раненым, в особенности в деревне Конбар мурза Ислям Джаминский а в деревне Комур поселянин Сеит Мамут Бекир-оглу. Они отдали добровольно лучшие помещения в домах, постели, одеяла, простыни, помогали сносить больных и разносить им пищу. Некоторые татары Евпаторийского уезда были впоследствии представлены к получению медали за усердие. Агаджан-мурза Караманов (дер. Шули) получил золотую медаль на Владимирской ленте» (Маркевич, 1905. С. 30–31).

В 1855 г. руководство Симферопольской гимназии отказалось разместить в своём здании раненых. В то же время крымские татары продолжали отдавать для этой цели собственные дома. Штаб-ротмистр Селамет-мурза Крымтаев отдал свой двухэтажный дом под больницу. Дом штаб-ротмистра Аргинского вместил 40 человек, не меньшее число раненных русских солдат и офицеров вместились в симферопольский дом М. Балатукова. Небогатые крестьяне деревень Ялантук, Буюк Мамчик, Когенлы, Бешуйла, Бек-булатчи, Джага, Китай Перекопского уезда, деревень Киабак, Экибаш, Менлерчик Евпаторийского уезда и других теснились в домах соседей, отдав свои под лазареты (ук. соч. С. 43–44, 47).

Можно привести и другие сведения о различном отношении к нуждам армии крымцев и российских официальных и частных лиц. Раненные солдаты страдали от кожных паразитов, а российские гражданские власти установили в Симферопольской общественной бане таксу военного времени (35 копеек серебром!), причём платить за помывку должны были сами раненые, у которых часто не было таких денег. Тогда «бахчисарайский мешанин Девлетша Мустафа-оглу отдал свою баню с отоплением и водой для больных», такой же выход был найден в Карасубазаре, где «купец Халиль Ахмет-оглу Касап и городской староста Смаил Мемет-оглу построили баню» для раненных солдат (Там же. С. 65, 99).

Вообще проблема с российскими ранеными была серьёзной, причём не только по объективным причинам. Российские эвакуаторы завозили несчастных «прямо в обывательские дома и сваливали кому попало, не осведомляясь после, жив ли, умер ли. Мне показывали сарай, — пишет свидетель, — где вповалку на голой земле, лежали смертельно раненные. Солома была роскошь не для всех. Все публичные здания и множество частных завалены были ранеными, оставленными не только без лечения, но и без помощи, без присмотра» (Марков, 1995. С. 119). О чём говорить, если на вторые сутки после Альминского сражения летом 1854 г. крымский помещик, ротмистр Али-бей Хункалов сообщил, что несколько сотен «раненых за р. Бурлюком забыты и просил доктора и санитаров». Так он спас около 500 человек русских солдат (Маркевич, 1905. С. 38).



Байдарская долина во время Крымской войны. Английская гравюра в Illustrated London News. Из собрания музея Ларишес

Весьма тяжкой была подводная повинность, отвлекавшая массу рабочей силы и скота из разорённой крымскотатарской деревни. Нехватка фуража для отправлявшего эту неотложную военную обязанность рабочего скота вела к массовому его падежу. Очевидец подсчитал, что вдоль дороги Бахчисарай — Джанкой в среднем на 1 версту приходилось 120 трупов татарских волов и лошадей (Дубровин, 1900. Т. II. С. 358). Кроме того, «кое-где валялись и тела умерших в дороге погонцев». Только в окрестностях Симферополя в январе 1855 г. пало около 3000 голов рабочего скота (Маркевич, 1905. С. 192–193). Для уборки этой падали также использовались крымцы и цыгане, согнанные в особые «команды».

Современники утверждают, что уже к весне 1855 г. «край был совершенно истощён, и в особенности пространство между Севастополем, Симферополем и Евпаторией». Разноплеменные враги брали крымские города и раньше, на протяжении всей их истории. Новым, что принесла эта война, стало явление, для крымской земли неслыханное: по улицам городов и сёл побрели нищие-татары (Гафури-ага, 1888. С. 10), взрослые и малыши! Кстати, как утверждали российские историки, именно по этой причине — хищнического разорения Крыма и непосильных повинностей с татар, ранее создававших экономическую основу тыла, — «Севастополь должен был пасть сам собой» (Дубровин, 1900. Т. II. С. 360; см. также в: Дубровин, 1900. Т. III. С. 25). Теперь это был вопрос времени.

Особо следует сказать о материальной помощи крымских татар армии в течение второй половины войны, когда особенно явным стало безвыходное

положение, в котором оказалась масса русских военнослужащих, главным образом по вине администрации — как гражданской, так и военной. Упоминание всех мелких пожертвований заняло бы слишком много места, поэтому назовём самые значительные вклады. Крымские татары Евпаторийского уезда пожертвовали в этот период 3000 рублей и имущества на 700 руб. Карасубазар с окрестностями выделил для подвоза раненых и военного имущества 4205 бесплатных подвод, а также 5428 пудов сухарей, 3500 тачек для фортификационных работ и 500 конных бочек для подвоза воды. Один только полковник Г. Р. Гербель, командовавший подвижным конным парком, получил безвозмездно 2500 татарских лошадей и 968 телег, общей стоимостью около 80 000 рублей (Маркевич, 1905. С. 104, 110, 112).

Запорекопские ногайцы также не остались в стороне. Они пригнали в Дуванкой под Севастополь 940 голов рогатого скота стоимостью 16 000 руб серебром; пожертвовали подвод с лошадьми на 15 000 руб.; а когда из-за преступной бездеятельности и воровства царских интендантов кавалерийские лошади оказались без амуниции, то крымские татары подвезли и нужное число седел — 963 штуки (Романюк, 1904. С. 46).

Наконец, есть сведения о том, что крымские татары принимали и непосредственное участие в военных действиях. Речь идёт о личном составе Лейб-гвардейского крымскотатарского эскадрона. В тяжёлые для российской армии месяцы блестящие столичные лейб-гвардейцы были брошены в мясорубку Севастопольской страды и исполнили свой солдатский долг наравне с другими оборонцами (Акчокраклы, 2004. С. 8). Кроме того, в обороне Севастополя принимали активное участие два крымскотатарских дивизиона — факт, странным образом не отмеченный ни одним историком Крымской войны (Когонашвили, 1995. С. 151).

Итак, мы рассмотрели экономическую и военную стороны жизни татарских масс в годы войны; обратимся к политической. Попробуем узнать, не было ли среди них, как уверяет нас П. Н. Надинский, «измены» трону и отечеству. Начнём с того, что сама постановка вопроса об измене угнетённых аборигенов своим колонизаторам весьма проблематична, идет ли речь о русско-крымских или, скажем, англо-индийских отношениях в прошлом веке. Во всяком случае, автор не решился бы выдвигать столь серьёзное обвинение, не снабдив его понятными оговорками. Впрочем, полемика на эту тему увела бы нас в сторону от основной темы. Поэтому ограничимся той самой истиной, что познается в сравнении. Выше мы видели, как сильна была настроенность против войны российского населения, в том числе и крестьянства, как откровенно выражались там даже не пацифистские, но явно пораженческие настроения. Приведем на этот счёт ещё один пример, последний. В одном из писем Н. Чернышевский говорит:

«Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения: крепостные от помещичьей неволи, раскольники... — свободы вероисповедания...» (Чернышевский, 1950. Т. VII, С. 102). Поразительное свидетельство: народ предпочитал свободу победе в войне, падение крепостничества — захвату новых земель и племён!

Увы, столь современным мышлением население Крыма не обладало. Татары не выразили, по словам свидетеля войны, «ничего своего недовольства против наших властей», «они были кротки и умеренны» и «во весь период Крымской войны



«Российский мыльный пузырь лопнул!»  
Из английского журнала Punch  
за 3 октября 1854 г.

не заслуживают ни малейшего упрека» (Раков, 1904. С. 22, 39). Может быть, они боялись единственно жестоких законов военного времени? Отнюдь, нет. Когда в сентябре 1854 г. при изменении обстановки на фронте русская администрация сбежала во главе с губернатором из столицы края, «уступив свою власть татарам», то... ничего не произошло. Разве что возникла некая сумятица среди крымцев, не знавших, кому теперь оставлять подать: «Никто ничего не знал, большинство городов лишилось своих чиновников» (Дубровин, 1900. Т. I. С. 294—300). Впоследствии вернувшиеся в Симферополь и устыдившиеся собственной трусости чиновники и мешане обнаружили, что «все татары и другие мелкие жители (очевидно, «нацменьшинства». — В. В.) вели себя так благоразумно и прилично, что возвратившись из предпринятого путешествия — нашли всё в целости, нетронутым, как оставили незапертым, в нарочно открытых комодах и сундуках...» (Завадовский, 1885. С. 174). Более того, крымские татары, оставшись без власти, по сути в межфронтальной полосе, как и ранее, «по обыкновению отбывали без малейшего побуждения все земские повинности...» (Раков, 1904. С. 39).

Впрочем, единичное «политическое» выступление татар всё же было: один крымский землевладелец сообщает, что они «сильно избili» помещика Веснинского, который жестоко их притеснял в довоенное время (Стулли, 1894. С. 497, 499). Но это, конечно же, не было национальным выступлением. «Едва ли была бы на их месте какая-нибудь другая народность столь незлопамятна, имея такие возможности к мести», — раздумчиво завершает свой пассаж этот известный в своё время знаток деревенской жизни.

Так говорили те, кто всю войну провел в Крыму. Петербургские же публицисты подняли в эти годы шумную клеветническую кампанию против «изменников-татар», подхваченную шовинистическими кругами российской провинции. Однако верить этим измышлениям могли лишь там, где не знали крымских





Надгробия над могилами турецких военачальников, павших в Крымской войне. Двор гёзлёвской Хан-Джами. Фото автора

татар. И если в России, как замечает Е. Марков, сам факт «измены» был «вне всякого сомнения», то в Крыму, продолжает он, «я не встречал ни одного старожилы, который не презирал бы от всей души этих гнусных нареканий на татарина, сделавших несчастье целого края. В один голос говорят, что без татар мы пропали бы в крымскую войну: все перевязочные средства и все припасы были исключительно в их руках» (Марков, 1902. С. 103).

### г) Фальсификация истории Крымской войны

Но даже авторы «гнусных нареканий» середины позапрошлого века не приводили каких-либо конкретных фактов широкой «измены народа» (если только в науке допустимо такое понятие). Очевидно, они опасались немедленного позорного разоблачения: Россия была полна уцелевшими ветеранами Крыма. Ныне этого можно не опасаться — и в 1950-х гг. появляются всё новые подробности этой «великой измены». Такая, к примеру: «В Евпатории, находившейся в руках противника, формировались военные отряды из добровольцев-татар» (Идиинский, 1955. С. 1, 131). Снова чрезвычайно серьёзное обвинение, даже чем-то перекликающееся с более поздними...

Что же произошло в Евпатории, ведь дыма без огня не бывает? Выясняется, что действительно крымцы организовали отряд милиции в 800 человек (запомним эту цифру!) для защиты от пришлых и собственных, казачьих мародёров («для разбегов вблизи города»). Но когда союзники стали их притеснять муштрой и т. п., «то большая половина татар разбежалась» (Дубровин, 1900. Т. I. С. 289). Итак, огонь в самом деле был, но какие же тучи дыма ухитрились извлечь из него советские авторы! Утверждают, например, что «со стороны Евпатории постоянно существовала угроза тыловым коммуникациям русской армии, сконцентрированной под Севастополем» (Идиинский, 1952. Т. I. С. 131). Однако заметим, что о столь важном стратегическом факторе не упоминает ни один спе-

циалист по Крымской войне. Очевидно, они не располагали цифрой 10 000 человек для этого «татарского соединения», которую Надинский по понятным причинам приводит без какой-либо ссылки на источник.

Кстати, об источниках. Как известно, бывают заблуждения добросовестные, — когда автор не располагает закрытыми архивными данными. Но здесь случай иной: Надинский имел в своём распоряжении тот же круг источников, что и более поздние авторы, сделавшие тем не менее совершенно противоположный вывод: инициаторы попыток организовать татар в Евпатории в вооружённые отряды, «потерпели неудачу» (Крым, 1988. С. 41). И даже историки — не специалисты по Крыму говорят мимоходом, как о факте бесспорном и общеизвестном, что когда в Крыму высадились союзники, «то татары не поддержали их» (Гумилев, 1988. С. 6).

К сожалению, до сих пор не утратила силу истина, высказанной более века назад: «Забывая, что ни справедливость, ни административная добросовестность не позволяют брать отдельные случаи для того, чтобы возводить хулу на целый народ, враги татар воспользовались двумя или тремя случаями из последней войны (то есть 1853—1856 гг. — В.В.), доказывающими только, что и между ними есть тоже негодяи, чтобы осудить всех мусульман Крымского полуострова и свалить на них неуспешный исход последней кампании... Разве и в нашей армии... не было изменников, грабителей, дезертиров, одним словом — примеров вероломства, отвратительного сребролюбия, гнусного забвения чести и долга и низкаго предательства? На чём же основываются теперь обвинения, негодование, подозрения и клеветы, которыми осыпали в последнее время татар Крымского полуострова?» (Левицкий, 1882. С. 604—605).



Редкий случай работы татар на союзников по найму. Единственный снимок такого рода из сотен фото, сделанных англичанами в Крыму и, очевидно, вообще первое фотоизображение крымцев. Fenton, 2001

## д) Феномен «российского патриотизма» крымских татар

Впрочем, более интересны не столько ответы на такой недоуменный вопрос (они очевидны), сколько причины пассивности или даже активной помощи своим угнетателям, которые отличали крымских татар в судьбоносные для собственной нации годы Крымской войны (а также до и после её). То, что для народа предпочтительнее был бы во всех отношениях возврат к османскому протекторату, — бесспорно, ибо с приходом русских, по словам В.О. Ключевского, «лёгкая зависимость татар от турок сменилась тяжёлой от освободителя». Выше упоминалось, что и российское правительство, зная свои тяжкие грехи, было абсолютно уверено в неизбежном и вполне естественном выступлении крымцев против колониального ига в любой подходящий момент<sup>1</sup>. Причём настало, что планировало накануне войны их выселить. Да и после войны ещё много лет русская общественность не могла опомниться от удивления, почему «после вопиющих жестокостей и преследований, в самых широких размерах практиковавшихся в дореформенное время, татары... не воспитали в своих сердцах самую неприимую ненависть к нам, русским» (КВ, 1896, № 74).

Законная, вполне естественная и, уж конечно, извинительная эта ненависть упрямо не возникала. Никак не могло вспыхнуть и порожаемое ею восстание, реальная борьба за поправленные свои права. Не то, что восстания, мелкого вооружённого конфликта не последовало даже в наиболее благоприятный для этого период. То есть в войну, когда он мог быть поддержан всей мощью союзников, среди которых были и единоверцы крымских татар — турки. Далее, не стоит забывать, что именно в эти годы на Кавказе армия Шамиля вела отчаянную войну, «принесшую жителям гор наибольшую славу» (*Маркс, Энгельс*. Т. XII. С. 119). Причём это была действительно всемирная, неугасающая до сих пор слава: только в Европе и только в 1854—1860 гг. было издано более 30 книг о борьбе горцев Кавказа, да и в конце XX в. имя Шамиля вдохновляло героев афганского и чеченского сопротивления российской империи (*Каппелер*, 1999. С. 132—133). Между прочим, соседи-турки, гарантировавшие великому имаму предоставление свободы и независимости (для края северные границы предполагалось при этом сдвинуть до Терека и Кубани), свое слово держали. Почему же столь соблазнительный пример никак не подействовал на крымских татар? Чем объяснить их непоколебимую лояльность по отношению к царизму?

Причин здесь несколько, и все они лежат на поверхности. Во-первых, это вековая отграниченность, изолированность сельского по преимуществу населения от единоверческой массы, в которой только и могли вырваться радикальные

<sup>1</sup> Для такой уверенности имелись и внешние основания. Агрессия России на восток и юг издавна вызывала яростное вооружённое сопротивление коренных народов соответствующих территорий. Поочередно против отрядов захватчиков поднимали оружие казанские татары, башкиры, марийцы, сибирские татары, ханты, манси, якуты, буряты, чукчи. В те самые годы, когда завершалась аннексия Крыма, на соседнем Кавказе разгоралось многолетнее ожесточённое сопротивление агрессору, вдохновлённое средневековыми суфийскими орденами-братствами на основе практики мюридизма. Вначале шейх Мансур поднял чеченцев, затем уже в 1820-х гг. суфии Чечни и Дагестана пошли за Гази Мухаммедом, после смерти которого (1832 г.) движение в 1834 г. возглавил аварец Шамиль.

и, главное, единые решения такой важности (национального масштаба). Причём, сохранялась изолированность не только от «большого мира», но и гор от предгорья, предгорья от степи. Разделены были друг от друга и отдельные деревни. Говорившие на разных диалектах, крымские татары не могли или не хотели объединиться политически перед лицом общего угнетателя, общей угрозы окончательной ассимиляции.

Во-вторых, в Крыму всегда был силен уже упоминавшийся дух истинного, фундаментального ислама, согласно которому любая власть — от Бога, и уже поэтому не только терпима, но и законна, если она не покушается на мусульманское право и основы веры. В таком случае мусульманин воистину свободен, так как единственный господин над ним — Бог, а это уже завидная судьба для любого правоверного. Россия же пока, до Крымской войны, за исключением отдельных репрессий против мулл, да ликвидации крымскотатарской литературы (часть её была религиозной), в целом ислам не преследовала, точнее, скрепя сердце её была религиозной, в целом ислам не преследовала, точнее, скрепя сердце её была религиозной, в целом ислам не преследовала, точнее, скрепя сердце её была религиозной. Впрочем, часть народа протестовала эмиграцией в Турцию. Конечно, это был пассивный протест, но он вёл абсолютно к тому же результату, что и активный. Разве что кровь при этом не лилась: как писал в начале XX в. историк Е. Фелицын, активно сопротивлявшиеся русским «черкесские аулы выжигались сотнями, посевы их истреблялись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявившие покорность, выселялись на плоскость под управление наших приставов, непокорные же отправлялись на берег моря для переселения в Турцию» (цит. по: *Вишневецкий*, 1998, 244).

В-третьих, за десятилетия российского владычества неизбежно должен был угаснуть любой единственный дух крымцев, по крайней мере степняков (горцы вообще всегда, искони были мирными тружениками-садоводами). Духовные силы этих бедняков, «молча голодающих и молча вымирающих» (КВ, 1896, № 74), по необходимости до конца исчерпывались в аннексированном Крыму борьбой за выживание на оставленных им клочках земли. Положение завоёванного народа безусловно содействовало психологической угнетённости населения, лишённого территориальной основы бытия, какой-то социальной или политической значимости, подверженного изматывающему своей постоянностью ограблению крупными, а ещё более — мелкими агентами российской империи. Сил не хватало ни на культурное, ни на духовное, ни на национально-патриотическое развитие — в то время как кавказцы сохранили в почти непрерывной вооружённой борьбе и высокое чувство воинствующего патриотизма, и сознание межнациональной общности, и сливавшее племена воедино чувство ненависти к страшному врагу, нёсшему на своих штыках порабощение всем свободным и вольнолюбивым народам.

Нельзя закрывать глаза и на полную безнадежность, точнее — самоубийственность вооружённого сопротивления имперской военной машине. Крым — не Кавказ даже чисто географически. Крымская Главная гряда легкодоступна, не говоря уже о занимающих три четверти площади полуострова предгорьях и степи. А то, что в случае вооружённого сопротивления народ будет уничтожен, что будут умерщвлены не только мужчины, но и женщины и дети, показывала практика «замирения» Кавказа, о которой шла речь выше. Там, на соседней, тоже тюркской территории творилось *такое*, чего мы и до сих пор толком



Бахчисарай во время Крымской войны. Английская гравюра в Illustrated London News. Из собрания музея Ларишес

не представляем<sup>1</sup>, но от современников-то этот ужас скрыть было трудно, контакты между Крымом и Кавказом поддерживались традиционно. Да и эмигрантские волны, вызванные ермоловским геноцидом, постоянно катились в Турцию не только вдоль восточного берега Чёрного моря, но и через Крым, где главным отправным портом для них служили Феодосия, в меньшей степени — Керчь.

Наконец, какое-то значение имело «патриотическое воспитание» той эпохи. Имперская идеологическая машина умело манипулировала такими понятиями, как воинская честь, верность верховному господину, признательность за какую-никакую защиту крымскотатарской исторической родины дипломатами Петербурга и так далее. Непрерывно, десятилетие за десятилетием работала школа

<sup>1</sup> Объективной истории завоевания Кавказа пока не существует. Лишь изредка, по большей части в публицистической периодике, встречаются отдельные блоки информации, впрочем, помогающие составить общее впечатление об этой человеческой трагедии. В качестве примера приведём один из приказов российского главнокомандующего на Кавказе, причём на начальной (до 1827 г.), то есть не самой кровавой стадии войны: «Если жители дадут средство к побегу вора (так в армейских документах официально именовали военного противника, защитника мирного населения от прямой агрессии. — В.В.), то целое селение предаётся огню... Если же, по исследованию окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников, не защищались, то деревня истребляется, жён и детей вырезают» (цит. по: Новое Время, 1995, № 5, С. 38). Этот приказ подписал А.П. Ермолов, «гигант седой» (Пушкин) — именно так именовался в великой русской литературе палач, не шадивший младенцев, а безвинных стариков-мудл вешавший за ноги...

покорности режиму. И, как заметил один немецкий историк культуры, в этой школе народ «отучился и от ненависти, и от готовности к жертвам. Потому что и то, и другое питается образом порабощённых предков, а не идеалом освобождённых внуков» (Беньямин, 2000, 86).

«...Они послушны до чрезвычайности, так что в высшей степени способны к восприятию (великорусской, имперской. — В.В.) цивилизации и культуры», — не может не похвалить покорность и восприимчивость туземцев французский путешественник, посетивший Крым ещё в довоенную пору, и пытавшийся найти истоки этих качеств: «Эти татары, лишённые каких бы то ни было наставлений, не ведомые ничем иным, кроме как признанием Высшей Сущности (d'un Etre Supreme) и [принципом] того естественного добра, которое Господь вложил в души человеческие, эти татары живут, если можно так сказать, в изначальной невинности. Они никогда не бунтуют, никогда не противоречат указам сверху; в них всё — послушание и верность, всё — покорность и преданность» (Besse, 1838. P. 216). С точки же зрения ислама такие конформизм и всепрощение крымцев по отношению к их угнетателям легко возводятся в степень достоинства. И этот вывод не может встретить возражений по своей очевидной бесспорности. Однако вполне допустимы оценки сложившейся ситуации и в ином освещении, отчего результаты такого анализа не могут не измениться.

Бросим взгляд на внутривосточное положение России первой трети — середины XIX в. с точки зрения правящего класса, кстати, весьма многочисленного. Империи не давали покоя, буквально изнурили её два вопроса: кавказский и польский. Горные мятежники-тюрки и городские диссиденты-славяне проявляли равную неустранимость и упорство в отстаивании своих национальных прав. Какие



После войны. Крестьяне собирают металлолом (ядра и осколки) у валов Севастополя. Гравюра М.Н. Из коллекции музея Ларишес

аргументы могли противопоставить этому законному с лобой (кроме имперской) точки зрения поведению российских идеологи и публицисты-политики? Такого рода доводов опубликована масса, здесь не хватит места для простого их перечисления. Но был один, прямо не высказывавшийся, но бывший у всех на уме и оттого едва ли не самый действенный. Сформулировать его можно приблизительно так: «Татары-то в Крыму вон какие тихие и послушные, даром что мусульмане не из последних. Чего же чеченцам надо, не говоря уже о полячишках, как-никак христианах, да и по крови они братья-славяне?». Не находя ответа на этот простой вопрос, недоумевающие чиновники и военные с удвоенной энергией принимались за новые попытки железом и кровью приводить в сознание неразумных чеченцев и поляков. И совесть карателей была чиста — её очищал пример Крыма...

Но кроме исламской и имперской существовала третья точка зрения, внешне-национальная, универсально-этическая. Она в общем-то не изменилась за прошедшие полтора-два столетия, и сегодня мы без долгих размышлений, с тем же правом, что и раньше, можем отнести крымскотатарское всепрощение к числу общечеловеческих достоинств. Хотя, если разобраться, достоинства нельзя было отнять и у горцев Шамиля, и у диссидентов Адама Чарторыйского, хотя политика последних отличалась от позиции крымских мурз-офицеров как небо от земли.

Поэтому, ни в какой мере не обесценивая позицию крымцев, мы тем не менее не можем не отнести её (в сравнении с польско-кавказской) к несколько убогим. Любовь к ближним и дальним — свойство безусловно прекрасное, в том числе и с христианской точки зрения («Возлюби врага своего»). Но любовь становится эфемерно невесомой, плоской, чисто декоративной (декларативной?), утратив оборотную свою сторону, а именно ненависть. Ненависть к угнетателям своего народа, к палачам собственных любимых детей. Герой одного из шедевров мировой литературы, мудрый дервиш Ахмед Нуруддин, проходит путь от человека мягкого, гуманного и всепрощающего, от униженного просителя до незаурядного борца со злом, сильной своей способностью ненавидеть и мстить ради торжества добра и любви.

«То была радостная минута моего преображения...», — вспоминает он миг, когда Бог одарил его, наконец, ненавистью, «Сердце моё обрело опору. Я ненавижу его... Нам не суждено больше расстаться. Она (то есть ненависть. — В.В.) овладела мною, я нашёл её. Жизнь обрела смысл... Любовь и ненависть не смешивались, не мешали друг другу, не могли убить друг друга. Обе они были мне необходимы» (Селимович, 1969. 251, 259).<sup>1</sup> Без этой весомой и необходимой оборотной своей стороны достоин-

<sup>1</sup> Сказанное вполне можно отнести и к современности. Крымские татары не питают ненависти или хотя бы вражды к русским переселенцам в Крыму. И это несмотря на то, что последние попрежнему живут в домах аборигенов, обрекая коренной народ на существование в шкуре бомжей. Более того, неизвестен вообще ни один случай, когда бы бывший жилец татарского дома обратился к властям с требованием возратить ему родовой кров, по той простой причине, что он, законный наследник такой недвижимости, не имеет крыши над головой. И это уже не говоря об участии русской диаспоры в антиатарских погромах 1905–1907 гг., в кампании депортации, в антиатарских митингах 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х гг., продолжающихся и в 2007 году, когда пишутся эти строки. Неужели такая группа населения не заслуживает в глазах крымских татар хотя бы осуждения, не говоря уже о более сильных отрицательных эмоциях? Очевидно, именно здесь самое время повторить недоуменный вопрос древнего пророка: «В какое место вас бить, чтобы вы поняли?».

ство всепрощения и любви неизбежно приобретает черты неполноценности. Оно, повторяю, становится убогим, даже если не сравнивать его с гордой непокорностью тех же чеченцев или поляков XIX, да и XX вв. Очевидно, нелишне привести ещё более жёсткие и жестокие, несмотря на всю свою справедливость, слова упомянутого дервиша Ахмеда: «Неужели неразумные отцы могут так играть судьбами своих детей, оставляя им в наследство страдания, голод, безысходную нужду, страх перед своей тенью, трусость из поколения в поколение, убогую славу жертв?» (ук. соч. С. 336). А также дополнить их мнением другого, более древнего пророка:

«Какой бы вред ни нанесли злые, — вред добрых — самый вредный вред.

О братья мои, в сердце добрых и праведных воззрел некогда Тот, кто тогда говорил: „Это фарисеи“. Но его не поняли.

Добрые *должны* распинать Того, кто находит себе собственную добродетель! Это — истина!

Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания.

Добрые — всегда были началом конца» (Ницше, 1996. С. 214–215).

Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» не колеблясь заклеил неспособность возненавидеть как один из самых презренных человеческих пороков: «Люди холопского звания / Сушие псы иногда. / Чем тяжелей наказания, — / Тем им милей господя». Но если великий русский поэт не остановился перед обличением своих соотечественников, почему этого не можем сделать, наконец, мы? Тем более, что крымские татары понесли от своего вечного всепрощения огромный ущерб не личного, как герой Н.А. Некрасова, а национального масштаба. Имперские (а попозже — и большевистские) власти, ощутив свою безнаказанность, издевались над крымскими татарами не то чтобы более жестоко, чем над кавказцами, но более унижительным, пренебрежительным, позорящим человеческое достоинство образом. Так достоинство традиционной терпимости обратилось в Крыму в свою противоположность, став недостойным Человека.

Крымскотатарские мурзы на протяжении всего периода аннексии просили царей то о создании эскадронов, то об их нероспуске, то о численном расширении своих национальных частей, охранявших, среди прочего, особу императора. Они буквально умоляли дать им возможность послужить режиму, угнетавшему нацию, — как собственную, так и остальные, которым повезло очутиться под пятой российского самодержавия. И это позорное пятно на чести пусть даже крайне незначительной части народа пока не смыто. А жестокая «плата» за такую малопочтенную позицию следовала неукоснительно, что сразу после екатерининского Манифеста, что в XIX, что в XX в.

Некоторые права и даже привилегии были, впрочем, дарованы вскоре после окончания Крымской войны, но опять-таки малой части народа, духовенству, и далеко не в нужном объёме. В 1857 г. был принят *Устав духовных дел иностранных*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Весьма многозначительная обмолвка (обмолвка ли?), ещё раз подтверждающая особое положение Русской православной церкви в империи, где все остальные, кроме православной, веры находились на подозрении, которое в России всегда испытывали к иностранцам, вообще ко всему иностранному.

исповеданий, затем уточнённый и дополненный в 1897 г. В нём объявлялось, что «Нижеследующие чины Таврического магометанского духовного правления свободны от податей, повинностей и рекрутских поборов: муфтии, кады-эскер, уездные кадии, хатыпы, имамы, муллы, маязины и служители при мечетях, миодарисы (мудеррисы. — В.В.), гочи (учителя. — В.В.), начальники текий и шейхи, уволенные за старостью (старше 60 лет) и увечья, дети духовных чинов... В округе Таврического магометанского духовного правления высшее магометанское духовенство состоит из Таврического муфтия, кадий-эскера, уездных кадиев: симферопольского, феодосийского, перекопского, евпаторийского и ялтинского... Кадий-эскер — помощник муфтия, заведует делами по его распоряжению и заступает на его место во время болезни. Хатыпы, имамы и муллы совершают богослужения в мечетях. Миодарисы и гочи причисляются к приходскому духовенству. Миодарисы имеют равные права с муллами, но принимают дела, когда находятся в духовном звании (то есть мулла, хатиша и имама). Гочи приравняются к маязинам и преподают учения в низших магометанских училищах. К магометанскому духовенству принадлежат также начальники текий и шейхи...

Таврическое магометанское правление состоит из таврического муфтия, кадий-эскера и уездных кадиев. При духовном правлении состоит канцелярия из секретаря, столоначальников, переводчика, журналиста (то есть чиновника, ведущего журналы или записи дел. — В.В.) и канцелярских служащих... Секретари, по избранию и представлению Таврического губернатора, утверждаются Министерством внутренних дел. Таврическое магометанское духовное правление владеет мечетями и вакуфами... Медресе и другие училища по распоряжению Таврического магометанского духовного правления учреждаются в каждом селении. В соборную мечеть определяется не более одного хатыпа, имама и маязина... Кандидаты на место муфтия избираются магометанским обществом и один из них по представлению министра Министерства внутренних дел утверждается Высочайшей Властью» (цит. по: Тихонов, 2007. С. 102–103).

Таким образом, некоторые материальные привилегии, полученные служителями культа после Крымской войны, «уравновешивались» усовершенствованной системой контроля за мусульманами Крыма в целом. Эта система, которая сохранялась до апреля 1905 г., фактически отнимала у крымского исламского общества возможность самостоятельно и независимо от государственных чиновников-христиан выбирать себе высших духовных наставников и администраторов. И даже муфтий Крыма теперь, по сути, мог быть избран лишь в случае, если он «понравится» государю императору.

Выше говорилось о том, что после аннексии Крыма множество мечетей и текий было разобрано на строительный камень. Теперь храмов крайне не хватало, отчего строительство новых мечетей на месте разрушенных стало крайне актуальным. Между тем простой воли верующих на возведение своего храма при новой власти было недостаточно. Согласно имперскому Строительному уставу 1863 г. (позднее он был продублирован уставом 1900 г.), построение мечетей «допускалось не иначе как по представлениям от приходов и приходских чинов магометанскому духовному начальству и с утверждения начальства губернского, после надлежащего удостоверения в необходимости сего построения» (Цит по: Тихонов, 2007. С. 104).

Что же для этого требовалось? Прежде всего, приход, насчитывавший менее 200 членов мужского пола (а ведь всего прихожан могло при этом быть, учитывая многочисленность крымскотатарской семьи, более тысячи), не имел права на свою мечеть. Далее, было запрещено строительство новых и восстановление разрушенных мечетей, в местностях, где живут крещённые татары. То есть, достаточно было оказаться где-либо одной-двум семьям ренегатов, и для большинства верующих по обряду предков становилось невозможным иметь свою мечеть, даже на старом месте, взамен древней, разобранной пришельцами на камень. И даже если число прихожан соответствовало требуемой норме, то они могли возводить свою мечеть на выселках, на окраине города или крупного села, но не на центральных площадях селений. То есть теперь грубо нарушалась крымская (и не только крымская, и не только мусульманская) традиция — помещать свои храмы в центральных, самых старинных и красивых кварталах городов и сёл.

Но и это было не всё. Разрешение на строительство мечетей стала выдавать администрация, но лишь по согласованию с епархией. Фактически мусульманское население было окончательно подчинено в делах веры иноверному священству. Собственно, данный факт явственно виден и из другого положения, что предписывало вести всё делопроизводство Таврического магометанского духовного правления исключительно на русском языке, явно, для более удобного над ним контроля. Как знать, не были эти нововведения эхом Крымской войны, чей горький опыт заставил власти ужесточить требования к гражданским, а заодно и духовным структурам Новороссийского края.

Впрочем, упомянутые положения и остальные нововведения эпохи коснулись не только Крыма. Подобные же ограничения свободы вероисповедания нарушали права и других тюркских (и не только тюркских) национальных и религиозных меньшинств империи. Но, как справедливо замечает современный автор, это попрание законных прав коренных народов было особенно непонятно и болезненно именно для крымских татар, чей вклад в оборону полуострова был бесспорен, а духовенство традиционно поддерживало закон и порядок, уважаемые народом: «Из всех мусульманских анклавов Российской империи... чёткую организацию духовной жизни имели лишь крымские татары.» (Тихонов, 2007. С. 106).

## 5. Попытка депортации крымских татар в 1856–1857 гг.

Не были татары Крыма забыты и по окончании войны, в годы которой они сделали столь много доброго своим притеснителям, оказавшимся в беде. Уже в 1856 г., то есть сразу по окончании военных действий, вместо порабощения был избран новый, точнее, старый путь решения «татарской проблемы». Снова, как и до начала войны, коренной народ было решено полностью депортировать. В делах генерал-губернатора Новороссийского края графа А.Г. Строганова сохранились вполне конкретные рассуждения, проясняющие и дальнейшее разрешение демографической проблемы полуострова «вследствие возникшего вскоре после окончания бывшей войны общего вопроса о выселении Крымских Татар

во внутренние губернии [России] и заселении Крыма Русским племенем в особенности на побережьях Чёрного и Азовского морей» (РГИА, Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2844. Л. 179). Малопонятная ссылка на решение «общего вопроса» проясняет другой документ несколько более позднего происхождения.

Через год этой проблемой занялся сам Александр II Освободитель. И судьба коренного народа была в очередной раз решена *одним* человеком: «Государь Император в 9 день Декабря 1857 г. Высочайше повелеть соизволил: не ожидая разрешения вопроса об очищении от татар всего Крымского полуострова, приступить к постепенному переселению государственных крестьян из внутренних губерний на казённые земли Крымского полуострова и к переводу проживающих там на казённых землях татар во внутренние губернии, или по желанию их на владельческие земли в пределах Крымского полуострова во исполнение сего Высочайшего повеления» (РГИА, Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 23).

Это решение начало приводиться в исполнение, сотни семей уже пошли по этапу в Курскую губернию. Слухи о том, что крымских татар полностью выселяют и вскоре полуостров будет «очищен» от коренного народа, быстро распространились среди крестьян южных губерний, главным образом Екатеринославской и Херсонской. Говорили, что «в Перекопе, в золотой палатке сидит царь и всем пришедшим раздаёт волю, а неявившиеся остаются по-прежнему в панской неволе» (Романов А.В. В Таврию за волей // Исторический вестник, 1901. № 4. С. 265). И летом-осенью 1856 г. оттуда в Крым стихийно двинулись тысячные толпы переселенческих семей: «По утвердившемуся среди крестьян мнению, беглых крепостных приглашают селиться в разорённых городах Крыма, с выдачей денежного пособия до 10 рублей серебром на душу и сверх этого платой за казённые работы по 2 рубля в день» (Линков, 1940. С. 86). Волна миграционного движения была необычно мощной: отдельные группы переселенцев достигали 3000 чел. Естественно, администрация Юга России не могла допустить такого повального бегства от местных помещиков, и переселенцев стали принуждать к возвращению, причём были использованы армейские части. Множество крестьян во время акции было ранено или убито (ук. соч. С. 87).

Между тем депортация крымскотатарского населения вскоре замедлилась, затем совсем остановилась. Выяснилось непредвиденное обстоятельство: «Но как по причине проявившегося вскоре после того, между упомянутыми Татарами желания переселиться в Турцию, необходимость в принятии особых мер и выселению их из Крыма сама собою уже устранилась, то за сим упомянутый вопрос ограничился обсуждением предположений о заселении Крымского полуострова, в скорейшем по возможности времени, выходцами как из России, так и из-за границы, о чём и производится ныне (то есть в сентябре 1860 г. — В.В.) особое дело» (РГИА, там же. Л. 179 об. — 180).

Таким образом, выселение в северном направлении не состоялось. Впрочем, война и без того нанесла жестокий удар крымскотатарскому народу, всему населению полуострова. Столичный журналист подвёл ей итог: «Крымская война, которой разразился восточный вопрос, дала Крыму сильный толчок, но только не вперёд, а назад» (Г.А.У. О заселении Крыма русскими поселенцами // Русский вестник. 1866. Т. 63. Кн. V. С. 258). И не нужно было слыть пророком, чтобы предвидеть новые и новые акции царизма, грозившие фи-

зической деградацией и вымиранием не только отдельным семьям, но и всему этносу. Глубоко справедливо замечание современного историка в том смысле, что Крымская война, процессы, спровоцированные ею, определили пути развития Крыма, истории его народа на длительный период — вплоть до 1917 года (Марцинковский, 2003. С. 26).

Народ, его коллективный разум не мог не предвидеть направленность этих трагических путей. Он прозрел грядущую угрозу и вновь, после долгого перерыва, проявил активную непокорность судьбе, неотвратимо влекшей его в пропасть небытия.

Однако сопротивление это было своеобразным.

## VI. ВТОРАЯ ВЕЛИКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Просвещённый мир был свидетелем необычайного явления — переселения сотысячного народа из пределов благословенной христианской державы в страну, прославленную неправдами и беззаконием правителей.

*Вестник Европы, 1883. № 11*

### 1. Причины эмиграции 1850–1860-х гг.

В своих объяснениях Второй великой эмиграции крымскотатарского народа российская историография дореволюционного периода значительно превосходит более позднюю своей основательностью. Касаясь этой темы, советские, а за ними и постсоветские русскоязычные историки, за крайне незначительными исключениями, придерживались одной-двух искусственных схем. Как известно, великие сдвиги в этнической истории любого народа (в том числе массовые миграции) имеют сложные и уж точно весьма глубокие основания и причины духовного, экономического, социального и иных планов. Указанных историков эти истоки мало волнуют, так как грозят нарушить общепринятую между ними схему, некогда получившую гласное одобрение большевистских идеологов. Главный вывод её может быть передан одной фразой, однажды сочинённой по свежим следам соответствующих постановлений, а потом принятой за основу в дальнейших рассуждениях и обоснованиях многих других трудов, вплоть до 1990-х гг. Звучит она так: «Основной причиной эмиграции явилась боязнь татар перед справедливым возмездием за их изменническое поведение во время войны» (Надинский, 1952. Ч. I. С. 131).

Если даже не обращать внимания на оригинальный слог<sup>1</sup>, а вникнуть в смысл вывода (как почти всегда ничем у Надинского не обоснованного), то сразу возникнет соблазн отнести «справедливое возмездие» к другим племенам империи, например к русским, поскольку именно в Центральной России «крестьянские восстания во время [Крымской] войны охватывали целые губернии» (Всемирная

<sup>1</sup> «Боязнь перед возмездием» — это нерусский язык, допустима «боязнь возмездия». Впрочем, неправильная речь была особым шиком среди штатных агентов НКВД, к которым, как известно, принадлежал историк П. Надинский.

история. Т. IV. С. 484). Вот это действительно можно назвать «изменническим поведением», а не скромную, но добросовестную помощь, которую крымские татары оказывали армии незадачливого «защитника» их исторической родины от врагов России. Очевидно, всё же причина второго в истории крымских татар исхода кроется в чем угодно, но только не в опасении мести за несовершенно преступление.

Вторая причина эмиграции, отысканная в тех же 1860-х гг., звучала следующим образом: «Эффективной оказалась в Крыму деятельность турецких агентов и фанатично настроенного мусульманского духовенства, призывавших татар к переселению в Турцию и уверявших их, что султан предоставит им лучшие земли, снабдит рабочим скотом и так далее»; этот довод сочувственно штируется и в XX в. (*Секиринский*, 1988. С. 93).

Более современный и уж точно более глубокий автор считает, что эмиграция крымских татар была в своей сути *протестом* против сегрегации, политической и иной дискриминации народа со стороны царской администрации. Впрочем, то, что протест принял именно такую, сравнительно мирную, пассивную форму массового ухода, австрийский учёный объясняет кочевническими (в отличие, скажем, от горских) традициями, якобы сохранившими свою живучесть и в Крыму второй половины XIX века (*Kanneler*, 1999. С. 46).

Действительно, эмигрировали прежде всего степняки, то есть дальние потомки кочевников. Но, во-первых, к тому времени традиции их предков были уже далеко не столь сильны, чтобы заставить их носителей покинуть родину в мирное время. Во-вторых, эмигрировали и горожане густонаселённых предгорий, и столь же потомственные виноградари Южного берега. В-третьих, остаётся не совсем понятным многократное превышение какой-то средней «нормы миграции» в двух социальных группах населения Крыма (прежде всего муллы, но также мурзы). Наконец, тот же автор справедливо указывает, что одновременно с крымскими татарами в Турцию эмигрировали сотни тысяч отнюдь не кочевых жителей Кавказа — кабардинцев, ногайских татар и абхазцев, тогда как другие горцы сражались у Шамиля (*Kanneler*, 1999. С. 135), значит и там дело было не совсем в традиционно кочевом менталитете.

Действительные истоки народной трагедии пытались найти не только историки и этнологи прошлых лет. Их поиском упорно занимались даже наиболее честные царские чиновники или публицисты, современники эмиграции, задававшие в XIX в. актуальные вопросы, которые почитались «горящими» и в следующем столетии:

«Каким законом необходимости и заслуженной кары оправдать притеснения и вопиющая несправедливости, которыми они (то есть крымские татары. — *В.В.*) подверглись? Каким образом узаконить тайные пути, которыми [русские] следовали, чтобы переполнить меру оскорбления, а главное, на каких рациональных началах политической экономии или административной логики основать старания, чтобы подстрекнуть татар покинуть полуостров; и непостижимое равнодушие некоторых, когда всё татарское народонаселение, как бы объётое паническим страхом, бросив свои жилища и имущество, захваченное спекуляторами за полцены или даром, устремилось к морскому берегу, чтобы искать спасения в человеколюбивой Турции, оставив край, до того цветущий

и спокойный, обезлюденным, с неразработанными полями — в настоящем, с нищетой и голодом — в недалеком будущем» (Левецкий, 1882. С. 605).

Первая эмиграция 1780-х гг. объяснялась крымскими чиновниками, привлеченными к ответу за обезлюдение края, проповедями мусульманского духовенства: муллы вроде бы уверили массы, что мурзы предали их русским, намеревающимся силой крестить народ. Пропаганда эта упала на благодатную почву, а племенной и религиозный фанатизм якобы и стал виной выселению. Однако уже дореволюционные историки указывали на лживость подобных заявлений, считая, что причина демографического сдвига была прежде всего экономической, а не идеологической (Гольденберг, 1883. С. 69). Тем не менее в отношении крымского мусульманского духовенства были приняты дискриминационные положения, то есть не касавшиеся православного священства<sup>1</sup>. Известную роль сыграла и антитатарская по сути социальная политика новой, российской администрации в Крыму, о чем говорилось выше.

Но и «объективной» причины фанатизма невозможно было привести в 1860 г., через 80 лет после аннексии Крыма. Религиозной нетерпимости в Крыму никогда не было, не возникла она и в первой половине XIX в. Но зато на протяжении этого периода колонизации крымские татары основательно ознакомились с той экономической и социальной действительностью, что принесла с собой новая власть. Массовое обезземеливание, бесправие в сравнении с новопоселенцами, фактическое закрепощение, полный отрыв от центров всемирной мусульманской культуры — вот что обрели они, утратив покровительство Османской империи.

Через полвека после Крымской войны русский историк, вернувшийся к этой теме, запишет: «... известно, как сильно страдали татары от притеснений помещиков и от земельных неурядиц, начавшихся среди них со времени присоединения Крыма к России и окончившихся почти поголовным обезземеливанием татар. Крымская кампания также довела многих до совершенного разорения. Не малую роль сыграло в эмиграционном настроении татар и то неприязненное отношение администрации к ним, которое можно назвать „полицейским национализмом“, которым, по странному складу своей психики, часто проникается кроткий, в сущности, по натуре и терпимый к чужой расе русский человек, как только в его руки попадает власть. Это недоверчивое отношение, проявлявшееся в мелочных придирах, в произвольных стеснениях, наконец в оскорблениях национального татарского чувства раздражало и угнетало татарское население. Прибавим сюда... их доверие ко всяким вредным слухам, сознательно распространявшимся среди них корыстными лицами, которым татарское переселение

<sup>1</sup> Одно из них — обязанность имамов Крыма представлять в Полицейское управление перед своим назначением так называемое «Клятвенное обещание», содержанием своим по сути соответствовавшее воинской присяге тех лет. Учитывая миролюбивые крымскотатарские традиции, такой военно-дисциплинарный режим был попросту оскорбителен. Тем не менее положение об этой процедуре сохранялось для Крыма на протяжении всего XIX в., хотя текст его и менялся. В 1880 г. он звучал так: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед почтенным Кораном в том, что хошу и должен Его Императорскому Величеству своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору... верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови...» (Цит. по: Абдуллаев, 1999. С. 4).

было выгодно. В особенности недобросовестно... поступали греки, выживавшие татар и приобретающие их земли за бесценок» (Сергеев, 1913. С. 199–200). Как увидим ниже, на этом поприще отличались не только греческие дельцы.

Тем не менее эмиграции почти не наблюдалось всю первую половину XIX в., если не считать вспышку её (по упомянутым выше, вполне понятным причинам) в военном 1812 г. Незаметна она была и сразу после окончания Крымской войны — в воздухе носились слухи о скором освобождении крестьян и передаче им земли помещиков. По этой же причине крымцы возлагали большие надежды на новую, назначенную в 1856 г. государственную Комиссию по разбору жалоб на помещиков и вообще для изыскания способов нормализации татарской экономики. Однако результаты работы Комиссии неожиданно оказались прямо противоположными. Крымские помещики, испугавшиеся, что положение их крестьян будет улучшено за счёт господских земель, стали прекращать арендные договоры и выселять крестьян со своих угодий.

Поток жалоб в Петербург от теперь уже окончательно — на деле, а не на бумаге — обезземеленных татар, достиг обратного результата. Ответ пришел в 1859 г. году. Департамент сельского хозяйства объявил, что, во-первых, отныне хоздательства о наделах вообще удовлетворяться не будут, а, во-вторых, натуральная арендная плата заменяется денежной выплатой (Никольский, 1929. С. 25). Но ведшие натуральное, по большей части, хозяйство, татары наличных денег почти не имели, поэтому такое решение правительства ставило их в окончательный тупик. Зато «частные случаи насильственного захвата чужих земель сделались как бы законом, а воздержание от подобного своеволия как бы изъятием или исключением. Насилие и угнетение слабого проявлялось со всех сторон... все устремились в приобретение земли; вводы во владение и купчие крепости посыпались как град, превративший, наконец, в грязь все неотъемлемые, священные права татар» (Левецкий, 1882. С. 609). Эта очередная кампания против крымскотатарского крестьянина открылась на фоне нового всероссийского экономического кризиса, имевшего в Крыму свои особые черты.

Выше говорилось, что в многочисленном собрании трудов о Крымской войне ни одно исследование не касается положения крымских татар; в этом смысле не является исключением и огромная, фундаментальная монография академика Е. Тарле (1949). Более того, даже автор статьи, посвящённой отношениям А.И. Герцена к проблемам этой войны, ограничивается чисто политическими сюжетами, ухитрившись ни словом не упомянуть о главной теме публицистических выступлений русского диссидента тех лет — положении крымских татар (Левин Ш.М. Герцен и Крымская война // Исторические записки. Т. 29. 1949. С. 164–199). Короче, ни один автор, исследовавший разнообразные аспекты Крымской войны, не рассматривает специально вопроса: во что обошлась война населению края, где разворачивались главные её действия? Попытаемся хоть вкратце на него ответить.

Прежде всего, ещё до окончания войны, а затем на протяжении многих месяцев крымскотатарское село было поражено жестоким голодом. У этой катастрофы, стоившей многих тысяч жизней, имелось несколько причин. Самая общая: лишение крымскотатарского крестьянина хлеба насущного российскими властями и армейскими командами, о чём говорилось в предыдущей главе. Второе: необоснованные репрессии, заставлявшие крымцев бежать от казаков и солдат,



естественно, с ограниченными запасами продуктов<sup>1</sup>, отчего на новом месте, вдали от фронта, голод испытывал уже через неделю-две. Но и вернувшись домой после ухода российских войск, хозяева от угрозы голодной смерти не избавлялись, так как те же русские помещики и даже мужики, не опасавшиеся своих солдат и казаков, давно уже завладели оставленным в крымскотатарских деревнях хлебом и другими припасами.

Современник записывает: «Всё это было ничьё, каждый мог сделаться его хозяином. Разумеется, так и было: многие помещики воспользовались этим брошенным добром. Я знал, наконец, многих бедняков, которые только этим и промышляли. С огромными повозками разъезжали они по опустевшим аулам и забирали всё, что можно было продать. Продавши одно, они приезжали за другим и так далее. Зерновой хлеб, овёс, ячмень и сено сбывалось ими скоро и с большой выгодой» (Крым, 1930. С. 110). Понятно, что бороться с таким стихийным, воистину «народным» ограблением коренного населения было бы трудно. Другое дело, что ни крымские татары, ни их беды военных и послевоенных лет никого ни в малейшей степени не волновали, никто и не пытался защитить самых обездоленных из жителей полуострова. И не без оснований утверждал их русский соотечественник, что «если бы во время Крымской войны князь [М.С. Воронцов] был бы жив, татарской эмиграции не бывать бы и Крым не дошёл бы до разорения» (Завадовский, 1885. С. 205).

Военное и послевоенное ограбление крымских татар касалось и их недвижимости, прежде всего земельной. Многие крестьяне спасались от насилия со стороны российских солдат и казаков в Евпатории и других укрепленных местах. Многие уходили за рубеж с тем, чтобы вернуться после заключения мира. Но когда и те и другие через какой-то промежуток времени (иногда через несколько месяцев после окончания войны) появлялись в родных местах, то оказывалось, что у их земли появились новые владельцы. Отчуждение производилось «по факту отсутствия», поскольку никто не мог сказать в точности, эмигрировал ли бывший хозяин за рубеж, или скрывается от репрессий где-то совсем неподалёку. В любом случае в силу вступал «законный» порядок конфискации крымскотатарской земли (передача этого имущества оставшимся на месте родственникам татар, даже ближайшим, членам большой семьи и т.д. при этом исключалась).

Такая практика, стихийно возникшая и применявшаяся после окончания военных действий, впоследствии была узаконена специальным документом: *Отношением Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора от 07.11.1858 г. № 11 165 по предмету конфискации земель, оставшихся на Крымском полуострове после татар, ушедших за границу*. Ещё через два года конфискация была расширена с крестьянских до мурзинско-бейских, духовных и мещанских земель,

<sup>1</sup> Один из современников войны записал: «От всякого рода притеснений многие татары уезда... убежали в Евпаторию, а всё своё хозяйство... бросали на произвол судьбы. Мне приходилось посетить некоторые брошенные аулы. Вид их был очень жалкий. Помню, я проезжал через один из них. Уныло стояло 20–30 хат, нигде не видно было живой души. Тишина мёртвая, разве дворняжка где-то залает или жалобно завоет... всё говорило о том, что здесь не один, не два человека, а вся деревня была на ногах, все собирались спешить, суегились и все сразу ушли. Чуланы и ямы были завалены зерновым хлебом» (Крым, 1930. С. 109–110).

а также участков татар — государственных крестьян. При возвращении их для иступления во владение собственным участком требовалось ехать в Симферополь и подавать особое заявление, так как «претензию каждого такого лица рассматривали отдельно установленным судебным порядком» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 1–2). Понятно, чего стоило не говорившему по-русски, неграмотному крымскому татарину хотя бы узнать об этом, не говоря уже об успешном проведении своего дела в губернском суде. Особенно трудным, практически невозможным стало сохранение некоторых вакуфных владений.

Известно, что в Крыму существовали, наряду с духовными и так называемые частные вакуфы. Это была недвижимость, приносящая доход владельцу и его наследникам, но лишь временно: по пресечении рода это добро подлежало переходу в разряд полноценных духовных вакуфов. В 1860 г. Министерство государственных имуществ и Министерство внутренних дел издало ряд постановлений, согласно которым частные вакуфы было запрещено продавать (в случае эмиграции владельца); они подлежали немедленной (то есть до пресечения рода или смерти владельца) передаче, но не в фонд вакуфного имущества, а в казну. И даже переход такого вакуфа от одного наследника к другому мог происходить теперь «не иначе, как с ведома Таврического Магометанского Духовного Правления, которое [было] обязано... давать знать Гражданскому Начальству для зачисления вакуфа в казну как выморочного имущества...» (РГИА. Ф. 384. Оп. 12. Д. 877. Л. 1 об.—2). То есть юридически трудоёмкую задачу отбирания у крымскотатарских наследников завещанного им имущества русские власти возлагали на крымцев же...

Между тем, из безусловно сложного послевоенного положения с имуществами имелся вполне реальный и, главное, лёгкий выход. Более того, это был не какой-то прожект неофициального, то есть постороннего для государства лица. Статский советник С. Лашкарёв, один из высших чиновников Управления Государственных имуществ, ещё до Великой реформы 1861 г. внес следующее предложение: «Все участки, приведённые в известность, должны быть отдаваемы [в казну] на 6 лет с правом возврата по миновании 3 лет в случае, если участки будут признаны принадлежащими частному лицу... Во избежание разорения строений, находящихся на участках, они должны быть сдаваемы содержателям (арендаторам участков. — В.В.) по описи с обеспечением залогом, на общем основании...» (РГИА. Ф. 3874. Оп. 8. Д. 434. Л. 31–31 об.). Другими словами, в течение минимум трёх лет отсутствовавший, но возвратившийся владелец мог получить свой участок обратно, причём автоматически, без судебной волокиты. Но проект С. Лашкарёва был положен под сукно, ведь он мог лишиться земли и другого крымскотатарского имущества слишком многих обособившихся в Крыму помещиков, только-только этим добром завладевших.

В те же 1858–1860 гг. (а кое-где и с 1856 г.) отмечены случаи насильственного перемещения семей крымских татар. Начавшаяся ещё накануне войны частичная депортация за Перекоп, на русские и украинские земли, не прекратилась и после заключения мира. И уж точно не позволялось ликвидировать последствия такого переселения. Точнее, это была бессрочная ссылка со всеми её характерными признаками, вплоть до того, что посмевавшихся бежать назад, в Крым, возвращали обратно по этапу, невзирая ни на что, даже на болезнь. Приведём два источника о практике такого рода. Первый из них, составленный управляющим

Таврической палаты государственных имуществ Панукьяшем, гласит: «Бежавшие из Екатеринослава татары Амет Ягья Оглу и Мемет Фезля Оглу... находятся в болезненном состоянии, — но несмотря на это я лично приказал волостному голове снабдить татар этих подпойдой и немедленно отправить в Екатеринослав... О разыскании же и высылке в Екатеринослав татарина Курт-Мембета Эльшан-оглу я предписал [принять соответствующие меры] Перекопскому Окружному начальнику» (цит. по: *Озенбашилы*, 1926 «а». С. 74—75).

Второй источник содержит показания некоего Аджи Смаила-оглу, сами по себе достаточно красноречивые: «До 1854 г... я состоял в числе поселен духовенства Таврической губернии (то есть арендовал вакуфную землю. — *В.В.*) и проживал в дер. Чоргуне, где имел свой дом и весьма хорошее хозяйство, в конце же означенного года, когда союзные войска вступили в Чоргунь, разорили её, в том числе и моё хозяйство, тогда по извету моих недоброжелателей, не зная за собой никакой вины, я был арестован донскими казаками и через главный штаб Южной армии отправлен в Симферопольский острог, оттуда через несколько времени в Курскую губернию. Когда же впоследствии разрешили проживать всем высланным из Крыма, кто куда пожелает, за исключением городов и селений Крымского полуострова, тогда приписался в число Херсонских мещан». Далее следует обычная история о том, что крестьянина, вернувшегося на родину временно, чтобы собрать старые долги, выслали в 24 часа, согласно приказу губернатора от 30. 01. 1860 по этану в Херсон (*Озенбашилы*, 1926 «а». С. 75—76)<sup>1</sup>.

Понятно, что при такой частичной депортации хозяйства сосланных крестьян гибли, но зато облегчалось переселение русских иммигрантов, ради чего, собственно, эта кампания, судя по всему, и затевалась: «Что же касается до общественных земель, то из числа таковых состоящие при разорённых селениях Евпаторийского округа Сунан, Арабалжи и Кельшейх в количестве 1425 десятин отданы в пользование переселенцев Харьковской губернии, в настоящем 1859 г. прибывшим, оставшимся в этих деревнях 35 душ татар Палата полагает поселить в разорённой деревне Тамак вместе с оставшимися там 13 душами и образовать татарское селение отдельно от русских переселенцев» (РГИА. Ук. дело. Л. 4).

В окрестностях Сак, куда переселялись жители Полтавской губернии, была проведена та же акция отъёма общественной (то есть по определению неприкосновенной) земли, а также прилежащих к ней частных, наследственных крымскотатарских участков и даже вакуфных земель: в Каймаче 1300 десятин, Куль-Сальке — 456, Аколдже — 420, Кот-Кияте — 450, Уч-Кую-Кипчаке — 378, Болечике — 638, Апте — 1224, Кара-Наймане — 700 и Мушии — 607 — «и всего 6423 десятины». И вот решение судьбы этих татарских владений: «...во всех этих селениях находятся на жительстве татары и Палата полагает... применяясь к землям, в личную собственность принадлежавшим, если возвращающимся татарам будет разрешено заселяться по прежним местам жительства, оставить в настоящем их виде, а по наступлении срока земской давности со дня ратификации Парижского трактата причитающееся на

<sup>1</sup> Здесь, помимо прочего, интересна формулировка о разрешении коренным крымчанам селиться где угодно, кроме Крыма. Как известно, почти аналогичный запрет советского времени о бывших ссыльных также долго не снимался, в том числе и «реабилитирующими» указами 1967, 1972 и 1974 гг. Такая уж с царских времён сложилась традиция...

долю ушедших татар количество земли отделить от общевладения и обратить в казённые участки» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 4 об.—5 об.; 24 об.—25).

Вот почему с земельным вопросом, решавшимся столь радикально, и была связана проблема голода. Начавшись в военные годы, он практически не прекращался. С ним было невозможно бороться не только из-за административного произвола, но и по совершенно иной причине: с первого месяца войны прервались торговые отношения по налаженным каналам — уже это отбросило экономику Крыма, в том числе южнобережную, далеко назад. Кроме того, войсковые перевозки повлекли за собой массовый падеж тяглогового скота, за который компенсации почти не выплачивались. Вообще крестьянство уже много месяцев только платило, ничего не получая взамен. Так, к примеру, если крымские татары во время перевозок или других, принудительных по сути, воинских работ питались из войскового котла, с них взыскивали сумму, далеко превышавшую действительную. Напротив, если долг числился за российской администрацией, она его крымцам не выплачивала.

Крестьяне тех крымскотатарских деревень, где останавливались обозы с ранеными, должны были, начиная с 1855 г., предоставлять бесплатно топливо, жилища, солому и прочее. «Всё это они выполняли беспрекословно, но при исполнении всего этого редко кто из хозяев мог заняться полевыми работами, как по неимению свободного времени, так и потому ещё более, что не всегда оставалось целым домашнее имущество... Вследствие этого татары этих деревень почти не занимались полевыми работами, хлеб редко у кого был, сена и соломы почти ни у кого не было, и урожай был весьма плох, и в довершение всего в этих деревнях стали свирепствовать холера и тиф» (*Маркевич*, 1905. С. 81). Не хватало и рабочего скота: в мае 1855 г., то есть до окончания войны, «более 2/3 бывшего в Крыму количества скота уже не существовало». Основной причиной этому была подводная повинность, потребовавшая в 1854 году 347 520, а в 1855 г. — 349 458 подвод с лошадьми (ук. соч. С. 114). Абсолютное большинство этих лошадей было безвозвратно утрачено.

Но дело было не только в подводной повинности. Подвергалось настояще-му разгрому сельскохозяйственное имущество, включая постройки. Особенно вредоносным было разрушение колодцев, восстановление которых требовало больших трудов и времени, а вода была нужна постоянно (особенно в сухое лето 1885 г., когда по этой причине тоже пало много скота). «Солдаты причиняли у колодцев много вреда: рубили канаты, бросали бадьи в колодец, забирали пригнанный [для ремонта колодцев] материал... Татарский надзор был недействителен, их прогоняли», — факт совершенно необъяснимый, так как от этого страдали в равной мере и сами российские войска. Но мало ли необъяснимого случалось и случается в русской действительности!

«Погонщики подвижных магазинов, в какой-то непонятной злобе на татар забрасывали близ деревень Борак-Эли и Чуюнчи камнями колодцы, а при встрече татар в поле избивали их плетями, ...забирали для топлива плетни, водопойные корыта, срубы колодцев, скашивали, где только находили, траву, грабили крестьян, производили буйства». После того, как уничтожались срубы, «глубокие колодцы засыпались» сами собой. В то же время было уничтожено огромное количество садов, кормивших в предгорном и горном Крыму массу крестьян: только в Таш-Басты (Бахчисарайского уезда), где «деревья были самых хороших

сортос... их вырубили на 30350 рублей, [даже оценивая] по самым умеренным ценам». (Маркевич, 1905. С. 155–156).

Наконец, имели место и тяжёлые страдания чисто нравственного характера, без особой нужды причинявшиеся русской администрацией коренному народу. Уже упоминавшийся выше предводитель Перекопского дворянства С.Х. Лампси, родившийся в переселенческой семье, выросший в одном из чисто татарских уездов и потому прекрасно знавший крымскотатарскую психологию, полагал в своей *Записке* главе Государственного совета князю И.В. Васильчикову, что «при изыскании причин необходимого (то есть неизбежного. — В.В.) переселения Крымских Татар за границу... причины, побудившие обширное население оставить родные поля, гробы отцов своих и свои пепелища, решиться на добровольное разорение себя» заключались далеко «не в преимуществах, какими должны были пользоваться Татары Крымского полуострова». Эти обещанные при аннексии, но не дарованные крымцам льготы «не могли иметь никакого влияния в этом случае, точно также как и всякие материальные расчёты» (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 471. Л. 1). То есть, по мнению степного помещика, проблема была гораздо глубже.

С.Х. Лампси полагал, что здесь «прежде всего следует обратить внимание на нравственную сторону этого дела и тогда искать других причин, которые могли быть только слабым вспомогательным орудием самой главной мысли, скрывающейся глубоко». Автор считал, далее, что непосредственным источником катастрофы стали чиновники, полагавшие, «что Татары — вредный для нашего государства народ» и подготовившие в 1856 г. по сути шовинистическое *Циркулярное предписание* Таврической Палаты государственных имуществ — документ, в котором коренной народ открыто ставился в неравноправные условия по отношению к русским и иностранным переселенцам, по сути объявлялся народом второго сорта.

Экземпляры предписания были разосланы во все уезды губернии, где попали в руки и без того антитатарски в большинстве своём настроенных волостных голов, сельских старшин и писарей, при том что «переписка с этими местами и лицами постоянно путала дела, искажала правильную цель». И можно было лишь догадываться, «с какой силою, — как писал современник, — ворвались они в слух и чувства давно испуганного Татарина, испуганного особенно последнюю войною, когда он видит высылку его единоверцев в Великорусские губернии, откуда они потом не возвращаются и переселение вовнутрь Крыма находящихся на 25 вёрст расстояния от морских берегов».

«Что Татары доброй и непорочной нравственности и в этом отношении могут стать выше некоторых цивилизованных народов, Ваше Сиятельство найдёт много подтверждений... [но против них был принят ряд] мер стратегического расчёта и если сказать, что всё это не оскорбительно глубоко народной гордости, то [это] будет также несправедливо, как то, что Татары оставили Крым [только] будто бы вследствие обременительных повинностей... помещикам. Это пушена мысль людьми, не понимающими, что [именно] постепенно подготавливалось в течение многих лет, чему дала сильный толчок последняя война, и что должно было случиться так или иначе при направлении положений, независимых от местных условий» (РГИА. Ф. 651. Оп. 1. Д. 471. Л. 1 об.—3). То есть, распоряжений, разработанных не местной администрацией, а спущенных сверху, возможно из губернского управления в Одессе.

Обо всех этих издевательствах и насилиях российской администрации и армии, становилось известно в Петербурге, причём довольно скоро после того, как они свершались. Как выше указывалось, о том же неплохо знали и зарубежные журналисты, а поскольку материалы эти были опубликованы, то следовало думать, как сохранить более или менее приличное лицо в европейском обществе. О срочности политического макиажа говорит тот факт, что первые меры были приняты едва только был подписан долгожданный мир (конец марта 1856 г.).

Но меры эти были своеобразны, как всё, что исходило из Петербурга в отношении Крыма. Прежде всего, их целью являлась не действительная помощь народу, перед которым Россия снова сильно провинилась. Очевидно, была поставлена задача именно замаскировать эту вину, временными акциями заставить крымских татар (и европейскую публику) забыть о недавнем грехе великороссов, или хотя бы снять остроту этой проблемы. Конкретное доказательство сказанному: на основании *Отзыва* Министерства внутренних дел жителям г. Симферополя как пострадавшим во время военных действий было предоставлено пособие по 22,3 руб. в год, а также свобода от выплаты жилищной повинности на протяжении 6 лет. Но вот прошло 4 года после заключения мира, и в 1860 г. было объявлено, что это была ошибка, и что пособие отменено, а неуплаченную повинность владельцам квартир было предложено вернуть государству (*Левицкий*, 1882. С. 609).

Не только это, но и другие материальные обязательства государства также остались невыполненными при всей их беспорочности и гарантированности. Держава так и не вернула своих долгов тем же симферопольцам, а именно деньги за съём домов под госпитали военного времени. И это стало ясно сразу, уже из «льготного» законодательства для поражённого военной разрухой Крыма. Казалось бы, святое дело — смягчить подати для единственной губернии, разорённой, по сути, имперскими амбициями дотла. Но и здесь законодатели не удержались, не утерпели, и эти законы оказались проникнутыми подчеркнуто национальной дискриминацией. Её смысл был прозрачен во многих законоположениях и актах (мы коснемся их позже), но первой по времени стала никем так и не разъяснённая разница в послевоенном снижении налогов.

Для русских, чьи хозяйства входили в зону военных действий, с 10-рублёвого (в среднем) подушного налога делалась скидка в 7 руб., а с крымских татар — всего лишь 1,4–1,7 руб., причём эта разница никак не объяснялась (*Гольденберг*, 1883. С. 71). Другими словами, тяготы с разорённого татарского хозяйства оставались практически прежними. Абсолютно прежними оставались оброчные и иные виды выплат татар частным владельцам земли (или помещикам), которых никто не обязывал как-то снизить поборы с пострадавшего во время войны коренного населения. Барщина во время страды, когда в собственном хозяйстве дорог каждый час, достигла невероятных «30, 40, 50 и более дней в году». И это не говоря о совершенно уж произвольном помещичьем обложении, когда землевладельцы, «независимо от денег и отбывания различных повинностей, обложили *женщин* (выделено мной. — В.В.) известным сбором, яйцами, нитками, птицею, и проч., а потому нет почти никакой возможности определить... величину сборов, производимых помещиками... Есть даже помещики, взимающие деньги за проезды через их дорогу. Это как бы дорожные заставы...» (*Левицкий*, 1882. С. 614, 617).

Были и другие поборы, формально не санкционированные властями. О вымогательстве казаков и солдат говорилось в предыдущей главе, но это было не всё. По-прежнему, уже в мирное время, искали и находили старое, ржавое холодное оружие (а у какагокрымца не хранился деловский пычак!), виновного тут же ковали в кандалы. Но затем уже не выслали, как раньше, а требовали выкуп с родственников, и тут сумма, по сравнению с простым арестом, резко возросла. Для её выплаты приходилось делать долги, причём немалые, что совершенно уж подрывало и без того разрушенные едва закончившейся войной хозяйства. По всем этим причинам «сами же бежавшие объясняли [эмиграцию] обезземливанием их, притеснением и обременением налогами» (Мартыанов, 1887. С. 2).

Появились и новые, уже послевоенные денежные отягощения. С 1859 г. с крымских татар впервые стали требовать пошлину за пользование лесом или лесными отходами вроде хвороста или валежника. Мало того, что стали ловить и облагать этой податью крестьян, застигнутых в лесу за сбором подножного топлива, но её наложили на всех крымских татар, проживающих в лесной местности «на общем основании, не обращая никакого внимания на то, пользуется ли нет лесом какой-нибудь татарин». Далее, широко практиковался «захват или загон скотины, пасущейся в казённых лесах, с тем, чтобы сорвать с бедняка штраф, доходивший до 1 р. и более с каждой головы» (Левицкий, 1882. С. 611, 617). Такая практика применялась только в Крыму, будучи совершенно неизвестной в соседних Болгарии, Турции или Румынии, что, между прочим, было известно буквально всем, ведь крымские татары постоянно переписывались с родственниками и друзьями, оказавшимися в этом, весьма тогда ближнем, зарубежье.

Немаловажное значение имело для малоимущих татар новое ужесточение упоминавшегося выше запрета на содержание коз. Закон, принятый в конце 1830-х гг., был дополнен *Положением Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора № 3383 от 14.04.1850 г.* Согласно этому акту, дозволялось иметь коз в определённой пропорции: 2 головы на 100 голов овечьей отары. Такое правило выглядело прямым издевательством, ведь народ держал коз не от хорошей жизни, они были достоянием беднейшего населения, тех, кто не мог себе позволить приобрести и содержать даже десяток овец, не говоря уже о сотенных отарах. Козы были спасением тех, кто и единственной коровы не имел<sup>1</sup>. Тем не менее все козы свыше этой квоты подлежали ликвидации после 1 июня 1851 г.: «невыведенные козы будут все непременно истреблены или проданы с публичного торга, а вырученные деньги причислять к сумме земского сбора» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 26).

Упомянутое «истребление» гладко не проходило. Когда лесная стража и лесничие «преследовали коз», выпыхивали острые конфликты. В Ускюте, «где всё население, а особенно женщины с крыш своих домов бросая в них камни, вызывали ружейную оборону», были раненные с обеих сторон. Наказанию при

<sup>1</sup> Из прошения крестьян Биюк-Ламбата, Капсихора, Даг-Бахчели и Шелена: «Нас заставляют продать наших коз, от которых добывали для прокормления своих семейств: мясо, молоко, шерсть и кожу, и воспретили вовсе содержать коз, тогда как почва земли у нас гориста и негодна для другой отрасли скотоводства, и с тех пор мы обеднели... 4 козы стоят не более 8-ми рублей, а между тем взамен коровы, которую по бедности не всяк может иметь, составляют почти единственный способ пропитания семейства с малолетними детьми» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 7).

этом подлежали, естественно, крымские татары, но их в конце концов простили «в уважение полного раскаяния и обещаний поселян покориться требованию об уничтожении своих коз» (РГИА. Ук. дело. Л. 15).

Нужно заметить, что и «козья» проблема была напрямую связана с эмиграцией. У людей отнимали возможность полноценного питания *их демеи* — и у крымцев просто не оставалось иного выхода. Министерство Государственных имуществ, получив из Крыма жалобы, датированные 30 мая, 6 и 20 июня 1861 г., касавшиеся крымскотатарских коз, приказало Департаменту Сельского хозяйства немедленно решить этот вопрос, как имеющий самое непосредственное отношение к обезлюживанию губернии в результате вынужденной эмиграции беднейших слоёв коренного населения (РГИА. Ук. дело. Л. 30–31 об.).

С лесом была связана и новая, уже государственная барщина. После того, как казна отмежевала часть крымского леса, крымским татарам была предложена известная плата за его использование. Те, по бедности, отказались от такой «привилегии». О том, что произошло дальше, видно из одной из жалоб в столицу. Невзирая на этот отказ, «для окопки канавами стали гонять татар за 3, 4, 30, 40 и 80 вёрст от дома. Эта тягостная барщина стоит татарам при исполнении её натурою, с каждого дома, в котором считается по ревизии 4 души, до 8 р. в год, так что домохозяин, не пользующийся ни казённою землёю, ни казённым лесом, уплачивает до 27 рублей в год разных налогов и податей. Вряд ли существует где-либо такие обременительные налоги и подобного рода барщина... Справедлива ли эта логика или нет — вопрос не в этом. Дело тут идёт о положении татар, а в этом отношении нельзя не согласиться, что управление государственных имуществ сделало всё, чтоб быть ненавистным татарам... и чтоб расширить до пределов... стремление татар выселиться из Крыма» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 611–612).

Только лишь эта повинность обходилась крестьянам весьма недёшево, но тогда же, в конце 1850-х гг., была введена ещё одна, *строительная повинность*. Горных татар обязали подвозить строительные материалы и оплачивать труд рабочих, возводивших дома для лесников и лесной стражи, в чью обязанность, между прочим, входило не допускать тех же крымских татар в лес. Здесь злоупотребления творились администрацией прямо на глазах крестьян: «На постройку домов полесовщикам мы свозили из далёких мест, отстоящих с лишком на 6 миль, камень, лес, песок и другие материалы, которых не употребив в дело, начальство распродало с торгов, [мы] также представили известие и деньги на нанятие работников...» (РГИА. Ф. 387. Оп. 2. Д. 23322. Л. 3). Понятно, что и деньги, собранные на несостоявшееся строительство, также достались чиновникам.

Все эти новые поборы доводили крымских татар, людей, известных своей рассудительностью и спокойствием, до того, что они решались на вовсе, казалось бы, несообразные поступки. Так, перед самой эмиграцией жители ялтинских пригородных деревень Аутки, Ай-Василь и Дерекой, имевшие собственные земли (стоившие даже в тех условиях до 500 руб. десятина), пытались отдать их городу, «дабы только перечислиться в мещане и тем избавиться от толпы чиновников и сопряжённого с этим обременения подводами, квартирами и другими требованиями. По той же причине поселяне Алушты просят об обращении этого местечка в город, а их самих в мещане. Страшно подумать, что над каждым татаринном, как меч над головой висит произвол и прихоть 34 человек разного рода начальства, которое не только



Аутка. Литографированный рисунок Берндта и Бернара.  
Воспоминание, 1869

не удовлетворяет никаким просьбам и не ограждает его от притеснений, а напротив того, само ему причиняет тьму обид и оскорблений» (Левицкий, 1882. С. 617–618).

Как видно из приведённой цитаты, речь шла, конечно же, исключительно о крымских татарах. Остальной Крым жил более или менее спокойно и в послевоенной суматохе дотаций и послаблений даже богател. Если *это* не дискриминация коренного населения, то для её признания оставалось ждать только разбудившего наконец-то мировую общественность геноцида. А до того к происходящему в Крыму с коренным населением, остальные россияне были, глухи. Как обычно. Как и сейчас.

Со временем всё более заметной становилась дискриминация и в возмещении прямых военных убытков, которые мирное население потерпело от российской армии. Выше говорилось, что солдаты и казаки вели себя в Крыму как в завоёванном крае, беспощадно уничтожая движимое, недвижимое имущество и скот. После войны государство стало возмещать стоимость ликвидированных таким образом строений, давая за каждый разорённый дом по 24,5 руб. серебром (это меньше, чем обычно требовали вымогатели за одного человека, то есть от 30 до 50 рублей). По ценам 1850-х гг. этих 24 рублей было недостаточно «не только для того, чтобы построиться окончательно, но даже и на покупку лесного материала, необходимого для возобновления разрушенных строений. Впрочем, — отмечал современник, — маловажность или незначительность суммы не есть ещё то, на что жалуются татары; если они недовольны, то это потому, что всякий раз, когда дело шло о вознаграждении какого-нибудь жителя нетатарского происхождения, пособие или ссуда были всегда гораздо значительнее» (Левицкий, 1882. С. 606–607).

Но были случаи и прямого обирания, не прекратившегося с окончанием военных действий. Ещё в начале лета 1856 г. крымскотатарским крестьянам была выдана ссуда семенами. Её возвращение было истребовано уже через полтора года, в 1858 г. Но большинство крестьян за столь краткий срок не могло собрать достаточный для возврата ссуды урожай: часть — по причине разгрома хозяйства и отсутствия рабочего скота, часть — вообще не успев вернуться на старые места проживания после их перемещения от береговой полосы вглубь полуострова или из-за Перекопа. Но и это не всё — с них потребовали возврата ссуды с 20 %-й и даже 30 %-й надбавкой (Гольденберг, 1883. С. 72). Понятно, что для отдачи высеянного или давно съеденного хлеба беднейшим крестьянам пришлось влезть в беспросветную долговую кабалу.

Выше упоминалось, что совершенно обнищавшие массы крымскотатарского крестьянства были доведены в годы войны до того, что были вынуждены побираться — едва ли не впервые в истории Крыма. Массовое нищенство не прекратилось и в мирное время. После ухода неприятеля дети и взрослые бродили по оставленным лагерям и бивакам союзников, собирая брошенные вещи, а то и кое-какой корм для отошавшего от всеобщего разгрома угодий скота: «Байдарские и другие татары, разъезжая по местам, где стояли лагеря союзников, собирают там разные негодные вещи, в том числе матрацы с соломой». Потом власти и этот «промысел» запретили (Маркевич, 1905. С. 225).

Не легче была ситуация, сложившаяся на заперекопской территории бывшего ханства. К этому времени остатки ногайского населения, ранее ведшего хозяйство кочевого типа, окончательно осели в Бердянском, Мелитопольском и Днепровском уездах. «Незнание законов, страх перед властью, полицейские запугивания делали ногайцев жертвой самой беззащитной эксплуатации со стороны мелкой земской администрации и превращали их жизнь в ад» (Сергеев, 1913. С. 201). Привычной стала картина, когда любой чиновник местного земства, проигравшись, к примеру, в карты, «уезжал в ногайские селения собирать на покрытие проигрыша выдуманный им самим налог на [курительные] трубки, на коней серой масти и т. д.» (Там же).

Вот так крымские татары и были доведены до того предела, за которым жизнь становилась невозможной. Известно, что крестьяне всего мира держатся за землю до последнего, противясь соблазну переезда даже в соседний город, какие бы это выгоды ни сулило. Упорно цеплялись за землю и коренные крымчане, пронеся эту верность наследию предков сквозь все издевательства и унижения. Однако теперь их ждала неминуемая смерть. И всё же они медлили два-три года, продавая жалкое имущество, нанимаясь батраками на чужую землю, нищенствуя, и всё же явно надеясь на какой-то просвет впереди.

Но вот весной-летом 1859 г. в Крыму появились выселяемые правительством закубанские горцы. Большинство из них ранее были подданными Гиреев, которым империя с готовностью предоставила пароходы для эмиграции в Турцию. «Мы верно служили русскому царю, — говорили некоторые из них, указывая на свои медали и шашку, — а он нас гонит! Вот мы и едем к своему государю турецкому султану». Их были многие тысячи, далеко не все успели уехать из-за начавшихся зимних штормов на море и были вынуждены остаться в Крыму до весенних месяцев 1860 г. Они много общались с крымскими своими единоверцами, много беседовали с ними

длинными зимними вечерами. О чём — легко догадаться. «Те невольно задумывались о своём положении — не предстоит ли и им насильственное выселение? Никто не трудился переубеждать их; напротив, сама администрация довольно прозрачными намёками поддерживала их опасения, имея в виду воспользоваться имуществом, которое те должны будут покинуть» (Гальденберг, 1883, С. 73).

Тогда же объявились беженцы и за Перекопом. Около 16 000 закубанских ногайцев, двинувшихся в Турцию, временно остановились в Бердянском и Мелитопольском уездах, что вызвало среди местного населения ту же реакцию, что на полуострове. Кроме того, каких-то «два отважных эфендия», возвратившихся из Мекки через Стамбул, «уговаривали ногайцев переходить в Турцию, уверяя их, что русское правительство намерено перевести всех ногайцев в отдалённые северные губернии и там обратить их в христианскую веру» (Сергеев, 1913, С. 201–202). Слух об этом мигром облетел все ногайские селенья по той причине, что он выглядел вполне правдоподобно — ранее, как мы помним, российские власти неоднократно прибегали к насильственному переселению ногайцев.

Всего этого было бы «с верхом» достаточно, чтобы искать спасения за рубежом, но для такого решения нужен был какой-то последний толчок. Его и ощутили крымцы в новой, и оттого особо действенной форме дискриминации и шовинизма. Теперь власти действительно коснулись самого дорогого для любой нации той эпохи — религии и родного языка. Как раз в этот переломный момент, в 1859 г., началось усиленное внедрение в крымскотатарские массы русского языка. «Не странно ли такое предприятие в минуту, когда все усилия местного начальства клонились только к тому, как бы выжить татар из России?» — восклицает современник, и мы не можем ему возразить. Действительно, дело шло к просвещению *по-русски*, к приобщению к *русской* культуре людей, которых *русские* же лишили буквально всего, от хлеба насущного, до их родной культуры. И тут уж не приходится пенять на каких-то фантастических «турецких мулл»<sup>1</sup>, которые якобы начали распространять слухи о том, что, начавшись с имперского языка, дело пойдёт (и уже идёт) к навязыванию имперской же религии. Особенно после того, как по всему Крыму стал распространяться массовым тиражом распечатанный и вроде бы никакого отношения к крымским татарам не имеющий Устав «Общества распространения православия за Кавказом» — памятник, известный своей тупой ненавистью к исламской культу-

<sup>1</sup> Первые слухи об этом идеологически-политическом десанте, многократно потом умноженные трудами советских авторов, появились одновременно со Второй эмиграцией. Говорили, упорно говорили имперские патриоты-газетчики о том, что «будто бы в окрестностях Керчи показались какие-то прибывшие из Турции духовного звания лица, призывающие особым воззванием на арабском языке татар к выселению из Крыма, однакож, как оказалось впоследствии, никто этих людей не видал, а потому сомнительно даже, чтобы вышеупомянутое воззвание или прокламация была действительно прислана из Турции» (Левицкий, 1882, С. 622). Скорее всего, это было даже не произведение «какого-нибудь местного фанатика», а обычная провокационная фальшивка российских тайных служб, тем более, что «прокламации эти были напечатаны на бумаге, фабрикованной в России» (Там же). И это уже не говоря о том, что именно в начале кавказско-крымского переселения турецкое правительство, абсолютно не заинтересованное в массах новых, беспокойных, а, главное, нищих кавказцев, а потом и крымцев, настоятельно просило Петербург, «чтобы это переселение было приостановлено и не разрешалось без предварительного соглашения обоих правительств» (Там же).

ре вообще, и к тюркам в частности. Да и пришлые тюрки с Поволжья или Кавказа, где давно уже практиковалась насильственная христианизация, бывали в Крыму и многое могли порассказать. Так жители Мамадлага (северный берег Сиваша), не могли не верить человеку, чьи ближайшие предки прошли этот горький путь: «Это было ужасное время. Кончилась война и всевозможные слухи потрясали душу: проезжий казанец-татарин рассказывал, как их дедов крестили силой, и темнело у всех от этого рассказа в глазах» (Медиев, 2007, С. 12).

Итак, Крым, некогда бывший благословенной обителью истинной веры (*дар аль-ислам*), вот-вот должен был превратиться в новый очаг тёмной, неправой веры, в область нечистых гонений и войн (*дар аль-харб*). Татары, всегда трепетно относившиеся к детям, не могли не почувствовать своей великой ответственности за новые поколения, которым суждено было появиться на свет и прожить жизнь в дар аль-харбе. Немудрено, что в свете этой страшной угрозы именно соседняя мусульманская Турция стала представляться каким-то светлым убежищем, новой Меккой для крымских правоверных.

И движение за переселение на исламскую землю получило смысл всеобщей душевспасительной *хиджры*.

Конечно, столь мощному влечению можно было противопоставить разумные гарантии неприкосновенности религиозных традиций крымских мусульман; надвигающуюся катастрофу и теперь ещё можно было предупредить. Но администрация края не желала или не могла по своей чиновничьей тупости рассеять обоснованные опасения массы крымских татар. Мы не знаем даже, не были ли эти слухи (как считают некоторые авторы, напр. Никольский, 1929, С. 25) рождены в глубинах имперских кабинетов, а то и во дворце Александра II<sup>1</sup>.

Известно другое: новые землевладельцы, помещики и дельцы-спекулянты, опасаясь, что хотя бы часть крымских татар всё же выживет на своей земле и даже со временем получит права на владение ею, «стали объявлять татарам, что более не желают иметь их на своих землях, и требовать, чтобы они выселялись, куда пожелают, так как они люди свободные, не крепостные... [и это] окончательно убедило некоторых татар, что они безвозвратно лишились земель, которые они считали своими» (Левицкий, 1882, С. 615).

Так, в Феодосийском уезде произвольные повинности, загон или захват скота переселенцами стали настолько невыносимыми, что заставили крымскотатарских

<sup>1</sup> Приведём официальный документ, подписанный министром государственных имуществ, графом П.Д. Киселёвым 22 июня 1856 г.: «Господин военный министр от 18 сего мая уведомляет меня, что государь император по всеподданнейшему докладу... генерал-адъютанта Лидера о переселении татар из Крыма в Турцию, высочайше соизволили отозваться, что нет никакой причины налагать какое-либо препятствие тайному и даже явному переселению крымских татар в Турцию, а напротив того, надлежит рассматривать представляющийся в настоящих обстоятельствах случай к их добровольному переселению весьма благоприятным для освобождения края хотя от этого вредного населения». И ещё один, не менее официальный документ, датированный 02.12.1860, из докладов Новороссийского генерал-губернаторства: «Его Величество изволил смотреть на выселение их (то есть крымских татар. — В.В.) как на факт благоприятный потому, что они не способны к земледелию, развитию и совершенствованию которого в Крыму весьма желательно» (Цит. по: *Озенбашлы*, 1926 «а». С. 79, 91).

крестьян прибегнуть к последнему (перед эмиграцией за рубеж) выходу, а именно, просить «наделить их землёй в северных уездах губернии (то есть за Перекопом. — В.В.), из приписанных ногайцам... В этом им было отказано предписанием департамента сельского хозяйства от июня месяца 1859 г. с предложением, если пожелаю, получить надел земли, то в Оренбургской губернии.

Понятно, что такое неожиданное предложение... будучи сделано в минуту, когда татары сознавали своё безвыходное положение и идея о переселении сделалась у них почти общею, могло только усилить движение и уверить татар, что правительство имеет действительное намерение изгнать их из Крыма... хотя бо́льшая часть ещё колебалась и не приступала к выполнению этой пагубной для края меры» (Левцкий, 1882. С. 618). То же самое, по сути, делали своими прозрачными намёками местные чиновники, они раздували тревогу татар, рассчитывая погреть руки на всенародном исходе, оформление которого не минует их контор.

Итак, струна всенародного напряжения натянулась в начале рокового 1860-го до предела. Теперь только от правительства империи зависело, ослабить ли её, или же, просто бездействуя, дожидаться пока лопнет, наконец, великое крымскотатарское терпение, после чего уже никто и ничто не сможет остановить тронувшую с места лавину.

В этот решающий момент в последний раз прозвучало трезвое, обоснованное предупреждение о катастрофе, которая неминуема в случае новой Великой эмиграции:

«Переселение татар лишит государство около 300 000 смирных, кротких, покорных подданных, исправных плательщиков податей. Что до самого края, то он вконец и навсегда разорится. Татары — единственная рабочая сила полуострова; в их руках сосредоточена торговля съестными припасами, дровами — словом, всем необходимым для жизни. С отсутствием татар города и сёла опустеют, поля заглохнут, лавки и базары закроются. Кто станет обрабатывать землю помещиков? Откуда возьмут и они, и остальное население — хлеб, овощи, мясо? Придётся умирать с голоду, мёрзнуть без дров, скитаться по необъятным просторам Российской Тавриды, обращённой в пустырь; целая страна убудет из списка живущих». Так писал анонимный «Консерватор» накануне катастрофы (Цит. по: Вестник Европы. 1883. № 11. С. 77).

Но пророческий голос, в точности предсказавший недалёкое будущее Крыма, никем в огромной империи услышан не был...

## 2. Исход

Строго говоря, послевоенная эмиграция началась ещё до наступления мира — бежали некоторые мурзы, опасавшиеся наказания за симпатию к Стамбулу, ставшую известной властям, а также значительное число крестьян евпаторийских деревень, поднявшиеся на кораблях союзников в 1856 г., когда те покидали Крым. Впрочем, эта часть эмиграции была небольшой. Всего во время войны эмигрировало лишь «11 985 мужеска пола душ» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 21 об.), то есть с членами семей примерно 24–25 000 человек. А в последо-

вавшие за войной 3 с лишним года выезд стал ещё более скромным — и это несмотря на то, что в 1856 г. было организовано пароходное сообщение (линия Феодосия-Константинополь, пароходное общество РОПИТ) для перевозки эмигрантов, которым воспользовалось за три последующих года всего 11 134 человека, учитывая и кавказскую эмиграцию (Екзем, 1983. С. 1605)

Но вот наступил роковой 1860 г. Сигналом к этому человеческому пожару стал отказ Таврической палаты казённых имуществ наделить землёй крестьян деревень Аккобек, Аппак и других (Феодосийский уезд), после полного возвращения тех из них, кто был принудительно выслан. Тут же с новой силой вспыхнули слухи о якобы имевшемся уже решении о выселении всех крымских татар в Самарскую, Оренбургскую и другие отдалённые губернии. Оттуда же, из Феодосийского уезда, пополз второй тревожный слух: о том, что те, кто не выедет из Крыма сейчас, через три года всё равно будут высланы, но уже насильственно, и в ещё более гиблые места, а именно в северные губернии России (Левцкий, 1882. С. 625–626).

Что оставалось делать обобранному, запуганному, доведённому до постоянного стресса всё новыми издевательствами крымскотатарскому населению?

Спасения не было, и начался Великий исход.

Феодосийцы снялись с места первыми. За ними последовали ногайцы прилегающих степных уездов и симферопольцы, причём массово<sup>1</sup>. Третьими поднялись южнобережные татары и турецкие подданные всех уездов, а также весь огромный Перекопский уезд, в котором тогда насчитывалось около 320 деревень лишь с чисто крымскотатарским населением. Первым признаком того, что село собирается в путь, было полное прекращение полевых работ, в том числе сева озимых. Затем начиналась распродажа рабочего и молочного скота, другого семейного и общинного имущества. И это если находились покупатели, что было большой удачей, а в противном случае домашнюю утварь и сельскохозяйственные орудия раздаривали русским соседям или бросали (Сергеев, 1913. С. 202).

Тут уже заволновались землевладельцы, которым вдруг стало не хватать рабочих рук, и стали выступать против позволения крымцам на переселение. Отчего в Симферополе собрался в августе 1860 г. чрезвычайный съезд местного дворянства. Здесь помещиками было составлено обращение к Министру внутренних дел С.С. Ланскому, в котором они панически сообщали, что «вся степная часть полуострова уже представляет вид пустыни и сёла без жителей, поля не вспаханы и нет сомнения, что с будущей весной горная часть, в которой движение татар относительно к степной ещё мало заметно, представит ту же пустынную картину. Потери, понесённые правительством и частными владельцами, огромны — цифры уже представляют цифры потерь, понесённых в минувшую войну. Будущность... представляется ещё ужаснее, и не далее, как в следующем году владельцы и остальная часть населения не в состоянии будут исполнять ни денежной, ни натуральной повинности... Едва ли самая кровопролитная война, общий голод или моровая язва могли бы в столь короткое время обезлюдить край — его

<sup>1</sup> «К августу месяцу опустела бо́льшая часть Симферопольского и Феодосийского уездов: остались только подсудимые и вообще прикосновенные к делам» (Шербань, 1860. С. 213–214).

опустошило, самую администрацию ускоренное, переселение татар» (Цит. по: Гонения, 1861. С. 176–177).

Однако помещики, заседавшие в Таврическом дворянском собрании, в августе разъехались по домам, а собравшись через три дня, пришли уже к совершенно иному решению: что «гораздо полезнее озаботиться не задержанием татар, а мерами немедленного доставления краю новых обитателей. Вопрос о прекращении эмиграции был [ими] оставлен» (*Шербань*, 1860. С. 214).

Вездная и губернская администрация, имея сведения о том, что намерение эмигрировать совпадает с желанием петербургских властей, не только не препятствовали таким приготовлениям, но и пытались ускорить их, лишь введя стихию в берега установлением относительного порядка. Для чего первым делом от сельских общин были затребованы списки уезжающих, что только утвердило людей в санкционированности эмиграции сверху.

Кое-где усердие мелких чиновников дошло до того, что они стали собирать людей на деревенских площадях и зачитывать им правительственное постановление о дозволении оставить Крым и отправиться за рубеж всем желающим (такое постановление в самом деле имелось, но для *служебного* пользования). В Евпатории это чтение совершалось многократно, а для пушей драматизации момента проходило, как во время наказания кнутом, под барабанный бой. Одно это, замечает современник, даже «если б мысль о переселении до того в народе и не существовала, ... неминуемо привело бы татарское народонаселение к этому результату» (*Левицкий*, 1882. С. 627–628).

Очевидно, именно тогда решились собираться в путь и те, кого не коснулась (или задела в меньшей мере) чисто экономическая дискриминация народа властями, то есть зажиточное дворянство, духовенство, городские ремесленники и коммерсанты. Всего их оказалось по официальным, значит далеко не полным данным: дворян — 772, мулл, мудеррисов и мазинов — 9168 и мешан — 13 444 человека (*Чернышёв*, 1930. С. 34). Повторяем, эти люди не были ограблены, как крестьяне. Но они обладали большим жизненным опытом, были просвещёнными и вполне могли предвидеть будущее, которое ждёт их в России, если они не решатся раз и навсегда вывести себя и своих близких из-под неминуемого удара.

Теперь, в ситуации уже пошедшего массового отъезда, началось завершающее, последнее ограбление несчастных беженцев. Вначале оно касалось только повинностей, подразделяясь на следующие виды вымогательства:

В смешанных (русско-татарских) сёлах остававшаяся часть сельской общины требовала от уезжающих выплаты их части общедеревенских податей за несколько лет вперёд, отказываясь в противном случае подписывать «отпускные» мирские бумаги об отсутствии задолженностей по налогам и по частным займам. Суммы таким образом исчисленных «недоимок авансом» доходили до 100–150 руб. с семьи, а это были огромные деньги.

На владельческих землях помещики также не отпускали «своих» арендаторов, фактически закрепощённых ими крестьян, до выплаты ренты также за несколько лет вперёд; некоторые требовали оставаться, пока не созреет и не будет собран крестьянскими руками урожай. Поскольку же осени ждать было никак невозможно (осенние штормы на Чёрном море — не шутка), то помещики «шли навстречу» беженцам, предлагая и за это расплатиться также деньгами и прочим имуществом.

Местные чиновники, боясь упустить свою часть «пирога», требовали произвольно назначаемые суммы за выдачу гербовой бумаги для заявлений о выдаче заграничного паспорта. Кое-где эти заявления, как составленные не по форме, грамотеи присутственных мест тут же рвали, и бумагу приходилось покупать заново, причём по несколько раз. Стоило денег и разрешение помещика на выдачу «его» крестьянину паспорта, но никто не знал, сколько именно. Так, жители деревень Бек-казы и Олсунки платили по 21 руб. с семьи, карасубазарские мешане — по 10–13,5 руб.; и это помимо того, что сам бланк паспорта стоил ещё 3,5 руб. Но перед его выдачей нужно было выправлять (в тех же присутственных местах) свидетельство об отсутствии препятствий для выезда за рубеж. Цены за такую услугу были совсем уж произвольными, так что, когда эта обильная «путина» подошла к концу, многие чиновники, до начала её бедные как церковные крысы, «вдруг сделались обладателями значительных состояний» (*Гольденберг*, 1883. С. 73).

Всё это можно было предвидеть, и доходило чуть ли не до драк между чинами полиции, земских судов, губернских канцелярий и земств за право выдавать паспорта: в тот страшный год оно поистине стало золотой жилой. Ведь только во дворе губернского правления постоянно толпились отцы семейств, числом доходившие до 1000 человек, да и по почте ежедневно приходило в среднем 750 прошений. Для крымцев же «паспортная» проблема оказалась настолько тяжёлой, что затмила все остальные. Недаром она отразилась и в народной песне тех лет, звучавшей в Крыму и в XX в.:

Я поведаю вам, что сейчас творится в Крыму.  
Не осталось в нём ни девушки, ни молодки:  
Всякий стремится переселиться в исламские страны.  
Смилуйся над нами, Господи: мы покидаем Крым.

По велению Бога перед нами открылся путь.  
Огонь охватил Крымский остров.  
Пришлось отказаться не только от добра, но и от дорогих сердцу.  
Смилуйся над нами, Господи: мы покидаем Крым.

Какой хороший климат в этом Крыму!  
Но распри в нём не разрешают по шариату.  
Или провинились мы, падишах, что попали в мятежники?  
Смилуйся над нами, Господи: мы покидаем Крым.

Одно время беспрестанно брали паспорта;  
Благодаря им нажились чиновники, а народ разорён.  
Все мусульмане спешат раздобыть паспорта.  
Смилуйся над нами, Господи: мы покидаем Крым.

Люди состоятельные также выправляют паспорта;  
Бедняки приходят в отчаянье.  
Мечети и медресе все заколочены.  
Смилуйся над нами, Господи: мы покидаем Крым.

*Олесницкий*, 1910.



Итак, движение вспыхнуло, подобно степному пожару, перебрасываясь с уезда на уезд, и, несмотря на «старания» чиновников упорядочить его, оно стало неуправляемым, лавинообразным. Очевидно, пик переселения приходится на 1863 г., когда «совершенно опустели 784 аула и татарские деревни» (Горчакова, 1883. Т. II. С. 31)<sup>1</sup>; населённые же пункты, где остались лишь немногие жители, никто не считал. «Это было какое-то повальное бегство. Эмигрировали целые семьи, поколения и даже орды. Шли все: мужчины, женщины и дети, работники и старики. Пустели целые сотни аулов и деревень. Имущество продавалось за бесценок или его бросали даром. Народ бежал, не зная куда, не зная зачем, не зная, что ждёт его в чужом краю... Из всего татарского населения в Крыму осталось меньше 100 000 человек.» (Мартынов, 1887. С. 2). По другим оценкам, сделанным годом раньше, «выселение татар совершилось с невероятной быстротой и унесло из края, менее чем в течение года, около 230 000 населения... и едва ли их осталось в настоящее время на всём полуострове и до 30 000» (Корреспондент, 1862. С. 399).

Остается добавить, что пожар эмиграции привлек к Крыму массу спекулянтов и жуликов всех мастей из России, которые надеялись нагреть руки на татарском имуществе. «В 1860 г. степные татары поднялись и стали за бесценок распродавать весь свой инвентарь и посева. В татарские деревни, точно саранча, налетели охотники до лёгкой наживы и покупали татарское имущество за ничто». (Крым, 1930. С. 113–114). Как грибы возникали всевозможные «меняльные конторы», бравшие царские кредитки в обмен на турецкое золото, как правило, фальшивое. Образовались даже общества на паях, «переуступавшие» права на купленную землю помещикам. Эти пайщики наживали такие проценты, что, говорят, платили крымскотатарским муллам немалые деньги за проповедь эмиграции и, конечно, не прогадывали на этом (КВ, 1888. № 33–34). Но выхода не было, и люди соглашались на всё. Все три страшных года — 1860, 1861 и 1862 — продолжался горький исход, своим трагизмом потрясший и оставшихся в Крыму христиан:

«А татары идут и идут, целуют землю, плачут, но всё-таки идут», отметил русский современник Великого исхода (Крым, 1930, С. 114). Некоторые из них, прежде чем загасить деловские очаги, брали с собой живой огонь, зная, что он согреет их на чужбине лучше любого иного. Такой инстинктивный порыв имел и глубоко символическое значение, а также редкое в истории последствие. Известен, по крайней мере, один случай, когда этот огонь, передаваясь из поколения

<sup>1</sup> По некоторым уездам имеются точные данные о полностью оставленных деревнях: в Перекопском таких брошенных селений было 278, в Симферополе — 23, в Феодосийском — 67, Евпаторийском — 196. Численность эмигрировавших из Перекопского уезда — 41 331 душа, из Евпаторийского — 8434. Примерно половину брошенных деревень довольно быстро заняли русские переселенцы, но 330 были обречены на разрушение. «Перекопский уезд, в настоящее время самый безлюдный, более других занят был татарами, которые находили возможность существовать там безбедно...» (Ханацкий, 1867. С. 418–436). Тогда же обезлюдели целые местности, например, плодородные дуга в верховьях Аузул-Узенья (Большой Каньон Крыма), близ волопада Джур-Джур (правый берег ниже по течению) и т. д. В обширном Бердянском уезде осталось 15 ногайцев обоего пола, в Днепровском — 51 человек, в Мелитопольском — ни одного (Сергеев, 1913. С. 214).

в поколение, сохранился до наших дней, до XXI века — речь идёт о Добрудже (Сейтбекиров, 2009).

Упомянутые три года были далеко неравны по числу переселенцев. Основная масса покинула родину в 1860 г. На следующий год эмигрантов стало в 15 раз меньше. Наконец, в 1862 г. выехало лишь 0,6 % от первоначального количества (Сергеев, 1913. С. 205).

А затем, вдогонку за этим трёхлетием, вместившим в себя одну из крупнейших драм в истории народа, полумёртвому Крыму был нанесён ещё один, завершающий удар. 24 ноября 1865 г. был издан Указ о поземельном устройстве государственных крестьян, к которым относились и крымскотатарские сельские жители. Но они были без объяснения причин исключены из сферы действия акта (имеются в виду те, кто оставался на своей земле). Причину такого дискриминационного исключения не мог объяснить никто, даже таврические губернаторы, как правило, прекрасно владевшие материалом.

Один из этих крупных администраторов писал императору, что в результате упомянутого нарушения закона татары «не получили на владимые ими общественные земли никаких письменных документов. Трудно объяснимое земельное неустройство татар... принесло краю чувствительные и уже непоправимые потери... когда не только отдельные лица в массе, но и целые общества, как например общество Джага-Ших-Эли (то есть община Джага-Шейх-Эли. — В.В.), Караджанай, Коперликой и другие, спокойно владевшие своими общественными, но бездокументальными землями ещё с древних ханских времён, чуть ли не в течение суток по исполнительным листам судебных мест выселялись из своих насиженных гнёзд и в буквальном смысле слова выбрасывались на большую дорогу. Трагизм несчастных людей с их древними стариками, ещё хорошо помнящими лучшие времена, и слабыми женщинами, детьми, превосходит всё возможное, так как они по своей темноте не могут постигнуть формальной причины своего разорения: пропуска судебных сроков, неявки их в суд, бессознательная подписка какого-нибудь уполномоченного общества на каком-либо документе...» (РГИА. Ф. Библ. I отд., Оп. 1. Д. 95. Л. 270 об.). Эти «изгнанники по закону» также пополняли эмигрировавшую массу: выхода-то не было...

Реакция правительства на уже начавшееся переселение была однозначной: она совпадала с мнением крымских помещиков и землевладельцев. Так, директор I департамента Министерства государственных имуществ Н.А. Гернгросс прибыл в Крым и там, в собрании уездных предводителей дворянства и дворян, приглашённых губернатором, объявил, что Александр II полагает «счастливой случайностью выселение татар, с которым восстановится будущее благоденствие края, так долго задержанное в своём процветании». Князь Мехмет-бей Балатуков, владлец 40 000 десятин земли, «человек весьма преданный престолу, отец котораго в 1812 году командовал татарскими полками, выслушал эти слова, написал их и, получив утвердительный ответ на вопрос, так ли он понимает их, сказал, „после этого я должен оставить Россию“» (Гонения, 1861. С. 975).

Понятно, что идеологи той эпохи, формировавшие общественное мнение, рассуждали точно так же, как император. И они писали, что благую деятельность администрации донныне тормозило лишь «смешанное население, не представлявшее никакого единства: постоянное брожение разнородных элементов

мутило светлую наружность страны». В этом отношении переселение оказалось полезным; об этом говорили за четыре года до его начала<sup>1</sup>. Наиболее же откровенные из авторов русских журналов повторяли то же самое в году, когда эмиграция началась: «Переселение татар — одно из самых счастливых событий последнего времени. Недавняя война показала, до какой степени Россия может рассчитывать на верноподданность мусульманского населения. С этой точки зрения, для государства, которому нужны на жизнь и на смерть преданные дети, лучше всего избавиться от расы... которой все помыслы, весь упорный фанатизм устремлены туда, где её братья по религии и по крови. Казна потеряет от этого миллион рублей, но страна выиграет, выиграет не только в нравственном, но и в материальном отношении... Крым должен поить со временем всю Россию своим вином, кормить своими фруктами и снабжать своим табаком. Татарам никогда этого не достигнуть; им даже не думается и не снится такая перспектива; их присутствие обрекает полуостров на вечный застой, тогда как *всякое другое* (курсив мой. — В. В.) население быстрее двинет его вперёд; благословенна та минута, когда Крым расстанется с туземцами и заселится иною, более одарённой породой» (*Шербань*, 1860. С. 211–212).

Те же настроения преобладали и в царском окружении, где возникали планы о всемерном ускорении уже начавшегося переселения народа в Турцию. Цель была понятной: окончательно «освободить» ещё остававшиеся во владении крымских татар земли, но уже не в политических, а скорее в экономических интересах империи. Не случайно инициатором одного из таких проектов стал министр государственных имуществ М. Н. Муравьёв. Он представил его императору, а уже Александр, почтив генерал-адъютанта Э. И. Тотлебену «Высочайшим доверием», поручил ему на месте исследовать возможности осуществления проекта и доложить о его перспективах.

Но генерал-адъютант, прекрасно сознавая, что он идёт против течения, с военной прямотой заявил царю в официальной *Записке* от 14 ноября 1860 г., что одним махом заменить 300 000 тысяч трудолюбивых крестьян переселенцами из совсем других регионов не удастся. По этой и иным причинам он советовал сохранить крымских татар на местах как людей, «...удаление которых приведёт край к экономическому упадку» (О выселении татар из Крыма в 1860 году. *Записка* генерал-адъютанта Э. И. Тотлебена // *Русская старина*. Т. 1893, № 6. С. 531). *Записка* была составлена со знанием дела. Тотлебен рекомендовал в ней:

«Пункт 1) Необходимо остановить переселение крымских татар.

Если правительство имело причины опасаться татарского населения в Крыму в случае новой войны, или находит татар неспособными для развития успехов земледелия, то виды правительства в настоящее время уже исполнились выходом почти трёх четвертей всего населения и тем, что оставшаяся малая часть его, занимающаяся преимущественно садоводством, вполне полезна и даже трудно заменима в этой отрасли сельского хозяйства, и поэтому единственным средством,

<sup>1</sup> «...потери мы в этом не видим решительно никакой; напротив, удалением своим в пределы Турции крымские фанатики развязали руки русскому правительству, которое постепенным преобразованием старалось улучшить и развить благосостояние Крыма» (*Б-н П.*, 1836. С. 43).

для предупреждения совершенного опустошения края, остаётся прекращение выдачи паспортов, не взирая на многие неизбежные затруднения...

Пункт 2) Так как татары, вследствие злоупотреблений помещиков и местных начальств, из прилежного свободного состояния — потеряв постепенно свою собственность — поступили в совершенную зависимость от помещиков, то они заслуживают особенного покровительства, подобного тому, которое им оказывал покойный князь Воронцов во время своего управления краем...» (ук. соч. С. 547–549).

Именно благодаря безусловной доказательности своей *Записки* Э. И. Тотлебену и удалось «похоронить» муравьёвский план дополнительного, уже стопроцентного вытеснения крымских татар за рубеж.

Но оговоримся сразу: люди, подобные М. С. Воронцову или Э. И. Тотлебену, в российских правительственных или военных кругах встречались исключительно редко. Чаше сочувствие к трагедии крымских татар можно было встретить в ширящемся слое просвещённого дворянства. Примером могут служить свидетели Крымской войны, чьи воспоминания цитировались выше. Но в целом гораздо более многочисленны (в том числе и среди российской интеллигенции) были сторонники «очищения» Крыма от коренного народа с целью заселения полуострова славянами. И через много лет после завершения Великой эмиграции вполне либеральные авторы, имевшие время для того, чтобы взвешенно оценить результаты этой трагедии, давали её оценку вроде следующей: «Многие были довольны этим выселением на том основании, что татары, по их мусульманско-азиатскому характеру, чужды всяких усовершенствований в быте. Последнее совершенно справедливо...» (*Ханацкий*, 1867. С. 214).

Доказывать несостоятельность подобных оценок излишне. Значение эмиграции лучше более поздних публицистов и историков понимали её современники. Ведь когда эмиграция развернулась во всем своем гигантском масштабе, то снова, как в конце XVIII в., русские сами забили тревогу — о достопамятном чрезвычайном съезде Таврического дворянского собрания в августе 1860 г. уже говорилось. Землевладельцы хорошо знали цену почти бесплатному крымскотатарскому труду, в особенности по сравнению с беспомощностью завезенного из России крестьянства, десятилетиями не умевшего приспособиться к чуждому краю и требовавшего постоянной «подкормки» от тех же помещиков. Доля русских среди крестьян Крыма исчислялась тогда совершенно незначительными процентами. Поэтому неудивительно, что степь после переселения напоминала современнику «пустыню», та же участь грозила и горной части полуострова. «Сёла обезлюдели, поля остались без обработки. Ценность земли упала с 20 до 3 руб. за десятину» (цит. по: *Усов*, 1925. С. 52).

Но если в степных, хлебоборных по преимуществу поместьях проблему как-то можно было решить за счёт приходящих весной-летом русских и украинских сезонников, то полный развал постиг «виноградный пояс» полуострова. Причём сразу по нескольким причинам: лоза требует ухода не только весной и летом, рабочая сила должна обладать специальной квалификацией, наконец, её должно быть в достаточном количестве, а нехватку не удавалось побороть, даже подняв цену за рабочий день на винограднике с 10 до 50 копеек в день. Что ещё более обостряло ситуацию этой части полуострова, так это реэмиграция 10 000 болгар,

не столь давно поселившихся на полуострове. Не вынеся военных тягот и послевоенного разорения, эти христиане предпочли вернуться в свою находящуюся «под невыносимым турецким игом» Болгарию (Домбровский, 1862. С. 91).

Тогда же появляются первые серьёзные социально-экономические исследования, анализирующие сравнительную ценность мусульманской и великорусской рабочей силы в важном деле возрождения и развития Крыма.

Эмиграция, говорилось в этих статьях, стала «сильным потрясением во всех отраслях экономической жизни страны... В то время, когда шло выселение татар, странно было слышать мнение некоторых господ о том, что татары составляли бесполезное, даже вредное население для Крыма. Господа эти забывали, что татары были, во-первых, единственные рабочие руки у страны (имеется в виду севернопричерноморский регион. — В.В.), ея единственная рабочая сила, и что с их уходом страшно пустеют все сёла и деревни и некоторые из степных городов Крыма; а во-вторых, и самоё-то мнение о бесполезности не имело никакого разумного основания. Говорили, что татарин служил доселе помехой рациональному способу сельского хозяйства в Крыму. Но хотели бы мы знать, чем же лучше было и есть — степное хозяйство по соседству с татарами, у русских крестьян? Инициатива всех сельскохозяйственных улучшений до сих пор у нас не могла идти от народа, ни в крымском, ни в других хозяйствах юга, будь там татары или русские, всё равно...

При иной обстановке, при других обстоятельствах, и степной татарин, наверно, стал бы столь же хорошим земледельцем, как и всякий другой (далее приводятся сведения о процветающих ногайских земледельцах Мелитополя и Бердянска, не стеснённых безземельем, испольщиной и т. д. — В.В.). Не служит ли это опровержением того ходячего мнения о *татарской лени*, мнения, которое вошло у нас в поговорку. Дайте человеку возможность трудиться свободно, дайте ему уверенность, что его потовая копейка для него не погибнет, и никакая лень не устоит против беспрепятственной возможности жить привольно и безбедно, а главное, имея свою собственность. Кто себе враг? Прибавим ещё, что татарин по большей части честен, невороват, мягкосерд, не любит пьянствовать, у него в рабочую пору не бывает гульбы и прогуливанья рабочих дней, у него нет такого множества праздников, как в году у нас; у степных татар, несмотря на мусульманский закон, и женщины работают в поле» (*Корреспондент*, 1862. С. 399).

После ряда таких и схожих статей в специальных и массовых изданиях не было ничего удивительного в том, что «жалобы и вопли, поднявшиеся со всех сторон в Крыму после удаления татар, обратили, наконец, на себя внимание высшего начальства» (Левитский, 1882. С. 632). А когда их подхватила либеральная часть русской общественности, то, наконец, на эту трагедию некогда цветущего края обратил внимание сам император, ещё недавно планировавший выселение крымских татар. Из Петербурга в Крым пришло распоряжение о приостановке эмиграции, а также требование рапорта об уже имевших место событиях и размахе передвижения народных масс. В отличие от крымских помещиков, местная администрация «устояла» на старых позициях и дала крайне отрицательную характеристику ещё оставшейся на родине части коренного народа Крыма, как, во-первых, представлявшей прямую опасность для остального (?) населе-

ния полуострова, во-вторых, как относящейся враждебно ко всему русскому, и, в-третьих, как совершенно неспособной к земледелию (Гольденберг, 1883. С. 74).

Тем не менее через некоторое время согласно новому распоряжению царя выдача беженцам паспортов была прекращена. Что, как и следовало ожидать, только усилило отток коренного населения, но уже «незаконный». Лишь после этого правительство снизошло до непосредственного обращения к центральному герою событий, к крымскому народу. Был издан циркуляр-обращение к крымским татарам с просьбой оставаться на местах и с обещанием весяческих благ. Циркуляру никто не верил, и после этого эмиграция продолжалась, растянувшись не на месяцы — на годы...

И на сей раз родину покидали в большинстве своем степняки. То есть скотоводы и земледельцы, дочиста разоренные войной и не имевшие материальной возможности вновь наладить хозяйство. Горцы, а также большая часть прибрежного населения, как и в 1780-х гг., остались на месте: их сады и виноградники уцелели. Да и лес по-прежнему давал кое-какое пропитание, в том числе и тем береговым жителям, что были частично депортированы вглубь крымской горной системы и в деревни северного предгорья. Опять древнейший крымский генофонд уцелел; ногайцев же теперь осталось гораздо меньше половины былой их численности. А если провести сравнение в другой плоскости, а именно между городом и деревней в целом, то, конечно, эмигрировали гораздо чаще сельские жители, независимо от их состоятельности и географического местоположения.

Вывод о преимущественном вымывании из населения Крыма во время эмиграций именно ногайского элемента, сделанный автором в 1980-х гг. (Возгрин, 1992. С. 334 и др.) и подтверждённый множеством свидетельств современников, был не столь давно подвергнут острой критике. Заслуженно уважаемые учёные утверждали при этом, что ногайцы то ли остались на местах, то ли выезжали, но пропорционально с «татами» гор и побережья (См., например, в: Музафаров, 1991. Т. 1. С. 302–304). Очевидно, имеет смысл привести ещё один довод, а именно итоговый результат эмиграционных сдвигов, сделанный в результате многолетнего исследования этнической ситуации в Крыму на исходе XIX — в начале XX в. Причём сделанный одним из выдающихся представителей российской этнографической школы. Говоря о крымских степняках как единственном субэтносе Европы, сохранившем во всей чистоте монголоидный антропологический тип, П.Н. Бекетов утверждал, что после всех эмиграций: «чистые степняки уцелели только в трёх местах — на Тарханкутском полуострове, у Сиваша и в восточной части Крымского полуострова» (цит. по: Рославлева, 2000. С. 6)<sup>1</sup>.

Таким образом, речь идёт о всего трёх даже не уездах, а волостях, к тому же степных, то есть малонаселённых. Понятно, что число этих последних потомков Большой Орды значительным быть никак не могло. Почему именно ситуация сложилась так, а не иначе, возможно, помогут понять данные о сравнительной безземельности татар в различных регионах Крыма. Выясняется, что она была наиболее высока именно в степной части полуострова. Если в Ялтинском уезде число безземельных не достигало и трети крестьян, то в Перекопском уезде это

<sup>1</sup> О том, что за Перекопом из почти 60 000 ногайцев осталось всего 66 человек, говорилось неоднократно и в различных исследованиях.

число поднималось до 80 %, а в Евпаторийском — до 88 %! Именно поэтому, как справедливо указывает автор подсчётов, из общего числа 181 000 крымскотатарских эмигрантов, на огромный Ялтинский уезд (по сути, включавший в себя всю протяжённую и густонаселённую полосу Южного берега Крыма) приходилось всего 2870 чел. (Сергеев, 1913. С. 206). Здесь людей по-прежнему кормили море и главным образом лес, можно было выжить даже в военное и послевоенное время. И они выжили, никуда не уезжая с земли предков.

Сколько всего крымцев бежало, сказать сложно.

По подсчётам крымских властей, всего в начале 1860-х гг. эмигрировало 156 629 душ, по мнению правительства — 141 667 человек. Эта цифра, явно заниженная, была принята позднейшей литературой уже как 140 000 чел. (Десять лет. С. 411). Но в обоих случаях сюда не входят те, кто выехал без паспорта, а их было огромное количество, едва ли не столько же, сколько было зафиксировано официально. Во всяком случае, согласно даже самым осторожным, то есть строго документированным другими источниками подсчётам, всех эмигрантов было насчитано 181 177 душ (Ханацкий, 1867. С. 438); а с некоторыми поправками — даже 192 360 (Крым, 1930. С. 114).

По подсчётам администрации Новороссийского губернатора, очевидно, самым точным, на 1863 г. выехало только с паспортами крымскотатарских мурз 400 душ мужского пола, духовенства — 4 727 душ, купцов — 13, мещан — 6 987, государственных крестьян 92 084, то есть всего 104 211 душ мужского пола, что в совокупности с 88 149 душами женского пола составило 192 360 человек. Тот же источник сообщает, что если до эмиграции в Крыму насчитывалось 295 357 душ обоего пола, то в 1865 г. осталось 105 587 душ. Причём более всего обезлюдел Перекопский уезд, который оставило 58 800 душ местного населения (Рету, 1872. Р. 222).

Согласно третьей группе источников, после завершения эмиграции, в Крыму и примыкавших степях остался 102 951 местный житель (Левицкий, 1882. С. 635; Никольский, 1929. С. 26), тогда как по многочисленным оценкам населения ханства, оно до аннексии равнялось полумиллиону человек (очевидно, не учитывая заперекопские степи).

Казалось бы, расчёт фактической, а не «паспортной» эмиграции произвести легко, однако в нём не отразились убывшие в более ранние эмиграции. Тем не менее, один из самых авторитетных исследователей Крыма, известный своим серьёзным отношением к цифрам, экономист и историк Ф.Ф. Лашков сделал свой расчёт, в котором пришёл к выводу, что число только послевоенных эмигрантов равнялось 300 000 человек (ИТУАК, 1896. № 24. С. 52–53).

Согласно турецким источникам только в 1860 г. из Крыма в Османскую империю прибыло около 100 000 крымских татар (Osmanlı, 1992. S. 161). А за весь период этой эмиграции — около 600 000 человек (Иедийылдыз, 2006. С. 420).

Но это число не убывших из Крыма, а лишь прибывших в Турцию татар. То есть здесь не учтены все сгинувшие в морских крушениях, или же от голода и болезни на долгом пути вокруг бесконечного западного побережья Чёрного моря.

Итак, если огромная Россия потеряла в Крымскую войну несколько десятков тысяч человек, то маленький полуостров вместе с заперекопскими территориями — более полумиллиона человек. А с учётом жертв войны и по-

слевоенного голода утраты составили не менее ¼ его коренного населения — по самым осторожным подсчётам.

Эти данные об одной из величайших человеческих катастроф в истории Северного Причерноморья не просто заставляют задуматься, кто же понёс наибольшие потери от затеянной бездарным Николаем I заведомо проигрышной Крымской войны? Здесь-то как раз всё ясно, уж конечно, не титульный народ в своей многомиллионной массе (он не то что трёх четвертей, но и одной сотой своего состава не утратил).

Необходимо обратить внимание не просто на то, что Вторая великая эмиграция крымских татар численно превзошла Первую более, чем вдвое. Была в ней ещё одна новая черта: здесь само количество беженцев стало отражением качественного, духовного перерождения людей, наконец прозревших.

Очевидно, новые эмигранты каким-то интуитивным чутьём поняли, что в «русском» Крыму им места уже нет и быть не может. Теперь, сегодня, их потомки в состоянии отдать должное такому прозрению. Прадеды, конечно, не могли предвидеть самое безумное, вообще невысказанное — крымский геноцид 1944 г. Но они покинули свою родину, чувствуя, что рано или поздно за Второй грядёт Третья, самая страшная катастрофа. И крымский народ всё равно будет принесён ей в жертву, — об этом говорил весь их, пока недолгий, но горький опыт пребывания в лоне Российской империи.

А что же остальные, то есть оставшиеся в Крыму, они что этого всего не понимали? — задаст вопрос читатель этих строк. Конечно, понимали, да только обстоятельства у крымцев были разные. Кого-то так разорила война, что до уездного суда было не на чем доехать, не то что за море отправляться. Кто-то оставался на месте, не будучи в силах растревожить стариков-родителей. А остальные — из-за любви к Крыму. Той самой, что заставляла их далёких потомков идти на самые «сумасбродные» поступки, оставляя в конце 1980-х прекрасные особняки и неплохие должности в Узбекистане ради полунищенского существования на вновь обретенной родине. Когда приходилось (и приходится доныне) отвоёвывать своё место на своей земле.

Но вернёмся к нашему рассказу и, оставив сухую статистику, послушаем очевидцев поистине ветхозаветного исхода 1860-х.: «Бросив на произвол судьбы свои постройки и сельские принадлежности, расставшись навеки с прахом своих предков, эти татары громадными нестройными массами со всем своим движимым имуществом, со старцами, женами, детьми, большими двинулись из своих праделовских жилищ к Евпатории, Севастополю, Феодосии, Керчи, откуда на пароходах и парусных судах переправились в Турцию» (Горчакова, 1883. Т. II. С. 81). «К портам... потянулись скрипучие татарские мажары, нагруженные разным хламом, который приходилось бросать по приезде на пристань, так как палубы судов капитаны не позволяли загромождать» (Крым, 1930. С. 114).

Ещё один очевидец: «В опустелых деревнях только выли собаки, двери в хатах от ветра хлопали, окна были выставлены, крыши раскрыты. Ночью, когда полная луна освещала эту пустыню, становилось как-то жутко... Днём приходилось наталкиваться на сцены, поистине раздирающие душу. Вот стоит несколько нагруженных мажар, татарские семейства все, от стара до мала, пошли на кладбище сказать последнее „прости“ своим похороненным предкам; эти добровольные

изгнанники опускаются на колени, бьют себя кулаками в грудь и целуют землю. Ни воя, ни криков не слышно, тихо струятся слезы по их загорелым лицам, ничто не нарушает торжественности минуты; каждый из них берет по горсточке земли с могилы дорогого для них покойника и идет, повесив голову, к своим волам, давно проданным какому-нибудь предприимчивому торговцу» (цит. по: *Никольский*, 1929. С. 25).

А вот воспоминание старика из Добруджи, вернувшегося на родину спустя почти полвека и увидевшего на месте некогда цветущей деревни, где он родился (Мемедаг, северное побережье Сиваша), лишь невысокий холм без каких-либо остатков бывших построек:

«Вот отсюда шла дорога в Перекоп, — указал он... на ложбину, заросшую травой, — тут стояли наши подводы, нагруженные необходимым домашним скарбом, посуда валялась по двору, по комнатам; овцы брели по улицам и жалобно блеяли, коровы и вола, пушенные на волю, с остервенением и глухим мычанием рыли землю, предчувствуя недоброе... Хотя мне тогда было лет около 20-ти, но всё-таки я это живо помню, — слишком было памятно время, чтобы не помнить его. Помню ночь: мы не спали и все возились около подвод; к рассвету всё было готово и мы всей деревней отправились последний раз поклониться праху отцов своих. Рыдания оглашали воздух, уж близился полдень, а женщины не оставляли кладбища: они как бы прилипли к холодным камням могил и разнять их не было возможности. Кое-как нам удалось их усадить на подводы. Рыдания, причитания не прекращались всю дорогу и разрывали сердце. Просехали деревни Терень, Джайны, Чокрак, — картины становились всё ужаснее. Везде пустые хаты, леденящая кровь тишина. Вереницы дохлых и издыхающих по обеим сторонам дороги собак и кошек удваивали гнетущее настроение. Эх! — ужасно, как трудно было видеть эти картины, тяжело было чувствовать, что последний раз глядишь на эту родную степь, последний раз дышишь её воздухом, — но иначе поступить не было возможности...» (цит. по: *Медиев*, 2007. С. 12).

И ещё одно, воспоминание более позднего современника, который говорит о том, что после Второго исхода пришло в полный упадок степное земледелие. Поля заросли разнотравьем и бурьяном, чисто зрительно слившись с окружающей их дикой степью, «...зато [осталось] много следов исчезнувших татарских селений. Единственные их остатки заключаются теперь в обширных кладбищах, состоящих из низких каменных столбов, увенчанных такими же чалмами. Самые дома не только разрушены до основания, но не оставлено и камней, из которых они были сложены» (*Железнов*, 1871. С. 47–48).

Естественно, никакой отдельной эмиграционной службы в ситуации массового бегства не было организовано, как не была налажена (или хотя бы проконтролирована) перевозка людей. Более того, в начале 1862 г., очевидно, далеко не случайно была упразднена упоминавшаяся выше главная, постоянная паромная линия Феодосия-Константинополь (были рейсы также из Бердянска, Севастополя, Керчи и Евпатории). Формально это выглядело как прекращение пассажирских перевозок ввиду их «бесполезности», то есть экономически, по подсчётам бухгалтеров паромного общества РОПИТ, себя не оправдывающих (*Русский Инвалид*, 10. 03. 1862) — и это в период, когда бегство крымских татар далеко не закончилось, хоть и стало менее массовым!



Карта Добруджи.  
По: *Williams*, 2001

У беженцев не осталось иного выхода, как пользоваться услугами частных судов, принадлежавших турецким и греческим владельцам-рыбакам. Те, воспользовавшись конъюнктурой, часто отбирали у крымцев за свои услуги последнее. Их тихоходные суда нередко вообще не годились для перевозки пассажиров, а путешествие длилось не день и не два. Стремясь как можно больше заработать в эту необычную «путину», владельцы ветхих шхун и фелюг, число которых навсегда останется тайной, загружали их выше любого предела, отчего немало их потерпело крушение. Не менее лёгким было плаванье и на грузовых пароходах, которые также использовались турками для перевозок пассажиров, но там грозила иная опасность. Английский источник из Добруджи рисует ужасающую картину таких плаваний:

«День за днём эти несчастные существа лежали вповалку, друг на друге, испытывая все муки морской болезни в обстановке, которую нужно бы увидеть и ощутить, не говоря уже о запахах и прочем! Оспа, тиф, лихорадка и корь стали здесь обычными с самых первых переселенческих рейсов, а затем снова и снова те же самые суда возвращались за своим живым грузом без какой либо дезинфекции или хотя бы уборки. Сотни умирали в море, а когда живые сползали на сушу, то десятки мёртвых оставались на палубах. И вскоре берега и склоны заливов покрывались человеческой массой. Старики, немощные, больные лежали, распростёртые под лучами солнца, и умирали» (*Barkley J. Between the Danube and the Black Sea (Or Five Years in Bulgaria)*. London, 1876. P. 228. Цит. по: *Williams*, 2001. P. 211).

Сохранилась песня, которую сочинили жители южнобережной деревни Суук-Су, откуда 4 июня 1904 г. выехало сразу 120 семей. Ценно в этом произведении

то, что оно составлялось на основе писем, полученных уже из Турции. Привожу старый перевод этого дестана, не очень поэтический, но весьма точный:

Мы отправимся в плаванье, оставив [свою] деревню,  
 Что нам делать, не знаем, мы в недоумении!  
 Суук-Су славится своей раздвоенной скалой;  
 Душевно любимая нами деревня даром ушла!  
 Когда ветер сильно дует, листья падают с дерева;  
 Мы не успели захватить горсть земли из нашей деревни!  
 Мы отправляемся, покидая деревню и глядя на тучи;  
 С кем нам играть, рассыпавшись, как цветы?  
 Мы не хотели бы ехать, но помещик говорит: уезжайте!  
 Если погибнем в море, рыбы проглотят наши тела!  
 В Суук-Су — пять яблоневых садов,  
 Ни разу не наступала в Крыму такая печаль!  
 Суук-Сунские сады тянутся на сто вёрст,  
 Покинув деревню, мы остались со ста рублями!  
 Когда сели на пароход, [в топках] разожгли уголь,  
 И вот уже не придётся нам жить в Крыму!  
 Суук-Сунский фонтан — море в океане,  
 Оставьте наши имена — [отныне] зовите нас переселенцами!  
 [Славятся] стамбульские мечети и минареты,  
 [Турецкое] правительство пришлёт за нами нарядное судно!  
 Правительство отправило консулу предписание:  
 «Не оставаться эмигрантам здесь!»  
 При посадке на пароход закружилась голова;  
 Друзья, моя сестра остаётся в Крыму!  
 Пароходное колесо закрутилось как мельничное;  
 Жители Суук-Су высыпали на пристань!  
 Кисточка [фески] упала в море и плывёт себе;  
 Нас посадили на судно только обманом!  
 Из Суук-Су мы отправились вполне здоровыми,  
 А по прибытии в Эльбузлу началось светопреставление!  
 Жаль чистую воду морского пути,  
 Жаль вас, оставшихся за кормой!  
 Фрукты в графском саду очень рано поспевают;  
 На здешний Крым огни посыпались!  
 Мой пояс уже атласным стал,  
 А оставшиеся в Крыму — священными!  
 Хоть овёс мы едим, а всё же весело,  
 По ночам из окон выглядывают обезьяны!

*Ефетов, Филоненко, 1927. С. 71*

Смысл этого грустного дестана, в общем, понятен за исключением разве что двух последних строк. Составители источника поясняют: «Им придан игривый характер с целью скрыть от турок жалобу на тяжёлое положение иммигрантов, не имевших даже хлеба» (ук. соч. С. 70). Осмелюсь предположить, что переселен-

цы не турок, а своих земляков не хотели слишком уж расстраивать — отсюда и смешные «обезьяны».

Но люди гибли в пути не только от болезней, потому что везли их не только на пароходах, а, как упоминалось выше, по большей части, на мелких, сверх всякой меры перегруженных судёнышках. Они, глубоко сидевшие в воде, переворачивались в открытом море от малейшего волнения. О том, сколько татар «...погребено в пучинах Черного моря... об этом знают те шкипера, которые перевозили этих несчастных, да карантинные стражники и прибрежные жители Крыма, находившие во время эмиграции ежедневно по несколько трупов, выброшенных морем и принадлежавших переселенцам» (*Горчакова, 1883. Т. II. С. 31*). По некоторым подсчётам только в море погибло 60 000 крымских татар (Крым, 1930. С. 115).

Чёрное море в страшном ожерелье из трупов — такое зрелище предстало прибрежным жителям в первый и, иншалла, в последний раз.

### 3. После великого исхода

#### а) Ситуация в Крыму

Тема опустевшего Крыма, осиротевшего и печального, волновала сердца многих авторов эпохи. Они понимали, что со временем жизнь снова наполнит долины предгорий и степные сёла, но что-то исчезло с земли безвозвратно. И писатели щедро выплескивали свою ностальгию по бывшему Крыму на страницы мемуаров. Не будем упрекать их за многословие и, быть может, пристрастие, — ведь всё, что у этих людей оставалось от крымской старины, — это воспоминания.

У нас — тоже...

«Степи, составляющие 9/10 всего пространства полуострова, — совершенные пустыни, трава в них мелкая, выродившаяся, и в июне, вплоть до глубокой осени, выгорающая нажелто. Воды почти нет. Поселения так редки, что от одного до другого едешь на почтовых по несколько добрых часов. Какие есть — не поселения, а развалины. Из десяти хат обитаемы две, на одну ушелевчую — десять лежат в кучах мусора. Из десяти фонтанов восемь, наверное, разбиты или пересохли. Где на памяти старожилы были ещё лесные места, — теперь голь голую. Вы едете по балке, по руслу ручья — кругом вас груши, саловая мушмула, тополь, черешня — и ни следа поселения. А это, между тем остатки садов. По некоторым речкам идут на целые вёрсты сплошные одичавшие сады с чайрами. Татарские названия урочищ, по-видимому, беспричинно относимые к пустынным местностям, напоминают вам имена населённых и богатых деревень, бывших здесь прежде. Эти имена так часты, что вы поражаетесь сравнительной многолюдностью, которая должна была быть здесь когда-то. На придорожных холмах, вдали от поселения, вы часто натываетесь на густонасаженные Божьи нивы, на обширные татарские кладбища, в которых узкие камни с чалмами и фесками, исписанные аятами Корана, торчат в разные стороны, как расшатанный частокол. Половина из них вросла в землю, половина рассыпана и растаскана. Судите, какие сельбища должны были быть около таких погребальниц... Не то, конечно, впечатление

производят зеленеющие лесами, синеющие вершинами скал, горы. Но и в горах, — разорённые могилы по дорогам, одичавшие сады по ручьям, названия, утерявшие смысл, деревни, потерявшие жителей» (Марков, 1995. С. 309–310).

«...татары возделывали свои сады с замечательным искусством, не только поливая их, уваживая, расчищая и т. д., но и делая искусственные прививки. Некоторые крымские города буквально утопали в зелени садов; виноградники в некоторых местах простирались на целые мили... сорта винограда считались десятками, татары изощрялись в способах посадки лоз, в искусственной прививке для облагораживания винограда, и крымские виноградники давали ежегодно до сотни тысяч ведер отличного вина, которое, по словам Палласа, не уступало венгерскому. Земля крымских степей, теперь почти пустынных, была в высшей степени плодородна: из Крыма вывозили ежегодно сотни тысяч четвертей пшеницы для снабжения других местностей. Весьма развито было в Крыму и скотоводство: везде встречались хорошо содержимые табуны лошадей, стада рогатого скота, овец и коз, смушки с крымских овец особенно славилась тонкостью шерсти и вывозились отсюда сотнями тысяч; из козых шкур выделывался отличный сафьян, всюду встречались верблюды, буйволы, дорогие волы...

Теперь же от всего этого остались одни следы... Виноградники разводятся менее, нежели в половинном размере против прежнего, да и тем угрожает филлоксеры. Нет теперь и помину тех хлебов и трав, что были когда-то, — нет главным образом потому, что столь необходимые для орошения безводных крымских степей колодцы, с изумительным искусством копавшиеся татарами, запущены, фонтаны засорены, речки повисохли, и, не орошаемый искусственно, край буквально задыхается от безводья. В результате перед обитателями одной из плодороднейших местностей мира стоит продовольственный вопрос в не менее грозном виде, нежели перед остальной Россией... Неведомо куда исчезла и живая жизнь: буйволы и верблюды встречаются крайне редко, лошади измельчали и даже не напоминают собою прежних крымских коней, систематически облагораживавшихся арабскою и турецкою кровью; мелкие проворные волы, незаменимые в горных местностях, почти совершенно выродились; овец и коз не осталось и третьей части» (Гольденберг, 1883. С. 68–69).

«Северная часть Крыма, за исключением приморских пунктов и долин по течению рек, осталась после татар пустынною и безлюдною, и только опустелые и разбросанные там и сям деревни, засорившиеся колодцы, полуразвалившиеся каменные изгороди и заросшие в степи углубления проселочных дорог свидетельствуют, что здесь когда-то все было заселено, была жизнь и довольство» (А.У., 1876, 261).

И ещё одна важная заметка — о том, что лишь крымцы легко «переносили сухой зной степи, владея тайнами извлечения и проведения воды, разводя скот и сады в таких местах, где долго не уживется немец или болгарин. Поезжайте, например, в Евпаторийский уезд, и вы подумаете, что путешествуете по берегам Мертвого моря. Словом, Крым после ухода татар — это дом после пожара» (Марков, 1902. С. 103–104).

Любопытно, что сбылась и самая спорная (самая бесспорная!) часть пророчества «Консерватора», а именно насчёт того, что исход татар будет пагубен и для их гонителя, для самой же крымской администрации. «Замерли земледель-

лие, торговля, ремёсла, соляной промысел... Городским управлением вместо прежних тысяч рублей дохода едва получены десятки рублей и так далее». Сбылось и предсказание насчёт русских, призванных заменить в Крыму коренных крымчан. «Странствуя по Крыму с одного места в другое, терпя от безводья, потеряв скот свой, пригнанный с родины, несчастные переселенцы, в числе почти пяти тысяч душ, вынуждены были, наконец, наняться в качестве батраков к помещикам. Обрётшие их на бесплодные скитания по полуострову, быть может, этого и добивались... а для работ в крымских степях, под палящими лучами южного солнца, требовался навык... лихорадки имели разрушительное влияние на здоровье голодных пришельцев. Тогда только стало ясно, как велика была для Крыма потеря выселившихся татар» (Гольденберг, 1883. С. 77–78).

Выше была сделана оговорка относительно возможного пристрастия цитированных авторов-разночинцев, естественно сочувствовавших угнетённым слоям населения или целым народам. Но послушаем ещё одного мемуариста, на сей раз даму из высших аристократических кругов, княгиню Е. Горчакову, которую трудно заподозрить в преувеличении бед, обрушившихся на голову крымчан, племени, ей до приезда на полуостров совершенно незнакомо.

«Удаляясь в Азию, татары унесли с собой тайну своего довольства и преуспевания; ни один колонист, будь он русский, болгарин или немец, не создаст на незнакомой почве чуждой ему земли тех садов и виноградников, которые давали обильные плоды любимым сынам своим, потомкам первых обитателей Тавриды, и путешественник, проезжая теперь по бесконечным пространствам северо-западной части полуострова, взирает с изумлением на эти сожженные горячим солнцем поля, дающие земледельцу скудную жатву, и не узнает в безлюдной, сухой, безжизненной степи ту страну, которая некогда слыла житницей Греции и славилась своим богатством и плодородием. Животная жизнь здесь также постепенно исчезает; породы измельчали: верблюды, буйволы становятся редки, рогатый скот, овцы и козы убавились наполовину, и маленькие табуны лошадей, встречающиеся теперь в степи, не могут сравниться с прежними татарскими конями, горячими, быстрыми, воспитанными для набегов, красотой своих форм не уступавшими арабской лошади».

И далее: «Селения редки, фонтаны развалились или пересохли, воды мало, жалкие остатки опустелых хат попадают часто и свидетельствуют о бывших поселках, а груши, черешни, мушмула, одичалые виноградные лозы в пустынной балке или вдоль лесного ручья говорят вам, что здесь когда-то были сады и виноградники, луга, холмы, покрытые лесами, густонаселённые, богатые деревни, оставившие в наследство пустынным местностям и урочищам свои татарские названия, а нынешним обитателям Крыма обширные кладбища, расположенные на придорожных холмах, с множеством надгробных камней разных цветов и форм; некоторые из камней стоят ещё как одинокие стражи этой долины смерти, но многие рассыпались, растрескались, лежат в осколках, как после страшного землетрясения» (Горчакова, 1884. С. 27, 31–32).

Особенно трагичную роль сыграла Крымская война в истории Гёзлёва. После всех осад, штурмов и урона, понесённого городом от работы русской артиллерии в 1736 и 1771 гг., Гёзлёв сохранил своё значение «первого торгового и промышленного города» Крыма (Евпатория, 1868. С. 427). Именно через местный порт

по-прежнему доставлялись в Крым и Россию кофе, рис, сухофрукты, финики, сукна, шёлк. Заметный урон этой торговле принесла уже первая депортация, так как многие христиане имели здесь свои склады, с их уходом прервались коммерческие связи и многое другое. Но лишь Крымская война и последовавшая за ней Великая эмиграция превратили Гёзлёв в заштатный городишко, каким он, по сути, является до сих пор.

Как пишет неизвестный автор в 1868 г., в довоенное время здесь имели место «огромные (торговые) обороты, в обширном карантине, судя по теперешним его развалинам, недоставало мест для склада товаров, жилось привольно и весело, как вообще живётся в городах, где развиты промышленная деятельность и торговля. С упадком производительности в степных уездах полуострова, тяготевших к евпаторийскому порту, упала торговля, целые ряды лавок, магазинов и складов опустели, забиты наглухо и вместо прежнего кипучего движения воцарилось молчание, прерываемое лишь в летние месяцы незначительным каботажем, да приезжими для морских купаний...» (там же).

Нет необходимости множить здесь подобные свидетельства тотального разорения края, чудовищной цены, которую небольшой крымский народ уплатил за войну, развязанную великими нациями<sup>1</sup>.

Попытаемся лишь ответить на вопросы, поставленные в начале этого очерка: а стоили ли огромные жертвы коренного населения цели, поставленной царем? И результатов, этой войной достигнутых?

Послушаем старого историка-марксиста: «Объективно и турецкие войны, и крестьянские переселения служили одной цели: поддержанию устаревшего типа народного хозяйства. И те и другие служили орудием экономического, а с ним и всяческого другого застоя» (Покровский, 1918. С. 25) — кажется, эти слова были сказаны сегодня, а не в далёком 1918 г. Именно сохранение застоя, торможение объективного процесса духовного и культурного развития были целью российского правительства в Крымской войне. И менее всего царь думал об освобождении балканских братьев-славян, развязывая очередную Южную кампанию. «...И не должны ли были казаться лицемерием не только врагам, но и друзьям России заветы о свободе народов, когда во внутренней политике она руководствовалась совершенно противоположными началами... Не давало ли [это] права ее врагам говорить ей: „Врачу, исцелися сам“?» (Данилевский, 1871. С. 344–345). И это слова отнюдь не марксиста и даже не либерала, это говорит

реакционер, которого русские фашисты считают своим духовным отцом, автор, ставший вскоре, при небезызвестном мракобесе И.Д. Делянове, почти официальным идеологом России. Это слова из его книги, предназначенной быть настольной у любого преподавателя-историка и студента эпохи Александра III.

К сожалению, на столь объективную оценку национальной политики русских историки веком спустя уже не осмеливались.

Как упоминалось ранее, основной проблемой для местной администрации стали поиски какой-то замены ушедшим крестьянам, ведь земля уже который год оставалась пустой, покрываясь сорняками. Для того, чтобы оживить полу-мёртвый Крым, было решено пополнить убыль населения за счёт переселенцев любой национальной принадлежности. Вначале планировалось продолжить удачный вроде бы опыт приглашения на льготных условиях немецких и иных иностранных колонистов, которые заселяли южные земли (правда, по большей части украинские) с екатерининских времён. Против этого выступали «патриоты», опасавшиеся, что протестанты да католики мигом «в свою веру обратят» нежные русские души, предлагая взамен звать единоверных славян-братушек из Болгарии, Сербии, Чехии, Австрии и так далее, уверяя при этом, что их «полезность... для Крыма не подлежит сомнению... Кроме того славяне... через месяц заговорят по-русски» (Шербань, 1860. С. 220). Но в окончательном варианте было принято решение о том, что основную часть трудовой иммиграции должны были всё же составить подданные империи русской национальности. В соответствии с ним выстраивалась миграционная политика, в результате чего и в самом деле русских было переселено гораздо больше, чем зарубежных крестьян.

Завоз новой рабочей силы был проведён с большим размахом. Если в 1861 г. общее население полуостровной части Таврической губернии составляло 94442 человека, то к 1897 году оно выросло до 284 135 человек (Секиринский, 1988. С. 94). Такой демографический взлёт (увеличение населения в 2,8 раза в течение менее полувека), конечно, нельзя объяснить естественным приростом. В результате, к указанному 1897 году доля крымских татар в населении Крыма резко упала. Поэтому даже в наиболее «татарских» уездах процент коренного населения не превышал 41,8 % (Симферопольский, в который входил и Бахчисарай с окрестностями) или даже 40,5 % (Евпаторийский уезд). Там же, где переселение было самым заметным (напр., в Севастопольском уезде) численность татар опустелась до совершенно незначительного 1,7 % (ук. соч. С. 95).

Что же касается иностранцев, то вскоре после окончания войны была достигнута предварительная договорённость с первыми из них — десятью тысячами жителей Чехии и Моравии, вроде бы соглашавшимися двинуться в путь. Реакция русских газетчиков на это известие говорит сама за себя: «...новость чрезвычайно отрадная... желательно видеть их расселившихся на благодатных крымских долинах, каковы салгирская, алминская, качинская, байдарская и другие, на дикость и запустение которых нельзя глядеть без крайней грусти...». Тут же обрадованный губернский предводитель дворянства П.А. Взметнев делает местным помещикам предложение приступить к заключению взаимовыгодных договоров (Радуга, 1862. № 2. С. 29). И тщетно мы стали искать бы на страницах этого Феодосийского ежемесячника хоть слово сожаления об исчезнувших жителях упомянутых крымских долин...

<sup>1</sup> Всеобщее разорение коснулось не только материальной культуры народа. К 1860-м гг. относится первая кампания замены древней крымской топонимики на русскую. Именно тогда, а не в 1940-х, как принято считать, древние татарские деревни были переименованы во Владимировки, Дмитриевки, Орловки и так далее — см. «Список деревням и сельбишам, оставшимся после выхода татар за границу» (Памятная книжка, 1867. С. 416–433). Всего в те годы было переименовано 97 населённых пунктов — естественно, из числа тех, что не были заброшены, и где начиналась совсем новая жизнь. И уже тогда проявилось глубокое безразличие чиновников к топонимическому культурному наследию народа — в губернии оказалось по несколько сёл с одинаковыми названиями (Михайловки, Строгановки, Николаевки). То есть это варварское отношение к культурному облику крымских селений, столь характерное для кампании переименований советского периода, зародилось не в лоне сталинской бюрократической машины, а имело куда более глубокие, ещё имперские генетические корни.



Но журналисты и газетчики хоть нажиться не стремились на народной беде, и на том спасибо. Другое дело — православная церковь. Она никогда своего шанса не упускала, а уж в сумятице всенародного бегства, когда с каждым днём становилось всё больше явно бесхозного имущества, у крымских отцов церкви в буквальном смысле слова руки затряслись.

И уже 25 января 1861 г. на имя Новороссийского генерал-губернатора А. Г. Строганова уходит так называемый *Отзыв* епископа Таврического и Симферопольского Алексия — документ крайне характерный для Крыма тех лет. В нём владыка обращает внимание светского управления края на то, что мечети опустевших деревень и соответствующие вакуфы переходят в казну, тогда как «для обеспечения устройства церквей на местах мечетей и содержание причтов церковных вакуфы следует отчислить, пока ещё не поздно, от общих имуществ и дать им назначение на удовлетворение религиозным потребностям новых поселенцев Крыма». Сами же мечети, среди которых, естественно, были и совершенно уникальные, и «просто» представлявшие большую культурную и историко-архитектурную ценность, добрый пастырь предлагает разрушить: тогда они «послужили бы материалом для построек церковных», впрочем, некоторые «могли бы обращены быть в церкви с небольшими поправками» (цит. по: *Абдуллаев*, 2000 «а». С. 4).

Другими словами, духовное ведомство Крыма, глядя, как светские власти беззастенчиво растаскивают мусульманское добро, возымело вполне понятное желание урвать и свой кусок пирога. А он был немалым — на середину 1860-х гг. число закрывшихся мечетей достигло 457, вакуфных же участков было ещё больше, так как люди жертвовали в этот народный фонд земли и дома, нередко расположенные вдали от своих приходов, в различных частях полуострова.

Ответ на инициативу епископа Алексия последовал нескоро — дело это могло иметь важные последствия в качестве прецедента. Лишь в августе 1865 г. губернатор сообщил архипастырю, что предлагаемое им «простое» решение наверняка будет воспринято мусульманской общественностью «как прямое нарушение духа религии» и что «вместе с тем будут нарушены права собственности». Любопытно и следующее высказывание губернатора: «Независимо от этого мне казалось, что домогаться обращения мечетей в Православные храмы несовместимо с достоинством нашей церкви...» (Там же).

Внешне эта отповедь выглядела довольно странно: губернатор защищал достоинство церкви, которому грозил ущерб от инициатив епископа! На деле же всё было проще: пировавший на теле омертвевшего Крыма стервятник заметил подбирившегося конкурента-мародёра, участия которого в пиршестве допустить было никак нельзя. И зарвавшемуся епископу уже не могли помочь его неспроста ввёрнутые слова о переселенцах, на нужды которых, якобы, предполагалось пустить вакуфные богатства. Как знать, имей губернатор стопроцентную уверенность в том, что епископ исполнит заявленное своё намерение, возможно, церкви и перепало бы что-нибудь, ведь на переселенцев казна отпускала немалые средства, имея в том свой особый интерес.

Однако заметим, несколько предваряя события, что радужным надеждам на всеобщий подъём и благосостояние, которые принесут с собой российские и зарубежные переселенцы, не суждено было сбыться:

«Многие даже радовались уходу татар, надеясь видеть Крым заселённым оседлым земледельческим населением. Результаты всех ожиданий вышли однако до сего времени самые скромные... Почти все приходившие селиться в Крым были люди без денег и без сведений (то есть опыта. — *В. В.*); пособие в 125 рублей, выдаваемое казной, пропивалось и занятые земли забрасывалось» (*Янсон*, 1870. С. 8–9). Что не должно удивлять: по словам современника, им «на родине обещали чуть ли не эльдорадо», а в Крыму предоставили условия, гораздо худшие, чем иностранцам. Поэтому в поисках незанятых плодородных земель большая часть даже тех, кто пособие не пропивал, а стремился наладить собственное хозяйство, «возобновила в Крыму зрелище кочующего народонаселения, от какого образа жизни уже давно отказались и татары, и ногайцы... [при этом переселенцы-славяне] остались, не достигнув цели, без засеянных полей и, следовательно, и без хлеба» (*Лапицкий*, 1882. С. 633).

Другое дело — трудолюбивые и оборотистые переселенцы-немцы: как писали местные газеты, «купивши 1000 десятин по 14 рублей за десятину и распахав 300 десятин под пшеницу, колонисты нередко в один год выручают покупную стоимость имения!» (цит. по: *Янсон*, 1970. С. 10). И это несмотря на то, что иностранным иммигрантам предоставляли участки в степной части полуострова, наиболее трудной для освоения (едва ли не единственное исключение — обширный, цветущий участок предгорья недалеко от Зуи, где была основана немецкая колония Розенталь).

Хуже всего сложилась судьба оставшихся в Крыму или вернувшихся из Турции татарских крестьян: «До 1861 года обработка с десятины составляла самую распространённую форму отношений между помещиками, особенно мурзакнами, и поселенными на их земле татарами. Живя на владельческой земле, татары-поселяне платили за землю: [за] десятину хлеба и сена — три дня толоки, от двух до четырёх дней [в неделю] работы в пользу владельца со своими плугами (сабан-талака), с овец плата натурой была с 50 голов по овце с ягнёнком... (напомню, ранее самая высокая плата всегда была со 100 голов по овце. — *В. В.*) и за верблюдов от ярма 2–3 рубля» (*Янсон*, 1970. С. 11–12).

Спустя десяток лет положение крымскотатарских крестьян стало ещё хуже — за взятую в аренду помещичью землю приходилось платить натурой: за пашню от 1/5 до половины (!) урожая, за сенокос — каждую пятую копну. Причём и зерно, и сено они должны были доставлять в имение на собственных арбах (*Ук. соч.* С. 12–13).

Поэтому не приходится удивляться тому, что и через два десятка лет после Великого исхода крымский публицист записывал: «Крым почти опустел, и к недавно минувшим бедствиям войны присоединилось окончательное разорение, от которого он не только не может поправиться, но из года в год положение его делается хуже. Из разнообразных отраслей его хозяйства те, которые были с успехом заведены, исчезли, которые процветали — пришли в крайний упадок, некоторые — прекращены, о заведении новых — и думать невозможно. После войны правительство понесло огромные жертвы: много брошено на наш край денег; значительные суммы раздавались и в вознаграждение, и в ссуду... но ничего не помогло» (*Завадовский*, 1885. С. 206–207).

Вот бы эти «значительные суммы» местным, а не пришлым крестьянам раздать в нужное время, да защитить их от мародёров... Но нет, в своём отечестве

крымские татары на заботу властей могли не рассчитывать ни в 1860-х, ни позже. Оттого, собственно говоря, и потянулись они за море. А хоть как-то возместить эту утрату крымской экономики ещё добрых полвека не могли ни российские, ни иностранные иммигранты; первые не умели (или, чаще, не хотели) трудиться на новой ниве, вторых было слишком мало.

Короче, выселить было легче, чем заселить...

### б) Попытка реэмиграции

Отправляясь за море, люди не надеялись на особенно благоприятные условия жизни на новом месте. Но того, что их встретило в Турции, они никак не могли предвидеть. Земельные участки предоставлялись турецкими властями без проблем и в достаточном количестве — вначале в Добрудже, затем в Анатолии. В этот период слабеющая держава была крайне заинтересована в приросте мусульманского населения — как по причине тлеющего конфликта с некоторыми из имперских христиан (прежде всего с армянами), так и для заселения заброшенных земель работающим населением, способным в будущем поднять их экономику. С другой стороны, как указывали российские аналитики, в иммиграции крымских татар и кавказских мусульман было заинтересовано военное ведомство и другие правительственные круги Турции, имевшие немало хлопот с бесполезным для обороны страны, но крайне многочисленным христианским населением. Эти политики настаивали на поощрении въезда из России; таким образом «они были намерены увеличить мусульманское население края, именно тот элемент, который один подлежал рекрутской повинности и который так много пострадал от последних войн... почему и набор [в армию империи] становился со дня на день затруднительнее» (Русский Инвалид, 14.06.1864).

Но, во-первых, по качеству из земельных наделов крымчанам оставались худшие, что вполне естественно для густонаселённой страны с сельскохозяйственным типом национальной экономики. Во-вторых, разорённым на родине семьям не было оказано практически никакой первоначальной помощи, в чём, кстати, турецкие власти трудно винить<sup>1</sup>. Люди оказались практически под открытым небом — лишь в Добрудже османское правительство отпустило средства на постройку домов для 3100 семей и ещё для 1800 конкретно в Меджидие, что было каплей в море иммигрантов (Williams, 2001. P. 212). В-третьих, крымчан был оказан весьма неласковый приём населением местностей, где стали подниматься переселенческие хижинки. Причина здесь была та же, что через почти столетие столь затрудняла бытовое обустройство крымских переселенцев, депортированных большевиками в Узбекистан — неприятие чужаков. Кроме того, правительство временно освободило иммигрантов от всех податей и налогов, что вызывало у турок зависть, переходящую в неприязнь (Brandes, Sundhausen, 2010. S. 446).

Наконец, эмигрантов селили на свободных участках компактными земляческими общинами. В дальнейшем же такие сообщества замыкались в себе, что

<sup>1</sup> Турецкая послевоенная экономика была в таком катастрофическом положении, что кабинет министров впервые пошёл на кабальный заём (3 млн. фунтов стерлингов) в Англии (Данциг, 1949. С. 20).

легко понять — они стремились по возможности создать *милли ватан* хотя бы в виде национально-крымских островков в море турецкого народа. Но это также выделяло их из общей массы населения, и тоже не к пользе переселенцев. Хотя крымчане и без того заметно отличались от местного населения. Турки были такими же мусульманами-суннитами, но более строгого характера, да и народные обычаи здесь были иными. Добруджинские турки негодовали: пришедшие татары совершенно спокойно относились к посещению их хижин соседскими мужчинами, даже когда при этом присутствовали их жёны и взрослые дочери. Да и сами крымские татарки не были столь шепетильны в укрывании своих лиц от посторонних взоров — это оскорбляло уже женскую часть местного населения. Правда, через год-два такое отношение сменилось совсем иным — люди стали привыкать друг к другу, иначе и быть не могло, но первые, самые трудные месяцы были заметно омрачены настороженно-враждебным отношением турецких крестьян<sup>1</sup>. По совокупности указанных причин крымские переселенцы оказались в неимоверно тяжёлых условиях, свидетельства о чём сохранились.

Приведу данные Барущи, независимого санитарного инспектора в Анатолии, посетившего один из крупнейших лагерей мусульман-беженцев из России: «Не нахожу слов для изображения положения, в котором я нашёл город и несчастных эмигрантов... На каждом шагу встречаются вам больные, умирающие и трупы — у городских ворот, перед лавками, посреди улиц, в скверах и садах под деревьями. Всякий дом, всякий угол улицы, всякий шаг, занятый эмигрантами, стал гнездилищем заразы. Кладовая у морского берега, небольшие помещения карантинного дома, с трудом могущие вместить в себя 30 человек, были наполнены до 17 числа [мая 1864 г.] 207 человеками, всё больными или умирающими. Я приказал очистить заражённые места. Так как носильщики отказались войти во внутренность этой ужасной ямы, то я со своим почтенным товарищем Али-эфенди вытащил оттуда несколько трупов в полном разложении...» (Русский Инвалид, 11.06.1864).

В другом, уже загородном пункте сбора эмигрантов, сообщает тот же свидетель, «лагерное расположение представляет не менее ужасный вид. От 40–50 тысяч человек в самой крайней нищете, изнурённые голодом, поражаемые смертью, остаются там без крова и без погребения. Но никаких забот об эмигрантах, ни правильно устроенной службы для похорон, ни лошадей, ни повозок, ни лодок, — словом, ничего» (Там же).

В целом же особенно много семей погибло в Румелии, где турки расселили основные массы прибывших их Крыма мусульман (в Анатолии число их в тот раз было небольшим). Согласно данным, которыми располагали крымские исследователи конца XIX в., из почти 300 000 попавших туда крымских татар к 1890 г. в Румелии «не осталось и тридцати тысяч!» (Терджиман, 18.03.1890). Правда, часть их ушла в Анатолию.

<sup>1</sup> Позднее эти разногласия сгладились и по иной причине: переселенцы стали, к сожалению, утрачивать крымские традиции, воспринимая местные, то есть турецкие. Этот процесс туркизации был довольно медленным, но он шёл десятилетие за десятилетием в условиях полного отрыва иммигрантов от старой родины, отчего и принёс свои результаты. В настоящее время, как утверждают, он продолжается, меняется даже язык добруджинских татар, всё более приближаясь к турецкому (Покровская Л.А. Языки балканских тюрков // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997. С. 197).

Причина тут была простая. После того, как турки сконцентрировали основную массу иммигрантов в районе Добруджи, крымские татары долгое время не могли освоиться в непривычных условиях, страдали от губительного климата (там издавна царил лихорадка). Но едва-едва они успели устроиться<sup>1</sup>, как разразилась русско-турецкая война 1877 г., отчего люди поняли, что и здесь не будет им покоя от старых знакомых. Другими словами, война «отпугнула только что устроившихся выходцев Крыма, а окончание войны превратило их в румынских или болгарских (то есть снова попавших под местную православную власть. — В.В.) подданных. После прекрасного Крыма лихорадочная Добруджа, ... румынское или болгарское подданство, конечно, не могли удовлетворить несчастных, и они вновь начали уходить, на этот раз в Анатолию» (Терджиман, 15.03.1902).

Не исключено, что преступно равнодушное отношение турецкой администрации к эмигрантам отчасти объяснялось их отказом идти в рекруты. То есть в армию, которая столь недавно была военным противником России, и которая, рано или поздно, враждебные действия против старой родины беженцев возобновит:

«С первым появлением крымских и нагайских татар, они объявили, что в регулярных войсках служить не будут, и правительство, боясь раздражить неуместной твёрдостью, обещало им, что они будут свободны от рекрутской повинности и что только дети их, рождённые в Турции, будут принимать участие в конскрипции наравне с остальным мусульманским населением края. Несмотря на это обещание, правительство... стало требовать рекрут от татар, поселившихся в Добрудже. Татары отказали самым решительным образом, ссылаясь на обещания тогдашнего верховного визиря, и правительство, не будучи в состоянии подвергнуть их рекрутскому набору, оставило их в покое, *рассчитывая на бедственное положение переселенцев* (курсив мой. — В.В.)» (Русский Инвалид, 14. 06. 1864). Однако расчёты эти не оправдались: как указывает тот же источник, по всей Турции из российских эмигрантов удалось забрать едва 1500 человек, из которых большую часть представляли не крымские татары, а черкесы, также бежавшие в Османскую империю.

В отдельных случаях, в основном в Добрудже, беженцам оказывали посильную помощь местные крестьяне, в основном бывшие крымчане или причерноморские нагайцы. Если бы не эта поддержка, то число жертв эмиграции было бы намного больше. Жизнь на новом месте была настолько трудна, что многие собирались вернуться домой<sup>2</sup>. Но причиной этих настроений стали не только экономические трудности и лишения. С каждым годом, проведённым на чуж-

<sup>1</sup> Десятки и сотни крымскотатарских семей, воспользовавшись относительно свободными землями, ещё имевшимися в вилайете, основали новые селения, которым дали крымские имена. Но были и старые крымские селения, существовавшие здесь с первой пол. XVIII в. Так, например, южнее Сулинского гирла Дуная находилось село Катирлез (Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам) Ф. Кондратовича. Киев, 1883. С. 5).

<sup>2</sup> В Крыму вначале сведений о бедственном положении эмигрантов практически не было. Поэтому исход крымцев продолжался в то же время, когда многие их соотечественники уже рвались из чужбины на родину. Поэтому лишь в 1880–1900 гг. в Анатолию переселилось от 300 000 до 500 000 мусульман не только из Крыма, но и Казани, и Очакова. Лишь в 1877 г. с Кавказа туда же выехало около 1 000 000 мусульман (*Иедийылдыз*, 2006. С. 420).

бине, люди всё острее чувствовали ностальгию, тоску по прекрасной покинутой родине, несравнимой с унылыми плоскогорьями Анатолии или сырыми малярийными плавнями Северной Добруджи. Кроме того там оставались дорогие сердцу старинные мечети, могилы предков и совсем недавно ушедших близких родственников. И Крым стал представляться изгнанникам каким-то святым местом, куда они не могли не стремиться.

Поэтому новой *хиджрой* стало движение за возвращение.

Но с самого его начала российские власти не давали разрешений на репатриацию. Уже на первой стадии исхода в отечественной публицистике успела созреть новая, вполне нацистская теория относительно того, что крымские татары — обречённый этнос, нация самоубийц, сознательно отправившихся за море умирать вместе с единоверцами, и им не стоит в этом мешать: «Крымские татары удаляются из России, как бы предчувствуя близкую смерть Оттоманской империи, как бы для того, чтобы разделить её судьбу, и чтобы таким образом всё мусульманское сокрушилось одним ударом, не оставляя следов ни в одном конце Европы» (*Щербань*, 1860. С. 216). Возвращение же в Крым могло оттянуть предсказанную таким образом гибель нации.

Это мнение было, конечно, частным, но в выводах оно целиком совпадало с позицией российской администрации. Правительство *запретило* репатриацию сразу после окончания Крымской войны, и с коротким промежутком это положение осталось в силе до революций XX в. Причина запрета была изложена при принятии этого решения, лично генерал-губернатором А.Г. Строгановым. Граф напоминал Александру II, что ещё в 1856 г. «из числа Крымских Татар, ушедших в Турцию при удалении иностранных войск», некоторые опять стали появляться в родных местах, а «многие из них (то есть остающихся пока за рубежом. — В.В.) также собираются возвратиться». Но «эти Татары, после дарования по трактату амнистии, оставили Россию без дозволения Правительства и потому, лишив себя добровольно Отечества, не вправе возвращаться как Русские подданные». Отсюда вывод: следует «не допускать их высаживаться на берег, а где таковые в краю будут найдены, поступать с ними как с бесписьменновидными бродягами. Против сих последних слов Ваше Императорское Величество изволили собственноручно начертать: „Справедливо“» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2844. Л. 180–180 об.).

Впрочем, и тут правительство полурабского государства осталось верным себе: какое-то время спустя репатриацию на краткий срок разрешили, но лишь тем, кто заблаговременно подпишет с русскими помещиками кабальный договор, фактически превращавший свободного человека в крепостного мужика. Об этом достаточно подробно говорилось в одной из газет:

«Изявившим желание вернуться и снова поселиться на помещичьих владельческих землях... правительство наше, соглашаясь на возвращение этих татар, предложило, однакож, прежде переселения в Крым, чтобы владельцы, которые пожелают принять таких переселенцев на свои земли, отправились в Турцию и там заключили условия (контракты) с названными татарами, относительно отбывания повинностей за пользование землёй и так далее» (К вопросу о возвращении. С. 195). То есть, ради сомнительной выгоды в виде обустройства нескольких незнакомых, полунищих семей, снабжения их землёй, сельскохозяйственным

инвентарём, семенами, рабочим скотом и пр. помещик должен был отправляться в «загранкомандировку», к тому же за свой счёт.

При этом нельзя забывать, что послевоенная разруха коснулась не только крестьян, от неё жестоко страдали многие помещики, особенно мелкие, и денег на такие поездки у них не было. Короче, новое положение представляло собою попросту завуалированный отказ от ненужного российскому правительству увеличения населения полуострова за счёт коренных жителей, от которых только-только удалось избавиться. Это было очевидно анонимному автору цитируемой статьи:

«Нам кажется, что подобная мера решительно не выполнима, по крайней мере для 9/10 землевладельцев наших уже потому, что эти 9/10 не только не имеют средств на то, чтобы предпринять поездку за границу, как бы ни дёшево ни стоила такая поездка, но и кое-как вести своё хозяйство ради собственного существования». Кроме того, даже столичному газетчику было известно, что после упоминавшегося выше обезземеливания крымских татар посредством подписания ими непонятных русских документов, они ни за что не будут прикладывать руку к любой бумаге российского происхождения: если прежние «письменные условия служили к большему угнетению» татар, они теперь «ни за что не согласятся на заключение заочных условий» (там же). Но до этого не дошло. Пророчество петербургского аналитика сбылось в точности: никто из помещиков за море не отправился.

Их там и не ждали. С другой стороны, несмотря на вышеупомянутое запрещение репатриации, к тому же лично утверждённое главой государства, добруджинские и анатолийские татары не оставляли надежды на возвращение и подавали на сей счёт ходатайство за ходатайством. Но их дела не могли быть решены компетенцией крымской администрации и уходили в Петербург, в Земский отдел Министерства внутренних дел, где откладывались в долгий ящик. Вышние полицейские чины резонно полагали, что чем дольше будет затянута окончательное решение вопроса реэмиграции, тем меньше в Добрудже останется желающих — ведь отток их в Анатолию продолжался, да и смертность не падала. Вот и тянулись эти рассмотрения десятилетиями, с 1850-х по 1898 г., когда в Добрудже уже практически не осталось желающих возобновлять попытки вернуться на родину (РГИА, Ф. 1291, Оп. 66, Д. 77, Л. 1–219).

Пока же до столь печального завершения добруджинской эпопеи, стоившей жизни значительной части переселившихся крымцев, было ещё далеко. Сравнительно небольшому количеству репатриантов всё же удалось вернуться, но это никак не могло изменить общей ситуации в Крыму.

Подводя итоги этой драме в истории крымских татар, очевидно, стоило бы дать общую оценку принятому значительной частью народа решению эмигрировать. Выше говорилось о явной вынужденности этого шага. Однако различные индивиды и целые группы в схожих обстоятельствах поступают далеко не одинаково. Ведь мог же крымскотатарский народ после Крымской войны остаться, стиснув зубы, на родной земле с тем, чтобы и дальше терпеть издевательства российских властей? Выходит, не мог. Крымские татары, вернее, большая часть их выбрали путь активного сопротивления имперскому произволу. То, что они не взяли в руки оружие, объясняется просто — его у них не было.

И им оставалось одно — своим исходом продемонстрировать на весь мир своё неприятие имперского режима. И, судя по приведённым публикациям, мир

не остался к этой акции равнодушным. Крымцы не покорились своим притеснителям и предпочли протест и сопротивление покорности — именно так расценили эту эмиграцию свидетели этого исхода, так же как и наши современники-историки (Fisher A. *Emigration of Muslims from Russian Empire in the Years after the Crimean War* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 1987. В. 35. № 3. S. 356–371).

Другой историк, англичанин Майк Эйдас, обозначил этот процесс как «протест путём уклонения» — способ, «при помощи которого недовольные группы людей пытаются облегчить тяготы своей жизни и выразить недовольство посредством кратковременного отказа исполнять предписанное, а также других действий, сводящих к минимуму возможность столкновений с теми, кого они считали своими притеснителями» (цит по: *Вестн.*, 2005. С. 55). А разве был иной способ свести «к минимуму возможность столкновений», которых явно не желали крымцы, отправившиеся ради этого в полное неизвестности будущее за морем, на чужой земле?

#### 4. Дело Сейдамета из Таракташа

Как говорилось выше, Великая эмиграция крымских татар, связанная с Крымской войной 1853–1856 гг., значительно сократилась к 1863 г. Впрочем, позднее она несколько раз возобновлялась, хоть и не в прежних размерах. Как правило, эти всплески имели внешние причины. Ими могло стать очередное обострение антимусульманской истерии в империи, новые непосильные налоги или сгоны с земли, очередные слухи о насильственном крещении и т. п. И даже отдельные факты необычно жестоких судебных преследований крымских татар. Одним из таких дел стал судебный процесс в Феодосии, шедший над четырьмя таракташскими крестьянами в период с лета 1866 г. по начало 1868 г. включительно<sup>1</sup>. Это дело уже в XIX в. заслужило особое внимание историков и публицистов, поскольку в нём, как океан в капле воды, отразились и старые антиатарские традиции, и новые веяния, предвещавшие обострение гонений на коренной народ Крыма, чей черёд наступит всего через десяток лет.

Поиски материалов того давнего процесса велись давно, последний раз они возобновились в 1990-х гг., но, по ряду объективных причин, были практически безуспешными, — мне удалось найти лишь несколько разрозненных документов второстепенного значения. Ни в Феодосии, где слушалось дело, ни в Симферополе, где отложился основной массив судебной документации Крыма XIX в., этих материалов не было по той причине, что следствие и ведение процесса были

<sup>1</sup> Таракташ (*крымскотат.* «гребешок-камень», совр. с. Дачное Судакского района.), точнее, два села по сторонам дороги Салы — Судак: Кучук-Таракташ и Биюк-Таракташ. Местное население известно особенно трепетным отношением к старинным традициям и культуре в целом, что можно объяснить редкой сохранностью их генофонда несмотря на эмиграцию. Эта особенность сохранилась за таракташами до начала XX в. и позднее: «Выселение татар, нанёсшее смертельный удар мусульманству, не коснулось Таракташей. В них, я слышал, не тронулся ни один человек, и обе деревни сохранились поэтому во всей чистоте ханского времени» (Марков, 1995. С. 266).

переданы в юрисдикцию полевого суда Одесского военного округа. Но и в Одессе искать эти материалы оказалось делом бесполезным, так как уже в феврале 1868 г. их переслали в столицу империи.

В Санкт-Петербурге они какое-то время хранились в Канцелярии Аудиторского департамента Военного министерства (Второй стол, дело 264). Затем их передали в Первое отделение Главного Военно-судного управления империи, где находились дела, почти исключительно касавшиеся крупных служебных преступлений, совершённых чиновными лицами. Поскольку простые крестьяне к этой категории подданных не относились, то объяснение может быть, единственно, в стремлении властей максимально засекретить документацию — по причине нежелательности её огласки в будущем. Впрочем, с течением времени и в Петербурге дела не оказались: сравнительно недавно, уже в XX в. оно было отправлено в Москву. Здесь, в Российском Государственном Военно-историческом архиве (РГВИА) оно и хранится до сих пор, никем до недавнего времени не исследованное и даже не востребованное<sup>1</sup>. Но перейдем к сути дела.

Одним из действующих лиц народной трагедии был настоятель Кизилташского монастыря, что близ Судака, игумен Парфений. Этот человек, по общему мнению, «лишь по недоразумению носил монашескую рясу» (Чеглок, 1910. Вып. II. С. 66). Он более походил на помещика из отставных офицеров или оборотистого управляющего крупным имением, так как занимался не столько спасением душ, сколько хозяйственными и социальными проблемами всей округи. Горе было местным татарам, которых ему удавалось нанять — святой отец редко когда честно платил им всё заработанное. Но он ещё и затевал тяжбы с этими бедняками по владельческим правам на их земли, предъявлял свои претензии и на древние общинные пастбища. Особенно неотступен был игумен в случае, если такие участки, как правило, крошечного размера, граничили с обширными монастырскими угодьями. Очевидно, не стоит объяснять, отчего он постоянно свои процессы выигрывал. Судьи были, во-первых, русскими, во-вторых, православными — как могли они не сочувствовать авторитетному, оборотистому и зажиточному настоятелю?

Для выколачивания из крестьян тяжким трудом заработанной копейки игумен в последние годы жизни стал писать доносы на крымцев, которые якобы рубили монастырский лес. Более того, он стремился завладеть недвижимостью и соседних помещиков, которые не всегда находили в себе мужество противостоять интригам властного монаха. Они уступали ему, не доводя дела до суда; по его доносам немало управляющих соседних экономий потеряло места и т. д. Короче, о Парфений сумел возбудить к себе ненависть всех соседей: как крымских татар, так и русских, да и армян-арендаторов тоже. Поэтому когда 22 августа 1866 г. неизвестные злоумышленники застрелили его на лесной тропе между Таракташем и Кизилташской ибетьлю, никто особенно не удивился, к этому дело и шло. С другой стороны, судебное следствие занялось убийством весьма серьезно.

<sup>1</sup> В качестве дополнительного источника в этом разделе использованы данные работы Д. Дермана (Дерман, 1941), использовавшего в своём исследовании некоторые материалы, нам ныне недоступные. Показательно, что его книга была подписана к печати вовремя — в марте 1941 г. Через несколько месяцев, когда началась первая, частичная депортация крымских татар, её выпуск стал бы невозможен...



Село Таракташ в начале XX в. ещё сохраняло свой старинный облик. Фото. Из собрания издательства «Тезис»

Вскоре нашёлся некий Якуб Сале, местный крестьянин, который сообщил другому татарину, Ибраму, что он якобы не только был свидетелем убийства, но и помогал убийцам, жителям соседнего Таракташа, скрыть следы преступления (убийца или убийцы пытались сжечь труп Парфения). Ибрам сочинил и подал в полицию донос. После этого следствие, ведущееся местным управлением Министерства внутренних дел, вступило в свою заключительную стадию. Оно длилось до 14 ноября того же года, когда из Первого отделения Департамента исполнительной полиции на имя Военного министра империи было отправлено отношение за № 4249. В нем директор департамента сообщал, что обратился к Новороссийскому генерал-губернатору «с просьбой об исходатайствовании назначения над убийцами Игумена полевого военного суда», и просил соответствующего распоряжения. Причину столь неожиданного поворота хода следствия он излагал таким образом, что вина трёх крестьян уже (то есть *до суда!*) доказана, и военно-полевой суд нужен, поскольку Начальник Таврической губернии опасается, «чтобы убийцы, при суждении их обыкновенным уголовным судом, не избегли заслуженного наказания» (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 2).

На самом же деле военный суд, очевидно, был признан необходимым по причине дисциплинированности судей в погонах. Приговор должен был стать острасткой аборигенам на долгие годы, поэтому требовалась показательная его жестокость. Далее дело безвестных таракташских татар поразительно быстро пошло в самые высокие инстанции. Уже через неделю шефом полиции лично был сделан по этому поводу доклад самому императору.

Александр II, одновременно получивший соответствующее ходатайство Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора П.Е. Коцебу, а также ознакомившийся с отзывом военного министра, «высочайше повелеть соизволил: виновных в убийстве... татар предать военному суду по полевому уголовному уложению с предоставлением права окончательной конфирмации по сему делу Командующему войсками Одесского военного округа». Об этом директор полицейского департамента сообщал военному министру 22 ноября 1866 г. отношением № 4393 (РГВИА. Ук. дело. Л. 4), и дело поднялось на новую, более крутую военно-бюрократическую спираль.

Нужно сказать, что имена крымских крестьян, ставших в столь краткий срок известными первым лицам огромной державы, позднее были искажены авторами, касавшимися этой истории. Очевидно, это было неизбежно, так как они могли опираться только на материалы прессы, корреспондентами которых были не всегда добросовестные газетчики. К сожалению, их ошибки невольно повторил и заслуживающий всяческого уважения за свою точность и объективность известный русский писатель, крымский просвещенец Евгений Марков в своих знаменитых «Очерках Крыма». Поэтому имеет смысл перечислить, наконец, истинные имена таракташцев, затянутых судебной машиной, причём в том порядке, как они проходили по многочисленным официальным документам.

Сеид-Амет-эмир Али-оглы повсюду упоминается первым. Неизвестно по какой причине, ведь самого акта убийства, а значит, и его главного или даже единственного исполнителя не видел никто, в том числе и свидетель Якуб Сале. По не совсем ясной причине только Сеид-Амет стал и героем известной народной песни, хотя не был единственной жертвой той давней трагедии. Вторым звучит имя Сеид-Ибрама Сеид-Амета-оглы, третьим — Эмир-Усеина Абдрамана-оглы. Позже к трем подозреваемым (точнее — осуждённым, как они проходили по большинству документов департамента полиции) был причислен четвёртый, их земляк Сеид-Мемет-эмир Али-оглы (Одесский военный округ, Рапорт военному министру № 6633 от 31 июля 1867 г. — РГВИА. Ук. дело. Л. 7—7 об.).

Итак, следствие длилось уже почти год. За это время от арестованных и содержавшихся под стражей таракташцев не удалось добиться ничего, что можно было бы выдать за улику в совершении приписываемого им преступления. Зато стал путаться в показаниях и противоречить самому себе главный и единственный свидетель обвинения Якуб Сале. Он уже отрицал сам факт своего признания Ибраму, который к тому времени загадочным образом умер в феодосийской тюрьме: кажется, его отравили (Марков, 1995. С. 300).

Кроме того, появились свидетели бесспорного алиби главного обвиняемого, Сеидамета. Оказалось, что в ночь убийства он находился в Феодосии, в доме семейства французского подданого Шампи. Об этом заявила Меланья Краснова, одна из домочадцев этого семейства, и тут же была по непонятной причине задержана. Арестованы были и другие, давшие аналогичные показания, свидетели — кузнец Ибрам, некий Зекирья и Мария Шампи. Оказалось, что Мария вместе с Сеидаметом и работником Лятифом всю ночь просидели, разговаривая, в столовой, а утром на кухне пили кофе, где их и видела Меланья Краснова. В доме находилась ещё одна свидетельница, Пелагея Севастьянова, служанка

в семье известного ботаника Христиана Стевена, которая видела Сеидамета как поздно вечером, так и утром на кухне, где он вместе с другими пил кофе. Однако её в качестве свидетельницы не привлекли вообще, по совершенно непонятной причине (Дерман, 1941. С. 333—337, 185, 188).

Тем временем против троих таракташцев, брошенных в тюрьму, применялись меры физического воздействия. Сохранилось свидетельство о том, что адвокат Барановский, официально назначенный в защитники троем подсудимым Указом Таврического Губернского правления, направил свой отказ от дальнейшего участия в процессе в виде протеста против давления на подозреваемых. Причём не только губернскому прокурору, но и лично генерал-губернатору Коцебу: «23 сентября 1867 г. из Феодосии в Симферополь. Телеграмма № 168. Симферополь. Губернскому прокурору. Полевой суд пытается свидетелей, я отказался от защиты и телеграфировал Коцебу. Барановский» (цит. по: Абдуллаев, 2000 «а». С. 4). Кстати, этот отказ судебной администрацией поначалу принят не был — слишком уж он был демонстративным.

Но через пару месяцев в своей Докладной записке на имя Военного министра Барановский перечислил вопиющие «злоупотребления и пристрастные действия по сему делу членов суда и делопроизводителя». Сам оригинал документа из архивного дела изъят, но сохранилось его изложение. Из него явно неслучайно была удалена наиболее взрывоопасная часть — свидетельства о пытках, речь о которых шла в вышеприведённой телеграмме. О том, что они действительно имели место, сомнений нет, ведь в случае искажения действительности, то есть клеветы на военно-полевой суд, адвокат рисковал не только запретом на занятие профессиональной защитой, но и нешуточным наказанием в судебном порядке. Но и оставленных в деле свидетельств о процессуальных нарушениях осталось немало. Их насчитывается целых восемь, хотя для пересмотра результатов следствия было бы достаточно и одного. В записке указывалось, что:

1) Якуб Сале, признавшийся, что был соучастником попыток убийц скрыть преступление (он помогал сжигать труп Парфения), был параллельно, то есть в нарушение судебного положения, «признан свидетелем... а лица, оговоренные им, заключены в тюрьму и преданы полевому суду, несмотря на отсутствие улик и сбивчивость показаний Якуба».

2) «На формальном следствии Якуб под присягою показал, что убийц было трое, а через восемь месяцев заявил полевому суду, что убийц было четверо...».

3) На просьбу Барановского дать ему как защитнику рассмотреть дело, суд объявил, что «в деле есть секреты», и поэтому военные члены судебной комиссии могут «сообщать ему по своему усмотрению только те факты, которые суд признает нужными». Этим, по сути, возможности защиты сводились к нулю.

4) «Получив от генерал-адъютанта Коцебу разрешение расследовать дело, он, Барановский, нашёл, что секреты заключаются, между прочим, в следующем: о волостном голове Мейназове, оговоренном татаринном Зекирьёю в сокрытии следов преступления, следствие было произведено, по распоряжению губернского правления, от сего дела особо». В результате оказалось, что донос Зекирьи на своего соотечественника, который мог дать ценнейшие, решающие свидетельские показания, полностью измышлен. Но, тем не менее, по распоряжению того же Коцебу, судакский житель Мейназов на протяжении всего процесса находился

в качестве подследственного в тюрьме, явно с целью не допустить его к даче нужных показаний.

5) «Суд отказал ему, Барановскому, видаться с подсудимыми на том основании, что подсудимые могут сознаться ему в преступлении, а он может уговорить их молчать». Этот довод в комментарии не нуждается — он поражает своей наглой беззаконностью, особенно во времена, близкие к торжеству права над политикой (вспомним дело Веры Засулич, судимой примерно в то же время и оправданной судом присяжных, хоть она действительно стреляла в столичного градоначальника, и это было доказано).

6) «...Подсудимого Сеид-Амета суд несколько дней кряду держал на допросе с 10 ч. утра до 6 ч. вечера... не позволяя ему сесть даже во время, когда он подписывал протокол. Подсудимый едва держался на ногах. Свидетельниц, французскую подданную Шампи и Краснову, суд допрашивал, ставя на узенькую ступеньку, приставленную из партера к сцене (суд заседает в Феодосийском театре) и потом заключил в тюрьму, которою пользуются как средством заставить свидетелей говорить то, что захотят судьи... Ober-Аудитор схватил Сеид-Амета за грудь перед зеркалом<sup>1</sup>, крича: „Молчать, а то тебе будет железо!“».

7) «Показания допрашиваемых лиц записываются не со слов допрашиваемых, а по указанию Ober-Аудитора Бекаревича».

8) «На представления защитника, что суд так действовать не должен, Ober-Аудитор Бекаревич, обратившись к членам суда, сказал: „Господа! Не слушайте защитника, помните, что вы в точности должны исполнять волю Командующего войсками!“» (РГВИА. Ук. дело. Л. 9–11 об.).

После такого рода инцидентов (по сути, нарушавших процессуальные нормы), имевших место в зрительном зале Феодосийского театра, да ещё и в присутствии допущенной на заседания публики, члены комиссии не могли не почувствовать, что рано или поздно дело развалится. Поэтому они совершенно голословно (это подчёркивалось в соответствующем Докладе, направленном из Одессы военному министру) обвинили Барановского в «в уговоре и подкупе свидетелей и составлении какой-то партии (то есть некоего судебно-административного лобби. — В.В.), враждебной суду» (РГВИА. Ук. дело. Л. 12). После этого адвокат был, согласно личному распоряжению генерал-адъютанта Коцебу и без какого-либо объяснения причин такой крайней санкции, полностью отстранён от участия в процессе. Другого защитника, взамен устранившегося Барановского, татакташским жертвам *предоставлено не было*. Это случилось значительно позже, когда, судя по всему, их было уже поздно защищать.

Более того, 23 октября без каких-либо обвинений был снят председатель военного суда подполковник Седлецкий, а сменивший его полковник Дембров-

<sup>1</sup> Зерцало — трехгранная призма, как правило, из дерева, на каждой из сторон которой помещались копии указов Петра I (от 17 апреля 1722 г., 21 и 22 января 1724 г.). В имперской России помещалось в судах и других присутственных местах. Зерцало служило символом правопорядка и законности свершавшихся в любом государственном учреждении служебных процедур, следствия, рассмотрения просьб и пр. Таким образом, выходки официального лица, каким был упоминаемый ober-аудитор, являлись как нарушением норм судоговорения, общих для христианских и мусульманских стран, так и прямым вызовом основным законам и государственной символике Российской империи.

ский отстранил от процесса всех имевшихся свидетелей, а новых запретил привлекать по простому поводу: «...виновность подсудимых подтверждена таким количеством свидетелей, что если вновь вызванный свидетель даже и покажет в пользу обвиняемого, сила улики против последнего уже не может быть поколеблена» (цит. по: Дерман, 1941. С. 353).

Понятно, что новое давление на суд, ещё более явное, чем прежние, привело сильное впечатление на крымскую, и не только крымскую общественность. Коцебу был вынужден принять какие-то меры для её успокоения — и он направил в Феодосию помощника начальника штаба округа, полковника Рауха. Одновременно было сделано широкое оповещение, что этот непосредственный подчинённый генерал-адъютанта должен следить за тем, чтобы в процессе не имели места никакие действия, «кроме правильного, во всём согласного с существующими законами» рассмотрения дела. То есть, Рауху вменялось в обязанность контролировать соблюдение правил, которые многократно нарушались не только членами суда, но и фактически ставшим на их защиту Коцебу, его начальником! Тем не менее обсуждение «в публике» миссии Рауха было столь оживлённым, что уже раздавались голоса о возвращении Барановского, как единственном условии справедливого решения дела и предотвращения кровавой судебной ошибки. Молчать в такой ситуации было невозможно, и всесильный на всём Юге империи Коцебу 19 декабря 1867 г. объявил во всеуслышание, что... «считает недопустимым возвращение Барановского в дело» (РГВИА. Ук. дело. Л. 27 об.).

Итак, в обстановке глухих протестов и явного возмущения, окружённое массой слухов, скандальное дело продолжало катиться к предрешиённому своему исходу. Видимо, за дознавателями стояли какие-то необычно мощные силы. В результате всех этих нарушений и явных беззаконий в начале 1868 г. предводителем убийц сочли Сеид-Амет-эмира Али-оглы.

Объяснение такому предпочтению отчасти лежит на поверхности. Этот крестьянин, несмотря на сравнительную молодость (26 лет) был известен во всей Судакской округе как своей религиозностью и начитанностью, так и честностью. Возможно, эти качества и сделали его потенциальной жертвой каких-то сил то ли уезда, то ли целой губернии. Но, скорее всего, осуждение таракташца должно было стать частью более широкой, общеимперской кампании, направленной против крымских татар и руководимой из единого центра. Об этом говорит удивительная для сравнительно либеральной империи Александра II безбоязненность, с какой судебские чиновники шли не просто на нарушение процессуальных норм, но допускали и прямое оскорбление действующих законов державы.

Как говорилось выше, в число обвиняемых вошёл заодно и брат Сеид-Амета, ученик одного из губернских медресе Сеид-Али, совсем ещё мальчик, безвинность которого была явна для всех крымчан, как христиан, так и мусульман. Да и двое других таракташцев пользовались не меньшим, чем Сеид-Али, уважением, в том числе и среди русских Феодосийского уезда, которые ручались за их невиновность всем своим имуществом, явно не рискуя при этом его потерять (Челок. Ук. соч. С. 67).

Тем не менее военный суд приговорил троих крестьян к нещадному избитию плетью с последующим повешением, а подростка-софту Сеид-Али — к каторге.

Отставленный защитник Барановский, уже не связанный никакими служебными обязательствами, тем не менее отправляет 21 февраля 1868 г. телеграмму Военному министру (им тогда был Д.А. Милютин): «Ваше превосходительство, следствия над судом не было, приговор утверждён и прислан Таврическому губернатору для исполнения. Не допустите казнить невинных, спросите Высочайшего соизволения дешёшею остановите исполнение приговора, пока ещё не поздно, истребуйте дело для пересмотра». Граф Д.А. Милютин был отнюдь не просто сухим бюрократом. Он, в частности, прославился своей заботой о быте солдат, а также как инициатор отмены жестоких уголовных наказаний (Указ 1863 г.). И этот военный министр предписал Коцебу срочно разобраться с фактами, изложенными в телеграмме Барановского (РГВИА. Ук. дело. Л. 32, 34).

Коцебу ответил телеграммой на следующий день. В ней содержался набор официально-убедительных, по сути же совершенно формальных слов, как, например, следующая формулировка: «без полного и глубокого морального убеждения в виновности осуждённых [я] не мог бы утвердить приговор Военного суда о казни, которую признаю совершенно необходимою для безопасности жителей той местности». После чего приговор был им окончательно утверждён 14 марта того же года (первая конфирмация состоялась ещё в середине февраля, а 17 числа о ней сообщили Таврическому губернатору). Александру II об этом было доложено рапортом, который подписали Д.А. Милютин и имперский военный прокурор Философов (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 1–1 об., 35, 57; текст конфирмации Коцебу — РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 385 об.—386). Оставалась одно — слабая надежда, что император личным повелением отменит бы убийство.

Царь своим монаршим правом пренебрёг. Теперь спасения не было.

Назначенный ещё в октябре прошлого года вместо Барановского, совершенно бездеятельный защитник, уездный стряпчий Волков, оставил свой след в этой истории лишь описанием казни. Вот его рапорт, направленный губернскому прокурору:

«2 марта в субботу, в 8 часов утра преступники, государственные крестьяне Сейдамет Эмир Али-оглу, Сеид Ибрам Амет-оглу и Эмир Усеин Абдраман-оглу, были выведены из секретных камер тюремного замка тихо и спокойно, а вне онаго при стечении народа посажены на позорную телегу, упряженную тремя лошадьми и последовали под прикрытием отряда солдат 13-го стрелкового батальона к месту казни, назначенной вблизи самого города.

В 8 ¼ часов преступники привезены на место казни, близ которого находился в строю в полном составе 13-й стрелковый батальон, расположенный в Феодосии, господин Таврический губернатор, полк корпуса жандармов и множество народа, как жителей города Феодосии, так равно и близких деревень, за исключением татар. Сих последних вовсе не было, исключая обязательно призванных трёх старшин волостей Феодосийского уезда и двенадцати человек местных жителей деревни Таракташ, отколь родом преступники. Все же жители татары городские, закрыв в тот день свои лавки, резницы и другие заведения, находились в мечети.

По приказу Его Превосходительства господина Таврическаго губернатора, преступники поставлены были в середине каре, построенного из назначенных солдат, и прочтена им всенародно конфирмация, затем духовник магометанскаго

исповедания напутствовал их молитвой, по окончании которой палач приступил надеть на них белые саваны и, как только успел одеть одного, другой из преступников, обратясь к народу, громким голосом сказал: „Христиане и мусульмане, будьте свидетелями, что меня напрасно повесят!“ Другие же два ничего не говорили и только смотрели на народ и устроенные три виселицы.

В 9 часов 15 минут все трое были подведены к виселице и в один момент повешены. Признаки жизни сохранялись до семи минут, а потом не было заметно ни одного судорожного движения. Провисев полчаса времени, трупы сняты и брошены в могилы, порознь для каждого приготовленные там же на месте казни. Зрелище было поразительное.

Все осужденные при увещаниях муллы не сознались и не раскаялись» (цит. по: Дерман, 1941. С. 375–376).

Поскольку казнь должна была совершиться в Феодосии, туда было временно приказано явиться выборным Таракташской джемаат. Но люди показали образец истинного гуманизма — в эти страшные часы «ни один свободный татарин не явился на площадь. Все мусульманские жители Феодосии затворили свои лавки, бросили дома и собрались в мечети — молиться об осуждённых» (Марков, 1995. С. 300). И ещё одно замечание. То, что жертвы не признали своей вины в предсмертной молитве — едва ли не лучшее доказательство невинности жертв феодосийского процесса: сыны ислама перед вратами вечности не лгут.

Казнь таракташцев, фактически бессудная, стала, как это нередко бывает с народными драмами, частью крымскотатарского предания. А потом возникла песня, неизменный автор которой вольно передал смысл слов Сеид-Амет-эмира Али-оглы, вырвавшихся у него в последний миг земной жизни:

Таракъташнын, ах, аман,	По дорогам Таракташа, ах, горе,
Ёлларындан да юрмедим,	В те дни я не проходил.
Тевбелер олсун, аман,	Клянусь, горе,
Шу папазны корьмедим...	Не встречал я того попа...

Шерфединов, 1978, 24

После трагического события в Феодосии прошло около пяти лет. На протяжении всего этого времени Главное Военно-судное управление, а ещё более активно Одесский военный округ искали возможность как-то компенсировать свои материальные затраты на командировки и прочие расходы, связанные с процессом. Наконец, выход был найден: согласно Определению № 2628 от 22 мая 1873 г. Правительствующий Сенат соизволил разрешить продать с указанной целью с торгов имущество казнённых, тем самым лишив наследства осиротевших их потомков. В определение «имущество» вошла вся самая ценная недвижимость: сады, виноградники и т. п. По предварительным оценкам, их продажная цена для каждого из семейств не превысила по совокупности 280 рублей (РГВИА. Ф. 801. Оп. 92. Д. 23. Л. 89). Собственно, ничего в этом странного нет, таракташцы в своей массе издавна страдали от малоземелья и были людьми небогатыми.

Таким образом, это дело в четырёх, по крайней мере, смыслах значительно опередило куда более позднюю практику отечественных процессов. Имеются в виду и многочасовые допросы жертв, которым не давали даже присесть, и давление на свидетелей, и бессудные смертные приговоры. И, наконец, конфискация



имущества жертв их же палачом, то есть особым, не связанным с обычной практикой судебного разбирательства, трибуналом.

В Таракташе не забыли оскорбления, нанесённого русскими властями не только селянам, но всему духовному миру крымского татарина. Более чем вероятно, именно поэтому таракташцы всегда, до самого нового времени числились в рядах непримиримых борцов с имперским насилием (см. ниже). Им отвечали тем же, — и уже в конце XIX в. известный писатель отметит: «Русские ненавидят таракташцев» (Марков, 1995. С. 304). Со времени феодосийской расправы прошло почти полтора века, но в Таракташе и Судаке доньяне чтут память жертв военно-полевого террора, развязанного в Крыму в период одной из самых известных эмиграций. И до сих пор таракташцы показывают приезжим место, где жил Сеид-Амет-эмир Али-оглы или попросту «наш Сейдамет».

## VII. РЕФОРМА 1861 ГОДА И ЭМИГРАЦИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ.

### 1. Пути экономических перемен

Главным последствием Крымской войны стала, как известно, отмена крепостного права в России. Реформа пришла и в Крым. Здесь число крепостных не превышало 4 % населения. Из них абсолютное большинство составляли привозные русские мужики. Встречались и украинцы, но в совершенно незначительном количестве. Можно говорить, конечно, и о закрепощенных крестьянах-крымцах, арендовавших землю, имея в виду их полную зависимость от землевладельцев, но такая экономическая *договорная*, то есть менявшаяся, «плавающая» зависимость совершенно не означала личной крепостной зависимости. Следовательно, этот термин в применении к крымскотатарской деревне XIX в. скорее метафора, чем точное социальное определение.

Но вот очередной парадокс крымскотатарской истории: именно личная независимость (по сравнению с теми же русскими переселёнными крепостными) и вышла татарам боком, когда грянул великий 1861 год. Отмена крепостного права, давшая некие права бывшим крепостным, совершенно логично не имела никакого отношения к тем, кто крепостным не был! То есть материальные и иные перемены, плохо ли хорошо ли, но оживившие русских крепостных, принадлежавшим крымским помещикам, давшие им *землю* (см. ниже), все прошли мимо крымских татар. Им земли не полагалось, так как в отличие от вчерашних крепостных, они были владельцами участков, часто крошечных, не превышавших размером огород, ещё чаще — земли под домом и двором, но они владели ими «на правах собственников», и этого было достаточно для отказа внести их в списки получателей (Обезземеление, 1888. С. 1).

Выше указывалось, что модернизация сельского хозяйства в Крыму началась довольно рано: в 1820-х гг. уже имелось немало вполне современных крупных, то есть специализированных товарных овощеводческих, виноградарских, садовых хозяйств; в 1840-х гг. появляются зерновые. Но по-настоящему широкое и свободное развитие сельского хозяйства как основной отрасли товарного производства могло начаться лишь после того, как в Крыму сложился новый, по размерам и дешевизне несравнимый с дореформенным рынок рабочей силы. Понятно, что ранее образование его сдерживалось крепостным правом.

Теперь<sup>1</sup> же, когда эти ограничения беспрепятственного перераспределения производительных сил были сняты, крымские помещики понемногу начинают заменять крепостные и староарендные хозяйства новыми. Это не означало обязательную смену арендаторов — просто на старых крестьянских участках, в том числе основанных на крепостном труде, вводились формы аренды, более выгодные помещику в новых условиях.

Ещё за несколько лет до начала реформы слухи о её подготовке дошли до Крыма. Помещики, опасавшиеся, что землю придётся частично отдавать крестьянам, стали ещё суровой относиться к крымским татарам, буквально выдвигая их со своих земель (Деревня, 1927. С. 57). Более того, они выступали печатно, требуя правительственных мер к централизованному выселению крымских татар с родины, то есть к их новой депортации. Крымские «учёные аграрии» обосновывали эти свои требования и теоретически: «смотря на татар и со стороны войны и со стороны мира (то есть учитывая и военно-стратегические и экономические государственные интересы. — В.В.), нельзя не пожелать удаления их от берегов моря и вообще из нашего прекрасного края, который при них не может быть успешно обработан. По крайней мере, все прибрежные и портовые города должны быть от них очищены» (Княжевич, 1858. С. 80). Голос ещё одного «реформатора»: «Нужно поощрять переселение [русских] крепостных крестьян и облегчать помещикам вывод татар, всегда сопряжённый с большими затруднениями» (Шатилов, 1858. С. 68).

В конечном счёте русские помещики в Крыму сумели повернуть ситуацию в собственную пользу. Чем ближе подходил момент отмены крепостного права, тем упорнее они распространяли всевозможные слухи касательно новой кампании по лишению земли лично несвободных крестьян. В результате естественно появившегося стремления крепостных освободиться помещики резко повысили выкупную цену. Так, в дер. Саблы помещик Давидов брал 150–200 руб. за душу, отпуская крестьян при этом без земли (ЮК, 1905. № 115). Как правило, вольноотпущенники становились впоследствии арендаторами своих же участков. Более или менее широкий выкуп земли начался лишь после опубликования манифеста 1861 года. При этом возросла уже цена земли — до 50 руб. за десятину горной и 25 руб. — степной (Максименко, 1957. С. 58).

Но не эти земельные операции были главным содержанием 1860-х в Крыму. Наступали новые времена. Былой разбой властей и даже полиции, которая могла безнаказанно оттягивать землю не только у крестьян (вспомним исправника Мавро-Михайли и его коллег!), но даже у мурз и беев («то было время страшно-

го засилья земской полиции» — Гафури-Ага, 1888. С. 10), теперь сменил разбой, узаконенный судебной процедурой и административным решением. Наступило десятилетие бурного расцвета крупных и мелких афер с участками крестьянской, помещичьей и вакуфной земли. Перечислять содержание этих мошеннических сделок можно бесконечно: как только обнаруживалась суть одного типа обмана, мгновенно изобретался свежий вариант и полосование крымской земли продолжалось. Всё же назовём самые массовые виды жульнических операций, основанных на обмане крымскотатарского крестьянина.

Первый: на общинной или вакуфной земле соседний землевладелец начинает пасти свой скот. Возмущённую джемаат он успокаивает тем, что берёт на себя обязательство платить вместо неё поземельный налог. И платит — десять лет, то есть срок, достаточный, чтобы земля бесплатно перешла к тому, кто вносит налог в казну, то есть к нему (Обезземеливание, 1888. С. 1). Конкретный пример такого рода аферы в Евпаторийском уезде приведён ниже.

Второй его вид лучше обрисовать также на конкретном примере. В Юхары-, Орта- и Ашагъа-Айтуганах Зуйской волости крестьяне хотели купить землю, которую продавал мурза Абдуveli Карашайский. Но мурза продавал всю землю, одним массивом, на что денег не хватало. Тогда волостной старшина составил «товарищество» для того, чтобы получить ссуду в банке. Поскольку же сумма, причитавшаяся каждому члену такого товарищества, была ограниченной, то старшина включил в список и тех, кто никогда не помышлял о собственной земле и не был способен её обрабатывать пусть даже с минимальной выгодой (калек, одиноких стариков и пр.). Когда же через пару лет выяснилось, что проценты и тем более возврат ссуды ждать от «товарищества» бесполезно, у его членов в качестве возмещения было отнято всё, что они имели, в том числе и собственные их участки земли (там же).

Третий вариант — самый, наверное, распространённый и, при всей его незатейливости, совершенно не поддающийся разоблачению. Это — использование лжесвидетелей на процессах по отчуждению земельной собственности, в основном у крымскотатарских крестьян, так как русские, как правило, имели все необходимые и бесспорные документы. Лжесвидетели, чаще всего разорившиеся или спившиеся крестьяне (городские люмпены тут не годились) вначале зарабатывали свой позорный, на людских слезах замешанный хлеб поодиночке, но потом сбились в некое подобие шакальих стай, называвшихся «депо свидетелей», для облегчения их использования продажными адвокатами. Увы, многие из них были крымскими татарами, цинично называвшими сами себя *ялан шаат* (лжесвидетель), не стыдившимися своего промысла и, напротив, старавшимися сделать себе рекламу (Гафури-Ага, 1888. С. 11).

И последний вариант отъёма земли — казённо-государственный. В предыдущей главе уже говорилось об отчуждении земель, чьи хозяева слишком долго, по мнению чиновников, отсутствовали в родной деревне. За это их наказывали, лишая основного средства к существованию: земля передавалась, по законному порядку, в Управление Государственных имуществ империи (РГИИ. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 1). Собранные таким образом земли отдавались в аренду после публичных торгов, то есть на основе откупного конкурсного принципа. При этом на торгах царил обычное жульничество (демпинг по предварительному

<sup>1</sup> В середине XIX в. в Крыму цена труда наёмных рабочих по сравнению с началом столетия не только не снизилась, а достигла «высшей степени» (Домбровский, 1850 «а», С. 264), хотя число переселенцев, в том числе и славян, в несколько раз возросло. Полный произвол помещичьей эксплуатации и вообще норм аренды и отработок признавали и самые ретроградные землевладельцы губернии: «Везде, где помещичьи земли населены не крепостными жителями, между владельцем и земледельцем существуют законом освящённые условия, и тот и другой взаимно связаны обязательствами, навсегда установленными, ограждающими права владельца на землю и труд поселянина, а поселянина от произвола владельца. В Крыму совершенно иное; всё основано на произволе» (Шатилов, 1858. С. 62).

сговору), и земля, без которой крымские татары не могли выйти из полосы послевоенного голода и эмиграционного процесса, сдавалась буквально за гроши. Так, если в 1856 г. рента составляла 4 руб. за десятину, то через два-три года 1360 десятин в Биюк-Ассской волости были отданы за 168 руб., то есть по 0,8 руб. в год за десятину. Такая цена была даже чиновником Министерства Государственных Имуществ признана «слишком ничтожной, чтобы признать отдачу за эту цену участков выгодной». Несмотря на это выносились положительные решения: «принимая во внимание, что эти торги проводились в волостном правлении, тем не менее сумма сдачи более вырученной в прежние годы, ...а потому я признаю необходимым отдать эти участки с торгов на короткий срок и деньги отправлять... с минования срока для явки наследников» (РГИА. Ук. дело. Л. 7–7 об.). После чего доставшаяся по грошовой цене земля сдавалась дельцом, выигравшим торги, крымским крестьянам-субарендаторам — естественно, за выплаты, многократно превышавшие первичную ренту.

Все явления такого рода (ниже будут упомянуты и некоторые иные) были лишь следствиями глубинных процессов, коренных изменений, происходивших в крымском селе 1860–1880 гг. Их насчитывалось всего четыре:

- 1) Увеличение площади запашки, связанное с переходом многих хозяйств от овцеводства к земледелию, а также форсированной иммиграции с севера;
- 2) Немецкая колонизация, имевшая важные экономические и социальные последствия;
- 3) Общий рост арендной платы и падение цены батрацкого труда, связанные с наплывом дешёвой рабочей силы из России (по причине послереформенного обезземеливания в областях бывшего крепостного права);
- 4) Постепенный переход крепких крымских хозяйств от испольного к батрачному типу использования наёмной рабочей силы.

Какие-то попытки борьбы с безземельем правительство, конечно, делало: оно само не было заинтересовано в таком простаивании рабочей силы, не приносившей казне дохода. Тем крестьянам, что могли заплатить не менее 20 % общей стоимости надела, администрация шла навстречу, давая ссуду с рассрочкой на 49 лет. Понятно, что эта помощь могла коснуться лишь зажиточной прослойки крестьян, в которой крымских татар почти не было. Далее, в 1860-х гг. в Крыму работала Комиссия по устройству быта татар под руководством директора Департамента полиции Коссаговского. Её целью было упорядочение крестьянской экономики, в том числе путём наделения неимущих крестьян землёй. Комиссия работала вполне бесплодно до самого начала турецкой войны, когда она и свернула свою деятельность. Главный результат, к которому пришёл действительный статский советник П.П. Коссаговский, — это вывод о том, что крымские татары «составляют как бы отдельное, придаточное к России государство, более симпатизирующее Турции, чем нам» (А. Р-ь, 1887. I). Понятно, что относясь к своим подопечным как к враждебной силе, глава Комиссии и не мог достичь никаких положительных результатов. После окончания войны Комиссия вновь не собиралась, и вообще ряд лет ничего в этом направлении не предпринималось.

Для приведения в порядок крымскотатарских и иных земельных дел была учреждена и Кадастровая, ещё менее значительная комиссия. Не будем останавливаться на результатах её деятельности, они практически полностью совпали с

пророческими замечаниями опытного чиновника Управления Государственных Имущества С. Лашкарёва: «Комиссия ничего скоро и основательно не сделает... она будет только переписываться, отклонять точное и окончательное решение всякого немалотрудного и сложного вопроса, а чем более будет потрачено на это времени и переписки, тем и дело будет становиться темнее и решение всякого вопроса сделается затруднительнее; дойдёт до того, что Комиссия эта пробудет 10 лет, запустает дело хуже нынешнего и оно опять уйдёт в Палату в худшем виде, нежели было передано, особенно если к тому времени вследствие дальнейшего ухода татар за границу, число оставшихся участков увеличится» (РГИА, Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 30 об.). Действительно, тем дело и кончилось.

Другими словами, произвол пришлых землевладельцев, в отличие от крымскотатарских крестьян, да и мурз тоже, полностью владевших ситуацией — от знания языка до личных знакомств и возможностей правовых консультаций, — продолжался. Доходило до того, что грабежом беззащитного бедняка возмущались и государственные чиновники, в частности уже упоминавшийся статский советник С. Лашкарёв. В Донесении от 10 января 1860 г. он сообщил своему высшему начальнику, министру Государственных Имуществ М.Н. Муромцеву, что «почти во всех планах генерального межевания... не обозначено количество земли, а потому владельцы, которые пообразованнее, пользуясь неведением татар русского языка и законов, захватывают у них эти земли разными обманами и подлогами, заставляя их делать с собою акты и сделки, посредством которых они присвоили на многие подобные земли право собственности, которое укрепили за собой или наследниками разными передаточными, крепостными и другими актами»<sup>1</sup>.

Отдача крымскотатарских земель, оставшихся от действительно эмигрировавших крестьян, в казну и затем в откупную аренду была, конечно, главной причиной резкого уменьшения способности коренной общины Крыма к простому выживанию. Но и это было не всё. Находились помещики, которые, не удовлетворяясь земельным обогащением, произошедшим благодаря судебным процессам послевоенного времени, пытались оттянуть и земли эмигрировавших татар, составляя таким образом конкуренцию государству. Нетрудно догадаться, что в возмущённом докладе статского советника Папукевича по этому поводу первым был назван патологически алчный Н.С. Мордвинов, попросту признавший «оставшиеся [после эмигрировавших крестьян] земли своими» (РГИА. Ук. дело. Л. 53 об.).

Лишь в 1881 г., когда уже началась новая эмиграция, земство подало ходатайство о наделении крымских татар их же, по сути, землёй, участками, оставшимися

<sup>1</sup> Этот материал имеет весьма характерное архивное наименование: «Образцы подобного завладения в виду Министерства в делах Мангитском, Джанагай и Теренаир и др. ...также в процессе татар Салгирского округа с мурзою Крымтаевым, (представляющим резкие факты ограбления беззащитных поселян)». По некоторым подобным делам татары спохватывались вовремя, говорилось здесь: «...начали процессы и могут их выиграть, если местное управление Государственных Имуществ будет им оказывать законенную защиту и наставление, [но] по другим они пропустили сроки и земли перешли окончательно во владение помещиков, хорошо ещё если где татары признаны владеющими корами, дворами, то есть огородами и усадьбами, а по большей части они всего лишились» (РГИА. Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 47–51 об.).

от эмигрантов последних двадцати лет<sup>1</sup>. В целом эти бывшие наделы составили немалый фонд — 55000 десятин, при разделе которых на семью пришлось бы в среднем по 5,5 десятины, чего, в общем, оказалось бы достаточно<sup>2</sup>. Это был во всех смыслах, в том числе и моральном, оптимальный и наиболее лёгкий, то есть не требовавший от государства никаких затрат, выход. Но, как писали крымские газеты тех лет, «тут на сцену выступил вопрос о том, насколько в настоящее время представляется желательным в интересах государства, а также экономическим, татарское землевладение, и не выгоднее ли будет колонизация Крыма русским безземельным крестьянством?» Вопрос этот не отличается новизной, отмечает корреспондент, он возник в ещё во время татарской эмиграции 1860-х гг., но и тогда, в ситуации поддержки крымских татар интеллигентной частью общества, он решён не был. Теперь же «число приверженцев татар слишком уменьшилось и во всяком случае не имеет за собой авторитета правительственной власти. Напротив, правительство рядом последовавших в последнее время распоряжений высказалось против татар и осудило систему покойного кн. Воронцова, который, как известно, особенно покровительствовал татарам, награждая их *незаслуженными льготами и преимуществами* (курсив мой. — В.В.)» (А. Р-в, 1887. I).

То есть, крымскотатарское крестьянство было лишено своей кровной земли по одной из двух причин: против этого было правительство или, что ещё хуже, всё православное большинство «публики». Возможен и третий вариант — могли сработать оба фактора — так оно, скорей всего, и было. Об общем результате этого процесса писал известный деятель патриархально-традиционалистского

<sup>1</sup> Формально присвоение казной крымскотатарской личной собственности происходило по единой схеме: государство подавало в суд формальный иск, касавшийся «бесхозного» имущества, а когда претендующих на унаследование дома, участка и т. д. не находилось, вся недвижимость переходила в бездонный карман казны. Ну а оттуда извлечь её было практически невозможно, тем более что постройки вообще сразу же шли с молотка. Вот пример соответствующего объявления тех лет: «Назначены в Евпаторийском городском полипейском управлении 24 сентября торги... на продажу отуженных в казну построек в г. Евпатории, оставшихся после бежавших за границу татар: Магазины с лавкою и двором Абдул-Кадыра Алжи Арслан-оглу — 551 руб.; Пекарня с цирульной Чабура Осман-оглу — 805 руб.; Три дома с двором Борт-Сеит-мазина Джапар-оглу — 47 руб.; Дом с сарайчиком и двором Ибраима Абдул-Заата — 45 руб.; Дом с двумя магазинами Османа Ибраим-оглу — 300 руб. и т. д. (Таврич. Губ. Ведомости, 16. 10. 1870). Здесь хорошо заметно, что империя не брезговала даже крошечными строениями, стоившими по 47 руб. за три штуки, но и богатая добыча тоже перепадала.

<sup>2</sup> Вообще-то государство полагало достаточным надел в 8 десятин на крымскотатарскую душу; так делились, например, земли, оставшиеся от эмигрировавших татар деревни Мамак Евпаторийского района: из 690 десятин 48 душ получили 384, а оставшиеся 316 дес. было указано «обратить в особый казённый участок» (РГИА, Ф. 384. Оп. 8. Д. 434. Л. 4 об.). Приведём данные по движению земельных площадей во время войны и сразу после её окончания. В довоенном 1854 году на 74 000 крымских татар приходилось 37 000 дес. собственной земли и 2 700 дес. общественной (РГИА, Ук. дело. Л. 21 об.—22). То есть на душу получалось по 0,53 десятины; даже с учётом традиционной маломерности прибрежных и горных наделов это крайне бедная площадь. После войны эта норма увеличилась на 5 % ввиду того, что многие владельцы эмигрировали. Впрочем, вскоре эти земли перешли в казну, отчего средняя площадь на душу вернулась к довоенной норме (РГИА, там же).

направления А.Д. Пазухин, который из Петербурга видел, что повсюду, «где местное дворянство (в Крыму это были мурзы. — В.В.) теряет влияние на ход дела, власть очень быстро переходит в грязные руки новых элементов» (Русский вестник, 1885. № 37. С. 45). Следствия этого перехода мы видели.

Что же получилось в конечном результате всего комплекса принятых в Крыму, практически антитатарских, мер? Когда в 1884—1886 гг. Земское статистическое бюро обследовало четыре степных уезда (Симферопольский, Евпаторийский, Перекопский и Феодосийский), то выявили поистине катастрофические данные о жизни крымскотатарских крестьян. Только 6 622 семьи имели наделы (174 340 дес.), тогда как 10 025 семей или 55 000 человек оказались полностью безземельными, причём речь шла именно о сельском населении, не учитывая даже тех, кто устроился на работу по найму у какого-нибудь землевладельца. Притом, если в горах было 27 % безземельных, то в степи — 75 %. А согласно статистике по отдельным уездам «лучше» всего обстояло дело в Симферопольском, где без земли была половина крымскотатарских крестьян, тогда как в Евпаторийском эта цифра поднималась до 91 % (К. 12—15—17.06.1888).

Более всего везло тем, кто мог добиться выделения бесплатных, так называемых *нищих наделов*, размером в 1,5 десятины степной или 0,75 десятины горной земли. Но, во-первых, эти бесплатные участки выделялись редко, как исключение из правила. И почему-то такие исключения делались лишь «в отношении русских или немецких, но не татарских обществ» (Обезземеление, 1888. С. 1).

Во-вторых, понятно, что владельцы упомянутых жалких клочков, непригодных для ведения *самостоятельного* хозяйства, оказывались намертво привязанными к усадьбе их бывшего помещика. Их владельцы были вынуждены дополнительно работать по найму или же приарендовать недостающую площадь. А вот условия таких договоров теперь уже редко бывали аналогичны бывшей барщине. По всему Крыму, у немецких ли, у русских землевладельцев тяготы резко возрастали. Рента с десятины достигла уже 12—20 дней отработок, иногда 30 дней; кроме того, нужно было сдавать в имение 10 % (к 1905 — уже 20 %) урожая хлеба с предоставленной дополнительно площади, а без неё обойтись было невозможно. К добавочным повинностям можно отнести два подводных дня, плату за пользование выпасом — два-три отработочных дня за каждую пару волов, а за сенокос — от 0,1 до 0,4 собранного сена (Шербаков, 1940. С. 16, 18; А. Р-в, 1887. I).

Как можно заметить, новая арендная система имела первоочередной целью экономическое обеспечение помещика, сохранившего власть над землей и над рабочей силой для её обработки. Учитывая выгодную рыночную конъюнктуру (об этом ниже), перевод хозяйства имения на новые рельсы означал и повышение дохода с него. Таким образом, все перемены 1860-х гг. никого не могли обмануть, в Крыму по крайней мере. Повторяем, легче татарам от реформы отнюдь не стало. И недаром крымские журналисты и через четверть века после её проведения не спешили сдавать в архив один старинный термин, говоря, что на полуострове закон сохраняет «доселе архаическую форму *барщины*» (СЛ, 1887. № 3). Всего таким образом, то есть с «нищим» наделом, было освобождено 6 000 душ мужского пола, или 35 % всех освобождённых с землей.

Однако и таких клочков не получили крестьяне Южного берега Крыма, а также бывшие дворовые слуги на всей территории полуострова. И если у помещиков

осталось в целом 30 % сельскохозяйственной территории, то, учитывая их относительную малочисленность, это очень высокий процент. Огромное большинство крестьян собственной земли так и не получало. И лишь в Евпаторийском уезде, где земля, как известно, суха, частично засолена и поэтому дешевле, чем в других местах, крестьянский клин достиг 70 % от общей площади.

Но тем не менее в Крыму уже ощущалась близость настоящих, глубоких перемен. Вторым после земельной реформы признаком их стало уникальное в истории полуострова увеличение населения. Начавшись в 1860-х гг. за счёт хлынувших на благодатную крымскую землю разорённых русских крепостных и малоквалифицированных рабочих, демографический взрыв за 30 с небольшим лет почти утроил население (статистические данные по количеству и национальному составу населения Крыма во второй половине века приводились в предыдущем очерке).

Поскольку это была первая после полутысячелетнего перерыва плотная людская волна, хлынувшая не из Крыма, а в Крым, то стоит пристальнее взглянуть на «новых крымских» жителей. Давно известно, что реформа 1861 г. нарушила некоторое социальное равновесие, быстро подняв на высоту одни и столь же резко опустив другие группы населения. Причём как в городском, так и в сельском обществах. Набрал силу человек определённого психического склада: индивид, способный много и плодотворно работать, охотно принимающий новые, более строгие нравственные нормы и правила дисциплины труда, способный к самоанализу и самоограничению и так далее. Напротив, разорялись люди психически неустойчивые, слабовольные, подверженные моральным порокам, для которых сохранённая реформой сельская община была как нож острый<sup>1</sup>.

Вот этот-то деклассированный элемент и пошёл по дорогам империи, стараясь найти место в жизни, а на деле — тешно пытаясь уйти от себя. Часть многотысячного людского потока захлестнула и Крым: вчерашние неудачливые крестьяне, не сумевшие жить без помещичьей плети, уволенные по различным причинам рабочие (отнюдь не квалифицированные, увлечённые делом мастера, элита класса, которые были весьма довольны жизнью и на родине), бывшие дворовые — точные копии своих спившихся господ, гулящие женщины и так далее. Короче, как бывало не раз и позже, кто мог, тот держался за Россию, а в Крым густым потоком хлынула людская пена, ошметки, отлетающие от набиравшего

<sup>1</sup> Достаточно сказать, что бездельников и пьяниц по-прежнему пороли, но уже не по приказу потерявшего всю власть барина, а по приговору сельского мира. Который, кстати сказать, и невинного, но неугодного, мог посечь, совсем как в старые времена. То есть теперь, после 1861 г., община перешла на полное самообслуживание, даже порола сама себя! Это и стало, очевидно, торжеством великорусского соборного идеала, который было бы жаль потерять; он сохранился до — страшно сказать! — XXI века. Правда, лишь в наиболее устойчивых «соборных» обществах, прежде всего казачьих, ещё и ставящих себе в особую заслугу этот и иные хамские обычаи. Автор последнего эпитета не я, а Ленин. Следвавший политическую карьеру на общинной этнопсихологии именно такого рода, вождь как-то проговорился: «Никто не повинен в том, что он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к свободе, но и приукрашивает своё рабство... такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам» (Ленин. СС. 4-е изд. Т. 21, С. 86).

обороты колеса великой реформы. Или, как выразился один из героев известного публициста А.Н. Нелидина, «...переселялась только одна сволочь, безобразная, ленивая и неумелая» (цит. по: Крым, 1930, С. 137–138).

Были, правда, среди переселенцев и крестьяне с нормальной психикой, труженики, обедневшие не по своей вине — такое всегда случалось. Но и они теряли многое из положительных своих качеств, переселяясь за Перекоп. *Крым нам не нужен* — вот о чём буквально вопияла русская или украинская душа, когда угроза голода на родине становилась явью. Они не хотели, но поднимались и шли на юг. Что принуждало их к этому судьбоносному решению? Почему всё же в Крыму очутились предки тех, кто через полвека фактически решил судьбу чуждой им земли, судьбу древних хозяев их новой родины?

Эта проблема мало разработана в исторической науке, но некоторые чудом сохранившиеся интервью тех лет отчасти могут пролить свет на заданный вопрос. Когда в обычное село, неважно, русское или украинское, приезжали вербовщики, агитировавшие переселяться в Крым, то люди от них буквально шарахались. Славян нельзя упрекнуть в излишней привязанности к старому пятну расселения, в какой-то пространственной закосности. Они всегда были чрезвычайно мобильны, но лишь по *своей* воле. Когда же их к такой мобильности принуждали — тут картина менялась. Крым в их глазах был хуже Сибири: туда-то они выезжали столетиями, и продолжали выезжать. Что же касается полуострова, то охотников на переселение сюда не находилось.

Их вербовали среди хронических недоимщиков, обещая простить недоплаты — не помогало. Недоимщикам деньги приплачивали, и то они нос воротили: к примеру, украинские крестьяне в абсолютном большинстве случаев заявляли таким посланцам имперской политики: «Напрасно вы тревожитесь, пане, не підемо доброю волею, знаєм мы ваш Крым, добре знаєм помешика Б... и других, добре знаєм, щоб им добра не було! Знаєм мы Дніпровських поміщиків Фейна, Вассала, Потье, мелитопольских и бердянських нимців, до них мы сами йдемо, вони нас не просят, а мы їх просымо... а ваш Крым, нехай він згинє, бо-гацько пропало там нашої працы...» (Цит. по: *Завидовский*, 1885, С. 185). Только уж самые бесталанные и разорённые из недоимщиков решались на переселение, соглашались взять «державни гроши». И это ещё речь идёт об украинцах, издавна имевших массу общих культурных черт с крымчанами, что же тогда говорить о среднерусских изгоях, им-то каково было!

Многие из них действительно так и сгнули в Крыму, но часть уцелела, сумев, под угрозой голодной смерти, приспособиться к новым условиям. А ещё через пару десятилетий, когда помещики стали выписывать из России более или менее работоспособных мужиков, то все эти переселенцы-крестьяне сумели (не без помощи своих помещиков) вытеснить крымских татар даже из чисто татарских сёл. Так, только у потомка В. Долгорукова десяток деревень вдоль течения Салгира (Мамут-Султан, Эски-Сарай, Джефер-Берды, Кизил-Коба, Шумхай и другие) задолго до начала XX в. превратились в почти чисто русские. Но по большей части крымские татары оставались на местах, то есть в селе.

Впрочем, и здесь в 1870-х гг. начался коренной социально-экономический перелом. Завершение в 1876 г. строительства первой в Крыму Лозово-Севастопольской железной дороги немало содействовало структурной перестройке

сельского хозяйства, особенно в степной части. Если ранее здесь преобладающим было скотоводство, а земледелие оставалось на низком уровне, то теперь улучшение сбыта зерна как за рубеж, так и в глубь России привело к увеличению хлебных площадей, интенсификации зернового хозяйства. Возросли денежная стоимость земли, продажные и арендные цены, что окончательно подкосило скотоводство, требовавшее больших территорий.

Тормозом развитию сельского хозяйства всё более явно становилось дворянское землевладение, охватывающее более половины крымских земель. Помещики и мурзы не могли обработать более трети своей земли, тогда как за Перекопом под плуг шло 94 % хозяйственных площадей, из которых 3/4 принадлежали крестьянам. Основанная в значительной своей части на натуральной экономике, система дворянского земледелия не выдержала конкуренции фермерского высокорентабельного хозяйства колонистов: уже в 1905 г. помещичьих земель осталось менее четверти общей площади. Причём это были в основном земли русских помещиков; мурзинское товарное хозяйство исчезло навсегда уже к середине 1890-х гг.: сословие было отчасти разорено собственной бесхозяйственностью и ростовщиками, отчасти прокутило достояние предков (КВ, 1896. № 74).

На волне высокой конъюнктуры не смогли подняться и крестьянские наделённые хозяйства: за рассматриваемый период их доля снизилась с 9 до 5 %. Зато вдвое увеличили свои площади вышеупомянутые крупные частные сельские комплексы с рациональной формой производства выраженного фермерского типа, основанные как на владельческом (с применением передовой техники), так и на наёмном труде, обеспеченном новой техникой и вполне современными агрономическими методами.

Естественный рост спроса на землю привел к бешеной спекуляции ею; помещики не могли устоять перед поистине фантастическими ценами и продавали свои угодья. Процесс этот шел повсеместно, но особенно активно — в прибрежной, курортной полосе, где постепенно возобладал тип мелкого высокодоходного «дачного» землевладения. В целом выросло и крупное землевладение: участки свыше 500 га занимали на рубеже веков 53 % площади, а от 0,1 до 0,5 га — лишь 12 %.

С ростом латифундий новых земельных магнатов всё дальше шёл процесс обезземеливания крымских татар. Если процент беднейшего татарского крестьянства и до 1860-х гг. был ненамного выше, чем на материке, то в 1880-х гг. число всех обезземеленных достигло 17 500 семей, или 47 % крестьянского населения. Большая часть их проживала в степи (72 %) и предгорьях (52 %); гораздо меньше (9,7 %) — в горах (Усов, 1925. С. 81).

Возникает вопрос: а куда же делись 55 000 десятин земли татар-эмигрантов, почему их клин не способствовал обеспечению оставшихся земляков? Дело в том, что после Крымской войны правительство с новой силой продолжало свою политику колонизации. Первая большая партия колонистов (1500 семей) состояла из наделённых крестьян, которых поселили на землях эмигрировавших татар. Затем в Евпаторийский и Перекопский уезды прибыли эстляндцы, их селили и у Симферополя; в Перекопский же уезд направляли чешских эмигрантов и немцев. При переселении этим иностранцам земли давали как и раньше — по 60 и даже 100 десятин на двор, что и стало «прочным основанием немецкого

благополучия» (А. Р-в, 1887. I). Но, пользуясь временной дешёвой землёй и обеднением крымских татар, немцы стали ещё и скупать её во всё возрастающем количестве, так что некоторые волости и даже уезды превратились в настоящее «немецкое царство», например, в Перекопском уезде «немецкая» доля по занятой площади достигла 77 % всей земли (там же).

Цифры маловыразительны, если их не проиллюстрировать конкретным материалом. Приведём его по одному уезду, Феодосийскому. Здесь лишь до 1865 г. немцы скупили земли деревень Окречь, Ички, Япунджа, Аблеш, Ислам-Терек, Киянды, Ак-Кобек, Конрат, Булганак, Карабай, Мингермен и Акчора. Ими были скуплены и межселенные участки в урочищах Ай-Савак и Токлук, а также в Отузской долине (Ханацкий, 1867. С. 194). Присутствие немцев в Крыму имело не только столь явные последствия, как обезземеливание крымских татар. Немцы нарушали и традиционный товарообмен. Приведём ещё один пример: в Богатырской волости Ялтинского уезда крестьяне-горцы традиционно производили деревянные изделия: ежегодно по всему Крыму расходились тысячи мажар, десятки тысяч деревянных вилок и граблей, колёс, железных топоров и плугов. С массовым вселением в Крым немцев и в результате оттока крымскотатарского крестьянства в 1860-х гг. рынок крымских ремесленных изделий резко сократился (немцы выписывали всё — от топора до телег-бестарок из Германии), отчего столяры, бочары и колёсники Богатырской волости были вынуждены оставить ремесло их дедов и прадедов (Терджиман, 22.10.1888). Таким образом, эти переселенцы подрывали традиционную экономику коренного народа и вдали от степных немецких колоний, в глубь Крымских гор. Позже процесс немецкой иммиграции не только не остановился, но и расширился.

В 1877–1905 гг. переселенческие крестьянско-фермерские семьи увеличили свои площади с 12,9 до 28,2 % от общей территории; к концу периода они вместе с получившей в Крыму развитие кооперацией владели чуть ли не 40 % всей хозяйственно используемой земли. И можно согласиться с тем, что в результате этой «земельной революции» не коренное население полуострова, а именно они стали наследниками местного и пришлого дворянства» (Усов, 1925. С. 88). Между прочим, именно крымскотатарское дворянство пострадало в ходе экономической модернизации более всего. Причина ясна: прежде всего приверженность к традиционным, патриархальным, человеческим отношениям с крестьянами, старым культурным моделям жизни, ставили беев и мурз в невыгодное положение по сравнению с прибывавшими из России новыми помещиками и зарубежными колонистами. Поэтому даже нейтральные по отношению к коренному народу администраторы края не могли не рассматривать дарованные ещё Екатериной права и привилегии крымскотатарских дворян как тормоз для экономической модернизации Крыма (Kanneler, 1999. С. 204). То есть даже сугубо нейтральный процесс модернизации и правовой унификации бил не только по мелким, но и по крупным землевладельцам крымскотатарской национальности. А ограничение мурзинско-бейских прав сокращало их возможность защищать интересы своих соотечественников-крестьян, что нередко случалось ранее и что немало раздражало их российских «братьев по классу».

И, естественно, продолжали свою откровенно грабительскую деятельность «старые», то есть уже около века до того переселившиеся в Крым русские

помещичьи фамилии. По-прежнему самой скандальной славой ненасытных мироедов пользовались Мордвиновы. Не случайно первый случай крымско-татарских крестьянских волнений конца XIX в. имел место в окрестностях поместий этих графов в Байдарской долине. Осенью 1878 г., после очередного удачного процесса против крестьян сразу двенадцати байдарских деревень, началась пережевка старых сельских наделов. Против этого выступили крестьяне Биюк-Мускомы, Уркусты, Сактича и Узунджи.

Вооружённые лопатами крымцы вырвали поставленные землемерами межвые столбы, «зарыли вырытые ямы, объявив, что не допустят проводить между, пока будут живы. Несмотря на все увещевания... со стороны Исправника Зафиропуло и Муфтия, татары означенных деревень заявили на сходе, что они силою будут противодействовать действиям Землемера, что действительно и сделали 4 сентября, когда Землемер снова приступил к работе. Истошив все средства к убеждению татар означенных селений отказаться от сопротивления», губернатор А.А. Кавелин 10 сентября отправился в Байдары с ротой полевых войск. Спокойствие было восстановлено лишь 23 числа, после того, как Кавелин лично прибыл на место и сделал «словесные внушения». Настроенные наиболее воинственно жители Биюк-Мускомы, на которых были направлены винтовки роты, выразили «полное раскаяние... в необдуманном сопротивлении действиям полиции» и покорились неизбежному (РГИА. Ф. 1291. О. 53. Д. 81. Л. 1—3). Мордвиновы могли торжествовать в очередной раз.

Последующие волнения крымских татар были отмечены только в 1886 г. в Салгирской долине и Феодосийском уезде. После подавления беспорядков вооружённой силой Временный Одесский генерал-губернатор провёл расследование с целью выявить лидеров мятежей. Их оказалось несколько: в деревне Мамут-Султан западной рядовой Курт-Осман Девлеташа-оглы, симферопольский мешанин Абляким Мурадасил-оглы, а также из феодосийских деревень Мурзаккой и Бурундук хатипы Мамбел-аджи Ваап-оглы и Абдул Гафар-эфенди Ваап-оглы. Хатипов выслали с запретом проживать в своей волости, рядового арестовали и увезли в Одессу; кроме того «по постановлению Симферопольского Уездного по Крестьянским делам присутствия» были преданы «суду за бездействие власти» бывший Зуйской волости старшина Булат Велитаев и мамут-султанский староста Саледин Ариф-оглы, после чего «в селениях, где татары самоуправствовали, водворился порядок и даже доверенные, отказывавшиеся до последнего времени вносить за землю повинности, явились» к генерал-губернатору, прося его содействия «к тому, чтобы землевладелец Курт-мурза Ширинский простил им и примирился с ними» (РГИА. Ф. 1291. О. 53. Д. 10. Л. 1—1 об.).

Основной причиной волнений одесский администратор признал «необеспеченность татарского населения и отсутствие законов, которые определяли бы отношения поселенцев-татар к землевладельцам. Этот пробел в нашем законодательстве давал суду возможность широкого толкования против татар, способствуя возбуждению в них несбыточных надежд получить принадлежащие разным лицам земли, на которых они, татары, проживают» (РГИА. Ук. дело. Л. 2).

Действительно, суды того времени нередко выносили свои решения в чёткой зависимости от того, кто именно судился. Приведём пример: в 1887 г. в Симферополе рассматривались два практически аналогичных дела, истцами в которых

против крымскотатарских крестьян выступали князь Долгорукий и полковник Попов. Суд даровал сиятельному князю «полное право на все земли в Салгирской округе, даже находящиеся под избами татар», в то время, как отставника-полковника лишили «всякой свободы действия по имению», а татарам предоставили «полное распоряжение [его] землёй» (РГИА. Ук. дело. Л. 2—2 об.).

Возможно, по чистой случайности именно после упомянутых событий в Германии, которая пристально следила за событиями в Крыму, и откуда отбыло по российскому приглашению немало немцев, вышли из печати «Страницы из дневника» графа Ф. Берга, который незадолго до этого посетил Новороссию. Граф привел в своей книге беседу с одним из своих земляков-колонистов о судьбах татарского населения уже не предгорной, как в предыдущих примерах, а степной части полуострова. Поскольку от Дерекоя до Симферополя, куда они направлялись, времени было много, колонист многое рассказал графу и среди прочего поведал ему следующее:

«Что касается татар, то, без сомнения, вскоре их из [крымской] степи вытеснят; они предпочитают земледелию животноводство в довольно примитивных формах... к тому же они из года в год во всё увеличивающемся размере продают землю прилежно пашущим немецким колонистам, и недалеко время, когда эти потомки кочевников совершенно исчезнут из здешних степей. И это при том, что татарин — человек крайне трудолюбивый. Если он пастух, то переносит холод, сырость, жажду и голод лучше, чем кто-либо другой; благодаря своей натуре он сохраняет бодрость и способен всё своё внимание целиком уделять переданному ему заботе животным там, где другой давно уже заботился только о себе» (Berg, 1885. S. 12—14).

Очевидно, немец-колонист был прав, продолжалось вытеснение татар, причём не только из степи. Их доля в крымских хозяйственных территориях в результате очередного земельного перераспределения упала до крайних пределов. В 1888 г. они владели в Крыму лишь 280 наделами общей площадью 7600 десятин. Непрерывно уменьшалась площадь собственных татарских участков: в процессе межевания у крымцев их отчуждали, предоставляя равноценные в других местах, но уже не в собственность, а в надел, что далеко не одно и то же (Крым, 1888. № 33—34).

Во многих немецких колониях всё шире использовались сельскохозяйственные машины — молотилки, лобогрейки, веялки и так далее, что снижало потребность в наёмном труде. Кроме того, играл роль национальный фактор, русские батраки были дешёвы и забиты, поэтому немцы, столкнувшись с крымскотатарским чувством собственного достоинства, стали предпочитать им славян. Они «не соглашались держать на своих землях татар при имени ни за какие повинности», а потом их примеру стали следовать и русские, эстляндские, армянские землевладельцы, выселявшие со своей земли поголовно всех крымских татар (А. Р-в, 1887. I). При этом они объясняли свои действия тем, что русские арендаторы «хозяйственно сильнее» последних (НТ, 1887. № 3839; Б-н И., 1856. С. 43).

Между тем колонизация крымских земель всё продолжалась. В 1880-х гг. в помещичьих садах уже работали эстонцы, составившие конкуренцию крымцам; по-прежнему прибывали переселенцы из Греции. Но среди них были не только батраки или крестьяне, задумавшие приобрести клочок собственной

земли в Крыму. Здесь всё больше появлялись греки-предприниматели, арендовавшие большие площади пахотных земель у бездеятельных русских помещиков и сеявшие там табак. Причём на табачных полях работали не столько их соотечественники-батраки, сколько обезземеленные татары. Работа последних оплачивалась по аккордной схеме, и уровень эксплуатации был ещё выше, чем у местных помещиков (*Berg*, 1885. С. 16).

Всё больше семей коренных крымцев оказывалось в безвыходном положении. Приведём текст служебной записки, составленной в начале 1880-х гг.: «Татары особо обращают на себя внимание своей бедностью: не имея ни собственности, ни наделной земли, вытесняемые отовсюду пришлыми владельцами и обществами новых поселенцев, немцев и русских, они не знают, где им пристроиться, и поэтому поселяются на землях первого соглашающегося их принять, подчиняясь всем его непомерным требованиям, отбывая за клочок земли повинности натурою и деньгами и проживая в оплачиваемой же избе, которая не удовлетворяет самым необходимым требованиям гигиены. Такое положение ставит татар в невозможность выпутаться когда-либо из долгов, как казённых, так и частных, делает их ленивыми и апатичными к собственным интересам и ведёт лишь к постоянным просьбам о расрочке старых долгов и о новых ссудах» (цит. по: НТ, 1887. № 3846). Остаётся сказать, что за бедняцкие хижинки приходилось платить немало — от 5 до 15 рублей в год (для сравнения: поземельная плата за 1 дес. земли составляла 7–8 руб.) плюс несколько отработочных дней, причём эта плата взималась даже тогда, когда крестьянин сам строил себе хижину из собственноручно изготовленного калыба (К. 12–15–17.06.1888).

Такой была ситуация в сельской местности. Однако крымские татары жили не только в деревне: в тот же период наблюдался рост их городской части. Впрочем, относительный, в абсолютных цифрах здесь изменения шли в обратном направлении. Тем не менее обратимся к экономической деятельности коренного населения крымских городов. Упомянувшийся выше рост производства зерна на полуострове повлёк за собой увеличение доли обрабатывающей промышленности, особенно вблизи железной дороги. Так, мукомольная промышленность сосредоточилась в Джанкое, Сарабузе, Курман-Кемельчи, Симферополе. Расширились посевы табака, обрабатывавшегося на фабриках Украины: если в 1871 г. культура занимала всего 890 га, то в 1886 г. — уже 4700 га, а урожай увеличился с 635 до 4700 т (*Никальский*, 1929. С. 28). Резко возросла выгодность садоводства, ведь до начала железнодорожной эпохи трудности сбыта не давали отрасли расширяться (фрукты портились, не успев прибыть на место назначения; крымские татары называли их «гнилым товаром»). В 1880 г. вывозилось уже 75 000 т садовой продукции в год.

Таким образом, как обрабатывающая, так и транспортная системы Крыма имели все условия к росту и быстро развивались. Однако крымцы, можно сказать, не принимали в этом расцвете городской экономики никакого участия. Новые технологические процессы, новые инструменты, станки и машины требовали высокой квалификации рабочих. Но подготовка новых кадров из коренного населения не велась. Главной причиной этому были высокие требования прежде всего к владению русским языком и школьной подготовке российского образца. Ни первого, ни второго у крымских татар не было. Поэтому тот самый прогресс,

которым великорусские правительства оправдывали колонизацию бывшего ханства, обходил коренных жителей Крыма стороной. Для примера возьмём не самый развитый город, вроде Симферополя, а экономически среднеразвитую Евпаторию.

В этом городке, насчитывавшем в 1896 г. 18 000 жителей, христиан числилось 8520, мусульман 5080, караимов 3000 и евреев 1400 человек. В указанном году в городе имелось несколько ремесленных мастерских, мало чем отличавшихся от традиционных крымских, зерновой и лесной склады — тоже, в общем-то, не самые передовые в смысле технологий предприятия. Наиболее современным было транспортное хозяйство (портовое, железной дороги здесь ещё не было). Всего насчитывалось 11 пристаней, из которых крупнейшей и лучше всего оборудованной была принадлежавшая караиму Арабаджи (она была наливной и располагалась на Пересыпи, примерно на месте современной нефтебазы). Затем, если спускаться к юго-западу, шли причалы и другие портовые сооружения, хозяевами которых были Валлер, Попов, две пристани принадлежали Дрейфусу, следующая Мартену, затем почти на 150 м от бульвара Старой набережной в море выдвигалась пассажирская пристань Русского Пароходного общества. Далее шли менее значительные Карантинная пристань и, наконец, уже за Карантинным мысом, Керосиновая пристань (*Руммель*, 1899. С. 83).

Таким образом, транспортными предприятиями и сооружениями владел кто угодно, в том числе и иностранцы, все, кроме крымцев, которые составляли более половины евпаторийского населения. И дело было не только в экономических возможностях — среди татар встречались и довольно зажиточные и даже богатые люди. Здесь сказывалась именно та «невписанность» коренной нации в новую экономическую реальность городов полуострова. Конечно, крымцы могли участвовать в деятельности современных по тем временам предприятий, но лишь на рабочих местах, не требовавших квалификации на новом уровне. Эти горожане не могли подняться даже на средний уровень социальной лестницы крымского города, отчего и работали на ломке соли, возчиками или грузчиками в порту. Поэтому в гораздо более выгодном положении оказывались именно те специалисты, которые оставались на предприятиях, не затронутых волной прогресса, накатившейся из России. Мы имеем в виду уже упоминавшихся мастеров и подмастерьев, оставшихся в цеховых мастерских, а также огородников и рыбаков бывшего Гёзлёва.

## 2. Вакуфный вопрос

После войны постепенно усиливаются и религиозно-экономические преследования татар русскими властями. Очевидно, излишне было бы говорить о какой-то исламистской духовной или иной экспансии, вынудившей правительство прибегнуть к такой политике с целью обороны православия. Современник, автор популярной работы о крымских татарах, подчёркивал в ней именно в те годы: «Верные закону Магомета, татары уважают и всякую другую религию» (*Андриевский*, 1892. С. 21). Государство впервые посягнуло на вакуфные имущества,



ранее, очевидно, не осмеливаясь на такое прямое и ничем не оправдываемое наступление на не только экономические, но и на религиозные, священные права крымских мусульман.

На незаконность этого шага, в частности, указывал в 1904 году в своих «Крымских письмах» издатель газеты «Ветан Хадими» депутат II Государственной Думы журналист Абдурашит Медиев (1885–1912):

«По мусульманскому шариату (см. стр. 350, 2-й части книги Фетваи Индие) под названием вакуфа следует разуметь учреждение, сделанное раз навсегда во имя Бога на пользу людей с целью благотворительности. На стр. 371, 2-й части той же книги, на стр. 286-й, 3-й части книги Фетаваи Казыхан и на стр. 208-й книги Фетаваи-Анкарави выражено, что если мечеть упразднится, или совершенно прекратится в ней богослужение, то вакуф должен поступить в пользу бедных, ибо вакуф есть пожертвование, а пожертвования суть достояние неимуших. А между тем, по действующим законам, вакуфным имуществом, в особенности принадлежащим упразднённым мечетям, даётся иное назначение, не соответствующее ни правилам мусульманского вероучения, ни воле учредителей сих вакуфов, делавших пожертвования с благотворительной целью только для магомеданского духовенства и беднейшего населения» (цит. по публикации в: ПО, 16–22 февраля 2007, С. 12).

В результате незаметного, шаг за шагом совершаемого захвата казной земельных вакуфов их общая масса за 30–40 лет уменьшилась (путем отчуждения по суду, включения в иные владения административным путем и так далее) более чем наполовину. Если в конце XVIII в. вакуфной земли было чуть ли не 300 000 десятин, то к 1864 г. её осталось всего 138 000 дес., а в 1888 г. — вообще 70–80 тыс. дес. (Обезземление, 1888. С. 1; Терджиман, 1890. № 31). Между тем важность вакуфной недвижимости для татар к 1890-м гг. возросла как никогда раньше. С упадком богатого мурзачества и ликвидацией государственного дома на ханства вакуфы стали основным средством поддержания не только духовных институтов, но и национального просвещения вообще, ведь империя никогда не выделяла на эти статьи расхода ни копейки.

Далее, после ликвидации крестьянской общины, именно на вакуфные средства оказывалась социальная поддержка беднякам, поддерживались многие общественные институты и даже часть городского хозяйства и сельской инфраструктуры. Так, бахчисарайский водопровод, масса фонтанов и чешме на территории всего Крыма содержались за счет вакуфов. На вакуфной земле жили и с неё кормились люди, некоторые семьи оставались на таких участках из поколения в поколение, каждое из которых поливало эту землю своим потом, сберегая её плодородие, улучшая её по мере сил. Наконец, крымские татары придавали вакуфам огромное религиозно-этическое значение, не без оснований рассматривая их изъятие как прямое оскорбление шариата. Именно поэтому возникший в рассматриваемый период так называемый вакуфный вопрос перерос своё первоначальное чисто экономическое значение. Он быстро стал масштабной проблемой национальной культуры и идеологии, естественно, вызвав при этом заметные волнения в широких крымскотатарских и не только татарских массах населения. Поэтому имеет смысл вникнуть в юридическую основу проблемы.

К концу XIX в. правовой статус вакуфов сохранился на окраинах России в полной мере. Он не был ни отменён, ни даже оспорен правовой системой империи. То есть, полностью сохранялось оба вида вакуфной земельной собственности: 1) «Законный», то есть состоявший в полном распоряжении благоприемника (мечети, медресе, мектебы и т. д.); и 2) «Обычный» (*вакфалет*), чьё имущество закреплялось за потомками учредителя, становясь тем самым как бы родовым достоянием (так мусульмане-собственники пытались оградить своё имущество от участвовавших захватов, конфискаций и иного произвола властей).

Значительная часть вакуфной земли обоих видов традиционно сдавалась в бессрочную, наследственную аренду с правом возведения арендатором построек (населённые вакуфы). Это разнообразие никак не отражалось на основном принципе неотчуждаемости, неприкосновенности вакуфов, отчего все попытки нарушить это право верховной собственности автоматически переходили (должны были переходить!) в разряд преступлений против обычного права: «Эти вакуфные земли жертвуются благочестивыми татарами во имя Бога в пользу мечетей, школ и неимуших, эти земли, как предмет купли-продажи, изымаются из рынков, они как бы освобождаются от закрепощения в частную собственность и передаются как бы первоначальному своему собственнику — Богу. Этим землям нельзя ни продавать, ни закладывать, ни конфисковать и никакими другими путями уже снова закрепощать в частную собственность» (Из речи А. Медиева в Думе: см. Приложение в т. IV).

Таким образом, вопрос отчуждения вакуфного имущества от собиравшего его народа весьма непросто. О том, как расхищалась земля и постройки казной и российскими помещиками, уже говорилось и будет говориться ниже. Но доля вины за небрежение этим сокровищем лежит и на крымскотатарском духовенстве тех десятилетий. Впрочем, мы не вправе винить его представителей за то, что они оказались неготовыми к схватке с великорусскими хищниками новой генерации. «Казии и муфтии, заправлявшие духовными делами Крыма, были люди хорошие, но увы, кроме этого не имели иных качеств, необходимых для администраторов, хоть и духовных... они ничего не понимали, что нужно было для охраны и поддержания вакуфов. Мы не думаем их винить: они не были в состоянии охранить и свои личные имущества... Они как бы думали, что ханские порядки продолжали существовать» (Терджиман, 22. 03. 1885). Что, конечно, было заблуждением. Но заблуждение нескольких десятков лиц обернулось трагедией для всего народа.

В России часто бывало, что общественное мнение по частному вопросу готовили газеты определенного направления. В середине 1870-х гг. они начали широкую кампанию за передачу большей части крымских вакуфов государству. Уже в 1876 г. московские газетчики, как по команде вдруг заинтересовавшиеся вакуфными делами далёкого Крыма, публикуют массу статей о бесполезности наделения татар землей. Взамен необходимо усиление борьбы против их «фанатизма», писали они, как бы не понимая, что сопоставляют совершенно разноплановые проблемы. А вернейший путь к ликвидации этого культурного пережитка, естественно, — изъятие у мусульман вакуфного имущества. Конечно, допускали газеты Москвы, такое решение, вероятно, усложнится «давнишним недоброжелательством крымских татар своим положением», но чрезмерно опасаться этого

не следует: крайний вид протеста, до которого они способны пойти, — это эмиграция. Но её-то как раз страшиться не стоит, более того, и удерживать крымских татар не следует, так как для Крыма наверняка явится достаточная масса новых переселенцев и из внутренних губерний, и из-за границы (МН. 1876. № 244; НВ. 1876. № 232 и др.).

Одновременно осуществляется политический нажим на крымское мусульманское духовенство. В том же 1876 году министр внутренних дел А. Е. Тимашев окончательно запретил выдачу паспортов крымским татарам, собиравшимся для ежегодного паломничества к святыням Мекки. Министр предписал отклонить прошения о паспортах, «под какими бы предложениями они ни поступали», никак не объяснив своё решение (*Кричинский*, 1919. С. 30).

Тогда же император решил содействовать возвращению эмигрантов, объявив им «амнистию». Правда, помилование касалось не всех:

«Государь император, согласно положению Комитета Министров, всемилоостивейшее соизволил даровать помилование тем из бежавших с места жительства Крымских татар, кои возвратились на родину к настоящему дню, не распространяя этой милости только на тех татар, кои бежали из рядов Крымского татарского эскадрона или состояли до побега на очереди к отбытию воинской повинности, а также на тех, кои совершили, кроме побега, какое-либо иное преступление.

Августа 30 дня 1876 года. Управляющий Министерством Внутренних Дел, Статс-Секретарь Князь Лобанов-Ростовский»<sup>1</sup>. Таким образом, все крымские подданные Александра II, выехавшие за рубеж, объявлялись им без суда и следствия преступниками лишь за то, что они «бежали с места жительства»...

На следующий 1877 год произошла активизация «турецкой» политики Петербурга, что не могло не оказать влияния на крымские дела. Начался очередной антитурецкий милитаристский шабаш. Причём за новую агрессию выступала, и далеко не в первый раз, часть просвещённой общественности, интеллигенция. К примеру, Ф. Достоевский, считая необходимым скорейший захват Стамбула, полагал невозможным предоставление этой древней столице статуса вольного города, иначе она рискует сделаться «гнездом всякой гадости, интриги, убежищем всех заговорщиков всего мира, добычей жидов, спекулянтов и проч. и проч.». «Константинополь должен быть наш», — к такому выводу пришел великий русский писатель (*Собр. соч.*, 1984. Т. 26. С. 83).

К несчастью, эту фантастическую идею лелеяли не только владевшие умами литераторы, но и руководители русской политики, в том числе всеильный канцлер А. М. Горчаков. Как выразился М. Н. Покровский, «Достоевский бредил в хорошей компании...» (1918. С. 9). Естественно, усиливается и внутриросийское пропагандистское наступление на инородцев-мусульман, прежде всего на крымских татар, которых власти по-прежнему считали в видах близившейся войны какой-то «пятой колонной». Поощряемый властями, в Крыму возобновился дикий разгул антитатаризма. Крымцев гнали из немецких «экономий», из

<sup>1</sup> Текст на русском и крымскотатарском языках напечатан на одном обороте листка-объявления с выходными данными: Типография Министерства Внутренних Дел. Хранится в фондах РНБ.

имений русских помещиков и фермеров, норма эксплуатации тех немногих, что сохранили свои места, удвоилась, они платили уже не 10, а 20 % урожая. В конце 1870-х гг. озверевшие переселенцы устраивали акции настоящей травли крымских татар, ещё живших кое-где на плодородных землях.

Даже кладбища, святые места, столь чтимые мусульманами, было невозможно уберечь от изуверов: «Из плит, поставленных в головах покойников, он (то есть русский. — В. В.) наделал корыт для птиц и, раскопавши могилы, увез вывороченный оттуда камень для стен своих амбаров» (КВ, 1896. № 74). Не отставали от русских и немецкие колонисты, растаскивая для своих построек могильные плиты в окрестностях Судака и даже Ялты, где из описанных сто лет до того Палласом и Сумароковым культурных ценностей крымского народа практически уже ничего не оставалось (*Марков*, 1876. С. 1). Поистине, прав был упоминавшийся выше А. Медиев, обращаясь с думской трибуны к многомиллионному, также частично обезземеленному русскому народу: «у вас всё-таки есть три аршина земли, в которой никто не может отказать вам, когда вы отправляетесь на вечный покой, а у нас и этого нет. У нас помещик может выкинуть покойника за то, что это кладбище находится [теперь] на его священной собственности...» (См. т. IV, Приложение, текст IX).

Естественно, это массивное политическое, экономическое, социальное наступление на народ не могло не повлиять на национальную психологию населения и, в частности, на общую демографическую ситуацию. Атмосфера полной безысходности, отсутствия перспектив для развития народа ощущалась конкретными его членами, каждой семьей. А отразилось это нагляднее всего на деторождении. Мусульманское общество, уровень рождаемости в котором всегда был выше, чем в православном, отреагировало вполне ожидаемым образом: в 1880-х гг. крымских татар умирало втрое больше, чем рождалось (*Гаспринский*, 1889). Общество было обескровлено морально и физически.

Столь высокая смертность была напрямую связана с обезземеливанием коренного народа. Лишённые возможности добывать пропитание традиционным путём, безземельные бедняки стекались в города Крыма. Явление, вроде бы, положительное: на Западе процесс урбанизации стал основой индустриального и социального прогресса. В Крыму же этих потенциальных рабочих никто не ждал. Всё, на что они могли надеяться — это случайные заработки, они могли заработать какие-то гроши на подноске тяжестей, уборке нечистот и т. д. Но для крымского татарина, обязанного шариатом обеспечивать семью достойным образом, такой заработок был особенно унизителен. Если прибегнуть к современной речи, людей *ломало*. Как писал современник, эти несчастные люди «живут большей частью в лачугах и землянках по окраинам города [Симферополя], пробиваясь изо дня в день, голодные сегодня, холодные завтра и больные послезавтра. Немудрено, что они более болеют, чем работают, более мрут, чем рождаются... Да, Симферополь, ...куда стекаются эти несчастные, сгоняемые с земли и деревень, — их кладбище, их бескровная бойня» (Терджиман, 23.08.1888).

И Бахчисарай уже в 1870 г. был переполнен такими же крымцами-нищими: на всём протяжении долины Чюрук-су, от Салачика до Азиса, «у каждого фонтана, на каждом перекрёстке» встречались группы этих обездоленных людей; почти все они были калеки или несли на себе явные знаки тяжёлых заболеваний

(Заметки. 1870. С. 297). Вспомним, как поражались физическим совершенством крымского народа иностранцы, посещавшие полуостров всего-то столетием ранее! Понятно, что эта физическая деградация, безусловно, была одним из прямых результатов русского господства над бывшим ханством.

И лишь теперь, дождавшись, когда ситуация созреет, правительство нанесло давно задуманный и подготовленный удар по древнему достоянию нации — по её вакуфам. В июне 1886 г. в Симферополе была создана Вакуфная комиссия, которую возглавил генерал-майор свиты Его Императорского Величества Г.Д. Чингиз-Хан. Её деятельность, в основном, заключалась в подготовке передачи последних остатков национального крымскотатарского имущества российской казне и частным лицам. Это было открытое, ничем не оправдываемое ограбление одного культурного единства другим. Случай, редкий даже в колониальной истории, к тому же противоречивший законам самой Российской империи (см. ниже).

При этом, естественно, русскоязычной диаспоре в Крыму доставалось далеко не всё. Большую часть крымскотатарских земель и других ценностей приобрели петербургские дельцы, а также центральные государственные учреждения. Поэтому через пять лет работы Вакуфной комиссии таврический губернатор, несомненно, ощутил недовольство крымской элиты. Это — наиболее простое и вероятное объяснение следующему факту. По собственной инициативе он направил в столицу всеподданнейшее ходатайство, в котором предлагал ускорить раздел вакуфов при помощи более широкого вовлечения в него крымских жителей. Русскоязычных, естественно, тем более что и оправдывалось это предложение ничем иным, как заботой о пользе России, которую в первую очередь диаспора и блюдет.

Далее, он указывал, что Духовное управление крымских татар даже в том виде, который ему придали годы русского владычества, — институт «вредный и нежелательный», следовательно, необходимо ликвидировать его экономическую основу — вакуфы, передав их губернской администрации (Кричинский, 1919. С. 39)<sup>1</sup>. Так и случилось, начался раздел испокон века неделимых и неотчуждаемых угодий, усадеб, постоянных дворов, чаиров между различными ведомствами,

<sup>1</sup> Отчасти этот вывод был спровоцирован уже упоминавшейся неумелой земельной политикой мусульманского духовного управления. Дело в том, что в вакуфе гораздо более трети, почти половину земельной площади (32 500 десятин) составляли участки, оставшиеся от упразднённых мечетей. Вместо того, чтобы распределить эту землю между работавшими мечетями, медресе или даже безземельными крестьянами на условиях временного пользования, муфтият стал сдавать её в аренду на конкурсной основе, а доход оставлять у себя, что абсолютно не соответствовало первоначальному назначению любого вакуфа. Как верно указывал И. Гаспринский, «так называемые пустующие вакуфы, оставшиеся от эмигрировавших мусульман, по приведению в точную известность, должны быть обращены на пользу мусульманской общины, её мечетей, мектебов и иных полезных учреждений, одобряемых шариатом» (Терджиман, 07.06.1885). Но это был глас вопиющего в пустыне, к тому же запоздалый. После ряда лет такой арендной практики к ней выставило претензии, как к незаконной, имперское Министерство внутренних дел. После чего почти все 32 500 десятин и «накопившиеся от них капиталы» перешли, по совершенно непонятной причине в распоряжение именно этого ведомства. Таким образом, они окончательно пропали для татарского общества (К. 12—15—17. 06. 1888).

в результате чего крымцы в первые же годы этой кампании потеряли 2/3 своего общего достояния. Представители наиболее политически и социально активной части крымскотатарского народа уже в те годы выступали с протестами против такого грабежа. Они предупреждали, что если вакуфные площади не будут разделены между безземельными татарами, то большей части народа ничего не останется (уже не остаётся!), как снова «*море пахать*» (Обезземеление, 1888).

Некоторые аналитики не только указывали истоки сложившегося положения, но и указывали реальный из него выход, годный даже в отчаянной ситуации, в которую попало большинство крымскотатарского народа. Оказывается, в конце XIX в. общее число крымскотатарского клира, не считая мазинов, не превышало 300—400 человек. Это была уже некая сложившаяся каста, для членов которой призвание служения Богу становилось практически наследственным, они существовали, «самоизбираясь и самоуправляясь без участия основной массы населения» (Терджиман, 27. 05. 1905). Как указывалось выше, эти люди были неспособны эффективно управлять вакуфами в изменившейся ситуации, их непрактичность становилась притчей во языцех: они «умудрялись сдавать [вакуфы] в аренду по 20—30 коп за десятину, когда рядом частные владельцы сдавали свои земли по 2—3 рубля» (там же).

Результаты такого хозяйствования были легко предсказуемы. Мечети и медресе Крыма приходили в упадок. Вот картина всемирно известной гёзлёвской Джума-Джами в 1885 г.: «жалкая обстановка, плесень и трещины в стене мечети, хотя получает она с вакуфа 2400 руб. в год, но всё это проедается клиром, хотя хватило бы 600 руб хатибу и 400 — имаму» (Терджиман, 07.06.1885). «В деревне Буюк-Асе евпаторийского уезда мечеть имеет 1900 дес, но она крыта кураём, ковьёлём и землёй...» (Там же). Богатейшее некогда Зинджирлы-медресе сохранило значительный доход — от 5000 до 8000 руб. в год, но отмечалось, что и оно «содержится в грязи и полуразрушеньи. Мечеть при нем разрушена... нет даже сторожа, хотя заботливый Хан (то есть основатель медресе, Менгли-Гирей. — В.В.) и на его содержание указал долю» (Терджиман, 07.10.1885).

Эта практика оказалась на редкость стабильной. Ровно через 20 лет картина была той же: независимая пресса писала о том, что муллы и другие «властители судеб мусульманской массы живут истыми помещиками, сдавая в аренду и обрабатывая личными средствами значительные участки земли. Наряду с этим десятки и сотни безземельных татар-поселян изнывают в тяжёлой борьбе за насущный кусок хлеба вертяться, как белка в колесе в кабале у помещика-муллы» (Салгир, 11.05.1905).

Обеспечив себя более чем достаточно, духовенство зачастую пренебрегало своими священными обязанностями. Не были в этом смысле исключением и муфтии. На одного из них, А.М. Карашайского, была подана жалоба губернатору, подписанная тысячей прихожан. Они указывали на «запущенность, антисанитарное и антигигиеническое состояние медресе и мектебов, состоящих в ведении Магометанского Духовного Правления» (Голос Тавриды. 30.09.1905).

Теперь авторы, печатавшиеся в газете И. Гаспринского, указывали такой выход из тупика: «Мы думаем, что найдётся до 40—45 [000] десятин вакуфной земли, в более или менее крупных участках, на коих можно разместить до 4 тыс. хозяев-татар, с тем, чтобы они за пользование вносили в духовные учреждения

десятину, согласно шарнату, и несли законные сборы и повинности, существующие с земель вообще... поселяне были бы ограждены от выселений, как то теперь случается, коль скоро они не поладят с помещиком, часто безмерно требовательным» (Терджиман, 29. 03. 1885). Понятно, что и этот призыв из Бахчисарая остался без последствий, в Духовном Правлении его попросту игнорировали. Забегая несколько вперёд скажем, что в дальнейшем, в декабре 1905 г., многочисленные крымскотатарские собрания по собственной инициативе, исходившей от сельских сходов, снова поставили вопрос о разделе вакуфных участков между безземельными крымскими татарами.

Однако на этом процесс захвата последнего, что ещё оставалось из былых сокровищ нации, не кончился. Пользуясь как безответностью татар, так и ситуацией всеобщего разгула «законного» разграбления любого имущества, которое можно было отнести к вакуфному, местные и пришлые помещики стали запахивать собственную землю крымскотатарских крестьян под предлогом того, что она-то именно вакуфная и есть! При этом не нужно было располагать никакими документами. Редкие попытки сопротивления подавлялись безжалостно, прихвостни землевладельцев, их слуги расправлялись с «мешавшими им татарам» физически, избивали их, были случаи увечий. Как говорят очевидцы, преступники при этом оставались безнаказанными. Потерпевшие и их родственники, по опыту зная, насколько бесполезно обращаться в суд, лишь горестно качали головами: «Злой человек, злой человек!» (КВ. 1896. № 75).

По испытанной на крестьянских наделах схеме были отчуждены вакуфные наделы в Евпаторийском уезде. Задолго до рокового 1890 года евпаторийские помещики, явочным порядком выгонявшие свой скот на вакуфные пастбища, предложили крымским татарам-распорядителям этих земель, что они будут платить вместо обычных штрафов за потраву налог на землю. Те согласились, рассудив, что штрафы всё равно уходят в казну, а так хоть на налогах сэкономить можно будет. Но эта «экономия» обошлась стократ дороже: по истечении 10 лет помещики вдруг объявили себя собственниками этих угодий (по праву многолетних плательщиков подати за них). И власти утвердили переход к ним нескольких тысяч десятин крымскотатарской земли (К. 29.05.1888).

Очевидно, они знали, что делали: при переходе вакуфной недвижимости в казну (то есть в сохранении его в старом виде неделимого, комплексного фонда) в перспективе для крымцев остаётся возможность добиться его возвращения. Если же эти угодья разойдутся, разрезанные вдоль и поперёк, по частным владельцам, то есть перейдут в личную собственность, тут уж никакой суд ничего сделать не сможет, и задача таким образом будет решена окончательно. Так и вышло. Когда, к примеру, А. Медиев через газету *Ватан Хадими* обратился в 1906 г. к И. Гаспринскому, предложив ему выступить за возврат крымским татарам бывших вакуфных земель, тот резонно ответил, что в казне этой земли больше нет, так как она почти полностью перешла к частным лицам в наследственное владение, и тут уже ничего не поделаешь (Терджиман. 06.09.1906).

Кроме того, трудно было ждать объективного разбирательства суда в крайне неблагоприятной социально-политической обстановке. Дело в том, что именно в этот период в империи поднимается новая волна антимусульманского движения...

### 3. Балканская война и новая вспышка российского антитатаризма

#### а) Славянофильство

В конце 1840 — начале 1850-х гг. на юге империи, а затем и в более высоких её широтах отмечается явление, аналогов которому ранее в России не было. Некоторые националистически настроенные представители русской общественной мысли выдвинули идею особого, отличного от западноевропейского, пути исторического развития России. Они полагали, что лишь России предопределён уникальный, самобытный путь, на котором нет места борьбе социальных групп, как это было на Западе. Основу этому бесконфликтному прогрессу славянофилы видели в прочности крестьянской общины и православии как единственно истинном христианстве.

Однако позже последователи первых славянофилов, людей культурных и европейски образованных, вроде И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, И.С. и А.С. Аксаковых и др., приходят к возвышению русской культуры по сравнению со всеми остальными. Для некоторых из славянофилов (К. Леонтьев) охранение русской самобытности в лице самодержавия и православия, как завидного настоящего и светлого будущего всех народов империи, становилось само собой целью, исключавшей любое движение в сторону межнационального культурного обмена, взаимного духовного обогащения. В дальнейшем лишь православные великороссы могли служить примером и высшим образцом для всех племён Запада и Востока. Конкретно же, в качестве первого шага на этом пути, предполагалось объединить всех славян, поставив над ними российского царя в качестве генерального оберегателя и духовного охранителя<sup>1</sup>.

Таким образом, великодержавный шовинизм, ранее имевший отчётливо стихийную, практически бытовую форму теперь поднимается до теоретических высот, до уровня «научного» расизма. Впрочем, нечто похожее отыскать можно и в наше время. В такие судьбоносные моменты приходилось выбирать между патриотизмом и нравственностью: если у большинства европейских наций эти понятия взаимосвязаны, то в великорусском обществе они нередко взаимно исключают друг друга. И даже пресса походя, как о чём-то само собой разумеющемся, упоминает о «разрыве между патриотизмом и моралью» (Цунко, 2001).

<sup>1</sup> Любопытно, что эта идея, хоть и несколько изменённая (с поправкой на иные времена) возродилась в наше с вами время. Славянские противники глобализма ратуют за объединение православных в качестве «контрапункта культурной обезлички и приведения путей развития наций к американскому стандарту» (Анчев П. Малкитя народ. Теория, история, състояние. София, 2007. С. 254). Впрочем, политики тех же стран, в основном балканских, настроены «нотками старого русского имперского самосознания и пренебрежения к малым славянским народам (особенно к болгарам)». С их точки зрения, в России объединённое «славянство априори рассматривается как славянские страны, сблизившиеся с Россией, которая есть его центр и властитель (букв. «доминатор»). В результате Россия обретёт новое стратегическое, геополитическое положение и снова станет основным оппонентом США» (ук. соч. С. 260). В принципе, всё возвращается на круги своя, всё повторяется — как всегдашнее стремление России распространяться в южном направлении, так и понятное нежелание бывших «братских» стран вернуться под российское покровительство.

С. 3). Этот этический конфликт в абсолютном большинстве случаев решался, увы, не в пользу общечеловеческой морали. Самые передовые члены русской общественности, с благоговением бравшие в руки «Колокол» политэмигранта А.И. Герцена, в апогее антитурецкой агитации (таких всплесков было несколько) или, тем более, в годы польских восстаний, начали забывать о гуманизме и общечеловеческих ценностях. С ними приключались приступы (или обострения) болезни, которую теолог и поэт Владимир Соловьёв называл «патриотическим сифилисом».

Это был всеобщий сдвиг «государственного народа» вправо, «к нации и флагу» (Хобсбаум, 1998. С. 163); разразилась какая-то эпидемия, которой в разное время были подвержены многие, кроме сравнительно небольшой когорты, самыми яркими умами в которой были А.И. Герцен и В.С. Соловьёв. Именно многие, в том числе и П.Я. Чаадаев, выступавший за победу над поляками. Да и сам вольнолюбец Пушкин, когда свободы захотели соотечественники его друга Адама Мицкевича, некогда обзывал тысячи погибавших на баррикадах Варшавы диссидентов «кислыми ляхами» («Клеветникам России»). И ещё более откровенно писавший 01 июня 1831 г. другому своему другу, П.А. Вяземскому: «Но всё-таки их надобно задушить, и наша медлительность мучительна» (Собр. соч. Т. X. М., 1978. С. 31). Мало, дескать, крови было. Да что говорить об отдельном поэте, если разразилась многолетняя эпидемия упомянутой заразы. «Патриотическим сифилисом» переболели почти все, и гениальность не давала тут никакого иммунитета... Отсюда до идеологии прямой агрессии оставался один шаг — и он был сделан:

«Итак, за одно столетие от Карамзина до Победоносцева, формируется... определённая система взглядов и ценностей... По иронии судьбы, большинство славянофилов (то есть националистов, по современной трактовке) были сторонниками широкой внешнеполитической экспансии» (Лебедев, 2007. С. 116).

#### б) Русификация

Позднее самым заметным (хоть внешне и безобидным, по сравнению, скажем, с геноцидом) явлением той же имперской политики стала русификация, о которой уже упоминалось ранее. То есть, во-первых, насильственное отторжение нерусских народов, попавших под власть России, от их национальной культуры и традиционной духовности. И, во-вторых, столь же насильственное превращение их если не в русских, то хотя бы в русскоязычных, не помнящих родства с собственными предками, их историей и культурой.

При всей средневековой жестокости и бесчеловечности по отношению к людям, имевшим несчастье оказаться в России в качестве инородцев (и оттого обречённым), у этой политики были свои идеологи и, так сказать, адвокаты. Их и не могло не появиться, ведь империи нужно было как-то оправдать свои действия и перед Европой, и перед своими собственными подданными. Причём не только перед гонимыми инородцами (на них-то внимания обращали менее всего), но и перед великорусской массой, в которой выделялись немногие светлые личности, сочувствовавшие жертвам русификации и понимавшие ценность каждой обречённой культуры малых этносов. Приведём мнение одного из защитников

политики русификации, рассчитанное именно на таких мыслящих и образованных русских подданных «белого царя»:

«Взаимные отношения христианства и мусульманства никогда не были мирными, да и не могли быть такими, потому что обе названные религии взаимно исключают одна другую в самых существенных (основных) пунктах своего учения... На долю русского народа выпала трудная задача (здесь и далее курсив автора цитаты. — В.В.) идти в Азию по тому же пути и неизбежно восстанавливать в этой части света христианство. Если в понятие обрусения входит: и русский язык, и русский быт, и русский суд и всё прочее русское, не исключая веры — словом, *русский дух*, то не должно упускать из виду ни один из этих элементов, необходимо каждый из них поддерживать сообразно с общими административными принципами, не теряя драгоценного времени. От успеха обрусения наших инородческих окраин зависит будущее России, а с тем вместе будущее спокойствие, может быть, всей Европы, всего христианского культурного мира... потому что старинная борьба ислама с христианством далеко ещё не закончена...» (Исторический очерк взаимных отношений между христианством и мусульманством Н.П. Остроумова. СПб., 1888. С. 1, 69).

Автор приведённого утверждения (между прочим, не просто крупный чиновник эпохи Александра III, но и человек весьма образованный), как легко заметить, совершенно игнорировал многовековой опыт мирного сосуществования мусульман и христиан в Крыму. Он сознательно закрыл на этот опыт глаза и не мог поступить иначе. В противном случае ему просто не на чем было бы выстраивать свои шовинистические выводы и доказательства. Впрочем, повторяем, он не изобретал политику русификации, но лишь теоретически оправдывал старую великорусскую, отчасти «народную» практику. Французские историки верно замечают: «Политика русификации не была в империи новостью. Она уже применялась в Польше после восстаний 1831 и 1863 гг. Но при Александре III она уже не являлась, как прежде, наказанием, налагаемым на непокорный край; она стала системой, которую русское правительство проводило по отношению ко всем подвластным национальностям, даже наиболее ему верным» (Цит. по: Лависс Э., Рамбо А. История XIX в. Т. XII. С. 411–412).

К крымским татарам это замечание подходит с двумя оговорками. Прежде всего, как система, русификация носила здесь после аннексии всесторонний и довольно широкий характер. Она касалась прежде всего экономики, более или менее успешно переводя её на традиционно российские рельсы. Менялась и культурная среда обитания коренного населения, причём с самого начала установления российской власти в Крыму: «В последние годы царствования Екатерины II в Крыму не происходило каких-либо событий выдающегося интереса... Тем не менее и в эти годы безостановочно продолжалась русификация Крыма и введение в него общерусского строя; результаты были таковы, что через какие-либо 12 лет со времени своего присоединения к России Крым стал вполне русской провинцией» (Маркевич, 1897. С. 36).

Далее, то же самое можно сказать о внутривластных, административных нововведениях. Инородческая элита, которой поначалу предоставлялись довольно широкие властные полномочия, теперь замешалась российским

чиновничеством<sup>1</sup>, а масса крымскотатарского населения столь же последовательно вытеснялась из городов в деревню. Это явление получило значительный размах. Дело в том, что не только в городах, традиционно считавшихся «татарскими» (Бахчисарай, Ялта, Карасубазар), но и в той же Евпатории число русских приближалось к количеству тюркоязычных горожан: в 1896 г. здесь на 18 000 славян приходилось всего лишь 14 000 чел. крымцев и одноязычных с ними караймов (Руммель, 1899. С. 83).

Это было всеобщим явлением, отчасти стихийным. В Центральной России конца XIX в. наблюдалось аграрное перенаселение, людям не хватало земли. Поэтому многие крестьяне двигались на восток (за Урал) и более близкий юг, где они рассчитывали найти ещё не занятые участки. С другой стороны миграции в южном направлении по-прежнему содействовали власти. «Приблизительно с 1896 года режим начинает поддерживать крестьянское переселение, видя в нём способ решить проблему обнищания сельского населения в Центральной России, и масштабы переселения резко увеличились» (Стейнведел Ч. Определение социального статуса России // РИЗИ, 2005. С. 632). О том, что массовое переселение русских столь же резко ухудшит положение коренных народов Крыма и Северного Кавказа, как-то не думалось.

Так же далеко, как демографическая, зашла архитектурно-ландшафтная русификация. Пожалуй, лучше всего о ней сказал М. Волошин в статье 1925 г. «Культура, искусство, памятники Крыма»:

«После беспокойного периода татарства времён Золотой Орды наступает золотой век Гиреев, под высоким покровом великолепной, могущественной и культурной Турции времён Солиманов, Селимов и Ахметов. Никогда — ни раньше, ни позже, — эта земля, эти холмы и горы, и равнины, эти заливы и плоскогорья не переживали такого вольного растительного цветения, такого мирного и глубокого счастья.

Но в XVIII веке Дикое Поле затопляет Крым новой волной варварства. На этот раз это более серьёзно и длительно, так как эти варвары — русские, за их спиной не зыбкие и текучие волны кочевого народа, а тяжёлые фундаменты Санкт-Петербургской империи.

...русские были только новым взрывом Дикого поля. И держат они себя так, как обычно держали себя пришельцы с Дикого Поля: жестоко и разрушительно.

Ещё в первой половине XVIII века, с походов Миниха и Ласси, начинается истребление огнём и мечом крымских садов и селений. После присоединения, при Екатерине, Крым, отрезанный от Средиземного моря, без ключей от Босфора, вдали от всяких торговых путей, задыхается на дне глухого мешка.

Внешней агонии Крыма соответствует внутренняя. Основа каждого южного хозяйства — вода. Татары и турки были великими мастерами орошения. Они

<sup>1</sup> Для такой аппаратной селекции не требовалось никаких обоснований. Их и не было даже в теоретических трудах. Под дискриминацию крымскотатарских служащих-интеллигентов (кстати, в деловом смысле абсолютно невыгодную самой администрации) подводилась более, чем расплывчатая база: «Мусульманство и теперь уже даёт нам чувствовать себя с неблагоприятной стороны. Результатом этого, по необходимости, является то, что мы не можем, например, верить всем этим инородцам многих должностей, какие бы всего удобнее замешать туземцами» (Венков, 1887. С. 159).

умели уловить самую мелкую струйку почвенной воды и направить её по глиняным трубам в обширные водоёмы, умели использовать разницу температур, дающую выпоты и росы. Ударьте киркой по любому шиферному, совершенно бесплодному скату холма, — и вы найдёте воронки с овальными обточенными камнями, которыми собиралась роса; в любой разросшейся под скалой купе деревьев вы различите одичавшую грушу и выродившуюся виноградную лозу. Это значит, что вся эта пустыня ещё сто лет назад была цветущим садом. Взамен пышных городов из Тысячи и Одной Ночи русские построили несколько убогих уездных городов по российским трафаретам и частью из потёмкинских романтизма, частью для Екатерининской рекламы назвали их псевдо-классическими именами — Севастополем, Симферополем, Евпаторией. Древняя Готия от Балклавы до Алустана застроилась непристойными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов и отелями в стиле императорских дворцов. Это музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным памятником „Русской эпохи“.

Трудно считать приобщением к русской культуре то обстоятельство, что Крым посетили в качестве туристов или путешественников несколько больших русских поэтов, и что сюда приезжали умирать от туберкулёза замечательные писатели.

Но то, что земли систематически отбирались у тех, кто любил и умел их обрабатывать, а на их место селились те, кто умел разрушать налаженное; что трудолюбивое и лояльное татарское население было приневолено к ряду трагических эмиграций в Турцию... — это показатель стиля и характера русского культуртрегерства» (цит. по: Забвению не подлежит. С. 62–63).

Так что городской и природный ландшафты Крыма постепенно, к началу XX в. приняли вид, соответствующий стилю петербургских «эстетов». Сложнее была проблема культурной русификации — традиционного для империи направления национальной политики. Первоначально считалось, что «отставшие в развитии» жители Востока «должны были стать более похожими на русских, в то время как русские должны были изменить других, сохранив при этом свой язык, обычай, религию и свою „русскость“». В действительности, конечно, ситуация была редко столь однозначной» (Сандерленд, 2005. С. 199). Скорее, здесь имело место противоположное явление — частичная культурная ассимиляция русских переселенцев, о чём говорилось в предыдущем очерке.

Известный русский этнограф тех лет, занимавшийся русскими новопоселенцами на территории почти всей Российской империи, заметил: «Население оставалось русским по имени, по вере, по языку, но всё это было надломлено; много обычаев промысла, который являлся единственным средством существования, нужно было перенять [русскими иммигрантами] от инородцев; язык портился, и над ним всё больше брал верх язык инородцев». Главной причиной такой ассимиляции, по мнению учёного, несомненно, являлись сами русские, чьё «слабое культурное развитие не позволило передать крепкие задатки культуры так же, как это делали немецкие, французские и английские переселенцы» в других колониях. «С другой стороны, многое зависело от того особенного положения, в каком оказалось русское население в известных областях...» (Пытин А. Н.

История русской этнографии. СПб., 1892. Т. 4. С. 432). То есть в областях с их вековым хозяйственным укладом, максимально соответствовавшим местным, а не среднерусским природно-климатическим условиям обитания человека<sup>1</sup>.

Для русских учёных и колониальной администрации Крыма и многих других частей империи (особенно с тюркоязычным населением) это было неприятным сюрпризом. «В течение всего имперского периода преобладающим отношением к ассимиляции русских местным населением было то, что его никто не ожидал. Хотя считалось желательным и вполне естественным, что иноземцы и „инородцы“, проживающие в империи, когда-нибудь станут русскими, обратное утверждение не признали бы справедливым. Русские не должны были скатываться вниз по шкале цивилизации и становиться „Другими“... В ситуации, когда русские превращались в якутов, можно было задаться вопросом: кто же из них в действительности был цивилизованным, а кто первобытным» (*Сандерленд*, 2005. С. 202, 219).

Изменить что-либо в этом процессе, по крайней мере в Крыму начала XX в., оказалось невозможным (кроме одной сферы — народного просвещения, где негативные «успехи» русификации были налицо — подр. см. в очерке об И. Гастринском). Постепенно те же чиновники и правительство стали вполне отдавать себе отчёт в бессмысленности, тщете такого устремления, как задача превращения крымского татарина в русскоговорящего православного российского подданного. То, что было поставлено одной из главных целей национальной политики царизма и отчасти удавалось в белорусских или украинских губерниях, для Крыма не годилось. Пока, по крайней мере. Крымцы начала XX в. сохраняли все черты своих предков. Это выражалось даже во внешнем поведении, разительно отличавшем коренных жителей от массы переселенцев. Побывавший в Крыму американский этнограф был поражен всеобщим огрубением нравов, на фоне которого крымские татары выглядели какими-то людьми не от мира сего: «Они всегда любезны, всегда почтительны и свято верят в то, что окружающие будут относиться к ним так же» (*Curtis*, 1911. P. 270)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Это касалось не только отстававших от крымскотатарского населения по развитию переселенцев — вчерашних крепостных. Даже европейски образованные землевладельцы многого перенимали у крымцев не только из методов хозяйствования, но и из культурного наследия, прежде всего архитектуры. В старинных крымских культурных центрах вроде Акмеджита или Феодосии стандартно «имперские» постройки казённого типа понемногу стали разнообразиться элементами крымского (восточного) зодчества. А что касается частных дач, коттеджей, имений и замков, то здесь принципы этой архитектуры становились просто доминирующими — достаточно взглянуть на дворец М.С. Воронцова в Алушке и его коттедж в бывшем Воронцовском парке Симферополя, дворец Ф.Ф. Юсупова в Коккозе и пр. Конечно, во многом это была простая стилизация под «туземный» стиль, но некоторые произведения архитектуры такого рода поднимались до высоты если не шедевров, то блестящих памятников зодчества, например, «Юсуповская» мечеть в том же Коккозе, слева от дороги Бахчисарай—Ялта, работы архитектора Н.П. Краснова, которую не без основания считают «вкладом в крымскотатарскую культуру» (Червоная, 1994. С. 177).

<sup>2</sup> Бытовые традиции сохранялись столь же бережно. Причём, это зависело отнюдь не от уровня жизни. Всеобщее обеднение (под Джанкоем некоторые татары и в конце XIX жили в полуземлянках) никак не сказывалось на почтении к старинным обычаям и привычкам — прежде всего к чистоте физической и духовной. Шведский зоолог и этнограф.

И с этим ничего нельзя было поделать. Отчего культурная русификация и приняла здесь иную форму — сегрегации и дискриминации коренного народа. Это было простое продолжение всей истории России и её окраин XVIII—XIX века. И эта двуединая политика проводилась в жизнь последовательно и неуклонно, в отдельные периоды достигая своего высшего выражения, крайней формы, а именно вытеснения народа с его исторической родины. Такое вытеснение, сохраняя единую суть, выражалось по-разному: от депортации, как это было с запорожскими козаками, до принуждения к «добровольной» эмиграции за рубеж — в собственно Крыму.

Другими словами, если русификация нерусских славян (поляков и пр.) имела в виду будущую полную их интеграцию в лоно титульного народа империи, то крымские татары были, напротив, обречены на максимальную дифференциацию вплоть до физической очистки от них всей территории бывшего ханства. Материалы не только отечественных, но и зарубежных архивов показывают, что в планах российского правительства и крымских чиновников полуостров в дальнейшем представлял «очищенным от его основного, коренного населения. Второй натурой губернской администрации стало глубокое безразличие к нуждам тех, кто был поручен её заботам. Такая позиция русских была всесторонне пронизана шовинизмом, а русификация, объявленная в начале 1880-х гг. официальной политикой, представляла собой его логическое разрастание (*its logical extension*)» (*Lazzerini*, 1997. P. 170). Эти «высшие» цели крымскотатарской политики Петербурга не менялись с годами, хотя крымцы неоднократно доказывали уже упоминающуюся верность российскому правительству словом и делом — в том числе и на полях больших и малых сражений.

Выдающиеся русские мыслители той поры, надо признать, мало думали о судьбе крымскотатарского народа, сохранности его культуры, нравственных начал и духовности. Но их естественно беспокоил более близкий им вопрос: а не повредила бы политика русификации самим русским, ведь они выступали в этой кампании не в самых белоснежных одеждах, приличествующих народу-богоносцу. Великий русский философ, теолог и публицист резко выступал против национальной политики той поры, одновременно сомневаясь в нравственной искренности официально заявленной славянофильской внешнеполитической программы империи:

«...при всяком политическом строе, при республике, при монархии и при самодержавии, государство может и должно удовлетворять внутри своих пределов тем требованиям национальной, гражданской и религиозной свободы, которые наши же официальные и официозные патриоты предъявляли и предъявляют Турции и Австрии. Это дело не политических соображений, а народной и государственной с о в е с т и. Великая нация не может спокойно жить и существовать, нарушая н р а в с т в е н н ы е требования. И пока в России из фальшивых политических соображений будет продолжаться система насильственного обрусения

зайдя в бедный двухкомнатный бахчисарайский домик отметил, что вымыто всё было так, что «...песчинки не найдёшь... Нигде в других местах я не встречал такой чистоплотности, таких полов, даже в Японии, где жители в этом и других отношениях считаются самыми ревностными чистюлями на земном шаре» (*Stuxberg*, 1897. S. 59).

на окраинах, пока, с другой стороны, ...система уголовных кар будет тяготеть над религиозным убеждением и система принудительной цензуры над религиозною мыслию, до тех пор Россия останется нравственно связанною, духовно парализованною, и ничего кроме неудач не увидит (разрядка автора цитаты. — В.В.)» (Саловёв, 1886. С. 222).

До времени, когда правота этого пророчества, сводящего все прошедшие и грядущие беды российского государства и великорусского народа к их нравственным порокам, в полной мере подтвердилась, должно было пройти тридцать с небольшим лет. А затем ещё век — до наших дней. Впрочем, основная масса государственной нации так и не дошла до глубинного понимания источника своих бед, даже сегодня. Что сказывалось и сказывается на судьбе так называемых «инородцев», то есть инородных частиц в здоровом теле России.

Переход к крайней форме выдавливания нерусских из имперского тела (кроме крымских татар к ним относились евреи, черкесы, убыхи и некоторые другие кавказские племена и народы) имел место неоднократно и каждый раз — после политических поражений царизма. Что заметно и на истории крымцев: создание администрацией невыносимых условий для народа Крыма наблюдалось после неудачной войны 1787–1791 гг., польского восстания в конце 1830 г., поражения в Крымской войне. Ещё одним таким поводом для взрыва антитатаризма стала очередная война с Турцией («Балканская») 1877–1878 гг., хоть затеяна она была с целями чисто внешней экспансии<sup>1</sup>.

#### в) Балканская война

Задуманная как реванш за позор Крымской войны, эта новая война на юге была подана русской публике под лозунгом «Освободительной», то есть имевшей целью избавление южных славян от турецкого ига. Такая внешнеполитическая версия, при всей её явной надуманности (как и в прошлых турецких войнах, в жертву благо *зарубежных* славян приносились интересы *русского* крестьянина), была подхвачена практически всеми слоями российского общества. И этот всплеск туркофобии никак не ослаб даже после того, как русские за Дунаем убедились в том, что болгары «живут здесь зажиточнее и счастливее, чем наши русские крестьяне», что, кроме того, они «платят турецкому правительству незначительную подать, несообразную с их доходами, и совершенно освобождены от воинской

<sup>1</sup> Об этом накануне войны писал видный государственный деятель, бывший посланник в Турции (1864–1876) граф Н.П. Игнатьев, который был противником насильственных действий на юге и сторонником достижения тех же целей дипломатическим путём: «Влияние наше должно быть первенствующее в делах Порты. Живя в дружбе с султаном и распорядившись министрами, мы могли бы подготовить автономию единоверных и объявленных нам христиан, сделать Турцию для нас безвредною и, приобретя право хозяйничать в проливах, оставить султанов в Константинополе доживать свой век, до той поры, пока можно будет без них обойтись, прискавав такое радикальное разрешение восточного вопроса, которое, оставляя в нашем безспорном владении проливы и соответствующее влияние на болгар, греков, сербов и армян, казалось бы Европе наименее вредным для интересов Англии, Франции, Италии, Австро-Венгрии и Германии» (Записки графа Н.П. Игнатьева. 1875–1877 гг. СПб., 1914).

повинности». Более того, сделавший эти заметки герой Севастополя, а в новой войне главнокомандующий российской армией граф Э.И. Тотлебен, пришёл к горькому выводу насчёт того, что самое «задушевное желание» болгар — чтобы беспокойные «освободители по возможности скорее покинули страну» (Цит. по: Россия, 2000. С. 95). Против этой войны были и европейские государства, они сделали для её предотвращения ряд уступок, затребованных Петербургом. Но решение было уже принято, и очередная война на Юге началась и длилась столько, сколько России понадобилось времени для очередного отрезвления<sup>1</sup>.

Бездарные российские генералы, располагая хорошо обученной и обеспеченной полтора миллионной армией, терпели тяжёлые поражения от 500 000 турок, хотя половина последних состояла из необученных ополченцев. Так, под одной лишь Плевной была уложена почти 40-тысячная русско-румынская армия (СВЭ. Т. VI. С. 355–356). Лишь такими немислимыми жертвами удалось добиться победы, которую иначе, чем Пирровой, не назовёшь. Турки на переговорах с подозрительной лёгкостью уступали всё, чего Россия от них требовала, судя по всему не без задней мысли. Бесспорно, Россия имела свои интересы в Черноморских проливах. Но установление в них благоприятного режима — это одно, а полное овладение ими и прилегающими турецкими территориями — совсем другое.

Между прочим, именно вторая цель и была для Петербурга основной (Подр. см. в: Россия, 2000. С. 168–169). И когда после окончания Кавказской войны и захвата обширных территорий в Средней Азии у него освободились средства к очередной агрессии, а её неизбежность стала для всех очевидной, когда вся Европа увидела, что не сегодня-завтра Россия овладеет Проливами, отрезвление наступило даже у немцев. Почему-то Александр II уверовал в свою полнейшую безнаказанность, в вялое безволие окружающего мира. Именно тогда Бисмарк произнёс ставшие знаменитыми слова: «Русские чрез меру своею глупостью злоупотребляли стали»<sup>2</sup>, и начал принимать свои меры. На состоявшемся в том

<sup>1</sup> Имперский канцлер А.М. Горчаков прибег к тактике попустительства Второму рейху (поход 1870–1871 гг. на Францию) и даже содействия его вооружению. Поэтому ему удалось добиться аннулирования запрета (согласно Парижскому миру 1856 г.) России держать на Чёрном море флот. Принудив турок к переговорам в Сан-Стефано (1878 г.), на которых было признано существование «Великой Болгарии», А.М. Горчаков стремился поставить под российский контроль и другие турецкие территории, вплоть до Стамбульского вилайета и превращения Константинополя в вольный город, естественно, под российским «покровительством» (Янов, 1999. С. 184–190; Россия, 2000. С. 180). Во что эти кратковременные политические успехи обошлись русскому народу см. ниже. Во всяком случае, прежнее воинственное воодушевление не только исчезло бесследно, но, напротив, «началось глухое брожение среди крестьян», у которых убивали кормильцев, а «в рабочей среде имели место даже пораженические настроения, высказывались надежды на падение самодержавия» (Там же).

<sup>2</sup> Не исключено, что «железный канцлер» имел в виду конкретно А.М. Горчакова. Этот царедворец, которого, как ни странно, донные считают «одним из крупных мастеров дипломатии прошлого века» (Дипл. словарь. Т. I. С. 402), в 1878 г., что называется, зарвался. Он добивался овладения Проливами, хотя у русских на Чёрном море было всего 5 торговых судов, правда, с установленными на палубах пушками. В то же время Турция имела 20 броненосных кораблей, поддержанных стоявшим в Золотом роге британским



же 1878 году Берлинском конгрессе Сан-Стефанский мир был переёркнут, Великую Болгарию разделили на трое, Англия получила Кипр, Австрия — Боснию и Герцеговину, а России было предложено забыть о «Константинополе» как и о кресте на Св.Софии, о ключах к Босфору с Дарданеллами и т. д.

Урок, впрочем, оказался не впрок. В российском «оскорблённом национальном сознании рождались планы возрождения былого внешнеполитического могущества и утверждения на берегах Босфора» (Проливы, 1999, С. 244), что впоследствии имело соответствующие результаты.

Вот такой она и сложилась, общая канва событий, получивших неожиданно весьма большое значение для коренного населения Крыма.

### з) Шовинистическая реакция на Балканскую войну

Эта очередная война России с Турцией едва ли не впервые прямо не коснулась Крыма. Впрочем, только на первый взгляд. Конечно, среди населения полуострова была проведена мобилизация, в госпиталях страдали тысячи раненых, ужесточились повинности, по разбитым крымским грунтовыми дорогам потащились крымскотатарские мажары с изъятymi плодами крестьянского труда, как всегда бывало в прифронтовой этой губернии, и на сей раз объявленной на военном положении. К счастью, война не повлекла за собой внутренней депортации крымских татар, как в прошлый раз: за их лояльность поручился сам губернатор. А через год после её начала он мог рапортовать Александру II: «Мне особенно приятно, что мои предположения относительно татарского населения, о котором я имел счастье доносить Вашему Величеству в 1876 г., вполне оправдались. Татарское население, несмотря на своё единоверие с воевавшим врагом России, безропотно исполняло все свои повинности и одинаково со всеми русскими подданными приносило жертвы, как на санитарные, так и на военные нужды армии» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3917. Л. 126 об.—127 об.).

Та же картина наблюдалась в Крыму и на второй год войны: «все жители Таврической губернии, невзирая на сословия и на национальность, одушевлены горячей любовью к своему обожаемому Монарху и с ужасом взирают на подпольную агитацию злоумышленников, существующих в некоторых местностях нашего дорогого отечества...» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4042. Л. 98 об.). Под «агитацией злоумышленников» теперь, очевидно, имелась в виду антивоенная пропаганда социалистов-разночинцев, так как в этом и иных архивных документах тех лет не обнаружено даже упоминания о каких-то мусульманских эмиссарах, прибывавших, как бывало раньше, с миссией из-за рубежа.

флотом... Мимо дипломатического диалога Бисмарка с Горчаковым не смог пройти М.Е. Салтыков-Шедрин, изобразив первого в образе немецкого «Мальчика в штанах», а второго, как русского «Мальчика без штанов» (известно, что дети до 9—10 лет в самом деле ходили в России без брюк). Исчерпав все доводы, русское дитя, сидящее в уличной луже, грозит: «Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!», на что склонный к пессимизму собеседник отвечает: «Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, оставайтесь у нас!», явно склоняя русского сверстника вернуться к взаимной дружбе, пока не поздно (Салтыков-Шедрин, 1988. Т. VII. С. 42).

Тем не менее тяжёлые военные утраты, которых стоила победа, как и роковые дипломатические промахи злополучного А.М. Горчакова<sup>1</sup>, сказались на царской национальной политике, касавшейся прежде всего инородческого населения западной и южной границы, в частности, и Крыма. Ещё до начала военных действий «заявил о себе крайний (экстремальный) русский национализм», а когда конфликт с Турцией перешёл в военную фазу, то к радикальным шовинистам примкнули «более широкие круги населения. Эти крайние националисты, как правило, были лояльны к государству, чью империалистическую и ассимиляторскую политику они поддерживали». Повсеместно ужесточается контроль зарубежных контактов российских подданных. «В рамках этой политики правительство... снова стало более тесно сотрудничать с такими консервативными силами, как православие. Церковь и религия вновь преобразились в качестве критерия обособления от нерусских» (Канпелер, 1999, С. 179, 183).

Известные идеологи «великорусской исключительности» учащают нападки на ислам и мусульманскую культуру в частности. Н.Я. Данилевский в своей печально знаменитой «России и Европе», пропитанной животным страхом перед окружающим Россию миром, не ограничивается разоблачением коварных козней Запада против православия. Обратившись к истории ислама, он утверждает, что мусульманство явилось спустя шесть веков после того, как «абсолютная и великая религиозная истина была уже открыта», имея в виду христианство. В лучших традициях идеологов крестовых походов, автор вопрошает: «Какой же смысл могло иметь мусульманство после христианства?» (Данилевский, 1871. С. 333)<sup>2</sup>, заранее зная ответ. Естественно, он отрицательный, но как отрицать бесспорные заслуги мусульманской цивилизации в истории мировой культуры? Н.Я. Данилевский этого не знает, но находит выход: он клеветает на средневековых учёных-мусульман, деятелей культуры и богословов-философов, отказывая им вообще в каком-либо вкладе в процесс развития цивилизованного человечества.

<sup>1</sup> По совершенно непонятной и ничем не обоснованной причине канцлер полагал, что Балканская война, которую Россия вела ради сугубо собственных интересов, заставит балканских славян воспылать к ней особой любовью. На деле всё вышло наоборот. В начале «братья»-сербы заключили в 1881 г. военное соглашение с будущим противником России Австро-Венгрией, а затем и болгары избрали на престол немца Франца Кобурга. Именно на послевоенные 1880—1890 гг. приходится период, когда отношения трёх православных государств — российского и едва получивших независимость балканских — опустились до низшей точки (Романенко, 2002. С. 35).

<sup>2</sup> После того, как христианские фанатики сожгли в 391 г. величайшее книгохранилище древности — основанную ещё Птолемеем Александрийскую библиотеку, где безвозвратно погибли основные сокровища античной мысли, они, спустя несколько веков, уже в эпоху исламской цивилизации, упорно распространяли легенду о том, что эта трагедия была делом рук... мусульман (напомню, что как законченная конфессиональная система ислам сложился не раньше в VII в.). При этом даже приводились резоны мифических сарацин-поджигателей, предводитель которых якобы заявил, что если в этом собрании подтверждаются исламские истины, то оно излишне. Если же там есть нечто *сверх* Корана, то оно также заслуживает ликвидации как хранилище ереси. Теперь к аналогичной логике незамысловатого анекдота прибег не легендарный дикарь, а вполне образованный православный публицист...

Сознательно закрывая глаза на то, что в исламском интеллектуальном пространстве были сохранены, и, по сути, спасены от христианских варваров сокровища античной и эллинской мысли, буквально перечёркивая триумфальные достижения мусульманских науки и культуры<sup>1</sup>, этот идеолог панславизма<sup>2</sup> доходит до утверждений типа: «Что касается искусства, то религия Магомета была прямо ему враждебна... Сколько бы мы ни искали, мы не отыщем оправдания магометанству во внутренних, культурных результатах сообщённого им движения». Отсюда, по-видимому, должен был следовать вывод, более актуальный для современной Данилевскому ситуации в России: мусульманство, как пагубное и тупиковое, псевдоцивилизационное течение «совершило уже теперь весь цикл своего развития и без всякого сомнения находится уже в периоде совершенного изнеможения и разложения» (Данилевский, 1871. С. 334–335, 333).

Поэтому автор-панславист считал себя вправе сделать окончательный, геополитический вывод, суть которого сводилась к следующему. Когда-то мусуль-

<sup>1</sup> Для простого перечисления этих цивилизационных успехов и свершений потребовалась бы отдельная глава, поэтому укажем лишь самые зримые и известные: в мусульманской среде возникали целые науки вроде алгебры или тригонометрии, арабы разделили поток времени на часы и минуты, они ввели новый, безупречный стиль летоисчисления, составили точные географические карты пространств полумира. Сборники математических наук Ибн-Юнуса вначале были переведены на китайский и лишь столетия спустя до понимания их доросла Европа. По той же причине отставания Европы до нас дошла лишь часть тридцатитомника о болезнях человека, написанного Яхьёй, медиком Гаруна аль-Рашида, а Али бен-Аббас в IV в. подверг критическому пересмотру всю медицинскую науку античности. Что же касается Авиценны и Улугбека, то Данилевский, очевидно, просто забыл о них, как и о блестящей архитектуре Кордовы, Бухары и Багдада, о восточном происхождении «готической» (стрельчатой) арки, контрфорса, о великой поэзии мусульманского Востока и пр. Можно было бы составить список и того, чего Европа эпохи Просвещения (не говоря уже о России) не усвоила из воплощённых мусульманами положений шариата: бесплатное и всеобщее обучение, бесплатные бани, канализация, шоссированные дороги, огромные публичные библиотеки, водопроводы с чистой и безопасной водой, личная гигиена, неприятие унизительного крепостного права и мн. др.

<sup>2</sup> Панславизм — течение в российской общественной мысли второй половины XIX — начале XX в., основанное на идее коренного отличия славянских народов от других народов Европы. Отсюда делался вывод о необходимости некоего союза славянских народов (во главе с Россией), способного противостоять не только европейской политике, но и цивилизации. В ещё большей степени панслависты противопоставляли себя исламскому Востоку, якобы угрожавшему самому существованию православия, считая, что славянству должны «подлежать» Западная, Средняя и Дальневосточная Азия, «то есть весь этот материк за исключением Аравии и обоих индийских полуостровов» (Данилевский, 1871. С. 451). Панслависты подняли на новую ступень расовую ненависть (антисемитизм, антитатаризм и пр.), впервые оторвав её «от всякого фактического опыта политических, социальных и экономических контактов» с народами-объектами и «следуя только особой логике идеологии... За ними стоит настоящая теология, которая дала толчок ранним пандвижениям и сохранила значительное влияние на развитие современных тоталитарных движений» (Арендт, 1996. С. 315, 321). С ростом общей и политической культуры панславизм ушёл с идеологической арены как слепо агрессивная сила, лишённая каких-либо конструктивных черт (Подробнее о панславизме см. в: Пыпин, 1913. С. 76–174; Ионов, 1994. С. 326, 329).

манский заслон охранял православный мир от католической ереси. Теперь же православно-греческий отпор Западу вступил в новую фазу, в которой исламский барьер на Балканах и в Турции не только бесполезен, но и вреден. Поэтому, по странной логике Н.Я. Данилевского, священная борьба православия с Европой отныне приобретает... «характер борьбы против магометанства» и под этим знаком будет развиваться всё далее во времени и пространстве. Ближайшая цель этой борьбы — Стамбул, который после захвата российской армией «...должен стать столицей не России, а Всеславянского союза». То есть, как легко догадаться, некоего наднационального православно-тоталитаристского коалиционного образования под эгидой, естественно, России (ук. соч. С. 337, 341, 396–399, 405–406).

После изгнания мусульман из Европы, полагал другой идеолог панславизма, генерал Р.А. Фадеев, зарубежные славяне должны быть объединены «под русским правительством в международном и военном отношениях»<sup>1</sup>. Мысль Н. Данилевского довёл до логического завершения проф. М. Погодин, идеей которого было создание «универсальной империи» под русским царём в качестве Земного Бога. То есть роль России как какого-то «жандарма Европы» была бы теперь попросту устаревшей и оттого смешной. О мировом славянском господстве тоталитарного типа шла теперь речь, не более и не менее (Янов, 1999. С. 48)<sup>2</sup>.

От этих утверждений легко и логично перебрасывался мост к реальной ситуации в мусульманских регионах империи. И, прежде всего, — к наиболее ценному из них в геополитическом и природно-эстетическом отношениях, то есть к Крыму, а точнее, к его коренному народу. После максим Н.Я. Данилевского уже никого не должны были удивлять призывы газет тех лет: прежде всего думать не о мусульманах вообще и Крыма в частности, а о наделении крымской землёй православного, в крайнем случае протестантского иммигранта. Крымцы же окончательно попадали в разряд нежелательного для Тавриды элемента. Доходило и до беспечеляционного и, что хуже, постоянно повторяемого штампа в изданиях, рассчитанных на русского читателя любого интеллектуального уровня: «Татары — народ ленивый». Причём так высказывались самые многотиражные и популярные издания (Напр.: Библиотека для чтения, 1856. Январь. Т. 135. С. 43).

Некоторые авторы, сознательно или нет, отталкивались при этом от национально-психологических особенностей крымскотатарского народа, действительно существовавших и слабо менявшихся на протяжении столетий. Так, общеизвестным стало, что крымцы не шли «в ногу с веком», диктовавшим необходимость извлечения повышенной, капиталистической прибыли. Естественно, при этом умалчивалось, что такая прибыль достигается любой ценой, неважно, за чей счёт — эксплуатации наёмного труда или труда своей семьи, собственного труда

<sup>1</sup> Записка об отношении России к освобождённым славянским княжествам [1876] (РГИА. Ф. 919. Оп. 2. Д. 149. Л. 4 об.)

<sup>2</sup> Пока, слава Богу, попытки России «раздвинуть свои границы на западе и юге (имеются в виду Босфор и Дарданеллы. — В.В.), затрагивавшие интересы европейских держав, как правило, блокировались ими, и тут Россия ничего не могла поделать. Так что преимущественно восточный вектор русского колониализма был, в известном смысле, вынужденным» (Вишневский, 1998. С. 369). Мысль о том, что гигантской империи можно было бы, наконец, и успокоиться (в смысле агрессии против суверенных государств), не приходит в голову этому современному автору даже в качестве альтернативы.

до изнеможения ради достижения самых разнообразных целей, в том числе связанных с престижем. Журналисты с удивлением повествовали о крымском обычае запахивать лишь такую часть надела, которая была совершенно необходима для пропитания, оставляя целину, заросшую кустарником или травами, чтобы было «на чём кофе варить» (КВ, 1896. № 75).

Большой знаток Крыма и крымчан прошлого века Е. Марков писал по этому поводу, что труд татар «не имеет того лихорадочного, энергически-напряженного характера, с которым он неразлучен в цивилизованной Европе. Но зато и корысть его не имеет того цивилизованного ожесточения, которое всю жизнь европейского человека обращает в потюну за приобретением, в безжалостную и бесконечную войну с своим же братом-человеком за кусок золота» (1902. С. 313).

Была ещё одна черта, отличавшая крымских татар от северных соседей, и, к сожалению, раздражавшая последних. Уже рассмотренная ранее, эта особенность народного характера требует снова вернуться к ней, так как в конце XIX — начале XX вв. именно она стала ещё одним истоком угрозы для крымских татар. Эта черта — весьма развитое даже в беднейших слоях чувство собственного достоинства, сохранившееся и в душной атмосфере империи.

О нём писал немецкий аноним в середине века: «Татары заслуживают внимания уже потому, что даже сейчас ещё (то есть после 70 лет великорусского влияния. — В.В.) являют себя куда более достойными, благородными (weit hochherziger), чем средний русский, и эти прекрасные качества делают совершенно ничтожными все недостатки их восточного воспитания» (Die Krim, 1855. S. 15).

Упомянутое свойство с годами практически не менялось. Даже в пору жесточайшего обнищания крымчан в 1870–1890-х гг. российские газетчики задавали публике риторический вопрос: «Видел ли кто-нибудь татарина, просящего милостыню? Он входит в чужой двор только затем, чтобы попросить работы. И уж конечно, никто не скажет, что татарин снёс свои заработки в кабаки» (КВ, 1896. № 75). О том, какими могли быть «заработки» в пору всеобщего обезземеливания, можно только догадаться. И, тем не менее, «...самые бедные женщины и самые маленькие дети одеты довольно пристойно: нет этой повальной сермяги, поскони, войлока и льна, этих отцовских зипунов на грудных детях, мужских тулупов на бабах. У каждого ребенка своя, нарочно для него сшитая курточка со шнурками, с узорами, синяя или полосатая, непременно цветная, у каждого свои сафьяновые или кожаные мешты, своя красивая шапочка, пригнанная в мерку» (Марков, 1902. С. 313).

Автор книги делает из этого абсолютно верный вывод об истоках заботливости отца и матери, «признающих своим нравственным инстинктом и за ребёнком такое же человеческое право и такое же человеческое достоинство, как и за самим собой». И далее: «В хате его всегда необыкновенный порядок, чистота и приличие — сейчас видно, что человек уважает себя». Это же качество, вызванное уважением, бросалось в глаза и в отношениях между различными социальными прослойками: «Чабан входит в гостиную своего хозяина в своих буйволовых сандалиях, с достоинством закуривает, опустившись на ковёр, свою трубку и протягивает руку к стоящему угощению, не сомневаясь нимало, что имеет на него равное со всеми право» (Марков, 1902. С. 312). Впрочем, эта особенность крымскотатарского характера была замечена ещё Богушем-Сестренцевичем, пи-



Деревенские дети в начале XX в. Открытки. Из собрания музея Ларшес



савшим о том, что им присуще чувство чести такого уровня, «которое находится в Европе у народов, наилучше образованных»<sup>1</sup>.

Очевидно, именно оттого, что соседей крымцев в XIX в. вряд ли можно было отнести к «наилучше образованным» из всех европейских народов, подобные отличия (в том числе «невписываемость» татар в феодально-капиталистическое общество эпохи) этих соседей не могли не раздражать. Впрочем, «раздражать» — весьма мягко сказано. По наблюдению такого тонкого психолога, как А. Платонов, если потомки Адама «угадывали особенных самодельных людей, то уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением». И это не преувеличение — взглянем ещё раз на газеты 1880–1890-х гг. Оказывается, не удовлетворяясь экономическим ограждением татар, «русские всячески издевались над ними» (К.В., 1898. № 75). Была разработана целая «теория» об абсолютной невозможности сосуществования в Крыму аборигенного и пришлого населения именно из-за «национальных особенностей и крайнего фанатизма» крымских татар (НТ, 1887, № 3846).

Об этом прямо писал упоминавшийся выше теоретик проблематики российского мусульманства, утверждая, что в будущем неизбежна великая схватка христиан с мусульманами при условии, если хотят выжить как русские, так и христиане цивилизованного мира: «Современное направление этой старинной борьбы имеет бесспорный и важный интерес для нас, русских, так как в пределах Российского государства считается в настоящее время более десяти миллионов мусульман...». Мусульманство отвоёвывало «у христианства целые страны

<sup>1</sup> Приведём ещё одно наблюдение, принадлежавшее финну, посетившему Крым в те же примерно годы. Оно заслуживает внимания как свидетельство сохранившихся, несмотря на столетнее угнетение, традиционных черт внешнего и внутреннего мира крымских татар: «Повсюду красивые лица тонкого татарского типа, который сформировался здесь, в Крыму, в окружении южной гармоничной природы, исполненной томной красоты. Повсюду очаровательные домики простой, но притягательной архитектуры, в которой нет и следа бахвальства и претенциозности. Повсюду [встречаются] маленькие сюрпризы вроде зеленеющих рошиц, цветущих садиков или благоухающих цветников. А, кроме того — постоянное и повсеместное ощущение чистоты и гостеприимства» (Hagelstam, 1903, S. 53–54).

в Европе и Азии. На долю русского народа выпала трудная задача идти в Азию по тому же пути и неизбежно возстановлять в этой части света христианство» (Остроумов Н.П. Исторический очерк отношений между христианством и мусульманством. СПб., 1888. С. 1, 69)

Поэтому одна из двух вошедших в контакт культур должна была исчезнуть, не более и не менее<sup>1</sup>. Какая же? Местная или чуждая Крыму? Такого вопроса перед российскими властями дум не стояло. Основная цель, которую они брались обосновать, — это в лучшем случае «достигнуть слияния татар с остальным населением». Предлагалось и средство: «Поскольку для поднятия культуры русских сёл и деревень находят нужным привлечение туда интеллигентных сил, то в гораздо большей степени это необходимо для такого народа, который вошёл в чуждую ему жизнь с готовою культурою, с обычаями и привычками, сложившимися в продолжении многих сотен лет» (Одесский вестник, 29.05.1889). Другими словами, нужны были «интеллигентные силы», да числом побольше — слишком уж старую, устоявшуюся культуру нужно было переделывать в русскую.

А вот и дальнейшее развитие теории антитатаризма, отвергающей саму возможность существования этой культуры в будущем: «Отсталость татар и невосприимчивость к новому составляют одну из характерных особенностей этого племени, и это уже доказано давно». Показательно, что при этом не говорится, добро несёт это «новое», или зло. Невосприимчивы — пеняйте сами на себя: уже поэтому крымским татарам нужно думать не о культуре, не о сохранении традиций, а то том, как бы «приобрести право на существование и не подпасть под беспощадное правило *цивилизованных* (курсив мой. — В.В.) войн, по которому покорённые народы, менее цивилизованные и не слившиеся с своими завоевателями, сходят с лица земли, оставляя лишь след на страницах истории» (Эр, 1885. С. 1). Другими словами, исчезнуть с этого клочка земли, столь для всех аппетитного, надлежало, естественно, не русским. Оттого и землю стали давать с середины 1880-х гг. «только русскому крестьянству», оказывая ему, «понятно, предпочтение, вытекавшее из экономических и государственных интересов» (НТ, 1887. № 3839). Как видим, культурно-цивилизационная причина обречения крымских татар на вымирание замалчивалась.

Впрочем, не всеми. Архиепископ Таврический и Симферопольский Гермоген, действуя в лучших традициях Русской православной церкви, то есть вбивая

<sup>1</sup> Такой радикализм выглядел для мыслящих людей странно и в те далёкие годы, и позже, но верное объяснение его государственно-политических (не этнопсихопатологических, хотя они тоже имели место) истоков было дано лишь через столетие. Историк и политолог Э. Геллнер, сравнивая русских той эпохи с соседями-турками, подчеркнул, что если балканские христиане исправно платили налоги, то до их языка, культуры и веры Стамбулу не было абсолютно никакого дела. Россия же в конце XIX в. не могла обрести покой, видя, что её крымские подданные никак не желают входить в рамки старой феодальной правовой формулы *cujus regio, ejus religio*, то есть «чья власть (страна), того и вера (культура)». Русским властям было мало денег и повиновения колонизованных народов. Они жаждали подчинения себе их культуры и языка. Это было выражение имперской потребности в однородности человеческого материала, считает учёный. Успешнее всего империя могла манипулировать с культурно и идеологически унифицированным, мобильным, взаимозаменяемым населением (Геллнер, 1991. С. 108).

в головы аборигенов идеи о превосходстве русской культуры, языка и веры, но в этом не преуспев, не удержался от одного, уж точно излишнего, печатного заявления. В дни торжественного празднования 100-летия «присоединения Тавриды к России» этот пастырь выразил сожаление насчёт того, что не крымские татары великорусскую культуру перенимают, а напротив, идёт обратный процесс:

«О Крым, Крым, возлюбленный наш Крым! Как много ещё у тебя нерусского, как много ещё у тебя неправославного! Русские населения мелькают у тебя как редкие, счастливые оазисы, а пёстрые, разнообразные массы инородцев — почти на каждом шагу... особенно татар и не перечтешь... И эти последние не гости у нас, а как бы хозяева наши... Ибо как не назвать их хозяевами... когда в смешанном населении русских с татарами в данной местности не татары подражают русским в своих нравах, обычаях и образе жизни, а напротив русские — татарам! Посмотришь здесь на жилища русских среди татар и дивисься, как много подходят они на татарские. Посмотришь на одежду — и по покрою её с трудом отличишь русского от татарина. Посмотришь на пищу — она татарская не только по составу, но и по способу приготовления, по самому даже названию татарская» (Гермоген, 1883. С. 410).

И огорчён был добрый пастырь не тем, что крымские татары — недостойный пример для подражания, ведь он не мог не признать, что «татарин, по общему отзыву большею частию честен, добр и трудолюбив». Его раздражало, что этот пример, этот образец для подражания — нерусский, что налицо «такое коснение (то есть «небрежение, застой». — В.В.) в обрусении нашего края, такое замедление в водворении в нём православия...» (ук. соч. С. 411, 413). Откровение Гермогена, которое тут же разнесли газетчики, вызвало отчасти нездоровый интерес, отчасти раздражение практически всего православного населения епархии...

Это раздражение было бы грех упустить — и его стали подогрывать старыми, как мир, методами. А конкретно для юга России — теми, что предшествовали еврейским погромам. То есть, в печать запускалась утка «поароматней», такая, чтобы и самых тупых проняло (вроде сенсации об «изготовлении мацы из крови» христианских младенцев). Ну, а потом уже в дело вступали провокаторы из жандармерии, полиции, Черной сотни, Союза Михаила Архангела и пр., которые готовили погром уже на практической стадии. В случае с крымскими татарами роль такой затравки должна была сыграть информация, также из области «антихристианской агрессии крымцев».

Так, весной 1894 г. харьковский *Южный Край* напечатал статью о том, что Тепе-Керменская пещерная церковь стала жертвой святотатцев-татар, которые, взломав дверь, «сорвали ризы с икон, побросали иконы на землю и топтали ногами». Причём, как подчёркивал неведомый свидетель преступления, «это уже не первый случай кощунства татар над православною святынею. Года два назад, во время праздника Пасхи, татары Байдарской долины вырвали крест с православного кладбища и с насмешками и поруганиями волочили его по улицам всего села, пока не бросили на свалочное место нечистот» (цит. по: Терджиман. 30.04.1895).

Провокационная суть этой фальшивки ясна не менее явной её лживости. Не стоит говорить уже о том, что крымские татары *ни разу* на протяжении многовековой истории мирного сожительства на полуострове с христианами не опускались до кощунства над святынями генетически близкой веры «людей Писания».

Но эта опаснейшая дезинформация была изначально заданной с определённой целью; оказывается, указанная пещера, с действительно сохранившимися на стенах остатками древних фресок, никогда не имела двери и традиционно использовалась местным населением для укрытия от непогоды. И конечно, в этом укрытии и близко не было ничего, похожего на иконы. Но об истинном положении дел мало кто знал (разве что тепе-керменские чабаны), так что задачу свою означенный пасквиль выполнил. И это сказалося не только на отношении христианского большинства крымского населения к бесправным, обезземелённым татарам, но через некоторое время — и в погромах, резне, которую учинили южнобережные и симферопольские греки вкупе с частью русской диаспоры над коренным народом Крыма.

Выше говорилось об ограблении вакуфов. Есть основание заметить, что оно шло не только для предоставления каких-то благ русским переселенцам и помещикам, но и ради нанесения прямого ущерба духовной и культурной жизни крымских татар. Как фантастически это ни звучит, но российские власти были не заинтересованы в восстановлении вакуфа в прежнем объёме даже за счёт самих татар! Каждый раз, когда человек поднимался до понимания общенациональных нужд и желал помочь своим обездоленным соотечественникам, он должен был испрашивать на это разрешения у Петербурга. Раньше такого не было никогда. Ведь такие дарения — личное дело мусульманина, возможно Духовного управления мусульман Крыма — института по определению автономного. Но уж никак не Совета Министерства внутренних дел империи, куда направлялись такие прошения. И лишь после канцелярских проволочек и бюрократических тормозов в Крым приходили милостивые позволения на возврат Богу — Богова имущества, нередко когда дарителя уже и в живых не было, то есть речь уже шла не о дарении, а завещании<sup>1</sup>.

Вряд ли было совпадением, что в том же 1895 году была усилена идеологическая слежка за крымскотатарским обществом, ужесточена цензура светских изданий, прессы и даже содержания духовных проповедей. Результаты не замедлили сказаться. В том же году в петербургский Департамент полиции пошли по этому поводу донос за доносом. Содержание их было стереотипным: вознесённая крымцами «Молитва о благоденствии турецкого султана» (РГИА. Ф. 777. Оп. 4. Д. 11. Л. 201–207). Чиновники — авторы таких доносов — то ли не знали сути дела, то ли проявляли излишнее рвение по службе, понимая, что *хутбу*, по праву принадлежащую духовному халифу, которым всё ещё считался в Крыму султан, никто из факихов не отменял, и что духовное моление и реальная политическая позиция молящегося — вещи совершенно разные. Но Петербург также закрывал глаза на эту элементарную истину, отчего преследованиям подвергались вполне верноподданные императору хатипы и муллы Крыма. Более того, полиция слала

<sup>1</sup> Вот три примера таких поразительных документов: Разрешение принять завещанный Джеватом Осман-оглыу каменного дома в г. Симферополе, на учреждение вакуфа в пользу частного татарского училища (РГИА. Ф. 1281. О. 9. Д. 21. Л. 6); О разрешении принять жертвенные Абдул-Барием Абдул-Гани-оглы недвижимого имущества на учреждение вакуфа в пользу мектебе при мечети Калы-Маале в г. Симферополе (РГИА. Ф. 1281. Оп. 9. Д. 22. Л. 5); О разрешении принять в число вакуфов недвижимого имущества, завещанного купцом Аджи-Абла Османом-оглы в г. Бахчисарае (РГИА. Ф. 1281. Оп. 9. Д. 7. Л. 4).

в таких случаях отношения в Главное Управление цензуры империи, после чего цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета был обязан подготовить доклад с предложением ужесточения цензурной экспертизы именно в Крыму, что и исполнялось (РГИА. Ук. дело. Л. 206 об.—207).

В печати ставился и вопрос фундаментальных экономических интересов государства на юге. Газеты неоднократно подчёркивали, что эти интересы лучше всего поддержат русские хлебопашцы. Ну, а миф о якобы худшей подготовленности крымских татар к обработке крымских пашен и виноградников доказывался на удивление просто: «против татар как земледельцев говорит тот факт, что губернское (Таврическое) земство, учреждая капитал имени Александра II, постановило землю, купленную на этот капитал, заселить прежде всего православными людьми, а затем уже татарами, которым может быть и не достанется земля, так как русского безземельного люда оказывается очень много в губернии» (*Эр*, 1885. С. 1). Логика безупречная: если тебя бьют, значит уж точно заслужил, сам виноват...

Как ни горько признавать такого рода факты, но пришлые человеческие массы Юга России логику российских газетчиков воспринимали и принимали как откровение Господне. Она была верно рассчитана и приходилась впору. Видимо, собственные интересы и в этот период оказывались выше христианской морали: ведь любая дискриминация, даже не столь явная, как правило, чревата кровопролитием. Другими словами, добровольно поддерживая политику правительства, охотно участвуя в экономической, а затем и политической травле крымских мусульман, диаспора становилась соучастницей прямого преступления, к которому её не в первый и не в последний раз звали российские власти. Впрочем, удивительного здесь ничего нет: «Корни жизни слишком глубоко поприязли в тине крепостной уголовщины, чтобы можно было сразу переместить их на новую почву. Тина эта питала прошлое, обеспечивала настоящее и будущее — как отделаться от того, что исстари служило регулятором всех поступков, составляло основу всего существования?» — вопрошал великий русский сатирик через 20 лет после отмены крепостного права (*Салтыков-Шедрин*, 1988. Т. X. С. 455).

Обезземеливание татар шло весь послевоенный период, но лишь в 1884 г. его, так сказать, спонтанный характер сменяется целенаправленным. Тогда на место отдельных случаев экономической сегрегации пришла система. Именно в этом году министр государственных имуществ М.Н. Островский по согласованию с Министерством внутренних дел вообще запретил отвод казённых земель в надел крымским татарам. Он мотивировал своё распоряжение «недостаточностью казённых земель и необходимостью их для поселения русских безземельных крестьян» (*А. Р-в*, 1887. I). Беспрецедентный этот акт отнюдь не держался в секрете. о нем писали газеты, пытавшиеся, впрочем, объяснить его с вполне шовинистической, великорусской точки зрения: «Крайне примитивная система развития, общий склад жизни и ума татар, неспособных к культуре (?), — все это говорит не в пользу татар как нации, и ещё больше можно сказать о них отрицательного со стороны приспособленности их к совместным условиям земледелия» (НТ, 1887. № 3846).

И далее оказывается, что предпочтение русских «в отношении татар, отрицательные национальные качества которых так хорошо известны правительству»,

«имело в виду соблюдение государственных интересов со стороны политической» (НТ, 1887. № 3848). Это значительное признание — не что иное, как очередная гальванизация старых утверждений о политической неблагонадёжности народа в целом<sup>1</sup>. В дальнейшем мы не раз встретимся с ними; прямые обвинения татар в готовности изменить или в прямом предательстве будут слышны и до, и после Октябрьской революции. Но поразительно пророчество скрывшего свое имя одесского газетчика, очевидно предвидевшего грядущие преследования крымцев, их обречённость геноциду и в будущем, каким бы оно ни было. Говоря о фактическом неравноправии, национальном угнетении народа, он вопрошает, изменились ли условия его жизни за три года, прошедшие после упомянутого распоряжения Островского? И сам же отвечает: «конечно, нет, как не изменят их последующие *три десятилетия* (курсив мой. — В.В.) и, может, даже века» (НТ, 1887. С. 3848).

Поразительные слова! Ведь именно «три десятилетия» спустя и грянул 1917 год, не только, действительно, не преобразовавший жизнь крымских татар к лучшему, но и резко её ухудшивший.

#### 4. Новая эмиграция

##### (национально-освободительное движение по-крымскотатарски)

Причины новой волны эмиграционного движения среди крымских татар, развернувшегося в 1873–1890 гг., носили сложный экономически-идеологический характер. Причём кризисные явления общероссийского масштаба дополнялись в Крыму особыми, региональными чертами, которые ставили крымскотатарское население в вовсе уж безвыходное положение.

Известно, что модернизация экономики уменьшает потребность в рабочей силе для сельского хозяйства, ведёт к оттоку части крестьянства в промышленные города. Этот процесс (урбанизация) позволяет решать объективно назревающие проблемы — как социально-экономические, так и этнокультурные — неспешно, эволюционным путём, без особых конфликтов и катастроф. В Крыму

<sup>1</sup> Справедливости ради отметим, что в Крыму большинство газетчиков, лучше знавших татар и не столь подверженных известным теориям, получившим распространение во всю последовавшую эпоху до 1917 г., иронизировали: «Турецкие эмиссары в зелёных чалмах, подбивающие население к эмиграции и даже прививающие ему дух сепаратизма, существуют... только в пылком воображении разных непризнанных газетных Катонов» (КВ, 1893. № 52). Ещё более действенную поддержку в сопротивлении великорусскому национал-шовинизму крымцы ощущали со стороны других коренных народов, в частности, караимов. В годы реакции испытание на прочность прошёл уже не раз упоминавшийся «дух единой команды», свойственный многонациональному сообществу крымчан. Это относилось и к массам, и к интеллигенции. Самый яркий пример в этом смысле упал евпаторийский караим Илья Казас. Назначенный цензором крымскотатарского *Терджимана*, он, регулярно просматривая все номера газеты в течение 23 лет, «и разу не обмакнул перо в красные чернила, несмотря на фанатичное шипенье узких обрусителей, ненавистников Востока» (Терджиман. 02. 12. 1905).

всё шло по иному, особому пути. Если по темпам и глубине урбанизации Россия отставала от Запада, то Крым в этом смысле отставал от остальной европейской части России. Крымские города не могли принять крестьян, которые покидали крымскотатарскую деревню (кстати, по причине отнюдь не интенсификации сельского хозяйства, а из-за вульгарного земельного ограбления).

Города эти были таковыми более по названию, чем по социально-экономической своей сути. То есть их индустриальные и торговые функции находились в зачаточном состоянии. Крымские города представляли собой прежде всего административно-политические (Симферополь) и военно-оборонные (Севастополь) центры, поэтому были не в состоянии занять, трудоустроить ни вытолкнутых из села крымскотатарских обезземеленных крестьян (даже готовых сменить род занятий), ни российских крестьян-иммигрантов, иных переселенцев, ещё более обостривших местную проблему безземелья.

Смысл правительственной политики по отношению к крымским татарам в целом уже не мог не быть ясным. Эта политика была по фактическому содержанию оскорбительной, а по её перспективам — губительной для крымцев. Это понимали сами имперские чиновники, этого не мог не сознавать народ, всё менее склонный оставаться в старом состоянии, медленно, но неуклонно деградируя демографически и этнопсихологически<sup>1</sup>.

Брожение в крымскотатарских массах, вызванное непрерывной цепью притеснений в самых различных планах, равнодушием чиновников, стихийным и идеологически разработанным антитатаризмом, обострилось накануне принятия закона о *всеобщей* воинской повинности. Этим актом намечалось, вопреки положению существовавшему с эпохи аннексии Крыма и подтверждённому позднее, лишить крымских мусульман освобождения от службы в армии. Но для того, чтобы разобраться с этой запутанной историей, необходимо её временно оставить для того, чтобы совершить небольшой экскурс, объясняющий некоторые детали вопроса.

##### а) Крымскотатарские эскадроны

После окончания Отечественной войны 1812 г. один из её прославленных героев, генерал Кая-бей Балатуков, не мог не знать о плане правительства изменить закон об обязательной службе в армии. То есть, о том, что действие этого закона предполагается распространить и на инородцев, ранее освобождённых от рекрутских развёрсток. Рекрутчина же в ту суровую эпоху означала 25 лет непрерывной

<sup>1</sup> Наиболее честные и смелые из администраторов иногда отличали «крымскую» политику правительства империи перед самим же императором. К числу таких бесстрашных чиновников принадлежал таврический губернатор В.Ф. Трёпов. Он писал в Петербург в 1903 г.: «Должен признать, что Русское Правительство не приложило ни труда, ни забот, чтобы прочно устроить быт татар. Насколько заботливо, предусмотрительно мы устроили колонизацию немцев в крае, настолько по отношению к детям степей — татарам — Правительство относилось безучастно и равнодушно и следует ли удивляться, что никем не руководимый... доверчивый татарский народ погибает от хищнических набегов на их права и имущество всяких вооружённых искусством обходить закон, земельных паразитов-спекулянтов» (РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95. Л. 239 об.).

службы в жестокых условиях царской армии. Причём если уход в солдаты означал жизненную катастрофу для любого русского парня, то для мусульманина это было равносильно вечной гибели — хотя бы потому, что он стал бы в ряды православного воинства (это не говоря уже об остальных, общих для всех солдат тяготах, необходимости есть свинину и пр.). И крымскотатарский генерал решил не допустить падения в эту бесчеловечную и безбожную систему своих соотечественников. То есть «навсегда оградить крымцев от рекрутской повинности, для чего ходатайствовал об утверждении постоянной гвардейской части у татар по примеру Донского и Уральского казачьего войска за добрую службу в отечественную войну» (*Муртзаде*, 1889. С. 14). Такое уравнивание с казаками позволило бы не только уменьшить число призываемых, но и создать национальные воинские части, что сразу сняло бы ряд тяжёлых проблем, связанных с шариатом (отправление намазов, потребление только дозволенной пищи и пр.).

В этом плане не было ничего фантастического: за боевые заслуги все крымские татары — участники войны были награждены серебряными медалями, а многие — и орденами, в том числе и высшими, а это уже говорило о преданности будущих частей уж никак не меньшей, чем казачьих. В ночь же чисто практически-го осуществления этого плана князь К. Балатуков вполне мог надеяться на свои личные связи: у него было немало боевых товарищей, которые в мирное время заняли высшие посты не только в армии, но и в военном министерстве. Поэтому после ряда лет неизбежной бюрократической волокиты дело было благополучно решено. В 1826 г. был опубликован Высочайший приказ о создании *Лейб-гвардии крымско-татарского эскадрона*. Эта часть имела всего 200 человек личного состава, но командир её должен был состоять в чине не ниже полковника, что говорило о её более, чем «эскадронном» статусе (впрочем, в те годы и полки могли быть численностью в две сотни, включая офицеров).

Эскадрон делился на три равные части. В то время как одна из них проходила службу на льготных условиях в Крыму, две другие находились в Санкт-Петербурге. Каждые 3 года происходила ротация, то есть части эскадрона менялись местами дислокации. Таким образом, служба рядового эскадронца длилась 15 лет (9 лет в столице и 6 — на родине). Для обычной, небогатой крымскотатарской семьи утрата двух крепких мужских рук на такой срок была тяжёлым ударом. Но проблема в какой-то мере решалась возможностью конников помогать семье деньгами, так как рядовому полагалось жалованье 37 рублей серебром в год, унтер-офицеру — 54 рубля, об офицерах же вообще речи быть не могло — они ставились на привилегированный общегвардейский оклад. Притом важно заметить, что содержание эскадрона обходилось казне дешевле, чем другие части соответствующей численности, так как все расходы по его сбору, обмундированию, покупке и ремонту конского состава брала на себя крымскотатарская община. Необходимая сумма собиралась частью из пожертвований, частью же из подушной подати с крымских татар, составлявшей тогда 17 копеек серебром в год.

Вначале у эскадрона не было собственной казармы в Санкт-Петербурге. Было решено временно размещать его в частном секторе, но по возможности компактно: в дотелефонную эпоху это облегчало сбор по тревоге. Таким районом дислокации почему-то избрали далёкую от Зимнего дворца Лиговку. Проблем расквартирования, очевидно, не было: лиговским хозяевам не могли не импо-

нировать бравые эскадронцы в красивой, экзотичной форме (если повседневный мундир состоял из синего бешмета и шаровар, то парадный был красного цвета, по швам обшитый жёлтым гвардейским галуном). Кроме того, К. Балатуков лично озаботился о том, чтобы в этой элитной части все его подчинённые были действительно гвардейского роста и стати. А через пару десятков лет отпраздновали новоселье: в 1846 г. было готово собственное здание эскадрона на Обводном канале. Кроме обычных казарменных помещений там же находилась квартира муллы и эскадронная мечеть: огромное помещение со белыми, отделанными золотом стенами и белым же толстым сукном на полу.

Служба эскадрона не ограничивалась участием в охране царской семьи и в военных парадах: в войне 1853–1856 гг. петербургская часть его находилась на оборонительных рубежах близ побережья (корабли союзников подходили к самой столице), а «льготники» участвовали в сражениях под Севастополем — на Чёрной речке и у Мекензиевых гор (лето-осень 1854 г.). На обоих военных участках личный состав эскадрона заслужил благодарности и новые награды. Тем не менее в 1864 г. он был распущен. Причина была проста: из-за массовой эмиграции крымских татар набор в гвардейскую часть вначале затруднился, а после стал совершенно нереален. Впрочем, вероятно, для того, чтобы сохранить возможность когда-либо возобновить эту славную воинскую часть, в Петербурге было решено оставить 3 офицеров и 21 гвардейца (с постоянной заменой их), дав этому крошечному контингенту новое наименование: «Команда лейб-гвардии крымских татар Собственного Его Величества конвоя». Эта команда входила в состав Кавказского казачьего эскадрона; тем самым история крымскотатарских воинских подразделений не прерывалась, чего, собственно, в сложившейся ситуации и было достаточно.

Служба для рядовых теперь сократилась «всего» до 12 лет, но добровольцев хватало, так что с самого начала принятое постановление насчёт того, что отбор среди желающих будут вести сами командиры, оказалось разумным. Неизвестно, что привлекало молодых крымцев к службе в далёком Петербурге — столичный блеск, жалованье (оно было совершенно несравнимо с заработком не только батрака, но и, к примеру, сельского кузнеца), или новая форма: бешметы тех же цветов — синего и красного — удлиннились, а кивера превратились в традиционные плоские («старомурзацкие») *кьалпаклар*, чёрная смушка которых чудесно гармонировала с красным верхом.

Во время войн крымские гвардейцы традиционно перебрасывались в полевую армию, где награды и слава только подтверждали их храбрость и преданность присяге. Но в 1890 г. 64-летняя служба крымских татар в Петербурге завершилась, все должны были вернуться по домам. Впрочем, на этом история национальных частей не закончилась. Ещё в 1874 г. в империи был введён новый закон о всеобщей воинской повинности, коснувшийся и крымских татар, которые отныне могли поступать в специально для них сформированный эскадрон. В этой части действовали особые уставные положения и правила строевого обучения, составленные применительно к этническому характеру и культурным особенностям коренного народа Крыма.

*Крымскому эскадрону* отвели старые казармы инженерного ведомства под Бахчисараем. Около двухсот новобранцев и офицеров получили новую форму

(бешмет чёрного цвета, тот же традиционный кялпак с красным верхом) и коней — вороных красавцев кабардинской породы. А через год появился и второй эскадрон, точная копия первого, его разместили уже под Симферополем. И, наконец, создали Крымскую стрелковую роту, татары-пехотинцы которой вскоре стали известны далеко за пределами Крыма: год за годом они занимали первые места на стрельбах всего огромного военного округа юга России. Рядовые всех трёх частей должны были служить два года, с 1893 г. — четыре. Но на этом реформы не кончились. В том же году роту распустили, число эскадронцев возросло до 500–550 человек, то есть для ежегодного обновления такого состава требовалось всего 100 человек рядовых. Но на Крым давно уже была спущена многократно большая общая призывная квота. Начались судебные преследования крымских татар, ранее по какой-либо причине уклонившихся от призыва, за такое нарушение закона 15–20-летней давности стали наказывать тюрьмой<sup>1</sup>.

#### Б) Введение рекрутчины для крымских татар

Переходя к проблеме обязательной военной службы или земельного закабаления крымских татар, как главным причинам очередной большой эмиграции, напомним, что эти новые реалии обрушились на народ, издревле свободный, никогда в своей истории не знавший ни крепостного рабства, ни рекрутчины. Этот удар был нанесён внезапно и со всей мощью: если к такого рода нововведениям крестьян России приучали веками, постепенно закручивая гайки, то в Крыму коренному народу просто не дали опомниться. А ведь для него такие реалии были не менее страшны и невыносимы, как если бы великорусский этнос безвинно приговорили бы, скажем, к поеданию лягушачьего или собачьего мяса, к насильственной реформе норм женской нравственности и т. д. И хотя первое не ужаснуло бы французов или китайцев, а второе — некоторых представителей Крайнего Севера, но для русских-то это было бы не менее дико, более того — не менее невыносимо, чем для крымских татар — рекрутчина... Нововведения были не просто чужды, они были непонятны и страшны до такой степени, что отвращение к ним пересиливало любовь к родине и ужас перед жизнью на чужбине<sup>2</sup>.

Очевидно, правительство давно понимало всю неприемлемость рекрутчины для ряда народов империи и делало для них понятные исключения. Так, в армию до самого конца царского режима не брали не только подданных из великого княжества Финляндского, но и никого из десятка среднеазиатских народов и племён. Поэтому реакция на такое неслыханное нарушение старинных прав и гарантий была вполне предсказуема: с рекрутчиной просто физически не могли согласиться

<sup>1</sup> Сорокалетний Исмаил Мамут-эфенди-оглы из деревни Махульдур Ялтинского уезда был осуждён в 1891 г. на лишение свободы за то, что он когда-то в молодости, 18 годами ранее, не явился в призывную комиссию и таким образом избежал рекрутчины (Терджиман. 13. 11. 1891).

<sup>2</sup> Именно рекрутчина была основной причиной бегства некоторых татар за рубеж уже на второй год после аннексии, ещё до начала первого великого исхода. Когда в 1784 г., то есть уже после запрета на выезд, была задержана группа татар, бежавших из Крыма без разрешения, то «они единогласно объявили... намерение их уйти за море было не от чего иного, как опасаясь военную службу» (РГВИА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 66. Л. 32).

самые выдержанные и спокойные, к тому же поевшие эскадронного хлеба на своём веку крымскотатарские ветераны. О том, что это означало для парня из крымской деревни, какие при этом возникли проблемы, рассказывал в интервью репортеру столичной газеты один старый алуштинский отставник-эскадронец:

«Татарское население нисколько не прочь нести Царю службу. В прежнее время служили по 2 года, теперь служим по 4. Мы уже свыклись, сжились с неизбежной воинской повинностью, и не Царская служба нас страшит. Нет, вот что страшно: татары-новобранцы попадают одиночками в разные русские полки, в совершенно чуждую им обстановку. Ни требования Корана, ни обычаев, привитых с детства, эти татары исполнить не могут без риска быть стеснёнными, оскорблёнными и даже осмеянными чуждыми им людьми. Положение татар-одиночек в войсках невыносимо тяжёлое, и оно, можно сказать, вдвойне увеличивает тяготы воинской повинности... Положение значительно улучшилось бы самым простым путём, если бы татары-новобранцы попадали в войска не одиночками, а хотя бы небольшими группами, и конечно, лучше всего, если бы они попадали в расположенные на юге полки, здесь и население, и сами войска более знакомы с татарским бытом, здесь обычаи татар и законы Корана не кажутся такими странными... Вот почему так безгранично дорога была нам промелькнувшая в царствование Александра II мысль о сформировании татарского полка в центре нашей родины — Бахчисарае» (НВ. 16.03.1903).

В эти годы народ сложил песню, в которой проклинал тех местных чиновников, что первыми в Крыму подписали приказ о наборе в армию:

Пусть рухнут стены казарм,  
Спина Чубукчи пусть дутою согнётся,  
Бахчисарайский Аджи Ибрам  
Пусть в могиле своей перевернётся

(Цит. по: *Озенбашилы*, 2005. VIII. С. 7).

Как указывалось выше, угроза общевоинской службы для крымских мусульман была актуальной уже в момент аннексии (иначе Екатерина не давала бы соответствующих гарантий)<sup>1</sup> и в первой четверти XIX века. Эта опасность не утратила своей остроты на протяжении всех прошедших десятилетий, не случайно слухи

<sup>1</sup> Между прочим, такое явное нарушение царского обещания-гарантии естественно влекло за собой аналогичную свободу крымского народа от долга верности престолу, иных подданических обязательств. Но кроме политической реакции на российское *клятвопреступление* — а им и являлся отказ властей от соблюдения гарантии, данной Екатериной (от имени своего и своих наследников) — у крымцев становились неизбежными и психосоциальные метаморфозы. Обещание сохранить все национальные обычаи и традиции, в том числе индивидуальную свободу, давало некогда гарантию сохранности этнического общества, неизменности социального взаимодействия внутри его, обеспечивавшегося обычаями и нормами. Нарушение же такой гарантии, как известно, неизбежно «влечёт за собой ответную психологическую реакцию... ведёт к росту недоверия, двоемыслия и цинизма». Ведь только обычай и норма «обеспечивают устойчивое, добровольное и сознательное сотрудничество людей» (Ерасов, 1998. С. 97, 105). То есть выход из-под власти царя-клятвопреступника, эмиграция, были просто-таки необходимы в видах спасения этнического сообщества крымских татар.



об отмене особого положения для коренного народа Крыма года возникли гораздо раньше осуществления реформы. Впрочем, не исключено, что их распускали искусственно, так как слишком многие из приближённых ко двору и военному министерству были заинтересованы в крымскотатарской эмиграции.

Власти прекрасно знали, на что шли. Генерал-губернатор Коцебу в 1873 г. записывал: «При недавнем объяснении нашем [с царём] в Ливадии, по случаю возникшего между крымскими татарами стремления к переселению за границу, в виду ожидаемого закона о всеобщей воинской повинности, генерал-губернатор заявил мысль свою, что в видах успокоения крымских татар и облегчения для них воинской повинности, полезно было бы призываемых на службу татар назначать в отдельный отряд, не распределяя новобранцев по различным частям войск» это «было бы самым действенным средством к прекращению возбуждённого между крымскими татарами брожения». Далее Коцебу объяснял, что крымцы «не страшатся воинской повинности как таковой» и опасаются лишь того, чтобы новобранцы их не расселились по разным местам, так как иначе «они стеснены были бы в исполнении духовных треб и вообще правил их веры». В то же время назначение их именно в конницу «совершенно совпадало бы с собственным желанием татар...» (цит. по: *Мартыанов*, 1887. С. 2). Тем не менее, несмотря на то, что правящие круги были хорошо знакомы с проблемой, что они знали, чем грозит нарушение царской гарантии, они на это нарушение сознательно пошли.

Указ о всеобщей воинской повинности был опубликован 1 января 1874 г. И тут же началось бегство мусульман Крыма от этой, ранее неслыханной, а теперь ставшей реальностью угрозы оскорбления веры предков. Тут же, как по заказу, у берегов Крыма появились турецкие фелюги, с них спускали шляпки, на которых турки стали ходить вдоль удобных отмелей под видом охоты на дельфинов, но на деле — для погрузки крымскотатарских эмигрантов, перевоз которых приносил гораздо больший доход. К весне Крым покинули первые 300 призывников, большинство с семьями, а губернская канцелярия уже была завалена прошениями о выдаче паспортов на выезд. Очередной великий исход стал набирать обороты. Но ещё ранее, практически сразу после опубликования манифеста от 1 января 1874 г. народ сложил песню, в которой лучше, чем в записках современников, отразился весь ужас крымских мусульман перед военной службой в армии неверных:

Сады, потом отцов наших вспоенные, Видать, Крым родной нам не достанется,  
Сиротливо нам вслед глядят. От царя постылого пощады не жди.  
Матери в слезах Аллаху молятся — Сыновья, видать, домой не воротятся,  
Сыновей в солдаты забрать хотят. От страданий, Аллах, их храни.  
Солнце взойдёт, перекатываясь, Вершины гор родных в тумане,  
Горе растёт день ото дня. Под гнётом гяуров Родина стонет.  
Пожалей, Аллах, тебе молимся, Сердце словно в кровавой ране,  
Сохрани от несчастий этого дня. Спаси нас, Аллах, душа наша стонет.  
В медресе уроки окончились, Журавли в родном небе курлычат,  
В деревнях зачитали Указ. День за днём несут чёрные вести.  
Словно острым ножом сердце вынули враз. Манифестом народ весь измучен,  
Спаси нас, Аллах, от царской бести.

*Олесницкий*, 1910.

Ещё позже, уже в начале XX в., когда рекрутчина стала более привычной, народ, тем не менее, продолжал слагать песни аналогичного содержания и неугасшего эмоционального накала: к оскорблению армией невозможно было привыкнуть. Вот одна из них, в ней отразилась печаль молодых парней, покидавших Крым на долгие три года:

Ak-mecid yuli cakil tas	Улицы Акмеджида вымошены,
Atin da nalli at	И конь твой тоже подкован.
Biylki yasim un sekiz	В этом году мне — восемнадцать
Üc yuldan salda	Три года быть мне солдатом

Bahçasaray kan saray	Бахчисарайский Хан-сарай.
unda yattim bir talay	Там в последнюю минуту
stavay saldat degende	«Вставай, солдат», они сказали.
küz jasini tiyalmay	Слёз нельзя было унять.

Kitecekmiz küyümden	Мы покидаем наше село,
Kal sauluknen	Будьте счастливы!
Sil küzinin yasini	Утри слёзы с глаз
Al yauluknen	Своим алым платком.

Asadan keliy pristavlar	Снизу приходят вербовщики,
Aklimi algan	Я почти лишился разума...
Basimdaki kalpagim alip	Они отнимают мой кялпах
Sapkasin salgan.	И швыряют мне [солдатскую] шапку.

(Цит. по: *Kakuk*, 2001. С. 311–312).

Царь прекрасно понимал, что «волнения между Татарским населением произошли главнейшим образом вследствие издания нового закона, подчиняющего Татар отбыванию воинской повинности, от которой оне до сего времени были свободны» (Высочайшее распоряжение; цит. по: *Воронцов*, 1906. С. 439). Поэтому, зная, чем чревата идея ухода татар из Крыма, Александр II немедленно отправил на Юг князя С.М. Воронцова, генерал-адъютанта и сына покойного фельдмаршала, о котором, как говорилось выше, крымцы сохранили самую добрую память. Князь объехал Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский уезды, лично встречаясь с семьями будущих призывников, беседуя с юношами и со стариками.

При этом выяснилось, что татарским парням угрожает тотальная рекрутчина: «...все 20-летние будут ежегодно поголовно забираемы в солдаты, что, кроме того, всё мужское население до 40-летнего возраста будут обязаны нести службу и т. д.» (*Воронцов*, 1906. С. 439). То есть местные чиновники распространили среди крымскотатарского населения информацию о гораздо более жёстком призывном режиме, чем это предусматривалось на самом деле. Причина этой фальсификации была проста и столь же легко объяснима особыми свойствами российской бюрократии. Чиновники пошли на этот шаг, ожидая практически от всех татарских семей взяток или платы за оформление миграционных документов, что должно было принести им необычно крупный доход.

И в самом деле, оказалось, что ещё до приезда С.М. Воронцова они успели собрать таким образом 10 000 руб. только за написание просьб о выезде за рубеж. Задно князь выяснил, что сигналы о каких-то турках, агитировавших крымчан за массовый исход, дошедшие до Петербурга, фальшивы: «Каких-либо внешних подстрекательств к выселению не замечено», — докладывал он в Петербург (там же. С. 440). Это была обычная практика имперских чиновников на местах, искавших своей прибыли. Такую «утечку» информации в колонизованных Россией регионах сознательно допускали «местные чиновники и писари... и которая часто искажалась (целенаправленно запущенными. — В.В.) слухами, чтобы в большей степени совпадать с ожиданиями» этих кровопийц (*Верм*, 2005. С. 56).

Кроме того, им были отмечены и некоторые побочные причины к эмиграции, о которых он также счёл нужным доложить: «Татары в значительном большинстве не имеют собственной земли; они живут десятинщиками на землях помещичьих и казённых, отдаваемых в аренду, и терпят большие притеснения, в особенности от арендаторов казённых земель». В связи со всем вышеупомянутым С.М. Воронцова не должно было удивить, что «...в некоторых местах татары полагают даже, что правительство само желает их ухода наподобие 1861 года» (ук. соч. С. 440, 441, 442).

С.М. Воронцов, как мог, разьяснял крымцам истинное положение вещей, и ему удалось в какой-то мере успокоить народ. Сложнее всего было в Феодосийском уезде, сёлах Туак, Ускут и других, где прошениям о выезде уже был дан ход и нужно было добиваться их возврата. Князь обещал, кроме того, от имени верховного командования добиваться создания особых крымских мусульманских частей типа лейб-гвардейского крымскотатарского эскадрона, где даже форма будет близка к национальной одежде, а воинов постоянно, в праздники и будни, будет сопровождать мусульманское духовенство.

Как позже писал генерал-адъютант Д.А. Милютин, действительно «имелось в виду установить для них такие облегчения, которые соответствовали бы их образу жизни и понятиям», о чём, кстати и Александр II, находясь в Ливадии, лично объявил «представителям татарского населения Крыма... и на первое время предполагал образовать отдельный эскадрон в пределах Крымского полуострова с тем, чтобы они имели полную возможность исполнять все правила их веры и сохранять образ жизни, соответственный их религиозным требованиям. При этом имелось в виду даже форму обмундирования эскадрона применить к национальной их одежде» (*Мартьянов*, 1887. С. 2).

Миссия С.М. Воронцова и прямое обращение царя к крымским татарам приостановили начавшуюся эмиграцию: император знали мало, но князю верили, хотя он выдавал (скорее всего, из лучших побуждений) желаемое за действительное. Впрочем, прибыв в Петербург, он, в самом деле, решил довести дело до конца и подал докладную (выдержки из неё цитировались выше), где указывал, кроме того, что для прекращения эмиграции необходимо, чтобы крымские чиновники прекратили запугивать татар. Князь указал далее, что если не принять немедленных мер, то массового исхода избежать не удастся: у татар настолько «бедственное положение... что выселение из пределов России представлялось их воображению делом, могущим только улучшить положение» (цит. по: *Мартьянов*, 1887. С. 2).

Далее, князь предлагал Александру:

- 1) отрезать степным татарам наделы из казенных земель в рассрочку;
- 2) провести ряд дорог, чтобы связать судакские деревни с Алуштой, Феодосией и Карасубазаром и сделать возможным вывоз винограда из горных районов;
- 3) возратить отобранные в 1838 г. у татар лесные «дачи» (то есть участки, изначально выделенные казной в пользование горным крестьянам);
- 4) рассмотреть накопившиеся жалобы на произвол земельных ведомств, посягающих на татарские участки и дома;
- 5) возобновить, в соответствии с законом, свободную выдачу паспортов паомникам наравне с подданными-христианами, и оставить управление вакуфами у мусульманских общин.

(Донесение С.М. Воронцова императору от 14 апреля 1874 г., цит. по ук. соч.).

Надо сказать, что Александр внешне отнёсся к предложениям С.М. Воронцова сочувственно, и даже дал тому ряд обещаний. Но хватило этого сочувствия на проведение в жизнь лишь одного, выше не упомянутого пункта этой программы, а именно насчёт крымцев, у которых были средства на то, чтобы явиться на призывной пункт с собственным конём. Таких счастливых, понятное дело, немногочисленных, направляли в мусульманский эскадрон<sup>1</sup>. Что же касается всех остальных обещаний, то они остались на бумаге. Не было исполнено даже самое простое из них — об исключении из рациона солдат-мусульман свинины и возможности совершения намазов, для чего было бы вполне достаточно завести в смешанных частях отдельный, крымскотатарский котёл. Не менее важным было требование соблюдения исламских обрядов при жизни и после смерти военнослужащих-мусульман<sup>2</sup>. Но и в 1905 г. татары обращались с такой просьбой к самому Председателю совета министров С.Ю. Витте (Терджиман, 29.03.1905), из чего видно, что проблема по-прежнему оставалась нерешённой. И. Гаспринский утверждал, что государство не имеет права вмешиваться столь беспардонным образом «в духовную и бытовую жизнь подчинённых народностей» (Терджиман. 05.04.1905), но обращения эти оставались тщетными и тогда и позднее...

Понятно, что купить коня и на свой счёт отправить сына в мусульманский батальон стоило недёшево, и столь зажиточные хозяева среди крымских татар были в абсолютном меньшинстве. Кроме того, уже изданный закон о воинской повинности и устав, никем не переведённые своевременно на крымскотатарский

<sup>1</sup> Пункт о религиозных свободах в армии был выполнен уже новым царём, да и то частично: Повелением Николая II от 20. 10. 1903 г. в войсках «для совершения гроб солдат-мусульман, а где их, духовников не имеется, назначались бы штатные муллы к частям войск» (цит. по: Терджиман. 15. 09. 1903). То есть, войсковые муллы дозволялись только в безвыходных ситуациях. Нормой это положение так и не стало, по крайней мере, на тот момент.

<sup>2</sup> Именно эта проблема продолжала оставаться самой актуальной и в первые годы XX в. Она побуждала крымскотатарскую молодёжь не только уклоняться от исполнения воинской повинности, но и эмигрировать вместе со своими семьями. Так, сваторийский воинский исправник докладывал в мае 1901 г. Таврическому губернатору, что причиной бегства татар за рубеж служит «отсылка новобранцев в полки, находящиеся в России, где их кормят свиным мясом и умерших хоронят как собак, бросая в ямы без религиозных обрядов за неимением там магометанского духовенства» (цит по: *Сейдаметов*, 2006. С. 44).

язык, также служили источником недоразумений. Так, среди крымского населения ещё в 1874 г. разошлись слухи о том, что в армию будут забирать всех 20-летних парней для несения двадцатилетней же службы. Люди не могли себе представить, кто в таком случае будет ухаживать за стариками, попросту зарабатывать для них хлеб насущный. К этим рассуждениям прибавилась ещё одна, специфически «степная» проблема. Если горные татары имели кое-какие наделы, то основная масса степняков жила десятинщиками на землях помещиков и казны, это были самые горькие бедняки, которые знали одно: служба в армии окончательно подорвёт их хозяйство, попросту убьёт стариков, а эмиграция таит какие-то неведомые возможности, и уж во всяком случае в Турции хуже не будет, так как хуже уже некуда...

Поэтому прекратившаяся было эмиграция вновь возросла: началось повальное бегство семей, в которых были рекруты. До конца 1874 г. бежало за рубеж 500 человек с семьями, притом без паспортов, незаконно, на турецких фелюгах, отходивших по ночам из Евпатории, Судака, Севастополя и Гурзуфа. И поток этот продолжался месяц за месяцем, его не смогло остановить даже исполнение осенью 1874 г. обещания об учреждении крымскотатарского эскадрона (150 человек на своих конях — капля в море!). Этот исход приобрёл и новые черты: если раньше за море уходили, в основном, степняки и горцы, то теперь снялись южнобережные крымцы, причём сотнями семей, главным образом из Гурзуфа, Кизилташа, Капсихора, Туака и Ускута.

Береговая полиция пыталась пресечь нелегальный выезд, в ночных беглецов стреляли, уже были смертные случаи (Вольфсон, 1940. С. 195), но отчаявшихся людей ничто не могло остановить. Далее, в отличие от степной глубинки Южный берег был на виду как у российских «курортников» (от скорых на руку публицистов до светской элиты), так и иностранцев. Поэтому очередное бегство из империи практически моментально получило нелицеприятное отражение в западной прессе, что было болезненно воспринято царским двором и близкими к нему кругами (Williams, 2001. P. 185). Новая эмиграционная волна улеглась лишь в 1875 г., да и то поневоле: началась очередная война с Турцией и свобода передвижения по морю была ликвидирована.

Но до этого десятки тысяч мусульман успели выехать, тем более, что им «повезло»: государство предоставило беженцам возможность отправиться за море на пароходах. Впрочем, дело здесь было не в крымских татарах, а в совпавшей по времени волне черкесского переселения. Эти жители Прикубанья стали жертвой планомерной агитации (ею руководил генерал Кондохов) с целью освободить плодородные долины для заселения их русскими. При этом многие десятки тысяч черкесов должны были как можно быстрее оставить пределы своей бывшей родины. С этой целью их направили через Тамань в крымские порты, главным образом Феодосию, откуда как черкесов, так и татар должны были вывозить современные пароходы.

Однако моряки при всём желании не могли справиться с огромными толпами беженцев, запрудившими порт осенью 1874 г. К тому же какому-то чиновнику пришла в голову мысль пропускать всех выезжающих через карантин, что ещё более замедляло отток людской массы. Вскоре у людей стали кончатся деньги, попытки продать бедную одежду были бесполезны. А когда наступила зима, то между

переселенцами, для которых никто не подготовил даже элементарных баракаров, начались болезни (оспа, тиф), обморожения и т. д. Утверждают, что в страшную зиму 1874–1875 гг. на феодосийских улицах погибло 75 % населения (Озенбашилы, 2005. VIII. С. 7). Возможно, именно в эти зимние месяцы был сложен ещё один «Дестан о Кефе» (Kefe destani), отрывок из перевода которого здесь приводим:

Несмотря на дождь и ветер,	Сомкнув навсегда усталые веки,
Погнала нас судьба на чужбину.	Умирали взрослые, дети
Карантин месяцами людей косил,	Кровь горячая в жилах застыла,
Гибли люди, продав последнее.	Народ погиб в когтях карантина.

(Цит. по ук. соч. С. 7)

Но пароходы всё же доставляли оставшихся в живых до турецких портов. Худшая судьба постигла тех, кто, не выдержав пытки карантинном, тайком пробирался на турецкие фелюги, многие из которых берега не достигли — что, впрочем, было обычным явлением и в прошлую великую эмиграцию...

#### в) Судьба новых эмигрантов

В ходе очередной войны с Турцией военных действий в самом Крыму не было. Тем не менее даже те, что велись за морем, повлияли на положение крымчан довольно заметно. Выше уже упоминалось о судьбе добруджинских крымскотатарских эмигрантов, которые бежали от войны к Стамбулу и далее в Анатолию. Теперь эти две переселенческие волны крымцев схлестнулись на берегах Босфора, что не облегчало положение ни одной из них. Именно в конце 1870-х гг., уже после заключения мира, пользуясь послевоенной сумятицей, в частности, кампанией обмена пленными (по взаимной договорённости о свободном отпуске их), в Турцию нелегально бежало неустановленное количество крымских татар призывного возраста под видом пленных турок. Этим потоком занялся имперский Департамент полиции. В 1878 г. в Крым выехали его эмиссары, но слишком поздно. Каждый, кто действительно хотел, уже успел воспользоваться этим, на краткое время открывшимся, выходом на волю (РГИА, Ф. 1286. Оп. 39. Д. 133. Л. 6).

В связи с новой эмиграцией (она шла практически непрерывно и позднее, хотя после 1893 г. наблюдался некоторый спад, вызванный решением сохранить Крымский дивизион) в Крыму активизировался процесс перехода земли от крымских татар к русским, немцам, армянам. В то же время ухудшилось положение безземельных крымцев. Раньше для них было проблемой найти незанятый участок и договориться об его аренде. Теперь, в последние годы XIX в. возросла арендная плата, причём настолько<sup>1</sup>, что никакая, даже самая напряжённая работа на снятых участках, более себя не окупала. И снова исподволь началась агитация

<sup>1</sup> Арендная плата за десятину в год (руб.)

	1889 г.	1899 г.
Перекопский уезд	1,5	4,9
Феодосийский уезд	1,9	8,6
Евпаторийский уезд	0,9	3,6
Симферопольский уезд	2,3	7,1

(Шербаков, 1940. С. 13)

со стороны чиновников за эмиграцию, и не без успеха: в 1895—1897 гг. поднялась её новая волна. Пока не выяснены точные цифры этой демографической драмы. Однако, судя по официальным документам, она была весьма значительной. Достаточно сказать, что в начале 1890-х гг. под угрозой оказалась вся экономика Крыма, опиравшаяся, как и раньше, прежде всего на татарские трудовые руки.

Здесь имеется в виду тот факт, что во время последнего всплеска эмиграции XIX в., отмеченного в 1893 г., Таврический губернатор был крайне обеспокоен тем, что не только степные уезды (как в 1860-х гг.), но и предгорные и даже горные могут остаться без рабочих рук и очутиться в полном запустении. Поэтому он направил в Петербург, в императорскую Канцелярию, довольно панический «Всеподданнейший отчёт за 1893 г. о стремлении, принявшем большие размеры, переселения в Турцию татар Бахчисарая, Симферопольского и Евпаторийского уездов» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Кн. 5115. Л. 797—822). Документ довольно красноречивый и убедительный, но не повлекший за собой, насколько известно, никаких последствий: в Крыму всё осталось по-прежнему.

Своего пика переселение достигло несколько позже, на рубеже веков, когда в Крыму стало известно о создании так называемой Противомусульманской лиги России. Говорили, что цель этой организации — насильственное обращение всех татар в православие. Не спасла положение и публикация об истинных задачах этого, в самом деле, необычного союза (КВ, 1901. № 95); ей просто не поверили, скорее она подлила масла в огонь. Кроме того, тогда же Крым облетела весть о том, что бывший российский консул в Санторине полковник Анастасиев, осевший на постоянное место жительства в Евпатории, ходатайствует в Петербурге о «передаче здания Хан-Джами православному населению для устройства храма» (РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 508. Л. 11—11об.). К счастью, прошение это было благоразумно отклонено, но слух о нём успел ещё более обострить конфликтную ситуацию.

Очередная эта эмиграция отличалась от предыдущих тем, что если ранее крымские татары, собираясь за море, догадывались, что там жизнь будет нелёгкой, то теперь, с оживлением почтовой переписки и участвовавшей реэмиграцией, сведения об отчаянно тяжёлой судьбе беглецов в Турции стали совершенно точными и достоверными. Возвращенцы из-за моря рассказывали, что, к примеру, на местах расселения их в Месопотамии «им была отведена только земля. Им не дали ни [сельскохозяйственных] орудий, ни скота, ни помешений. Они стали голодать и принуждены были вернуться на родину» (Тавричанин. 14.01.1906). Далее, о том же писал Терджиман, а стихотворения С.А. Озенбашлы, где этот поэт касался темы эмиграции, были настолько убедительны, что оказали прямое влияние на массовый исход его земляков — поток беженцев, как выясняется, вскоре уменьшился, причём заметно (Керимов, 1999. С. 5)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В том же направлении работал издававшийся в Карасубазаре в начале 1900-х гг. А. Медневым *Ватан хадими*. И эта газета, и Терджиман последовательно пытались снизить уровень крымскотатарской эмиграции. Работа эта велась ими практически поодиночке. Она была не только самоотверженной, но и тяжёлой. Ведь им противостоял весь административный аппарат, нескрываясь заинтересованный в росте эмиграции. Уже в 1902 г. губернатор новороссийский доносит: «Считаю невозможным и даже бесполезным удерживать насильно татар в подданстве русском и в пределах империи, я в то же время признавал бы весьма желательным приобретение оставленных ими земель в русские руки.

Другими словами, трагедию пытались предотвратить или хотя бы смягчить те, кто в силу своего образования и положения мог знать, какие мрачные перспективы ожидают переселенцев. Это были главным образом крымские татары. Из русских их единомышленников можно назвать всего нескольких человек — на многомиллионное население империи. Да и те были, в основном, газетчиками, не обладавшими и подобием реальной власти. А административные структуры империи не делали в этом направлении ничего, чтобы хотя бы замедлить исход за море. Для этого не требовалось даже проводить какие-то дорогостоящие реформы. Достаточно было успокоить страсти, связанные с оскорбительными армейскими порядками, да попросту продемонстрировать, пусть даже на словах, свою заинтересованность в крымскотатарских подданных или, по меньшей мере, своё равнодушие к проблеме эмиграции. Как признавал в своём докладе от 08.09.1875 г. директор департамента Касоговский: «Ход дела указывает, что всякий раз, когда правительство заявляло своё требование о прекращении переселения, оно, если не прекращалось немедленно, то заметно ослаблялось; так было в 1784 году, после указаний, хоть и ошибочных, генерала И.А. Игельстрома, в 1804 году после указа генералу [А.Г.] Розенбергу, и в 1861 году после командировки князя [В.И.] Васильчикова» (цит. по: *Озенбашлы*, 1926 «а». С. 101).

Ситуация усложнялась тем, что, единожды решившись на выезд, семья уже не могла вернуться в случае смертной нужды назад в Крым — об этом гласил один из пунктов паспортного регламента 1902 г., где было «положено не препятствовать желающим оставить Россию, однако с обязательством обратно не являться». Это было вопиющим нарушением национального равноправия, неоднократно торжественно провозглашавшегося на территории империи. Получалось, что подданный любой национальности, в том числе иностранец, в том числе турок, мог беспрепятственно приехать на постоянное жительство в Крым. Татарин же, даже натурализовавшийся за морем, то есть ставший таким же турецкоподданным, этого права лишался навсегда, только потому, что речь шла о возвращении на историческую родину (Терджиман. 21.10.1902; 03.11.1902), совершенно аналогично советским положениям о спецпереселенцах Крыма на протяжении десятилетий после депортации...

Напомним, что ещё с эпохи Уложения царя Алексея Михайловича (1649 г.) всем, желающим по собственной надобности выехать за границу, повелевалось «...бить челом Государю в Москве, а в городах — воеводам о проезжей грамоте, и без неё не ездить» (Уложение, гл. VI «О проезжих грамотах в иные государства»). При этом само собой разумелось, что выезд этот временный, то есть, самого переселения в другую страну (собственно, эмиграции) не предусматривалось. В последовавшие века положение ни в чём, по сравнению с этими средневековыми обычаями, не изменилось. Российское законодательство, как и в доимперские времена, не предполагало бессрочного нахождения царских подданных за рубежом и не определяло нормальный порядок выхода из русского подданства.

Для лучшего осуществления сего было бы крайне желательным, чтобы Крымский банк оповестил через государственное посредство местное татарское население о желании своем покупать земли и при этом объявил свою цену. Я убежден, что этим будет сделан действительный шаг к дальнейшей колонизации Крыма...» (цит. по: *Шербаков*, 1940. С. 43).

Поэтому согласно более современному закону «Уложения о наказаниях» (ст. 325) сам выход из имперского состояния считался преступлением («нарушение верноподданнического долга и присяги») и наказывался лишением всех прав, состояния и вечным изгнанием (подр. см. в: *Тудоряну*, 2000. С. 10–11).

Другое дело, что в Крыму на эту статью ранее смотрели сквозь пальцы, в общем-то понимая, что крымские татары были связаны тысячами нитей с «ближним зарубежьем», ведь на румелийском и анатолийском побережье проживала масса родственников и друзей, эмигрировавших с исторической родины. Да и на сезонные заработки ездили как крымцы в Турцию, так и турки — в Крым. Теперь эта практика стала ущемляться, и чем дальше, тем жёстче. Наконец, император, христианнейший и даже канонизированный позднее во святые Николай II впервые в истории Крыма лично запретил возвращаться на полуостров коренным его жителям, раз уж они его покинули! Если же они всё же возвращались на свой страх и риск, то дальше карантинных завшивленных барачников их не пускали — это ведь не турки были, а исконные крымцы, они ведь завтра снова в очередь на землю стать могут! «Они уволены из русского подданства и выпущены из России без права возврата по Высочайшему повелению... Теперь эти несчастные могут быть вновь водворены в Крым только по Высочайшей милости, иначе им грозит принудительное выселение в ту же Турцию», — писала крымская пресса тех лет (Терджиман. 29.12.1903)<sup>1</sup>. Этот запрет стал подлинной катастрофой для народа, он послужил непосредственной причиной множества человеческих трагедий.

После первых случаев самоуправства репатриантов в Симферополе (люди приходили в отчаяние, узнав, что им придётся возвращаться на пустынные плоскогорья Анатолии ещё более обнищавшими) практика насильственной депортации за рубеж была неофициально приостановлена. В прессе появились сообщения о первых «невозвращениях из Крыма»: в 1905 г. большие семьи Силивата Шемшидина-оглы и Курт-Бекира Курт-Бегина-оглы из Демерджи были оставлены на родине в покое (Тавричанин. 14.01.1905). Но затем насильственное возвращение в Турцию возобновилось.

Таким образом, для тех, кто, эмигрируя, не хотел сжигать за собой мосты, оставался один выход: брать временный выездной паспорт, якобы для свидания с родственниками. Но и этот путь был крайне ограничен: к турецкому консулу выстраивались многотысячные очереди, а работали чиновники никак не быстрее современных сотрудников ОВИРа... Поэтому, когда очередной эмигрантский транспорт достигал Золотого Рога, то встречавшие на пристани своих земляков первым делом спрашивали: «Вы каторжники или поселенцы?». Первое означало

<sup>1</sup> Несколько опережая события, отметим, что и через десяток лет, непосредственно в преддверии Первой мировой, когда уже пора было сплотиться для нового напряжения сил, такого понимания нужд своих подданных царь не проявил. Когда Земское собрание Таврической губернии подало в 1913 г. «Всеподданнейшее ходатайство о разрешении обратного принятия в подданные России эмигрантов-татар», оно было отклонено. Причём 02.10.1914 г. это решение лично утвердил Николай II (РГИА, Ф. 1276. Оп. 17. Д. 230. Журн. ст. 1345). Это была прямая дискриминация крымских татар по сравнению с христианскими эмигрантами, которые даже при утрате паспорта получали «свидетельство о возвращении в Россию», стоившее впятеро дешевле выездных документов, то есть всего 3–4 рубля (*Тудоряну*, 2000. С. 55).

катеорию беженцев без права возврата, второе — наличие в кармане приглашения на родственный визит. Заметим, что такая «поездка в гости» стоила денег, и немалых: от 15 рублей с человека за пребывание в Турции в течение полугодия на 1900 г. такса поднялась в последующие года до 25–75 рублей в полугодие — деньги по тем временам огромные. Оттого и бросали крымские татары свои временные выездные паспорта в море, зная, что всё равно таких денег они никогда отдать не смогут (*Тудоряну*, 2000. С. 12–13, 55).

Понятно, что положение «каторжников» было самым тяжёлым, так как турецкие власти могли делать с ними всё, что угодно, не опасаясь никаких жалоб или расследований насилия над этими бесправными бедняками. Бахчисараец Максум-аджи Халил прислал своему родственнику, известному мастеру Селиму-уста письмо из Стамбула, где сообщал, что всех, кто прибыл в столицу, «гонят в Азию», то есть на бескрайние пустынные анатолийские плоскогорья, там оставляя «без всякой помощи, [живите] как хотите. На просьбу отвести землю местное начальство спрашивает приёмные свидетельства на переселение. У кого такого нет, задаётся холодный вопрос — „разве вас из России гонят, а сюда кто-то зовёт?“ Эмигранты среди степи устраивают шалаши из рваных войлоков, одеял и прочего хлама...» (Терджиман. 14.03.1903). Картина, знакомая до боли.

О тяжести жизни в Турции тех лет кроме писем и рассказов возвращенцев свидетельствовала армия безработных турок-сезонников (то есть прибывавших дополнительно к постоянно живущим в Крыму подданным султана). Эти оборванные, голодные люди брались за любую работу, так как на родине не было вообще никакой! (Терджиман. 15.09.1903). И тем не менее исход крымских татар продолжался, в основном из степной части, больше всего из Евпаторийского уезда, причём уезжали не только бедняки, помиравшие голодной смертью, но и люди далеко не самые нищие. Почему, зададим себе вопрос? Как отвечали сами татары. «С сухими горят и сырые дрова... уходили и уходят частью и такие татары, которые сравнительно обеспечены. Тут, несомненно, играют роль родственные связи с уходящими...» (Терджиман. 15.10.1901).

В то же время встречались отдельные группы крымских татар, совершенно несклонные к эмиграции. Это, прежде всего, горцы, которые, как и в былые века, оставались в родных деревнях до последнего. Жили они, конечно, бедно, но их мелкие участки, сбор лесных плодов с орехами не давали умереть с голоду. Но и некоторые степняки, имевшие достаточное имущество, никуда не уходили. Такими же «усидчивыми» оказывались степные муллы, которых и царская, и затем большевистская историография и публицистика дружно выставляли как злоумышленных националистов-руссофобов, пастырей, увозящих многочисленную стада верующих за собой, в единоверную Турцию. Оказывается, и в самых растревоженных исходом уездах «прочно сидели помещики-мурзы, помещики-челебии и помещики-вакфоседы, то есть муллы-духовники, вовсе не тяготея к турецкой стороне». Очевидно же было, что эмиграцию «питает недоля, лишения, необеспеченность, а не воля [то есть настроения, связанные] с антипатиями и симпатиями... Грачи и те имеют свои гнёзда, а мы не имеем, говорят эти бедняки» (Терджиман. 15.10.1901; 15.12.1901).

А темпы эмиграции тем временем только росли. Согласно официальному отчёту, предназначенному для императора, только в течение 8 месяцев 1902–

1903 г. из губернии убыло за рубеж 12768 человек. При этом деревенские уголья были проданы за бесценок — в среднем по 11 руб. десятина. Так полностью, до последнего бедняцкого чайра ушла земля деревень Биюк-Янкой (8000 дес), Черлаклы, Тобень-Эли и Карда-Эли (1388 дес), Аян (1116 дес), Азен (500 дес), Чукурча (300 дес) и так далее. (РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95. Л. 271).

Отчитываясь за 1903 г. другой губернатор Таврии, Трёпов, сообщал: «Татарское переселение возникло в 1903 г. с прежней силой и вскоре достигло громадных размеров: с каждым пароходным рейсом отправлялось до 600—800 человек татар... В отчёте за 1902 г. я указывал, что с родного гнезда татар гонит бедность, доходившая порой до нищеты... Удобным моментом воспользовалась бессовестная земельная спекуляция. Не гнушаясь никакими приёмами, вплоть до подстрекательства к переселению, она начала буквально расхищать земли переселенцев. Я предложил записку Министру финансов правильно организовать покупку освобождённых земель, чтобы этим путём создать необходимый земельный фонд для устройства малоземельных крестьян и прекратить ограбление уходящих татар. К сожалению, записка эта... не имела никаких результатов... Ни одна десятина земли от выселившихся в Турцию татар не приобретена Правительством и не послужила для разрешения наболевшей проблемы здешнего землепользования: устройства малоземельных крестьян» (РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95. Л. 253 об.—254).

Некоторые местные чиновники попытались было бить тревогу по поводу продолжавшегося массового бегства за рубеж, но их одернули сверху: в эмиграции были заинтересованы влиятельные слои общества, которые этого и не скрывали (Шербаков, 1940. С. 43). Что же изменилось с 1873 г., когда власти ещё удерживали татар? Судя по всему, дело было, главным образом, в упомянутом втроекратном увеличении населения Крыма за 30 лет. Теперь на полях и в садах уже хватало рабочих рук, надобность в татарском крестьянине отпала, исчезновение подобного «балласта» с крымской земли было бы для российских колонизаторов только желательным... К счастью, вскоре темпы эмиграции несколько замедлились. Этому было несколько причин: просветительная деятельность патриотически настроенной татарской интеллигенции, распространение либеральных и демократических идей, слухи о скорой раздаче земель крестьянам и, наконец, глубокие сдвиги во всей общественно-политической ситуации в Крыму, которые история связывает с событиями 1905 г.

Выше говорилось о том, что многие журналисты последних десятилетий XIX в. пропагандировали такой выход из грозившей тотальной эмиграции<sup>1</sup>, как расселение их на вакуфных землях (К, 12—15—17.06.1888; А. Р-ъ, 1887. II; Путник, 1903 и др.). Действительно, этот выход использовался, но крайне незначительно — из десятков тысяч обезземеленных семей вакуфной пашней пользовалось только 860 (К, 12—15—17.06.1888). И, с точки зрения меньшего зла, конечно, стоило бы предпочесть именно такой выход: в выборе между задачей (возможно, временной) вакуфной земли и полной эмиграцией народа, навсегда уходившего за море, конечно, предпочтительнее был бы первый вариант.

<sup>1</sup> «Нынешняя татарская эмиграция в Турцию есть как бы только начало предстоящего великого переселения татар в обетованные земли...» (Путник, 1903).

Но в том-то и дело, что в этом не был заинтересован никто:

— ни Духовное мусульманское управление, не желавшее терять своё, если говорить прямо, достояние;

— ни казна, откровенно и целеустремлённо переводившая через Вакуфную комиссию крымскотатарскую землю в казну или раздававшая её переселенцам-христианам;

— ни даже сами крымские татары, до последнего надеявшиеся на исполнение царских (ещё екатерининских и более поздних) обещаний, не смевшие посягать на вакуфы, основанные их предками и во многом ради святой этой цели себе отказывавшие...

Так закончилась последняя из Великих эмиграций крымских татар XVIII—XX вв. (исход за рубеж на завершающей фазе Второй мировой войны был многократно меньшим). По некоторым подсчётам только на территории бывшей Оттоманской империи оказалось в общей сложности свыше миллиона коренных крымцев, не считая почти четверти миллиона заперекопских ногайцев (Williams, 2001. P. 228; Brandes, Sundhausen, 2010. S. 445). В настоящее время это число возросло по естественным причинам до 5—7 миллионов.

Таким образом судьба крымского народа оказалась совершенно уникальной: этнических крымских татар за рубежом живёт не в десятки, а в сотни раз больше, чем на исторической родине.

#### д) Нарастание крымскотатарского освободительного движения

Перед тем, как приступить к этой теме, стоит вспомнить слова старого писателя, немало время прожившего в Крыму и прекрасно ознакомившегося с психологией коренных жителей полуострова конца XIX столетия. Этот русский человек глубоко сочувствовал крымцам, даже тем, кто не осмеливался на вооружённое сопротивление насильникам: «Как бы то ни было, татарин не может... забыть, что он жил в этих лесах и владел этими степями и долинами сотни лет, никем не стесняемый и не оспариваемый, не может забыть, что вдруг пришёл к нему казак (то есть русский. — В.В.), прогнал его хана, забрал его земли и сады, понастроил в его городах и сёлах свои деревни... он твёрдо знает одно, что у вас ничего не было, и вдруг почти всё очутилось, что у него в руках всё было, и не осталось почти ничего» (Марков, 1995. С. 304—305).

И, уже зная об отдельных взрывах протеста против законодательных нововведений, Е.Л. Марков продолжает, объективно становясь на сторону местного населения: «По-моему, надо ещё удивляться добродушию и кротости крымского татарина; уже в скольких местностях Крыма он сжилса со своим обидчиком — „казакон“, как со старым приятелем... А между тем раны татар очень свежи. Они, во всяком случае, свежее ирландских. Кто знаком сколько-нибудь по местным архивам и местным преданиям, с способом расселения в Крыму русских, греческих, немецких и всяких других владельцев, тот недоумевает, как могло так скоро улечься в душе татарина чувство мести...» (ук соч. С. 306).

Оно, действительно, улеглось. Более того, оно не проснулось даже тогда, когда российские власти, казалось, сделали всё, чтобы пробудить это законное для каждого колонизированного этноса чувство. Но пришёл момент, когда даже

многотерпеливый народ Крыма пробудился. Возникло совершенно неожиданное и нехарактерное для крымской колонии России стремление к свободе.

Очевидно, настало время определить этапы национально-освободительного демократического движения татар, шедшего с различной интенсивностью на протяжении всего колониального периода истории Крыма. Первый этап, начавшийся после аннексии их родины Россией и окончившийся приблизительно в 1880 г., характерен ярко выраженной стихийностью, переменчивостью и «сбивчивостью» целевых установок, отсутствием идеологического и политического центров и руководств в целом. Грубо говоря, крымские татары боролись, часто вразнобой, за выживание, иногда против разрушения колонизаторами их сложных и неоднородных традиций (в том числе идеологического характера). Впрочем, и последние входили в систему, единственно способную поддержать общество в условиях непрерывных ударов извне. Нужно сказать, что на этом этапе задачи национально-освободительного движения были ценой огромных жертв более или менее успешно решены. *Этнос выжил.*

На протяжении второго периода движения (1880–1905 гг.) его задачи безмерно усложнились. Теперь к антитатарским, то есть узко-конкретно направленным ударам добавились объективные социально-экономические процессы. Они были общими для всей России, но особенно болезненно сказывались на судьбах малых народов. Ранее крымские татары, отлаивая себе отчёт в том, что они являются подданными «белого царя», ощущали тем не менее свою особость, своё религиозное и этническое отличие от остальных народов империи. В 1880-х гг. эта самоидентификация впервые стала проблематичной. Границы между культурами сохранялись, но национально-культурные интересы чем дальше, тем чаще стали приходиться в противоречие с имперскими, централизованно утверждёнными и, что важнее всего, «установочными» ценностями. За 20 пореформенных лет резко возросла всеобщая мобильность россиян. В Крыму она всё более неотвратимо размывала систему традиционных ценностей коренного народа, его культурную самобытность<sup>1</sup>.

Параллельно стала расти, причём заметно, ценность такой важной культурной компоненты, как чужой (русский) язык, незнание которого не только радикально перечёркивало любую возможность социального и политического продвижения, но и отрицательно сказывалось на авторитете любого способного крымца даже в среде «своих» (национальной интеллигенции).

Далее, неизбежно нарушалась относительная изолированность крымскотатарских деревенских общин. С одной стороны, крестьяне всё чаще навевались в города, с другой — в сёлах стали появляться новые люди. Таким образом, социальная «разгерметизация» оборачивалась разрушением и этнокультурной зам-

<sup>1</sup> В специальной литературе отмечено три главные причины роста национального самосознания (национализма) малых народов России в XIX веке: «1) Сопrotивление традиционалистов, напуганных натиском современности; 2) Быстрый рост в урбанизирующихся обществах... новых и вполне нетрадиционных классов и сословий...; 3) Беспрецедентные миграции... диаспор разных народов, каждая из которых оставалась чуждой как местным жителям, так и прочим группам переселенцев, ибо не успела ещё выработать навыков сосуществования» (*Хобсбаум*, 1998. С. 173). В Крыму действовали, очевидно, лишь первый и третий факторы.

кнутости. Ускорился, стал близким к завершению новый процесс — разрушения не только крымскотатарского социума, но всего национального (локального) мира (*Вишневский*, 1998. С. 309).

Опыт Европы, уже миновавшей аналогичный кризис, заключался в создании интеграторов иного, пришедшего на смену этническому, типа. Возникали полиэтничные нации, в сплочении которых работал механизм межкультурного контакта, взаимоприятия и смешения. Подходил ли этот опыт Крыму? Вряд ли. Во-первых, поскольку в южнорусских условиях это был бы паллиатив, полумера, полная замена одного социального интегратора другим в принципе была здесь невозможна. Общность языка, народной и высокой культуры, конфессии не могли похода утратить своё значение. Напротив, когда опасность дезинтеграции угрожала всему народу, тут же стирались бывшие политические и социальные разделители. Взамен начинали активизироваться сближающие моменты, обусловленные языковой, фольклорной, традиционно-экологической и иной общности.

Нация же складывается там, где существует человек для государства, где превалирует суперэтническая общность и т. д., где человек готов влиться, жертвуя собственной архаичной традицией, в общий процесс дезэтнизации, нациообразования. Но такой готовности отнюдь не наблюдалось прежде всего у доминировавшего, титульного народа империи, у русских. Напротив, на смене XIX–XX вв. отмечено взрывное развитие великорусского шовинизма. К созиданию общероссийской нации было не готово самое прогрессивное («продвинутое» в масштабе империи) русское общество. Оно не достигло уровня, к примеру, датчан, добровольно и бесконфликтно признавших в эти годы равноправие колонизованных ими гренландских эскимосов.

В российских пределах такой выход был отрезан, и не по вине крымских татар. Русский человек, его «полусредневековое, корпоративное сознание не способно было принять идеи принадлежности самому себе» (*Вишневский*, 1998. С. 313), и ещё менее — признать это право за другими. Русская масса была не в состоянии постичь всеобщность нагрянувших перемены и приписывала их истоки (совершенно, причём, искренне) проiscaм Запада (в культурных верхах) или «жидов» (в почвенной толпе). Тут-то и всплыло, в который раз, православное манихейство, подведшее под перекрестье прищела «внутренних врагов». В Одессе, Харькове или Кишинёве это были евреи, в Крыму ими оказались ещё и татары.

Это была уже не та старая, почти идиллическая борьба с культурой или хозяйственными традициями местных нерусских, к которой инородцы успели как-то притерпеться. Теперь приходилось иметь дело с новым вызовом, новым ростом шовинистических всплесков, «сила которых оказалась превосходным двигателем толпообразующих масс и очень удачно подменила в роли национального центра старый националистический патриотизм» (*Ардт*, 1991. С. 312). Никогда ещё агрессивная политика Центра, направленная против инородцев, не велась столь последовательно и жёстко, как накануне взрыва национально-освободительного движения в России. И, естественно, проводники и сторонники этой политики по исторической тупости своей раскалывали то, что стремились спаять, сохранить, а именно — многонациональную империю. Их акции, жёсткие и бескомпромиссные, толкали инородцев к ответной радикализации их региональных программ, выбивали почву из-под ног у более умеренных либералов-федералистов,

не оставляя националам иного выхода, кроме бегства из империи куда глаза глядят. И ведь они были правы: как иначе можно было, при их-то бессилии, пресечь насилие «державников» и черносотенцев (подр. о них см. в след. очерке), сохранить этнокультурную самостоятельность, доступ к социальному прогрессу, традиционную свободу совести для всех, для своих и чужих?<sup>1</sup>

Православные миссионеры, казалось бы, по самой природе евангельского учения долженствовали смягчать межэтнические и межконфессиональные раздоры, на деле способствовали их обострению. Тем самым они не хуже черносотенцев достигали целей, прямо противоположных намеренным: язычники Средней Азии бежали от христианского насилия прямым ходом в ислам. Как отметил выдающийся историк права и философ Б.Н. Чичерин (1828–1904), «Мусульманские миссионеры и в 50 лет не могли бы так отатарить (то есть омусульманить. — В.В.) киргиз, как это сделали русские миссионеры в 15–20 лет» (цит. по: Штернберг, 1910, С. 543). Это верно не только в том смысле, что всякое действие неизбежно рождает противодействие. Дело было ещё и в том, что к рубежу веков, впервые с XVI в., мусульмане России стали всё теснее сближаться друг с другом. Сложилось не столько политическое, сколько духовное единство, когда любое нарушение религиозных прав казанцев тут же вызывало гневный протест крымчан и наоборот. При этом многократно увеличивались энергия, чуткость и бдительность всех тюрков России.

В годы, когда у крымских татар не было ещё своих политических организаций, их вполне заменяли стихийно возникавшие связи между руководителями локальных общин. Группы религиозных активистов, имевшиеся при каждой мечети или сельской джемаат, всё чаще сносились друг с другом, решая общие проблемы, сознавая, что лишь сообща, в сотрудничестве можно создать какую-то прочную линию обороны против давления извне. Они становились, таким образом, ферментом будущего национального освободительного брожения, а затем объединения. Конечно, вынужденная эта борьба за религиозную свободу и за сохранение духовной чистоты занимала много времени и энергии, отвлекала этнос от других, социально не менее важных проблем, сужала область приложения народной активности и таланта.

<sup>1</sup> Вторичность, «ответственность» зарождения радикальных течений и развития в исламском мире ранее несвойственных ему нетерпимости и самонезлояции (в том числе и в XX в.) отметил Карл Поппер в беседе с корреспондентом итальянской газеты «Стампа». Этот известный европейский философ подчеркнул: «...нужно отдавать себе отчёт в том, что исламский фундаментализм был спровоцирован не кем-нибудь, а нами. Он спровоцирован нашим поразительным невежеством в отношении ислама: кто помнит, что ислам сохранил для нас греческую цивилизацию, когда Запад скатился в пропасть варварства? Немногие помнят, как испанцы задушили ислам, когда его культура была несомненно выше нашей. Фундаментализм спровоцирован также нашей нарастающей тенденцией исказить смысл демократии, общества, которое я назвал „открытым“. Демократия не может быть безусловно открытой: быть демократичным — это не значит позволять [массе] всё, что угодно или постоянно подрывать основные законы нравственности... Мы у ислама можем позаимствовать идею о том, что нравственный релятивизм — один из самых губительных ядов для демократии, ибо демократия существует тогда, когда господствует закон, а закон основывается на этике, а не на вседозволенности» (цит. по: ЛГ, 20.05.1992).

Кто был в передовых рядах этих борцов? Конечно, общеизвестны два-три имени наиболее выдающихся, талантливых и преданных общему делу подвижников. Но они никогда не смогли бы достичь успеха в своей деятельности, если бы не опирались на десятки (отнюдь не сотни) безвестных, скромных тружеников на ниве народного просвещения. Сельские учителя и муллы, писари и старосты, плоть от плоти своего народа, ранее не имевшие надобности заниматься чем-то сверх своих обязанностей, с самого начала национально-освободительного движения стали просто неузнаваемы. Они принимаются (по целиком собственной инициативе) за разъяснение односельчанам смысла происходящего в большом мире и на родине. Говоря на истинно народном языке, что имело колоссальную важность (слушали только их!), они пробуждали в этнической массе симпатии к деятелям освободительного движения, к народным просветителям, облекая их авторитетом, в котором никто не мог уже усомниться.

Возникает закономерный вопрос: а откуда же эти сельские люди могли набраться столь современных идей, вообще стать сторонниками модернизаторской деятельности выдающихся просветителей крымскотатарского народа, почему они так резко отличались в своей исторической миссии от того же православного священства? Для понимания этой ситуации нужно вспомнить, что крымскотатарская интеллигенция, даже сельская и не слишком учёная, постоянно общалась со своими более просвещёнными собратьями из признанных авторитетов в области как фикха и сунны, так и проводниками вполне актуальных идей просветительства и либерализма новейшего времени. Эти посланцы Крыма, получившие образование в Стамбуле, а то и в Александрии или Каире, возвращались через несколько лет из-за рубежа, обременённые не только теоретическими познаниями. Они не могли не замечать новых веяний в турецкой общественной жизни (позже они выльются в младотурецкое движение)<sup>1</sup>, не могли не видеть, что английские колониальные власти в Египте, не на словах, а на деле предоставляя своим подопечным демократические свободы, добились впечатляющих результатов — в первую очередь для самих мусульман. Здесь свободно высказывались и в открытых диспутах кристаллизовались новые идеи, которым, возможно, было суждено изменить мусульманский мир, вернув его к идеалам классического периода.

Конечно, эти идеи доходили до сельских вероучителей в ослабленном и отчасти искажённом виде, иначе и быть не могло. Но общий смысл новизны, общая модернизаторская мысль ухватывались, что называется с лёту — бывают периоды, когда идеи носятся в воздухе, когда для постижения их достаточно намёка, не более. Народ созрел для их восприятия — и в крымскотатарском селе пошёл неспешный и незримый процесс взаимовлияния, духовного самосовершенствования (так один спелый помидор «заражает» своей зрелостью десяток зелёных соседей из той же корзины). Этот процесс никем не направлялся, он был полностью

<sup>1</sup> Младотурками в Европе называли сторонников и членов турецкой организации «Единение и прогресс» (осн. 1889 г.), которая готовила силовую ликвидацию султанского единовластия и других феодальных пережитков Османской империи, тормозивших движение державы по европейскому типу развития. В 1908 г. они стали инициаторами и руководителями получившей их имя Младотурецкой революции, направленной против султана Абдул-Хамида II, который и был ими низложен в 1909 г. Младотурки находились у власти до конца Первой мировой войны, после чего их партия самоликвидировалась.



аморфен, но когда настала пора кристаллизации, то она стала неудержимой. Очевидно, первым признаком перемен именно в указанном направлении стало стихийное, но удивительно всеобщее сопротивление рекрутированию. Впрочем, зарубежные исследователи считают, и не без оснований, что это движение было не столько национально-освободительным, сколько «необычным, до сего времени неизвестным вариантом джихада» (Islam, 1996. S. 283).

Далее, как ни трудно в это поверить, но в 1905 г. впервые, и без какой-то репетиции или напряжённой агитационной работы (если не считать нескольких статей в *Терджимане*, с его весьма и весьма ограниченным тиражом) мусульмане России дружно и организовано собрались на общий съезд, призванный решить, ни много ни мало, дальнейшую судьбу десятков народов. Представителем Крыма на этом съезде был Исмаил Гаспринский (см. ниже), он привёз с собой требования и предложения, актуальные именно для его родины, его народа. То же самое можно было сказать и об остальных участниках этого необычного съезда. Однако разногласия не возникло: слишком велико было желание создать конструктивную программу, способную решить наиболее острые общие проблемы<sup>1</sup>.

Понятно, что эти проблемы выходили далеко за собственно конфессиональные рамки, не ограничивались ими. Логично было бы ожидать от итогового документа, подготовленного как-никак религиозными лидерами, требований возрождения более или менее архаичной старины, но этого не произошло. Мусульманский союз предлагал и требовал полного равноправия всех народов империи, в частности, «отмены всех изъятий и ограничений, которые установлены в отношении мусульман действующими узаконениями, правительственными распоряжениями и административной практикой и полного уравнивания мусульман с населением русского государства во всех правах политических, гражданских и религиозных». Что же касается свободы культурно-духовного самовыражения мусульман, то и здесь съезд не ограничился общими формулами автономности, но выдвинул вполне современную программу демократизации духовной жизни государства.

Правда, в текст документа было внесено требование сохранить родовую организацию в быту некоторых народов России, но объяснялось это тем, что опыт такого устройства гарантировал оптимальные формы общечеловеческого сотрудничества и солидарности. В то же время предлагалось внести в традиционные родовые статуты усовершенствования, подсказанные эпохой, а именно полностью ликвидировать элементы сословного неравноправия («привилегии аристократизма») и ввести всеобщее избирательное право без различия пола и состояния, принцип выборности администрации, передать

<sup>1</sup> В качестве примера можно привести проблему родного языка. Компактно проживавшие буряты предложили на съезде внести в программу требование единого языка на культурной территории каждого народа империи. Татары же, проживавшие в лингвистически более дисперсных условиях, ограничивались предложением лишь обязательного школьного преподавания на родном языке. В результате дискуссии было принято решение, имевшее первоочередной смысл в проблеме культурного самоопределения и повышения роли этничности. Предполагалось возрождение национальных языков, их совершенствование до уровня инструментального средства европейского просвещения, а также включение в школьные программы всех тех культурных приобретений, что обогатили каждый язык в процессе его исторического народного развития.

школьно-просветительские институты в руки национального самоуправления, независимого от имперских властных структур. Земельный вопрос предлагалось решать традиционным путём, проверенным вековым опытом: возрождением и сохранением родового владения всеми хозяйственными площадями, единственно гарантирующего справедливое распределение земли, эту основу социальной солидарности (ук. соч. С. 567). Нетрудно увидеть, что в этом пункте программа ставила во главу угла не только экономически актуальные принципы, но и такую исконную исламскую ценность, как солидаризм, противопоставлявшийся плоской уравнительности социализма, уже тогда вошедшей в политическую моду.

Одно из центральных по значению мест занял 5-й пункт программы, где делался упор на всестороннее развитие автономных, независимых от официального Министерства просвещения, культурно-национальных организаций. Естественно, их деятельность была бы невозможной без политической поддержки, поэтому съезд принял резолюцию: «Для успешного решения всех намеченных целей, на местах образуются свои *меджлисы*, руководимые периодическими съездами мусульман» (*Штернберг*, 1910. С. 559). В дальнейшем этот термин, «меджлис», остался в ряде мусульманских регионов формально без употребления, но фактически сама идея культурного самоуправления и народного представительства стала осуществляться в десятках иных форм (местные съезды учителей, мулл, представителей городских маалле и так далее). Такого рода представительные собрания и стали выдвигать в дальнейшем своих депутатов на новые всероссийские Мусульманские съезды.

Это было совершенно новое явление в политической и культурной жизни страны: национальный подъём оказался настолько захватывающим, что люди, казалось, забыли о партийных расприх, классовых платформах, идеологических разногласиях. Всё подчинилось одной идее: национального освобождения. Общее духовное возрождение стало первоочередной задачей; она объединила народы, имевшие не только схожие, но и совершенно отличные культурные традиции (ведь каждое племя прошло свой, уникальный путь исторического развития); их объединила только религия и её утеснение в царской империи, но этого оказалось более чем достаточно для будущей совместной борьбы, совместного созидания новых сущностей.

В целом, как видно из приведённого материала, все эти требования совпадали с программными установками российских левых партий. Оттого и политические симпатии мусульманских «инородцев» на съезде явно клонились в сторону таких партий — знаменательное явление, в дальнейшем развившееся и принесшее весьма неожиданные плоды. Именно эти симпатии обусловили, между прочим, неприятие программы Мусульманского съезда в правых кругах, по причине собственной реакционности, элементарных опасений имперских санкций, сроднённости с державной бюрократией и так далее, занимавших объективно антинациональную позицию. К сожалению, к ним относились многие представители высших и средних кругов мусульманских вероучителей Крыма, живших на казённом жалованье да на доходах от пока оставленных им казной вакуфов. С ними солидаризовалось и значительное число крымскотатарских муфти.

Напротив, малообеспеченные крымскотатарские интеллигенты полностью одобрили программу Мусульманского союза. Самая их многочисленная прослойка,

преподаватели начальной и средней школы, создали в 1906 г. свой Союз учителей. Эта профессиональная вывеска, конечно, далеко не соответствовала реальному содержанию и целям новой организации. Во-первых, она объединила под своим зонтиком далеко не только учителей Крыма. В качестве единственной национальной культурно-политической организации крымских татар, она привлекала все демократические элементы народа, разворачивая собственными силами всё национально-освободительное движение того раннего этапа. Учителей в Союзе было, конечно, большинство, но, как будет показано ниже, это были не только преподаватели, но и реформаторы всей общественной жизни своего народа, его просветители, обновившие духовную и культурную жизнь татарского Крыма. Союз учителей не только выдвигал своих депутатов во 2-й и 3-й Мусульманские съезды, но и собственного представителя во Вторую государственную думу. Кстати, именно Мусульманский союз, сообщив поступательное движение самосознанию народов, создал мощную и весьма многочисленную фракцию в первых двух думах. В Третьей, реакционной и шовинистической думе она уменьшилась численно, но в целом сохранила своё значение выразительницы воли многомиллионного мусульманства империи.

Многосторонняя деятельность учительских союзов мусульман не была остановлена и периодом реакции, наступившей в год разгона Второй думы. Именно в те нелёгкие для общественных движений дни была создана всероссийская Федерация национальных и территориальных союзов учителей, принявшая в свои ряды и других тружеников народного просвещения. Естественно, одной из самых активных делегаций на учредительном съезде Федерации (24–25 апреля 1907 г.) была крымскотатарская. Атмосфера этого собрания весьма напоминала ситуацию Мусульманских съездов: то же различие требований и интересов, то же единство и воля к сотрудничеству на этапе выработки итогового документа. Так, на упомянутом съезде было поставлено немало полезных и перспективных задач, но хотелось бы подчеркнуть то, чего не было (иногда это тоже полезно отметить). А не было здесь никакого намёка на *сепаратизм*, на стремление даже в перспективе далёкого будущего выйти из состава Российской империи. Правда, имперские, большевистские и другие великорусские политики в дальнейшем всячески игнорировали этот примечательный факт, он был невыгоден для интриганов, постоянно выдававших естественное стремление народов к самоидентификации за желание развалить державное здание...

На деле же делегаты, будучи реалистами, прекрасно понимали, что в тогдашней ситуации добиться намеченных целей можно только в союзе со всеми народами России, на 99 % относившихся к угнетённым, дискриминируемым, подвергавшимся культурному и политическому насилию. Об этом, в частности, говорилось в пунктах 1 и 3 программы Мусульманского союза: «необходимо и своевременно сближение мусульман всех областей России на почве общенационально-культурных и политических запросов и задач современной русской жизни»; в достижении и осуществлении этих задач прогрессивная часть мусульман, разделяя идеалы передового русского общества, действует в смысле установления в стране правового порядка на началах участия «свободно избираемых народных представителей в законодательстве и управлении государством» (Цит. по: Штернберг, 1910. С. 566).

Возникает естественный вопрос: а какие действия предпринимали участники крымскотатарского (и мусульманского в целом) национально-освободительного движения помимо съездов и выборов? Здесь стоит напомнить, что оценивать активность (или пассивность) мусульманских политиков следует лишь делая поправку на исламскую *катеорию порядка*. Для тюркских и близких им политиков начала XX века не существовало альтернативы чисто правового решения самых горящих проблем, для них полностью исключалась идея крестьянской войны, в которую вольно или невольно оказалась втянутой значительная часть населения империи в 1902–1922 гг. Поэтому набор методов борьбы у мусульман был куда более ограничен, чем у великорусских их современников. Это были: петиции, депутатии в Центр по различным важным поводам, телеграммы протеста в Думу и правительство, ходатайства за обиженных и так далее. И ещё был отмечен великий энтузиазм крымскотатарских участников выборов в Думу, когда они настолько единодушно голосовали за эсеров, что создавалось (как и в наши дни) впечатление какой-то фантастической «национальной дисциплины».

Ещё одна черта крымскотатарского национально-освободительного движения: самокритичность, умение трезво смотреть в глаза реальности. Особенно заметны были эти качества в культурной программе движения. Его лидеры признавали, что родной язык колоссально отстал от цивилизационного развития Европы и Востока, что он находится в застойном состоянии. Книжное дело почти стопроцентно ограничивалось изданием религиозной литературы, светская печать держалась практически на жизненном подвиге незаменимого Исмаила Гаспринского. «Всё, что создала культура и наука за последние века, было почти чуждо этой письменности, ибо письменность была только конфессиональная, а в светской язык был запрещён. Предстояла гигантская задача — перескочить за века омертвения и влить в старые языковые организации новое содержание, новые идеи, новые формы, новые слова... Интеллигенция была в состоянии полной русификации... на первом съезде крымских учителей дебаты велись на русском языке... Поэтому дебатировались вопросы об алфавите, орфографии, терминологии, реформе преподавания» (Штернберг, 1910. С. 572–573).

Реакция 1907 г. и последующих лет нанесла ощутимый удар всему мусульманскому движению в России, хотя была она направлена в основном на всех ивородцев империи. Многие тюркские (сибирские) народности даже утратили право на думское представительство. Но это были уже «догоняющие» удары. Психика мусульман всего за 3–4 года начала XX века успела измениться настолько, что вернуть её в первобытное состояние оказалось невозможным. Люди ощутили себя правовыми личностями — пусть даже только в перспективе. Они обрели новые, актуальные идеалы и стали на путь возрождения интеллекта традиционно высочайшего уровня. Они уверовали в себя, в плодотворность национальной культурной самостоятельности. Начался процесс светского литературного творчества на родном языке, и в дальнейшем его ни разу уже не удавалось остановить, как этого ни хотелось северным «ликвидаторам». Настроения пессимизма, подавленности и разочарования, характерные для русской интеллигенции начала века, практически не затронули крымских

и иных мусульманских современников «эпохи декаданса». Они, скорее всего, просто ещё не успели устать, оттого и сохраняли жизнелюбие и юную энергию, смотрели в грядущее молодыми глазами.

Итак, этот период был отмечен упорными исканиями множившейся крымскотатарской интеллигенцией своего пути, освящённого единой для всего народа идеей. Такая идея, зародившаяся в Крыму, а не в соседнем центре мусульманства — Турции, связана тем не менее с историей младотурецкого движения. Младотурки боролись против монархии в лице султана, против халифата, иных пережитков, что отчасти стояло и на пути крымских татар, было актуально и в Крыму. Получив идейный толчок со стороны российских мусульман, турки, к их чести, вскоре настолько развили «северные» идеи, что стали в состоянии оказывать и обратное воздействие, прежде всего в области политической и культурологической теории. Так, уже в 1908 г. председатель Бахчисарайской городской управы Сулейман-мурза Крымтаев по собственной инициативе собрал в этом городе делегатский съезд, «убедив его принять резолюцию с призывом следовать младотурецкой революции» (Зарубин, 2003. С. 55). Под сильным влиянием Стамбула (где многие крымские интеллигенты получали образование, а некоторые участвовали и в революционной борьбе) развивалось *младотатарское движение*. Именно оно сыграло выдающуюся роль в истории турецкой национально-освободительной демократической борьбы.

Была у младотатар и положительная, конструктивная программа, в которой наибольшее внимание уделялось освобождению крестьянского труда, возрождению национальной крымскотатарской культуры и необходимому для этого условию — всеобщему просвещению народа. Нужно отметить, что в деле просвещения национальных масс младотатары пионерами отнюдь не были; их задача облегчалась тем, что строили они не на пустом месте, и об этом нельзя забывать. Наиболее реалистично мыслявшие деятели светской общетатарской культуры довольно рано, ещё в середине XIX в., осознали ту объективную пользу, что может принести духовному подъёму нации обогащение её достижениями великой русской культуры. Первым, самым необходимым шагом к культурному обмену было издание словарей и пособий по изучению русского языка, и они были составлены Абдурахманом Крым-Хаваджой и Абдурефи Боданинским, их начали печатать в Крыму начиная с 1850 г.

Первые светские просветители крымскотатарского народа не ставили себе задачей национальное или социальное освобождение населения Крыма, чего нельзя сказать о следующем, младотатарском поколении. Переходный этап между этими двумя волнами общественного движения отразился в деятельности крупного просветителя демократической формации Асана Нури, человека, энциклопедически образованного, полиглота, близко знакомого с культурой ряда восточных и европейских стран. Преемственность поколений крымских просветителей можно проиллюстрировать на примере семьи Боданинских. На смену Абдурефи, филологу и представителю «чистого» просвещения, пришли его сыновья — младотатарин, затем член РСДРП Али (он погиб в самом начале Гражданской войны) и Усеин, деятель крымской культуры новой формации, историк, художник и этнограф, ряд трудов которого увидел свет уже при советской власти.

## 5. Крымские татары в Русско-японской войне 1904–1905 гг.

Каких-либо признаков поддержки освободительного движения крымскотатарской интеллигенции снизу, со стороны народа, было незаметно даже в условиях начавшейся в России в 1902 г. крестьянской войны. Некоторое брожение в крымской деревне отмечено только с началом другой войны, Русско-японской. Накануне военных действий, поздней осенью 1904 г. срочно было мобилизовано 900 человек татар-запасных. Потом такие кампании неоднократно повторялись, хотя точное число крымскотатарских участников войны неизвестно. С началом манчжурского конфликта<sup>1</sup> появились первые жертвы, но на родину об этом в течение нескольких месяцев ничего не сообщалось, вероятно, из-за боязни волнений.

Лишение крымской деревни основной рабочей силы посредством мобилизации военного времени сопровождалось общим ухудшением экономического положения крестьян, оставшихся дома. Росли цены на предметы первой необходимости, что было, среди прочего, вызвано увеличившейся массой вывоза с территории полуострова зерна и других местных продуктов сельского хозяйства. При этом плата за батрацкий труд оставалась прежней, довоенной (Гелис, 1925. С. 7; Камшицкий, 1925. С. 141). Рост цен сказался и на положении городского населения, в том числе крымской интеллигенции, среди которой пораженческие настроения были заметны уже осенью 1904 г. (Гелис, 1925. С. 11). В некоторых татарских деревнях и сёлах были отмечены волнения, которые советские историки связывали именно с мобилизацией, как и вспышку эмиграции, в основном в Турцию и по той же причине (Урановский, 1925. С. 75). Хотя здесь же высказывается иная причина — ужасающие нехватка земли и обнищание местных крестьян: на 1226 мало-земельных теперь приходилось 3000 полностью безземельных татар.

Зададим себе вопрос, могли ли крымские татары быть настроены по отношению к войне иначе, чем резко отрицательно? Обзор прессы тех лет показывает, что патриотическая пропаганда была обращена целиком и полностью на православное

<sup>1</sup> В 1896 г. был заключён российско-китайский оборонительный договор, согласно которому Китай разрешал России провести Транссибирскую магистраль к Владивостоку через территорию Северной Манчжурии, что значительно сокращало трассу. При этом Петербург гарантировал суверенную неприкосновенность этой китайской провинции. Однако, едва подписав договор, Россия тут же стала его нарушать, введя в Манчжурию многочисленные полицейские силы и военные соединения, а также основав в Харбине военную базу, якобы независимую от российского военного министерства. Когда же разгорелось китайское восстание «боксёров» (1900), то в Манчжурию были посланы дополнительные воинские контингенты. Кроме того ещё в 1898 г. Россия завладела на основе долгосрочной аренды военно-морской базой Люйшунь (Порт-Артур) на северо-западе Китая, где с тех пор базировалась мощная российская эскадра. Эти шаги вели к столкновению с соседней Японией, в особенности после того, как в 1902 г. военный министр А.Н. Куропаткин призвал к наступательным действиям, утверждая, что если Россия не аннексирует Манчжурию, то ей придётся уйти из этого региона (Пайнс, 1994. Т. I. С. 23–24). Япония, имевшая свои интересы на Дальнем Востоке, предложила России разграничить сферы влияния, согласившись на дальнейший рост российского присутствия в Манчжурии в обмен на признание японских интересов в Корее. Российская сторона не пошла на переговоры, после чего началась Русско-японская война (нападение японских кораблей на Порт-Артур в начале 1904 г.).



Российский патриотический плакат  
начала Русско-японской войны

население империи. Что же касается иноверцев, то она не находила и не могла найти отклика среди групп, религиозные и национальные чувства которых слишком давно и часто оскорблялись именно православной администрацией. В отличие от значительной массы великороссов, веривших в «доброту царя», сама идея жертвенного служения престолу была среди нерусского населения малопопулярной: «...идея защиты царя не вызвала большого сочувствия у солдат, поскольку в мирной жизни они сталкивались с бюрократической машиной и ненавидели чиновников. Царь же им представлялся одним из чиновников, к тому же лично ничем не рискующим» (Жукова, 2005. С. 267).

Что же касается конкретно крымскотатарских воинов, то упомянутая пропаганда была для них и для их оставшихся дома родственников бесспорно оскорбительной. В патриотических публикациях военный противник, японцы, ассоциировался с сибирскими предками крымских татар: о японцах писали, что они — «татары», что они «как монголо-татары представляют угрозу вашей семье» (Жукова, 2005. С. 260–261). И если многочисленные сектанты или, например, католики просто не сочувствовали идее защиты православия от «жёлтой опасности», то на мусульман-тюрков такая пропаганда могла оказывать действие, прямо противоположное задуманному. Возможно, это была одна из причин стихийных митингов осени 1904 г., в которых участвовали отправлявшиеся на фронт крымские солдаты, клявшиеся вернуться домой при первой же возможности (Гелис, 1925. С. 11).

А тут ещё с фронта начали возвращаться первые искалеченные ратники. Вернулся уволенный в чистую алуштинец Абибулла Паук из Козловского полка, а от его земляка Биляла Балджиева, считавшегося убитым, неожиданно

пришло письмо: оказалось, он находится в японском плену, где с ним «обрабатываются хорошо». Бахчисараец же, рядовой Эмир Усеин Асан был ранен, но стал уже унтер-офицером. Эти известия о земляках-воинах становились сенсацией всекрымского масштаба, о каждом ранении или повышении писала пресса (Терджиман. 07.12.1904; 14.12.1904; 28.12.1904 и т. д.). Потом, когда число раненых и убитых стало измеряться многими десятками, газеты утратили интерес к отдельным лицам. Речь пошла о целых выбитых ротах и батальонах, о потопленных кораблях, об окружениях и срачах. И, конечно, о реакции на смерти близких в неведомой Манчжурии оставшихся после них семей, где погибшие были единственными кормильцами. Армия, терпевшая тяжёлые поражения от прекрасно подготовленного и убеждённого в своей правоте противника, казавшегося неуязвимым, разлагалась. В окопах и на кораблях всё чаще возникал панический вопрос: не «из-за чего идёт война», а «с кем воюем?». «Объяснить это не брался никто. Офицеры сами не знали» (Жукова, 2005. С. 268).

Крымская деревня, куда приходили письма с фронта, глухо волновалась. И впервые за последний век в народной песне прозвучали ноты, в антицарском, антиимперском значении которых трудно было усомниться:

Кечти баар, кельди кузь	Прошла весна, настала осень
Агъламакътан шишти козь	От слёз вспухли глаза
Порт-Артургъя кетемиз	Мы уходим в Порт-Артур
Сиз сагълыкнен къалыңыз	Прощайте, будьте здоровы.



Японский патриотический плакат «Победа в Манчжурии»

Фильджан толу сувмыдыр,	Водою ли наполнена чаша?
Япон ёлу бумыдыр?	Эта ли дорога в Японию?
Аман, аман, падишаим,	Плох, плох, царь ты наш,
Этеджегин бумыдыр!	Вот что ты нам приподнёс!

(*Порт-Артур*, слова народные. Цит. по: *Шерфединов*, 1979. С. 30–31).

Нужно отметить, что крымские татары не были одиноки в неприятии агрессивной политики царского правительства, приведшей к многочисленным жертвам. И в России известия с восточного фронта вызывали негодование. Так, известие о поражении при Цусиме (май 1905 г.) усугубило политическую напряжённость в крупнейших городах. В том же месяце Петербургская дума проголосовала за политические реформы, ей последовала и Московская дума. При этом думцы пошли гораздо дальше крымской общественности, проголосовав за созыв всероссийского представительного органа, который мог бы заняться такими реформами. Как утверждал один из депутатов, ректор Московского университета князь Сергей Трубецкой, военные поражения возбуждали разговоры об измене в самых верхах. Николай II был вынужден уступить общественности: появился проект созыва новой демократической всероссийской Государственной думы («Булыгинской» — по имени министра внутренних дел А.Г. Булыгина), а также наметились подходы к разработке новой конституции.

Конечно, голос крымских татар на фоне этого всероссийского политического подъёма был слаб, но нельзя отрицать и того, что он также был услышан в общем требовании немедленных перемен, вызванном трагическими последствиями Русско-японской войны.

Но был, кажется, и другой результат этой бесславной войны. Поражение царской империи означало не только начало её распада, что общеизвестно. Оно стало точкой отсчёта и для разлома грандиозного полукольца христианских держав, которое сковывало свободное волеизъявление мусульманских народов. На западном крыле его такой колониальной державой была Англия, на востоке — Россия и та же Великобритания (в Индии), а в центре — Австрия и славянские Балканы. Все они совместно (а чаще по отдельности) держали «в тисках народы Передней и Центральной Азии, Северной Африки и Юго-востока России» (*Фирдевс*, 1925 «а». С. 24–25).

Дело было даже не в том, что после многовекового перерыва восточный народ победил одну из самых могучих «белых» держав. Эта победа могла пробудить и национальное самосознание крымских мусульман, которое толкало их «в сторону разрешения своих национальных проблем путём восстания и отделения от России». Однако, продолжает первый крымскотатарский большевик И. Фирдевс, в Крыму этот процесс задержался «благодаря слабости сил, малой организованности и наличию ещё в руках русской монархии больших вооружённых сил» (Там же). Позднее, не без оснований замечает автор, одним из тормозов сепаратистскому движению стала революция 1905 г., с чем трудно согласиться. Ни у культурного лидера нации И. Гаспринского, ни у большинства его последователей, ни тем более у массы крымскотатарского народа таких настроений не было по причине полной бесперспективности в смысле их осуществления.

А что было — так это увлечение идеями социал-революционеров (эсеров), поскольку лишь они выдвигали вполне чёткую и ясную программу разрешения крымскотатарского земельного вопроса, самого жгучего в те годы. К тому же эсеры были партией всероссийской, и программа их основывалась не на сепаратизме отдельных, в том числе малых, народов, а на их объединении в совместной борьбе за общие цели. Поражение России в войне, продемонстрировавшее упадок и слабость государственного аппарата, давало надежду на победу во внутренней политике империи, но соединёнными силами. Отсюда и пророс план объединения (а не разделения!) многонациональных народных трудящихся масс в борьбе с державным колониализмом.

Далеко не случайно именно в эти месяцы в Крыму возник организационный центр такого направления политической борьбы крымскотатарского народа, газета *Ватан Хадими*, совершенно эсеровского направления. Очевидно, прав И. Фирдевс, утверждавший, что именно её редакторы, её пропаганда свернули крымскотатарских активистов с сепаратистского направления их политики на традиционный путь крымской интеллигенции, некоторых вместе с Россией, но в русле своей культуры (*Фирдевс*, 1925 «а». С. 25–26).

## VIII. ВРЕМЯ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ И ПОГРОМОВ

Когда добрый человек проповедует ложное учение, оно становится истинным.

Когда недобрый человек проповедует истинное учение, оно становится ложным.

*Древнекитайское изречение*

Как известно, П.А. Столыпин считал, что успех его преобразований во многом зависит от того, насколько быстро пойдёт увеличение прослойки культурных сельских хозяев. То есть крестьян, способных грамотно и рационально (имеется в виду, беспокоясь больше о чистом выходе продукта, чем о соблюдении устарелых традиций и обычаев) интенсифицировать производство. Не менее важное значение придавал министр-реформатор и «чистоте» вымывания из сельскохозяйственной сферы малоспособного к рациональной и интенсивной деятельности элемента — это дало бы крепким хозяевам дополнительные земельные площади. Премьер понимал, что открывшаяся в 1902 г. полоса разрозненных волнений в деревне — не простая сумма случайно совпавших во времени мелких мятежей, происходящих «от баловства», а назревшая, и уже начавшаяся крестьянская война, которая вполне была способна захватить полукрестьянский российский город и конец которой был чреват совершенно чудовищными потрясениями.

Насколько соответствовала столыпинской системе, его планам крымская деревня, ее основное население? Вопрос весьма сложный, специально еще не изученный, поэтому автор ограничивается здесь самыми общими наблюдениями. Рассмотрим прежде всего такую важную сторону проблемы, как перемены в культурно-экономическом облике села за десятилетие, предшествовавшее реформе.

### 1. Рост культурной изоляции крымских татар

О состоянии мало интенсивной и «отсталой» с точки зрения европейской экономики крымскотатарской системы землепользования во второй половине XIX в. уже говорилось. Добавим лишь, что российское законодательство последних десятилетий века, стремясь «просветить» крымцев, принесло более вреда, чем

пользы. Масса новых законов, регламентирующих экономическую жизнь Крыма, отчуждение частных и вакуфных имуществ, открытие и закрытие школ для крымскотатарской молодежи — вся эта ежечасно менявшаяся система духовного и экономического прессинга не могла не отталкивать население от русских нововведений в целом даже тогда, когда они были ему чем-то объективно полезны! В частности, речь идет о тех возможностях заимствований более развитой культуры русских, о которой Энгельс говорил в письме Маркуе от 23 мая 1851 г.: «...несмотря на всю мерзость и славянскую грязь, господство России играет цивилизирующую роль для Чёрного, Каспийского морей и Центральной Азии, для башкир и татар». Впрочем, это типичная точка зрения европейца, высокомерного и психологически ограниченного уже в силу своей принадлежности к доминирующей, с его точки зрения, цивилизации.

Для крымскотатарского же общества это была культура поработителей, и она отвергалась уже потому, что, по словам советского историка, «политика царизма взрастила в широких массах татарского населения особо острую ненависть к русским и стремление к национальной независимости» (Бочагов, 1932, С. 11). Мы не можем согласиться с утверждением о «ненависти к русским»<sup>1</sup>. Это была скорее ненависть к их режиму, ненависть к тому, что несли с собой переселенцы с Севера, к тому, что русские упрямо навязывали коренному народу. И ни один крымский татарин, очевидно, не был в силах, не мог заставить себя полюбить колонизаторскую политику и культуру. «Таракташский татарин, как и татары многих других первобытных (то есть сохранивших старые традиции. — В.В.) татарских сельбищ, ещё не вполне растленных цивилизацией почтовых дорог, действительно, не любит в русском своего грабителя» (Марков, 1995, С. 304).

Поставим вопрос по-другому: а был ли крымский татарин и в начале XX века способен любить кого-либо, кроме своих близких, кроме своих соотечественников? Для ответа на него не нужны статистические выкладки или сотни примеров, достаточно одного. Например, отношения крымских татар

<sup>1</sup> Речь идёт, конечно, не о сельской местности — там чем меньше было перемен, тем здоровее было общество. Хуже приходилось крымскотатарской части городского населения, оказавшегося в стрессовой ситуации, вызванной коренным образом изменившимися реалиями быта, из которых главной проблемой являлась общая антисанитария, о которой уже говорилось. В результате городские крымцы чаще русских заболели, причём традиционная народная медицина нередко оказывалась бессильной перед «новыми» недугами, а русским врачам они не доверяли. Поэтому в 1911–1913 гг., когда численность симферопольских татар достигла 12,3 % горожан, смертность среди мусульман поднялась до 27,8 % от всех умерших от туберкулёза и «болезней органов дыхания». В тот же период больше половины женщин, умерших в городе от родильной горячки, составляло татарское меньшинство (Ривкин, 1914, С. 72).

<sup>2</sup> Впрочем, для людей середины XIX в., лучше нас знавших положение татар в тогдашнем Крыму, картина представлялась именно такой. Даже славянофил И.С. Аксаков, говоря о крымских татарах, не мог не признать, что «Россия является для них страшным лицом, страной холода, неволи, солдатства, полицейщины, казённости и крепостного права, расстилающегося над Россией свинцовою тучей, пугает их невыносимо» (цит. по: Поляков В. Старый русский // ГК, 28.01.2005). Какие же чувства, кроме ненависти, такая страна, с таким режимом, могла вызывать?



Алупкинские жители в начале XIX в.  
Фото В. Сокогнона. Из колл. автора

Алупкинские торговцы фруктами.  
Открытка начала XX в. Из собрания издательства  
«Тезис»



к тоже соседнему, но относившемуся к крымцам по-человечески, народу — к туркам. Ещё в XIX в., когда в Турции оказалось множество крымских татар, соплеменники, оставшиеся на родине, изредка навещали их. Впоследствии эти поездки приобрели экономический интерес: за морем иниматели относились к крымцам лучше, чем в России, и расплачивались честнее. Поэтому с каждым десятилетием всё больше крымских татар отправлялись к азиатским берегам на сезонную работу, заводили среди турок знакомых и приятелей. Было и обратное движение, и турецкие фелюги приходили в Крым в недели путины, и турецкие рыбаки общались с местным населением, посещали их праздники, ходили в их мечети.

«Когда убран виноград, пусто становится в [Отузской] долине... Тогда приезжают из Трапезунда, с малоазийского берега, турецкие баркасы, приезжает 300, 400, 500 человек ловить рыбу в отузском море; они поселяются в землянках, выстроенных на берегу, и тогда начинается совсем особая зимняя отузская жизнь. Тянутся в Феодосию мажары с камбалой, осетрами, огромными белугами, а по пятницам сотни людей, молчаливых турецких людей, идут через долину в отузские мечети» (Елпатьевский. С. 72–73).

Но это были простые рыбаки, часто неграмотные и уж конечно, никакие не носители высокой культуры Средиземноморья. Поэтому для приобщения к мировой цивилизации для крымского народа оставался практически один путь, а именно — через посредство русской культуры. Но поскольку великороссы успели уже сделать всё, чтобы оттолкнуть от себя крымских татар, то это отторжение автоматически включило в себя и ни в чём не повинную высокую русскую культуру. Причём, чем яростнее навязывались коренным жителям нормы чуждой морали и непонятные культурные ценности, тем упорнее они отторгались, — явление в психологии давно известное (контрреугтестия). И дело было

даже не в невысоком уровне переселенческой русской культуры, а в том, что она из конкурирующей быстро превратилась здесь, в Крыму, в насильственно и тупо подавляющую.

Вот и получилось так, что органически её не принимая, открытое ранее крымскотатарское общество входило с годами во все более глухую самоизоляцию. Причем тем большую, чем большим становилось культурное давление извне. И чем выше поднимался процент славянских переселенцев, тем более явно крымскотатарское население осознавало себя бесправным меньшинством. Причём эта убеждённость возникала и сохранялась отнюдь не на пустом месте. В первое десятилетие XX в. дискриминация крымскотатарского народа не только не ослабела по сравнению с накатом реакции и шовинизма 1860–90-х гг., но стала ещё более откровенной.

В 1905 г. И. Гаспринский отмечал в своей газете, что в отличие от православного и иудаистского духовенства, крымскотатарских мулл и хатипов забривают в солдаты: им не полагалось обычного для европейской практики освобождения от воинской службы. Группа верующих мусульман, желавших построить мечеть, должна была обращаться за разрешением в местное епархиальное управление, то есть к иноверцам, и от православного архиерея целиком зависело, позволять ли строительство нового храма или нет. Мусульманские юноши имели право учиться в высших учебных заведениях империи, но при этом им не полагалось стипендий и иных пособий, которыми обеспечивались их православные однокашники. Да и после окончания университета мусульманин не имел права преподавать не только историю или другие «идеологические» школьные дисциплины, но и математику, древние языки, географию и т. д. (Терджиман. 08.04.1905; 12.04.1905)<sup>1</sup>.

Снова со всей остротой возродилась проблема хаджжа для мусульман империи. Уже в середине 1870-х гг. посол России в Стамбуле Н.П. Игнатъев публично выступил с выводами об огромной, всевозрастающей опасности для государства, происходящей от хаджжа. И он был не одинок, тогда многие политики и публицисты писали об этих таинственных путешественниках, создавая в последние десятилетия века групповой портрет паломников в Мекку, всё более напоминавший образ опасного врага, пока эти выступления не были в 1896 г. обошны Яровым-Равским, одним из чиновников Министерства внутренних дел, который сделал ряд убийственных для будущего российского хаджжа вывод. Он писал, что во время своего длительного паломничества мусульмане набираются вредных для духовного климата России идей и возвращаются на родину

<sup>1</sup> Это было явным нарушением Манифеста 1783 г., которым Россия обязывалась «свято и неколебимо содержать коренное Крымское население наравне с природными русскими подданными...». Таврический губернатор в своём *Отчёте* за 1884 г., предназначенном императору, не без основания обратил внимание Александра III на то, что из нового, 1876 г. издания, Свода законов эти гарантии крымским татарам изъяты, чем «причиняется вредное замешательство в понимании различными ведомствами... прав местного населения» (РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95. Л. 9). Всеподданнейший отчёт — не место для пустых предположений, и губернатор знал, что писал. Очевидно, нарушая дух и букву старых заверений, власти сознательно использовали указанную лауну в Своде законов Российской империи.



Последняя летняя юрта крымской степи. Фото. Из: Karayandi, 2006

подготовленными к распространению духа экстремального исламизма. Причём эти-то паломники-хаджи и становятся особенно авторитетными среди членов своих общин. Свобода пересекать границы делает их потенциальными агентами Османской державы. Автор не сомневался в том, что хадж с точки зрения государства пагубен и оттого нежелателен как бесспорное и едва ли терпимое зло (Материалы, 1898. Т. V. С. 21).

Культурное развитие основной части этноса оказалось, как это часто бывает при дискриминации и духовной изоляции народа, в полосе застоя. И просветительская деятельность национальной интеллигенции выливалась в самообслуживание культурных городских прослоек населения, не достигая наиболее нуждавшихся в просвещении жителей деревни. Именно поэтому уже в 1880-х гг. ситуация стала настолько очевидной, что мимо не могла пройти и русская пресса: «Общественная и умственная изолированность мусульман, глубочайшее невежество, мёртвая неподвижность во всех сферах их деятельности, постепенное обеднение населения и... гибельная эмиграция» (Таврида, 1881. № 43) — вот картина, бросающаяся в глаза современнику. И если, по словам того же журналиста, давно уже «дышали Европой» такие центры мусульманства, как Стамбул, Дамаск, Смирна, Каир, то Бахчисарай оставался по сути тем же, чем он был во времена «Ивана Грозного, Ермака и Чабан-Гирея, с затхлой атмосферой неподвижности застоя».

О том, что это такое, мусульманский (или восточный) «застой», говорилось в своём месте. Здесь же обратимся, забыв о теории, к здравому человеческому смыслу, который, подавляя самые косные из черт национальной психологии, вроде необоснованной вражды к чужакам, и столь же необоснованного стремления к самовозвышению, пробивая тупую стену неприятия чужой культуры,

делает возможным усвоение всего истинно человеческого, гуманного и современного.

В Крыму конца XIX — начала XX вв., несмотря на упоминавшуюся «неподвижность застоя», именно русские (а вкуче с ними и иные пришельцы) уже начинали понемногу воспринимать традиции и культуру крымских татар, а не наоборот. Об этом сохранилось множество свидетельств, особенно по степной части полуострова, ведь в городах местные обычаи были давно подавлены. На эту тему писали наиболее наблюдательные из путешественников и этнографов этого периода, в том числе и русские.

В первую очередь их внимание привлекал такой факт, что переселенцы старались строить свои жилища в более или менее близком соответствии с крымско-татарскими канонами, вполне основательно считая, что лучшего для этих мест всё равно ничего придумать невозможно. Такое подражание даже в мелочах, не имевших отношение к прочности дома, но отвечавших эстетическим понятиям о красоте, крымскотатарским вкусам, носило знаковый характер. Это было заметно лучше всего в местах, относительно изолированных, куда уже проник великорусский элемент, но ещё не подавил местную культуру и природу. В местах, подобных Отузам начала XX века.

Здесь переселенческие дома были «выстроены по-старому, по древне-крымскому: беленькие, уютные, низенькие, одноэтажные или на татарский манер двухэтажные с террасами, верандами, увитые виноградом, окружённые грушами, тополями и орехами. Все под черепицей и, кажется, нет ни одной железной крыши в Отузской долине. Давний крымский уклад в беленьких домах, затерявшихся в зелёных виноградниках, давние манеры жизни, и нравы и обычаи... не немцы, армяне и русские вносят свою культуру в Отузы, а они сами подчиняются отузской культуре... Немцы и болгары могут не говорить и не понимать по-русски, но все говорят и по крайней мере понимают по-татарски. И лавочники-армяне, и рассыпанные по долине садовники и сторожа, хотя бы и приехавшие из какой-нибудь Курской или Орловской губернии, говорят и понимают по-татарски...

Я спрашиваю почтенного старика-татарина из Отуз, моего близкого знакомого, правда ли, что у них в деревне русские сильно пьют; он удивился и ответил:

— Нет, русские у нас не пьют.

— Как же, я слышал, что в канавах пьяные валяются?

Он был очень удивлён и долго думал, сомнительно качая головой, и потом оживлённо выговорил:

— Да это кацапы!

И добавил:

— Русские наш обычай приняли.

Весь обычай... И не только те, которые разумеются здесь русскими из Киевщины и Полтавщины, но и „кацапы“, когда обживаются, принимают отузскую манеру жизни. Бросают чай, переходят к кофе, отказываются от шей и гречневой каши и приемлют катыки и „помадоры“, и каурму, и масаку, и чебуреки, и все бесконечные манеры отузского использования барашка. Приемлют давно выра-

<sup>1</sup> *Кацапами* в Крыму ещё в 1950-х называли новоприезжих русских, сезонных рабочих и т. п., особенно тех, которые не успели избавиться от диалектов своей старой родины.



ботанное татарское обычное право, — в пользовании водой в рыбацких артелях, в соседских деревенских конфликтах. И если пьют, то переходят от водки к вину, от которого медленнее и труднее переходят в канаву.

И татары вносят известную долю мягкости и ласки в Отузскую долину. Они деликатные, с чудесными восточными манерами, воспитанные. Воспитанные древней мусульманской культурой, тем совершенно особым чувством собственного достоинства, которое воспитало старое, искони демократическое мусульманство» (Елпатьевский. С. 74, 76–78).

Крым по-прежнему *приводил людей в порядок!* Конечно, лишь в чудом сохранившихся полях сплошного обитания коренного народа, а не в Симферополе и не в бывшем Ахтиаре-Севастополе — теперь уже типичных имперских городах. К сожалению, со временем эти светлые поля медленно, но неуклонно сокращались, а провалы между ними становились всё шире.

А пока «приведение в порядок» счастливо продолжалось. Сворачиваясь абсолютно без какого-то морального насилия, оно шло *легко*, отчасти благодаря особенностям культуры переселенцев с севера (русских) или юга (греков). Старый русский этнограф, столкнувшись с этим явлением, дал ему следующее объяснение: «Главной причиной того, [что происходило подчинение одних обычаев другим, местным], несомненно, являются сами русские, чьё низкое культурное развитие не позволило передать *крепкие задатки культуры* так же, как это делали немецкие, французские и английские переселенцы» (Пытин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1892. Т. 4. С. 432).

Итак, именно в этом направлении шёл процесс перемен в результате *свободной* конкуренции двух культур, что, как говорилось выше, в Крыму наблюдалось в считанных местах. И в целом даже к поре известных событий и перемен 1905 г. общекультурный облик крымскотатарского народа изменился лишь в сфере хозяйствования, да в продуктивности крестьянской экономики кое-какие сдвиги произошли, в позитивную сторону<sup>1</sup>. Но, конечно же, даже относительно немногочисленные собственные крымскотатарские хозяйства экономически оставались далеко позади крепких усадеб или имений русских предпринимателей-переселенцев, пользовавшихся наёмной рабочей силой. И это не говоря уже о фермах, расположенных в черте немецких колоний. Да ещё произошёл невидный, но для зорких исследователей показательный сдвиг в экономической (только ли?) специфике региона. С 1887 по 1916 г. при общем увеличении числа хозяйств на 93 % количество *овец* сократилось вдвое, а вот число *свиней* возросло вчетверо (Ден, 1930. С. 47). Что бы это значило, большевистский аналитик не разъяснил, а жаль...

<sup>1</sup> Здесь и далее речь идёт о местах преимущественно компактного расселения коренного народа. Там, где крымские татары оставались в меньшинстве, да ещё и рассеянном в инокультурной среде, изменения были однозначно негативными. Причём процесс этот стал заметен уже в первой трети XIX в. Немецкий учёный-медик обратил внимание на то, что жители северокрымской степи, то есть Перекопского уезда, более иных вовлечённого в экономическую и иную активность великорусских переселенцев, отличались от основной этнической массы, став заметно хитрее и распушеннее (*verschlagener und ausgeklassener*), чем их жившие более изолированно, не подверженные чуждому психологическому влиянию соотечественники (Brunner, 1833. S. 193).

## 2. 1905–1907 гг. в Крыму

### а) Общеполитическая обстановка в России и Крыму

На рубеже веков в Крыму сложилась некая прослойка, которая в не меньшей степени, чем аналогичные петербургская или московская, внесла свой вклад в события 1905–1907 гг. Здесь имеются в виду интеллигентные и полунинтеллигентные круги Крыма, полностью разделявшие идеи и мнения известной части русской «публики», одержимой к концу XIX — началу XX вв. патриотическими, то есть этноцентристскими, великодержавными, ксенофобскими настроениями. В нагнетании подобной атмосферы большую роль играло уже упоминавшееся славянофильское движение.

К рубежу веков оно успело пройти две стадии: реформаторскую эпохи Александра II и контрреформаторскую, архаизирующую, «византинистски-самодержавную» Александра III. Теперь открывалась третья, последняя — узко и тупо шовинистическая<sup>1</sup>. Движение лишилось к тому времени своих крупных мыслителей вроде К.С. и И.С. Аксаковых, И.П. и П.В. Киреевских, Н.Я. Данилевского или К.Н. Леонтьева. На смену им пришёл коллективный, безликий автор, при духовном лидерстве которого российские «патриоты»-славянофилы деградировали в зверино-стадное, архаичное «национальное кулачество», характеризующееся прежде всего «наиболее ярким проявлением этого псевдонационального начала — антисемитизмом» (Соловьёв, 1907. Т. V. С. 356). Былая «угроза Запада» стала ныне несущественной. Появилась новая цель, новая правда, и «состояла эта правда в том, что основная конфронтация современного мира была — „Россия против еврейства“» (Янов, 1999. С. 253). Наиболее откровенно эти идеи выражали великорусские черносотенцы, в том числе формально и не входившие в эту массовую организацию.

Остановимся ненадолго на историческом термине «Чёрная сотня». Он обозначал типично русское явление. Само понятие соответствовало известным реалиям ещё в новгородской республике, где *чёрную сотню* представляли малоимущие общинные элементы, пытавшиеся улучшить своё положение, добиться каких-то правовых привилегий силой. Они легко поддавались манипуляциям со стороны бояр и купечества, умевших подкупать черносотенцев в своих политических целях. В Новое время чёрная сотня возродилась как идеологическое

<sup>1</sup> Вот классическая схема лестницы, по трём ступеням которой движение опускалось всё ниже в теоретическом, политическом и нравственном смысле: «Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям, которые отделяют народ от образованного человечества; то есть поклонение своему народу с прямым отрицанием самой вселенской правды — вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами. В последних фазах своего развития наш национализм становится на твёрдую почву реальных сил и фактов, и чем ниже падает его идейное содержание, тем более делается он, по-видимому, недоступным и неуязвимым для всякого рационального возражения». При этом представители «нового зоологического патриотизма» подвергали анафеме наиболее чистых и совестливых *отцов-зачинателей* всего славянофильского движения масштаба Алексея Хомякова (Соловьёв, 1907. Т. V, С. 206–207, 175).

и практически-террористическое движение. Оно осуществлялось поздними славянофилами, но затем значительно расширилось, овладев частью мелкобуржуазных, пролетарских и даже крестьянских (пригородных, слободских) масс. Движение это было направлено на защиту «Русской идеи» и всевозможной архаики в народной и государственной жизни.

И как таковое оно было поддержано не только «низами», но и «верхами»: «В нём было собрано всё самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский (в конце 1980-х гг. за эту и иные «заслуги» он был канонизирован Русской православной церковью. — В.В.), и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам» (Федотов, 1992. Т. 2. С. 297). Кстати, член Священного Синода (с 1907 г.) Иоанн Кронштадтский был не одинок. Среди деятелей черносотенного движения духовного звания в Союзе Русского народа состояла почти половина (32 из 70) епископов Русской православной церкви (Лебедев, 2007. С. 119).

В отличие от так называемого «второго» славянофильского поколения, черносотенное идейное руководство «главным врагом полагало вовсе не европеизацию, а „евреизацию“ России» (Янов, 1999. С. 252). Но тем не менее рядовые, непосредственные исполнители террора считали своими противниками, врагами русских, не только инородцев, но и либеральные, и революционные партии. Эти три категории населения империи подлежали депортации на Колыму, за Полярный круг (В.М. Пуришкевич) или физической ликвидации (Н.Е. Марков, выступление в Думе). Это позволяет, в частности, наиболее объективным западным политологам и историкам отнести великорусское черносотенное движение к первичной, наиболее ранней форме фашизма (Ruslandshistorie. В. II. S. 242) или, по меньшей мере, к протофашизму (Лакер, 1991. С. 82), что, в конце концов, одно и то же. Впрочем, это лишь повторение вывода старого русского философа и историка: «Чёрная Сотня есть русское издание или первый вариант национал-социализма» (Федотов, 1992. Т. 2. С. 297).

Между прочим, сыгравший заметную роль в истории оккупации Крыма и других территорий СССР в 1940-х, главный идеолог германского национал-социализма Альфред Розенберг был, можно сказать, родом из черносотенного движения. Он «духовно поднялся» на памфлетах теоретиков чёрной сотни. Родившись и возмужав в Российской империи, А. Розенберг, проживая вплоть до октябрьского переворота в Москве, с симпатией наблюдал рост крайне правых сил. Затем, правильно оценив размах и опасность большевистского бунта, в 1917 г. переехал в Крым, где стал свидетелем первых погромов татарского населения бандами матросов-черноморцев и других, по сути, черносотенных элементов. Позднее, уже осев в Германии и принимая участие в основании нацистского движения, А. Розенберг широко использовал в своих работах эмигрантские черносотенные издания, такие как «Двуглавый орёл» и «Призыв», крайне правое «Новое Время», многие националистические идеи Ф.М. Достоевского.

Работы А. Розенберга, посвящённые процессам, характерным для последних десятилетий Российской империи, «были, по существу, германской версией черносотенской доктрины русской революции, её причин и последствий... Через Розенберга и его друзей национал-социализм воспринял концепцию большевизма... причём доктрина эта складывалась до революции, а также в ходе гражд-

данской войны» (Лакер, 1991. С. 106, 115). По той же причине впоследствии, впервые посетив Москву, уже советскую, министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп вполне естественно мог заметить: «Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей» (Оглашению подлежит, 1991. С. 340). Поэтому вполне приемлемы сделанные Г.П. Федотовым определения социальных революций XX в. как осуществление идей «коммуно-фашизма», а сути созданных ими систем как «гитлеро-сталинского социализма» (Федотов, 1994. С. 97, 98).

Верно отмечен, что отличие российского фашизма (точнее — нацизма) начала XX века от западных его аналогов (также в предгитлеровский период) в том, что связь между черносотенцами, «религиозным истеблишментом и монархией была значительно более тесной» (Лакер, 1991. С. 82). То есть, в отличие от европейских правительств, почти всегда в период зарождения радикальных партий от этих последних дистанцировавшихся, российские власти умели использовать черносотенцев в собственных целях. В такой своей функции погромы решали несколько задач: снижали социальное напряжение («выпускали перегретый пар»), позволяли полицейской власти время от времени поиграть мускулами при ограничении масштабов погромных грабежей и насилия, возбуждали недовольство массы либералами, революционерами и инородцами, на которые возлагалась вина за беспорядки.

Понятно, конечно, что не евреи и не иные инородцы, включая крымских татар, были источником конфликта, в самом деле имевшего место. Дело было в российской ситуации 1900-х гг., которую крупный этнограф Л. Штернберг определял так: «...основным признаком инородчества является язык. Только население, говорящее на великорусском наречии, имеет привилегию на звание русского народа... Остзейские немцы, славящиеся своей лояльностью, остаются такими же инородцами, как и „бунтовщики“ поляки. Но русские сектанты, даже самые яростные враги православия, даже самые подозрительные в глазах правительства по своим социальным учениям, но сохранившие великорусский говор, остаются неизменно в списках настоящего русского народа. И всем понятно, что за этой классификацией кроется серьёзная политическая сущность, целый комплекс политических отношений огромной важности» (Штернберг, 1910. С. 531).

В России начала XX в. объективно утверждался между тем совершенно иной, новый тип общества и человека, абсолютно чуждый архаичной «почве», носительнице традиционной патриотической этничности, на которой стояли и православие, и народная культура. Было очевидно, что столкновение двух культур, двух — старой и новой — почв неизбежно. И экономические успехи в России (весьма, впрочем, проблематичные) не то чтобы не снимали социального напряжения, они, напротив, обостряли назревший конфликт и даже внедряли его в этнонациональную сферу. Эти успехи делали очевидной близкую победу новой модели жизни, но тем самым они вызывали массовое и активное сопротивление носителей архаичной этнопсихологии, всего традиционного великорусского общества. Причём оно не удовлетворялось пассивной обороной и переходило в наступление (погромы, а также «чисто социальные» мятежи).

Именно для предотвращения такого развития событий и были задуманы реформы, справедливо называемые столыпинскими. Суть их заключалась в том, что

возникший благодаря новому земельному и социальному законодательству и, как ожидалось, окрепший слой хозяйственно развитых фермеров станет мощной опорой государственному порядку. Для этого предполагалось укрепить их экономически, чем, в частности, повысился бы авторитет этих крестьян в сельском мире.

При этом крымский отряд такого движения, уже не скрывавший своей принадлежности к Союзу русского народа<sup>1</sup> и другим черносотенным организациям, пошёл, пожалуй, дальше всех. Вероятно, этому содействовала и этнически уникально пёстрая ситуация в губернии. Крымские «патриоты» полностью отказались видеть врага в столь ненавистном ещё недавно Западе ради того, чтобы тем пристальнее взглянуть в лицо внутреннего врага. Славянофилы Крыма даже агитировали при этом за созыв какого-то «Всероссийского христианского съезда», на котором бок о бок должны были усесться православные, католики, протестанты и (о ужас!) даже униаты, с тем, чтобы выработать общую политическую платформу. При этом предполагалось, что «христиане во имя Христа объединятся, протянут друг другу руку помощи, поддержат друг друга в борьбе с общим врагом» (Набат. 30. 09. 1907). По имени «общий враг» не назывался, это было и так ясно: нехристиане.

Дело было, конечно, не в иудеях. Вернее, не в их расе, вере, обычаях, культуре. На еврейском месте (его хочется назвать *лобным*) могло оказаться любое племя — при условии, что оно нерусское. В городах России кроме еврейской было ещё несколько крупных инородческих диаспор: волжско-татарская, немецкая, польская, армянская и пр. В начале XX в. поколачивали и их: в 1914 г. в обеих столицах прошли немецкие погромы, а поляки начиная ещё с 1863 г. поголовно были на сильном подозрении у полиции и жандармов. Татарам же обеих столиц только ленивый подзатыльник похода не отвечивал. Ну а армяне находили спасение в добровольном самоуничтожении, привычном шутовстве.

И всё же именно евреи были для погромов более всего предпочтительны, причём сразу по нескольким причинам. Они раздражали своим стойким, до фанатизма строгим отказом поступиться хоть самой малостью в соблюдении религиозных и этнокультурных традиций, нежеланием смешиваться с иноплеменниками, социальным динамизмом, позволявшим некоторым из них занимать всё более значимые места в финансах, коммерции, промышленности, культуре. Немалую роль играла и обычная зависть по отношению к этому талантливому народу.

<sup>1</sup> Союз русского народа с момента своего возникновения (ноябрь 1905 г.) являлся организацией черносотенцев-расистов. Имел 500 отделений в различных городах империи. Руководили им А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков, предпочитавшие максималистский подход к объектам своей расовой ненависти. Так, Союз определял инородца «как человека полностью или частично нерусской крови, живущего в пределах Российской империи»; то есть и украинцы, и белорусы (не говоря уже о крымских татарах) им «рассматривались как фактически или потенциально враждебные российским государственным интересам» (цит. по: *Слокум*, 2005. С. 519). В шовинистически-монархической программе Союза содержались и задачи улучшения положения русских рабочих и крестьян, чем он привлекал к себе значительные массы трудящихся. В 1908 г. из него выделился Союз Михаила Архангела. После Февральской революции эти и иные расистские организации были запрещены Временным правительством.

Но, повторяем, дело было не в «иудейском грехе», не в пороках, не в личной вине жертв погромов 1905–1907 гг. В Крыму погромы с лёгкостью распространились и на крымских татар, — и по той же, основной причине: они считались чужаками на крымской земле, и неважно, что это была их историческая родина. К тому же эти нерусские осмеливались бороться за свои права, они уже возрождали свою культуру, развивали своё просвещение, уже требовали возврата материальных ценностей, прежде всего земли, к которой русские помещики давно успели привыкнуть как к своей. Именно поэтому в Крыму погромщики не делали различия между еврейскими и татарскими магазинами, складами, лавками, жилыми домами. В то же время таких смиренных инородцев, как немцы, болгары или армяне, здесь никто не трогал, а крымские греки и сами активно участвовали в погромах.

По своей сути и структурной организованности погромное движение в Крыму было практически тождественным одновременно поднявшейся волне расистской ксенофобии в Центре империи и на окраинах, где образовались количественно значительные русские диаспоры и где поэтому имелась питательная среда для взрывного размножения бацилл общероссийского «патриотического сифилиса». Эта архаичная, стайная агрессивность породила лидеров, в том числе идеологических. А те, в свою очередь, навели на обыкновенное зверство масс философский лоск, теократически «оправдав» кровожадную агрессию, уводя общественную оценку геноцида подальше от становившегося всё более явственным факта этнопсихопатии его национальной основы.

Приведём пример. Уже в августе 1905 г., то есть задолго до октябрьского погромного взрыва на полуострове, его пособниками и провозвестниками выступили местные интеллигенты-славянофилы, «джентльмены чистой масти, члены благотворительных обществ, жертвовавшие на благолепие храмов и обителей и так далее. Эти сострадательные люди злорадно указывали громилам дома „жидов“ и отпавляли холодной водой „самых уставших“ грабителей». И чиновники с университетскими дипломами, продолжает бесстрастно источник, и высшая администрация города, приняв непосредственное участие в погромах, «повели за собой свору своих подчинённых, канцеляристов и делопроизводителей и других защитников отечества от крамолы...» (Крым. 06.08.1905).

Хотя стоит заметить, что стихийное насилие 1905 г. началось едва ли не раньше, чем его стали оправдывать и поощрять погромные теоретики. Повторяем, у этого движения в Крыму были некоторые характерные особенности. Сюда из деревень и сёл России ежегодно и во множестве приходили многочисленные рабочие — землекопы, каменщики, печники, плотники и штукатуры (в основном курские). Понятно, что рабочие места для них заранее никто не готовил, а с началом русско-японской войны строительство, как и повсюду, вообще резко сократилось. Полуголодные эти люди «бродили в ожидании работы, представляя собой прекрасный материал в руках черносотенцев» — особенно в апреле 1905 г. — чем последние и пользовались (*Гелис*, 1925. С. 19).

Бесспорно, в 1905–1907 гг. крымские татары пострадали от погромов меньше, чем евреи. Но не потому, что мусульмане были «ближе» черносотенцам, чем иудеи. Просто эти кровавые события разыгрывались исключительно в городах, то есть там, где население было смешанным, где в основном проживали

и нехристи-жертвы, и их христианские палачи. Крымцы же являлись главным образом сельскими жителями, причём небогатыми, отчего представляли для черносотенцев гораздо меньший интерес (их было трудно направить в деревни или городские бедняцкие кварталы, они бесчинствовали там, где можно было грабить и напиваться). Поэтому для них такой интерес представляла более или менее зажиточная городская мусульманская прослойка, которая и разделила в полной мере участь евреев.

С другой стороны, здесь очень важно отметить, что дело было не только в состоятельности жертв погромов. Ведь взламывались и растаскивались именно крымскотатарские (но ни в коем случае не греческие, не армянские, не болгарские и не русские!) винные и продуктовые склады, магазины и лавки. Кем-то сознательно провоцировалась татарская резня, в те дни и недели, когда по всему Крыму буквально полыхали погромы, ведь черносотенцы поджигали и татарские жилища. Причём это были дома самых уважаемых, известных своей благотворительностью людей, за которых *должны* были заступиться соотечественники, а уж это позволило бы развернуть более широкий террор против коренного народа.

Приведём самый яркий пример такого рода: в Ялте был подожжён дом авторитетного не только среди крымских татар, пользовавшегося всеобщим уважением, известного благотворителя А. Бекирова. В этом не столько величественном, сколько красивом здании не было ни вина, ни особых ценностей, да его и не пытались грабить. Здание просто подожгли и не давали тушить — открыто и нагло, публично оскорбляя спасавшихся женщин и детей (хозяин отсутствовал, был в отъезде) их национальной принадлежностью, явно в ожидании любой попытки вооружённого отпора (Крым. 03. 04. 1905).

К сожалению, эту провокационную тактику использовали не только ялтинские громилы. С той же целью использовались и татарофобские высказывания, которыми в 1905—1907 гг. не брезговали и некоторые вполне солидные крымские газеты, охотно предоставлявшие полосы славянофильствующим и попросту черносотенным журналистам. Причём в такого рода статьях не всегда помещались открытые издевательства над национальной культурой крымских татар или обвинения в политической неблагонадёжности «этих нерусских». Нередко безобидные на первый взгляд насмешки вбивали клин между христианами и мусульманами губернии, выставляя последних в унижительном, карикатурном свете.

Такие же оскорбления обрушивались и на русских, принявших ислам (среди них в те годы мелькнул даже один священник), на крымскотатарского офицера, не пожелавшего стать на колени перед иконой во время венчания с русской барышней («истинный, фанатичный мусульманин»), велась кампания за закрытие татарских кофеен в городах и сёлах — повсюду, кроме работавших при гостиницах, и так далее (Набат, 02.11.1907; 04.11.1907; 24.11.1907). Персонажи крымскотатарского происхождения в этих статьях и бытовых зарисовках изъяснялись на нарочито ломаном русском языке, гримасничали, а уж если улыбались, то непременно «во всю ширь своей лунообразной физиономии», — это цитата из симферопольского черносотенного органа (Набат, 03.06.1907), питавшего равно тёплые чувства к евреям и крымцам, которому цензура не чинила никаких затруднений, в отличие от либерального «Крыма», номера которого зачастую конфисковались.

И этот агитпроп не оставался бесплодным: становилось всё больше подонков, которые издевались над крымскими татарами в общественных местах, на улицах на гуляньях, но не только. Уже были отмечены новые факты дискриминации национальной интеллигенции на местах её работы. Особенно тяжёлые последствия имела волна шовинизма в сфере культуры, откуда она вымывала последних немногочисленных представителей коренного народа, в том числе и его самоотверженных просветителей. Пагубнее всего этот процесс отразился на крымскотатарской школе, где и до того остро нехватало преподавателей из числа коренных крымчан (Голос Тавриды, 22. 12. 1905).

Для полноты картины остаётся сказать, что *такая* деятельность черносотенцев и поздних славянофилов, попытки создать в Крыму и других губерниях *такую* нетерпимую атмосферу получали поддержку многих думцев (кандидаты от Союза русского народа вошли и во Вторую и в Третью Думы), а также полное и безусловное одобрение самого «Хозяина Земли Русской». Тот же симферопольский «Набат» в 1907 г., когда уже пролилась невинная кровь жертв крымских погромов, с понятной гордостью публиковал приветственные слова Николая II главе черносотенцев, основателю и председателю Союза русского народа А. Дубровину: «...Да будет же Мне Союз русского народа надёжной опорой, служа для всех и во всём примером законности и порядка» (Набат, 10. 06. 1907)<sup>1</sup>. Французский посол в России Жорж Луи в те же столыпинские годы записывал, что «чёрная сотня (это военная организация при Союзе русского народа) правит Россией и правительство подчиняется ей, ибо знает, что император склонен ей симпатизировать» (Цит. по: *Лакер*, 1991. С. 115).

Поэтому вполне справедливо замечание насчёт того, что черносотенцы «в своего рода протофашистском прообразе соединили верность самодержавию и православию с убеждением в господствующем положении русской нации, с антикапитализмом, ксенофобией, антипольскими настроениями и антисемитизмом» (*Каннелер*, 1999. С. 258). Но, что касается южнорусской ситуации, то А. Каппелера следует дополнить: в Крыму такие настроения были ещё и анти-татарскими. Впрочем, это будет видно из приводимого ниже материала.

Безусловно, события 1905—1907 гг. в Крыму не были *частью* русской крестьянской войны 1902—1922 гг., они были её искажённым эхом, к тому же раздавшимся на юге с некоторым опозданием. Последнее легко объяснимо. В Крыму основной импульс всероссийского этого волнения (а именно, стихийного крестьянского протеста против либерализации страны и людей) не возникал. Он пришёл сюда извне, причём не напрямую и в несколько деформированном

<sup>1</sup> Для контраста приведём ещё одну, сделанную современником Николая II, оценку черносотенного движения: «В нём собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство [православного] епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживёт нас всех» (*Федотов*, 1992. Т. 2. С. 297). Собственно, для благословения убийц и насильников не обязательно исповедовать именно черносотенные идеи, достаточно общеправославных: ермоловских «покорителей Кавказа» вовсе не какая-то черносотенная церковь XIX века благословляла так же искренне, как в XX не менее кровавых карателей Афганистана и Чечни.

виде, да и воспринят он был иной, чем в центре империи, человеческой средой. Коренной народ Крыма о мятежах в России практически ничего не знал, а недавние и старые русские переселенцы уже утратили почти полностью общинные стереотипы (митранты вообще более динамичны, менее склонны к сохранению консервативных ценностей).

Основных носителей общинной психологии, этой движущей силы мятежа, то есть *крестьян*, в русской диаспоре Крыма было в процентном отношении несравненно меньше, чем в губерниях старой родины. На полуострове наиболее активную и численно значимую часть русской массы составляли рабочие мелких и мельчайших предприятий города, колоний и ферм деревни, торговцы, дельцы, мелкие и разорившиеся помещики, отставные военные, сезонники и, наконец, многочисленный деклассированный люмпен-пролетариат, не отличавшийся прочными моральными устоями. Доля последнего была склонна к росту, поскольку он стекал из внутренних областей державы сюда, на тёплый Юг, постоянно и обильно. Один из советских авторов даже обозначил эту «основную массу» (выделено мной. — В.В.) населения Крыма» мелкобуржуазным элементом (Кунцевич, 1955. С. 7). Конечно, целая мелкобуржуазная губерния — явление для царской России само по себе уникальное, но этот маловразумительный вывод склоняет к конкретному представлению о столь же *малой революционности* в 1905 г. крымского города, как и деревни.

Другое дело, что эта пёстрая человеческая масса, в большей своей части полуголодная, неуверенная в завтрашнем дне, раздражённая постоянным зрелищем фланирующих по набережным богатых «бездельников»-отдыхающих и не менее зажиточных местных поротил (на Юге всё на виду!) представляла собой чрезвычайно взрывоопасный элемент. Она была готова не к какой-то непонятной «революции», а к традиционным мятежу, погромам и грабежам. И примеры тому уже были. Гораздо раньше, чем где-то в северных столицах, вообще где бы то ни было в империи (если не считать Одессу и Кишинёв), в югобережных погромах 1888 и 1891 гг., в Крыму, основной контингент громил черносотенного толка уже сложился. Он был тот же, что и позднее, накануне 1905 г., когда современники запомнили «толпу из рабочих на пристани (то есть портовых грузчиков. — В.В.), греков, армян и так называемых «дангаларов»<sup>1</sup> (Крым, 23.03.1905).

Сборная эта толпа, как бы её ни именовали, была сдерживаема прежде всего страхом и только страхом. Потенциальные уголовники не решались на преступление, зная о неотвратимости наказания. Теперь всё шло к тому, чтобы сделать погромы обычной практикой охраны прав и привилегий великороссов. И эта тенденция ощущалась не только в славянофильских кругах, но и в инородческой среде — среди потенциальных жертв готовящегося геноцида. В 1903 г. тревогу усилили подробности о страшном Кишинёвском погроме. Об этих настроениях губернатор счёл нужным сообщить Николаю II наравне со сведениями о начавшихся портовых беспорядках в Керчи, волнениях среди феодосийских рабочих и о том, что нерусская часть населения губернии живёт «в ожидании всяких ужасов» (РГИА. Ф. Библ. I отд. Оп. 1. Д. 95. Л. 254 об.—255).

<sup>1</sup> Дангалары (дангалаки) — сезонные рабочие, «греки, выходцы из Малой Азии, крайне некультурный элемент, презираемый островными греками» (Голос Тавриды. 10.09.1905).

Уже появлялся ещё один, новый фактор влияния, чреватый мятежным террором, грозивший отпустить тормоза черносотенному движению. Речь идёт об экстремистских по сути инициативах партийных группировок Центра, прежде всего ленинской<sup>1</sup>, в меньшей степени — эсеровской. В Симферополе уже в 1901 г. местная организация РСДРП распространяла свои прокламации во всех без исключения крымских городах. Первомайские демонстрации, забастовки, спровоцированные теми же ленинцами и эсерами, также устраивались с 1901 г. Но их участниками были в основном сами члены этих организаций, и поэтому сборища были малолюдны, даже в Симферополе не превышая сотни молодых, в основном, людей (Кунцевич, 1955. С. 9). Городские организации РСДРП точнее было бы назвать кружками; они были малочисленными, а большевиков там практически не было.

Лишь в 1904 г. был создан идеологически и политически столь же пёстрый Крымский союз РСДРП, который пытался объединить работу Симферопольской, Керченской, Феодосийской, Ялтинской и Мелитопольской организаций. К этому времени в них входили, в основном, крымские интеллигенты и рабочие. Руководили союзом М.С. Макадзюб (Панин), А. Грибовский и Л. Рабинович. Они направляли деятельность организации главным образом на пропаганду, агитацию, распространение листовок. Содержание последних было типично меньшевистским, да и во фракционной борьбе внутри партии Крымский союз РСДРП поддерживал сторонников меньшинства (Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 гг. Хроника. Вып. X. 1904 г. / Сост. И.М. Пушкарёва и др. М., 2008. С. 347).

Несколько позже в гонке за популярность эсеры обогнали большевиков и меньшевиков, поскольку первыми сообразили развернуть работу в деревне, требуя, как известно, земли — крестьянам, а нациям империи — права на самоопределение. Рабочие демонстрации становились многолюднее, в них стали принимать участие и «патриоты»-черносотенцы. Не секрет, что за такими демонстрациями нередко стояла Охрана (полицейское отделение безопасности), позволявшая и даже поощрявшая выражения народного недовольства при условии, что его объектом являются отдельные работодатели или инородцы, а не российское правительство. Крымские татары таких инициатив брезгливо сторонились, не принимая участия в сборищах и шествиях, кто бы и с какой угодно целью их ни организовывал. И даже когда начались забастовки (1903–1904 гг.) в крымских портах, на феодосийской табачной фабрике Стамболи и др., а на улицах городов загарцевали стражники, то и городские ремесленники-татары в лучшем случае выходили из любопытства на порог своих мастерских, а то и просто поглядывали на этот бедлам из окошек, не прерывая при этом работы.

<sup>1</sup> Напомним, что ленинизм и в начале XX в., и позже идейно (то есть не политически и не практически) сливался с черносотенством. Образ большевистского будущего наряду с западной имел и почвенно-русскую составляющую. А уж она-то вполне соответствовала черносотенным идеалам соборного коллективизма, всеобщей уравнительности, бездельной, антирыночной и антилиберальной утопий. И уже тогда стали заметными такие родимые пятна ленинского учения, как «сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посясторонность, отрицание духа и духовных ценностей, приращение материализму почти теологического характера» (Бердяев, 1990 «а». С. 100). Большая часть этих пятен метила и черносотенную теорию.

Впрочем, бывало, что некоторые из крымских татар занимали и более активную позицию. Так было, например, в Дерекое. Член Ялтинской организации РСДРП, некий З.Ш. Садилов в декабре 1905 г. открыто призывал жителей этого татарского села «...с оружием в руках захватывать земли русских помещиков». Старейшины были настолько возмущены этой пропагандой насилия, что «решили учинить над ним самосуд, но ему удалось скрыться» (Зарубин, 2003. С. 54).

Непосредственно накануне событий 1905 г. социал-демократия расширила поле своей деятельности, развернув работу среди береговых служб и плавсостава Черноморского флота, а также среди крымского крестьянства. Эта их деятельность облегчалась существенным обстоятельством — во взбудораженном неясными мятежными настроениями Крыму пустовала до того какая-то идеологическая ниша, и назревавшие беспорядки могли обрести смысл и цель лишь после её заполнения. Её пытались заполнить и ленинцы, и мартовцы, но и они, и эсеры полностью игнорировали при этом довольно уже многочисленный (около 200 000 человек) коренной народ Крыма. В защиту этнокультурных и социальных интересов крымских татар не выступала вообще ни одна из множившихся политических партий. Зарождавшиеся на далёком Севере, они работали с соотечественниками, высокопарно игнорируя коренных крымчан, чьи проблемы их абсолютно не трогали.

Наконец, актуальными для Крыма этого периода были и более общие факторы социальных движений. Российские мусульмане, естественно, бывшие в курсе революционных событий, не могли принять в них органичного участия, поскольку многого не понимали в целях такого насилия. Однако гораздо важнее для их неучастия в революции 1905 г. было её несоответствие канонам Корана, проповедовавшего верность верховному властителю. Да и сами народные традиции крымцев, основные устои их жизни входили в прямое противоречие с революционными методами борьбы, с пропагандой вооружённого насилия по отношению к законной власти.

Возможно, эта особенность политической жизни накануне 1905 г. в Крыму не была главным фактором ослабленного, неразвитого по сравнению с другими регионами аграрного движения в крымскотатарской деревне. Скорее всего, даже при куда более активном политическом вмешательстве в её дела она осталась бы на традиционных позициях, причина и смысл чего будут изложены ниже. Но, как бы то ни было, такое необычное положение как политическая инертность крымскотатарского крестьянства в сравнении с огромной энергией погромного движения (то есть направленностью политической активности не столько по вертикали, сколько по горизонтали, виришь) заставляют нас рассматривать «революцию» 1905–1907 гг. под несколько иным углом, чем это принято в историографии социальных процессов в Центре России. А именно исследовать обе составные части социальной динамики параллельно, в их взаимодействии и взаимоотталкивании.

#### б) Истоки 1905-го

Начало беспорядков 1905 г. в Крыму, безусловно, связано с вышеупомянутыми патриотическими инициативами «культурной» части российского общества. Повторяем, суть черносотенных идей зарождалась и оформлялась в этническом

подсознании, от архетипических его установок, генетически унаследованных общинным менталитетом Нового времени от ещё языческой древности. В России первоначально «основной группой погромщиков были крестьяне, представители городских низов и казаки — та самая „почва“, на которую как на оплот стабильности полагались идеологи народной монархии» (Россия, 2000. С. 147). Славянофилы на черносотенном этапе их истории идейно-теоретически оформили и вернули массам эти неосознанно агрессивные позы, оправдав их кровавую невменяемость уже нравственно-патриотически. С толпы была снята узда страха и совести, и она в очередной раз отдалась стихии долгожданной воли.

Зверский расстрел царскими солдатами мирных демонстрантов 9 января 1905 г. в Петербурге положил начало беспорядкам на территории почти всей империи. Но действующие лица этих событий были в различных частях государства также различными. Известно, что «более политизированная нерусская периферия реагировала на „кровавое воскресенье“ быстрее и более страстно, чем русские области» (Kanneler, 1999. С. 242). Так, в Польше сотысячные забастовки переросли в вооружённые столкновения с русской полицией и солдатами, стачечное движение охватило весь Кавказ — от Баку до Батума, массовые демонстрации и забастовки прокатились по Латвии, мятежные эстонские крестьяне разрушили более полутысячи баронских поместий и замков, хозяева которых если не бежали, то были убиты.

Ничего похожего не наблюдалось среди коренного населения Крыма. Крымскотатарские крестьяне отнеслись к событиям в далёкой России с полным равнодушием, лишь некоторые замечали неодобрительно: «Русские не хотят признавать царя... Безрассудство... С ума посходили!» (цит. по: Сейдамет, 2009. № 6. С. 14). Впрочем, уже тогда, в 1905 г. появились первые, крайне немногочисленные крымскотатарские революционеры, вполне разбиравшиеся и в ситуации, и в целях нового социального движения. Об одном из них, Джафере Одамане, рассказывает автор мемуаров, в ту пору ещё четырнадцатилетний подросток:

«Преданный идеям справедливости и революции, всей душой переживая за свой народ, он до самой своей трагической кончины остался таким же кристально чистым и искренним человеком. Он рассказал о тирании царизма, о несправедливости крупных землевладельцев... к простым селянам, а фабрикантов — к рабочим. Меж этих слов часто повторялось слово „свобода“. Этого слова, как и высказываемых им мыслей, я никогда ещё не слышал. А он вдохновенно продолжал говорить о свободе мысли, слова, совести, печати, о различных политических партиях, чья деятельность была направлена на претворение этих идей [в жизнь], на установление в России республики. Что всё это благотворно отразится на состоянии наших национальных и религиозных прав, что по всей России, также и у нас, не будут использовать подневольный труд. Услышанные за этот час слова, мысли, идеи перевернули все мои былые представления, потрясли душу» (там же).

В принципе далёкое, столичное «кровавое воскресенье» не слишком затрагивало интересы и русскоязычных масс Крыма. Но оно пригодилось в качестве знакового события, оно могло быть принято люмпенскими, в потенции преступными массами как долгожданный сигнал к насилию — и они его именно

так использовали. Понятно, что насилие применялось не против зажиточных единоверцев-православных. Здесь всё было очень просто: низы поняли, что *дозволено* громить «нехристей», как и растаскивать их имущество. Пробные, первые опыты действительно показали почти полную безнаказанность погромов, и тогда началось.

В марте 1905 г. разразился погром в Ялте, в котором участвовало до 2000 подёнщиков, чернорабочих, безработных, босяков. Через несколько часов безудержного буйства в хвосте этой беснующейся толпы появилась вполне интеллигентного вида публика. Среди подождённых были и крымскотатарские магазины на Старом базаре. Ликвидировать погром было приказано Крымскому дивизиону. Иных сил просто не нашлось, кроме немногочисленных, не более трёх десятков, ялтинских городовых. Однако этих служаков, скорее всего весьма добросовестных, оказалось слишком мало. Об откомандировании в Ялту регулярных частей российской армии, стоявших в губернии, никто из крымской администрации и не подумал — вот и пришлось звать на помощь крымцев в погонах (Крым. 03.04.1905).

Почти одновременно безземельные крестьяне с. Саблы, к которым присоединились и арендаторы, разгромили контору бороздинского имения с целью уничтожения долговых записей, а затем они частично распахали земли экономии (Южный Курьер. 08.05.1905). В мае так же были распаханы угодья графа Воронцова и помещика Полова; при этом крымские татары деревни Кунан пустили свой скот на покосы этих крупных землевладельцев (Кунцевич, 1955. С. 14). Тогда же крестьяне захватывали и запахивали земли в Перекопском уезде, Богемской волости и в Восточном Крыму (деревни Насыпкой, Тархан).

В конце июня босяки и городской плебе с керченских Карантинной и Аджимушкайской улиц стали зачинщиками ещё одного погрома. В июле погром возглавили русский генерал Трубников и грек В. Месаксуди (сын известного фабриканта, вполне приличного человека). Здесь, кажется, впервые в событиях 1905 г. прозвучала «греческая нота»<sup>1</sup> (Рейтановский, 1933. С. 5). Затем, уже в августе, керченские погромщики выступили заодно с жителями пригородных слободок и сёл, результатом стали несколько убийств (Крым. 06.08.1905). Ещё через три недели в городе снова вспыхнули беспорядки, правда, на этот раз они носили более политический характер: в прессе их сочли «антиправительственными». Демонстранты ограничились битьём стёкол в магазинах, жертв не было (Голос Тавриды. 23.08.1905).

В Ялте погромы возобновились также в августе. Снова запольхали подождённые магазины и жилые дома. Очевидец рассказывает: «Многие из ялтинских евреев искали убежища в татарских деревнях, наш народ принимал их, оказывая всяческую помощь. По этому поводу со стороны русских прозвучали угрозы устроить погром и в Дерекое, татарской деревне в километре от Ялты.

<sup>1</sup> Роль греческих переселенцев Северного Причерноморья в шовинистическом (а именно антитаатарском и антисемитском), по сути нацистском движении конца XIX — начала XX вв. на всём юге России пока вообще малоизвестна. Её исследование не входит в наши задачи. Но стоит назвать лишь один примечательный факт: *первый* из многочисленных погромов инородцев этого периода, а именно состоявшийся в Одессе в 1871 г., был организован по инициативе греческой диаспоры (Кателер, 1999. С. 199).

В ответ на это наши, в основном пекари и садоводы Ялты и окрестностей, собрались в Дерекое, предупредив, что в случае нападения будут стоять насмерть, начали готовиться к обороне» (Сейдамет, 2009. № 7. С. 14). Кое-где крымцы переходили от слов к делу. Так, Али Боданинский, которому в 1905 г. исполнилось 40 лет, не утратил молодого пыла. Он вообще находился под постоянным надзором полиции, но ухитрился вместе с 18-летним Селимом Меметовым совершить теракт в Симферополе.

Как сообщалось в одном из жандармских докладов, касавшихся его деятельности, он «в 1905 году в Симферополе на Феодосийском мосту во время октябрьских черносотенных манифестаций бросил в черносотенцев бомбу, которая взорвалась и ранила многих из них, после чего с соратником С.М. Меметовым скрылся в толпе» (цит. по: Шемь-заде, 2009. С. 4).

После подавления беспорядков полиции удалось выявить и схватить зачинщиков, при этом только перед судом, по доказанным обвинениям, предстало 86 человек (Голос Тавриды. 21. 08. 1905). В ходе разбирательства выяснилось, что основную массу погромщиков составляли рабочие города, которые «все без исключения... пришлый элемент, так как коренное население в лице татар уходит за рубеж... Пришлые разделяются на группы. Самую многочисленную составляют греки, так называемые „донголаки“» (Голос Тавриды. 02.09.1905).

Вообще число эмигрировавших в 1905–1907 гг. в результате исключительно *террора против иноверцев* Крыма не подсчитано. Тем не менее, судя по отрывочным данным, очередной этот исход был довольно значительным, поскольку в отдельных городах, а в 1906–1907 гг. — и деревнях полуострова под угрозой оказалась сама жизнь нерусских крымчан, в первую очередь евреев и крымских татар. Как могли они оставаться на старом месте в той же, к примеру, Феодосии, где портовые босяки и рабочие Карантина обливали керосином и поджигали общественные здания, где собирались встревоженные «инородцы», а всех выбрасывавшихся из верхних этажей убивали на месте, естественно, совершенно безнаказанно? (КВ. 1905. № 251).

Такого Крым не видел со страшных времён турецкого вторжения в XV в., поэтому бежали не только татары (в Румелию или Анатолию), но и евреи (в Европу и США). Между прочим, в числе последних тогда же навсегда покинула Крым семья Иегуди Менухина, величайшего скрипача XX в. — это была невосполнимая утрата для России.

Но вот наступил период относительного спокойствия — до знаменательно-го 17 октября. В этот день Николай II опубликовал так называемый *Октябрьский манифест*, в котором обещал предоставить народам империи все гражданские права и дозволить народное представительство в Думе — законодательном учреждении, наряду с Государственным советом, контролирующим и имперскую администрацию.

В Крыму реакция на царский манифест была своеобразной. Одни считали его проявлением слабости императорской власти, другие — поощрением борьбы за права русского народа, освобождением её от всех ограничений. Поэтому вспышка черносотенного движения именно во второй половине октября была далеко не случайной. Уже на следующий день после публикации этого акта в Ялте прошёл многолюдный (1500 чел) митинг, были закрыты, как в праздничный день,

все учреждения, учебные заведения, банки, магазины и т. д. Взрослые и гимназисты ходили по улицам и торжествовали.

Такой идиллической картины не сложилось в Феодосии, где в те же часы уже возобновились серьёзные «беспорядки, сопровождавшиеся убийствами, грабежами и насилиями», которые удалось подавить только спустя два дня (Голос Тавриды. 26.10.1905). При этом пострадали многие крымские татары города и уезда. Неслучайно именно после этих событий 1905 года отмечен первый за последние десять лет всплеск татарской эмиграции в Турцию: всего выехало 514 семей (2326 мужчин и 1898 женщин). В основном это были виноградари Южного берега и Восточного Крыма, продававшие при этом участки, которыми испокон веку владели их предки. Некоторые деревни пустели полностью, вроде Суук-Су, где проживало 60 татарских семей (Урановский, 1925. С. 75).

Тогда же в Симферополе начался направленный погром всё тех же инородцев, здесь также были убиты и ранены (Голос Тавриды, 01.11.1905; Крым, 10.11.1905). Единственной силой, пытавшейся противостоять октябрьской волне насилия, были татары-эскадронцы: в Симферополе их патрули стаяли буквально «на каждом перекрёстке». А когда мятежная толпа ворвалась в тюрьму и выпустила всех заключённых, в том числе и уголовный элемент, то эскадронцы организовали поимку бежавших преступников и многих водворили обратно (Геллис, 1925. С. 26). Другое дело, что татарских конников было слишком мало для того, чтобы водворить порядок на всей территории полуострова.

Волнения в крымскотатарской деревне начались с Байдарской волости. 12 ноября сельское общество Уркусты числом 1290 душ мужского пола «решило произвести самовольную порубку леса, принадлежащего наследникам Мордвиновых и примыкающего к деревне». Дрова рубили и вывозили «на том основании, что считают весь лес, примыкающий к их деревне, и Чёрную речку принадлежащими им, поселянам, что лесом этим они владели ранее, а гр. Мордвинов владел им неправильно». Порубка продолжалась три дня, в течение которых пример уркустинцев увлёк жителей соседних Бачи и Саватки, затем Биюк-Муската, Узунджи, Хаюто и Варнутки, однако крестьян последних из названных деревень волостной администрации удалось уговорить не нарушать закон и они мирно разошлись по домам (Голос Тавриды. 20.11.1905).

Правда, в некоторых других местах деревенские протестные волнения подавить не удалось. Так, в экономии князя Ширинского «Мурзакой» (Феодосийский уезд) были выбиты стёкла помещичьего дома, крестьяне дер. Салы произвели самовольную порубку помещичьего леса (Крымский Вестник. 02.12.1905). Опасаясь разрастания татарского движения на селе, помещики выписали для охраны своих усадеб каких-то наймитов-ингушей (Камшицкий, 1925. С. 143). Однако эта мера предосторожности была явно излишней: все упомянутые социальные взрывы так и остались единичными, изолированными друг от друга, да к тому же бескровными проявлениями народного гнева.

Основным видом протеста татарских крестьян оставалась, как и ранее, эмиграция. И то, что крестьянских мятежей на полуострове было куда меньше, чем в том же соседнем Мелитопольском уезде, вряд ли можно объяснить традиционной для советских историков причиной: якобы в Крыму «наибольший процент

безземельных падал на чрезвычайно отсталое население, которое в 1905 году... находилось ещё под влиянием своих мулл и мурзаков и революционизирование которого происходило гораздо медленнее» (ук. соч. С. 149). Слишком уж «революционной» не была и мелитопольская деревня. Просто там народ (бывшие переселенцы из России) был иным, не столь приверженным к традиционному «порядку», что, как неоднократно упоминалось выше, было одной из основных черт крымскотатарской психологии.

Очередной насилие над мирным населением состоялось в Карасубазаре 21 ноября 1905 г. Это выступление против законного порядка было не совсем обычным, по утверждениям многочисленных свидетелей, основную массу участников его составляли местные подростки (Голос Тавриды. 24.11.1905). Таким образом, погромное движение начало «молодеть», хотя его жертвам это облегчения не несло: молодые парни зачастую проявляли куда больше жестокости, чем их более зрелые взрослые предшественники.

Следует отметить, что несмотря на крайне напряжённую обстановку в Крыму на протяжении всей второй половины 1905 г., несмотря на прямой террор, направленный против коренного крымского населения полуострова, народ нашёл в себе здоровые силы и проявил незаурядную волю к конструктивным переменам в собственной духовной жизни. В эти тревожные месяцы крымские татары впервые после долгого перерыва сделали заметный шаг к возрождению своей национальной культуры. В ноябре месяце в Евпатории имам Ханской мечети Сеит-Ягья-эфенди собрал 400 землевладельцев уезда на съезд, посвящённый совершенствованию народного образования. Под председательством Али-мурзы Балатукова с этой целью было создано благотворительное общество на основе обязательных взносов в пользу местных учебных заведений (Голос Тавриды. 06.12.1905).

В тот же день на сход собралось 180 крестьян Донузлавской волости уезда. Здесь было принято несколько иное решение, касавшееся проблем демократизации политической жизни народа. Собравшиеся решили добиваться соблюдения принципа выборности при замещении практически всех административных и иных должностей — от сельских старост до членов Государственного Совета. Земля должна принадлежать народу, а дети и молодёжь имеет право на бесплатное образование на всех уровнях — таким было ещё одно решение донузлавцев (Голос Тавриды. 18.01.1906).

Третья инициатива исходила от крымских татар с. Дуванкой. Собравшись 2 декабря 1905 г. на сход, местное общество приняло сразу несколько постановлений, направленных на возрождение традиционной исламской культуры на правовой и обычной основе шариата. Жители Дуванкой и окрестных сёл решили отныне запретить в волости карточную игру в кофейнях, распивание водки, нецензурную брань. Особую тревогу обществу внушали первые признаки неслышанного ранее среди крымских татар порока — воровства. Поэтому дуванкойцы постановили карать виновных по всей строгости шариатских установок. То же касалось потравы чужих выпасов или покосов, с этой и иными целями за порядком (запомним это выражение!) должны были следить 20 выбранных полномоченных общества, разбираться же с виновными было поручено ещё шести старейшинам и имаму местной мечети (Голос Тавриды. 14.12.1905).



Через несколько дней с почти аналогичными целями состоялся сход в Симферополе. На нём было принято решение о созыве в Джанкое всекрымского татарского собрания, на котором предполагалось решить некоторые задачи оздоровления народной жизни. В частности, планировалось обсудить вопросы «о преобразовании магометанского духовного правления и вакуфной комиссии на началах выборного состава присутствия Духовного Правления и передачи вакуфного имущества в полное распоряжение татар Крыма» (Голос Тавриды. 12.12.1905). То есть, предполагалось, что и муфтий Крыма, и другие члены Правления отныне будут назначаться по результатам всеобщих демократических выборов. Сложнее была вакуфная проблема. Перед избранными распорядителями этого народного достояния ставились задачи, выходящие за рамки чисто экономических. Эти люди должны были фактически управлять возрождением народа, «стоять во главе татарской нации Крыма и руководить ею для достижения высших благ для нации, сообразно с существующими в политической жизни государства течениями» (Там же).

Об этом и были приняты решения на состоявшемся 20 декабря 1905 г. в Джанкое съезде. Но он разработал и ещё одно, заранее незапланированное постановление: поскольку в марте 1905 г. на собрании, состоявшемся здесь же, участники его разделились на два несогласных друг с другом течения или группы, то теперь было решено вновь собраться 18 января в Феодосии и попытаться любой ценой достичь былого единства. Председательствовать на примирительном собрании было поручено пользовавшемуся большим авторитетом мурзе Рустем-бею Ахундову (Голос Тавриды. 05.01.1906).

Что же касается вакуфного имущества, прежде всего земель, то такое решение этого старого и наболевшего вопроса отвечало интересам крымских татар из самых различных социальных слоёв. Об этом свидетельствуют контакты крымскотатарской общественности с центральными учреждениями и официальными лицами империи. Ещё в апреле 1905 г. в Петербург выехала депутация, которая подала в Комитет министров петицию, где речь шла прежде всего о вакуфах. В пунктах 4, 15 и 18 этого документа выдвигалось основанное на решениях сходов требование передачи вакуфных территорий безземельным. От выборности муфтия (о чём также здесь говорилось) ставилась в прямую зависимость будущая вакуфная политика.

Несколько позже «разные лица мусульманского духовенства, дворянства и прочих сословий Таврической губернии» подали председателю Комитета министров С.Ю. Витте прошение<sup>1</sup>, где требования мартовской петиции опротестовывались как несоответствующие шариату (муфтия выбирают не на всенародных выборах, а в собрании исключительно мурзачества и духовенства). Но эти же сословия присоединились к пункту упомянутого документа, где речь шла о том, чтобы «заселить безземельными татарами вакуфные земли с тем, чтобы Духовное Правление непосредственно отчитывалось в этом отношении перед Ми-

<sup>1</sup> Между прочим, саму акцию подачи прошений не следует рассматривать только как унижающие просителей попытки выпросить что-либо у властей. Это было и средство «выразить своё недовольство проводящимися в отношении их мерами, выказывая при этом внешнее почтение к существующей власти» (Верт, 2005, С. 55). То есть единственное в тех условиях средство выразить свой протест. Вряд ли имперские власти этого не понимали.

нистерством внутренних дел» (Тавричанин, 14.01.1906). То есть, вакуфную проблему, буквально повисшую в воздухе, надо было кардинально решать, её уже нельзя было обойти, в неё упиралось слишком многое.

#### в) Крым в 1906–1907 гг.

Весна следующего года началась спокойно, крымскотатарские скопщики, не обсуждая с землевладельцами норму арендных поборов, вышли на поля, вспахали их и засеяли. Но уже в начале сенокосной поры выяснилось, что они собираются отдавать владельцам не грабительские 2/3 скошенного и высушенного сена, а треть или даже четверть, как было заведено исстари. То же повторилось и в хлебную страду: в Мамут-Султане, Курцах, Саблах «и десятках других сёл и деревень» крестьяне просто ставили помещика в известность о том, что они «решили... составить приговоры и урегулировать скопшину» так, как бывало раньше (Южный голос. 05.07.1906).

Трудно сказать, были ли эти стихийные и довольно представительные протесты связаны с новым обострением шовинистической активности. Скорее всего, всё-таки были, так как она теперь перемещается из города в крымскотатарскую деревню а участие в ней официальных лиц более не скрывается. На протяжении 1906 г. джанкойский пристав неустанно распространял подрывную, погромную литературу, в июне же он возглавил черносотенное общество Таганаша (Южный голос. 30.07.1906). В Коперликое Феодосийского уезда, где произошёл обычный для того лета конфликт между землевладельцем Челебиевым и скопщиками (отказавшимися отдавать половину смолоченного урожая с доставкой его на склад за крестьянский же счёт), власти сразу отправили в село драгунский отряд. Особой нужды в такой жёсткой мере не было, крестьяне вели себя достаточно мирно, конфликт можно было решить путём переговоров, как незадолго до этого он был улажен в мурза-койских владениях Ширинских (Южный голос. 02.08.1906). Но, очевидно, власти должны были продемонстрировать свою позицию перед крымскотатарским крестьянством. Ведь несмотря на совершенно непомерное, монополюльно безграничное повышение нормы арендной платы, превратившейся в орудие разорения крестьян (об этом писали практически все губернские газеты), власти поставили общественность в известность: в случае конфликта они будут отстаивать исключительно помещичьи интересы.

Очевидно, излишне повторять, что чувствуя такую отстранённость имперской администрации от крымскотатарских нужд, если не прямую враждебность к коренному народу полуострова, всё более разнузданно вели себя и великорусские сторонники прямого террора против иноверцев; когда в августе уже 1906 года громили их дома и лавки, то патриоты, как писала пресса, «выказали необыкновенную жестокость» (Голос Тавриды. 12.08.1906).

#### г) Выводы

Активность крымских татар в 1905–1907 гг. имела сложный, неодноплановый характер. Конечно, движущей силой национального движения этих лет было ухудшение материального положения основной массы народа, то есть крестьян.

Отсюда и многочисленные конфликты, доходившие до открытых столкновений. Но, заметим, эти столкновения провоцировались не татарами, а властью, как, к примеру, в Коперликое. А там, где землевладельцы проявляли желание договориться миром, найти компромисс, конфликт угасал тут же, не успев разгореться (Байдарская долина). Исключением из этого вывода может быть названа лишь деятельность некоторых радикально настроенных крымскотатарских интеллигентов, которые в эти годы вели откровенно политическую деятельность, от легальной (кандидаты в Думу) до революционной: карасубазарский мурза А.М. Ширинский, уже сидевший в заключении за свой политический экстремизм, в январе 1906 г. снова подстрекал своих деревенских соседей из Орталана к разгрому имений Ралли и других землевладельцев — впрочем безуспешно (Тавричанин. 04.02.1906).

Объяснить такой всплеск социально-экономической активности многотерпеливого, в общем-то, крымскотатарского народа можно, конечно, накалённостью общественной атмосферы тех лет, как и сравнительной безнаказанностью участников аграрных волнений, ведь в месяцы, когда по Чёрному морю бродил мятежный броненосец «Потёмкин», а часть флота готовилась к вооружённому восстанию, властям было не до татарских порубок леса. Однако национальное движение явно не ограничивалось чисто экономической борьбой. Инициативные группы, насчитывавшие сотни активных членов, разворачивают агитацию за реформы народного просвещения, за коренное изменение структуры Духовного Правления, за введение в социальную и духовную жизнь демократических начал и, наконец, за реформу самого святого, а именно за раздел вакуфной недвижимости.

Поэтому даже если бы не были приняты отдельные решения, направленные на возврат крымскотатарских общин к исламской чистоте и высокой человеческой морали (Дуванкой), всё равно можно было бы сделать вывод о внезапно усилившемся в этот период стремлении народа возродить традиционные ценности, вновь подняться на былой культурный уровень, делая при этом ставку на новое поколение. Это вполне оправданное и закономерное стремление крымских татар было правильно оценено уже современными им российскими обозревателями — точнее, наиболее глубокими из них: «Видимо, и 200-тысячное татарское население Крыма давно подготовлено к новым формам политической жизни и ждёт только осуществления своих элементарных человеческих прав, чтобы накопившуюся вековым застоём энергию направить на культурное усовершенствование своё. Дай Бог вам, татары, достойных руководителей!» (Голос Тавриды. 14.12.1905).

Но эта многосложная и неоднозначная активность крымских татар не обладала одним признаком, часто приписываемым историками огульно тем или иным прослойкам «эпохи пролетарских революций», а именно революционностью. Для народа скорее были характерны прямо противоположные настроения, которые, впрочем, трудно назвать и эволюционными. Скорее это было стремление к возрождению старых, испытанных временем национальных ценностей.

Выше подчёркивалось, что общины по собственной инициативе выбирали сельских уполномоченных, единственной обязанностью которых было следить за порядком. То есть за поддержанием на должном уровне и сохранением одной

из основных ценностей традиционного мусульманского социума<sup>1</sup>. Конечно, при этом и речи быть не могло о нарушении установленного порядка самими мусульманами, как бы их к этому ни провоцировали асоциальные или политически радикальные элементы города и деревни. Революция была не нужна крымской общине, «стойкой» по общеисламским причинам.

Как говорил исламский теоретик реформизма XX в. Али Абд ар-Разин, «Ислам не установил конкретной системы власти и не навязал мусульманам какого-то режима, который должен управлять ими. Он предоставил нам абсолютную свободу в организации государства в соответствии с реальной идейной, социальной и экономической ситуацией, с учётом нашего общественного развития и потребностей эпохи» (Цит. по: Хачим, 1999. С. 65). То есть, восстание против любого режима правления столь же бессмысленно, как стремление совершить переход под власть иного правителя в результате отделения от империи. Ведь для истинно мусульманской общины безразлично, будет ли такое правительство «абсолютистским или ограниченным, авторитарным или республиканским, деспотическим или конституционным, коллегиальным, демократическим, социалистическим или большевистским» (Там же).

Ну а конкретная российская революция, различные партии которой ставили себе целью построение социализма, была особенно чужда крымским татарам именно по этой причине. Ещё в XIX в. весьма популярный философ К. Леонтьев высказал вполне бесспорную и, главное, общепонятную истину: «Социализм — это феодализм будущего». Как же могли жертвовать своими жизнями ради такого будущего крымские татары, которые (в отличие от великороссов) и в средние-то века феодализма не знали и знать не хотели? Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы прозреть основу будущего социализма: он явно предполагал (как и прошлый феодализм) эксплуатацию человека человеком. Это можно было ещё как-то терпеть, но кто заставил бы крымских мусульман бороться за столь явное нарушение принципов исламского равенства, просто ради нарушения порядка, что ли?!

Примером же зеркально противоположным, примером поддержания распадавшегося порядка могло служить неоднократное пресечение погромов конниками Крымского дивизиона, в котором был самый высокий, по сравнению с другими частями, процент крымских татар. Они же принимали деятельное участие в прекращении незаконных митингов, демонстраций и шествий, которые

<sup>1</sup> Ранее неоднократно говорилось о том, что протест против власти в мусульманском обществе допустим лишь в случае, если эта власть попирает исламское право. Во всех иных случаях мусульманин должен не только не нарушать установленный порядок, но и поддерживать его. Это — общий долг, который превыше любых личных интересов, распространяющийся даже на далёких миру сему вероучителей и монашествующих. Выполнение такой обязанности является непременным условием чистой жизни, праведного поведения: «Я дервиш и стою на защите веры и порядка... чему посвящено столько лет чистой жизни», это типично исламское рассуждение (Селимович, 1969. С. 53). А вот пример диаметрально противоположного поведения: в Крыму «постепенно воспитывался новый слой русских лаццарони, ленивых, распушенных... Порох был готов, и когда 13 марта 1905 г. искра русского пожара долетела до южного берега, последовал мгновенный взрыв. Босая Ялта разгромила магазины, разграбила вещи, пыталась сжечь город...» (Кривенко, 1914. С. 23).

часто переходили в насилие над мирными гражданами крымских городов (Гелис, 1925. С. 19). Действия дивизиона были весьма эффективными. Тем не менее на джанкойском съезде 20.12.1905 г. «собрание постановило о преобразовании Крымского дивизиона в полк из крымских татар» (Крым. 05.01.1906). Понятно, что при этом опасностям, неизбежным при военных операциях, подверглось бы куда большее число соотечественников, но зато более успешно решалась бы основная задача<sup>1</sup> поддержания порядка, и в жертву ей были принесены все прочие соображения.

Ещё одним примером выдержанности, духовной стойкости крымскотатарской общины могут служить более ранние, ялтинские события 1905 г. Когда вспыхнули лавки на Старом базаре и запылал дом А. Бекирова, то, по словам современников, этот чудовищный вызов, брошенный в лицо дисциплинированного, но весьма неробкого народа, мог вылиться в «настоящую резню, могли нагромил хлынуть вооружённые и всегда умеющие прекрасно организоваться татары. Об этом и шла речь в окрестностях Ялты, в многолюдном Дерекое. Татары заволновались, вооружились, сбили экстренный сход, но на сходе было принято весьма благоразумное решение, имея в виду, что при нынешнем смутном времени все обвинения могут обрушиться на голову татар... ограничиться охраной самого Дерекоя без различия национальностей и имущественного положения (выделено мной. — В.В.), а относительно Ялты подождать: если потребуют — идти на помощь<sup>2</sup>... Татары выставили конные вооружённые патрули по дорогам в Ялту и стали задерживать мелких грабителей, возвращающихся с похищенным в городе имуществом. Подобная же моментально почти созданная организация самозащиты была устроена в Аутке... Аутка совершенно уцелела...» (Крым. 03.04.1905).

Привести дополнительное объяснение такой нормы поведения в экстремальных обстоятельствах нетрудно, оно лежит на поверхности. Но более заманчиво вместо логических выводов предоставить слово современникам событий начала XX в., в любом случае они будут ближе к истине, чем сделанные веком спустя умозрительные заключения. Итак, крымская пресса писала по горячим следам: «Мусульман удерживают от участия в народных волнениях железная дисциплина религии, трудолюбие, довольство малым, покорность судьбе, свойственный всем восточным народам консерватизм в убеждениях и глубокое уважение к переданным предками обычаям и образу жизни» (Салгир. 20.05.1905).

Таким образом, крымскотатарское население противопоставило себя силам мятежа («революции») с одной, и черносотенного шовинизма — с другой стороны. В этом противопоставлении начисто отсутствовала черта, мысль о которой невольно приходит в голову исследователя, — имеется в виду нацио-

<sup>1</sup> Именно в борьбе с внутренними беспорядками в Крыму не совсем подходили воинствующие — единоверцы черносотенных элементов. Понятно, что не все православные конники дивизиона находили в себе силы разогнать толпу, прикрывающуюся иконами (это была обычная практика погромов).

<sup>2</sup> Ялтинская администрация во время этой волны насилия оказалась бессильной, не имея возможности положиться даже на полицию: городовые, пользуясь хаосом, воцарившимся в этом городе, сбивали замки с лавок и магазинов, участвуя в повальном грабеже (Урановский, 1925. С. 101).

нальный эгоизм. В 1905–1907 гг. татары, выступив на защиту порядка, взяли под защиту беспомощных (невооружённых) своих соседей-евреев. Для настоящих мусульман такой душевный порыв глубоко естествен, они обязаны выступать на защиту обездоленных и безвинно преследуемых. И они спасали еврейские семьи от озверевших «пролетариев» под чёрными хоругвями с архангельскими диками на них. Такие поступки были нормой, их никто не ставил себе в заслугу, а хроникёров-газетчиков они практически не интересовали, отчего эта сторона крымской действительности тех лет отражена в печатных источниках слабо (См., напр., в: Ланда, 1995. С. 158).

Как свидетельствуют факты, так называемой «классовой борьбы» в Крыму 1905–1907 гг. и близко не было ни в современной, ни в классической (марксовской) формах. Как, впрочем, и во всей России. Что же касается крымцев, то они не принимали участия и в политэкономических инициативах, вроде деятельности образовавшегося в 1905 г. в стопроцентно русской Воинке «Крестьянского союза» или же «Таврического крестьянского союза» в Симферополе (декабрь 1905 г.). И, конечно, если какие-либо группы избирали средством политической борьбы вооружённое насилие, там крымских татар можно было не искать. Такое решение назревших проблем им абсолютно не подходило. Другое дело, что на коренной народ пытались взвалить смертный грех убийства и насилия, в котором были виновны не они, но эта затея не могла удалиться в небольших городах, где все прекрасно знали друг друга<sup>1</sup>, и где образцы поведения татар были у всех перед глазами. И, конечно, крымцы села и города не имели никакого отношения к готовившемуся большевиками кровавому мятежу, который должен был начаться в Севастополе и Керчи и для которого уже было закуплено оружие. И когда в начале декабря 1905 г. действительно возмутились городские низы и даже солдаты царской армии в Феодосии, Севастополе и Симферополе, коренной народ безмолвствовал (Южный курьер. 21.12.1905).

И последний вывод о следствиях и результатах 1905–1907 гг. Он касается иной части российского населения, а именно великорусской общественности. К сожалению, для широких её кругов кровавые события этих лет не послужили предостережением на будущее. Более того, развитие политических настроений в том же тупиковом великодержавном направлении продолжалось. Откровенно погромный (и оттого неприемлемый для большинства) Союз русского народа вскоре обрёл достойного собрата, гораздо более массовый Всероссийский Национальный союз. В уставе этой общественной организации прямым текстом говорилось:

«Нам, русским, недаром далось это господство... Ни с того ни с сего делить добытые царственные права с покорёнными народцами — что же тут разумного, скажите на милость? Напротив, это верх политического слабоумия и представляет

<sup>1</sup> Пример такой попытки: при разбирательстве дела о тяжких преступлениях во время карасубазарского погрома 21 октября 1905 г. была арестована группа крымских татар (Решид-оглы, Куршут, Амет Осман-оглы, Джавджуров и др.). Следствие выяснило, однако, что все эти обвиняемые были абсолютно невиновны. Тюремные же сроки вполне заслуженно получили совсем иные «пассионарии»: некие С. Полонский, И. Рябоштанов, С. Иванов, Г. Курдагов и прочие носители явно не татарских фамилий. (Южный голос. 14.07.1906).

собой политическое мотовство, совершенно подобное тому, как в купечестве „тягенькины сынки“ — получив миллион — начинают разбрасывать его лакеям и падшим женщинам. Сама природа выдвинула племя русское среди многих других, как наиболее крепкое и даровитое. Сама природа доказала неравенство маленьких племён с нами. Скажите, что ж тут *разумного* идти против природы и истории и утверждать равенство, которого нет? И *справедливо* ли давать одни и те же права строителям русского государства и разрушителям его?» (Новое Время. 5/18.06.1908).

Эти и иные, схожие откровения теоретиков крупных социально-этнических групп тогдашней России заставляют взглянуть на историю столыпинских преобразований в несколько нетрадиционном аспекте, который.

### 3. Национальная подоплёка столыпинских реформ

В любом многонациональном государстве устойчивый и органично развивавшийся правовой механизм может быть построен лишь при широком участии в нем всех народов этого государства. Однако бюрократия, в любую эпоху весьма далёкая от интересов масс, игнорировала явную культурную и экономическую животворность такого участия. Она не только не стремилась организовать его, но и всячески ему противилась из узкословных эгоистических интересов. Её главная цель — монополизация собственной власти, не имела ничего общего и с государственными интересами. Поэтому национально-освободительные движения, разгоравшиеся в последние десятилетия существования Российской империи, были оправданы объективной исторической необходимостью точно так же, как рабочее движение на Западе, приведшее мир к современному уровню демократии европейского типа. Как верно отмечено, начиная со своего зарождения, оба эти типа (восточно- и западноевропейский) активности подавленных человеческих групп «представляли собой „неисторические“ слои европейского населения, и оба боролись за участие в общественных делах» (Арендт, 1996. С. 366).

В Крыму (как и в ряде других областей России) власти не ограничивались простым отстранением татар от участия в управлении их краем, но до последних дней существования монархии безоглядно растрачивали тающие духовные ресурсы российской государственности на бессмысленную, при всей ее энергичности, борьбу с пробуждающимся самосознанием «инородцев»<sup>1</sup>. Эта политика проявлялась и «в весьма бесцеремонном обирании этих племён путём всевозможных повинностей и в крайне равнодушном попустительстве по отношению к разного рода хищникам, эксплуатирующим местное население» (Славинский,

<sup>1</sup> Следует подчеркнуть, что в то же время ряд представителей наиболее просвещённой бюрократии полагал необходимым предоставить участие в управлении приграничным областям местному нерусскому населению. Один из них, А.Н. Яхонтов, обосновывал своё мнение тем, что в этих краях культурный уровень переселившихся туда русских крайне низок (Архив русской революции. 1926. Т. 18. С. 62), что можно было отнести и к Крыму.

1910. С. 290). И нас не должны вводить в заблуждение такие памятники имперского «братства народов», как Указ 12 декабря 1904 г., где говорилось о немедленном расширении религиозных прав и об отмене административных стеснений в этой области, об укреплении начал веротерпимости. Кстати, указ этот так и остался на бумаге, не став законом (Тукаев, 1912. С. 4).

То есть, дискриминационные законы остались в силе, и, что хуже, складывалась практика и привычки представителей одних этносов третировать, а иногда и терроризировать другие. Вот один лишь пример: в опубликованном в тот же период Уставе лесном (Том 8. С. 214) крымским татарам опять (в который раз!) запрещалось держать коз. Причём скотовладельцы других национальностей, жившие в Крыму, даже не упоминались. Уже были преступлены незабываемые ранее в Крыму грани простой культуры общежития и даже правопорядка. Русские все настойчивее преследовали крымских татар и на уровне бытового шовинизма, но к желанной Петербургом цели поголовной русификации это пока не приводило.

Все дискриминационные «методы и приёмы, практиковавшиеся без помех и почти без активного сопротивления на всём пространстве Российской империи, не привели к тому, на что были рассчитаны, к денационализации недержавных народностей. Особенно бесплодной оказалась эта политика на западе и юге империи. Более того, «национальный гнёт, ознаменовавший „русскую“ политику на всех окраинах империи, содействовал их национальному развитию в такой же мере, как некогда в XVII–XVIII веках гнёт Турции сохранил народности сербскую и болгарскую» (Славинский, 1910. С. 291).

Конечно, это не общая картина. Не все «племена» были достаточно сильны и национально самодостаточны для того, чтобы выработать такую вот оптимальную реакцию на культурный гнёт. Кое-где (прежде всего в Сибири) запланированного результата удалось добиться: «...живой, творческий дух народов был растрочен на борьбу с мелочными придирками, принижен в вынужденном подпольном существовании, сделавшись подозрительным, ненавидящим, недоверчивым» (Станкевич, 1921. С. 5). Впрочем, к крымским татарам это не относилось.

1905 год принес небольшим нациям России новые надежды: была восстановлена конституция Финляндии, отменены дикие законы о запрещении украинской, белорусской, литовской письменности, дарована свобода организации партий и союзов, в том числе по национальному и религиозному принципам. Но с мусульманами всё осталось по-старому, в чём царизму пришлось вскоре раскатыться. И именно после ряда русификаторских, по сути, законов 1907–1909 гг. на окраинах усилились пантюркистские и панисламистские настроения, что было вполне естественной, здоровой реакцией на угрозу исламской культуре (Ланда, 1995. С. 169). Но в тюркской среде активизировалась не только национально-освободительная деятельность, а и общеполитическая.

В ответ последовал мощный общественно-публицистический и репрессивно-политический нажим на российское мусульманство в целом. Начались обыски и аресты у исламских вероучителей, общественных и культурных деятелей. Даже известные учёные и преподаватели тюркского происхождения не могли избежать этой участи. Причём не только те, кто жил на родине, а и в столице империи, в других российских городах. Так, преподававший в московском Лазаревском



Асан Сабри Айвазов  
Фото начала XX в.

институте восточных языков крымчанин Асан Сабри Айвазов,<sup>1</sup> за которым не числилось никакой вины, подвергся унижительному обыску, был арестован, а затем выслан без суда.

В то же время П.А. Столыпин, бывший с 1906 г. Председателем совета министров, в своём выступлении в Государственной думе 6 марта 1907 г. намеревался провести следующие преобразования в национальной сфере российской жизни: «Образование министерства национальностей; полное равенство всех граждан, независимо от национальности и вероисповедания; административная децентрализация в регионах, населённых в основном нерусскими, для обеспечения будущего их участия в ведении своих дел...» (Цит. по: Пауинс, 1994. Ч. I. С. 200). Однако ничего из этой громогласной программы (неизвестно на кого из не столь уж легковверных российских подданных рассчитанной) осуществлено не было.

Напротив, российские чиновники, число которых на окраинах заметно увеличилось (это был так называемый «столыпинский призыв»), с подачи центральной администрации весьма «скоро усвоили, что туземцев можно грабить до

<sup>1</sup> А.С. Айвазов (1878-1938) писатель, журналист, политический лидер. Родился в Алушке, учился в университетах Стамбула и Каира. В 1906–1908 гг. близкий сотрудник Абдурешита Медиева, с 1914 г. редактор *Терджимана*. По идейно-политическим воззрениям был близок к эсерам. В мае-апреле 1918 г. дважды избирался председателем Первого курултая. Посол Крымского краевого правительства в Турции. Один из организаторов национальной партии Милли Фирка. В 1930-х гг. подвергался политическим преследованиям, тщетно пытался выехать за рубеж. В 1937 г. арестован, в 1938 — расстрелян. В отличие от множества жертв сталинского режима донныне не реабилитирован.



П.А. Столыпин.  
Официальный фотопортрет

бесконечности» (Булдаков, 1994. С. 17), чем и занялись. А в официальной Российской прессе именно после 1907 г. подымается дикая травля мусульманской общественности в целом, мусульман России вообще. Это была одна из первых кампаний, развёрнутых против «исламской угрозы», якобы агрессивно направленной против православной части населения империи. Тогда же какое-то фантастически пугающее значение приобрело обшемусульманское культурно-религиозное движение, известное под именем *панисламизм*, смысл которого попытаемся прояснить.

У его истоков стоял видный мусульманский деятель Джамаль ад-Дин аль-Афгани, который в 1860-х гг. выступил с широкой реформаторской программой. Основной смысл её был в возрождении в богословии и духовной практике принципа *иджтихада*, то есть в решении новых или не решённых предшественниками вопросов таким образом, чтобы эти решения одновременно опирались на ислам и поддерживали его. Методом богословского поиска при этом было избрано изучение религиозно-правовых источников, а при недостаточности их в современной ситуации — свободное обсуждение соответствующих проблем с целью достижения компромиссных решений, а не слепого признания лишь устоявшегося мнения улемов. На практике иджтихад был направлен на искоренение разногласий прежде всего между суннизмом и шиизмом, а также множеством исламских сект и направлений: к тому времени одних только дервишских орденов или братств различного толка насчитывалось более трёхсот с отличавшимися друг от друга молитвенными практиками и политическими симпатиями. Таким образом, основной целью иджтихада стал возврат к религиозному единству, существовавшему в ранней мусульманской общине.

Это движение имело ярко антинационалистическую направленность; так аль-Афгани утверждал, что «мусульманин не знает иной национальности, кроме своей религии» (цит. по: Ланда, 2004. С. 58). Под влиянием идей иджтихада Азию, Северную Африку и мусульманский юг Европы охватило движение, ставившее своей целью достижение религиозной и — шире — культурной общности

исламского мира. Оно и получило среди европейских и российских политиков и публицистов имя панисламизма.

В начале XX в. в Европе и России панисламизму стала искусственно придаваться агрессивная направленность, причём паника по этому поводу охватила самые широкие общественно-публицистические, политические и церковные круги. Но почти одновременно против искажения смысла и направленности панисламизма выступили российские политические деятели, которые, в отличие от публицистов, профессионально разбирались в идеологии и целях этого мирного движения. В 1914 г. российский посол в Турции М.Н. Гирс писал в Санкт-Петербург о том, что панисламизм «является объединяющей идейной силой мусульман, и России нет никакого основания считать его враждебным себе. Напротив, панисламизм может быть подчинён русским интересам, если мусульмане... будут видеть сочувствие к себе со стороны России» имея в виду не только зарубежных мусульман (цит. по: Исхаков, 2007. С. 311).

Несколько ранее Садри Макеуди, депутат Государственной Думы II и III созывов, человек весьма проникательный, выявил истоки этой антимусульманской истерии, обоснованно и доказательно связав их с политической активностью православных миссионеров и деятельностью П.А. Столыпина. Выступая в марте 1912 г. на думском заседании, он заявил буквально следующее:

«Панисламизм — это выдумка политиканствующих русских миссионеров. Я не скажу, чтобы русские политиканствующие миссионеры сами выдумали эту идею — нет, кошмар панисламизма существовал и раньше. Главным образом о панисламизме писали востоковеды тех стран, которые не имеют мусульманских подданных, они говорили: почему же не быть панисламизму, раз существует пангерманизм и панславизм? Может быть, этим германским, венгерским, австрийским и другим востоковедам желательно было, чтобы такое учение существовало, но никогда они не говорили, что это существует. И вот наши миссионеры и очень умело, очень искусно использовали это слово в целях своих обществ...»

Я должен сказать, что никогда стремление миссионеров толкнуть правительство на путь агрессивной политики не находило такую благоприятную почву в правительственных сферах, как при министерстве Столыпина. Когда наши миссионеры видели, что Столыпин обнаруживает тенденцию националистической политики, что в Думе образовалась партия националистов в специфическом смысле этого слова, когда они видели, что в Думе стали господствовать гг. Крупенские и Бобринские, тогда наши политиканствующие миссионеры поняли, что теперь их время настало и что теперь, что бы они ни сказали, в Петербурге поверят, если то, что они говорят, направлено против инородцев» (Государственная Дума. Третий созыв. Стенографический отчёт. Часть III. СПб., 1912. Стлб. 976–996).

С целью нейтрализации национальных движений (в частности, борьбы с панисламизмом) была даже создана особая партия. История её становления (точнее, двух — вначале Русской Национальной фракции Третьей Думы, а затем параллельной ей партии «Всероссийский национальный союз») тесно связана с планами и надеждами премьер-министра. «Сам выходец из Литвы, он превосходно понимал, чего больше всего на свете боится русское население окраин. Оно боится инородцев. Оно боится их, потому что не умеет ни распоряжаться

землёй, как польские помещики, ни обрабатывать её, как немецкие и чешские колонисты, ни торговать и работать, как еврейские купцы и ремесленники. А ещё оно боится слабости центральной власти, которая может в один прекрасный момент оказаться неспособной защитить русские привилегии на окраинах государства (курсив мой. — В.В.). Реформы нужны! Но в первую очередь — для русских. Иначе инородцы, которые и без того лучше организованы, окончательно вытеснят русскую элиту с окраин, а малограмотное простонародье обратит в свою, иноверческую культуру и веру. А посему: „Россия для русских!“» (Коцюбинский, 1994. С. 4).

У этих новых организаций и партий было несколько лидеров: крупный помещик П.Н. Балашёв, сахарозаводчик В.А. Бобринский, уездный предводитель дворянства П.Н. Крупенский, известный публицист М.О. Меньшиков, помещик и киевский журналист В.В. Шульгин и т. д. Однако «истинным патриархом русских националистов был при жизни и оставался таковым после смерти Пётр Аркадьевич Столыпин» (там же).

К такому же выводу, но на основе иных источников, приходят и более современные исследователи думской деятельности П.А. Столыпина. Упомянув о политике русификации и преследований инородцев, немецкий автор утверждает, что «после революции 1905 года премьер-министр Столыпин всё чаще делал ставку именно на эту карту и, используя избирательное право, прилагал серьёзные усилия к созданию националистической опоры во вновь учреждённом парламенте» (Реннер А. Изобретающее воспоминание: русский этнос в российской национальной памяти // РИЗИ, 2005. С. 451).

В результате этого наступления мусульмане России стали оказывать поддержку политическим партиям, в основном кадетской (думская «Трудовая группа»), радикально выступавшей против столыпинского правительства и самодержавия вообще. Причиной этому имелось несколько, но основной из них была, очевидно, та, что программа кадетов ставила задачей партии защиту интересов беднейшего крестьянства; кроме того, кадеты выступали за предоставление всех гражданских прав мусульманам, как, впрочем, и остальным нерусским и неправославным группам населения империи. Конечно, равенства всех перед законом требовали и другие политические партии, в том числе социалистические. Однако мусульман отталкивала сама теория социализма. Во-первых, уравнилельно-коллективистский дух этой теории противоречил высоко личностному характеру ислама. Во-вторых, для исламистов не доходил смысл классовой борьбы, когда в мусульманской джемаат и без того никаких «классов» не было. В-третьих, социалисты всех мастей (от эсеров до ленинцев) обещали буквально рай на земле, тогда как «мусульмане по врождённой наклонности к порядку не воспринимают утопических теорий. Теория социализма и мусульмане — всё равно, что бешеный конь и грудной ребёнок» (Мусульманин. 1910, № 24, 782).

Та же картина наблюдалась в Крыму. Прежде всего нужно сказать, что выборы в I Думу похоронили мнение о политической пассивности крымских татар. Когда люди воочию увидели, что есть крупная партия, в кои-то веки ставшая на защиту их прав, они и стали её поддерживать, — что тут неестественного? Причём проявляя при этом активность, едва ли не большую, чем у русскоязычной

части населения<sup>1</sup>. И это несмотря на гораздо большие, чем в городе, трудности для такого проявления своей воли: ведь крестьянам было сложнее бросать, даже на короткое время, своё хозяйство (где никогда на все дела, как известно, светового дня не хватает), чтобы отправляться в город, на митинг или голосование. И это уже не говоря о крымских татарах-батраках, которым с той же целью приходилось идти на унижительное упрощение хозяина отпустить их на день-два.

Но, как вспоминал один из кадетских лидеров, активность крымских татар была огромной: в день выборов в Алушту пришли все избиратели из всех деревень уезда, несмотря на то что некоторым пришлось для этого идти всю предшествующую ночь по горным дорогам. Причём трудный этот путь проделали и крымскотатарские старики (*Оболенский*, 1988. С. 320, 324). В конечном счёте общая стратегия, когда друг другу помогала самая «неевропейская» часть населения и самая европеизированная партия, принесла свои плоды: в Думу было избрано 40 кандидатов, поддержанных мусульманскими регионами.

#### 4. Группы Р. Медиева, РСДРП и другие

До *открытой* критики господствовавшего режима поднялись духовные наследники Исмаил-бея Гаспринского, своим радикализмом превзошедшие Учителя ещё при его жизни. Самой дееспособной из младотатарских организаций оказалась группа Решиды (Абдурешиды) Медиева. Этот карасубазарский учитель крестьянского происхождения интеллектуально и нравственно вырос в атмосфере новометодных училищ. Тем не менее политически с самого начала своей деятельности (1900 г.) он отмежевался от И. Гаспринского, заявив, что стоит «на полярно противоположной точке зрения с ним по вопросам социально-экономическим» (цит. по: *Бочагов*, 1936. С. 18). Программа группы Р. Медиева отражала интересы беднейших крестьян, ремесленников, кустарей. Его сторонники были прежде всего просветителями, борцами за подъём национальной культуры народа, культуртрегерами. Но они не считали просвещение универсальным лекарством для всех болезненных явлений в жизни Крыма, где экономическая отсталость обезземелённых татар была ужасающей, где без земельных реформ, без перераспределения вообще всех средств производства никакое просвещение не имело смысла.

С другой стороны, нельзя сказать, что Р. Медиев принадлежал к самым радикальным своим коллегам в Думе из числа мусульман. Так, он никогда не смог подняться до уровня казахского депутата Думы Каратаева, смотревшего в корень всех проблем тюркоязычных народов, и поэтому требовавшего (между прочим, впервые в истории государства) ввести законоположения, направленные на прямое ограничение роста русской диаспоры на мусульманских окраинах Российской империи.

<sup>1</sup> Между прочим, администрация Таврической губернии (а, значит, и Петербург) не могли постичь, что произошло на этих выборах «с татарским населением, несколько не изменившим своих патриархально-консервативных воззрений, но во время выборов служившим по большей части интересам левых партий» (Отчёт Таврического губернатора за 1906 г. — РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 51. Л. 1017).

Р. Медиев формально баллотировался в Думу от партии конституционных демократов, но фактически кадетом, конечно, не был. Он вообще никогда не заявлял о принадлежности к какой-либо политической партии. Однако сохранившиеся программные документы группы и его личные записки дают основание полагать, что он ближе всего стоял к социал-революционерам. Собственно, это естественно: в период до революции 1905 г. вряд ли какая-либо иная партия России столь наглядно и ярко (хоть и не всегда последовательно) отражала интересы не фабричного пролетариата, а связанных с землей или иными частными средствами производства крестьян, ремесленников, кустарей, то есть слоев, составлявших в Крыму, в отличие от промышленных регионов России, большинство трудящегося населения. Слоёв наиболее обездоленных, которым и посвятили свою борьбу Р. Медиев и его соратники: уже упоминавшийся А.С. Айвазов, а также А. Боданинский, В. Ибраимов, С. Идрисов, Я. Байбуртлы, Д. Меинов, С.Д. Хаттатов и др.

Еще в 1900—1902 гг. в Симферополе, Севастополе и некоторых других городах возникли первые социал-демократические организации (в 1903 г. они объединились в Крымский союз РСДРП). Эта партия, в отличие от эсеровской, не уделяла коренному населению Крыма никакого внимания. Как большевики, так и меньшевики развернули в предреволюционные годы бурную деятельность на фабриках, в портовых мастерских, на заводах и кораблях Черноморского флота, в матросских и солдатских казармах. И хотя уже была написана и издана брошюра В.И. Ленина «К деревенской бедноте», пока не обнаружено ни единого свидетельства о том, что крымские единомышленники вождя революции вели хоть какую-то работу в татарской деревне.

Нельзя, впрочем, сказать, что крымское село вообще не видело в эти предгрозовые годы социал-демократов. Они уделяли некоторое внимание и крестьянству, но исключительно пришлому, не имеющему в Крыму корней, то есть тем, кто не имел собственного хозяйства и кому действительно было «нечего терять, кроме своих цепей». Очевидно, в этом и кроется причина поистине необъяснимого пренебрежения, с каким относилась РСДРП к крымцам. Подобное объяснение — не наш вывод, он был сделан в несправедливо (хотя бы из-за их объективности) забытых работах советских историков крымского революционного движения, изданных в период, предшествовавший утверждению культа личности Сталина в науке. Авторы этих работ откровенно, хоть и несколько наивно, сетуют на то, что татары были негодны для социал-демократического движения, не воспринимали его идеи уже в силу своей привязанности к «товарному производству» индивидуального типа, будь то деревенские животноводы, виноградари, садоводы или городские ремесленники, кустари, мелкие торговцы.

Имелся здесь и еще один, внеэкономический фактор. «Буржуазные националисты», хранившие в абсолютном большинстве традиционную верность российскому престолу, вели борьбу, направленную против программных установок социал-демократов и эсеров. И при этом за ними шла значительная часть крымцев (для которых вообще был характерен известный традиционализм), увлеченных национальной программой подъёма татарских культур и просвещения, экономического развития деревни «без войн и революций». Глобальные идеи социал-демократов проигрывали в глазах деревенских татар и в сравнении с эсеровской программой. Селу Крыма уже которое десятилетие почти постоянно грозило вымирание от

элементарного голода, а «городские» соотечественники-эсеры предлагали план немедленного и полного избавления от этой угрозы, раздачу земель и т. д. Таким образом, эсеры увлекали наиболее радикально настроенную часть народа, тех, кто не принимал буржуазно-националистическую эволюционную программу, кто требовал немедленных, революционных социальных и экономических перемен, всестороннего улучшения условий жизни деревенской и городской бедноты.

Вот этим-то двум политическим партиям социал-демократы и уступили без боя крымскотатарское село. Подобное пренебрежение крестьянской массой принесло большевикам свои горькие плоды и в 1917 г., и позже. Причем дело здесь даже не в том, что в канун Октября в ленинской партии оказался единственный крымский татарин — упоминавшийся выше И. Фирдевс<sup>1</sup>. Случилось то, что вполне могли предвидеть социал-демократы в 1900–1905 гг.: в 1917 г. произошел взрывной подъём политической активности татар, но завоёвывать авторитет среди них уже было поздно, ибо их симпатии целиком принадлежали молодой татарской интеллигенции социал-революционного направления, создавшей себе прочную опору в крымской деревне и занимавшей ведущее положение в национально-демократическом движении еще до 1905 г.

Ещё одно значение, которое 1905 год имел для истории татарского движения, заключалось в поражении националистов-сепаратистов, проповедовавших идеи мелкобуржуазного социализма для национальной интеллигенции. Они искренне увлеклись программой эсеров, партии, которая, по их мнению, была на самом прямом пути разрешения основной проблемы нации — земельной, а также политического раскрепощения крестьянства. Оба этих вопроса были активизированы революцией, не принесшей татарской деревне никакого облегчения. Еще один вопрос, также впервые поставленный 1905 годом, — о коалиции с трудящимися России — возник также в надежде укрепить движение за счет консолидации революционно-демократических сил империи. Инициатором здесь выступил Р. Медиев.

Организирующим центром нового, антисепаратистского движения стала газета группы Решида Медиева *Ватан хадими* (Служение родине), первый крымский печатный орган, поставивший вопрос об обеспечении крестьян землей во всей его глубине и сложности. Вспоминая недолгие годы существования газеты (первый номер вышел в 1909 г., а в 1912 г. её закрыли власти), А. Озенбашлы<sup>2</sup> писал, что она

<sup>1</sup> Исмаил Керим-оглы Фирдевс (1888–1937) был хорошо образован, знал несколько иностранных языков. В начале революционной деятельности — эсер, с мая 1917 г. перешёл к большевикам. Комиссар по иностранным и национальным делам Республики Тавриды. Нарком иностранных дел в правительстве Крымской ССР (1920), затем заведующий Наробразом (1920–1921). Исполнял обязанности наркома юстиции Крымской АССР и Верховного прокурора республики (1922–1924). Поддерживал антисталинскую оппозицию во главе с М.Х. Султан-Галиевым. Арестован и расстрелян осенью 1937 г.

<sup>2</sup> Озенбашлы Амет Сеит Абдулла (род. в Озенбаше, ум. в 1958 г.), по образованию врач. Публицист, историк, один из теоретиков и политических руководителей крымскотатарского национально-освободительного движения 1917–1920 гг. При советской власти был активным сторонником не классовой, а национальной власти в Крыму (1920). Член Милли Фирка, вынужденный в новых условиях проводить свою политическую программу в подполье. Директор Крымского педагогического техникума (1922). В 1928 г. объявлен врагом



Амет Озенбашлы с женой.  
Из коллекции издательства «Тезис»

повела «яростную борьбу за землю, являющуюся жизненно важным вопросом для крестьян», и в этом было её отличие от более умеренного «Терджимана» (Озенбашлы, 2005 «а». С. 9). Подымались в ней и проблемы просвещения, она призывала молодёжь, в том числе крымскотатарских девушек, в гимназии, в университеты.

Вокруг газеты спланиваются теперь не только интеллигенты, но и гораздо более широкие социальные прослойки и группы, среди которых на первом месте стоят учителя, а среди них — преподаватели русского языка, получившие образование в России, люди, хорошо знавшие российскую действительность и знакомые с революционной теорией и практикой Севера. Популярность групп возросла теперь настолько, что к Медиеву переходят самые перспективные сторонники И. Гаспринского — такие как С. Идрисов, О. Заатов, Менсеит Джемилев, Арабский, Д. Сейдамет и др. Показательно, что верными «Терджиману» остались почти исключительно учителя, получившие образование в Стамбуле, то есть деятели общемуусульманской культурной и политической ориентации.

Всего три года выходила газета, но значение её выпусков было огромным, считал А. Озенбашлы: «Какое это решительное наступление, какая сила, глубина

народа, три года ожидал исполнения высшей меры наказания. В 1938 г. был выпущен на свободу, с пожизненным запретом возвращаться в Крым. Эту возможность предоставила ему война. Несмотря на скромный профессиональный статус рядового врача, Амет Озенбашлы по-прежнему признавался крымцами в качестве ведущего национального лидера, последнего, оставшегося на территории СССР. Поэтому после оккупации Крыма во время Второй мировой войны был приглашён на родину, где его политический и нравственный талант развернулся в прежней мощи. О дальнейшей его судьбе см. ниже.



и свежесть! Но это молодое деревце срубают. Однако проходит не так много времени, и буйно пробившиеся вокруг него ростки становятся бессмертными, как семиглавый дракон. Свершаются дела, к которым призывала газета *Ватан хадими*. Открывается всё больше [крымскотатарских] средних школ. Народ держит путь в гимназии, университеты! Коллега Медиева, один из ведущих журналистов Асан Сабри Айвазов беспрестанно печатается в газетах Кавказа, Турции, Египта, изливает горе народа в чужих краях. Проникнутые революционным духом газеты *Ватан хадими*, молодые интеллигенты Усеин Балич, Яхья Байбуртлы, Сулейман Бадраклы, Эмиралы Кайишев, Джелял Меинов, Ибраим Меинов, Абдураман Хюсни и другие издают в Бахчисарае серию книг под названием «Учкун» («Искра» — В.В.). Асан Чергеев пишет свою бессмертную поэму «Слушай, что говорит воскресший из мёртвых». Учащаяся в Стамбуле молодёжь создаёт свою организацию<sup>1</sup>. Издаётся ряд брошюр под названием «Золотой свет», «Произведения молодых татар», «Бич царского правления» и проч., в которых звучит призыв к пробуждению мусульман Крыма и России.

*Ватан хадими* разжигает пламя в сердцах людей, выпущенные ею ростки полны жизни и чаяний. Газету убивают, но, умирая, она пробуждает новую жизнь и приводит в движение молодёжь...» (*Озенбаилы*, 2005 «а». С. 9).

Именно учителям русско-татарских школ следует отдать должное в великом деле политического просвещения крымскотатарской деревни в эти годы. Эти образованные по-европейски подвижники выступали как единое целое, «...как единственно организованные и политически подготовленные [члены] прослойки татарского народа» (*Фирдевс*, 1925 «а». С. 25). Они пошли в народ, распределиться таким образом, что в каждый уезд отправилось по несколько человек, которые организовывали легальные и тайные собрания в крестьянской среде. Их программа была в целом эсеровской, а лозунгом: «Долой царя и помещиков, да здравствует революция!». Один из участников этого похода в массы, Сулейман Идрисов, называет имена своих соратников: это Умер и Вели Ибраимовы, Али Боданинский, Менсеит Джемилев, Джелял Меинов, Аппаз Ширинский, Усеин Балич, Насиб Уссубеков (*Идрисов*, 1925. С. 29).

<sup>1</sup> Имеется в виду открытое (зарегистрированное в турецком Министерстве внутренних дел) культурное студенческое общество, созданное в конце 1908 г. Джафером Сейдаметом, Челеби Джиханом, Алимом Саитом, Абдулхакимом Ильми, Абдураимом Эфендиевым (лит. псевдоним Абдураим Сюкюти) и другими. Через год там же, в Стамбуле, те же юноши, к которым примкнули Якуб Керчи и Амет Шукри, организовали общество «Ватан», на этот раз политическое и глубоко законспирированное. Общество имело печатный станок, на котором изготавливались прокламации и декларации, тексты которых готовили Д. Сейдамет с А. Эфендиевым (далее: А. Сюкюти). В них велась пропаганда необходимости реформ в крымском Духовном правлении, в вакуфной администрации, в медресе и пр. Эти материалы переправлялись в Крым для распространения среди татарской общественности. Стамбульские учащиеся примкнули было в 1909 г. к эмигрантскому «Татарскому благотворительному обществу» (*Татар джемиеет хайриеси*), но оно не отвечало их политической позиции, так как занималось чисто эмигрантскими вопросами, а его газета «Первенед» (*Тонгуч*) совершенно игнорировала проблемы Крыма, и молодёжь его покинула (*Сейдамет*, 2009, № 10. С. 14).

Политическое просвещение крымскотатарского села поначалу проводилось попросту, устно. Но вскоре появились и новые, технические средства распространения массовой информации. Они были примитивными (гектограф), но странички, на нём отпечатанные, читались десятками, если не сотнями крымских татар. Они пытались найти в них ответ на старые вопросы, который, без преувеличения, мог означить для них жизнь или смерть.

В группе Р. Медиева была составлена петиция татарских крестьян, направленная в Думу (Р. Медиев был депутатом Думы II созыва от Таврической губернии). В этом документе было прямо сказано о последовательном и направленном лишении крымцев земли, о налогах, задушивших крымского крестьянина, о произволе местных властей, «которые делают, что хотят, не справляясь ни с какими законами», о массовом раскрестьянивании татар, которым приходится «искать работу на стороне, жить в батраках, наёмниках». Требования крымцев прозвучали в думской речи Р. Медиева; они сводились к «земле и воле». «Чем дальше продолжаются прения, — заявил он, — тем ярче выплывает перед нами требование народа о том, что “землей должен пользоваться тот, кто на ней трудится”» (Стенограмма 24-го заседания 09. IV. 1907). Конкретно же депутат требовал немедленного возвращения татарскому обществу вакуфных земель и прекращения действия сегрегационных законов об инородцах.

Выступления Р. Медиева в Думе были составлены в полном соответствии с ситуацией, складывавшейся на протяжении последних десятилетий. И смысл их никак не может быть опорочен тем, что эти речи высоко оценил Ленин, отозвавшийся о его выступлении как о «горячей революционной речи» (ПСС, XVI. С. 16, 389). Именно революционного-то в них было совсем немного, хотя крымский депутат стоял гораздо ближе к социал-революционерам, чем к социал-демократам.

Согласно уверениям некоторых авторов, в годы работы Думы отдельные крымские татары-горожане уже входили в РСДРП и даже выполняли довольно ответственные партийные поручения. Так, в 1906 г. в типографии «Терджи-мана» было напечатано на татарском языке 1200 экземпляров «манифеста» о роспуске Думы; эту акцию с начала до конца совершили крымскотатарские социал-демократы (*Советов*, 1933. С. 78). Однако никаких доказательств прямого членства этих крымских татар в ленинской (или хотя бы мартовской) партии упомянутые авторы не приводят. Что же касается самой этой акции, то в ней не было ничего «подрывного», как бы ни пытались это доказать В. Советов, М. Атлас и другие советские историки и публицисты. Смысл крымских событий 1905 г., как и их движущая сила, были несколько иными, что гораздо лучше понимали современники, а не более поздние историки.

## 5. Репрессивные акты Столыпина

Если дело доходило до национально-этнических приоритетов, то Пётр Столыпин выступал, прежде всего, в облике одного из самых яростных «патриотов». Более того, он тогда ещё заявлял о праве России на какой-то «особый», несравнимый ни с Западом, ни с Востоком, путь (забавно, что немецкие его единомышленники

говорили о таком же праве единственно для маленькой Восточной Пруссии, тоже якобы имевшей право на Sonderweg). Что же касается стран буржуазной демократии, то российский премьер считал, что Россия должна не какой-то Англии подражать, а опираться на монархический режим, то есть, «проводить активную внешнюю политику в интересах укрепления своего геополитического и геостратегического могущества» (Россия, 2000. С. 234).

Уже во II Думе мусульманская группа выдвинула требования, отражавшие не только весьма слабое почтение правоверных к колониальной власти, но и их стремление к экономической и социальной модернизации общества. Мусульмане-думцы требовали ограничения власти царя конституцией, свободы вероисповедания для всех, равноправия национальных языков с государственным (с ведением делопроизводства на местном языке). Ещё в те, далёкие от переворотов 1917-го годы они настаивали на образовании автономных национальных областей с органами местного самоуправления, раздаче безземельным и бедным всех удельных, государственных и кабинетских земель и отчуждении за счёт казённой покупки части монастырских и частновладельческих территорий, предназначавшихся также бедным. В целом это означало отмену остатков зависимости от помещиков, а введение 8-часового рабочего дня касалось и рабочих города (Программа, 1907. С. 3–13).

Приходится признать, что принятие этой внепартийной программы (схожие документы составляли и некоторые иные думские фракции, идея-то носилась в воздухе) объективно содействовало бы усилению державы. Известно, как забеспокоился Берлин, узнав, например, о проекте предоставления Польше автономии, или какая тревога поднялась в Австрии при известии, что украинский «националист», крупный историк М. Грушевский получил доступ к трибуне I Думы (Станкевич, 1921. С. 7). Однако непоследовательность, если не слепота, царской администрации, одной рукой пытавшейся укрепить экономику (Столыпин), выразилась в том, что другой рукой (тот же Столыпин) она принятием антинационального закона державу ослабила.

Столыпинский Указ от 3 июня 1907 г. повернул начавшую было меняться национальную политику России вспять. Более того, если до Столыпина русификаторская в основе эта политика не имела чёткой программы, ясной цели, то теперь мы видим законченный образец великодержавного шовинизма, чьи основные принципы запечатали на бумаге систему, основанную на идеологии и практике национализма<sup>1</sup>. И что парадоксально — именно в XX в., в конституционный период истории страны, впервые появился подобный акт, оправданный единственно правом сильнейшего. И если даже за полгода до этого, выступая

<sup>1</sup> «Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная Дума должна быть русскою и по духу...» (ПСЗ, Собр. 3, Т. XXVII, СПб., 1910. С. 320). Дискриминация инородцев при думских выборах оправдывалась в Указе от 03.06.1907 следующим образом: «В тех же окраинах Государства, где население не достигло достаточного развития гражданственности, выборы в Государственную Думу должны быть временно приостановлены» (Там же). Понятно, что это «временно» могло длиться неопределённое число лет или десятилетий. Крымские шовинисты по достоинству оценили демонстративный жест премьера: как спешил сообщить Николаю II губернатор В.В. Новицкий, «русское население губернии с восторгом прочло провозглашение нового великого начала, что... Дума должна быть русской по духу» (РГИА. Ф. 1263. Оп. 6. Д. 51. Л. 1036).

6 марта в Государственной думе, премьер подчеркнул, что «преобразованное по воле монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое», то теперь и словосочетание-то это, «правовое государство», навсегда исчезает из политического лексикона Столыпина. Уже 14 ноября того же года он, выступая там же, делает упор на диктат исполнительной власти. «Только то правительство имеет право на существование, — говорит он, — которое обладает зрелой государственной мыслью и твёрдой государственной волей» (Столыпин, 1991. С. 103).

А через год по инициативе П. Столыпина было созвано Особое совещание по выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Поволжском крае. На предложения и рекомендации Особого совещания имели значение не только для казанских татар и башкир. Оно приняло уникальное решение: запретить в мектебах и медресе изучение общеобразовательных предметов. А ещё через два года, в 1910 г., аналогичное Совещание выдвинуло предложение о запрещении изучения в мусульманских учебных заведениях русского языка. Цель таких запретов стала ясна несколько позже. Выяснилось, что правительство Столыпина совершенно устраивал старый, узко-религиозный характер обучения исламской молодёжи. Что же касается «общего уровня развития народных [мусульманских] масс», то оно, как решило Совещание, «...вряд ли отвечало бы политическим интересам государства» (цит. по: Фаизов, 1999. С. 35).

Время заигрывания правительства с национальной элитой, казалось, ушло в небытие. Прошло ещё три года, и Столыпин не преминул напомнить своим согражданам, подданным всех национальностей, слова Николая I, сказанные более полувека до того. Император, когда речь зашла об одной из «нерусских», то есть колонизованных губерний, поставил в национальной политике России все точки над i: «Вести край сей силой возвышения православия и элементов русских к беспредельному единению с великорусскими губерниями». Причём, продолжил император, все эти меры (по сути шовинистические. — В.В.) в комплексе «дотоле не перестанут действовать во исполнение изъяснённых видов моих, пока вверенные вам губернии не сольются с остальными частями Империи в одно тело, в одну душу» (Столыпин, 1991. С. 276–277). Естественно, имелись в виду великорусские «тело и душа».

Созданная Столыпиным репрессивная машина была пушена в ход в том же 1907 году. На крымских татар обрушились санкционированные властями меры пресечения любой самостоятельной, инициативной деятельности. Этот запрет проявлялся в различных областях, но везде он вёл к одному результату — ещё большему сужению возможностей проявления национального самосознания нерусского населения. Теперь административные санкции уже были не случайным проявлением местной таврической «самодельности»: центр наносил удары по окраинам империи, наносил методично и неотвратимо. Именно в эти годы была жестоко урезана финляндская конституция, объявлены «не соответствующими русским государственным задачам» украинское и белорусское культурно-национальное движение (столыпинский циркуляр от 10 января 1910 г.), разворачивается широкая колонизация Прибалтики.

И еще одно новое качество в национальной политике Петербурга. Если до Столыпина национальные меньшинства страдали, как выше говорилось, лишь от худших представителей бюрократии, то теперь правительство ищет и находит

опору в весьма широких и авторитетных кругах общественности. Русской, естественно. Открыто публикуются шовинистические статьи, авторы которых не всегда бездарны, «теоретически» обосновывается моральное, интеллектуальное, духовное превосходство народа-богоносца над инородцами, одновременно подвергаются насмешкам и издевательствам духовные ценности, любовь к родному языку, исторические традиции нерусских народов. Естественно, массивная шовинистическая пропаганда оказала известное влияние и на часть образованного общества, и на часть трудящегося населения. Это и была *идеологическая* основа экономических преобразований Столыпина.

### 6. Экономическая реформа

В эти годы всё откровеннее проявляется антилиберальная устремлённость основной великорусской массы, то есть крестьянства и городских низов. Тлеющая крестьянская война делает необходимой коренную реформу во всероссийском масштабе, направленную на обуздание разбушевавшейся общинной психологии, тянувшей и остальное население назад, к полному подчинению личности диктату «мира», к средневековому феодальному порядку жёсткого подавления частной инициативы властью реакционно-архаичного большинства. С другой стороны, необходимость для России перемен коренного, революционного масштаба и содержания была ясна не только одним революционерам. Нужно сказать, что понимающих эту необходимость можно было обнаружить не только в нижних, но и в самых верхних этажах государственного здания. И после 1905 г., после провала попытки провести архаизирующие политические и экономические преобразования бунтарским путём снизу, П. Столыпин делает попытку реформировать Россию сверху, путём эволюционным.

Это — схема. Конкретные формы столыпинских преобразований далеко не столь однозначны и бесспорны, хотя бы с точки зрения перемен в уровне демократичности общества, уровне благосостояния крестьянства и так далее. И наиболее ярко спорность как целей, так и средств для их достижения выступает в чисто экономическом аспекте столыпинских реформ.

Накануне в Крыму не имело земли в среднем около 16 % сельского населения. Но в некоторых уездах, вроде Евпаторийского и Перекопского, процент обезземеленных повышался соответственно до 75 и 67; при этом, как и раньше, основную часть этих бедняков составляли крымские татары<sup>1</sup>. Для сравнения укажем, что в материковых уездах губернии (например, Бердянском и Мелитопольском) число безземельных едва превышало 3 % (Губенко, 1961. С. 14). При этом оплата наёмного труда не только не поднялась по сравнению с концом XIX в., но кое-где и упала, что вызывалось среди прочего и возросшей мобильностью континентов рабочей силы. В Таврической губернии, прославившей по всей империи «хлебной» и привлекавшей огромное количество обедневшего крестьянства, в год действи-

<sup>1</sup> По другим подсчётам, доля безземельных татар обширного Перекопского уезда (в него тогда входил и Джанкой с округой) составляла ещё больше — 79,8 % от общей численности крестьян (Камшицкий, 1925. С. 140).



Дети Алупки. Начало XX века. Фото Ф. Сокогнова.  
Из коллекции издательства «Тезис»

тельно требовалось около 270 тыс. человек пришедшей наёмной рабочей силы. Однако колоссальное предложение превышало и этот немалый спрос.

Прибывавшие в Крым крестьяне-отходники, многие из которых проделывали неблизкий даже по российским масштабам путь, являлись на рабочие рынки. Главным из них был Джанкойский, вспомогательными — собиравшиеся в Симферополе, Курман-Кемельчи (ныне Красногвардейское) и Карасубазаре. И только здесь они могли обнаружить, что рынок переполнен, а цены найма снизились до минимальных. Тем не менее, находясь в безвыходном положении, пришельцы соглашались и на самые невыгодные условия. Этим они содействовали постепенному закреплению нищенской оплаты труда, причем она оставалась такой и после сезонного наплыва рабочей силы, зимой.

Одновременно росла продолжительность рабочего дня. Обычно он начинался теперь затемно, а заканчивался поздно вечером. Впрочем, в пору молотьбы работа не прекращалась и ночью. Небывалого объёма достиг труд женщин и подростков, доля детского труда почти нигде в Крыму не опускалась ниже 50 %, а в отдельных местах превышала 75 % (ук. соч. С. 25). Понятно, что всё перечисленное объективно ухудшало положение местного крымскотатарского батрачества и бедняков-арендаторов.

Относительное перенаселение края тяжело сказывалось прежде всего на труде, быте, уровне жизни крымскотатарских крестьян<sup>1</sup>. Причем, будучи доведены

<sup>1</sup> Один из показателей жизненного уровня крымских татар в эти годы — *первое место*, которое они заняли в империи по заболеваемости туберкулёзом (Раипольский, 1930. С. 94). И до этого довели коренное население именно того края, куда вся Россия ездил лечить убийственную в ту эпоху болезнь целительным крымским воздухом!

до крайней степени нужды, они не могли перебраться в город; даже бедняки-переселенцы, не имевшие в Крыму корней, но владевшие русским языком и нередко грамотные, составляли непреодолимую конкуренцию крымскотатарским крестьянам.

Нормальный уровень доходов на одну семью в те годы равнялся приблизительно 6 000 рублей в год (Россия, 2000, С. 232). Но по данным Министерства финансов таких семей было по всей России всего-то 60 000. Остальным же едва хватало на хлеб, а о покупке земли они и мечтать не могли, особенно в Крыму с его земельными ценами. Таким образом, готовившиеся Столыпиним реформы, которые должны были ударить прежде всего по наиболее консервативной, малоспособной к резким переменам части сельского общества, объективно были направлены в Крыму против крымскотатарской бедноты. Это показали и результаты их проведения.

Земля вновь стала объектом грандиозных спекуляций, губернию заполнили орды перекупщиков, совершавших сделки с огромной для себя выгодой; скупая крестьянские участки по 90–95 руб. за десятину, маклеры продавали ее по 180–230 руб. (Сельскохоз. обозр., 1910, С. 157). В конечном счёте, земельные массивы оседали в фондах банков, у крупных землевладельцев, округлявших свои поместья, зажиточных крестьян, ведших хозяйство наёмным трудом. Общинные наделы пригородных деревень переходили в условиях Крыма из сельскохозяйственного в градостроительный сектор. В своём Отчёте за 1915 г. губернатор Тавриды указывал, что за период, прошедший с 1906 г. (то есть за полные 10 лет — отчёт писался летом 1916 г.) из 130 120 сельских хозяйств-общинников из сельской общины выделилось по различным причинам (в том числе и из-за продажи своего участка на сторону) намного больше половины, а именно 90 923 семейства. При этом из общинной территории площадью в 1 617 949 десятин «уплыла» в различных направлениях практически половина земли — 879 475 десятин (РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 27. Л. 43 об.).

Возникает вопрос: чьей землей торговали бесчисленные маклеры 1906–1915 гг., у кого она была отнята? Статистика указывает: 70–75 % всех продававшихся участков не превышали размера 25 десятин. Другими словами, это были типичные мелкие самостоятельные хозяйства крестьян, обрабатывавших землю собственным трудом (Бунегин, 1927, С. 10). И второй источник сверхприбылей: вакуфные и общинные земли Крыма. В своём докладе в Думе весной 1907 г. Решид Медиев заявил, что из недавно ещё принадлежавших сельским обществам 600 000 десятин земли осталось всего 79 000, а из 200 000 десятин вакуфных угодий — только 87 000. То есть, у коренного народа Крыма только за несколько лет до 1907 г. было отнято полмиллиона десятин (то есть, гектаров) земли — огромное достояние, огромная ценность для небольшого полуострова, половину которого занимают негодные для полеводства местности. Проследив движение этих площадей, Р. Медиев выяснил, что они оказались у тех же ненасытных «собираателей» крымской земли: Мордвиновых, Воронцовых-Дашковых, Каховских и прочих героев крупнейших аграрно-собственнических скандалов и тяжеб XIX века (См. в: Т. IV. Приложение VII).

Много позднее, в 1916 г., эти действия получили полное оправдание в столице. В марте этого года в Министерстве внутренних дел, в Департаменте духовных

дел инородных исповеданий была подготовлена справка для министра внутренних дел А.Н. Хвостова. В ней всё случившееся выглядело вполне законно и даже благопристойно, а вся вина целиком сваливалась на самих же ограбленных мусульман Крыма:

«До 1885 года вакуфные имущества Таврической губернии (капиталы и недвижимость) находились в ведении Таврического Духовного Правления. Обнаружившиеся с течением времени злоупотребления со стороны Духовного Правления в деле заведывания означенными имуществами, имевшие своим последствием не только уменьшение их доходности, но даже сокращение их числа и количества, послужили основанием к образованию в 1885 году, по высочайшему повелению, комиссии для проверки наличности вакуфных имуществ и прав на владение ими... По закону 25 октября 1885 года управление вакуфами было изъято из ведения Духовного Правления и передано означенной комиссии, впредь до окончания её занятий и назначения нового лица на вакантную в то время должность Таврического муфтия...»

Фактически эта должность с 1885 года вакантна и обязанности муфтия исполняются Таврическим кади-эскером (помощник муфтия). Министерство [внутренних дел] до последнего времени воздерживалось от назначения муфтия, имея в виду, что с замещением этой должности неизбежно возник бы вопрос об упразднении вакуфной комиссии, ибо в силу закона последняя должность должна действовать впредь до выполнения возложенных на неё задач и назначения нового лица на вакантную в то время должность Таврического муфтия» (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 639. Л. 9–23 об.).

Этот документ, помимо прочего, являет собой тот редкий случай, когда государственный орган признаётся в нарушении законных прав инородцев (в данном случае — мусульман Крыма), вызванном единственно нежеланием упразднить одно из бюрократических учреждений империи. Нетрудно догадаться, как эта справка могла появиться на свет — её готовили чиновники Министерства внутренних дел, то есть сослуживцы членов той самой вакуфной комиссии, которую за бездеятельностью собрались было упразднить. Но страхи чиновников комиссии оказались напрасными, они благополучно получали свои жалованья вплоть до самого Октябрьского переворота. А крымские татары, лишённые традиционных вакуфных средств на поддержание национального образования, здравоохранения и мечетей, так и не увидели их до означенного события 1917 г. Впрочем, позже — тоже. Тут была какая-то преемственность в выборе средств душения крымской культуры, что неудивительно.

Но вернёмся к эпохе столыпинских реформ. Ослабив пути внешнеэкономического принуждения в сельской местности, они объективно способствовали окончательному распаду крымскотатарской общины, на что отчасти и были рассчитаны. И именно в Крыму патриархальные традиции села были особенно сильны, а разложение их шло наиболее быстро. Если в России в целом из общины к 1915 г. выделилось менее 30 % хозяйств, то в Крыму — 63,6 %, при этом общинные земли уменьшились вдвое (Дубровский, 1963, С. 575). По числу же выделившихся на отруба крестьян Таврическая губерния опередила даже степную Украину, и здесь выйдя на первое место в империи (Секиринский, 1981, С. 11). Одновременно уменьшился и дворянский клин (с 33,5 до 18,4 % за тот

же период), но резко выросла доля крупного крестьянского и предпринимательского хозяйства на собственной земле<sup>1</sup>.

Эволюция аграрного сектора в Крыму тех лет шла не «прусским», как в остальной России, а так называемым американским путем. С одним отличием от классических образцов: в ходе этой буржуазно-крестьянской перестройки крымская сельская среда не смогла выделить собственный тип агрария капиталистического склада, как на это указывают некоторые авторы (например, *Секиринский*, 1974. С. 25). Лишь весьма редко крепкие крымские фермеры нового образца могли похвастать, что корни их родов уходят в крымскую же землю. На самом деле это были в основном переселенцы или, в лучшем случае, их дети или внуки. Коренные же крымчане, в особенности татары, оказались в результате реформ пострадавшей стороной. Как индустриализация России, затеянная Сергеем Витте, так и сельская реформа Петра Столыпина имели один порок, сводивший все меры к нулю: в России политика продолжала управлять экономикой.

Крымские татары при всем желании не могли приобретать выброшенные на свободный рынок земли. Пресса и статистические отчеты тех лет сообщали, что в результате роста цен «наиболее нуждающиеся крестьяне и поселяне по недостатку средств для оплаты, во многих случаях даже с помощью банка, не имеют возможности выступить в роли покупателей» (Обзор Тавр. губ., 1915. С. 17). Общий низкий уровень экономической просвещенности крестьянства исключал и такой спасительный для бедняков выход из тяжелого положения (известный в других регионах), как кооперативное движение. И отдельные исключения<sup>2</sup> лишь подчеркивали безнадёжность общей ситуации.

Поэтому возникает естественный вопрос: а не были ли реформы на окраинах империи задуманы как составляющая общей русификаторской политики? В частности, антиатарской в крымских условиях? Утвердительный ответ здесь не исключен уже по причине весьма высокой избирательности, с которой новые законы были именно по массе крымскотатарских крестьян. Есть и еще одно соображение в пользу такого вывода. То, что П.А. Столыпин придерживался общего курса на

<sup>1</sup> В целом земли к 1915 году распределились в Крыму следующим образом: у «фермеров» — 45 %; у крупных землевладельцев — 40 %; вакуфные — 6 %; казенные — 4 %; городские — 3 %; колонистские — 1,4 % от общей площади земли, находящейся в хозяйственном использовании (*Бунезин*, 1927. С. 12).

<sup>2</sup> В конце «нулевых» гг. XX в. Мемет Бекиров, сын весьма состоятельного землевладельца из Дерекоя, Эмира Асан-ага Бекирова, создал в Ялте кооператив «Берекет» (*Урожай*), который объединил образованных и зажиточных татарских коммерсантов-оптовиков. При кооперативе имелось благотворительное общество, оказывавшее реальную поддержку крестьянам и городской бедноте (Сейдамет, 2009. № 11. С. 14). Однако при всей бескорыстности этой помощи она никак не могла изменить общего тяжелого положения крымского крестьянства, так же как пример ялтинских кооператоров не был в состоянии увлечь основную массу сельских жителей полуострова. Правда, позднее, когда крестьяне поняли всю выгоду такого совместного производства, они соглашались на сотрудничество с кооператорами, но этому всячески мешали российские предприниматели, опасавшиеся конкуренции. Так, когда был организован винодельческий кооператив в Кизилташе под Ялтой и крестьяне обещали сдвигать весь виноград в него, окрестные виноделы искусственно подняли закупочную цену на сырьё с полутора рублей до четырёх, переманив таким образом к себе всех виноградарей уезда (Сейдамет, 2009. № 30. С. 14).

русификацию, духовное и внеэкономическое закрепощение угнетенных наций, доказано давно. Не он «изобрёл» этот курс, но впервые с его легкой руки подобная политика получила поддержку столь широких кругов русского общества. Ведь за его самые шовинистические законопроекты голосовало большинство депутатов III и IV Дум, в том числе известные своей демократичностью и либерализмом. Так, например, П.Б. Струве призывал к беспощадной борьбе с ростками национального самосознания и к тому подобным мерам в общегосударственном масштабе (*Сафаров*, 1923. С. 337). В целом же этот важный для истории крымскотатарского народа вопрос требует, конечно, специального исследования.

## 7. Политические результаты столыпинских реформ

Первые столыпинские реформы совпали по времени с победой II турецкой революции (1908 г.), принесшей победу сторонникам парламентаризма. Этими событиями в Турции весьма пристально интересовалась крымскотатарская интеллигенция, известная своими устремлениями к демократизации и свободе культурного саморазвития нации. Они вызвали поэтому заметное оживление в крымской общественной жизни, что в совокупности с глухим брожением беднейших масс села вызвало немалую тревогу властей. В 1908–1909 гг. начинаются репрессии, направленные против крымских татар любой социальной принадлежности. Это была ничем не прикрытая дискриминация: людей преследовали лишь по национальному признаку (*Фирдеус*, 1925. С. 27).

Абсолютно немотивированная репрессивная, а с 1914 г. и карательная политика вызвала неожиданно мощное эхо в широких массах. Среди прочего и в тех кругах, что ранее были известны специфической «крымскотатарской аполитичностью». Теперь уже не только интеллигенты, но и отдельные крестьянские сообщества, разочарованные принесшими им новые беды экономическими реформами и еще более раздраженные беспочвенными политическими преследованиями, начинают поворачивать головы в сторону соседней Турции с ее демократическими преобразованиями. Наладившиеся было труппами крымских просветителей русско-татарские духовные связи снова рвутся, сменяясь крымско-турецкими.

С целью возобновления прерванного царизмом культурного обмена с соседней единоверческой страной налаживаются контакты, пока в глубокой тайне от властей. Все больше крымскотатарской молодежи пытается получить разрешение учиться в турецких университетах и медресе. Многие, приезжая в Турцию, тут же с головой погружаются в революционную работу, а вернувшись домой, с восхищением рассказывают о духовной и политической раскрепощенности соседей, об огромных культурных ценностях, отложившихся в братской по вере и языку стране. Естественно, что два несхожих фактора — неприемлемость для народа столыпинской национальной политики и притягательность примера свободной Турции — ведут к оживлению сепаратистских настроений. Однако хоть скольконибудь значительного влияния на народ они никогда не могли оказать, и упомянуть о факте их появления стоит по совсем другой причине,

Прежде всего, заметим, что крымских сепаратистов 1909—1917 гг. (в основном это были дети эмигрировавших крымских татар, получивших образование, как в Турции, так и других государствах Европы и Азии) трудно упрекнуть в беспочвенности их антирусских настроений. Скорее странно, что они появились столь поздно и исчезли так быстро. Сам же факт их появления был не исключением, а общим правилом для *всех* угнетенных царскими колонизаторами наций. Напротив, мусульмане России долее других «держались» законного правительства, не соблазняясь ни общероссийскими оппозиционными течениями, ни сепаратизмом (истоки такого рода стойкости, между прочим, прекрасно объяснил уже упоминавшийся выше исламский политолог и реформатор XX в. Али Абд ар-Разин). Но с национально-освободительными течениями украинской, польской или литовской мысли у крымских татар всё же были точки соприкосновения.

Причем совпадали такие частности, как расположение организующих центров не на родине, а за рубежом. Приведём несколько примеров.

Духовный огонь Украины, который стремились погасить Столыпин и Струве, ярко пылал в зарубежном Львове, где печаталась литература на украинском языке в период, когда российские власти запрещали его использование на родине. Львов же стал одним из центров изучения украинской культуры. Интеллигенция Польского княжества Российской империи жила своим Краковом, тогда находившимся на территории австрийской империи. Литовцы готовились к национальному подъёму, печатая книги и листовки в Восточной Пруссии. Очаги финской культуры давно передвинулись из «Великого княжества» в братскую Швецию. Крымские татары, как мы видим, впитывали учёность и политические идеи XX века в соседней Турции. Короче, у России был не один, а несколько собственных «Пьемонтов».

Однако показателен здесь не столько сам феномен эмигрантских, как их называли бы теперь, культурных очагов — это была печальная необходимость, — но о том, что и финны, и литовцы, и татары были готовы при первой же возможности перенести свои национальные ковчеги обратно, на Родину, о чём имеется немало свидетельств. Другое дело, что пока (то есть до начала Февральской революции) такая возможность абсолютно исключалась. Но как только она возникла, истоки крымского «сепаратизма» вполне закономерно иссохли, и он быстро заглох. Неважно, надолго или же навсегда. Важен сам факт: вызванная суровой необходимостью идея зарубежного культурно-идеологического центра исчерпала себя, как только в перспективе возник всего лишь призрак свободы развития национального духа и культуры в Крыму, на земле предков.

Что же касается политической миссии и личной судьбы Петра Столыпина, то обе они окончились равно трагично. Причём по одной и той же причине: общинная, традиционная Россия великороссов оказалась неререформируемым, исторически косным телом. То есть чуждым до враждебности, так и непонятым объектом эксперимента. И хотя премьер проводил свои опыты над массами достаточно хладнокровно, последовательно и безжалостно, результаты оказались (и не могли не оказаться) не только провально неудачными, но и глубоко трагичными как для «подопытных» народов, так и для самого экспериментатора.

## IX. ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙ

І день іде, і ніч іде.  
І голову схопивши в руки,  
Дивуєся, чому не йде  
Апостол правди і науки?

Т.Г. Шевченко, 1860 г.

### 1. Жизненный путь Исмаил-бея

Самым ярким выразителем обновленческих идей в Крыму был Исмаил Гаспринский.

Он родился 08 (12) марта 1851 г. в деревне Аджиной, близ Ялты. Его отцом был личный (затем потомственный) дворянин, отставной поручик Мустафа Гаспринский, мать — Фатъма-Султан, женщина более знатного происхождения (семья Темир-гази мурзы Кантакузова). Будучи человеком вполне обеспеченным<sup>1</sup>, поручик тем не менее отдал своего сына в учёбу обычному бахчисарайскому преподавателю Исмаилу-одже. Ещё два года мальчик учился в Симферопольской мужской гимназии, затем в Воронежском военном училище и, наконец, во Второй Московской военной гимназии (1864—1867).

Учёба прервалась по не совсем обычной причине. В 1867 г. вспыхнуло восстание на Крите, где местные греки требовали отделения острова от Османской империи. Сотни российских добровольцев отправились на помощь восставшим, к ним присоединился и Исмаил со своим другом Мустафой Давидовичем. Однако в Одессе их задержала полиция и отправила по домам, к родителям (Нуриев, 2011. С. 38). В Москву юноша так и не вернулся, став преподавателем русского языка в Зинджирлы-медресе, а с 1870 г. — в крымскотатарском училище при

<sup>1</sup> Мустафа Гаспринский происходил из небогатой семьи. В молодости из-за тяжёлого материального положения он был вынужден служить в армии, в том числе переводчиком при генерал-адъютанте М.С. Воронцове. За долгое время службы им был приобретён на Южном берегу Крыма «виноградный сад и пахотной земли 12,5 десятин», кроме того, у Фатъмы-Султан было родовое имущество — «при деревне Алуште сад и при г. Ялте земли 1 десятина и 360 квадратных сажень» (цит. по: Ганкевич, 2000. С. 19). Поэтому миф о том, что Гаспринские были «крупными помещиками» (См., напр., в: Климович, 1936. С. 181), — не более, чем миф.

бахчисарайском Хан-сарая. В 20 лет Исмаил выехал в Париж, где обосновался надолго.

Здесь он, работая переводчиком рекламы, впитывает в себя всё, что могла дать «столица мира» жаждущему познаний провинциалу. Вместо посещения лекций в какой-нибудь высшей школе, составленных по классической программе, Исмаил Гаспринский с головой окунулся в газетно-журнальный мир, где каждый день не похож на предыдущий и где самая разнообразная информация, хоть и беспорядочным, но мощным потоком вливалась в его жаждущую познаний душу. И это уже не говоря о том, что именно в таком многонациональном котле переплетающихся и противоборствующих мнений, позиций, нравственных норм и политических установок он смог не только овладеть знанием полу-дюжины языков, но и научиться вырабатывать и отстаивать собственную точку зрения, а также приобрести знание людей, — всё то, чего ему не хватало, и чего не мог дать никакой университет.

Конечно, существовала реальная опасность, что молодой человек, оказавшийся в Париже, не то чтобы собьётся с пути истинного в смысле нравственном (Исмаил был для этого слишком серьёзен и целеустремлён), но просто выберет не тот путь познания, а это могло обернуться утратой драгоценных для самообразования лет. Но ему повезло: какое-то время он работал в качестве личного секретаря у И.С. Тургенева. В этой должности крымскотатарский юноша мог не только учиться дисциплине творческого труда у великого писателя, уже тогда признанного Россией и всей Европой. И.С. Тургенев встречался в те годы ни много ни мало с властителями дум мировой цивилизации, и беседы о судьбах не только культуры, но и человечества часто шли в присутствии секретаря писателя. Но и это не всё. И.С. Тургенев принял самое непосредственное участие в судьбе молодого человека, а его рекомендации в смысле выбора книг, которые стоит прочесть, или людей, с которыми необходимо встретиться, вообще были бесценны (Климович, 1987. С. 173).

Находясь во Франции, И. Гаспринский пробует перо, отправляя корреспонденции в местные газеты и за рубеж, в том числе в Россию. Очевидно уже тогда у него формируются собственные воззрения на состояние, в котором находилась культура стран мусульманского мира, — здесь он встретился и сблизился с эмигрантами-младотурками (Нуриев, 2011. С. 38). Не исключено, что в этот период своей творческой биографии он намечает возможные пути выхода исламской культуры из кризисной ситуации. Судить об этом позволяет даже выбор им маршрута возвращения из Франции домой. Вместо наиболее прямого пути он выбирает сложный, позволяющий посетить ряд мусульманских регионов Средиземноморья. Что он хотел узнать там, или какие из своих мыслей проверить и уточнить — нам неизвестно. Ясно одно: из Парижа в Россию через Северную Африку без серьёзного дела люди не ездят.

Затем в конце 1874 г. он надолго, на год, остановился в Стамбуле, где познакомился с цветом турецкой интеллигенции: Ахметом Мидхатом-эфенди, Шемсетдином Самы, Мехметом Эммином и другими мыслителями и политиками столицы. Отсюда он отправляется в дальние поездки по Анатолии и другим регионам империи. В этих путешествиях его прежде всего интересовало школьное обучение. Он пришёл к весьма неутешительному выводу: в худшем положении

находились именно маленькие турки, а не греки, армяне и прочие христиане, давно принявшие европейские методы обучения. Вернувшись в Крым в 1876 г., Исмаил стал преподавать в дереккойской школе. Затем, перебравшись в Бахчисарай, снова стал учителем русского языка в Зинджирлы-медресе. И здесь он практически сразу по прибытии излагает старым друзьям и знакомым уже созревшую мысль: нужно начать издание новой газеты<sup>1</sup>. Но не просто ещё один из двух десятков крымских листков, а идейно выверенную и целеустремлённую *тюркскую* газету, то есть издаваемую на тюркском языке, поднимавшую тюркские культурные и иные проблемы и предназначенную прежде всего для тюрков. Напомним, что в царской России именно на эти годы пришёлся небывалый по широте и всеохватности расцвет великодержавного шовинизма, гонений на инородцев и иноверцев, тупой агрессивности во внешней политике. Другими словами, более неудачного времени для основания нерусской газеты, да ещё и под руководством нерусского редактора и издателя трудно было бы придумать. Не получив разрешения на своё издание, Исмаил Гаспринский решает целиком посвятить себя служению самому татарскому из крымских городов. Здесь его кипучая энергия вскоре получила должную оценку: в 1878 г. он становится городским головой Бахчисарая.

Эта высокая должность позволяла Исмаил-бею многое сделать для искоренения темноты и запущенности бывшей ханской столицы, в прямом и переносном смысле. Но одного пост городского головы не мог дать, а именно возможности делать своё дело всеми доступными методами, ведь оно пошло бы эффективней всего при помощи газеты. И даже когда в 1882 г. вопрос о газете вроде сдвинулся с мёртвой точки, Таврический губернатор, прекрасно знакомый с дворянином Гаспринским лично, послал запрос в жандармское управление о политической благонадёжности будущего её издателя. Затем такого же содержания запрос был направлен Одесским генерал-губернатором Таврическому губернатору и так далее — вплоть до общеимперских Министерства народного просвещения и МВД. И это всё из-за издания, которое, так или иначе, неминуемо подлежало предварительной цензуре целиком, до последней строчки, номер за номером...

<sup>1</sup> Ещё в 1860-х гг., в период обучения в Москве, Исмаил Гаспринский сблизился с известным издателем и публицистом М.Н. Катковым, редактором «Московских ведомостей». Один из ведущих журналистов империи, в ту пору соединявший в своих взглядах высокое уважение к английскому образу жизни со славянофильством и умеренным либерализмом, М. Катков увлёк крымского юношу своими идеями об эффективности именно журналистики как инструмента в возрождении и обновлении национальной культуры, просвещения зрелой части нации, её перспективного развития до уровня наиболее цивилизованных народов Запада. В 1858 г. этот русский журналист, критикуя русскую действительность, ставил в пример Англию, чьё правительство «служит (курсив мой. — В.В.) не чем иным, как лишь органом народных интересов, и всякая личная инициатива в правительстве допускается только в духе этих интересов; ничья воля не может возвыситься над ними или располагать ими как своей собственностью... из каких бы то ни было личных побуждений, хороших или дурных» (Русский вестник, 1858. Март. Кн. 2. С. 163). И. Гаспринский никогда, до конца жизни, не скрывал благодарности М.Н. Каткову, заразившего его своим публицистическим энтузиазмом (Shura, 1914. № 21).

Наконец, в апреле 1883 г. вышел первый номер *Терджимана* (Переводчик), которому суждено было стать если не самой многотиражной, то уж точно самой известной газетой всего мусульманского мира. По подсчётам самого издателя, 12 крупных зарубежных газет «постоянно и дословно» перепечатавали терджимановские статьи, а подписывались на крымскую газету читатели не только России, но и Турции, Египта, Ирана и Индии. Но, кроме того, впереди у газеты была нелёгкая роль бревна в глазу отечественных шовинистов и русификаторов, не прекращавших грубые и неумные нападки на Исмаил-бея на протяжении практически всех оставшихся ему лет жизни.

А годы эти шли в неравной борьбе бахчисарайского Учителя, к счастью, не одинокого. Одним из его соратников был евпаториец Исмаил-мурза Муфтий-заде<sup>1</sup>. Он содействовал И. Гаспринскому в открытии Терджимана, а уйдя в отставку, целиком посвятил себя благотворительности и просветительскому делу. Став в апреле 1885 г. почётным попечителем Симферопольской татарской учительской школы, он не только ежегодно жертвовал на ремесленные классы 200 рублей, но и активно участвовал в проведении школьных реформ. В частности, ему принадлежала идея снижения возраста поступающих с 12-ти до 9-ти лет. В годы его попечительства эту школу окончили такие видные представители второго поколения крымскотатарской интеллигенции Нового времени, как А. Медиев, С.-Д. Хаттагов, А. и У. Боданинские, М.-С. Джемилев, Дж. Меинов, С. Крымтаев, У. Балич, С. Идрисов, О. Заатов и др. (Подр. см. в: *Абибуллаева*, 2000. С. 5).

Не менее важной была деятельность Исмаила Мурзы Муфтий-заде в общественной жизни Крыма. Он создал Симферопольское благотворительное общество пособия бедным мусульманам Крыма, членами которого становились не только состоятельные крымцы, но и некоторые русские интеллигенты (правда, их было немного). Затем такие же общества по инициативе отставного полковника стали возникать и в провинциальных городах Крыма. Деньги, которые жертвовались крымскотатарскими коммерсантами, военными, предпринимателями и т. д., шли на поддержку не только бедствовавших соотечественников, но и молодёжи, получавшей образование в различных учебных заведениях Крыма и в российских городах.

Однако роль, которую играли эти общества в жизни Крыма, была гораздо шире чисто благотворительной. На встречах их членов, куда нередко приходили и гости, обсуждались всевозможные актуальные вопросы культурной и общественной жизни полуострова, выдвигались новые инициативы в области культуры. Это были, по сути, первые собрания представителей образованных слоёв народа. А если учесть, что общества поддерживали постоянную связь друг с другом, обменивались новостями, литературой и т. д., то нетрудно прийти к выводу, что уже при жизни И. Гаспринского существовала целая сеть культурных организаций — прообраз будущих структур национальной культуры.

<sup>1</sup> Исмаил Мурза Муфтий-заде родился в семье генерал-майора российской армии Батыра Челеби Муфтий-заде. Детство и юность его прошли в Санкт-Петербурге. Он окончил курс элитной Первой гимназии столицы, затем был призван и служил в Его Императорского Величества лейб-гвардии Крымскотатарском эскадроне. Вышел в отставку в звании полковника.

Таким образом, роль Исмаила Мурзы Муфтий-заде выходит далеко за рамки чисто благотворительной. В то время как И. Гаспринский выстраивал свою систему народного образования и национальной журналистики, евпаторийский отставной полковник делал то же самое в области общественных связей в среде крымскотатарского народа. Это были две дополняющие друг друга половины единого процесса огромного, судьбоносного значения — создания нового, гражданского национального общества.

Понятно, что у И. Гаспринского были не только такие талантливые помощники, но и противники его великих (это не преувеличение) идей, возродивших духовную жизнь всё более уходящего в свою скорлупу мусульманства России и не только России (о содержании их см. ниже). Его критиковали и буквально преследовали своими нападками как мусульмане-реакционеры («кадимисты» — от *тюркск.* «усул-и кадими» — «старый метод обучения»), так и русификаторы Петербурга и Одессы. Он подвергался неусыпному вниманию полиции и жандармерии, и даже ленинцы успели лягнуть его в 1907 г. за активное участие в организации «*Иттифак эль-муслимин*» (Союз мусульман).

Такую публичную критику нельзя было оставлять без ответа, и стареющий Исмаил-бей объяснял, по мере сил, свою позицию, полагая, что его критики ошибаются, неверно его понимают и так далее. Но никто не заблуждался: именно мирная проповедь звукового (а не слогового, как ранее) метода обучения грамоте, ускорившего овладение арабским для лучшего понимания Корана, именно тревога Учителя по поводу судьбы мусульманской женщины, именно его забота о развитии крымскотатарской культуры и доводили всех критиков, как правых, так и левых, до белого каления.

И чем яснее они видели деятельную пользу от учения Гаспрала, тем опаснее он им казался: кому — как политический конкурент, кому — как надёжная защита от попыток размыть и уничтожить тюркскую культуру, кому — как действенная опора ислама... Выдвигались и более обоснованные обвинения издателю Терджимана в возбуждении социальных волнений. Действительно, в 1904 г. им был (впервые в России!) организован в Бахчисарае профессиональный союз печатников, а в 1905–1907 гг. он же создал два съезда крестьян Крыма (*Ланда*, 2000. С. 70). И это был пример для других, более крупных мусульманских общностей империи несмотря на то, что после 1905 г. Бахчисарай уступает своё место политического центра мусульман России другим городам: Казани, Оренбургу и Баку. Некоторые исследователи истории тюркской прессы утверждают, что это произошло, во-первых, из-за географического периферийного расположения бывшей столицы Крыма, а, во-вторых, оттого, что Терджиман уже не мог конкурировать с газетами этих центров, превосходившими печатный орган крымских татар хотя бы по тиражу (*Adam*, 2002. С. 92).

Преследования, которым в эти годы подвергался И. Гаспринский, были частью мер, которые режим предпринимал, чувствуя свою неустойчивость перед лицом пробуждающейся активности нерусских национальностей всей империи. «Поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг. возродило расистские страхи перед огромным азиатским населением Российской империи, а активизация пантюркизма, примером которой могла служить деятельность Исмаил-бея Гаспринского, всё в большей степени привлекала внимание официальных



кругов к вопросу о лояльности мусульманского населения России» (Слокум, 2005. С. 518).

Его восторженно принимали в Индии и почитали в Китае, на Ближнем Востоке он был одним из самых известных мусульманских деятелей, к его идеям (вроде инициативы о созыве Всемирного мусульманского конгресса)<sup>1</sup> прислушивался весь цивилизованный мир, а дома его ждал негласный надзор полиции. Французы выдвинули его кандидатом на Нобелевскую премию мира, а в Крыму он с трудом добывал унизительно мелкие суммы для открытия новых школ или издания нужных тюркам всей России книги.

Исмаил Гаспринский скончался 11 сентября 1914 г.

Смерть великого просветителя и реформатора, настигшая его в расцвете творческих сил, глубоко поразила весь исламский мир. В редакцию Терджимана нескончаемым потоком шли из-за рубежа письма с выражением глубокого соболезнования. Особенно многочисленными были послания из Турции (часть их была помещена в номере газеты за 30 сентября 1914 г.). Турецкая газета «Экбал» посвятила покойному целиком свой номер от 14 сентября 1914 г. В России же свою скорбь выражали не только мусульмане, но и многие русские учёные, писатели, интеллектуалы, глубоко осознавшие всё значение жизни и творческой деятельности И. Гаспринского ещё при его жизни. Похороны Учителя в Бахчисарае вылились в подлинно народную манифестацию, для которой узкие улочки древнего города оказались тесны.

Показательно, что великого просветителя помянули добрым словом не только светские интеллектуалы, но и вероучители России и зарубежных стран, среди которых он при жизни встречал понимание далеко не всегда и не сразу. Так, глава турецкого братства дервишей Руфайа, шейх Хусаин Хюсюню писал: «Мы все возлагаем надежды на верных слуг Господа, таких, каким был Исмаил-бей... Мы бесконечно благодарны Исмаил-бею за то, что он сделал для нашей религии и нашего народа». Его соотечественник, журналист Джевдет Бей утверждал: «Я знаю, чего стоит этот человек, я читал его произведения. На всех языках современного исламского мира не опубликовано ничего, что могло бы сравниться

<sup>1</sup> В истории этого конгресса есть нечто мистическое. Некоторые современные авторы утверждают, что он вообще не состоялся (Ланда, 2000. С. 71). При этом они игнорируют солидную работу одного из современников и последователей И. Гаспринского, собиравшего не только факты из повестки дня этого значительного форума, состоявшегося в середине октября 1907 г. в каирском отеле «Континенталь» при поддержке египетского хедива Аббаса II Хильми, но и цитировавшего речь Исмаил-бея на пленарном заседании. Позволим себе привести некоторые выдержки из выступления крымского организатора конгресса: «Медресе по-прежнему в большинстве своём являются препоной для прогресса и обновления, а мусульмане задавлены интересами купечества и коммерции. Мы располагаем великим наследием, но не в состоянии им распорядиться так, чтобы оно принесло пользу. Мы зависим от иных, немусульманских стран и традиций, эксплуатирующих наши богатства... Во всём этом нужно винить наше невежество. Греки, болгары, евреи, индусы менее чем за полвека совершили такой рывок вперёд, что оставили нас далеко позади себя. Но ислам здесь не за что винить. Вспомним, что тюрки в своё время создали высочайшую культуру и науку в Самарканде... Ислам — религия, весьма пригодная для исправления сложившихся обстоятельств. Ислам — это религия, которая покровительствует науке, знанию, просвещению, прогрессу...» (цит. по: Shura, 1914. № 23).

с этими трудами, с их способностью пробуждать мусульман к постижению современных наук и знаний» (Shura, 1914. № 24)<sup>1</sup>.

Но впоследствии выяснилось, что среди его противников (и их духовных наследников) оказались личности весьма злопамятные. Он создал современный, по сути, новый литературный язык для своих соплеменников, а его и полвека после смерти обливали клеветой учёные той самой России, которую он учил уважать. Да и на родине «новые крымчане», переселенцы из России приложили свою руку к фальсификации жизни и дел великого бахчисарайца, которому смерть заперла уста, мешая ответить хулителям своим мягким, увещающим словом.

Иногда эти удары, нанесённые открыто или исподтишка, достигали своей цели, и Исмаил-бей, как всякого человека с сердцем и душой, охватывали сомнения в правильности избранного пути к намеченной цели, в достижимости её. Так, в 1905 г. он излил эти сомнения в строках, видя себя в образе эпического героя Чора Батыра:

Если б стрела моя цели достигла,  
А мой конь мчался, птиц обгоняя,  
Нёсся б Чора Батыр тогда ветра быстрее,  
Самого себя опережая.

Но стрела моя цели не поразила,  
Конь мой птицей не взмыл в поднебесье.  
Чора Батыра судьба на распутье дервишском  
Видать, доля его такая!

(Перевод Амета Озенбаишлы)

И всё же лучшим ответом не только разнотолосому хору критиков, который звучит уже более века, но и искренне интересующимся его жизнью современным землякам Исмаил-бея, является вся совокупность его земных дел. Рассмотреть некоторые из сторон этой многогранной деятельности и делается здесь попытка.

После перерыва, длившегося около полвека, в течение которого об Исмаиле Гаспринском не говорилось ничего, или только плохое, последняя кампания такого рода была развязана в 1951 г. Её направили в основном против *джадидизма* (о смысле этого понятия см. ниже). Прошло некоторое время, и учёные вновь обратили пристальное внимание на фигуру великого реформатора и просветителя в конце 1980-х г. С тех пор о нём написано немало статей и даже книг. Некоторые историки избрали тему Гаспралы основной в своей профессиональной деятельности, — назовём хотя бы двух учёных: нашего соотечественника Виктора Ганкевича и американца Э. Лаззерини. Их работы основательны и глубоки.

<sup>1</sup> Стоит отметить, что несколькими неделями ранее русский военный флот подверг артиллерийскому обстрелу турецкие корабли (Турция являлась союзницей Германии, уже воевавшей с Россией), после чего очередная война России с Турцией стала неизбежной (Adam, 2002. С. 89). Однако эта драматическая ситуация начала Первой мировой войны, сделавшая опасной даже простую переписку с подданными враждебной державы, не стала препятствием для турецких поклонников Исмаила Гаспринского, чьи письма по-прежнему печатались в российской газете.

к тому же в большей своей части — изданы, то есть вполне доступны для широкого читателя.

По последней причине в данном очерке и было признано целесообразным привести лишь самые основные факты из жизни и творчества Исмаил-бея. Взамен здесь делается попытка ответить на некоторые вопросы, неизбежно возникающие у всех, кто хотя бы мельком слышал о «дедушке тюрков», а иногда остающиеся даже после ознакомления с уже упомянутыми исследованиями на данную тему. Наметим тематику этих ответов.

Прежде всего, стоит разобраться в причинах, по которым джадидизм (от тюркс. «усул-и джадид» — «новый метод обучения») сформировался как крупное течение мысли современной мировой цивилизации и получил своё наиболее полное развитие именно в Крыму, в культурной атмосфере, характерной для крымскотатарской, а не какой-либо иной этнической среды.

Вторая проблема связана непосредственно с позицией Исмаила Гаспринского, занятой им по отношению к российскому имперскому аппарату, к колониальным властям, к России и её народу в целом. Здесь различия в исследовательских оценках наиболее разительны. Исмаил-бею даются противоположные характеристики: от представляющей его как неустрашимого борца с колониальным игмом, последовательным реформатором, до рисующей фигуру соглашателя и российского угодника<sup>1</sup>.

Кроме того, есть несколько спорных вопросов, имеющих прямое отношение к жизни и делу И. Гаспринского, которые нуждаются хотя бы в беглом освещении (смысл модернизации общества через просвещение, проблема единения тюрков, проблема западно-восточной аккультурации и др.). Естественно, внести какую-то ясность в ситуацию многолетней дискуссии, ведущейся вокруг центральной фигуры крымскотатарской культуры начала XX века, невозможно, не вернувшись в крымскую и российскую действительность, какой она была в те годы, когда Исмаил-бей сформировался в качестве мыслителя и общественного деятеля, и которая придала его учению столь необычные черты.

## 2. Почва для джадидизма в России и Крыму

Несмотря на то, что значительное явление мировой культуры, названное джадидизмом (о его сути, зарождении и окончательной форме см. в сл. параграфе), связано прежде всего с именем Исмаила Гаспринского, первоистоки широко-го модернизационного движения в исламской жизни обнаруживаются гораздо раньше и далеко от Крыма. Екатерина II, не останавливавшаяся во внешней политике перед прямым порабощением ряда тюркских народов, нашла необходимым для укрепления имперского абсолютизма более или менее постоянное сотрудничество его с мусульманской элитой и учёными тюрками России. Этим она невольно содействовала пробуждению в Волжско-Уральском регионе не-

<sup>1</sup> Например, о «выраженном подобострастии (по отношению к русскому правительству) Исмаил-бея» писал в своей книге Ахмед-Заки В. Тотан (цит. по: Беннигсен, 1993. С. 92).

коего мусульманского культурно-политического возрождения. Мусульманские учёные-улема между тем не видели никакой перспективы в духовном единении ни с господствующим суперэтносом — российскими славянами, ни с мировой уммой. Они выстраивали новое сообщество единоверцев на основе убеждения, что все мусульмане империи имеют своим духовным корнем волжско-булгарское религиозное единство, образовавшееся ещё в X в.

Между тем в первой половине XIX в. более или менее толерантная внутренняя национальная политика Петербурга сменилась неприкрытым антимусульманским давлением. Но его результаты были далеки от задуманных. Практически все тюркские народы империи исполнились решимости отстоять свою религиозную и этническую культуру от её ликвидации колонизаторами. Это ответное движение лишь позднее получило своё наименование. Точнее, было выведено несколько его определений, из которых самым распространённым стал термин «пантюркизм». С момента своего возникновения он рассматривался писавшими о нём публицистами России как явление чуть ли не тоталитарное и оттого в высшей степени отрицательное и опасное для сограждан, не принадлежащих к тюркам. Между тем, дело обстояло совсем иным образом.

Сам по себе пантюркизм — это полустихийно возникшее в борьбе против угрозы этнической и культурной ассимиляции идеологическое течение, согласно которому тюркские народы, племена и диаспоры России должны были объединиться, возродив вначале общую культуру и литературный язык, а затем и создав этнополитические, идеологические и другие организации для гарантии свободы в развитии культурного и национального самосознания. Распространённое мнение относительно того, что пантюркизм — явление, занесённое в Россию турецкими элементами, — ошибочно. Дело обстоит как раз наоборот, и именно турки, к их чести, в своё время вполне естественно восприняли пантюркизм «как продукт российской действительности» (*Аршаруни, Габидуллин*, 1931. С. 13). Ученники Исмаил-бея Юсуф Акчура (Акчурин) и Али Мардан-бей Топчибаши эмигрировали в Турцию, став там видными идеологами пантюркизма, найдя единомышленника в лице турецкого мыслителя Зия Гек Алпа (ему принадлежат трактаты *Основы тюркизма* и др.).

Столь же голословны встречающиеся до наших дней обвинения пантюркизма как средства оправдания самых гнусных пороков. Ограничусь одним примером: «Пантюркизм — агрессивная расистская доктрина» (*Когонашвили*, 1995. С. 208). Между тем даже исследователям начала XX в. было вполне очевидно, что пантюркизм, как и панисламизм, сближая народы, имели целью «...интересы чисто духовные и, что замечательнее всего, в центре сближения опять-таки стояла Россия, правда, свободная Россия. Вообще изучение документов национального движения с очевидностью свидетельствует о том, что ни в один момент русской истории связь инородцев с Россией не была столь крепка духовно, как в годы [пантюркистского] освободительного движения» (*Штернберг*, 1910. С. 566).

Сам по себе пантюркизм явился симметричным ответом на возникновение и развитие в 1830–1880-х гг. панславизма. Правда, с тем немаловажным отличием, что пантюркизм был конструктивным явлением, тогда как в панславизме особо сильны были агрессивные, разрушительные черты. Они проявлялись, например, в разделах Польши и последовавших за ними кровавых

репрессиях против поляков, в откровенном стремлении официального Петербурга не допустить развития балканской, закарпатской, польской, украинской государственности и т. д. И, стоит отметить особо, опасения тюрков относительно дальнейшего роста агрессивности именно в «мусульманском» направлении вскоре оправдались. Так, одной из важнейших причин вступления России в Первую мировую войну было «стремление захватить новые политико-стратегические позиции на Ближнем Востоке, которые послужили бы плацдармом для развития в будущем экспансии в этом направлении» (Россия, 2000. С. 199). То есть, по просту говоря, для окончательного уничтожения такого крупнейшего независимого центра тюркского мира, каким была Турция.

Другими словами, пантюркизм вовсе не был зеркальной противоположностью панславизма по трём причинам: 1) Он был защитной, ответной реакцией, тогда как панславизм стал порождением идеологии экспансии, агрессивной этнопсихопатии; 2) Пантюркизм имел целью всестороннее развитие всех тюрков, в то время как панславизм ради эгоистических интересов одних славян (великороссов) подавлял политически, культурно и даже физически — вплоть до массовых казней и ссылок — другие, тоже славянские народы (прежде всего поляков, но отчасти и украинцев, и население Балкан); 3) Наконец, если панславизм объединял прежде всего зажиточных, во всяком случае, образованных россиян, то пантюркизм, как идеология и программа, зовущая к действию, был доступен любому тюрку. Ибо дискриминация со стороны доминировавшей титульной нации России подвергалась все мусульмане, вне зависимости от их образовательного или социального уровня.

И эта истина стала явной задолго до того, как тюркские политики выступили против плоской марксистско-ленинской теории классовой борьбы. Ещё в 1906 г. Ю. Акчуриин писал: «Левые говорят: «Среди мусульман существуют разные классы. Все эти классы объединить [единой] программой нет возможности. Должно быть, по мнению этих господ, партии основываются только на принципе классовых интересов и возникают от классовых раздоров. Не видели, должно быть, союзов, основанных на принципах национальности и [этнического] происхождения. Поэтому всегда возможно, несмотря на материальные разногласия, объединить и организовать самую сильную партию на принципах национализма и религии» (цит. по: Аршаруни, Габидуллин, 1931. С. 30).

Верно отмечено также, что тюркизм как разновидность национализма угнетённых меньшинств вообще мог возникнуть только в России. Эта оборонительная<sup>1</sup> доктрина, нацеленная на защиту религии, культуры и этнической самобытности, могла быть практически осуществлена лишь совместными акциями народов, стоящих на одной цивилизационной платформе. Он не мог развиваться, скажем, в Турции, где тюркам никто не угрожал, но вполне естественно и закономерно возник в России с её национальной и конфессиональной асимметрией,

<sup>1</sup> Крупный русский философ и правовед И.А. Ильин дал 9 определений национализма. Причём все положительные, с точки зрения не только их автора, но и общечеловеческой морали. Думается, что в приложении к крымскотатарскому народу лучше всего подходит следующее определение: «Национализм есть инстинкт самосохранения» (Ильин, 2006, С. 37).

лишавшей одни этносы засушливых прав и возможностей ради осуществления нездоровых интересов и экспансивных устремлений других. Иными словами, возникновение российского пантюркизма было «исторической необходимостью группового объединения меньшинств, способного таким образом защитить свои национальные интересы» (Гориков, Червоная, 1998. С. 79).

Другое дело, что это мусульманское движение с самого своего зарождения имело некоторые слабые стороны. «Очертания сконструированной заново нации мусульман России, в которой конфессиональные элементы смешивались с языковыми, этнокультурными и историческими, остались между тем нечёткими» (Канпелер, 2005. С. 419). Это объяснялось прежде всего тем, что основная масса тюрков России ощущала себя прежде всего мусульманами, и в гораздо меньшей степени — носителями этнической культуры. Одновременно тюрки, принадлежавшие к различавшимся по условиям существования этническим группам, и цели имели различавшиеся друг от друга. Что и сказалось гораздо позднее, в начале XX в., в провале попыток создать в России общемусульманскую политическую партию (см. ниже). Этот разброд в целях и средствах их достижения, всё более явная необходимость его преодоления и явились причиной и истоком нового движения.

Тюркизм как идеологическое течение стал заметным среди казанских татар уже в начале второй половины XIX в. Тогда призыв к обогащению тюркской культуры путём контактов с другими культурами выдвинули такие видные деятели Поволжья, как Хусаин Фаизхани (1828–1866), Шихабуддин Марджони (Марджани) (1818–1889), Абдул-Каюм Насыри (1824–1902). Кроме того, отдельные составные части программы пантюркизма проводились в жизнь благодаря таким его подвижникам, как азербайджанский педагог А.О. Черняевский (распространение в образовательном деле «нового метода»), а в приведении мусульманской религиозной практики в соответствие с действительностью — среднеазиатские духовные лидеры Ф. Ходжаев, А. Фитрат, С. Айни, М. Бекбуди, А. Авлани и другие.

Нечто схожее наблюдалось и в Турции. Здесь, в Конийской округе, появились в середине XIX в., а затем получили известное распространение на всей территории Османской империи идейные течения, которые принято связывать с именами Шейха Ахмеда и Омера-эфенди. Официальная точка зрения на этих «уклонистов» от доминировавших теории толкования Корана, этических канонов и богослужебной практики была резко отрицательной, их называли сектантами и относились к ним как едва ли не к еретикам. Между тем, судя по их целевым установкам и движущим идеям, это были борцы за восстановление присущего классическому исламу культа знания, культурной открытости и высокой толерантности.

Против ясных и обоснованных доводов этих «сектантов» по сути нечего было сказать даже шейх-уль-исламу империи, и он предпочитал хранить нейтралитет. А о степени популярности этого нового/старого учения можно судить по тому, что уже в 1860-х гг. основные его положения пересекли границы России, их с симпатией цитировали и обсуждали даже центральные российские (то есть немусульманские) газеты: «Мы мусульмане, и остаёмся ими... Коран наш руководитель; но мы отвергаем толкования и предания, сделавшие из Корана источник невежества и нетерпимости. Верные Пророку и Создателю, мы считаем

братьями и равными себе всех, кто верит в единого Бога, Создателя, одни только идолопоклонники — неверные... и [мы] хотим возвратиться к чистоте закона нашего Пророка» (Русский Инвалид. 30. 07. 1864).

Однако из числа самых выдающихся пантюркистов имеет смысл выделить тех, кого можно назвать действительно основоположниками, во-первых, религиозного обновления, а, во-вторых, джадидизма.

Пионером в первом из названных культурных течений был, бесспорно, бухарский реформатор Абунаср эль Курсави (ум. 1813). Вслед за ним в деле тюркского образования сказал новое слово оренбургский муфтий Хусейнов. В 1818 г. он обратился в российское Министерство народного просвещения с предложением радикальных перемен в схоластическом образовании мусульман, учредив для этого два новых медресе, где бы преподавались и светские науки, и русский язык по программе Казанского университета. Однако инициатива муфтия была похоронена российской бюрократией, не заинтересованной в развитии поволжских «туземцев», в приобщении их посредством русского языка к европейской цивилизации (Климович, 1936. С. 179–180).

В 1860-х гг. попытку перемен в этом направлении повторил Фаизхани — и с тем же результатом, и так же не сумев привлечь более или менее значительное число сторонников из числа единоверцев. Но они были, а в их числе — и такие одарённые, как, например, казанский мулла Ш. Марджани. Появились и противники<sup>1</sup>, обвинявшие новаторов в прислужничестве правящим силам империи, что, конечно, абсолютно не соответствовало действительности. К сожалению, истина стала очевидной гораздо позднее, а в начале реформаторам приходилось тяжелее всего именно от непонимания со стороны единоверцев. Так, к примеру, татарин Марджани вёл жизнь искренне верующего, но преследуемого по исламским законам мусульманина, а Курсави был казнён по приговору эмира бухарского.

Заладимся, наконец, вопросом: что такое *джадидизм*?

Ранее уже упоминалось о некоторой «порче», которой ислам подвергли с течением времени, казалось бы, его верные исповедники. Эта ситуация и породила желание возврата к древней истине, стремление модернизировать идеи и практику вероучения путём возврата к чистому учению. Обычно под «модернизацией» понимается некий процесс внедрения новых, то есть ранее не существовавших элементов. Соответственно, модернизаторы — люди, изобретающие некие новые принципы, приёмы или методы для внедрения в действительность новых сущностей или придания ей нового содержания.

Ничего похожего в джадидизме не было, причём изначально, хотя он, по сути, означал обновление (от *араб.* джадид — новый). Ислам не нуждается в обновительных переменах. Собственно, усовершенствования, вызванные эпохой, допускаются, но не любые, а лишь принципиально соответствующие духу шариата и (или) адата. Все иные изменения канонического вероучения или законоположения являются, как уже говорилось, *бидаа*, то есть специфическим грехом

<sup>1</sup> Здесь речь идёт только о добросовестных и честных оппонентах новому движению, а не об идеологах великорусского шовинизма и активистах антимусульманского православного направления, которые выступали во второй половине XIX — начале XX вв. всё более энергично.

из числа самых тяжких. Причину же ненужности кардинального слепого обновления ради обновления следует искать в сущности самого ислама.

Классический ислам был *рационален* изначально. В этом его отличие от других великих религий, в этом же отсутствие необходимости в его рационализации, среди прочего, вызывающей духов порочного обновления. Это не значит, что ислам — некое окостеневшее, самодостаточное тело или сущность. Напротив, он чрезвычайно гибок, динамичен, он даёт несравненные возможности для восприятия и утверждения новых норм (если они рациональны истинно, а не ложно), ведь меняется сама среда обитания, условия существования в этом меняющемся мире. Такой процесс не пересматривает мусульманского права и морали. Он осуществляется через другой механизм: меняется лишь обычай, достигается соглашение сторон, совершенствуется административный регламент. Правовая система уммы не признаёт значимости социальных утопий, но зато она допускает рациональные, полезные для человека перемены, если на них настаивают авторитетные учёные, деятели или институты. Исламское право остаётся выше права той или иной этнической общины, но эта община получает через него широкие возможности самосовершенствования.

Другими словами, выдвинутый И. Гаспринским лозунг: «Для человека лучше всего то, что наиболее полезно и практично» (цит по: Shura, 1914. № 23) мог показаться странным для иудея или христианина, но не для мусульманина. Учитель лишь передавал суть исламской нравственно-правовой структуры, строения общества. Известно, что эта структура не навязана насильно сверху, но отражает естественные, заложенные самой природой человека, имманентные его устремления и возможности. Причём, вопреки распространённому мнению, не человек приспосабливается к шариату, а напротив, мусульманское право, чьим источником являются шариат и адат, вырастает свободно, на почве человеческих желаний и здоровых инстинктов.

Цель исламской правовой практики — не втискивать эти стихийные, природные нормы в какие-то искусственные рамки ради самоценно-религиозного ограничения свободы индивида, его подчинения внешним (пусть даже высшим) силам. Здесь цель совершенно иная: упорядочить эти нормы таким образом, чтобы одна часть единоверного общества не ущемляла интересы другой, то есть чтобы вместо неограниченной *воли* постоянно утверждались принципы рациональной *свободы*. Ведь рационализм сам по себе предполагает отсеечение безусловно порочных, вредоносных по отношению к человеческому обществу, к биосфере Земли страстей, желаний и инстинктов, предполагает исключение процветания одного за счёт страданий другого...

При этом основа, то есть ствол веры, остаётся незыблемой. Это: единобожие, культ знания (в том числе научного, в том числе заимствованного у немусульман), широкая веротерпимость, общественный и государственный порядок, антиконфликтность внутри и вне общины, правовое, социальное и политическое равноправие членов уммы и недопущение религиозной дискриминации других монотеистов (христиан, карaitов, иудеев, зороастрийцев и т. д.), открытость и восприимчивость культуры. Поэтому такая религия и обладала в человеческой истории уникальным приоритетом «в удовлетворении растущей потребности цивилизации в налаживании и использовании интеграционных механизмов».

что имело реальные результаты: «основной политической ценностью объявлялась стабильность, базирующаяся на этносоциальной однородности всего общества» (Котанджян, 1992. С. 60–61).

Этим и объясняется тот бесспорный исторический факт, что мусульманский мир в свой классический период смог далеко обогнать и Европу, и Дальний Восток в процессе выработки и осуществления таких общецивилизационных ценностей, как *практическая* терпимость, могучая тяга к просвещению, способность к широкому научному синтезу во всех областях знания, высокий гуманизм как основной, несущий принцип общей модели жизни. А также «прогресс», даже взятый в узковатом, европейском понимании.

Как писал сто лет тому назад индийский философ (кстати, до знакомства с И. Гаспринским), разве «...величайший реформатор, явившийся в мир, человек, провозгласивший, что вселенная управляется законом и порядком, что закон природы означает прогресс развития, когда-нибудь подразумевал, что постановления, данные им временно, для необразованного народа, должны оставаться неизменными до конца мира... Никто прозорливее его не сознавал необходимости прогресса в этом мире, вечно изменяющемся в своих нравственных и социальных проявлениях. Как мы уже заметили, ржавчина, покрывшая мусульманские народы, отнюдь не происходит от учения учителя: ни одна религия не обещала большего развития; не было веры чище и больше соответствовавшей требованиям прогресса. Нынешний застой мусульманских общин происходит от ложного понятия, вкоренившегося в большинство мусульманских умов: будто бы право частного суждения потеряно со времён ранних законодателей и не может возобновиться в новейшее время... Мухаммад всегда считал самым высоким и благородным двигателем поступков человека, тогда как наши учёные и их раболепные последователи вменили в преступление применение ума, как у христиан, так и у мусульман» (Мир-Али, 1902. С. 294).

Речь здесь идёт о том, что после заката классического ислама в XIII в. в мусульманском мире начались медленные, хотя и глубокие изменения. Они были незаметны, но со временем привели к разительным результатам. Общение с западными культурами на протяжении 5 веков войн и мира, к сожалению, повлияло на практическое осуществление заповедей Мухаммада. Особенно сильному искажению подверглись они в колонизованных регионах исламского мира. Среди последних выделялась Россия — своей нетерпимостью к религиозной и этнической культуре мусульманских народов и племён. Упомянутые перемены заключались в обострении недоверия и частично враждебности к христианскому миру, в неприятии чужих культур, в самоизоляции как реакции на тщетность попыток избавления от культурного и иного давления русских колонизаторов иным путём.

Повторяем, эти негативные изменения, вызванные российской колониальной политикой, были вызваны не чем иным, как естественным желанием от неё защититься. Возможно, тогда они были неизбежны. Но после, когда уже можно было спокойно, глядя с высоты пройденных времён, соизмерить добро и зло, которое принёс отход от классического ислама, не стало ли ясно, что вред, от сего происшедший, по крайней мере, весьма значителен? А то, что с его последствиями нужно бороться, стало ясно уже во времена Гаспралы.

Едва ли не самым пагубным из этих последствий было абсолютно чуждое классическому исламу стремление самозакупориться, которое шло во вред прежде всего самим мусульманам. Другое дело, что оно было вынужденным, точнее, к нему принудили уникальные открытые крымские мусульман. Но от понимая этого плоды самогерметизации не становились слаше. Она, среди прочего, отрывала российских подданных (казанских — больше, крымских — меньше) от зарубежных единоверцев, от развития общецивилизационной мысли, науки, культуры. Редкие и случайные возможности получения образования в Стамбуле или Каире не делали погоды в масштабах российской мусульманской общины. Зато по пятам такой «добровольной» самоизоляции, ухода в глубокое подполье, неизбежно следовали банальные сектантство и невежество. А уж они выражались, в частности, в грехах нетерпимости, враждебного неприятия иноверческих культур, формального следования букве, а не духу Корана.

Короче, это было явление, получившее имя «ортодоксального фанатизма», известного и иным религиям в кризисной стадии их истории (например, для православия им стало в некоторых внешних своих проявлениях старообрядчество). Российские же православные идеологи-шовинисты смогли сделать настоящее пугало именно из мусульманской разновидности такого отхода от классической Истины. Это их грех, но он не меняет сути и результатов самого отхода как самостоятельного явления.

Оно не могло быть абсолютно одинаковым во всех уголках мусульманского мира. В Крыму по ряду причин (не последняя из них — его география, некогда породившая благословенную «островную психологию» в совокупности с открытостью большому миру) оно было, повторяю, меньшим, чем в более удалённых от великих культурных перекрёстков мусульманских областях<sup>1</sup>. Поэтому, рассматривая сложившуюся ситуацию именно отсюда, из старого центра Просвещения, И. Гаспринский смог даже не заметить, а болезненно ощутить пороки, поразившие общины Поволжья, Кавказа и Средней Азии, впрочем, отчасти и Крыма тоже. Поэтому он и должен был выработать совершенно естественно общую для всех своих программ целевую установку, которой следовал всю жизнь: не осуждать тюрков от тугих уз накопившихся искажений чистого Учения, не распускать своевольные пути былых и новых ошибок, а добиваться, чтобы этого захотели сами последователи Пророка в России и за рубежом, во всём мусульманском мире (Shura, 1914. № 22).

Между тем всё это время обновленческий джадидизм был нацелен на сохранение ценнейших, наиболее важных, фундаментальных черт классического ислама (то есть великой эпохи Мухаммада и четырёх первых халифов). Эта цель — возродить учение Пророка во всей чистоте — ясно звучала в программе Марджани, ставившего задачей: «вернуть мусульман к основам древне-исламской культуры времён Магомета» (Аршаруни, Габидуллин, 1931. С. 10). Казалось бы, эта цель была благородна и крайне своевременна в ситуации, когда в ислам уже пускали корни

<sup>1</sup> В Крыму ещё не забыли широкую практику привычного посещения родственников и друзей за рубежом, приёма гостей из-за моря; здесь сохранилось и умение сглаживать противоречия там, где это не имело принципиального значения (в повседневности) и сохранять различия там, где именно это было принципиально важным (в духовной жизни).

чуждые ему сектантская нетерпимость (даже к единоверцам) и тот радикализм, что в конце XX в. получит совершенно незаслуженное обозначение «фундаментализм». Тем не менее, как пантюркизм, так и в особенности джадидизм и панисламизм превратились в общетюркское движение, стали массовыми значительно позже и только благодаря Исмаилу Гаспринскому. У крымского мыслителя здесь не нашлось ни «конкурентов», ни, к сожалению, достойных продолжателей, что признавали и его критики (Там же. С. 12).

Итак, не Гаспралы превратил (развил) недовольство, неудовлетворённость культурным регрессом тюрков в социокультурное и религиозно-реформаторское движение, — это сделали Марджани и Насыри. Но именно великий крымский джадид преобразовал начавшееся движение, ориентируя его на современность. Причём на современность, типологически близкую европейской цивилизационной модели, которую он знал не в пример лучше своих идейных предшественников. Однако он отличался и от турок, которые, начав в первой половине XIX в. фундаментальные и всеохватывающие реформы, известные как *Танзимат*<sup>1</sup>, поставили перед собой задачу превращения Турции в европейскую державу. Собственно реформаторы эпохи Танзимата даже понятие *цивилизация*<sup>2</sup> использовали «в том смысле, что существует единственная цивилизация — европейская», а зачастую употребляли его «примерно в том же смысле, что и *прогресс*» вообще (Окай О. Исследование интеллектуальной жизни в эпоху вестернизации // История Османского государства. Т. 2. С. 97). Такое узко западническое видение будущего для своего народа совершенно отсутствовало у крымскотатарского реформатора, отдавшего много сил и времени для сохранения уникального культурного облика крымцев.

Другое дело, что он стремился использовать ценности западной цивилизации как инструмент модернизации и обогащения культурной и духовной жизни своих соотечественников. И основная заслуга И. Гаспринского в том, что он расширил джадидизм, подняв его теоретически и практически до уровня стройной и саморазвивающейся просветительской системы. Он поставил в зависимость от неё также социальное и моральное совершенствование и обновление (в смысле его возрождение по канонам истинного ислама). Его джадидизм не ограничивался просвещением, но был направлен на обновление «всех сторон общественной жизни в соответствии с духом и требованием времени» (Хаяли, 2009. С. 117). И, конечно, совершенно новой была его идея создания на османской основе усреднённого общетюркского языка, как главного средства культурного общения, предусматривавшегося и пантюркизмом, и панисламизмом.

К концу XIX века движение обретает свои законченные формы. Внутри него одновременно происходит ещё одна перемена, которую можно было бы назвать смещением центра исламского реформаторства в Крым, если бы такой центр

<sup>1</sup> *Танзимат* (тур. *tanzimat* от араб. *танзим* — упорядочивание) — название системы реформ в Османской империи в 1839–1870-х гг., способствовавших модернизации государственной, экономической и культурной жизни турецкого общества.

<sup>2</sup> Само слово «цивилизация» (араб. *мединет*) было образовано сторонниками Танзимата от арабского *мадина* («город»). Показательно, что здесь был использован тот же словотворческий механизм, что и во французском, когда от латинского *civilis* было впервые образовано лексическое слово-понятие «цивилизация» (*civilisation*).

имелся. В самом деле, разрозненное и несогласованное это движение, одновременно возникшее в нескольких регионах по одним и тем же причинам, к этому времени ослабевает в Поволжье и Средней Азии и усиливается в Крыму. Последнее явление объясняется несколькими факторами, среди которых стоит назвать основные:

1) *Политика „выдавливания“ коренного населения из Крыма.* Конечно, трудно сравнивать уровень антитатарского насилия в Крыму и, к примеру, в Поволжье. Но некоторое представление о более тяжёлом положении крымских татар даёт статистика эмиграции. Бегство с исторической родины 2/3 коренного населения, причём с невиданной интенсивностью (в начале 1860-х для этого хватило двух лет), — вообще уникальное явление в новой истории тюркских народов. Те, кто не имел возможности эмигрировать, искали путь к простому выживанию, и это было повсеместным в Крыму явлением, налагало свой отпечаток на всю нацию. Но при этом чем дальше, тем яснее становилось, что народ угасает, и если не изменить стратегию и тактику сохранения этнической культуры, модели жизни, традиционной идеологии, то эта борьба неминуемо закончится поражением. Ситуация усугублялась явлением, упоминавшимся ранее. Нечастое в массе крымских и иных российских мусульман высшее светское образование, точнее, острая нехватка его, ставила их в неравноправное положение по отношению к инокультурным критикам, идеологическим и политическим противникам. Пользуясь фактической монополией на публицистической ниве, российские публицисты и просветители, вольно излагая историческую действительность, сознательно и не без пользы для себя извращали факты из истории мусульманской цивилизации.

Приведём такой пример из творчества одного лишь противника И. Гаспринского: «Г-н Гаспринский приписывает исламу возрождение науки и организацию средневековых европейских школ и университетов, ... [утверждает,] что всеобщее обучение завещано человечеству не XIX веком, а первыми десятилетиями мусульманской эры... старается обелить современных крымских соотечественников в их нежелании отбывать воинскую повинность и в массовом переселении в единоверную Турцию» (Остроумов, 1901–1903. С. 237). Это кощунственное по отношению к общекрымской трагедии замечание было сделано так, как будто не существовало выводов гораздо более тонкого и уж точно более образованного учёного: «Кто... во всякой религии видит непримиримого врага науки, тот, разумеется, и для ислама не должен делать исключений, но кто не считает религии за препятствие к умственному прогрессу, тот и исламу... не должен отказывать в способности к прогрессу» (Крымский, 1899. С. 112).

2) *Упадок национального просвещения и культуры.* Несмотря на работу десятка медресе и сотен мектебов, национальное образование крымских татар шло ко всё большему упадку. Почти абсолютное большинство мудarrisов и мулл, преподававших в этих духовных школах, были менее образованы, не обладали профессиональным, культурным и интеллектуальным уровнем своих коллег в Поволжье и некоторых духовных центрах Средней Азии. Высокая культура крымскотатарского народа по понятным причинам находилась в ещё большем упадке, чем народная. Главным тормозом на пути исламского просвещения было слабое владение арабским языком или его незнание в основной массе

верующих. Отсюда — невозможность достаточного проникновения в суть Корана. Глубокое осмысление учения Пророка всё чаще заменялось словом авторитетных наставников — мулл, хатипов и имамов, что никак не могло заменить самостоятельного и постоянного овладения каноническими исламскими текстами. Результатом становился неизбежный отход от тех норм и гуманистической морали, которые объективно являлись высшим достижением человечества в эпоху классического ислама.

Да и о каком гуманизме могла идти речь, если даже в симферопольских школах детей подвергали почти средневековым наказаниям, а учителя являлись таковыми лишь по названию, совершенно не будучи педагогами, не пытаясь понять детскую душу. Как вспоминал один из учеников такого заведения в Симферополе, «Большая школа Эюпа-оджа напоминала наши же, деревенские... Всё так же сидели на полу дети, всё те же подставки для книг — рале, даже набор палок тот же самый. Но отличительным излишеством здесь была ещё одна беда — фалака (орудие телесного наказания в старометодной школе; представляет собой две жердины, меж которыми зажимают школотки и бьют по пяткам). И я сразу понял, насколько учитель груб, раздражителен и страшен» (Сейдамет, 2009. № 3, С. 14).

Серьёзную проблему представляло собой и светское образование, задача которого была возложена на государственные (так называемые «министерские») крымскотатарские школы. Начать с того, что учителей для таких школ готовила Симферопольская татарская учительская школа, страдавшая рядом недостатков. Главным из них был узкий набор предметов, входивших в программу обучения молодых просветителей. В этом учебном заведении преподавались: мусульманское вероучение, русский язык, арифметика, геометрия, педагогика, сокращённые курсы географии и истории, рисование, а также начала физики, анатомии и крымской флоры, объединённые под общим названием естествознания. За семь лет обучения в школе (три года из которых отводились на przygotowательный класс) считалось, что выпускники Симферопольской школы приобретали навыки, достаточные для обучения будущих сельских школьников русскому языку и грамоте. И это практически всё!

Что же касается более важных для национального просвещения предметов: национальной и всеобщей истории, вероучения, естественных наук, то воспитанники школы выносили из неё довольно примитивный запас знаний. Как указывал в 1903 г. один из крымскотатарских просветителей, «...по магометанскому вероучению воспитанники буквально ничего не приобретают в [Симферопольской татарской] школе, ибо оканчивают её такими же, какими туда поступили, то есть поголовно безграмотными по-татарски; по истории получали кое-какие сведения биографического характера из всеобщей и более подробные сведения о битвах и подвигах полководцев отечественной (то есть российской. — В.В.) истории, по естествознанию же воспитанники ограничиваются знанием, что „пти-

<sup>1</sup> Русско-татарские школы и семинары были основаны в 1870-х гг. не только в Крыму, но и в Казани, Уфе и грузинском Гори. Как утверждают, это была попытка создания имперски-преданной аборигенной элиты, которая впоследствии верно служила бы державе. Причём упор здесь делался не на смену веры, а на владение русским языком, а также на знакомство с русской и европейской культурой — этого, как полагали, было достаточно (Adam, 2002. S. 246–247). Такое мнение не бесспорно, но оно заслуживает внимания.

целечники, крапивы, мальвы»<sup>1</sup> и прочие растения в обилии цветут в окрестностях Симферополя, что есть какие-то силы, которые именуют магнетизм, электричество и что туловище человека состоит из трёх частей, что у этого же человека есть также сердце, лёгкие, кровь и прочее, прочее. Всё это... передаётся воспитанникам в таком сжатом, в таком примитивном виде, что как только они переступают порог школы, в их головах ни аза по этим предметам не остаётся» (Meduev A. Крымские письма // ПО, 2–4 февраля 2007. С. 12).

Понятно, что преподаватели такого уровня не могли быть востребованы в крымскотатарской среде. Тот же автор указывает: «Татарские министерские школы не пользуются популярностью среди населения Крыма. В больших татарских центрах с 5-ю, 6-ю тысячами чисто татарского населения, министерская школа в своих стенах еле-еле насчитывает 25–30 учащихся. В прошлом (то есть в 1902. — В.В.) учебном году был даже такой случай: новооткрытую школу в Отузах Феодосийского уезда (в Отузах 300–400 дворов) посещало лишь два мальчика. Если принять во внимание тот неудержимый рост желания обучаться отечественному языку и отечественной грамоте, который замечается в последнее время среди крымскотатарского населения, то это печальное явление — опустение татарских министерских училищ — нужно поставить в вину исключительно плохой организации министерских школ для татар и стоящим во главе этих школ начальным учителям, которые не умеют привлекать симпатии населения к школе. Сами татары это печальное явление объясняют тем, что, помимо дефектов самих школ, им не нравятся выпускаемые Симферопольской татарской учительской школой учителя, и поэтому они не хотят поручать им своих детей.

— Они, то есть эти учителя, — говорят татары, — ничего общего с нами не имеют и они ничем не разнятся для нас от учителя иноверца» (ук. соч. С. 12).

Конечно, отдельные выпускники Симферопольской школы, осознавая недостаточность полученного в ней обучения, видели выход в самообразовании, причём некоторые из них впоследствии стали выдающимися просветителями, писателями, учёными и т. д. Но основная масса сельских учителей не то, чтобы не хотела развиваться самостоятельно, но была принуждена бедностью, граничащей с нищетой, всё свободное от уроков время отдавать обычному крестьянскому труду, иначе выжить на учительское жалованье было просто невозможно...

Проблемы, связанные с министерскими школами, традиционными и новометодными мектебами, которые со временем не сглаживались, а ещё более обострялись, не могли не беспокоить интеллигенцию и наиболее мыслящую и развитую часть крымскотатарского общества и, в частности, духовенства. И те, и другие пытались искать способы остановить эти негативные перемены, методы борьбы с ними. Об этом свидетельствовал простой факт: если в Поволжье и других мусульманских регионах империи самыми яростными противниками джадидизма были муллы, то в Крыму практически все новометодные мектебы руководились именно муллами и мазинами. Между прочим, благодаря и этому обстоятельству крымские джадидисты смогли уже в 1909 г. перевести все мектебы и другие учебные заведения на новометодное обучение (Ганкевич, 1998. С. 119).

Как это объяснить? Просто это был Крым со всеми его уникальными чертами и свойствами. Тот самый Крым, что породил Исмаила Гаспринского.

3) *Внешинополитические особенности ситуации в Крыму.* В 1870-х гг. Россия продолжала экспансию в южном направлении за счёт Турции. Была завоёвана большая часть Восточной Анатолии, в 1878 г. пал Эрзрум. До этих событий крымские татары внешне почти не обнаруживали своего неприятия воинственной антиисламской политики империи. Более того, как сообщалось ранее, в очерках о Крымской войне и других войнах России, многие крымские татары, военные и гражданские, верно служили императору, несмотря на то, что Николай осуществлял агрессию против султана Турции, который по традиции считался духовным халифом крымского мусульманства. Однако теперь, когда Россия реально подошла к той черте, за которой она становилась буквально погубительницей Турции, российские мусульмане заволновались. Опасность, исходившая от «их царя», грозила не просто одному из единоверных сообществ. Как признавали и русские авторы, угроза ликвидации надвинулась на державу, которая «есть величайшее из самостоятельных мусульманских государств и в качестве такового обладает большим обаянием в мире ислама» (Санин, 1915. С. 15).

Другое дело, что волнения среди крымских татар происходили в области духа, а не в плане практических действий. На протяжении всей истории коллективной травмы ослабевшей Турции в 1870-х годах<sup>1</sup> ни российские, ни австро-венгерские мусульмане никак не проявили своего возмущения вовне. Но это не значит, что оно отсутствовало, особенно у крымских татар, для которых Турция на всём протяжении истории значила неизмеримо больше, чем для тех же мусульман Поволжья или Средней Азии. Соответствующее значение приобретала и антитурецкая агрессия России. Поэтому, в частности, уже в 1903 г. крымцы, добившись поддержки других мусульман, обратились к мировой общественности «во имя гуманности» с призывом воздействовать на русское правительство и тем самым «облегчить страдания мусульман» (Исхаков, 1996. С. 41). Акции такого рода, ранее совершенно немислимые, можно отнести уже к результатам новоисламского движения.

4) *Внутриполитический фактор.* В эти же десятилетия в России многократно усиливается антиисламская пропаганда, идеология слепой ненависти к мусульманам, ставшая естественным продолжением официального лозунга-призыва к «православию, самодержавию, народности». При этом якобы имевшая место боевая идеология некоего международного «русофобского заговора» уже называлась по имени: *панисламизм*.

Между тем, строго говоря, термин «панисламизм» был вполне бессмысленным. Ведь «просто исламизм» или мусульманство само по себе предполагает объединение правоверных всего мира без различия национальностей, рас, культурных и административных границ. Как и пантюркизм, но несколько позже, «панисламизм» (или та идеология, что под эти именем понималась) возник в качестве конструктивного, неагрессивного, общегуманистического

<sup>1</sup> В 1878 г. Англия фактически аннексировала Кипр, на Берлинском конгрессе того же года узаконивалось отделение от Турции ряда территорий в Закавказье, Архипелаге, Черноморском побережье и на Балканах, а также в Северной Африке. В этом растаскивании империи, чем-то напоминавшем пиршество гиен, кроме России принимали участие Англия, Австро-Венгрия, Франция и Италия.

начала в России. У истоков его также стоял И. Гаспринский,<sup>1</sup> хотя малограмотные большевистские авторы и утверждали, что бахчисарайский просветитель заимствовал их в какой-то всемогущей, хоть и явно фантастической «всемусульманской панисламистской организации, центр которой находился в Турции» (Смирнов, 1931. С. 39)<sup>2</sup>.

Дело же обстояло как раз наоборот. После того как И. Гаспринский в 1880–1900-х посетил нетюркские мусульманские регионы (Кавказ, Египет и др.) и убедился в общности тяжёлых проблем, свойственных всему исламскому миру, то тюркистская программа была им чисто пространственно расширена. То есть был выработан конкретный план не общетюркского, а общемусульманского возрождения, новых методов образования и просвещения, опубликованный по-арабски и распространённый в мировой умме, который уже после этого был взят на вооружение реформаторами и просветителями Турции (Shura, 1914. № 22)<sup>3</sup>. Но это случилось не накануне XX в. или в первые его годы, как утверждали старые и новые российские историки, а гораздо позже. На этот факт обратил внимание казанский лидер С. Максудов, выступая в Государственной думе в 1908 г. Он отметил, что до этого в обширной православной миссионерской литературе ни разу не упоминался сам термин «панисламизм», и лишь в этом году мусульманам стали приписывать приверженность к панисламскому сепаратизму, направленному якобы на разрушение всего христианского мира и, в частности, европейской цивилизации (Государственная Дума, III созыв. Стенографический отчёт. Сессия вторая. СПб., 1908 г. Ч. I. Стлб. 2667).

<sup>1</sup> То, что И. Гаспринский родился и жил в России, а не в Турции, «не мешает называть его „отцом“ [пан]тюркизма, поскольку его работы были настолько популярны в Стамбуле, что играли немалую роль в распространении идей национализма среди турко-османов». С другой стороны, «взгляды писателя и журналиста лишь с большой долей условности можно охарактеризовать как националистические, так как в его мировоззрении доминирующую роль... играл [обще]исламский фактор» (Нуриев, 2011. С. 37).

<sup>2</sup> Между прочим, пантюркизм и панисламизм донныне представляются на международных научных и политических встречах в виде какого-то жупела, грозящего мирным народам Европы геополитическими потрясениями или, по меньшей мере, террором. Так, на состоявшейся в 1991 г. под эгидой ЮНЕСКО в Симферополе научной конференции «И. Гаспринский — видный мыслитель и гуманист», затем в Москве, на конференции 1994 г. «Пантюркизм и национальная безопасность России» высказывались вполне тюркофобские мнения, основанные именно на страхе перед указанными культурно-философскими направлениями мысли Востока (подр. см. в: Исхаков, 2004. С. 85–86). В том же духе выдержана одна из последних работ В.А. Наденна-Ростовского: Пантюркизм: миф или реальность (исследование идеологии и политики современного пантюркизма). М., 1995.

<sup>3</sup> В условиях России панисламизм с самого момента своего появления на идеологической сцене ассоциировался с пантюркизмом. Это подчёркивали и сами джадидисты, например, на III Всероссийском мусульманском конгрессе в 1906 году (Ариаруни, Габидуллин, 1931. С. 32). Хотя, как доказывают западные исследователи, татарские интеллектуалы на рубеже XIX и XX вв. отстаивали пантюркизм как альтернативу неприемлемых для них процессов вестернизации и, с другой стороны, распространения панисламизма. То есть, у них пантюркизм представал как антизападное и одновременно антипанисламское движение (Исхаков, 2004. С. 86).



На самом деле панисламисты не имели к этому мифу никакого отношения. Более того, нужно заметить, что в осуществлении вышеупомянутого реального плана общемусульманского возрождения зачастую препоны воздвигали сами мусульмане европейской части России, Средней Азии и Египта. Даже просвещённые и культурно развитые единоверцы, которым в молодости не без труда удалось получить образование традиционным путём, не допускали и мысли, что новый школьный метод может сочетаться с исламскими традициями, с шариа-том. Поэтому И. Гаспринскому приходилось дискутировать с этими кадимистами, поскольку он понимал, что без победы над их точкой зрения вся его программа обречена на провал и забвение. И для вынужденных этих схваток со своими идеологическими оппонентами он был готов ехать куда угодно — не только в Египет, но и в Индию, и в Бухару, этот оплот самых влиятельных противников джадидизма, чтобы разгромить их на собственной территории.

Впрочем, не только исламские реакционеры-консерваторы пытались опровергнуть идею панисламизма. В эту пору и русские профессора университетов или миссионеры, и журналисты, и политические лидеры обращаются всё чаще к истории так называемой «Святой Руси». В их писаниях и речах эта история предстаёт как «беспрестанная реакция на внешние силы, в сонме которых ислам оказывается едва ли не доминирующим» (*Батунский*, 1995. С. 276). Столь вольно толкуемое прошлое Восточной Европы бросало злобный отсвет на действительность. Антиисламисты утверждали, что Россия находится под страшной угрозой объединённого нашествия всего мусульманского мира, причём внешних врагов готовы поддержать их российские единоверцы, планирующие взорвать государство изнутри.

Мало того, что эти измышления были клеветой на мусульманский мир, как известно, ни разу в истории не выступавший в объединённой, то есть многонациональной агрессии типа варварских крестовых походов. Любопытно другое. Сам термин «панисламизм» возник под пером русских исламофобов, и лишь в 1904 г. стал рассматриваться как проблемная тема в мусульманской литературе. Так, египетская газета «Тюрк», неоднократно печатавшая статьи И. Гаспринского, в № 30 того года приводила вполне резонные доводы некоторой фантастичности брошенного мусульманам всего мира обвинения. Поскольку эти рассуждения вполне актуальны и на сегодняшнем фронте антиисламской идеологической агрессии, имеет смысл процитировать основную их часть:

«Панисламизм или объединение мусульман — не более как странная мечта, которая никогда не могла быть осуществлена, тем более, что никогда за такое дело никто не принимался. Чтобы объединить ислам, надо одновременно сломить сопротивление таких могучих сил, как Россия, Франция, Англия и др. Надо, пожалуй, стать противу всего христианского мира и победить его, как было в древности. И где тут думать о наступлении, победе, когда мы ищем средства для самозащиты и не находим их! Не имея сил защитить мусульман Багдадского полуострова, было бы сумасшествием думать о защите мусульман далёкой Индии. Но, слава Богу, ни султаны, ни визири, ни писатели наши никогда и ничем не выказали внимания к такой мечте. Все понимают, что из болгар, турок и греков (то есть мусульман Болгарии, Турции и Греции. — *В.В.*) никакого „единства“ не устроить. Точно так же из разношерстной массы мусульман Азии и Африки ни-

какого единства создать нельзя. Мечта о таком единстве, может быть, и красива, но она несбыточна» (Цит по: Терджиман. 28. 09. 1904)<sup>1</sup>.

Несколько позже эти мысли И. Гаспринского развил крупный исламовед проф. А.Н. Санин: «У мусульман политическое сближение на почве религиозного единства есть только благочестивая мечта... На самом деле в мире ислама, к сожалению, более актуальны не объединяющие, а разъединяющие факторы религиозных (внутриконфессиональных) распрей и национально-культурных расхождений: Последователи Пророка принадлежат к очень далёким друг от друга народностям, которые не имеют и не могут иметь никакого общения помимо религиозного. Что общего между башкирами и яванцами, между персами и фульбе Западного Судана?» (*Санин*, 1915. С. 16).

Помимо всего сказанного, панисламизм был малоперспективен именно в условиях России, поскольку уже в первые месяцы своего виртуального существования (впрочем, у него были и вполне реальные, хоть и немногочисленные сторонники) ему нанесло большой вред другое, турецкое идеологическое течение, а именно *османизм*. Оно было основано на идее имперского превосходства турок, нейтрализуя самое ценное качество культурно-объединительных движений — их всеобщность. Османизм означал прежде всего «отрицание родства османских турок с российскими тюрко-татарами, несмотря на общность религии и очевидное сходство языков» (*Аршаруни, Губайдулин*, 1931. С. 13).

В самой Турции османизм имел, безусловно, гораздо больше приверженцев, чем малопонятный для основной массы народа тюркизм. Это неравное отношение к двум идейным течениям мусульманского населения России и Турции отчётливо проявилось в 1910 г., когда Туркестан постигла природная катастрофа — мощное землетрясение, повлекшее за собой огромные жертвы. Кроме того, сотни тысяч азиатских тюрков оказались не в состоянии бороться с голодом и холодом. Нужно отдать должное всем народам Российской империи: там газеты ежедневно печатали сводки о положении в Туркестане, были созданы комитеты по оказанию помощи пострадавшим — и она оперативно оказывалась. Откликнулись и полунищие крымские учащиеся в Стамбуле. Но турецкое общество эту трагедию игнорировало. Достаточно сказать, что турецкие газеты практически

<sup>1</sup> Как справедливо замечали объективные российские исследователи, «Панисламизм — это детище антиконституционной политики султана Абдул-Хамида II, его попытки в качестве турецкого султана воспользоваться своим положением халифа и повелителя правоверных, чтобы укрепить свою личную власть... Панисламизм проникнут косностью и фанатизмом, между тем, как новое (младотурецкое. — *В.В.*) движение, отчасти черпая вдохновение в золотом веке... дорожа своей национальностью, всё таки принимает общечеловеческую науку, общечеловеческую культуру. А панисламизм... [— это] движение, которое с провозглашением конституции в Турции (1908 г. — *В.В.*) потеряло свой смысл» (*Алисов*, 1909. С. 36). О том же говорил доктор исторических наук В. С. Дякин. Изучив архивные материалы тех лет, он напомнил, что весной 1914 г. участники совещания по мусульманскому вопросу пришли к выводу: оба указанные течения воспринимались российскими мусульманами как утопические и как таковые не получили распространения в местах расселения российских мусульман (*Дякин В.С.* Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XX века) // *ВИ*, 1996. № 11–12. С. 48–50). То есть это был не более, чем пропагандистский миф, пущенный в ход российскими миссионерами, который позднее «...стал обрастать тканью „фактов“» (*Исхаков*, 2004. С. 87).

замолчали трагедию азиатских тюрок. А султан выделил в помощь им целых 100 (сто) золотых лир, да и то в результате почтительного настояния стамбульских студентов-крымчан. Османское же общество — включая духовенство! — никак не откликнулось на трагедию их туркестанских братьев по вере и культуре (Сейдамет, 2009. № 11. С. 14).

В России отрицательные черты османизма быстро перенесли на панисламизм (возможно, стихийно, без провокационных целей, просто по известному великорусскому невежеству в сфере конфессий и идейных течений, не относящихся к православию и славянской этничности). Самым непосредственным результатом было отчуждение, которое И. Гаспринский, как «записной османист», ощутил со стороны русских писателей, учёных, публицистов. Или просто хороших знакомых, дружбу с которыми крымский просветитель, получивший, в основном, русское образование, всегда дорожил (Shura, 1914. № 21).

С другой стороны, даже очищенный от османизма, панисламизм был малопригоден в российских условиях ещё и потому, что шовинистами империи усиленно размывались именно национальные, этнические культуры. Поэтому здесь была явно ни к чему такая сторона панисламизма, как его интернациональность, его схожесть в этом отношении с марксизмом. На последнее обстоятельство, кстати, прямо указывал один из идеологов панисламизма, Ханафи Музафар: «Мы можем в национальном вопросе точка в точку сработаться с марксистами, ибо и с точки зрения ислама, национализм совершенно не существует. По этому учению: религия и нация тождественны» (цит. по: *Аршаруни, Табидуллин*, 1931. С. 5).

Материалы и факты, изложенные ниже, очевидно могут стать ответом на вопрос, мог ли Гаспринский и другие джадидисты зачеркнуть (как это делали марксисты) значение исторической родины, всех духовных и материальных ценностей, связанных для него конкретно с Крымом, крымскотатарской культурой, национальными традициями и этнической психологией? Иного, чем отрицательного, ответа здесь быть не может.

Тем не менее нешуточное обвинение, брошенное великорусской шовинистической пропагандой панисламизму, имело серьёзные последствия. Как упоминалось выше, с 1886 по 1912 г. для мусульман в России был введён запрет на профессии, например, адвоката и некоторые другие, они были лишены права на отдельные виды собственности и пр. (*Климович*, 1936. С. 221). В империи развивалось политическое преследование мусульман, велось массированное наступление на свободу исламского слова, свободу совести, личную свободу приверженцев ислама, невзирая на их этническую принадлежность. «Происходили обыски, аресты, ссылки мусульманских деятелей, закрывались учебные заведения, просветительские учреждения, газеты и журналы» (*Исхаков*, 1996. С. 47). Кроме того, обвинение в панисламизме было предназначено для оправдания якобы неизбежной реакции на него в форме панславистского движения.

Наконец, в качестве своего рода научного парадокса упомянем ещё об одном обвинении, брошенном в лицо И. Гаспринскому. Оно касалось *пантуранизма*, и было выдвинуто позднее других.

Чем же являлся пантуранизм — этнополитическое и культурно-интеграционное течение, сложившееся, наряду с пантюркизмом, «как аналог и как антипод панславянской идеологии» (*Горшков, Червоная*, 1998. С. 71)? Его сторонники

основывали свои построения на культурной общности суперэтнического конгломерата, некогда заселявшего цивилизационную Туранскую платформу (географически далеко превосходившую Туранскую низменность, расположенную между Каспийским морем и Иртышом). Позднее «туранцы» широко расселились по просторам Сибири, Северного Китая, тюрко-балканского Юга и угрофинского Севера Европы, Манчжурии, Кореи и Японии, татарских Поволжья и Причерноморья включая Крым.

Первым идею общности «туранских» народов выдвинул Гельмут Мольте-Старший (1800–1891), в период с 1835 по 1839 г. Этот блестящий немецкий полководец служил некоторое время в Турции и был хорошо знаком с этнической ситуацией страны. В 1842 г. он представил туркам не только свою программу культурного сближения тюркских народов, но и соображения о многосторонних выгодах от такой общности. Однако сложное положение империи именно в эти годы не позволило султану Абдулу Меджиду уделить должное внимание идее Г. Мольте.

В конце XIX в. пантуранизм получил научное обоснование в книге «Тюркские народы», изданной австро-венгерским востоковедом А. Вамбери. Он указывал на общие языковые и культурные корни тюрко-османов и среднеазиатских народов. И снова эти открытия не привлекли внимания Стамбула, столичная интеллигенция была даже возмущена тем, что её пытаются поставить на одну доску с какими-то казаками или киргизами (*Михайлов*, 2008. С. 49).

Но уже в 1889 г. туранскую идею невозможно было игнорировать. Прибывший в Турцию азербайджанский её сторонник Али Гуссейн-заде печатает в стамбульских газетах своё программное стихотворение «Туран», обратившее на себя всеобщее внимание. И вскоре после этого, в самом начале XX в., в столице собирается группа сторонников этой идеи, которую под названием «Русское мусульманское общество» организовал в Турции казанский татарин Юсуф Акчурин (Акчура). Вначале членами этой группы мыслилось объединение всех тюрок под культурным покровительством Турции. Но вскоре круг родственных некогда этносов акчуринцами расширяется и включает в себя все «транстуранские» народы.

То есть к тюркам причисляются, в полном соответствии с выводами А. Вамбери, и представители иных языковых семей. А именно уральской и алтайской, что позволило включить в тюркскую орбиту все современные финно-угорские народы (*Михайлов*, 2008. С. 50).

Годы, когда к власти в Турции пришли младотурки с их идеологией османизма, были не самыми удачными для пантуранского движения. С одной стороны, пантуранисты (костяк которых составляли, между прочим, те же тюрки) как и панисламисты, ставили своей задачей возврат к историческому культурному единению народов, лишь «захватывая» в свою объединительную сеть, как видно из сказанного, несколько большее число племён и языковых семей. Но они думали прежде всего о мусульманских народах России, тогда как турецкие османиты-младотурки<sup>1</sup> связывали свои планы с политическим сотрудничеством

<sup>1</sup> Конечно, осознанно младотурки придерживались идей османизма, однако на практике их деятельность невольно лила воду на мельницу панисламизма. Их политический

новой Турции прежде всего с исламскими регионами многомиллионной Британской Индии. И это стало особенно заметным с 1914 г., когда младотурки стали у руля руководства государством.

Остаётся подчеркнуть, что, как и два других, российских по происхождению, движения (пантюркизм и панисламизм), пантуранизм не ставил перед собой агрессивных, ликвидаторских, этноцидных задач. Этим-то он принципиально и отличался от панславизма, пангерманизма и других европейских идеологий того же ряда, в которых «наперекор иудео-христианской вере в божественное происхождение Человека... проповедовалось божественное происхождение собственного народа» (*Арендт*, 1996. С. 321). Что неизбежно вело к протофашистским течениям, а именно, к черносотенству, нацизму, раннему (да и позднему) сталинизму и другим учениям, оправдывавшим практику геноцида по отношению к «неполноценным» расам или «преступным» народам.

При этом Исмаил-бей до сих пор объявляется его критиками ни много ни мало «одним из основателей» этого этнополитического течения (*Зарубин А.*, 1999. С. 300). Возражать на этот вывод или соглашаться с ним трудно, поскольку он пока абсолютно голословен. До этого обвинения не доходили даже калимисты начала XIX в., писавшие доносы П.А. Столыпину, в которых они приводили разнообразнейшие доводы насчёт склонности последователей И. Гаспринского к откровенно «революционной» деятельности (*Аршаруни, Габидуллин*, 1931. С. 18–20).

5) *Культурная дискриминация*. Российские антиисламисты в целом явно опасались не каких-то «агрессивных толп мусульманских фанатиков». В своих кругах они откровенно признавались, что Средневековье минуло безвозвратно. Напротив, обоснованные опасения им внушали прежде всего мусульмане образованные, в том числе и на европейский манер, окончившие западные университеты. Или, что ещё хуже, модернизированные медресе, объединившие в своих программах достоинства восточной и западной школы, да ещё и доступные российской мусульманской молодёжи, которой не нужно будет для получения классного образования выезжать за рубеж! Естественно, этого допустить было нельзя — и в 1910 г. созданное П.А. Столыпиным *Особое совещание* приняло решение запретить преподавание в российских медресе любых дисциплин, выходящих за рамки исламского богословия и религиозной практики. Причина этого запрета не скрывалась: нужно было как-то «противодействовать татаро-мусульманскому влиянию» на подданных российских окраин (Ислам т. Р. Вып. I. С. 26)<sup>1</sup>.

успех сам по себе вселял надежду в мусульманские народы, пока не добившиеся подобной самостоятельности и независимости. «И сколько бы младотурецкая революция ни возвышала знамена османства, не обнаруживая при этом идей тюркства, всё же именно она стала фактором укрепления национального фундамента политических действий северных тюрков» (*Сейдамет*, 2009. № 14. С. 14). Сказанное касалось и крымских татар.

<sup>1</sup> Современный американский учёный подчёркивает парадоксальную противоречивость подобных решений: «К 1910 году правительственные специалисты были готовы к тому, чтобы устранить всё светское образование в исламских школах по, казалось бы, противоречивым причинам: с одной стороны, ими руководило убеждение, что мусульмане неспособны учиться, а с другой — боязнь того, что может случиться, если они всё-таки станут учиться» (*Найт Н. О русском ориентализме // РИЗИ*, 2005. С. 334).

Ещё откровеннее обосновывал такие меры один из панславистов, известный своими антитатарскими выступлениями, профессиональный миссионер и чиновник имперского Министерства просвещения Н.И. Ильминский. Он пророчил всеконечную гибель славянства оттого, что «надвигается страшная туча магометанства, новое нашествие, но не монгольское, а мусульманское, не дикарей из Азии, а дикарей цивилизованных, прошедших университеты, гимназии и кадетские корпуса» (цит. по: *Батунский*, 1995. С. 278)<sup>1</sup>. И он призывал бороться с просвещением этих нерусских, что понятно: легче иметь дело с забытыми, тёмными, послушными «инородцами», чем с высококультурными, знающими свои права «азиатами», превосходящими шовинистическую массу интеллектуально, а главное, убеждёнными в правоте и даже святости своего дела. Грамотное сопротивление русификации ставило чиновников Крыма в тупик, и они прилагали максимум усилий с тем, чтобы не допустить возрождения высокой культуры крымских татар. И далеко не случайно младотурецкий журнал чисто культурного направления *Тюрк Юрду* («Тюркский мир»), имевший немало подписчиков в Крыму, был в столыпинскую эпоху запрещён к распространению. Более того, для обнаружения зачитанных до дыр старых номеров этого издания производились обыски, аресты и т. д. (*Сейдамет*, 2009. № 14. С. 14).

Культурная дискриминация в Крыму была уникальной (нигде в империи, например, не было факта уничтожения всей литературы какого-либо народа). Поэтому в борьбе с ней не годились старые методы, как не годились и школьные методики, одобренные петербургским Министерством народного просвещения. Именно здесь, в сложнейших для коренного народа условиях, Исмаил-бею требовалось не откладывая приступить к решению двойной задачи: установлению прочного заслона русификации, размыванию национальной культуры и растлению народной нравственности с одной стороны, а с другой — к созиданию новых сил, способных возродить давно и прочно забытое культурное наследие. Обе цели не могли быть достигнуты без новой стратегии подготовки молодых мусульман, способных сдвинуть дело возрождения культуры с мёртвой точки. Эта истина также была полнее всего осознана именно в Крыму, — об этом говорит всё методическое и духовное наследие Исмаила Гаспринского.

### 3. Модернизация через просвещение

Вышесказанное объясняет, отчего Гаспралы начал решать наболевшую эту проблему именно с реформы школы, то есть с просвещения народа. Мусульмане должны были овладеть основным источником классического ислама — текстом. Это — далеко не то же самое, что более или менее достоверное изложение Корана и сунны. Мусульмане должны были не только услышать, но и понять

<sup>1</sup> «...имперские чиновники обнаружили, что мусульманин, усвоивший достижения европейской цивилизации, становится, возможно, менее предсказуемым, чем его „фанатичный“ и „необразованный“ единоведец, и что не в последнюю очередь причиной тому служит само смешение культур» (*Верт*, 2005. С. 67).

коранические суры, хадисы Пророка и тафсиры великих муджахидов. Для этого было необходимо поднять значение арабского языка, вернуть былое знание этого универсального средства общения для всего Востока — вот чего касалось основное нововведение бахчисарайского реформатора<sup>1</sup>.

Между прочим, член Государственной думы Российской империи, замечательный культурный деятель и политический лидер Р. Медиев, сам когда-то вышедший из новометодного мектеба, верно оценил значение этой школы, заметив, что для него и его сподвижников она была объявлением «войны путём школы всему тому, что воссалось в тело русского мусульманства, парализовало его и привело некоторые члены его к атрофии» (цит. по: Ганкевич, 1998, С. 122). Но пропаганда нового знания шла не только через мектебы или медресе. Система И. Гаспринского естественно включала в себя народные библиотеки, читальни, лекционные залы, беседы в залах благотворительных обществ и в их столовых (об этом см. в: Терджиман, 1903, №№ 14—20).

Огромное значение придавалось двуязычию. Идеальным, конечно, было бы реформировать родной язык, модернизировать до состояния, позволявшего пользоваться им вместо языка титульной нации или, в перспективе — западных языков. «До новых методов Исмаил-бея крымские дети, как и на всём Востоке, и в других тюркских краях, были обречены на то, чтобы загубить свой ум и способности в старых школах и медресе. До этого в русские школы поступили лишь несколько юношей из дворянских семей, но завершить образование, за редким исключением, они так и не смогли...» (Сейдамет, 2009, № 1, С. 14). Понимая как назревшую эту необходимость (язык и культура архаизировались на глазах), так и невозможность быстрой и действенной языковой реформы, И. Гаспринский нашёл промежуточное решение: без русского, как языка продвинутого образования обойтись было невозможно, но начальное образование должно было вестись исключительно на родном крымскотатарском.

#### а) Практика модернизации просвещения

Суть джадидизма раньше и полнее всего выявилась в реформе преподавания арабского языка в мектебах. До того обучение чтению и письму велось по традиционному, древнему, исходящему ещё из арабоязычного региона первых последователей Мухаммада слоговому методу. Он был основан на обучении самих носителей арабского языка. То есть людей, знавших его лучше любого иного, для которых действительно идеальным был выработанный на протяжении столетий *усуль-и-кадим* («старый метод»).

В отличие от современного буквенного (алфавитного) метода со сравнительно небольшим числом букв и, соответственно, звуков (в арабском — 29), при обучении по старому методу на малышей в мектебах обрушивалось немислимое

<sup>1</sup> Говоря о «нововведении», мы не утверждаем, что И. Гаспринский был первооткрывателем нового метода обучения. Как верно указывал Амет Озенбашлы, в Крыму у реформатора были предшественники — талантливые педагоги Бекир-эфенди Эмекдар и Мамут Рефат (*Озенбашлы*, 2005 «а», С.9). Заслуга Гаспринского в том, что он из теоретической области вывел этот метод на широкую практическую дорогу, разработав конкретные рекомендации по его применению и активно претворяя их в жизнь.

количество сочетаний этих букв в виде слогов. Показав их школьникам, преподаватель сразу переходил к чтению Корана на арабском, при этом смысл текста и взрослому понять было бы затруднительно. Второй недостаток старого метода: кроме чтения Корана, детей не учили ничему — ни родной тюркской грамоте, ни письму, ни началам арифметики и т. д. Третий минус: нигде не предполагался набор групп по уровню подготовки (по классам). Учителю приходилось заниматься с различно подготовленными — от нескольких недель до многих месяцев — учениками, находившимися в одном классе. Естественно, такой метод отнимал массу времени (подр см. в: Гаспринский, 1894, С. 5). Поэтому обучение простому чтению требовало 6–7 лет, тогда как новым (буквенно-звуковым) методом И. Гаспринского — в среднем всего 2 года.

То есть в школах последователей Исмаил-бея благодаря новому методу арабская грамота осваивалась втрое быстрее. Поэтому освобождалась масса времени, которое учителя-джадидисты использовали для углублённого изучения текстов Корана. Ученики должны были их пересказывать своими словами, развивать отдельные сюжеты и темы, самостоятельно анализировать прочитанное. В программу были введены и занятия светскими учебными предметами, в которых всегда имела и имеет практическая необходимость. Это были чистописание, родной язык, математика. Между прочим, буквенный метод позволял научить ребёнка читать по-крымскотатарски в среднем за 40 дней (*Гаспринский*, 1894, С. 5). Причём этот срок не зависел от родного языка учеников. Так, не зная ни слова на хинди, Исмаил-бей именно за 40 дней обучил арабской грамоте маленьких индусов в основанной им в марте 1910 г. новометодной бомбейской мусульманской школе (*Shura*, 1914, № 24). Короче, это было преподавание на современном уровне, и трудно представить себе, что случилось бы с отцами и дедами современных крымских татар, если бы они остались в школе, по-прежнему отданной целиком в руки учителей старой школы...

На родине первый новометодный мектеб был открыт в 1884 г. И. Гаспринским в Бахчисарае, причём только в одной маалле, Кайтаз-агья. В городе, где насчитывалось 32 мечети и 3 медресе, это было, конечно, скромное начало. Курс в такой начальной школе был рассчитан на 2 года; за этот срок дети должны были научиться чтению и письму на арабском языке. Одновременно предполагалось обучение их крымскотатарскому, точнее тюркскому литературному языку, усовершенствование и обогащение которого целиком является заслугой Исмаил-бея. Это были основные предметы, дававшие в руки учеников ключ к овладению остальными знаниями. Но кроме того, в бахчисарайском мектебе преподавались основы ислама и арифметика, то есть две дисциплины, знание которых абсолютно необходимо именно с детского возраста. Через 11 лет в городе работало уже 7 таких училищ, а всего по мусульманским регионам империи метод бахчисарайского просветителя использовался в сотнях новометодных начальных училищ, число которых к 1916 году пошло на шестую тысячу (*Беннигсен*, 1993, С. 87).

Но не только дети были предметом заботы И. Гаспринского. Те же, по сути, просветительские задачи была призвана решать издаваемая им газета, знаменитый *Терджиман* — пожалуй, самое выдающееся из национальных периодических изданий бывшей империи. Уже в первом номере, увидевшем свет в 1883 г., издатель и редактор обязался вести своих читателей к возрождению тюркской

культуры, ставя перед собой задачу поднять единоверцев из болота фанатизма до степени гражданского и духовного развития современного уровня. Основные задачи такого служения народной культуре и исламу Исмаил-бей определил в вышедшем за два года до того программном эссе «Русское мусульманство» (Гаспринский, 1993. С. 17–58).

Важным результатом этого трактата было объективное подведение итогов российской колонизации ряда мусульманских регионов и одновременной самоизоляции российских последователей ислама, что практически одинаково пагубно сказалось на духовной, политической и культурной жизни Крыма, Поволжья, Кавказа и других краёв, населённых тюрками: «Общественная и умственная изолированность мусульман, глубочайшее невежество, мёртвая неподвижность во всех сферах их деятельности, постепенное обеднение населения и края и, по окраинам, гибельная эмиграция» (ук. соч. С. 20). Другими словами, Гаспринский рискнул поставить знак равенства между вынужденной эмиграцией за рубеж, там, где это было можно (Крым, Кавказ, юг Бессарабии) и герметичным самозакупориванием мусульман внутренних губерний, которые «уходили в свой тесный мирок, отдавая ему всецело и не желая знать и ведать ничего, что не касалось близкого нашего мирка и его узких интересов» (ук. соч. С. 21).

Духовное раскрепощение крымцев должно было начинаться с детства, когда в каждом ребёнке закладываются основные черты характера, в том числе и такая важная, как открытость, способность и стремление к разнообразным контактам с окружающим миром. Эти качества не могла дать только школа — по сути, маленький мирок, что определяется её основным назначением. Но проблему раннего «врастания» в окружающий мир могли решать внешкольные учреждения в виде кружков — музыкальных, танцевальных, певческих, но прежде всего художественно-прикладных, как наиболее полно отвечавших эстетическим потребностям крымцев. Такие кружки стали создаваться в 1910-х гг., лишь гораздо позже их опыт был использован при организации меценатских государственных профессиональных художественных школ (например, Бахчисарайской). Часть кружков возникла стихийно, по назревшей в более или менее современных, культурных семьях потребности воспитывать своих детей в кругу сверстников, живо интересующихся национальным искусством, культурой в целом и под руководством широко образованных руководителей.

В качестве примера назовём кружок кройки и шитья для девочек, образовавшийся в 1915 г. на базе дерекской школы. Руководительницей его стала Себиха-ханум Тарпи (супруга имама И. Тарпи), которая не без мысли о расширении кругозора своих маленьких подопечных пригласила в качестве преподавательниц исключительно русских дам из соседней Ялты. Такое общение было интересным и полезным для обеих сторон, о чём увлечённые своим делом наставницы неоднократно сообщали Себихе-ханум (АМ ФВ, Д. 23. Л. 13). После окончания кружка, ставшего со временем чем-то вроде курсов, девочкам выдавался диплом, устраивался выпускной вечер с известными людьми Ялты в качестве приглашённых, что оставалось в памяти надолго.

Исмаил Гаспринский подчёркивал, что российские мусульмане далеко отставали великорусскую массу по грамотности («50–60% мусульман и мусульманок могут читать свободно по-татарски» — сообщал он), что народная культура



Дерекской кружок кройки и шитья. Второй справа в третьем ряду — имам Ибрагим Тарпи. Снимок из архива А.-Ф. Ибрагимов, США

крымских татар и их единоверцев, хоть и в полузадушенном состоянии, существует. Но для того, чтобы её освободить, а ещё более — чтобы возродить и высокую крымскотатарскую культуру, было совершенно необходимо воскресить «славные арабские медресе, дававшие в своё время столько знаменитых тружеников науки и мысли» (Гаспринский, 1993. С. 54–55).

Но этого было мало. В специфических условиях российской империи с её практически закрытыми границами путь к высшему светскому (в том числе философскому, историческому, юридическому и пр.) образованию на всех уровнях выше среднего лежал через знание русского языка. Для крымскотатарских реформаторов русский язык превращался, таким образом, из языка колонизаторов в средство модернизации и освобождения, ступенькой, позволявшей униженным народам стать в ногу с веком. Кроме того, русский был единственным универсальным языком общения, и лишь овладение им делало возможным интеллектуальный рост вне стен высших заведений империи, рост благодаря незримому «университету общения» с миллионами таких же угнетённых и мечтающих о духовном и политическом освобождении подданных России.

Но здесь существовала ещё одна опасность, которую крымский реформатор также разглядел ещё на ранней стадии её зарождения. Повышение роли обучения русскому языку могло негативно отразиться на значимости родных языков. Они могли автоматически перейти в разряд традиционных, но несколько архаичных и непрестижных ценностей. Ведь новейшие учебники и трактаты по самым современным проблемам объективно опережают свои переводы (если их переводят!) на местные языки, отчего последние тоже архаизируются. Именно

поэтому И. Гаспринский никогда не забывал подчёркивать важнейшую роль крымскотатарского языка даже в сравнении с русским и арабским (пример такой заботы — уже упоминавшаяся многолетняя разработка Исмаил-беем для тюрков литературного языка, приведённого в соответствие с современностью, забота о начальных национальных школах и многое другое)<sup>1</sup>.

В перспективе же И. Гаспринский видел широкое обучение крымской молодёжи в высших учебных заведениях не только России, но и за рубежом. Собственно, отдельные юноши и ранее учились за границей, но почти исключительно в Турции и исключительно в духовной школе. «Крымская молодёжь, выезжая на обучение за пределы Крыма, поступала в основном в стамбульские медресе. Поступать в иные учебные заведения они не решались, опасаясь, что там, в Крыму, и сами они, и их семьи будут обвинены в вероотступничестве. Исмаил-бей, своим тридцатичетырёхлетним неустанным трудом подняв историческую бурю в сознании масс, достиг того, что крымцы, доселе отстранённые от прогресса, потянулись к образованию и культуре, и, почувствовав вкус образования в России, в Европе, в Стамбуле, поднялись на такой уровень, что могли разглядеть окружающий их мир» (Сейдамет, 2009. № 1. С. 14).

### б) Сопротивление модернизации

Конструктивность, практическая ценность и теоретическая безупречность реформаторской программы И. Гаспринского были очевидны, но именно поэтому против неё и выступили мощные силы, которые принято называть реакционными. Причём на самом высшем уровне, где теоретически обосновывалась ненужность практически любого образования для людей физического труда, то есть для большинства населения. К.П. Победоносцев делал заявления, имевшие силу официальных предписаний: «Кто готовится стать кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит — затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба, и стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил её, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния» (Победоносцев, 1996. С. 124–125).

То есть обер-прокурор Синода и член Государственного совета откровенно излагал программу «физической подготовки» рабочего скота, умственное развитие которого было ненужно и даже вредно!

<sup>1</sup> Кстати, ратуя за распространение русского языка среди мусульман-интеллектуалов в качестве цивилизационного инструмента, И. Гаспринский резко выступал против массового распространения русского среди крымскотатарских крестьян в результате стихийной или бытовой русификации через иммиграцию великороссов. Отдавая себе отчёт в объективно существовавшем культурном и духовном превосходстве общемуусульманской части населения России над великорусской, Исмаил-бей писал, в частности: «В массе мусульмане и обеспеченнее и грамотнее, чем русские люди. По сим причинам распространение русской речи в настоящее время не может иметь успеха» (Терджиман, 18.11.1883).

Победоносцеву вторило, во-первых, целиком с ним согласное русское чиновничество (в том числе «культурное», то есть идеологи Министерства народного просвещения), поддержанное основной частью российской общественности а, во-вторых, мусульмане-кадимисты.

Позиция первых была ясна, она и не затуманивалась. Для высокопоставленного русификатора-миссионера Н. Ильминского «фанатик без русского образования и языка сравнительно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а ещё хуже аристократ, а ещё хуже — человек университетского образования» (Ильминский, 1895. С. 175). В том же направлении работала мысль одного из бывших имперских «силовых» министров: «Для скорейшего подъёма духовных и материальных сил русского племени одного равенства в правах с более культурными иноземцами и инородцами недостаточно. Необходимо, чтобы русское племя в России пользовалось большими правами, чем инородцы и иноземцы» (Куропаткин, 1910. Т. III. С. 241). Эти две выдержки демонстрируют явную оскорблённость господствующего этноса необходимостью участвовать в конкурентной борьбе, да ещё и на равных основаниях, с колонизованными нерусскими<sup>1</sup>.

Другие просвещенцы-теоретики обвиняли И. Гаспринского, а заодно и ислам, и мусульман Крыма в совершенно несвойственных им пороках и грехах, произвольно меняя положительные черты на отрицательные, выдавая следствия за причины и так далее. Естественно, делалось это совершенно голословно: «Г-н Гаспринский приписывает исламу возрождение науки и организацию средневековых европейских школ и университетов (очевидно, имеется в виду значение медресе в качестве образца при создании более поздних, христианских университетов. — В.В.), ...[утверждая,] что всеобщее обучение завещано человечеству не XIX в., а первыми десятилетиями мусульманской эры... [он] старается обелить современных крымских соотечественников в их нежелании отбывать воинскую повинность и в массовом переселении в единоверную Турцию» (Остроумов, 1901. С. 237).

Столь же прозрачной была позиция кадимистов (почти стопроцентно — из потомственных мулл и имамов), не желавших никаких перемен, которые положили бы конец их довольно спокойному существованию, сделав необходимым пересмотр идеологических позиций, принудив массу полуграмотных мулл хотя бы к обновлению забытых знаний. Это уже не говоря о самообразовании, связанном с творческим освоением наследия великих мыслителей арабского (и не только арабского) мира. В частности, эти сторонники застоя выступали в России и за рубежом против образования мусульманской женщины, которой «невежество

<sup>1</sup> Русский национализм, распространённый, как и ныне, довольно равномерно среди всех общественных слоёв и классов, исходил из тождества имперских и великорусских интересов, что сразу же превращало всех нерусских подданных в людей второго сорта. Оттого и была для власть имущих великороссов невыносима свободная конкуренция, что она предполагала борьбу за права, и без того принадлежащие им «по праву» (праву сильного, завоевателя и т. д.). К тому же такая конкуренция в сложной этнокультурной среде России могла оказаться очень нелёгкой, так как «инородцы» зачастую проявляли больше энергии, активности, усидчивости, а часто и способностей, чем это было характерно для этнических русских, привыкших к положению, дававшему им превосходство без каких-либо усилий.

и ограниченность предначертаны самим провидением», против изучения татарского языка и издания книг на нём (Ганкевич, 1998. С. 113). Они выдвигали против Гаспралы нелепые обвинения касательно того, что он «звал обречённых мусульман к культурному упадку под гегемонией западных техники, армии, политики и интеллекта» (Lazzerini, 1997. P. 177). Последнее всего лишь оттого, что Исмаил-бей не считал знание европейской культуры вредным, а пользу от него, в общем-то, несомненной.

Против модернизаторской деятельности предшественников Гаспралы и его собственной программы культурных реформ не могли не выступить и откровенные великодержавные шовинисты, естественно, с традиционными для них доводами, и с традиционной же откровенностью: «Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить государство в восемьдесят миллионов... для того, чтобы потчевать европейской цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских оборванцев, да, пожалуй, ещё два-три миллиона монгольских кочевников... Нечего сказать, завидная роль, стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу несть, выносить крепостную долю, петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты» (Данилевский, 1871. С. 62–63)

Наконец, критика слышалась и от русской интеллигенции, в целом сочувственно относившейся к мусульманским согражданам. Культурная элита страны не всегда была способна выпутаться из противоречий той эпохи, общей причиной которых была особый тип развития державы. Он был догоняющим, то есть неизбежно подвергавшим русскую культуру опасности чуждого влияния. Это постоянно нервировало просвещённых патриотов, заставляло ожидать подвоха не только от западной, но и от восточной (как им казалось, тоже прозападной) модернизации, чрезмерно идеологизировало её несложное содержание, вызывало желание ей противодействовать, причём здесь никто не был исключением: ни Пестель, ни Белинский, ни другие российские «обновленцы» и просветители<sup>1</sup>. И русские интеллигенты полагали, исходя если не из самых лучших, то понятных побуждений, что «в желании [устройства] высших мусульманских школ древнеарабского типа, в особых благотворительных обществах и читальнях для мусульман и прочем особой надобности нет, а вместо того существенно необходимо введение в программу преподавания в существующих медресе курса русского языка и современных научных знаний, которые способствовали бы рассеянию укоренившихся среди мусульман религиозных представлений... и исключительного учения Корана...» (Остроумов, 1903. С. 246–247).

<sup>1</sup> Вот замечание современника о конкретных результатах этого этнопсихологического надлома: «...имперское правительство, проводя свою национальную политику, состоявшую в подавлении всех сторон национальной жизни негосударственных народностей, было не одиноким и в значительной мере пользовалось общественной поддержкой господствующей великорусской народности, национальным представителем которой оно было и намерено остаться в будущем... Широкие общественные круги и поныне блуждают, как во тьме, в области национальных вопросов и склонны по-прежнему то к равнодушно-презрительному, то прямо к враждебному отношению ко всякому проявлению национальных движений в среде инородческих племён... Прошлое никогда не уходит, не оставляя своего наследия будущему» (Славинский, 1910. С. 393).

Последний вывод мог внешней своей формой привлечь немало сторонников. Действительно, создание нового общества планировалось реформаторами через воссоздание человека классической, то есть старинной эпохи, — таков был парадокс И. Гаспринского. Его противниками сознательно затушёвывалось главное в программе: моральным, поведенческим, идеологическим ориентиром при этом оставался именно ислам, сохранивший свое цивилизационное значение в области совместной эволюции человека и природы, эмансипации женщины, мобилизации талантов во всех социальных слоях. Таким образом, модернизм (в Европе и России — разрушительное движение, выражавшее разочарованность человека в мирских благах и его отторжение от природы, оставившее после себя духовные и материальные руины), в мусульманском мире вёл к совершенно противоположным, то есть к созидательным планам и конструктивным перспективам.

Членство в некоем «Клубе модернизма» на глазах превращалось из средства культурного возрождения в главное условие просто-напросто выживания народа.

И в осознании этой данности — первое достижение Исмаила Гаспринского.

#### 4. Единение тюрков империи

##### а) Искусственный раскол тюркской общности и планы русификации тюрков

Как говорилось выше, одним из важнейших источников идеи единения разноплеменных тюрков (и, шире, мусульман в целом), проживавших внутри границ Российской империи, стал сам русский колониализм, имперское шовинистическое насилие. Как заметил один русский современник Исмаил-бея, «Русские власти поддерживали это чувство общности в несчастьи между мусульманскими народностями не только путём религиозных преследований, но и другими насильственными мерами, направленными против целого ряда проявлений народной жизни», притом что задачей этих властей было «разрушать твердь народного духа и таким образом ускорять полное поглощение народностей народностью русской» (Алисов, 1909. С. 41).

Да и сама Екатерина, заложившая основу планомерной русификации окраин, в том числе и южных, не скрывала своих планов, записывая в 1764 г.: «Сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали глядеть как волки к лесу» (Цит. по: Будилович, 1907. С. 44). Как верно отмечено уже в наше время, имперский великодержавный централизм, его не признающая компромиссов, жёсткая унитаристская позиция, «постоянно подталкивала к ответной жёсткости... националистических требований», выдвигавшихся на местах (Вишневский, 1998. С. 331). Только таким образом можно было остановить продолжавшийся на окраинах кризис этничности «инородцев», в том числе крымских татар.

Конечно, устойчивость культурного тюркского конгломерата при всей его раздробленности пока поддерживалась самим существованием Османской империи. Но в России, на территории которой разместились почти все остальные тюрки мира, такой цивилизационной стабильности никто им не гарантировал.

Напротив, поддерживались факторы, искусственно их разъединяющие. Так, вместо единого для всех тюрков империи духовного центра, с екатерининских времён существовали раздельные муфтиаты, для мусульманского населения Татарстана, Крыма, Кавказа и Средней Азии действовало раздельное законодательство и проч.

Но наиболее откровенными были препоны постоянным контактам, совместному проживанию разноплеменных тюрков — так, татары не имели права приобретать жильё, например, в Туркестане (Аршаруни, Габидуллин, 1931. С. 9). И опасность их русификации не утрачивала актуальности, пока в народной памяти хранились имена тюркских племён (или крупных частей их), не успевших вовремя покинуть зону русского господства и оттого действительно растворившихся в восточнославянской массе — торков («чёрных клубуков»), печенегов, северных половец, берендеев, потомков бродников и т. д. (См. в: Голубовский, 1884).

#### б) Пантюркизм как программа национального спасения

В тюркском движении России были сильны не только неконформистски-оборонительные, но и положительные, конструктивные источники идейного созидания, культурно-политического творчества. Они существовали на протяжении всего многовекового хода истории. Сложившиеся ещё в эпоху тюркских каганатов, такие этнические стереотипы работали в качестве своего рода «генетической программы», заданной ими всему последующему развитию. «Только этим обстоятельством объяснимо доминирование в традиционной культуре тюркоязычных народов схождения, которые проистекают скорее из общности происхождения, чем из маловероятных исторических контактов в позднейшее время» (Кляшторный, 1993. С. 125–126).

План объединения тюрков России, принадлежавший И. Гаспринскому, был, конечно, пантюркистским, исламистским, хотя такая характеристика нуждается в некоторых оговорках. Ведь самого реформатора интересовал уровень развития не только современного ему Востока, но едва ли не более того — Запада. И именно перспективам развития крымских татар, вообще тюрков, по модели Запада, безусловно, в ту эпоху лидировавшего в смысле гуманитарной образованности и технического обеспечения экономики, была посвящена основная масса проблемных статей Терджимана. Собственно, и само появление этой газеты было выдающимся событием общетюркского значения и масштаба. А некоторые современные исследователи придают Терджиману и другим изданиям Иемаил-бея значение «рычагов, которыми Гаспринский двигал в массу свои идеи и вдохновлял учение джадидизма» (Lazzerini, 1997. P. 177).

За два года до основания Терджимана, в 1881 г. в заметке «Русское мусульманство» И. Гаспринский писал о том, что только школьное преподавание общетюркского языка, а также журналистика на том же тюрки, способны облегчить «доступ знаний в мусульманскую среду, что ...ввиду значительной грамотности татар быстро распространит между ними необходимые полезные и практические сведения», в то время как использование русского языка в тех же целях «почти немислимо: русские учебные заведения не привлекают даже одного из сотни мусульман высшего сословия, не говоря о прочих» (Гаспринский, 1993. С. 57). Для



В старинном  
бахчисарайском квартале.  
Фото. Из журнала *Qasevet*

этой цели, подчёркивал И. Гаспринский, мусульманам России совершенно не подходят ни арабский, ни фарси (развитый среди интеллектуалов-тюрков Кавказа и Средней Азии), но именно максимально близкий к османскому тюрки. Арабский же и фарси, великолепно соответствующие священным и философским текстам, никак не годятся для общего светского развития — это языки пусть великого, но прошлого, и, пользуясь исключительно ими, неминуемо останешься в прошлом же (Shura, 1914. № 22).

Позже о том же говорило не только содержание Терджимана, но и его форма. Статьи в крымскотатарской части газеты писались на «литературном тюрки», заметно отличавшемся от всех крымских диалектов, обогащённом современными терминами и понятиями, философскими и социальными категориями, появившимися в Новое время, и так далее. Лексическая основа этого литературного языка оставалась, конечно, общетюркской (в этой части выбор из разноэтничных синонимов шёл по принципу частотности их употребления в шедеврах тюркской классики). А неизбежно возникавшие неологизмы (или уже обретшие признание, органично усвоенные обществом новые слова) заимствовались Исмаил-беем из тех тюркских языков, где они активно использовались. То есть, прежде всего из наиболее развитого, модернизированного среди этих языков — османского. И лишь во вторую очередь, вынужденно, им для этой цели привлекались арабский язык или фарси, но также только в том случае, если заимствуемая на этих языках лексика уже стала привычной и общепонятной.

Конечно, литературный тюрки был для массы непривычен, но иначе и быть не могло. Ведь это был научно разработанный язык скорее высокой, чем народной культуры, язык будущего, язык, обогащённый до степени, когда он равно годился как для использования в точных и гуманитарных науках, так и для международного общения, диалога с иными тюркскими и не только тюркскими странами. Поэтому в каком-то смысле это был пока искусственный язык. Поначалу он требовал определённых усилий в его освоении, но в будущем был призван играть ту же роль, исполнять те же функции, для которых в эпоху



классического ислама идеально подходил арабский язык. И кое-что в этом направлении действительно осуществилось.

Как признают современные историки всемирной исламской цивилизации, Гаспралы, создав «свой» тюрки, лишь этим средством сумел приостановить бесконечное диалектальное дробление некогда (в древности) единого тюркского языка на всё большее число крупных и мелких осколков, почти каждый из которых претендовал на статус самостоятельного и даже литературного языка. В перспективе призыв И. Гаспринского к мудрой консервации единого лингвистического ядра культур Ближнего Востока и Центральной Азии стал причиной всплеска интереса к классической литературе, её открытию для нового читателя. Создавалась некая общая духовная атмосфера, в которой не могло не ожить историческое самосознание тюрков. И в этом была заслуга Исмаила Гаспринского, ученье которого в дальнейшем всемерно развили, кроме уже упоминавшегося Зии Гек Алпа такие крупные деятели культуры, как Али Суави, Сулейман Паша и Мехмед Эмин (Islam, 1996. S. 284).

Создание языка как единого средства межнационального общетюркского общения не было какой-то утопией или несбыточной мечтой Гаспралы. Оно уже существовало, оно усваивалось массами благодаря Терджиману и другим крымским изданиям, и это признавали серьёзные аналитики, ещё при жизни И. Гаспринского отмечавшие, что действительно «создаётся общетюркский язык» (Алисов, 1909. С. 51–52). Собственно, он уже был создан, так как при всей его непривычности, он стал единственным из тюркских языков, понятным всем, как выразился сам И. Гаспринский, «от босфорских лодочников до верблюжьих погонщиков в Кашгари», где-то на китайской границе. Более того, уже к началу 1880-х гг. он вытеснил фарси из интеллектуальных кругов Баку. Только в центральной России на тюрки к этому времени писало уже более 15 поэтов, писателей, учёных, а в ближайшие годы появилось ещё несколько десятков сторонников нового языка культурного общения (Shura, 1914. № 22). Поэтому деятельность И. Гаспринского в области языкотворчества можно сравнить лишь с духовным подвигом основателя протестантизма Мартина Лютера, который, переведя Библию с латыни на немецкий, положил конец языковой разногласии в сотнях больших и малых стран чудовишно раздробленной Германии, став «отцом немецкого языка».

Очевидно, именно это признание огромного цивилизационного значения литературного тюрки стало одной из причин необычайной международной популярности Терджимана. Уже через несколько лет своего существования он быстро стал играть роль рупора или своеобразного маяка, заполнив собою давно зиявшую нишу средства общетюркского общения. Причём не только в разнокультурных регионах России, но и в Турции, Египте, Индии, Китае и других странах с мусульманским населением (Lazzerini, 1997. P. 179). Кроме того, современники чутко уловили уже тогда общепонятное отличие «пантюркизма» И. Гаспринского от всё ещё пользовавшегося скандальной известностью панславизма. Если последний был идеей союза, созданного против инородного окружения пятна славянского расселения, то тюркское сближение ставило себе целью не агрессию, а, напротив, достижение взаимопонимания с неисламским миром, движение навстречу всемирным культурным ценностям. Кроме того, если во

главе утопической «Панславии» предполагалась одна страна (Россия, естественно), то даже самые яростные враги И. Гаспринского не осмелились высказать гипотезы, что он полагает поставить на вершине гипотетической многомиллионной пантюркской пирамиды... Крым!

Наконец, если реальный панславизм был течением исключительно политическим, то «пантюркизм» Исмаил-бея ставил себе любые иные задачи, кроме политических. То есть это движение было неизмеримо более сложным и богатым, чем голое политиканство российских шовинистов. Ведь к чистому и гуманному единению, к межкультурному сближению, к всесторонней, взаимовыгодной интеграции призывались не только узбеки и азербайджанцы. Исмаил-бей мечтал разрушить внутрисламские стены между культурами стран, между искусственно разведёнными мирами мужчин и женщин, суннитов и шиитов, дворян и простых, неродовитых бедняков, горожан и жителей глухих сёл. И самая важная черта в его программе, получившая развитие в национально-освободительном движении крымских татар уже после смерти Учителя, — идея мусульманского единства. В это понятие он вкладывал несколько смыслов.

Во-первых, И. Гаспринский выступал против классовых распрей внутри собственного народа, внутри всего тюркского мира, всей мусульманской цивилизации. Во-вторых, культурно-политические разногласия в мусульманской среде (например, между радикальными и «культурно-автономистскими» партиями) должны были сгладиться ради общей цели: культурного и экономического возрождения великой общетюркской мусульманской цивилизации. Третья проблема: модернизация исламской жизни могла привести к двум противоположным результатам: 1) Подъёму этнонационального самосознания, сепаратистского в основе; и 2) Преобладание Джалидистской идеологии над всеми иными формами самоидентификации народов могло возродить всемирное единство мусульманской уммы, отведя национальным различиям второстепенную роль (Kanneler, 1999. С. 173).

Но Исмаил-бей, весьма рано определившись культурно-политически, призывал своих последователей к неуклонному движению именно по второму из названных путей. Тем самым он раз и навсегда отринул опасность дробления исламских сил, раскола мусульманской культуры на всё более множащиеся и слабеющие по мере бесконечного членения некогда единого, мощного тела исламской цивилизации на сепаратистские регионально-этнические и субэтнические культурные ответвления. Он поставил перед народами иную, высшую цель, которая нашла своё чеканное выражение в самом известном из программных призывов великого крымца: «Дилде, фикилде, иште бирлик!» (Единство языка, мысли, действия!).

Очевидно, излишне подчёркивать, что в основу этой программной цели был заложен старинный исламский принцип, согласно которому шарият, адат и весь образ жизни правоверных играли в этнической самоидентификации более важную роль, чем даже языковая общность (или её различия). Остаётся сказать, что при всём кажущемся романтизме сложного и многопланового проекта Исмаила Гаспринского, он был, бесспорно, реалистичен, обладая высокой прагматической ценностью. Верно замечено, что всё национальное движение в Крыму «можно по праву считать детищем просветителя» (Хаяли, 2009. С. 117). Но, более

того, мы не можем не признать, что его идеи легли в основу многих национально-освободительных движений на территории бывшей большевистской «империи зла», хоть и в несколько изменённом виде — в понятном соответствии с веляниями менявшихся эпох.

#### е) Неудача тюркского единения

Важным шагом в стремлении тюрков объединиться для решения общих задач стали три съезда мусульман России, состоявшиеся в 1905–1906 гг. Понятно, что в таком подъёме активности большое значение имели и революционные события 1905 г. в империи. Собственно, об этом прямо говорилось в одной из резолюций первой встречи такого рода: «Мусульманам стало неизбежным объединиться по отношению политики, культуры и использованию настоящего положения России» (цит. по: *Сенюткина*, 2006. С. 116). Но эти съезды, прежде всего сама идея их созыва, стали осуществлением объединительных идей И. Гаспринского, и именно поэтому он был избран председателем имевшего наибольшее значение Первого (учредительного) съезда, работавшего в августе 1905 г. При этом в организации и проведении съезда ему большую помощь оказывали Ю. Акчурин и крупный бакинский промышленник А.-М. Толчибашев.

Съезд был весьма представительным, в нём приняло участие 120 (по другим сведениям 150) татар, прибывших в Казань из различных регионов европейской и азиатской частей России. Народные избранники, не без оснований опасаясь полицейско-жандармских преследований, предпочли для своих заседаний не твёрдую землю, а водную гладь, сняв для этого волжский пароход «Густав Струве».

Съезд открылся речью Председателя, затем выступил А.-М. Толчибашев. В обеих речах прозвучал призыв к созданию политической партии, «способной объединить мусульман России» (цит. по: *Сенюткина*, 2006. С. 116). Из пяти пунктов принятой на съезде резолюции наиболее важным был последний, в котором предусматривалось создание в мусульманских регионах страны местных *меджлисов*. Политическая направленность съезда подчёркивалась и образование на нём новой партии Союз мусульман (*Иттифак аль-муслимин*). Однако ни на Первом съезде, ни на двух последующих эта партия не было достаточно чётко оформлена, не были выработаны ни её программа, ни даже устав. Забегая вперёд, скажем, что она не была признана (зарегистрирована) имперскими властями и на всём протяжении своего существования оставалась как бы на нелегальном положении.

Резолюции, принимавшиеся на съездах, безусловно, оказали влияние на деятельность мусульманских депутатов Государственной Думы, а также на ряд иных инициатив, связанных с активностью тюрков в столице империи и на местах. Тем не менее ни съезды, ни Союз мусульман далеко не выполнили задачи, обозначенные И. Гаспринским в его упомянутой речи на Первом съезде. Политического или культурного, пусть даже чисто формального объединения мусульман России не произошло ни в 1905–1906 гг., ни позднее. И, как признавали современники, на съездах рассматривались проблемы «скорее вероисповедного, чем политического характера» (*Будилович*, 1907. С. 26). Этому имеется ряд объяснений.

Прежде всего, очертания новой мусульманской общности, создание которой было задумано И. Гаспринским и декларировалось на съездах, оставались нечёткими уже потому, что в них «конфессиональные элементы смешались с языковыми, этнокультурными и историческими» (*Kanneler*, 2005. С. 419).

Далее, мусульманская элита<sup>1</sup>, вполне определённо продемонстрировавшая на съезде свою жажду обновления и стремление к политической самостоятельности, исходила из собственных групповых интересов. Представители этой прослойки, имея перед глазами пример кадетов и эсеров, стремились, в конечном счёте, «либо кардинально изменить политический режим в России, либо отделиться от неё и попробовать развиваться по иному пути» (*Сенюткина*, 2006. С. 117). Но именно эти цели были совершенно неприемлемы как для И. Гаспринского, так и для основной массы российских мусульман. Первому были абсолютно чужды экстремистские методы борьбы эсеров, да и сепаратистом он никогда не был.

А для вторых крайние формы политической борьбы также не годились. Они просто не увязывались с традиционным мусульманским уважением к существующей власти, которое испытывало абсолютное большинство российских мусульман, то есть людей сельских и не политизированных. Максимум, чего добились в этом смысле участники съездов — некоторого подъёма национального движения в Поволжско-Уральском регионе. Но и здесь в нём участвовали лишь учителя татарских школ да учащиеся медресе, так что, довольно радикальное само по себе, движение «находилось в меньшинстве по сравнению с представителями духовенства, купечества и дворянства» мусульманского региона (*Kanneler*, 2005. С. 419). Основная же масса участников национального движения придерживалась умеренно джалидистской программы, политически не выходящей за рамки требований равноправия для мусульман со славянской частью подданных империи.

Те же настроения царили в широких массах татар и российских мусульман в целом, которым были совершенно чужды устремления к политическим переменам, не говоря уже о сепаратизме любого толка. Современники об этом прекрасно знали, это было очевидно: «... между сотнями прошений, представленных татарами... в Совещание по делам веры, проходившее под председательством незабвенного графа А.П. Игнатъева, не было ни одного, которое бы стремилось к восстановлению татарской автономии в пределах Казанского, Крымского или

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду духовная и светская элита не Крыма, а иных регионов. Правда, И. Гаспринский собрал 25 октября 1905 г. в Бахчисарае городскую думу, где под его председательством и по его инициативе крымские татары ознакомились с программами различных политических партий и приняли единогласное решение присоединиться к кадетам. Аналогичную резолюцию вынесли участники крымскотатарского митинга в Кара-субазаре (*Зарубин*, 2003. С. 53–54). Однако дальнейшего развития эта идея практически не получила. К сожалению, «только в Крыму татарские мурзы вместе с муллами остались совершенно равнодушными к национальным и народным интересам» (*Штернберг*, 1910. С. 553). Наблюдение, в целом, верное. Хотя в Крыму можно назвать несколько выдающихся личностей из числа мурз и имамов, сыгравших значительную роль в развитии национального движения (Исмаил-бей Муфтий-заде из Гёзлёва, севастопольский имам Кудус-эфенди, бахчисарайский городской голова Мустафа-мурза Давидович и др.).

Астраханского царств. Наоборот, все они направлены были к независимости муфтиев и мулл, мектебов и медрес, судов по шариату.... По сравнению этих требований с предъявленными со стороны армян, грузинов, евреев, поляков нельзя не признать их ещё довольно умеренными и, в известных пределах, исполняемыми...» (Будилович, 1907. С. 26).

Действительно, в этом смысле интересно сравнение тюркского национально-го движения с одновременно развивавшимся польским или финским, тем более что положение названных народов в империи было весьма схоже с положением инородцев-мусульман. Жители Королевства Польского и Великого княжества Финляндского в составе России были в те же годы несравненно активней, причём политической деятельностью были охвачены широчайшие слои населения. Но мусульманская элита не имела никакой возможности копировать финский или польский опыт. Она не могла звать народы к национальному возрождению, так как в исламских массах России ещё не успела сформироваться национальная идентичность<sup>1</sup>, они ощущали своё единство лишь через религию, которая, как упоминалось, не позволяла нарушать установленный государственный порядок и «вполне вписывалась в нормы существования российской цивилизации с её важнейшей ценностью — государством» (Сенюткина, 2006. С. 118).

Впрочем, современники пришли к выводу, что Мусульманский союз 1905 г. демонстрировал «...колоссальную силу психического (мы бы сказали «этнопсихологического». — В. В.) подъёма в этот исторический момент», придав огромный толчок самосознанию мусульманских народов и создав влиятельную и многочисленную фракцию в первых двух [Государственных] думах» (Штернберг, 1910, С. 561). И даже через несколько лет, после роспуска первых двух дум, когда число мусульманских делегатов стало гораздо меньше, с этой фракцией, по словам того же современника, «...теперь считаются даже в реакционной и враждебной к инородцам 3-й Думе, видя в ней олицетворение крупной силы мусульманства» (там же).

### 5. Программа тюрко-западноевропейского культурного взаимообогащения

Важнейшее место в возрожденческой программе И. Гаспринского занимали, как упоминалось выше, планы подъёма культуры своих единоверцев среди прочего и посредством обогащения её достоянием цивилизации, не испытывавшей губительного воздействия колониальных режимов. Такие культуры-«доноры», включённые реформатором в свою программу, он делил на две неравные части: россий-

скую (великорусскую) и западные. О первой достаточно часто и внятно говорил сам Исмаил-бей, и причины такой декларативности будут рассмотрены ниже. Вторая составная часть тюркской аккультурации им упоминалась гораздо реже. Но тем громче именно о ней говорили объективные наблюдатели-современники, имевшие основания игнорировать широко осуществлявшуюся первую, российскую часть культурной программы И. Гаспринского.

Многие исследователи, начиная с современников И. Гаспринского и кончая нынешними учёными, пытались понять, почему крымский реформатор, говоря (уж не вынужденно ли?) о необходимости культурных заимствований прежде всего с Севера, сам делал их на Западе, а также старом Востоке. Первые находили, что «новое движение, отчасти черпая своё вдохновение в золотом веке арабской культуры и дорожа своей национальностью, всё-таки принимает общечеловеческую (то есть западного типа. — В. В.) науку, общечеловеческую культуру» (Алисов, 1909, С. 36). Вторые отмечали, что этот неоднозначный процесс проходил «при подъёме социального и экономического сотрудничества, при стремлении к усвоению богатств других культур (прежде всего европейской)» (Lazzerini, 1997. P. 177).

Объяснение такой позиции лежит на поверхности; оно актуально и для сегодняшней культурной ситуации крымскотатарского народа, всех тюрков. Для И. Гаспринского, зоркого аналитика, конечно же, была видна колониальная порочность северного гегемона. Тут он не питал никаких иллюзий насчёт возможности бороться с ним — это было бесполезно<sup>1</sup>. Но он прекрасно понимал, что великорусский народ, состояние его этнической культуры, его наука и техника, а главное — этнический менталитет и самосознание стоят отнюдь не на должной высоте даже посреди этнической мозаики отсталой Восточной Европы. Зачем же предназначать коренному народу Крыма роль «культурно-догоняющего» этноса (причём «с первого подхода», сразу, изначально), не испробовав другие возможности? Такой вопрос мог задать и, конечно же, задавал себе не только Исмаил Гаспринский, но и другие крымскотатарские реформаторы, как до, так и после него.

Кроме того, даже вынужденные, маскировочные и явно неискренние реверансы в сторону России, суждения о необходимости сотрудничества с миром великорусской культуры вряд ли принимались за чистую монету самими властями империи, — ведь все предложения такого рода, исходившие от И. Гаспринского, полностью игнорировались. Одного этого, оскорбительного по сути, отношения было достаточно, чтобы никогда не сворачивать с однажды избранной прозападной (или провосточной) ориентации тюркского лидера. Что же касается демонстративных антизападных выпадов Исмаил-бея, то они вряд ли были расчитаны на то, чтобы ввести кого-то в заблуждение. Это было продолжение серии парадоксов бывшего парижанина, так и не сумевшего избавиться от тоски по Парижу, по Европе. Даже в его известное определение

<sup>1</sup> Реформаторы ислама, такие как Исмаил Гаспринский, самим фактом поисков путей приспособления к прогрессивным тенденциям русской культуры и цивилизации по-прежнему считали, что им представлялось более важным «привлечь внимание к ограниченности их собственных сообществ, чем размышлять о сущности империализма» (Верт, 2005. С. 65).

<sup>1</sup> По некоторым данным, процесс этнизации мусульман России не был завершён и на 1914 г. Более того, «вплоть до Первой мировой войны исламский и этнический тюркский концепты противостояли друг другу...» (Кантелер, 2005. С. 420). В Крыму даже во время Гражданской войны её участники-крымцы осознавали себя лишь мусульманами, не имея представления о собственной национальной идентичности (об этом см. в III очерке третьего тома).

Западной Европы как «зверя», стремящегося к накоплению сил и средств, чувствуется невольное любованье и даже зависть к мощи и красоте этого свободного «зверя» (Гаспринский, 1993. С. 62).

В практической области прозападные взгляды Гаспринского получили своё выражение, в частности, в системе мектебе-руштие<sup>1</sup> Крыма, где, вопреки правилам Министерства народного просвещения России, был введён комплект предметов, явно принадлежавший к традиционным западным «народным школам» (в восточной образовательной системе эти предметы изучались лишь в высшей школе — медресе): бухгалтерия, география, всеобщая история, этика, рисование, каллиграфия, гигиенистика (Ганкевич, 1998. С. 129). Совместное, то есть мужское и женское обучение в крымских мектебе-руштие также противоречило традициям и русских, и восточных школ, но полностью вписывалось в западную образовательную систему. А в планах реформатора уже были какие-то «ремесленные медресе» — очевидно, нечто вроде техникумов. Целью этого проекта было приведение традиционного крымскотатарского ремесла, всё более отстававшего от современности, в соответствие с эпохой: «Чтобы поднять ремёсла, надо улучшить орудия производства; надо работать так, как требует время» (Терджиман. 28.09.1883)

Собственно, готовность брать лучшее у Запада И. Гаспринский не скрывал ещё в начале 1880-х гг. В частности, он ставил примером России Англию: «Войдите в какое-либо училище. 10–12-летние дети уже знают столь много сведений, воспитаны настолько, что могут размышлять так же, как 45-летние между нами! Они изучают несколько языков и 7–8 разных наук! В программе школ ни начальное чтение и письмо, ни начальная арифметика не входят: 5–6-летние дети выучиваются всему этому от матерей. В училище преподаются науки. Выйдя на базар, увидим приказчиков и служителей, рассуждающих о вопросах права, философии и мироздания! ...Жизнь здесь течёт столь обеспеченно и весело, что наша жизнь вовсе не выдерживает сравнения» (Труд и прогресс // Терджиман. 23.09.1883). Из этого краткого отрывка видно, что Россия вовсе не была для Исмаил-бея каким-то идеалом или высшим образцом, примером в смысле общей культуры существования, школьной практики и т. д.

Ученики и последователи И. Гаспринского придерживались в этой области его программы обновления тех же взглядов. Это было видно, к примеру, из ряда высказываний Асана Сабри Айвазова в 1914 г., связанных с переводом им на крымскотатарский язык пьесы *Тайфун* немецкого драматурга М. Ленгеля и последующей её постановкой. Во вступительной статье к изданию этой пьесы он сочувственно цитировал турецкого писателя А. Джевлетта:

«Что можно сказать о литературе и искусстве народу или нации, которая не живёт полнокровной и полноценной жизнью? Наше плачевное положение — результат безграмотности и невежества. Необходимо дать народу свет высокого знания, чтоб он мог различить правду ото лжи, справедливость от насилия, пастуха от мясника. И этот свет знания исходит не от солнца и луны, но от книг, от школ, от театра, большой инициативы и самопожертвования, от душевных мук и страданий, голосащих подобно стенаниям раненного льва, от света поэзии,

<sup>1</sup> Мектебе-руштие — созданные по идее И. Гаспринского школьные комплексы, где начальное образование дополнялось несколькими классами продвинутого типа.

являющейся голосом общего бедствия, от света произведений, которые показывают пути развития народов, достигших свободы и благополучия. Самое важное проявление патриотизма нашей молодой интеллигенции — это получение фундаментального образования в высших учебных заведениях Европы.

Вторая и последняя задача — внедрить в жизнь народа и государства достижения европейцев в сфере наук, литературы, культуры, искусства, промышленности и тем самым воплотить в жизнь наши надежды. Более действенного, более разумного служения Родине мы больше не видим. Так делали и делают японцы. Благодаря этому они и на море и на суше выросли до уровня великих наций и государств, и продолжают расти» (цит. по: Керим, 2005. С. ЛА 5).

Эта мысль владела и другими, современными или даже более поздними тюркскими интеллигентами, что доказывает её правоту, проверенную временем. Величайший турецкий поэт XX в. Яхья Кемаль (1884–1958), «...десять лет проживший в Париже и замечательно изучивший французскую литературу, понимал, что новый турецкий (то есть национальный. — В.В.) патриотизм могут воспитать только мыслящие „по-западному“ люди, если им удастся создать образ „прекрасного“ патриотизма в западном духе» (Памук, 2006. С. 326).

А.С. Айвазова заинтересовала мысль упоминавшегося турецкого современника А. Джевлетта относительно реформ в Японии. Опыт её фундаментальной модернизации в эпоху Мэйдзи (после 1868 г.), как он полагал, мог бы пригодиться не только туркам, но и крымским татарам. Поэтому идея заимствования восточного опыта модернизации промышленности и просвещения по европейской модели (как это делали японцы) была развита им как в упомянутом вступлении к изданию пьесы М. Ленгеля, так и в более поздних статьях:

«Хотелось бы, чтобы наша молодёжь, которая учится или будет учиться в европейских учебных заведениях, действовала так же и в отношении образования, подражала восточным японцам. Умы и головы учащейся в Европе нашей молодёжи и интеллигенции должны быть заняты европейскими науками, а сердца — восточными чувствами. Иными словами, наша молодёжь должна иметь французскую голову, тюркское чувство и восточное воспитание. Японцы действовали и действуют именно так» (цит. по: Керим, 2005. С. ЛД 24 об.).

Остаётся сказать, что призывы И. Гаспринского и А.С. Айвазова не остались неуслышанными. Преодолевая трудности, в университетах Франции, Венгрии, Германии училась крымскотатарская молодёжь, услышавшая призывы своих старших современников. Все они оставили заметный след в истории культуры и национального освобождения народа. Тем не менее нужно признать, что широкого, всенародного масштаба «западная» культурная программа И. Гаспринского так и не достигла. Тому было несколько причин, начиная от отсутствия материальной и духовной её поддержки в Крыму и России и кончая безвременной смертью её создателя. И, конечно, осуществление программы стало немислимым в условиях Первой мировой войны, непреодолимой стеной разделившей Восточную Европу и Запад.

Тем не менее след от начавшегося культурного сближения с Западом остался в народной памяти. Поэт Дж. Керменчикли в 1918 г., когда германская армия заставила российских большевиков покинуть Крым, писал, готовясь к самому худшему — к их возвращению:

Если немцы отвернутся от тебя  
И будут спрошены райские девы,  
И каждому народу будет дано его место,  
Татарин... будет изгнан из рая.  
Я готов вечно гореть в этом мире.  
Я снова татар, татар, татарин я!...

(Цит. по: Керимов, 2007. С. 91)

В заключительных строках этого отрывка из стихотворения *Тытырым* отчётливо звучит тревога за будущее народа в случае возрождения имперской России<sup>1</sup>.

## 6. Стратегия и тактика И. Гаспринского

### а) Общепополитические инициативы

Обращаясь к, возможно, наиболее сложной проблеме на жизненном пути И. Гаспринского, а именно к политической, западные исследователи не без оснований замечают, что Исмаил-бей всецело «принадлежал к дополитическому (prepolitical) поколению деятелей национальной культуры, которые гораздо чаще сосредоточивались на подчёркивании ограничений для их тесного сообщества, чем на общих результатах империализма [для народа]» (Lazzerini, 1997. P. 183). Более того, И. Гаспринский был «аполитичным» деятелем, хотя и не стоял в стороне от таких политических движений, как представленное общероссийской партией мусульман «Иттифак-аль-муслимин», имевшей и крымскотатарское отделение. Однако лишь после его смерти (вследствие смерти?) «Иттифак» смог стать политически активной силой отчасти революционного направления (Исхаков, 1997. С. 214, 232).

В этой связи стоит вспомнить о том, что Гаспралы был весьма религиозным человеком, а ислам, тем более в классической его версии, сам по себе довольно аполитичен и уж абсолютно нереволлюционен, если не антиреволюционен (выше говорилось, что мусульманский мир признаёт любую внешнюю власть, если только она не покушается на священные установления шариата и сунны). Исмаил-бей же, как всякий истый мусульманин, носил свою свободу в себе. И как таковой должен был восстать против существующего порядка в единственном случае: если бы имперская власть своим вторжением в область исламского права попыталась насильственным путём оспорить суверенитет Аллаха как высшего законодателя и судьи. Этот свой священный долг российским мусульманам, между прочим, всё же пришлось исполнить, но гораздо позднее, когда И. Гаспринского давно не было в живых.

Конечно, нельзя сказать, что джадидисты не осознавали общих пороков колониальных империй, — для этого они были достаточно широко информиро-

<sup>1</sup> Заслуживает внимания иное толкование этого отрывка, основанное на возможных впечатлениях в первом издании стихотворения: Керимов, 2007. С. 91–92.

рованы. Но лично И. Гаспринский, неоднократно бичуя порядки в колониях и национальную политику Великобритании, Франции или США (См., напр., Гаспринский, 1993. С. 62, 66, 69–70 и др.), ни разу не обращал острее своей критики против России, заслуживавшей её более иных колониальных держав. То, что подобная «дополитическая» (на самом деле, скорее, тонко политическая) позиция Гаспралы не была вызвана слепым патриотизмом или русофильством, можно понять, лишь проанализировав его личное положение в имперском поле высокого шовинистического напряжения.

Выше неоднократно упоминалось о том, что мусульманский мир (то есть люди, а не ареалы исторического их обитания) возбуждал в России устойчиво отрицательные эмоции. Для выхода из такого неприятного (дискомфортного) состояния лучше всего, по мысли русских политиков, подходила русификация или, что проще, раскультирование инородцев, лишение их собственных традиционных духовных ценностей. И такая политика делала своё дело практически без помех, пока в конце XIX в. не появились джадидисты. Эти мусульмане были «слишком образованные», чтобы не уловить сути происходившего на их исторической родине процесса. А крымские джадидисты были ещё и слишком умны, чтобы прибегать к радикальным мерам противостояния могущественной имперской власти, как это позволяли себе их более многочисленные единоверцы Поволжья или Средней Азии. Но не исключено, что в Крыму играло роль более последовательное подчинение уже упоминавшемуся антиреволюционному духу Корана, недвусмысленно призывавшего: «Повинуйтесь Аллаху, и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас» (4: 62 [59]).

И крымские джадиды взяли на вооружение филигранную стратегию отнюдь не революционного мятежа, а медленного, незаметного подтачивания фундамента, на котором строилась политика русификации, пусть даже менявшаяся в отдельные периоды, но неизменная в её конечной цели. Как было видно, джадиды начали с просвещения. Отнюдь не повышения только лишь грамотности населения, а именно просвещения исламского типа. Они, конечно, прекрасно понимали при этом, что просвещённый мусульманин абсолютно неуязвим как для русификации, так и для заразы аморальности и слепой агрессивности, в ту эпоху широко расходившимся, подобно кругам по воде, от центров великорусской этнокультуры (в том числе и в Крыму, в среде многочисленной русской диаспоры).

Более того, такой истинный мусульманин (ибо «истинным» он становится, лишь овладев Знанием) распространяет вокруг себя мощное поле нравственного притяжения, он способен без особых затруднений вовлечь в орбиту своей духовной и практической работы на благо народа множество ранее абсолютно инертных соотечественников. Джадиды стояли в истоке цепной реакции, которая грозила охватить всю мусульманскую общину России (ранее представлявшую собой единое общество-миллет более по названию, чем по сути), сводя тем самым на нет все многовековые труды великорусской культурно-духовной экспансии. Наконец, как справедливо замечено, устои всесильной империи подмывали пантюркизм и панисламизм (что бы под ними ни понималось различными толкователями). Обе эти концепции впоследствии, в политической фазе мусульманского движения, становились всё более важными и значимыми (Каннелер, 1999, С. 174). Тем самым они выдавали, среди прочего, и глубоко спрятанную, но

последовательно и бескомпромиссно антиимперскую настроенность крымского мыслителя и практика, их некогда сформулировавшего<sup>1</sup>.

Здесь нет преувеличения: как было сказано, такую «опасность» джадидизма и лично И. Гаспринского понимали уже его современники, прежде всего русские. Для них он был, конечно, прежде всего, чужаком, инородцем, получившим русское образование, владевшим русским литературным языком, глубоко изучившим всё русское многослойное общество снизу доверху и применявшим свои незаурядные познания во вред империи. Он, по словам одного из своих критиков, Н.П. Остроумова, использовал все преимущества, которые дала ему русская культура, для защиты собственного национализма (то есть национальных интересов крымскотатарского народа, противоречивших интересам империи). И это не говоря уже о том, что мурза Гаспринский явно нарушал неписанные законы хорошего тона, согласно которым инородцы, да ещё и «одарённые» русским образованием или дворянским достоинством, должны были вести себя не в пример скромнее. А этот крымскотатарский дворянин осмеливался вести собственноручную пропаганду собственных взглядов.

Стоит отметить, что после революции те же великорусские шовинисты, хотя социально иного происхождения и обзаведшиеся партбилетами, упрекали покойного Исмаил-бея в совершенно немислимых с научной точки зрения грехах. А именно, в том, что он и его поволжско-кавказские единомышленники и крымскотатарские последователи, и прежде всего национальная (!) «промышленная буржуазия»<sup>2</sup> якобы носились «с идеей белого царя и мусульманского халифа» (Смирнов, 1931. С. 39). И это при том, что у И. Гаспринского была собственная программа борьбы с российским колониализмом.

#### б) Антиколониальная политика

И. Гаспринский был опасен для империи ещё и потому, что, в отличие от русских революционеров, уделявших основное внимание социальным или политическим материям, изучил изнутри, то есть до тонкости, механизм имперской колонизации, испытав её воздействие и на себе. Это редкое для оппозиционных

<sup>1</sup> Для того, чтобы оба эти движения стали в Крыму популярными, потребовалось известное время, несмотря на то, что в своей пропаганде И. Гаспринский был далеко не одинок. Ещё осенью 1904 г., когда бахчисарайский городской голова Мустафа-мурза Давидович призвал земляков присоединиться к панисламизму/пантюркизму (похоже, что и он, человек образованный, не делал между ними различия), то число татар, согласившихся с политической сутью этой агитации и присоединившихся к М. Давидовичу, было крайне невелико, оно «исчислялось единицами» (Зарубин, 2003. С. 54).

<sup>2</sup> В крымской реальности из упомянутого класса прежде всего вспоминаются такие явно не татарские фамилии, как Эйнем, Шишман, Абрикосов, Месаксуди, Стамболи, Анатра и др. То есть имена владельцев заводов и фабрик, работавших на потребителя (мы не касаемся объектов военно-промышленного комплекса Севастополя и Керчи, казённых соляных промыслов и пр.), которые после 1917 г. получили новые, гордые имена Возрождения, Трудового Октября, Воли Труда, Ленина, Коминтерна и по большей части работают в технически несколько преобразованном виде до сих пор, хоть и под иными названиями.

или антиимперских кругов знание позволило крымскотатарскому джадиду вырабатывать уникальные тактические приёмы, успешно обращавшие сильные стороны колониализма<sup>1</sup> в его слабость. В отличие от своих противников, И. Гаспринский принадлежал в одно и то же время к двум мирам, чувствуя себя одинаково свободно среди «своих» и «чужих», с одинаковой щедростью рассеивая вокруг себя семена сомнения в мудрости российских законоположений, моральности российской политики, честности «старшего брата», качестве доминировавшей культуры и в столь многом другом. Причём эти семена падали на территории обеих, европейско-русской и восточной цивилизационных платформ, границу между которыми великий просветитель постоянно пересекал со столь неподражаемой лёгкостью и свободой.

Повторяем, эта стратегия была слишком недвусмысленной, чтобы остаться непонятой теми, кому следовало. И против опаснейшего своего врага империя безусловно выдвинула бы все имеющиеся для того средства. Но в данном случае она этого попросту не могла сделать. Её лишил такой возможности сам Гаспра-лы, бахчисарайский хитрец, истинный сын своего народа, прикинувшийся совершенным ортодоксом, *более* русофилом, чем сами русские. Он ведь, в самом деле, двигался строго в коридоре (одну стену которого выстроило Министерство народного просвещения, а другую — жандармерия с полицией), тонко лезя двору и правительству, без какого-либо нажима добиваясь одной уступки за другой и отнюдь не торопя события и не подстёгивая своих единомышленников: время тогда работало на крымских татар.

Но весь блеск этой благоприятной для этнокультуры ситуации в том, что И. Гаспринский её создал практически сам, в единственном числе, — вот о какой его заслуге нередко забывают. Особенно заметной она становится, начиная с 1909 г., когда ни один крымский татарин не мог уже оставаться в девственном неведении относительно джадидистских идей и целей, поскольку практически все сёла и деревни Крыма были охвачены сетью новометодного образования, созданной великим реформатором. Другое дело, что Исмаил-бею не было суждено увидеть плоды своих рук. Упомянутое достижение, очередная ступень на восходящем пути национальной культуры оказалась одной из последних в его жизни, — через пять лет его не стало...

После смерти И. Гаспринского русскими властями было сделано всё, чтобы без лишней шумихи в газетах и журналах империи свести его дело к нулю. Но если кое-что в этом направлении и удалось сделать, то лишь чисто технически (был ликвидирован ряд новометодных мектебов, муфтият Крыма стал оплотом чиновников-ретроградов, были закрыты и некоторые национальные и либеральные издания в Крыму). Но власти оказались не в силах стереть у крымскотатарской молодёжи, у подраставшего поколения память об Учителе, погасить зажённый им интерес к западно-либеральным нормам и этническим институтам, к демократическим принципам в решении межнациональных и межэтнических

<sup>1</sup> Здесь прежде всего имеется в виду умение добиваться выигрыша не за счёт каких-то этнопсихологических достоинств или этнокультурного богатства колонизаторов, а благодаря их превосходству в стандартизованном образовании, централизации технических и научных ресурсов, беспринципности «морального модернизма» и так далее.

проблем и конфликтов. Одно это вносило дух обновления в динамику общественной идеологии, причём не только в Крыму. Но ведь здесь упомянуто далеко не всё. Благодаря Гаспралы заколебались устои одного из самых фундаментальных постулатов этой идеологии — о приоритете русско-православной супердержавы в межнациональных отношениях на территории Евразии. Впервые коренные народы ощутили себя не бесправным, безвольным и беспомощным объектом агрессивной политики России, а субъектом, если ещё и не международного права, то уже — истории.

Идеи И. Гаспринского доказали свою жизнеспособность тем, что они продолжали развиваться и видоизменяться даже после его смерти. То есть, когда в связи с реформаторским движением в Турции «сто процентные гаспринцы» были потеснены в Крыму пришедшими им на смену младотатарами. В 1914 г. редактором Терджимана стал А.С. Айвазов, один из единомышленников покойного. Под руководством нового редактора содержание программных статей газеты начинает развиваться в логичном направлении — от чистого просветительства Гаспралы к развитию политического мышления у народа, к политическим методам борьбы за национальную культуру и права коренного народа Крыма. Второй не совсем обычный для старого Терджимана нюанс: газета, которая с 1915 называется «Новый Переводчик» («*Ени Терджиман*»), начинает уделять глубокое внимание вечным ценностям ислама, его этическим максимам, а также принципам терпимости и гуманизма, которые, по мысли А.С. Айвазова, гораздо лучше соответствуют духовному складу и национальной психологии крымских татар, чем безвольное следование в кильватере «прогресса» великорусского образца.

Собственно, новый редактор уже в те годы прорастил одно из драгоценнейших зёрен в системе Гаспралы — веру в спасительность для мировой цивилизации нетленных ценностей классического ислама. Но почти во всём остальном он внёс в программные направления газеты изменения, которые были вызваны не столько временем и новыми обстоятельствами, сколько собственными убеждениями и тактическими соображениями А.С. Айвазова. Собственно, о каком-то реформировании Терджимана, неизбежном в случае смены редактора, было ясно не только в Крыму, но и за рубежом. Так, турецкий журнал *Тюрк Юрду* ещё до кончины И. Гаспринского писал, что «с ним закончится целая эпоха в истории мусульманской прессы — даже в том случае, если издание Терджимана будет продолжено» (*Türk Yurdu*, 1913. В. 5. № 8. S. 1104. Цит. по: *Adam*, 2002. S. 90).

Известно мнение А.С. Айвазова о невозможности дальнейшего полного, безграничного сотрудничества крымских татар с русскими соседями, мнение, которое, мягко говоря, несколько отличалось от позиции Исмаил-бея. Новый редактор газеты писал: «...русское господство не ведёт мусульман к прогрессу и цивилизации, бессильно вдохнуть новую жизнь, идеи и стремления в область русско-татарской мертвечины» (ЭО, 1992. № 2. С. 93). Собственно, здесь не имелась в виду какая-то герметизация Крыма и его народа и от России и от Запада, в пользу исключительно Востока. А.С. Айвазов не был утопистом, он признавал объективные экономические, научные, технические успехи Европы и Америки. Но он полагал именно таким, то есть экономическим и социально-политическим сотрудничеством с западной цивилизацией ограничиться, черпая

при этом духовные ценности из собственных бездонных источников, возрождая нетленную мудрость и кристальную мораль классического Востока.

Именно политическую радикализацию считал наиболее характерной для нового Терджимана Амет Озенбашлы в одном из своих исторических обзоров. Газета стала резко требовать от властей немедленного открытия для татар школ второй ступени, привлечения к учёбе девушек, предоставления для крымскотатарской молодёжи возможностей учиться в гимназиях и т. д. Это был открытый отказ от стратегии и тактики И. Гаспринского: «...на прежних безмятежных страницах «Терджимана» поднялась буря, начали сверкать огненные молнии... Своими зажигательными статьями «безобидный Терджиман» начал нарушать сон правительства, мурз и клерикалов. Айвазов был вызван на дуэль Крымтаевым, одним из оплотов деспотизма и религиозного фанатизма... «Терджиман» покраснел, как покрывается румянцем в свой последний час чахоточный больной, подняв бурю...» (*Озенбашлы*, 2005 «а». С.9).

Сказанное не должно перечёркивать значение простого факта: и Асан Сабри Айвазов, и его единомышленники из «Ватан хадими» (об этом см. ниже) в своей революционной деятельности во многом использовали платформу, подготовленную И. Гаспринским. Не уменьшилось значение этой платформы и позднее. И далеко не случайно ряд основных положений джадидистской программы был заимствован в 1917 г. Крымскотатарской социалистической партией, а затем партией Милли Фирка (см. ниже). Среди них было и такое фундаментальное для классического исламского сообщества условие развития духовной и материальной культуры, как требование широкого и всестороннего просвещения в духе традиционного воспитания новых поколений (п. 34 программы Милли Фирка), что было отмечено критиками Гаспринского в 1930-х гг., то есть ещё до временного провала в изучении и дела его жизни, и истории Милли Фирка (*Аршаруни*, 1931. С. 72).

Точно так же невозможно было ликвидировать, предать забвению впервые счастливо найденную и чётко выраженную И. Гаспринским концепцию тюркской межнациональной конфессионально-этнической общности в совокупности с главенствующим принципом самоосознания и самоопределения крымскотатарского народа в качестве уже не столько одного из рядовых членов всемирной мусульманской уммы, сколько уникальной этнической и культурной сущности<sup>1</sup>. Традиционное крымское общество, недвусмысленно заявив устами И. Гаспринского

<sup>1</sup> По мнению некоторых зарубежных авторов, именно ощущение полной включённости во всемирную умму роковым образом облегчало переход крымских татар из одного региона мусульманского мира в другой, соседний (имеются в виду эмиграции XVIII—XIX вв. из Крыма в страны Черноморского бассейна). Запущенный Исмаил-беем процесс осознания крымскими татарами себя как самоценного этноса, обладающего уникальной культурой, сделал в дальнейшем великие эмиграции из Крыма (вынужденные, но в малой своей части и добровольные) практически неосуществимыми. Эту гипотезу подтверждает такое немислимое даже в XIX в. явление, как Возвращение народа спустя десятилетия после депортации 1944 г. Ранее, в «догаспринский период», таких всенародных движений совершенно не было, хотя на протяжении отдельных периодов почти всего XIX в. вернуться из Турции в Крым было и ближе, и проще, чем в 1950–1980-х из УССР в Крымскую область РСФСР или УССР.

об осознании своей этнической сущности, тем самым вернуло себя во Всемирную историю. А также, что, возможно, ещё более важно — и в собственную этническую Историю, из которой оно было выброшено северным соседом с момента аннексии полуострова и ликвидации самостоятельности крымскотатарского национального государства<sup>1</sup>.

Как говорилось выше, деятельность И. Гаспринского с относительно недавних пор нашла, наконец, своих исследователей, и уже сейчас в результате анализа появившихся трудов и довольно многочисленных публикаций наследия самого Исмаил-бея на страницах крымской печати мы можем сделать вывод о политическом облике этого незаурядного деятеля. Безусловно, он был сторонником эволюционных перемен, реформ, проводимых сверху, противником насилия с той или иной стороны. Многие идеи И. Гаспринского были утопичны, не выдержали проверку временем, но в свое время крымскотатарские крестьяне высоко ценили его как глашатая их равноправия с «новыми» крымчанами, как заступника обездоленных. На страницах «Переводчика» регулярно появлялась разоблачительная информация о случаях экономического и шовинистического произвола русских помещиков и властей в Крыму, пропагандировались национальные ценности народа, разоблачались попытки их опорочить; газета звала народ к обновлению и политическому просвещению в национальном духе.

Призывы эти не остались втуне. Под непосредственным влиянием газеты выросла плеяда талантливых молодых литераторов. Осман Акчокраклы, Асан Сабри Айвазов, Осман Заатов, Сеид Абдулла Озенбашлы создают оригинальные произведения и, что не менее важно, переводят на татарский язык классиков мировой литературы — Низами, Хайяма, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Навои и многих других.

Итак, национально-освободительное движение до 1905 г., как мы видим, скрывало свои социально-политические тенденции под пологом культурно-просветительской деятельности. Такая форма его могла обмануть ряд исследователей (многие из которых желали быть обманутыми), объективно же младотатары содействовали накоплению новых сил в группе национальной интеллигенции, все новых кадров учителей, журналистов, врачей и т. д., получивших образование в бурлящем политическом котле Стамбула. На базе крымскотатарской народной школы шёл процесс внутреннего духовного освобождения от идеологического гнёта православно-имперской реакции. Причём движение это было как никогда широким; достаточно сказать, что в первые годы XX в. к нему примыкают уже не только безусые юнцы, но и женщины — факт, для Крыма неслыханный (*Фирдевс*, 1925, С. 24).

Младотатары не декларировали в своей платформе столь радикальных, как стамбульские революционеры, идей. Но, будучи духовно родственными с ними, они не могли не воспринять, например, поражение России в русско-японской войне как положительное событие, как начало разложения империи и распада

<sup>1</sup> В настоящем очерке автор не касается вклада И. Гаспринского в переосмысление (фактически — пересоздание) национальной истории крымских татар. Это — особая, важная, но, к сожалению, мало разработанная тема, которой не хотелось бы касаться мимоходом.

империалистического окружения всего Востока. В такой атмосфере было естественным, закономерным и возникновение на левом крыле младотатарского движения сепаратистских тенденций, что, впрочем, характерно и для других распадавшихся колониальных империй этого периода.

Группа И. Гаспринского пользовалась широкой поддержкой крымскотатарского крестьянства, инстинктивно стремившегося к просвещению и культуре, наиболее отвечавшей менявшейся действительности. Напротив, его деятельность (особенно в области школьных реформ) встречала ожесточенное сопротивление консервативного мусульманского духовенства. Оно же выступало против гражданственной, интернационалистической по сути программы единения народов, проводником которой был Терджиман. «Могучий, кипучий Запад с его миллиардами и широкими знаниями, пробуждающийся языческий Восток с его несчетным населением могут сдвинуть нас, как тиски, если мы не поторопимся как следует сплотиться, просветиться и развить во всю ширь работоспособность и производительность», — писал Исмаил Гаспринский, имея в виду будущий союз народов, относящихся к Российской империи (Терджиман. 1905, № 29).

#### б) Реформация этнозащиты

Проблема защиты собственного этноса от всесторонней экспансии со стороны подавляющей массы носителей посторонних для Крыма культур весьма сложна. Для лучшего понимания целесообразно предварительно назвать её место среди других проблем, столь же важных, и так или иначе решавшихся И. Гаспринским и упомянутых выше.

Многoplanовый круг этих проблем можно разнести (весьма приблизительно) по трём уровням. Схематически они рисуются здесь как три поля, частично перекрывающие друг друга, то есть имеющие как отдельные, так и общие смысловые пространства:

*Первый* из них, самый обширный, универсальный — план панисламизма. Деятельность крымского реформатора на этом уровне была вызвана кризисом общеисламского масштаба, имевшего внешние и внутренние причины. Из внешних главной была испытываемая мировой уммой культурная, экономическая и военно-силовая экспансия со стороны западной цивилизации. Внутренняя причина — саморазделение уммы и, как результат, её очевидное ослабление. Здесь не будем касаться дальневосточной и центральноазиатской составляющих исламского мира, там наблюдалось большое своеобразие их собственных, местных проблем, И. Гаспринскому, кажется, малоинтересных. Но он не мог не обращать внимания на то, что на Ближнем Востоке, на родине ислама, на старой средиземноморской цивилизационной платформе откололась и стала дрейфовать куда-то в сторону группа арабоязычных культур. Отсюда и стремление вновь объединить исламский мир его при помощи концепций панисламизма.

Пантюркизм И. Гаспринского был вызван к жизни *вторым*, более локальным кризисом, отмеченном в тюркском мире. Его внешняя причина в разрушении в Новое время системы халифата с центром в Турции. Внутренняя — продолжавшийся самораспад общетюркского культурного пространства на ряд



этнокультурных групп (среднеазиатские, турецкую, поволжскую и т. д.). Менее всего этот процесс этнизации задел Крым. Его коренные жители, особенно сельские, нередко не осознавали себя татарами. Приведём убедительный, с нашей точки зрения, пример. В годы Гражданской войны крымские татары, ранее служившие у Врангеля, а при советской власти вынужденные заполнять знаменитые бела-куновские анкеты, в графе «национальность» почти все сплошь писали одно и то же: «мусульманин» (ГААРК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 25. Л. 5-68).

Третий план — программа этнозащиты. Эта сторона деятельности И. Гаспринского касалась исключительно его соотечественников. Именно она удостоилась внимания историков меньше двух первых, что не совсем понятно.

И. Гаспринским, как известно, была счастливо найдена и чётко выражена концепция тюркской межнациональной (суперэтнической) культурной общности. Она была неотделима от принципа этнического самосознания и самоопределения, в частности, крымскотатарского народа. При этом последний выступал уже не только как один из рядовых членов всемирной уммы или тюркской общности, но и как суверенный этнический субъект и уникальная культурная сущность, как неотъемлемая часть цивилизационного понятия *Крым*. Это утверждение может показаться банальным сейчас, но не в годы жизни И. Гаспринского, когда крымские татары играли в культурной и духовной жизни полуостровного социума исчезающе малую роль. Субъективно Гаспринский ощущал себя частью своей родины и обращался к проблемам, которые знал лучше, чем, скажем, башкирские или уйгурские.

Но имелась и объективная причина такому выбору: крымский народ пострадал к тому времени неизмеримо больше от геноцида XVIII в. и эмиграций, чем многие иные. Да и сама Таврическая губерния прочно занимала первое место по массовости переселенческого элемента, причём с огромным, катастрофическим отрывом даже от самых демографически и культурно нестабильных регионов Российской империи. По этим причинам крымскотатарский народ остро нуждался в действенных мерах этнической защиты.

Проблема этнозащиты в целом возникала, и так или иначе решалась и до Исмаил-бея. Собственно, она равновозрастна самому возникновению этноса. Едва этническая группа складывается, как перед ней со всей необходимостью встаёт вопрос самосохранения, вопрос о физической и психологической самозащите. В дальнейшем защитные механизмы и тактики могут развиваться и усложняться на основе опыта, но основной их набор остаётся тем же (о нём ниже). Как неизменными пребывают с древнейших времён до наших дней две формы межвидовой (межэтнической) борьбы за выживание. Эти формы: самосовершенствование и агрессия.

Обе формы находят параллельное практическое воплощение у всех без исключения племён и народов. Без постоянного совершенствования своих разнообразных достоинств любая группа обречена на деградацию и исчезновение, это понятно. К агрессии же вынуждены прибегать даже самые мирные, пассивные существа нашей планеты (в животном мире это травоядные), когда их, что называется, загонят в угол, — это бывает при нападении хищника на их детёнышей. Сказанное относится и к этническим группам, когда не отвратимая

иным путём внешняя угроза принуждает их применять любые меры, вплоть до превентивного нападения на противника. Это — объективно мотивированная агрессия.

Но, как и в животном мире, наряду с традиционно мирными этносами существуют склонные к такой форме этнозащиты, как явно немотивированная агрессия. Гарантия собственной безопасности видится этим группам (племенам, народам, нациям) в непрерывном расширении территории обитания, жестоком, вплоть до геноцида, подавлении реальных или мнимых конкурентов, в поддержании державного (великодержавного) статуса любой ценой, любой кровью — как чужой, так и своей. При этом происходит паталогизация этнозащитных механизмов, среди такого рода «защитников» растёт масса параноидальных элементов. Вследствие этого этнос (народ) и лидера выдвигает соответствующего, то есть агрессивного параноика типа Ивана Грозного, Петра I, Ленина, Сталина, Гитлера и т. д. От таких последовательно и стабильно агрессивных сообществ соседние, угрожаемые группы должны защищаться с применением соответствующих механизмов и тактик. Именно в такой угрожаемой ситуации оказался ещё в XVII в. крымскотатарский народ.

У него по ряду причин механизмы эти вырабатывались стихийно, на основе общеэтнического опыта. Причина проста: выдающиеся лидеры вроде Хаджи-Гирея, Девлет-Гирея II или Крым-Гирея, способные разрабатывать собственные этнозащитные системы, встречались всё-таки нечасто. Поэтому заниматься самозащитой в целом приходилось самому народу. Он и защищался, как мог, берёг, как умел, свои традиции, религию, язык, культуру, землю предков и прочее. Но эта защита была именно народной, то есть домоделной и не всегда последовательной. Её можно назвать и пассивно-реактивной, то есть способной лишь на *ответные* действия, на меры, предпринимаемые лишь вследствие какой-то имперской карательной акции, очередного национального унижения или усиления экономического ограбления.

Империя накрыла народ душным саваном несвободы, лишила его возможности к саморазвитию, разрушила систему национального просвещения. Отсюда — отсутствие представительной прослойки национальной интеллигенции. А это сказалось совершенно пагубным образом и на проблеме выработки новой системы самозащиты. И в Новое время она не получила практически никаких импульсов к развитию. Неподкреплённая теоретической основой или чёткой программой, такая этнозащита оставалась сиюминутной, «пожарной», неэффективной. Она не была способна работать на перспективу. Отсюда и результат — культурно и экономически угнетённое положение крымских татар, сложившееся к эпохе И. Гаспринского.

Вполне очевидно, что он довольно рано, сразу по возвращении из Франции, осознал все недостатки такого рода этнозащиты. И взялся за её совершенствование (точнее — за её создание), избрав журналистскую и издательскую деятельность в качестве наиболее действенного орудия для выполнения миссии, возложенной на него временем. Уже первые опыты его общественно-политической и культурной деятельности целиком укладываются в намечаемое русло новой, качественно иной системы. Другими словами, он внёс в список своих реформ и разработку крымскотатарской этнозащиты. При этом из двух упомянутых выше

видов такой защиты им был избран неагрессивный, психологический<sup>1</sup>, основанный на стратегии личного и группового (национально-этнического) самосовершенствования.

На этом направлении защиты этноса главным и самым обширным её полем является культура во всех её разнообразных сферах и многозначном влиянии на жизнедеятельность и жизнеспособность народа. И Исмаил-бей, как мы видели, посвятил спасению и развитию национальной культуры основную часть своей жизни (около 33 лет) и все силы. Одним из самых мощных средств этнозащиты является родной язык, его совершенствование (очищение селекцией слов и выражений, обогащение и т. д.). Это была уже установка на защиту культуры от чуждых влияний извне, и Учитель стал крупнейшим лингвистом и реформатором крымскотатарского языка, он просто обязан был им стать ради будущего своих соотечественников. Что же касается его научной деятельности в области общей филологии, то здесь стоит вспомнить о стремлении И. Гаспринского очистить вообще все тюркские языки от чужеродных вкраплений, без чего осталось бы недостижимым само возрождение общетюркских суперязыка и общего фольклора.

Второй составной частью этнозащиты является реальное осуществление права народа на свою историческую родину. Исмаил Гаспринский пытался решить и эту задачу отнюдь не революционным насилием, но поэтапным достижением промежуточных результатов. Так, он много работал над проблемой возвращения крымским татарам земель, грабительски присвоенных переселенцами из России, а отчасти отданных иностранным колонистам. Это была борьба уже не за исторически бесспорное достояние народа, за его богатство — она велась за физическое выживание крымских татар. Ей сопутствовала и её поддерживала работа над восстановлением действительного, а не извращённого российскими учёными и публицистами исторического прошлого крымских татар, доказывающего исконность их прав на землю полуострова.

Третий блок системы этнозащиты И. Гаспринского основан на исламе. В отличие от профессионально подготовленных, посвятивших свою жизнь религии вероучителей, он, конечно, не мог целиком уйти в круг духовных проблем и исканий. Тем не менее, объективно Учитель принёс исламу в России и мире пользы больше, чем многие профессиональные, но рядовые служители учения Пророка. Очевидно, достаточно напомнить лишь об одной заслуге крымского джаида — о школьной реформе, давшей этому учению неисчислимо количество осмысленно преданных ему молодых людей. Кроме того, в своих статьях И. Гаспринский постоянно вёл мягкую, ненавязчивую, но доказатель-

<sup>1</sup> Этническая самозащита имеет, как известно, два глубоко различающихся вида — физический и психологический. Первый из них предполагает вытеснение всех элементов, чуждых человеческой и природной экологии этноса, активизацию демографического рода и т. д. вплоть до создания боевых отрядов сопротивления. Этот путь был чужд И. Гаспринскому хотя бы по совершенно иному, высоко духовному складу его мирной, созидательной натуры. Ей были свойственны совершенно противоположные, ненасильственные, интеллектуальные точки приложения сил. Зато в области второго, психологического метода этнозащиты он, при его незаурядной энергии и блестящих способностях сумел сделать всё возможное и нужное для спасения родины и людей.

ную и живую (и оттого особенно убедительную) проповедь чисто мусульманских ценностей.

Четвёртую, наиболее общую составную часть этой этнозащитной системы можно назвать структурной. Её создатель выстраивал, по возможности незаметно (такая уж была ситуация!), самостоятельную структуру нового крымскотатарского общества. Структура эта со временем становилась всё более разветвлённой: в неё уже входили национальные печать, школа, общенародные культурные и общественные объединения с системой отделений на местах. Были налажены и стабильные международные культурные, социальные и политические связи. Эта разновидность этнозащиты работала на двух направлениях, её механизмы играли две инструментальные роли.

Во-первых, это была роль некоего тормоза в процессе продолжавшейся ассимиляции крымскотатарского народа в великорусском окружении. А, во-вторых, — роль несущей конструкции в создаваемом новом обществе, в идеале, обладающем собственной универсально разветвлённой этнокультурной структурой. А уж это в перспективе делало реальным всё более широкое национальное самоуправление со всеми его возможностями, результатами и последствиями.

Так, И. Гаспринский добивался введения местного самоуправления в деле национального образования крымских татар. Это было первым, но далеко не последним звеном в ковавшейся им цепи, способной вытащить этнос из болота культурной и социальной зависимости от титульной нации России. Понятно, что реформатор не афишировал конечные цели своих нововведений, способных вернуть народу его культурный, структурный и политический плюрализм, только и способный служить фундаментом для истинной автономии.

Наконец, во многом благодаря деятельности И. Гаспринского изменилось отношение крымцев к проблемам религии и родины. Выше говорилось о том, как много сделал он на почве единения всемирной уммы. Однако не менее значим его вклад в процесс осознания народом себя как порождения единственной на планете, крымской земли и как её законного наследника. Горячая агитация Терджимана против бегства в Турцию (пусть даже из благородного стремления сохранить веру отцов), против оставления Крыма на произвол имперских «хозяев», сделала своё дело. Если ещё в последней четверти XIX в. людей вело (и уводило за рубеж) стремление к религиозной свободе, то Исмаил-бей оставил национальное общество, готовое бороться за достойную жизнь именно в Крыму и только в Крыму. Мы должны признать, не боясь высоких слов, что именно он бросил в народную душу зёрна осознанного крымского патриотизма. Эти зёрна дали мощные, дружные всходы, распотать которые оказалось не под силу империи. Она могла лишить народ исторической родины, но не высокой любви к Крыму, которая своей силой поразила мир в годы самоотверженной борьбы за Возвращение. И в этой победе — пусть пока не окончательной — также бесспорна заслуга великого крымца Исмаил-бея.

Выше говорилось, что в своей деятельности он был не одинок. Исмаил Мурза Муфтий-заде брал на себя один участок этой стройки, Решид Медиков — другой, Асан Сабри Айвазов — третий, и так далее. Но её главным архитектором и прорабом всё же оставался Исмаил Гаспринский. Недаром его вклад

в национальное строительство Дж. Сейдамет<sup>1</sup> сравнивал с великим подвигом Менгли-Гирея в столь же решающую для народа эпоху: этот хан первым делом строил мечети и медресе, и лишь во вторую очередь — дворцы и крепости.

До И. Гаспринского сложился народ, но ещё не было общества, которого не могли заменить разрозненные сельские общины. Он первым начал создавать крымскотатарское национальное общество, а завершили эту работу его ученики, найденные и воспитанные им совершенно новые люди. Вот в чём одно из главных, если не самое главное значение жизни и подвига человека, который действительно имел основания называть себя *Счастливым Исмаил*.

Великий реформатор глубоко осознал реальность опасности, которым подвергается весь — материальный и духовный — мир его соотечественников. И поставил перед собой огромной сложности задачу его защиты и развития. Ныне ту же задачу пытается решить Милли Меджлис, о котором тогда и говорить-то было рано. Оттого в переломное это время в Крыму и был востребован, и появился воистину *Человек-меджлис* — Исмаил-бей Гаспринский.

<sup>1</sup> Джафер Сейдамет (Сейдаметов) родился 1 сентября 1889 в дер. Кизилташ Алуштинского уезда. Среднее и высшее юридическое образование получил в Турции, где вступил в революционное движение, проявив себя как литератор и блестящий оратор. Прослушал курс наук в парижской Сорбонне (1911–1914). Организовал в Крыму тайное революционное общество (1914). Участник Первой мировой войны. Заведующий Вакуфной комиссией Муисполкома (1917). В Крымской республике, возглавленной Челеби Джиханом, занимал посты военного министра (директора) и директора иностранных дел (1917). Министр иностранных дел в правительстве С. Сулькевича. После вступления в Крым большевиков эмигрировал в Турцию где совместно с М. Улькюсалом издавал общественно-политический журнал «Эмель» — единственный в то время свободный печатный орган крымского народа. В 1921–1923 гг. организовал помощь голодающим Крыму из Турции. В межвоенный период был одним из инициаторов международной кампании за возвращение крымскотатарских диаспор на историческую родину. После Второй мировой войны вёл научную и публицистическую деятельность, разоблачая преступления большевиков в Крыму. Создал зарубежную школу исторического крымоведения. Оставил обширное научное и мемуарное наследие. Умер 3 апреля 1960 г. в Стамбуле.

## Х. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 1917 г. В КРЫМУ

Революция — варварская форма прогресса.

Жан Жорес

### 1. Крымские татары в Первой мировой войне

#### а) Россия и Крым в преддверии войны

В годы, предшествовавшие войне, позиции будущих её участников ни для кого не были секретом. Поскольку в результате Балканских войн 1912–1913 гг. амбиции России остались совершенно неудовлетворёнными, она готовилась к новым насильственным переделам политической карты Европы, в основном, за счёт Турции (Стамбул, Проливы). Накануне войны появляются труды, где славянский мир во главе с Россией «естественно» охватывал большую часть Восточной Европы, западную Турцию и западное побережье Сирии, в ту пору также входившей в состав турецкой империи (*Ламанский*, 1913, С. 48).

В Стамбуле понимали, что позиция нейтралитета становится в этой ситуации губительной, нужно было присоединиться к одному из противостоявших военных союзов — к Тройственному (Германия, Австрия, Италия) или к Антанте (Россия, Франция, Англия). Последняя отпадала, поскольку англичане и французы в грядущем русско-турецком конфликте, конечно же, поддержали бы своего могучего союзника, а не слабеющую нейтральную Турцию. Поэтому оставался один выход, к которому Стамбул буквально подталкивался царскими политиками, — именно поэтому Турция и связала свою судьбу с Германией (*Дэвис*, 2005, С. 646, 668).

Наиболее образованные крымские татары, особенно те из них, что учились или временно работали за границей, не могли не иметь информации об этом простом раскладе сил, ею владела вся Европа. Возвращаясь на родину, в отпуск или на каникулы, эти молодые люди, естественно, делились своей озабоченностью с родственниками и знакомыми. Поэтому народ, в целом, был лучше осведомлён о действительной ситуации, чем основная масса русских, черпавших сведения исключительно из официальной прессы. Нужно сказать, что реакция крымцев на надвигающуюся очередную имперскую войну объяснялась опытом былых русско-турецких войн, не приносивших татарам ничего, кроме страданий: старики шептали *Казак тоймак бильмез* (*крымскотат.*: Русский

ненасытен). Значит, Россия теперь ещё и Турцию проглотить хочет... Да поможет нам Танры!» (Сейдамет, 2009. № 25. С. 14). То есть это были бессильные сетования, обычные для людей, для которых великое испытание становилось близкой реальностью. И, конечно, никаких планов на помощь заморским единоверцам татары не строили, да это было и невозможно.

Тем не менее накануне Первой мировой войны атмосфера вокруг крымских татар, как и мусульман России в целом, снова начала сгущаться. И чем более близкой становилась кровавая мировая катастрофа, тем оглушительнее раздавались антиисламские выступления в прессе. Причём теперь в этом хоре впервые громче всех зазвучали голоса военных. Генерал российской армии Фольбаум считал, что в тылу татар оставлять нельзя, что в армию необходимо мобилизовать максимальное число крымских, казанских, оренбургских и прочих татар, а также туркестанских мусульман с тем, чтобы они не могли более жить обособленно от остальных подданных, иначе в их среде восторжествует идеал политического единомыслия с иноземными единоверцами. Генерал считал, что колониальная интеграция мусульман может стать реальностью при использовании такого эффективного инструмента, как армия. Именно многонациональная армия, по его мысли, была способна стать носителем просветительских ценностей и гражданских добродетелей (Brower, 2003. P. 155).

Выше говорилось об ужесточении антитатарских репрессий в 1914 г., с началом первой мировой войны. Вряд ли было каким-то секретом стремление России в очередной раз накинуть удавку на шею не только туркам, но и другим ближневосточным мусульманам: «...мировая война в ещё большей мере выявила её империалистические аппетиты... на Ближнем Востоке. Тотальное напряжение сил должно было, по мысли царских государственников, увенчаться кардинальным решением задач империи на этом направлении» (Россия, 2000. С. 1999). Но главное место в этих планах, конечно, занимала Турция. Очередная агрессия против центра всемирного мусульманства не могла остаться незамеченной даже в самых глухих крымскотатарских сёлах, не говоря уже о мыслящей интеллигенции — об этом упоминалось выше, как и об отрицательном отношении крымцев к будущей войне.

Но чем ближе подходило её начало, тем истеричней становились голоса журналистов и представителей власти, предрекавших массовую измену крымских татар, неотвратимость их перехода на сторону Турции<sup>1</sup>.

Так, уполномоченный крымских дворян Чернов писал генеральному прокурору Баклемишеву о «готовности татар к измене российскому престолу». Собственно, он повторял старые предложения Н.С. Мордвинова, мечтавшего

<sup>1</sup> Такая мифическая угроза могла, действительно, представляться нешуточной хотя бы оттого, что крымские татары составляли значительный процент в общей численности населения полуострова. По подсчётам наиболее объективных и точных статистиков (военных) в 1914–1917 гг. в Крыму проживало 450 000 татар, что равнялось 42 % от общего числа жителей полуострова. Больше всего коренного народа проживало в Ялтинском уезде (150 000 чел.), за ним следовал Симферопольский уезд (100 000), Феодосийский (80 000), Евпаторийский (60 000), Перекопский (60 000) и т. д. (РГВИА. Ф. 461-к. Оп. 2. Д. 130. Л. 1). В то же время по официальной переписи 1917 г. татар в Крыму числилось всего 200 000 человек, то есть, сумма была занижена гражданской статистикой более, чем в два раза.

о полном «очищении» полуострова от коренных жителей: «Не должно магометан водворять на военно-сторожевых стезях гор» (цит. по: Лапицкая, 1937. С. 49). Или вот такое типичное жандармское донесение на учителя симферопольского мектебе-руштие, который «кроме чтения своего предмета тайно посвящал учеников старших классов в историю Турции и бывшего Крымского ханства». Это, конечно, опасное преступление — знать историю своей родины и её ближайшего соседа. Доносчик и меру пресечения сам избрал: ни более, ни менее, как изолировать преступника от общества, словно бешеного пса, то есть содержать его впрямь «под стражей в симферопольской тюрьме» (Бочагов, 1930. С. 24).

Естественно, это откровенно шовинистическое, целиком враждебное отношение к коренному народу не мешало имперским властям эксплуатировать местное население, причём с уникально высокой нормой прибыли. В последние годы перед 1917-м из Таврической губернии вывозилось в среднем 80–90 млн пудов только хлеба, в то время как для потребностей населения собственно Крыма оставалось в несколько раз меньше. Например, в 1917 г. урожай зерновых достиг почти 163 млн пудов, из которых вывезенный по железной дороге и на морских судах «избыток» составил 130 млн пудов (Королёв, 1993 «а». С. 5). — такой относительной массы товарного хлеба не изымалось ни из одной губернии тогдашней России!

Конечно, ждать какой-то ответной благодарности (или хотя бы признательности) от администрации или широкой российской публики было бы для крымцев наивно. С другой стороны, всё же труднообъяснимо то невнимание, с которым относились к народу Крыма не только чиновники, но и учёные — экономисты, историки, прочие интеллигенты, за весьма немногими исключениями (о них упоминалось выше). В периодических изданиях и более солидных «записках» и «докладах», заказанных имперскими департаментами, крымские татары, как и раньше, подвергались всё более оголтелой клевете, очернению предавались даже бесспорно положительные этнические их черты и качества.

## б) Война

К Первой мировой войне обе воюющие стороны готовились как к краткосрочному вооружённому конфликту, ведь все последние большие войны (пруско-австрийская 1866 г. и германо-французская 1870–1871 гг.), по сути, длились недолго (первая — несколько недель, вторая — полгода по продолжительности «чистых» военных действий). Неожиданно для всех война, начавшись в 1914 г., превратилась в затяжную. Это означало, что речь теперь шла об истощении экономической мощи противника, его выматывании, о способности тылов восполнять огромные утраты на фронтах, как материальные, так и человеческие.

И, самое главное, война становилась самой объективной проверкой способности воюющих сторон обеспечить взаимодействие экономической, политической и военной жизнеспособности наций, их сплочённости перед лицом врага.

Нужно сказать, что все участники великого испытания — кроме России — выдержали это испытание на прочность, хоть при этом у троих из них изменился государственный строй. Российская же политическая, да и экономическая системы



И не было ничего удивительного в том, что царский двор и правительство ещё менее надеялись на «великорусский патриотизм» тех народов империи, что даже не являлись христианскими. Поэтому после начала Первой мировой войны подозрительность к мусульманскому населению Крыма многократно возросла, хотя, как и ранее, причин для этого не имелось никаких<sup>1</sup>. Это был какой-то душный саван взаимного недоверия, слежки и доносительства, накрывший Крым ещё в 1914 г. Репрессии против немцев-колонистов сменялись повальными обысками крымскотатарских кварталов в Симферополе и Евпатории; цензура зорко следила за проповедями в мечетях Бахчисарая; дозору подвергались фелюги рыбаков Феодосии и Судака. Но особенно болезненно нововведения военной поры, жандармская слежка и добровольно-патриотические выступления и доносы частных лиц отразились на положении крымскотатарской прессы. Её воистину «прессовали». И вообще в условиях Первой мировой войны исламофобия в общественном мнении ещё более усилилась, поскольку Османская империя стала одним из военных противников России (Исхаков, 2007. С. 312).

Репрессии властей вызывали всё более смелые акции национально-демократической оппозиции. Впрочем, она выдвигала протесты не в социальной сфере — это была всего лишь форма защиты веры и обычаев, которые попали в угрожаемое положение. Оппозиция, не считавшая нужным потворствовать обострившейся шовинистической реакции, чем дальше тем чаще приходила в столкновение с последней, высекая искры острых публичных дискуссий. Впрочем, вряд ли они долетали даже до крупных крымскотатарских сёл. И уж точно всё было по-старому в отдалённых горных и степных деревнях. Так что пока, если, конечно, не принимать во внимание деятельность большевистских, черносотенных и иных подрывных организаций, жизнь текла более или менее спокойно даже в крымских городах. Но люди ждали перемен, надеясь на лучшее, надеясь на реформы, которые рано или поздно проведёт верховная власть.

Причём, схожая картина наблюдалась в начале войны и во всех иных мусульманских регионах империи. «После вступления в войну Османской империи (октябрь 1914 г.) в России не произошло никаких выступлений в пользу султана-халифа и ведущей державы исламского мира. Солдаты-мусульмане рус-

<sup>1</sup> Ещё до начала войны в Стамбуле возникли крымскотатарские землячества (напр., *Кырым Талебе Джемиети*), которые были в своей деятельности нацелены на национально-культурное просвещение крымской диаспоры в Турции, никак не посягая на государственные интересы Российской империи (Зарубин, 2001. С. 108). С 1915 г. там же работал *Комитет по защите прав мусульманско-тюрко-татарских народов России* под руководством эмигрировавшего в Турцию Юсуфа Акчурина (Ю. Акчура). Впрочем, деятельность и этой организации ни в коей мере не могла считаться направленной на военное поражение России. В то же время, в годы войны население некоторых её регионов проявило себя в этом смысле гораздо активнее. Так, в кайзеровской армии отличался своим воинским мастерством и храбростью 27-й Прусский егерский батальон, целиком состоявший из добровольцев, прибывших на балтийский фронт Германии из российского Великого княжества Финляндского (Каппелер, 1999. С. 258–259). В различных частях кайзеровской армии служили остзейские немцы из российской же Прибалтики, по большей части курсанты, которых война застала в германских военных академиях и училищах.

ской армии честно исполняли свой воинский долг», — доказывает современный историк (Ланда, 2007. С. 65).

Правда, имеется одиночное свидетельство тому, что «Татарские националисты по указке из Стамбула тайно проводили сбор средств для помощи Турции» (Надинский, 1952. Ч. I. С. 208). Однако никакой информацией об этой «тайной» деятельности автор, очевидно, не располагал, так как она им не приведена. Впрочем, такая мелочь не помешала ему нанести прямое оскорбление всему крымскотатарскому народу в целом, назвав его «пятой колонной германских (почему не турецких?! — В.В.) империалистов» (ук. соч. С. 203).

Собственно, крымский автор П. Надинский лишь подхватил эстафету российских учёных и публицистов колониального периода историографии крымских татар, что позволило ему занять достойное место в ряду сталинских фальсификаторов истории наций. Поражает лишь его нетворческий подход к социальному заказу. Он почти дословно повторяет измышления газетчиков 1916–1917 гг., обличавших, например, крымских «немцев-шпионов, захвативших землю» и т. д. (Цит. по: Бунегин, 1927. С. 25). При этом он ни словом не упоминает о том, что тысячи крымских татар с честью воевали на фронтах Первой мировой. Причём среди них были такие известные в истории Крыма лидеры национально-освободительного движения, как Джафер Сейдамет и Нуман Челеби Джихан.

Ситуацию в Крыму невозможно рассматривать в отрыве от событий военного времени, имевших место в других мусульманских областях империи. В 1916 г. вспыхнуло восстание среднеазиатских тюрков на огромной территории от Урала до Аму-Дарьи. Это был взрыв народного возмущения, вызванный многими причинами. Мусульмане, привыкшие свято исполнять обязательства, даже не подтверждённые письменно, были поражены нарушением слова, данного Ак-Падишахом, их высоко чтимым Белым Царём. Тот обещал не призывать среднеазиатских мусульман в армию, и нарушил своё обещание. Кроме призыва на воинскую службу, из местного населения формировали настоящие трудовые армии, которые должны были возводить укрепления за тысячи вёрст от родного дома, на западной прифронтовой полосе (Указ от 25 июня 1916 г.). Туда было призвано 250 000 человек из Туркменистана и 230 000 из Степного края. Причём этот призыв пришёлся (по ни с чем в мире не сравнимой российской административной тупости) на священный месяц рамадан, когда правоверные проводят время в молитвах и посте и избегают исполнения трудовых нужд, кроме самых необходимых.

Возможно, восстания и не случилось бы — как и ранее, в имевших место случаях прямого обмана царским правительством российских мусульман. Но тут зёрна народного гнева пали на почву, давно подготовленную военными событиями. Царь, взявший на себя ответственность главнокомандующего в текущей войне, обнаружил полную бездарность. Российская армия терпела огромные потери, а войне не было видно конца, и Ак-Падишах утратил авторитет среди своих мусульманских подданных (впрочем, и православных тоже).

Восстание в Средней Азии началось с отказа от набора в армию и от принудительных работ, от уплаты новых налогов и податей, с протеста против реквизиций личного имущества, производившегося также по законам военного



Российские воины-мусульмане на молитве.  
Из коллекции издательства «Тезис»

времени. А затем дело дошло до нападений на налоговых чиновников, на полицейских и внутренние войска империи. Численность восставших быстро поднялась до 50 000, но они столь же быстро были подавлены карательными отрядами. При этом по суду было казнено всего 250 человек, но десятки тысяч мусульман пали жертвами военного подавления народного движения, а почти миллион человек спас свою жизнь лишь ценой эмиграции в Китай (*Ланда*, 2004. С. 66–67).

Известие об этих кровавых преступлениях режима всколыхнуло не только весь мусульманский мир, но и, в кои-то веки, Европу с Америкой. Пресса самых различных христианских стран, не сговариваясь, клеймила действия царских карателей. Одно из исключений составляли крымские журналисты: сведения о событиях в Туркестане выдавались местному читателю гомеопатическими дозами и уж конечно, без какой-либо критической оценки резни, учинённой режимом Николая II и с его личного благословения. Впрочем, эта крымская сдержанность была едва ли не чрезмерной: наши татары, и без русских газет осведомлённые о событиях в Средней Азии, в большинстве своём никак не на них не отреагировали. Внешне, конечно. А что при этом творилось в их сердцах — источники умалчивают.

Но вернёмся к войне и к упомянутой «пятой колонне». Если и искать её, эту колонну, разваливавшую российскую армию, то уж никак не в Крыму, а в российской же столице — очаге большевизма. В самом начале войны Ленин открыто заявил, что задачей партии является подрыв боеспособности армии, имевший конечной целью военное поражение России (ПСС, Т. 26. С. 6). И это были не пустые слова. Уже в июне и июле 1914 г. Ленин с этой целью дважды посетил германское руководство, где получил огромные суммы денег, — в Берлине понима-

ли, что подрывная работа большевистских агентов в тылу и среди фронтовиков требовала средств<sup>1</sup>. После этого и начался развал фронта.

Одновременно Ленин разрабатывает программу перехода мировой войны в гражданскую, надеясь таким образом захватить власть в России. То, что этот путь ведёт к неслыханному даже для России кровопролитию, его мало волновало. Как индивидуум, то есть лично, человек весьма трусливый (об этом см. ниже), он был готов ради достижения собственной цели на самые жестокие меры, чтобы обезопасить своё движение от вероятных противников. Впрочем, прошедшие горнило войны, не только простят ему любую жестокость, но и сами станут послушным инструментом в его руках, ещё не обогрённых кровью. В этом смысле он был, увы, не одинок.

Нужно отметить, что Первая мировая вообще привела к невиданному в прежних войнах падению гуманности среди населения стран-участниц, что не могло не сказаться, в частности, на положении крымскотатарского народа. Все более ранние войны (за исключением гражданских) вели, в основной массе, воины-профессионалы, сохранявшие нечто от рыцарских достоинств и норм поведения. Как отметил современный философ и культуролог Г. Померанц, до этой войны «народы в целом не воевали. Возвращаясь к родным очагам, солдаты всасывались мирной средой, растворялись в ней... Мировая война всё это переменяла. Она загнала в окопы слишком много мужчин — добрую половину во всех цивилизованных странах. И цивилизация стала расплзаться, как старая кожа змеи, и вылезла жестокость. Жестокость вошла в искусство, даже в религию... Жестокость надула паруса идеологий классово-расовой борьбы... Война развязала вкус к жестокости и он окрасил XX век» (*Родина*, 1993. № 8/9. С. 173).

Эта жестокость обрушилась на крымских татар, как призванных в армию, так и оставшихся дома и не понимавших, почему их сыновья должны рисковать жизнью вдали от Крыма, в труднопредставимой для них Европе. Они вообще не понимали смысла этого кровопролития, как, впрочем, и русские крестьяне. И если мы отметим, что крымский татарин совершенно не хотел воевать, то здесь не будет ничего странного. О каком патриотизме мусульманских солдат могла идти речь на войне, затеянной «Белым Царём», если этого чувства не было и у русских мужиков в солдатских шинелях?

Но сейчас, когда очередной раз утвердился экстремальный режим военного времени, обрели голос крымские татары, служившие в элитных частях. Это

<sup>1</sup> Первая сумма составила 70 млн марок, но их хватило ненадолго. Уже в сентябре 1915 г., продолжив контакт с эстонским сотрудником германской разведки Александром Кескюлой, Ленин налаживает систематическую передачу ему разведанных о положении в тылу и на фронте, собранных его агентами. Взамен германские выплаты вождю большевиков (20 000 марок в месяц) становятся регулярными (*Пайнс*, 1994. Ч. 2. С. 49, 51–52). Всего, по подсчётам хорошо информированного лидера Второго Интернационала Эдуарда Бернштейна, только в 1917–1918 гг. Германия передала большевикам по различным каналам более 50 млн золотых марок, что по тогдашнему курсу соответствовало 6–10 млн долларов или 9 тоннам золота. После 1945 г., когда для исследователей был открыт архив германского МИДа, эта цифра подтвердилась (ук соч. С. 85. См. также: *Baumgart W. Deutsche Ostpolitik*, 1918. Wien, München, 1966. S. 213–214).

были люди более образованные, чем простые конники, и имевшие чёткие представления о воинской чести, солдатском долге и т. д. Речь идёт о личном составе Крымского конного Её величества Императрицы Александры Фёдоровны полка (о нём упоминалось выше). Один эскадрон этого полка стоял в Бахчисарае, готовясь к отправке на германский фронт. Тогда местный земской учитель Яхья Байбуртлы записал слова песни, сложенной эскадронцами. Приведу ее текст в русском переводе:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Запасные набраны<br>Дети заплакали<br>Разлучившись с Родиной<br>В Германию посланы                               | 6. Мы идём навстречу бою,<br>Жизнь отдать мы готовы.<br>Не плачьте, братья!<br>Отдав жизнь, мы добудем славу.                 |
| 2. Вслед за запасными<br>Ополченцы собраны.<br>Говоря: «Сын мой!» — много матерей<br>Лишилось чувств.               | 7. Нет у нас страха перед свинцом.<br>Мы — прирождённые солдаты!<br>Чтоб задушить врага,<br>Пусть потоками льётся наша кровь! |
| 3. Мы — солдаты, идущие в бой;<br>Военное дело мы знаем.<br>Не плачьте, братья!<br>Бог даст, мы здоровыми вернёмся. | 8. Эскадрон — наше имя,<br>«Боярин» — наш глава.<br>Мы из Крыма уйдём,<br>Много будьте здоровы!                               |
| 4. Животные, люди столпились,<br>Поле битвы открылось.<br>Не страшись, мой Падишах!<br>Фронт врага заперт.          | 9. Потрудимтесь, братья!<br>Честь у нас одина.<br>Если враг обнаглеет,<br>Тяжело будет наше положение.                        |
| 5. Наше оружие мы отточили,<br>Чтобы стать против Германии.<br>Молитесь, братья,<br>О пролитии крови врага.         | 10. Смело идёмте<br>Драться с Германией!<br>Если Господь мой даст здоровья,<br>Мы мир прославим!                              |

*(Песни крымских татар про вторую Отечественную войну (памяти Исмаил-мирзы Гаспринского) // Самойлович А.Н. Избранные труды о Крыме. Симферополь, 2000. С. 81–94).*

Совершенно иные настроения царили среди мирных татар-тружеников, оторванных войной от дома. В отличие от профессиональных воинов Конного полка, они не скрывали своих чувств ни от близких, ни от совершенно посторонних слушателей, изливая свои тревоги и горе расставания в грустных песнях.

Как и другие солдаты российской армии, крымские татары нередко оказывались в плену у противника. Пленные-мусульмане содержались в двух лагерях — близ чешского г. Эгера (совр. г. Хеб) и венгерского г. Эстергома. Именно в последний были свезены отвоёвавшие своё крымские татары. Здесь их до самого окончания войны навещал венгерский тюрколог Игнац Кунос, заинтересовавшийся военным фольклором тех лет. Он записал отдельные тексты, представляющие большой интерес как отражающие думы и чувства крымчан, вначале брошенных в огонь войны, а затем на годы оторванных от родины. Не столь давно эти песни были опубликованы венгерской исследовательницей Жужей Какук.

Приведём несколько выдержек из этих записей с переводом на русский.

- |   |   |
|---|---|
| Akmeçitten çiktim<br>Kyevaga keldim<br>Kyeuada turmayip<br>Vaynaga keldim               | Я покинул Акмеджит,<br>Я приехал в Киев,<br>Я [там] совсем не задержался<br>Я сразу попал на войну                |
| Arkadasim baxtim<br>Kursun yarasi<br>Uta yansin Afstriyanin<br>Karpat gorasi            | Я взглянул на моего друга —<br>Он ранен снарядом<br>Горы Австрии и Карпаты —<br>Гори они огнём.                   |
| Biz bu yerge ülersek<br>Kim yuvay bizni<br>Yagmur yavay seller akay<br>Sel yavay bizni  | Умрём мы здесь на чужбине —<br>Кто омоет наши тела?<br>Льёт дождь, дует ветер —<br>Ветер омоет нас.               |
| Biz bu yerge ülersek<br>Kim kümey bizni<br>Bahar ulsa utlar kitey<br>Ut kümey bizni     | Умрём мы здесь на чужбине —<br>Кто похоронит наши тела?<br>Придет весна, вырастет трава —<br>Трава нас похоронит. |
| Bizni pilen alganlar<br>Masinaga salganlar<br>Bizinen arkaslar<br>Cümle aglap kalganlar | И вот нас взяли в плен,<br>Посадили на поезд,<br>С нашими товарищами<br>Долго мы рыдали.                          |

*(Kakuk, 2001. S. 314–315).*

Из самого факта исследовательской работы И. Куноса, которую он длительное время вёл среди крымскотатарских пленных (об этом см также в: Seres, 2010, P. 133), можно сделать осторожный вывод: очевидно, условия их содержания в упомянутых лагерях были сносными. И уж конечно, несравнимыми с реальностью германских концлагерей Второй мировой войны, где основная масса заключённых гибли от голода и болезней, и где ни о каких песнях, конечно, и речи идти не могло. Да вряд ли и этика известного будапештского профессора позволила бы ему брать научные интервью у умирающих от голода военнопленных.

Здесь невольно напрашивается совсем иной другой вопрос: были ли эти крымские солдаты виновны в собственном пленении? Та же проблема стоит перед историками следующей, Второй мировой войны, когда миллионы советских рядовых и офицеров, сражавшихся на том же западном фронте, оказались в плену. Причин тому в обоих случаях было несколько (мы их рассмотрим позже). Главные из них: никуда не годное, а точнее, преступно непрофессиональное общее управление боевой подготовкой и военным снабжением солдат, противостоявших немцам, тяжёлые ошибки в стратегии верховных командующих России и СССР. В обеих войнах на фронт отправлялись плохо подготовленные и нередко необученные новобранцы, которым было трудно противостоять профессионально подготовленным и прекрасно вооружённым, хорошо накормленным и заботливо одетым солдатам противника, с которыми приходилось драться буквально голыми руками. Известно, что уже в конце 1914 г. половина российского



пополнения прибывала на фронт практически безоружной. Приведу зарисовку боевых будней на протяжении зимы 1914–1915 гг.:

«Бой шёл в условиях, едва ли сравнимых с чем-либо в истории современной войны. Россия, оказавшаяся в крайне стеснённом положении из-за нехватки оружия и боеприпасов, не могла экипировать массы обученных и подготовленных солдат, и вошло в обыкновение держать на задах боевых действий невооружённые войска, которыми можно было бы заполнить бреши от потерь, воспользовавшись оружием убитых. Под Праснышем люди были брошены на линию огня без винтовок, вооружённые только штык-ножом в одной руке и гранатой в другой. То есть биться, и биться отчаянно, предстояло им в самом тесном бою.... Было необходимо любой ценой пробраться к позициям неприятеля на расстояние, с которого можно было швырнуть гранату, а затем броситься врукопашную. Это была война одержимых, вызов всем современным правилам, возвращением к временам первобытных баталей (то есть схваток врукопашную. — В.В.)» (*Buchan J.A. History of the Great War. Boston, 1922. Vol. 1. P. 526–527. Цит. по: Паўнс, 1994. Ч. 1. С. 243–244.*)

Тем временем в Крыму бедствовали татарские семьи, лишённые своей самой работоспособной части, ведь нередко мобилизации подлежали как юноши, так и их нестарые ещё отцы. Ещё хуже приходилось одиноким матерям, чьей единственной опорой ранее были сыновья, теперь брошенные в пламя мировой войны и часто обречённые на гибель. К сожалению, материалов, более или менее полно отражавших будничную жизнь крымского села в эти годы, обнаружить не удалось. Единственный источник такого рода носит скорее художественный, чем документальный характер, хотя он, конечно, отразил крымскую действительность военной поры. Я имею в виду созданный в 1920-х гг. небольшой рассказ крымского автора Умера Ипчи *Zeynep tiyge* (Тётя Зейнеп), в котором повествуется о несчастной женщине, сын которой Умер вернулся в родное село искалеченным и тяжело больным, с тем, чтобы умереть в стенах своего дома. Не выдержав такого удара вскорее умирает и его одинокая мать (*Ипчи У. Икяелер. Ташкент, 1972. С. 52–56.*)

## 2. Февральская революция

Февральская революция вылилась в массовые беспорядки и ликвидацию полиции и жандармерии сначала в российской столице, а затем и в других крупных городах империи. Назвать это движение осознанной революцией можно лишь условно. Имел место не революционный подъём, а стихийный мятеж, в результате которого произошло мгновенное и почти бескровное крушение империи. Впрочем, как в любом бунте, цель имелась и здесь: восставшие вышли на улицы с насущными требованиями свободы, мира, хлеба. Именно эти лозунги поставило во главу угла своей политики и пришедшее к власти Временное правительство, однако остановить таким средством мятеж не удалось. Взбунтовавшиеся городские массы, сильно «разбавленные» вооружёнными дезертирами, продолжали громить винные и продовольственные магазины, купеческие лавки, продолжались насилия и казни без суда (о кронштадтском мятеже см. ниже).

Глубинные истоки этих кровавых событий обнаружил находившийся в их центре бывший депутат IV созыва Государственной думы В.Н. Пепеляев: «Режим пал без борьбы. Но народу нужен был враг, он его искал, ибо им овладела страсть к разрушениям. Разгромы, поджоги, аресты, убийства были не нужны, но лишь в них народ Петрограда нашёл исход для этой страсти... А революция выходила из берегов, и это началось в первые же её часы» (Один из возмутительнейших эпизодов нашей революции. Записки комиссара Временного правительства В.Н. Пепеляева // Исторический архив, 2007. № 4. С. 71–72).

В то же время ситуация в многонациональном Крыму сложилась совершенно иной, чему были свои причины.

### а) Весна 1917-го в Крыму

Для того, чтобы уточнить позицию политически наиболее активной части крымского народа во время революции, следует вернуться к ряду явлений, предшествовавших Февралю. Напомню, что ещё в 1908–1909 гг. в Стамбуле были образованы нелегальные общества учащих-крымцев, настроенные против существовавших порядков. Однако эта кипучая деятельность была направлена исключительно в русло критики Духовного управления и вакуфной администрации Крыма. В 1914 г. эти молодые люди, к тому времени вернувшиеся на родину, снова активизировались: в Симферополе стали устраиваться тайные собрания, в которых принимали участие не только бывшие «стамбульцы», но и участники событий 1905 г., в том числе будущий политический лидер нации Вели Ибраимов. Теперь наряду с упомянутыми темами были подняты новые, связанные с национальным угнетением народа царизмом. Уже на первом из этих собраний было принято решение о создании какой-то центральной организации, естественно, глубоко законспирированной.

Однако идея объединения молодых сил со старыми борцами 1905 г. оказалась трудно осуществимой. Татарские дворяне, в 1905 г. проявившие чудеса смелости, теперь отказывались участвовать в новом движении. И даже таких известных в прошлом политиков, как Сеитджелил Хаттатов (он стал к 1914 г. директором банка в Бахчисарае), Аппаз Ширинский или Али Боданинский, по ряду причин не удалось привлечь к новой организации, хотя они сохранили с её членами самые дружеские отношения. Другие «старики», как, например, братья Алим-Сеит и Мен-Сеит Джемили, переехали за тысячу вёрст от Крыма и физически не могли помочь молодёжи ничем, кроме советов во время редких встреч с земляками, приезжавшими в Петроград или Москву (Сейдамет, 2009. № 28. С. 14; № 29. С. 14).

Куда более значительный резонанс в Крыму вызвали местные происшествия или, скорее, сенсации вроде несостоявшейся дуэли Челеби Джихана с бахчисарайским городским головой Сулейманом-мирзой Крымтаевым. История её вкратце такова. После смерти мудерриса Зинджирлы-медресе в 1916 г. возник вопрос о его преемнике. С. Крымтаев дал слово А.С. Айвазову, что на это место будет назначен прогрессивный дерекоевский имам Ибраим-эфенди Тарпи, о чём Асан Сабри сообщил Челеби Джихану. Однако под давлением городского головы мудеррисом был избран озенбашский имам Мустафа-эфенди.



Бахчисарай в начале XX в.  
Фото из журнала *Qasevet*

После этого А.С. Айвазов поместил в одной из газет хвалебную статью в честь нового главы главного медресе Крыма. Узнав об этом, Челеби Джихан, находившийся за пределами Крыма, отправил автору статьи, введшему его в заблуждение, гневное письмо, а С. Крымтаева письменно же вызвал на дуэль. О конфликте поразительно скоро стало известно крымцам, разделившимся при этом на две части, каждая из которых «болела» за своего дуэлянта.

Однако С. Крымтаев вызова не принял под тем предлогом, что никаких обещаний А.С. Айвазову не давал. Этот, на первый взгляд, личный конфликт оказал большое влияние на местное революционное движение. Современник вспоминал: «Теперь наше общество раскололось на два противоположных лагеря: мурзачество<sup>1</sup>, ярких приверженцев государства вместе с их сторонниками из числа фанатичных улемов-богословов, и [с другой стороны,] революционную молодёжь...

<sup>1</sup> Выше назывались имена светлой памяти крымских мурз, поддерживавших национальное движение крымских татар, в частности, реформы И. Гаспринского. Однако в основной своей массе мурзачество за годы российской власти сильно деградировало, превратившись из авангарда нации в балласт на её ногах. Эта прослойка была предана имперскому режиму, получая от него существенные знаки благодарности (например, в виде недвижимости, в том числе и вакуфной, которую мурзаки без зазрения совести принимали). Особенно чётко их антинациональная позиция вырисовалась в начале XX в. Явление, впрочем, не только крымское: известно, что гибнущие империи всегда заражают своих подданных трупным ядом (*Булдаков, 1994. С. 20*).

Это событие убедительно доказало всей нашей интеллигенции, что несмотря на кажущуюся незначительность проблемы или опасность положения, революционеры не имеют права на нерешительность, не смеют расслабляться и сводить всё к безответственности, тем более идти на попятную» (*Сейдамет, 2009. № 33. С. 14*).

Когда до Крыма донеслась весть о перевороте в обеих российских столицах, то ни у сторонников революции, ни у её противников, кажется, не было сомнений в том, что примерно того же самого нужно ждать и дома. Стоит заметить, что в те времена большинство крымских горожан питали безоблачные и столь же безосновательные надежды на целительную, обновляющую силу революционной грозы. И это несмотря на то, что новая власть целиком продолжила внешнюю политику царизма<sup>1</sup>, да и во внутренней не слишком торопилась с экономическими, то есть самыми фундаментальными и актуальными, реформами. Противников решения всех проблем революционным путём, а именно посредством насилия и крови, оказалось слишком мало и они жили в глубинке, в том числе и в крымскотатарской деревне. Поэтому они не пользовались ни авторитетом у упомянутого большинства городов и посёлков, ни возможностью как-то высказать своё мнение, которого, кстати, у них никто и не спрашивал. Русский, по преимуществу, город счёл и на этот раз себя вправе решить судьбу Крыма, а заодно и коренного народа.

Как-то очень быстро, без особых проблем в Крыму образовалось собственное Временное правительство, которому старой администрацией была мирно передана вся полнота власти. После чего последовала присяга на верность, которую чиновники полуострова принесли новому начальству. Кстати, никто из них не видел ничего зазорного в отречении от «любимого монарха»: ведь одними из первых стали на сторону Февраля генерал-губернатор Новороссии М.И. Эбелов и командующий флотом адмирал А.В. Колчак.

Крымскотатарская деревня увидела в перемене декораций прежде всего то, в чём её убеждали, и что она желала увидеть, а именно залог окончания войны, основную тяжесть которой приходилось нести именно её сыновьям, не говоря уже об экономической стороне дела<sup>2</sup>. Но аполитичность селá тем не менее была

<sup>1</sup> Здесь имеется в виду известная традиция решать задачи, отвечавшие амбициям великодержавной России, за счёт полуколониального Юга, постоянно приносимого в жертву агрессии в ближневосточном и балканском направлениях. Глава внешнеполитического ведомства Временного правительства, лидер кадетов П.Н. Миллюков публично выступал в лучших имперских традициях, в том числе и в официальных нотах, направлявшихся правительствам стран Антанты. Не утруждая себя соблюдением элементарной логики, он утверждал: «...если мы, русские, претендуем на обладание Константинополем и Проливами, то этим ничуть не посягаем на национальные права Турции, и никто не вправе бросить упрёк в захватных тенденциях. Обладание Царьградом всегда считалось исконной задачей России» (цит. по: Проливы, 1999. С. 346). Он же заявил об установках и целях российской официальной пропаганды: «Победа — это Константинополь, а Константинополь — это победа, посему людям всё время необходимо напоминать о Константинополе» (цит. по: *Романенко, 2002. С. 118*).

<sup>2</sup> В годы Первой мировой войны в крымскотатарском селе были реквизированы все лошади и часть волов. Только за 1917 г., когда тыловые службы добирали уже последние остатки мясо-молочного скота, по Крыму было конфисковано более 200 000 голов крупного рогатого скота, овец и др. (*Надинский, 1952. Ч. II. С. 7*).

традиционно велика: если в городах Советы рабочих и солдатских депутатов были созданы уже в марте 1917 г., то волостные и уездные Советы крестьянских депутатов — лишь к концу лета. Сходным в этих органах власти города и деревни было лишь одно — большинство и здесь и там принадлежало сторонникам эсеров или меньшевиков. Что же касается не политической, а нравственной позиции крымских татар по отношению к перемене власти, то этот вопрос сложнее.

Конечно, царский режим был для крымских мусульман и тяжёлым, и чуждым. Но это вовсе не означало, что он был по необходимости враждебным для законопослушных татар. Напротив, Временное правительство ещё ни в чём предосудительном не было замечено, но мусульман естественно настораживал простой факт: оно, в противоположность царскому монархическому управлению, не было освящено Богом. То есть, в отличие от старого режима, не являлось единственно законной и истинной властью. Об этом нюансе, более всего заметном именно в Крыму, нельзя забывать при рассмотрении исторических событий на протяжении месяцев, следовавших за Февралём.

Можно утверждать даже, что крымскотатарское село оставалось верным монархическому, уже, по сути, рухнувшему режиму и конкретно — царской семье. Приведём один пример. Той же весной мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна с близкими оказалась в крымском дворце великого князя Петра Николаевича, Дюльбере, на положении фактически арестованной. Задержанным грозила опасность физической расправы (Ялтинский совет настаивал на их расстреле). Марию Фёдоровну спасли, и помощь пришла не от кого другого, как от крестьян близлежащих татарских сёл. Один из её приближённых рассказывал позже: «Когда наступила ночь, мы увидели нечто удивительное. Большие группы крымских татар, вооружённых чем попало — дубинами, косами и ружьями, встали лагерем вокруг дворца. Мы были полностью окружены... [но] как после оказалось, татары пришли защищать нас! Как только среди них прошли слухи, что императрица в опасности, они устремились к дворцу, чтобы усилить охрану. Это было неожиданное доказательство лояльности татарского населения» (Ящик, 2007. С. 77–78).

Следует отметить, с другой стороны, что в марте в Крыму не было ни одной чисто большевистской организации (созданный 12 марта симферопольский комитет РСДРП был по своему составу смешанным и далеко не большевистским). То есть основная волна арестов жандармов, полицейских, чиновников-монархистов, другие революционные акции произошли без участия большевиков. И это сказалось на умеренности перемен такого рода по сравнению с Россией. При всём желании представить Крым 1917 года как революционный вулкан, советский историк не смог назвать никаких характерных в этом смысле эксцессов, кроме самых мелких и малочисленных. Вроде того, что в июле Советы Зуйской и Петровской волостей передали первичным крестьянским комитетам всё имущество помещичьего имения Кильбурун; крестьяне Тав-Бодракской волости вынесли решение об отказе от воинской повинности, а делегаты феодосийских сёл выдвинули требование о немедленной конфискации земель крымских помещиков (Надинский, 1952. Ч. II. С. 25). И это всё.

Упомянутые действия — из числа «экстремальных». Впрочем, и они имели место лишь благодаря русскому большинству в названных волостях и сёлах (Зуя

вообще была русским посёлком). Как справедливо замечено, в эти огневые месяцы «...за малым исключением местные татары спали политическим сном» (Королёв, 1993 «а». С. 6). Да и основная масса советов в Крыму была явно настроена на бескровное, ненасильственное, эволюционное перерастание буржуазного общества в народно-демократическое, к чему были основания. Повторяем, процесс, начавшийся в феврале, протекал здесь более мирно и свободно, чем в большинстве остальных губерний империи. Лишь некоторые трения наблюдались в ходе практического осуществления преобразований (пока, вроде, действительно революционных), и, конечно, шли острые дискуссионные схватки в идейно-политической сфере. Татарские политики придерживались традиционных путей к улучшению качества жизни. Ведь мусульманство в целом было изначально «предрасположено к эволюции, а не к революции, даже „воинствующий фундаментализм“ — есть реакция на несправедливый вызов извне». Мусульмане России в эту взрывную эпоху придерживались «позиций социального непротивления, что вытекало из их этноконфессиональной психологии. Последняя была одним из своеобразных социальных противовесов революционной стихии» (Исхаков, 1997. С. 12–13, 19).

Причём и эсеры, и меньшевики Крыма, среди которых некоторую часть составляла татарская интеллигенция, были весьма мирно настроены. Понятно, что большевики, ни тогда, ни позже не имевшие в Крыму устойчивой поддержки среди местного населения, в пропагандистских целях смыкались с упомянутыми партиями<sup>1</sup>. И так же, как последние, декларировали программу немедленного выхода России из империалистической войны, даже ценой уступки оккупированной противником территории, раздела земли и т. д. Позднее такого рода политику назовут популистской. Это легко понять: сторонники планомерных радикально-репрессивных мер были в абсолютном меньшинстве. Если эсеров в августе по огромной губернии насчитывалось 27 000, а меньшевиков — 7000, то большевиков и им сочувствующих — едва 250 человек (Гавен, 1923. С. 8).

Что же касается крымских татар, то их политически активная интеллигенция, как мы видели, и до революции твёрдо стояла по отношению к войне на позиции скорейшего замирения, даже пораженчества, чем вызывала к себе повышенное внимание жандармского управления. Но большинство лидеров национального политического движения выдвинулось из их рядов уже после Февраля. Показательно, что не все они были горожанами, многие — впервые в истории народа! — пришли в политику из татарской деревни. Назовем хотя бы братьев Яшлавских (дер. Ханьшкой), Ибрагима Аджи (дер. Коккозы), Шейх-Якуба Халилова (дер. Эфендикой) и др. (Елагин, 1924. С. 41). Этим пацифистам, сторонникам компромиссного, постепенного пути развития, уже в 1917 г. противостояла в татарской среде единственно группа Решиды Медиева (А.С. Айвазов, Х. Чапчакчи, Дж. Сейдамет, С. Маметов), агитировавшая за революционный, чисто насильственный

<sup>1</sup> Высокий авторитет левых эсеров в деревне мог помочь большевикам наладить контакт с крестьянами, без которых говорить о будущем «правительстве рабочих и крестьян» было бы нелепо. Позднее именно левые эсеры «объединили усилия с большевиками и помогли им прикончить независимое крестьянское движение, которым заправляли правые эсеры» (Пайнс, 1994. Ч. 2. С. 206).



Нуман Челеби Джихан стал также Временным комиссаром Духовного правления и одновременно Таврическим муфтием. Для Крыма, его народа, это событие было поистине потрясающим. Впервые за время, прошедшее после аннексии, крымцы сами, по собственной воле избрали себе высшего духовного наставника. Крымские татары, особенно из образованных, прекрасно знали, что бывшие муфтии не только являлись ставленниками и марионетками царской администрации, но и не удовлетворяли простым требованиям верующих. Они зачастую «не только не знали основ веры, не разбирались в вопросах религии и философии, но вообще с трудом могли читать и писать» (Сейдамет, 2009. № 37. С. 14). Что и понятно, ведь их назначали из наиболее преданных режиму мурз, не отягощённых высшим или даже средним духовным образованием. Теперь этой порочной практике пришёл конец. Мусульмане Крыма были прекрасно осведомлены о качествах нового муфтия и приветствовали его избрание<sup>1</sup>. Естественно, весть об этом событии стала мощным фактором, сплотившим татарский народ вокруг революционного крыла национального движения. Народ почувствовал: лишь его избранные делают дело и добиваются успехов.

Тогда же А.С. Айвазов и М. Кипчакский были избраны членами Бюро мусульманской фракции будущего общекрымского парламента. В ходе собрания было распущено Таврическое магометанское духовное управление и Вакуфная комиссия, как узаконившие использование национальных вакуфных средств на цели, не имевшие ничего общего с интересами крымскотатарского народа (Подр. см. в: Григорьев, 1923. С. 232–233). Взамен была создана новая Вакуфная комиссия, уже являвшаяся отделом Мусисполкома (её комиссаром стал Д. Сейдамет).

Нужно признать, что эти выборы прошли не совсем гладко. Противников у предложенных кандидатур оказалось немало, а глашатаем их выступил Сулейман Крымтаев. Обладая прекрасным даром речи, он стал убедительно доказывать, что необходимы и альтернативные кандидаты на предлагаемые важные должности. Однако бахчисарайский городской голова не мог постичь, что влиянию консервативных мурз, да и его собственному после Февраля пришёл конец — теперь каждый мог свободно выражать своё мнение. На собрании он вёл себя как властный чиновник, каким он до недавнего времени и являлся. Однако С.Д. Хаттатов поставил вопрос о его дальнейшем присутствии, оскорбительном для собрания, и оно большинством голосов решило отстранить его от участия в столь важном форуме (Южные ведомости, 30.03.1917).

Мусисполком Крыма быстро получил всеобщее признание (в том числе и центрального Временного правительства) в качестве единственного, полномочного и законного административного органа, представляющего всех крым-

<sup>1</sup> Этот выбор был сделан не только по политическим, но и по профессиональным соображениям. Челеби Джихан, получивший блестящее духовное образование в Крыму и за рубежом, обладал глубокими богословскими познаниями, что было широко известно в Крыму. Будучи замечательным эрудитом в аятах Корана и хадисах, прекрасно разбираясь в шариатском праве, он был способен распутывать сложнейшие богословские вопросы, с которыми к нему нередко обращались, в то время как другие имамы и оджи Крыма давали на них сбивчивые и противоречивые ответы (Сейдамет, 2009. № 26. С. 14). Кроме того, в эти, последние, годы его жизни, недостижимо высоким стал его авторитет как глубоко порядочного человека, патриота Крыма и самоотверженного политического борца.

ских татар и обладающего правом решать отныне все проблемы дальнейшего развития коренного народа Крыма. Этому способствовала напряжённая работа, начавшаяся сразу после закрытия собрания. В Мусисполкоме был подготовлен *Устав*, предназначенный для активистов больших и малых маалле города и деревни. В них следовало образовать местные административные ячейки, подчиняющиеся Мусисполкому. Для помощи на местах из центра на периферию были направлены комиссии, состоявшие из двух-трёх человек, соответствующе подготовленные. Опираясь на единомышленников, известных со времён нелегальной деятельности, а то и привлекая новых, эти комиссии выполнили свою задачу.

В поразительно краткий срок, уже в апреле 1917 г. Мусисполком наладил надёжную связь с городами, где были созданы исполнительные комитеты. А городские комитеты проводили самостоятельные собрания в уездах (где также избирались комитеты), не нуждаясь в постоянной поддержке Исполкома. Свои комитеты были созданы и в сёлах. Подготовительная эта работа была организована чётко, что выглядит почти неправдоподобно, когда речь идёт о людях, никогда ранее не занимавшихся организационными проблемами. В результате Мусисполком мог идти навстречу любым выборам, не только местным, но и общекрымским (а они ещё предстояли), гарантированно располагая 90 % голосов крымских татар, готовых отдать голоса за программу своего Центра (Сейдамет, 2009. № 37. С. 14).

Едва закончился учредительный съезд, как русские газеты запестрели паническими статьями, в которых утверждалось, что целью Мусисполкома является откол Крыма от России и возрождение ханства. Между тем в своей политике Мусульманский комитет весной 1917 г. отмежевался от сепаратистской программы отдельных крымскотатарских политиков, настаивавших на полной «автономизации» (по сути, отделении) Крыма, и даже выпустил специальное воззвание, где объявил своей целью построение «демократического республиканского строя на национально-федеративных началах» (Южные ведомости, 25.04.1917).

Позже было проведено ещё несколько съездов, на которых выработывались более определённые позиции Исполкома, в том числе и по проблеме автономии. Были приняты решения о необходимости национально-культурной автономии, без чего было бы невозможным возрождение духовного наследия народа и свободное развитие его самосознания, экономической и религиозной жизни.

Одним из таких самостоятельно принятых решений была программа передачи помещичьих земель трудящимся крестьянам, наряду с вакуфными имуществами и капиталом. Тогда же были признаны принципы свободы вероисповедания, союзов, слова, печати, принцип неприкосновенности личности, её имущества и жилища. Эти и иные решения съездов наиболее полно были отражены в итоговом документе — «Политической программе татарской демократии», принятой Мусисполкомом 22 июля 1917 г. Здесь в качестве основной цели национального движения декларировалось создание «Федеративной Демократической Республики... в единении с другими народами, населяющими Крым, передача всей земли трудовому народу» (Цит. по: Хаяли, 2009. С. 123). Последняя задача была намечена давно, на данной формулировке настаивали такие лидеры Мусисполкома, как А. Озенбашлы, М.М. Кипчакский, Х.С. Чапчакчи. Они по своей политической ориентации давно находились ближе всего к эсерам, в чью

программу, как известно, входили крестьянские требования социализации земли, создание демократической республики, осуществление основных человеческих прав и свобод.

Собственно, решение о сотрудничестве с какой-либо крупной политической партией России было признано необходимым ещё в самом начале деятельности Мусисполкома. Более всего подходила в этом смысле партия социал-революционеров: в их политической программе будущая Россия представлялась федеративным государством с предоставлением народам бывшей империи широких прав автономии и всех основных свобод. Полностью соответствовала целям Мусисполкома и аграрная программа эсеров, недаром большинство членов этой партии составляли крестьяне. Поэтому союз с эсерами мог значительно поддержать политику крымскотатарского центрального комитета. Это было особенно необходимо в связи с тем, что правые партии не оставляли нападок на крымское национальное движение, в чём находили поддержку у части татар — крупных землевладельцев, дворянства и консервативного духовенства. Эти силы объединялись, и уже в апреле 1917 г. ими было проведено два организационных собрания (в Дерекое и Симферополе).

Таким образом, намечался раскол нации на два противоборствующих лагеря. Этого нельзя было допустить как по причине грозившего ослабления национального движения, так и ввиду намеченного на начало мая в Москве Конгресса мусульман России, где крымских татар могла представлять лишь одна организация, и ею могла стать оппозиция Мусисполкому. Заблаговременно узнав о запланированном собрании в Дерекое, туда прибыли Джафер Сейдамет, Амет Озенбашлы и Сейт Желил Хаттатов. Им удалось привлечь на свою сторону крестьянскую часть аудитории, детально изложив аграрную и политическую программу Мусисполкома, причём известную поддержку ораторам оказали присутствовавшие там ялтинский кооператор и банкир Мемет Бекиров и местный имам Ибраим Тарпи. В результате крестьяне выразили готовность всецело поддерживать Мусисполком.

В Симферополе ситуация была сложнее, поскольку местной оппозиции (мурзакам и религиозным фанатикам, которых возмущал пункт о предоставлении женщине равноправия, внесённый в программу Мусисполкомом) удалось привлечь на свою сторону солдат-мусульман (эскадронцев). На собрании уже было принято решение созвать новый исполнительный комитет, в котором не будет места «безбожникам» и сторонникам сотрудничества с российскими партиями. Однако и здесь прибывшему на собрание Д. Сейдамету удалось переломить его ход и добиться положительного для Мусисполкома результата. Весьма важным было и то, что удалось вырвать из-под влияния оппозиции солдат-эскадронцев, в будущем ставших вооружённой опорой Мусисполкома (Сейдамет, 2009. № 39. С. 14).

Между тем в конце апреля 1917 г. началась подготовка к участию в московском Конгрессе мусульман России, четвёртом по счёту<sup>1</sup>. Собравшиеся в здании Мусисполкома на Кантарной улице представители местных исполнительных комитетов и других татарских организаций разработали список вопросов, с которы-

<sup>1</sup> Напомним, что первый из них проходил в августе 1905 г. близ Нижнего Новгорода, второй — в январе 1906 в Петербурге, третий — в августе того же года в Нижнем Новгороде.



Последний снимок эскадронцев в старой (с погнонами) форме

ми крымская делегация должна была выступить в Москве. Их круг был невелик: передел земли между крестьянами, сотрудничество мусульман России, равноправие женщин в политической и экономической сферах, территориальная автономия Крыма в составе федеративной России и некоторые другие. На собрании был утверждён список крымской делегации из 25 человек. От Мусисполкома в неё вошли А.С. Айвазов, И. Леманов, А. Озенбашлы, С.Д. Хаттатов, М. Кипчакский и Д. Сейдамет. Последний был назначен руководителем делегации.

Несмотря на то, что на Конгрессе присутствовал представитель центрального Временного правительства (проф. Котляревский), здесь в одном из первых выступлений (доктор Джеват-бей, Азербайджан) прозвучала резкая критика правительственной экспансионистской политики на Чёрном море, имеющей целью захват Стамбула и Проливов. Конкретно же выступление было направлено против министра иностранных дел П.Н. Милюкова, известного своими агрессивными заявлениями. По этому вопросу Конгрессом был принят протест, опубликованный во многих столичных газетах, что не могло не сыграть роли в последовавшей за этим отставке Милюкова 2 (15) мая 1917 г. Как пишет участник Конгресса, «эти события оказали большое влияние на моральное состояние российских мусульман. Сам факт, что мусульманский Конгресс смог сместить с поста Милюкова, укрепил веру мусульман в собственные силы» (Сейдамет, 2009. № 40. С. 14).

По вопросу государственного устройства бывшей империи мнения участников Конгресса раскололись. «Центристы» настаивали на создании единого мусульманского государственного тела, что, по их мнению, должно было содействовать выработке сильной единой политики по большинству назревших проблем. «Федералисты» же, предвидя скорый и неизбежный распад России, стояли за территориальную автономию национальных окраин, что единственно могло гарантировать

большим и малым этническим группам свободу от имперских притязаний и независимость. Большинство голосов Конгресс принял предложения федералистов. Что же касается аграрной программы, то было решено и далее придерживаться эсеровской позиции по разделу земли. То есть, по сути, Мусисполком и в этом вопросе занял оптимальную позицию ещё в апреле. Как и в вопросе о женском равноправии (Конгрессе принял аналогичное постановление).

С комитетом солидаризовалась сплотившаяся летом 1917 г. объединённая социалистическая «Татарская партия», программу которой можно было определить как национально-демократическую. Собственно, и ядро её составили лидеры Мусисполкома. Таким образом, лидерами нации была избрана умеренная позиция, нечто среднее между полным сепаратизмом радикалов и идеей культурной автономии И. Гаспринского, а именно позиция национально-политического самоопределения на началах федерализма по отношению к бывшей империи<sup>1</sup>.

В дальнейшем ВКМИК вёл политику, воодушевлённую религиозными принципами и, в немалой мере, революционной идеологией. При этом его члены были достаточно гибки, чтобы находить компромиссные решения, не противоречащие задачам ислама и революции, внешне исключавшим друг друга. При снятии весной-летом на верность революционному правительству, члены Мусисполкома организовывали крымскотатарские манифестации в его поддержку его, а в мечетях — моления за победу революции!

«Чисто революционные» партии относились к подобным неординарным акциям с иронией. Впрочем, — после проповедей и публичных речей имама И. Тарпи, необычайно популярных в народе и немало сделавших для уяснения широкими крымскотатарскими массами особенностей политического момента и сути происходивших перемен, она быстро испарилась (Елагин, 1924. С. 43).

Член постоянного Мусисполкома Джафер Сейдамет также был человеком многосторонне одарённым. Обладая незаурядными способностями крупного лидера, он был известен и как серьёзный исследователь. Уже в 1910 г. он издал за рубежом одну из первых научных публикаций Новейшего времени, посвящённых крымским татарам (*Узнётый татарский народ*). Социалистом Дж. Сейдамет стал во Франции, где учился в Сорбонне<sup>2</sup>, одновременно посещая курсы

<sup>1</sup> Второй Всероссийский мусульманский конгресс, собравшийся в июне того же года, выдвинул на первый план радикальное решение назревших социальных проблем. Но было уделено внимание и организационно-политическим новшествам, ряд вопросов решили передать в компетенцию будущего всероссийского мусульманского «Национального собрания». Кроме того, несколько ранее, ещё в апреле, казахи создали в Оренбурге политический союз «Алаш-Орда», в программе которого значились достижение автономии тюркоязычных областей, а также обеспечение репатриации эмигрировавших в Китай соотечественников (Каппелер, 1999. С. 266–267). Отметим, что более умеренные крымские татары пока таких радикальных вопросов не поднимали.

<sup>2</sup> Образованные крымчане, слушавшие речи Д. Сейдамета в 1917 г., могли оценить эрудицию пламенного оратора, свободно цитировавшего Монтеня и Мирабо. Он гневно критиковал революционные власти России, которые, по его мнению, обошли права национальностей, считая их несущественными. «Российская республика провозгласила свободу и права личности, но обошла молчанием права народов», — это было сказано Дж. Сейдаметом задолго до начала большевистских репрессий против крымских татар (цит. по: Исхаков, 2004. С. 318–319).

руководителя Французской социалистической партии Жана Жореса. Джафер был и хорошим практиком: получив революционную закалку на фронте (там его звали «красным подпрапорщиком»), и, вернувшись в 1917 г. в Крым, он буквально разгромил реакционное правление Вакуфной комиссии и, став во главе её, непосредственно руководил раздачей земли беднейшим крестьянам. Эта кампания не вызвала никакого протеста среди крымских мусульман, все имели представление о том, что такое малоземелье. Впрочем, мулла Исмаил Ходжи из деревни Ойрат (близ Ак-Мечети), один на весь Крым, не пожелал расстаться с вакуфными землями, бывшими в его распоряжении. Поскольку он привлек на свою сторону верующих, то для предотвращения кровопролития на место выехал Д. Сейдамет и мирно уладил конфликт — это один из примеров его работы в те горячие дни.

Третьим по значению лидером крымских татар того периода был А. Озенбашлы. Он, как и Д. Сейдамет, находился под влиянием идей Ж. Жореса. Цитируя французского социалиста, он убеждал своих соотечественников в том, что они, являясь частью народов России, должны принять участие в формировании правления страны. Прекрасно понимая источники неуверенности крымских татар в собственных силах, он говорил, что «...вопреки установившемуся мнению об инертности, бездеятельности и пассивности отношения татар к общественной и политической жизни страны, в настоящее время мы наблюдаем совершенно иную картину. Крымские татары до неузнаваемости стали чуткими к малейшим колебаниям общественно-политического барометра не только в Крыму, но и во всей стране» (цит. по: Исхаков, 2004. С. 319).

Ещё одна личность, завоевавшая народное признание в послереволюционные дни и месяцы, — Асан Сабри Айвазов (1878–1938). Закончив мектебе и Алушкинское медресе, он в 1892–1898 гг. учился в Педагогическом институте Стамбула, потом долго работал учителем в сельских школах на родине. После событий 1905 г. становится редактором медиевской по политической ориентации газеты *Vatan хадими* (Карасубазар). Активно участвуя в демократическом и национально-освободительном движении крымскотатарской интеллигенции, попал под подозрение полиции и был в 1909 г. выслан из Крыма. Какое-то время жил в Москве, используя этот период для политического самосовершенствования. Через четыре года вернулся, став ближайшим помощником И. Гаспринского (практически со-редактором) в издании *Терджимана*, затем руководил им самостоятельно.

Делегат съезда Ибрагим Тарпи родился в 1874 г. в бедной крестьянской семье, но, как и его братья, сумел получить образование в Зинджирлы-медресе. Проявив незаурядные способности и трудолюбие, И. Тарпи получил от местной *джемиет-хайриет* (мусульманский гуманитарный фонд Стамбульского университета) ему с отличием окончить теологический факультет Стамбульского университета. С 1914 г. он служил имамом новой Дерекской мечети, одновременно занимаясь активной деятельностью по распространению мусульманской культуры во всём Ялтинском уезде. К 1917 г. И. Тарпи был широко известен в кругах крымскотатарской и русской интеллигенции Южного берега Крыма и столицы, что объясняет его избрание в Мусисполком (АМ ФВ. Д. 23. Л. 2–3).

Нельзя забывать и о той роли, которую в крымскотатарской революции сыграли женщины. Ещё в середине апреля по инициативе Шефики Гаспринской

(дочь Исмаил-бея) в Бахчисарае был проведён митинг, закончившийся созданием Женского городского революционного комитета. Летом того же года женское движение охватило весь полуостров, и был избран Центральный мусульманский женский комитет Крыма, председателем которого стала член Мусисполкома Айше Исхакова, а её заместителем — Шефика Гаспринская (*Шемьи-заде*, 2010. № 14. С. 4). В дальнейшем женщины-активистки принимали самое деятельное участие в революционных и политических событиях. Так, А. Исхакова была в сентябре 1917 г. направлена в Киев на Съезд народов России, где её зажигательная речь имела колоссальный успех — зал аплодировал ей стоя (Там же).

Что же касается Ш. Гаспринской, то она, после того, как её муж (Юсуф Насипбеги, премьер-министр национального правительства Азербайджана) был расстрелян в 1920 г. большевиками, вынужденно эмигрировала в Турцию. Но и там она по мере сил содействовала национальному освобождению своего народа, возглавив созданный ею в 1930 г. в Стамбуле Союз крымскотатарских женщин. С самого начала нового подъёма национального движения, то есть с весны 1917 г., активное участие в революционных событиях принимала и Анифе Исмаил-кызы, жена Али Боданинского. Она была членом Центрального мусульманского женского комитета Крыма, избиралась в Первый Курултай, затем преследовалась денкинской контрразведкой. Впоследствии, уже при советской власти, Анифе Исмаил-кызы смело выступала против преследований, которым подвергались крымскотатарская интеллигенция и деятели культуры (*Шемьи-заде*, 2010. № 14. С. 4).

Но вернёмся к истории съезда. Здесь крайне актуальной и ранее неслышанной проблеме была посвящена речь публициста Аблякима Ильмия<sup>1</sup>. Он говорил о присущей крымскотатарскому характеру излишней мягкости, об отсутствии мужественности. Эти черты, считал А. Ильмий, — результат многовекового угнетения народа. Вначале властью Золотой Орды, потом султанами и, наконец, русскими царями. Так вот, продолжал оратор, чтобы вернуть себе мужественность, необходимо искоренить ту самую особенность крымскотатарского характера, что общеизвестна — его «опасную и вредную мягкость, доброту, податливость и уступчивость!» (Цит по: *Исхаков*, 2004. С. 319).

Показательно, что первым постановлением Мусульманского комитета стало решение о народном просвещении. В Симферополе были организованы курсы по подготовке народных учителей, которые могли бы работать в новометодной школе. Одновременно начала работу комиссия по созданию новых учебников. Поскольку большое количество духовных лиц зарекомендовало себя в качестве консерваторов (часть из них вообще не имела образования и связала себя с религией, чтобы уклониться от военной службы или ради вакуфных доходов), Му-

<sup>1</sup> Абляким Ильмий (1887–1947) из д. Эски-Эль (Бахчисарайский уезд) получив среднее образование на родине, учился в одном из университетов Стамбула. Член «Общества студенческой молодежи». Вернувшись в Крым (1914), руководил медресе Тав-Даира, выступал в «Терджимане» со статьями о реформах, в том числе в сфере образования. С 1916 г. редактор «Терджимана». Основатель газеты «Очаг Крыма» (Къырым оджагы). Член президиума Крымскотатарского национального собрания (1917). Автор ряда повестей, сыгравших заметную роль в становлении современной национальной литературы Крыма. Репрессирован (1928). Во время войны эмигрировал. Похоронен в Меджидие, Добруджа.



Абляким Ильмий. Фото.  
Из: Керим, 1997

сисполком принял решение о переэкзаменовке хатипов, имамов, кадиев и мазинов. Для восполнения открывшихся в результате отсева вакантных мест были открыты курсы для подготовки вероучителей указанных квалификаций. Тогда же, в апреле 1917 г., было принято решение о съезде крымскотатарских учителей, который состоялся в начале мая в Симферополе.

На этом съезде было принято решение реформировать учительскую семинарию, созданную по инициативе обер-прокурора синода К.П. Победоносцева для усиленной русификации Крыма. Отныне семинария должна была играть прямо противоположную роль, готовя национальные кадры для крымских школ. Казалось бы, вполне здоровое в революционной ситуации решение, однако оно было принято в штыхы русской администрацией крымского Временного правительства. Она стремилась, по сути, сохранить национальную линию, принятую одним из самых одиозных мракобесов царского времени. Таким образом, можно было сделать вывод о том, что, как и при жизни И. Гаспринского, даже самые демократично настроенные представители титульной нации становятся ретроgrадами, как только намечаются реальные шаги к восстановлению национальной культуры и человеческих прав «инородцев». Тем не менее, добившись замены старого директора семинарии, Мусисполком взял управление ею в свои руки. С таким же трудом удалось добиться учреждения при крымском Управлении просвещения мусульманского отделения, без чего нормальная работа татарских школ и семинарии была бы невозможной<sup>1</sup>.

На этом реформирование крымской просвещенческой системы не прекратилось. В августе 1917 г. будет принято решение об учреждении Педагогического училища им. И. Гаспринского. Средства на строительство здания училища собирали всем народом Крыма, с энтузиазмом поддерживавшим идею, зародившуюся некогда у самого Исмаил-бея. После того как газета «Миллет» опубликовала воззвание к крымским татарам, деньги шли в местные комитеты всех уголков Крыма. Поэтому в том же году в Бахчисарае открылось мужское педагогическое

<sup>1</sup> В этом конфликте большую положительную роль сыграл учитель Халил Тынчеров, казанский татарин по происхождению, ставший известным в Крыму благодаря своему участию в революции 1905 г. Ему удалось опереться на ряд прогрессивных русских учителей Крыма, заручившись их поддержкой перед губернским Управлением просвещения.



училище и художественная школа (о ней ниже), а в Симферополе — первое в истории Крыма женское педагогическое училище.

Итак, первым постановлением Мусульманского комитета стало решение о народном просвещении, и лишь во вторую очередь он позаботился о создании необходимой для любой власти вооруженной поддержки — *мусульманских добровольческих частей*. Постановления о создании именно национальных вооружённых сил были, как мы помним, новы. Об этом в Крыму говорилось и в XIX в. Но теперь к старым соображениям о целесообразности (религиозной и пр.) их создания добавлялось нечто совершенно новое. Поскольку милиция ещё не была создана, эти части должны были бороться с заполонившим Крым уголовным и политически-преступным элементом. В смешанных же частях могли найтись сочувствующие этим уголовникам, не относившимся к коренному народу Крыма (русские солдаты, например, могли отказаться выполнять приказы командиров-татар в операциях против преступного элемента российского происхождения).

Наконец, старая армия буквально на глазах распалась. Дезертиры спешили домой, где промедление с дележом земли было недопустимым. Крымскотатарские же части практически не были подвержены разложению из-за малой их политизированности (идеалы социализма тут не работали: для мусульман идеал уже содержался, уже был достигнут в текстах Корана и сунны, причём в детально разработанной форме). Кроме того, татары были в Крыму, дома и в любой момент могли вмешаться в развитие земельного вопроса, если бы оно пошло, как при старом режиме, против законов совести и порядка. Тем более, что соседняя Украина показала пример такого оперативного силового вмешательства в гражданские дела; там новые, революционные части были исключительно национальными. И именно поэтому земельный вопрос стал впервые за несколько веков решаться в пользу труженика полей, в пользу коренного, украинского хлебороба. Этим примером было бы преступно пренебрегать. Так говорил муфтий Нуман Челеби Джихан (*Зарубин А.*, 1999. С. 295).

С предложением создания таких же целиком национальных частей было решено обратиться к военному и морскому министру Временного правительства А.Ф. Керенскому, используя для этого его визит в Севастополь. Аудиенция руководства Мусисполкома (Челеби Джихан, Д. Сейдамет, С.Д. Хатгатов, А.С. Айвазов и А. Озенбашлы) у всесильного министра состоялась 27 мая 1917 г.: на ней ему вручили меморандум, в котором говорилось о сложившемся ненормальном положении, когда татарскими солдатами, многие из которых не знают русского языка, командуют русские офицеры. Здесь же А.Ф. Керенскому было предложено сформировать татарские части, как кавалерийские, так и пехотные, со своими же командирами. Министру нечего было возразить, и он обещал передать соответствующее распоряжение в Одесский штаб, так как основная часть крымских солдат базировалась в подчинённом ему Херсоне в составе Крымского конного полка (Сейдамет, 2009. № 41. С. 14). Однако никаких результатов это распоряжение не принесло (если оно вообще было отослано в Одессу). Но стоявшие в Севастополе крымские батальоны получили, по непосредственному распоряжению министра, национальных командиров.

Против идеи создания национального вооружённого крымскотатарского отряда выступило Временное правительство Крыма, естественно, стремившееся

сохранить монополию на власть. Тем не менее Нуман Челеби Джихан лично призвал служивших в армии бывшей империи (а теперь Временного правительства) крымскотатарских солдат, предназначенных для отправки на фронт, вернуться домой «для охраны своих деревень»<sup>1</sup>. Отдельные солдаты стали прибывать в свои сёла именно в эти дни, а к 11 июля общее число их составило около 1000 человек. Исполнявший обязанности губернского комиссара П.И. Биянки потребовал от муфтия, чтобы тот издал воззвание к этим солдатам с призывом немедленно вернуться в Симферополь. Когда же Нуман Челеби Джихан отказался исполнить такое требование, то и. о. комиссара предложил прокурору Симферопольского окружного суда привлечь муфтия к уголовной ответственности. Об этих провокационных шагах было известно фактически высшему чиновнику в крымской администрации (губернатору), представителю российского премьер-министра в Крыму, члену кадетской партии Н.Н. Богданову. Однако он не только не предупредил готовящийся арест муфтия, но и по просочившейся в Мусисполком информации являлся подлинным инициатором преступной акции. Результатом этой инициативы стал арест муфтия 23 июля по распоряжению начальника Севастопольской контрразведки подпоручика В. Севея. При этом Нуман Челеби Джихан был отправлен на автомобиле в Севастополь. Как только об аресте стало известно, Мусисполком заявил свой протест и потребовал его немедленного освобождения (ГТ. 29. 07. 1917).

П.И. Биянки тут же направил А.Ф. Керенскому, теперь уже премьер-министру (официально «министр-председатель») и главнокомандующему, телеграмму, где предупреждал, что «арест муфтия может вызвать осложнения в губернии, южные уезды которой сплошь заселены мусульманами» (цит. по: *Къандым*, 2002. С. 199). И действительно, волнения начались в тот же день, так как весть об этом событии облетела весь Крым и вызвала небывалое скопление крымцев в Симферополе. К зданию Губернского комиссариата Временного правительства подошло около 10 000 человек и мусульманский батальон, а крупная группа татар собралась у Симферопольской тюрьмы, требуя пропустить её внутрь для осмотра помещений в поисках арестованного муфтия. Люди разошлись лишь после того, как тюрьму осмотрели её делегаты, и там Н. Челеби Джихана не оказалось. Из Ялты, Евпатории, Феодосии, Дерекоя, Кизилташа, Гурзуфа и других мест на адрес губернского комиссара шёл поток телеграмм с требованием «немедленного его освобождения и предания суду виновных в нарушении принципа свободы» (ук. соч. С. 204).

Телеграммы были отправлены и в регионы проживания российских мусульман. В эти дни в Казани проходили очередной Мусульманский Конгресс и Конференция улемов, а также Конференция мусульман-военнослужащих. От имени этих трёх представительных собраний А.Ф. Керенскому была отправлена телеграмма необычно резкого содержания. Её автор Беньямин Ахметов писал: «Требуем незамедлительного освобождения необоснованно арестованных и привлечения к строгой ответственности за совершение противоправных

<sup>1</sup> Впоследствии выяснилось, что муфтий предложил военнослужащим-татарам вернуться к родным и близким лишь на время начинавшихся религиозных празднеств (Ялтинский Голос. 04. 08. 1917).

действий местных должностных лиц. Рассматриваем арест российских мусульман как противодействие революции и ждём Вашего ответа» (Цит. по: Сейдамет, 2009, № 44, С. 14). Вскоре, после телеграфных переговоров губернских властей с петербургским Временным правительством, Нуман Челеби Джихан был освобождён. Это был успех Мусисполкома и всего возмущённого народа. Встречать освобождённого муфтия вышел весь татарский Симферополь.

Любопытно, что современные авторы пророссийской ориентации в стремлении как-то объяснить непонятную для них всенародную популярность муфтия утверждают, что этот взрыв возмущения крымчан был *срежиссирован* (Зарубин А. 1999, С. 295). Кем, как, на какие деньги, и, главное, когда ставилось, репетировалось и режиссировалось выступление масс, не указывается, что понятно. Но вот неясно, как сочетать это голословное утверждение с простым фактом: сам муфтий *из тюрьмы* послал в Мусисполком телеграмму, в которой настоятельно просил приложить все усилия к прекращению волнений, попытаться «соблюдать полный порядок и спокойствие» (Цит. по: Сеитбекиров «а», 1997).

В том же июле месяце 1917 г. Мусисполком обнародовал свою политическую программу. Одним из первых пунктов целью его деятельности ставилась подготовка к созыву Учредительного собрания для образования постоянного правительства Крыма в форме федерально-демократической республики. Будущая республика должна была пользоваться национально-культурной автономией, совершенно необходимой для развития национального самосознания. О том, что при этом не выдвигаются никаких сепаратистских требований, подчёркивалось особо: «Татарский народ в единении с другими народностями, населяющими Крым, не требует для себя политической автономии, но не позволит установления в Крыму политической гегемонии какого-нибудь народа, не имеющего ни культурных, ни исторических, ни этнографических прав на таковую» (Цит. по: Революция, 1930, С. 329).

Земельный вопрос предполагалось решить путём передачи всех площадей тем, кто на них трудился и трудится, при этом требовалось изъять все земли, похищенные у народа при старой власти, в том числе вакуфные территории и другое недвижимое вакуфное имущество для возвращения его верующим. Из политических требований важнейшими были отмена всех сословных привилегий, а также формирование из находящихся в Крыму татар-военнослужащих отдельных воинских частей в последующей отправкой их в действующую армию (Революция, 1930. Там же). Следует подчеркнуть, что в период, прошедший между обнародованием Программы Мусисполкома до начала кампании по подготовке Учредительного собрания, крымскотатарские лидеры продолжали занимать весьма активную политическую позицию.

Так, сразу после своего освобождения Челеби Джихан предложил Мусисполкому принять меры по отставке Н.Н. Богданова, как чиновника, нарушающего права и свободы человека и оттого угрожающего безопасности крымских граждан. Для решения этой задачи был составлен Обвинительный акт по делу из 6-ти пунктов. В последнем из них, в частности, говорилось: «...пока Богданов остаётся в губернском комиссариате и членом Совета спасения отечества и революции, мы, не желая брать на себя ответственность за тяжёлые последствия, которые повлекли за собой его растерянность и беспомощность, заявляем о своём выходе

из организации. Мы будем бороться с анархией своими силами, сами станем на защиту революции и независимости» (Цит. по: Сейдамет, 2009, № 44, С. 14).

Обвинительный акт был зачитан на совещании в губернском центре 31 октября 1917 г. Но до этого на прибывших на совещание членов Мусисполкома обрушился град обвинений. Снова была вытащена на свет гипотеза о стремлении создать новое Крымское ханство, отделившееся от России, подтверждением чему выставлялось нежелание Мусисполкома влиться в любую из российских партий. Были и другие обвинения, истоки которых стали известны довольно скоро. Польский историк Арслан-мирза Кричинский обнаружил документы, из которых следовало, что Аппаз Ширинский постоянно слал доносы на своих соотечественников в севастьяпольский Отдел военной разведки. Однако после оглашения Обвинительного акта разнопартийные участники совещания приняли решение о выведении Н.Н. Богданова из Революционного комитета и губернского комиссариата. Губернатор был отстранён и от своей основной должности, но случилось это несколько позже, уже глубокой осенью.

Тем временем остро актуальной становилась другая проблема — крымской прессы. Русские умеренно либеральные органы «Крымские известия» и «Южные ведомости» давно уже были известны своими нападка на Мусисполком и национальное татарское движение в целом. Эта критика, по большей части клеветническая, воспринималась населением Крыма за чистую монету, отчего возрастала межэтническая напряжённость, чреватая конфликтами. Особую весомость такой политике в русской прессе придавали враждебные движению статьи Аппаза Ширинского, к тому времени окончательно переметнувшегося к противникам Мусисполкома. И если реакционное духовенство и мурзачество обвиняли исполком в тесных политических связях с русскими администраторами и политиками, то А. Ширинский вёл атаку с противоположной стороны, утверждая, что Мусисполком настроен враждебно вообще ко всему русскому, в том числе и культуре. Этой клевете нельзя было противопоставить ничего, кроме объективных материалов альтернативной прессы. Терджиман, давно руководимый А.С. Аппазовым, для этой цели не совсем подходил: он подчёркнуто избегал становиться на какую-то политическую позицию, имея совсем иную цель — не политическое разобщение, а объединение тюрков вокруг знамени общей религии и культуры.

Поэтому возникла идея о создании новых газет. В июне 1917 г. Абляким Ильмий взялся за издание независимой газеты *Къырым оджагы* («Крымский очаг»). Поскольку газета должна была выпускаться массовым тиражом, на средства Мусисполкома была приобретена крупнейшая симферопольская типография на ул. Пушкина. Первый номер вышел уже 20 июня. А через неделю в той же типографии начала печататься ещё одна газета, *Миллет* («Нация»), редактировать которую согласился А.С. Аппазов. Ещё через месяц стала выходить газета *Голое татар* (редакторы Халил Чапчакчи и Али Боданинский), предназначенная для оперативного информирования русского читателя.

Между тем до Крыма донеслись тревожные вести о том, что 30 мая матросы кронштадтской базы военно-морского флота, распропагандированные большевистскими подстрекателями, подняли мятеж против законного Временного правительства, сопровождаемый дикими казнями и издевательствами над

своими боевыми товарищами — офицерами. Затем опасность анархии надвинулась и на Крым: 20 июня произошло восстание на Черноморском флоте с теми же террористическими акциями против морских и сухопутных офицеров. 15–17 июля вспыхнул мятеж в Мелитополе (входившем тогда в Таврическую губернию), сопровождавшийся поджогами и массовыми грабежами. А 16 июля большевики подняли мятеж в Петрограде — безвластие, сопровождаемое бесчеловечными репрессиями, грабежами и насилием, расплодилось вширь. Демократические завоевания революции оказались под угрозой, как и крымскотатарское национально-освободительное движение и, в частности, его руководящий штаб — Мусисполком.

Находившихся в Севастополе и других гарнизонах крымскотатарских частей для решения проблемы безопасности было явно недостаточно. Кроме того, назначение командирами крымских татар и размещение их в отдельные казармы вызвало бурное недовольство как среди остальных солдат, так и гражданского населения Крыма, несмотря на то что русские солдатские и военно-морские силы численно многократно превосходили личный состав преобразованных эскадронов. Поэтому летом 1917 г. перед Мусисполкомом остро встала задача немедленного возвращения на родину крымскотатарских частей, дислоцированных в Херсоне и Новогоргиевске, расположенном неподалёку. Однако события, произошедшие в Крыму летом 1917 г., заставили отложить решение этой задачи до октября.

В то же время не теряло своей активности участие крымских татар в общероссийских форумах. В Киеве 8 сентября 1917 г. начинался Конгресс федералистов, вызванный отрицательным отношением всех российских партий к программам национальных окраин. Нужно было что-то противопоставить этой позиции, поэтому и был созван этот Конгресс, поэтому в Киев и была направлена крымская делегация. Сложное положение крымских татар было наглядно обрисовано Аметом Озенбашлы. Но наибольшее впечатление на делегатов конгресса произвела речь Айше Исхаковой. Прекрасно владея русским, она ярко и эмоционально охарактеризовала имперское отношение к угнетённым народам, пережитки которого заметны и при демократической власти Временного правительства (в качестве доказательства ею был приведён факт незаконного ареста Челеби Джихана). Общее одобрение вызвал основной вывод Айше, что, несмотря на революционные потрясения, русские по-прежнему находятся в плену идеологии своего национального превосходства. Именно поэтому, продолжила она, всем ранее угнетённым народам России необходимо сплотиться в единую федерацию, где всем будут предоставлены равные права.

Конгресс принял решения, впоследствии оказавшие значительное влияние на политику Мусисполкома. Здесь была признана необходимость федеративного устройства России и избрания национальных правительств на началах их независимости. По окончании Конгресса крымская делегация встретилась с председателем Центральной Рады М.С. Грушевским. Во время этой встречи профессор подтвердил установочную программу украинской делегации, заверив крымцев, что в Универсале (государственном манифесте будущей автономной Украины) будет статья о независимости Крыма по принципу «Крым — для крымцев!», на территорию которого Украина претендовать не будет (Сейдамет, 2009. № 46. С. 14).

В начале октября 1917 г. Мусисполком постановил немедленно возвратить крымских солдат на родину, и десятого числа в Одессу отправился Д. Сейдамет. Начальником Одесского штаба тогда являлся генерал Н.А. Маркс. Генерал неплохо относился к крымским татарам<sup>1</sup>, но он отказался отдать соответствующее распоряжение, не желая нарушать присяги и сославшись на законы военного времени, согласно которым всякая передислокация частей может производиться лишь по указанию верховного командования. Поэтому Д. Сейдамет выехал в Херсон. Встретившись с командованием Крымского конного полка<sup>2</sup>, которое категорически отказалось самовольно выступить в Крым, посланец Мусисполкома решил обратиться к рядовым. Председатель солдатского комитета Сейдамет Эмиралли собрал личный состав полка, перед которым Д. Сейдамет выступил с речью, в которой обрисовал положение в Крыму и разъяснил солдатам, в чём состоит их долг в создавшейся угрожаемой обстановке.

Заручившись их согласием подчиниться решению Мусисполкома, Д. Сейдамет назначил из их числа новых командиров к каждому отделению, после чего полк взял под свой контроль херсонские почту и телеграф с тем, чтобы отсечь город от любого общения с внешним миром, прежде всего с Одессой. После этого было сформировано пять эшелонов, на которые были загружены не только люди, но и кони, оружие, боеприпасы, провиант и т. д. Лишь после того, как составы были отправлены, эскадроны двинулись на восток, в крымском направлении (они придут туда лишь к концу года). Сам Д. Сейдамет отправился в Киев, куда прибыл 25 октября — в день, когда большевики Петрограда совершили вооружённый переворот.

Встретившись с министром национальной обороны независимой Украины Симоном Петлюрой, Д. Сейдамет добился от него обещания снять с румынского фронта мусульманскую дивизию и также направить её в Крым, для защиты дела революции (Сейдамет, 2010. № 2. С. 14). Тогда же Мусисполком «...в последний раз возбудил ходатайство о переводе Крымского Конного полка в Крым. Если

<sup>1</sup> Н.А. Маркс был крымчанином (из Отуз). Он интересовался историей коренного народа и издал три выпуска «Легенд Крыма» (1913, 1914, 1917 гг.; четвёртый, с иллюстрациями М. Волошина, был подготовлен в 1919 г.) с обширным комментарием. Эти книги до сих пор представляют собой не только научный интерес, но и весьма привлекательны в литературном отношении. В дальнейшем его судьба сложилась довольно странным образом — для старика-генерала, во всяком случае. Вернувшись на родину весной 1919 г., он стал работать у большевиков. Сначала в Феодосии, комиссаром по охране города, а затем РВК назначил его, правда, ненадолго комиссаром народного просвещения республики. Позже, когда установилась власть белых, генерала долго прятали крымские татары, но он был арестован контрразведкой. Н.А. Маркса готовились расстрелять, но во многом благодаря М. Волошину заменили казнь приговором к четырёхлетней каторге. После этого М. Волошин обратился лично к Деникину, и старика выпустили на свободу после чего он выехал на Тамань. Там он работал лектором в советском Наркомате просвещения, заслужив всеобщее уважение и любовь. В Крым, куда он неустанно стремился, ему вернуться не пришлось, он умер 29 марта 1921 г. в Екатеринодаре (Купченко, 1998. С. 42–58).

<sup>2</sup> Полковым командиром являлся Н.А. Княжевич, свитский генерал, который в дальнейшем стал последним в истории Таврическим губернатором (1918–1920 гг.). Поскольку в октябре 1917 г. он в Херсоне отсутствовал, Д. Сейдамет вёл переговоры с его заместителем и старшими офицерами полка.

и это ходатайство не будет удовлетворено, — предупреждал печатный орган Мусисполкома, то комитет решил собственной властью перебросить полк в Крым» (Миллет. 29.10.1917). С этой же целью 30 октября, то есть сразу после октябрьского переворота, при Мусисполкоме было создано военное управление. Затем был сформирован Первый крымскотатарский полк «Урриет» (ГТ. 20.12.1917). Вскоре боевые национальные дружины появились и в отдельных городах.

Первый крымскотатарский полк (его называли иногда батальоном) был вскоре признан в качестве законной революционной воинской части всероссийским Временным правительством, которое даже усилило его, переведя для этого в Симферополь запасную часть Крымского Конного полка. Крымскотатарский полк стал первым после аннексии ханства поистине народным войском Крыма, вставшим на защиту прав коренного народа и этим народом всегда поддерживаемым. Об этом свидетельствовало, к примеру, письмо различных мусульманских обществ и организаций Бахчисарая, направленное в те дни губернскому комиссару Н.Н. Богданову. В тексте этого послания указывалось, что «в городах, сёлах и деревнях и [на] дорогах почти ежедневно происходят открытые грабежи, насилия и убийства мирных граждан», отчего бахчисарайцы просили «выделить из этого мусульманского батальона и командировать по городам, сёлам Крыма отдельных команд для несения охранной службы» (цит. по: *Къандым*, 2002. С. 221–222)<sup>1</sup>.

Что же касается первого из упомянутых постановлений Мусисполкома, то крымскотатарская новометодная, модернизированная школа была впервые в истории полностью передана в руки крымцев. Но это ни в коем случае не означало стремления комитета ее обособить, оторвать от культуры России. В школе преподавались русский язык и литература, история империи, а летом 1917 г. татарские преподаватели были отправлены за счет комитета в Москву на курсы повышения квалификации у российских профессоров.

Кроме того, Комитет стремился к улаживанию всевозможных конфликтов, стихийно вспыхивавших между татарами и правительством в ходе аграрной реформы. Так, когда в южных волостях Крыма, на 58–96 % населённых татарами (Стат. атлас, 1922. С. 9), вспыхнули беспорядки и крестьяне стали самовольно захватывать земли (дер. Кикинеиз, Байдары), члены Мусисполкома, взяв на себя роль посредников, добились решения проблемы, приемлемого и для татар, и для администрации местных Советов (КВ. 05.07.1917).

Следующее важное решение комитета — о передаче вакуфного имущества и доходов с него крымскотатарским крестьянам, то есть потомкам собирателей и дарителей этого народного достояния. Был выдвинут лозунг «Вся земля принадлежит общинам!». Практически же площадь участка для каждого крестьянского хозяйства определялась в соответствии с реальной возможностью для данного крестьянина обработать её своими силами, без найма батраков (ГТ. 06.08.1917).

<sup>1</sup> Любопытный эпизод из истории этой крымскотатарской части: как говорилось выше, в июле 1917 г. рядовые эскадронцы после того, как им объявили о предстоящей отправке на фронт, разошлись по родным деревням. Правительство Крыма поспешило объявить их дезертирами, но было весьма пристыжено, когда через несколько дней те вернулись, приведя с собой в полк множество молодых крымских татар-добровольцев, своих земляков (*Бунегин*, 1927. С. 86).

Иная точка зрения была у правительства, считавшего, что вакуфы должны официально остаться в руках духовенства, но под полным контролем государства. Разгорелась дискуссия, тем более острая, что речь шла о всё ещё значительном имуществе, состоявшем из 88 000 десятин лучших земель и 500 домов, магазинов и лавок. Комитет развернул широкую пропагандистскую работу в деревне, обосновывая свою позицию тем, что вакуфы, будучи переданы беднякам села, не только улучшат положение крестьян, но и лишат экономической базы духовенство, сохранившее в известной мере верность свергнутому царскому режиму. Естественно, село пошло за Комитетом, как и крымскотатарская прослойка города.

Именно в этот период, когда в городах и уездах крепили местные комитеты, а Мусульманский комитет превращался в стройную организацию с чёткой национально-демократической программой, его реальная сила основывалась на безоговорочной поддержке доверявших ему масс — от центра до самых глухих деревень (это, кстати, признавалось и антитатарски настроенными историками — см.: *Бунегин*, 1927. С. 46). По сути комитет стал единственной силой, которая в новое время взяла на себя заботу об экономическом и культурном возрождении нации. Трудно назвать какую-либо иную группировку, которая в XIX–XX вв. столь четко и бескомпромиссно могла бы связать свою судьбу с борьбой по большому счёту за возврат коренному народу Крыма его исторической родины, за возрождение его культуры.

#### в) Крымские татары и большевики

Борьба внутри крымскотатарского национально-освободительного движения весной-летом 1917 г. может показаться и острой и даже непримиримой, но это если отвлечься от общекрымской обстановки. А она становилась настолько взрывоопасной и непредсказуемой, что собрания и переговоры различных татарских организаций и комитетов могут показаться каким-то тихим оазисом в крымском политическом самуме. Источником нестабильности стала не только политическая жизнь. Социалистические партии, не говоря уже о радикалах вроде большевиков, поддержали требования рабочих города, желавших получить, как известно, «сразу и всё». Имелись в виду социальные завоевания западных индустриальных рабочих, но почему-то забывалась трудовая дисциплина европейского рабочего класса, производительность труда на предприятиях, средний уровень квалификации европейских рабочих и тому подобные «мелочи».

В результате огульного повышения зарплаты, введения 8-часового рабочего дня и так далее промышленно-ремесленное производство Крыма, и без того не слишком стабильное, уверенно пошло к развалу. Ограничения, введённые на свободную продажу ряда товаров, вызвали взлёт цен на ширпотреб и продукты питания, началась спекуляция, основанная на подвозе дефицитного товара с соседней Украины. С севера хлынули десятки тысяч беженцев — и катастрофа стала неотвратимой. Уже в мае-июне 1917 г. практически по всем крымским городам прокатились «продовольственные волнения», против которых местные советы оказались бессильны. Единственным действенным органом тех недель оказались так называемые *примирительные камеры* (всего их насчитывалось около 100). Это были общественные правовые организации, которые довольно

успешно посредничали в конфликтах между рабочими и фабрично-заводской администрацией, жителями и городским советом и так далее.

Однако большевики, никак не заинтересованные в таком снижении социальной напряжённости, всячески подрывая деятельность «буржуазно-соглашательских» примирительных камер, подстрекали пролетариат к забастовкам и стачкам. Для последовательных ленинцев это был самый эффективный способ революционизирования масс, пробуждения в них классовой непримиримости, готовности к гражданской войне.

Но чем откровеннее непомерными становились требования рабочих, чем меньше создавалось материальных ценностей из-за стачек, тем ниже падало благосостояние масс, тем озлоблённей и неуступчивей становились голодные городские низы. Образовался некий порочный круг, чем были несказанно довольны его архитекторы-большевики. Примером для городских масс могла бы послужить крымскотатарская деревня, где, несмотря на разгоравшиеся социально-политические страсти шла привычная крестьянская работа, дававшая стабильный, хоть и не очень высокий достаток. Но, пролетарий уже отведал сладкого большевистского дурмана, уверовал в собственную уникальную прозорливость и развитость, — как же можно было в такой обстановке озирается на село, да ещё и крымскотатарское?

Как упоминалось раньше, с 27 июня 1917 г. центральным органом Мусисполкома стала независимая газета «Миллет», несколько позже стал выходить и «Голос татар». Это были новые крымскотатарские издания, которые не только продолжили основную, национально-культурную линию «Терджимана», но и пошли дальше его. Они звали теперь не только к культурному и национальному возрождению народа, но и к его политической консолидации. Поэтому, поддерживая новую власть, обе газеты не останавливались и перед критикой Советов, нередко игнорировавших интересы крымских татар. Так, когда с попустительства власти контрразведкой Севастополя был арестован муфтий Нуман Челеби Джихан<sup>1</sup>, комитет поставил прямой вопрос: «Имеет ли право на существование власть, идущая на удочку реакции... и не могущая дать минимум личных свобод?» (ГТ, 29.07.1917).

Подобная критика Советов отражала факт углубления некоей трещины в отношениях между татарским и российским демократическим движением, наметившейся ещё до 1917 г. На новом этапе лишь умножились пункты расхождения между их программами. Национальная проблема по-прежнему была связана с выбором средств преобразований. Здесь как в зеркале отразилось старое противоречие между реформаторами российскими и крымскотатарскими, придерживавшимися традиционных путей к улучшению качества человеческой жизни. Примером проявления таких полярно противоположных позиций стал I Крымскотатарский делегатский съезд, состоявшийся 24–25 июля 1917 г.

<sup>1</sup> Скорее, это было прямое содействие контрразведчикам, так как именно Советы перевели муфтия из симферопольской в севастопольскую тюрьму, опасаясь, что он будет освобождён народом. А когда арест вызвал массовое возмущение крымскотатарского населения, перепуганные Советы даже пошли, вопреки собственной природе, на запрет митингов и других собраний. После вынужденного освобождения Челеби Джихана, чего добивался и добился главным образом Мусульманский комитет, это немало обеспокоило Совет и укрепило авторитет Мусисполкома.

Съезд, в целом стремившийся к мирному улаживанию конфликтных проблем, пришёл к решению о сотрудничестве городских и волостных отделений Мусисполкома с демократическими и социалистическими партиями России и Украины. Это волеизъявление законных представителей крымских татар стало доказательством умеренно-социалистических политических тенденций в массе коренного народа. Созданная тогда же объединённая Социалистическая крымскотатарская партия, ядро которой составила интеллигенция (главным образом, просвещенцы), но отнюдь не низовые татарские массы, действительно включила в свою программу отдельные оптимальные пункты из программ эсдеков, эсеров и даже РСДРП.

Важнейшим пунктом этого партийного документа стал национальный вопрос. Здесь крымские татары заняли отчётливо федералистскую позицию, признав право наций на самоопределение, равенство в Крыму национальных языков (при едином государственном — русском), парламентское правление, необходимость всенародного референдума для принятия будущей конституции нового государства. По оценкам печати, к этому времени численность членов Татарской партии быстро выросла до 60 000 человек (Королёв, 1993 «а». С. 12, 14–15). Очевидно, руководство партии несколько зависило цифру членства в ней, но даже если она была вдвое меньшей, всё равно партия становилась, бесспорно, крупнейшей в Крыму, с ней приходилось считаться.

Особенно ярко сложившаяся ситуация выветрилась после июльской попытки путча под большевистскими лозунгами в Петрограде<sup>1</sup>. В Крыму это известие было встречено с тревогой и негодованием (Королёв, 1994. С. 10). По городам прошли митинги протеста, в которых наряду с менее крупными партиями участвовали социал-демократы, эсеры и татарские социалисты. В результате всеобщего протестного подъёма испуганно притихли даже самые оголтелые из большевистских «пролетарских отрядов», а именно рабочие авиазавода Анатры и железнодорожники, пославшие было одобрительную резолюцию своим столичным братьям по крови и классу. Вторым результатом крымскотатарского демарша стало укрепление общих позиций умеренно-эволюционных партий губернии. Именно в те дни и в прямой связи с упомянутыми событиями, то есть возросшей угрозой большевистского насилия, стала обретать форму высказанная ещё за месяц до того идея Нумана Челеби Джихана о дальнейшем укреплении национальных вооружённых сил (см. выше).

<sup>1</sup> Подготовивший попытку насильственного захвата власти Ленин лично в ней не участвовал. Трусливый по натуре, он скрылся в сельской местности (Разлив), поскольку именно в эти дни российской общественности стало известно о его предательской деятельности, оплачивавшейся Германией. Пресса самых различных политических ориентаций требовала публично судить большевистских агентов, чего Ленин, естественно, крайне опасался. Впрочем, он прятался за спинами своих сообщников и позднее, в дни апрельского (1917 г.) кризиса. А также в пору Октябрьского переворота. Да и впоследствии отсиживался в своём смольнинском кабинете под постоянной охраной латышских стрелков, которым было приказано не пропускать внутрь никого, кроме наркомов (Painc, 1994. Ч. 2. С. 76, 110, 203). Так что известная картина В.А. Серова «Ходоки у Ленина» не соответствует исторической действительности. Ленин безумно боялся посторонних людей, приближавшихся к нему. Ведь они могли его убить, и было за что — этого он не мог не осознавать.

И такая реакция на надвигавшуюся опасность не была несоразмерной внешней угрозе. Пройдёт всего месяц, и Я.М. Свердлов назовёт Крым оплотом эволюционистов, врагов великой Революции, считавших, что все революционные преобразования можно провести мирным путём, компромиссами. И он же, как-никак председатель Всесоюзного исполнительного комитета и секретарь ЦК РСДРП, призвёт к прямой агрессии, к военному разгрому «социал-соглашателей», заявив, что «Севастополь должен стать Кронштадтом Юга»<sup>1</sup> (Цит. по: Гавен, 1922. С. 5).

Запомним эти слова, тем более что они были сказаны до начала массового террора как в самой России, так и на полуострове. Отчего призыв Свердлова и считается, по своей сути, большевистским подстрекательством к будущему насилию эпохи Гражданской войны и массовым жертвоприношениям в ходе Красного террора. Кстати, в первую очередь на территории Крыма, ведь о нём и вёл речь один из лидеров большевистской партии.

Такая вот нацеленность на безусловную необходимость репрессий была губительна уже тем, что размывала и без того разрозненное демократическое движение России и Крыма. Крымские татары не могли принять большевистскую программу именно из-за её кровавой безысходности, хотя это вовсе не означало, что они были готовы сдать любую вооружённую силу. Ведь когда начался мятеж Д.Г. Корнилова, Мусульманский комитет решительно встал на защиту всего достигнутого в результате падения империи. Навстречу корниловцам были посланы крымские делегаты с целью отколоть от них солдат-мусульман и пополнить ими ряды вооружённой защиты Петрограда и дела революции. Одновременно Мусисполком направил телеграммы в краевые татарские комитеты в Казани, Ташкенте и Тифлисе, где выразил своё возмущение самим фактом участия мусульман в корниловском походе, а также готовность выступить против контрреволюционеров:

«Видя в дерзком посягательстве генерала Корнилова на верховную власть в государстве, [угрозу] единству, целостности и могуществу России, крымские татары в лице своих комитетов, исполнительного и военного, шлют свою готовность защищать Временное правительство и революцию до последней капли крови» (ГТ. 02.09.1917).

Но во главу угла комитет ставил всё же идеологические средства в борьбе, в том числе и против собственной мусульманской реакции, которая к концу лета 1917 г. заметно активизировалась. К тому времени из Мусисполкома были своевременно выведены традиционалисты, пытавшиеся склонить политику коми-

<sup>1</sup> Я.М. Свердлов имел в виду сильное влияние большевиков на кронштадтских моряков и солдат местного гарнизона, которое привело к мятежу 3/16 марта 1917 г., когда матросы бесцельно казнили главного командира Кронштадтского порта адмирала Р.Н. Вирена, начальника штаба адмирала Г.И. Бутакова и командира 2-й бригады линкоров адмирала А.К. Небольсина. На следующий день был казнён и командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин — это если называя лишь старших офицеров. А если учесть и гибель их подчинённых, то к 15 марта Балтийский флот в результате мятежа потерял 120 боевых офицеров. Таким образом, Я.М. Свердлов прямо призывал севастьяпольцев к расправе над морскими офицерами — что вскоре и осуществилось, причём в гораздо больших масштабах, чем в Кронштадте.

тета к введению порядков, которых Крым не знал и в Средние века, а именно, предусматривавших контроль Духовным управлением всей культурной, общественной и даже личной жизни мусульманина, введение шариатского суда и т. д. По сути, это была попытка создания исламского государства на территории, где мусульмане составляли (учитывая пришлый элемент) около четверти населения. Упомянутые политики, после того как они оказались отстранёнными от работы Вакуфной комиссии и Духовного управления, пытались создать некий противовес Мусисполкому, опираясь на созданный ими в сентябре 1917 г. под руководством имама И. Тарпи «Союз улемов».

В сентябре улемы и реакционно-настроенные муллы, крайне раздражённые новыми положениями, принятыми сторонниками революционных преобразований (в частности, эмансипацией женщины), стали готовить Всекрымский съезд улемов с целью создания нового богословского центра, который мог бы стать на защиту традиционной культуры, просвещения, семейного быта, восстановления вакуфной комиссии практически в прежнем составе и т. д. Кроме того, они собирались выяснить отношение массы верующих к сунне и шариату с целью выработать новую тактику в условиях революционной модернизации общества. Очевидно, чувствуя высокий авторитет Мусисполкома среди крымцев, они пригласили на будущий съезд и муфтия Крыма. Однако Челеби Джихан не был, как его предшественник, приверженцем этих идей. Заняв политически значимый пост, он считал нетактичным своё участие в массовых мусульманских праздниках и нередко от этого отказывался, а когда читал проповеди, то содержание их было далёким от того, что желали бы услышать консервативно настроенные муллы и улемы. Поэтому не было ничего странного, что он не только отказался от участия в съезде, но, узнав о его программе, вообще запретил его своей властью муфтия (Южный край. 14.09.1917).

Несмотря на запрет, съезд крымских мулл состоялся 24 сентября в Бахчисарае. Улицы города были украшены красными и зелёными полотнищами, собравшиеся со всех уголков Крыма улемы и муллы вели в кофейнях горячие разговоры с народом о вере, грядущем безбожии и т. д. Затем они двинулись на молитву к Ханской мечети, но по распоряжению муфтия их туда не пустили, и они должны были удовлетвориться намазом в одной полуразрушенной мечети, избранной ими для съезда. Но собрание, начавшись молитвой, на этом и закончилось после того, как молодые татары из бахчисарайского Союза молодёжи «Кенчлер-джемиети» вынесли из зала старой мечети все знамёна (затем их доставят в Вакуфную комиссию), а уполномоченные бахчисарайской джемаат попросили делегатов прекратить заседание (КВ. 27.09.1917). После столь беславного завершения съезда Челеби Джихан подверг острой критике в прессе как комплот улемов, так и их идейного вдохновителя И. Тарпи, который, согласно оценке Мусисполкома, активно и однозначно звал народ «назад, к шариату» (ГТ. 30.09.1917). Это выступление было принято татарами Крыма с большим вниманием и пониманием. Таким образом, крымские шариатисты, оказавшись среди других мусульманских организаций в меньшинстве, были вынуждены оставить свои попытки объединённого выступления на политической арене полуострова.

Позже Челеби Джихан, чувствуя необходимость в этом, неоднократно возвращался к проблеме консервативного духовенства, кое-где ещё сохранявшего

влияние на верующих. Муфтий убедительно доказывал, что по его глубокому убеждению, учёных среди мулл нет, а их союз — профанация самой идеи научных организаций, чего он не допустит. Это был точный удар по авторитету «учёных» улемов, а заодно и по надеждам традиционалистов, консерваторов из бывших мурз (и не только из числа мурз) на разделение власти с выборным светским национальным правительством. И когда делегация татарских старейшин попыталась передать муфтию свои претензии к власти, он отказался их принять (Исхаков, 2004. С. 317).

Проблема золотой середины между в самом деле застойной действительностью и безусловным, безоговорочным уходом в мир шариатских норм, реальный не в Крыму, а лишь в ином, монокультурном исламском обществе, существовала только в воображении догматиков-улемов. На самом деле выход был, как можно судить с высоты прошедших десятилетий, не в первом и не во втором, а в третьем пути, избранном Мусульманским комитетом. А именно — в пути к возрождению крымскотатарской культуры на основе классического, то есть осмысленного, а не сугубо догматического ислама. Возрождение должно было основываться на гибком применении положений шариата, не отрицающем сложившуюся реальность, а помогающем исправить её теневые стороны с помощью оживления местных традиций.

Достаточно полно эти, как и некоторые политически более узкие принципы, были отражены в программном документе крымскотатарского национально-освободительного движения, впервые озвученные крымской делегацией на II Всероссийском мусульманском съезде (Казань, 21 июля 1917). Вторично, после незначительной корректировки, эти пункты были опубликованы в Москве и Крыму. Поскольку в дальнейшей истории движения эти чёткие принципы и целевые установки сыграли важнейшую роль, имеет смысл ознакомиться с ними в несокращённом виде:

«1. В единении со всеми политическими группами татарская демократия считает своей обязанностью подготовить татарское население к тому моменту, когда соберётся хозяин земли русской — Учредительное собрание;

2. В Учредительном собрании татарский народ будет добиваться установления федеративно-демократической республики;

3. Татарский народ в единении с другими народностями, населяющими Крым, не требует для себя автономии, но не позволит установления в Крыму политической тегемонии какого-либо народа, не имеющего ни культурных, ни исторических, ни этнографических прав на таковую;

4. В Учредительном собрании татарская демократия будет требовать передачи всей земли трудовому народу;

5. Татарский народ требует возвращения всех расхищенных вакуфных земель вакуфному фонду и отдачи присвоенных старым режимом вакуфных капиталов;

6. Татарский народ требует национально-культурной автономии как необходимого фактора для свободного развития национального самосознания народа;

7. Трудовой татарский народ требует отмены сословных привилегий, существующих для некоторых татар (мурзаков), в сущности бывших до сих пор страшными паразитами на его теле и служащих причиной многих его бедствий;

8. Татарская демократия ставит себе задачу стоять на страже общегосударственных интересов, а потому она всецело поддерживает созидательную работу Временного правительства, поскольку оно не идёт вразрез с идеологией революционной демократии;

9. Татарский народ требует выделения тыловых солдат-татар в особые воинские части для несения службы на фронте в деле защиты государства от жестокого врага» (ГТ. 09. 09. 1917).

Уже в первые недели после опубликования в Крыму программа крымскотатарского движения вызвала весьма острую реакцию тех, к кому этот акт, собственно говоря, менее всего относился. А именно не крымцев, а основной части недавних переселенцев, число которых на полуострове быстро увеличивалось<sup>1</sup>. Особенно сильное раздражение вызывал шестой пункт у русской диаспоры, увидевшей в нём неявную угрозу продолжавшемуся процессу русификации Крыма. Наставная на реставрации «единой и неделимой России», шовинисты делали вид, что в программе как будто бы и нет третьего пункта. А ведь в нём вполне определённо подчёркивалось стремление коренного народа к равноправию всех, пришедших на его историческую родину, в том числе и русского населения.

Здесь явно отсутствовало простое желание понять своих политических оппонентов. Вместо этого — в который раз! — из замшелой колоды старорусской ненависти к ненашим была вытащена карта крымскотатарского «сепаратизма», якобы имевшего место потаённого желания коренного народа передать Крым Турции и так далее. Именно поэтому крымскотатарским лидерам пришлось доказывать, что только чёрное может называться чёрным, а белое — это белое: «Османские турки дороги русским татарам лишь в духовном отношении: единая вера и единое происхождение... В политическом же отношении мы чужды друг другу. То государственное и социальное устройство, которое существует у турок, для татар никоим образом неприемлемо. Младотурки — те же кадеты и ярые националисты, захватившие весь трудовой народ в свои цепкие руки. Настоящая новая Россия фактически вполне демократическая страна и крепка наша вера, что, несмотря на все потрясения... наша общая родина оправится и займёт то же почётное положение среди мировых держав, как и прежде» (цит. по: Королёв, 1993, «а». С. 19).

Из сказанного ясно, что Мусульманский комитет к тому времени уже по чистому национально-культурному признаку не мог пользоваться (и не пользовался)

<sup>1</sup> Это было не простое переселение, практически никогда не прекращавшееся, но относительно слабое. Новая миграционная волна поднялась ещё весной 1917 г. Оно началось весной, в сентябре же в Крым нахлынули беженцы из «эвакуируемых Петрограда и Одессы», причём большая часть их направилась не в более или менее сытые степные районы, а на Южный берег, в основном в Ялту, где положение с продовольствием быстро стало катастрофическим (Прибой, 13.09.1917). Вскоре голод коснулся, пока слегка, и некурортных зон. В статье «Сыны и пасынки» приводились данные, что если в Симферополе на человека положено 0,8 кг сахара и 0,6 кг подсолнечного масла в месяц, то сёла, даже пригородные, получают вдвое меньшую норму (Прибой, 22.09.1917). С 26 сентября толпы у магазинов перестали расходиться на ночь, слышались призывы к погрому еврейских квартир (Прибой, 26.09.1917), а с 4 октября уже ввели карточки на хлеб, мясо, рис и сало, через несколько дней — на сливочное и подсолнечное масло, антрацит, дрова, керосин, обувь, ситец (Прибой, 04–08.10.1917).

поддержкой ни, с одной стороны, Временного правительства, ни, с другой, — большевиков. Но если первое было вынуждено с комитетом худо-бедно мириться, как с силой, пользовавшейся безусловным авторитетом среди крымского населения, то большевики заняли непримиримую позицию. Они отвергали любые попытки крымскотатарских лидеров найти с ними общий язык. А разделиться с этими, по их формулировке, «соглашателями» большевикам мешало только отсутствие реальной власти РСДРП на местах.

Формально образовавшаяся было в 1902 г. крымская организация РСДРП в 1908—1912 гг. сошла на нет, практически перестала существовать. Возрождение состоялось после февраля 1917 г., но в первое время она была крайне слаба, малочисленна и разрознена. Со временем это положение практически не изменилось. Ещё весной 1917 г. в ней насчитывалось всего несколько десятков большевиков, из них — лишь один крымский татарин, И. Фирдевс. Кроме того, в Крыму попрежнему даже формально не существовало единого большевистского центра, было только несколько местных социал-демократических организаций смешанного состава. К тому же они «были проникнуты меньшевистским духом и непосредственно руководились меньшевиками» (Гавен, 1923, С. 7). Первая общекрымская партийная конференция была созвана 1—2 октября 1917 г. Однако, поскольку на неё прибыло всего несколько человек, было решено переименовать её в «совещание»<sup>1</sup>. Его участникам удалось провести выборы, на которых губернским организатором партии был избран латыш Ж.Н. Миллер. Впрочем, положение в крымском партийном строительстве после этого почти не изменилось. Как указывает один из его участников, «Несмотря на то, что губернский парторганизатор был выделен, влияния губернского центра долгое время совершенно не ощущалось» (Елагин, 1922, С. 45). Но вскоре организация значительно окрепла, прежде всего, за счёт коммунистов, прибывавших в Крым из российских городов, а также большевизации флота и солдатских частей. Кроме того, какое-то количество большевиков появилось среди рабочих немногочисленных промышленных предприятий Симферополя и других городов (Бунегин, 1927«а», С. 19).

Любопытно, что в отличие от других организаций и партий, открыто собиравшихся в специально отведённом для этого просторном и удобном губернаторском доме на Лазаревской, большевики сходились в помещении, находившемся вдали от центра Симферополя, в молельне секты меннонитов на Троицкой улице. В этом было нечто символическое: сама организация РСДРП(б) походила на секту, обещающую крымчанам рай земной, а на самом деле готовившую кровавое судилище. Знали об этом немногие, но интуитивно догадывались и отвергали большевистскую ересь практически все жители Крыма, происходившие из старых местных семей, невзирая на национальную принадлежность.

Лишь поздней осенью 1917 г. в Симферополе большевиками была собрана учредительная I Таврическая партийная конференция. На ней присутствовало 17 делегатов, которые решали организационные вопросы (о денежных средствах партии и т. п.), а отнюдь не проблему отношения партии к набравшему реальную силу национальному движению. Учитывая общее негативно-презрительное от-

<sup>1</sup> Это совещание проходило в Клубе строителей на Салгирной улице, напротив бывшего симферопольского базара.

ношение большевиков к политикам из коренного населения, упущение это вполне объяснимо. Как и то, что критика его последовала лишь через 5 (!) лет (Гавен, 1923, С. 15). Хотя результаты подобного проявления политической слепоты последовали весьма скоро: через считанные месяцы «татарский вопрос» разросся до таких масштабов, что к оружию потянулись руки и самых рассудительных членов РСДРП...

Напротив, национально-демократическое движение набирало силу исключительно мирным путем. Что, кстати, получало должную оценку миролюбивых сил не только в Крыму, но и за его пределами. В сентябре, когда в Киеве собирался так называемый Съезд народов (там обсуждались вопросы создания федеративной России, основанной на добровольном вхождении в неё стран-членов), получили приглашение и крымские татары. На съезд была отправлена делегация, состоявшая из членов Мусисполкома Дж. Сейдаметова, С.И. Идрисова, Э. Шабарова и А. Исаковой и возглавлявшаяся А. Озенбашлы. В своём программном докладе он, кажется, впервые выдвинул центральный тезис крымскотатарского движения: «Крым для крымцев», не вызвавший и доли того озлобления, которое этот лозунг встретил несколько позже дома, в Крыму (см. ниже). Напротив, украинские хозяева съезда, всецело приветствуя федералистскую программу крымских делегатов, заявили о полной своей поддержке будущей национально-культурной автономии, заявив буквально: «можете управлять Крымом, как вам заблагорассудится» (ГТ. 14.10.1917).

В первых числах октября 1917 г., незадолго до Октябрьского переворота, в Симферополе состоялся II Крымскотатарский делегатский съезд, то есть съезд национальных общественных организаций. В нём приняли участие 200 делегатов, в том числе 20 женщин. Выступивший перед ними глава крымского Мусисполкома муфтий Нуман Челеби Джихан отчитался в том, что многое, поставленное на повестку дня мартовским съездом, выполнено, в особенности касавшееся возвращения мусульманам вакуфного имущества. При этом он подчеркнул, что практически в каждом городе и селе Крыма уже созданы татарские общественно-политические организации, то есть ВКМИК стал реальной политической силой. И, как бы в подтверждение выводов председателя Мусисполкома, в те же дни Временное правительство признало ВКМИК теперь уже в новом качестве — высшего представительного органа крымских мусульман.

После доклада Челеби Джихана выступали известные крымскотатарские культурные и политические деятели, дававшие общую оценку изменений и преобразований, произошедших в Крыму в 1917 г. Так, известный вероучитель, знаток Корана и шариата, севастопольский имам Кудус-эфенди призвал избравшихся на съезде кандидатов в члены Учредительного собрания не забывать о славном прошлом Крыма и его народа. Другой выступавший сделал вывод о громадном положительном для крымцев значении переворота в бывшей империи, ускорившим благоприятные процессы. Он пришёл к заключению о том, что «... принятые нами (то есть крымскими татарами. — В.В.) в месяцы революции решения равняются шести векам» (цит. по: Исаков, 2004, С. 318).

Когда же начались выборы делегатов Крыма в Учредительное собрание, то один из самых авторитетных, несмотря на свою молодость, участников съезда, Вели Ибраимов, заявил, что необходимо выдвигать тех, кто приобщился к делу



революции не со вчерашнего дня, а с «давних пор», кто бы имел дореволюционный стаж национально-освободительной борьбы и мог «всеми силами отстаивать интересы рабочих и крестьян и всей нашей голытьбы» (ГТ. 11.10.1917). Этим будущий Председатель КрымЦИК и объединившаяся вокруг него группа противопоставили себя узким националистам, считавшим, что главная задача крымских делегатов высоко нести «эмблему татаризма — голубое знамя Чингиза»<sup>1</sup> (выступление Кудуса-эфенди, там же), а социальная программа — дело второстепенное. При этом В. Ибраимов, говоря о политических партиях Крыма и их позициях, одобрительно высказался в отношении эсеров, как наиболее последовательных борцов с угнетением малых народов и наших.

Группа В. Ибраимова на съезде добилась понимания своей программы большинством участников, поддержавших выдвинутые ею кандидатуры на участие в Учредительном собрании, а именно членов ВКМКА социалистов Дж. Сейдамета и студента-медика, председателя Новороссийского студенчества (образовано в 1917 г.) Амета Озенбашлы, впоследствии известного писателя и публициста. В той ситуации наиболее яркой фигурой был, конечно, Д. Сейдамет. Давно знакомый с ним, Челеби Джихан считал его носителем идей, которые вдохновляли французских социалистов. Он считал, что Д. Сейдамет был для крымских татар «светочем, который должен озарить нашу общественно-политическую жизнь лучами тех идей, которые привёз он к нам из колыбели гражданственности свободной Франции, от великого Жореса» (Цит по: *Исхаков*, 2004. С. 318).

Далее, принятая на съезде резолюция декларировала свое отношение к мусульманам всего мира в первую очередь как к «жертвам европейского империализма». Съезд высказался за первоочередное решение назревших социальных и экономических задач, а также за право всех угнетенных наций на национальное самоопределение (ГТ. 11.10.1917).

Собственно, в основных положениях эта позиция была аналогична ленинской, что, кстати, не помешало большевикам позже, когда встала проблема автономного Крыма, подвергнуть её резкой критике, а крымских сторонников реальной национально-культурной автономии — жестоким репрессиям.

## г) «Крым — для крымцев!»

Переходя к истории образования первого крымского народного правительства, необходимо сделать некоторые замечания, касающиеся геополитической ситуации в Крыму, многими исследователями этого сложного периода не учитываемой. В частности, советская и постсоветская историография упрямо представляет дело таким образом, что татарские националисты, захватив власть, пытались оторвать Крым от России и передать его в руки Турции<sup>2</sup>. При этом за-

<sup>1</sup> Тремя месяцами позднее (в декабре 1917 г.) провозглашённая крымская автономия действительно избрала цветом своего государственного знамени небесную голубизну.

<sup>2</sup> Так, даже известный лозунг «Крым — для крымцев!» (не только крымских татар, заметим), рассмотренный вне исторического контекста, оценивается как «стремление татарских националистов оторвать Крым от нашего государства» (*Надинский*, 1952. Ч. II. С. 37). «Цель их была очевидной: отделить, оторвать Крым от Советской России», в чём

бывает, что Крым какое-то время был и без того «оторван» от России, после того как Центральная рада объявила о создании Украинской народной республики. И лишь после этого Мусисполком заявил, что он, как «выразитель воли татар, не желая допустить в Крыму гегемонии какой-либо народности над другой... признает Крым для крымцев и находит, что чрезвычайные обстоятельства повелевают народам Крыма объединиться для общей дружной работы на благо всех народов, населяющих Крым.

Как и в какой форме может быть разрешена поставленная ныне перед Крымом эта задача, может разрешить только коллективное мнение и воля живущих в Крыму всех народностей (выделено мной. — В.В.)» (Крым. 11.11.1918).

Итак, Крым для крымцев!

Это была единственная платформа в той ситуации полного распада бывшей империи, что могла отвечать чаяниям населения, уже ощущавшего угрозу захвата и подчинения Крыма, оставшегося без защиты центральной власти, любой вооружённой радикальной группировкой. Эта платформа означала максимально возможную гарантию сохранения политической независимости, сохранения исконной культуры и равноправия коренного народа и диаспор других наций, населявших полуостров. Это видно из приведенного заявления, но ещё более — из декларации татарского представителя на сентябрьском (1917 г.) Съезде народов в Киеве:

«Пусть знают все, что крымские татары не позволят никому устанавливать какую-либо гегемонию на Крымском полуострове. И на этот раз уже крымские татары не покинут своего края без упорной защиты своих прав и добытой свободы... Мы, свободные сыны отныне свободного татарского народа, протягиваем вам руку с лозунгом демократической федеративной республики для счастливого дружеского сожительства в будущем» (Цит. по: *Бунегин*, 1927. С. 50, 87–88).

Забегая несколько вперёд, скажем, что время показало оправданность именно такой, а не иной, установки для национально-освободительного движения крымских татар в эпоху его противостояния большевизму. Поэтому и после ленинского октябрьского переворота, а именно 2/15 ноября 1917 г., когда Мусисполком опубликовал воззвание «О власти в Крыму», этот лозунг был ещё раз подтверждён в качестве оптимальной реакции на произошедшие к тому времени судьбоносные события. И тогда же Джафер Сейдамет в специальном заявлении подчеркнул неизменно демократичную, интернациональную и федералистскую суть этого лозунга: «Мы, татары Крыма, — федералисты, и наша заветная мечта — создание Российской федеративной республики» (ГТ. 17.11.1917).

В те недели и месяцы, когда Ленин и его сторонники демагогически декларировали свободу самоопределения для народов бывшей империи, эта позиция крымских татар не могла вызывать большевистского протеста — до поры до времени. Ведь даже приветствие провозглашённой 7 ноября 1917 г. Украинской Народной Республике (УНР), направленное из Крыма, было подписано совместно

более всего усилием прилагал Джафер Сейдаметов, «... авантюрист, эмиссар султанской (?) Турции, впоследствии гитлеровский и американский агент» (*Чирая*, 1963. С. 20, 22).

крымскотатарскими делегатами и большевиком Ж. Миллером<sup>1</sup>. Точно так же, с обоюдного согласия был сделан такой важный шаг, как передача УНР трёх таврических уездов, то есть заперекопской, материковой части бывшей губернии, где почти не было крымских татар, а большинство составляли украинцы. Так что идеологического противостояния (по вопросу политического или культурного самоопределения) между крымскими татарами и русскими большевиками почти не наблюдалось, — и это в то время, когда большевистский Таврический Губсовет 14 ноября назвал провозглашение УНР актом насилия над волей народа (Королёв, 1993 «а». С. 33).

Таким образом, сотрудничество Мусисполкома с представителями ленинской партии в Крыму становилось политической реальностью. Отношение большевиков к решениям Мусисполкома изменится в худшую сторону несколько позже, когда на полуострове начнётся делёж власти. А ещё позднее агрессивные акции против татарской национальной демократии получат полное оправдание в трудах советских историков, поголовно настроенных к Мусисполкому резко критически (1950–1980-е гг.). Возникает естественный вопрос: кому должны были члены комитета предназначать свой край — москвичам, киевлянам или тамбовцам? Тем более в то смутное, но свободное время, когда «засамеоопределялись, засамоуправлялись, заплонили своими делегатами столицы Европы Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Дон, Кубань. Газеты запестрели новыми географическими и политическими терминами...»<sup>2</sup> (Станкевич, 1921. С. 16.).

Очевидно, мнение имперского публициста В. Станкевича насчёт того, что крымское русофильство должно было бы стать на порядок выше донского или кубанского, само по себе фальшиво. Хотя бы потому, что оно сильно отдаёт фа-

<sup>1</sup> Сближение осенью 1917 г. между крымскотатарскими лидерами и большевиками началось, увы, по инициативе Мусульманского исполнительного комитета. Возможно, мусисполкомовцы резонно оценили ленинскую партию как более перспективного попутчика, чем меньшевистскую или эсеровскую (См.: Бунегин, 1927. С. 93), но, кроме того, большевики пока не давали реального повода для противостояния или принципиальной борьбы с ними.

<sup>2</sup> Эту язвительную констатацию бесспорного факта можно дополнить: «К весне 1918 г. крупнейшее государство мира распалось на бесчисленное множество требующих суверенности частей, больших и малых, не связанных между собой ни установленными законами, ни сознанием общей судьбы. Всего за несколько месяцев Россия регрессировала до уровня раннего средневековья, когда она состояла из удельных княжеств. Первыми отделились нерусские народы окраинных районов. После большевистского переворота национальные меньшинства одно за другим стали объявлять о своей независимости от России, отчасти следуя своим национальным устремлениям, отчасти торопясь оградиться от большевизма и нарождающейся гражданской войны... Первой о своей независимости объявила 6 декабря 1917 г. Финляндия; за ней последовала Литва (11 декабря), Латвия (12 января 1918 г.), Украина (22 января), Эстония (24 февраля), Закавказье (22 апреля) и Польша (3 ноября)... В результате под контролем коммунистов остались земли, населённые великороссами, — то есть территория России середины XVII века... Губернии повсеместно объявляли себя „республиками“. Так случилось в Казани, Калуге, Уфе, Оренбурге... По сведениям одного из источников, на территории бывшей Российской империи в июне 1918 г. существовало по крайней мере 30 „правительств“» (Пайнс, 1994. Ч. II. С. 185–187).

рисейством. Уж не было ли это попыткой обнаружить в Крыму тех самых «католиков», которые святее папы римского?

На самом деле в Крыму тех месяцев имел место отнюдь не сепаратизм, а, в лучшем случае, сецессионизм (выражение массовой психологической тяги к самоизоляции). То есть у крымских татар подсознательно (а, может быть, вполне осмысленно) возникло и окрепло естественное для мирного, небуйного, трудолюбивого народа стремление удалиться, отгородиться от крови и грязи очередной российской смуты.

И, наконец, главное. Судить не о форме, а о содержании любого лозунга следует, очевидно, опираясь на факты, на его реальное воплощение в жизнь. И такие факты появились в самый разгар общекрымской (и не только крымской) дискуссии 1917 г. насчёт упомянутого «Крыма для крымцев». В то самое время, как русскоязычной публикой Мусисполкому приписывались все смертные грехи (худшим из которых объявлялось стремление к диктатуре на местах и уходу от матери-России), более объективные аналитики приходили к выводам, которые и без того были очевидны всем, кто не был ослеплён всё той же шовинистической ненавистью, всем, кто хотел видеть. Один из таких объективных документов — Отчёт Ялтинской земской управы, представленный в Симферополь 18 октября 1917 г., то есть за неделю до переворота в Петербурге:

«Мусульманское засилье в уезде и особенно в городе не чувствуется (напомним, Ялта — это не Севастополь, это был ещё по преимуществу *крымскотатарский* город. — В.В.). Мусульмане не претендуют на руководящую роль в местной общественной жизни ввиду своей неподготовленности к широкой общественной работе. Например, мусульмане не настаивают на представлении им места председателя Ялтинской земской управы и других мест в земском самоуправлении. Национальное мусульманское движение не выходит из рамок естественного стремления к самоопределению в вопросах, главным образом, культурно-просветительской жизни» (цит. по: Королёв, 1993, «а». С. 24).

Добавим, что кроме откровенно политической причины рождения такого доминирующего лозунга, было ещё одно, столь же естественное, но едва ли не более важное основание. Ведь в то лето Крым захлестнула стихийная волна кровавой анархии, террора и бандитизма. Её поднимал и поднял вполне определённый элемент. При всей своей социальной, политической и культурной пестроте он имел одну общую, объединяющую всю эту массу, черту.

Он был не крымским.

Здесь имеется в виду отнюдь не его этническая принадлежность, и не такие его особенности, как вооружённость. Важнее подчеркнуть, что это была не только и не столько гражданская, но гораздо более опасная, вооружённая и озлобленная солдатско-матросская масса, осевшая (и продолжавшая оседать) в Крыму. Причём если ранее в матросские экипажи обычно стремились набирать более или менее «образованных» (хоть как-то разбиравшихся в технике) заводских рабочих, то в Черноморском флоте уже в начале Первой мировой войны личный состав на 70 % был представлен вчерашними крестьянами, выходцами из самой дикой российской деревни (Платонов, 1924. С. 21). Понятно, что эта толпа несла в себе все пороки и всю опасность архаично-агрессивной общинной ментальности, о которой столь много говорилось выше.

Осознание этой опасности было всеобщим — вплоть до Сибири, далёкой от большевистской Центральной и Южной России. Крупнейший учёный-этнограф, историк и общественный деятель начала XX в. А.В. Андрианов, хорошо знакомый с идеями Ленина (они некогда находились вместе в ссылке), предупреждал в 1917 г.: «Работа анархического большевизма носит разрушительный дезорганизующий характер и ведёт государство к гибели... нам грозит обнищание, одичание и застой... Что же иное, кроме застоя, останется на долю нашего отечества, нашего народа, когда на месте уничтоженной интеллигенции в роли „строителей жизни“ очутятся её разрушители!» (цит. по: *Дэлет М.А.* А.В. Андрианов как этнограф // Репрессированные этнографы / Сост. и отв. редактор Д.Д. Тумаркин. М., 1999. С. 51).

Морской офицер Б. Лазаренко, едва вырвавшись из ада крымской «гражданской» резни, в 1921 г., то есть по свежей памяти, записывал в Бизерте (Тунис), что ощущение грядущего великого преступления, близившейся оргии коллективного самоубийства пришло к нему ещё раньше, до 1917 г., и именно в севастопольских флотских экипажах это предчувствие было самым острым: «В конце 1916 года я почувствовал великое неблагополучие флота, начало конца, безбрежное море грядущей человеческой злобы...» (цит. по: *Платонов*, 1924. С. 28). Попытку более глубокого анализа этой ситуации предпринимает современный историк: «Взбунтовавшиеся были в большинстве своём рекрутами из крестьян [18]80-х годов рождения, и наследие трёхсотлетнего ига было у них в крови. Они оставались покорными лишь до тех пор, пока непослушание влекло за собой возмездие, но, едва почувствовал безнаказанность за самые дикие свои поступки, мгновенно выходили из повиновения» (*Паунс*, 1994. Ч. I. С. 313).

Все эти матросы и солдаты (вторые если и отличались от первых, то отнюдь не в лучшем смысле) осели в Крыму в огромном количестве. Только в Севастополе, и только матросов тогда скопилось более 40 000 (*Полтаржицкий*, 1938. С. 42), а ведь ещё были законно вернувшиеся домой демобилизованные солдаты-фронтовики и незаконно — дезертиры. Кроме того, из госпиталей Южного берега сотнями и тысячами выходили выздоравливающие раненые, без особого труда добывавшие оружие, и часто остававшиеся в Крыму. Через Керчь и Феодосию вливались вооружённые группы, возвращавшиеся с Кавказского фронта. Это были «демобилизованные и в большинстве случаев деморализованные части... Прибывавшие солдаты везли с собой на пароходах разнообразную добычу — до молодых турчанок (этих несчастных захватывали, главным образом, в Трапезунде. — *В.В.*) включительно» (*Ремпель*, 1931. С. 73).

Впрочем, среди живого товара встречались и армянские, и курдские женщины. Но если их продавали в Феодосии и Керчи по 25 руб. или за две керенки (*Вересаев*, 1989. С. 55), то куда большую цену заламывали за перевоз по ту сторону Чёрного моря уцелевших жертв геноцида. «После того, как армия (Белая. — *В.В.*) ушла, турецких армян перевозили [в Крым] на миноносцах, за что взималось по тысяче рублей с каждой армянской головы» (*Горький*, 2005. С. 112, 183).

Тонкий художник слова грузинский поэт Галактион Табидзе именно в 1918 г. показал, как в ходе разложения армии и флота люди, в общем-то нормальные (по российским меркам) и даже испытывавшие по отношению к соотечествен-

никам некое чувство общности, близости, неотвратимо и быстро превращались в безликую *братву*, объединённую совместными пороками и преступлениями:

Были записаны в книгах великих

Неслыханные слова,

Соединившие разноречивых:

*Ближние — братья — братишки — братва.*

Г. Табидзе. *На площади.*

Вначале бездельничавшим и пьянствовавшим солдатам хватало привезённого с собой добра, прихваченного на противоположном берегу Чёрного моря, в разграбленных во время войны деревнях и сёлах. Потом добыча кончилась, и вся эта пёстрая, проголодавшаяся масса стала добывать хлеб и вино незаконными, чаще всего насильственными действиями. Дошло до того, что началась торговля людьми, как в старину на рынках Восточного Крыма. Теперь женщины, выставившиеся матросами и солдатами, шли по цене от 200 до 2000 рублей, тогда уже порядком обесцененных (*Кришевский*, 1992. С. 111).

Далее, как любая группа, состоящая из лишённых привычных занятий и круга общения, ничем не занятых, предоставленных самим себе мужчин, эта многотысячная масса была склонна к психическому само- и взаимовозбуждению, естественно, не в созидательном направлении. Её агрессивность дополнительно усиливалась отсутствием лидеров (по крайней мере, имеющих конструктивные установки) или же способных ей противостоять сил правопорядка. «Падение охранительных стен между классами превратило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов» (*Арендт*, 1996. С. 419). Процесс озверения на какой-то стадии стал неуправляемым, саморазвивающимся. Великорусская, в основном, масса возвращалась к столь специфически характерному для неё сознанию архаического типа.

Массовое сознание великорусской «почвы» столетиями приверженное к разрубанию, а не развязыванию всевозможных узловых проблем, не позволяло этой толпе удовлетвориться более или менее правовыми, мирными, компромиссными результатами «господской» Февральской революции. Инерция насилия оказалась чудовишной, не было силы, которая могла бы остановить его стихию. И уже на фоне этого типично русского, дикого<sup>1</sup> (то есть не имевшего хоть какой-то разумной программы) бунта, залившего Крым кровавой грязью, чистыми островка-

<sup>1</sup> Это определение — не авторское преувеличение, не художественная метафора. Свобода в российском варианте, как говорилось выше, тут же превращалась в разнузданную волю. Ведь даже веком раньше весьма неблагоприятное состояние психологии крепостного крестьянства помешало, как утверждают, Александру I освободить крепостных рабов (а он отменил крепостничества весьма желал, этому есть доказательства в письменных источниках). «Он понимал, что рабовладельцы никогда не простят ему эмансипации, и готов был разделить участь отца и деда, но смогут ли сами *одичавшие* рабы воспользоваться свободой во благо себе и России? Александр был достаточно умен, чтобы склониться к отрицательному ответу. О его правоте свидетельствует вся *последующая* (курсив мой. — *В.В.*) история России... Век Просвещения привил сознание раба одичавшему русскому мужику, а бунт рабов беспощаден и разрушителен» (*Зубов*, 2005. № 7. С. 123).

ми возвышались немногие города, где сохранился традиционный нравственный климат, где реально осуществлялся тот самый лозунг «Крым для крымцев», мгновенно ставший предельно ненавистным для подавляющего большинства пёстрой публики, находившейся тогда на полуострове. Современник вспоминает, что эти города — Симферополь, Бахчисарай — представляли собой тогда некое «другое царство, где порядок ещё держит Крымский конный полк, блистающий георгиевскими крестами и оружием» (Кришевский, 1992. С. 106).

Сейчас трудно сказать, в какой конкретный момент окружавшая эти острова, обозлённая толпа перешла некий психологический рубеж, после которого не осталось стимулов, удерживавших её от исключительно насильственных действий. Поиск закономерностей этого процесса разложения солдатско-матросской среды не входит в задачу автора. Достаточно отметить, что они были, поскольку точно такой же процесс шёл и далеко на севере, в матросской среде Балтийского флота. Там ещё в марте 1917 г. прокатилась волна самосудов над офицерами (в большинстве своём такими же фронтовиками, как и их палачи в бескозырках и солдатских папахах), а когда офицеры кончились, началось массовое насилие над гражданским населением.

На Черноморском флоте, в Крыму, март 1917 г. прошёл более спокойно, если не считать взрыва шовинистических акций. Но направлены они пока были ещё не на коренной народ, а на флотских офицеров прибалтийского происхождения, то есть российских немцев (остзейцев). Издевательства над этими дисциплинированными (и оттого особо ненавистными для массы) служаками доходили до крайних пределов: среди прошедших войну, закалённых офицеров-фронтовиков весной 1917 г. начались самоубийства. Это были первые жертвы тупой злобы и ненависти черноморской матросни к непохожим на неё культурным, офицерам-остзейцам (Платонов, 1925. С. 31). Лишь через несколько месяцев эта толпа станет казнить боевых командиров; начало этой оргии положит отряд анархистов А.В. Мокроусова (Королёв, 1994. С. 22–23). В числе казнённых были и вчерашние фронтовики — некоторые офицеры-татары Крымского Конного полка (Полтавский, 1938. С. 42).

Такие самосудные убийства будут происходить не только на кораблях, но и в береговых частях. Впрочем, были отмечены и «судебные» расправы (они начались позже, в самом конце 1917 г.), и здесь разгул солдатни и примкнувших к ней местных городских люмпенов вскоре перестал ограничиваться офицерством. Была, правда, одна, незначительная для общего смысла происходящего, особенность: предложением для грабежей и насилия в Крыму была избрана «борьба с дезертирством». Отряды матросов и солдат под командой избранных ими главарей устраивали облавы, в ходе которых творились всевозможные бесчинства. Эти вооружённые банды врываются в дома, производили повальные обыски, грабили обывателей городов и сельских жителей, разбивали винные и иные склады, расстреливали любого, не угодившего им крымчанина.

Показательно, что первые такие экспедиции (июнь 1917 г.) отправлялись в преимущественно крымскотатарские районы — Бахчисарайский, Ялтинский, Коккозский. Ущерб при этом наносился не только частным лицам, но и (снова!) крымскотатарской культуре, национальному достоянию в целом. Походя были разгромлены или сожжены памятники истории и архитектуры, серьёзно

пострадал даже Хан-сарай. Председатель Мусульманского бюро Б. Муртазев писал о русской «революционной» армии тех месяцев: «Когда народ увидел, что солдаты, борющиеся за свободу, сами нарушают её, то начали появляться возгласы: „Что дала нам свобода, братство и равенство; со стороны грубых полицейских и жандармских чиновников при старом режиме не встречали таких обращений“. Невольно появилось сомнение, что в России существует свобода... В городе и окрестностях начались грабежи. Воры являются в военной форме, как бы посланные комитетом для обыска и, расхитив всё драгоценное, исчезают бесследно» (цит. по: Зарубин А., 1999. С. 295).

И эта волна насилия над Крымом не крымских грабителей и убийц также стала одной из главных (если, на том этапе, не главной) причиной появления всё того же, вполне обоснованного логикой событий лозунга «Крым для крымцев!».

Между тем к концу лета расстановка сил на полуострове радикально изменилась. Личный состав Черноморского флота образовал 30 августа 1917 г. собственное многопартийное управление, Центральный комитет Черноморского флота (Центрофлот). Эта организация располагала в Крыму едва ли не самой мощной вооружённой силой, которая теперь открыто противопоставила себя законному Временному правительству, а также окончательно утратившему власть командованию. Теперь контрабандно-спекуляционная деятельность береговых частей и плавсостава приобретает всеобщий характер. В Севастополе и других городах Крыма распродаётся казённое имущество, рейсы гидрокрейсеров или заградителей в Одессу, Батуми, Новороссийск и оккупированный Трапезунд совершаются с чисто коммерческими целями.

Команды кораблей (в том числе «прославившихся» вскоре казнями крымских татар «Трувора» и «Румынии», но не только их) «давно гуляли по морю как хотели... перехватывали в кавказских портах то, по чему голодал Севастополь, — кожу, сахар, муку, и по возвращении приторговывали, не скрываясь, тут же на рейде, ошвартовавшись у городской горки; нередко у сходни толпился разноцветный чередок... Вольнонаёмные на тральщиках требовали и для себя равенства. Через свойские судовые комитеты поднажали на Центрофлот, через покорное начальство — на штаб и добились своего» (Мальшкин, 1965. Т. I. С. 420). Разложение охватило, таким образом, не только береговые скопления войск, но и когда-то самый дисциплинированный личный состав Черноморского флота — корабельные команды.

Большевики, количество которых за несколько месяцев увеличилось здесь в десятки и сотни раз и которые всегда умели играть на такого рода тёмных страстях, стали пользоваться прочной поддержкой в Черноморском флоте. Более того, они уже были в состоянии самостоятельно формировать (в основном из русскоязычных рабочих и люмпенов всего полуострова) первые отряды Красной гвардии. Эта практика, кстати, полностью соответствовала известному указанию Ленина: «эквilibрировать, чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, чтобы нравиться, — брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке» и т. д. (ПСС. Т. XVII. С. 273–274). Но при этом главной силой, бесспорно, оставались не разрозненные, разболтанные «подонки», а более спаянные флотско-армейские банды, способные выполнять и довольно сложные акции, требующие профессиональной подготовки.

Так, например, I-й Черноморский революционный отряд (так называемые «ударники») под командой небезызвестного А.В. Мокроусова<sup>1</sup> (около 2500 человек, вооружённых пулемётами, артиллерией и имевших даже самолёт) несколько позже, то есть в середине ноября, смог совершить марш за Перекоп, где встретил огнём возвращавшийся домой с фронта (после краткого отдыха в Ново-Георгиевке и Херсоне) Крымский конный полк, не смутившись тем, что его официально сопровождал член Мусисполкома Дж. Сейдамет (*Баранченко*, 1967. С. 77–78. См. также: КВ. 10. 11. 1917). Этот отряд был в дальнейшем расформирован самими большевиками (за анархо-бандитские действия и полное разложение), но до того мокроусовцы успели совершить в Крыму и за его пределами немало кровавых преступлений (подр. см. в: *Поляков*, 2009. С. 16).

### 3. Октябрьский переворот

О том, как большевикам-ленинцам удалось свергнуть законную власть в столице империи и других крупных городах России, написано огромное количество больших и малых трудов. Не желая повторять имеющиеся в них сведения о волне чудовишных преступлений первой недели новой власти, приведу лишь краткие заметки современника-петербуржца, способные пролить свет на кровавые события осени-зимы 1917 г. и в Крыму, что может помочь нам в определении их источника и движущей силы:

«Россию продают и продают, а русский народ громит, бесчинствует и буйствует, и абсолютно равнодушен к своей международной судьбе. Небывалый в мировой истории случай, когда большой по числу народ, считавшийся народом великим, мировым, несмотря на все возможные оговорки, — своими руками вырыл себе могилу в восемь месяцев (прошедших с февральской революции. — *В.В.*). Выходит, что само понятие о русской державе, о русском

<sup>1</sup> Фома Матвеевич Мокроусов (1887–1959) позднее принял псевдоним «Алексей Васильевич», под которым и вошёл в историю Крыма. Служил в императорском флоте, участвовал в революционном движении. Эмигрировал, в 1917 г. вернулся в Петроград. Активный участник октябрьского переворота. В 1918 г. был направлен в Севастополь для содействия установлению там власти большевиков. В чём и преуспел, организовывая отряды военных моряков, впоследствии «прославившихся» кровавым террором не только на флоте (казни офицеров), но и на суше: в Евпатории и других крымских городах. Руководил партизанским движением в тылу Врангеля (*Шамко Е.Н.* Партизанское движение в Крыму. Симферополь, 1959. С. 155–156). В 1941–1944 гг. был одним из руководителей партизанского движения в Крыму, в том числе с октября 1941 по июнь 1942 гг. командовал всеми партизанскими отрядами и группами. Был снят с занимаемой должности за преступное отношение к мирным татарским жителям и попытки обвинить весь коренной народ в сотрудничестве с оккупантами. В 1918 г. открыто причислял себя к партии анархистов (*Королёв*, 1994. С. 7), не имея при этом никакой серьёзной теоретической подготовки, но, по-видимому, пытаясь таким образом оправдать свои действия уголовного характера. В ВКП(б) вступил лишь в 1928 г.

народе было мифом, блефом, что всё это только казалось и никогда не было реальностью» (*Готье Ю.В.* Мои заметки // ВИ. 1991. № 7–8. С. 173).

Когда до Крыма докатилась весть о перевороте в столице империи и захвате власти ленинцами<sup>1</sup>, полуостров буквально оцепенел: многие уже имели опыт контактов с большевиками. Но, даже и не располагая им, можно было себе отчётливо представить, что несёт мирным крымчанам диктатура вооружённого до зубов и полностью деморализованного пролетариата: для этого не нужно было обладать даром предвидения<sup>2</sup>. Прежде всего это означало конец хоть и далеко несовершенного, но всё же порядка, который пыталось поддерживать Временное правительство, что в Петрограде, что в Крыму.

Открывалась непредсказуемая эпоха безвластия и безнаказанности для преступников. И эта перспектива чисто по-человечески ошеломила даже часть крымских большевиков. Так, Евпаторийская парторганизация печатно осудила явно незаконный ленинский переворот в Петербурге, после того как её лидер В. Елагин высказал суждение «о преждевременности восстания и о неизбежном следствии его — изоляции протетариата и гибели всей революции» (*Елагин*, 1922. С. 46). И лишь под «влиянием» группы вооружённых боевиков-пролетариев под руководством Д. Караева, призвавшего, кроме того, единомышленников из Севастополя, евпаторийские большевики признали через неделю законность «революции» (Памяти павших. С. 14). А на первых порах даже отдельные севастопольские газеты вполне серьёзно предполагали, что «Ленин психически больной человек, что им тяготеют даже его ближайшие приспешники». — настолько безумной казалась идея Октября, пока с ней не свыклись, пока не поняли собственной же пользы (КВ. 18.11.1917).

Орган Крымского Союза РСДРП (объединённого, меньшевистско/большевистского), газета «Прибой», также категорически осудив «несвоевременное выступление Петроградского Совета», пророчески заметила, что «не в одних большевиках тут дело», что их переворот был поддержан российской народной массой, а это грозит гражданской войной, которая, судя по всему, на севере уже началась (Прибой. 26.10.1917). Ещё более точно определил роль в перевороте именно великорусского этноса крымский журналист А. Кондури: «Страшный

<sup>1</sup> Как странно это ни покажется, но при исправно работавшем телеграфе и других средствах связи ряд крымских газет сообщил о перевороте только через два дня, 27 октября / 9 ноября, да и то лишь как «...о начавшемся восстании частей петроградского гарнизона, организованном большевиками против Временного правительства» (Прибой. 27.10.1917). Но ещё накануне, то есть 26 октября, обладавшие доступом к телеграфу матросы Черноморского флота отреагировали на петроградские события по-своему, начав избивать мирных граждан и громя магазины, прежде всего винные. Особенно жестоко пострадала от этого кровавого разгула Ялта (*Куртнев*, 2000. С. 5).

<sup>2</sup> Призрак Гражданской войны, неизбежной при таком неестественном раскладе сил, носился в воздухе Крыма уже летом 1917 г. Поэтому в августе Мусисполком и ряд поддерживавших его политических групп и организаций, перед лицом общей угрозы в последний раз воззвали к разуму России: «Граждане Государства Российского! Грозный час настал. Ещё минута — и брат кинется на брата... Свержение Временного Правительства повлечёт за собой гражданскую войну, гибель Родины и Свободы. Довольно крови!» (цит. по: *Зарубины*, 1997. С. 31).

кровавый зверь проснулся в русском человеке. Вмиг слетел весь налёт культурности и во весь рост предстал перед нами кровожадный дикарь, вооружённый по последнему слову военной техники» (КВ. 12.11.1917). Обратим внимание — прощательный журналист, находившийся далеко от Петрограда и Москвы, говоря именно о «русском человеке», поразительно глубоко заглянул в самую суть ещё только назревавшей катастрофы Гражданской войны и Красного террора<sup>1</sup>.

Что же касается крымскотатарских политиков, то они были более далеки от идей, двигавших большевиками. Согласно выводу современного исследователя, ведущие младотатары — Сейдаметов, Айвазов, Челеби Джихан — принадлежали к умеренно-социалистической интеллигенции западноевропейского типа (П.И. Гарчев в «Проблемах политической истории Крыма». Симферополь, 1996. Вып. 1. С. 19). Более того, о решимости не допустить распространения гражданской войны на юге одними из первых заявили крымскотатарские лидеры, безразлично сообщал севастопольский орган РСДРП (КВ. 01.11.1917). «Миллет» же точно отразил глубокую тревогу Мусисполкома, где лучше, чем в более благодушных партиях и организациях, ощущалось дыхание близившейся вооружённой грозы: «Мусульманский комитет в последний раз возбудил ходатайство о переводе Крымского Конного полка в Крым. Если и это ходатайство не будет удовлетворено, то комитет решил собственными силами привести полк в Крым» (Миллет. 29.10.1917).

Общая угроза сближала народы и партии: состоялись совместные собрания крымскотатарских активистов, меньшевиков и эсеров. Вот типичная резолюция таких встреч: «...собрание осуждает попытку насильственного захвата власти со стороны большевиков Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Попытка эта является преступной авантюрой, могущей затормозить своевременный созыв Учредительного собрания» (Южные Ведомости. 27.10.1917). В Симферополе тут же образовался *Таврический губернский комитет спасения родины и революции*, во главе которого стали комитеты Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Этот комитет поставил себе задачей защиту Крыма от «безумной попытки большевиков захватить власть в свои руки», а также агитацию за продолжение подготовки к выборам в крымское Учредительное собрание (Прибой. 31.10.1917).

С противоположных позиций снова выступила беспартийная великорусская диаспора, уже тогда начавшая готовиться к схватке на территории Крыма. В самом русифицированном из крупных крымских городов, Севастополе, сразу после переворота в Петрограде состоялись многотысячные (то есть не партийные, а массовые, *народные*) митинги и демонстрации под лозунгами «Да здравствует

<sup>1</sup> Более поздние исследователи могли лишь развить и разъяснить исторический исток этого феномена. Он — в рабском сознании огромного этноса, в традиционном отсутствии *свободы*, ведь «в византийско-московской традиции у неё не было никаких корней... Вот почему с такой невероятной лёгкостью свобода могла быть выкорчевана из сознания русских масс, лишённых общения с внешним миром, принесших в марксистскую школу лишь древние инстинкты Московий. Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами» (Федотов, 1992. Т. 2. С. 232). Это пророчество прозвучало в 1940 году.

петроградский пролетариат!», «Да здравствует пролетарская революция!» (Борьба, 1957. С. 97). Эти настроения перекинулись на флот. Подчёркиваем, Черноморский флот ещё далеко нельзя было назвать большевистским (он стал таким гораздо позже). Теперь же, в октябре, Центральный комитет флота, якобы «поддавшись анархо-большевистским настроениям»<sup>1</sup> севастопольских горожан, заявил о полной поддержке большевистской власти (Королёв, 1993 «а». С. 28).

Этот вывод не совсем логичен. Поскольку Октябрь был апогеем двенадцатилетней (1902–1922) крестьянской войны, а Черноморский флот на 85 % состоял из крестьян (Ремпель, 1931. С. 5), то закономерен вопрос: а не имело ли места обратное влияние? Ведь даже Керчь, где настроения (как и состав населения) были примерно такими же, что и в «городе русской славы», но где не было *флотских* частей, ограничилась неприсоединением к безоговорочному осуждению большевиков. В Севастополе же шли массовые демонстрации в поддержку большевистского переворота, оркестры на городских улицах с утра до вечера играли «Интернационал». Матросы пели революционные песни, прерывая их криками в поддержку октябрьского переворота (Ремпель, 1931. С. 5–6). А вскоре обычная межпартийная конкуренция сменяется пожаром политической борьбы, зачинщиками которой стали большевики.

Осенью 1917 г. большевистские посланцы Черноморского флота в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Геническе уже ведут агитацию против своего самого сильного противника — эсеров, которая кое-где (в Перекопе, например) приобретает отчётливо погромный характер (Революционный Севастополь. 07.11.1917). Далее, уже в ноябре, русской диаспорой Крыма был образован националистический союз, так называемое *Великорусское Вече* (с центральным руководством в Севастополе), которое противопоставило себя всем остальным народам и национальностям полуострова. В этом союзе была установлена партийная дисциплина, проводились регулярные собрания, занятия по военному делу и идеологической подготовке. «Вече» было на особом счету у большевиков, его ценили, очевидно, как надёжного союзника в возможных боях с коренным населением и его вооружёнными силами. Во всяком случае, уже в декабре 1917 г. 2000 боевиков этой организации располагали личным оружием и четырьмя поездами для оперативной переброски к местам военных действий (КВ. 20.12.1917; см. также: КВ. 22.12.1917). На грязно шовинистические стороны программы «Веча» большевики, естественно, не обращали никакого внимания.

Сами большевики уже тогда, в ноябре 1917 г., были нацелены на насильственное, то есть террористическое овладение всей властью в Крыму. Позже, уже после ряда вооружённых столкновений с крымскими татарами, ленинские

<sup>1</sup> Именно о настроениях масс говорила крымская газета конституционных демократов в этой связи: «Большевизм не есть система, а настроение, притом настроение некультурных масс». В другом номере уточнялась и суть таких настроений: «большевизм... сразу отказался от всяких нравственных начал» (ТГ. 06. 12. 1917; ТГ. 31.10.1917). И ещё более определённее: «Гражданская война началась. О ней говорили, её предсказывали и боялись, ею пугали, но не сумели предотвратить её ужасов. Надо быть узким фанатиком-идеи, надо испуганно верить в свои силы и совершенно не учитывать общей политической обстановки, чтобы в такой момент поднять знамя... И в этом огромная и жестокая ошибка большевиков, за которую их сурово осудит история» (Прибой. 28.10.1917).

идеологи пытались свалить вину за начало Гражданской войны на эскадронцев (личный состав новых охранных отрядов — крымскотатарских эскадронов) и поддерживавшее их местное население. Однако некоторые, большевистские же авторы иногда проговариваются, и тогда всплывает истина. Например, такая, что ещё на I партийной конференции большевиков Таврической губернии, состоявшейся в ноябре 1917 г., евпаторийский (по происхождению — бобруйский) большевик Давид Караев не только выступал за переворот и захват власти в Крыму. Ещё до получения одобрения своему курсу на конференции он засылал своих людей в Севастополь для тотальной большевизации основной вооружённой силы края — Черноморского флота, и даже пытался привлечь к борьбе на стороне коммунистов бойцов двух крымскотатарских эскадронов, находившихся в тот период в Евпатории (Памяти погибших. С. 15).

Но, как говорилось выше, в Крыму ещё оставались члены социал-демократической партии — меньшевики и даже большевики, стоявшие на иной позиции по отношению к Октябрю и назревающему кровопролитию. Председатель Симферопольской организации РСДРП П. Новицкий, большевик с 1904 г., (впоследствии органично перешедший на меньшевистскую платформу), опубликовал статью об Октябре под характерным названием «Братоубийство», где провидчески писал: «Поддержка большевиков означает поддержку кровавой авантюры, основанной на разделе и расколе демократии. Не с контрреволюцией борются большевики, и не с капиталистами, а с другими частями революционной демократии... Их правительство, их «совет народных комиссаров» может существовать только при помощи террора. А террор никогда в истории народов не разрешил ни одной политической задачи, не принёс человечеству никакого счастья. Надо помнить, что та гражданская война, которую начали большевики, является худшим видом гражданской войны — войной внутри демократии, братоубийством. При этих условиях поддержка большевистского правительства является... поддержкой контрреволюции» (Прибой. 02.11.1917).

Почти одновременно с Новицким выступил с оценкой происходившего Мусисполком, заявив, что «разыгравшиеся в Петербурге кровавые события, парализовав силу существующей власти, открывают путь для анархии и гражданской войны, размер и гибельные последствия которой теперь трудно представить» (ГТ. 1917. 14.10.1917). Далее, крымскотатарское руководство сделало краткие выводы из происходившего и наметило практические шаги к предупреждению дальнейшего развития кровавых событий. Было указано, что необходимо прежде всего «создание исключительно из представителей революционно-демократических и социалистических организаций органа для поддержания порядка в крае и защиты революции (имелась в виду смена власти в феврале 1917 г. — В.В.) от посягательств на неё» (Там же). Практически в те же дни и с той же направленностью к мирному развитию жизни полуострова выступает упоминавшаяся Татарская партия, и в эти дни уделявшая основное внимание не подготовке к кровопролитию, а культурному развитию крымчан. В ноябре ею были открыты Бахчисарайская художественная промышленная школа, Учительская гимназия имени И. Гаспринского и Менгли-Гирейский институт на основе Зинджирлы-медресе, наконец-то обогатившего свою программу некогда незаслуженно забытыми курсами светских наук.

Таким образом, крымскотатарские политики занимают в эти недели, как и ранее, подчёркнуто примирительную позицию, поставив себе главной целью сохранение мира на полуострове. На состоявшемся в конце октября — начале ноября Чрезвычайном Губернском земском собрании представитель крымских выступлений, откуда бы они ни исходили, справа или слева... татары организовали охрану города... Этим они думают предотвратить возможность бунтов» (Прибой. 03.11.1917).

#### 4. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание

В середине ноября, с 12 по 14, в Крыму прошли выборы во Всероссийское Учредительное собрание. В отличие от центральных районов страны, охваченных анархо-большевистским психозом (а кое-где и вспышками мало-помалу разгоравшейся Гражданской войны), выборы на Юге пока могли проходить в сравнительно спокойной обстановке, то есть более объективно выражать волеизъявление масс. К тому же все партии имели возможность свободно вести предвыборную агитацию через местную прессу. По этим и иным причинам в Крыму наблюдалось необычно широкое участие населения в выборах будущего правительства бывшей империи. К урнам явились даже крестьяне, в том числе абсолютное большинство крымскотатарских земледельцев, обычно не отличавшихся политической активностью.

По весьма скрупулёзному подсчёту, произведённому крымским историком В.И. Королёвым, в Таврической губернии беспорная и убедительная победа на этих выборах досталась эсерам: за них отдало голоса 52,2 % избирателей. Остальные партии шли с огромным отрывом: занявшие второе место кадеты не набрали и 7 % голосов, за большевиков проголосовало 5,5 %. В национальных списках на первое место вышли крымские татары (11,9 %), за ними следовали украинцы (10,7 %), местные немцы (4,8 %) и, наконец, евреи (2,4 %). Такие результаты подчеркнули, во-первых, значительную весомость в раскладе политических сил воли коренного народа, а во-вторых — провал большевиков в этой необычной губернии, где они получили едва ли не вдовину меньше, чем в среднем на территории бывшей империи, где за них голосовал каждый десятый (Королёв, 1993, «а». С. 31).

Практически одновременно с выборной кампанией в Севастополе проходил Первый Общечерноморский («Всечерноморский») съезд, участники которого продемонстрировали совершенно иные политические симпатии и антипатии. Это дискуссионное совещание между делегатами от различных береговых команд и плавсостава боевых и транспортных кораблей имело огромное значение для дальнейшего развязывания Гражданской войны в Крыму. Дело даже не в теторетических спорах, где большевику Н. Пожарову и эсеру К. Величко (стоявшим за переход революции в «очистительную», то есть гражданскую войну) пытались противостоять сторонники эволюционного политического развития событий. Важнейшим для развязывания в недалёком будущем бойни (в том числе

и межнациональной) было принято на съезде решение об отправке в ростовском и мелитопольско-киевском направлениях отрядов так называемых «ударников». То есть вооружённых до зубов флотских добровольцев, задачей которых было уничтожение казачьих и освободительных частей (прежде всего калединских), якобы грозивших вторжением в Крым с контрреволюционными целями.

Вскоре «ударники» были действительно отправлены через Керченский пролив к устью Дона на специально снаряжённой для этого флотилии мелкосидящих кораблей. Не дожидаясь их приближения, офицерские и юнкерские отряды, а также казаки, до того довольно мирно сосуществовавшие с эсерами и местными большевиками, вступили с последними в вооружённое столкновение и практически полностью уничтожили их. Затем был разгромлен и севастопольский десант. Получив отпор в Ростове, часть большевистского отряда ушла сухим путём на Мариуполь и дальше, грабя, разоряя и убивая жителей южной Украины и «буржуйский» элемент. «Закачалась по Украине пьяная и лютая матросская слава... Впервые хлебнув крови, матросы не знали теперь предела своей беспощадности» (Малышкин, 1965. Т. I. С. 423). Напомню, пока в Крыму было более или менее спокойно. Но в дальнейшем, в декабре 1917 г., именно возвратившиеся «ударники» сыграют на полуострове роль не менее зловещую, чем на Украине.

### 5. Совет народных представителей Крыма

Как упоминалось выше, 15 ноября 1917 г. Мусисполком выступил с воззванием «О власти в Крыму». Эта инициатива крымских татар была вызвана общепонятным стремлением стабилизировать политическую и социальную ситуацию на полуострове, установив твёрдую власть по принципу национального равноправия. Такой орган власти мог быть создан на основе всеобщего и равного голосования граждан Крыма. В принципе структура нового властного органа мыслилась как краевое Учредительное собрание. Против крымскотатарской инициативы впервые откровенно враждебно выступили большевики, заявившие, что такой аппарат местного самоуправления не может быть создан, поскольку о нём не было принято решения на II Всероссийском съезде советов, да и не предусмотрен он структурой новосозданного центрального Совнаркома... Большевиков поддержал Губернский съезд советов, впрочем, принявший 17 ноября половинчатую, ни к чему не обязывающую и ничего не определившую резолюцию, возлагавшую труды по подготовке возможного коалиционного правительства на земские самоуправления.

Некий выход из создавшейся тупиковой ситуации пыталась найти Таврическая земская управа, создавшая с указанной целью 20 ноября так называемый Земско-городской собор. На него было избрано около 300 делегатов, из которых крымских татар было всего 32 человека, то есть гораздо меньше демографического процентного соотношения (к тому времени — уже около 18 %). Тем не менее в президиум попали члены Мусисполкома Э. Аметов и Х. Тынчеров. Ещё один представитель крымскотатарского исполкома, Алескер Мухарский, выступал по одному из двух главных вопросов, национальному (вторым на повестке дня стоял вопрос о власти в Крыму).

В своём докладе А. Мухарский утверждал, что в многонациональном крае единственно законной может быть признана лишь власть, созданная демократическим Учредительным собранием. Однако до его созыва, для того чтобы избежать грозящих Крыму политической анархии и социальных беспорядков, он предложил создать временную Коллегию крымского комиссариата из пяти членов (крымский татарин, украинец и по одному представителю от ГубЦИКа, крестьянского Губсовета, и от муниципальных органов). Особый интерес в докладе вызвала характеристика своеобразной геополитической ситуации, в которой очутился Крым, изолированный от центров бывшей метрополии: «Крым, в политическом отношении будучи отрезан территорией Украины от всей России, должен представлять единое целое. Татары не добиваются гегемонии власти над другими народами, они желают жить с ними в мире» (цит. по: Королёв, 1993, «а». С. 35). Понятно, что такое уточнение позиции Мусульманского исполкома резко контрастировало с большевистским, не скрывавшим своей цели — снова привязать Крым и крымцев к далёким российским центрам, от колониальной политики которых край страдал столько лет...

Идея Мусульманского исполкома о краевом Учредительном собрании была поддержана практически всеми делегатами. Это объяснялось просто: большевики Земско-городской собор игнорировали по вполне понятной причине стопроцентно предсказуемого краха своей программы. До созыва такого собрания предлагалось выбрать новый верховный орган власти, единый для всей губернии, а именно *Совет Народных Представителей* (СНП).

Тут же, 20 ноября 1917 г., выборы в СНП и состоялись. Показательно, что в крымское правительство было признано целесообразным включить по национальным спискам от крымских татар и украинцев по 3 человека, а от русских — лишь двух, как и от евреев, немцев, крымчаков и остальных этнических групп Крыма, количественно во много раз меньших, чем русская диаспора. Из крымских татар в него попали Амет Озенбашлы, Ибраим Хаттагов, Искандер Аметов. Кроме того, по муниципальным спискам — Алескер Мухарский, по земским — Муса-мурза Тайганский, от Крымского штаба — Селим Маметов (ТГ. 24.11.1917).

Совет Народных Представителей в ближайшие после своего избрания дни проявил себя вполне зрелым органом власти, политически стоявшим на безусловно реалистичных позициях. Так уже в первую неделю своей работы СНП, верно оценив большевистскую угрозу, которой подвергалось центральное Учредительное собрание, предложил перевести его из Петрограда в Киев. При этом был даже создан денежный фонд для обеспечения такого перемещения и дальнейшей работы последнего демократически избранного всероссийского правительственного органа. Столь же правильно оценив политическую направленность и потенциальные возможности СНП, большевики выступили против него с различными клеветническими заявлениями. Одновременно начались их попытки явочным порядком подмять под себя наиболее важные административные структуры края (прежде всего — Продовольственную управу), а также дестабилизировать политическую обстановку в крупнейших городах Крыма (ТГ. 30.11.1917).

Как будет видно из дальнейших событий, им это удавалось. Но в тот момент крымские лидеры недооценивали потенциальную силу ленинцев, опиравшихся



на мятежно-бунтарские устремления огромной части населения европейской части бывшей Российской империи. Лишь отдельные, особо проникательные, просвещённые участники национально-освободительного движения, вроде А. Сюкюти, в своё время закончившего Сорбонну, смотрели в будущее без особой надежды — именно из-за большевистского фактора.

Некоторые из них (например, А.С. Айвазов) возлагали в тот момент большие надежды на турок, которые, по их мнению, не позволят большевикам уничтожить крымскотатарскую культуру, что было неизбежно в случае прихода ленинцев к диктаторской власти (Сейдамет, 2010. № 4. С. 14).

## 6. Первый Курултай

Память о первых, древних тюркских курултаях давно стёрлась из памяти народа, лишённого своей истории. Поэтому вполне правдоподобным выглядит утверждение Д. Сейдамета о том, что сам термин этот и его содержание впервые после многих веков всплыл в сознании крымских татар благодаря статье турецкого публициста Леона Кахона «История тюрков» («*Türk tarihi*») в стамбульском журнале «Тюркский край» («*Türk yurdu*»), переведённой на крымскотатарский Юсофом Акчорой (Сейдамет, 2009. № 50. С. 14). С этой статьёй лидеры Мусисполкома ознакомились летом 1917 г., но до осуществления идеи Курултая прошло ещё несколько месяцев.

Решение о созыве национального съезда Курултая было принято на II делегатском крымскотатарском съезде, состоявшемся в первых числах ноября 1917 г. В одной из своих речей на съезде Челеби Джихан обосновал необходимость созыва Курултая тем, что центральное правительство России проявило свою несостоятельность, позволив анархии охватить практически всю территорию бывшей империи. При этом он привёл пример Украины, которая собрала свою Раду и создала полномочный и деятельный центр управления территориально независимой республики. Поэтому, продолжил глава Мусисполкома, и в Крыму необходимо создать законодательную основу для установления порядка и недопущения анархии. Тогда же он впервые обнародован основной принцип дальнейшей политики Мусисполкома и Курултая: «Крым для крымцев!».

Такой принцип должен был в дальнейшем содействовать признанию национальных, религиозных и политических прав всех крымских этнических групп и народов. Кроме этого сообщения, вызвавшего небывалый энтузиазм среди участников съезда, на нём был окончательно решён вопрос о членстве в Мусисполкоме фактически не принимавших участия в его работе мирового судьи Хуршута Крымтаева, Амета Муфти-заде и Ибраима Тарпи. Их решили вывести из состава Комитета. Тогда же были выдвинуты крымские делегаты на Всероссийское Учредительное собрание: Д. Сейдамет, А. Озенбашлы, С.Д. Хаттатов, А.С. Айвазов и У. Боданинский. В заключение съезда было принято решение о созыве Курултая 24 ноября 1917 г. Организация выборов делегатов Курултая была поручена комиссии, в которую вошли Н. Челеби Джихан, Д. Сейдамет, А. Боданинский, А.С. Айвазов, С.Д. Хаттатов и А. Озенбашлы.

Такое решение вызвало фурор в русской прессе Крыма и центра России. В множестве газетных статей утверждалось, что крымские татары наконец-то открыли забрала, перейдя к действиям, направленным против России, как это сделала ранее Украина. То есть ни революция, ни скатывание бывшей империи к упадку, ни охватившая её анархия не изменили склонность «главной нации» империи к отождествлению себя с господствующей силой, в пользу которой обязаны строить свою политику все входившие в неё ранее народы и этнические группы. Нужно признать, что в развернувшейся шовинистической по сути кампании принимали участие и некоторые противники Мусисполкома из татар, на первом месте среди которых оказался Аппаз Ширинский, чьи провокационные статьи по-прежнему занимали значительную площадь в газетах типа кадетских «Южных ведомостей».

К сожалению, противодействие крымскотатарской печати не оказало желаемого действия на большинство населения полуострова. С подачи основной части русской прессы, в массе возникло опасение какой-то крымскотатарской гегемонии, если упомянутый лозунг будет осуществлён. Современник, находившийся в гуще событий в Крыму тех месяцев, так оценивал ситуацию:

«Главной мыслью наших газет была защита Крыма от анархии, сплочение крымцев, подготовка их к самоуправлению... К сожалению, русские, одержимые идеей национального превосходства, и другие национальные меньшинства, примкнувшие к ним в этом вопросе из выгоды и предосторожности, не давали возможности претворению нашего тезиса [в жизнь]. И сколько бы после захвата большевиками власти в Петрограде они ни разделяли общество на два противоборствующих лагеря, единственно, кто был сплочён, — так это большевики. Консерваторы, либералы, меньшевики, социал-демократы, эсеры, — все, невзирая на опасность большевизма, следовали разным политическим целям, и никто из них не пошёл на сотрудничество с нами... Как в центре, так и по губерниям, большевики, во избежание проявления альтернативной силы, разжигали мятежи и анархию. Это они делали и в Крыму. Их целью было монополизировать власть в своих руках. Принять сотрудничество с большевиками на деле означало на все сто процентов покориться их власти, их программе» (Сейдамет, 2010. № 5. С. 14).

Известные события и организационные трудности отодвинули открытие Курултая до 26 ноября 1917 г. Местом заседаний, длившихся 18 дней, был назначен салон Дивани-Али в бахчисарайском Хан-сарая<sup>1</sup>, что имело и символический

<sup>1</sup> Возвращение Хан-сарая своему законному хозяину, крымскотатарскому народу, после почти 140-летней узурпации колонизаторами этой сокровищницы национальной культуры, имело свою предысторию. Требования вернуть дворец и хранившиеся в нём культурные сокровища и исторические памятники неоднократно подымались ещё при старом режиме. Но лишь после падения империи, когда новые (но по-прежнему преимущественно русскоязычные) губернские власти, почувствовав реальную политическую силу коренного народа Крыма и тесно сотрудничающей с ним украинской диаспоры на полуострове (не ранее!), были вынуждены передать Хан-сарай Мусисполкому. Показательно, что на торжествах в начале ноября 1917 г., посвящённых возвращению Дворца народу, наряду с Нуманом Челеби Джиханом, председателем Мусульманского военного комитета С. Идрисовым и другими народными лидерами, выступал представитель украинской Таврической рады. Он заявил, хотя и приукрасив несколько ситуацию, что



Делегаты Первого курултая. Фото 1917 г. Автор неизвестен

смысл. Делегаты избирались при широчайшем участии всего коренного народа Крыма: в его подготовке приняло непосредственное участие 70 % крымских татар города и деревни.

Всего было избрано 78 делегатов. Буржуазия и рабочие составляли среди делегатов меньшинство. В основном это были молодые (до 30 лет) люди, представители крымскотатарской трудовой интеллигенции, самые образованные представители нации, её молодая элита, а также наиболее политически активные лица. Так, от Евпаторийского комитета незадолго до того созданной *Крымскотатарской социал-демократической рабочей партии* в Курултай прошли председатель комитета Асан Адильша, секретарь Умер Кургиев, Муртаза Мустафа и Миэдин Шакир. Было избрано и четыре женщины: Хатидже Авджи, Анифе Боданинская, Шефика Гаспринская и Ильхан Тохтар. В день открытия в президиум Курултая были избраны Шефика Гаспринская, Нуман Челеби Джихан, Д. Сейдамет, А. Хильми и Аджи Бедреддин (Прибой. 01.12.1917). То есть наиболее известные своей деятельностью и уважаемые представители национальной интеллигенции.

Что же касается не социальной, а политической позиции делегатов, то она была на удивление единой: главной целью своей деятельности члены Курултая ставили признание, наконец-то, национальных прав столь долго угнетённого коренного народа Крыма.

«Исходя из этого, делегатами на Курултай прошло очень мало социалистов, выдвигавших на первый план экономические основы, и консерваторов, для которых превыше всего в общественной жизни были традиции и национальные особенности. Большинство участников было представлено революционерами

отныне решение судьбы своей исторической родины находится всецело в руках крымских татар и гарантировал им в этом полную поддержку украинского народа (ТГ. 07.11.1917).

националистами... И лишь 8–9 мест заняли правые, 10–11 — левые. Оттого, что они не могли сотрудничать друг с другом, чего не позволяли их убеждения и идеи, в экономических вопросах консерваторы, в революционных вопросах левые действовали заодно с нами. Всё это было результатом разъяснительной работы в народе, когда большая часть его поверила, что пока мы не станем хозяевами своей национальной и политической доли, мы никогда не станем на путь устойчивого и истинного прогресса», — вспоминает делегат Первого Курултая (Сейдамет, 2010. № 6. С. 14).

К этому времени делегатам Курултая уже была известна речь Нумана Челеби Джихана, произнесённая им в Бахчисарае полумесяцем ранее (на открытии Национального татарского музея в Хан-сараяе) и сохранившая значение программной:

«На Крымском полуострове имеются разных цветов и оттенков много прекрасных роз и цветов. Каждый из этих роз и цветов имеет свою особую красоту и свойственный ему приятный аромат. Задача Курултая собрать все эти дивные цветы в один букет. Татарский *Курултай* имеет в виду не одних лишь татар, его взоры обращены и к другим народностям, в течение веков живущим с татарами дружной братской жизнью... Татарский народ признавал, признаёт, и всегда будет признавать права каждой народности. Татарский Курултай наравне с чаяниями и идеями татар будет чтить также идеи и чаяния, живущих с ними в Крыму и других народностей. Курултай будет приглашать эти народности к совместной работе и усилиям для достижения общих для всех благ».



Часть делегатов Курултая. Седьмой слева в первом ряду (рядом с военным) Сеит Джелил Хатгатов, одиннадцатый — Челеби Джихан, тринадцатая — Шефика Гаспринская. Из собрания издательства «Тезис»



Двор Хан-сарая во время Первого Курултая.  
Из коллекции издательства «Тезис»

Далее, в своей программной речи Нуман Челеби Джихан дал точную и непредвзятую сравнительную картину работы крымскотатарского национального движения в целом и Курултая в частности с деятельностью многочисленных партий, группировок, общественных организаций центра бывшей империи и российских губерний, осудив Октябрьский переворот: «В то время, когда Петроград и Москва были охвачены пламенем пушечных выстрелов, правительство в центре было свергнуто, и анархия властвовала в каждой области России, мы не дали возможности анархии развиваться в Крыму, защитили Крым и крымцев. Для того, чтобы выйти победителями в этой борьбе с анархией, мы зовём в свои ряды все крымские народы. Крым принадлежит тем, кто его защищает. Пусть погибнет централизация» (ГТ. 11.11.1918. Цит. по: Королёв, 1993 «а». С. 43)<sup>1</sup>.

А в день открытия Курултая (этот форум открылся 26 ноября и закончил свою работу 13 декабря 1917 г.) муфтий развил свои идеи. Теперь он подчеркнул выдающееся государственное и национально-культурное значение Курултая:

«Уважаемые господа делегаты! Сегодня заново восстанавливается наша политическая жизнь, которая была оборвана полтора века тому назад. Курултай, который собрался в салоне «Диван-Али», вновь учреждает уничтоженное рус-

<sup>1</sup> Термин *централизация*, использовавшийся политическими лидерами и прессой в те далёкие годы, был совершенно аналогичен возродившейся в России через 80–90 лет пресловутой идее *вертикали власти*. Им обозначали всё тот же, давно известный и даже архаичный, имперский идеал единовластного правления.

ским гнётом национальное татарское правление. Татарская нация сегодня заново рождается. Раны, нанесённые давлением и диктатом русского деспотизма, сегодня всё ещё кровоточат в нашей общественной жизни.

Поднятое 28 февраля 1917 г. кровавого цвета священное красное знамя революции принесло всем народам свободу.

Уважаемые делегаты, живущие на Крымском полуострове, татарская нация в своей политической жизни выдвинула вас взять это священное право.

Татарская нация, признавая равноправие всех людей, на Курултае наряду со знамёнами других наций ввысь подняла и свой национальный флаг, и, начиная с сегодняшнего дня, будет строить свою жизнь на основе законов, исходящих из Конституции...» (цит. по: Губогло, Червоная, 1992. Т. II. С. 174).

В день открытия Курултая его приветствовали съехавшиеся в Бахчисарай представители основных национальностей Крыма, в том числе русской, украинской и еврейской. А затем состоялся военный парад эскадронцев под командованием Аблая Рустема Парфетова. Показательно, что в параде участвовали и офицерские подразделения. Заседание открыл временный (до избрания президиума) председатель, старейший из делегатов Хаджи Али-эфенди из Капсихора. Затем был избран и постоянный президиум: Челеби Джихан, Абляким Ильмий, Хаджи Бедреддин, Шефика Гаспринская и Джафер Сейдамет.

В ходе заседаний определились три основных политических направления, позже оформившиеся в три соответствующих крыла Курултая:

*Правое*, то есть наиболее радикальное, видевшее главной целью будущего народного парламента воссоздание Крымского ханства, естественно, в корне модернизированного в соответствии с велениями эпохи (Дж. Сейдамет).



Групповой снимок членов Курултая. Фото неизвестного автора

Центр, устремленный прежде всего на предотвращение невиданного кровопролития в Крыму в ситуации уже надвинувшейся угрозы гражданской войны. Для достижения этой цели Центр был готов на любые переговоры, компромиссы и так далее с основными противоборствующими силами (Нуман Челеби Джихан).

Левое, готовое на значительные реформы в народной и политической сферах, но основное внимание предполагавшее уделять культурному возрождению нации. Правда, понятие «культура» рассматривалось левыми весьма широко (А. Боданинский).

Были отдельные лидеры, которые не могли целиком согласиться ни с одним крылом. Так, одобрявший, в целом, программу Центра А.С. Айвазов высказался на одном из заседаний Курултая за неприятие любого компромисса с большевиками: «Большевизм есть сила разрушительная. Нам с ними не по дороге. Не идти с большевиками, а бороться с ними надо до конца. Вот наш лозунг» (ЮВ. 13.01.1918).

Необходимость прекращения ширившегося на полуострове террора и разгрома кровавых беспорядков подчеркнул и Дж. Сейдамет, впоследствии избранный директором внешних и военных дел республики: «Штаб крымских войск, являясь высшим краевым военным органом, ставит своей ближайшей задачей: путём организации военной силы края — организации национальных частей народов Крыма — установить правопорядок в крае и довести его до Крымского Учредительного собрания» (цит. по: *Абдулаева Г.* «Крым для крымцев» // 27.11.2006. С. 8).

Огромное значение Курултая было признано в момент его открытия, даже раньше, причём и далеко за пределами полуострова. Съезд получил массу поздравлений и приветствий. Одним из самых политически весомых оказалось послание украинской Рады: «От имени населения всей Украины приветствуем татар Крыма, которые являлись нашими старыми славными союзниками, ещё во времена Крымского ханства. Отныне татары законные хозяева Крымского полуострова, по признанию Киевского съезда народов» (КВ. 07.11.1917).

Рабочие заседания Курултая проходили в здании бахчисарайской Городской управы. Основной их темой стало обсуждение «Крымскотатарских основных законов», то есть, по сути, новой Конституции страны. Члены Курултая единодушно высказались по поводу формы будущего государства: Крым должен был стать Народной республикой. Ожесточённые дискуссии вызвал вопрос о передаче всей власти Крымскому Учредительному собранию. Левые предлагали ждать до созыва Всероссийского Учредительного собрания, которое единственно могло узаконить аналогичный форум в Крыму. Однако большинство депутатов резонно считало, что если даже большевики и не смогут помешать его созыву в Петрограде, то никогда ему не подчинятся уже потому, что этот орган власти будет демократичным. В Крыму же, где велика угроза анархии, считали они, необходимо как можно быстрее создать полномочный властный центр, прежде всего для защиты населения.

Споры разгорелись и вокруг статьи о положении женщины, при этом консерваторы полагали несвоевременным предоставление ей полного, политического и социального равноправия с мужчиной. Однако Челеби Джихан сумел доказать, опираясь как на Коран, так и на священные хадисы, что даже в давние времена, когда женщины, по сути, не имели права на жизнь, именно ислам стал

на их защиту, предоставив им широкие права, в том числе и на равное наследование (Сейдамет, 2010. № 7. С. 14).

Наконец 13/26 декабря 1917 г. Конституция из 18 статей была принята. Этот документ провозглашал рождение нового государства — Крымской Народной (Демократической) Республики. Согласно 2-й статье Курултай должен был продолжить работать в течение года в качестве парламента (Председатель — С. Айвазов, члены президиума — Джафер Аблаев и Абляким Ильмий). Учреждался Совет директорий (в дальнейшем его называли *Директорией*) — национальное правительство (Председатель и Директор юстиции — Челеби Джихан). Членами правительства стали Дж. Сейдамет (Директор внешних и военных дел), С. Дж. Хаттатов (Директор финансов и вакуфов), И. Озенбашлы (Директор народного просвещения), А. Шукри (Директор по делам религии), а также постоянно действующее национальное представительное управление *Меджлис*, избрание которого должно было состояться путём свободных, прямых и равных выборов<sup>1</sup>.

В «Крымскотатарских основных законах» признавалось равноправие всех жителей Крыма вне зависимости от национальности, провозглашались основные демократические свободы. Правительство заявило о своей основной цели: «на основе идей братства, чувства единой Родины... действовать во имя воссоединения с общедемократическим миром, во имя спасения от когтей кровавой революции, которая разрушила памятники, культовые здания, сожгла дотла дворцы, растоптала щедрый и прекрасный Крымский полуостров» (цит. по: *Кандымов*, 1991. С. 3).

В них признавались равноправие женщины и ликвидация дворянских привилегий. Курултай декларировал также неприкосновенность личности, свободу слова и прессы, совести, собраний, неприкосновенность жилища, свободу союзов и забастовок, страхования жизни рабочих, а также осуществление принципов национального самоопределения и прав меньшинств и тех законов, которые могут быть гарантированы только в демократической республике (Излож. по последнему изданию текста Конституции, осуществлённому С.М. Исхаковым — см. ОИ, 1999, № 2. С. 107—113).

Вот так в Крыму и была образована первая в истории человечества мусульманская демократическая республика.

Тогда же Председатель Директории, муфтий Нуман Челеби Джихан обратился к населению полуострова с *Объявлением Крымско-татарского национального правительства*, где торжественно давал следующие гарантии:

«Крымско-татарское национальное правительство заботится о счастье и спасении не одного только татарского народа; оно считает священной своей обязанностью защиту личной, имущественной безопасности и чести всех своих крымских соотечественников и защиту лозунгов великой революции...

Отныне, одушевляемые высокими и святыми чувствами братства и гражданства, не останавливаясь ни перед какими жертвами, крымские татары совместно с революционной демократией будут стремиться к недопущению всеразрушающего действия анархии, уже навлигающей на Крым и не щадящей на своём пути ни памятников старины, ни памятников искусства, ни храмов науки и культуры.

<sup>1</sup> В дальнейшем руководящие посты в Меджлисе первого созыва дополнительно заняли члены Коллегии председателей А.С. Айвазов, Д. Аблаев и А. Хильми.

Крымско-татарское национальное правительство категорически и неуклонно решило поддерживать порядок и спокойствие на полуострове; оно решило положить предел царящим в крае голоду, финансовой разрухе, всевозможным захватам и уже показывающей свою голову анархии» (ГТ. 20.12.1917).

На учредительном Курултае был принят и государственный флаг Крыма — голубое полотнище с золотой гиреевской тамгой в верхнем углу у древка.

В первых числах декабря Курултай проявил свою добрую волю и заявил об отсутствии у него каких-либо притязаний на политическую или иную гегемонию в будущем, добровольно преобразовав себя в национальный парламент, то есть, ограничив свои функции *национальным самоуправлением*, оставив в компетенции Совета народных представителей (или, в будущем, Учредительного собрания) не только военную, внутреннюю и международную политику, но и решение жизненно важного для тысяч крымскотатарских крестьян земельного вопроса. Это был политический манифест огромной важности. Принятый совершенно добровольно лучшими сынами крымского народа, он мог бы положить конец всем клеветническим измышлениям насчёт планов установления крымскотатарской гегемонии, сепаратистских устремлений народных лидеров и прочей большевистской лжи, если бы история Крыма писалась в ближайшие десятилетия добросовестными отечественными учёными...

Ведь текст упомянутых «Крымскотатарских основных законов» был опубликован в середине декабря в массовой прессе, став достоянием широкой общественности не только Крыма. То есть основное направление крымскотатарской политики на ближайшее будущее было доведено до сведения как союзников, так и противников Курултая. Так, информация Военного ведомства крымскотатарского правительства была помещена даже в севастопольском органе РСДРП: «Татарский Курултай возложил на свой исполнительный орган в лице крымскотатарского национального правительства [задачу] провести в жизнь свои чисто национальные основные законы, поручил вместе с тем всеми мерами обеспечить созыв общекрымского Учредительного собрания, а до того ни в коем случае не допускать гегемонии какой-либо нации над другими. Директор по внешним и военным делам Джафер Сейдамет» (КВ. 19.12.1917).

Продуманность, зрелость и демократичность «Крымскотатарских основных законов» были вынуждены признать даже недавние противники крымскотатарского национального движения. И поэтому для историка особенно ценны именно их признания, сделанные по свежим впечатлениям и оттого, возможно, самые искренние:

«Как это случилось, что веками угнетённые татары дали чудный урок государственной мудрости русским гражданам, бывшим до революции единственными носителями русской государственности, это — другой вопрос. Но факт остаётся фактом.

И все нетатарские жители Крыма, которым дороги порядок и законность, равная для всех свобода и социальная справедливость, спокойное развитие экономических и духовных сил края, должны всеми силами поддержать стремление татар к государственному строительству. Поддерживая его, мы спасём Крым, а косвенно и всю Россию от анархии и разложения...

Мы поэтому думаем, что все действительно государственные элементы крымского населения поддержат всеми своими материальными и духовными



Первые лидеры свободного народа на фоне Железной двери Хан-сарая. Слева направо: Сеит Джелил Хаттатов, Асан Сабри Айвазов, Нуман Челеби Джихан, Джафер Сейдамет. Фото из коллекции издательства «Тезис»

силами мусульманскую организацию, содействующую устройению Крыма: этого требуют жизненные интересы Крыма и России. Только созидательной работой можно бороться с разрушительной анархией и губительной демагогией» (Пасманик Д. Дух государственности // Ялтинский Голос, 04.01.1918 — цит. по: Зарубины, 1997. С. 56).

Безымянный польский разведчик, находившийся в эти дни в Крыму записывает: «Принятия таких законов, которые лучше всего характеризуют дух и стремление татарского народа, не постыдились бы и самые культурные народы Европы...» (цит. по: ОИ. 1999. № 2. С. 110)<sup>1</sup>.

В том же декабре месяце 1917 г., через некоторое время после принятия Конституции, встал вопрос о реальной защите её положений. Причиной безотлагательного его решения явилась новая инициатива Совета народных представителей: создать некое Высшее военное управление для руководства вооружёнными силами Крыма (очевидно, включая и эскадронцев). Однако в ситуации, когда СНП обладал весьма малым авторитетом у населения (не говоря уже о том, что большевики его вообще не признавали), передача ему в руки такого инструмента

<sup>1</sup> Можно предположить, что современные российские специалисты по истории Крыма незнакомы с этой реакцией современников первого Курултая, в том числе и русских, и зарубежных. Иначе чем объяснить последнюю (на момент написания этой книги) научную характеристику конституции Крыма, предложенной Курултаем: «Крымско-татарские законы» носили сугубо националистический характер» (История Востока, 2006. С. 26)?

власти, как войска, никак не решила бы основной проблемы: не дать анархии и насилию, охвативших Россию, захлестнуть и Крым. Между тем, опыт поддержания порядка имелся у эскадронцев. Они активно боролись с большевистским насилием ещё до прибытия из Херсона 1-го и 2-го эскадрона. Появились и первые жертвы этой самоотверженной борьбы с анархией: перед старой полковой мечетью время от времени можно было видеть гробы с телами погибших эскадронцев. Но, несмотря на потери, во всех городах Крыма, за исключением Севастополя, порядок поддерживался (Конный полк, 2001, С. 365).

Поэтому члены Курултая внесли контрпредложение: создать *Штаб крымских войск*, ядром которых должны были стать эскадронцы, а именно 1-й и 2-й Крымские конные полки и 1-й Крымскотатарский полк «Уриет» (*крымскотат.* «Свобода»), усиленные привлечением на службу многочисленных русских офицеров, находившихся в то время на полуострове. То есть предполагалось создание этнически смешанных отрядов, подчинявшихся своим командирам — крымцам и русским — и решениям солдатских комитетов. Штаб крымских войск при этом должен был подчиняться штабу Одесского военного округа (Конный полк, 2001, С. 364).

Напомним, что Крымский конный полк являлся изначально одним из полков Русской Императорской армии. Он вернулся на полуостров с фронта Первой мировой войны в конце 1917 г. Здесь полк был воссоздан в виде бригады из двух полков, командовать которой был назначен полковник Г.А. Бакó (впоследствии полки стали именоваться Конно-татарскими). При этом 1-й дислоцировался в Симферополе (полковник М.М. Петропольский), а 2-й (подполковник О-Б. Биарсланов) начал формироваться в Бахчисарае. В 1-м полку насчитывалось 6 эскадронов, во 2-м число их пока было неясным. Высшей командной инстанцией для бригады должен был стать упомянутый Штаб крымских войск.

Первым офицером, приглашённым к созданию Штаба, стал бывший фронтовик, полковник Генерального штаба Российской империи А.Г. Макухин. Его и других офицеров ознакомили с новой Конституцией, с решимостью Курултая настаивать на созыве Крымского Учредительного собрания, а также принимать любые другие меры для сохранения демократии и порядка. При этом военной опорой крымскотатарского парламента и предлагалось сделать формируемый Штаб. Офицеры сразу ответили согласием и новый Штаб заработал (он разместился в здании Офицерского собрания Крымского конного полка, расположенного на окраине Симферополя).

Главнокомандующим вооружённых сил Штаба крымских войск тогда же был назначен делегат Всероссийского Учредительного собрания от коренного народа Крыма, Джафер Сейдамет<sup>1</sup>, его помощником (с фактическим исполне-

<sup>1</sup> Избранный делегатом Д. Сейдамет (удостоверение № 11256, подписанное 2.12.1917 губернским комиссаром Временного правительства Бианки), получив железнодорожный билет до Петрограда, отправляться в столицу отказался, предвидя, что при захвативших власть большевиках нормальная работа Учредительного собрания исключена. Что впоследствии и подтвердилось: как известно, большевики, получив всего 25 % голосов избирателей (эсеры — 59 %) и предвидя своё поражение, незаконно разогнали собрание 6/19 января 1918 г. После этого насилия над волей народа Гражданская война стала неизбежной.

нием обязанностей начальника штаба войска) — полковник А.Г. Макухин, а начальником оперативного отдела — полковник Е.И. Достовалов. Именно он, по свидетельству штабс-капитана офицерской роты Крымского полка В.В. Альмедингера, заявил 25 декабря 1917 г. о дальнейшей автономности Штаба: «Крым является отдельной военной единицей, так как отрезан от штаба и округа в Одессе; в Крыму пока что у власти краевое правительство» (цит. по: *Альмедингер*, 2001, С. 374–375).

Общее число личного состава в полках окончательно не установлено. По некоторым данным оно достигало от 3000 до 4000 человек (*Чуднов*, 1928, С. 8, 14). Кроме рядовых офицеров-крымцев, сюда входило несколько сотен бывших царских офицеров, заявивших о своей полной поддержке крымскотатарской конституции и составивших впоследствии четыре пехотные офицерские роты по 100 штыков в каждой. Таким образом, по мнению других исследователей, общая численность личного состава этого вооружённого соединения составляла 5000 человек (*Зарубины*, 1999, С. 105). Но по иным данным (мнение польского разведчика, находившегося в 1917 г. в Крыму), численность только крымскотатарских войск (то есть не считая офицерских рот и батальонов) к декабрю составила 7000 чел., и продолжала расти (ук. соч. С. 108). Впрочем, все эти данные весьма сомнительны, поскольку численность одного эскадрона не превышала сотни сабель, а на деле их было ещё меньше, так как многие фронтовики были отпущены в декабре-январе в отпуск и разъехались по своим деревням.

Таким образом, принятая крымской русскоязычной прессой тех дней цифра в 28 000 всадников, якобы составлявших личный состав этих полков, сильно преувеличена. В реальности же не только 28, но и 10 000 сабель эта группа крымскотатарских конников далеко не насчитывала. Однако такое совершенно явно умышленное 6–7-кратное преувеличение числа военнотатарских конников возымело своё действие. Большевистский лидер Я.Ю. Тарвацкий на одном из заседаний симферопольского исполкома в конце 1917 г. потребовал недопущения столь крупного мусульманского контингента на полуостров.

И он знал, чего опасаться. Эскадронцы были абсолютно вне сравнения с «серым солдатским мясом», набранным в центральных губерниях России, а теперь ещё и разложившимся, приобретшим отчётливый анархо-бандитский душок. Так что возможное столкновение этой массы, которую пытались привлечь к себе большевики, с дисциплинированными крымскими конниками наверняка окончилось бы победой последних. А о боевых и иных качествах крымских конников русские офицеры позднее вспоминали с ностальгией: «Хорошие были солдаты, отличные в разведке, исполнительные». И ещё: «Все наши татары были великолепные солдаты: исполнительные, добродушные, великолепные товарищи. Честность и порядочность татарская просто могла служить примером, а их прямота и привязанность к своему офицеру и полку были просто поразительны и достойны подражания» (цит. по: *Кручинин*, 1999, С. 7). К счастью, большевики были ещё недостаточно сильны, чтобы помешать возвращению крымских татар на родину.

Главной задачей Штаба крымских войск, таким образом усилившегося, стало наведение порядка в Крыму, без которого было бы невозможно осуществить

в будущем демократический переход власти к краевому Учредительному собранию. Конкретно такой «порядок» означал решительное пресечение всё выше поднимавшейся в Крыму волны насилия, грабежей, погромного террора, в чём, как говорилось выше, не последнюю роль играли флотские и отчасти солдатские контингенты Севастополя и иных мест их дислокации.

Надежды на компромиссное разделение власти становилось всё меньше, ведь даже многопартийный Севастопольский совет к тому времени успел в корне изменить своё отношение к Октябрьскому перевороту, перейдя к поддержке ленинской власти в обеих российских столицах (Известия Севастопольского совета. 20.10.1917). Теперь от многотысячной анархо-большевистской массы матросов Черноморского флота можно было ожидать новых и новых насилий над мирным населением полуострова.

Понятно, что благодаря слухам о том, что творится в Севастополе, жители остальных крымских городов начинали питать всё большую надежду на крымско-татарские части, которые совместно с вошедшим в их состав русским офицерством, единственно были способны предотвратить распространение севастопольской чумы на весь полуостров. Остаётся задать логичный вопрос: ну что могли большевики сделать в такой ситуации почти всеобщего признания и политических симпатий к крымским татарам?

Им, в условиях практически полного неприятия крымцами ленинского Октября, было бесполезно даже пытаться свершить здесь что-либо подобное. Но они не теряли надежды, ведь уже становилась практически безраздельной властью ленинцев в Севастополе. Здесь в декабре они получили большинство в Севастопольском совете и Центральном комитете Черноморского флота, после чего создали первый репрессивный орган ещё не начавшейся Гражданской войны. Им стал *Военно-революционный комитет* (ВРК).

Сразу после его образования ВРК показал, на что он способен. Матросы, почувствовав отныне полную свою безнаказанность, устроили 15–17 декабря первую самосудную резню в городе и окрестностях, в которых погибло несколько десятков офицеров и крымских татар-эскадронцев, находившихся с побывкой дома (КВ. 17.12.1917). Убийцы не понесли никакого наказания, и через два дня состоялись новые казни офицеров матросами, причём был расстрелян и один священник (КВ. 19.12.1918). Это было прямое повторение матросского разгула в марте того же года в Петрограде и Кронштадте, хоть пока и в меньшем масштабе.

Вероятен вопрос читателя: где всё-таки был источник этого внезапного озверения, охватившего большие массы людей? Можно, конечно, сослаться на нелёгкую матросскую (а также солдатскую, рабочую и т. д.) жизнь при старом режиме, на созревавшие и, наконец, поспевшие «гроздья гнева» в низах смешанного населения Крыма. Но тогда непонятно, отчего в кровавых погромах не принимали участия крымские татары, самая притеснённая и бесправная часть городского и сельского населения полуострова? По-видимому, здесь дело скорее не в революционном энтузиазме масс (как указывалось, часть крымцев тоже ведь приняла политическое участие в Феврале и последовавших событиях). Скорее, речь должна идти об иных, чем у основной массы населения Крыма, нравственных устоях крымских татар. Уж не эти ли нравственные традиции не позволили

мусульманам превратиться в толпу, обезумевшую от воли? <sup>1</sup> А то, что воля ведёт слабую в нравственном отношении массу к чудовишным преступлениям, известно не только из отечественной истории:

«В известном высказывании Робеспьера: „Революционное правительство — это деспотизм свободы против тирании“ — находит выражение глубокий страх, охватывающий всякую толпу, чувствующую неуверенность в своей форме перед лицом серьёзности событий. Войско с пошатнувшейся дисциплиной по своей воле предоставляет случайным, подвернувшимся вдруг вождям такие полномочия, которые и по объёму их, и по сути были недоступны законному командованию, да и вообще непереносимы в легитимном порядке» (Шпенглер, 2003. С. 431).

Но именно этой-то «неуверенности в своей форме», то есть во внутреннем порядке и традиционном устройстве своей жизни отнюдь не почувствовали крымские татары. Хотя, заметим, они были в том же положении, что и остальное население полуострова. И никакая революция, никакая правовая безнаказанность не могла превратить этих искренних мусульман в некое подобие озверевших севастопольских банд, пьяных от воли и вида первой пролитой крови безвинных жертв революции.

Но упомянутую неуверенность, кажется испытывал Муеисполком, к недостаткам политики которого один из его лидеров самокритично относит её уозсть: «С первых дней революции среди нас не нашлось таких знающих и признанных личностей, как в грузинской интеллигенции, которая в каждой ситуации играла важную, даже преимущественную, роль в среде русской интеллигенции. Основав у себя революционное движение, в частности, социал-демократические партии ещё в конце XIX века, проявляя инициативу и энтузиазм, они действовали совместно с российскими революционерами как внутри России, так и за её пределами. Мы же действовали лишь в направлении национальной и культурной независимости, не задумываясь ни о собственной государственности, ни об определённой роли в масштабе России» (Сейдамет, 2009. № 47. С. 14).

Замечание совершенно точное. Единственное, что в нём несколько коробит, — это сравнение крымских татар с грузинами. Не только последние, но и армяне имели гораздо больше возможностей для политического и интеллектуального развития, чем коренной народ Крыма. Причина здесь проста: первые были христианами, вторые — мусульманами. И эти вторые (не только крымские татары) извечно оставались на заднем плане в возможностях получения полноценного образования и развития, в то время, как первые занимали в этом отношении, естественно, первое место среди нерусских народностей империи.

Но вернёмся к фактам. Итак, в Крыму сложилось новое двоевластие: крымско-татарская Директория в альянсе с признавшим её СНП с одной стороны,

<sup>1</sup> Коренное население окраин империи ещё длительное время сохраняло устои традиционной этики. Поэтому авторы, исследовавшие причину этого «внезапного» нравственного падения масс, используют прежде всего великорусские материалы: «Нет нужды доказывать, что людей, готовых переступить через закон, через нормы цивилизованного поведения... летом и осенью 1917 года было в России намного больше, чем людей, не могущих в силу своих нравственных убеждений переступить через него» (Ципко, 1990. С. 124).

и никем из крымцев не признанный ВРК — с другой. На заседании Штаба крымских войск этот факт был со всей недвусмысленностью отмечен Дж. Сейдаметом. При этом он заявил, что Штаб не допустит на территории Крыма противодействия его распоряжениям, неизбежного при таком двоевластии. Выступление Д. Сейдамета нашло поддержку у присутствовавших офицеров и меньшевиков. Точку зрения офицерства выразил капитан Генерального штаба А.В. Стратонов, считавший, что на территории Крыма единственная законная власть — принадлежащая крымскотатарскому правительству, в поддержку которого против севастопольских банд он считает должным применение оружия (*Ремпель*, 1931, С. 35).

Между тем силы Штаба крымских войск росли. К нему обратилось с просьбой о включении в число эскадронцев более 2000 русских офицеров. Притом уже на следующий день после его образования, вспоминает Д. Сейдамет, «сюда стали приходить представители сельских комитетов с просьбами выдать им оружие. Открыв все имеющиеся в Крыму склады, мы раздали оружие и патроны. Жители деревень, оказавшихся в окружении русских поселений, слёзно настаивали отправить к ним ещё и отряды в десять-пятнадцать человек. Мы были вынуждены направить солдат в населённые пункты, подверженные особой опасности» (Сейдамет, 2010, № 8, С. 14).

Так, от 1-го полка в Ялту был послан 4-й эскадрон ротмистра К.П. Баженова, в Евпаторию — 6-й эскадрон штабс-ротмистра Б.В. Отмарштейна, в Феодосию — 5-й эскадрон штаб-ротмистра С.И. фон Гримма (Конный полк, 2001, С. 366). Вскоре у полка появилась артиллерия. Поручик Штаба А.А. Дурилин получил из Евпатории сообщение, что там стоит бесхозная батарея из 4 трёхдюймовых орудий, правда, со всего 20 зарядами. Он был туда послан и, получив разрешение местного гарнизонного начальника, доставил батарею в Симферополь.

Большое политическое значение имел и проведённый в декабре 1917 г. на симферопольском ипподроме парад войск Штаба, где молодые воины принесли присягу верности конституции и Родине. Выступивший после этого военный директор Д. Сейдамет призвал их проявить стойкость в борьбе с возмутителями порядка, до того как будет созвано Крымское Учредительное собрание. Затем произнёс речь командир 1-го полка, М.М. Петропольский, поздравивший своих подчинённых с принятием присяги и подчеркнувший важность их задачи в создавшейся ситуации:

«Благодаря любви к Родине, своему народу и вере в Бога, когда вся Россия охвачена огнём, вы смогли спасти прекрасный Крым, ваше отечество и всех крымцев. Я уверен, что и после этого вы сумеете уберечь Крым, обеспечив здесь всеобщую безопасность. В России не осталось любви к Родине, к народу, национального патриотизма и веры в Бога. И в этом первопричина того, что сегодня в России свирепствует анархия. Как же вы счастливы тем, что любите свою Родину и свой народ, верите в правду и справедливость!» (Там же).

После проведения парада было решено наладить, наконец, сотрудничество с Советом народных представителей, крайне необходимое до созыва Крымского Учредительного собрания. Поскольку этот орган власти по-прежнему настаивал на передаче под его руководство сил Крымского штаба, было решено направить на одно из его заседаний членов Штаба. Здесь они не только убедили народных представителей в необходимости единоначалия в крымских войсках, но и пред-

ложили, не откладывая создать комиссию по подготовке Крымского Учредительного собрания, которому Штаб готов подчиниться. После этого заявления сложилось оружие даже левое крыло СНП, ранее наиболее ожесточённо обвинявшее Директорию в нарушении принципов демократизма. На том же вечернем заседании были приняты все предложения членов Штаба, а сам он, как и эскадронцы в целом, были признаны законными крымскими вооружёнными силами. Позднее этот статус был подтверждён Одесским военным округом (Сейдамет, 2010, № 9, С. 14; № 11, С. 14). Отныне Штаб обладал полномочиями действовать от имени всего крымского населения.

В эти же декабрьские дни обострилась ситуация в Евпатории, где сложилась своеобразное равновесие сил. С одной стороны законное, то есть выборное правительство в городе опиралось на довольно многочисленных крымскотатарских активистов, действовавших совместно с кадровым офицерством и солдатами регулярных частей (около 1000 чел.). Но здесь же находилось несколько военных школ (лётная и др.), весьма большевизированных и радикально настроенных, что, возможно, объяснялось активной деятельностью второго по значению (после Севастопольского) Евпаторийского центра РСДРП(б). В то же время в демонстрациях, проходивших в Евпатории на протяжении ноября-декабря в поддержку Временного правительства, участвовали многочисленные местные жители.

Среди них особенно много было гимназистов, но тон задавали крымские татары самого различного социального положения. Не случайно 26 декабря 1917 г. Севастопольский военно-революционный комитет направил правительству в Симферополь ультиматум, названный «О действиях крымских татар в Евпатории», где предлагалось добровольно свернуть политическую жизнь в городе. В противном случае, говорилось в ультиматуме, будет, во-первых, послан протест мусульманским представителям в Петрограде, а, во-вторых, для подавления крымскотатарской активности вооружённой силой в Евпаторию придётся направить корабли Черноморского флота. Для предупреждения кровопролития евпаторийским крымским татарам, городской Думе и Совету предлагалось поднять над городом белый флаг, означавший капитуляцию (*Ремпель*, 1931, С. 42, 60).

На протяжении трёх последних дней декабря ситуация в Евпатории обострилась до предела. Из Севастополя действительно пришло 6 кораблей, а от симферопольского Штаба был откомандирован один крымскотатарский эскадрон и группа офицеров во главе с капитаном Стратоновым. Начались переговоры противостоящих сил, что не снимало остроты положения в городе. По центральным улицам — Лазаревской и Набережной разъезжали извозчики линейки с офицерскими пулемётными расчётами. Но вооружились и мирные до того крымские татары, и не менее антибольшевистски настроенная гимназическая молодёжь. Переговоры окончились ничем, а после того, как корабли скрылись за горизонтом, в городе сам по себе установился порядок и спокойствие. Ушёл и крымскотатарский эскадрон.

Возможно, ситуация в Евпатории, как и во всём Крыму, так и не приобрела бы своего взрывоопасного характера, если бы оставалось некоторое время на её спокойное урегулирование, если бы не новые безобразные события в Петрограде. Там 6 января 1918 г. большевики пошли на преступный по своему буду-



шему кровавому значению акт. Они прибегли к ничем не спровоцированному насилию, ликвидировав законное Учредительное собрание, разогнав его демократически избранных членов. Это преступление ленинцев стало для крымских татар ещё одним доводом в пользу собственного отмежевания, отстранения и от российских большевиков, и от страны, где они явно становились единственной властью, причём бесспорно деспотической, уничтожавшей все демократические завоевания Февраля.

В то же время в соседней Украине события развивались в совершенно ином ключе. Образовавшаяся в ноябре 1917 г. независимая Украинская народная республика (УНР) проявила волю к мирному и демократическому развитию политической жизни. В дальнейшем новое украинское правительство подкрепит это решение делом, отказавшись от каких-либо претензий на территорию Крыма и заверив крымских татар о своей полной поддержке их справедливого национально-освободительного движения. Но при этом оно совершенно нелогично заявило о желании войти в состав Российской Федерации, где всё большую силу набирали большевики (Крым. 10. 05. 1918).

Эти два фактора (разгон Всероссийского учредительного собрания и фактическая поддержка УНР России со всем её оголтелым большевизмом) заметно взбудрили и крымских большевиков. В некоторых городах и посёлках демократически избранные советы начинают заменяться большевистскими военизированными ревкомками по севастопольскому шаблону. Далее, учитывая огромный наплыв русскоязычного (по сути — русского) элемента на полуостров, большевики стали звать к референдуму по поводу политического единовластия, не без оснований надеясь получить на нём большинство и похоронить тем самым возможность создания национального (в реальности — многонационального) демократического государства. Но поскольку как Директория, так и СНП, органы избранные демократическим путём, резонно считали референдум излишним, из Севастополя стали слышны угрозы решить проблему силой. Речь шла о Гражданской войне.

## 7. Начало Гражданской войны

В первой декаде декабря 1917 г. с Украины вернулись флотские «ударники», привезя с собой около 60 тел погибших членов донского десанта. Их похороны были превращены большевиками в демонстрацию воли к отмщению. Матросы носили открытые гробы по всему Севастополю полдня, останавливаясь на площадях и устраивая митинги-«летучки», на которых ораторы (главным образом прибывшие в Крым кронштадтцы) звали толпу к расправе над морскими офицерами. Непосредственно после такой кампании, сопровождавшейся рёвом оркестров, большевики открыто и недвусмысленно призвали матросов плавсостава и береговые части к исполнению задуманного. Это — исторический факт, а более поздние уверения советских историков в том, что большевики были, якобы, не причастны к кровавой севастопольской бане того года, — насквозь фальшивы. Сохранились слова одного из севастопольских большевиков, некоего Филова,

который заявил накануне резни, в ходе её подготовки: «Офицерство нейтральное — хуже всяких врагов. Здесь я бы применил поговорку: „Кто не с нами — тот против нас“» (Цит. по: Чуднов, 1928, С. 11).

Для демонстрации того, что их угрозы — не пустые слова, моряки Севастополя возобновили 15–16 декабря расстрелы. В качестве палачей выступали люди из упоминавшегося выше отряда А. Мокроусова, в основном матросы эсминца «Гаджибей» (*Ремпель*, 1931. С. 27). Кстати, именно тогда эсминец стал известен среди крымчан под именем «Кровавого», по той причине что на нём, пока единственным из кораблей Черноморского флота, были уничтожены все боевые офицеры; это несмыслимое с его преступного экипажа клеймо отразилось и в художественной прозе (*Мальшкин*, 1965. Т. I. С. 453). В городе и его окрестностях ширился террор, сопровождавшийся грабежами, другими видами насилия. Он грозил перебраться в другие города края, прежде всего приморские, где уже стали накапливаться выступавшие из Севастополя вооружённые матросские отряды.

Кстати, антитатарская пропаганда этих дней и недель, крайне топорная и грубая, была рассчитана главным образом на людскую массу, изначально склонную к враждебности против местного населения, к этнофобии. То есть на крестьян в солдатских и матросских шинелях. Они хотели верить и верили в то, что «в Симферополе, центре татарского края, зрели и копилась направляющие силы, стремящиеся сбросить с Крыма ненавистную им советскую опеку и образовать самостоятельное государство, едва ли не ханство» (*Мальшкин*, 1965. Т. I. С. 495). Но тот же современник, практически свидетель событий, признаёт, что подверженные абсолютно той же пропаганде, чудом уцелевшие от севастопольской резни русские штурманы и капитаны-«военспецы» недоумевали по поводу «угрозы со стороны татар»: «Да какие, спрашивается, татары, откуда они взялись? Чуть, самый мирный народ» (ук. соч. С. 519).

К сожалению, только лишь теперь, ввиду реально надвинувшейся угрозы большевистского переворота, Крымский штаб приступает к давно ставшим необходимыми действиям. Он отдаёт приказ о дополнительном расквартировании части эскадронцев в приморских городах, чтобы предотвратить готовившийся взрыв насилия. Но распропагандированный большевиками симферопольский пролетариат овладел железнодорожным вокзалом и обстрелял направлявшиеся на посадку крымскотатарские части. Рабочие всё того же завода Анатра (костяк их составляли полторы сотни рабочих, командированных сюда по нуждам военного времени из Петрограда) атаковали железнодорожную охрану, пытаясь её разоружить. В Симферополе появились грабители из числа уголовников, часто передевавшихся в матросскую форму. Город погрузился во мрак фактического террора. Почти одновременно были совершены ничем не спровоцированные нападения на эскадронцев в Евпатории, также стоившие жертв (*Королёв*, 1993 «а». С. 44).

Эта нетерпимая обстановка, а также стремление защитить мирных сограждан, задушив начинавшуюся Гражданскую войну в зародыше, принудили Штаб крымских войск занять симферопольские почтамт и аэродром, приступить к вооружённому патрулированию городов для предотвращения самосудов и грабежей. С той же целью было начато разоружение большевистских и анархистских

воинских отрядов и банд, провоцировавших насилие практически во всех крымских городах<sup>1</sup>. Показательно, что эта крымскотатарская инициатива не могла не получить одобрения со стороны реально мыслящих политиков Крыма. Так, меньшевик П. И. Новицкий заявил:

«Большинство народностей стремится к децентрализации. Это всё мелкобуржуазные настроения, само движение конечно не пролетарское, а мелкобуржуазное, но оно имеет здоровые корни. Слишком много было недоверия и противодействия мусульманскому движению. Татары стали на здоровую, общедемократическую точку зрения: они не стремятся к преобладанию татарской национальности. Не нужно забывать, что татар всколыхнула анархия большевистская. Местный патриотизм толкает татар сбросить Крым от анархии, отсюда стремление захватить военную силу. Здесь, кроме татарских частей, будут сформированы и части из уроженцев Крыма всех национальностей» (цит. по: Королёв, 1993, «а», С. 45).

Таким образом, Гражданская война, по сути, началась в последние недели и дни уходящего 1917 года. То, что большевики 2 января 1918 г. совершили *переворот* и полный захват власти в Севастополе, было лишь разрастанием масштаба военных действий. Следующим агрессивным шагом ленинцев был январский поход кораблей Черноморского флота в крымские приморские города. В Феодосию вошёл эсминец «Фидониси», в Керчь — сетевой заградитель «Аю-Даг» и несколько тральщиков, в Ялту — эсминцы «Гаджибей» и «Керчь», в Алушту — эсминец «Капитан Сакен», в Евпаторию — гидрокрейсер «Румыния», транспорт «Трувор», буксиры «Геркулес» и «Дунай». Став на рейде, эти корабли навели на жилые кварталы городов орудия главного калибра, под прикрытием которых на берег сошли каратели (об этом см. в следующем очерке). Другие города заняли распропагандированные большевиками армейские части, и лишь при прямой угрозе уничтожения безоружного населения переворот свершился и здесь<sup>2</sup>. При этом жертв было гораздо больше, чем при аналогичных событиях в октябрьском Петрограде и даже Москве. Данные о количестве павших от руки черноморцев отсутствуют, но некоторые исследователи полагают, что их было не менее тысячи человек (Королёв, 1994, С. 23).

В то же время в некоторых городах и татарских сёлах большевики встретили сопротивление. Оставшиеся верными народному правительству крымскотатар-

<sup>1</sup> Такие попытки предотвратить распространение на территории всего полуострова и за его пределами вооружённых выступлений ни в коем случае не были каким-то насилием или провокацией со стороны крымскотатарских частей. Дело в том, что когда в декабре началась стихийная демобилизация на флоте, то и в самом Севастополе «ревком объявил уезжающие части подлежащими разоружению» (Ремпель, 1931, С. 31). Лишь после того, как вопреки этому приказу, «один эшелон матросов с оружием ушёл из Севастополя на север», то под Бахчисараем «части Крымского штаба... не желая пропустить (700. — В.В.) вооружённых матросов, этот эшелон разоружили» (там же). Эти меры, как оказалось, были вполне оправданы — позднее самим севастопольским ревкомом неоднократно разоружались большевистские части, особо отличившиеся в грабежах, мародёрстве и насилии, в том числе печально знаменитый II Черноморский отряд А. Мокроусова (ук. соч. С. 29).

<sup>2</sup> Волна матросского насилия перекрестнула Перекоп. После крымских городов черноморскими анархо-большевиками были оккупированы крупные и мелкие населённые пункты на территории от низовьев Дона до Херсона и Одессы включительно.

ские эскадроны пытались защитить законную власть, например, в Ялте. Здесь 3–4 января 1918 г. был объявлен конец двоевластия: прибывшие на автомобилях вооружённые эскадроны содействовали устранению матросской анархии и установлению порядка на улицах. Главным органом власти был объявлен местный Мусульманский комитет, пользовавшийся поддержкой начальника гарнизона и военного коменданта г. Ялты капитана Лукомского (им была передана вся полнота исполнительной власти). Тем не менее, общая численность гарнизона была слишком незначительна, чтобы оказать сколько-нибудь серьёзное сопротивление готовившимся к походу на Ялту севастопольским отрядам (см. ниже). В этот же день, 4 января, подал в отставку Н. Челеби Джихан<sup>1</sup>. Его место во главе Совета Директорий занял Джафер Сейдамет.

В те дни усилилась антитатарская пропаганда большевиков, опиравшихся на подписанное Лениным «Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября 1917 г., в котором Совнарком гарантировал исламской части населения бывшей империи соблюдение их верований, законов и обычаев. Значительную вескость такой пропаганде придавало участие в ней секретаря Таврического губернского комитета РСДРП(б) И. Фирлевса. Не без влияния большевистской агитации начались волнения среди рабочих Симферополя и пригородных русских деревень. Сложившаяся ситуация сделала необходимым срочный созыв Курултая, который открылся 8 января. Здесь победила точка зрения нового Председателя — 43 голосами против 12 делегаты приняли, наконец, решение об окончательном размежевании с большевиками и исключили последних из краевого правительства. Собственно, иным решение Курултая быть и не могло, ведь под Севастополем и Ялтой ленинцы уже запятнали себя кровью невинных жертв, мирного населения, такой ценой пытаясь установить свою власть в Крыму (Мексин, 1939, С. 185). Тогда же курултаевцами было принято ещё одно решение: блокироваться с СНП.

Некоторые исследователи указанного периода истории крымскотатарского освободительного движения не без злорадства подчёркивают колебания его лидеров между различными внешними политическими силами, объясняя понятные корректировки национального курса национальным же «эгоизмом и подобострастными апелляциями к внешним фигурантам», сомневаясь даже в «нравственной обоснованности и устойчивости движения» и его лидеров (Зарубин А., 1999, С. 300). Очевидно, эти авторы не совсем понимают такую особенность мусульманской ментальности, как стремление к лояльности в отношении к практически любой, не посягающей на веру, власти, о чём уже говорилось выше.

<sup>1</sup> Эта отставка была связана с так называемым «захватом» крымскотатарским правительством здания Народного дома в Симферополе, в котором размещались центральные органы нескольких партий. Сюда вселился без согласования с Крымскотатарским национальным правительством профсоюз, лидеры которого отрицательно относились к татарскому самоуправлению. Эта акция должна была символизировать появление ещё одной антитатарской власти в Крыму. Поэтому Нуман Челеби Джихан, несмотря на несогласие ряда крымскотатарских лидеров распорядился силой очистить помещение от профсоюзников. В самом начале января 1918 г. такая попытка была предпринята, что вызвало громкий протест ряда русских партий, поддержанный частью населения, и ослабило позиции национального движения. Впрочем, выйдя из состава правительства, Ч. Джихан продолжал по-прежнему участвовать в его работе.

Между тем единственным критерием здесь является сверхценность стабильности и порядка, а вовсе не стремление прислуживать сильнейшему. Крымские татары в самом деле искали сильного союзника. Но не для экспансии, а для реального выхода из ситуации бунта. Что же касается «революционности» части национальных лидеров, то они понимали демократические свободы вполне прагматично, как наконец-то появившиеся гарантии беспрепятственного культурного возрождения и очищения от губительных для крымскотатарской культуры вековых наслоений и совсем свежей грязи анархии, намытой волнами смуты, невиданного в Крыму культа насилия и мятежной бездуховности. «Мусульманские массы, безусловно, мыслили традиционалистски, но не „реакционно“ и даже не консервативно...» (Булдаков, 1997. С. 152)

Особенностью Гражданской войны, начинавшейся таким образом в Крыму, стали какие-то слишком уж быстрые, мгновенные её результаты в экономической и социальной областях. Уже на пороге 1918 г. на полуострове воцарилась разруха и полная анархия, источником которой были не только вооружённые акции, но и пропагандистская деятельность большевиков:

«Разрушены железные дороги, приостановлена почти работа телеграфа. Жизнь как бы замерла, здоровое биение пульса страны остановилось... Вместо творческой созидательной работы у нас растёт и множится анархия, всюду дикий разгул разъярённой толпы, разбои, грабежи, самосуды, расстрелы, всюду хаос и разрушение, идёт братоубийственная война, улицы городов залиты кровью уничтожающих друг друга людей, всюду безумие и ужас.

И кто знает, когда кончится эта сатанинская пляска. Дошли ли мы до той последней черты отрезвления и сознательного отношения масс к судьбам страны? Или нам суждено пережить ещё большее развитие ужасов анархии?» — писали местные газеты тех недель (ЮВ. 25. 12. 1917; цит. по: Зарубины, 1997. С. 54). То есть Гражданская война как реальный факт получила отражение в крымской прессе также ещё в 1917 г.

Таким образом, содержащиеся даже в авторитетных справочных изданиях сведения о том, что Гражданская война протекала в 1918–1920 гг. (см., напр., СВЭ. Т. III. С. 7–8) — абсолютно неверны. Они соответствуют действительности, скорее, российской, где большевизм вырос на своей родной почве, где его приветствовала основная масса населения и где уже по этой причине война никак не могла в столь краткий срок стать братоубийственной. В отличие от Крыма, в России все «братья» были в своей поддержке великорусского бунта заодно. Там война велась вначале против иноземных интервентов, и лишь гораздо позже — против набравшей силу Белой армии (в которой также движущей силой были отнюдь не «братья» пролетариев и деревенских люмпенов). Ошибка же историков Гражданской войны в немалой мере объясняется тем, что они изучают главным образом саму войну, то есть некое «растение», тогда как, прежде всего, заслуживает внимания почва, порождающая ядовитые цветы революции<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Современная российская историография (по крайней мере, часть её) также никак не может отказаться от мифа о «контрреволюции» или о «национальной буржуазии», якобы развязавших Гражданскую войну: «10 декабря [1917 г.] татарская буржуазия созвала в Бахчисарае свой „съезд“, на котором было создано крымскотатарское правительство во

В Крыму же, где большевики мгновенно встретили не поддержку, а вооружённый отпор единодушно выступившего против них крымскотатарского народа, Гражданская война началась уже в 1917 г., практически сразу же вслед за вызвавшим её Октябрьским переворотом. И разница здесь, как мы видим, не чисто хронологическая, а имеющая гораздо более глубокое, качественное, принципиальное значение, — впрочем, об этом подробнее говорилось в Прологе.

Что же касается повторяющегося и в самое последнее время тезиса о том, что гражданская война была «развязана контрреволюцией», то он не имеет под собой фактической почвы. Не только в Крыму, но и в других регионах огромной страны именно большевики первыми пошли на применение насилия «при решении вопросов общенационального политического устройства. Гуманистическая тенденция развития России, начатая бескровной революцией и расцветавшая на духовное и материальное обогащение, отныне была прервана. Началось бессмысленное, безудержное и безнравственное взаимное уничтожение...» (Васильев, 1989). Гражданская война началась в Крыму, но первый шаг к этой кровавой оргии был сделан в Петрограде.

Если в столице империи видимость демократической власти просуществовала до 6 (19) января 1918 г., когда было разогнано Учредительное собрание, то в Крыму её век был куда короче. Крымская ситуация отличалась от петроградской и своей национальной окраской. Как было показано выше, большевики в Крыму опирались в основном на распропагандированные части российской армии и флота, а также на городской (русский) пролетариат. Крымы же были чуть ли не единственной силой, отстаивавшей демократически избранные гражданские институты, то есть Мусисполком, Директорию, Совет народных представителей и другие органы законной власти. Они же стояли за созыв крымского Учредительного собрания. Именно поэтому события 1917 — начала 1918 гг. уже тогда представлялись «очень многим как борьба русских с татарами (выделено мной. — В.В.)» (Бунезин, 1927. С. 118). Дальнейшие события показали правоту такого заключения, сделанного крымскими жителями, непосредственно наблюдавшими начало борьбы порядка с хаосом, законности с криминальным разгулом.

На деле, конечно, борьба протекала и в иной плоскости, а именно в плане столкновения демократии с зарождавшейся диктатурой. На далекой периферии бывшей империи простые крымские татары-эскадронцы (не говоря уже о членах Мусисполкома), выступив на защиту демократических институтов, отстаивая право народа на власть, инстинктивно ощущали то, о чем мы впервые заговорили в полный голос лишь в конце 1980-х гг., когда были сделаны первые попытки объективно оценить события тех далёких лет.

главе с турецким агентом Джафаром (так!) Сейдаметом... В его распоряжении находились немалые вооружённые силы, которые начали захватывать береговые батареи, разоружать отдельные войсковые части, чинить насилие над населением» (Басов, 1987. С. 5–6). Автор сумел вложить в две фразы пять, мягко говоря, нелепостей: неверно указаны дата начала работы «съезда» и личность главы Совета Директорий, это уже не говоря о «турецком агентстве» Д. Сейдамета, национальной принадлежности насильников в матросских и солдатских шинелях и «буржуазности» делегатов Курултая. Те же ошибки повторяются в коллективной работе Института истории Академии наук (Крым: прошлое и настоящее. С. 57–58) и многих других трудах не менее авторитетных институтов.

Но наряду с этой социально-политической плоскостью конфликта во весь рост снова встала старая причина «беспорядков» на Юге империи. Русская диаспора, многократно увеличившаяся и усилившаяся за счёт перетока населения России в Крым, практически оккупировавшая территорию бывшего ханства, снова и снова пыталась заставить коренной народ отказаться от только было возрождённой им государственности, от всех надежд на самостоятельное национальное развитие, на политическую свободу и культурную самостоятельность. Именно поэтому основной удар в начавшейся гражданской войне Ленин направил именно на носителей идеи культурной и политической самостоятельности Крыма — на крымскотатарский народ.

Это вооружённое насилие оккупантов над народом-аборигеном и стало, по словам современных исследователей вопроса, «осевой линией кровавых январских событий» (Зарубины, 1997. С. 58).

## СОДЕРЖАНИЕ

### І. ПРЕДЗАКАТНЫЕ ЛУЧИ КУЛЬТУРЫ КРЫМА

1. Материальная культура крымских селений .....	4
а) Дом, маалле, село .....	4
б) Философия города и сада .....	54
в) Расположение городов .....	63
г) Коммунальные городские системы .....	66
д) Несхожие лица крымских городов .....	71
2. Культура сельского хозяйства .....	97
а) Скотоводство .....	97
б) Садоводство .....	119
в) Водоснабжение, мелиорация .....	130
г) Зерновое хозяйство .....	135
д) Виноградарство и виноделие .....	139
е) Пчеловодство .....	144
ж) Льноводство, хлопководство .....	145
з) Табаководство .....	146
и) Шелководство .....	147
к) Овощеводство .....	147
3. Культура ремесленного производства .....	148
а) Мукомольная промышленность .....	149
б) Выделка кож и мехов .....	151
в) Литейное и кузнечное мастерство .....	153
д) Ювелирное искусство Крыма .....	156
е) Ткачество, ковры и искусство вышивки .....	156
ё) Деревообрабатывающие ремёсла .....	162
ж) Обработка камня .....	164
з) Крымская керамика .....	166
и) Строительное искусство .....	166
к) Ремесло в целом. Цеховые уставы и традиции .....	168
4. Транспорт, коммерция, второстепенные отрасли экономики .....	174
а) Транспорт .....	177
б) Торговля .....	180
в) Рыбная ловля .....	182
г) Добыча соли .....	184
д) Лесные промыслы .....	185
е) Охота .....	187
5. Культура традиционного питания .....	188
а) Мясо, молоко .....	191
б) Буза, кумыс, бал и другие напитки .....	193
в) Овощи, фрукты, пряности .....	194
г) Этикет стола .....	194

д) Кофейни.....	196
е) Харчевни, буза-ханэ.....	201
<b>6. Крымскотатарский костюм.....</b>	<b>203</b>
а) Бельё.....	204
б) Женское платье, украшения, причёски, обувь.....	204
в) Мужская одежда.....	208
<b>7. Крымскотатарская баня.....</b>	<b>213</b>
<b>8. Фольклор, литература, традиционная учёность, просвещение.....</b>	<b>217</b>
а) Фольклор.....	217
б) Виды словесного творчества.....	217
в) Поэзия и проза.....	220
г) Историческая наука.....	226
д) Философские и естественные науки.....	236
е) Медицина, здравоохранение.....	238
ж) Просвещение.....	246
<b>9. Антропологические и этнопсихологические черты, свойства и качества.....</b>	<b>251</b>
а) Внешние (физические) черты и качества.....	251
б) Этнопсихология, темперамент.....	256
в) Интеллектуальные особенности.....	260
г) Религиозность.....	262
д) Нравственный облик.....	269
е) Честность.....	275
ж) Чистоплотность.....	277
з) Контактность, гостеприимство.....	282
и) Традиция солидаризма.....	287
к) Этикет.....	289
л) Терпимость.....	290
л) Чувство собственного достоинства.....	293
м) Нетребовательность.....	296
н) Трудолюбие.....	298
о) Семейная атмосфера.....	299
п) Любимые развлечения.....	305
р) Положение женщины в семье и в жизни.....	307
с) Сексуальная культура.....	322
т) Экологическая культура.....	331
у) Общенациональная идеология.....	333
ф) Общее этнологическое заключение.....	334
<b>10. Выводы.....</b>	<b>337</b>

## II. АННЕКСИЯ

<b>1. Завоевание Крыма.....</b>	<b>341</b>
<b>2. Независимый Крым.....</b>	<b>348</b>
а) Карасубазарский мирный договор.....	348
б) Кючук-Кайнарджийский мирный договор.....	352

<b>3. Шагин-Гирей.....</b>	<b>353</b>
<b>4. Первая крымская депортация.....</b>	<b>362</b>
а) Основная цель акции.....	362
б) Выселение крымских христиан.....	362
в) Результаты депортации.....	370
г) «Возвращение» греков и армян.....	373
<b>5. «Присоединение».....</b>	<b>375</b>
а) Официальное обоснование захвата ханства.....	375
б) Практическое осуществление аннексии.....	377
в) Государственно-правовая несостоятельность акта аннексии.....	383
г) Первые колониальные акции.....	386
<b>6. Реакция Европы.....</b>	<b>390</b>
<b>7. На пепелище.....</b>	<b>394</b>
а) Экология оккупации.....	394
б) Разрушенные города и сёла.....	400
в) Коренной народ в период аннексии.....	413
г) «Шествие в Тавриду» Екатерины.....	416
<b>8. Аннексия и традиционная культура Крыма.....</b>	<b>420</b>
<b>9. Аннексия в историческом освещении.....</b>	<b>424</b>
<b>10. Общие итоги аннексии Крыма.....</b>	<b>429</b>

## III. КРЫМ ВО ВТОРОЙ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕ НЕЁ

<b>1. «Греческий проект».....</b>	<b>432</b>
<b>2. Подготовка Россией войны.....</b>	<b>435</b>
<b>3. Война 1787–1791 гг.....</b>	<b>437</b>
<b>4. Греческое переселение в Крым.....</b>	<b>442</b>
<b>5. Первый великий исход крымских татар.....</b>	<b>453</b>
<b>6. «Комиссия для разбора споров...».....</b>	<b>462</b>
<b>7. Крымские татары в войнах начала XIX века.....</b>	<b>466</b>
а) Создание Крымско-татарского дивизиона.....	466
б) Крымские татары в войне с Турцией 1806–1812 гг.....	470
в) Крымские татары в Отечественной войне 1812 г.....	475
г) Попытка восстания 1812 г.....	477

## IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

<b>1. Передел земли.....</b>	<b>482</b>
<b>2. Новая эксплуатация.....</b>	<b>501</b>
<b>3. Экономика первой половины XIX в.....</b>	<b>506</b>
<b>4. Иностранная колонизация Крыма.....</b>	<b>510</b>

5. Столкновение и конфликт культур.....	517
6. Два отношения к труду.....	533
7. Усиление национального гнёта.....	543
а) Истоки антитатаризма.....	543
б) Возвышение аборигенной элиты.....	545
в) Паспорта и тотальный контроль.....	549
г) Религиозные притеснения.....	552
д) М.С. Воронцов и крымские татары.....	554
8. Сожжение высокой культуры крымских татар.....	559
9. Две философии жизни.....	564
10. Наступление на ислам.....	568
11. От эмиграции 1812 г. до депортации 1854-го: заключение.....	572

#### V. КРЫМСКАЯ ВОЙНА

1. Предыстория войны.....	577
2. Накануне.....	580
3. Начало войны.....	585
4. Крымские татары в годы войны.....	588
а) Выселение южнобережных татар.....	588
б) Положение крымских татар в годы войны.....	591
в) Вклад крымских татар в оборону Крыма.....	601
г) Фальсификация истории Крымской войны.....	606
д) Феномен «российского патриотизма» крымских татар.....	608
5. Попытка депортации крымских татар в 1856–1857 гг.....	615

#### VI. ВТОРАЯ ВЕЛИКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

1. Причины эмиграции 1850–1860-х гг.....	618
2. Исход.....	634
3. После великого исхода.....	649
а) Ситуация в Крыму.....	649
б) Попытка реэмиграции.....	656
4. Дело Сейдамета из Таракташа.....	661

#### VII. РЕФОРМА 1861 ГОДА И ЭМИГРАЦИЯ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX вв.

1. Пути экономических перемен.....	671
2. Вакуфный вопрос.....	685
3. Балканская война и новая вспышка российского антитатаризма.....	693
а) Славянофильство.....	693
б) Русификация.....	694
в) Балканская война.....	700
г) Шовинистическая реакция на Балканскую войну.....	702

4. Новая эмиграция (национально-освободительное движение по-крымскотатарски).....	712
а) Крымскотатарские эскадронцы.....	713
б) Введение рекрутчины для крымских татар.....	716
в) Судьба новых эмигрантов.....	723
д) Нарастание крымскотатарского освободительного движения.....	729
5. Крымские татары в Русско-японской войне 1904–1905 гг.....	739

#### VIII. ВРЕМЯ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ И ПОГРОМОВ

1. Рост культурной изоляции крымских татар.....	744
2. 1905–1907 гг. в Крыму.....	751
а) Общеполитическая обстановка в России и Крыму.....	751
б) Истоки 1905-го.....	760
в) Крым в 1906–1907 гг.....	767
г) Выводы.....	767
3. Национальная подоплёка столыпинских реформ.....	772
4. Группы Р. Медиева, РСДРП и другие.....	778
5. Репрессивные акты Столыпина.....	783
6. Экономическая реформа.....	786
7. Политические результаты столыпинских реформ.....	791

#### IX. ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙ

1. Жизненный путь Исмаил-бея.....	793
2. Почва для джадидизма в России и Крыму.....	800
3. Модернизация через просвещение.....	819
а) Практика модернизации просвещения.....	820
б) Сопrotивление модернизации.....	824
4. Единение тюрков империи.....	827
а) Искусственный раскол тюркской общности и планы русификации тюрков.....	827
б) Пантюркизм как программа национального спасения.....	828
в) Неудача тюркского единения.....	832
5. Программа тюрко-западноевропейского культурного взаимообогащения.....	834
6. Стратегия и тактика И. Гаспринского.....	838
а) Общеполитические инициативы.....	838
б) Антикoлониальная политика.....	840
в) Реформация этнозащиты.....	845

#### X. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 1917 Г. В КРЫМУ

1. Крымские татары в Первой мировой войне.....	851
а) Россия и Крым в преддверии войны.....	851
б) Война.....	853

2. Февральская революция .....	862
а) Весна 1917-го в Крыму .....	863
б) Мусульманский исполком .....	868
в) Крымские татары и большевики .....	885
г) «Крым — для крымцев!» .....	894
3. Октябрьский переворот .....	902
4. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание .....	907
5. Совет народных представителей Крыма .....	908
6. Первый Курултай .....	910
7. Начало Гражданской войны .....	926

**Валерий Евгеньевич Возгрин**

**История крымских татар**  
Очерки этнической истории  
коренного народа Крыма  
в четырёх томах

Том II

3-е издание, исправленное и дополненное

Корректоры *Г.С. Якушева, О.В. Афанасьева*  
Оригинал-макет *Л.А. Филофова*  
Дизайн обложки *Е.В. Кудина*

Подписано в печать 28.12.2012. Формат 70x100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Бумага офсетная. Печать офсетная  
Усл.-печ. л. 58,75  
Тираж 300 экз. Заказ № 2278

ООО «Къартбаба продакшн»  
95049, АРК, г. Симферополь,  
ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14

Отпечатано ООО «Издательство Вперед», 297534, Россия, АР Крым,  
Симферопольский район, с. Строгановка, ул. Лечебная, 1  
Тел./факс: +38 (0652) 593-112, 593-148